

The background of the cover is a photograph of Lake Baikal. In the upper left, a pine tree branch with green needles extends diagonally across the frame. The lake's water is a deep blue, with a lighter turquoise area near the bottom left where a small, forested island meets the shore. In the distance, blue-grey mountains are visible under a clear sky. The title is written in a white, elegant script font with a subtle drop shadow.

Литературные Жемзужины

● ИРКУТСК — БАЙКАЛ ●



Литературные Жейзужины

● ИРКУТСК—БАЙКАЛ ●



882-32

84(2Рос=Рус)

Литературные жемчужины. Иркутск—Байкал. Избранные произведения сибиряков — Иркутск: Сибирская книга (Иркутск: ИП Лаптев А.К.), 2010 г. — 576 с., иллюстрации.

В книгу вошли произведения, ставшие классикой сибирской литературы. Известные всему миру писатели: Виктор Астафьев, Александр Вампилов и Валентин Распутин; патриарх иркутской литературы Исаак Гольдберг и автор первого романа о гражданской войне Владимир Зазубрин; создатель едва ли не первого высокохудожественного произведения об истории иркутского острога Гавриил Кунгуров и удивительный мастер слова, автор поразительной по глубине и цельности повести о Великой Отечественной войне — Алексей Зверев; наконец, наши современники — Леонид Бородин, Валерий Хайрюзов, Альберт Гурулёв, Геннадий Машкин, Иван Комлев, Нелли Матханова и Виктор Воронов — писатели, создавшие произведения большой художественной силы.

Девять авторов представлены повестями, остальные — своими лучшими рассказами. Собранные воедино, все эти произведения позволяют получить цельное представление о прошлом и настоящем литературы Восточной Сибири, в непреходящей значимости которой не приходится сомневаться.

ISBN 978-5-91871-019-7

© В.П. Астафьев, 2010
© А.В. Вампилов, 2010
© И.Г. Гольдберг, 2010
© В.Я. Зазубрин, 2010
© А.В. Зверев, 2010
© Г.Ф. Кунгуров, 2010
© Г.Н. Машкин, 2010
© В.Г. Распутин, 2010
© Л.И. Бородин, 2010
© А.С. Гурулёв, 2010
© В.Н. Хайрюзов, 2010
© И. Комлев, 2010
© Н.А. Матханова, 2010
© В.В. Воронов, 2010
© С.А. Бурчевская, оформление, 2010

ПОСВЯЩАЕТСЯ
350-ЛЕТИЮ ГОРОДА ИРКУТСКА!

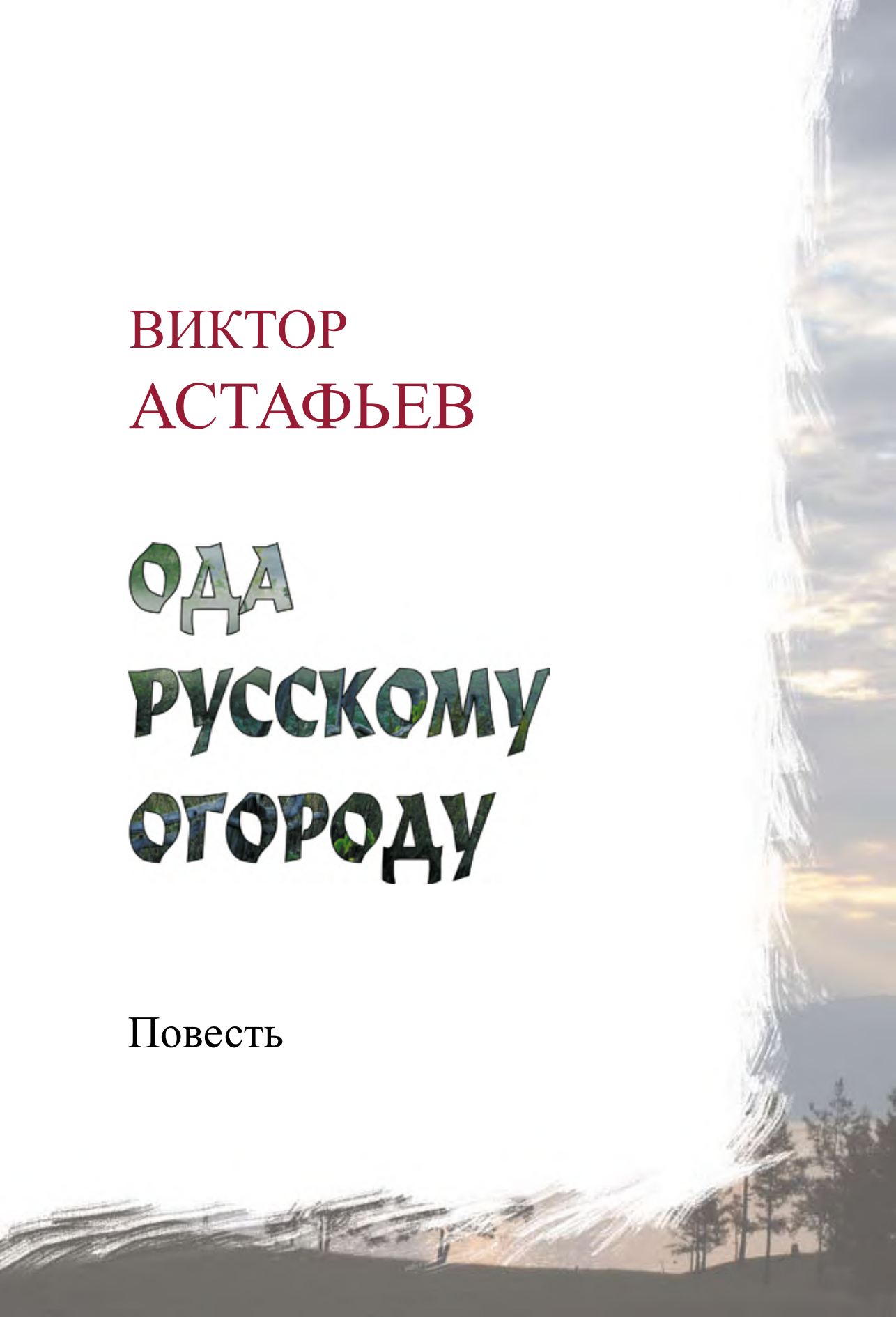




ВИКТОР
АСТАФЬЕВ

ОДА
РУССКОМУ
ОГОРОДУ

Повесть



Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершина чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встречь, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом. Стою на житейском центре голым деревом, завывают во мне ветры, выдувая звуки и краски той жизни, которую я так любил и в которой умел находить радости даже в тяжелые свои дни и годы.

И все не умолкает во мне война, сотрясая усталую душу. Багровый свет пробивается сквозь немую уже толщу времени, и, сплюснутая, окаменелая, но не утравшая запаха гари и крови, клубится она во мне.

Успокоения хочется, хоть какого-нибудь успокоения. Но нет его даже во сне, и во сне мучаюсь я, прячусь от взрывов и где-то за полночь начинаю с ужасом понимать: это уже не та война, от теперешних взрывов не спрятаться, не укрыться, и тогда покорно, устало и равнодушно жду последней вспышки — вот сверкнет бело, ослепительно, скорчит меня последней судорогой, оплавит и унесет искрой в глубину так и не постигнутого моим разумом мироздания. И вижу ведь, явственно вижу искорку ту, ощущаю ее полет. Оттого вижу, что был уже песчинкой в огромной буре, кружился, летал где-то между жизнью и смертью, и совсем случайно, капризом или волей судьбы, не унесло меня в небытие, а сбросило на изнуренную землю.

Сколько раз погибал я в мучительных снах! И все-таки воскресал и воскресал. На смену жутко гудящему огню, гремучему дыму взрывов неожиданно хлынут пестрые поляны в цветах; шумливая березовая роща; тихий кедрач на мшиной горе; вспененная потоком река; коромысло радуги над нею; остров, обметанный зеленым мехом тальника; степенный деревенский огород возле крестьянского двора.

И лица, лица...

Явятся все женщины, которых хотел бы встретить и любить, и, уже снисходительный к ним и к себе, не протягиваю им руки, а вспоминаю тех женщин, которых встретил и любил на самом деле. С годами я научился утешать и обманывать себя — воспоминания об этих встречах сладостней и чище самих встреч...

Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость одиночества. И воскреси, — слышишь? — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него. Ну хочешь, я, безбожник, именем Господним заклинать тебя стану, как однажды, оглушенный и ослепленный войною, молил поднять меня со дна мертвых пучин и хоть что-нибудь найти в темном и омертвелом нутре? И вспомнил, вспомнил то, что хотели во мне убить, а вспомнив, оживил мальчика — и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами.

Мне говорили: этакая надсада не пройдет даром! Буду я болен и от нервного перенапряжения не доживу сколько-то лет, мне положенных. А зачем они мне, эти сколько-то лет, без моего мальчика? И кто их считал, годы, нам положенные?

Озари же, память, мальчика до каждой веснушки, до каждой царапинки, до белого шрама на верхней губе — учился когда-то ходить, упал и рассек губу о ребро половицы.

Первый в жизни шрам.

Сколько потом их будет на теле и в душе?

...Далеко-далеко возникло легкое движение, колыхнулась серебряная нить, колыхнулась и поугасла, слилась с небесным маревом. Но все во мне встрепелось, отозвалось на едва ощутимый проблеск памяти. Там, в неторопливо приближающемся прошлом, по паутине, вот-вот готовой оборваться, под куполом небес, при-тушив дыхание, идет ко мне озаренный солнцем деревенский мальчик.

Я тороплюсь навстречу ему, бегу с одышкой, переваливаюсь неуклюже, будто линиялый гусь по тундре, бухаю обнажившимися костями по замшелой мерзлоте. Спешу, спешу, минуя кроволития и войны; цехи с клоочущим металлом; умников, сотворивших ад на земле; мимо затаенных врагов и мнимых друзей; мимо удушливых вокзалов; мимо житейских дрязг; мимо газовых факелов и мазутных рек; мимо вольт и тонн; мимо экспрессов и спутников; мимо волн эфира и киноужасов...

Сквозь все это, сквозь! Туда, где на истинной земле жили воистину родные люди, умевшие любить тебя просто так, за то, что ты есть, и знающие одну-единственную плату — ответную любовь.

Много ходившие больные ноги дрогнули, кожей ощутив не тундровую стынь, а живое тепло огородной борозды, коснувшись мягкой плоти трудовой земли, почу-ляли ее токи, вот уже чистая роса врачует ссадины.

Много-много лет спустя узнает мой мальчик, что такой же, как он, малый человек в другой совсем стороне, пережив волнующие минуты полного слияния с родной землей, прошепчет со вздохом: «Я слышу печальные звуки, которых не слышит никто...»

...Беру в свою большую ладонь руку мальчика и мучительно долго всматриваюсь в него, стриженного, конопатого, — неужто он был мною, а я им?!

* * *

Дом мальчика стоял лицом к реке, зависая окнами и завалинкой над подмытым крутоярем, заросшим шептун-травой, чернобыльником, всюду пролезающей жалицей. К правой скуле дома примыкал городьбою огород, косо и шатко идущий вдоль лога, в вешневодье залитого до увалов дикой водою, оставлявшей после отката пластушины льда и свежие водомоины — земельные раны, которые тут же начинало затягивать зеленой кожей плесени. По чуть приметной ложбине вода иными веснами проникала под жерди заднего прясла, разливалась под самой уж горой, заполняла яму, из которой когда-то брали землю на хозяйственную надобность. В яме-бочажине, если год бывал незасушливый, вода кисла до заморозков, лед на ней получался комковатый, провально-черный, на него боязно было ступать. В бочажине застревали шурыта, похожие на складной ножик, и гальяны, проспавшие отходную водотечь. Шурыта быстро управлялись с гальянами, самих шурыт ребятишки выдергивали волосяной петлей, либо коршунье и вороны хватали, когда они опрокидывались от удушья кверху брюхом — в яму сваливали всякий хлам.

Летом бочажина покрывалась кашей ряски, прорастала вдоль и поперек зеленой чумой, и только лягухи, серые трясогузки да толстозадые водяные жуки обитали здесь. Иной раз прилетал с реки чистоплотный куличок. «Как вы тут живете? — возмущался. — Тина, вонь, запущенность». Трясогузки сидят, сидят да как

взовьются, да боем на гостя, затрепыхаются, заперевертываются, что скомканные бумажки, и раз! — опять на коряжину либо на камень синичкой опадут, хвостиком покачивают, комара караулят, повезет, так и муху цапнут.

С гор напознали, цепляясь за колья огорода, лезли на жердь нити повилики, дедушкиных кудрей и хмеля. Возле бочажины незабудки случались, розовые каменные лютики и, конечно, осока-резун. Как без нее обойдешься?! Среди лета огородную кулижку окропляло солнечно-сверкающим курослепом, сурепкой, голоухими ромашками, сиреневым букашником, а под них, под откровенно сияющие цветы и пахучие травки лез, прятался вшивый лук, золотушная трава, несъедобная колючка. Кулижку не косили, привязывали на ней коня, и он лениво пощипывал на верхо-сытку зеленую мелочь, но чаще стоял просто так, задумчиво глаза в заречные дали, или спал стоя.

Ни кулижку, ни огородные межи плугом не теснили — хватало пространства всем, хотя и прижали горы бечевкой вытянувшуюся деревушку к самой реке.

Левого прясла у огорода не было — семья мальчика придерживалась правила: «Не живи с сусеками, а живи с соседями», — и от дома и усадьбы, рядом стоящих, городьбой себя не отделяла. Впрочем, межа тут была так широка, так заросла она лопухами, коноплей, свербигой и всякой прочей дурниной, что никакого заграждения и не требовалось. В глухомани межи, вспененной середь лета малиново кипящим кипреем и мясистыми бодяками, доступно пролезать собакам, курам, мышам да змейкам. Случалось, мальчик искал в меже закатившийся мячик или блудную цыпушку — так после хоть облизывай его — весь в кипрейном меду. Густо гудели шершни в межах, вислозадые осы и невзрачные дикие пчелы; титьками висели там гнезда, словно бы из обгорелых пленок слепленные. В них копошилось что-то, издавая шорохи и зудящий звон. Непобедимое мальчишеское любопытство заставило как-то ткнуть удилищем в это загадочное дырчатое сооружение. Что из того получилось — лучше и не вспоминать...

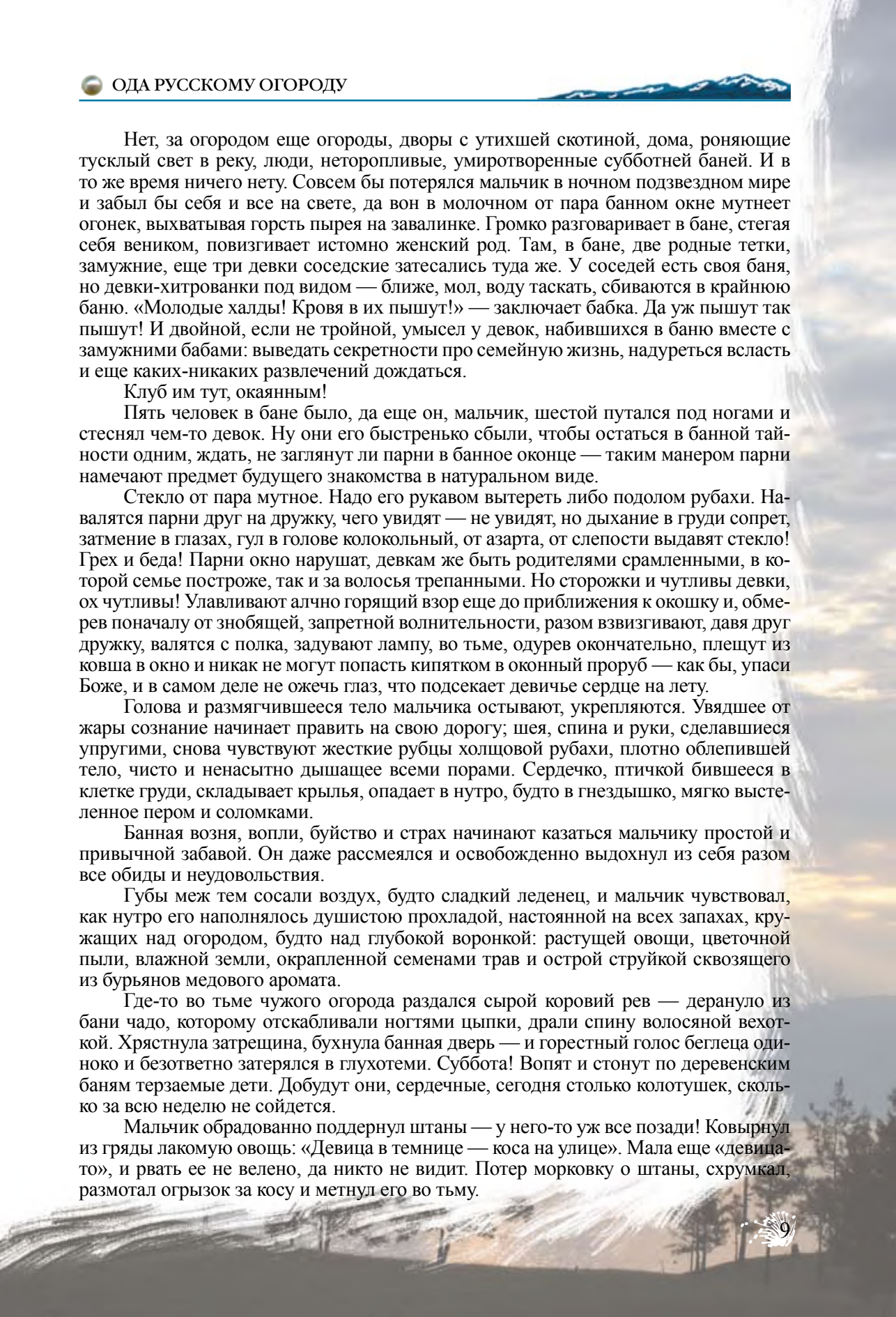
Баня шатнулась в лог, выпадывая из жердей, точно старая лошаденка из худой упряжки, и только заросли плотного бурьяна, подпершие баню со всех сторон, казалось, не давали ей укатиться под уклон. Зато воду на мытье и поливку таскать было близко, зато лес рядом, земляника, клубника, костяника, боярка зрели сразу за городьбой.

На хорошем, пусть и диковатом приволье располагалось родное подворье мальчика, и небогато, по уверенно жилось в нем большой, разнокалиберной семье. Народ в семье был песенный, озороватый, размашистый, на дело и потеху гораздый.

Из бани, чтобы попасть во двор, надо пересечь весь огород по широкой борозде, которую чем дальше в лето, тем плотнее замыкало разросшейся овощью. С листьев брюквы, со щекочущих кистей морковки, с твердо тыкающихся бобов — отовсюду сыпалась роса, колола и щекотала отмытую кожу, а мелколистная жалищала-летунья зудливо стрекалась.

Но какая это боль и горе после того, что перенес мальчик в бане?!

Из ноздрей, из горла выдыхивалась угарная ядовитость, звон в ушах утихал, не резал их пронзительной пилой, просветляясь, отчетливей видели глаза, и весь мир являлся ему новосотворенным. Мальчику все еще казалось, что за изгородью, скрепленной кольями, нет никакого населения, никакой земли — все сущее вместились в темный квадрат огорода. Леса, горы по-за логом и задним пряслом, примыкающим к увалу, там все равно, что в телефоне, висащем в сплавной конторе, — все скрыто: говорит телефон, а никого нету! Вот и постигни!



Нет, за огородом еще огороды, дворы с утихшей скотиной, дома, роняющие тусклый свет в реку, люди, неторопливые, умиротворенные субботней баней. И в то же время ничего нету. Совсем бы потерялся мальчик в ночном подзвездном мире и забыл бы себя и все на свете, да вон в молочном от пара банном окне мутнеет огонек, выхватывая горсть пырея на завалинке. Громко разговаривает в бане, стегая себя веником, повизгивает истомно женский род. Там, в бане, две родные тетки, замужние, еще три девки соседские затесались туда же. У соседей есть своя баня, но девки-хитрованки под видом — ближе, мол, воду таскать, сбиваются в крайнюю баню. «Молодые халды! Кровя в их пышут!» — заключает бабка. Да уж пышут так пышут! И двойной, если не тройной, умысел у девок, набившихся в баню вместе с замужними бабами: вывести секретности про семейную жизнь, надуреться всласть и еще каких-никаких развлечений дожидаться.

Клуб им тут, окаянным!

Пять человек в бане было, да еще он, мальчик, шестой путался под ногами и стеснял чем-то девок. Ну они его быстренько сбыли, чтобы остаться в банной тайности одним, ждать, не заглянут ли парни в банное оконце — таким манером парни намечают предмет будущего знакомства в натуральном виде.

Стекло от пара мутное. Надо его рукавом вытереть либо подолом рубахи. Навалются парни друг на дружку, чего увидят — не увидят, но дыхание в груди сопрет, затмение в глазах, гул в голове колокольный, от азарта, от слепости выдавят стекло! Грех и беда! Парни окно нарушат, девкам же быть родителями срамленными, в которой семье построже, так и за волосья трепанными. Но сторожки и чутливы девки, ох чутливы! Улавливают алчно горящий взор еще до приближения к окошку и, обмерев поначалу от знобящей, запретной волнительности, разом взвизгивают, давя друг дружку, валятся с полка, задувают лампу, во тьме, одурев окончательно, плещут из ковша в окно и никак не могут попасть кипятком в оконный проруб — как бы, упаси Боже, и в самом деле не ожечь глаз, что подсекает девичье сердце на лету.

Голова и размягчившееся тело мальчика остывают, укрепляются. Увядшее от жары сознание начинает править на свою дорогу; шея, спина и руки, сделавшиеся упругими, снова чувствуют жесткие рубцы холщовой рубахи, плотно облепившей тело, чисто и ненасытно дышащее всеми порами. Сердечко, птичкой бившееся в клетке груди, складывает крылья, опадает в нутро, будто в гнездышко, мягко выставленное пером и соломками.

Банная возня, вопли, буйство и страх начинают казаться мальчику простой и привычной забавой. Он даже рассмеялся и освобожденно выдохнул из себя разом все обиды и неудовольствия.

Губы меж тем сосали воздух, будто сладкий леденец, и мальчик чувствовал, как нутро его наполнялось душистою прохладой, настоящей на всех запахах, кружащих над огородом, будто над глубокой воронкой: растущей овощей, цветочной пыли, влажной земли, окрапленной семенами трав и острой струйкой сквозящего из бурьянов медового аромата.

Где-то во тьме чужого огорода раздался сырой коровий рев — дерануло из бани чадо, которому отскабливали ногтями цыпки, драли спину волосяной вехоткой. Хрястнула затрещина, бухнула банная дверь — и горестный голос беглеца одиноко и безответно затерялся в глухотеми. Суббота! Вопят и стонут по деревенским баням терзаемые дети. Добудут они, сердечные, сегодня столько колотушек, сколько за всю неделю не сойдется.

Мальчик обрадованно поддернул штаны — у него-то уж все позади! Ковырнул из гряды лакомую овощь: «Девница в темнице — коса на улице». Мала еще «девица-то», и рвать ее не велено, да никто не видит. Потер морковку о штаны, схрумкал, размотал огрызок за косу и метнул его во тьму.

Такое наслаждение!

А ведь совсем недавно, какие-нибудь минуты назад, подходил конец свету. Взят он был в такой оборот, ну ни дыхнуть тебе, ни охнуть. Одна тетка на каменку сдает, другая шайку водой наполняет, девки-халды толстоляхие одежку с него срываю, в шайку макают и долбят окаменелым обмылком куда попало. Еще и штаны до конца не сняты, еще и с духом человек не собрался, но уж началось, успевай поворачивайся и главное дело — крепко-накрепко зажмуривай глаза. Да как он ни зажмуривался, мыло все-таки попало под веки, и глаза полезли на лоб, потому что мыло варят из вонючей требухи, белого порошка и еще чего-то, вовсе уж непотребного — сказывали, в мыловарный котел купорос кладут, собак бросают и даже будто бы ребенков мертвых...

Вырываясь из крепких сердитых рук, ослепший, оглохший, орал мальчик на всю баню, на весь огород и даже дальше; пробовал бежать, но запнулся за шайку, упал, ушибся. Ругаясь, чиркая черствыми сосцами грудей по носу, по щекам, по губам, тетки вертели, бросали друг дружке мальчика и скребли, скребли, так больно скребли! Отплевываясь от грудей еще брезгливей, чем от мыла, сторонясь и везде натыкаясь все же на них — от женщин в бане куда теснее, чем от мужчин! — уже сломленно и покинуто завывал мальчик, ожидая конца казни. В заключение его на приступок полка завалили и давай охаживать тем, про что бабка загадку складную сказывала: «В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец, играет в шелкунец. Всех перебил и царю не спустил!» Царю! А он что? Хлещите...

В какой-то момент стало легче дышать. Далеко-далеко вечерней мерцающей звездой возник огонек лампешки. Старшая тетка обдала надоедного племянша с головы до ног дряблой водой, пахнувшей березовым листом, приговаривая как положено: «С гуся вода, с лебедя вода, с малого сиротки худоба...» И от присказки у самой обмякла душа, и она, черпая ладонью из старой, сожженной по краям кадки, еще и холодяночкой освежила лицо малому, промыла глаза, примирительно воркуя: «Вот и все! Вот и все! Будет реветь-то, будет! А то услышат сороки-вороны и унесут тебя в лес, такого чистого да пригожего». Мальчик успел лизнуть мокрую ладонь тетки, смочил спекшийся рот.

Нутро бани смутно обозначалось. Литые тела девок на ослизлом полке, бывшие как бы в куче, разделились, и не только груди, но и косматые головы у них обнаружились под закоптелым потолком. Мальчик погрозил им кулаком: «У-у, блядишшы!»

Девки взвизгнули, ноги к потолку задрав, и принялись громко лупцевать друг дружку вениками, бороться схватились, упали с полка, чуть лампу не погасили. На деревне поговаривали, что девки любят прятаться в теплых банях с парнями, а соперницы подпирают бани кольями, учиняют посрамление, на крик сбегаются матери и принародно таскают девок за волосы, те зарезанно вопят: «Мамонька родимая, бес попутал! Разуменье мое слабое затмил...»

Ввергнутый в пучину обид, ослабевший от банного угара, с болью в коленях и в голове, уже оставленный и забытый всеми, хлюпая носом, мальчик отыскивал в глухом углу возле каменки свою одежку. Свет все еще дробился в его глазах, и девки на полке то подсказывали, то снова водворялись на место, а мальчику так было жалко себя, так жалко, что он махнул рукой на девок, не злился уж на них, сил не было не только на зло, но и рубаху натянуть.

Соседская девка, к которой в открытую ходил жених, отведавшая сладкого греха, но еще не познавшая бабьих забот и печалей, главная потешница в бане была, она-то и вытащила из угла мальчика, тренькнула пальцем по гороховым стручком торчащему его петушку и удивленно спросила: «А чтой-то, девки, у него тутoka? Какой такой занятный предмет?» Мгновенно переключаясь с горя на веселье, за-

ранее радуясь потехе, мальчик поспешил сообщить все еще рвущимся от всхлипов голосом: «Та-ба-чо-ок!»

«Табачо-о-ок?! — продолжала представление соседская девка. — А мы его, полоротыя, и не заметили! Дал бы понюхать табачку-то?»

Окончательно забыв про нанесенные ему обиды, изо всех сил сдерживая напололам его раскалывающий смех, прикрыв ладошками глаза, мальчик послушно выпятил животишко.

Девки щекотно тыкались мокрыми носами в низ его живота и разражались таким чихом, что уж невозможно стало дальше терпеть, и, уронив в бессилии руки, мальчик заливался, стонал от щекотки и смеха, а девки все чихали, чихали и сраженно трясли головами: «Вот так табачок, ястри его! Крепче дедова!» Однако и про дело не забывали, под хохот и шуточки девки незаметно всунули мальчика в штаны, в рубаху и последним, как бы завершающим все дела хлопком по заду вышибли его в предбанник.

Такая тишина, такая благодать вокруг, что не может мальчик уйти из огорода сразу же и, пьянея от густого воздуха и со всех сторон обступившей его огородной жизни, стоит он, размягченно впитывая и эту беспредельную тишь, и тайно свершающуюся жизнь природы.

Пройдет много вечеров, много лет, поблекнут детские обиды, смешными сделаются в сравнении с обидами и бедами настоящими, и банные субботние вечера сольются и останутся в памяти дивными видениями.

...На твердых, круто согнутых коленях деда сидит человек. Дед обломком ножа скоблит располвиненную брюкву и коричневым от табака пальцем спихивает с поцарапанного бруском лезвия истекающую соком мякоть в жадно распахнутый зев. Пошевелит языком малый, сделает вдох — и лакомство живым током прошибает его вздрагивающее чрево, растекается прохладно по жилам. «Вот дак варнак! Вот дак варначина! Не жевавши, мякает!» — сокрушается дед и, кося на малого ореховым глазом, убыстряет работу, чтобы и самому полакомиться брюквенной скобянкой. Но внук никакого роздыху не дает ему и без усталости держит разинутым ловкий рот. Если дед все же вознамерится понести к своим усам ножик с лакомством, малый, клюнув ртом, схватывает с ножа крошево и по-кошачьи облизывается. «Обрежешься!» — стучает его по лбу черенком ножа дед и с удивлением обнаруживает: одна лишь видимость от овощи осталась, обе половинки брюквы превратились в черепушки. Дед нахлобучивает на голову внука половинку брюквы, спихивает его с колен и отправляется в огород, что-то ворча под нос и сокрушенно качая головой.

Посидев на нагретых за день плахах крыльца, мальчик сбрасывает с головы брюквенную камилавку, и куры со всех сторон кидаются доклевывать черепушку. Мальчик опрокидывает водопойное корыто, взбирается на него и, вытянув шею, глядит со двора через частокол в густо заросшее пространство огорода.

Раздвигая развесистые седые листья, дед ходит согнувшись между гряд, отыскивает брюкву покруглей, без трещин и зеленой залысины. «Де-е-е-еда-а-а!» — кричит мальчик, давая понять, что он его видит и ждет. Дед, погрозив внуку перстом, уцеливает наконец брюкву, вытаскивает ее за хрупнувшие космы из рыхлой земли и, ударив ею об ногу, поднимает вверх и осматривает белорылую, с грязной бородой овощ: нет ли червотчины и других каких изъянов. Мальчик нетерпеливо перебирает ногами: «Скорее, деда, скорее!»

Дед ровно бы его и не слышит, бредет по сомкнувшейся борозде, будто по зеленой речке, за ним шуршат волны, остается вспененный след, словно за кораблем, медленно растворяющийся вдали, — листья, ботва, метелки трав с недовольным шорохом выпрямляются, встают, занимая свое постоянное место на земле.

И снова дед садит внука на твердые, заплатами прикрытые колени, скоблит брюкву, ворчит, стучает малого черенком по лбу, пока насытившийся, убаженный пузан не зашевелит ртом заторможенно, лениво, и глаза его не начнут склеиваться, и маленькое тельце, что слабая былка, отягощенная росой, прикинется к выпуклой груди деда и в теплом ее заветрии распухнет доверчиво и защищенно.

И тогда совсем осторожно, совсем почти неслышно дед скоблит ножиком брюкву — он сладкоежка, дед-то, и шевелит беззубым ртом, двигает крутыми челюстями, озираясь — не видит ли кто, как он впал в детство, и для маскировки ворчит в бороду: «Ат ведь варначина! Ат ведь неслух! Умаялся!» — и пытается есть и петь одновременно, покачивая на коленях внука: «Трынды-брынды в огороде, при честном при всем народе...» Но тут же стопорит с песней — дальше в ней слова не для внука. Вот уж подрастет, ума накопит внучек, глядишь, до чего самоуком дойдет, чего от старших нахватается, а пока шабаш, пока мри, дед, не дай Бог, сама услышит!

Мальчик не может понять, спит он или еще не спит. Ему хорошо, уютно на коленях, под щекочущей бородой деда, за которую, в знак благодарности, надо бы теребнуть старого, но разморило так, что даже руку поднять нет сил, да и видется начал очень знакомый голозадый человек — вот он перебирает руками по частоколу, пыхтит, продвигается к жердяным воротцам. Неровность какая-то под розовую ступню или меж пальцев подвернулась, закачался малыш, упал голым местом в крапиву. Рев. Слезы. Бабка, выдернув вицу из веника, сечет крапиву, приговаривая: «Вот тебе! Вот тебе, змея жалочая!..» — И всовывает вицу в руку мальчика. Он со всего плеча лупцует крапиву, аж листья летят, и тем утешается, по щеке катится остатная слеза, и, слизнув ее, солоноватую, языком, малый делает еще одну попытку встать на ноги и двинуться вдоль частокола на кривых, подрагивающих ногах.

А сзади хвалят, поощряют, тормозят: «Эдак! Эдак! Эдак, дитятко!»

И вот наконец наступило жуткое, ослепляющее счастье первого самостоятельного шага! Мальчик отпустился от городьбы и на неверных, жидких еще ногах ковыльнул по двору. Все в нем остановилось, замерло: глаза, сердце, дух занялся, и только ноги, одни ноги шли и сделали два огромных, может быть, самых огромных, самых счастливых шага в жизни!

Чьи-то руки подхватили его, уже падающего наземь, подхватили и с ликующим возгласом: «Поше-ол! Поше-о-о-ол!» — подбросили вверх, в небо, и он летал там, кувыркался, а солнце то закатывалось во двор, приближалось вплотную к глазам, то мячиком отека кивало за огород, к лесу, на хребтины гор. Пронзенный восторгом победы, захлебнувшийся высью, мальчик ахал, смеялся, взвизгивал и, не сознавая еще того, первый раз ощутил отраву жизни, которая вся состоит из такого вот опасного полета, и только сознание, только вечная надежда: под тобой, внизу, есть крепкие руки, готовые подхватить тебя, не дать упасть и разбиться о твердую землю, — рождает уверенность в жизни, и сердце, закатившееся в какой-то дальний угол обмершего нутра, разожмется, встанет на место, и сам ты не улетишь к «едре-не-фене» — по выражению дедушки, неисправимого, как заверяет бабка, ругателя и богохульника.

Примыкающий к задам дворовых построек клочок жирной земли, забранный жердями, удобренный золой и костями, был прост и деловит с виду. Лишь широкие межи буйным разноростом да маковый цвет недолговечным полыханием освещали огород к середине лета, да и мак-то незатейный рос, серенького либо бордового, лампадного цвета с томным крестиком в серединке. В крестике бриллиантом

торчала маковка, пушисто убранная, и в пухе том вечно путались толстые шмели. «Кину порохом, встанет городом», — сеючи мак, вещала бабка. Была и еще одна роскошь — непроходимым островом темнел средь огорода опятанный беленькими цветами горох, который без рук, без ног полз на бадог. Иным летом в картошке заводился десяток-другой желтоухих солноворотов, часто до твердого семечка не вызревающих, но беды и слез все-таки немало ребятам от них было. Широкомордые, рябые подсолнухи притягивали к себе не только пчел и шмелей, вечно в них шарящихся и роняющих яичную пыльцу, они разуживали удаль юных «огородников». Продравшись в огород, поймав солноворот за шершавый, «под солдата» стриженный затылок, налетчики клонили его, доверчиво развесившего желтые уши долу, перекручивали гусиную шею, совали под рубаху и задавали теку в лес, пластая штаны о сучья городьбы. Везде и всюду репу и горох, как известно, сеют для воров, а в селе мальчика — подсолнухи. И вот что непостижимо: изловив в огороде молодого налетчика, тетеньки и особенно дяденьки, сами когда-то промышлявшие огородным разбоем, с каким-то веселым, лютым сладострастием полосовали жалицей по незащитному заду лиходеев.

Сожжение на костре — забава по сравнению с сибирской жалицей. На костре, если дрова хорошие, — пых и сгорел! А вот после жалицы недели две свету белого не видно, ни сесть, ни лечь. Выть, только выть, слезами обливаться и каяться перед бабкой, умоляя ее помазать сметаной место, подвергнутое истязанию.

Что еще красивого было на грядках? Ноготки! Невесть откуда залетевшие, взойдут они, бывало, и до самых холодов прожигают углями гущу зелени. Табак еще украдчиво цвел на бросовых грядках. Добрые гряды под табак ни одна крестьянка не отдаст, считая растение это зряшным и делая потачку мужикам только потому, что без них, без мужиков, в хозяйстве не обойдешься и никого не родишь, и, стало быть, продление рода человеческого остановится.

На межах, там разнообразней и свободней все. Там кто кого задавит, тот и растет, дуря от собственного нахальства. Конечно же, конопля, полынь, жалица, репейники да аржанец-пырей любую живность заглушат. Однако ж нет-нет да и взнимутся над тучей клубящимся бурьяном стрелы синюхи, розетки пижмы, либо татарник заявит о себе. Властно оттеснив мускулистым телом тощую мелкоту, ошестинясь всеми колючками, обвесится татарник круглыми сиреневыми шишками и живет долго, цветет уверенно; или взметнется над межой нарядный коровяк, сияет дураковатым женихом, радуется самому себе.

От ранней весны и до самой зимы, изгнанный отовсюду, клятый-переклятый, лопатами рубленый, свиньями губленный, у заплотов, в устье борозд, на межевых окраинах шорохтел длинными ушами непобедимый хрен.

Ну вот и вся, пожалуй, краса, весь наряд и все прелести русского огорода. По весне природа на родине мальчика чуть веселей, да вся она по-за огородом, вся по хребтам, поймам речек, лугам, еланям. Зато весной раздолье в огороде какое!

Поставив в церкви свечку, помолившись святым отцам, охранителям коней, в первый день мая по старому стилю выводил лошадей дед в огород, к плугу, а бабка тем временем поясню кланялась с крыльца ему — пахарю, молилась земле, огороду, лесу. Лемех легко, забористо входил в огородную пуховую прель, играючи шли с плугом конишки, пренебрежительно махали хвостами, отфыркиваясь: «Разве это работа?! Вот целик коренить — то работа!»

Серая фигура деда, темная на спине от пота, горбится над плугом, и бежит по запяткам его вилючей змейкой ременный бич. Нестерпимо манит приступить ногою бич. Дед сердито подбирает рукой черенок, чтобы жогнуть внука, и жогнет, коли не поспеешь в рыхлую борозду упасть. «Ну погоди, бесенок! Опояшу я те, опояшу!»

В конце борозды дед выворачивает плуг из земли и располагается возле бочажины — подымить. Бабка, подрубив ладонью свет, стоит на крыльце и обсуждает сама с собою поведение деда: «Как борозда, так и папироска! Как борозда, так и папироска! Ты к Петровкам-то справишься ли?!» — «Не-е, к Ильину дню, если Бог пособит!..» — ухмыляется дед и свойски подмигивает малому, каково, дескать, мы ее!..

Хватив дверью избы так, что скворцы и галки в бороздах подпрыгивали, будто от выстрела, бабка исчезала, а мальчик с дедом смотрели в огород, половина которого как бы вывернута черной овчиной наружу, другая же в серой пленке, оставшейся от снега.

На пахоте происходило обжорство: скворцы, галки, вороны хватали и хватали студенистых червей, обнаженных и порезанных плугом. Боязливые серые плишки, и те промышляли на пахоте, вихляясь над бороздами; даже малая мухоловка сидела на жерди и, дождавшись своего момента, спархивала вниз и, чего-то ухватив с земли, несла на городьбу и торопливо склевывала. Лесные птички спускались с гор к огороду и терпеливо ждали, когда налопаются и задремлют важно хозяйски вышагивающие по бороздам нарядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков. Не выдержав искушения, птахи, мелькнув над городьбой, уносили с борозды козявку, жука, личинку какую, а скворец уже непременно в погоню — этакая загребущая скотина! Да где ему настичь стремительную дикую птаху, та юрк — и в кустах!

Пахать черноземные огороды легко, боронить и вовсе удовольствие. Наперевбой лезли парнишки на спину коня, таскающего борону по огороду, затем к плугу приспосабливались, и, когда их возраст подходил годам к десяти, они и на пашне, и на сенокосе уже умели управляться с конем, и в застолье уж лишними не числились, сидели твердо среди работников, ели хлеб и огородину, своим трудом добытую.

Тяпки в тех местах никто от века не знал. Картошку не окучивали — огребали руками. Назем в землю не клали, его вывозили за поскотину. Лишь малую часть его использовали на огуречные, «теплые» гряды. Ворочали их почти в пояс высотой. Лунки выгребали такие, что чернозема в них входила телега.

В ночное время (от сглазу) бабка с наговорами закапывала в грядку пестик, похожий на гантель, для развития мускулатуры употребляемую. Пестик утаивался в грядку для того, чтобы огурец рос как можно крупнее.

В согретой гряде напревали серенькие грибки и тут же мерли, ровно ледышки, истаивали бесследно. Выступали реснички травы в борозде, кралась на грядку повилика, и в душу сеяницы начинали закрадываться сомнения: всхожее ли семя было? Но вот в одном-другом черном глазу лунки узким кошачьим зрачком просекалось что-то. Примериваясь к климату, промаргиваясь на свету, зрачок расширялся и не сразу, не вдруг обнаруживал два пробных, бледных листика. Настороженные, готовые запахнуться от испуга, они берегли в теплой глубине мягкую почку огуречной плоти, робкий зародыш будущего растения. Пообвыкнув, укрепясь, собравшись с духом, два листочка выпускали на волю бойкий шершавенький листок, а сами, исполнив службу, отдав всю свою силу и соки свои, никли к земле, желтели и постепенно отмирали, никому уже не интересные и никем не замечаемые. Огуречный листок, воспрянув на свету, тоже робел от одиночества, простора земли и изобилия всякой зелени, принюхивался недоверчиво к лету, зябко ежась и цепenea от ночной изморози.

Нет, не закоченел до смерти огуречный листок, удержался и потянул по зеленой бечевке из мрака навозных недр лист за листом, лист за листом, там и усики принялись браво закручиваться на концах бечевок, пополз листной ворох в борозды, так и прет друг на дружку. И, как всегда неожиданно, засветится в одной из лунок, в зеленом хороводе, желтенький цветочек, словно огонек бакена среди зеленой реки.

Живая искорка — первовестник лета! Первый цветок этот всегда почти являлся пустоцветом, потому что солнца, тепла и сил его хватало лишь на то, чтоб цвести. Но, как бы указав дорогу цветам, более стойким, способным и плодоносить, пустоцвет быстро угасал, свертывался, и его растеребляли и съедали земляные муравьи.

Под жилистыми листьями, под зелеными усатыми бечевками светлело от желтых огоньков, гряды, что именинный пирог, пламенела цветами, и хоровод пчел, шмелей, шершней, ос вел на них шумную и хлопотливую работу. Глядь-поглядь, в зеленом притихшем укрытии уже и огурчишко ловко затаился, пупыристый, ребристый, и в носу у него шушулиной сохлый цветок торчит. Скоро выпала шушулина, и под ней скромно и чисто заблестело белое рыльце огурца, лучиками простреленного до круглой жунки. Зябкие прыщи, морщины выровнялись, огурец налился соком, заблестел, округлился с боков, и ему тесно стало под листьями, воли захотелось. Вывалился он, молодой, упругий, на обочину гряды, блестит маслянисто, сияет, наливается и укатиться куда-нибудь норовит.

Лежит огурец-удалец, дразнится; семейство ревниво следит друг за дружкой, особенно за мальчиком, чтобы не снял он огурец-то, не схрумкал в одиночку. Съесть огурец хочется любому и каждому, и как ни сдерживайся, как ни юли, проходя по огороду, обязательно раздвинешь руками резные, цепкие листья, подивуешься, как он, бродяга, нежится в зеленом укрытии, да и поспешишь от искушения подальше.

Но, слава тебе Господи, никто не обзарился, не учинил коварства. Уцелел огурец, белопупый молодец! Выстоял! Бабка сорвала его и бережно принесла в руках, словно цыпушку. Всем внучатам отрезала бабка по пластику — нюхнуть и разговеться, да еще и в окрошку для запаха половина огурчика осталась.

Окрошка с огурцом! Знаете ли вы, добрые люди, что такое окрошка с первым огурцом! Нет, не стану, не буду об этом! Не поймут-с! Фыркнул еще: «Эка невидаль — огурец! Пойду на рынок и куплю во какую огуречину — до-о-олгую, тепличную!..»

* * *

Огуречная гряда располагалась ближе к воротам, чуть в стороне от остальных гряд и почему-то поперек всего порядка. Ровными рядами, вроде ступеней на городской пристани, катились овощные гряды до середины огорода. На одной из них, самой доступной, чтоб ногами попусту другую овощь не мяли, пышно зеленело ребячье лакомство — морковка. Две-три гряды острились стрелами репчатого лука. Следом, опустив серые ребристые стебли, вкрадчиво шелестел лютый фрукт — чеснок. В стороне от тенистых мест, чтобы солнце кругло ходило, и от огурцов подальше — огурец и помидор не сопутники в роду-племени огородном — к лучинкам привязаны тощие-претощие дудочки с квелыми, аптечно пахнущими листьями. После прелой избяной полутеми, где росли они в ящиках и горшках, помидорные серенькие саженцы словно бы решали, что им делать — сопротивляться или помирать в этой простудной стороне? Но вокруг так все перло из земли, так ластилось к солнцу, что и помидорные дудки несмело наряжались в кружево листьев, пробно зажигали одну-другую бледную звездочку цветка, а, вкусив радости цветения, помидорные дудки смелели, лохматились, зеленые бородавочки из себя вымучивали, после уж, под огородный шумок да под земельный шепоток, обвешивались щекастыми кругляками плодов, и ну дуреть, ну расти — аж пасынковать их приходилось, обламывать лишние побеги и подпирать кусты палками, иначе обломятся, рухнут ветви от тяжести.

«Под дубком, дубком свилась репа клубком», вечно у нее лист издырявлен, обсосан — все на нее тля какая-то нападает, лохмотья иной раз одни останутся да стерженьки, но она все равно растет, выгуливает плотное тело, понимая, что радость от нее ребятишкам. Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени никем не замечаемая, багровеет, кровью полнится; пока еще шебаршит растрепанно, но тужится завязаться тугим узлом капуста. «Не будь голенаста, будь пузаста!» — наказывала бабка, высаживая квелую, блеклую рассаду непременно в четверг, чтобы черви не съели. Широко развесила скрипучие, упругие листья брюквы, уже колобочком из земли начиная выпирать. Обочь гряд светят накупью цветов бобы, и сбоку же, не обижаясь на пренебрежительное к себе отношение, крупно, нагло и совершенно беззаботно растут дородные редьки. Шеломенчихой их обзывает бабка. Шеломенчихой — вырви глаз! Миром оттерли шелопутную бабку Шеломенчиху на край села, почти в урем. А она и там в землянухе своей без горя живет, торгуя самогонкой, твердо выполняя бабье назначение. «У тебя ведь и зубов-то уж нету почти што, а ты все брюхатеешь!» — возмущались бабы. Шеломенчиха в ответ: «Ешли пошариться, корешок еще найдется!..»

За баней, возле старой черемухи есть узенькая расчудесная гряда, засеянная всякой всячиной. То бабкин каприз — всякое оставшееся семя она вольным взмахом развеивала по «бросовой» грядке, громко возвещая: «Для просящих и ворующих!»

У леса, спустившегося с гор и любопытно пляшущегося через заднее прясло, темнела и кудрявилась плетями труженица картошка. Она тоже цвела, хорошо цвела, сиреневое и бело, в бутонах цветков, похожих на герани, ярели рыженькие пестики, и огород был в пене цветов две целые недели. Но никто почему-то не заметил, как цвела картошка, лишь бабка собрала решето картофельного цвету для настоя от грыжи. Люди ждут не чем она подивит, а чего она уродит. Так в жизни заведено — от труженика не праздничного наряда и увеселений требуют, а дел и добра. Его не славословят, не возносят, но когда обрушивается беда — на него уповают, ему кланяются и молят о спасении.

Ах, картошка, картошка! Ну разве можно пройти мимо, не остановиться, не повспоминать?

Моему мальчику не довелось умирать от истощения в Ленинграде, даже голодать подолгу не приходилось, но об огородах осажденного города, размещенных на улицах, в парках, возле трамвайных линий и даже на балконах, слышал он и читал. Да и в своих краях повидал огороды военной поры, вскопанные наспех часто неумелыми, к земляной работе не способными руками. Не одни ленинградцы летом сорок второго года молитвенно кланялись кусту картошки, дышали остатным грудным теплом на каждый восходящий из земли стебелек.

* * *

Первой военной весной мой мальчик, ставший подростком, учился в городе и вместе с фээзошной ордою бродил с саками по студеной горной речке, выбрасывая на берег склизких усачей, пескаришек, случалось, и хариус либо ленок попадался. Рыбаки делали свое дело, грабители свое. Они лазили по вскрытым лопатами косогорам и из лунок выковыривали картошку на уху, чаще всего половинки картофелин либо четвертушки. Летом, когда всюду, даже в дачном сосновом бору, меж деревьев взойшла картошка, приконченно рыдали и рвали на себе волосы поседевшие от войны эвакуированные женщины, не обнаружив на своих участках всходов. Многие из них на семенной картофели променяли последние манатки, даже детские обуточки и платица... И не становилась ведь поперек горла та, омытая слезами, картошка!

Забыть бы про то черное дело, снять с души пакостный груз! Да разве возможно наедине-то с собой лгать?

Если уж по уму да по совести и чести — спаситель наш — огород! Тут и голову ломать незачем. В огороде же том самоглавнейший спаситель — скромное, многотерпеливое существо, участью-долей схожее с русской женщиной, — картошка!

В честь картошки надо бы поставить памятник в России. Поставлены же памятники гусям, спасшим Рим. В Австралии будто бы есть памятник овце. Последнему волку Европы скульптуру изваяли! Ну если уж картошке монумент неловко, незтично воздвигать — плод все же, овощ, тогда тому, кто нашел этот плод в заморских землях, выделил его среди прочих диких растений, в Россию завез и, рискуя головой, внедрил на русской земле. Был ведь в старые, темные времена и картофельный бунт!

В горах и под горами, в болотах и песчаниках, на глине и камешнике, меж деревьев и в новине, на вспольях, на отвалах, на вырубках, на горях, на всякой бросовой почве само собой вылазит на свет и живет растение, почти не требующее ухода и забот — прополи, окупь, и все дело. Есть места, где, задушенная дымом и сажей, никакая тварь не выживает, ничто не растет, даже крапива и всякая жалючая травка сдалась, картошка, набравши цвет, тут же его, почернелый, тряпичный, роняет, и все равно плод в земле наливается и кормит людей! Что есть, скажите, лучше этого растения? Хлеб? Да! Однако хлебу сколь воздано! Сколько о нем спето! Так отчего же, почему же мы, российские люди, не раз, не два спасенные картошкой от голода и мора, забыли про нее? К слову сказать, воин наш русский многим обязан ей, родимой картошке! Где угодно готов это утверждать!

Фронтовые дороги длинные, расхлупанные. Пушка идет или тащат ее; танк идет, машина идет, конь ковыляет; солдат бредет вперед на запад, поминая к разу кого надо и не надо. А кухня отстала! Все-то она отстаёт, проклятая, во все времена и войны отстает. Но есть солдату надо хоть раз в сутки! Если три раза, так оно тоже ничего, хорошо три-то раза, как положено. Один же раз просто позарез необходимо.

Глянул солдат налево — картошка растет! Глянул направо — картошка растет! Лопата при себе. Взял за пыльные космы матушку-кормилицу, лопатой ковырнул, потянул с натугой — и вот полюбуйся: розоватые либо бледно-синие, желтые иль белые, что невестино тело, картохи из земли возникли, рассыпались, лежат, готовые на поддержку тела и души.

Дров нету, соломы даже нету?! Не беда! Бурьян везде и всюду на русской земле сыщется. Круши, ломай через колено, пали его!

И вот забурила, забормотала картоха в котелке. Про родное ведь и бормочет, клятая! Про дом, про пашню, про огород, про застолье семейное. Как ребятишки с ладошки на ладошку треснутую картоху бросают, дуя на нее, а потом в соль ее, в соль и — в рот, задохнувшись горячим, сытным паром.

И нет уж никакой безнадежности в душе солдата, никакого нытья. Замокредло только малость в глазу, но глаз не эта самая, ну как ее? Вот уж и название забывать начал, не говоря про запах. Словом, глаз, как известно, проморгается!

Поел картошки солдат, без хлеба поел, иной раз и без соли, но все равно готов и может вперед двигаться, врагу урон наносить.

Случалось, воды нет. В костер тогда картошку, в золу, под уголья. Да затяжное это дело, и бдить все время надо, чтоб не обуглилась овощ. А когда бдить-то? В брюхе ноет, глаза на свет белый не глядят от усталости. Значит, находчивость проявляй — в ведро картошек навали, засыпь песочком либо землею, чтоб не просвистывал воздух, и через минуты какие-нибудь кушайте на здоровье продукт первой важности, в собственном пару! А то еще проще простого способ есть: насыпь полную артиллерийскую гильзу картох, опрокидывай ее рылом в землю, пистоном

вверх, разводи на гильзе огонь, а сам дрыхни без опаски. Сколько бы ты ни спал, сколько бы ни прохлаждался — картофель в гильзе изготовится так, что и шкурку скоблить ножом не надо — сама отлупится!..

Нет, я снова о памятнике речь завожу! Картошке, из которой люди наловчились по всему белу свету готовить с лишком две тысячи блюд, опоре нашей жизни — никакого внимания. По гривеннику всем людям труда — главным картофелеедам — собрать, и пусть самые талантливые художники, самые даровитые скульпторы придумают памятник! Тот, кто умеет сочинять гимны, должен найти самые торжественные слова, и самые голосистые певцы споют картошке гимн на самой широкой площади при всем скоплении народа.

Не знаю, кто как, я плакал бы, слушая тот гимн!

* * *

Мальчик идет по заросшей тропинке из бани. Жилки травы-муравы, стебли подорожников попадают меж пальцев; тряпично-мягкие цветки гусытника, головки дикого клевера и ворожбы щекочат промытые, чуткие ступни ног. На меже сверкает конопля, сыплют семя лебеда и полынь, шеборша по листьям лопухов и застарелого морковника. Жалица, пучка, жабрей, чернобыльник чуть слышно шелестят, а вот белена и лопушистый хрен будто в мокрой шубе. Бочком меж них хотел проскользнуть мальчик — не вышло, штаны намокли, тяжелеют и сползают с живота.

Вот и борозда, что широкая дорога, тоже вся поросла пастушьей сумкой и ползучей липкой мокрицей. Удалившись на такое расстояние, где не слышен плеск воды, шум пара на каменке, аханье веников, шальные взвизги девок, мальчик озирается осторожно и приседает на корточки у межи, отделяющей огород соседей. Затаив дыхание высматривает сквозь чащу бурьяна и тонкого аржанца, будто сквозь густой отвесный дождь, одному ему известное таинство.

Конечно же, как у всякого делового человека, тайн у него дополна, и он их может поведать другу или дедушке. Вот за баней черемуха. Старый ствол ее умер и засох, вершина обломилась, упала, изорвав сплетения хмеля, опутавшего ее, и прет теперь черемуха в межевой гущине, от пня наперегонки рванулись коричневые гибкие побеги. Черную кору упавшего дерева сорвало ветром, комель подолбили дятлы, источили короеды и муравьи.

В сухой выбоине старого пня, под навесом рыжего гриба-тутовика, устроилась на жительство птичка-невеличка, тихая мухоловка с алой грудкой. Возле нее хахалем вертелся мухолов, которому хотелось петь и веселиться, но хозяйственная, смиренная мухоловка успокаивала его, грустно и терпеливо объясняла, что живут они в соседстве с людьми и следует вести себя скромно. Мухолову семейный прижим надоел, он подался в другое, видать, более разгульное место.

Оставшись покорной вдовицей, мухоловка накрыла маленьким телом гнездышко, и скоро под нею оказались яички чуть больше горошин. Из горошин тех выклюнулись гадкие, на маму совсем непохожие птенцы, но они быстро начали выправляться, и то на голове, то на заде перо у них высывалось, рахитные пузца усохли, башка вытянулась в клюв, птенцы как птенцы сделались. Пустое гнездышко лежит в черемушном пеньке, мухоловка с ненасытным, писклявым семейством переселилась в межевые заросли — смекайте, дескать, деточки, сами пропитанье, я уж совсем измоталась без мужа. Она и сейчас вон подает голосок из бурьяна: «Ти-ти! Ти-ти! Ти-ти...» — «Спите, спите!» — птенцов увещевает, а у мальчика тоже рот потянуло зевотой — пора отправляться на боковую.

Да, напомнила ему мухоловка другую птичку — белобрюхую ласточку, что каждое лето лепила себе гнездо под застрехой артельного амбара.

Ласточка с ликованием носилась над рекой, взмывала вверх, к облакам, падала на воду, кружилась над домами, над лесом, над горами, впархивала во дворы, сделав вид, что совсем она сюда случайно угодила, стремглав неслась по улице над самой дорогой, щебеча, чурлюкая, всех извещая, что прилетела она из дальних стран и так стремилась к родной сибирской деревушке, прошла сквозь такие расстояния, беды и бури, что совершенно теперь счастлива и, отпраздновав возвращение, порезвившись в радости, сразу же возьмется за дело, отремонтирует гнездышко под застрехой, высидит детей и станет ловить комаров и мошек, и пусть люди не беспокоятся, что она все будет играть, играть и совершенно потеряет голову.

Не потеряла ласточка голову и помнила о своем назначении, думала о будущих птенцах. И все же... все же счастье возвращения ослепило ее, она охмелела и забылась. А маленьким и беззащитным существам никогда не следует забываться.

Прищулив меткий глаз, мальчик метнул камень и сшиб белогрудую ласточку над огородом. Дрожа от охотничьего азарта, он схватил птичку с гряды, услышал ладонями, как часто, срывисто бьется крохотное сердце в перьях. Клюв открывался беззвучно, круглые глаза глядели на мальчика с ужасом, недоумением и укором...

В руку перестало тыкать, глаза птички подернулись туманцем вечного сна, головка опала. Раскрывая ногтями скорбно сжатый клюв, мальчик пускал в него теплую слюну, пальцами поднимал голову, крылья птички, подбрасывал ее, надеясь, что пичужка снова полетит, но птичка скомканно опала на землю и не шевелилась.

Мальчик выкопал стеклом могилку в тени черемухи, устелил ее палыми листьями, завернул ласточку в тряпицу и закопал. «Шило-мотовило под небеса уходило, по-бурлацки певало, по-солдатски причитало...» — вспомнилось ему бабушкино присловье. Вспомнилось, как стояла она на крыльце, глядя из-под ладони на ликующую ласточку, крестилась: «Вот еще одно лето нам ласточка на крылышках принесла...» И, не переставая умильно улыбаться, тыкала концом платка в уголки глаз.

Долго и недвижно сидел мальчик под черемухой над маленькой могилкой птички, не мог понять смерть, но первая четкая мысль все же вызрела в нем: «Я никогда никого не буду больше убивать».

Наивный мальчик! Если бы все в мире делалось по желанию и разуму детей, не ведающих зла!

За весну на птичьей могилке выросла трава, другим летом поднялась и кудряво зацвела пестрая саранка. «Это ласточкина душа вылетела из темной земли», — подумал мальчик.

Много секретного в огороде! В межах, за постройками, за баней, за городьбой — везде секреты, там вон, у глухой, сопрелой стены сарая, секрет особенный — второй год там растет маленькая, но уже кудрявая бузина-пищалка, и никто-никто не знает, что она там растет, и только когда пищалка делается выше мальчика и появятся на ней мелкие, алого цвета ягоды, он покажет ее деду. На дальней гряде, что против бани, после каждой пахоты мальчик находит костяные бабки. Ровно бы кто их рождает в земле, и весной они солдатиками выпрыгивают наверх. Еще из секретного сусликовая нора возле горы была, но веснами сверху катился снеговой кипун. Пьяно дуря, он летел в лог с гамом и лязгом, казалось, до того разойдется, что в конце концов не только мальчишко подворье, но и все село смочит в реку. Каждую весну кипуном вымывало сусликов из норы, и не выдержали терпеливые зверюшки мучений, умерли от простуды иль подались с худого места в горы, на пашню.

Весенними потоками в огород натаскивало всякой всячины: камешник, семена трав, диковинные выворотни, старые маральи рога, скелеты погибнувших птиц, луковки цветов.

Как-то уронило жерди и забросило в огород куст смородины. Мокрый был и живой куст, поймался корнем за бок бочажины, растет, жирея с каждым годом и раздаваясь, и черные ягоды начал рожать, не поспеешь их ошипать — воронье или дрозды склюют, поздней осенью по воде бочажины гоняет листья смородины. Но вот беда — лягушата под смородиной летуют, а на лягушат черная змеюга охотится. И прежде чем подступиться к смородине, мальчик швыряет камни в куст, топает ногами, кричит, сатанея от нагоняемого на себя гнева.

Целый мир живет, растит потомство, шевелится, поет, плачет, прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода. Кузнецы вон взялись за дело, секут по всей округе траву под корень.

Один кузнец проспал, видать, назначенное время и разогревает в себе машинку. Сердитый звук: «З-з-зык! З-зык!» — раздастся в капусте. Сказывают, будто козьяка эта прыгучая издает звуки крылами, но мальчик твердо верит — в брюхе у нее есть игрушечного размера сенокосилка.

* * *

Не все огороды на селе строги, деловиты, незыблемы. Наезжий народ со всячинкой селился в этих местах, и всяк распоряжался землей как хотел и умел.

Если крестьянская изба напоминала ликом хозяина, то огород всегда по хозяйке, по характеру ее и сноровке. Вроде бы вот они рядом, огороды, земля одинаковая, солнце одно и то же греет, дожди одни и те же на гряды с неба брызжут, воду на поливку из той же реки на коромыслах носят — ан фасон и урожай огородов разный, значит, и ход жизни в двух семьях несхожий.

У одной хозяйки огород что светилица: грядки к грядкам ровненькими нарядными половиками расстелены, морковные гряды, присыпанные опилками, чтобы всякая не портила, поднимаются сдобными пирогами, борозды меж гряд глубокие, все посажено к месту, все рядом да ладком; которая овощь водолюбива — поближе к воротцам, которая и от дождя вырастет, та подальше, чтоб не мять ее лишку, не топтать зазря землю и борозды не спускать ногами.

У другой бабенки на огород глянь и сразу определишь: растяпа, межедомка, может, и пьянчужка. Гряды так и сяк у нее в огороде, одна узкая, другая широкая, борозды не прокопаны, криво, кой-как натоптаны; овощь где густо плюнута, где ветром дунута; воду льет без разбора и смыслу, то два раза на дню, то по неделе ни росинки. Понятно: в таком огороде сорняк из низких борозд на гряды прет, давит всякое полезное растение, обескровливает его. Ребятишки, свои и чужие, партизанят в таком огороде, зеленцом еще овощь таскают, оголят огород, и живи как хочешь, ешь хлеб с кырлыком, с сорняком, стало быть, а на одном хлебе немного наработаешь, да и не хватит хлеба до нового урожая без хорошего приварка.

Везде и во всем любовь нужна, раденье, в огородном же деле особенно. Красота, удобство, разумность в огороде полезностью и во всем хозяйстве оборачиваются. Есть хлеб, есть овощи, сыты работники и дети, обихожена скотина, значит, и в семье порядок, ни ругани, ни раздоров, все довольны собой и жизнью, уважительны к соседям, независтливы, гостя посадят не за полый стол, и самим не стыдно на люди показаться. А чем одежда, обувь и уважение людей добыто? Раденьем! Трудом! Уверенность, солидность в жизни дает человеку земельный упорядоченный труд!

Надо сказать, что земель баловались и вели хозяйство как попало все больше поселенцы — перекаати-поле. Они и городьбу-то порой не ладили, вместо огурцов и помидор, требующих труда, каждодневной поливки и прополки, сажали цветы. Один бывший каторжник, веселый человек, ягоду посадил. Отроду ягоды в той местности носили из лесу, и вот тебе на: огородную землю ягодой заняли! И называлась та ягода не черницей, не земляницей и не брусницей — вик-то-ри-ей!

Викторию ту лихие деревенские «огородники» еще зеленую выдрали с корнями и съели, ничего ягода, хрушкая, однако с лесной не сравнишь — воды в ней много и духом слаба.

Больше в селе викторию садить никто не решался, и постепенно о ней все забыли. И не случалось бы огородных причуд, если бы бабка мальчика не была выдумщицей и не приплатила бы из города чудные какие-то семечки: одно плоское, сердечком, на огуречное похожее, но гораздо больших размеров. Посадила бабка то семечко на самом конце гряды, возле бани, и поскольку не верила в его полезные свойства, забыла про него. Другое семя — хлеще того! — смахивало на дедушкин зуб, коричневый от табаку, костяной твердости. Бабка размочила семя в чашке вместе с бобами и небрежно воткнула меж луковиц.

Долго ничего не появлялось из земли. Сорная трава мушиной гущиной по всему огороду расползлась. Людское и ребячье наказание — трава. Поли ее, проклятую, ломай все лето поясницу, отсиживай ноги, истязай до трещин руки, жалься о крапиву до пузырей...

Крестьянское дитя как-то само собой и в огороде оказывалось — не на кого оставить в избе, на дворе грязно, скот, собаки, вот бабка или тетки и прихватят мальчика с собой. Лазит малый словно в непроходимых дебрях, того и гляди потеряется насовсем. А девкам развлечение: «Девки, а где же у нас парнишко-то? Не видать чего-то? Уж не заблудился ли? Курицы его не заклевали бы! А-у-у-у!» — приподняв лицо от гряд и глядя на загородный лес, кричали тетки.

Малый — не промах, западет в борозде под листья, и ни гугу. А тетки его ищут, тетки его ищут! Бабка клянёт их, ругательски ругает: «Вам бы, халдам, токо беситься! Токо бы зубоскалить! Робить кто будет, нечистый ваш дух?!»

Жутко в борозде под листьями лежать, рядом с глазом мохнатая гусеница лист дырavit, лап у нее сколько, глазу ни одного. Тут же острыми клыками усатый черный жук перекусывает муху пополам. Носорог брюкву точит, аж головой в кругляк влез! Серые слепни мальчика тычут, до крови кусают, мошка тоже не дремлет, в нос, в уши, в глаза набивается, разъедает их — долго не выдержать, выскакивать надо из укрытия, но раздвигаются прохладные кущи, солнце в глаза бьет, крик над головою: «Во-о-он он где, варначина! Имай его!»

С хохотом и звоном ударится малый бежать по огороду, тетки следом за ним, кричат, ловят и до самой реки его, совсем уж ошалелого, допрут, а там ну брызгаться, ну дуреть, норовят малого в воду плюхнуть. Он уцепится за тетку, с мясом не оторвешь, орет, призывая бабку на помощь. Бабка тут как тут: катится с яру, машет хворостиной. «Й-и-я-а-а-а вот вам, кобылищи экие! И я вот отхожу которую! Глико, почернел весь парень — перепугали!» Девки врассыпную, на ходу кофтенки, юбки сбрасывают — и бултых с визгом в воду, машут руками, ногами бьют, брызги до неба! Бабка по берегу бегает, хворостиной машет, никого достать не может.

Утихомиранные, освеженные водой, снова плетутся работники в огород, под палящее солнце, и малый ковыляет следом. Мошка жрет, пауты пулями бьют, комар тоже своего не упустит, к вечернему мороку явится.

Помаленьку да полегоньку от игр и забав переводили малого человека к работе, незаметно, вроде играючи, проделывали «профориентацию» — учили сорную

траву отличать от огородины: «Вот свеклка взошла, а вот вместе с нею лебеда, полынь и гречка дикая. Они и цветом, и фигурой под свеклу обрядились, но все одно не обмануть им глазу человеческого, с исподу глянь — в пыльце они седой и цвет багряный пожиже у них; мокрица, дрема и манжетки под редиску и репу рядятся да скоренько расти норовят и тем себя выдают. Ну а за морковь чуть ли не весь травяной мусор ладит сойти — и мышехвостик, и куриное просо, и клоповник, и всякая дрянь такими невинными ресничками на свет белый является — ан распахнулись реснички и нету меж них лапочки морковной, кружевца зелененького!..»

У всякой-то овощи, у всякого злака, оказывается, есть двойник, иной раз много двойников-кровопийцев, и все-то они хитры, коварны, напористы. Пока изваженное да избалованное человеком огородное растение укоренится, пока с духом соберется, закаленные в вечной борьбе сорняки не дремлют, идут вглубь, захватывают пространство, цепляются в землю и на земле за что придется, душат, соки из овощи сосут, обескровливают огород...

Сколько игр не доиграл из-за копотной работы мальчик?! Сколько ребячьих радостей недополучил, потому что следом за «профориентацией» начиналось и «трудо-вое воспитание». Было оно просто и, как выразились бы нынешние высокоумные педагоги, — «эффективно-действенно». Мальчика, отлынивающего от утомительного труда, брали за ухо и тыкали носом в землю: «Хочешь есть — работай!»

Однажды полол мальчик луковую гряду (морковные и другие гряды с мелко-ростом ему еще не доверяли, лук можно, лук хорошо различается), полол, ноя под нос тягучую песню, отмахиваясь грязными руками от мошкар, звенящей рыжей осы, и внезапно пальцы его ухватили непривычное для рук, крепкое растение, упругой щепотью пропоровшее землю. Приглядевшись, мальчик сообразил — ОНО! Взошло! Вот тебе и на! Не верилось, что есть в костяной середке семя живина, способная воспрянуть и прорасти, а оно вот проросло, изобразилось!

Как мальчик ухаживал за тем растением! А ОНО, радуясь заботе, поливке и черной земле, высвобожденной от сорняков, перло без устали вверх, опуская одно за другим ременные шероховатые листья. «Ух ты, матушки мои!» — захлебывался восторгом создателя мальчик и мерился с загадочным созданием природы, норовившим обогнать его в росте.

Благоговейно притих мальчик, когда обнаружилась в пазухе длинных скрипучих листьев куколка, завернутая в зелень пеленок. За ней другая, третья. Детенышам холодно было северными ночами, они изморозью покрывались, но все же пересилили природные невзгоды, и чубчик белый-белый у каждой куколки из-под одежек выпрыснулся. «Ух ты, батюшки мои!» — прошептал мальчик, совершенно потрясенный, и, не поборов искушения, расковырял пеленку на одном детеныше и обнаружил ряды белых, одно к другому притиснувшихся зерен. Зажмурившись, мальчик куснул зерна, и рот его наполнился сладким, терпким молоком. Об таком диве невозможно было не поведать людям. И люди эти — соседские парнишки, без лишних разговоров слопали то диво вместе с белыми чубчиками, с хрусткой палочкой, заключенной в середку сладкой штуковины.

Доживет мой мальчик и до той поры, когда захлестнет всех кукурузная стихия, с недоумением узнает однажды, что и в его родной деревне, где иным летом картофель в цвету бьют заморозки, лучшую землю пустят под «царицу полей» — ту самую забавную штуковину, которая как-то ненароком выросла в огороде один раз, да и то до сметанно-жидкого зерна лишь дошла.

* * *

Военные пути-дороги приведут моего мальчика к спаленной крестьянской усадьбе, и вид пожарища, уже облитого дождями, сгоревший огород потрясут его своей космически-запредельной остылостью и немотой.

Черная картофель с вылупившимися балоболками, скрюченная сверху и чуть живая снизу; редьки и брюквы в черных трещинах; одряблые, простоквашно-кислые дыни; унылые морды подсолнухов с космами свернувшихся листьев — все-все в огороде оглушено серым тленом, ночной тишиною. Черные вилки капусты блазились головами вкопанных в землю людей; гнойно сочащиеся помидоры — недожаренным мясом с подпаленной мускульной краснотою; белые сваренные огнем сплетения лука — клубками поганных глистов.

Поперек гряды на рыжих огурцах лежала женщина в разорванной полотняной сорочке. Яростными бельмами сверкали ее остановившиеся глаза, в зубах закушены стон и мука. К груди женщины, будто бабочка-капустница, приколот ножевым штыком мальчик-сосунок. Когда наши солдаты вынули штык из жиденькой его спины и отняли от материнской груди, всех сразило умудренно-старческое личико ребенка. В довершение ко всему откуда-то взялась хромая цыпушка. Осипло клохча, припадая на тонкий сучок перебитой лапки, она рванулась к людям, ровно бы ведая — наши, русские вернулись, и она, единственная на убитом подворье живая душа, приветствовала их и жалилась им.

Доведется моему мальчику хоронить ленинградских детей, сложенных поленицами в вагоне, умерших от истощения в пути из осажденного города. Побывает он в лагере смерти и не сможет постичь содеянного там, потому что, если постичь такое до конца, — сойдешь с ума. Переживает он тысячи убитых солдат, стариков, детей, женщин, сожженные села и города, загубленных невинных животных. Но вот огород, с черными вилками капусты на серой земле, гряды с червиво свитым белым луком, ребеночка, распятого на груди матери, оскаленное лицо молодой женщины, до конца сопротивлявшейся надругательству, цыпушку, инвалидно припадающую на остренькую лапку, он будет помнить отшибленно ото всей остальной войны — намертво врубилось в него то первое потрясение.

В пышных украинских огородах помидоры вызоривались не как дома, не в старых валенках и корзинах на полатах, а просто среди гряд на кустах; не из садовки, из сеянца здесь вырастали луковицы в кулак величиной. Темнокорые гладкие баклажаны сдавливали кусты, и, не зная названия овощи, солдаты называли их соответственно форме — хреновинами. Кукуруза росла полями, початки созревали на ней до желтизны, и молотили их тут на зерно, белые чубчики и стержни не ели, ими топили печи, потому что тайги здесь нет и с дровами туго. Подсолнухи росли тоже полями — и желтые тучи поднимались над пашней, когда дул ветер, и воровать солновороты здесь не надо было, бери, ломай сколь хочешь, шелуши семя. Арбузы валялись беспризорно на земле, и, коль смотреть издаля, вроде ни к чему они и не приклеены, вроде их как попало с самолета по полю разбросали.

Без зависти, с притаенной веселостью вспоминал мальчик, как греблись по-собачьи деревенские его корешки и он вместе с ними к плотам, проплывающим мимо села из теплых краев с торгом. Родная его река пересекала всю страну поперек, и если в устье ее еще стояли вечные льды, то в истоках уже созревали арбузы. Вытаращив глаза от надсады и жуткой глубины под животом, парнишки выстукивали зубами: «З-зу-зу!...»

Выбрав из пестрой пирамиды что-нибудь загнившее, бросовое, плотогонны швыряли кругляш в реку, и, обалдевшие от фарты и холода, отталкивая друг дружку, парнишки пихали по воде носами, лбами, рылами арбуз к берегу, а он вертелся мячом на быстрине, усмыгивал от них, и то-то переживаний было, то-то восторгу, когда наконец изнемогающие пловцы достигали берега и принимались с аптечной точностью делить рожденный в теплых краях расчудесный плод. Да редко, очень редко бросали с плотов арбузы. Чаще огрызенные корки. Но и коркам были рады ребятишки, съедали их вместе с красивыми полосами, считая, что такой драгоценный плод употребляется в пищу весь без остатка.

Фрукты, арбузы и всякие другие сахарные плоды и сам сахар на родине мальчика надежно заменяли паренки из брюквы, свеклы, моркови. Да еще ягоды, которых тут столько рождалось, что иными летами не корзинами, коробами из тайги ягоду возили, отправляясь за нею семьями. Бабушка сказывала, когда он осиротел и не на кого было его оставить, вместе с зыбкой прихватывали малого в тайгу, привязывали зыбку за сук кедра — и на приволье, таежным духом утишенный, посапывал он. Оберут ягодники одну елань, зыбку перенесут дальше, на другое дерево перевесят, а он, глупый, даже не почует «вакуации». Проснется же когда, заорет — ягодок в тряпочку намнут, засунут в рот — он и довольнехонек, чмокает полезительную сладь. «Учучкаешься, бывало, в чернице до того, что пуп сорвешь, хохотавши».

* * *

Побывал с войском и за границей мой мальчик, повидал ухоженные огородики, где каждый вершок земли к делу, к месту, и порой ограду заменяют полезные кустарники: горькие дикие мандарины, гранаты, зерном похожие на российскую костянику, крепкий самшит, седовато-черный виноград. В поднебесье, на уступах скал, встречалось что-то похожее на огород, землю туда носили мешками и корзинами. Случалось, темные люди темной ночью уносили такой огород целиком и полностью, вместе с жалким урожаем и землею, обрекая на голодную смерть семьи горцев.

Дивился в далеких краях и землях маковицам величиной с мячик, брюквам в пуд весом, картошки капывал по ведру из гнезда, помидорами «дамские пальчики» боевые сто грамм закусывал, розовым луком, от которого окриветь можно, картофельную драчону приправлял, озу, в необхватные кавуны из автомата стрелял, любовался цветущими садами, даже черную розу зрел и царственную магнолию; и было, было, что уж теперь греха таить, в бессарабские виноградники по-пластунски лазил и как-то всю ночь давил там с одной смуглянкой-молдаванкой оч-чень дурманное и сладкое вино.

Однако не напрасно говорится: «Хорошо на Дону, да не как на дому», — и перед глазами мальчика всегда был тот, жердями и бурьяном окруженный огород, где трудно росла овощь, вечно боящаяся не вызреть из-за ранних холодов, украдкой ползущих по распадку. В том огороде мальчик видел раду. Одним концом она начиналась в зеленых грядках, а другой ее конец защемило в скалистом распадке. Радуга вся была из цветной пыльцы: маково-алой, подсолнушно-желтой, морковно-зеленой, и еще там был цвет совершенно неуловимый и недоступный глазу, такой цвет мальчик видел, когда нырял в воду с открытыми глазами, цвет немого царства, цвет голубовато-нежный, прозрачный. Вот в таком замороженном царстве обитали бесплотные тихие русалки и ангелочки с крылышками, какие нарисованы на бабушкиных иконах.

Мальчик, не сознавая своего порыва, двинулся на ему лишь слышный зов радуги, но радуга, околдовавшая его, отодвинулась к меже, опустилась в бурьян, и, когда мальчик, жаясь о крапиву и не замечая того, вошел в межу — радуга уже за оградой, в логу оказалась. И, опечаленный, он остановился — радугу ему не догнать, не прикоснуться к ней. Радуга — это красивый несбыточный сон.

В сельском огороде случилось еще чудо: из семечка-сердечка, привезенного бабкой, вылупилось растение с громадными оранжево-оружными цветами и зеленой змеей изогнулось в жалице, из жалицы взялось на городьбу, с городьбы по углу бани взобралось на крышу, уж к трубе подползало и куда б долезло — одному Богу известно, да тут лето кончилось, ударил первый звонкий утренник. Унялась, объяла пронырливая диковина, цветы ее могильно смялись, веревка мохнатого стебля сделалась студенистой, шершавые листья обратились в бросовое тряпье. Но какое удивление, какой восторг охватил малый да и взрослый народ, когда под листьями, в глубокой борозде объявился желтопузый, в банный котел величиною, ребристый кругляк. Нечаянно мальчик нашел затаившиеся в жалице еще два плода, продолговатых и тоже ребристых, что стиральная доска. Сгреб мальчик под мышки бледнопузых этих поросят, домой доставил, будто счастливый золотоискатель самородки. Самой уж поздней осенью, когда проредилась и упала на меже дурнина, за огородом, почти в самом логу отыскалась еще одна тыква, но все нутро ее выклевали пронырливые курицы.

С того лета по сию пору буйствуют в огородах далекого села тыквы, которые бабка за пузатость тоже называла шеломенчиками и нарадоваться не могла веселым, солнцегоким круглякам, молиться, говорила, надобно на неведомого базарного человека, который такое ей редкостное семя продал. «Пусть растет! Пусть фулюганит!» — кричала бабка, одаривая односельчан семенами буйного плода.

В войну тыквенная каша шибко выручала селян. Детям, своим и эвакуированным, ее как лакомство давали; больных на ноги тыквенная каша поднимала. Да и посейчас еще в трудовой семье мальчика нет-нет да и купят тыкву на базаре и заварганят — для разнообразия стола. Кашу с молоком и пшенкой едят да бабку за трапезой вспоминают: «Легкая рука у человека на овощ была!» Недаром ее сеяницей в селе нарекли, наперебой тащили садить и сеять особо капризную овощь — никто на селе лучше бабки не ведал, кого с кем мирить в огороде.

Если бы огород был памятен только тем, что вскормил и вспоил мальчика, дал ему силу и радость жизни, первые навыки в труде, он бы и тогда помнил его свято, и так же трепетно билось бы его сердце, как бьется ныне, когда по всей Великой Руси обнажаются из-под снега, вытаивают вспоротые квадраты земли на задах дворов, по-за селом, в опольях, на загородных пустырях, на склонах гор и подле железнодорожных путей, в болотинах и песках, возле озер и рек — повсюду, где обитают живые люди.

Не служат нынче молебнов при начале страды, не окропляют землю водою, освященной с иконы богородицы плодородия — Деметры, не приколдовывают хрушкой огурец с помощью зарытого в гряды пестика, да и сам огород сделался утомительным придатком жизни, особенно для горожан. С лопатами, с граблями, с мешками, на переполненных электричках, в автобусах и пешком приходится им тащиться за город на отведенный «участок».

Но не могут люди бросить землю, велика привычка и тяга к ней, вера в нее: а вдруг беда какая? Неурожай? Засуха? Война, не дай Бог, снова? На кого и на что надеяться тогда? На землю. Она никогда не предавала и не подводила, она — кормилица наша, всепрощающая, незлопамятная.

Копают мальчик участок за городом, ловит носом дух прелой ботвы, печеной картохи, нарождающейся травы, и видится ему качнувшаяся под берег изба, огород

за нею с бурьяном, переломанным, измочаленным зимней стужей и ветрами. Снег за банею и под яром еще сереет, а в бурьяне уже кукишами торчит трава, которую и слепой знает, — жалица. По огороду в белых кофтах и платках старухи, ребятишки, девки рассыпались, сгребают прошлогоднюю ботву, зимний прах и хлам сметают в залитую до краев бочажину, песню заводят и тут же бросают ее, громко смеются, говорят про что-то, а голая внешняя земля чадит синеватым дымком, угарно бредит теплом и зеленью.

В избе еще с февраля по всем окнам садовки в ящиках стоят, семя в старых посудилах мокнет, картошка на полу рассыпана — прорастает; бабка чесноковины членит на посадку, лук сортирует — ослепла бабка, и ноги у нее отнялись — на ошупь действует, не может жить без разноделья.

На осиновых жердях, мокро сочащихся на срубках, привезенных из лесу за-тыкать проломленную городьбу, менять одряхлевшие прясла, сидит дед, закрутив обсекавшиеся, но все еще франтоватые усы, табак курит — оч-чень он любит это занятие, курит и на коня глядит. Может, и не на коня, может, смотрит он в далекую задонскую землю, откуда еще молодым лихим казаком прискакал он в Сибирь с отрядом кого-то покорять, но сам был покорен и взят в полон разбитной веселой сибирячкой, да и застрял на веки вечные в северной стороне.

С гор вразнохлест катятся мутные потоки, проскабливают лед, и он, просо-санный донной грязью, дырявится, киснет, будто перестоялое тесто. Вдоль лога и по увалам от ветрениц бело, хохлатки мохнатятся, баранчики желтыми ноздрями к весне принохиваются, кандык и саранки копай сколько хочешь, лакомясь жирными луковками. Подле деда свои и чужие ребятишки толкуются. Выбирают таловые пру-тья, на вязанье резанные, пикульки из прутьев мастерят, дуют, свистят. Птицы от ребятишек не отстают, заливаются всякая на свой лад.

Чинят городьбу мужики, гребут хлам в кучу ребятишки и женщины. По всей российской земле, из края в край горят весенние костры, как и во все времена, идет уборка земли, словно горницы перед большим праздником. Ухают, блажат истос-ковавшиеся по лугу коровы, кружит коршун над проталинами, трясет колокольцем жаворонок, утки плюхнулись в лог.

Нет уже деда и бабки, и огорода того, наверное, нету, да и дома тоже. Смыло его вешноводьем под яр, ударился он морщинистым лицом в обмытые рекой камни, и рассыпались его старые кости. Не блажат коровы, не блаженствуют в лужах чуш-ки, не култыхает конь по старой меже — нету коней на селе, заменили их машины.

Но отчего, почему все видится и слышится так явственно? И сердце летит-ле-тит в те незабвенные дали... Всю жизнь летит, в особенности веснами, и никак не приземлится, вечно бредятся какие-то перемены в жизни, хотя ведь знает же — все на земле идет кругом, все в этом круге установлено разумной чередой: следом за весенними огнями и приборкой земляной труд начинается: пахать люди будут, бо-ронить, сеять, в огородах овощь садить. Потом всходы пойдут. И снова, и снова, удивляя мир чудом сотворения, еще недавно бывшая в прыску земля задышит глу-боко, успокоенно, рожая плоды и хлеб.

Цыпушки зачиликают во дворе и тайными ходами, с младенчества известны-ми их маме, проникнут в огород. Люто ругаясь, бабы привычно станут выгонять их, поднимая на крыло; кого-нибудь из девок во время сева иль прополки чикнет забравшаяся под подол оса, и забегает девка по огороду, без разбору топча овощь. Парни-зубоскалы станут помогатьсы вытащить из укушенного места жальце. Де-вка — существо притчеватое, за насмешку над ней Бог наказывает особо: на сенокосе найдет из гнезда попавшего под косу свирепого шершня, и оставшийся по вине косца бобылем шершень своротит просмешнику морду набок. Девки по очереди целовать укушенного примутся, исцеляя страдальца таким испытанным методом, а

все другие парни станут завидовать и мечтать, чтоб их тоже укусила какая-никакая козьявка.

Да, если бы судьба одарила мальчика только этими радостями — и на том ей поклон земной! Но она щедрой у него оказалась и отвалила ему в детстве еще такое, что не каждому и во взрослой-то жизни выпадает...

Опустившись на корточки, мальчик высматривает сквозь межевые заросли свою главную тайну. В частом, отвесно падающем травяном дожде находит он просвет — то тропка, ведущая к соседям. В просеке бурьяна, сомкнувшегося вверху, слабо мерцает, множится отблеск света.

Там, за окном, в соседской избе, при свете лампы расчесывает волосы девочка, белые, мягкие, словно пух одуванчика. Девочку не видно, и окно не видно, однако мальчик знает: девочку помыли в бане, и она расчесывает волосы, глядясь в старое, большое зеркало, занимающее почти весь простенок меж окон. В недвижной глубине зеркала плавают звезды, клешнястые жуки, паутина по углам клубится, похожая на траву, прихваченную инеем.

Оттуда, из бездонных глубин зеркала, из растений, белых и недвижных, надвигается и смотрит на девочку другая девочка, лобастая, худющая, с широким ярким ртом, расширенными, слегка выпученными глазами. Такие глаза бывают у детей, когда им оспу на руке железкой процарапывают. Девочка водит гребнем по волосам, рассыпавшимся на костлявые плечи, на дугами выступившие ключицы, и в волосах просверкивают искры — аж дух захватывает от такой дьявольщины.

Девочка появилась в жизни мальчика ошеломляющим наваждением, как и должны появляться роковые женщины-присухи. Он чем-то занимался на задах огорода, возле бочажины, может, саранки копал, может, пикульку мастерил, может, медуницу рвал, может, ершей собирался рыбачить и сучил леску из кудели, привязав ее к жердям, и внезапно что-то услышал, почувствовал.

Он оторвался от дела, поднял голову и увидел ЕЕ.

На старой, изжитой траве, под которой пробудилась бойкая зелень, по другую сторону лога, заполненного до краев мутной водою, стояла и плакала девочка в синеньком платьишке. Сердце мальчика сжалось от насквозь его пронзившей жалости — очень уж крупные слезы катились по лицу девочки и скапливались в некрасиво сморщенных алых губах. Да и худая, шибко худая была девочка, хворая, видать. А хворых мальчик жалел, потому что сам всю зиму «на ладан дышал». В руке девочка держала такие же, как ее платье, синие цветы в белом крапе. Присмотревшись, он различил: девочкино платье тоже в крапе и с белой оборкой, но полиняло от стирки, и белое на нем осинилось.

Девочка стояла меж толстых льдин, и перед нею из воды остро торчали вершинки краснотала, верба сорила пух, по березнику, ободранному отводинами сарней — зимой через лог пролегала дорога, — порснули зеленые брызги, мохнато цвела боярка по разлобью. Над головой девочки сияло солнце. Суслик стоял столбиком и чикал на девочку, не то ругая ее, не то стараясь напугать. На кучах назьма, вывезенного в лог и подмытого водой, дрались воробьи, свившись в клубок, так клубком и скатились они в холодную воду, тут же рассыпались по кустам и как ни в чем не бывало принялись сушить себя клювами. По логу брели парень и мужик, волоча за собой сеть-одноперстку. Мужик был пьяный, спотыкался, валился боком в воду и обожженно завывал. Бордовая рубаха кровавым пузырем всплывала за спиной мужика. Парень обрывисто вылаивал: «Жми! Дави водило! Ко дну, ко дну! Не путай сеть! Пьяная зараза! А-апу-у-усти-им!»

В самом углу лога, тонко залитого водой, где пену и сор кружило шалым горным потоком, свежее мелкотравье кипело от икряной сороги, и мужик с парнем

затеяли черпануть рыбу сеткой, а девочка не понимала их намерений, плакала и заклинала: «Папочка, не утони! Миленький папочка! Не утони! Ой, папочка! Ой, папочка!...»

Зарыбачили сорогу мужик с парнем или нет? Дошли до вершины лога или запутали и порвали сеть о коряги — мальчик не запомнил. Но девочка в синем платье, с букетом диких ирисов, растущих за логом, возле муравейника, залитая слезами, повторяющая неведомое в селе, такое смешное, непривычное, но чем-то к добру и ласке располагающее слово: «папочка», — заняла в сердце мальчика свое вечное место и всю жизнь являлась ему вместе с теми подробностями, которые задели его глаз, слух и укатились в глубину памяти: грязная сверху льдина, истекающая каплей и стеклянно роняющая звонкие карандашники на землю; вода, ревушая в устье лога и смывающая рыхлый яр; корова, переставшая жевать и тупо уставившаяся на рыбаков; пастух, козырьком приложивший руку ко лбу и тоже наблюдавший за рыбаками; боярка, мохнато цветущая над головой девочки; шмель, спутавший голову девочки с белым цветком и шарившийся хоботом в пушистых ее волосах, и застрявший в горле мальчика крик: «Акусит!»

Девочка приехала в село с родителями, отец ее брал подряды на выжиг извести. Поселилась семья по соседству с подворьем мальчика. Само собой, девочка стала набиваться в ребячью компанию, да не было у нее ни кукол, ни игрушек, только синее застиранное платье было и розовая линиялая ленточка в пушистой растрепанной голове. Девочка собирала камешки на берегу, дышала на них, облизывала и показывала всем, какие они красивые! Деревенские ребята не умели понимать красоту, их окружающую, тем паче красоту камней, которые они топтали, прогоняли девочку, называя «шкилетиной». Опустив голову с бантом, девочка уходила за лог, собирала разные цветы и, сплетая венки, прилаживала их на голову. А всем известно: ребенок, примеряющий на голову венок, — недолгий житель. И все время девочка пела нездешние, очень красивые и жалостные песни. Песнями своими жалостными, непротивлением злу и роковыми, ангельски-небесными этими венками проняла девочка деревенские стойкие сердца. «Злосчастная, видать», — вздохнули сочувственно, по-бабьи, деревенские девчушки и приняли пришлую играть в «тятимамы».

Мальчик сразу, конечно, сообразил: быть ему «тятей» приезжей девочки — такой же он тощий, хворый, «злосчастный» такой же — и оказал сопротивление, отверг «шкилетину» наотрез. Оставшись бобылкой, девочка не знала, как ей дальше жить, потому как без «тяти» никакой женщине существовать на земле невозможно. Мальчик был хоть и поперешный, но жалостливый, тиранить человека долго не мог. Крякнув для солидности, он наказал хозяйке, чтоб она все по дому спроворила и блюла себя, не то... а сам взял литовку — обломок бутылочного стекла — и отпратился «на сенокос», и наметал стог «сена».

Девочки хозяйничали в заброшенном срубе, который в каждой российской деревне оставлен бывал кем-то, ровно бы нарочно для прятков и разных детских игр и забав. Дожидаясь с работы «самова», хозяйки стряпали оладьи и шаньги из глины, гоношили постели из травы. Мальчикова «мама», ошалелая от счастья, выявила такое проворство в делах, что все девчушки ахали и подсмеивались, мол, хозяин не под стать хозяйке, хил, невзгляден и «ни шерсти от него, ни молока». «Ну и что? Ну и что? — заступалась за своего «тятю» хозяйка. — Зато смиренный, воды не замутит!.. И не пьющий по болести».

Треснуть бы самое за такие слова, но, обретая власть, девочка проявила неслыханный напор и в такой оборот взяла мальчика, что ни дыхнуть, ни охнуть, и покрепче «мужик» спасовал бы. Она не давала «мужу» делать тяжелую работу, заставляла отдыхать и набираться сил, а сама, костлявая, легкая, стремительно носилась по

Ему явилась «жинка» с бантом в пушистых волосах, приветствуя его покаянной улыбкой, зовущей за пределы томительного одиночества и покорности, занимающейся в изможденном теле.

«Возьми! Возьми за ручку!» — послышалось издалека. Девочка тряхнула головой — и в глазах мальчика запорхали лохмы одуванчиков. Уверенно, как фельдшерица, девочка сжала слабые пальцы мальчика и очень уж как-то пронзительно, требовательно и нежно глядела на него. И уразумел тогда мальчик: женщина есть всего сильнее на свете, сильнее даже всех докторов и фельдшеров. Те учатся по книжкам несколько зим, а она тысячи лет создает жизнь и исцеляет людей своею добротой. На что мала, невзрачна эта вот девочка, но уже умеет управляться с больным и помогать ему. Она прижала руку мальчика к своему прохладному выпуклому лбу и, дрожа от коробящей жалости, прошептала: «Ну, назови меня шкилетиной, назови!»

Никто, кроме матери, не мог предложить такое неслыханное бескорыстие, никто! Но матери у мальчика не стало давно, он ее даже не помнил. И вот явилась женщина, способная на самопожертвование, доступное только матери. И хотя был он слаб, испечен болезнью, все-таки почувствовал себя мужчиной и не воспользовался минутной женской слабостью, этим рвущим душу благородством. Вознесенный подвигом женщины на такую высоту, где творятся только святые дела, он с мучением отверг ее жертву. И тоже поднятая мужским рыцарством до небес, задохнувшаяся от ошеломляющих чувств, способных спалить женскую душу дотла, она самозабвенно, больно принялась стучать себя в узенькую грудь его костлявой рукой, поспешно, чтоб не перебили, захлебисто выстаннывая: «Шкилелина! Шкилелина! Шкилелина!»

Слезы хлынули из глаз мальчика и прорвали пузырек. Он прижал ладони к глазам, чтоб девочка не видела его слабости. А она ничего и «не видела». Остановив прожигающие насквозь ее нутро бабьи слезы, обыденно и в то же время с умело скрытым, взрослым состраданием она деловито и покровительственно уговаривала: «Ну уж... Че уж. Ладно уж... Бог даст, поправисси!»

Тетки, бабушка, соседки уверяли потом — выздоровление проистекло от святой воды, от молитвы, которую бабка творила денно и нощно, от настоя борца и каменного масла, но мальчик-то доподлинно знал, отчего перебог болезнь, а вот, поправившись, стал дичиться девочки. Она чувствовала тайну, меж ними зародившуюся, лишившую их свободы, и терпеливо ждала, когда мальчик первым, как и полагается мужчине, подойдет и предложит: «Давай снова играть вместе!» Ждала, ждала и сделалась выше его ростом, избегать парнишек стала, не играла уж в «тяти и мамы» в заброшенном срубе, в лес ходила только с подружками, нагишом при всех не купалась.

Известкарь меж тем выкопал печь в берегу, выжег и загасил в яме известку, после гулял широко, раздольно, взбудоражил все село. Пропив получку, погрузил семью в лодку да и отбыл тихо-мирно в неизвестном направлении.

С рождения укоренившаяся в мальчишке вера: все, что есть вокруг, — незыблемо, постоянно, никто никогда и никуда не денется из этого круга жизни — рухнула! Он был так потрясен, что несколько дней не уходил с берега и, глядя на пустынную реку, причитал: «Уплыла девочка!.. Уплыла девочка!..»

Много лет он носил в себе беспокойство и тоску и так ждал девочку, что она взяла и пришла к нему однажды. В другом платье, в другом облике, но все равно пришла, и он, истомленный долгой разлукой, мучительным ожиданием, счастливо выдохнул, припадая к ней: «Девочка моя!»

Но та, что исцелила его в детстве, осталась в нем таким ярким озарением, что и до сих пор стоит перед ним все в том же синем платишке, все с теми же цветками в руке — дикими ирисами.

Все так же, все то же, только высветленной, ярче, солнечней сделалось там, в далекой дали: грязная льдина рассыпалась алмазами; взбулгаченный лог поголубел, берега его обметало золотом калужника; воробьи, обратившись в радужных зимородков, расселись по гибким прутьям краснотала; боярка душистая, мохнатая, уж не боярка, а какое-то заморское растение; канули в небытие пьяный мужик и парень, завывающие от холода; корова, пустившая жвачную слюну до земли, пастух в драных бахилах, навозные кучи в логу. И девочка была не «шкилетиной» корзубой, с диковато-шалыми, навывкат, глазами ребенка, она стала стройной, голубоглазой, и ленточка в ее волосах, что цвет шиповника, розовая-розовая, и платье на ней беленькое, новое — подол до самой травы. И тогда, за логом, при их первой встрече девочка не плакала, девочка смеялась, колокольцем названивая, и солнце сияло над ее головой, и небо было высокое-высокое, чистое-чистое, голубое-голубое, как ее глаза, — это он помнит точно!

Померк свет на тропе — унесли соседи лампу из горницы в куть, чаевничать будут долго, с чувством, штук пяток самоваров опорожнят, прежде чем сморятся и отойдут ко сну.

Затемнел, стеной сомкнулся межевой бурьян; пырей, что дождь, долговяз, в земле увяз. Мальчик распрямился. Хрустнуло в коленях, иголки посыпались под штанами по ногам, плавающую по лицу улыбку свергло зевотой. Над мальчиком пролетел, вертухнулся и упал тенью за межу козодой, настигший жука-хруща. За городьбой, в лугах, гулко билось коровье ботало, и в тон ему, размеренно и заупокойно кричала ночная птица в горах, которую мальчику видеть не доводилось, но все равно он обмирал от ее голоса, она снилась ему в виде огромного коршуна с чертячьей головой и коровьими рогами. Над огородом, словно над озером, воронкой кружило чистые пары. Выше меж, выше белеющих в темноте подсолнухов, выше горохового острова катилась из распадка прохлада. По логу она спускалась к реке, устаивалась под ярами, издырявленными береговушками. Но меж гряд, в политой на ночь овощи устоялось скопившееся за день тепло. На самом утре, когда перестанет качать било ночная птица в горах и угомонится мухоловка, студеные токи просочатся по логу с гор, из лесов, и все тогда на грядах засеет осыпью росы, и огород сонно утихнет, распухнет листом, склонится к земле в дремном умиротворении, наполненном влагой, ожидая тепла, солнца.

Мальчик не слышал, и никто никогда не слышал и не видел, как идет в рост всякое растение. «И не надо этого видеть». Ведь вот же он, мальчик, не заметил, как сам-то рос, поднимался, значит, есть таинство не только в сотворении жизни, но и в движении ее, в росте.

Мальчик умом, и не умом даже, а природой данным наитием постигает замкнутый, бесконечный круг жизни и, хотя ничего еще понять не может и объяснить не умеет, все же чувствует: все на земле рождается не зря и достойно всякого почитания, а может, и поклонения. Даже махонькие мушки с чуть заметными искорками крылышек на вытянутом сереньком тельце занимают свое место на земле и свою имеют тайность.

Когда мальчик шел в баню и тетки, сердитые оттого, что навязали им малого, торопили его, дергая за руку, он заметил клубящихся над грядами мошек. Распадок струил закатный свет в огород, и в этом остатном проблеске, будто на вытянутом полове, столбились, как говорят в народе, «толкли мак», серенькие мушки. Мальчик утянул голову, опасаясь, что его облепят, искусают мушки, но они лишь колыхнулись, отодвинулись в сторону и снова влились в полосу света, искрами засверкали в нем.

Не было им дела ни до кого. Захваченные благоговейным танцем любви, который казался бестолковой толчеей, мушки, изнемогающие в короткой губительной страсти, правили свой праздник, переживали природой подаренное им мгновение. Танец на угасающем луче, миг жизни, истраченный на любовь, маковым зерном уроненная в траву личинка — и все. Но они познали свое счастье. И другого им не надо. При ярком свете, при жарком солнце мушки ослепли б и сгорели, и крохотные их сердца не выдержали бы другого, большего счастья, разорвались бы в крохотных телах...

Сероватая темь стоит в распадке. По отдельности выступает каждая жердь огорода, вылуженно блестит от сырости. На полянку легла четкая тень городьбы и дерев, стоящих по горам. Мерно шумит, даже не шумит, глубоко, слышно дышит сгиснутая горами река, и от нее идет переменчивый, зеркально отраженный свет к небу, где мерцают бледные, на помидорный цвет смахивающие, незрелые еще летние звездочки.

А мушки упали наземь, в капусту. Вялые, ко всему уже безразличные, две или три из них коснулись шеи мальчика, заползли под холщовую жесткую рубашу, приклеились к потному телу. На капусте сыщет, склюет мушек зоркая птичка — мухоловка и целым пучком снесет их в клюве своим зеворотым детишкам, а те, питаясь, будут быстро расти и оперяться, капуста же, избавленная от тли, ядреть примется и, как поп, который хоть и низок, обрядится во сто ризок. В реку упавших мушек будут хватать мулявки и от пищи становиться рыбами — мушки и мертвые продолжают служение более сильной, продолжительной и устойчивой жизни. Стало быть, все эти букашки, божьи коровки, бабочки, жуки и кузнецы, едва ползающие от сырости по брюкве, — все-все они есть не зря, все они выполняют назначенную им работу, все что-то делают на земле, а главное, живут и радуются жизни.

Ну а сорняк на грядках, жалица эта проклятая, сороки, жрущие мухоловкины яйца, кусучие слепни и пауты, которым ребята учиняют фокус — вставляют в задницу соломинку и отпускают с таким трофеем на волю? А гадюка шипучая в смородине, а комары, а мошки, а клещи в лесу?! Этим кровососам, сволоте этой, теснящей и жрущей все разумное и полезное, тоже, значит, торжествовать и радоваться?! Ах ты, батюшки мои! Сложно-то как! И спросить не у кого... Бабка дома, дед в баню собирается, тетки моются, дядя коней в луга угнали, земля молчит. Не у кого спросить.

Сам думай, сам ищи ответ, раз задачу сам же себе задал, а тут сморило всего, спать тянет, думать ни о чем не хочется...

Да ну их, все эти вопросы и задачи! Потом, потом, когда вырастет, само собой все и ответится, и решится, а пока, обмякший от накатывающего сна, мальчик идет к калитке, неся в сердце умиротворение, сопротивляясь дремоте и невнятно повторяя себе под нос: «Сон да дремота — поди на болото!»

Нашарив волглую веревку, мальчик снимает ее с деревянного штыря и еще раз оборачивается к огороду, наполненному живыми существами. По-за огородом, в лугах, идет истовая, дружная косьба. Стрекотом кузнечиков так все переполнено, что уж слит тот многомоторный звук воедино с ночью, с земной утишенностью, даже плотнее он делает ночную тишину. Тот кузнец, что продрыхал в капусте, разогрелся, распалил себя, искупая свое упущение, звончее всех строчит из огорода в небесную высь, сдается, пучеглазый этот стрекотун даже зажмурился в упоении.

Дух плодов и цвета, вобравший в себя ведомые мальчику запахи, уверенно стоит в чаше огорода, оттесняя запахи леса, и трав, и бурьянов. Но и в этом запахе, как бы паря над плотным дымчатым слоем, буйно звучит лютый дурман табака, угарно-горького мака, лопухо прикрывшегося серой шапочкой на ночь. Малень-

кую маковку с белым еще семенем в середке берегут от холода метляками слипшиеся лепестки. Запахи моркови и укропа точат нос, но глушит его рясно зацветающая маслянистая конопля, которую кидает ветер блошкой, а она натрясет полное лукошко. Однако ж и ладаном воняющую коноплю, и лежалой хвоей отдающий укроп, весь огородный, трудовой дух забудет поутру, после восхода солнца, навально катящимися с гор, упругими волнами разогретой серы-живицы со стволов сосняка, кедров, лиственниц и елей.

* * *

Из пухлой, залитой зеленой гущиной пластушины наносной земли, возделанной человеческими руками, над которой если и ветер гулял, то пухлым казался, невозможным, навеки канувшим представлялось то время, когда пустой, ровно бы военное нашествие переживавший, истыканный, искорябанный, лунками израненный, будет стариковски уныло прозябать огород.

...Кучи картофельной ботвы как попало разбросаны по огороду. На сквозном ветру колючий осот бородой трясет, сопливая паутина обвисла на исхудалой, расстрепанной межевой дурнине; ястребинка сорит грязным, дрянным семенем; розетки дикого аниса, жабрей, лебеда, чернобыльник осыпаются, цепляются за все, а уж репейник, что дедушка, осердился, в бабушку вцепился, ну везде-везде он: в хвостах собак и коров, в гривах коней, в рубахах, в штанах и даже в башке, в волосах царапается и уцепится — выдернешь с горстью волос. От кого и радость, так это от хрена — зеленеет бродяга, бодрится молодо, из бурьянной глухомани он, словно из кутузки, на свет Божий вывалился, радехонек воле.

Сбежались тучки в одну кучку, березы в лесу понизу ожелтелились, коровы, кони и собаки спиной к северу ложатся, перелетные птицы в отлет дружно пошли — верные ворожеи: быть скорому ненастью, быть ранней осени.

Остающиеся в зиму пташки грустны, нахохленны. Сытые вороны угрюмо сидят на коньке бани, по веткам черемух обвисли, на пошатнувшихся кольях окаменели, могильно-скорбные, задумались они о жизни, впали в тягучую тоску иль дрему. Паутина перестала плавать в осиянном поднебесье, плесенью опутала она прокислые листья бурьяна. Обнажились в межах мышинные и кротовые норы. За баней в предсмертно и оттого яростно ошетилившейся крапиве обнаружилась цыпушка, которую искали все лето, мертвая, пустоглазая, почему-то ни мышами, ни собакой не тронутая. Татарник шишки раскрыл, сорит из них волокнистый пух. Носит пух по-над огородом и пустой землею, бросает в чашу, гоняет по реке. Хариусы, скатившиеся на зиму из мелких речек, принимают пушинки за муху иль метляка, выпрыгивают наверх, хватают их, после сердито головой трясут, выплевывая липкую нечисть из рта.

Светла вода, светел и прозрачен воздух, но и река уже берется со дна дремотой, в воздухе день ото дня все меньше сини, туманы по утрам плотнее, и лампы в избах засвечивают рано. Перезрелая, но все еще темнолистая конопля, качнет ее, чуть тронет ветром, засорит свинцовой дробью. Ребятишки заворачивают коноплю в половики, бухают палками. Провеяв семя на ветру, горстями сыплют его в рот, хрустят так, что беззубые старики завистливо сердятся, гонят ребятишек заниматься молотьбой по-за глазами.

Щеглы, овсянки, чижи, синицы из лесу на огороды слетелись, шелушат репейники и коноплю. Воробьи, по-здешнему чивили, объединились в стаи и такие побоища поднимали, что по всему селу гомон разносился, над межами пух и пе-

рья летели. Мягкие, растрепанные, летошние чивили жаловались: «Что мы, что мы нехорошего сделали? Учили воровать? Воруем! Учили чирикать? Чирикаем! Чем мы, чем мы не угодили папе с мамой?!» Старый воробей, со спины коричневый, по груди и пузцу седой от жизненных невзгод, глядел из-под лопушьего листа на эту серую мелкоту, исполненный беспредельной горести: «И это мои дети?!»

Деловито чирикнув, он спархивал в сухой бурьян. Опасливо, один по одному, следом за ним в межевую глушь ныряли и молоденькие чивили. Из кормных зарослей начинали раздаваться такие восторженные возгласы, такое восхищение папой, что он снизошел — выслушал похвалы в свой адрес. Оказывается, возня, побоище были всего лишь маневром, с помощью которого вырабатывалась не только храбрость, увертливость, но и смекалка — семя с кустов конопли вытряхивалось на землю — и клюйте его, набирайтесь сил, дети! «Ну папа! Вот это папа! Где вы, где вы можете иметь такого папу!» — заливались жирующие чивили.

В печальные, закатные дни осени какое-то неприкаянное, виноватое объявится ненадолго солнце, и на затужалой земле очнется, воспрянет какая-никакая поросль — вяло, бледно зазеленеет день-деньской мокрая отава; один-другой цветок куль-бабы засветится; бабочка над огородом запорхает; сонный шмель загудит, слепо тыкаясь во что попало; из старой черемухи ящерица на теплые бревна бани выбегут; кузнецы попробуют литовки точить; на огуречной гряде, вроде бы уж насмерть убитой, среди желтой слизи вздымется одна-другая плеть. Болезненные цветочки, похожие на окурки, родят тоже болезненные, «не божеские» плоды с худым, пупыристым задком иль с рахитно вздутым пузцом, головастика выдадут иль в загогулину плод изогнут, а то уродливыми близнецами они слепятся...

Огурчики, травка, блеклый цветок, вялая бабочка над огородом, отрывистое чиканье кузнецов — последний вскрик золотой осени. Скоро, совсем скоро заскорбнет земля от ночной стыни, и как-нибудь, еще до рассвета, отбелится тесовая крыша бани, засверкает искристо ствол старой черемухи, захрустит под ногами топтун-травка, ломкими сделаются лопухи хрена, бочажину охватит морщинистым ледком. Падет пронзительная тишь на округу, и еще далекое, еще не слышное утро белым вздохом найдет печальное, едва уловимое предчувствие зимы. А перед самым мясоедом на небе кто-то примется теревить гусей, и устало присмирившую, успокоенную землю покроет белым пухом.

Нет, не думает мальчик о холоде и зиме, не хочется ему об этом думать, как не умеет и не может еще он думать о старости и о каких-либо жизненных невзгодах — виденье осени лишь вскользь коснулось его души, согретой мягким, благодетным теплом, и исчезло без следа.

* * *

Мальчик закрывает калитку, по-хозяйски старательно заматывает веревку. Все в нем напиталось огородными духмяностями, аж ноздри точит и на чих позывает. Во рту шершаво, словно от недоспелой черемухи, хочется парного молока, а оно, знает мальчик, стоит в белой фарфоровой кружке на кухонном столе, прикрытой ржаным ломтем хлеба.

Возле дощатой калитки оставлены опорки. Во дворе земля истолчена скотом. Мальчик, нащупывая опорки ногами, замечает свет в кухонном окошке, и совсем хорошо на сердце делается: увидеть «нечаянно» свет в родном доме — к счастью! Под навесом, звякнув цепью, отряхнулся Пират, знаменитый тем, что у новопоселенки-фельдшерицы, квартирующей вместо известняка, выследил он похожую на

тушканчика японскую собачонку и съел ее, приняв за лесную зверушку. С тех пор Пират пожизненно посажен на цепь, безутешно же рыдавшая по собачке постоянщица обзывает его смешным, нерусским словом «каннибал» и боязливо, боком скользит по двору, когда приходит за молоком, хотя пес не только кусаться, но и лаять перестал от конфуза и лупцовки, полученной за погубление заморской собачки, стоившей дороже подсвинка и питавшейся исключительно пряниками.

Сунув ноги в холодное нутро опорок, мальчик зашел под навес, потрепал по пыльному загривку мученика-пса, сделавшего одну-единственную промашку в жизни, но не прощенную людьми. Сами-то себе они ой сколько прощают! Пират призначительно облизал лицо мальчику и, старчески вздохнув, полез обратно в конуру.

В просквоженной добротой и теплом груди мальчика шевельнулась и обмерла нежность напололам с жалостью, захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть, сказать что-нибудь хорошее. И еще — вот ведь оказия какая! — заплакать приспело. Обхватить руками Пирата, нет, все обнять, что шевелится, светится, поет, свистит, растет, цветет, стрекошет, шумит, звенит, плещется, пляшет, бушует, смеется, — прижаться ко всему этому лицом и заплакать, заплакать!..

Истлевает паутинка, уплывает, рвется, оставляя серебряный отсвет. Я пытаюсь удержать в себе хотя бы отблеск дивного видения и какое-то время оголенным сердцем чувствую едва осязаемое касание дальнего света, вижу дымчатую даль, и во мне живут звуки, запахи, краски, принесенные памятью.

Спит моя родная земля, глубоко спит, натруженно дышит, и витают над нею беды и радости, любовь и ненависть — и все горит, все не гаснет моя серебряная паутинка, но свет ее отдаленней, слабей, утихают во мне звуки прошлого, блекнут краски, чтоб снова озариться, засиять, когда сделается мне невыносимо жить и захочется успокоения. Хоть какого-нибудь...

Глубоко вздохнув, мальчик кладет теплую ладошку под теплую щеку. Пусть смотрит он свои легкие, радужные сны.

Грозные сны досмотрю за него я.

1971-1972





АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ

СУМОЧКА К РЕБРУ

УСПЕХ

СОЛНЦЕ В АИСТОВОМ ТНЕЗДЕ

ТОПОЛЯ

СТАНЦИЯ ТАЙШЕТ

МОЯ ЛЮБОВЬ

ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

КОНЕЦ РОМАНА

Рассказы

СУМОЧКА К РЕБРУ

Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор некоторых из них требует изрядных криминалистических навыков. В других — отклонение от грамматики мешает додуматься до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла. Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает. Часов с десяти начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить стихи сам и стал неприятен еще и как человек.

— Мелкотемье, товарищ Рассветов, и форма у вас не блестящая, — сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаясь возратить Рассветову стихотворение.

— Мелких тем нет. Есть мелкие авторы, — надменно говорит Рассветов.

Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что он и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей, но этого сделать нельзя, и Владимир Павлович подробно разбирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо дает понять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать художественные ценности.

Следующий — молодежаватый стриженный парень, недавно демобилизовавшийся солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать «хотя бы главы». Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша.

— Прочитали? — звонко спрашивает стриженный парень.

— Читаю, — хмуро говорит Владимир Павлович. — Зайдите дня через два.

— Сколько можно ходить! — нахально говорит парень. — Я не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству!

Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную четырьмя автоматическими ручками, и ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы, но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику.

Приходит мастер короткого газетного жанра Коля Гонорарьев. Этот долго не задерживается, но все-таки оставляет неприятное впечатление.

Потом идут другие — молодые, старые, вежливые, заносчивые, сердитые и обидчивые. Попадают нервные. Как-то после работы Владимир Павлович достал из стола два новых письма и хотел уже сунуть их в папку для того, чтобы прочитать

дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку.

В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлен. Кроме того, демобилизованный романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы.

Владимир Павлович развернул бумажку.

Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так:

*Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.*

«Что это? — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе. — Какую сумочку?! К какому ребру?» Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался.

Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя. Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь.

Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шепотом:

— Маша, у нас никого нет?

— Никого. А что?

— Вот! — Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно это была бутылка с негашеной известью, передал его жене. — Прочти. Только... Ребенок спит? Спит? Тогда прочти... Нет-нет, не надо вслух.

— Ничего особенного, — сказала хладнокровная жена, прочитав. — «Сумрак бородатый» — хорошо, а вообще несколько туманно...

— Несколько? — перебил Владимир Павлович, нервно вздрагивая. — Это черт знает что: «Завоил!» — какое адское слово. Все встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет-нет! Это что-то жуткое... Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребенок, еще могут быть дети... Нет, я не могу! Я уйду с этой работы. Завтра же. Сегодня же! Займусь чем-нибудь другим... Буду менять собственную тень на шагреневую кожу — спокойнее...

Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычно суетлив.

— Послушай, Маша, — сказал Владимир Павлович вкрадчиво, — тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бенкендорфа? Да-да. Я все время думал на кого, и вот сейчас...

Перепуганная жена увела Владимира Павловича в спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер...

Через неделю начинающий поэт Рассветов, прогуливаясь по улице с девушкой, встретил Владимира Павловича, который против обыкновения не свернул в сторону и не отвел глаз, а пошел прямо навстречу Рассветову так, что тот должен был остановиться.

— Вот что, молодой человек, — сказал Владимир Павлович не поздоровавшись... — Не ходите вы ради бога по редакциям и не пишите стихов. Чтобы нра-

виться девушкам, не обязательно писать стихи. Я вам это давно хотел сказать, но не мог. А теперь могу. У вас не то что талант, у вас здравый смысл отсутствует.

— Рехнулся! — сказал посрамленный поэт, глядя вслед уходящему Владимиру Павловичу.

Он был не прав. Владимир Павлович перешел на другую работу и был совершенно здоров.

УСПЕХ

На этот раз мне предстояло сыграть негодяя. По ходу действия я должен был отказаться от матери, спекулировать шикарным бельем, клеветать, двурюшничать, вскрыть два сейфа и обмануть нескольких девушек. В конце пьесы за мной приходило сразу три милиционера. Мой герой был такой мерзавец, что я сам сомневался в его правдоподобии. Но меня марьяжили на эпизодических ролях, а тут наконец дали солидную роль. Режиссер долго ко мне присматривался и вдруг сказал: «Из вас, по-моему, выйдет незаурядный подлец». И вот — роль моя!

Кому не нужен успех? Артистам он нужен в особенности. Без него артист чахнет, становится завистником и интриганом. Мне же, молодому, начинающему, успех нужен как воздух.

За два дня до премьеры я ходил по комнате и твердил свою роль. В двенадцатом часу пришла Машенька, наш декоратор. Она слушала меня за дверью и вбежала в мою комнату, смеясь и аплодируя.

— Bravo! Bravo! Ты бесподобен! Ты страшен! Bravo... Только, знаешь, слишком уж... Твой герой — такое чудовище, что как-то... Бывают ли такие в жизни? Вечно тебе дают черт знает что! То проезжий, то прохожий, то хулиган, то пизон, а теперь — что-то умопомрачительное... Но хватит. Собирайся, тебе надо проветриться.

Глядя на Машеньку, на ее поблескивающие глаза, веселые лучистые волосы, слушая ее щебетание, я забываю все заботы и думаю только о том, как я счастлив. Машенька — моя невеста.

— И вот что! Приехала мама. Не отвиливай. Ты должен с ней познакомиться. Она хочет тебя видеть. Так что, живо!

Я не сопротивлялся. Был отличный день, и мне самому хотелось прогуляться по городу. Я надел галстук, прихватил пальто, шляпу, и мы выбежали на улицу. Ночью падал снег, но к обеду он почернел и подтаял. Было тепло, и, хотя был ноябрь, все очень походило на весну. Я бережно держал Машенькин локоть, и не все ли равно — осень ли это была, весна ли — я был счастлив. Хотелось выкинуть что-либо легкомысленное и веселое.

— Ты будешь вежлив, — говорила Машенька, — старайся показаться солидным, рассудительным. Тебе это ничего не стоит — ты артист. Что-нибудь соври.

— Как! Еще одна роль? И, кажется, роль скромного, заведомо положительного молодого человека. Машенька, пожалей меня, я этого не репетировал.

Я уже представлял себе все неизбежные неловкости, заминки, паузы, как вдруг меня осенило. «Сыграю-ка я перед мамашей своего негодяя, — подумал я, — а потом объяснюсь. Будет весело, непринужденно, заодно прорепетирую и посмотрю, как оно — на свежего человека».

Я был доволен своей выдумкой, и мне заранее стало смешно. В таком настроении я предстал перед Машенькиной мамашей.

И вот я и Варвара Семеновна сидим друг перед другом в небольшой светлой комнатке, завешанной и заставленной этюдами.

— Смотри же, — шепнула мне Машенька, — я хочу, чтобы ты ей понравился.

— И убежала на кухню.

Мамаша — еще нестарая миловидная женщина, похожая, впрочем, на гусыню. Длинная шея, узкие плечи, белая блузка и строгое, даже надменное выражение лица.

Минуту мы молчали. Я бы давно уже смутился, но не таков мой герой.

— Я очень рада, что мы познакомились, — сказала, наконец, мамаша.

— Да, — отвечаю я, — это не лишнее.

И снова молчание. Слышно только, как Машенька бренчит на кухне кастрюлями.

«Начну, — решил я, — ошарашу сразу».

Я откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и начал:

— Мы, Варвара Семеновна, люди умные и не будем играть втемную. Я женюсь на вашей дочери. Не надо истерик, слез, восторгов тоже не надо. Обойдемся без междометий, восклицаний и прочих изъятий чувств. Экономьте нервы... Вопросы вы мне тоже не задавайте. Я все сам объясню. Вы хотите знать, кто я такой. Вы, конечно, слышали, что меня считают здесь... как бы это вам сказать... непорядочным человеком. Это пустяки. Мне завидуют. Завидуют моему умению жить.

— Артистам всегда завидуют, — сказала вдруг мамаша. К моему изумлению, на ее лице не было смущения. Строгость вдруг сползла с ее губ, а приподнятые брови означали лишь легкое удивление и любопытство.

— Да, я артист, — продолжал я, — почему бы не быть артистом, если за это неплохо платят? Но я могу быть и бухгалтером, и швейцаром в ресторане, и директором бани — только заплатите мне больше... Конечно, получать и дурак может. Я такой человек, что мне никогда никто не даст, если я сам не возьму. Но сам я возьму обязательно. Зачем я женюсь на вашей дочери? Ваша дочь мне, конечно, нравится. Она... ничего себе... шик, экстра, прима. Но дело не в этом...

Я нагло зевнул и искоса взглянул на мамашу. Мамаша сидела смирно. Она не собиралась падать в обморок, закатывать истерику и даже не перебивала меня. Мне показалось, что смотрит она на меня внимательно, с теплотой. Такие глаза бывают у доброго учителя, когда он смотрит на способного малыша.

«Странно, — подумал я, — ее, видимо, ничем не прошибешь».

— Дело, разумеется, не в том, что я не могу жить без вашей дочери. Я могу без нее жить. Мы знакомы всего две недели, но этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимную... выгоду. Машенька будет жить роскошно, модой будет заправлять. С другой стороны, мне необходима связь с культурными людьми... с запросами. Сейчас я и сам артист, но, как только мы поженимся, я уйду из театра. В театре не развернешься. Я перейду в какое-нибудь солидное учреждение с дебетом-кредитом. Например, в комиссионный магазин — на простор.

«Почему она меня не выгонит?» — недоумевал я.

— Я выкладываю вам все начистоту, потому что я уверен, что вы умная женщина и любите свою дочь. Нравлюсь я вам или не нравлюсь — это не имеет никакого значения. Машенька от меня никуда не денется. Я хотел, чтобы вы поняли, что ваша дочь находится в крепких руках.

Я помолчал, прошелся по комнате и сказал, гадко ухмыляясь:

— Между прочим, у нас с Машенькой все зашло очень далеко... Вы можете нас поздравить чисто формально... постфактум, так сказать, — вы меня понимаете...

Мамаша не побледнела, не вскочила, не затопала ногами, а, странное дело, она улыбалась. «Бревно — не женщина... Ну, я тебя доконаю!» — обозлился я. — Мне сейчас нужны деньги, — продолжал я как можно нахальнее, — для одного дельца. И вы мне их дадите... Если вы мне откажете, я не могу жениться на вашей дочери. Очень свободно... Я ведь все могу.

После этих слов я ждал чего угодно, только не того, что произошло. Я не поверил своим ушам. Мамаша спросила меня голосом, полным внимания и предупредительности.

— Сколько вам надо?

— Тысячу, — сказал я в замешательстве: я уже не мог больше играть.

— Конечно, я вас выручу, — улыбаясь, сказала она и засеменила в другую комнату. Вошла Машенька.

— Обед готов... Что такое ты ей говорил? Она в восторге от тебя. «Это, говорит, то, что тебе надо. С таким мужем, говорит, сто лет жить можно. Он — прелесть. Но скажи ему, чтобы он был осторожнее». Он, говорит, молод, горяч. Так чем же ты ее очаровал?

В глубокой задумчивости я опустил на стул. «Да, это успех», — думал я, с тревогой вглядываясь в невинные Машенькины глаза.

СОЛНЦЕ В АИСТОВОМ ГНЕЗДЕ

Что думает человек, который не видел ни одного живого слона, никогда не ездил в поезде, ни разу не был в театре? Что думает он, сидя на крыльце сельского клуба нежным майским вечером? Чувствует ли он себя несчастным? Ничуть.

Он сидит на крыльце вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным этим миром. Он готов верить чему угодно, готов что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами, пыльная дорога через поле ведет прямо к чудесам и открытиям.

Он подставляет теплым лучам свою белобрысую голову и ждет, не закатится ли солнце в аистово гнездо.

Он сидел здесь вчера. И вчера он ждал этого чуда. Но солнце прокатилось над полем и село где-то в дальнем лесу. Может быть, сегодня оно сядет в гнездо?

Вчера он спросил:

— В гнезде солнцу будет тесно?

Ему ответили:

— Дурак! Иди вымой руки.

Ему ответили:

— Солнце далеко. Оно никогда не сядет в аистово гнездо.

Ему ответили:

— Солнце само по себе, земля сама по себе. Если бы солнце село на землю, то все сгорело бы. Понял?

Он понял, но ему очень хотелось верить, что солнце может сесть в аистово гнездо. И он надеялся, что когда-нибудь это случится.

Так сидит он на крыльце в ожидании необыкновенного, не похожего на все то, что он видел.

Когда солнце подожгло аистово жилище, к клубу подкатила машина. Витька подскакал к ней. Набежали такие же, как он, засверкали желтыми пятками.

Тихим этим вечером чуда ждали все кормапайковские ребяташки: в село приехал театр.

Машина попятилась к крыльцу, открыли борт. Из кузова появились фанерный дом, потом складной стог сена, забор, печка, прожекторы, целлофан, живописный сучок, лестница и многое другое. В конце на крыльцо шлепнулась свернутая в рулон лунная ночь. Все это унесли на сцену и закрыли занавес...

Через полчаса на пыльную дорогу выскочил красный автобус. Приехали артисты. Они покурили, взглянули на рыжий закат и исчезли на сцене.

С полей приходили зрители. Пришли девчонки из Новосельников, на машине приехали из Драготины. Из совхоза механизатор Сашка прикатил на мотоцикле.

Небо темнело, невидимые, реяли в воздухе жуки. За клубом на траве механизаторы перестали различать масти карт.

Это был час тоски и обиды всей босоногой публики. Витька узнал, что в клуб его не пустят, отправят спать. Но скажите, разве можно спать, когда через дорогу совершается чудо? В дырку в занавесе Витька подсмотрел нарисованную на стене луну. Он слышал на сцене таинственный, как крик ночной птицы, стук. Мог ли он теперь не увидеть всего остального?

Открыли двери. Вошли и сели в первом ряду десятиклассницы.

В их руках цвели черемуховые ветви.

Артисты тем временем метались в комнатушке за сценой: гримируются, с испуганными лицами бубнят роли.

Когда все было готово, вдруг погас свет. В зале было тихо, но артисты нервничали. Появился моторист и объявил, что амперметр показывает не в ту сторону. Началось исследование проводки.

— Если что, — разглаживая приклеенные усы, сказал Лобановский, режиссер и исполнитель главной роли, — покажем при керосинке.

— А лунная ночь? Она же пропадет, — испугался зав. постановочной частью.

— А грим? А нюансы? — зароптали исполнительницы женских ролей.

Тогда несколько слов сказал Иван Григорьевич Велюга, учитель и артист народного театра.

— В вашем возрасте, — сказал он и пыхнул трубкой, на мгновение в темноте серебряными искрами сверкнули его седые волосы, — в вашем возрасте я играл преимущественно при керосиновых лампах.

А в зале было тихо. В зале терпеливо ждали начала. Зрители просидели в темноте полтора часа. Никто не ушел спать. Любопытно было в этом переполненном бревенчатом театре вспомнить разговоры о том, что театр отживает свой век.

В половине одиннадцатого Витька сбежал со своей постели и через минуту занял место у окна, среди таких же, как он, готовых зареветь от любопытства зрителей. Витька прильнул к стене клуба. В зале было темно, а на сцене он увидел необыкновенный стог, необыкновенного человека, необыкновенное ружье. Человек вел себя необыкновенно. Все это было освещено необыкновенным ядовито-синим светом. И Витькино сердце запрыгало от предчувствия чуда.

Солнце село в аистово гнездо.

Шло второе действие. Витька и его друзья попали в зал. Завороженные, они сидели на полу у самой сцены. Зал смеялся, зал сердился. Что же будет с этим пройдохой Левонем? Что сделает Лушка? Левон ловчит, запирается, строчит доносы. Лушка не знает, что делать.

— Бросай ты его! — вдруг советуют ей из средних рядов. — Ну его сопатого, мучиться с ним!

Припертый со всех сторон, Левон исправляется.

В середине последнего действия опять погас свет. Тут же кто-то осветил сцену электрическим фонариком.

Потом появился второй фонарик. Потом третий. Поучительную эту историю о несознательном колхознике Левоне закончили при свете электрических фонариков.

Ночь заковала в безмолвие хаты и ивы над хатами. В небе над черной землей застыл строгий месяц и замерли чистые звезды — самые совершенные декорации в самом большом, самом прекрасном, самом правдивом театре. В клубе открылись двери, переборы гармоники проткнули тишину. Запели, загалдели, ударили в бубен.

— Звезды приклеены к небу? — спросил Витька, пожиратель чудес. Он не спал.

ТОПОЛЯ

Я видел ее только раз. Может быть, потому я люблю ее всю жизнь.

Совсем такой же, как сейчас, был вечер. Такой же пронзительно синий воздух, так же сверкали вмерзшие в лужи огни фонарей, эти же самые тополя — корявые черные гиганты, навсегда увязшие в синеве. Старая садовая решетка и сам сад — темные пятна сосен, серые паутины берез, незаметные акации, немая улочка. И над всем этим — тополя.

Тогда я был беззаботный студент, сейчас мне сорок три. А тополя все те же, и, кажется, никогда они не могли быть тонкокожими, бледно-зелеными саженцами. Тот же от них запах — сладкая, прилипчивая горечь. Только ветерок — и ноздри раздуваются от этого запаха и непонятно сильно стучит сердце.

Я был беззаботный студент. Голова кружилась от весны, от молодости, от удач. Я не гонялся тогда за счастьем, а наступал ему на пятки нечаянно, как наступаю сейчас на эти лужицы.

В тот вечер я шел к своей невесте. Ничто не мешало мне считать себя счастливым. И только в запахе тополей, в их торжественных фигурах было предчувствие чего-то необыкновенного. И необыкновенное случилось. Она быстро шла навстречу. Она не остановилась, не замедлила шага. Она промелькнула мимо. Но я видел ее улыбку! Видел! И вижу сейчас. Улыбка говорила: «Как странно! Я предчувствовала, что я сейчас тебя встречу... Как странно. Но меня ждут. Я спешу...» «Куда!» — кричал я беззвучно. «Куда!» — кричали тополя.

Но она не слышала, и синь, вот эта мутнеющая синь, затянула ее.

А сейчас под этими тополями я бреду домой, к жене, к десятилетнему сыну. Женился я по любви, моя жена умная, красивая, добрая женщина. Я люблю сына, люблю жену, не могу представить себя без них.

Но все летит к черту, когда приходят эти жуткие весенние вечера. Крадучись, как вор, непреодолимо, как лунатик, я прихожу сюда и шатаюсь здесь, под этими тополями. Здесь, именно здесь, когда таким вот безумно синим сделался воздух и так торжественно застыли тополя — она быстро шла навстречу. Я видел ее! Я видел похожие на этот вечер глаза! Я видел ее улыбку!

Такая тоска! Такая тоска! Где-то в груди боль, острая, страшная, вечная боль. Хочется кричать, хочется заплакать. Такая тоска!

И потому хочется кричать и заплакать, хочется потому, что я ее никогда не видел. Ее не было. Были и есть только тополя.

СТАНЦИЯ ТАЙШЕТ

Мы бежали от заката. По синим холмам он гнался за нами, в кровь рассекая свои розовые колени. Он ловил нас в свои малиновые сети. Он бросил нам вдогонку своих рыжих собак. От его яростной нежности мы бежали в темную летнюю ночь.

В нашем купе — дым и разговор о женщинах. Ночь прильнула к нашему окну, и мы ждем чего-то от ее черной неизвестности.

Говорит Сема, задумчивый солдат:

— Они любят таких, какие валяются у них в ногах и гоняются за ними с ножами.

— Надо спать, — говорит Витька, медлительный, самоуверенный Геркулес. Он сидит у окна, он скрестил на груди руки, к стене откинул голову. Под гимнастеркой каменеют тоскующие его бицепсы.

— Пашка пятый час травит, — говорит Сема. На средней полке он стучит своим костлявым телом.

— Надо спать, — говорит Витька, но не двигается.

— Я говорю, Пашка какой способный. Слышь, студент, сколько прошло?

В купе едут два сержанта и один рядовой. Они везут с собой звонкое слово «дембель». Они возвращаются домой.

Я еду с ними шестые сутки. Я пил с ними водку, я говорил с ними о любви. Мы обожжены одним закатом.

— Прошло четыре часа двадцать минут, — говорю я.

— Видал! — говорит Сема с восхищением. — Профессор. Павел-то!

Они служили в одном взводе. Но Сема не знал, что Пашка может говорить четыре часа подряд.

Пашка Белокопытов стоит в тамбуре с девчонкой по имени Валя. Он стоит с ней пятый час. Она вошла в вагон, когда исчезло солнце и вспыхнул на западе этот красный, нестерпимо красный закат. Тогда Пашка остановил его в коридоре.

— Пятый час травит, — говорит Сема завистливо.

— Бесполезно, — говорит Витька и тянет с каменных плеч гимнастерку.

Пашка едет к Семе в деревню. Об этом они договорились давно. Семнадцать месяцев назад, осенью, на марше. Сема сказал тогда: «Как в Сочи. В баню тебя свожу, наденем белые рубахи. Как в Сочи». Они обдумали все там, на марше. Витька шел тогда впереди, и он спросил: «У тебя, случаем, нет третьей белой рубахи?» — «У меня их как раз три», — ответил Сема. «Не ври, — сказал Витька, — ни черта у тебя нету! Ни одной!... И не нойте здесь под ухом!» И сентябрьская дорога жирно зачавкала под сапогами, грязные, как дорога, облака тащились над самой головой. И серая Витькина спина качалась перед глазами. Впереди неожиданно запевала закричал песню. И эту песню взвод поволок по грязной сентябрьской дороге. Тогда они поссорились.

Теперь ночь липнет к окну, и дикие зеленоглазые полустанки отскакивают с нашего пути. Витька заедет к Семе. И наденет белую рубаху. Сема написал матери, чтобы запасла. Три белые рубахи.

— Белоснежные, — говорит Сема, — с запонками — по всей форме.

Неожиданно, как пожар, возникла на нашем пути станция Тайшет. Ночь отпрянула от окна и остановилась над тополями.

На перроне мы увидели Пашку. Девчонку он держал за руки, будто на афише. У ног их валялись чемоданы. Пашка что-то говорил. Она слушала и вытягивала шею испуганно и беспомощно, как птенец, выпавший из гнезда. Потом Пашка перестал говорить и взял ее за плечи. Мимо бежали, запинаясь за чемоданы.

— Витя, ты посмотри, сейчас Пашка целоваться будет, — сказал Сема.

— Бесполезно, — сказал Витька и лег на нижнюю полку.

А Пашка не целовался, Пашка застыл, как на афише. Тогда мы открыли окно, и Сема крикнул:

— Давай! Целуй — не успеешь! — Пашка махнул рукой и отвернулся от вагона. Девчонки Вали из-за его спины не стало видно вовсе.

— Дава-ай! — закричали из других окон. Там ехали солдаты. — Помочь тебе, что ли?

Пашка нагнулся, и мы увидели ее голову — подснежник на выгоревшей поляне.

— Ура-а-а! — заревели солдаты.

Пашка поднял чемодан, усадил на него девчонку и бросился к вагону.

Девчонка Валя сидела на чемодане. Она ждала. Ждали мы. И ночь, застывшая над тополями, ждала, что будет дальше.

Пашка вбежал и, растопырив руки, заметался по купе. Он искал чемодан.

— Ты что, Павел? — сказал Сема и положил на чемодан руку.

— Все! Приехал я, ребята! — сказал Пашка и засмеялся, и вырвал чемодан.

— Чокнулся, — сказал Витька.

— Приехал! — повторил Пашка, глупо улыбаясь.

— Где тебя ждать? — спросил Сема. — В Чите догонишь?

— Ждать, не ждать, — сказал Пашка с той же улыбкой, — простите, ребята, письмо напишу.

Поезд тронулся, Пашка взглянул на нас дико и бросился целоваться.

— Письмо, — бормотал он, — напишу...

Он расцеловал Витьку, схватил Сему, тяжело и громко чмокнул его в нос, в щеку, в подбородок и выскочил в тамбур.

— Письмо напиши! — злобно крикнул Сема. И станция Тайшет, воспоминание о закате, гасла на западе.

— Вот так, — сказал Витька и сплюнул.

Ночь сомкнулась за нами. Из ее темноты на нас глянуло вдруг сто тысяч разлук и сто тысяч встреч. И колеса стучали свою столетнюю песню. Колеса стучали на великой Сибирской магистрали, вынесшей на своем просмоленном горбу новейшую историю.

— Правильный его поступок? — сказал Сема, подступая ко мне и свирепо прищуриваясь. — Правильный?

Я не отвечаю, и мы ложимся.

Завтра в десять вечера я приеду. Завтра в десять вечера раскаленный добела закат остановится за моей спиной. Я засыпаю и, засыпая, слышу голос:

— Пашка-то, а?.. Даже не выпили!.. Друг был...

Сема выругался. И мы уснули. Мы, сбежавшие от заката.

МОЯ ЛЮБОВЬ

Пять лет назад на перроне маленькой станции я прощался с любимой девушкой. Мне было тогда восемнадцать лет, и я ехал в город учиться. Единственный пассажирский поезд останавливался на этой станции глубокой ночью. И это было так кстати. Мы сидели на моем громоздком чемодане и говорили о будущем. О том, что мы будем любить друг друга всю жизнь, что я буду приезжать, что в разлуке будем писать письма, а через пять лет, окончив институт, я вернусь в наше село, и мы будем вместе. Повторяю, мне было тогда восемнадцать лет, и все то, что мы друг другу обещали, казалось мне нашим будущим.

Начиная со школьного возраста, я постоянно был в кого-нибудь влюблен. Когда из шестого класса уехала вдруг моя соседка по парте, я впал в задумчивость и остался в шестом классе на второй год. Потом я последовательно был влюблен в преподавательницу истории, пионервожатую и в двух своих одноклассниц. По настоящему я влюбился тотчас же, как пришло время. Это была Вера, та самая девушка, которая, не спросившись дома, ночью ушла на станцию провожать меня. Ей оставалось учиться в школе еще год, она собиралась стать учительницей и через пять лет непременно работать в своей школе.

О том, что мы друг друга любим, мы говорили тогда в первый раз и говорили потому, что мы расставались. Пришел поезд. Мы поцеловались, и Вера заплакала, уткнувшись головой в мое плечо и всхлипывая, совсем как моя десятилетняя сестренка. Я взял ее за плечи, поднял голову и долго смотрел ей в лицо. Прямые светлые волосы, нос чуть большой и весь в веснушках, мокрые серые глаза, жалкая улыбка... Я не знал тогда, красива ли она. Поезд тронулся. Я поцеловал Веру еще раз, вскочил в тамбур, вошел в вагон, сел лицом к окну и просидел так всю ночь.

«Ты не забудешь меня!» — вспоминались мне ее слова и лицо. Она повторила это несколько раз, и трудно было понять, кого она убеждала в том, что я ее не забуду — себя или меня.

«Разве можно забыть!» — думал я в отчаянии...

И забыл. Забыл легко и быстро. Я попал в компанию веселую, шумную и безалаберную. Институт мне показался большим скоплением бойких молодых людей и легкомысленных девушек, у меня закружилась голова, и уже через две недели было назначено свидание с некоей Лидой. Лида в самом деле оказалась такой легкомысленной, что в нее трудно было как следует влюбиться. Через месяц мы разошлись в разные стороны, шутя и посмеиваясь. Потом была Эля, потом ее подруга Катя.

Я изменился. Завел себе усы-шнурочки, выучился танцевать и, выбиваясь из своих студенческих возможностей, волочился за модой. Одним словом, внешне я сделался то, что называется «стиляга». Вообще-то я уверен, что стиляг никаких нет. Есть модники, шалопаи, жулики, нахалы, есть мальчишки, которым нестерпимо быть взрослыми и быть мужчинами, а стиляг нет. Отрицание авторитетов, желание пожить в свое удовольствие, перепродажа модных вещей — все это, конечно, не оригинально, не ново и сводится в конце концов к мелкому хулиганству. А все эти ценители и коллекционеры плохой эстрадной музыки, разные Бобы Бондаренко и Джоны Сапожниковы — это же только смешно и пошло. Впрочем, многие из поклонников гнусного саксофона в восторге от этой музыки и не признают никакой другой только потому, что спекулируют ею по воскресным дням на толкучках.

Конечно, я далек был от увлечения напоминать собой *lovelas*, но меня все это тогда забавляло, а главное, это нравилось девушкам, которым хотел нравиться я. Шутя и посмеиваясь, я знакомился и забывал свои знакомства четыре года. Бывало, сижу где-нибудь в саду, жду девушку и скучаю. И мне нравилось, что я скучаю, что я могу встать и уйти, не дождавшись этой девушки, и завтра назначить здесь же свидание кому-нибудь другому. Мне нравилось интриговать, водить за нос, пускаться в рискованные приключения и выходить из воды сухим и со свободным сердцем.

Кончилась моя учеба в институте. Товарищи мои почти все пережились и стали уже мне не товарищи. Я по-прежнему балансировал между флиртом и низкопробными романами и был доволен собой. И вдруг мне стало грустно и беспокойно. Я сделался задумчив, все чаще уклонялся от выпивок и стал уединяться. Как-то я вспомнил Веру, но вспомнил с грустной усмешкой, как что-то трогательное, смешное и безвозвратное. Скука взялась за меня основательно, и я решил жениться.

Я бросил свои ловеласовские повадки и стал ухаживать за Лизой, строгой, умной и милой девушкой, с которой познакомился в театре. Лиза была красива, я привык к ней, и иногда мне казалось, что я люблю ее, но я чувствовал, что в то же самое время я готов к чему-нибудь новому. Через полгода у нас было все решено: я кончу институт и мы поженимся. Лиза кончала музыкальное училище, но со мной собиралась ехать куда угодно.

И вот я получил диплом агронома и назначение, разумеется, в село.

Направление оказалось именно в то село, откуда я уехал пять лет назад. Лиза еще сдавала экзамены, и устраиваться я поехал один.

Ночью в вагоне мне не спалось. За окном набегали и исчезали огни станций и мелькали встречные поезда. Я сел у окна и раздумался. На вокзале меня провожала Лиза, но мне не было грустно от того, что мы расстанемся. «Я не люблю ее», — подумал я. Потом я вспоминал своих прежних знакомых, и, странное дело, ни одну из них я не мог вспомнить как следует, я не мог ясно представить ни одного лица, ни одного значительного слова, ни одного запоминающегося пустяка. И я понял, что молодость моя проходит мимо счастья — мимо тех радостей и печалей, которые дает человеку одна любовь. «Как известно, — подумал я, — для души и сердца

прошли эти пять лет...» И я вдруг ясно вспомнил свой отъезд в город, маленькую станцию, Веру и ее милое, заплаканное лицо. «Как было хорошо, и как все это сейчас далеко от меня... Где теперь Вера? Если бы люди выполняли все свои обещания и клятвы, то она должна сейчас ждать меня в том селе», — я усмехнулся и, опустив голову на руки, стал засыпать.

Был звонкий майский полдень, я спустился с железнодорожной насыпи и пошел к селу маленькой черной тропинкой. Кругом было столько света, воздуха и зелени, было так хорошо, что хотелось упасть в высокую, пахучую траву и пролежать в ней как можно дольше, ни о чем не думая, ничего не вспоминая.

Я прошел половину длинной улицы села, никто мне не попадался. И только у другого конца улицы двери нового двухэтажного дома вдруг распахнулись, и оттуда вырвался целый ручей белоглазых ребятишек. Я остановился и смотрел на них, пока они не выбежали из школы все и их радостный галдеж не удалился по обе стороны улицы. Потом из школы вышла девушка, легко сбежала по белым ступенькам и быстро пошла в мою сторону. Неожидаемость, растерянность, радость — все, что я испытывал в эту минуту, можно только испытать и совсем невозможно представить. Это была Вера. Она остановилась передо мной, долго на меня смотрела и, проговорила: «Ты не забыл меня...», — бросилась ко мне на грудь. Вот и все.

Потом мы бродили за селом по лугу, пили шампанское в ее квартире, и, когда она была на уроках, я с нетерпением ждал ее в шумной учительской. Я смотрел на нее, слушал ее голос, и мне казалось нелепым и диким то, что я мог ее забывать. Я понял, что я не смог полюбить ни Лизу, ни всех остальных, которые будто причудились мне в плохом сне, только потому, что все они не похожи на Веру, и потому, что любил я всегда только ее одну. Я не оспариваю ни опыта, ни мудрости, ни правоты тех, кто утверждает, что любовь к одному человеку не может быть непрерывной и беспредельной, но я твердо убежден, что моей единственной любви хватит на всю мою жизнь. Мне стыдно. Я так виноват перед Верой, перед своей любовью. Но Вере я ничего не рассказываю. Я боюсь оскорбить нашу любовь, и я прощаю себе эту трусость. Моя любовь искупает мою вину.

Я едва смог поехать в город, чтобы объясниться с Лизой, которая уже собиралась ко мне приехать. Входя в ее дом, я услышал фортепьяно. Лиза играла Шопена. Я вошел в комнату. Она сидела ко мне спиной и не заметила моего прихода. Я тихо уселся у двери и стал слушать. Раньше я не любил Шопена, его музыку считал слишком сложной и сентиментальной. Но теперь я был заморожен... И тут, слушая Лизу, я думал о Вере и о своей любви. И мне казалось, что это тонкое и глубокое чувство, которым жила и входила в душу музыка, — мое чувство, и мне захотелось вдруг видеть Веру и говорить ей что-нибудь красивое и нежное... Лиза кончила, мы поздоровались, и я объяснился. В тот же день я уехал. Лиза любила меня, и я оставил ее в ужасном состоянии. Не знаю, прав ли я. Знаю только, что я счастлив.

ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА

— Чем бы вас занять? — сказал мой новый знакомый Евгений Сергеевич Потерин, морща лоб и обшаривая свою комнату пренебрежительным взглядом. — Вот хоть это, — он сунул мне в руки небрежно выдернутую из этажерки штукунину в бархатном переплете и пошел к двери. — Взгляните пока. Глупейшая вещь, женская литература. Сам никогда до конца не смотрел. Я сейчас вернусь.

Евгений Сергеевич пошел за пивом. Его жена Таисия Григорьевна хлопотала на кухне. Таисии Григорьевне лет тридцать пять, но ее красота еще очевидна, и меня удивили ее грустные глаза — редкость и неожиданность у хорошенькой женщины.

В моих руках оказался альбом со стихами. Как полагается, он был напичкан нежной лирикой, начиная с пылкого Катулла и кончая Степаном Щипачевым. Я нехотя полистал.

Последней страницей альбома оказался вклеенный в него небольшой листок, исписанный мелким почерком. Когда-то измятый, теперь тщательно выровненный, склеенный из двух частей, выцветший, этот листок заинтересовал меня своей интимностью.

«Я не могу больше любить так мучительно и так униженно. Мне трудно видеть тебя и ждать от тебя всякую минуту признания в том, что ты меня не любишь. Прощай. Будь счастлива — у тебя для этого есть все и нет больше того нищего, при котором неудобно дарить свою любовь кому-нибудь другому. Прощай! В конце мая сходи за город, туда, где мы были год назад и где с тобой были еще твои сомнения, со мной — мои надежды. Взгляни, как тают белые цветы, вздохни и все забудь».

Я с любопытством перечитал все это еще раз.

— Ха-ха. Не поверите — это я написал, — вдруг раздался у меня за спиной голос вернувшегося Потерина.

Я взглянул на него с удивлением. Всегда насмешливый, далекий от разных нежностей, Потерин олицетворял собой здравый смысл.

— Что, не похожу на Вертера? Ха-ха-ха!.. А ведь было, было... — продолжал Потерин, разливая пиво. — Хотите расскажу? Обед еще не скоро. Эй, живее там! — крикнул он жене, которая на кухне приятно побрякивала посудой. — Пейте пока пиво. Свежее, из персональной, можно сказать, бочки... Так вот... Послушайте: поучительно, а главное — беспримерно глупо... Начался этот водевиль, когда мне было девятнадцать лет. Конечно, в девятнадцать лет всем положено любить и страдать, но я любил и страдал не как все. Я смотрел на всех своих знакомых влюбленных критически, с такой демонической усмешкой. Мне казалось, что они любят не так, как надо, опошляют любовь, делают из этого праздника человеческих чувств серые, скучные будни и все в таком духе. Про себя составил я что-то вроде идеала любви и решил его осуществить. А кто, вы скажите мне, имеет ясное представление о том, какой в этом должен быть идеал? Вообще, кто может верно и категорически судить о любви? Сколько соображающих людей, столько и взглядов, и мнений. И о любви судят особенно необъективно. Ну, а мое представление о любви состояло, конечно, сплошь из иллюзий. И вот появилась «она». Я был страшно придиричив, но она понравилась мне сразу. Красивая, юная, нежная. Чиста, как снег в семи километрах от города. О своей внешности я был самого неопределенного мнения, а между тем был недурен. Кроме того, шелкая соловьем, оригинальничал, острил, — одним словом, был способен нравиться.

Началось, как обычно, время будто бы случайных встреч, сомнений, догадок, желания видеть друг друга во сне и сразу после сна... Мы познакомились, и я стал думать о ней от свидания до свидания. Разумеется, на свидании я тоже думал о ней. Когда я сказал, что люблю ее, это было уже так очевидно, что признание мое оказалось только формальностью. Она же была романтиком и ничего, конечно, не знала и ничего не могла мне сказать. Впрочем, она говорила что-то о товарищеском отношении, но при чем тут товарищеское отношение? Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости. Мало того, я боготворил ее, возводил в степень, семенял вокруг нее мелким бесом и рассыпался перед ней мелким бисером. А это-то и губительно. Я ей нравился, но как только она убедилась в том, что я люблю ее и в доску постоянен, она стала относиться ко мне небрежнее. Сердиться я на нее не мог — у меня только портилось настроение.

Сначала она ссорилась охотно и весело, находя в этом удовольствие сытой кошки, заигрывающей с затравленной мышью, но потом ссоры стали жесткими и

злыми, дольше длились и с трудом прекращались моими усилиями. Я весь, мои дела, мои убеждения зависели от ее настроения. У самой у нее не было ни убеждений, ни мыслей — один только характер. Характер скверный. В ее голове ничего интересного, кроме капризов, не было; правда, капризы эти всегда поражали своей виртуозностью. Исполнение ее любого желания — это то, что неизбежно должно быть — как зимой снег. Даже когда она любила меня, она могла бы меня поменять на леденец, если бы очень его захотела.

И глупее всего то, что меня все эти каприччиозы восхищали, приводили в какой-то идиотский трепет. Я так захлебывался от восторга, так млел от обожания, что даже теперь еще совестно. Больше года она водила меня за нос, потом ей это надоело, и она прогнала меня.

Я вбил себе в голову, что я замечательно несчастлив, писал нежные и грустные стихи, стал худеть и подумывать о самоубийстве. Несколько раз я встречался с ней под разными предлогами, писал унижительные письма вроде этого листка и окончательно ей надоел. В последнюю из таких встреч она сказала мне: «Все кончено. На следующее свидание приглашу милиционера». Никогда не забуду этого вечера. Разговор происходил во дворе ее дома. Я пресмыкался и просил ее выслушать меня. Если вы когда-нибудь были идиотом, то знаете, как может женщина унижить человека. Она вообразила себе, что ей противно находиться со мной лишнюю минуту, и хлопнула дверью. Противно! Сразу же я услышал за дверью смех. Смеялись она и ее подруга. Смех этот страшно резанул по моей психике, и тут я почувствовал, что из моей души вдруг выпала какая-то большая деталь. Не помню, как я удалился со двора. Неопределенное время я просидел на скамейке в пустом сквере, а когда поднялся, то почувствовал, что любовь моя кончилась. Она вытравила во мне «всю пылкость, все страсти души» и прочие глупости. Она воспитала во мне юмористическое отношение к женщине. На следующий день я написал ей: «Если нравится быть жестокой — вешайте собак или распределяйте стипендию» — что-то в таком духе.

Сам себе я сказал: «В твоей любви не было радостей — в твоей жизни не должно быть скуки. Скука недопустима». И зажил весело и беззаботно, как это возможно студенту средней обеспеченности. Замелькали разные лица, но я в них уже не всматривался. Я любил и пользовался взаимностью, но любил уже без всяких идеалов, без замираний в сердце и всего такого прочего. И вот...

В комнату вошла Таисия Григорьевна, постлала скатерть и стала накрывать на стол. Потерин, будто не замечая ее, продолжал, солидно отпивая из кружки, которую я периодически наполнял:

— Вы никогда не встречали учебника женской логики? Нет такого? А почему? Такой учебник мог бы написать любой бухгалтер в перерыве между составлением двух отчетов. Ничего нет проще: все шиворот-навыворот — и только. Женщины сами распространяют слух о том, что их логика непостижима. На самом деле их поступки и мысли прямолинейны, как телеграфный столб. Так вот, когда я уже откровенно зубоскалил над возвышенными чувствами, верностью и голубиным счастьем, она вдруг пришла ко мне и принесла мне свою любовь, раскаяние, покорность, слезы и желание не разлучаться.

И вы знаете... Я женился на ней. Да, да, не удивляйтесь — это Таисия Григорьевна. Как это вышло, не знаю, но только хорошо сознавал и сознаю, что я ее тогда не любил... Да... Женился, может быть, из мести, а может быть, из уважения к своим юношеским заблуждениям. Страшно глупо. Она, кажется, любит меня и теперь. Мне безразлично, скандалов я не устраиваю, я только ограничиваю ее во внимании ко мне. Характер ее изменился до неузнаваемости, и, знаете, она отлично готовит обед. Вы сейчас в этом убедитесь.

За обедом он вдруг спросил Таисию Григорьевну:

— Я как-то все забываю поинтересоваться... Ты счастлива со мной?

Таисия Григорьевна вздрогнула и, глядя на меня и неловко улыбаясь, проговорила:

— Евгений Сергеевич всегда шутит так неожиданно...

— Счастлива, тебя спрашиваю, или нет? — беззастенчиво повторил Потерин.

Таисия Григорьевна перестала улыбаться и опустила глаза.

— Разумеется, я счастлива, — сказала она.

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека. Если хотите знать, какую заветную шутку сыграло стечение обстоятельств на самом заветном чувстве Катеньки Иголкиной, то садитесь в центре города на автобус, сойдите на третьей остановке, сверните на тихую безавтотбусную улочку. Кажется, на правой стороне вы увидите промтоварный магазин и уютно прислонившийся к нему домик с двумя окнами, в одном из которых вы, может быть, и заметите Катеньку, которую теперь горькие раздумья то и дело отвлекают от ее обыденных занятий и гонят к окну в позу грустной и нежной девицы из старинных баллад.

Немного дальше вы найдете парикмахерскую, зайдите туда, разговоритесь с парикмахером, на общительность которого всегда можно положиться, и он расскажет вам если не эту, то какую-нибудь похожую на нее историю.

Катенька Иголкина — особа счастливой наружности и той молодости, когда хочется уже быть еще чуть моложе. Катенька от полных поэтического смысла, но ничего не дающих слов «где мои семнадцать лет!» перешла к делу, в котором быстро преуспела и которое так заполнило ее душу и время.

Тем утром она возвращалась из парфюмерного магазина, где приобрела сезонный эликсир молодости. Дорогой Катенька думала о том, что ей не везет, и мечтала о счастье. В этих мечтах она залетала не выше уютной квартиры в строящемся четырехэтажном доме, мимо которого она проходила. Ей нужно было удачно выйти замуж. Неудачно она выходила уже два раза. Раз она пробовала работать, но тоже неудачно.

У своего дома, когда мысли об одиночестве стали уже невыносимо мрачными, она вдруг столкнулась с мужчиной, для которого это столкновение тоже оказалось неожиданным. Катенька кокетливо ахнула и, споткнувшись, запрыгала было с тротуара, но мужчина со вкусом поддержал ее за локоть, извинился, улыбнулся и пошел дальше. Катенька успела взглянуть ему в глаза продолжительным откровенным взглядом. Входя в свой двор, она обернулась, мужчина обернулся тоже, но имитировал безразличие, делая вид, что рассматривает что-то в окнах магазина. Он был замечательно красив, высок, недурно одет. Катенька зашла домой и в волнении присела к окну.

С четверть часа она сосредоточенно и мечтательно осматривала всех проходящих мужчин и уже было хотела отойти к своему рабочему столику, где ее ждал вновь приобретенный эликсир с многообещающим названием «Розы на щеках», как вдруг заметила виновника своего возбуждения. Он двигался по другой стороне улицы грациозным прогулочным шагом и лишь скользнул («хитрец!») взглядом по Катенькиному окну, задержав его на витрине магазина.

Поравнявшись с магазином, он замедлил шаг. Сообразительная Катенька поняла это как приглашение выйти на улицу. Но из деликатности и девической гордости, появившейся у нее, видимо, вследствие действия омолаживающих косметических

средств, она не вышла, решив, что он еще вернется. «Такой мужчина зря бродить под окнами не будет», — подумала она и ограничилась тем, что влюбленным взглядом проследила исчезновение с поля зрения его драповой стати.

Она не ошиблась. Было время обеденных перерывов, когда он появился снова. «Забегал», — подумала Катенька, злорадствуя.

На этот раз он шел с другой стороны, остановился, немного не доходя до Катенькиного окна, и, также косвенно взглянув в его сторону, осторожно зашел в магазин. «Это уже наивно», — подумала Катенька. Потом в ней, перебивая друг друга, закопошились сложные человеческие чувства. После неравной и короткой борьбы женское благоразумие взяло верх над девической жестокостью, и Катенька решила выйти.

Не теряя времени, она уселась за свой столик, и начался захватывающий процесс. Незнакомец был смугл, она решила стать блондинкой. Но когда через полчаса она выпорхнула из дома, смуглого незнакомца на улице не было, а магазин, куда он заходил, был закрыт на обеденный перерыв.

Катенька в отчаянии вернулась и заняла исходную позицию у окна.

Незаметно для добросовестных ночных сторожей кончился полный жизни, яркий, солнечный день, и улицы, просеянные от малых детей и стариков, зажили веселой вечерней жизнью горожан в возрасте от 17 до 30 лет.

Катенька много перенесла за это время. Против обыкновения она провела бессонный день. Кроме того, она провела вторую его половину не отрываясь от окна. Она подивилась усидчивости царицы Тамары, которой довелось провести у окна своего замка лучшую часть своей жизни. Катенька была человеком совсем иного характера. Ей нужно было двигаться хотя бы от окна к зеркалу и обратно.

Было уже безнадежно поздно, когда в небе вдруг вспыхнула и замерцала, интимно подмигивая, маленькая звездочка Катенькиного счастья. Тень киоска, находящегося напротив Катенькиного окна, раздвоилась, и кто-то легкими шагами стал пересекать улицу. Катенька с удовольствием узнала своего незнакомца и, думая о том, что она много уже страдала, что довольно страданий, что она выбежит сейчас и бросится к нему на шею и повиснет на ней, быстро стала одеваться.

Через три минуты, изнемогая от нежности, со слезами счастья на глазах, она открыла свою дверь, но незнакомца не увидела, а услышала в соседнем дворе шум и чей-то страстный крик: «Не уйдешь!», на который соловьиными трелями отозвался милицейский свисток. Движимая встревоженным любящим сердцем и подстрекаемая любопытством, Катенька вошла в соседний двор. В глубине его, у складов промтоварного магазина, уже собралось небольшое общество из нескольких милиционеров и двух-трех любознательных граждан. В центре этого избранного круга Катенька увидела своего незнакомца в объятиях ночного сторожа Степана Христофоровича. Степан Христофорович обнимал его неистово нежно и крепко, и Катенька поняла, что она бессильна перед этой верной и прочной привязанностью.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Пассажирский поезд прибыл на станцию Сачки неестественно точно, как щепетильный влюбленный на свидание, — ни минутой раньше, ни минутой позже.

Был август, и перрон в одно мгновение превратился в филиал городского рынка. Поезд атаковали торговцы жареной рыбой, огурцами, помидорами и просто луком. Поезд стоял здесь только десять минут. Лишенные, таким образом, профессионального наслаждения поторговаться, продавцы холодной закуски сердито выкрикивали готовые уже цены.

Пассажиры, напротив, выходили веселые и бодрые. Им нравилось после безысходного лежания и сидения прогуливаться на свежем воздухе и покупать свежие овощи.

Однако два молодых человека сошли на перрон без всяких признаков удовольствия. На их лицах менялись нерадужные цвета досады, сожаления и беспокойства. Тесный и накуранный вагон имел одно преимущество перед изобилующим солнцем, свежим воздухом и холодной закуской перроном: вагон двигался со скоростью тридцать пять километров в час, перрон оставался на месте.

Молодых людей сопровождал железнодорожный служащий Иван Карпович Пеших, который любезно указывал им дорогу к небольшому желтого железнодорожного цвета домику против первых вагонов стоящего поезда.

— Влипли? — сочувственно спросила их женщина с корзинкой созревающих помидоров и тут же посоветовала: — Купите помидорчиков.

Молодые люди остались к этому, как и ко всему происходившему вокруг, отсутствующе-безучастными. В программу их поездки, как видно, вовсе не входило приобретение помидоров и посещение железнодорожной администрации на станции Сачки...

В вагон Э10 ревизор вошел перед станцией Сачки. Был он весел, вежлив и предупредителен. Казалось, его работа заключалась не в том, чтобы вылавливать безбилетников, а в том, чтобы убедиться, что все пассажиры едут в этом поезде с билетами.

Такая постановка дела смутила, сбита с толку и с головой выдала двух цветущих молодых людей с верхней полки. Быстро выяснилось, что они едут без билета в первый раз, что на уплату штрафа они по неопытности не захватили денег и что, если товарищ ревизор так настаивает, они могут сойти через три остановки. Сдержанный ревизор не стал спрашивать, почему именно через три, он высадив молодых людей при первой возможности, поручив представить их станции администрации Ивану Карповичу Пеших, который оказался в этом поезде и который сам ехал на станцию Сачки.

Это не входило в обязанности Ивана Карповича Пеших — курьера из областного управления дороги, но он согласился. Иван Карпович был уже очень стар и мог работать только курьером. Был он очень добр. И можно было подумать, что два здоровых парня, которых он вел по перрону, не сбегут от него только из уважения к его сединам.

— Хотите железную дорогу превратить в трамвайную линию? — строго начал он. — Ничего не выйдет. Здесь штраф посolidнее.

Молодые люди заметно осунулись. Иван Карпович заметил бедственное состояние их духа и сменил тональность:

— Что же это вы? Такие представительные и... без билета. Стыдно вам! Это мальчишка, сорванец, ума своего нету или безобразия одни на уме, ну тот — ладно, а вы? Стыдно вам!

— Стыдно, — согласился один из юношей, потупив взор.

— Еще ладно, — продолжал Иван Карпович с увлечением, — еще ладно, что не стали болтаться на подножках и бегать по вагонам, а то ведь... Вот рассказывал мне Петр Петрович, был случай недавно. Парень, тоже молодой, вроде вас, по вагонам бегал и... нет его. И все из-за какого-то билета. Да самая непутевая жизнь дорожке билета хоть на край земли!

Иван Карпович многозначительно осмотрел аудиторию и остался доволен впечатлением, произведенным своими словами. Оба лица выражали скорбь по человеческой жизни, которая во много раз дороже любых железнодорожных тарифов,

раскаяние в собственном легкомыслии и торжественное обещание не подвергать себя больше опасностям и штрафам.

— Нам денег не жалко, — твердо сказал один из молодых людей.

— У нас их нет, — скорбно добавил другой. Искренность интонаций ранила доброго старика.

Он посмотрел снова на мученические лица своих невольников. Эти, недавно еще цветущие юноши увядали у него на глазах.

Ему вдруг пришло на ум, что и сам он — высохший до неузнаваемости цветок, и у него только заныла берцовая кость и к горлу подступила теплая волна сентиментальности.

— Дети! — выдохнул старик. — Берегите, дети, свою молодость прежде всего! Я вот...

Иван Карпович сказал, что он не какой-нибудь деспот или формалист, что он видит: они славные ребята, что вышло нехорошо, но что все может выйти, что молодости многое прощается, что...

В конце концов Иван Карпович предложил им денег для телеграммы, пригласил пообедать с ним в буфете, «где не грех взять по маленькой» или «грех не взять».

— Людей надо понимать и жалеть, — закончил он, — люди всегда это оценят.

Все трое, растроганные и отуманенные живительными парами добра и благодарности, стояли у входа в станционный буфет. И в это время раздался паровозный сигнал. Компания замерла. Потом все трое переглянулись, и... молодые люди молча бросились к отходящему поезду. Они успели.

КОНЕЦ РОМАНА

Вокзала никакого нет, потому что нет еще города. Есть обыкновенная станция — маленькая, деревянная, выкрашенная в желтый цвет. В зале ожидания всего три скамейки. На одной из них устроились две бойкие старушки с корзинами, на другой спит, свесив ноги и одной рукой касаясь пола, здоровенный дядя в телогрейке. На третьей скамейке сидит девушка в синем плаще, хорошенькая, с большими серьезными глазами. В этих глазах — беспокойство и даже страдание. Ничего удивительного, если она вот-вот заплачет. Рядом сидит, развалившись и закинув ногу на ногу, широкоплечий парень. Надвинутое на лоб серое кепи бросает тень на его глаза. Хорошо видно только большой правильный нос и крупные расслабленные губы. Тяжелые руки брошены на скамейку. Такая поза существует специально для выражения усталости, небрежности и равнодушия. У его ног стоит громоздкий черный чемодан.

— Николай, ты не уедешь сегодня. Слышишь, не уедешь, — шепчет девушка, боязливо касаясь его руки.

— Почему я должен ехать завтра?

— Ни завтра, ни послезавтра ты не должен уезжать.

В ее голосе и просьба, и требование, и надежда. Он поднимает воротник, встает, берет чемодан.

— Выйдем отсюда.

Под ногами похрустывает лист облетевших тополей, с рельсов брызжут холодные лунные искры, дальше, за платформами и кустарником, чернеется зубчатый горизонт лесистой сопки. И вся тихая голубая осенняя ночь полна ожидания и беспокойства.

— Может быть, ты все-таки поедешь со мной?

— Нет, не могу. И ты не должен уезжать... Я перестану тебя любить. Я люблю тебя здесь... умного, сильного. А ты... Если ты уедешь, я не смогу тебя любить...

Он усмехается.

— Какая ты еще девочка... Ну что ж, оставайся. Конечно, оставайся. И вот что... Поговорим откровенно. Я хочу, чтобы ты поняла, что ничего не теряешь. Для тебя даже хорошо, что я сматываюсь... Мы с тобой разные, как сосна и береза. Ты вся какая-то голубая, розовая и... глупая. Поговорим откровенно. Я с тобой никогда не говорил откровенно. Я обманывал тебя. Виноват, конечно... впрочем, все мы друг перед другом виноваты... Сейчас, на прощанье, я хочу признаться тебе в том, что я люблю себя. Люблю самого себя — и это самая искренняя моя привязанность. Мне нравится заботиться о себе, окружать себя вниманием, удобствами. Здесь мне мешают этим заниматься. И мне надоело. Меня не устраивает это ваше дурацкое «будет». Квартира будет, театр будет, город будет! Когда, я спрашиваю? Я сейчас молод, понимаешь, мне это все сейчас надо.

А она твердит:

— Ты говоришь неправду... Ты так не думаешь. Ведь ты приехал сюда...

— Сюда я приехал заработать, ну и... из любопытства. Денег здесь приличных нет, любопытство мое удовлетворено. Магнитная гора меня больше не притягивает. Счастливы вам оставаться, фанатики, романтики! Мошку, грязь и морозы оставляю в ваше распоряжение. С собой я увожу только нежную память о них.

Мимо тащатся две старушки с корзинами. Громко зевая, проходит дядя в телогрейке. Пришел поезд.

— Ну вот, карета подана. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, как сказал один хромо́й старик. Он писал упаднические стихи, много ездил, но нигде не прописывался.

Он делает к ней шаг и замолкает. Луна не в состоянии скрыть ее бледности, дрожат губы, влажные глаза блестят... Все вместе это — боль, горе, смятение. Он берет ее за плечи и быстро, ласково, настойчиво говорит:

— Ты поедешь со мной! Сейчас же! Будь умницей... Если ты любишь меня — ты поедешь. И не надо больше глупостей про воздушный замок у Магнитной горы. Подумай, чтобы быть счастливым, необязательно строить новый город. Есть много готовых городов. Ну?..

Поезд вздрагивает и медленно ползет вдоль перрона.

— Нет... я не могу, — шепчет она.

Его лицо становится жестким и надменным.

— Тогда прощай, — говорит он и вскакивает в тамбур. Раскрытую дверь тамбура тотчас же заслоняет толстая фигура женщины-проводницы.

— Укатил соколик, — взвизгивает проводница, — ищи, девка, другого.

Быстро прогорел красный огонек последнего вагона, и вот уже замирает стук колес. И сразу делается невыносимо тихо. Слышно, как бьется сердце.

К луне крадется тяжелая черная туча. Становится темно. Девушка идет от станции в гору, туда, где светятся окна поселка. Шаги сиротливо шуршат по сухой траве. В открытых глазах слезы, и сквозь их пелену растут и заполняют весь взгляд сплошным неясным заревом огни будущего города.





ИСААК
ГОЛЬДБЕРГ

**ГРОБ
ПОДПОЛКОВНИКА
НЕДОЧЁТОВА**

Повесть

Глава 1

ВОЛЧИЙ ПОХОД

Под Иркутском (где, в звенящем морозном январе, багрово плескались красные полотнища) пришлось свернуть в сторону: идти снежным рыхлым проселком, от деревни к деревне, наполняя их шумом похода, криками, беспорядком.

Отряд растягивался версты на полторы. Скрипели розвальни, на которых наспех был навален военный скarb, тяжело грузли в разжеванном, побуревшем снегу кошевки, где укутанные одеялами, в дохах, озябшие, молча и хмуρο сидели офицеры. Позванивали пулеметы на санях, лениво и нехотя волочились два орудия (остатки батареи). И между санями, розвальнями, позади и спереди кошев хмуρο шагали солдаты, взвалив на плечи небрежно (как лопаты) винтовки, покуривая и переругиваясь.

На остановках в деревнях, деревенские улицы загромаждались возами, в избах становилось душно, как в бане, над крышами клубились густые дымы. А крестьяне, сжимаясь и присмирив, опасливо поглядывали на гостей, которые вели себя хозяевами: властно, с окриками, не терпя возражений.

В деревнях съедали всех кур, свиней, били скотину, разоряли зароды сена, выгребали хлеб. А перед уходом сгоняли крестьянских лошадей и, отбирая лучших, сильных, оставляли мужикам своих заморенных, со впавшими боками, обезноженных, умирающих.

И некоторые хозяева, обожженные отчаяньем (Гнедка уведят!) шли потом следом за отрядом, шли упорно, молчаливо, чего-то выжидая, на что-то надеясь.

На остановках, в некоторых избах (чаще всего там, где устраивались шумные и дерзкие красильниковцы), вспыхивали песни, звенела гармошка, в избу из избы шмыгали хлопотливые и раскрасневшиеся бабы. И возле таких изб лениво толпились оборванные иззябшие солдаты: слушали, переговаривались, завидовали.

Рано утром с грохотом, с шумом просыпались, будили хребтовую тишину криками, редкими выстрелами, пением (звонко тянется извилистая нить в морозном воздухе) трубы, конским ржанием. Беспорядочно, обгоняя друг друга, вытягивались на дорогу. И верховые-красильниковцы (с потускневшими черепами и скрещенными костями на обмызганных драных пасхах) наезжали на пеших, злобно скаля зубы и замахиваясь нагайками.

Выбирались в грохоте, шуме (словно ярмарка в самом разгаре) из деревни, выходили на узкую, неужезненную дорогу, взрыхляли снег по ясным чистым обочинам, растягивались грязной, волнующейся, шумливой полосой.

Шли торопливо, от чего-то уходя, чему-то не доверяя. И порою слышали: над смутным шумом многолюдья, над дорогой, над снежной зимней тайгой вдруг из-за хребта протянется комариный гуд.

Там, в стороне, ближе к городам, кричали паровозы.

Тогда почти весь отряд на мгновение замирал, и жадные уши ловили потерянный и недостижимый протяжный звук.

Когда уходили версты две от деревни, из распадков осторожно выходили волки. Они выходили на следы, обнюхивали их; они приостанавливались, слушали, потом снова шли. Изредка они начинали выть — протяжно, глухо, упорно. И на этот вой из новых распадков выходили другие волки, присоединялись к ним, шли с ними, останавливались, выли...

В деревнях, мимо которых проходил шумным неумным потоком отряд, слышали этот упорный волчий зык. Деревни настораживались. Деревни суеверно крестились...

Глава 2

ЗЕЛЕННЫЕ ЯЩИКИ

В кажущемся беспорядке, висевшем над отрядом, было нечто организующее, спаивавшее всех единой волей, пролагавшее какую-то непереходимую грань в этом хаосе. Были начальники (на которых издали поглядывали злобно и настороженно), был штаб, который вырабатывал невыполнимые планы, который что-то обсуждал, что-то решал. Были начальники отдельных частей, друг друга ненавидевшие, один другому не доверявшие. Были старые кадровые офицеры, кичившиеся своей военной наукой и кастой; были только что произведенные в офицеры, уже нахватавшие чинов, бахвалившиеся личной отвагой и дерзостью. Были привилегированные конные части («гусары смерти», «истребители»), набившие руку на карательных набегах; были мобилизованные, плохо обученные пехотинцы: одни щеголяли хорошим оружием и были снабжены всем, другие волокли на себе винтовки старого образца, тяжелые и ненадежные, и были плохо одеты, и у них было мало патронов.

Среди военных в отряде вкраплены были (обветренные, обмороженные, брюзжащие) какие-то штатские. Они тянулись в собственных кошевах-кибитках, у них много было чемоданов и узлов. На остановках они бегали в штаб, горячо разговаривали там, чего-то добивались, о чем-то спорили.

Среди штатских были женщины. Закутанные в шубы, увязанные платками, шарфами, неуклюжие, неповоротливые — они вели себя на остановках странно неодинаково: одни из них молчали, скорбно и устало устраиваясь на ночлег в жарких пахучих (овчина и кисловатый запах человека) избах, другие хохотали громко, сипло, хохотали беспричинно, ненужно, нерадостно; одни из них скоро засыпали под шубами (или только притворялись), другие же вытряхивались из душных мехов, шалей, шарфов, валенок, рылись в своих чемоданчиках, кричали на прислуживавших баб, звенели посудой и смехом и угощали офицеров (до поздней ночи, до утра) плохим вином и любовью...

И все-таки в хаосе этом, в этом беспорядке было нечто, сковывавшее всех единой волей: страх.

Он катился оттуда, с линий, от городов, от железной силы, выросшей незаметно, беспощадной, не знающей удержу. Он выползал отовсюду: из распадков, из-за хребтов, где чудился неприятель, из черных затопленных в снегу гумен, настороженных, таящих измену. Сзади катился он — где поражение, где погребены надежды. По пятам шел он. И он крепил всех в отряде упорной, волнующей, безоглядной мыслью: пробиться вперед! только бы пробиться вперед! на восток!

Эта мысль поддерживала в отряде необходимую дисциплину, она укрощала разгоравшиеся страсти; она до поры до времени примиряла брезгливых кадровых полковников с выскочками капитанами; она держала в каких то границах гусаров смерти; она позволяла женщинам с беспричинным (или, быть может, от какой-то большой неназываемой причины?) смехом расплескивать его только ночами в закрытых крестьянских избах.

Она диктовала необходимые в походе мероприятия: выставлялись дозоры, наряжались патрули, была разведка. К патронным ящикам, к пулеметам, к уцелевшим орудиям и к запасу снарядов наряжались караулы. И у избы, где располагался штаб, становилась охрана, дежурили вестовые, мерзли в седлах ординарцы.

Выставлялись караулы не только к военным снарядам.

На крепких розвальнях (в походе они располагались сразу же вслед за штабом) крепко уложены были зеленые ящики. Пять аккуратных, прочно сбитых, замкнутых, опечатанных ящиков. К этим розвальням ставили усиленный караул. И называлось то, что так тщательно охранялось: архив, документы отряда...

Адьютант штаба часто осматривал замки и печати у этих ящиков. В походе к ним часто подъезжал кто-нибудь из старших. И караулу было наказано строго-на-строго никого не подпускать к ним ни в пути, ни на остановках.

Глава 3

ПОДПОЛКОВНИК НЕДОЧЕТОВ

И хотя еще не было на этом пути встречи с неприятелем, но были уже жертвы похода: умирали слабые, не переносящие острых стуж, обессиленные болезнями; заболели огненным недугом и быстро сгорали. Мертвых сваливали на возы с кладью, довозили до деревни и наспех рыли неглубокие могилы в каменной, промерзшей земле.

Но когда умер, недолго прохворав, подполковник Недочетов, тело его не оставили в ближайшей деревне, а повезли с собой в дальний поход.

Может быть, и подполковника Недочетова тоже зарыли бы где-нибудь на сиротливом деревенском кладбище, но вмешалась вдова, Валентина Яковлевна. Она сдвинула брови, сжала тонкие обветренные губы и, разыскав кого-то из главных, сурово сказала:

— Я считаю, что заслуги Михаила Степановича достаточны для того, чтобы вы не бросали его здесь, по дороге... Я требую, чтобы тело было доставлено на восток...

И в этот же день был сколочен крепкий гроб, обит черным сукном (из запасов штаба), изукрашен крестом из позументов. В гроб положили подполковника Недочетова, осветили свечками, упокоили молитвами (при отряде шел молодой молодцеватый поп), а потом гроб с телом уставили на розвальни, приставили почетный караул и вместе со всем нужным и ненужным скарбом отряда повезли по узким, бесконечным, неизвестным дорогам.

За гробом, укутанная, неподвижная, молчаливая, поехала Валентина Яковлевна, вдова.

В штабе посердились, поворчали.

— Фантазия!.. Везти труп бог знает в какую даль?.. Можно было бы похоронить с честью в пути — и дело с концом!.. Подумаешь — какие нежности!

Но нашелся кто-то хитрый, предусмотрительный, умеющий постигать вещи в самой сущности их.

— Нет, не скажите, — заметил он: — это даже очень хорошо, это дает некоторое, знаете ли, настроение: боевой отряд, трудности похода, а между тем — останки героя не брошены, а бережно охраняются в родной боевой семье... Это многого стоит!..

В штабе фыркнули, покривились, но к словам этим прислушались, подумали — усилили почетный караул у гроба подполковника Недочетова.

Вдова гуще сдвинула тогда брови и сухо пошевелила тонкими обветренными губами.

На стоянках сани с гробом вкатывали под навес того двора, где останавливался штаб (тоже как отличие мертвому), и вдова долго оставалась на морозе возле коченеющего в гробу мужа и только со второй сменой уходила коротко вздремнуть в отведенную ей избу.

Часовые зябко переступали с ноги на ногу и тоскливо ждали смены. Изредка они поочередно (их было двое) притуливались к саням, устраивались у гроба и воровски, оглядно дремали. Они порою перекидывались замечаниями, ворочали ленивые мысли. Со всех сторон зимней ночи ползли на них шумы: длинное тело неуклюжего, многоголового отряда дышало разноголосом, многозвучно. Лаяли потревоженные собаки. Их пугало многолюдье. Они убегали за огороды и оттуда злобно рычали и повизгивали.

Глава 4

НОЧЬЮ

Со всех сторон ползли шумы. Но в душевные избы, где пылали свечи, где фыркал желтый самовар и в клубах пара трепетали тени, эти шумы не вползали: там зарождались, крепили и ширились свои шумы и грохоты.

У адъютанта штаба, занимавшего избу вместе с двумя другими офицерами, хохотали и взвизгивали гости: Лидка Желтогорячая и Королева Безле. Лидка Желтогорячая взгромоздилась на колени к адъютанту и поила его ромом из чайного стакана. Адъютант помазывал головой, захлебывался, но жадно пил. Лидка взвизгивала, наклоняла низко голову к подобранным коленям; обнаженные ноги желтели, поблескивало кружевное белье.

Королева Безле сидела на скамейке между двумя офицерами, которые сосредоточенно и молча мяли ее пышные груди, хлопали по широким бедрам, мясистым коленям и силились расстегнуть тугой лиф.

Адъютант выпил ром, утер рукой рот и спихнул со своих колен Желтогорячую, которая, остро вскрикнув, забарахталась на полу.

— Нахал ты? — полушутя (а в глазах зеленые искорки!) ругалась она. — Офицер, а никакого понятия!.. Разве так с женщинами обращаются!..

— Да ты вовсе не женщина? — похохотал один из офицеров. — Ты, наверное, никогда женщиной и не была!..

Желтогорячая поднялась с полу, подперла бока руками и вызывающе оглядела всех.

— Ты, Поручик-голубчик, не задавайся!.. Я, милый, и сама знаю, что проститутка... Да не тебе о том судить...

Вялая толстая Королева Безле беспокойно повозилась, поерзала на скамейке и сдобно сказала:

— Перестань, Лидуша!.. Не порти веселья господам офицерам...

Адъютант тяжело поглядел на обеих женщин — сначала на толстую, потом на Лидку Желтогорячую — и зло оскалился:

— То есть, это как — не ему о том судить?... Объясни-ка, тварь!?

Королева Безле отпихнула от себя обоих офицеров и стремительно двинулась к адъютанту.

— Жоржинька! — ласково и увещающе проворковала она и положила обнаженные пухлые руки ему на плечи. — Не знаешь разве ты? Лидку, болтушку эту... Спроста это она! Так, сдуру...

— Сдуру, — пробормотал адъютант и потерялся плохо бритой щекой о вялую, припудренную шею Королевы Безле. — Пусть поменьше дурит... Поменьше...

Лидка села на место толстой, между двумя офицерами, а Королева притиснула адъютанта к стенке и тяжело опустилась вместе с ним на широкую лавку.

За дверь кто-то повозился. Она скрипнула, приоткрылась, в избу за клубились морозные дымы. Вошел солдат.

— Тебе что? — раздраженно спросил адъютант, отваливаясь от женщины.

— Так что его высокоблагородие господин полковник Шеметов изволили приказать звать вас в штаб...

— Зачем?

— Не могу знать.

Адъютант нехотя поднялся, разыскал свой полушубок, опоясался ремнями, пристегнул шашку, маузер. Ушел.

Желтогорячая выждала, когда закрылась за ним дверь, и злобно кинула...

— Форсит Жоржинька, а перед Шеметовым хвостом бьет... Задницу ему лижет... Герой!..

Оба офицера захохотали. Но толстая недовольно сморщила маленький носик (смешной такой на полном рыхлом лице) и укоризненно покачала головой.

— Язычок же у тебя, Лидуша! Перестала бы... Ни к чему это.

— Пусть он не задается! — разжигая в себе гнев, упрямо огрызнулась Желтогорячая. — Все знаем, какой он субчик. Только интригами да плутнями держится, а туда же... Сукин он сын, а не офицер!.. Да и вы, — обернулась она к хохочущим офицерам: — сволочи, а не офицеры!..

— Перестань! — миролюбиво сказал поручик. — Перестань лаяться!

— Полайся, полайся! — вспыхнул второй офицер (молоденький тонкоусый). — Недолго ведь — разложим, да поучим ремнями!..

Желтогорячая покривилась (еще бы крикнуть обидное что-нибудь!), смолчала и пошла к столу, где в беспорядке валялись закуски, где раскрошен был хлеб и пролито вино.

Было тихо в избе (офицеры устало жались к толстой, Желтогорячая, пьяная, прислонилась к столу; ночь поздняя стояла), когда, треснув дверью, вошел адъютант. Он сердито сбросил с себя ремни, оружие, кинул полушубок на лавку и похозяйски властно сказал:

— Вы, феи, отправляйтесь-ка к чертям!..

Женщины встали, двинулись к своим шубам, шалям. Стали молча одеваться.

Поручик, недовольно усмехнувшись, спросил:

— Что-нибудь случилось?... Зачем звал?..

Адъютант оскалился (такая неудержимая привычка была: скалить крепкие белые зубы в гневе) и нехотя:

— Опять у замков часовые возились... у ящиков...

— У зеленых? — встревожился поручик.

— Ну да, с архивом...

Желтогорячая неискренне, деланно захохотала.

— Ты чего? — обернулся к ней адъютант.

— Да смешно мне!.. «С архивом?» Кому вы очки втираете?.. Денежки там в ящичках-то! Золото!..

Адъютант быстро шагнул к Желтогорячей и крепко схватил ее за руку. Женщина вскрикнула и присела от боли.

— С архивом! Понимаешь: с архивом?.. — тиская и закручивая ей руку, приговаривал он. — Так и запомни: с архивом?.. А если еще будешь болтать — так отправлю к тем... к часовым...

Глава 5

КОРОЛЕВА БЕЗЛЕ

Когда пьяная кутящая компания уставала от хмельного веселья и едкая, опасная (таящая в себе взрывы) тоска напознала на кутящих, было одно средство взбодрить, прищипорить разгул: заставить толстую рассказать, когда и почему прозвали ее «Королевой Безле».

Она сразу наливалась кровью, свирепела, отдувалась. Она сначала сердилась и поглядывала на всех исподлобья, враждебно. Но ее улещивали, ее уговаривали, к ней подыгрывались.

— Ну же, голубушка, плюньте на все, берегите здоровье? Расскажите про того нахала...

И она сдавалась.

— Сволочи вы все, мужчины, — укоризненно качала она головой. — Уж такие сволочи?.. Я, думаете, не понимаю? Я все очень даже хорошо понимаю... Я тогда девчонкой была. У меня ведь отец прокурором был. Если б не мужчины — я бы теперь какая грандам была?.. Меня поручик один скрутил... Ну, да это не главное... А вот, когда я в Самаре в кафешантане выступала, я в гусарском ансамбле очень даже большой успех имела... В ментике, в трико, сапожки...

— Это с твоими-то ляжками, Королева Безле?.. Хо-хо?..

— Вас ляжками-то только и проберешь, гады!.. Не буду рассказывать!..

— Ну-ну, голубушка? Не будем больше, не надо, господа, перестаньте?..

— Да... Успех у меня был большой... И устроили интеллигенты бал. Доктора, адвокаты, два писателя... Кабинет большой заняли, сервировка, цветы. Меня — хозяйкой бала. Я — представительная, интересная... Пили, шалили. А тут писатель один газетный, бумагомарала проклятый, вьется вокруг меня, гадости всякие шепчет. Потом, когда речи стали говорить, застучал ножиком по тарелке: «Хочу, говорит, речь в честь Марии Вечоры» (это у меня псевдоним такой был шикарный). Ну, встал; я обрадовалась. Он начал — городил, городил — смешное да веселое, а потом: «Подымаю, говорит, тост за нашу очаровательную, породистую Королеву Безле». Зааплодировали все, меня поздравляют, хохочут: «Королева Безле! Королева Безле?» Так до конца ужина. Под конец кто-то и спроси: «А это что же за королева такая Безле? историческая?» Хохочет негодяй: «Да, да, — говорит, — историческая!» А доктор один смеялся, смеялся, прищурил глаза и говорит: «А ну-ка, разберите что это будет: «Королева безле?» Как это он раздельно сказал — все сразу и сообразили: без «ле» королева — это корова!.. Я тогда заплакала даже от обиды. Вот какой негодяй!..

— Ну, а потом?

— А потом, как пошла я за армией, бросила старый псевдоним — черт с вами: берите меня Королевой Безле!.. Только в Омске чуть скандал грандиозный не вышел. Кутила я с красильниковцами. Ребята денежные, щедрые, только хамы уж

очень. Все шло отлично, как следует, да подвернись штабной какой-то. Пьяный уж, мокренький откуда-то прикатил. Услыхал, что меня королевой все называют, взбеленился: «Не позволю, говорит, чтоб величество оскорбляли!.. Изрублю!.. Большевики!» и полез с шашкой. Еле уняли его... успокоился... А утром — вызвали меня к коменданту, допрос: почему королевой именуюсь? Откуда такая королева Безле?.. Вот умора!.. Монархисты!..

Как-то уж в этом походе по таежным проселкам Королеву Безле спросили:

— А ты не монархистка, королева?

Женщина вскинула голову, подперла руками мощные бока и гордо ответила:

— Нет!.. Я — революционерка!..

Полупьяные офицеры посмеялись шутке, но женщина обиделась.

— Вы не гогочите!.. Я — серьезно... Я ведь вас всех ненавижу! Всех!..

Королеву одернули, прикрикнули на нее, пригрозили:

— Если б ты не пьяная, да не женщина — так живо попала бы в расход!..

А позже, уже под утро, когда Королева Безле укладывалась в своей избе спать, Желтогорячая, перевозмогая тяжелую сонливость, сказала ей.

— Вот ты, Маша, всегда меня ругаешь, что я задираю офицеров — а ты? Разве так можно?.. Ты знаешь, на что они способны?..

— Я знаю, — вяло сказала Королева. — Я, Лидуша, не сдержалась... Во мне ведь все кипит... Я и не рада, что увязалась с ними... Я, Лидуша, ненавижу их.

— За что их любить? — зевнула Желтогорячая. — Нам если любить кого, надолго ли нас хватит...

— Нет, я не про это. Я их ненавижу за все их повадки; за злобу ихнюю... Как они, Лидуша, с крестьянами расправлялись!..

— Ну, — еще раз зевнула Желтогорячая (разговор какой неинтересный; спать хочется) — так ведь то красные... большевики. Как же иначе?

— А они хуже большевиков! Хуже! — вспыхнула Королева и грузно завозилась на постели. — В тысячу раз хуже!..

— Тише ты, сумасшедшая! — оробела Желтогорячая — и сползла с нее сонливость. — Совсем ты, Маша, сдурела!.. Тише!..

— Не бойся... никто не услышит... А, веришь ли, — не лежит у меня сердце дальше с ними тащиться... Куда мы тянемся, зачем?..

— Ну-ну! Не глупи! Доберемся до Читы, а оттуда в Харбин... Там такие шантаны! Там иностранцев полно!.. Сама же все радовалась...

— Не знаю я теперь... Дико у них... Донесем ли мы, Лидуша, кости целыми до Харбина?

— Посмотрим... Давай лучше спать.

Глава 6

РАЗГОВОР ПРАКТИЧЕСКИЙ

— Георгий Иванович, вы сами допрашивали часовых?

— Сам, господин полковник!

— Ну и?..

— Сначала отпирались: «Знать ничего не знаем!» — а когда я принажал, один разнюнился: «Простите! на деньги позарился! на золото!..» Я спрашиваю: «Откуда узнали, что деньги в ящиках?» — «Ребята, говорит, болтали...» — «Какие ребята?» — «Да, почитай, весь обоз!»

— Вот как!

— Да, очевидно, все разнюхали...

Полковник Шеметов нервно прошелся по избе и помолчал. Адьютант, остро поглядывая на него, следил.

— А ведь это неладно! — озабоченно сказал полковник. — Как вы, Георгий Иванович, полагаете?

— Куда уж тут ладно!.. Весь отряд узнает — большие могут нам быть, полковник, неприятности... И так люди ненадежны, болтают... Было несколько случаев дезертирства... Вчера арестовали подозрительного типа, на жиде смахивает.

— Расстреляли?

— Разумеется...

Снова помолчали. Полковник щелкнул портсигаром, угостил адъютанта папироской, сам взял. Закурили.

— Какие меры, по-вашему, помогли бы? — затянувшись и окутав себя дымом, спросил полковник.

— Какие?.. Нужно, по-моему, деньги из ящиков переложить в другое место.

— Ну, а там, в другом месте, не разнюхают разве?.. Нет, это не план.

— Простите, полковник, нужно найти такое место, где бы не разнюхали.

— Но какое?..

— Подумаем... Найдем.

— Подумайте.

В избе было жарко. На крашеном деревянном столе ярко горела штабная лампа-молния. Где-то за стеной, на хозяйской половине гудели голоса. За заиндевевым окном грудилась морозная голубая ночь.

Адьютант прошелся по избе и мягко (чуть-чуть согнув ноги в коленях) сел на скрипучую табуретку у стола. Полковник полулежал на диване. Над ним весь угол был заставлен, завешан иконами. Табачный пахучий дым тихо плыл вздрагивающими, выющимися лентами: над огнем, над головами, возле иконописных ликов.

Нарушая неожиданно молчание, адъютант перегнулся (тонко скрипнула табуретка) к полковнику и вяло улыбнулся:

— Я, собственно говоря, полковник, уже составил план... Я только боюсь, что вы из предрассудка откажетесь от него...

— Что такое? Какой план? — оживился полковник. — Если хороший — вайте смело!

— План хороший! — снова покривил адъютант губы вялой улыбкой.

— Ну!?

Адьютант встал с табуретки, прошелся, остановился перед полковником:

— Видите ли... С нами следует при почетном карауле тело подполковника Недочетова... В условиях войны вообще не полагается пускаться в такие сентиментальности, но вдова полковника настояла, и мы принуждены были взять труп с собою... Мертвым, собственно говоря, все равно где гнить. А гроб — место надежное...

— Что такое? — вскинулся полковник, перебивая адъютанта. — Вы полагаете...

— Виноват, полковник, — вот вы и недовольны... Я предупреждал...

— Но постойте, постойте! Что же вы это предлагаете?.. Положить к мертвому в гроб...

— Нет, не к мертвому, а вместо мертвеца... Вместо мертвеца!..

— Фу-у! какая гадость!..

Полковник взволнованно встал на ноги и ненужно застегнул пуговицы своего френча:

— И как вам, Георгий Иванович, такая гадость в голову пришла?

Адъютант снова вяло улыбнулся и промолчал. И когда полковник, немного успокоившись, опустился на диван, он выпрямился, ловко составил (хотя и в валенках) каблуки вместе, носки врозь и деревянно, по-военному, отчеканил:

— Честь имею кланяться, господин полковник!

— Пойдите, погодите, Георгий Иванович! — болезненно поморщился полковник и растерянно поершил коротко остриженную голову. — Не торопитесь...

— Слушаюсь!

— Ах, оставьте этот тон, Георгий Иванович! — с кислой гримасой произнес полковник. — Говорите толком, советуйте... Разве нет иного выхода?

— Нет, полковник!

— Решительно никакого?

— Решительно!

— Но, боже мой! Как решиться... Нет, нет! Это так... недопустимо! Это прямо кошунство!

— Ничего подобного, полковник. Это только крайнее средство. На войне — как на войне.

— Но, как практически?... Как, наконец, быть с вдовой? Она такая решительная дама!

— Предоставьте это дело мне, полковник. На мою ответственность.

— Ах, голубчик! Я, право, не знаю, как быть... Это так необыкновенно, так неприятно...

— Это необходимо, полковник. Совершенно необходимо!...

Глава 7

ПАНИХИДА

Валентина Яковлевна, вдова, была тревожно изумлена, когда вечером на стоянке в большом селе гроб подполковника был перенесен в обширный амбар, из которого выкинули крестьянский скарб. И когда ее не пустили в этот амбар (куда зачем-то перенесли и зеленые ящики), она кинулась к полковнику. Но полковник был занят и ее не принял. Вышел к ней адъютант, любезный, ласковый, обходительный.

— Не беспокойтесь, сударыня! Мы решили дать передохнуть караулу и объединили два поста в один. На следующей стоянке все будет по-старому.

— Но почему меня не допускают к гробу?

— По уставу. Посторонним ни в коем случае нельзя быть возле охраняемого ценного полкового имущества...

— Там тело моего мужа! — вспыхнула вдова.

— Там ценные документы, сударыня, и мы не вправе нарушать устав...

Адъютант был любезен, учтив, предупредителен, но в серых глазах его крылось непреклонное, неумолимое. Женщина молча повернулась и ушла. Рассказывая об этом полковнику, адъютант озабоченно шурил глаза.

— Вы думаете — она о чем-нибудь подозревает? — встревожился полковник.

— Нет... но вообще барынька хлопотливая... Задаст еще она нам беспокойства!

— Что же делать?

Адъютант усмехнулся:

— Надо доделывать дело до конца.

— Как?

— Не мешало бы завтра пораньше перед выступлением панихиду по боярину Недочетову соорудить...

— Циник вы!.. Ах, какой циник!

— Я говорю серьезно, полковник. Это убило бы всякие подозрения и у бабыньки и у других.

— Я не могу согласиться на это, Георгий Иванович!

— Вы должны согласиться... Представьте, что вдова сама захочет...

— С вами невозможно спорить!

— Я прав, полковник! Вы сами понимаете, что я прав...

Утром (серый зимний рассвет только-только разгорался) молодцеватый полковой поп со стариком деревенским налаживались в плохо топленной церкви служить панихиду. Пришли господа офицеры, наряжена была воинская часть. Явились женщины: вдова и среди других Королева Безле и Лидка Желтогорячая. У полковника разболелась голова, он в церковь не пришел.

Накадили густо ладаном, запели. Вдова опустила на колени возле гроба.

Желтели огоньки свечек. Шелестели шаги, сипло звучали слова молитв; в толпе кашляли, сморкались.

Адъютант стоял впереди остальных (немного сбоку вдовы), затянутый, строгий и торжественный, как на параде (только валенки портили весь шик). Он умеренно, но неторопливо и набожно крестился. Он не глядел по сторонам и весь, казалось, ушел в службу.

Желтогорячая слегка толкнула толстую и тихо сказала ей:

— Жоржинька-то, гляди, какой богомольный!.. Видно, чем-то бога хочет обмануть!..

— Тише... не мешай!..

После панихиды, когда четверо солдат взялись за гроб, вышла заминка. Гроб оказался не под силу четверым. Адъютант злобно сверкнул глазами, шагнул к гробу и взялся помочь; вслед за ним ухватился за гроб еще один офицер, испуганно и многозначительно взглянувший на адъютанта.

В толпе солдат пошел легкий говор:

— Отяжелел покойник!

— Отсырел, оттого и тяжелее стал...

— С морозу это... В топленную церковь втащили — он и запотел...

У выхода, на кривой занесенной снегом паперти, вдова оглянулась на адъютанта и, чуть дрогнув бровями, сказала:

— Спасибо вам!..

Глава 8

«ЕЙ—БОГУ!»

Преимущественным правом на Желтогорячую эти дни пользовался адъютант Георгий Иванович. Она могла кутить со многими (в его обществе), с ней могли обращаться свободно, бесцеремонно и бесстыдно другие, но ночевать, когда он хотел, она оставалась только с адъютантом. И здесь у адъютанта, после туманной пьяной ночи, Желтогорячая мгновеньями обретала над ним какую-то кратковременную, вспыхивающую власть — власть женщины. Адъютант, разомлев от кутежа, истомленный близостью женщины, становился безвольным, вялым, податливым, совсем иным, не тем, каким бывал в штабе среди офицеров, в отряде. Желтогорячая уме-

ла пользоваться этой расслабленностью Георгия Ивановича. Она сама тоже преобразалась — делалась сдержаннее, скромнее, скупее на ласки. Она доводила в эти мгновенья адъютанта своей сдержанностью и холодностью до унижений, просьб тихой покорности. Искусная в любовном ремесле, она овладевала невоздержанным, жадным до ласки мужчиной полностью — и, незаметно для него, мстила ему за все, что переносила от него на людях, во время кутежей.

Глубокой ночью, после панихиды, она сидела возле адъютанта, который тянул ее к себе, задыхаясь и пьянея.

— Постой! — равнодушно говорила она. — Я устала... Лежи спокойно...

— Ну, приляг! Только приляг, Лидочка!.. Только приляг!..

— Оставь!.. Я посижу. Я говорю тебе — устала... Ты лучше вот что скажи: скоро конец этой собачьей жизни?

— Ложись, Лидочка... Скоро. Вот только перемахнем через Байкал.

— Мне надоел этот поход. Грязно, кругом вшивые, того и гляди, сыпняк поймаешь!.. Теперь бы ванну душистую с одеколоном принять, в постель чистую, свежую, чтоб электричество...

— Потерпи, все будет!

— Да когда же?..

Желтогорячая встала, отошла от адъютанта; он сел на лежанке и жадно тянулся взглядом за нею.

— Скоро! Ты зачем ушла? Пойди сюда, цыпленок! Пойди!

— Ах, оставь! Слышишь, мне надоели эти грязные чалдонские избы, холода, ухабы...

— Только переберемся через Байкал — и там все наше!

— А у тебя денег хватит, чтобы там с треском пожить?

— Хватит!.. Да иди же сюда, Лидочка!

— У тебя свои есть, или ты про те, которые в ящиках?

— В ящиках никаких денег нет!..

Желтогорячая подошла к адъютанту ближе и сердито закричала:

— Ты мне эти фигли-мигли не строй!.. Ты другую дурочку найди и морочь.

— Да верно, Лидочка, ей-богу, там уж денег нет!

— Нету?! А куда же они делись?

Она подошла еще ближе, и адъютант ухватил ее за бедра и притянул к себе.

— Ложись! — шепнул он.

— Подожди... Минуточку подожди! — Придушенно ответила она, не вырываясь от него, податливая, отдающаяся. — Где же они, Жоржик, эти деньги?

— Ты только дай честное слово, побожись, что никому, ни одной душе не скажешь!

— Ей-богу!..

— В гробу они!..

— В гробу?!

— Ну да, вместо подполковника... Да ляг же!..

Вся напружинившись, Желтогорячая выпрямилась, зажглась любопытством, жадным, неудержимым:

— А тело? Тело куда дели?..

— В Максимовщине, в селе где-то похоронили... Да оставь же!.. Иди, иди ко мне!..

— Ты Расскажи!.. Ты все Расскажи! — горела Желтогорячая. Но сдавалась, чуяла, что все скажет, что не уйдет он от нее.

— Потом... — сухим, жарким шепотом вскинулось, метнулось к ней. — Потом!..

Он сильно сжал ее, и она замолчала, поникла, отдалась...

Потом усталый, размягченный, сонный он рассказал ей, как все было.

Желтогорячая лежала, поблескивая глазами, и хохотала.

— Ах ловко!.. А эта честная давалка, вдовушка-то, какие поклоны перед гробом отмахивала!.. Вот умора!..

Потом, посмеявшись вдоволь, она примолкла, подумала и по-иному (и глаза потемнели у нее) сказала.

— Ну и сукины же дети вы с полковником! Ни черта вы не боитесь, ни бога! Ах, сволочи!..

— Не ругайся, Лидочка! — вяло и почти засыпая, просил адъютант.

И совсем сморенный сном, но борясь с ним, он вспомнил:

— Ты смотри — никому ни слова, ни единой душе!..

— Слыхала... Ладно!..

Утром, устраиваясь в кошеве с Королевой Безле, Желтогорячая шепнула ей:

— Ну, Маруся, и новость же я тебе расскажу — пальчики оближешь!..

И рассказала все, что узнала от адъютанта.

Толстая вся затряслась, заколыхалась от гнева.

— Ах они гады, мерзавцы!.. — заругалась она. — Да ведь это на что же похоже? Ведь это издевательство! Им не грех так гадиться над покойником? Над вдовой так насмехаться!? Ах, гады, гады!..

— Да будет тебе!.. — испугалась Желтогорячая. — Тебе ничего рассказывать нельзя!.. Ты не вздумай болтать!.. Слышишь — чтоб никому!..

— Ах, гады, гады!..

Глава 9

РАЗГОВОР ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Четверо сидели в розвальнях и уныло зябли. Впереди и сзади тянулись кошевы, сани, розвальни, скрипело, ухало, клубилось от многолюдья.

Четверо примащивались все поудобней, уминали под собою ломкую жесткую солому, запахивали полы шинелей, полушубков, похлопывали руками, отдувались.

Мороз позванивал в густом неподвижном воздухе. Мороз оседал крохотными жемчужинами на волосах, на одежде, на стволах винтовок.

Четверо были — три солдата и Роман Мельников. У Романа в Максимовщине забрали в обоз трех лошадей, и он решил попытаться сохранить их: пошел за ямщика, авось выбьются лошади из сил, и он подберет их, спасет.

Солдаты хмуро молчали и думали о чем-то своем. Роман тоже думал, но молчать не мог.

— Эка вас сила-то какая прет! Неужто большевикам накласть не могли? А теперь вот какую дорогу отломать надобно...

Солдаты молчали.

Роман подергал вожжей, зачмокал на лошадь и не унялся:

— За Байкал, стало быть, подаетесь вы... Хорошо за Байкалом... Рыбные места, а дальше земли привольные...

— Сами знаем про это... — проворчал один из солдат и заворочался на соломе. — Не размазывай...

— Знаешь?... Стало быть, бывал там? — обрадовался Роман. — А я думал — вы какие дальние!

— Мы, паря, все сибиряки, — отозвался другой солдат. — Мы по мобилизации...

— Вот что?!.. Так управителя-то сменили — пошто служите?

— На место одного, брат, другие нашлись. Много управителей! — усмехнулся солдат. Но первый, угрюмый, рассердился и прикрикнул на Романа.

— Ты не болтай, паря!.. Видал, как с болтунами-то у нас обхаживаются?!

Роман снова подергал вожжей и добродушно ответил:

— Это с орателем-то? Видал. За гунном пристрелили. Наши же мужики потом хоронили.

Третий, все время молчавший солдат приоткрыл лицо, заслоненное воротником шинели, посмотрел на мужика, на спутников:

— А листки-то он все-таки успел разбросать.

— Какие листки?

— Да от красных... Ребята читали; сказывают — всем помилование будет, ежели кто передастся красным... с оружием.

— Они те помилуют! На штыки, а то и в петлю.

— Пошто на штыки?

— А што смотреть они станут! Ты гляди-ка, как у нас с красными — как попался, так и крышка! Да прежде еще допросят.

— Допросят?..

— Да, шомполами... Такой допрос — хуже смерти...

Роман почмокал, потряс головой, замолчал. Замолчали и солдаты.

Впереди и сзади шумело, скрипело, трещало. По бокам дороги, укутанные мягко снегом, стояли деревья и кустарники. Над шумным обозом стлался пар.

Роман порывлся за пазухой, достал кисет, трубку, закурил, отвернувшись от ветра. Третий солдат поглядел, подождал пока у Романа закурилось и попросил:

— Дай-ка, браток, затянуться!

Роман вытер пальцами чубук и протянул ему трубку.

Солдат покурил, сплюнул и вернул трубку мужику и, вернув, похвалил табак.

Проехали молча версты две.

Неожиданно первый солдат, тот, который оборвал Романа, перегнулся ко второму, разговорчивому:

— Видать — мужик-то ничего.

— Да будто бы... Однако, можно.

Тогда хмурый тронул Романа за плечо и сказал:

— Послушай-ка, паря.

— Чего тебе? — обернулся Роман.

— Ты смекни: мы с этого ночлега из деревни-то, в которую едем, оборочаться думаем... с тобою.

— Дизентеры, стало быть! — усмехнулся Роман.

— Не балуй!.. — нахмурился солдат. — Мы те дело толкуем... В деревню приедем, ты норочи позадь обоза прилаживаться. Утресь все поедут, а мы схоронимся... Вот тебе и коня сбережешь!

— Да у меня трое... Трое, говорю, коней-то...

— Ну, об остатных не печалься, не выручишь... Молись богу, что этого, мухортенького-то домой вернешь...

— Мы к тебе уж давно приглядываемся, — добродушно вмешался второй солдат, разговорчивый. — Ты, видать, мужик нашенский... надежный...

— Да мне што!.. — ухмыльнулся Роман. — Мне даже лучше... Сразу представлю вас кому следует, вот и ладно будет.

Третий солдат, прислушивавшийся к переговорам, сдвинул грязный шарф, которым он укутал шею и бороду, и кашлянул.

— А ежели ты что-нибудь, — хрипло сказал он, — финтить будешь или болтать, так мы, брат, с лягавыми умеем обращаться... Понял?!

Роман поглядел на него и укоризненно скривился:

— Чего болтать-то!.. Не знаю я рази... Я, брат, тоже вас с первого раза смекнул... Хо!..

— Ну то-то!..

— Я, брат, знаю, — продолжал Роман добродушно. — Ты думаешь, одни вы завтра до зари еще обернетесь, назад попрете?.. Не-ет, милачок!.. Таким походом двинуться — считай куда еще больше попрут — вперед, али назад!.. Теперь у красных-то этаких-то дизентиров не сочтешь... Вы только винтовки в исправности доставьте да патронов побольше!.. Чтоб в аккурате, как на смотр! Хо!..

У Романа погасла трубка, он ее выколотил о сани, хотел сунуть за пазуху, но раздумал и снова набил ее.

— Натё, закуривайте!.. — протянул он ее солдатам. — Бестабашны вы, вижу я!.. У меня табачок свой!

Солдаты поочередно стали затягиваться.

Мороз зачинчивал все крепче. Над мухортым вился густой белый пар. Люди стыли; бороды, ресницы, воротники закуржавели. Полозья скрипели.

Сосны, мягко укутанные снегом, обступили дорогу неподвижно, застыв, замерев.

Глава 10

ВОЛКИ

Из распадков выходили волки. Нюхали разъезженный широкий след. Слушали, выли. Распадков было много — волков собралась большая стая.

Но вот они в недоумении, в тревоге остановились, рассыпались по распадкам, скрылись.

Оттуда, куда уходили те, что оставляли утоптаный, грязный, пахучий след, шли и ехали люди. По утопанному снегу обратно двигались они, еще больше утаптывая и расширяя его.

Волки, притаившись за кокорником, в ямах, меж деревьями, острыми, сверкающими глазами следили за теми, кто шли вперед и назад, — в дальний путь и обратно.

Зоркими мерцающими глазами, тонким нюхом чуяли волки, что расползается отряд в разные стороны, уходят, уезжают люди обратно.

У полковника, адъютанта и других офицеров не было волчьих глаз, волчьего обоняния, но замечали они, чуяли, что кругом творится неладное.

Стали совещаться, соображать. Предложили командиру офицерского отряда («истребители») выставить сильную часть в арьергард отряда, чтобы задерживать дезертиров и следить за тылом, но он наотрез отказался:

— Мой отряд привык к боевой работе, конвойная служба ему не пристала!..

Решили использовать для этого остатки красильниковцев, но когда стали собирать их, то набрали мало людей: остальные где-то разбрелись по кошевам, зарылись в шубы, в солому, спали мертвым пьяным сном.

А на востоке с пригорков уж виднелись зубцы байкальских гор. И в полдень, когда зимнее солнце осиливало морозную мглу, там ослепительно сверкали снеговые вершины.

Тогда в штабе посидели за машинкой, потрещали — и по отряду, по разрозненным частям, из кошевы в кошеву, из саней в сани прочли приказ:

«Близок момент соединения с главными силами верховного правителя. Еще несколько переходов — и вы отдохнете, получите новое обмундирование, новые

запасы воинского снаряжения с тем, чтобы под личным руководством верховного правителя атамана Семенова обернуться вновь на наглого и гнусного врага, терзающего и продающего святую Русь.

Между тем, среди вас находятся злонамеренные и слабые, которые, забыв свой долг перед родиной и вождем, уходят к врагу, оставляя своих боевых товарищей, предавая правое святое дело...

Штабского корпуса приказывает каждого замеченного в дезертирстве расстреливать немедленно на месте»...

По кошевам, по саням, из рук в руки прошел этот приказ. Похмурились лица, поползли угрюмые улыбки, зашептались:

— Расстреляй его, коли он удерет!.. Ищи ветра в поле!..

— И куда люди бегут-то?.. Ведь вот, гляди, и к Байкалу скоро выйдем...

— А там што за сладость?..

— А в обратную сторону — слаще што ли?..

Походил приказ по рукам. И хоть в этот же день пристрелили двух, далеко отставших от отряда («устали мы! притомились!»), но, не переставая, отрывались от отряда клочки, неудержимо отставали, уходили люди. И не манили их блеск и сверкание байкальских вершин.

И волки, напуганные многолюдьем, сходили с дороги, крались за деревьями, за кустарниками, жадно глядели. Ждали.

И воя, визжа, грязясь меж собою, пожирали трупы расстрелянных...

Глава 11

ВОЛКИ ГРЫЗУТСЯ

Еще не сверкали байкальские сопки (было это назавтра после панихиды) — в штабе спор вышел.

Командир красильниковских остатков, хорунжий Агафонов, претензию заявил: охранять подполковничий гроб красильниковцам.

— Ваши люди мало надежны! — нагло поблескивая цыганскими глазами (и серьга по-цыгански в левом ухе сверкала у него!). — На них в таком деле никак положиться нельзя! А мои — будьте покойны!..

— У нас есть офицерский отряд! — сухо ответил полковник. — Это самая надежная часть!

— Я не спорю — надежная. Ну, пусть охраняют документы... зеленые ящики! — поглумился Агафонов.

— Я прошу без насмешек! — нахмурился полковник. — Извольте помнить, что здесь есть выше вас чином.

— Я — командир самостоятельной части! — выпрямился хорунжий. — Я сам себе старший... У меня один начальник — атаман Семенов!

— Ваша самостоятельная часть только и умеет, что пьянствовать и дебоширить! — вступился кто-то из офицеров. — Вы сначала уймите своих людей...

— Мои люди еще покажут себя!.. Да дело не в этом. Я еще раз повторяю: окарауливание гроба должно перейти ко мне. А то ваш отряд, который пачками дезертирует, разнохает в чем дело — и прощай денежки!..

— Я не могу на это согласиться... — начал было полковник, но адъютант мягко и решительно перебил его:

— Можно ведь сделать так: караул смешанный — пополам, люди хорунжего и наши истребители.

— Хитрите! — захохотал хорунжий. — Страхуете себя!?

— А вы не хитрите? — посмеялся адъютант...

Так и сделали. В голове отряда пошли офицеры, за ними люди хорунжего Агафонова — и те и другие, имея между собою гроб подполковника Недочётова (вдова по-прежнему шла за гробом)...

В голове отряда шли лучшие части, двигались орудия, звенели пулеметы на розвальнях. А сзади, тая, растекаясь по ложбинкам, по распадкам (не там ли, откуда неожиданно и бесшумно появлялись волки?), шли и ехали ненадежные, усталые, недовольные... Они потом проходили по тем же деревням, которые оставили еще так недавно. И там хмурые озлобленные крестьяне ругали их, показывали им опустошенные амбары, разоренные гумна, пустые клетки. А затем, накормив, гнали их:

— Ступайте, ребята, в город!..

— Объявляйтесь в комитет!

— Ежели поймут — высидка будет!.. Покормите клопов...

— А то и пристукнут!..

И они тянулись в ту сторону, туда, где за хребтами разлегся мерцающий красными полотнищами город.

Глава 12

КОМАНДИР КОВРИЖКИН

Ну и пускай движется отряд, имея в голове истребителей (все не ниже поручика чином, боевые, заслуженные!), красильниковцев, тяжкоголового полковника и лукавого адъютанта (Жоржиньку любвеобильного); пускай с почетным караулом, сопровождаемый молчаливою, сумрачной, печальной вдовою тянется тяжелый гроб с останками подполковника Недочётова (мы-то знаем эти останки!). Пускай.

Ведь в стороне, за хребтами, совсем близко — невидимый, неожиданный, неведомый командир Коврижкин объявился. Красный бант у него на груди. Красные ленточки наспех горят на шинелишках, на полушубках, на бекешах его бойцов.

Вот какой Коврижкин.

Коврижкин вышел из города с горстью людей, с пулеметом.

— Тихо теперь у вас, — сказал он городским товарищам. — Скучно... Вы теперь мудрить здесь станете, а каппелевцы-то тем временем и прорвутся к Семенову, за Байкал... Пойду я им хвост накручивать!..

Пошел. Перевалил один хребет — в первой же деревне дезертиров белых встретил:

— Куда вы, туды вашу мать?..

— Передаваться, в комитет... Вот и оружие.

— На кой черт в комитет!.. Смыкайся, становись в шеренгу. Шагай с нами...

В другой деревне — новые пришельцы; а там, по дорогам, в распадках — еще и еще.

Собрал их всех Коврижкин, высмотрел, выпытал. Узнал силу и состав отряда уходящего, подсчитал, с ребятами своими потолковал. Вызвал мужиков тутошних, своих.

— Вот у меня карта тут, ребята! Поначертили, поначертили на ней штабные — а какой толк?.. Вы мне без карты этой мудреной дорогу укажите: как бы нам путь скоротать, хребтами, что ли, пройти наперерез белым?.. Чтоб в лоб им войти...

Мужики поглядели на карту: ишь, бумаги сколько зря изведено! Да ведь по хребтам в самый раз дорога старая лежит. Верно, что горы крутые, зато намного короче езжанного, привычного пути.

Сложил Коврижкин карту, сунул ее в карман, велел людям, своим бойцам, выступать. С песнями, лихо. А дезертирам приказал послушать песни новые, поучиться, привыкнуть.

— Скоро вы у меня, ребята, запоете!.. Вот только командирам вашим бывшим хвосты накрутим!..

По целому снегу шагать трудно. По целому снегу грузно, нехотя тащатся сани с пулеметом. Пофыркивают лошади; поругиваясь проваливаются по пояс люди, барахтаются, отряхиваются.

По целому снегу, без следа, в обход, как за красным хитрым сторожким зверем, привычно Коврижкину ходить. Это теперь он командир (германские окопы научили, партизанщина закрепила науку) — а раньше: поняшка за плечи, натруска с порохом и свинцом через грудь, на ногах лыжи, а впереди остромордая, с волчьей пастью, с лисьей повадкой, пестра или буска. Вот он какой. С Лены он, со щек каменных, где кулеми рубят на медведя, где плашки на белку ставят, где на неоглядных просторах тайги ямы на сохатого хитро устраивают.

Вот он какой: в глазах чернеют дальние, исконные, таежные предки — тунгусы (и скулы чуть-чуть врозь разошлись углами), а дома, где-то у старухи матери, за божничкой (бессознательная старуха!) свидетельство городского четырехклассного училища; крепкие белые зубы привычны грызть расколотку (иные строганиной называют: на тридцатиградусном морозе застынет до звона серебряного рыба, на хрусткие, белые куски обухом разобьешь ее — вкусно!..); понятен ему стоязыкий, стоголосый говор тайги и знаки ее. Понятней ему, пожалуй, мудреных головоломных формул и выкладок там разных политических, социальных.

Холодное сердце у Коврижкина (у охотника всегда оно холодное), только кровь быстрее по крепким жилам льется. Холодное сердце вспыхивает, ширится, когда идешь по следу, по горячему следу — и впереди изнемогающий (не уйдет! не уйдет!), обессиленный зверь...

По красному зверю — через хребты, через распадки, через застывшие, укутавшиеся снегом речки — идет Коврижкин, и сердце холодное вспыхивает и ширится, и быстрее бежит по жилам кровь...

— Вот мы им хвост накрутим! — сверкают крепкие белые (без пасты, без порошков — у волков всегда они белые) зубы. — Ведь накрутим, ребята?!

— Накрутим! По перво число!.. — рывкают, кашляют, смехом давятся бойцы. И шевелятся на обветренных лицах дезертиров светлые тени — не смех еще, еще не улыбка, а предвестники их, намеки.

— Накрутим!..

По хребтам, старой брошенной дорогой, движется коврижкинская стая. В стороне остаются деревни. Но оттуда бредут таежными зимниками новые бойцы: мужики корявые, мерные, лохматые — лесовики. Неповоротливые на вид, неуклюжие, — да ведь и про медведя праздно говорят, что неповоротлив он, а кто по тайге легче и бесшумней его к добыче подкрадется?

И вместе с мужиками — новые, новые дезертиры.

А Коврижкин оглядывает новых сотоварищей своих, к месту прилаживает, остро глазами прошупывает: не таи, брат, чего ненужного, неладного!

На остановках, на привалах в коврижкинской стае говор и смех. О чем толкуют? — Там, в стороне, белые идут, готовясь тяжело ухнуть за море священное, уйти совсем. Не о них ли? Нет, у таежных людей не это главное. Кругом, укутавшись снегом, нарядная, чистая тайга разлеглась. Кругом мягкие шумы ее текут. О ней это говор, о ней.

И только те, новые, от белых ушедшие, живут недавним своим прошлым, о нем, неотвязном, бредят вслух. Нужно им сбросить его с себя, отряхнуть.

И, разрывая привычные, будто ленивые слова о старых шатенях, на зиму не успокоившихся медведях, о дикой стихийной схватке самцов-сохатых за лосиху, за любовь с нею, о коварной повадке лисицы, о всех таежных обитателях — живых и неподвижных — разрывая эти крепкие, корявые и словно неуклюжие слова, — вплетет кто-нибудь о тех — о полковнике, о бабах гулящих, о красильниковцах, о расстрелянных.

И уж, конечно, о том, как бережно хранит начальство белое начальственные останки подполковника Недочетова, того, который, где-то там, слышно было, на западе, целую волость спалил, ненужно и жестоко.

Когда доходит до Коврижкина рассказ о гробе с почетным караулом, о вдове скорбной, — холодно светятся его глаза и, чуть-чуть раздвигая губы, говорит он:

— Где это они, сукины дети, гробы-то для себя запасут, когда мы насядем им на плечи?..

Хребет за хребтом переваливает стая. И где-то за последними хребтами — вот скоро — сверкнут байкальские белки.

Глава 13

ВЕСЕЛЬЕ

Компания собралась шумная, веселая. Адьютант велел притащить из своей кошевы ящик заветный, — высшей марки коньяк берег адъютант до случая. Видно, вышел этот случай.

— Ну, ладно! — весело сказал адъютант. — Лакайте мое добро! Послезавтра у места будем!..

Компания веселая, шумная. Кроме Королевы Безле и Желтогорячей, еще несколько женщин. Офицеры смеются, зубоскалят над ними: Вот, в Верхнеудинске, будет вам, девочки, отставка!

— Там свеженькие!.. Гостинцы атамана!

— А мы чем хуже других? — обижаются женщины.

— Поизносились вы за дорогу!

— Держанный товар!.. Лежалый!

— Хо-хо!..

Хорунжий (раньше всех успел насосаться) расставил широко ноги, кривые, кавалерийские, качнулся к Желтогорячей, рыгнул.

— И тебе, Лидка, отставка!.. Ищи-ка себе нового хахаля!

Желтогорячая презрительно свела губы и жеманно покачала головой.

— Ошибаешься, кавалер! Мы с Жоржинькой, как управимся, сразу же в Харбин катнем!..

— Врешь!.. Зачем он в Тулу со своим самоваром поедет? Ха!.. Там такие девочки, — просто пальчики оближешь!..

Желтогорячая рассердилась.

— Жоржинька! — крикнула она адъютанту. — Скажи ты этому субчику — пускай не пристаёт!..

— Отстань, Лидия! — отмахнулся адъютант. — Чего ты кипишь?!

— Ты ему скажи, что мы с тобой в Харбин катим! Скажи ему!..

— Ну, — скривился адъютант. — Это еще бабушка надвое сказала — поедет ли!

— Это что значит? — вспыхнула Желтогорячая.

— А то значит, что о Харбине еще рано тебе толковать... Кто поедет, а кто и нет...

— Финтишь?! — подбоченилась Желтогорячая. — Ну, постой, я с тобой по-
позже, попозже поговорю!

— На постели?! — захохотал хорунжий.

Пилю с подъемом, с треском. Кончился утомительный (да и опасный!) поход.
Худшее осталось позади.

Пилю за будущие победы, за свержение насильников, захватчиков власти, жи-
дов. Пилю за святую Русь, за порядок. Пилю за женщин (настоящих, не за этих вот!).
Пилю шумно, весело, угарно.

Подпившая Королева Безле, переходя с колен на колени (тяжело ее, корову,
держат, а мягкая!), смеялась и болтала.

— Донесли ноги в целости! Ха! Да только много чего-то по дороге растеряли!..

— Не болтай, Королева Безле!.. Не болтай, коо-ро-ва!..

— Куда у вас солдаты-то делись? Разбежались?!

— Не твоего ума дело! Заливай горлышко... На-ко ополосни!

— Нет, вы скажите, — пьяно упрячилась толстая, — почему вы войско-то свое
растеряли?!.

— Уймите ее!.. Уймите эту корову!

А кто-то наглый, пьяно откровенный кричал ей.

— Да ты пойми, дура!.. Пойми — нам же лучше, что эта сволочь разбрелась!..

Куда она нам?! К черту!.. К черту!.. Гуляй, душа!

В большой пятистенной избе, откуда выгнали хозяев, грохот дрожал в сизом
дыме (накурили господ офицеры), вздрагивали огни свеч, колебались, замирали.

Королева Безле накричалась, нахотелась и вдруг притихла. Ударило, видно,
в голову вино. Забилась она в угол вялая, стала неинтересной мужчинам. Расплы-
лась, осела. Потормошили, помяли, оставили.

И вот, врываясь в нестройный, бестолковый шум, заплескался вдруг, задрожал
бабий плач. Острый, режущий — такой, каким в деревнях бабы, обездоленные не-
счастьем, душу свою успокаивают.

Оторопели на мгновение, стихли гулеваны. Чего это с Королевой Безле? О чем
это она разливается? А она перегнулась, подперла голову разлохмаченную толсты-
ми руками, раскачивается из стороны в сторону и плачет, причитает.

— Ой! беденькие, голубчики!.. Ой, жалко мне, жалко вас!.. Косточки ваши
по деревьям, по лесам гниют! Ой, не дожались вы отдыха, не дожили... Сколько
женских слез по вас прольется! Сколько горя после вас осталось!.. А-а! А-а!..

Прошло первое ошеломление — накинусь на Королеву.

— Перестань, дурища! Не порти обедню!

— Да кого ты оплакиваешь, корова?

— Кого тебе жалко? О ком воешь?

Не переставая раскачиваться и плакать, Королева Безле ответила.

— Всех мне жалко... вот тех, кого по дороге растеряли... Подполковника Недо-
четова... вдову его жалко!.. Всех мне, голубчики, родные мои, жалко!.. Вас жалко...
А-а! А-а!

Оставили Королеву Безле. Пьяные это слезы, вино это плачет. И смешался
вновь вспыхнувший пьяный гам с плачем, с причитаньями. Пьяную разве уймешь?

Хорунжий гикнул, топнул ногой и, заваливаясь и качаясь, пошел в пляс. Жен-
щины зашлепали в ладоши, завизжали: стали хорунжему пару поддавать. Желтого-
рячая поерзала, потрясла плечами, выпрыгнула на середину тесной избы и встала
против плясуна. Кто-то засвистел, защелкал. Пляшущие дернулись, оторвались от
грязного пола и понеслись. Кругом все затопало, завизжало, закружилось...

Было уже поздно. Звездная морозная ночь тихо упала на снежные поля, на елани, на пади, на распадки, на хребты. Звездная ночь была ясной, спокойной, мудрой.

Кичиги стояли высоко и сверкали крестом своим. Самоцветными камнями переливало Утиное Гнездо и крайняя звезда Сохатого горела ослепительным алмазом.

Голубые тени замерли на снегу, под деревьями, у заборов. Над некоторыми избами вились дымки.

Кое-где краснели огни.

Деревня спала.

И вместе с деревней спал отряд.

Только в этой пятистенной избе шумела жизнь. Но и она стала замирать, когда оттанцевали хорунжий с Желтогорячей (а после них еще кто-то), когда несколько пьяных офицеров свалились на скрипучую хозяйскую кровать, когда в третий раз сменные свечи оплыли и затрещали.

И адъютант, менее других пьяный, почувствовав усталость, увидев, что оборвалось веселье, зевнул, потянулся и сказал:

— Ну, пора отдохнуть!.. Завтра еще один переход. Шагнем — и крышка!

Стали расходиться. Спавших не тревожили — всех, кроме Королевы Безле (наплакалась она, да под плясовую и уснула). Королеву Безле хорунжий пожелал увести к себе.

— Погреюсь я! — пьяно хохотал он. — Эта туша очень мне нравится!..

Но, когда толстую стали расталкивать, когда растормошили ее, согнали ее тяжелый сон — она вдруг вскочила, дико раскрыла глаза, бледная, оплывшая, затрясаясь, закричала:

— Ой, спасите!.. Спасите! Спасите!..

И долго так кричала она бессмысленно, страшно, дико, пьяно:

— Спасите!..

А когда пришла в себя, жадно пила ледяную воду (постукивая дрожащими зубами по чашке) и ничего толком не могла рассказать.

Пели петухи.

Кичиги были уже совсем высоко.

Глава 14

ГЛАВА НЕСУРАЗНАЯ

Эта глава — самая несуразная: где же тут расскажешь, как Коврижкинская стая голубою ночью (Кичиги стояли уже высоко) скатилась с хребта, врезалась в спящий белый отряд, откромсала от него добрую половину (а в половине-то этой красильниковцы, истребители, гроб), как смяла хвост отряда (тех, ненадежных), как обожгла внезапностью, огнем, яростью; как захватила добычу?

Где же тут все расскажешь?

Коврижкин так и рассчитывал: обрушиться на врага внезапно, ночью; обрушиться тогда, когда он забудет о всякой опасности (полковник Шеметов сладко грезил о скорой встрече с самим атаманом; штабные лихо отплясывали и блудили с женщинами!); когда удар будет значителен, крепок — и сокрушит.

Голубая тишина была в деревне разорвана трескотней пулеметов, криками, воем. Голубая ночь вспыхнула частыми, короткими огнями. В голубое спокойствие вторглись крики ярости, отчаянья и дикой, звериной, таежной злобы.

И полковник Шеметов, разбуженный шумом, кинулся, торопливо одевшись, из избы, метнулся, закричал на вестовых. А потом без цели палил из нагана, пока не расстрелял всех патронов. И только тогда пришел в себя, очухался, сообразил.

К нему стянулся офицерский отряд. Но стягиваться уже было поздно: нападавшие обложили отряд с трех сторон и жали его вниз, под угор, на речку.

Коврижкинские бойцы оттеснили хвост отряда. Там побросали винтовки и заорали:

— Братцы!.. Товарищи!! Сдаемси!.. Сдаемси!..

Но в голове, там, где офицеры, где зеленые ящики, где гроб и свежие крепкие лошади, — там их встретил запоздалый, но горячий отпор.

Лохматые, трепанные коврижкинские люди наседали упорно и остервенело на офицеров. Они гибли под частыми, неумными выстрелами, но лезли слепо, не колеблясь. Они орали бессмысленно, опьянев от крика, от боевого шума, от крови.

Они чуяли смерть — а потому были бесстрашны. Они убивали — и потому были пьяны...

Разве расскажешь по-настоящему — как человек убивает человека? — Не расскажешь. Этого не передашь: вот, взметнув руки, раскинув их (не для последнего ли объятья?), падает убиваемый. Вот, оскалив по-звериному рот, беззвучно рычит человек и с остановившимся взглядом бьет — бьет, чтобы убить. Вот падают двое, схватившись, сцепившись навсегда.

Разве расскажешь о том, как ожесточается в предсмертном порыве сердце человеческое, как оживают в нем древние, звериные предки?..

Глава эта несуразная. Вот только рассказать о том, как самая упорная борьба завязалась — на удивление Коврижкина и его помощников и его бойцов — у гроба подполковника Недочетова.

Туда устремились красильниковцы с хорунжим Агафоновым, там сгрудились офицеры — и среди них адъютант (Жоржинька, рассудительный, предусмотрительный, хитрый). И сюда же пришлось Коврижину кинуть крепкую испытанную, надежную силу.

Вокруг гроба, как некоего знамени — трещало, выло, ухало. И здесь лицо человеческое особенно исказилось печатью ярости и отчаянья; здесь сердце человека вспыхнуло тем, старым, дожитненным, предковым, волчьим.

Схватка была жестокая, огненная. Но настал момент, когда сила коврижкинской стаи одолела и красильниковцев и офицеров. Дрогнули они, поддались (много их полегло у гроба). И стремительным натиском отбросили их рычащие, бородатые, всклоченные коврижкинцы. В дома, во дворы (где глубокий, голубеющий снег), к гумнам, за гумна...

А потом — стало затихать. Ушли далеко Кичиги. Помутнели звезды — слабый зимний рассвет затрепетал, ночь уползла. Еще потрескивали выстрелы, еще рвали предутреннее затишье крики, но — видно было, чуялось — кончилось горячее, внезапное, грозное.

Стягивались рассыпавшиеся широким обхватом коврижкинцы, сползались, сходились (нюхом чуя, где командир, где головка самая) к Коврижину, к его штабу. Уже подбирали наспех раненых — и яснее и громче стали стоны.

А за гумнами, где темнела зубчатая стена леса, скакали, уносились белые. И туда лениво, не целясь, посылали коврижкинцы последние выстрелы.

В окнах покраснелись огни. Мужики зашевелились. Бабы и ребятишки повыползли из подпольев; испуганно прислушивались, озирались: чья взяла?

На крайнем порядке деревни, там, где раньше штаб белый был, где Шеметов, гроб, зеленые ящики и орудия (про молчавшие весь бой, и теперь ставшие военной

добычей) — вспыхнул, разгорелся, взметнул к небу золотую сеть искр и пламени костер:

— Наша взяла!.. Наша!..

Эта глава — несурзная, маленькая, но она же самая большая: в ней победа.

Глава 15

ЖЕНЩИНЫ

Когда перед рассветом тишину голубую взорвали крики, выстрелы, вой, — женщины, похолодев от страха, забились в углы, подальше от пуль, от смерти.

Вместе с другими — Желтогорячая и Королева Безле.

Но не так, как другие — Валентина Яковлевна, вдова.

Она помещалась вблизи штаба (поближе к гробу, к мужу), и нападение сразу разбудило ее, бросило во двор избы, где она спала, — и оттуда через жердяную изгородь увидела и услышала она, как заматались офицеры, как тревожно зазвучала команда, как зазвенела злобная матерщина, как затрещали, застучали выстрелы и зацокали пули. Оттуда же (прижавшись к холодным, запорошенным снегом жердям; и сердце больно стучало в ней!) увидела она, что люди стянулись к штабу, где командование, где гроб. Она дернулась, хотела броситься зачем-то туда. Но сразу же обессиленная припала к изгороди. Она увидела, что отстреливающиеся люди завозились вокруг чего-то у штаба. Там захрапели и звонко забили о мерзлую землю копытами лошади. Она увидела, далее, что лошади рванулись и вынесли сани, окруженные людьми. И, не увидев всего, она почему-то внезапно поняла: на санях, которые силились увезти обезумевшие, храпящие лошади, — на санях — гроб! И, поняв это, она еще раз сделала над собой усилие (ах, как отяжелели ноги!) и кинулась туда, где двигались сани и где, оседая на перебитый зад, падала одна из лошадей. Но она не успела пробежать двух-трех звеньев изгороди, как навстречу ей, наперерез, перепрыгивая через прясла, кинулись неузнанные в быстром беге люди. Ее отбросили назад — и вовремя: оттуда, куда стремилась она, бездумно, безотчетно, сыпнулось трескотней, залп за залпом, пачками, неумолчно. Она присела на снег. Не думая, она сделала то, что нужно было — спасала свою жизнь. Над ее головой звенели острым журчанием пули. Вокруг нее шумело. Тогда она, поняв опасность, ближе прижалась к снегу и поползла.

Она ползла долго. Снег набился под одетое впопыхах верхнее платье. Холодными струйками зазмеилась по телу оттаявшая вода. Сугробы мешали двигаться, порою она тонула в них — но сзади выло, трещало, жгло опасностью, и она ползла!

И когда она доползла до темной, молчащей избы, когда взобралась на крылечко, когда, шатаясь, ткнулась в темные сени и потянулась, шаря по бревенчатым стенам, к двери, — пальцы у ней не гнулись и были мертвы. Она заскребалась у двери, как озябшая собака, она долго возилась, пока схватила скобу и, потянув ее, последними силами, распахнула дверь. И в темную, но теплую избу упала, потеряв сознание.

Сколько времени прошло? Может быть, время остановилось? Когда Валентина Яковлевна очнулась, в избе было светло. Гудела железная печка, и дымных полосах качались тени и звучали голоса.

— Ну, вот вы и очнулись!?

Круглое лицо наклонилось над вдовой, полная мягкая рука провела по лбу: как больного ребенка ласкает.

— Мы думали, что вас ранило, а это вы с испугу. Да пальцы поморозили.

Валентина Яковлевна приподнялась, поглядела вокруг. Кроме этой толстой, с добрыми глазами, в избе было еще много женщин.

Многие курили, некоторые лежали на лавках; трое метались по избе; и все крикливо разговаривали, горячась и споря.

— Будет вам! — обернулась к ним толстая. — Тут человек болен, а вы галдите!..

— Мы все больные! — огрызнулась одна из метавшихся. — У нас у всех нервы... Мы больные!..

Вдова огляделась и узнала. Она сморщилась: сколько раз в походе корбило ее от встречи с этими женщинами! Сколько раз, когда жив был подполковник Недочетов, когда был он в силе — сколько раз она спорила с ним, а он смеялся, говоря, что женщины эти нужны, что они поднимают дух самой надежной части отряда — офицеров!

Вдова болезненно, брезгливо сморщилась.

— Почему я здесь? — спросила она у толстой.

Та виновато улыбнулась и тихо сказала.

— Мы ведь все пленные. Нас, женщин, всех собрали сюда... Ну и вы с нами...

— В плену?.. Разве наши разбиты? Разве красные?..

Вдова внезапно все вспомнила: и неожиданный грохот выстрелов, и крики, и лошадей, сивившихся что-то увести вскачь, и рыхлый, мокрый снег, забивавшийся за шею, в рукава, под шубу. Вспомнив, она почувствовала ноющую тягучую боль в руках. И с этой болью пришла другая боль.

— А где же остальные?.. Штаб, офицеры? — взволнованно спросила она.

— Штаб убежал. И много офицеров. Все красильниковцы... которые уцелели...

А нас бросили...

— А гроб? — впилась глазами в нее, замерла вдова. — Где гроб?

— Гроб здесь... отбили его красные.

— За него сильно боролись? — заблестела глазами Валентина Яковлевна. — Это верно — вокруг гроба шла горячая схватка?

— Да... Там много трупов... Когда нас утром вели — нас ведь из всех изб собрали сюда — мы видели гроб на санях и возле него трупы...

Толстая хотела еще что-то сказать, но взглянула на вдову и промолчала.

А та прижала обмотанные носовыми платками руки к груди и, глядя куда-то поблескивающими, потемневшими (и потеплевшими) глазами, задумалась.

Женщины кругом визгливо кричали, переругивались, спорили.

Одна — высокая, растрепанная, в распахнутом (голая грудь тепло розовела) шелковом кимоно, стояла у стола и, перекикивая всех, звонко орала:

— Вот помяните меня — выведут они нас всех, да отдадут на потеху этим мужикам!.. Вот помяните!.. А я не дамся! Я не дамся!.. Пусть лучше убьют!.. Да никогда... Да ни за что с этой сволочью!..

— Привыкла к офицерью? — подошла Королева Безле (задумавшуюся вдову она смущенно оставила в стороне). — Да тебя, голубушка, не спросят!.. Нас и раньше-то не спрашивали, а теперь и подавно.

Женщины заговорили все враз:

— Если бы хоть комиссарам роздали, а то целой роте — ведь это ужас!..

— Они все с сифилисом! От них пропадешь!..

— Да верно ли? Может быть, это так, слух?!..

— Да вы еще сомневаетесь? Ведь у них по всей России женщины поделены, а мы — добыча!..

— Ах, оставьте, не пугайте, девочки! Не пугайте! Я так боюсь... Ей-богу!..

— Но ведь мы не солдаты, мы не воевали! Пойдемте к главному ихнему комиссару, скажем: нам все равно — белые или красные!.. Мы не солдаты!

— Да, послушают они!..

Вдруг шум оборвался. Затихли, замерли.

В распахнувшуюся дверь вползли облака пара, а в паре — двое с винтовками, грязные, коренастые, оборванные. Один остался у двери, другой вышел на середину избы, оглядел всех и сказал:

— Которая здесь жена полковника помершего?

В томительной тишине ясно прозвучал немного дрожащий и глухой голос:

— Это я... Я — вдова подполковника Недочетова.

Вошедший оглядел вдову, внимательно посмотрел на ее обмотанные руки и неожиданно просто, буднично кивнул ей головой.

— Пойдемте-ка к командиру. Командир кличет...

Вдова встала, пошла. Женщины испуганно и многозначительно переглянулись.

Глава 16

РАЗГОВОР САНТИМЕНТАЛЬНЫЙ

Накрутили хвост!..

Коврижкин (уже рассвело, белое зимнее утро крепло) подсчитал потери, обошел свою стаю, стянул ее, поглядел. Он покрутил головою, оглядев своих убитых («Эх, славные ребята полегли!..»), поручил раненых домодельным санитарам — и пошел считать и подсчитывать добычу. И среди добычи (много добра осталось; многого не успели увезти усакававшие Шеметов с офицерами) удивили Коврижкина гроб и женщины.

— Ну, бабы — я это еще смекаю, — посмеялся Коврижкин. — Баб они для тепла набрали, вишь, неженки эти офицеры!.. Но куда им гроб? Гроб-то с покойником зачем они этакую путину волокли?..

И когда ему объяснили, что в гробу подполковник Недочетов, Коврижкин все-таки недоуменно покрутил головой.

— Видал ты, как слюни-то распустили! Рассуропились!.. Сволочь то этот Недочетов большая была, да разве тащат с собою в поход покойников? Чудаки!..

Гроб он велел пока оставить так, только уцелевшую лошадь выпрячь да оттащить застреленную.

— А с бабами што? — спросили его. — Мы покуда сгоняли их в одно место. Бабы ладные... Там и бабенка этого упокойника, руки она обморозила... Сурьезная, говорят, женщина...

— Баб допросим — которых отпустим, а которых и в Иркутск...

Управившись с добычей (все подсчитать надо было, к месту приладить), опросив пленных солдат, поставив крепкий караул к нескольким пленным офицерам (озирались они, как затравленные!), Коврижкин пожелал баб оглядеть:

— Ну-ка, давайте, ребята, сюда попервости вдову эту офицерскую!

В сумрачной большой горнице их было двое — Коврижкин за столом, на котором забытые белыми бумаги, и часовой у двери, — когда вошла вдова.

Перешагнула через порог, услышала за собой морозный треск закрывшейся двери, остановилась и взглянула. Встретила серый, спрашивающий, холодный неотвязный взгляд.

— Недочетова? Жена карателя Недочетова?..

— Жена подполковника Михаила Степановича Недочетова, — холодно и глухо (а сердце металось, стучало и вздрагивало) ответила женщина.

— Сядьте... вот на табуретку.

Опустилась устало, сжалась.

Серый взгляд неотрывен, колет, жжет.

— Зачем вы шли с отрядом? Не женское это дело... Зачем?..

Женщина выпрямилась, сжала брови.

— Я везла тело мужа... мертвого...

— А раньше?.. Пока он еще жив был?..

— Я не хотела покидать его... Решила делить его участь...

— Так...

Коврижкин потер ладонью плохо бритый, шершавый подбородок. В серых глазах что-то дрогнуло, светлое, мгновенное.

— А зачем в отряде такая куча женщин?.. Тоже за мужьями?..

На бледных щеках у женщины заалело.

— Я не знаю... Мне нет никакого дела до тех женщин...

— Та-ак...

Молчание. Нехорошее, смутное. И вдруг несурзное:

— Что же мне с вами делать? А?..

Женщина изумленно пожала плечами, растерянно взглянула на Коврижкина, собралась что-то сказать, а он:

— Я с бабами не воюю!.. Куда мне такие пленные?! Только лишняя обуза! И зачем вы претесь с войском!?! Вот возись тут с вами!.. Да!

Коврижкин пошарил на столе под бумагами, достал табак, занялся папироской.

Женщина внимательно следила за жилистыми руками, за широкими (с желтыми с черными каемками ногтями) пальцами, свертывавшими газетную мятую бумагу. Она подождала, пока папироска была скручена, и когда Коврижкин широко лизнул языком бумажку, склеивая ее, сказала:

— Ваше дело... Вы что хотите, то можете сделать с нами... со мной... Я в вашей власти... Только богом я вас умоляю — позвольте мне мужа похоронить... Похороню, а потом как вам угодно... Только бы мне самой его похоронить!

Коврижкин (доносил он в это время зажженную спичку к папироске) широко взмахнул рукой, отбрасывая недогоревшую спичку, потемнел, стал злым.

— Вашего мужа, барыня, надо бы по правде-то как пададь бросить!.. Как пададь, чтоб воронье его исклевало!.. Так!.. Ежели попался бы он мне живьем, я бы сам вот этими руками (вытянул сильные жилистые рабочие руки к отшатнувшейся женщине), вот этими бы!.. задавил, как гадину... Да не пришлось... Миновало это его. Ну, его фарт... А теперь...

Выпрямился, сжал челюсти, поиграл желваками на дубленых щеках.

— Теперь разрешаю вам хоронить его! Разрешаю. Здесь.

Женщина вздохнула, сжалась, стала меньше, голову наклонила.

— Спасибо...

— А похороните — отправлю вас совместно с остальными в Иркутск. Идите.

Женщина встала. Человек с винтовкой, стоявший у дверей, подобрав оружие ловчее в левую руку, посторонился. Женщина помедлила уходить.

— Я попросила бы вас, — нерешительно сказала она, — отправить меня в город одну... не с этими...

Коврижкин уперся руками в стол и холодно, чуть-чуть издеваясь, взглянул на женщину.

— Не могу... Пойдете совместно с другими... Для меня все едино — вы ли, они ли... Так!..

Глава 17

ТЕЛО ПОДПОЛКОВНИКА НЕДОЧЕТОВА

Занесло за утро гроб снегом. Намело возле саней сугробы. Чтобы пройти, чтобы добраться до гроба, надо тропу проминать в рыхлом, сыпучем, ярком снегу. Тяжело вдове, Валентине Яковлевне, в набухших валенках снег утаптывать, дорогу к мужу прокладывать. Тяжело. Человек с ружьем, прошедший за нею по приказу Коврижкина, обошел ее.

— Обожди! Я протопочку проложу. Легше станет.

Прошел — широкий медвежий след за собою оставил. По следу медвежьему — вдова. Встала возле гроба, ознобленными руками смахнула снежный покров. Перекрестилась. И, перекрестившись, растерянно оглянулась: как же все устроить?

Но уже подходили праздные, любопытные. Растапывая снег, валили к гробу, к женщине. Оглядывали, осматривали. Ждали. Молчали.

Знали, что в гробу лежит (пронеслось по коврижкинской стае, от пленных извистилось) лютый враг, злой, беспощадный при жизни. Знали, что возле гроба стоит скорбная, молчаливая, придавленная — вдова врага этого. Знали и молчали. И в молчании этом было зловещее, непереносимое, бьющее.

Вдова оглянулась — и побелело ее лицо. И спрятала она глаза от толпы, от жадных неотрывных глаз.

Тот, кто помог ей по снегу пройти, обернулся к толпе и сказал.

— Товарищ командир сказывал, чтоб гроб похоронить этот... Айда, ребята, которые с лопатами. Ройте на погосте могилу... А которые желающие — давайте гроб подымать...

В толпе колыхнулось. Нет еще слов — но повеяло уже гневом.

В толпе колыхнулось злое, холодное. И никто не вышел, никто не подошел к саням, ко гробу.

Вдова Валентина Яковлевна сжалась, ближе к гробу прильнула. Не глядит, не шевелится, но вся напряглась, не ушами только — всем телом слушает.

И вот:

— Черти его пушшай хоронят!..

— Это кого бы из гроба вытряхнуть, на назем, в говно!..

— Как дохлятину!.. Как падаль!

— Стерву такую на свалку тащить надо, а не хоронить!

— Да вместе бы с барынькой! С офицершей!..

— Со всеми бы шлюхами!..

Разорвало толпу, всколыхнуло, ожгло. Вот оно! Вот пришло!

Куда уйти от этих криков, от злобы, от этого возмездия? Куда? — Сжалась вдова Валентина Яковлевна, окаменела, спрятала глаза, и в глазах — бессильный гнев и отчаянье. И стыд. Откуда-то пришедший, незнаемый, неожиданный стыд...

Колыхнулась, взорвалась толпа — но погасла почему-то.

Там, за спинами, задние увидели кого-то, удушили крики, заворчали.

Там сзади — Коврижкин.

— Почему галдеж?
Расступились (распахнулась толпа, вобрала в себя Коврижкина, замкнулась), пропустили к гробу, к вдове — застывшей, испуганной женщине.
— Чего шумите?
Из толпы, снова нарастая, вскипая, полетело:
— Пошто сволочь эту приказал хоронить?
— Собаке — собачья смерть!
— Вытряхнем стерву из гроба!
— Вытряхнем!..
Но, прорезая толпу и разноголосый галдеж, Коврижкинское властное, кремневое:
— Эй, тише!.. Помолчите-ка! Эй!..
И смолкло.
В едва осевшую тишину, в отстоявшемся молчании плеснулся бабий голос:
— Господин... Товарищ командир! Позвольте!.. Товарищ!..
Ко гробу, к вдове, к Коврижкину протискивалась (за нею следом конвоир) рас-
трепанная, раскрасневшаяся, толстая, совсем не в себе Королева Безле. Протисну-
лась, отдышалась, сомлела.
— Господин товарищ... Позвольте объяснить вам... Позвольте.
В серых Коврижкинских глазах — изумление. Жадное любопытство в толпе.
Новая тревога у молчащей (ушибленной, придавленной) вдовы.
Коврижкин скосил губы, усмехнулся:
— Ну, в чем дело?.. Говорите!
Королева Безле оглянулась на вдову, передохнула и:
— В этом гробу нет подполковника Недочетова...
— Вы врете!.. Как вы смеете!.. Тут мой муж!.. Мой муж!.. — Лопнуло молча-
ние. Вскинулась, ожила, затрепетала вдова. — Вы врете!..
Повел бровями (удивленно и досадливо) Коврижкин, рукой взметнул к голове:
да замолчи, мол! — и строго толстой, растерянной:
— Говорите-ка толком — в чем дело?
— Да я толком: никакого Недочетова тут нету!.. Не хороните, пожалуйста, не
хороните!..
— Кто?!
Широко раскрыты глаза у вдовы, Валентины Яковлевны, а в глазах последний,
обжигающий испуг.
— Кто?! — Эхом отдается в толпе. Но оборачивается Коврижкин, и толпе: —
Помолчите!
И снова к толстой, нелепой, к Королеве Безле.
— В чем дело?.. Спрашиваю — в чем дело?.. Кто в гробу?.. В гробу кто?..
— Золото... деньги!..
Охнуло, грохнуло, раскатилось в толпе. И за грохотом не слышен крик — жен-
ский, отчаянный, тоскливый.
Возле гроба выросли люди, завозились. Крак! Отстала крышка. Раскрыт гроб.
Улыбающееся веселое лицо обернул Коврижкин к толпе.
— Верно!.. Вот так покойничек!..
— А-а-а! Покойник!.. Хо-хо!..
— Награбили! Нахапали!
— Ловкачи!
— Ай да полковник!.. По-ко-ойничек!..
— Ура-а!!!

Глава 18

КОРОЛЕВА БЕЗЛЕ — СВИДЕТЕЛЬНИЦА

— Ловко вы, барыня!.. «Вдова», «за гробом мужа», «позвольте похоронить»... Ничего, хорошо обделали!..

Коврижкин опять за столом, на котором уж нет забытых белыми бумаг. Но вместе с ним за столом еще трое: штаб. А по другую сторону — вдова.

Но до этого: выкладывали из гроба мешочки с золотом, считали, проверяли, переносили, ставили караул. До этого под вой и крики и хохот увели вдову Валентину Яковлевну в отдельную избу. И когда вели ее, шаталась она, плохо понимала, плохо слышала.

И теперь стоит она серая, осунувшаяся, далекая, и впиваются в нее спрашивающие, жгучие, неотрывные взгляды.

Четыре пары глаз.

— Ловко!.. Хорошо вы, барынька, комедию развели.. Не удалось, правда, сорвалось!.. Жаль, поди!? Ну, рассказывайте — когда и где деньги эти насбираны? Почему не донесли мне? Рассказывайте!..

Женщина вздохнула.словно очнулась. Подняла ресницы, поглядела на Коврижкина, на троих. Снова опустила глаза и тихо:

— Я не понимаю... Я совсем не понимаю — что это?..

— Не понимаете? — лукаво скосил глаза Коврижкин. — Да тут нечего и понимать. Любое дите поймет. Вот я вам объясню: ограбили белогвардейцы народное достояние, нахapaли, надо скрыть. Ну, ссыпали в гроб, а для пушей крепости — ко гробу плакальщицу. Как тут учуешь, что деньги?.. Теперь понятно?..

Коврижкин улыбнулся — широко, благодушно. Трое засмеялись. Но, спрятав смех, неприязненно (и с любопытством острым) уставились на вдову, на Валентину Яковлевну.

По серому лицу женщины полыхнули кровавые пятна, дрогнули губы. Шире раскрылись глаза.

— О, господи! — скорбно сказала она. — Да ведь я за покойником своим, за мужем шла!.. Я ведь не знала!.. Ведь обманута я!.. Поймите — обманута!..

Широко раскрытые глаза налились слезами; женщина сдерживала плач (ах, не заплакать бы перед этими, чужими, враждебными!) — но слезы текли, смачивали щеки.

За столом кто-то кашлянул. Коврижкин наклонился к соседу и тихо что-то сказал. Другие перегнулись к ним, слушали.

— Та-ак! — протянул Коврижкин. — Выходит — обман для нас, обман для вас... Так. А почему же мы верить вам должны? Ради каких таких заслуг ваших? Не ради ли мужа вашего, подполковника Недочетова, который живьем село в сорок дворов сжег? Не ради этого ли?.. А?

Женщина молчала. Но слезы текли крупные, частые.

— Свидетели есть? — коряво, громче, чем нужно, спросил один из трех (молодой, в черном замызганном полушубке, с патронташами крест-накрест через грудь). — Свидетели всей этой махинации, спрашиваю, имеются?

И, подтверждая, одобряя этот вопрос, Коврижкин мотнул головой: Имеются?

Женщина покачала головой (в уголки рта заползли ручейки слезовые, солоно).

— Нет... не знаю...

И снова улыбнулся Коврижкин, перегнулся еще к кому-то из трех и сказал ему:

— Пойди, Гаврилыч, скажи — пушкой толстую эту доставят сюда. Попрошаем.

Один из трех вышел.

Было тихо в избе. За столом молчали. Молча поглядывали на женщину. И Коврижкин уже не предлагал ей садиться на табуреточку.

Потом пришли Королева Безле и тот, кто уходил за ней.

Королева Безле подошла к столу, сбоку, украдкой посмотрела на вдову. Посмотрела — вздохнула.

Коврижкин вытянулся через стол к ней, протянул руку, отставил палец (темный с черным ободком грязевым под ногтем; узловатый), и пальцем — на вдову, Валентину Яковлевну.

— Эта с какой стороны в деле этом, в денежном участвовала?.. Расскажите-ка, гражданка, всю правду!..

Королева Безле растерянно и смущенно глянула на вдову (встретила испуганный, ждущий, враждебный взгляд), растерянно уставилась на Коврижкина.

— Как это? Не понимаю я...

— Ах, — скривился нетерпеливо и обиженно Коврижкин. — Должны вы понять... Как вы, гражданка, нам сообщили правильно про гроб и про всю фальшь с деньгами, за что вам будет от штаба благодарность и смягчение вашим поступкам, ежели какие были... ну, вот, как довели вы до сведения о деньгах, так теперь является вопрос: в каком участии находилась гражданка вдова в этом деле. Она же отрицает, говорит, что ей неизвестно об деньгах, на покойника, на мужа своего опирается... Значит, сообщите: насколько ей известно было... Понятно?

Трое вытянулись, уставились на Королеву Безле, ждут.

Королева Безле жалко, бледно улыбнулась (вовсе и улыбаться-то не нужно было), пошевелила толстенькими пальцами, кашлянула:

— Я вам, что знаю, расскажу...

— Вот, вот! — закивали за столом. — Главное, правду! Чтоб без хитрости и без вилянья!..

— Я это от пьяных узнала, от офицеров. Пили мы с ними, — смутилась, покраснела Королева Безле. — Напились они, да спяна и рассказали, что из зеленых ящичков деньги в гроб переложили...

— А гроб-то с чем был?

— Как с чем? — оживилась Королева Безле. — Там покойник был... вот муж ихний... — Остановилась, взглянула на вдову и в горящем, неотрывном взгляде, в ожидании, не увидела уже злобы и недоверия.

— Был, значит, покойник-то в гробу? — заинтересованно, мягче спросил Коврижкин.

— Был, был! Это в Максимовщине, в селе, ночью офицеры деньги перегрузили в гроб... А тело покойника во дворе, за гумном, в снег зарыли...

Трое за столом задвигались, выпрямились:

— Та-ак!..

— С почетом, значит, подполковника-то похоронили!.. Ха!..

— По-белогвардейскому!..

— По-собачьи!..

Вдова подняла обмотанные руки и укрыла ими лицо. И из мятых, полумокрых платков послышался всхлип.

Коврижкин оглянул избу, увидел у стены лавку, кивнул часовому у дверей:

— Подставь-ка лавку!

И когда лавка с грохотом стала возле женщин, сказал обеим, не глядя на них:

— Сядьте... Эту-то посадите...

Королева Безле бережно обняла вдову и посадила.

Сидя, Королева Безле почувствовала себя свободней, поправив себя, обуютившись, связно и толково рассказала обо всем.

А когда она рассказывала, вдова Валентина Яковлевна опустила резко на колени руки, сжала их, впилась в нее глазами. Не плакала, не прерывала, а только тяжело, упорно глядела и впитывала в себя все, все...

Глава 19

ЖЕНСКОЕ

Об этом нужно рассказать без улыбки, снисходительно, осторожно.

В избе, там, куда согнали коврижкинцы офицерских мамзелей, где раскаленная печка железная потрескивала, позванивала, было тихо. Женщины сжались, молчали. Крикливые, шумные, озорные — они зажали в себе неумность, размах, бесшабашность — и затихли.

Они затихли сразу после того, как пришли оттуда, из штаба, после допроса, вдова с толстой. Они еще не знали всего, но увидели они опаленное отчаяньем и обидой лицо вдовы и растерянность грузной Королевы Безле — и сжались. Они уже узнали о гробе, о деньгах, об обмане. И чуяли тяжелое, гнетущее, что нависло над чужой, но ставшей близкой в неизвестном еще горе женщиной.

Прислонившись к стене, сидела на лавке вдова, Валентина Яковлевна. Она молчала. Она не плакала. Но глядела пустыми, невидящими глазами. Глядела — и ничего не видела.

И смотрели на нее подобревшими, влажными глазами женщины. Смотрели — и думали о чем-то, каждая о своем. И так долго бы, быть может, молчали они и множили и травили в себе тоску, если б не Королева Безле. Грузная, оплывшая — встала она перед вдовою, подперла рукою щеку (врала она, поди, что прокурорской дочерью была в девичестве невинном!), всхлипнула, проглотила слезы и бережно сказала:

— Вы бы поплакали, голубушка! Поплачьте! Легче будет!..

И, как по сигналу, зашевелились, поднялись с мест, двинулись к вдове остальные:

— Не задерживайте слез!

— Облегчите себя!

— Легче будет!.. Гораздо легче!..

Плеснулись женские, бабьи слова ласковые. Рванули что-то во вдове, какую-то пелену разодрали на ней, какую-то перегородочку проломили, — потемнели глаза ее, стал ближе, во что-то уперся далекий, уходивший взгляд. Дрогнули плечи. Всхлипнула, привалилась плечом к темной стене, затряслась.

Пришли слезы.

Обсели вокруг нее женщины. Вздыхают, глядят на нее. Стала ближе она. Стала проще, роднее. Можно приласкать, успокоить, говорить нелепые слова, вместе плакать можно.

После первых слез пришли слова.

Не отрываясь от темной стены (не там ли утешенье найти можно, как на чьей-то груди?), сквозь слезы прерывисто вздохнула вдова Валентина Яковлевна, лицо скривила болезненно.

— О, господи! Что же это они со мною сделали?.. За что это мне?..

И так как участливо (глотаая слезы и вздыхая) слушали кругом и было много мыслей, — она, не дожидаясь ответа (кто же ей ответит?), громче, настойчивей говорила.

— За что?.. Ведь что же они сделали?.. Миша всю душу за их дело положил!.. Миша героем был... Они при жизни в рот ему глядели!.. О, господи!.. Они без него

там, на фронте, шагу ступить не могли... А теперь... выбросили, как... падаль. Боже мой, боже мой!.. Как падаль. Кто же они?.. Разве им эти деньги дороже были Миши, героя?.. Боже мой, боже мой!..

Она выкрикивала слова и раскачивалась, стучаясь головою о стену. Она глядела на окружающих женщин, ловила их взгляды. Она спрашивала. Ей не отвечали.

— Они у меня душу испоганили... ведь они за веру шли, за порядок!.. Как Миша мой!.. Я так верила... А они кощунствовали... Я тогда в церкви, на панихиде, такую благодать почувствовала... Мне стало легче после молитвы... Я была им благодарна... А они... Какая же у них вера? Во что же они верят? Где у них душа?.. Душа где?..

Она передохнула. Всклипнула. Завязанными руками (как дети кулачком) утерла глаза. Сжалась.

Женщины глядели на нее сумрачно, заплаканно. Королева Безле тихо, про себя плакала.

Из-за стола (там она молчаливо стояла и слушала внимательно и впитывала все в себя) вышла Желтогорячая.

— Сволочи они... Сволочи! — выкрикнула она. — Разбойники с большой дороги!.. Какая у них вера? Нет у них никакой веры!.. Всех обманывали, всех! Ни в бога, ни в черта они не верят!..

Выкрикнула — задохнулась. И, словно сменяя ее, Королева Безле.

— Все опоганили они... Голубушка! Все опоганили... Над всем издевались!.. Какое дело большое делать шли, а бардак с собой тащили!.. Нас понабрали, с нами все грязью затапывали... Губители они!.. Никого они не любят, никого!..

Побелела Королева Безле. Вовсе и кротости в ней нет. В маленьких, покорных глазах — злоба звериная.

Перебивая Королеву Безле, заговорили, закричали другие. Вот та, в розовом кимоно, черненькая, с челкой, еще и еще. Прорвалось что-то, хлынуло.

— Нас, как собак, кинули!..

— Как сучонок!.. Как собак!.. Будто не люди мы!

— Манили сладкой жизнью!

— Меня чистенькой, как стеклышко, в Омске взяли!.. Невинная я была!..

— Меня от мужа!.. Муж у меня хороший... Муж хороший у меня был!..

— Заразили меня!.. Девочки, не признавалась я!.. Сифилисом наградили гады!

Господи — господи!..

— Сволочи они, сволочи!..

— Теперь на муки оставили!.. Теперь что же с нами сделают? Что же, скажите, сделают с нами?..

— Боже мой, боже мой!.. Куда нас теперь? Куда?!

Как одержимые — не слушая одна другую, не слыша ничего, выкрикивали они, плакали, блестели глазами. Растрепанные, с невыспавшимися лицами, с темными кругами под глазами, обезображенные — метались они, заражая друг друга смятением своим, захлебываясь им, найдя в нем какую-то сладкую горечь, какую-то пьянящую боль.

Перебивали одна другую, выкладывали свое самое наболевшее, самое срамное и стыдное, самое болезненное. И забыли, опалившись своим, выношенным, — забыли про вдову Валентину Яковлевну с ее обидой. И она, высушив слезы свои, ошеломленно, испуганно и гадливо (вспомнилось сразу — кто они, кто эти женщины) глядела на них, снова совсем чужая, совсем далекая, как будто не из одной чаши плеснулась на нее и на них бабья, женская горячая скорбь...

Глава 20

ТРОФЕИ

— Так что, товарищи, доставить в город, значит, без всякой неустойки!.. Чтоб никакого изгальства и притом без блуда!..

Нос луковкой, глаза сонные, спокойные, и все лицо пучками щетины рыжей заросло. А в голосе — упорство, тяжесть, власть:

— По приказу товарища командира! Отправляйся!..

Сани, кошевки. Вытянулись вдоль улицы. А в санях женщины. Укутались, застыли, молчат. Вместе с женщинами — конвоиры с винтовками. Они ухмыляются, прячут веселую насмешку, поглядывают на женщин, оглядываются на отстающих, подмигивают им.

Возле саней толпятся бойцы. Они ловят озорные подмигиванья, они не сдерживаются, хохочут, пошучивают:

— Ну и груз!..

— Вот это кладь!.. Мягонькая!.. Смотрите, ребята, не проквасьте баб-то.

— Кабы не скисли!.. Вы их перетряхивайте почаще! Почаще!

— Хо-хо! Вот энту, колоду-то толстую, ее пуще трясите!.. Хо-хо!..

Тот, с луковкой, обросший щетиной, оборачивается к изгальщикам:

— Вы пошто глотку дерете? Это вам не тиатор, не представленья! Заткнитесь-ка!..

Не унимается хохот. Где уймешь шутников!

Возницы кричат на лошадей, дергают вожжи, чмокают. Тронулся обоз.

Под улюлюканье, под свист, под хохот уезжают женщины. Те, что шли еще недавно в другом обозе, тогда озорно-веселые, сытые, с надеждами, с планами: Харбин, шантаны, иностранцы!..

Уползает обоз. Скрипит, поскрипывает, потрескивает по длинной, по кривой, изгаженной, шумной многолюдной улице. Скрывается за настежь раскрытой поскотиной. Сползает на дорогу. Туда — где город.

Еще шутят оставшиеся, еще мнут баб. Срамно, гадливо насмехаясь над ними (и вспыхивает самцовое, мужичье в глазах), а потом расходятся. К настоящему, к трудовому, к боевому возвращаются. Куда-то отбывает Коврижкин, командир добровольцев. Что-то замыслил хитрый и знающий...

Второй это обоз — тот, который весело провожала коврижкинская стая — второй этот обоз, который — с бабами.

Раньше был отправлен иной. Раньше под сильным конвоем вывели из избы тюрьмы пленных офицеров. И молчали бойцы, также любопытно, жадно сгрудившись вокруг стражи... Молчали — и, метко запоминая, разглядывали.

Выходили, не глядя по сторонам, шаря взглядами где-то вниз, под ногами, бледные, оплывшие, желтые. Выходили, утратив бодрую осанку, молодцеватость, шик. Выходили офицеры — переставшие быть офицерами: просто озабоченные большою (ах, какой необхватно-большою!) заботой, усталые, грязные, плохо поевшие люди. Рассаживались по саням. Втискивались меж конвоирами, жались, сжимались. Не видели, но чувствовали (как не почувствовать! — острые, колющие!) тяжелые упорные взгляды молчащих и значительных в молчании бойцов коврижкинских.

Скрипели, попискивали, потрескивали сани, уползал обоз. Туда — где город...

И когда он уполз, скрываясь в зыблущейся тесноте улицы, люди стряхнули с себя цепкое молчание, задвигались, заворчали:

— Крышка, брат, имям!..

— Выведут в расход беленьких!..

— Накрутят, застукают!..

— Ишь, какие тихонькие да скромненькие!.. Чисто девицы красные!..

— Попили кровушку, попили!

— Теперь — крышка! Амба!..

И было крепкое, мужицкое, хозяйственное удовлетворение: амба! Конец теперь этим!.. Оно вилося, яснело в хищных улыбках (невеселых, колючих), оно двигало, раскачивало, спаивало, связывало толпу стадовым, глухим, умирающим гулом...

Глава 21

ПУТЬ ОБРАТНЫЙ

Гулом глухим (зверь таежный ворчит так, издали поглядывая на добычу), гулом стадовым встречали по деревням эти два обоза. Вылезали мужики из изб, высыпали остроголосые ребята, облепляли сани, назойливо лезли, глядели, разглядывали. И конвоиры незлобно грозили винтовками, отпихивали любопытных прикладами, покрикивали:

— Не лазьте!.. Слышь, не лазьте, земляки!..

Лезли, грудились мужики, бабы, озорничали ребята — разглядывали тех, кто еще недавно, но не так, ехали в иной путь. Разглядывали — и не узнавали.

— Которы это, мужики? Неужто те самые, онэгдысь которы с отрядом белым перли?

— Видно, те... Будто те, ребята!

— Ишь ополоснуло их как! Фасон-то уж не тот!

— Куда же их теперь? — любопытствовали бабы.

— Куда-а?! — хмыкали, вскидывались вокруг. — Известно, куда — кончать!

Расстреливать их будут в городе!

— Сначала засудят, а уж потом к стенке!..

Толковали, рядили, провожали этими толками пленных. Не стесняясь их, словно уж не живые были они, а вещи, далекие. И молча озирались офицеры, хмуро переглядывались, кутались в одежду — от холода укрывались, от слов, от взглядов.

Но шумнее стало, озорнее в деревнях, когда проходил через них второй обоз: бабий.

У баб деревенских поблескивали глаза, они скалили зубы — зло и глумливо смеясь.

— Ага! Схапали шкурех!..

— Заполонили офицерских полубовниц!..

— Вот дадут вам в городе! Задерут подола, да всыпят горячих!..

— Спустят с вас, курвы, мясо белое!..

— Разье-елись!.. Раздобре-ели!..

— Дадут вам ходу! Изукрасят вас, красоточки!.. Изукрасят!

— Ишь, лопать-то какая хорошая! Наблудили, наворовали!.. Га-адины!..

Бабы напирали на обоз, плевали, выставляли кукиши, подплясывали злорадно. Они помнили недавние ночи, когда в жарких избах эти самые женщины ладили из себя барынь, командовали, приказывали, пьяно задирали их. Они помнили это.

Но вот кто-то из них разглядел вдову, Валентину Яковлевну. Кто-то ближе протиснулся к саням, на которых она сидела. Крикнул:

— Гляди-ка, бабоньки, а офицерша-то, которая с упокойником тащилась, здесь же! Ай похоронила супруга-то?..

Вдова Валентина Яковлевна (окаменела она, застыла) взглянула на баб, отвернулась.

— Отстаньте от женщины!.. — вяло сказал конвоир. — Ейное дело вдовье... Отстаньте!

— Вдовье!.. Знамо — вдовье дело не сладкое!..

— Похуже, чем у шлюх этих!.. Тыфу, будь вы троюпрокляты!..

Так из деревни в деревню.

И также в Максимовщине.

Въехали в село, Королева Безле (на одни сани примостилась она со вдовою) тронула Валентину Яковлевну за рукав:

— Эта самая Максимовщина и есть...

Та жадно взглянула кругом и к конвоюру:

— Мне бы здесь разузнать надо!..

— Чего?.. — поглядел тот на нее.

— Мужа моего... тело тут где-то... Я хотела бы узнать...

— Спрашивайся у старшого. Он распорядится!

Королева Безле привстала на санях и звонко:

— Товарищ старший!.. А, товарищ комиссар!..

По саням, по кошევкам перекликнули. Дошло до старшего. Пришел:

— Какая надобность?..

Вдова Валентина Яковлевна сказала. Старший подумал, голову даже криво поднял. Подумал и сказал:

— Упокойника разыскивать? Видал ты! На этот смысл распоряжения у меня никакого не имеетца... объявишься в городе... Там тебе всякую справку дадут!..

Был упорен старший, непреклонен. Так вдова ничего и не добилась. Только, когда после раздыха трогался обоз в дальний путь — старушонка какая-то, вместе с бабами вертевшаяся возле саней, вместе с бабами над женщинами галившаяся, поглядела, присмотрелась к вдове и, позабыв о насмешках, о злобе, вдруг участливо спросила:

— Это у тебя, сударка, муж-то в гробу покоился? У тебя? — И не получая ответа, но не смущаясь этим, она свое: — У тебя, значит... Я к тому: утресь офицеров тут провозили, полоненных. Ну, значит, ребята военные-то сказывали, что вытряхнули твоего мужа-то упокойника из гробу. «В вашей, — говорят ребята-то эти, — в вашей Максимовщине полковника вытряхнули, а вместо его — деньги...».

Бабы кругом молчали. Слушали старуху, хоть и знали все это сами. Все слышали утром.

Бабы слушали и глядели на вдову, на старуху.

— Агромадные деньги, сказывали!.. Да! А упокойника-то твоего, женщина, офицеры-то на кладбищу нашу сволокли, да еле-еле снежком прикрыли, присыпали... Так он там и лежал бы. Да мужики тогда же заприметили тело неизвестное, неладно, ведь, собаки грызть начали упокойника... Нехорошо. Ну, зарыли глыбше... Глыбше. А теперь и оказалось, что твой это... Сказываю, зарыли... Ты будь без сумленья!.. Теперь не растащут!..

— Нет, теперь не тронут! — подхватили бабы.

Вдова Валентина Яковлевна вцепилась в отвод саней, крепится: ах, не расплакаться бы!

Старший подумал, поглядел:

— Ну, нечего рассусоливать! Трогайте, ребята! Ладно!..

Вдова рванулась к нему:

— Позвольте!.. Товарищ! Позвольте мне сходить на могилу!..

Старший (шагнул он было уже к своим саням) остановился, быстро обернулся к вдове и резанул:

— Нельзя! Нет такого приказа!..

— Позвольте! — зазвенел тоскою женский голос. — Что же тут такого?.. Ведь я не убегу... Ведь муж мой там...

И еще раз отрубил:

— Нельзя! Нет, говорю, распоряженья на это... — Но вдруг вспыхнул, отчего-то рассердился, повысил голос:

— А потом еще вот што... Подумать об этом надо: кто там на кладбище? — враг наш!.. Его зря добрые люди от зверя прикрыли... от собак. Ему бы и впрямь следовало костей не собирать!.. Враг он!

Передохнул еще сильнее и полней налился гневом.

— Враг!.. Какая может быть здесь снисхожденья? Эй! Трогайте, ребята! Да ну их... с канителью этой!.. Пошел!

Тронулись. Уходили назад бабы, избы, огороды. Вдова тоскливо глядела туда, где за пряслами чернели кресты. Кругом все умолкли.

Глава 22

МЕДНЫЙ РЕВ

В городах багрово плескались красные полотнища. Затихала кровавая страда. Разгоралась под февральскими, еще не окрепшими, еще пугливыми зорями, живая жизнь.

Хоронили мертвых.

Реяли знамена, знамена, знамена. Золотом горели трубы оркестров. Рвали влажный холод медные голоса. Тысячи ног утапывали рыхлый, вялый снег. Над тысячами голов, вместе со знаменами, колыхались, высились гроба, десятки гробов.

Тысячи ног утапывали путь к братской могиле.

На горе, господствуя над городом, желтея свежими комьями глины, легла она, готовая принять в тихие недра свои десятки погибших. Широкая братская могила. Она зияла отверстым чревом своим. Она безмолвно, но неумолчно кричала в холодные, увитые жидкими облаками, небеса. И ее крик отражался в реве меди, в переливах похоронных песен, в шуме движущейся, неуправляемой толпы.

Из предместий, через старые темные мосты, по шумным улицам, шумно катились потоки, вспыхивающие красными знаменами, красными вскриками, красной бурей.

Текли толпы. По обледенелым тротуарам останавливались любопытные. Их срывал, уносил с собою поток. На их место становились новые — и эти новые также уносились, растворялись в шуме, в колышавшемся движении тысяч. И еще, и еще...

Толпою с тротуара вместе с другими унесены были Королева Безле и Желтого-рячая. Ошеломленные, испуганные чужим многолюдством, они металась в потоке. Они пытались вырваться, уйти, но не могли. И, покоренные стихией, они шли в толпе, а над ними хлопали и рдели знамена, а впереди них плыли над головами гроба.

Они молчали, сжавшись, цепляясь одна за другую, постаревшие, жалкие, ненужные. И, не слушая, слышали они назойливый, выдающийся в уши победно-похоронный грохот и рев меди...

Текли толпы. За ними оставались любопытные, уцелевшие от потока, разглядывающие уходящее многолюдье. У калиток, у ворот, возле подъездов, липли они, переговариваясь глухо, тая в себе свое, скрытное. У запыленных февральским мо-

розом окон таились глазающие, и, когда окна жалобно сотрясались от медного тыся-
чеглоточного пения, глаза у них темнели, и они слегка отодвигались в сторону...

До братской могилы, через весь город, дрожал медный рев. Он катился над
улицами, он бился о стены домов, он влипал в окна. Он был назойлив, властен и
неотвязен.

Он бил.

И, наполняя город, наполнил он и трехэтажную тюрьму, рассевающую за рекою
и сторожащую город. А в тюрьме у окон — бледные, посеревшие. Они слушают и
слышат этот медный рев. И они думают.

Вместе с другими — вдова, Валентина Яковлевна. Ненужная, забытая.

Она вслушивается в шум, она видит из окна своей камеры, сквозь четкие квад-
раты решетки, как реют алые птицы и как медленно баюкает толпа (бережно и лас-
ково!) гроба, десятки гробов.

У нее тоже темнеют глаза.

Она вспоминает:

В снежных сугробах, за гумнами, наспех свалено в мерзлую землю холодное,
морозом закаменелое тело. Над ним шумят поземки, играет пурга.

Над ним роются голодные собаки и ночами прокладывает к нему четкие следы
учувший поживу волк.

Она отходит от окна (а медный рев ползет, ползет за нею!), ложится на койку
лицом в подушку и плачет злыми, холодными слезами...





The background of the book cover is a photograph of a vast, flat landscape under a bright, overcast sky. A large, white, textured wave or cloud formation curves along the right side and bottom of the frame, creating a sense of movement and scale. The ground is a flat, brownish-grey expanse.

ВЛАДИМИР
ЗАЗУБРИН

ЩЕПКА

Повесть

- I -

На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.

На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.

В подпале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.

— Братья и сестры, помолимся в последний час.

Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый — просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползли черные тени. К полу припали со стоном.

В другом углу, синяя, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился — боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.

А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.

Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую, серебряную пластинку. Несколько человек — сверкающую звезду. Остальные — пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные.

— Во имя отца и сына...

На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.

Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны — в них несокрушимая твердость камня.

На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская портупея через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.

Срубов чуть приподнял голову.

— Готово?

Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:

— Готово.

И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были беспокойны.

У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же — и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.

— Выводите первую пятерку. Я сейчас.

Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.

Моргунов не подал руки.

— Я с вами — посмотреть.

Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыв лоб и наполовину глаза. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он, сам не зная для чего, быстро считал:

— ...Три... семь... пятнадцать... двадцать один...

На полу серые, на стенах белые — вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.

— ...Секретно-оперативный... контрревол... вход воспр... бандитизм... преступл...

Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял, — сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: «...Манти-менты... санти-менты... санти...»

Злился, но не мог отвязаться.

— ...Санти-менты... менты-санти...

На площади лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.

— ...Два... четыре... пять...

Площадка пустая. Снова:

— ...Одна... две... восемь...

Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.

Еще ступеньки.

Еще.

Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.

И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.

Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.

— Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о...

Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:

— Со свя-ты-ми... свят-ты-ми...

Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом — списком.

Тяжелым засовом гроыхнула дверь.

У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:

— ... упо-по-по-о-о...

И громко портил воздух.

Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий — земля. Назвал пять фамилий — задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.

Длинноусый есаул подошел, спросил:

— Куда нас?

Все знали — на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Незнание хуже.

Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:

— В Омск.

Есаул хихикнул, присел.

— Подземной дорогой?

Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:

— Хи-хи...

И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам топкие струйки. На полу от них болотца и пар.

Пятерых повели. Дверь плотно загродила выход. Лязгнул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.

— Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.

Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабая лампочка. Капитан подмигнул ей.

— Меня, брат, не найдут.

И на четвереньках под нары.

Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.

Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх — отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.

Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор — накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружились головы — упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.

Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеко от входа, мрак. В длинном хвосте — день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры — сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.

«Стенка» белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около — пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки — черные знаки вопросов — взведены.

Комендант остановил приговоренных, приказал:

— Раздеться.

Приказание, как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно расстегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов — никто не обращал на него внимания.

Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:

— Живей, живей.

У одного завязла в рубаше голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левой погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста.

— Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался?

А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев.

— Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покуда еще нету-ка. Дай-ка я те пособлю курточку снять.

И ласково и твердо-уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч.

— Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сышем.

Кашин раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.

— Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.

Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.

— Подштаннички...

Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилия не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного собрания? Может быть, первым министром реставрированной монархии в России? Может быть, самим императором? Срубов тоже мечтал стать Народным Комиссаром не только в РСФСР, но даже и МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колот спину. Руки теребили португую, жесткую бороду.

Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:

— Снимите.

Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.

— А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.

В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.

— Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.

Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:

— Я хочу дать последнее показание.

Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.

— Около леска, между речкой и болотом, в кустах...

Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.

Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул его по плечу:

— Брось, дядя, вола крутить. Становись.

Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест — пригласил.

— Становитесь.

Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:

— Да здравствует советская власть!

С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:

— Не кричи — не помилуем.

Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:

— Простите, товарищи.

А веселый с русой бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.

Стал, скроил глупенькую рожицу.

— Вот они какие, двери-то на тот свет — без петель. Теперь буду знать.

И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать. А комендант, все смеясь, приказал:

— Повернитесь. — Приговоренные не поняли.

— Лицом к стенке повернитесь, а к нам спиной.

Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и — конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы — напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный со звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?»

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

— Святой боже, святой крепкий...

Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:

— Братцы, родимые, не погубите...

А для Срубова он уже не человек — тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:

— Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.

Его грубая твердость толчок и другим чекистам. Мудыня крутил сигарку:

— Дать ему пинка в корму — замолчит.

Высокий, вихляющийся Семен Худогов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затынул, задрезал стеклом в разошедшей раме:

— Святой боже, святой крепкий...

Ефим Соломин остановил:

— Не трожьте батюшку. Он сам разденется.

Поп замолчал — мутные глаза на Соломина. Худогов и Боже отошли.

— Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.

Соломин ласков.

— В лопотине-то те, дорогой мой, чиже. Лопотина, она тянет.

Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрал на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный репсовый подрясник.

— Оно этто нече, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когда человек чистый да назначенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.

— В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казим. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и, стаскивая брови, спокойно шурился от дыма.

— Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Срубов услышал и разозлился еще больше.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад — глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, — крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.

А с папироской, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.

— Я прошу стрелять меня в лоб.

Срубов его обрезал:

— Системы нарушить не могу — стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.

У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса — полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.

У отца Василия живот — тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)

За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они — каждый по-своему — мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?

Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили сигарки.

— Ефим, как жаба, ты завсегда веньгаешься с ними? — квадратный Боже спрашивал.

Соломин тер пальцем под носом.

— А че их дразнить и на них злобиться? Враг он когда не пойманный. А тут-тока скотина он бессловесная. А дома, когда по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчеша потом-то.

Расстреливали пятеро — Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.

Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти произвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьверы к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.

Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.

Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.

(В конце концов для нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)

После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыхания — дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

— Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющих себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Тащили. Тащили.

Подошел комендант.

— Машина, товарищ Срубов. Завод механический.

Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут rrr-ax-pp-rrr-ax. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровавыми сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласты черепов, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, потом едким человеческим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.

— Rrr-ax-rrr-rrr-ax!

Тащили.

— А-ах-и-и. В-и-н-и!

— Имею ценное показание. Прекратите расстрел.

Трах-ах-pp.

Тащили.

— Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.

— А-а-а-а. О-о-о.

Р-а-ах-ах.

Тащили.

— Да здравствует государь император. Стреляй, красная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял и вас, краснорожие.

Rrr-rrr.

Тащили.

— Невинно погибаю. У-у-у.

— Брось.

Rrr.

Тащили.

Умоля-я-ю.

Rrr-у-у-xxx.

Тащили.

Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копотии усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносом носом, сбрасывающий с усов и бороды кровавые запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказывать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар — Ее гневная сила, хозяйка здесь Она — жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул

жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство — радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступиться, — он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.

Для Нее и ради Нее.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил тонкие аристократические губы, иронизировал:

— Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.

Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.

— Раздевайся, гад.

— Дайте холуя.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвергивался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

— Тыфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:

— Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркался и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было также жаль кровного могучего жеребца, бывшегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевков. Срубов ему строго:

— Не нервничать.

И властно и раздраженно:

— Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.

Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горла. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.

Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к «стенке». Соломин взял ее под руку:

— Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.

Голая женщина уступила одетому мужчине. С дрожью в коленых ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.

Другая — высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:

— Если бы вы зн-знали, товарищи... жить, жить как хочется...

И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза — угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на неё. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.

Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре... Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немислимо, абсурдно.) А потому — решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю.

Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков — в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.

Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы — топоры. Трупы не падают — березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их — они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.

Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.

А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке — земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.

Трр-ах-ррр-ух-ррр.

Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недостижимую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается в даль. В голове только одна мысль — о Ней.

- II -

Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгушалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилось парным молоком.

На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.

И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, и черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.

Подвал издыхает или кашляет:

— Тащи-т-и-и.

И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как по мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынувшие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, в хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище,

сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дрожи кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:

— Чека... Из Чека... Чека свой товар вывозит...

И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов — Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке — в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.

— Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с си-неглазой — ладный бы плод дали.

Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: «О ком это он?» Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:

— Зачем тебе их, Ефим?

Тот светло улыбнулся.

— Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.

Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик. Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.

— Поп-то расписался... А генерал-то...

Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.

— Таких веселых, как в пенсиях, завсегда лекше бить. А уж которы воют...

Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.

Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.

Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово — допинг.

До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку — чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки — крови не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью — тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло — красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти — допинг.

Только когда выпил и прошелся по кабинету — заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.

И сейчас же с письменного стола нахально стала плясать бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел — разозлился.

— Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал.

Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. «Ишь жметса, аристократ. На вот тебе». Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно-голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть,

стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянящем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:

— Почему, собственно, белая сорочка Маркса?

Ведь одни из них — поумереннее и полиберальнее — хотели сделать Ей аборт, другие — пореакционнее и порешительнее — кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодovitую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.

Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человеческого пота, в которой письменный стол весь в бумагах — чистых и исписанных, в бутылках — пустых и непечатых со спиртом, с водкой, в нагайках — ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.

Колчаковская контрразведка — еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный — тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.

Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота бездушек на столе.

Ну да, да, да, да, да... Да... Да... Да... Но... Но и но...

Сладко пуле — в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.

А Она не идея. Она — живой организм. Она — великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.

Да... Да... Да...

Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.

Но для меня Она — баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплапанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровавая лава, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов — много их присосалось — в подполы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи.

В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек,

ночей, дней — стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.

И в подвалах № 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В № 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра — головы арестованных, колбасами — колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.

И крысы же в подвале № 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечесью кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.

Нет крыс только в подвале № 2. В № 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.

И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска — черным по красному написано: «Губернская Чрезвычайная Комиссия». Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: «Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын».

Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепаннейшей бахромы и кистей.

И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит.

- III -

Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заledenевшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал, жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.

Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.

— Говорят из Губчека. Немедленно сообщите... Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте... Губчека предлагает срочно, под личную ответственность... Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека... Губчека требует...

И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека — немедленно, сейчас же, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.

А в Губчека — люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и во дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего — доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.

Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные — белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.

«Не мешало бы Губчека обратить внимание... Открыто две жены. Подрыв авторитета партии... Доброжелатель.»

«Я, как идейный коммунист, не могу... возмутительное явление...»

«Некоторые посетители говорят прислуге — барышня, душечка, тогда как теперь советская власть, и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как... Необходимо, кому ведать сие надлежит...»

Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью: «совершенно секретно», «в собственные руки». Газетная бумага. Разорвал.

«Я нашел вотку в 3-ай роты командер белай Гат...»

Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: «...и поетому ево (командира роты) непрямено унистожит, а он мешаит дела обиденения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищеская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин.»

Срубов морщился, сосал трубку.

Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: «Смерть кровопийцам чекистам...»

Брезгливо поджал губы, бросил в корзину.

«Товарищ председатель, я хочу с вами познакомиться, потому что чекисты очень завлекательны. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а на грудях красные звезды... Я буду вас ожидать...»

Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже. Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова. Спросил твердо, спокойно:

— Сегодни будем?

Срубов понял, но почему-то переспросил:

— Что?

— Контрабошить.

— А что?

Четырехугольное плоское скулистое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.

— Сами знаете.

Срубив знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий скучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстреливать или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обуславливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже — старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем-расстреливателем.

— Могуты нет никакой, товарищ Срубов. Втора неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.

И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.

У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.

— Напьешься — в подвал спущу.

Без стука в дверь, без разрешения войти, вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, стал у стола рядом с Боже.

— Вызывали. Явился.

А в глаза не смотрит — обижен.

— Пьешь, Ванька?

— Пью.

— В подвал посажу.

Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.

— Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.

— Не пей.

Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.

— Вот хоть сейчас к стенке ставьте — не могу. Тысячу человек расстрелял — ничего, не пил. А как брата укокал, так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему — становись, мой Андрюша, а он — Ваньша, браток, на колени... Эх... Кажну ночь мерещится...

Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И вот взаимоотношения, роль права. Хаос. Хаос. Замахал руками.)

— Идите, пейте. Нельзя же только так открыто.

А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.

«Я человек центральный, но... тем более он ответственным работник... Керосин необходим Республике... и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия...»

И одни за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, пары подошв, дюжины иголок, которые кто-либо у кого-либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями,

за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.

Три-четыре дельных указания — контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсовнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги — угодливый шепоток. Они любили «довести до сведения кого следует». Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки, и все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности и все кивали головками и спрашивали:

— А как, по-вашему, это? А как это? А? Ничего? Не пахнет контрреволюцией? А вот посмотрите сюда? А вот здесь подозрительно. Нет? А?

В конце концов они спокойно отходили в сторону и равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому «ведать сие надлежит».

Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами А. С. Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов — непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.

Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Расстегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.

Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.

Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони-люди.

Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов-проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов, и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу по букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязались к нему) а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше — теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.

...Мудыня, Боже — оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Смирнов знал их еще по вос-

точному фронту и про них именно он сказал: «С такими мы будем умирать...» Но водка? А сам? И какое значение все мы — я, Мудыня, Боже, ну все, все... Да, какое значение имеем все мы для Нее?

И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца... Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное создание, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю — нет, никогда, а ты... Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья... Ошибаешься... Откажется будущее человечество от «счастья», на крови людской созданного...

Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми отсутствующими глазами.

Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:

— Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее, расстреливаемых?

Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий с горбинкой правильный нос, четкий четырехугольный подбородок кверху. Кулак левой руки из кармана булжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.

— Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий.

Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны — в революцию на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете, как в мастерской, за столом, как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка — кричит:

— Ну, пошла, пошла машина. Живо!

И в телефон кричит:

— Карошо. Слушаю.

На ходу распоряжения агентам, на ходу два-три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.

Вот и сейчас, после Срубова, у себя посетителя схватил глазами как клещами, в кресло усадил — в тиски сжал. И пошел, потек вопросами, как молотками.

— Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца...

И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.

«Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать. Будите у нас секретный осведомитель?»

Посетитель оглушен, бормочет полуотказ, полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист-инструкцию секретным осведомителям.

— Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность.

Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком года работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.

А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнущими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потерянной офицерской шинели, сел по одну сторону стола.

Срубов по другую.

— Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.

Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.

— Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.

Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.

Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.

— Разрешите? А вы?

Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.

— Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проницательнейший предгубчека.

Срубов молчал. Крутаев руку — в боковой карман шинели.

— Полубойтесь на молодчика.

Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.

— Ну?

— Брат моей жены.

Срубов пожал плечами.

— В чем же дело?

— А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.

— Кто он?

— Клименко. Капитан Клименко — начальник контрразведки армии.

Срубов не дал кончить.

— Клименко?

Крутаев доволен. Старческие тухнувшие глаза замаслились хитрой улыбкой.

— Видите, можно сказать, родного брата не шажу.

Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.

Уходя, Крутаев небрежно бросил:

— Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.

— Зачем?

— В возмещение расходов на приобретение карточки.

— Ведь вы же ее у себя дома взяли.

— Нет, у знакомых.

— У знакомых купили?

Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс-папье. В голове — поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот, наконец, прокашлялся.

— Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей. Бросил на стол две сторублевки. Крутяев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: «РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ».

Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс-папье.

В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот — чекисты шли в столовую обедать.

Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбаясь. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице. Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал. Докладчик — политработник из батальона ВЧК, безусый парень, говорил о программе РКП в жилищном вопросе.

Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелестят газетами, курят. А переводчица Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами.

— Не поймешь, чего бренчит.

Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.

- IV -

Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.

А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.

— Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь... Нет, это ужасно. Я не могу, — Валентина не справилась с волнением. Голос ломался.

Срубов показал на спящего ребенка:

— Тише.

Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.

— Андрюша... Когда-то такой близкий и понятный... А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске... Чужой... Андрюша, — сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватила за железную спинку. Голову опустила на руки. — Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя...

Андрей не отзывался.

— У тебя огромная, прямо неограниченная власть, и ты... Мне стыдно, что я жена...

Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.

— Ну, договаривай.

В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темным опухольями. По углам нависли мягкие драпри теней, комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы.

Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело.

— Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?

Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красивый глаз папиросы. Отвернулась.

Андрей, не потушив, бросил окурок. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.

— Не обыватели только... Коммунисты некоторые...

И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод:

— И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека и не можешь...

Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унижить, оплевать ее, оплевавшую и унизившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался, промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходитя? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то, Срубов не мог объяснить себе.

— Так ты, значит, уезжаешь навсегда?

— Навсегда, Андрей,

И в голосе даже, в выражении лица — твердость. Никогда ранее не замечал.

— Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречу...

А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово — бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб — никого.

- V -

Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов — красных и серых. И Срубов думал.

Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных резолюций — Она красная и в красном. Нет. Одним красным Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь

жертв, призыв к борьбе — красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду — серый цвет. Она красно-серая. И наше Красное Знамя — ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришта серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий — меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.

И еще думал:

— Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово социал-демократ? Разве не поднимали его, не прятались за ним палачи пролетариата и его революции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Комуча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервальде, Керенский...

Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человеческими глазами. А глазам человеческим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.

У Срубова каждый день — красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное — обыски — разрытый нафталиновый уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы — расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.

В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр — еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители — сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов — блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз — лучи. Их фокус — Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:

— ...Предгубчека... Хозяин губподвала... Губпалач... Красный жандарм... Советский охранник... Первый грабитель...

Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечески глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.

«Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки таращите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистички. Есть и так называемые социалисты. Многие из вас с восторженным подвыванием пели и поют — месть беспощадная всем супостатам... Мишение и смерть... Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обогрим. И, сволочи, сторонятся, сторонятся чекистов. Чекисты — второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете — враг обезоружен. Пока он жив — он не обезоружен. Его главное оружие — голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов-революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи?

Конечно, они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы-то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черновую, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение...»

Но до начала так и не досидел, вскочил, пошел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал — сволочи. И плюнул.

Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, потливо-ласково посмотрела в глаза:

— Ты болен, Андрюша?

У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.

— Я устал, мама.

На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.

Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят вдаль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что-то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают воду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски-ножи. Около них сослуживцы Срубова — чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается — черви. Колоннами ползут на машину, мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса, втапывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.

И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечьи. Коровы с человечьими головами, как черви, — ползут, ползут. Автоматические диски-ножи не успевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тесто. У одной коровы глаза синие-синие. Хвост — золотая коса девичья. Лезет по Срубову. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубову душно. Он задыхается.

На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать не добудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:

— Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо?

Старуха спит, не слышит.

— Мама!

Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклоченные волосы, борода. Срубову страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:

— Мама, мама.

Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами,

- VI -

Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который пригостишку гимназистика Каца шутил трепал за рыжие вихры и звал Икой, и которого Кац звал Павлом Петровичем.

И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:

— Ика, передай Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм — это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.

Голый чернобородый доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер рука об руку, шагнул к Кацу.

— А теперь, Ика, позволь пожать твою руку. — И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.

— Желаю тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антитоксинов. Прощай.

И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к «стенке».

А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.

И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность Члена Коллегии Губчека в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:

— Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.

Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:

— Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.

И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане, внимательно разглядывая свою руку, красноватую в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклонясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах — крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.

— Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом — ОИБ. Мечтал о таких «оибках» по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами...

Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что

он как коммунист-революционер должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И, с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:

— Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: «Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном». Понял?

— Хорошо, не будем говорить.

Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пить, громко глотая, у Срубова мысли быстро-быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль и стыд, и желание, страстное, непреодолимое — оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.

«Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мой отец, — мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного — мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в подвал? Почему я таращу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я ещё не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства — штуки не легкие. Китайке изуродованные ноги разбинтуй — падать начнет, на четвереньках наползается, пока научится по-человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний-то, замыслов-то, порывов-то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться с тут, пожалуй, мало — переродиться надо, кожей другой обрести».

Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:

— Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом — перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.

А в это время в Губчека, в подвале № 3 дрожь коленок, тряска рук, шелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из-под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист — список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами — выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папахах, в длинноухих малахаях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской, идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебавых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам, на которых часовые, как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.

На красном полотнище занавеса сцены надпись:

«ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ».

По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие:

«СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

«СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ».

На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.

— Сме-е-ерть... См... сме-сме-рть... сме-сме-смерть... — В зале запах пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспокойно, с тоской завозился зверь, затрещали, закрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впитаться в ее черную грудь, припасть к ней большим, потным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.

И Срубов и Кац, когда вошли в залу, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое слово-обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:

— Товарищи...

Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:

— Через час вы будете освобождены.

Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, слепящим дождем искр по пестрой шкуре зверя, шелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.

— Товарищи, Революция — не разверстка, не расстрелы, не Чека.

В море огня мелькнула черная обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.

— Революция — братство трудящихся.

После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчаньем, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.

И радостью, беспричинной хмельной звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.

Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снега, смял и — Ваньке Мудыне на рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул.

— Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю.

Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, высоко-

чившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом. Ком снега — ком смеха. Смех — снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.

Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам — часовым.

Простились, разошлись усталые с мокротой за воротниками, с мокрыми покрасневшими горящими руками и щеками.

Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.

— До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция — это жизнь. Да здравствует Революция, Ика.

И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную, черную женщину-мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса.

— Андрей, ты с ума сошел. Пусти, Андрей...

Срубов смеялся.

— Все хорошо, мамочка. Да здравствует Революция, мамочка!

- VII -

Допрашиваемый посередине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков — мрак. Впереди, лицом к лицу, — Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.

Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, теребит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут — молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.

И вдруг неожиданно:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все-таки вопрос задан. Допрос начался. Надо говорить ответы.

Пять минут — тишина. И опять:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.

И еще пауза. И еще вопрос:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в

какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняла задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.

Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой, выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося — собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания.

«...участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень».

Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:

— Следующего.

А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.

Допрашиваемый ломает руки.

— Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех...

Срубов даже не взглянул. И только конвойным еще раз, настойчиво:

— Следующего, следующего.

После допроса этого жидкоусого в душе брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.

Следующий капитан-артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил.

— Долго у белых служили?

— С самого начала.

— Артиллерист?

— Артиллерист.

— Вы под Ахлабинным не участвовали в бою?

— Как же, был.

— Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?

— Моя.

— Ха-ха-ха-ха!..

Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.

— Смотрите, вот вы мне как залепили.

На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся:

— Я под Ахлабинным ранен шрапнелью. Тогда комиссаром полка был.

Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому:

— Ничего, это в открытом бою.

Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человеческими взглядами.

Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.

А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислушался. Крик снова. Кричащий рот — худая бочка. Жмут обручи пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.

Срубов в коридор.

К двери.

Дежурный следователь.

Заперто.

Застучал, руки больно.

Револьвером.

— Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.

Не то выломал, не то Иванов открыл.

Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые, голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.

А Иванов красный, мокро-потный.

И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.

Курили все. За дымом лица серые, мутные.

Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.

— Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.

Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.

— Позволено стрелять — позволено и насиловать. Все позволено... И если каждый Иванов?..

Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.

— Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено.

Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.

— Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье.

Опять взял карандаш.

— Революция — это не то, что моя левая нога хочет. Революция...

Черкнул карандашом.

— Во-первых...

И медленно, с расстановкой:

— Ор-га-ни-зо-ван-ность.

Помолчал.

— Во-вторых...

Опять черкнул. И также:

— Пла-но-мер-ность, в-третьих...

Порвал бумагу.

— Ра-а-счет.

Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.

— Революция — завод механический. Каждой машине, каждому винтику свое.

А стихия? Стихия — пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле. Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле. Завод заработал. Ходит между машинами, тычет пальцами.

— Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты...

Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.

Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):

— Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится. — Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:

— Это есть правильно. Революция — никакой философии.

У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебаstra. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале).

Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:

— Мама, ты? Я иду домой.

За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.

- VIII -

Срубов видел диво — Белый и Красный ткали серую паутину будней.

Его, Срубова, будней.

Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг белого трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.

Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого — нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место — в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.

У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.

А именно в торопливости, напряженности, настороженности — в близкой путанице паутины своей и чужой — будни Срубова. Не спать неделями или спать, не раздеваясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в нагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости — будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине-серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмью сутками. (Вообще же служба в Чека красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины — третий год.)

И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутинка чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все, как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны — раскрыть на столе папку черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.

Большой лист графленой бумаги.

«Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.

Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватается свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно».

Бланк — председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр... Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:

1. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.
2. Спросить завхоза, почему в этом м-це выдали тухлое сало.
3. Завтра общегородское собрание.
4. Юрасику на штанишки и чего-нибудь сладкого».

Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: «Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал — террор необходим, другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.

В будущем «просвещенное» человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий. Тогда не будет подвалов и «кровожадных» чекистов. Господа ученые, с ученым видом, совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в вакуум, в вазелин, в смазочное масло.

«О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово «жестокость». Останутся одни только химические реакции и эксперименты...»

Из блокнота.

1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.
2. Посоветоваться с Начосо.
3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время — написать книгу.
4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах.

Обрывок глянцевиной бумаги для черчения. Чертеж автомата-расстреливателя.

На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:

«Наша работа чрезвычайно тяжела. Недаром наше учреждение носит название чрезвычайной комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит, так — мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина — существуют насекомые-вредители хлебных злаков. И есть у них враги — такие же насекомые. Ученые-агрономы напускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут».

Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину — сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.

А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к заутрене. На соборной колокольне колокол, самый большой и старый, серо-зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо-зеленые губы, ворчал: «о-о-о-мим-о-о-омим-о-о-омим...»

В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: «Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-ж-ж-ж...»

Добились своего — разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная — началось.

И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону донесения, по телефону — распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.

Над городом сырая синь ночи, огни иллюминированных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она — оборванная, полуголодная, властно, тяжело, босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плошки на церковных карнизах, заглох звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.

Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканием, сверкая глазами фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.

Остался в памяти арест главаря организации — караульщика губземотдельских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:

— Христос воскрес, господин полковник. — И, сажая к себе в автомобиль, добавил: — Эх, огородник, сажал редьку — вырос хрен.

Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталинный покой сундуков.

— Сказывайте, сколь вас буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.

И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилося сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.

Остальное — ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди — бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.

Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он, хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие-то маленькие черные точки — и все.

Старуха просит за сына, плачет.

— Пожалейте, единственный...

Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову — светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:

— Единственный.

Но что он может сказать ей? Враг всегда враг — семейный или одинокий — безразлично. И не все ли равно — одной точкой больше или меньше.

Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.

— Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват — расстреляем.

Одна булавочная головка исчезла, другая вылезла.

— Единственный кормилец, муж... пять человек детей.

Старая история. И этой так же.

Семейное положение не принимается в расчет.

Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.

Выходят, выходят черные точки-булавки. Со всеми одинаков Срубов — неумолимо жесток, холоден.

Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил — взятку сунул. Не спускаясь со своей недостигаемой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов-ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:

— Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось...

— Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших и вас.

Были и еще посетители — все такие же точки, булавочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко — на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрылось лицо.

Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашенные яйца — белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.

Родные могли еще приходиться со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала № 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал № 2, из него в № 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губчека всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы отгрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизали их кровь.

Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровавые языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекающую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.

- IX -

На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации:

Группа А — пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача взять партшколу и артсклад. Группа Б — десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача — взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком. Группа В — семь пятерок, сброд. Задача — вокзал.

После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны, соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.

Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.

На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди — где-то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел, как на ладони, всю хитрую путаницу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.

Следователь докладывает:

— ...активный член организации, его задачей...

Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.

Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:

— Ваше заключение?

Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:

— Полагаю, высшую меру наказания.

Срубов кивает головой. И ко всем:

— Имеется предложение — расстрелять. Возражения? Вопросы?

Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.

— Ну, конечно.

— Стрельнули, значит?

Срубову весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:

— Стрельнули.

— Следующего.

Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад.

— Поставщиком оружия для организации являлся...

— Этого как, товарищи?

Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко решительно сказал за всех:

— Принято.

Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:

— По-моему, этот человек не виноват...

Срубов его остановил решительно и злобно:

— Ну, вы, миндаль сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит, — не суд. Персональная ответственность

для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.

Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова.

— Революция — никакой философии. Расстрелять.

Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться. Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного — нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном — чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булавонок. Как, каким способом — безразлично.

И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть границы всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?

Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слушал докладчика-следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем-то очень острым стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами стал устойчиво, твердо. Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте. Все зависит, оказывается, от остроконечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав — исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.

Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал Срубов, от «о» протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменившей букву «в». Вся подпись — кусок перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто-нибудь другой первый возьмет перо.

Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова «Члены» быстро нацарапал — Ян Пепел.

Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова — один сантиметр. Сантиметром выше — и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.

А когда собрались расходиться, внимание привлёк стриженный затылок Каца. Невольно пошутил:

— Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок — крутой, широкий. Не промахнешься.

Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга, не простившись, вышли в коридор.

- X -

Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.

«Если расстреливать всю Чиркаловскую — Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Боже

просил разрешения разграфить (зарубить пашками) — отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха сидели на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились, просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного — порубили. Крутаев выл, требовал меня — «Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист». И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно таращил глаза, ревел — «Позовите товарища Срубова!» Все-таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же, все, что мог дать нам, он дал.

Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.

Из ямы кто-то закричал: «Товарищи, добейте!» Соломин спрыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все-таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.

Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они — умрешь и ты. Закон земли жесток, прост — родись, роди, умирай. И я подумал о человеке — неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью... Нелепость...

Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромодили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: «Революция — никакой философии». А я без «философии» ни шагу. Неужели это только так и есть... родись, роди, умри?»

- XI -

Потом была койка в клиниках для нервнобоных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Много было за несколько месяцев.

И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое.

А допрашивает Кац. Лицо у него — круглый чайник. Нос — дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос — пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там — лекцию читает: автори-

тет партии, престиж Чека. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.

Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, ненавидящими Каца хватает. По жилам обиды кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:

— Понял ты, дрянь, что я кровью служил Революции, я все ей отдал, и теперь лимон выжатый. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.

На мгновение Кац, следовательно, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.

— Андрей, зачем ты сердисься? Я знаю, ты хорошо служил Ей. Но ведь ты не выдержал?

И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было больно, с болью сморщившись, сказал:

— Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?

Срубов махнул рукой и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним встала Она — любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше — жизнь целиком. Все взяла — душу, кровь и силы. И ничего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Обеды в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессиленных, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама — нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.

Но инвалид, обеды еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит — дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить... Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:

— Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?

И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление об его аресте.

Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. По середине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задышался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят...

И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывался — не видел. Теперь он доволен — догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.

Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо.

Страх перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь — от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался по полу сверкающими кусками.

Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.

Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.

— Андрюша, Андрюша.

Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорница. Черт с ним. Зубы-то на что. Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.

— Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете?

Кто это тянет его за плечи? Надо посмотреть. Может быть, двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его значит убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служиш. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:

— Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками. Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там... Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста — мое имя Лимон...

Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехаться бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо ПРОУЧИТЬ этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.

— Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.

В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.

— Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку...

Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему-то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.

— Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.

Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.

— Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.

Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер — за талию сгреб, как медведь.

Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.

В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног — стук топоров на плотях (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли. Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.

Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменные берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозная с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки, ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, волосы женщин переплелись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать — язык примерз к зубам.

А плоты все мимо, мимо... Вереницей многоэтажные корабли. Оркестр по-равнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб — земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.

Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближнему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борты. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:

— Я... я... я...

А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.

И в тот же день.

Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембовская играла на пианино «непонятное».

Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика.

— Товарищи, наша партия Рэ-Ка-Пы, наши учителя Маркса и Ленина — пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты — ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные — охвостье, мякина. Беспартийный — он понимает, чо куда? Никогда. По яво убивцы и Чека мол одно убийство. По яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимает, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убийство, а казнь — дела мирская...

А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью и пухло Ее брюхо (по библейски — чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь — Срубов, Кац, Боже, Мудыня), оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.



1923 г.



АЛЕКСЕЙ
ЗВЕРЕВ

РАНЫ

Повесть



1

К Трунову он относился доверительно: подкупали очки, расколотые в двух местах, так и не починенные. А может, потому, что за две недели, перед тем как выехать на фронт, перешивал взводному шинель из солдатской в офицерскую, и тут успел приглядеться к своему командиру. В минуту отдыха он подсаживался на край нар, спиной к спине лейтенанта и молчал, покуривая; он курил, глядя в землю и покашливая, и Трунову казалось, что солдат хотел сказать что-то и все сдерживался, все не решался заговорить. Раз повернулся к нему Трунов и, похлопав по спине, спросил:

— Ну как, Гневышев, письма из дому пишут?

Это был традиционный вопрос командира к подчиненному. Он сам собой задавался, если разговор начать было не с чего.

— Но, — ответил солдат однословно.

— Дома жена, дети?

— А как же, — сказал он не сразу, словно сам спросил: как же без этого?

— Все, значит, в порядке?

— Да в порядке-то в порядке. Что может стрястись. Как у всех.

Слышалось, что солдат думает сейчас не о том, и Трунов спросил:

— Вот ты все что-то молчишь, вроде тоскуешь. Это так?

— Да кто же нынче не тоскует? — ответил солдат, всем корпусом повернувшись к Трунову и глянув на него желтыми глазами, слепо глянув. Трунов сразу и не понял, отчего слепо, и лишь после разобрался: слепо-то оттого, что очень уж малы были зрачки в них, такие маленькие — как прокол игольный. Трунову тогда подумалось, что вот как человек не хочет глянуть на солдатчину, чужую ему, вот как живет он все оставленным дома, как надоела ему эта затянувшаяся война. Она была в ту пору в самом разгаре, и если сравнить ее с костром, то все подбрасывались и подбрасывались в него поленья, котел парил, кружилась вода, а не закипала, кружилась, ждала жару и с ним, новым, начнет плескаться, начнет заливать огонь. И вскипит, и огонь зальет, и все пойдет на убыль. Пока костер войны полыхал во всю силу, горели надежды на спасение, на то, выживешь ли, или чья-то рука швырнет тебя в пламя, и ты вспыхнешь и испепелишься. Трунов думал: видно, этот солдат за тысячи верст от пламени войны подсушил себя, изготовился сгореть — на нем это было заметнее, чем на других ребятах взвода. Был он старше многих, ходил вялой походкой, забывчиво курил до самых пальцев, обжигая их

— Что же тебя тосковать-то заставляет, если дома все в порядке? — спрашивал Трунов.

— Да то же самое, что и тебя, лейтенант, — отвечал Гневышев и улыбался едва заметно.

— Что же все-таки?

— А ты не думаешь, что умрешь?

— На фронте все случается.

— А я умру, лейтенант, убит буду. Это я чувю всем нутром. Не думай, что трушу. Не-е-ет. Ты так не думай, лейтенант, а просто знаю, что убьют, и все.

— Да как это тебе втемяшилось думать так? Кто из нас может знать о том? — повысил голос Трунов.

— Я до самой до Оби — ничего не чувал и в лодку сел, и по воде плыл — ничего. А как ступил на берег, так не могу повернуться, чтобы глянуть на своих, на тот берег-то. Не могу, и все. Так и не глянул, так скорее за угол зашел, улочкой побежал и не оглянулся — там сзади-то будто смерть за мной, шагах в двадцати: потом уж я попривыкнул к шагу ее и оглядывался, она как-то вся таяла от взгляда, не любит, чтобы на нее засматривались. Ты бровками дергаешь, лейтенант, ну и дергай, ну и не верь. Я тебе не сказку рассказываю. Теперь она не ходит за мной, приучила к себе, и хватит. Ну что же, умру. Не я первый, не я последний.

— Полно-ка, Гневышев, ерунду плести, — сказал Трунов тоном утешения, деланно сказал, по должности, а сам ждал, что ответит тот.

— Тебе одному говорю. Человек ты образованный. Материшься вон как неумело, — продолжал солдат, — думаю, легче тебе понять, отчего у меня грудь в табаке, пилотка разъехалась, шинелишка черт знает как сидит, ем не чисто. Ну, повоюю, повоюю еще, не сразу же придет и хлоп тебя. А тебе скажу такое, — наклонился он к самому уху Трунова, — не жалея меня, не приглядывайся. Я говорю тебе не затем, чтобы жалеть. Не-е-ет.

— Хватит, Гневышев, ты нас всех похоронишь, а сам цел останешься. Что с тобой? Не хитришь ли? Да что за хитрость хоронить себя заживо? — проговорил Трунов, как бы размышляя, и увидел, как Гневышев закачал головой и вроде уже раскаивался, что поведал свое предчувствие, и прутиком зарисовал по земле, буркнув:

— Я в четвертый раз туда иду. По четвертому кругу.

— В четвертый! И такие разговорчики? — позавидовал, удивился и возмутился вместе Трунов, отходя от солдата.

2

К фронту, к пеклу того года, о котором уже говорила вся земля, подбирались они как-то исподволь. Под Москвой простояли полмесяца, под Тулой — два дня, потому что где-то задерживался хлеб. Солдаты ворчали. Командир полка то и дело вызывал к себе начпрод и, видимо, пробрал его порядком, и тот, явно для отвода глаз, направил Трунова просить хлеба в городе. Кто же в войну так просто хлебом разбрасывается? Толкнули его, случайного и вовсе непробойного человека, чтобы тем временем хлеб свой поджидать: он был на подходе. Трунов поглядел, кого бы взять с собой из солдат, на глаза попался Гневышев, и он приказал ему собираться. Прихватив вещмешок, солдат враскачку пошагал к машине, и они поехали.

Трунов обежал полдесятка хлебных учреждений, убеждал, что полк голодный, просил выручить, а там уж сполна рассчитаются и даже лишку прибросят, потому что через день у них всего будет навалом. На лейтенанта глядели с улыбкой, пожимали плечами, отсылали в другую организацию, а один просто сказал:

— Над вами подшутили, товарищ лейтенант.

Гневышев то с лейтенантом вместе заходил к начальству, то оставался в коридоре или в машине и нужен был ровно столько, как если бы его вовсе не было. Раз у машины лейтенант солдата не застал. Шофер подудел многократно, сбежал в со-

седний магазинишко, в столовую, на почту — Гневышева не нашел. Трунова охватила печаль — солдата потерял. Такая печаль тронула его, что он и про хлеб забыл. Тотчас они махнули на станцию — там все углы обсмотрели, вдоль состава раза три пробежали, все вагонные тамбуры оглядели — солдата не нашли. Трунов почернел от беды, сел рядом с шофером и голову свою руками обхватил, браня себя: пентюх, хлеба не добыл и солдата проворонил. Но тут до слуха долетел тихий крадущийся звон колокола, и Трунову пришло нелепое предположение: не в церковь ли пошел Гневышев? Трунов сам не понимал, как эта мысль могла прийти в голову: не богу ли помолиться пошел солдат перед фронтом? Может, не все такие, как он, Трунов, проживший короткую жизнь без бога.

— Давай-ка жми к церкви, — приказал он шоферу, — может, там он, подлец.

Гневышев стоял на паперти и нахлобучивал разношенную пилотку. Трунов тотчас подбежал к нему, хотел за воротник схватить и встряхнуть, как мешок, — тот глянул на него желтыми немигающими глазами.

— Удрать вздумал! — заорал Трунов матерясь. Гневышев махнул рукой и брезгливо сморщился.

Трунов посадил солдата в кабину, сам в кузов забрался. Они проскочили несколько деревень и остановились у колодца следующей. Гневышев оторвался от цепи, вытер рукавом губы и пробормотал:

— Какое время! Свечи не достанешь.

— Ты что! И вправду ходил молиться? — спросил Трунов.

— Я за себя хотел свечку поставить. Я в ее, в церкву-то, за жизнь ногой не ступал. Тут надо.

— Крайность? — все еще косился Трунов на Гневышева. — А как не нашли бы тебя, куда бы ты, раб, двинул?

— Я бы ране вас к полку вернулся. Вон какая прорва машин идет. А свечку поставить надо было. Я там еще, когда от берега отходил, так почуял, что река эта — грань моя, я тогда сразу и решил: свечку где бы за себя поставить? Я ведь и сам не верю, и свечи эти видел ли? Слышал только о них, а вот свечку и свечку.

Трунов был молод и мало знал людей, иных и замечать не хотел. Война на них открыла глаза. В каком же мире жил Гневышев, если о свечке задумался? Зачем ему свечка, что она может открыть, кого и как она может утешить?

— Без бога эта свечка, — заговорил Гневышев, словно подслушал размышления лейтенанта. — Душа просит, и все тут. Думаю, поставлю — и во мне поворотится, смягчится, сгладится что-то, и я обрету ровность. Что же я мучиться-то буду. Мне ровность нужна, особо сейчас, когда на фронт еду. Мне надо какую-то шишку сшибить с сердца.

— Ты раньше в комсомоле был, Гневышев? — спросил Трунов зачем-то. Солдат поглядел на него отчужденно и сказал как о чем-то самом обыкновенном:

— Как же. Бывал. Потом как-то с годами и выбыл. Я и в ем что-то искал. И нашел вроде. Ну, вроде заглянул за гору какую. Славно так, хорошо было, и парни хорошие собрались. Ты вот помалу привыкаешь ругаться, а мы в ем отвыкали. И креститься отвыкли, не то что верить в бога, и сейчас не сумею креста на грудь наложить — забылось. Дай балалайку, с завязанными глазами сыграю, а перекреститься нет, не получится.

— А свечка? — спросил Трунов.

— Не в свече дело, говорю, — сказал Гневышев. — Свеча, это, может, первое, что осенило... Ну, лучше высказать не могу, — махнул Гневышев рукой и пошагал в кабину.

3

За Тулой фронт уже чулся. Не было слышно ни орудийного гула, ни отдельных выстрелов, а было непрерывное фыркание машин, упрямо лезших на подъемчик, да чавканье ботинок, да тихий осторожный говор людей, едущих туда и бредущих по скользким обочинам дороги. Чуялось, что если не за двумя-тремя вот такими угорчиками, то за пятью была передовая. Иные машины спускались с подъемчика навстречу, грохоча и поскрипывая пустыми кузовами, в них сидели то один, то два солдата, с забинтованными головами или руками; легкораненные шли пеше, и по белым, еще чистым повязкам понималось, что бои шли где-то рядом. Казалось, что раненные были довольны собой и даже веселы. Один подмигнул Гневышеву и, махнув белой рукой, крикнул:

— Езжай не оглядывайся, там тебя поджидают.

Гневышев помахал и ему и все следил за машинами и людьми, возвращающимися с передовой, и, потрогав Трунова за локоть, сказал:

— Так бы вот ранило, и хорошо.

— Хорошо бы, да, — сказал и Трунов.

— Нет, скажи, лейтенант, — насупив брови и блуждая глазами, спросил Гневышев. — Как это понять: жили люди, землю пахали, кормились, рожали детишек — и бах, давай резать друг друга. А? Это зачем кормились, зачем рожали?

— А если это враг? — спросил Трунов. — Если он придет да семью твою прирежет?

Трунов понимал, что разговор такой не ко времени и не к месту. И разговор этот с Гневышевым должен тоже погаснуть. Но солдат поправил за спиной карабин и продолжал:

— Но я же ведь не о том. Я о том — что же такое война? Отчего сила такая за этим словом? Может, эта волынка вся по глупости чьей-нибудь. По ничтожеству. Мы тут воюем, а миру-то в большую и в малую сторону конца нет. Мы над муравьями смеемся — дерутся, грызутся, зачем им грызться? А кто-то из того большого миру над нами потешается: глядите, ползут в каких-то железных скорлупках, дымок пускают, соринки щекотливые в воздух пыряют, руку подставил этот великан, а в нее соринки тычутся, то есть страшные снаряды. И ему это муравьиная драка, не боле: вишь, копошатся, вишь, грызутся дураки, только мы, великаны, делаем умное дело. Так они думают о себе и забывают, что над ними есть еще больший мир.

— Ну, повез, — сказал лейтенант и отмахнулся, но и себя прихватил на том, что и он думал так, думал о большом и малом мире. В пламени-то вселенной, в огнях бесконечных сколь червячно и ничтожно это дело — война. Почему люди вместо войны не найдут то главное, что сделало бы прекраснее трагически малое время жизни, равное мгновению. В каком-то храме бы пребывать, какие-то свечи зажигать, да вот она, свечка-то Гневышева. И при свете их твердить — люблю, люблю, люблю. И любить бы трепетно, высоко, божественно, пить бы этот нектар мгновения, парить бы в радостях.

4

А над Труновым, как и над всеми солдатами и офицерами полка, висело одно слово — прорыв, переданное старшим начальством батарейным и взводным командирам, а от них уже перешедшее к солдатам. Он, далеко еще не военный человек, рисовал, как эта махина из машин и орудий, полков и дивизионов, служб разведки и связи, называемая механизированным корпусом, затягивается головой своей в уз-

кую горловину прорыва, проталкивается плечами, отмахивается руками от наскоков таких же полков и батарей. В массе туловища ее подтягиваются сейчас и они своим отдельным минометным полком, своей батареей по этим пологим холмам к страшной горловине. Гигантский уж корпуса протолкнется весь на клочок земли, называемый плацдармом, и свернется кольцами, тугими узлами, которые не развязать никому, только разве разрежут его на части. Вереницы машин с пушками, минометами, с ящиками снарядов и мин, с пузатыми телами цистерн тянутся на холмы и скатываются с них, и ничто их не остановит, и была в этом потоке предательски странной неожиданная остановка машины Трунова. С машины разом поспрыгивали солдаты и забегали, засуетились в наступающей темноте.

— В чем дело? — спросил Трунов шофера, который видел спасение в отчаянном кручении заводной ручки. — Ты заведешь наконец ее?

— Подъемчик не взяла, — жаловался на машину шофер Протасов. Где-то спешно он кончил курсы и так плохо знал дело, что порой Трунов отталкивал его от машины и сам искал неисправность, а взвод помогал советами. Слева и справа обходили их задние машины, а ихняя не заводилась и отставала от батареи.

— Бензин-то есть у тебя? — спросил шофера Гневышев, тот отпрыгнул и от него.

— Да брось-ка ты с бензином. Его больше чем полбака. Мало? Да?

— Мало, — настаивал Гневышев, — я говорю, у тебя есть ли запасный бензин?

— Ну, есть. Ну, вон полбочки на машине. Ну чего тебе надо? — раздраженно кричал шофер и ковырялся в свечах.

— Да как же мало, если он говорит, что полбака? — не понимал Гневышева и Трунов.

— Потому и мало, что машина стоит в горе, бензин-то и слился назад. ВО-ОТ, — протянул он последнее слово.

— Черт-те, правда, однако. А ну, попробуем долить, — почесал затылок шофер. Шлангом он спустил топливо из бочки, крутнул ручкой, и машина завелась.

Ни Трунову, ни другим молодым солдатам не пришла в головы такая простая мысль — пополнить бак бензином, а этот немолодой и малообразованный человек додумался. Когда поехали тихо, Трунов выскочил из кабины и, шагая сзади машины, спросил:

— Видно, случилось, Гневышев, такое?

— Случалось, — растянул солдат снисходительно.

— Где же случилось?

Гневышев ответил не сразу:

— А где, как не на фронте.

5

В стороне, где всходила луна, слышалось уже погромыхивание боя, затянувшегося на ночь. Свет не так уж далеких ракет брезжил и трепетал над зубцами леса. Гнетущее, покусывающее состояние охватывало Трунова при мысли, что они уже на куске земли, который измеряется километрами и который называется холодным и путающим словом — плацдарм. Не одни же они тут, вон сколько техники проперло через горловину, но тьма скрыла все, батарея нырнула в неглубокий распадок и как похоронила себя. Машины, отфырвав, успокоились в тени рытвин и кустарников, и остались тускло посверкивать едва освещаемые луной стволы минометов, плиты и лафеты. Какое-то тихое копошение проглядывалось и слышалось по фронту батареи, справа и слева ее. Бубукали голоса; чьи-то ноги приплясывали вокруг уста-

навливаемых опорных плит, вырастали и вырастали едва видимые холмы глины, и где-то в утробе земли лязгали о камни лопаты. Все торопилось укрыться от наливающегося света луны. С левого фланга, обходя щели и неровности, шел человек, и по маленькой фигуре, по вольной шатучей походке и по сутулящимся плечам нетрудно было узнать комбата Рубакова. Он подошел к Трунову, пошатался еще, словно унимал свою походку, и спросил:

— Как? Окопался уже?

— Заканчиваю, — ответил Трунов.

С приглушенно выраженной досадой, с болью даже, с нажимом на главном слове комбат сказал:

— Лопат мало. Лопат, а? Есть «студебеккеры». Мин в достатке. Лопат, этой ерунды, нет.

— И табаку, — добавил полушутливо Трунов.

— Ну это полбеды. А вот лопаты — да, — сказал Рубаков и закачался в шаг, и, как тень его размылась, Трунов подумал: «Славный мужичок. Отчего мне становится хорошо при встрече с ним?»

Во взводе его всех энергичнее работал Гневышев. Сноровисто и неторопливо он выметывал из щели землю лопатой за лопатой, хакая и, должно быть, отдувая губы при каждом броске. Он был уже по грудь в щели, ворочался там в натальной рубаше, скоро и ее стащил.

— Оденьтесь, — приказал Трунов.

— Да кто же видит меня ночью? — спокойно возразил солдат.

— Простынете.

Копать больше было некуда, и Гневышев, как на турнике, вывернулся из ямы на лопате.

— Это вам щель, — предложил он, отряхиваясь.

— Мне рой, — сказал Трунов и кивнул на солдата, которому было приказано изготовить щель для взводного, но тот работал медленно и неохотно, и Трунов, передумав, добавил: — Ладно. Рой и себе рядом.

Прошел месяц, как полк, в котором служил Трунов, оставил артцентр — редкий сосняк, сыпучие пески и голодный паек. Пятая ночь начиналась на фронте, рылась пятая огневая. Первые огневые держались недолго, по три, по четыре часа, и время проходило в оборудовании батареи и в окапывании. Пристреляется первый номер, каждое орудие выстрелит по разу, солдаты бросятся укреплять плиты, выравнивать дуноги, а от ровика связиста уже летит команда:

— Отбой!

И уж с пригорка в окружении разведчиков и связистов шаром маленьким катится комбат, паруся полами шинели, придерживая о бок бьющийся парабеллум.

— Почему так скоро отстрелялись? — спросит Трунов комбата.

— Я не больше твоего знаю почему, — ответит он.

Но по тому, как бросали полк то на один участок, то на другой, по тому, как он большее время свое находил на колесах и проделывал короткие марши, по тому, как слева и справа и там оказывались те же артполки, те же батареи «катюш», догадывались, что фронт противника прорвать не удавалось.

— Резиновый он у них, фронт-то, — сказал как-то комбат услышанное им слово, и Трунов рисовал в своем воображении, как оттягивается и занимает прежнее положение эта многослойная резина фронта. Теперь она лопнула. Трунов не разбирался в этих скачках, есть старшее начальство, которому положено знать больше. Ему бы только на огневую, тут его работа, и тут он начальник над своими тремя расчетами и тремя орудиями — маленький начальник, неопытный и необстрелянный. Год назад от классов, заставленных и завешанных полусработанными картинами, от

тоскующих натурщиц и тихих преподавателей, от робких зарисовок война оторвала его неожиданно и жестоко. Это был крутой поворот, и Трунов все шесть месяцев подготовки в военном училище пребывал в растерянности. Нет, он бойко решал ар-тзадачи, познал материальную часть, а к концу учебы даже постиг строевой шаг, но русско-немецкий словарь, маленькую синюю книжицу, как раз по нагрудному карману, отрешенно читал каждую свободную минуту. Что уж говорить о том, что он боялся и фронта, и возможной смерти. И вот на руках у него взвод, и вот он, фронт.

Ему казалось, что с одного полюса жизни перебросили его на другой, и кончился мир счастья и красоты. А может, он просто ошибался в себе, никаких у него талантов нет, и мало ли людей его возраста думают о поэзии, музыке, а время все смысляет, все сравнивает, и оборачивается: духовным-то складом они куда ниже и плоше искусного и мудрого пахаря или слесаря. Да, да, может, тут началась и его «обыкновенная история». Уходя в армию, свою картину «Рождение утра» он свернул в рулон и отнес старому преподавателю. Он выбрал его не потому, что тот был его учитель — учителя в полном смысле он не видел и не мог видеть в захудалом провинциальном училище, — а потому, что учитель стар и в армию его не возьмут, он переживет войну, а Трунов вернется и картину продолжит. Главная мысль, любовь, в картине обозначилась. К ней приглядывались чуткие способные люди и говорили: «Это ты любовь выражаешь, не так ли?» Трунов радовался, молчал и думал, что постиг он малую долю того, что должен постичь и что он скажет в ней и о «мире» и о «свободе». Он одолеет все, он возьмет эту гору и в постижении истины найдет блаженство и покой. Он даже год постижения определил — 1948-й. А радоваться, то есть быть подле этой горящей свечи, постигать истину он будет по десять, по двенадцать, по шестнадцать часов в сутки. Он и войны-то начавшейся будто не замечал, поглощенный радужным миром видений. Но заметила его война, и не то что заметила, она взяла его за шиворот и вытащила на свет божий. В первые же дни курсантской жизни он почувал, как предательски выветриваются из него и отлетают взлелеянные радости — «мир», «свобода» и «любовь». Дома, в тиши и уюте, он мог приманить их и рассматривать по целым ночам не смыкая глаз. Здесь он попал в «вертеп», в «ад крошечный», и светлые голуби мечтаний сменились гоготом и рыком, бранью, швырками и толчками, натужно жесткими командами и приказами, ночными тревогами, отработкой построений и зубрежек и тьмой прочих армейских «мелочей», которые угнетали Трунова, рассыпали его и среди этих новых для него людей делали смешным и по-своему потерянным. Он понимал, что «вертеп» этот живет своей наполненной жизнью. А может, он особый какой, не из того теста, как все. И что он, если он особый, взял бы из этой жизни? Спрашивал он себя и отвечал: ничего он тут себе прибавить не сможет, и убьет все светлое и милое, и многое уже убито. Раз заставили его «вести огонь» на кабинетном полигончике, и он понял, что команды, вертикальные и горизонтальные повороты, «вилки», огневые и наблюдательные, — все прошло мимо него. Он стоял истуканом и пялил помутневшие глаза на командира. Кто-то поправил разлепешившуюся на голове пилотку, одернул гимнастерку, развернул ссутуленные плечи — вот таким будь. Как опомнился — в кабинете никого не было. «Что делается со мной? — спросил он себя. — Нет. С этой гадостью надо кончать. И никакой ты не особый, а самая слякоть и есть. И делай, действуй, готовься к битвам, занимай себя чем-нибудь. Ну хоть немецким языком займись, ты же любил его в школе. Займись им, размазня ты этакий».

Слома голову Трунов понесся в библиотеку и с надеждой уставился на библиотекаршу, умолая: «Подарите мне словарь. Русско-немецкий. Прошу вас. Вы мне сделаете доброе дело. Подарите, пожалуйста!» Библиотекарша подарила ему словарь, новый, в синей обложке. Он читал его каждую свободную минуту, не слыша

гоготания и насмешек. «Это что придумал наш молчун-то! Он в плен к немцам готовится, чтобы разом заговорить по-ихнему». Степин, глупый паренек, раз выкрал словарь у него. Дознавшись, Трунов смазал его по «сопатке», смазал отчаянно и прилежно и отсидел три дня на гауптвахте, а как вернулся, в тумбочке увидел словарь. «Это тебе старшина отыскал его», — сказал дневальный.

6

— Отдохни, — сказал Трунов разогнувшемуся в щели Гневышеву.

— Поневоле отдых, — ответил солдат и выбросил на бруствер отломанное лезвие лопаты, — теперь во всем расчете две остались, вовсе никудышные.

— Отвоевались, — сказал и Трунов. Он уже заметил, что далеко не последней солдатской заботой была лопата, да не главной ли заботой она была для батарейцев. Украсть лопату в другой части, выменять на хлеб или на табак считалось верхом солдатской находчивости. Хорошо заточенная и отбеленная лопата — предмет гордости и хвастовства. Как же, каким способом найти лопату, думал над этим и Трунов. Можно было бы одну из двух взять у шофера Протасова, но как возьмешь ее у заботливого и запасливого человека — молодец, что имеет лопату лишнюю. Ему и по положению надо иметь две — нелегкое дело укрыть на огневой машину, зарыть, как вон зарыл ее сейчас, вся моторная часть в земле. Плохо знает машину, не бережет ее усердно. Нет, у него лопату брать не резон.

— Лопаты, лопаты, — подумал вслух Трунов, и Гневышев отозвался сейчас же.

— В деревне надо пощупать. Тут вот на увальчике деревенька есть, — сказал он. — Пойдем.

Рытвиной, подталкивая друг друга плечами, они вышли к деревне, к ее задам, засеянным просом.

— Вы почему же сами-то? Послали бы кого, — спросил Гневышев.

— Не додумался, — тихо засмеялся Трунов.

— И за себя никого не оставили.

— Да, забыл сделать распоряжение, — спохватился Трунов.

— Ну ладно, ладно. Мы моментом, — успокаивающе проворковал Гневышев. — А ты гляди, как полыхает. В распадке-то нам не видно было.

Им пришлось остановиться среди поля, чтобы обозреть полосу огней, которая начиналась на северо-востоке, тянулась на юг и заканчивалась на западе, только малый участок горизонта, там, где они входили в прорыв, был темен. Огни не мерцали, а жили, вытягивались зелеными, красными, оранжевыми полосами трассирующих пуль, бороздили горизонт жирными линиями ракет, растущими то вверх, то вправо, то влево, повисающими на одном месте и лопающимися, обрызгав небо искрами. Вздymались желтые лезвия прожекторов, теряя отточенные концы в звездах, падали в одном направлении, чтобы подняться в другом.

— Красивая подковка, — сказал Трунов.

— Докрасна накалилась, — добавил Гневышев.

— Разгибать завтра будем.

— Да, — протянул солдат, — а не страшновато?

— Жутковато, Гневышев, это верно, — сознался Трунов. Они перебрали, как речку, просяное поле, затем перелезли через прясло и постучались в первую хату.

— Кого вам? — спросил слабый старушечий голос за ставнем.

— Открой, хозяйка, — потребовал Трунов.

— Эва! Ночью-те? В такую пору-те?

— Тогда укажи, где лопаты.

— О-ё-ё! Лопаты! Им лопаты надо. Да нетути их. Усе поотобраны, усе сворованы.

— Все равно глядеть будем, бабка. Ничего не тронем, лопаты возьмем.

— А нечего и шариться по чужим дворам. Вот, осподи, наказанье-то.

Крепко севшим фонариком они осветили сарай, вовсе пустой, заглянули в хлевушок, в нем пахло подсохшим навозом; залезли на чердак и, сторонясь кос и серпов, пробрались в дальний угол, — и вот они, лопаты, прикрытые посконными снопиками, вот они, труженицы крестьянские и фронтовые работницы, пара ловких лопат с березовыми черенками. Это клад для взвода. Кайло и ломик прихватил еще Гневышев. Бабка палкой колотила о сенную дверь.

— Уж свои-то, свои-то зачем тащут! О-хо-хо! Приташ-шите назад. Не то сама пойду завтра!

— Не ругайся, старуха. С войны вернемся, занесем, — отозвался ей Гневышев и радовался, шагая обратно, — ладные лопатенки. Кажись, из доброго железа. Наполовину источились, а все целы.

— А эти-то штуки зачем? — кивнул Трунов на лом и кайло.

— Ты первый раз тут, лейтенант. А я-то знаю, что надо нам, — рассуждал Гневышев и вдруг спохватился: — А соломы-то! Соломы хотел прихватить еще. Хоть тебе бы, лейтенант, в траншейку. Давай-ка я сбегаю.

— Не надо, не надо, Гневышев. Обойдемся, — поспешил сказать Трунов и подумал: «Вот бы Рубакову, комбату, в ординарцы его. Да нет. И себе нужен такой солдат».

7

Подойдя к взводу, они услышали смех и колготню, которые при лейтенанте сразу же оборвались.

— Что за шум тут? — спросил он помкомвзвода.

— Да нечего делать им, вот и шумят, — ответил тот.

— А все-таки? — настаивал Трунов.

— Да вот принесли, глядите.

У самых ног лейтенанта лежал ворох одеял, подушек.

— Откуда это все? — спросил он.

— Да вот Жуков. Где ты это достал? — спрашивал и улыбался помкомвзвода. Жуков, командир второго расчета, самый молодой и беспокойный солдат, подошел к лейтенанту и спросил: — Вы меня звали?

— Это откуда все? — повторил лейтенант.

— Это, товарищ лейтенант, из окопов я принес.

— Из каких окопов?

— Да вон там во ржи за бугорком окопы ихние. Да не одни мы. Мы опоздали. Там уж первая и вторая батареи побывали. Ишь, как немцы воюют, с подушками.

— Побросали все и утекли, — добавил другой солдат.

— А отчего ты веселый такой, Жуков? — спросил Трунов.

— А я там, лейтенант, нашел маленько. Вы только не подумайте, что пьян. Одна бутылка нашлась. На четверых одна.

Трунов хотел было распорядиться — отнести барахло куда-нибудь в ров, но он знал, что распорядится напрасно, и все будет растащено по щелям.

— Вшей, поди, там кучи, — сказал он.

— Они народ чистоплотный, — засмеялся Жуков. — Я вам самое хорошее одеяло дам. Берите. Пощупайте, какое мягкое.

Лейтенант молча отошел к своей щели и хотел было залезть в нее и растянуться на сырой и холодной глине, но его окликнул Буретин, командир второго взвода.

— Мягко же будет нынче спать. Тебе что приволокли? Я три подушки забрал.

Трунов прислушивался, лежа на бруствере, как Буретин басовито выспрашивал своего солдата Зайнутдинова:

— Ну, так еще что в плов идет? Ох, и плов же вы варите, во рту тает.

— У, пулов! У, карашо! — подпрыгивал Зайнутдинов.

В какой уж раз, подстрекаемый Буретиным, солдат рассказывал, как варится плов, какой огонь нужен вначале, какой потом. Буретин сидел на стволе миномета и хохотал. Он любил садиться на ствол или на плиту и как бы срастался с ними, с металлом, и вообще он казался статуей, которая сорвалась однажды с пьедестала и маялась в поисках надежной для себя опоры. Передвигалась по огневой его медная фигура медленно. Брюки чуть не лопались на тугих коленях. Медные запястья рук распирали обшлага, казалось, вот-вот посыплются пуговицы. С лица Буретин был бронзово-медный, гладкий, полированный. Широкий крепчайший нос и маленькие глазенки, — как-то все так подобрано, чтобы иметь схожесть со статуей. В лагерях из столовой он выходил обиженный, проклинал поваров, и разговор о еде не сходил с его уст до тех пор, пока повар не выходил из столовой и не кричал: «Эй, Буретин, иди-ка давай!» Это командир полка распорядился давать ему добавочное, но как-то неудобно было Буретину при товарищах съедать все сразу, он делал перерыв и шел второй раз по приглашению повара. В лагерях, случалось, он бывал пьян, он падал на сосновые ветки нар и отключался от войны и армии, бредя о паровозе. Он требовал смены стрелок, звал дежурного по станции, спорил о дышлах, поршнях и клапанах, вставлял в рот пальцы и пронзительно высистывал два коротких и один длинный. В такие минуты он казался не пьяным, а помешанным. Успокаивался, лишь когда подходил Трунов и, взяв лист бумаги, писал рапорт под диктовку самого Буретина.

«Прошу отправить меня служить на паровоз». После этого он засыпал как дитя. Трунова он отличал от других взводных и относился к нему уважительно. Он и стеснялся его, и тянулся к нему, и дивился, что это за штука такая — художник.

— Это ты учился, стало быть, года три? — спрашивал он Трунова.

— Четыре, — отвечал тот.

— Че-ты-ре! И что же ты постиг за столько годов? — Вопрос был не легкий, и Трунов отмалчивался, улыбаясь.

— Как это ты угодил в минометчики? — спрашивал он, и слово «ты» звучало приглушенно и не так басовито. А вообще он не жалел голоса, и, казалось, он и есть старший на батарее. Трубным басом он словно забавлялся, как певец любит своим голосом. Смех его долетал до первой батареи, а комбат спрашивал в трубку с наблюдательного: «Это Буретин опять ржет?»

Поболтав с Зайнутдиновым о плове, Буретин подошел к щели Трунова.

— Эка ночь месячная. Запечатлей меня, Трунов. Нарисуй меня вот таким, как есть сейчас.

Буретин стал над щелью, расставив ноги, отчего плащ-палатка раскрылилась, а пряжки ремня и полевой сумки зажглись слабым светом месяца.

— На отдых выйдем, нарисую, Коля. Даю слово. Я и сам о том думал.

— Думал! Ха-ха-ха! — привертывал свой хохот Буретин, потому что все в эту ночь казалось тихим и приглашенным.

— Вот и договорились, — сказал Буретин, — а теперь к тебе вопросик, служба, — обратился он к Гневышеву, — табачок есть?

Третий день на батарее нет табаку, и люди ходят друг к другу как что потеряли. В эти трудные дни в мешке Гневышева отыскался самосад. Солдаты прибегали из

других батарей, табак быстро раскурили, и весь минувший день Гневышев показывал пустой кисет.

— На одну-то завертку наскребешь, — приставал к нему Буретин.

— Ни пол-одной нету, — отвечал солдат, — было, лейтенант, было, комбату на НП отослал. Сам вот мешочек нюхаю.

8

Трунов товарища стал звать по имени месяц назад, когда они втайне от командования отлучились из полка, уехав в город. Почему в товарищи Буретин выбрал тогда Трунова? Может, рассудил, что если человек он образованный, то легче будет с ним найти в городе развлечения, легче разговориться и познакомиться. Трунову не надо было вовсе этой случайной встречи, и согласился он ехать скорее от лагерной скуки и потому, что хотелось перед отправкой на фронт еще хоть раз взглянуть на жизнь гражданскую, невоенную. Расчет был прост: в короткую летнюю ночь пробежать пятнадцать километров до станции, часа два трястись в вагоне, погулять и вернуться в полк к подъему. Все было исполнено по-военному точно. До станции они бежали своеобразной иноходью, припадая то на одну, то на другую ногу, и прибыли за какие-то минуты до отхода поезда. В городе сошли на окраине, забрели в первый барак, в первую комнату и выложили на стол три сотни.

— Ищи, хозяйка, литру холеры.

Хозяйка попалась молодая и догадливая, и соседка ее такая же, и вот уж они за столом пьяненькие, вот уж и обнимания начались, а там и огонь погасили, и так просто пришла минутная утеха, и уж будит Трунов Буретина.

— Поднимайся быстро, поезд вот-вот.

— Вот это рывок проделали за одну-то ночь! — хохотал Буретин, когда они утром росным подбегали к лагерю. — Пойдешь еще?

— Н-нет, — ответил Трунов.

— Что так? Или попалась неласковая?

— Надо психологически притерпеться к факту.

— Ого! Ну, молодой. Бывает.

Комбату Рубакову они принесли пол-литра водки, потому что спали с ним на нарах рядом, и ему ли не знать о ночном походе своих взводных. Неделью потом подмигивал Буретин Трунову, хлопал его по спине, говоря:

— Психологически, значит. Это вроде переболеть. Ну-ну.

В эти дни и Трунов как-то пристальнее стал приглядываться к Буретину, и казалось ему, что тот не старше его на добрый десяток лет, а млаже при всей своей телесной могучести. Вовсе разные люди, они стали друг другу необходимы.

— Ну зачем тебе этот немецкий? — присаживался Буретин к Трунову в свободный час. — Зудишь, зудишь. Что ты, разговаривать с ними будешь там? Поговорят наши двадцатимиллиметровые.

— Знать надо противника, — отвечал Трунов.

— А вон солдаты говорят о тебе другое: «Этот нахудожничает».

— И ты с ними соглашаешься?

— Нет, я-то тебя маленько знаю. Вон как вприпрыжку за мной. Не надо, а за мной. В знак товарищества. Думал, интеллигент, откажешься, а ничего, пошел. Книжку зудишь, тихоня, а согласился. Значит, свой человек.

Тогда же, как бы за услугу, он предложил Трунову адрес.

— Пиши ей. Это я в госпитале в Реже лежал, с ней и познакомился. У меня ни-

чего с ней не получилось. Шибко грамотная, не по носу пришелся. Вы подходящие будете друг другу. Майорская вдова. Краля. Шуркой звать.

Сейчас, лежа на бруствере, Трунов стал вспоминать фотографию, которая лежала у него в кармане. И верно, красивая и, должно быть, умная женщина. Два полученных письма сдержанны, ясны, ироничны. Трунов представил ее улыбку, с которой писала она ему, и улыбка была приятная, и когда стал дорисовывать ее — и ноги, и талия, и темные густые волосы, и черные вдумчивые глаза, — все было прекрасно в ней. Он улыбнулся, вспомнив, как Буретин выхватил из рук его фотографию и заорал — «она!» и криво и пошловато заулыбался, захохотал, и Трунова покорило — он был влюбчив и впечатлителен. Ну что бы значила эта галопная связь с женщиной, которую он встретил в городе? А ведь что-то закружилось в голове такое, будто думать о ней ему приписано вечно. Глаза ее утренние, сном не успокоенные, просили прощения, и поцелуй ее урывчатый и скользнувший, утаенный даже от подруги, просил помнить. И рука эта большая и шероховатая, натруженная рука, просила поклона. И сердце самого Трунова, юное мужское сердце, тронулось рыцарской нежностью. И чтобы сравнить свое состояние с состоянием товарища, он поинтересовался:

— Слушай, а ты не помнишь, какие глаза у твоей городской знакомки?

— Это у какой? — недоуменно спросил тот.

— Ну, вместе-то были?

— А были ли у нее глаза вообще, — закатился в хохоте Буретин.

9

— Подали-и-сь! — перебил его размышления Гневышев. Трунов поднялся на локте и прислушался — летело несколько немецких бомбардировщиков, летели они к воротам прорыва, взывая от солидной нагрузки. Рокот моторов затих почти вовсе, и слышались далекие, как из-под земли, разрывы бомб. Гневышеву тоже не спалось. Он поднялся в щели и, упершись подбородком на руки, глядел куда-то в небо, потом пожевал губами и, побрякав, сказал:

— Сосни, лейтенант, сосни.

Опрокинувшись на бруствер, Трунов опять стал думать о далекой «заочнице», перед глазами появился ее аккуратный домик, герани на окнах, поленицы дров подле забора, ворота. Заскрипели они, и скрип этот напомнил другие ворота, к которым он подходил года три назад такой же, как сейчас, теплой летней ночью. Трунов улыбнулся, вспомнив, как колотилось сердце, когда, замирая, он брался за колечко и поворачивал его вправо, как открывались ворота и собака медвежьего склада вылезала из конуры, потягивалась и тихо шла ему навстречу, помахивая хвостом, — привыкла. Сейчас он крадучись пройдет по двору и лестницей заберется на сеновал, там в правом углу ее постель. Он подлезет под одеяло и ляжет подле нее, и она, как и всегда, ойкнет, ойкнет, чутко ждавшая. «Ой, это ты, Володя!» Сладки эти воспоминания, сладки, потому что чисты. Ничего-то не было у них с той девчонкой, одни ожидания да факт, для деревенских ребят не последний: и он ночевщик, и он лазит к девчонке на сеновал, значит, и он парнем стал. Раз утром в воскресенье, когда на лавочках и бревнах было полно люду, подозвал его к себе отец этой девчонки. «Это кто вчера по двору-то моему шарился?» Как кровь тогда в лицо ему бросилась, как сквозь землю ему хотелось провалиться на виду всех праздных, всех ухмыляющихся, а отец хохочет: «Ха-ха-ха! Да не красней. Не отворачивайся. А оженю я тебя на девке своей». Влюбчив, влюбчив Трунов, прилипчив к одной любви, будто умирает

весь девчоночий мир для него. А ну-ка сколько — два года длилась та любовь, верно, урывками, верно, наездами видел он девчонку, но крепко сидела она в башке его. А тут пришлось из одного училища перекочевать в другое, из одного края в другой перемахнуть. Эшелон на станции задержался для кормежки солдат. Трунов на берег махнул, лодку чью-то, к столбу примкнутую, оторвал и на ту сторону к деревне родной ринулся. К своим родителям только на минуту забежал и тут же к ней, к учительнице, она уже учительницей работала. А было это перед маем, дома все расквашено, размешано, уборка идет вовсю, и любовь его с подолом подоткнутым по избе ходит. Заскочил он в избу, схватил ее в охапку и на крыльцо от всех увел — там и давай целовать. И она целует, но не так уж жарко, и взгляд свой все бросает на сторону, за ограду, в ту сторону, где крылечко крашеное виднеется и оконцы занавешенные — вон чего глаза-то пугаются, вон кто подглядеть-то теперь может. Знал он и дом тот, и того, кто живет в нем. Но ничего-то не желал видеть и знать в тот час Трунов — нацеловаться, наобниматься, может, на целую войну. Да вот тогда чуть и не утонул Трунов. Лодка-то рыбацья была с садком, пробка-то и выскочи. От волнения пережитого не учуял он, как вода по оборку да уж за голенище сапог заплескивается. Ладно пристал к острову и вычерпал воду. А на станции только поели, только к эшелону собираются, и Трунов тут как тут, отлученный, отлюбленный.

Хорошая любовь была, хорошая, хорошая, — думал Трунов, — и давно кончилась, а нет-нет да пройдет по душе приятной волной. Прошла любовь эта, а как ведь мучила.

10

— Трунов? Слышь, где тот у тебя, по четвертому-то разу фронтовик? — спросил Буретин подходя.

— Да тут я, — отозвался Гневышев, поднимаясь из щели и ссылая с бруствера глину.

— Слушай, служба. Губы пухнут. Дай на закурку.

— Мешочек понюхать дам, — ответил Гневышев.

— Это что за разговор! — зарычал Буретин. — Тебя старший по званию спрашивает.

— Да нету, вечер говорил, — возмутился и Гневышев. — Ничего нет. Трубка одна осталась. Вот сосу ее помаленьку.

— Тьфу, черт, — изругался Буретин.

Какое-то время молчали и глядели на кинжально взметывающиеся огни прожекторов, вслушивались в далекий треск автоматов.

— Нынче в полный профиль окопались, — сказал Трунов.

— Земля хорошая, податливая, копай — копать хочется, — сказал Гневышев.

— Поди уж, накопался, — насмешливо спросил Буретин.

— Я те разы мене копал, ага.

— Плохо зарывался, оттого и ранило, — зудил Буретин, — четвертый-то раз страшно? Всего по три бывает: три брата, три богатыря. Не так ли?

— Я уж о том думал и передумал, и хватит бы думать, — сказал спокойно Гневышев. — А те разы копать-то было когда — в пехоте ходил, а другой и третий разы в разведке. Да все больше зимой угаживало, порой-ка. Второй-то раз я в штрафной был.

— Ого! — удивился Буретин. — Как это удалось?

— А так вот — забежал я, из госпиталя-то еду, на минуту домой, к родным, ну и отстал. Меня и посадили в эшелон с тюремщиками. Ну, видно, держали, де-

ржали их в заключении и придумали: хватит им зря хлеб травить. А ехать на фронт кое-кому шибко против души. Им и хотелось еще одну тюрьму заработать. Что они делали! Колокол станционный приволокли в вагон. Зачем уж колокол-то? Спихнули его из вагона на первом же перегоне.

Озоровали... И вот тебе фронт, и смякли наши герои, присмирели, письма застрочили домой.

А я с ними. Ну, не то что я один среди них такой, были другие, но мало. А я годистенький и крепыш такой. Это я теперь подсох после трех-то раз. Трепанули нас разик и другой, на раз еще, может, хватило бы, а командир наш ротный меня приметил и позвал к себе в землянку.

«Ты, — говорит, — Гневышев, бесхитрошный. Ты вот, как пахать выезжаешь. Ты, однако, не тюремный?» — «Нет», — говорю. «Ссекут тебя скоро, — говорит, — а ты давай ко мне ближе, пригодишься еще». И то меня нарочным в полк толкнет, то каши ему принеси, то посадит за стол в землянке и сунет мне кружку. «Выпей, Гневышев, ты мне ндрависься». Я с ним и в бой ходил рядом. Велит рядом быть, я и слушаюсь. Видно, со мной и ему в этой орде было безопаснее. А раз говорит: «Ответственная разведка, Гневышев. Давай-ка подбирай ребят». И тут нам консервов, сала, наварку густого, «ешьте, силы набирайте, придете, еще крепче угощу...»

— Короче, служба, короче, — перебил его Буретин. — До утра завел пластинку. Потом расскажешь, а ты, Трунов, кажи-ка еще фотографию.

— Как ее покажешь сейчас, — возразил Трунов.

— А мы фонарик под плащ-палатку.

Гневышев тоже вылез из щели, сунул голову под широкую полу. Все трое уперлись лбами друг в дружку и глядели на маленькое фото, три на пять, молчали, поворачивая ее каждый к себе, наконец Трунов вздохнул и спросил:

— Ты правду сказал, что не спал с ней?

— Я же сказал, — забасил Буретин. — Тебе как еще надо объяснять? Что не было — того не было. А вот любил, это верно. Я бы зачем поглядеть попросил?

— Дня не дождался, — сказал Трунов.

— Днем будет некогда, — ответил Буретин.

— Хороша, — похвалил Гневышев. — Жена, что ли?

Лейтенанты захохотали.

— Хватил, брат, — сказал Буретин. — А «хороша» — не то слово, служба. Это женщина! Это такая женщина! Я те дам! Ты, Трунов, письмо еще дай почитать.

Трунов зашарился в кармане, бумажку, крепко помятую, под фонарик положил, и они, повздыхивая, стали читать, оттягивая ее каждый к своим глазам. Почерк письма был четкий, уважительный к фронтовику, и у всех родилась еще большая симпатия к женщине. Просто как рассказывает она в письме: «У меня ведь сын есть, какая уж я заочница. Ну, коли вам посоветовали, давайте будем переписываться. Может, вам в насмешку, а я буду писать серьезно».

— Какая-а! — почесал затылок Гневышев.

— Она такая, — сказал Буретин, — она может за всякое просто. Это знаете, какая женщина! Это знаете, какой человек! Я ведь прямо говорю. Вот это — баба. Баба, и только. Их много. Эту так не назовешь. Таких мало.

— А что же ты сам с ней не переписываешься? — спросил Трунов.

— Мы с ней с глазу на глаз разговоры вели и ни до чего не докалякались, — сказал Буретин и потушил фонарик. — С глазу на глаз — так что эти письма? Да и волновать себя не хочу.

И чтобы разом уйти от воспоминаний, Буретин обратился к Гневышеву, возобновляя прежний разговор:

— Ну, так в разведку-то, служба, гулял?

— Я, лейтенант, в разведку ходил не раз, — заговорил Гневышев, — да только с нее-то не шел, а ехал. Первый раз не по костям задела, да ждать долго пришлось, крови потерял дивно. Лежу в госпитале и слова командира вспоминаю «бесхитрошный» и «пригодишься». Ведь всего два слова сказал, а как выздоровел, слова-то эти опять меня первым в разведку понесли. Ну, тут меня задело крепко, тут по костям прошлось. А я вам... показать хочу.

— Да ну, зачем показывать, — не понял его Буретин.

Трунов знал, что хочет показать Гневышев. Он показывал и ребятам расчета, и самому Трунову, и, когда солдат зашарился за обмоткой, Трунов поощрил:

— Покажи, покажи лейтенанту.

Ложку кустарного литья Буретин прибростил на руке и пробасил недоуменно:

— Чем же эта ложка особенная?

— Историческая ложка, — сказал Трунов, — ложка-талисман. Так ее не поймешь, а давайте-ка полезем под плащ-палатку.

Ложка передавалась из рук в руки, разглядывалась всяко, круглая, на треть съеденная и потончавшая.

— Ага! Надпись какая-то. «И. Т. Г.» Что это означает, служба?

— Это дядю моего так звали. Это ложка дяди Ивана Тарасовича Гневышева.

— Ну так что же из того? — не понимал Буретин.

— А вот гляди, даты.

Ложку опять брали в руки и, шуря глаза, приглядывались, едва различая крепко потертые цифры. Наконец все сошлись на том, что они обозначают 1914 — 1918 гг.

— Да-а-а, — протянул Буретин, — заслуженная ложка, ветеран. По другой, либо по третьей войне пошла.

— Дядя мой, покойник, как на фронт взять меня, подарил ее. Я, говорит, четыре года провоевал с ней, берег ее, и ты береги, и ты вернешься живой.

— Дядя-то раненый тоже был? — спросил Буретин.

— Раненый-искалеченный, а живой вернулся и пожил после еще порядком.

— И ты, значит, веришь?

Гневышев замаялся, не зная, как ответить.

— Верю ли? Как вам сказать. А берегу, в этом уж будьте спокойны. Я ее никому поесть не даю, ворчат на меня, а я поел — и подальше, под обмоточку. Она всегда чуется тут. Не знаю, как этот раз, те разы проносило.

— Эка жить-то охота, — посмеялся Буретин.

— И тебе, и мне, и всем охота.

— Верь, верь, служба, — сказал Буретин, передавая ложку хозяину. — Тут все же не разведка. Тут минометы. Издали бьем. За горками нас не видно. И зарыться можно. Зарывайся, Гневышев, поглубже. Оно, может, и переиграешь ее.

11

Когда вошли в прорыв и окопались, Гневышев почувствовал в себе неясность. Где-то там осталась земля своих, а еще дальше дом и семья — там все едино и ясно. Эта же земля ночь назад была у немцев и дышала и жила иной жизнью. Вот и эта рожь под луной, как бездна холодная, колыхнется — кто ее сеял? И вспахана земля кем-то, и посеян хлеб, и выколосился на русской земле этот хлеб, и не вовсе он тебе родня, потому что зачат он и взлелеян для другой судьбы. А ночь перевернула все, и складываться судьбе его будет не по-замышленному. А пока не этому хлебу низкий поклон. Там далеко, за просторами в семь ночей, там идет настоящая своя жизнь.

И тепло той жизни дотягивается досюда. Разная была та житуха за немалую жизнь Гневышева, а вот, поди ты, и горькое и хорошее соединились в один зов, в одну песню, которая уж три года складывается и все не кончена. Что такое с ним, мужиком, делается — он там, там больше. И если он вдруг только тут, ему плохо, он что-то теряет, что-то искать надо, как вот трубку эту ищет суетно по всем карманам. Для дум ли место это, да и слышал он, что солдату на фронте и думать не о чем, кроме как о вражине-немце, сюда все думы должны сбегаться. По рассудку оно вроде бы и так, а по сердцу не получается. Может, Гневышев один такой, а вон те молоденькие... Да нет, и они не думая думают и не помня помнят о том, что там за семью-то ночами осталось.

12

Особо хватала дума Гневышева, когда он оставался один ночью. Тянется лента видений, и каждое из них притирается к сердцу, присасывается. А начинаются видения с дали дальней, с материной присказки, как много усилий потратила близкая природа, чтобы жить ему сейчас. Родились у отца с матерью девчонка за девчонкой, исполу умирали. Дородили они девок до своей изношенности и думали, что не будет уж парней, но вдруг новая полоса пришла, пошли парнишки. Первый родился мертвенький, а другой в подполье упал и убили. В ту пору и пришла к матери бабка Груня, лекарка от всех недугов. «Ты, говорит, Мотя, гробик-то на замок закрой, так будет надежнее». — «На замок душу младенца!» — отмахнулась мать. «Не душу, а смерть под замок загони». Отодрал отец от ящика пробой с наметкой, прибил к гробику и замкнул его на черный замок от кладовки. Через год не мешкая опять парнишка народился, нарекли его именем редким для села и вроде божественным — Евлампий. Рос он хилым, вялым, гнусливым. Вянгал по целым дням, хворал много раз и висел на волоске от смерти, а выживал и выживал. В два года ему роток морщинки стянули, личико цыплячье обострилось — собачьей старостью немочь эту называли. И только в глазах одних посверкивала надежда — одолеет парнишка и эту боль. Девчонок отлаживали, приобретая ему городской манной крупы, сахарку или пряничка — и пряничек валялся день и два, пока его девчонки крадучись не съедали. Одна печеная картошка шла впрок ему, но от нее брюхо раздувалось и, словно не могли снести его тяжести, дужками подхиливались ноги. Шаром Евлашка выкатывал за ворота и, удивленный широтой мира, сверкал глазами и пялил морщинистый рот. Его такого или годом старше поддел однажды рогами соседний баран, поддел крепенько, парнишка выметнулся на бревна, стукнувшись лобиком о торец. Замершего утащили его к бабке Груне отшептывать. Злым входил в память свою Евлашка, и, когда сестры звали его «шкилетом», в них летели камни и палки, а отец только ухмылялся и похваливал — «так их, толстопятых, так». Как же: рос хозяин, работник, солдат. Мать на воина с голиком бросится, отец в охапку его сграбастает и в избу орущего отнесет и там в сумерках зимнего вечера сказку длинную расскажет. «За долами, за горами, за высокими лесами», — мурлычет отец долго, и открываются парнишке неведомые города, села и длинные дороги, цари и царицы. Мир этот, розовый и голубой, мерцает перед глазами, продолжается во сне.

Потом уж, за гостевым столом, отец обнимал за плечи сына и рассказывал пьяненький:

— Счастливым будет, в рубашке родился. В поле под сосной мать принесла.

А мать добавляла:

— Как заорала — рожаю, отец за бугор убежал и переждал там до голоска его. Счастливый, не счастливый, а жить будет.

И отец старательно вколачивал в голову Евлашки розовый сказочный мир, а улица свои краски перед ним размешивала. Евлашка подходил к ведерной крышке, как бы ее взять незаметно, утаскивал ее на улицу под шумок старших и ломался, качал пьяно головой, прижимая крышку к груди и перебирая по ней пальцами — это гармонь у него. Идет Евлашка от ворот своих к воротам соседским и лопочет: «Ыны-кыргар, ыны-кыргар». Там оглянется, нет ли кого из старших или ровесников. Вон соседская девка бежит по росстани. Евлашка заломается пуще прежнего и — раз крышку о землю! раз еще, если осталась цела. Так расшибают парни о землю радужно-мехую оручую настоящую гармонь. А кто-то уж схватил парнишку за руку и поволок к родителям.

— Гли-ка, Мотя, что твой ухорез выдумал. Хлоп крышку оземь, вроде пьяный. И выругался еще как-то.

— Выругался? — играет в сердитость отец. — Скажи-ка, как ты ругался, молодец?

— Да так вот, — говорит Евлашка.

— У! У! О! О! Ха! Ха! — начинает семья хохотать и удивляться поступку Евлашкину, и ему хорошо, понимает, стервец, что сейчас он герой...

Глядя на звезды, ворочался Гневышев от воспоминания: «Ишь ты, герой какой был!» Воспоминание, как теплой волной, пополюскало сердце его, а близкое зарево передовой на миг августовскими зарницами стало.

Да, вот гармонь-то была потом. Настоящая. С пятнадцати лет он заребятился. С того началось, что отцов картуз стал надевать, а родители уж заметили. Девкам платья не справят — ема лабошак, надеваха новая, штаны магазинского шитья. А сын на большее зарится.

— Гармозу бы, тятя, купил.

— Мать! Гляди, чего Евлаха-то захотел! Да ты же еще молокосос, отберут ее у тебя на улице.

— А что! У Саньки, у Ваньки...

— Ладно, — соглашается отец, — отмолотимся, отстрадаемся, лишку будет — в Тулу заказ сделаем. Пусть и батрацкий сын на гармони поиграет. Прямо из Тулы, новехонькую. Давай сопли утрем богатынским.

— Давай, тятя!

И ждали гармонь до покрова, до рождества, до масленицы, а тем временем Евлашка пальцы ломал на чужой гармони, веру в себе искал, к рукам ли придется тульская двухрядка. Может, будет ходить она по чужим рукам, а над тобой хаханьки устраивать будут, как над Минькой Слепышевым смеются. Парни теребят его гармонь, а он, как теленок, за ними ходит да приговаривает жалобно: «Легонько сжимай, меха пучутся». Не вышло гармониста из Миньки, растырканную гармонь зашвырнул на чердак. Так ведь тот петь, плясать был бестолков. У Евлашки толк был и в пляске и в песне, как не быть толку в игре на гармони. Сперва ему парни по ладам пальцы растаскивали, скоро и сам стал переставлять кое-как, а вот уж и «подгорную» натыкал, правда, на одних басах, потому считай, что новый гармонист на селе появился. Евлашка ждал, ждал свою гармонь, а тем временем плясовую убыстривал на обеих руках. И вот она, новая гармонь, в ящике окованном. Аккуратно доски отец с сыном отбили и из стружек гармонь извлекли, рыжеватого-гнедого отлива, с медными, гладко обкатанными угольниками, с ладами белейшего перламутра, с мягким опойковым зеленоокромым ремнем.

Вволю поиграть на гармони довелось летом. Осенью Евлашка ушел служить Колчаку.

Когда Гневышев выходил в своих воспоминаниях к этой поре, он прежде всего видел Нюрку. Нюрка тащилась тогда за ним до самого города, и он не мог ее отогнать, хоть и стыдно было перед ребятами. Женатик, женатик. Всего-то два месяца на восемнадцатом, жидкий парнишка, а за ним баба тащится, потому что девкой ее назвать нельзя. Самой Нюрке стыдно было тащиться, ей лет и того меньше, да мать турнула — провожай, коли выскочила, провожай и провожай, коли не сумела плод выжить. Теперь с высоты лет не может Евлампий видеть ту Нюрку без жалости, ту бабоньку-ребенка, угловатую и неналитую. Чулки ее толстые шерстяные, ниже колен подвязанные, глаза без тоски и печали — бездумные, стыд один в них.

— Давай навинчивай до дому, — сказал ей тогда Евлампий и залез в теплушку, и Нюрка, исполнив долг, повернулась и пошла, а Евлампий вздохнул: «Фу-ты, не как у всех получилось».

Это сколько же, двадцать пять лет назад, узнал он, какая она есть, война. Надел он тогда у Колчака особый военный наряд, какого больше никогда не видывал. Из мешковины был сшит тот наряд, и как в насмешку нашиты на нем зеленые петлицы и блестящие пуговицы. После, когда попали в руки красных, смеху сколько было, хоть и они были не шибко нарядны. Командовал Евлашкиной ротой чех по фамилии Буй, глупый и злой человек. Он, да еще дурачок один, да молодой адъютант запомнились от той поры, от короткой колчаковской солдатчины. Дурака звали длинным прозвищем — «семь листов при одной заклепке». Раз, когда не было рядом чеха, с дурака стащили дерюжье обмундирование, набили ветошью и привалили к березе, примостив сверху дуракову фуражку. Как и ждали, чех издала принял чучело за пьяного солдата, раскорячившегося у березы и неспособного стать в строй.

— Свинья! Мерзавец! В строй! — закричал чех. Солдат не двинулся, и Буй хотел уж было схватить его за шиворот, но тут же попятился, заморгал глазами и вытер платком вспотевший лоб. И вдруг увидел в строю полураздетого солдата.

— Кто это устроил? — вкрадчивым голосом спросил его чех. — Я тебя расстреляю! Это насмешка над мундир! Это военный преступлений! Это большевистский зараз!

Гневышев не один стаскивал одежду с солдата, а в набивании ее ветошью не участвовал, он дурака держал в это время и уговаривал: «Ну, смотри, заклепка, молчок: придушу. Слышишь!»

— Значит сам наполнил чучело? Та-эк! — пытался чех. Дурак затрясся, дико зарыдал, оглядывая строй.

— Ну! Ну! Смелоу. Покажи.

Дурак шел вдоль строя, а Гневышев насупил брови и заострил глаза, отпугнуть своим страшным взглядом хотел, и прошел было дурак; но вернулся и указал на него.

При воспоминании той давней картины по телу Гневышева озноб прошел. Так далеко то время, и так живо воспоминание. Гневышев перевернулся на другой бок — ведь и уснуть надо. Что его мучает прошлое в эту ночь. «А дай буду дышать глубже, дай вызову чертиков в глаза, пусть попрыгают, попляшут, голова залетится бездумной мутью, и тогда усну», — думал Гневышев и вызвал чертиков, и они прыгали, корчились и рожи всякие строили, пока Гневышев держал их памятью, и смывались забытые, и опять рота, и опять чех, и уж строится отделение, чтобы исполнить приказ его, и гробовое молчание роты, и дрожащая нить ожидания, и Евлашка, вовсе молодой, все еще ждущий, что кто-нибудь помешает порвать эту связь с миром, на который он сейчас глядит. И это сказочное пришествие спасения, невероятное совпадение случаев — прискакал штабной офицер, адъютант коман-

дира дивизии поручик Селевин. Его больше никогда не видел Гневышев, а вот и сейчас видит его, как видит Трунова, молодым и румяным, подсказавшим к ним и осадившим коня между стволами винтовок и Гневышевым.

— В чем дело! — по-ребячьи взвизгнул он. — В чем дело, спрашиваю? Красные Лосиху взяли! А вы... Да что это за чучело к березе привалено?

— Да это пошутили, — сказал кто-то.

— Ну, нам не до шуток. Строиться!..

14

— Ну, что ты возишься в щели своей, — ворчал Трунов, — под тобой аж солома шумит, аж доски погромыхивают.

— Не спится, — сказал, вскряхтывая, Гневышев. — Пойду хоть плитку подобью.

— Да ведь подбил же ты хорошо.

— Проверю-ка еще раз, — настаивал на своем Гневышев и вылез из щели.

Ночь была светлая, как сумерки. Гневышев подошел к оружию и потрогал ствол, и верно, плита, показалось, чуть косовато лежит и пошатывается. Он взял лопату и надрал дерна. Ему какой раз думалось, что подбивать плитку и вообще возиться у миномета после пехоты и разведки куда домашнее и проще. Впрочем, и там было все понятно и просто, хоть и писалось в газетах, что ума и ловкости разведчикам надо много. Обкладывая дерном плитку и приминая его ботинками, вспомнил он, как однажды простое и ясное дело разведки обернулось конфузом. Этот новый случай напомнил ему, сколь он был силен и ловок, хоть и был самым старшим в роте. Это сейчас, после трех-то ранений, он смяк. Боли в теле никакой, а мясо рук и ног стало жидким. При том случае он помнил себя таким, что попадись кто в трудную минуту — горло перервет. Сейчас тычет лопатой под плитку — и все на нем тряпкой болтается, разжизло все в нем, корм, что ли, не тот, или порошки госпитальские силу подпортили. А ведь тогда капитан вызвал его и сказал:

— Мне разведчик нужен. Сколько тебе?

— Да сорок пять.

— Многовато для разведчика, но подойдешь. Сноровка есть и сила есть, двоих свалишь.

— Давай попробую, — пошутил Гневышев.

Сперва все со скользом получалось, все пусто и все на грани гибели. И этот случай. Да, это была вершина душевных сил Гневышева, это тот был случай, когда он сам о себе узнал больше, чем за всю жизнь. Было дано им накрыть пулеметное гнездо и, конечно, добыть «языка». Ночью осенней пошли они туда, аккуратно одолели нейтральную полосу, а как перерезать колючую проволоку стали, зазвенели звонки, это у них здорово устроено, звенят и унять никак нельзя. И пошли по ним хлестать минометным огнем. Ребята в кочки залегли, а Гневышев тем временем последние концы разогнул и туда уже пробрался. А тут и колокольчики замолчали и огонь вовсе смолк. И вот уж он видит холмик невысокий и амбразуру, то, что им надо. Взял он с собой парня покрепче. Там он рванул дверь блиндажа, зарычал и метнулся на то место, где должен быть пулеметчик. И было пусто и тихо там, и сам он обнял стяжок, просунутый в амбразуру. Дутая, ложная была точка, и у Гневышева вырвался стыдный смех. С минуту он сидел снаружи на деревянном бруске, опершись на автомат, и на душе было грустно, пусто и скорбно.

— Иди, скажи ребятам, что нас надули, — сказал он парню, и парень ушел, а Гневышев остался один. Один на чужой земле. Он сидел и минуту, и пять минут,

как бы дразня врагов: «Видишь, я сижу один перед тысячами-то твоими, и черта с два ты меня возьмешь. А я бы взял тебя, будь ты в этом блиндаже». «А почему ты не взял?» — спросил он себя, и досада стала душить его в тот миг. Сколько таких просчетов и оплошек наберется по всему-то батюшке-фронту, сколько найдется таких командиров, которые из мати в мать себя хлещут, стучат кулаками, грозят: «Приди-ка мне пустой, расстреляю, в штрафную спроважу». А сами не видят, что ли, биноклем-то обшаривши передовую, не видят, что в амбразуре не ствол пулеметный, а палка. Полз назад и плевался Гневышев, не страшась ругачки, а мучаясь каким-то внутренним хохотом и стыдом.

15

— Ну, хватит, хватит. Ты рад зарыть миномет, — сказал Гневышеву подошедший Трунов. — Иди хоть поспи маленько.

Гневышев дерном двухрядно плиту обложил, еще поплясал для верности вокруг нее и застыл на минуту. Его остановили запахи трав, плывшие из вершины пади вместе с тихим течением воздуха. Густо пахло конопляником и приятно щекотало в ноздрах, наводя на воспоминание о давнем косячке отцовской конопли за домом у куста черемухи. Надо же, вон куда мотнуло Гневышева, опять к детству, а нет, удержится он сейчас, не уйдет туда. Но уж чует Гневышев влажный запах ржи, сладко-дымчатый, легкий, льется он в голову, как хмель, и приятно туманит ее, и что-то уж зашевелилось из далеких дней, а тут еще пахнуло терпким дыханием картофеля, и в глазах замелькал розовый и фиолетовый цвет его. Картошка, картошка! Как много было с ней соединено хлопот и благополучия его семьи, и как измучивалась земля, рожая ее, скудную, десятый раз подряд. Черви ее желтопроволочные иссекали всю в той изнуренной земле. Помнил Гневышев, как новую землю дали его цеху и все ломали голову, как целинку поделить, чтобы каждому кусок ложбинки достался. «Вот так делите, косыми загончиками», — предложил Гневышев, и все рады были совету и говорили: «Никому в голову не пришло, как поделить целинку, а Гневышев разделил». Года два получал Гневышев хороший урожай, мешков по пятнадцать, аккуратно до нового хватало. А этот год Нюрка собрала мало, потому что копала мелко, на полштыка. Оно лопатой-то орудовать и мужику не легко, сотку или полторы — самое большее за день. А как бы хорошо, если бы хоть к следующей весне оказаться дома да землю-то вскопать поглубже. Да, вот он доколачивает, дошагивает другую войну, и обе — какие большие!

Обмыслить всего не обмыслишь, а обшагать пришлось сколь много земли. И опять ему чех вспомнился, который чуть не остановил ему жизнь тогда. Из ржи их тогда подняли, где они винтовки штыками в землю понатыкали. Командир красных винтовки те собрал и велел каждому бежать в распадок. А винтовки эти были у них всего-то полчаса в руках. Их белое начальство на телегах подвозило, когда солдаты были уже в окопах. Тогда же Гневышев подумал: «Мужики мы, голодранцы, а боятся нас генералы». И тогда же он поискал по окопам чеха, охота была встретиться, ох как славно было бы встретиться с ним. В распадке красноармейцы хохотали над ними. В диво их ввело мешочное обмундирование.

— Вам, ребята, еще в плену придется погулять в мешках месяца три.

— Только-то! — смеялись пленные.

— Вас переагитируют и в хорошую одежду оденут.

— И воевать с белыми отправят?

— А ты думал, до конца войны отсиживаться будешь? — Не сразу, но так и получилось, мешками они дивили Москву. Коленки расползлись, спины пропари-

лись — глядят люди и качают головами. Скороспелые колчаковцы были сонные, молчаливые от бескормицы. Из окон казарм виделся Кремль, и там, думалось, спорят, что делать с голодранцами: уморить ли их вовсе голодом, подождать или еще и пригладеться да агитаторов к ним подпускать почаще. Агитаторами бабы больше были, хорошо, по-родительски, говорили и на солдатах будто ничего и не видели, только в глаза им глядели прямехонько и спрашивали, чьи же вы? Так вот потом рыхловатая женщина пришла, просто, по-деревенски причесанная и одетая в простенькое темное платье. Со зрением, что ли, плохо у нее было, все щурила глаза и понятно и просто говорила за Советскую власть. Когда ушла, пошли разговоры: ведь это супруга Ленина была, Крупской ее звать, самим им послана поговорить с ними.

Кремль вроде ближе подвинулся, и теплее стало думаться — сам Ленин теперь знает о них. Хотелось выжить непременно и поглядеть, что будет дальше. Потому-то и потащил Евлашка однажды за собой двух приятелей — в Москве-реке он приметил надежный корм — очистки картофельные так и белеют на дне среди разных несъедобных отбросов, и прилично их, только глубоковато лежат, нырять надо. Евлашка нырял, ремнями привязанный, и двумя горстями сразу достал полманерки. Ели парни варево на берегу реки, договаривались аккуратно на место это приходиться, потому что за все лето впервые почувствовали сытость. Так день за днем шел, и не трогал их тиф, а тут и каши стали давать побольше, и паек хлебный ладошку закрывал. Скоро сволокли с них мешочные мундиры и гимнастерки с брюками, хорошо залатанные, дали. Ботинки тяжелые с иностранными клеймами, как колодки, на ногах бухали. Вспомнилась Гневышеву артельная людская радость, вроде они все эти месяцы без дома жили, а тут опять дом дали. Обживал его Гневышев легко, и на прощание с Москвой Ленина услышал. Из угла большой площади ни лица его не увидел, ни слов не разобрал, лишь долетали высокие нотки голоса. Потом уж из бесед с товарищами дорисовал смысл слов, и они касались земли, хлеба, городов и войны. Тогда же Гневышев уяснять стал, что он-то сам и есть «народ» и плывет он в этом море людском каплей неотделимой. Убрать каплю — и море начнет распадаться. Значит, надо цепче держаться за людей, плывя в этом море, — такое хорошее настроение к нему пришло в первый раз и вроде вспахало его душу, не успев приборонить. Полилась капля по волжским степям, по украинским просторам, через воды и горы, через голод и смерти пока целой и невредимой, разогретая до кипения боями и огненными речами комиссаров. И так его дела и речи воспаляли, что самому хоть впору лезть на трибуну. Фантазия его поднимала, он видел себя высоко, и видело его море людское, голова кружилась. Зачем бы ему, пахарю, трибуна, стоял бы и слушал и обмозговывал умные речи. Нет, море должно слышать голос капли. Случилось раз, возгласил комиссар, кто из красноармейцев желает высказаться, и тут поднял руку Гневышев.

— Я!

Поспешил Гневышев к трибуне бегом, за перила руками уцепился, и довелось ему крикнуть единое слово — товарищи. Почуял сразу он, как помутилась голова, как тело его оцепенело, как он раскрыл еще рот и выбросил полслова «здра», словно перекусил его крепко сжатыми зубами. Так сомкнулись зубы его, что в госпитале ножом его размыкали. Нервным шоком назвал доктор болезнь Гневышева. А вернулся во взвод, ребята смеялись, называя его оратором.

— Помнишь хоть речь-то свою, оратор? — спрашивали его.

— Ни хрена не помню, — огрызнулся он.

— Помнишь, как отдирали руки твои от перил?

— Отвяжитесь!

— Поди, еще охота раз выступить?

— Я вот с ей еще повыступаю, — показал Гневышев на винтовку.

И полилась опять капля по городам и селам, по туркестанским сыпучим пескам, по родимым сибирским лесам, в чоновском отряде побегала и остановилась наконец за председательским столом сельсовета. Тут он встретился с отцом — с ним Колчак расквитался пожестче, вернулся он без ноги, притихший и успокоенный. Он все приглядывался к Евлашкиной горячей работе и говорил ему:

— Ты, это само, полегче с мужиками. Круто, Евлашка, зачал. Сорваться можешь. Не видишь ли, чо ли, что жизнь поворачивается к мужику и кто был ничем — тот станет всем. Понял ты меня?

— Ни хрена я тебя не понял, — отвечал Евлампий. — Я отвозил вчера кнутом Егоршу потому, что шибко рот у него широкий, а ему его вовсе открывать нельзя, потому что до скончания войны колчаковец. Вон ведь до чужой границы допер и вернулся. Зачем утекал? Чего там искал?

— Ить вернулся. Мало этого разве? — возражал отец.

— Надо было вот тут вертаться. А потому буду стегать. А кто похожий подвернется, и того стегать буду. Уму-разуму учить буду, имею право. Я поборник Советской власти, — стучал Евлампий себя в грудь и при слове «поборник» громко гукал губами, словно все еще стрелял.

Свой мир сладкий, свою меру власти и завоеваний принес Евлампий в село и шибко уверовал в это. И когда отец его пришел к нему в сельскую и сказал о мельнице, Евлампий уцепился за дело обеими руками.

— Смелей, тятя, чего тут рассушивать. Ты батрачил у него. Заработал. Сколько отдает?

— Да один постав. Мукой, говорит, разочтешься.

— Где один, там и три будет. Бери, а я отсюдова подсоблю. Батраку в руки идет. Это власть поддержит.

— Ты, Евлаха, не вздумай силой, — советовал отец. — Я работал у него пять лет, и в обиду он меня не давал. Хозяин дает постав потому, что ты, говорит, Оська, умный мужик. Я, говорит, тебе разжиться помогу. Я знаю, говорит, что за тобой не пропадет.

— Ладно. Дарит ли, как ли, бери, а там видно будет. Поди, поставишко-то дрянь какая-нибудь? — спросил Евлампий.

— А вот и пойдем, поглядим.

А что бы смотреть постав? Мельница новая, за войну поднята. О такой паровой мельнице вокруг и не слышно было. Правда, постав был крайний и послабже других, и отец с сыном неделю голову ломали, как усилить. Скоро от размышлений перешли к делу. Хозяин тревожился и все подходил, говоря:

— Ох, наулучшаєте, ох, остановите мой пар, — он паром называл мощность паровика.

Гневыевы в один голос отвечали:

— На тебя и на нас хватит силы. Увидишь. Она же в половину мощности работала.

Все лето отец ковал новый жернов, раза в два тяжелее хозяйских. Страхи брали, повернет ли его пар, и сердце у Гневыевых замерло, как стали пускать постав. Хрястко и раздумчиво жернов сделал первый десяток оборотов и начал убыстраться, и опять сжалось сердце, как бы стан не развалился, как бы выдержали все укрепления и болты. Трясется и гудит рука Евлампия, приложенная к свае, вертится и попыхивает жернов, а из желоба в деревянный шкаф сыплется мягкая теплая струя.

— Один ваш постав двух моих стоит, — сказал хозяин.

— Пожалуй, трем не уступит, — отозвался Евлампий и пожевал мягкую муку. — Экая благодать, что твое молоко.

Лазил Евлампий по стану, проверяя, все ли ладно, нет ли где трещины, не пахнет ли горелым, и в этот день записал в памяти, что свершился поворот, что вот оно то, что завоевывалось, только старайся тому толчок дать. Сельскую он не бросал, на мельницу проторил дорогу и чуял, что одно без другого жить не должно. Евлампий крепил власть, навык стучать по столу и ожесточаться взглядом, за столом важно перекашивал плечи. Иного непокладистого мужика втолчки прогонял за порог. «Так только надо держаться», — думал Евлампий. Потом где-то поослабить, когда пообвыкнут и поймут, что это и есть корень завоеваний. В голове кружилась своя, не книжная, теория: трудовая власть — это труд твой, труд для себя, а значит, и для людей. Трудом своим ты что хочешь добывай, хоть на небо лезь. Опершись на локти и стуча перстом о стол, он поучал пришедших к нему мужиков:

— Ты, Ванька, лопух. Тебе тесть такое хозяйство дал, а ты сидишь, как курица на яйцах. Ты заводи маслобойку, видишь, в ней какая нужда. Надо шевелить башкой. Вон дом казенный пустует, я тебе по дешевке отдам. Ты, Нефедка, какую холе-ру залежь-то растишь? Скатай к кыргызам, купи пары три коней и десятин тридцать распаши. Земли-то, земли-то у нас золотые. Ух! Я люто ненавижу лежебок. Хвалю Митрия Егорыча, учитесь у него. Ты, Егорыч, давай другую лавку открывай, до коих пор луговским ходить к нам в Заяры. Надо так зажечь, мужики, чтобы у нас вовсе вывелись нищие. Силовать буду, носом тыкать буду, бить буду по сопаткам, а заставлю работать, спасибо потом скажете.

У Плетнева, коего мельницу всю купил, Евлашка на колени вставал и плакал:

— Ефим Кондратьевич! Дак что же ты нас покидаешь? Такое время пришло. Живи да радуйся. Да если мы все дружно, рук не покладая, трудиться будем, какой Россия наша станет. Эт-та самая великая и сильная держава на свете будет. На карте-то, батюшки! Как она, наша страна, по земле-то разметнулась, так опояхом и взяла ее. Если б каждый, как ты, работал, это бы за десять лет весь мир купили — и вот и слава вечная русскому народу...

16

— Эй, спишь, что ли? — услышал Гневышев над собой голос комбата. Это он еще не ушел на НП или вернулся оттуда — растерялся во времени Гневышев. Он поднялся в щели, поломался, покачался в поясе, разминаясь.

— Кто же это вырыл ровик для мин?

— Я рыл, — ответил Гневышев.

— Рядом-то с оружием?

Гневышев оперся локтями о бруствер и вывалился из ямы, отряхнулся и стал перед капитаном навтыжку. Он был еще у себя в деревне и не понимал, в чем его оплошка.

— Это я распорядился, — сказал подошедший Трунов. — Тут, капитан, кусты, тут бугор, больше некуда.

— Так вот в кусты, в кусты, подальше. Поднимайте расчет и копайте.

Лопату Гневышев держал подле себя, в щели. Он достал ее, протер травой и пошел в заросли березняка и орешника. Оно правильно командир сказал, там безопаснее, но какая работа, до рассвета пророешься. Гневышев постоял в кустах, похраптел, досадуя. Как много у минометчиков этой зряшной разовой работы. А потом еще придут сюда мужики здешние и заочно облают за разор леска. Он потоптался в кустарнике и, поняв, что лопатой одной тут ничего не сделаешь, вернулся назад.

— Идем, идем, старина, — поторапливал его командир расчета.

— Ломы, топоры берите, — сказал Гневышев. Ребятам хотелось поскорей отделаться от безвременной работы, и они, посбросав шинели, торопливо принялись за дело. Хрустели корни, звенели топоры. Луна уже склонялась к горизонту, и было не понять, ее ли свет или свет утра брезжит над головами. Скоро среди кустов обозначилась яма, пахло парной землей, измятой травой.

— Ну, скоро бегать тебе, солдат, в этот лесок, — сказал командир расчета, и Гневышеву подумалось, что таскают ребята ящики в лес нарочно, чтобы помучить утром его, попохотать над его немолодой медлительностью, поругать и покричать на него: ящики были тяжелые, в каждом по две пудовые мины. Сколько дерева тратится, сколько зряшной работы! Кто-то стружками набил их, подставочки выпилил для боеголовок и стабилизатора, и все это на один миг. Утром, как начнется огонь, затрещат доски, вывалятся внутренности, все это останется гнить в кустах или сгорит на кострах.

— Пошли досыпать, — сказал командир расчета. Гневышев прихватил несколько оторванных досок, он их под бок положит, не так будет холодить, и уснет маленько. Чтобы ничего не вспоминать, он так вот, ничком ляжет, голова скорее отяжелеет, к глазам тугота подойдет, может, и поспит. И так оно с первого раза на сон потянуло, поплыл, поплыл Гневышев на теплых волнах, а в глазах Нюрка выросла. Так сладко, так нужно, так безысходно увиделась, что и сна не надо, лучше о ней думать, о Нюрке своей, не нонешней — той молоденькой, которую они с отцом сватали в чужом селе.

17

Нюрку он поймал до солдатчины. Как она насмелилась прийти на полянку в чужое село? Верно, с подругами пришла, но вовсе молоденькая, на год млаже Евлашки. Когда отплясали, отшумели, Евлашка не метнулся провожать тут же, а ринулся через огороды и дождался девчонок у еланских ворот. Как научили старшие парни, вытолкнул из середины Нюрку, на что она огрызнулась:

— Эко! Ошалел!

— Заярские все с дичинкой, — сказал Евлашка, цепко держа за руку девчонку. Только он играл на гармонии, только она плясала, тоненькая телом, из шустрых подростков, которых взрослые девки отпугивают от полянки, и они на отшибе пытаются кружиться, прислушиваясь к музыке. Видно, заметила ее опытная девка и сказала: «Хватит тебе, дылда, толочься среди детишек, иди к нам», и она вышла к ним и прихватила с собой связанность, стыд, ужас и всю угловатость, и наряды-то были у нее девчоночьи, из которых вылупилась — тесны стали. Ботинки старомодные, с низким каблуком, материны, должно быть. Икорки ног едва начали наливаясь. Только что Евлашка играл лихо, а тут подле слабенькой девчушки оробел. Не приходит в голову ни одно доброе слово. Кавалером он оказался куда молчаливым. Наконец что-то про руку забормотал, отмахал-де ее, отдергал гармонию, и побряхтел, как от боли, — слово не шло, пусто и мутно было в голове, смешалось все и одеревенело, шел и мучился, пока не услышал едкий смех старшей подружки:

— Ох и провожатый! Ох, голову задурил сказками!

Нюрка было завывалась, но и в Евлашке упрямство открылось — он как в клещи руку ее взял, не пытайся вырваться. Нюрка по спине била парня, повизгивала и чуть не плакала, в капкан пойманная. Он чуял в себе хватку мертвую. Последний раз полдеревни видело, как он объезжал молодого коня. Раз пять сбрасывал коня его, синяков парню насажал, но и Евлашка в мыло вогнал коня, измучил и утишил. Не словом, не байками возьмет девку Евлашка — он норовом сломит ее, силой желез-

ной руки запугает ее, вот так, на излом повернет руку ее. И Нюрка ровно ослабела, в объятья ввернулась покорная и тут, как ножами,хватила по руке Евлашки. Так и понял сперва он — железомхватила. Затряс руку он, и девчонка выпорхнула, исчезнув в темноте. Евлашка кусты облазил, поле ржаное исколесил, рычал и матерился и, как за мостиком смех услышал, понял, что упустил девку. Скрипнул зубами и залялькал в руке укушенную руку. И остался на запястье блеклый крапчатый венчик.

— Это какая же тебя поцеловала? — спросил его однажды отец.

— Луговская собачонка тяпнула, — отговорился сын.

В новое воскресенье, надев сатиновую рубашку, Евлашка с товарищем пошел было в Луга искать зубастую девчонку. Но девчонка как ни в чем не бывало сама пришла в Заяры и плясала под Евлашкину гармонь куда ловчее, ровно эту неделю тем и занята была, что училась пляске. Особо ловко Нюрка вывертывалась из-под плеча, словно дразнила Евлашку: «Так вот я вывернулась от тебя, так вот я ловка, осторожней на поворотах, парень». И частушку придумала ядовитую:

*Я такому трепачу
Поддаваться не хочу.*

Евлашка рвал зеленомехую гармонь, словно спорил с девчонкой. «А зачем же ты пришла? Только ли подразнить? А нет, не дамся я дразнить себя, меня же потом лопухом назовут».

Кончилась полянка. Евлашка бросил гармонь в руки дружка, догнал луговских девок и отдернул в сторону Нюрку.

— А вы шагайте, пока вам не намесил, — крикнул остальным.

Нюрку повел в другой конец села, где близко к улицам подбегал сосновый бор. Завтра ему отвечать перед дружками, вон они черными тенями ташутся позади. Евлашке надо экзамен сдать, не опозориться, он не разбирался, худо это, хорошо ли, слышал, так делают многие и за это их героями почитают. За ригой в солому свалил девку Евлашка и остервенело рвал на ней исподнее. Острые когти драли ему лицо, во рту чуялась солоноватость крови. Назавтра лежал Евлашка с дружками у речки и рассказывал, как было, сочинитель нашелся, и они орали свежееиспеченную частушку:

*На Заярском берегу
Ягодки собирала,
А с поляночки пошла,
Цветочек потеряла.*

Нюрка не показывалась в Евлашкино село, и он решил, что так лучше, что пусть другая такая приходит, он знает теперь, как с ними разговаривать. Веру вливали похвала приятельская, взгляд их уважительный. Евлашка рос, глядя на них сверху, для шутки давал щупать бицепс тугой и, кто соглашался, опускал тому на голову тяжелую лапу, сламывая шею. Новая слава шла по селу: такой задавить может, только поддайся ему. Стали обходить его стороной девки, и чью ни караулил он, ускользала, смывалась незамеченная. Чували девки, на какую сегодня Евлашка не просто поглядел, сшушукивались и скрывали ее сообщая. По задам, по загуменьям пробиралась девка домой и удивляла мать: все на сеновале спала, а тут к матери в избу пришла и жметесь напуганная. Нюрку Евлашка увидел в жатву. Ехала она одна на заимку, задумавшись и не замечая никого вокруг. Евлашка косу в землю воткнул и пошагал за телегой — там дальше перелесок. Там он нагнал телегу и вожжу было в сторону потянул. Зубастый серп концом задел плечо и распорол рубаху. Оглянувшись, девка уже на телеге стояла и косой размахивала.

— Положи, дуреха, — сказал ей Евлашка.

— Уйди, паразитина! У-би-ю! — простонала она, и слова эти охолодили Евлашку. Разъяренной ястребицей нацелилась глазами Нюрка, косу вознесла сноровисто, и Евлашке подумалось: еще поближе бы на четверть — снесла бы голову. До вечера парня беспокоила храбрость Нюркина. Когда домашние улеглись спать, по лесной тропинке метнулся к Луговским заимкам. Думал теперь Евлашка, как бы примириться с Нюркой, как бы вернуть ее веселость и мягкую ласковость. Он не будет приставать к ней с этим. Она ведь не Манька Зуева, что на артель хватало, вон как рубаху разнесла, пришлось своим врать, что с дерева свалился и плечо сучком порвал. Да что плечо — лежать бы ему сейчас на столе со сложенными ручками. Страшна Нюрка, а потянула к себе. Сдайся она — и не нужна больше, а тут на жизнь замахнулась и словно задачу нелегкую задала.

Нюркино с баню зимовейко темнело прогалом выхлестанного окна. Евлашка притаился подле него — кто-то спал в зимовье, тихо и ровно дыша, да кто же, как не Нюрка: одна ехала. Совсе успокоившись, он полез в окно и на подоконнике чуть подождал, потому что и дыхание на нарах поубавилось. Молчит Нюрка, стало быть, его поджидает, Евлашка пополз по нарам, шубу ощупал и лег рядом, прислушиваясь к новому хриповатому дыханию, это Нюрка попила с жару холодной воды из колодца — у них он двадцать аршин глуби. Евлашка юркнул под шубу и руку протянул. Его обняли крепкие, как железные обручи, руки и шаркнули по лицу пропахшие табаком усы и борода.

— Пусти... твою душу! Чего тебе надо от меня! — орал и извивался Евлашка, пытаясь вырваться.

— А тебе чего надо тут? — с добродушной уверенностью в своей силе спросила борода. Голос этот Евлашка сразу узнал, хоть и слышал один раз, когда мужик приезжал к отцу торговать старую кобылу.

— Да ну тебя! Да ну! Дядя Григорий!

Рановато Евлашка начал строить из себя богатыря, слаб еще, жидок против Нюркиного отца. Они минуту пообнимались, и мужик поднялся, сев в проеме окна. Шарясь по столу, Евлашка нашел ему кисет и спички, и, когда кончилось шуршание бумаги и погас свет, осветивший черную бороду, на дворе зашумела солома.

— Ну, что, Нюрка, будем делать с им? — бросил мужик слова за дверь.

— Отпусти его, падлу, тятя! Глядеть на него не могу, — тонким и плачущим голосом ответила девка.

— Что-то не то дома говорила, — сказал мужик, — ладно, иди досыпай. Мы тут без тебя договорим.

Они слушали, как Нюрка по скобам лезла на зимовье, затаилась там, и мужик спросил:

— Ты зачем пришел-то сюда?

Евлашка сидел на нарах, болтал ногами и на вопрос только глухо и нервно откашлялся.

— Ты прямо говори: после всего этого ты думаешь свататься? Или как это, по-твоему?

Евлашку как прорвало. Задыхаясь от волнения и страха, он селезнем зашипел:

— А ты, дядя Григорий, ко всем сватался, с кем...?

— Резон! — протянул мужик насмешливо. — Значит, так надо понимать: отказываешься.

— Дай дорогу! Не привязывай! — отчаянно заорал Евлашка.

— А я тебя и не держу — валяй вон через дверь, она не закрыта. Месяц сроку даю. Этого хватит? А можешь ране приезжать. Я бы и седня тебя придушил, да погожу. Вижу, удалый. Вон какой мне резон выкинул. Было, брат, было, чего греха таить, а потому и лют, как до самого коснулось. Душу из тебя вытряхну, если чего. Ты меня понял?

Не знал Евлашка другой красивой девки, чтобы отворачиваться от Нюрки, только молод был, так молод, что испугался женитьбы, как пропасти какой, и в ухарстве ребячьем вовсе не увидел Нюрки. Между тем было езжено в дом невесты, были сговор и ряды, и в один прекрасный день посыпался золотой овес на головы венчанных, а Евлашка все ждал, когда комиссар колчаковский появится, когда его с другими парнями посадят на телеги, в пары запряженные, и отвезут на ближайшую станцию. И дождался, и увез его поезд. Не оглянулся Евлашка на молодую бабу, и забылось лицо ее, оттого, может, что не приглядывался. Тот же поезд через четыре года привез его на захолустную станцию, и встретила его баба — другая, синеглазая, налитая и круглоплечая. Завлекая, баба и ребенка ему на руки сунула, счастливая. И Евлампий единым коротким взглядом узнал в нем себя.

Да, вот она какой повернулась, Нюрка-то, спутница-то его вечная. Для этой, для последней минуты, для станции захолустной и для Нюрки с сыном вспомнилась дурная бесшабашная молодость. Кроме как Нюрка, он жену никак не звал, но сам же чуял, сколько много тепла в этом слове. За три десятка лет он ни разу не спросил, любит ли она его, и не задавал себе вопроса, любит ли он, — все сводилось к заботам о доме и семье, к хитрым сведениям концов с концами, к обманам желудков своих и ребячьих, к долгим многонедельным припасениям закусок для редких пьяных праздников, к спешному приобретению коровенки и к скорой ее продаже, потому что «не по силам», к ругани и крикам между собой, потому что покричишь, так бойчее к верному решению придешь. «Нюрка, Нюрка, Нюрка! — простонал Гневышев. — Почему же я не подумал ни разу иначе назвать тебя? Нюрка, моя голубушка! Помнишь или забыла ты мою жестокость первоначальную? Я ведь ни разу тебя не спросил об этом». Волнение, которое подарило ему воспоминание, подняло его из щели. Он уперся в бруствер и глядел на ржаное поле, которое стало светлее. То, что виделось ночью темными пятнами, были воронки. Перекрестив поле, в разные концы его поднимались два следа танков. Посредине, как от вырытого котлована, виднелись холмы глины. Более мелкие приметы вчерашнего боя рожь за ночь спрятала и принимала на себя мягкое бесшумное волнение, оно неторопливо рождалось у самой батареи, уходило в гору, и в эту рассветную пору поле казалось просторным озером.

18

Как-то вовсе неожиданно на огневой появился старшина Трифонов. Огневая стоит не бог знает как близко к переднему краю, а Трифонов, околавываясь где-то подле кухни, в делах своих ровно опаздывал: то с хлебом неладно, то вовремя каша не сварилась, то соли под руками не оказалось. На заре Трифонов не ждали, видно, кто-то его подтолкнул, чья-то сильная рука подействовала. В Трифонове хорошо уживались трусость и веселость. Этот раз, как бывало и раньше, он обратился с настороженной живостью к Трунову, к человеку без строгости, мягкому человеку, он с ним на формировке все заговаривал, стараясь казаться начитанным, и все толковал о какой-то пьесе, в которой Сарра Бернар рифмовалась со старой бороной. Ему нравилась игра звуков, и только. Любил он стихи за «складность» и под хмельком с рыданием в голосе декламировал «Девятнадцати лет после смерти отца», переви-рал стихи безбоянно, а под конец ронял голову на грудь и пускал натуральную слезу, бормоча «вспомнишь, жизнь не мила тебе станет». Жизнь в старшине бурлила ключом, и он боялся бомбежек и артобстрелов. Его кухня имела привычку отставать и теряться по причине заготовки дров, поисков воды, а объясняться с начальством он умел вполне искренне, дотошно и обмозгованно.

— Как? Тихо пока? — обратился он к лейтенанту.

— Пока молчат, — ответил Трунов.

— Ага! — заблестел голубыми глазами старшина. — Соображают: дай поможем старшине покормить ребят.

— Какая нынче? — спросил Трунов, имея в виду кашу.

— Вчерашнее меню.

— На сале или как?

— На тушенке.

— О! — Трунов потер руками. — Гневышев, эй, Гневышев!

Лишь перед зорькой Гневышев заснул и тотчас увидел сон — барахолку давнюю, пермскую, вовсе не так увидел, как было в действительности, только черный бушлатик был тот самый, с замасленной кромкой на рукавах, с помятой железной пуговицей и с насекомой, ползущей по рукаву. Он тогда перевернул другой стороной бушлатик и сунул его в руки покупателю, а пятнадцать рублей скомкал в кулаке и бросился к водному вокзалу. К чему бы во сне эта явь давняя, к чему эта насекомая, к чему ее видят, к худу или к добру?

— Гневышев! Ты что же, брат, завалялся? — обратился еще раз к нему Трунов. — Пшенка прибыла, где котелок?

— А! Как рано сегодня кормят, — поднялся Гневышев и загремел котелком. Сминая в горсти лицо и припадая на ногу, которая пристыла от земли и онемела, Гневышев шагал к бачку, там была уже очередь. Повара не было, и орудовал у котла сам старшина, что было на руку Гневышеву.

— Это вот комвзводу Трунову, а это мне, — сказал он, подавая котелки.

— Это что за комвзвод? — прытко спросил Трифонов.

— Это по-старому, по той войне. Ну, лейтенанту.

— А! Вот так бы и говорил, — сказал Трифонов, а Гневышев знал, что намек его окажет пользу. Видать, из дальнего угла хватил ковшом старшина, каши было много, полный котелок, и мясных прожилок было гуще, чем у других. К брустверу лейтенантовой щели подошел и Трифонов, когда разбросал из бачка еду. Он растянулся рядом, приминая в своем котелке с верхом наложенную кашу.

— Это кто, ординарец твой? — спросил старшина, но Трунов промолчал, оглядев размягченно-внимательным взглядом солдата. Старшина есть не хотел, он глядел, как аппетитно и неторопливо ели кашу солдаты, разметавшись по траве или склонившись над котелками, и достал из-за голенища сапога тоненькую с красной каймой книжку.

— Ты погоди еще, — обратился он к Трунову. — Я перепишу один стих. Этот самый, где Алешку-то поминают. «По-русски рубаху рванув на груди». Вот как умирают! Я его перепишу и Алешке, дружку, отправлю. А скажи, Трунов, что означают те буквы в начале книжки. «В. С.»?

— «В. С.»? А я ведь тоже не знаю. Посвящение, должно быть.

— «В. С.», и только. Это чтобы одна она знала. «Будем знать только мы с тобой». А ведь не получится. Книжка-то для мира написана. Кто она — жена ему?

— Может, и жена, какое наше дело. Ты книжку не потеряй.

— Да ну! Из-за голенища-то? Ну, знаешь, хороша. С елки-то, говорит, мне тебя подарят.

— Заучиваешь?

— Само лезет в башку.

Гневышев коркой хлебной подчистил посудину и сунул в вещмешок, Трифонов свой котелок ему пододвинул и воззрился на рожь, сказав этим — «ешь, не жалко». Гневышев отъел две неполные ложки, вроде как попробовал, и, ложку свою облизав,

затолкал за обмотку. Трифонов потянулся за узлом, сквозь марлю виднелись в нем хлеб и кастрюля. Так завязывали еду, когда отправлялись на далекое поле жать.

— Давай кого-нибудь, лейтенант. Пусть пожрать отнесет на НП.

— Кого пошлешь, все заняты, — возразил Трунов.

— Делов-то километр.

— Сам-то что?

— Некогда самому.

Было ясно, что старшина не хотел идти на НП: далеко и боязно. Кто знает, что будет через минуту или две, вот и солнце выметнуло лучи. Старшина лениво потянулся, зевая, кивнул на котелок с кашей.

— Гневышев, отнеси его Буретину. Хотя я ему и давно наклац, но отнеси, он съест. Ну так, лейтенант, пошлешь?

— Иди уж, иди. А то ведь скоро начнется.

Старшина поднялся с земли и, отряхнувшись, пошагал к бачку, громко крича:

— Кто еще чай пить будет? То вылью.

Никто ему не ответил. Старшина вылил чай себе под ноги, взял посудины за проушины и пошагал в горю.

19

Кашу на НП отнести не успели. Связист вскочил на ноги и, не отрываясь от телефонной трубки и оттопырив руку, словно для приветствия, прокричал:

— По места-а-а-ам!

В конце батареи раздался густой бас Буретина:

— Хотя пожрать успели. Спасибо ему.

Послышалась высокоголосая и певучая команда старшего на батарее:

— Приготовиться к бою!

Из ровиков, от котелков своих, из кустов ближних метнулись к минометам солдаты, на бегу расстегивая гимнастерки и сбрасывая на брустверы и в щели ненужные шинели. А Гневышев аккуратно свернул свою шинель и опустил ее в ровик. Пока шла команда первому миномету, пока возился вокруг него расчет, другие подбивали уже давно подбитые плиты, скрежетали гвоздодерами, открывая ящики. Крик и переругивание перебила громкая команда «одна мина огонь», и сухой треск разнесся по огневой, оставив после себя рассерженное нытье ствола, словно он был недоволен чем-то. Гневышев снял ремень с пояса и пристегнул его через плечо. Он не помнил, какой бой начинался, по его солдатскому счету. По счету минометчика, это был пятый бой, точнее пятая огневая, и она должна быть самая легкая. Те первые огневые были как бы скользкие, как бы с ходу возникавшие и копались не в полный профиль; такие скоротечные, что в сделанном и оборудованном чувалась ненужность, и по тому, как скоро отстреливались минометы свои и как там, впереди, и слева и справа, становилось все тише и тише, ждалось, что вот-вот объявится отбой. Начнется свертывание батареи: хлопанье чехлов, свинчивание, подтягивание, звон инвентаря, забрасываемого в кузова машин, ворчание моторов и запах бензина. Сегодня утро открыло все законченным, спрятанным, прихлопанным, сделанным сполна и надолго, и думалось, что жить собрались тут не час, не два. И в воздухе к утру как-то все устоялось, и слышен был густой запах зреющей ржи. Чад пристреливающегося миномета не погасил сырых светлых запахов лета. Гневышев все еще не привык быть далеко от передовой. Этот четвертый раз для него казался по-своему трудным и непонятным; ничего-то ты не знаешь, что делает

ся за этим полем ржи, где стоят друг против друга свои и немцы. Сомкнулось поле с небом и сделало неведомым все, что дальше. К этому, оказывается, тоже надо привыкать — не видеть-то противника. И голове твоей приучиться надо домысливать дорисовывать невидимую сторону боя, а без понимания того кажется, что взрослые, и неглупые люди заняты опасной игрой. Вон Трунов выпятил грудь, косо растянул рот и упоенно кричит:

— Ба-т-та-р-ррея! Одной миной — огонь!

И, словно забавляясь, отвечают ему командиры:

— Выстрел! Выстрел! Выстрел!

И как отгремит батарея, будут слышны звон и грохот соседних батарей, будешь видеть оскалы зубов, округленные глаза, резкие взмахивания рук и странное безголосие людей. Тут после разведки-то, можно сказать, покой, тут «дом отдыха», как назвал минометное дело их комбат. Он и сам не раз замечал за собой: война сработала с ним такое, отчего он стал спокойнее, нет у него прежней утомительной суетности, окрепла покорность военному делу, и ему хотелось любить всех, кого он вокруг видел: он любил Трунова за неумение браниться и за то, что во всех отношениях со взводом он умел сдержаться, хотя по природе и был горяч. Он любил Жукова, командира своего расчета, за вспыльчивость, невоздержанность и суетность, за лихую, но все еще неумелую матюгню мальчишки. Он подходил к нему и просил раз только дернуть за спусковой шнур и потом глядел, как мина, выхаркнутая из ствола, уходила в небо, покачивая стабилизатором, словно прощалась. Он даже хотел, чтобы тревога вошла в него, но тревога не входила, а помимо его воли приходило и разворачивалось военное утро, много раз встречаемое, летнее и зимнее, дождливое и, как вот это, солнечное и светлое, словно предназначенное не для войны. В грохоте и звоне, в рычании и гуле примолкли ржаное поле, травы, перелески, и птицы в них с верхних веток слетели вниз, ожидая, скоро ли все это кончится. Думалось Гневышеву, что где-то там, на востоке, тоже утро, и поют над рожью птицы, и покойные туманы, а не сизые заволоки чада плавают над тихой неиспуганной рожью. Давно-давно, в начале войны, он боялся умереть, думал только об этом, радовался, когда бой стихал и приходила ночь: еще на день подвинулась война к своему концу, ведь не вечна она, и так пройдет очередное завтра и послезавтра, и, дай бог, может, спасется он. С годами думы такие сгорели наконец, испепелились, и ему никогда теперь не вернуться в прежнее состояние. Он стал замечать, что в думах все чаще улетает далеко от войны. Сам себе дивился, как может в грохоте, в грохоте, когда то близко, то вдали лопаются снаряды, как он может думать о прошлом: вспоминать, как покупал, а затем скоро и продавал коровенку, повторять давнишний с кем-то спор, воскрешать радостные и горькие минуты встреч, расставаний, смертей и рождений. Как старший по возрасту, он жалел всех ребят батареи, он так их в уме и называл «ребята» — и тех, которые были рядом, и тех, кто ими командовал, и тех, кто был не из его взвода, и ел, и ездил, и разговаривал от него далеко. Любил их вот такими — потными, ворочающими двуноги-лафеты, заворачивающими пудовые мины в стволы, отскакивающими и подбегаящими вновь к ухающим орудиям, растянутыми, окруженными сидорами, шинелями, ящиками, забывшими, что расслабили обмотки, вот-вот вывалятся из-под них другое орудие солдатское — ложка. Гневышев неторопливо шел в перелесок, заворачивал себе на плечо ящик и подносил к миномету. Шли минуты боя, когда никто еще не устал и каждый был охвачен молодым возбуждением. Вот и Гневышев подошел к Жукову и крикнул ему в самое ухо:

— Пошла работа!

Тот улыбнулся торопливо, должно быть, не расслышал и крикнул в ответ:

— Таскай!

Что-то домашнее виделось в движениях Гневышева, будто ходил по двору хозяин, запрягся неторопливо делать одну работу за другой. Он переколет все напиленные дрова, сложит в поленицы, там начнет хомут чистить, у оглобеля тяжи подравняет и толкнет телегу в сарай, двор подметет — и дела сами идут в его руки: меня сделай, меня возьми. Не торопи Гневышева сделать все дела на огневой, он бы сделал их — не торопи воина. Не сломает Гневышев гвоздодером досок, снимет их осторожно и грудкой сложит подле, будто нужны они ему огород городить. А как создаст подле орудия запасец мин, примется помогать солдату навешивать на стабилизаторы кисло пахнущие колбаски зарядов, став на колени, потому что ему не по годам сидеть на корточках. А тут заметит — ремень спуска короткий, и стреляющий боязливо тянется за ним из ровика, Гневышев сидор развяжет и, порывшись, извлечет конец шнура, скрутит его вдвое и привяжет к ремню.

— Пробуй-ка.

Когда чаще стали рваться немецкие снаряды, Гневышев позвал шофера.

— Подсоби-ка, парень, не успеем.

— А что такое? — спросил Протасов.

— Кидать часто стал. Мы ямку выкопаем и туда мины. А вдруг ахнет.

— Ахнет, так всяко ахнет.

— Вот я и говорю, чтобы не шибко.

— Этого не надо, — услышал разговор Трунов. — Не надо ямы подле орудия. Из лесу почаше носи.

Гневышев поглядел на Трунова, соображая, руку к затылку занес, но, не поцарапав его, догадливо крикнул.

— Эт-та верна. Не докумекал, — осудил себя Гневышев и пошагал в перелесок, качая черной пропотелой спиной.

20

Ахнуло в правое дальнее крыло соседней батареи. Клубы чада на минуту заволокли орудие и расчет, а как на рожь свалило чад, там все еще молчало, и потом забегали, засуетились люди, но тут новая, своя, команда по батарее заняла заботами, и никто не взглянул, как санитар Смирнов, тоже немолодой, маленький ростом человек, рысцой побежал туда. Сзади послышалось бычье мычание «катюши», и тусклые дневные ленты огня блеснули над головами, разливав небо. В соседнем распадке заохали гаубицы.

— Разгуливается утречко, — крикнул Гневышев, проходя мимо Трунова.

— Вроде того, — широко и с напускным равнодушием оглядел окрестность Трунов.

Он все еще не мог привыкнуть к роли взводного командира и старшего на батарее, и, чем больше разгорался бой, тем сильнее он понимал, что ему надо что-то делать, но, что делать, он не находил. Расчеты работали, не мешать же им. Он насмешливо подумал о себе, что вся его работа заключается в том, чтобы, как эхо, передавать услышанную по телефону команду. Трунову сейчас потаскать бы ящики, а он, сильный и крепкий, ходит пять шагов туда, пять — обратно, поправляет на носу очки и руки то назад бросит, то вперед. «Я самый бездейственный человек на батарее, — подумал он, глядя на энергичную работу расчетов, — но кому-то, видимо, надо стоять вот так и глядеть вот так важно и холодно». К счастью, НП замолчал, пришла машина с минами, и он сейчас станет распоряжаться разгрузкой.

— Что там, в шестой? — спросил он Смирнова.

— Двух отправили, — прокричал тот.

— А других?

— Других сразу. Трех, — ответил Смирнов и постоял еще, ожидая вопроса.

Трунов распорядился, куда надо складывать ящики, и стал думать о солдатах, кто они, эти пострадавшие. Он мало кого знал из соседней батареи. Знал Мороза, с которым вместе учился в военном училище, но так и не нашел в нем товарища. Мороз учился плохо, но в полку ему повезло, его назначили комбатом. Малограмотный парень, как и прежде, врал в пустячных артзадачах, но оказался ловок и находчив в обращении со старшим начальством. Он выразительно соглашался или яростно и показно отстаивал свое затем, верно, чтобы скоро согласиться, — и у незнавших его создавалось мнение — мозгует парень. Ярость-то эту, горластость-то и заметили прежде всего прочего, и теперь Мороз на НП — что он там может, разве уж взводом управления распоряжается толковый парень.

— Рама! Рама явилась! — услышал Трунов и оглянулся: не тут ли еще «катуша», но на прежнем месте ее уже не было. «Рама» всегда ожидалась, если немцы получали порцию реактивных мин. Блестя на утреннем солнце фюзеляжами, самолет легко и неторопливо планировал на большой высоте. Невидимые глаза его устремлены на землю, он уже различает, где стоят гаубицы, куда направилась непоседа «катуша», где разместились тупорылые тяжелые минометы. В кружении его было что-то ястребиное, вот-вот облюбует жертву, снизится за холмами и нагрянет сюда по-над полями.

— Нагляделся!

— Отваливает!

— Ну, сейчас шепнет кому-то, — следили солдаты за самолетом. Как отмотаясь, они отходили от минометов и валились подле ровиков. Иные шли в рожь и падали в ее бурые волны, как в реку.

— Перекур, — крикнул кто-то шутливо, и крик после огня показался слабым и далеким.

— Это хлеба не надо, как курить захочешь.

— Черт знает! Когда его хоть завались. А тут. Это что такое дееся?

— Вредительство! — крикнул Жуков, зло и насмешливо кривя губы. — Эй, Гневышев, сидор тащи. Поскребем, поищем.

— Рылся, — ответил Гневышев, не пошевелившись.

— Тебе командир приказывает, — напомнил Жуков. Гневышев шатко и устало побрел к щели, выметнул из нее вещмешок и так же вяло приволокся к ребятам. Усевшись на свое место, он положил мешок между ног и, развязав, стал выкладывать свои вещи. Заношенное белье и тряпки разные положил за спину, по сторонам разложил котелок с кружкой, банку с чаем, запасные обмотки, еще банку с пуговицами и нитками, огарок свечи, наконец, узел пэтэровских патронов и, когда мешок опустел, сунул в него голову и оглядел изнутри.

— Не осталось ли чего? — спросил Жуков.

— Тебе бы с добром твоим на барахолку, — захохотал один солдат.

Такой тщательной ревизии мешка Гневышев еще не проделывал и сам стал верить, а вдруг что-нибудь и найдется. Он потряс углы и высыпал содержимое на газету, услужливо подставленную ребятами.

— Одни крошки хлебные. Ничего не добудешь, — сказал Жуков.

— А пахнет.

— Сидор провонял. А табаку тут и на закрутку нет.

— От трубки пахнет, — сказал Гневышев. — Трубку бросил в мешок. Зачем она?

— Хоть трубку дай пососать!

И все по очереди пососали трубку. Потом с газеты артельно выбрали крошки хлеба, остальное ссыпали на бумажку.

— Подпаливай! Ух и покурим! — крикнул солдат из некурящих.

— От не верит! От хохочет!

Лейтенанты тоже говорили о табаке и тотчас, увидев дым, подошли к солдатам. Жуков подмигнул и, словно разговор шел на эту тему, крикнул:

— Вредительство, что ли! — и уставился на Буретина. Упал и Буретин в рожь, стоять остался Трунов. Он снял каску и протер ее лоскутком байки, вытер шею и лицо.

— О каком вредительстве разговор? — спросил он тягуче, ровно, не меняя лица и разглядывая каску. Солдаты молчали, только прошуршало чье-то безголосое шепотливое хихикание.

— Какое вредительство-то, я спрашиваю?

— Да так, спросту бахнул, лейтенант, — смягчил разговор Гневышев, — бахнул по привычке.

— Курить, лейтенант, не найдется? — спросил его Жуков.

Устыжаясь, Трунов закачал головой. И разговорчики нехорошие, и вопрос злой, ведь он некурящий.

— А что это, не безобразие, Трунов, три дня без табаку? — поднял обожженную солнцем медно-палевую голову Буретин.

— Ты пог-годи, пог-годи, лейтенант, — утишал Трунов резкий выкрик и рукой еще побаюкал, чтобы все молчали и слушали. — Ты тут не бросайся такими словами. Тут фронт. Тут не может этого быть, и разговорчики такие прекратить. Ясно?

— Тут ясно, что начпрод бабу нашел. Лежит сейчас с ней в кровати. Далеко от бомбежки и усадительно, — пробасил Буретин и уронил голову в рожь.

— И такой разговор неправильный, — заметил Трунов, — непорядочный разговор, детский.

— А какой такой взрослый ответ у тебя на табачное дело? — дерзко спросил Жуков и покраснел. Покраснел, может, от последнего слова, потому что там, в лагерях, совсем недавно называл лейтенанта на «вы», — какой у тебя правильный ответ?

Тут только взгляд от вещей, от перелеска, от рук своих Трунов перевел на большие, еще ребячьи глаза отделенного.

— А такой правильный ответ, товарищ Жуков: подождать да помолчать, — едва сдерживаясь, ответил Трунов.

— А что мне молчать! Что покрывать беспечность? — зажигался Жуков. Трунов покачал головой и осуждающе поглядел на сержанта.

— Что ты так глядишь на меня? — ерошился Жуков. — Запугать хочешь? Так вот сейчас «юнkersы» прилетят. Они исполнят это лучше тебя. Они нас всех в щели загонят. И тебя тоже. И тебя, слышишь! Дак уж поговорить бы попросту. А то там учительница без конца: это нехорошо, да это нельзя. И тут то же.

Буретин перевернулся на спину и выдохнул в небо:

— Ха-ха-ха!

— Да об чем ты поговоришь, если ты зелень! — кинул Трунов.

— Я — да. А вот Гневышева послушать. Он нам всем в отцы годен. И тебе, и мне, и всем нам. У него-то, поди, за плечами — ой, ой, ой! Гневышев, говори, пока «юнkersы» собираются. У тебя в вещмешке полное хозяйство, даже свечка. Свечка-то зачем?

— А со свечкой светлее, — мягко ответил солдат.

После обстрела, который для батареи кончился благополучно, Гневывшев еще больше утвердился в мысли, что воевать минометами куда безопаснее. А для него это как бы перекур в войне. Ему как-то живо вспомнилась работа в шахте, в Баргузинзолоте. Долбишь, долбишь ее, жаришь, прогреваешь, из сил выбиваешься, дыму наглотаешься так, что не помнишь, как сядешь в цепню и как тебя выволокут наверх, и после дыма-то, после чада как сладок другой дымок, перекур. И вот таким всегда Гневывшев был: хлеб так хлеб, золото так золото, не искал в жизни и побочных кривых дорог, перекуры одни были в его беспокойной жизни. А ведь там же, на золоте, золотом-то и не занимались многие приехавшие с ним. И вспомнилась ему то ли правда, то ли побасенка.

— Вот, может, я вам историю со спичкой расскажу, — предложил он.

— Про табак не говори, про спички можно, — поддержал Жуков.

— Эт-та, приехали мы на золото с дружками. Кто плотником, кто лесорубом устроился, я пошел ворочать камни да землю, ворочал лето, а золото и в глаза не видел, глубоко сидело, язва. А вот один из нас, как приехал, так сразу в сторожа определился. Ему говорим: «Ванька, разве ты за тем тащился тысячи верст?» А он говорит: «Ваше дело — там, мое — тут», — и весь ответ его. Мы, золотишники, так и не добыли себе разжиги, только вовсе пооборвались и попали в тот поселок, в котором Ванька сторожем служил. Глядим — дом он сбыхал огромный, две коровы породистые и ребятишки одеты ладно. Спрашиваем: «Как это тебе удалось разжиться?» — «А я, гит, со спички разжился». — «Как со спички?» — спрашиваем. «А вот глядите как», — и с тем снял с лампы стекло, вынул из коробки спичку и подпалил безголовый конец, прикурил скоренько и ту спичку опять в коробок сунул. «Вот так, гит, и жил, вроде ел и пил, а спичка выручала».

— О, политик! Обхитрил нужду, — сказал Буретин.

— Тут ума и ума надо. Ведь вот как изворачивался, — добавил Жуков. — А не про себя ты это? Вроде бы с виду похож.

— Не-е, — замотал Гневывшев головой, — моя жизнь прямо шла, а иногда подумаю, воюет ли тот Спичкин Ванька, может, и на войне спичку отыскал.

— Это не он, Гневывшев? Не твой Ванька Спичкин на формировке-то к нам во взвод прибыл? — захохотал Буретин. — Помните Савоськина, этакий узкоглазый, еще себя за парикмахера выдавал? Я в лагерях замаялся тогда с ним: катушку нести не может, задыхается, падает, за сердце хватается, сопли распустил до самой нижней губы, а то и заплачет, и так-то по правде заплачет, что жалко станет. Ну, ладно, садись, говорю, к аппарату. И тут дело не идет: клеммы перепутает, всю команду перевернет, такую дику ахиною понесет, вот, думаю, с таким дурачком да на фронт. Ладно, поставил его в огневой расчет, а он... да сами помните.

— Мину в ствол взрывателем опустил, — вставил Жуков. — Ладно, разряженную.

«Да ну его к такой-то матери», — заорали тогда все. А тут ребят-сибиряков подбросили, и мы с комбатом отделались от него, взяли от нас куда-то этого Ваньку Спичкина. И забыли вроде уж его, а тут, на передовой...

— Кухню оседлал, — вставил опять Жуков. — Черпаком орудует.

— И соплей у стервеца не стало. Белые нарукавнички, халатик на нем, и морда такая умная и веселая, румяный да бравый такой. В очереди меня за десять человек заметил: «А! Товахгис лейтенант, товахгис лейтенант. Я вам поболь-се, погуще».

— Хгодной взвод, хгодная батахгея, — дополнил Жуков. — Вишь, родной стала.

— Ха! Ха! Ха! Живуч, стерва, этот Спичкин, — закончил Буретин.

Трунов будто и не слушал, он небо оглядывал, услышал гудение далеких «юнкеров».

— В ше-ли-и! — заорал он, по фронту батареи развеивая голос свой.

«Юнкерсы», разбитые на тройки, плыли на небольшой высоте, и было ясно, что шли они бомбить не дальние тылы, хотя шли и напористо. Ватные цветки разрывов развертывались и вяли вокруг них.

— Пролетят, — сказал Жуков, высовываясь из щели.

— Погоди-ка, — ответил ему Гневышев.

Из первой тройки вывалился передний и, кренясь на крыло, как бы поворотил назад. Передняя часть его словно оступилась на воздушной дороге, и со свистом и воем он стал падать, казалось, прямо на Гневышева, будто его-то он и разглядел, его-то ему и надо. Удары один за другим завстряхивали землю, с брустверов посыпались комья глины, падая на ноги, на голову, на спину. «Эко хлещет, — думал Гневышев, — эко не знает, что все попрятались, выколупни попробуй. Э, вовсе рядом уронил, черт, так всю щель порушить может, берись потом за лопату да поправляй. А землей, а глиной как запахло, да я, кажись, наполовину похоронен. Ну бей, черт с тобой, прямого-то попадания на свете не бывает, все равно это не разведка, и родимая земля запрячет. Однако все там наверху исперекорежило, и минометы, поди, опрокинулись и лежат вверх лафетами». Когда упала такая же тяжелая и пустая тишина, Гневышев высунул голову и встретился взглядом с Труновым, как из могилы вылезшим, сплошь осыпанным серым прахом земли.

— Жив, старина? — голос лейтенанта казался тонким и слабым.

— Живой, — протянул Гневышев и оглядел небо: оно было чисто, голубо и спокойно. Ни близко, ни далеко не было ни своих, ни чужих самолетов, и, казалось, упала на землю случайная минута мира. И на батарее не было видно заметных перемен: минометы — их Гневышев пересчитал — стояли на своих местах, упрямо уставившись в небо стволами, и шинели, и вещмешки, и чайник с водой находились там же, и пэтэры так же покойно лежали на отшибе в своих ровиках. Только воржи желто разметнулись свежие воронки, и хлеб poleg вокруг, прибитый землей и взрывом.

— Пошарило и нас чуть-чуть, — крикнул Буретин и встряхнулся, окружив себя облаком пыли.

Трунов все еще стоял в щели и подолом нижней рубахи протираал очки. Жуков запылен не был, может, он успел вытрястись. Глаза его блестели, он брался за черенок лопаты, показывая на нее, но до лопаты ли сейчас было. Отчаявшись, что его так и не поймут, он спросил:

— Это откуда же такая лопата?

— А бомбой, должно быть, вырыло, — сказал, засмеявшись, Гневышев.

— Не твоя, Протасов? — спросил Трунов.

Шофер оглядел лопату, крепко источенную, немецкую, с толстым, прочно посаженным черенком, и сказал с сожалением:

— Нет, не моя.

— Спокойненько! — хитро улыбнулся Жуков. — Ее волной из шестой батареи занесло. Лежу в щели, а она летит ко мне. Знает, что в ней нуждишка.

— Ты в кою пору, не в бомбежку ли? — не договорил Гневышев и заметил, как Трунов долгим изучающим взглядом посмотрел в смелые и лукавые глаза Жукова, покачал головой и сказал:

— Ладно. Прилетела так прилетела. Очень-то не показывай. А вообще-то зря из-за...

— Из-за пустяка рискуешь, хотели сказать, — продолжил Жуков. — А нет, лопата не пустяк, лопата — наша спасительница.

Санитар Смирнов, припадая на ногу и придерживая санитарную сумку, понесся в пятую батарею, а Трунову захотелось к телефону, захотелось услышать голос комбата.

— Ваня! Это ты? — спросил Трунов, цепко охватив трубку, и облегченно, даже радостно стал докладывать.

— Да все в порядке. Все цело, все живы, а как у вас на НП? Тоже порядок? Ну и хорошо. Старик? Он цел и невредим. В шестой, Ваня, что-то неладно. Видимо, потеря есть. Возьмется, машину подкатили. Очки-то? Очки пока терпят. Словом, все пока ладно и не убыль на батарее, а прибыль. «Юнкеры» новые вороночки нарисовали — дай боже, есть где укрыться. Да, да. Дооборудовали они нам огневую, правильно говоришь. И еще прибыль — лопата. Хорошая, немецкая. Жуков в какую-то батарею сбежал. Пока они, как куры, прятались в щелях, он прогулочку сделал. Вот тебе и мальчишка, вот тебе и необстрелянный. Как ты, Ваня, думаешь, прилетят еще?.. Не раз! Да нет. Нет пока ни табака, ни Трифонова.

Пока не были подвезены мины, расчеты углубляли ровики ПТР, Гневывшев прижимал к плечу металлическую пластину приклада, зная, как сильно отдаст ПТР и как нелегко из него вести огонь. Кончив работу, солдаты один за другим попрятались в самой ближней, еще сырой и прохладной воронке.

— Вот это воюем, — заговорил Жуков. — Бросаем мины, а куда, сами не видим. Гляди, и война кончится, а мы немца живого и не увидим.

— Не все не видели, — сказал Гневывшев.

— Вот и рассказал бы, пока мин нет, — наивно ширя глаза, попросил Жуков. За эти пять огневых Жуков заметно освоился, по привычке, сошло с лица напряжение, как-то обмялся, смягчился его острый приткий взгляд, голос, который вздрагивал и рвался, когда он подавал команду, стал ровнее и певучее. Командуя расчетом, он всеми силами старался казаться старше своих восемнадцати годов, но мальчишески припухшие губы, быстрая смена восторга на досаду и огорчение, особенно светлые, почти белые ресницы и брови делали его шестнадцатилетним подростком. Как-то скоро пришла к нему развязность — спасительница от страха, но бояться он не переставал: он первым улавливал звуки приближающихся самолетов, первым клонил голову, чуя шуршание пролетающих над головой снарядов, а в воронке выбрал сейчас самое горлышко, самое глубокое место.

— Говорят, второй снаряд в воронку не угадывает, — намекнул Гневывшев на усердное желание парня обезопаситься.

— Я еще в школе об этом знал, — сказал Жуков, — вовсе не существует вероятности попадания.

— Вот сиди и не бойся.

— Я и не боюсь, — возмутился Жуков, — откуда ты взял, что я боюсь. Я просто удобнее сел, чтобы слушать тебя. Верно, пока мин нет, давай.

— Это не будет их, так и сидеть целый день? — спросил Гневывшев.

— А ПТР на что? — вмешался в разговор Буретин. — Придут танки, и работа найдется. А пока рассказывай.

— О чем рассказывать? — вздохнул Гневывшев.

— Про разведку, — попросил Жуков.

— На войне про войну? Что-то неладно.

— Расскажи тогда, как женился, — посоветовал Буретин.

— Ага. Вот хороший разговор.

Жуков расширил глаза и озорно спросил:

— А то расскажи, как кулачили тебя. Ведь кулачили, а, кулачили? — заглядывал он в глаза Гневывшева. — Молчишь, сопишь, думку думаешь. Поди, жалко? Старой жизни-то?

— Эко привязался, — отмахнулся Гневышев и заметил за собой, как медленно с лица его сходила слабая улыбка, хоть он и старался ее удерживать. Это не прошло мимо глаза Жукова.

— Угадал же ведь, угадал!

— Да что на нем, написано, что ли? — заступился за солдата Буретин.

— Я по книгам сужу, — продолжал Жуков. — Я кучу их проглотил. И все про кулаков. Как тут не втемяшишь в башку. У меня вот тут сидит кулачина книжный. А в жизни не видел. Ну, как сказочный герой, невидимка. Я даже сон раз видел, как кулачина душить меня принялся, едва вырвался от него. Вот так я его и воображал всегда: сугуловатым, молчаливым, шуроглазым, как ты, Гневышев.

— Мои родные кулачены, — уставился на Жукова Трунов. — По мне это видно? Я ведь тоже молчу, тоже не из говорунов.

— Маленько и по тебе заметно, товарищ лейтенант. Маленько, — захохотал Жуков.

Трунов лежал дальше всех, не в воронке, а на отвале ее, сыром и парящем под солнцем. Он оглядел всех скользящим взглядом и пристукнул кулаком по новенькому планшету:

— Нашли о чем говорить. Так вы договоритесь до точки.

— А! Тут-то и сказать обо всем! — хлопнул себя по круглому колену Буретин. — Тут в самый раз сказать. Мы перед ним, перед немцем-то, все сравнялись.

— И перед смертью, — вставил Гневышев.

— И перед ней тоже, — подхватил Буретин. — А я вот вором был. Ну и судите меня. Меня в училище взяли и выучили на командира, и если сейчас немец сюда придет, я двоих вот этими лапами задушю. А я был вор. Крал хлеб, кожи, раз квартиру оборовал. Не верите — побожусь. Как вор не ворует... — пословица-то, а я не попался, не судим, открутился. Ну что ты со мной поделаешь, Трунов. Потом машинистом стал, и меня в этот самый, в рабочий контроль, а я вором был.

— Я по харе твоей разбойничьей разгадал такое, — нахраписто уставился на Буретина Жуков.

— Разгадал — говоришь, — захохотал Буретин. — Значит, ты тоже хороший «гад». Это от слова «раз-гад-ывать».

— Ну! В самом же деле! Хватит, — поднял голос Трунов. — Это что в самом деле?

— Ты иди-ка, иди, Трунов, батарею обгляди, непорядок найди. Иди, а мы поговорим тут, — сказал Буретин.

— Шут с вами! — покачал головой старший, оставаясь лежать.

— Ну во-о-от, — вздохнул Буретин. — Кто из нас будет рассказывать? Ты или я?

Гневышев, к которому обратился Буретин, все искоса поглядывал на Жукова, все надо было ему спросить того или объяснить что-то ему.

— Молодой, да ранний, — заговорил он. — Когда ты успел меня окулачить? По книжкам, говоришь, опознал? Книжки, они, как навалются на что, — в прах уничтожат. Я ведь тоже маленько читал их, искал себя, сравнивал с собой и не нашел. Ругачки много, зубовного скрежета, а себя не увидел: а глаз у те ватерпас. Кулачен я, признаюсь. Да сказать, тебе не первому признаюсь, а последний раз в военкомате откровенный разговор был. Я по ранению дома был и к военкому в кабинет завалился. «Вот объясни-ка мне, военком: я кулак, я чужак, значит, а вы мне скомандовали: иди воюй. Я не могу навредить там, на войне-то?» А он мне только и сказал: «Ничего. Сгодишься». А угадал военком, сгодился ведь! Четвертый раз сюда, три раза сваливали.

— Ты не расстраивайся, ты давай все по порядку, — покачал ему колено Бу-

ретин. — Ты не бойся ничего. За рассказ твой тебя самое большое в хозроту или в похоронную команду направят, худо ли тебе будет. Спасибо еще скажешь.

— Никуда меня не денут — проверенный кровушкой. Ну вот слушайте, пока время есть. Тут как раз рассказать такое.

22

— Я, как с гражданской пришел, за мельницу уцепился. В пять поставов мельница под конец была. О-е-ей как молола! За сто верст ко мне ехали, и хоть раз бы очередь была — жрет, только мешки развязывай. Прорва, а не мельница. Такое на душе было у меня, что добро делаю людям. Мелите, мужики. Через год крупчатку делать буду. Ешьте крупчатку, теперь наше взяло, народное, конец капиталистам и царям, народ властвует. А газеты... Я их читал, конечно, и хоть мужик, а понимал, что они про меня наговаривают, а все для себя-то думал: власть моя форс держит, власть без форса, без этой самой политики — какая власть! Я и похваливал ее: молодец, Советская власть. И когда налоги понесли повторные и тройные, я и тут свой счет вел: власти во как деньги нужны, ну власть своя, воеванная, пускай возьмет, может, и мне останется. Пускай власть крепит силу — враг он, конечно, был, извечный враг, да жил он где-то за границей — того врага я признавал завсегда, того надо остерегаться. Против такого врага и я враг — бери, власть, деньги. Раз фронтовой дружок пришел ко мне и такой повел разговор:

— Ты изменил Советской власти и в богачи попер.

— А что тут плохого? — говорю. — Давай и ты тоже богатей. Разботагеем все, страна богаче станет, только и всего.

— Я, — говорит, — и мог бы, но не стану изменять идее.

— Твоя идея — жить в бедности, моя — в зажиточности, — говорю. — Испокон веков человек от бедности спешит к достатку. Найди такого дурака, чтобы жил в другую сторону. Ты, говорю, уродина, коли живешь не по-людски.

— Ишь, говорит, как тебя собственность-то насквозь прожгла. Ты, говорит, чужак и неисправим. Тебя лишить голоса надо, а то заразишь людей. Ты, говорит, в председателях сельских ходишь, так и отсель тряхануть надо.

Ну, верно, скоро вывели меня из председателей и голоса, конечно, лишили. Тут я и подумал: дело заходит далеко, и философия моя пошла насмарку, тут надо башкой поломать вдругорядь. И потом уж сколько я этих философий пересоздал, пока, по войну самую, мотало меня по земле, ровно вихрь какой под меня подкапывал. Носит и носит, уронит на землю на часок и опять несет. Как носит? А так, что оставил я свою Нюрку в деревне с двумя детишками и полетел. Чутье у меня было препорядочное. Не страх, не-ет! Я страхом не болел никогда. Чутье такое, что газетки-то не зря говорили. Одну я прочитал особо внимательно, с корки до корки и еще раз пять пропахал, и по газетке той уяснил себе новую философию. И убегай-ка ты, Евлаха, пока цел и силенки есть. Пока вражда эта идет мелкой волной, пока ветры-то верховые не спустились на землю и пока сам не ввязался в этот вихреворот. Так мы и договорились с Нюркой, чтобы мне затеряться временно, будто умер где. И в тридцать-то лет холостым опять стал. Так вот, сел в поезд с узелком маленьким в руках, ничего не надо было, только жизнь шибко хотелось рассмотреть поближе и пошире, хотел затеряться и как бы сызнова жизнь начать. А ни обиды у меня не было, ничего, на себя разве только обижался, что мысли-то мои разошлись со временем. Там уж, когда в душе новое утверждение придет, Нюрку и детишек возьму к себе. Бумаги, справки разные — все у меня гладко было сделано, воспользовался

своим председательством. Смошенничал, а что поделаешь. Узелок-то с бельишком у меня свистнули в первую же ночь. Я на багажную полку залез и спал там два дня. Ну, думаю, чист и непорочен и хвост заворочен. Легко вовсе стал, и билет только до Челябинки взят. А мужик я видный был. Это сейчас я деформацию поймаю фронта и ранений. А был форсист, ловок и мордой недурен. От Челябинки поезд на Свердловск потянул, а я без билета и без денег. Подходит ко мне проводничка, девчонка лет двадцати.

— Билет ваш? — спрашивает.

Я показываю свой потраченный.

— Дак это, значит, без билета едете? Сойдите на следующей станции.

— А ведь я, девушка, на гигантстройку еду. Еду строить Нижегородский автозавод. Ты же знаешь, что обворовали меня. Не тревожь-ка меня, будто и не видела.

— А проверка? Как я с тобой?

— Я сам за себя отвечаю, девушка. А колес не продавлю. Зато строитель какой явится в Нижний.

— А я ведь тоже нижегородская. Слышал Кстово?

— Нет, дорогая, Кстово я не знаю. А за землячку пошла бы. Хороша ты, курносыя! Не замужем еще?

— Поди, и вы не женаты? — захохотала она.

— Был бы женат, с семьей на стройку ехал.

— Бородач такой — и холост!

— Борodu я в минуту смахну. Дай зайду в твою купе.

— Ну ладно, — говорит, — иди, там мыло и зеркало есть. — А с бритвой я не расставался. Она единая у меня и спаслась, потому что отдельно ее за голенищем вез. Очистился я и подушился даже, и как глянула девка на меня, так ее бровки и подскочили. Пондравился, видно, да только я-то тогда думал не о ней. К Кунгуру все места заняли. И тут пошла проверка. Я в тамбуре по железной лестнице на крышу залез и тут уж в обнимку с трубой прокатился.

На Пермском речном вокзале попробовал ночевать, но меня три раза будил милиционер, потом увел в милицейскую дежурку.

— Кто ты такой? Куда едешь? — спросил там начальник.

— Еду строить автозавод, — сказал я уверенно и поглядел, не моргнув, в глаза ему.

— В Нижний, что ли? — спросил начальник.

— А куда же еще?

— Что так потасканный?

— Меня дорогой обокрали.

— Поди, и документы тоже украли? Не так ли?

— Документы сохранились.

— Показывай.

— И покажу, — норовисто отвечаю. — Позвольте разуться, они в сапоге у меня.

— Давай поживей.

Я разулся, неторопливо размотал портянки и из-под стельки достал бумажки.

— Ага! — подобрел начальник. — Сельсовет командирует тебя на стройку. Дак что же тут болтаешься? Что ты зазря время тратишь?

— Не на что ехать. Утром на барахолку съезжу, бушлатик вот этот продам.

— Не надо, — поскреб свой вихор начальник. — В двенадцать ноль-ноль пароход пойдет, как раз до Нижнего. Я тебя на него суну. А то ты много настроишь по вокзалам-то разным.

— О! Вот спасибо за такое дело, — обрадовался я, что дело-то принимает

добрый оборот, и, чтобы еще больше поверили мне, спросил: — А могу я тут у вас прикорннуть? Шибко спать хочется.

— Что с тобой делать, ложись вон в угол подальше. Только спать-то вроде некогда.

На улице уже скрежетал первый трамвай. Приехал я на барахолку до восхода солнца. На безлюдной площади один подметала пыль клубом поднимает. Я лег подле крылечка и уснул. Разбудили меня, когда уже люд кругом копошился.

— Вставай, непутевый! Что, в каталажке захотел посидеть? — пнул меня под зад старикан. Я поднялся, отряхнулся, бушлатик свой на руку бросил и заорал:

— Кому по дешевке! Совсем даром отдаю!

И такая-то уж меня пустота, отверженность прохватила. Люд-то весь тут угол свой имеет. Сейчас отторгуются, домой придут и за чай спокойно примутся, ребятишек стегать или ласкать будут. На жен поворчат: «Что лепешек не напекла?» Потом растянутся на кровати и дым в потолок пускать станут. А что же со мной-то поделалось? Это я, недавнишний хозяин мельницы, кто меня ждет и кто встретит меня? Я не горевал, не мучился душой, я на себя как бы со стороны глядел — вон в толчее человек пробирается, плечиком вперед просовывается, на руке потряхивает заваленный, затасканный бушлатишко, не всю пыль со щеки стер, галифе синие и в больших лепехах масляных. Ишь, глаза-то как по-плутовски посверкивают, торопится, сует чуть не каждому встречному продажу свою, а не поторопится — милиционер заметит особу его разнаряженную. Крутой поворот в судьбе моей, свежесть жизненной перемены меня вдруг в хохот бросили. Хохочу и будто сам не чую, хохочу, как во сне, и какой-то скобяной торгаш меня остановил:

— Ты чего ржешь! Ты чего хошь!

— Да вот купи-ка у меня бушлат, я и хохотать перестану, — бросил я ему на руки продажу.

— А сколь тебе за его?

— Дай пятнадцать, чтобы до Нижнего добраться.

А бушлатик мой хоть и потаскан, а новый был, по воротнику сразу все приметили, и уж три пары рук за него держатся.

— Ну! Кто деньги скорее даст, того и бушлатик, — кричу.

Торгашик за брезент свой, железками заваленный, меня уманил и деньги в руки сунул.

— Бери да поживее мотайся отсель, а то вон тот долговязый за тобой приглядывает.

Полтина у меня только осталась от билета до Нижнего. Чтобы начальника милицейского не видеть больше, я на пароход первым заскочил и тут после суматох всех почувал, что жрать хочу зверски. За нижнюю рубаху я выменял три лепешки и тут же проглотил их, только сытости не почувал. А вижу: два татарина приловчились дрова пилить, за это пароходный кок дает им по миске супу.

Я пробрался тихонько в дровяник, топор и пилу под себя и до вечера додюжил там, в жаре-то машинной, все ждал голоса кока и дождался, выскочил на волю с орудием, а уж тут как тут оба татарина, злыми глазами режут меня насквозь, за пилу хватаются. Я топор чуть назад откатнул для устрашения и спрашиваю кока:

— Они обедали?

— Досыта дал.

— Тогда я хоть поужинаю, а то у меня вторые сутки сухорос в животе.

— Да я тебе так дам пожрать, — говорит он.

— Я, брат, — говорю, — на дармовщину не живал отродясь.

— И то, — говорит, — верно, — и подал один конец пилы татарину, другой

мне. Так я до самого Нижнего на дровах тех спал, верно, не один, с татарами этими. В Нижнем из Канавина вверх по Оке верст двадцать отмахал и — батюшки — что увидел там! Горы глины! Во все-то стороны глина эта и глина. Редкие барачки так вроде в глине и тонут. Глина, да вода, да канавы глубокие. В конторе меня выпытывать не стали, хоть я бумагу им свою сунул на стол.

— Говори, — спрашивают, — кто ты по специальности, а бумагу свою побереги для другой нужды.

— Плотник, — говорю, — скорее всего я. Дом, и стайки, и баню сам ставил.

— Хорошо, — говорят, — иди оформляйся плотником. Нам они во как нужны.

Это ведь как я, ребята, обрадовался, что работа-то вроде ждала меня, работа-то, беда-то моя ожидаемая. Прилипает работа к моим рукам, вот так и прилипает. Я со сладостью работать люблю, неторопливо и вьедливо. С думой, с приложением разума. Я соцгород строил. Бывали ли вы там? А я-то ведь еще раз побывал, как к вам в лагеря приехать. Побывал, поглядел, что сделано мной было и что потом сделали без меня. И что немцы понаделали, бомбя завод-то наш. Я там своего старинного дружка отыскал. Где-то добыл он четок водки, по одной маленькой выпили, а тут сирена и по радио объявляют — бомбежка. Два часа как по расписанию бомбил, и все более завод, а на заре повезли на трамваях, на машинах убитых и искалеченных. Такая меня боль взяла, я целый день протолкался в больнице, все помогал, раненых носил. Под вечер соцгород обошел. Мне-то довелось «коробки» строить, некрасивые, плосккрышие дома. Там потом Бусыгинский квартал появился, Винокуровский и еще другие новые кварталы. Красавцы-кварталы, а мне милы мои «коробки», я делал их, я тут начинал свою рабочую жизнь. Тут я таскал кирпичи, звенел топором, а потом и стены клал этого самого Дворца труда и редакции «Автогигант», так газета наша звалась. Ну вот. Через год меня ударником вывели и грамоту, и часыменные подарили. Зимой раз зашел в новый Дворец-то тот, а на стене портрет, да так здорово на кого-то смахивает. А прочитал и даже отшатнулся — Евлампий Осипович Гневышев. И раньше-то всего я подумал, а вдруг узнают, а вдруг из тысяч-то народу есть заярские, луговские, степановские. Вот, думаю, наработал, вот наусердствовал. Вот до чего довела моя захватистая рука. Не хитрил я, планов каких-нибудь не придумывал, не влезал в доверие, как говаривали о врагах той поры. Не мог быть иным. А, сознаюсь, думать думал: разоблачат да и припишут — в доверие влез, приспособился, притаился. А рядом крепла другая думка: не привезти ли Ньюрку с детишками. Комната у меня имелась, да и квартиру обещали. И все думал, думал о себе, кто же я такой есть нынче, что обо мне со сцены хорошо говорят, и в президиумы сажают, и в газетке похвально пишут? Раз иду по улице в премированном костюме, меня окликает человек.

— Евлампий!

Оглянулся я и увидел Митьку Худяева из деревни нашей, бедняка по положению. У меня сердце так и уронилося, столбняк напал, и слова сказать не могу.

— Не ошибся я? — спрашивает.

— Да нет, — говорю, — угадал. А ты чего здесь?

Он зубы скалит и во всю улицу орет:

— Тебя разыскиваю. Скрытого кулачину ишу. Ну дак заявлять или погодить?

— Твое дело, — говорю.

— А ты сам-то как хошь? Поднялся вон как. Я ведь по газетке тебя по этой вот узнал. Ты или не ты? Ага, думаю, Гневышевых нигде не подплетешь.

Я стою подле него и загорюнился и скрыть свою печаль не могу. А печаль-то эту стыдом можно назвать. Кому же бы не стыдно было из почетных-то строителей, от трудов заветных в ничто упасть. Перед глазами-то тысячи людей, которые знают и чтят меня! А легко ли душу уронить, ведь она выпрямилась-то. подросла-то как.

— Ну, — говорит мой землячок, — крепко влип. Давай мне сотню откупных и валяй на все четыре стороны.

Онемелой рукой я ему сотню из кармана вынул. Он деньги взял, скатал их в пучок и обратно в карман мой сунул.

— Пошутил, — говорит, — над тобой, Евлампий. Ничего мне от тебя не надо. А позволь у тебя ночевать ночи две, пока на работу не устроился и общежития не дали.

Взял я его к себе и на работу хорошую пристроил, а у самого на душе мутно. И вроде смеюсь с ним и разговоры веду, а все думаю — вот человек тот, который следить за мной приставлен, поди, бумаги строчит уже, и как придет время — раз эти бумажки куда надо — и пошло дело. Полмесяца по ночам я рисовал, как дело против меня разворачивается, и чуть не одурел от бессонницы и дум, как из знатных-то строителей разжалован и прячу глаза от стыдобины. Стыд меня великий терзал, страшно мне было принять позор. Не вынес я мук, пришел к своему начальству и заявил:

— Увольте меня.

— Ты что придумал? — выпучило на меня глаза строительное начальство. — Таковую славу поиметь и «увольте»! На что похоже! Где-то тебе все снова надо начинать.

— Надо мне, — говорю, — дайте справку — и все тут.

— Ну что же, — говорят, — дадим тебе справку, Гневышев. Таковую, что залюбуешься. Что с тобой? Мы тебя хотели в профком, мы подумывали тебя в партию.

— Ладно. Мне самому все это жалко. А давайте.

— Самоубивец, — говорят, — светлый путь покидаешь. Гляди, может, не ладно у тебя что, может, с соцпроисхождением что?

Как сказали это, я справки в карман — и на квартиру. В чемодан столкнул все необходимое, а сам скорей на станцию, так скорей, словно за пятками моими следит кто, руку мою хватает, протянутую в кассу за билетом. Думаю, как ногу на ступеньку вагона поднимать стану, меня за плечо притормозят — «погоди-ка, браток». Как я ждал поезда, как минуты эти долги были! Я стоял на перроне и боялся оглянуться и шептал про себя: «Будь ты проклята, мельница. Я, рядовой строитель, зарабатывал за два года столько, что можно три мельницы построить». Раз только поднял глаза, оглянулся и увидел Митьку Худяева. Привалился он плечом к стене и смотрит в ту сторону, откуда я поезда жду. Ну, думаю, влопался, и ослаб так, что чемодана держать не могу. Опустил его, закуриваю, а сам глаз не подниму. А поезд прогрохотал, поскрежетал и остановился передо мной. И слышу из дверей вагонных моей Нюрки крик:

— Евлаша! Евлаша! — И детишки кричат:

— Тятка, тятка!

И еще один бабий голос:

— Митя! Митя! Пособляй!

А Митька зубы скалит, то на меня глядя, то на Нюрку, то на свою бабенку. В каком-то обмороке я поцеловал Нюрку с детишками и едва собрался с вопросом:

— Ты, Нюрка, как сюда? Как тебе довелось разведать?

— А мы от Митрия письмо получили. Приглашает, говорит, тебя Евлаха. Неужели не так? — испугалась моя Нюрка.

А Митька смеется и кричит на весь перрон.

— Так и есть все. Ты, Евлаха, не бойся. Эй, носильщик, давай-ка волокы баулы к трамваю!

— Эх, черт подери, — поднялся со дна воронки Жуков. — Машина с минами фырчит. На самом интересном остановился. Ну хоть убежал или остался, скажи?

— Убежал, — сказал Гневышев. — Ничем не дорожил. Колымы боялся.

— Так и знал. С бабой или как?

— Теперь уж с ей.

Машину разгрузили вмиг, и так как огня не открывали, то все вновь начали было собираться в воронке.

— Постой-ка, постой, — пригляделся Жуков к солдату из соседней батареи. — Это как к нам Аношкин попал? Что он шарится у нас?

Аношкин ходил по батарее, словно ко всему принимался, заглядывал в ровики, порывлся в пустых ящиках, даже в машину Протасова заглянул, и, когда его увидел Жуков, он стоял у его орудия и, размахивая лопатой, тряс кулаком и свирепо орал:

— Вашу мать! Я с ног сбился, куда могла сгинуть, а она в другой батарее. Да я эту лопату из тысячи отличу. Я ее в похоронной команде за табачок выменял. Скажи, кто уволок ее? Ты, что ли, белокрылая падла?

Это касалось Жукова, и он поднялся, обтряс шаровары и подошел к Аношкину.

— Ты где ее взял? — спросил он солдата.

— Подле этого миномета, — ответил Аношкин.

— Вот и положи ее на место,

— Это как «положи»? — заорал Аношкин. — Да у меня на черенке буквы вырезаны! Гляди, — Аношкин Константин Тихонович.

— Ага! А у меня тоже. Гляди-ка: Жуков Владимир Иванович.

— Верно! Да ты когда это сумел? И как хитро: вырезал и гряззой замазал. Ну, ловкач! А скажи, какое клеймо на ней?

— Знаешь, Аношкин, — взялся за лопату Жуков, — у меня тоже приметы есть: черен деревянный и штык железный.

— Ты изгаляться надо мной, сопляк? — взревел Аношкин. — Ты под стол пешком ходил... молокосос, а я... Как не стыдно!

— Покраснел от стыда, — засмеялся Жуков. — А ну давай, кто у кого отберет.

Цепко держась за черенок, солдаты отталкивали друг друга плечами, кружась, пятясь и матерясь. Потом, шутя-шутя, и пинаться принялись.

— А ну, чья возьмет, — подливал жару Буретин. Карабины взметывались и били по спинам, явно мешая солдатам, и сперва Аношкин, за ним и Жуков сбросили их. Тут же подобрал их услужливый Гневышев. Налегке, ловчась подплести и побороть друг друга, как петухи, наострились солдаты, скомкав на груди гимнастерки.

— Ну-ка еще маленько! Ну-ка кто кого поборот! Кто кого переборет, того и лопата. А ну, напоследочек, а то вон Трунов идет, — подбадривал Буретин. Солдаты устали и, обхватив друг друга руками, кружились, брызгали слюной, тяжело всхрапывали. Трунов шел от связиста, и все ждали, что веселью сейчас конец, сейчас он, бледный и начальственный, уставится на них осуждающим взглядом и закричит: «Вы с ума сошли!», «А ну кончайте с этим!» Но Трунов шел как-то слепо и, не дойдя до солдат и ничего не замечая, косо растянул рот:

— Танки-и! По места-ам!

Оттуда, где ржаное поле сходилась с небом, из-за глиняного холма, покинутого немцами оборонительного сооружения, вышел танк. Потянулся он в сторону, как бы вовсе не на огневую позицию минометного дивизиона. Потом уж он развернулся на месте и направился на четвертую батарею.

— К нам в гости прет, — крикнул Жуков, возясь у орудия и поднимая ствол до самой крайней точки. Второпях открыли сосредоточенный огонь всей батареей, и мины начали было рваться вокруг танка, но он одолел опасную полосу, а ближнего огня тяжелые минометы дать не могли. Как-то разом огонь оборвался, люди притихли, скрывшись в ровиках и щелях, и только хлопали пэтээры, да чья-то пушка справа

била по танку и мазала. Бухал и Гневышев своим пэтээр, целясь в пушечную и пулеметную амбразуры танка. В бою ему не доводилось стрелять из этого ружья, но он помнил, как на стрельбище его пуля разворотила железную полосу в палец толщиной. Он понимал, что ничего с танком сделать не сможет, разве поцарапает его или случайно попадет в прыгающие и все убегающие от мушки амбразуры. Но он стрелял и стрелял, встряхиваясь от непривычно сильной отдачи и не чуя боли в плече.

«Экой дурак за пушкой сидит», — ворчал он не на себя, не на свою слабость и беспомощность, а на того артиллериста-наводчика, пушка которого хлопала и мазала. Танк был близко, месиво из земли, колосьев и соломы сваливалось с его потолстевших гусениц. Близко уже слышалось оглушающее харканье лениво ворочающегося ствола, треск пулемета, а Гневышев стрелял, сознавая, что не надо бы уже стрелять, потому что и ружье перегрелось, и требовалось делать что-то другое. И тут он увидел, как спереди и слева танка лопнули гранаты, и чья-то бутылка с горючим пришлась по башне. Легкие синие лоскутья огня отлетали от брони и свивались в дым, но танк все шел, миновал Гневышева и, ткнувшись в крутой бруствер окопа, промял его неторопливо и опрокинул миномет. «Ну-ка, чо ты дальше скажешь», — прошептал Гневышев и нащупал за собой бутылку. Огонь ее лизнул корявую броню и переполз на бак, из которого лилась огненная струя. «А дырку-то эту не я ли проделал?» — подумалось Гневышеву. Танк рыкнул последний раз, грохот и скрежет его оборвался, и из открывшегося люка один за другим вывалились немцы. Отбиваясь от огня, как от ос, они побежали было от огневой, но тут же попадали в рожь, молчаливо и ожесточенно тычась лбами о землю. Гневышев искал взглядом Трунова — ему сейчас же хотелось увидеть лейтенанта, посмотреть в глаза и найти в них и испуг, и удаль, и вздох, и легкость, все то, что он сам испытал после первого своего боя, хотелось крикнуть что-то радостное или хоть круто и весело выругаться. Но лейтенанта он не находил и тревожно спросил Жукова:

— А где командир? Где?

— А верно, где? — спохватился и тот.

«Неужели еще в ровике! — испугался Гневышев. — Что он медлит, что копается?» Он обежал горящий танк, перескочил через распластанный миномет. Опорная плита его сдвинулась и закрыла щель. Напрягшись, Гневышев отволол ее в сторону и увидел торчащие из глины сапоги.

— Лопаты! Живо! — крикнул он и, не мешкая, потянул за кирзаки, они, разношенные, сползли с ног. Подоспевший Жуков помог выволить лейтенанта из земли. Серого и запорошенного, они отнесли его в сторону. Санитар Смирнов хлопотал подле Трунова. Расчеты бойко оттаскивали от огня мины. Но танк взрываться не думал. Он подымил еще немного и притих, и, словно забыв о случившемся, батарея пристрелялась и повела огонь по новой цели. Лейтенант Буретин поднимал и опускал руку, ширил глаза и перекашивал рот, будто хотел перекричать стальной рев орудий:

— Огонь! Огонь!

Трунов лежал, привалясь к ящику головой, непонимающе оглядывал огневую и вяло тер тылом руки шею и лицо. Он сам подтянулся к ящику, потому что лежать пластом было стыдно; он считал себя виноватым в том, что не осмотрелся и так несурзано его зарыло в ровике; что все работали, все здоровы, лишь он лежал, и извинительная улыбка набегала на его лицо. Он попытался подняться, но дрожащие слабые руки сламывались в локтях, и он опускался опять головой на ящик. После огня, как измочаленные, вытирая пот подолами гимнастеров, солдаты падали на траву, сваливались подле Трунова.

— Ну, как, лейтенант? — спросил его Жуков. — Мы же вон как волокли тебя. Как корягу замытую выворотили. Ну, как?

— Шею немного поламывает, — ответил Трунов.

— Это ерунда. Запиши в книжечку, мол, такого-то числа хорошо отделался.

— Да вот потеря: очки куда-то подевались.

— То я и гляжу, каким-то другим ты стал.

И все отметили осунувшиеся без очков лицо и нос лейтенанта.

— Отыскать лейтенанту очки, — распорядился Жуков.

Подошел Буретин и сел на землю, охватив колени руками, и Гневывшев сел рядом, и все были потные, жаркие и счастливые, как охотники, за спиной которых лежал поверженный медведь, а им и дела нет до него. Танк, как помеха, торчал на огневой, обгоревших немцев спрятала рожь, и никто о них не проронил ни слова.

— Вот покурить бы кстати, — не унимался Буретин и потер руки.

— Одну бы затяжечку, — с шутливой жалобностью протянул Гневывшев.

— А вот и очки, — обрадованно сказал подошедший солдат, подавая их лейтенанту на широкой ладони, — в щели нашли.

— Да, да. Когда тащили, они и сползли с меня, — объяснил Трунов.

— Это воевать в очках — чистая беда, — посочувствовал Гневывшев. — Глаза береги и очки береги.

Дрожащей рукой Трунов надел очки, лопнувшие еще в двух местах.

— Дай-ка, — снял их Гневывшев. — Что делать с ними? Ведь рассыпятся. У тебя, санитар, клейкопластырь, поди, есть, — обратился он к Смирнову.

Клейкую ткань Гневывшев положил на ящик, вырезал складешком два кольца и приклеил их с обеих сторон окуляра. Солдаты засмеялись, когда он надел очки на нос лейтенанта.

— А мы и для другого глаза такую красу сделаем, а то не человек, не сова.

И пока Гневывшев возился с очками, Трунов вздрагивал от воспоминаний, как его заваливало в щели и как уж он вовсе похоронил себя. Он улыбнулся продолжительнее, с благодарностью поглядел на Гневывшева и потряс его широкую жилистую руку:

— Отремонтировал. Спасибо.

И устоялся на новый, третий след танка в ржаном поле. Солдаты выправили Трунову щель. Стала она шире и глубже, и можно было в ней сидеть и лежать и даже плясать, как пошутил Жуков. Трунов торопился войти в себя. Он поднялся на ящик и зашевелил плечами и шеей, словно устанавливал их на прежние места, затем поднялся на ноги и, ставя их широко, как учатся ходить, пошагал к связисту.

— Это ты, Ваня? — обрадовался он, услышав в трубке голос комбата. — Как ты там?

— А что со мной поделается; я среди пехоты. Тебя-то здорово?

— Да вот очки.

— То-то же, очки. К бабам в город бегал, а что бы там об очках подумать.

— В кармане у немца нашли, да не подходят.

— Говорят, ты поджег танк-то?

— Может, я, может, кто другой.

— Гляди, и награда будет. Как там наш портной?

— Ты почему, Ваня, так — «портной». Он на батарее лучший солдат.

— А я нет-нет да и вспоминаю, как он шил нам шинели. А ведь не умел.

— Не умел.

— Не умел, а сшил. Взялся. Это отчего, думаешь?

— Такой уж он прилипчивый к делу. Обглядел весь танк, все искал свои попадания.

— Нашел?

— Бак же пробил!

— Знаю. Давай-ка сюда радиста. Работать надо.

Трунов отошел к своему взводу. Шея и спина по-прежнему ныли, но он, показно бодрясь, встряхивал ими и усердно наблюдал, как солдаты затаскивали в кузов порушенные части миномета и громко удивлялись тому, что самая тонкая и хрупкая из них, прицел, осталась невредимой, и что на пять минометов их будет теперь шесть. Затолкали прицел в вещмешок Гневышева, чтобы тот сберег его. Вспомнился Трунову недавний рассказ Гневышева, вспомнилось, как внимательно все слушали его исповедь, а солдат, словно забыл, где он сейчас, улетел далеко и то молодец, то грустнел, голосом менялся и останавливался от волнения. Не выжгли, видать, беды и испытания души его, а взрастили и выправили ее. Здоровое-то от бед становится еще здоровее. Поваливает-работает и тут. Вон как с кряком берет на себя ящики, с кряком опускает их подле миномета и гвоздодером раздирает, сосредоточиваясь и обглядываясь, будто не на войне сейчас, а в тайге лес крякует и таскает в стопы, чтобы просох к осени. Как-то шире и глубже Трунов видел все вокруг от того солдатского счастья, что остался живой. Ему казалось, что не так опасны стали разрывы снарядов, что рвутся они теперь где-то далеко, стали привычными воюющие и пофьюкивающие мины над головой, пролетающие куда-то дальше. И, зная, что не надо бы отрывать солдата от работы, не место бы об этом говорить тут, он сказал Гневышеву:

— О тебе комбат спрашивал. Как, говорит, воюет наш портной.

Гневышев улыбнулся и шинельку, наброшенную на плечи лейтенанта, бегло оглядел, но тут подошел Буретин и спросил Трунова, может ли он теперь распоряжаться огневой.

— Могу, — ответил Трунов коротко и решительно и отошел к первому расчету.

23

А Гневышев готовил мины и думал теперь о шинелях, как только что думал о Гнедке, последнем его, баргузинском, коне. Он слышал команды, следил за своей работой и за огнем батареи, переругивался и перекликался с товарищами, но, с остановками и перерывами, тянул и тянул счастливо подвернувшуюся нить воспоминаний. Вспоминались лагеря и знобкий февраль. В огромной землянке над Гневышевым и батарейцами спали их командиры — Трунов, Буретин и Рубаков. Гневышев спал чутко и прислушивался, как под боками лейтенантов шумели ветки, — это они менялись местами, кого-то клали в середку, чтобы тот часок поспал в тепле. Он знал, что под боком у них шинель Трунова, ноги закутаны маленькой шинелью Рубакова, а большой шинелью Буретина укрыты. Он сам не спал от холода, а думал о командирах, им-то мерзнуть и вовсе не надо бы. Днем он видел: как и все, командиры мерзли на учениях, и ему вздумалось утеплить их шинели. «Я вам их не только на вату посажу, а перешью вам их, из солдатских в командирские переделаю, если позволите», — сказал он раз. «Ты что, портным был?» — спросил его Буретин. «Я завхозом был в пошивочной». — «Ого! Завхозом-то будучи, ловко, поди, научился шить». — «Я приглядливый». — «Валяй, шут с тобой. Теплей будет — и ладно». Два дня тревожился Гневышев, хватит ли у него ловкости на обещанное. За всю жизнь он сшил себе полушубок, неплохо сшил. Сошьет он и шинель. Тут, в солдатах, лишь бы заняться, лишь бы приложить к чему неутомонные руки. «Идите к каптенармусу и шинели ваши на большой номер обменяйте, — попросил он командиров, — и чтобы были они новые и этакого темно-свинцового отлива. А большой

размер потому, что из большого малое сделать легче». Затем он решил, что первому будет шить Трунову: он интеллигент, стало быть, смирен, скомандовать путем не может, этот не взыщет, если не так складно получится. Гневышева и от нарядов освободили — шей, солдат, сошьешь хорошо своим командирам, станешь обшивать пятую батарею, а там и шестую. Не зря же комбат шестой батарее зачастил к Гневышеву и все приглядывался к его рукоделию. Первая шинель, труновская, получилась в талию, как для барышни, а ватные плечи и пышный бюст выдавали Трунова за дородную даму. Борта были широкие и топырились, как крылья, и все же шинель складом своим намекала на офицерскую, лучше сказать, перестала походить на солдатскую. Надев шинель на Трунова, солдат долго оглядывал ее, прицоккивая и подсвистывая, изучал плод своей фантазии, прикидывая, как и что у новых шинелей прибавить или убавить. Консилиум собрал из каптенармуса и старшины, людей немолодых и рассудительных и с тряпками дело имеющих. «Ба! У меня старая комсоставская шинель есть», — вспомнил каптенармус о своих складских тайниках. И вот уж распорота изношенная шинель и рассмотрены все клинышки и детальки на ней. С хваткой сноровистостью набросился Гневышев на работу — и вот уж обновка на плечах комбата. Так смекнул Гневышев, что сутулость того и малорослость скрасил, вышло отлетисто и лихо, и командиры других батарей глядеть приходили, примеряли шинель на себя и на очередь к Гневышеву становились. «Сошьешь мне вне очереди, я поллитру куплю», — подговаривался комбат шестой, курносый лейтенант Мороз. «Поллитру не надо, — отвечал Гневышев, — я от самого шитья радостно пьян». Матерому Буретину шил особо осторожно, потому что на лишек материала не надеялся, даже при остатке от шинели маленького комбата. Шил и все прикидывал шинель на взводного, щурил глаза и покусывал губы, обдергивал, обглаживал и сказал наконец: «Не получится». — «Как не получится?» — громыхнул Буретин. «Тебе нет такого солдатского номера, из какого мог бы командирскую сшить». — «Что же делать?» — загоревал взводный. «Еще одну шинель добудь. Тебе же дают две порции в столовой, дадут и две шинели. Ступай к майору». Разрешил командир полка дать шинель Буретину, и продолжилось гневышевское творение, сладкое творение, минутные радости, полные открытий, мечтаний и опасений, потому опасений, что пожаловал к нему сам майор. Глазом черным глянул искоса на солдата, замершего навтыяжку, и сказал, сунув руку за борт поношенной шинельки: «Сможешь?» — «Смогу!» — гаркнул Гневышев. «Из отреза?» — испытующе впился в солдата майор. «Смогу и из отреза!» — рванул с хрипотой Гневышев, и голова его затуманилась. «Хорошо мне сошьешь, шить будешь замполиту и начштабу. Ясно?» — «Ясно!» — проревел Гневышев в упоении и озорстве и уж верил, что и тут получится, лишь дали бы дня два одному побыть и поразмышлять и повзвешивать. Он выпросил эти дни у майора и еще одно условие поставил перед ним: пусть эти шинели будут последними, потому что на них он потратит все силы и способности и дальше начнется слабость и равнодушие. Не видели батарейцы своего портного две недели. Вернулся он из майорской землянки худой и бледный, руки слегка потрясывались, а глаза блестели и чего-то ждали. А ждали они полкового построения и дождались наконец. Перед строем майор шел первым, за ним замполит и начштаба, все в новых с иголки шинелях, одну ножку стелют, одну линию рук к вискам устремили, и одному Гневышеву ведома тайна, одного его мучает она за полу шинели замполита, никто огрех тот не приметил, ни сам замполит, ни тысяча солдат, никто, кроме острого глаза Гневышева. Один он видит, как слегка заносит полу, как пробегает по ней при шаге досадная волна. Посидеть бы да покумекать еще маленько над этой полрой, но знал Гневышев, что дошел до грани и начался спад его радостного

порыва, испортил бы он шинель, уж и так начал портить, да остановился на грани неприметности. И тут пристал к нему курносый комбат Мороз — сшей и сшей, — а при наступающей слабости шить шинель на мешкастого и нескладного человека, на болванку этакую шить — риск немалый. Главное, иссяк дар, как иссякает энергия в батарееке, все взяли из него те шесть шинелей, а Мороз нудил: «Сшей!» И не сдержался Гневывшев, дай сошью, что уж получится. И сшил. Если выставить с этой шинелью первую, труновскую, то она покажется красавицей. Черт знает, что за ворот получился, хомутом торчит, и собралось на Морозе все как-то сбруисто, даже хлястик на спине торчал седелкой, и в завершение всего бабьим сарафаном вздыбились полы. «Клеш-шинель» назвал ее остряк Жуков, но никто ему не поверил, а сам Мороз гоголем ходил в обновке, ловко козыряя и прищелкивая каблуками. Да, вот он и кончился, праздник, принесший и радость и огорчение. Сколько малых и больших радостей и печалей на пути Гневывшева, а больше радостей. Вовсе недавно, здесь на фронте, добыл он килограмм муки, как добыл, это солдатская тайна. Зажила идея накормить лейтенанта лепешками. Нашел масла и сковородку, и радостно вспомнить, как они ели и обжигались, и Буретина угостили, и комбату Рубакову на НП послали в газетку завернутых лепешек.

Гневывшев отечески поглядел на Трунова, все еще гнувшегося, все еще встряхивающего плечами, будто хотел сбросить неотступающую боль. Гневывшев с ящиком на плече остановился перед лейтенантом и спросил:

— Может, тебе что надорвали, тащили-то?

— Ну что ты, Гневывшев. У меня все в порядке, — ответил Трунов. — А знаешь, на чем я себя прихватил: боя не замечаю, про бой забываю. Будто его и нет.

— Он, и вправду, к вечеру-то глуше стал.

— Нет, нет, как сравню, такой же, а забываюсь.

— Солдатом становишься. Я в четвертый-то раз и слышу его, и не думаю о нем. Я, лейтенант, о другом думаю. О шинелях, тех лагерных, думаю.

— Что же ты о них?

— А хорошо думается, вот и думаю. А ты в щель спустишь, лейтенант,

— Кто же в щелях-то сейчас?

— Да, верно, никого нет в них. Жнем вовсю, жнем, а все от межи отойти не можем. Ни они с того конца, ни мы пожать поля не можем.

— Гляди, завтра-послезавтра рожь-то поспеет.

На самом деле, бой принимал затяжной, ровный характер. Казалось, с обеих сторон как бы чего-то ждали, накапливали, должно быть, силы, готовились к большому. Бог знает, как и что делалось за рожью у них и за плечами у наших? Что известно солдату и взводному у минометов? Укрылись они в первой попавшейся балочке, зарылись, как могли, и ведут огонь по невидимым площадям, по пехоте вражеской, бережливо огонь ведут то одним, то тремя минометами. Залп дадут всей батареей, и смолкнут орудия, спохватившись, и сквозь утомленный мозг услышишь далекие и близкие и тоже нечастые пушечные залпы. А «катюш» стало совсем не видно, и самолеты, наши и чужие, летят на большой высоте, куда-то дальше к ним и дальше к нам. А перед глазами все та же рожь, заметно побуревшая, и белые вызревшие полосы пошли по ней. Завтра, как сойдет роса, надо бы зажинать, и было понятно, что ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю никто жать ее не соберется, она будет прифронтовой неприкосновенной полосой. И было скорбно смотреть на щедрую работу солнца, на догуливавший день, как по заказу подаренный этому сиротеющему полю, страдающему и все-таки живущему прежним миром добра и благодати.

Конец огневой пришел неожиданно, как все неожиданным кажется на войне. Трунов поглядел, много ли в ровике мин, и приказал поднести еще. Он пошел было к Буретину, чтобы выпросить пэтээровских патронов, и остановился, услышав сзади раскатистый взрыв тяжелой мины. Фугаска легла в рожь, и только отдельные осколки просвистели над огневой. Трунов пошел дальше, но следующая мина рванула подле орудия Жукова и закрыла его чадом. Трунов метнулся к расчету и почувствовал мгновение, как тугая сила во всю спину толкнула его вперед, приподняла и уронила. Он еще вскочил и успел подумать еще, что живой и сейчас узнает, что случилось с расчетом. На этом и угасла его память. Зажглась она при чувстве стесненности и не сразу. На огневой было необычно тихо. Он понял, что перевязан, зря перевязан, и сейчас сядет, а то и встанет. Он попытался было подняться, но услышал комарино-тонкоголосый окрик санитары Смирнова:

— Лежать, лейтенант! Тебе нельзя ворочаться!

— Я... ранен, что ли? — спросил Трунов недоуменно.

— В голову, немного, — бросил ему Смирнов с намеренной небрежностью, и Трунов согласился: ранен он и есть и вставать, пожалуй, ни к чему. Но он не так уж плохо чувствует себя, лишь самую малость болит голова. Он и слышит хорошо, только издали будто, и думает и волнуется, даже радуется тому, что вот ранен, а не убит, и это хорошо, счастье, фарт, как говаривал Гневышев. И не больно и не страшно быть раненым. Сейчас он на огневой, а скоро будет там, где нет ни огневых, ни огня, ни разрывов.

— Дайте пить, — попросил он ровно и спокойно, и Смирнов ответил:

— Там уж, там, врач разрешит, дак... да вон и машина пришла.

«А! Потерплю до вечера», — подумал Трунов, соглашаясь, и покосил глаз на сторону. Рядом лежал Жуков, он узнал его по светлым волосам, каких не было ни у кого в батаре.

— Жуков, — позвал он его.

Жуков не ответил. Его рука лежала близко и можно было ее потрогать, но она слишком белая, и нет на Жукове бинтов. «Да он же мертв!» — ужаснулся Трунов и с усилием перевел взгляд на другую сторону. Там лежал Гневышев, он поймал взгляд Трунова и подержал в своих, счастливых, глазах, попытался сказать что-то, но лишь слабо пошевелил губами.

— Что у тебя, Гневышев? — спросил его Трунов.

— Нога, — ответил за него Смирнов, хлопотавший подле, — погоди, Гневышев. Я тебе сейчас сделаю. Вишь, трубку на табак искрошить просит.

Положив на доску трубку, Смирнов раздавил ее каблуком и мелко искрошил финкой.

— Раза на три хватит, — сказал он и зашумел бумагой. — Не табак, а все ж таки. Гляди, полегче будет. Маячит мне, кроши, мол, трубку. Пробуй-ка.

Пофырчала машина и остановилась. Соскочивший с нее солдат дотолковывался с шофером, как лучше подвести ее, мешала воронка. Впутался голос Смирнова.

— Буретина видели? Он же контужен.

— Буретин за поворотом бегаёт, — ответил кто-то издали.

— Не убежит?

— На месте крутится. Мы его сейчас подхватим.

Трунову показалось забавным, что так осторожно понесли его в кузов и головой положили на мягкое сиденье. «В голову, потому и осторожничают», — подумалось Трунову. Но он-то знает, что рана — пустяк, так — царапина, за ухом саднит немного. Трунов с жалостью поглядел на Гневышева, положенного рядом, на его

свеже-кровяную обмотку, туго накрученную выше колена, на шапку бинтов, которая билась в мелкой дрожи. В запекшихся губах торчал холодный окуроч, солдат снял его с губ языком, уволок в рот, и серо-пепельные скулы заворочались, а сам он уставился на Смирнова.

— Еще? — спросил санитар и захлопотал над новой папиросой. Гневывше затянулся раз и другой и замер, закрыв глаза. Открыл он их при остановке и прошептал едва слышно:

— Отвоевались. Эко как нас, лейтенант.

— Тут он где-то бегае, — сказа Смирнов и выскочил за борт машины.

Трунову хотелось подняться и посмотреть, как это «бегае». Буретин, что с ним такое? В его голове не было ни кружения, ни шума, кака-то настораживающая легкость чувствовалась в теле. Он поднялся на локоть и увидел Буретина, крупным шагом вышедшего из рытвины и побежавшего к машине. Трунова удивили его маленькие, дико расширенные глаза, открытый рот и вздрагивающие раздутые ноздри Буретин уже был у машины, но оттолкнулся от нее, прокричав «У-ю-ю-ю», метнулся в сторону. Тогда и колченогий Смирнов побежал за ним, а догнав, обнял его сзади и похлопал, успокаивая, по широкой спине. И тот, обмякший и все еще уююкающий, пошел с ним назад изломанной, разбитой походкой

— Давай, Коля, давай, милай, залезай. У, как тебя оглушило! Вот так, Коля, полежи немного, — и Смирнов поводит над ним руками, как бы заворазивая. Буретин растянулся во весь кузов, размета руки и выдохнув: У-ю-ю-ю! О-х-х!

25

Машина шла избитой проселочной дорогой. Позади еще слышались ухающие разрывы снарядов, но война уходила назад. Скрежетали танки, фырчали грузовики. Без строя и неторопливо шли навстречу солдаты, но была тут уже суеа тихая, и тихими казались встречные поселки и деревни, полные солдат, машин, белых брезентов над ворохами ящиков — все для войны. Для мира одна борона лишь встрети-лась на пути, приваленная к пряслу зубьями наружу, словно ошетижилась и молила: «Меня не трогайте», и было горько видеть ее беззащитность. Долго и тихо ехали в гору по глыбистой от дождей дороге, и Трунову казалось, что гора эта навсегда разделит мир на две части — на войну и тишину. Они поедут под уклон, в царство покоя. Там он вылечится, уедет в край лесов и гор и станет дописывать картину. Она уже сейчас, в дороге, вставала и вставала перед ним, и особенно ясно виделась та часть ее, где юноша склонился над девушкой. В целом ему удалось найти мысль о свободе и любви, но глаза — глаза влюбленных были не те, не найдены, о том он знал и думал раньше и не находил решения. Были приближения, миги, когда он улавливал нечто главное, но оно отступало и терялось. Он туго закрыл глаза, напряг память и вызвал картину всю. Новое озарение напугало его, и он страдальчески сморщился. Он увидел лучащиеся глаза и протянул руку в желании потрогать их, и вдруг блеснули в них алые капли слез. Как удалось ему вообразить эти слезы? Они светились живее самих глаз, живее всего, что было на полотне. Рядом с ними все гасло, все краски — одни капли слез в глазах сверкали огнем, готовые сорваться. И потом, сколько он их ни гасил в сознании, они всплывали с той же скорбной силой и ясностью. «Вот видишь, вот видишь, где и как я нашел это главное, — подумал Трунов. — А нет! Это не то, чего не доставало. Это то, что пришло разрушить сделанное раньше. Слезы размыли все прежнее, ужасные слезы, разрушительные слезы. И не те ли они, которыми я оплакивал жалкие попытки мои сказаь о любви и свободе?..»

— Попрощайся, лейтенант, с последним обстрелом, — сказал Смирнов. — Долго не увидишь.

С горы виднелась обширная долина. Она была серо-розовой от закатного солнца. У смыкания неба с землей вырос одуванчик, изящно-круглый, медленно растущий и медленно тающий, а рядом поднимались другие одуванчики, и издали утробно, запоздавшей угрозой пробурчали взрывы, слегка шевельнув землю.

Все, что теперь встречалось взору, было светло и ало, окрашенное пламенеющим солнцем. Как сутки назад, встречные раненые кричали и махали ему руками, махал и он теперь немой и сосредоточенным солдатам, выкрикивал подбадрывающие слова. Его усаживал Смирнов, но он вновь цеплялся за борт и оглядывал все вокруг сверкающими глазами.

— Церковь-то, церковь-то какая розовая! — показывал он пальцем вперед. Это была обыкновенная сельская церковь, давно примолкшая и обветшавшая. Кресты похилились в разные стороны. Крыша зияла дырами, и листы железа свесились на карниз. Стаи голубей кружили над куполом и над сушилом, которое примыкало к стене. Сосновый парк, окружавший церковь, был иссечен осколками, желтые воронки разрывов виднелись между деревьями. Два «газика» стояли возле невысокой паперти. Остановилась их машина, Смирнов отстегнул борт и позвал шофера:

— Давай, Протасов, сперва Трунова.

— Это что же такое в церкви? И почему меня первого? — возмутился Трунов.

— Это полевой госпиталь, — ответил Смирнов. — И давай без шума, лейтенант. У тебя осколок. Давай поспокойнее.

«Он не знает, как хорошо я себя чувствую. И осколок этот — поугасть», — подумал Трунов, когда, как в кресло, осторожно посадили его на руки санитар и шофер. Все это странно, что его на руках несут в церковь, в ней он не бывал никогда. Хотя какая же это теперь церковь, она ею была двадцать лет назад, а потом стала зернохранилищем, в пазах и щелях и сейчас, поди, чернеют истлевшие квасники зерна. В сумраке слышались стоны и кашляние. Два-три раненых подняли головы и проводили Трунова взглядами, и от них опять ему стало неловко.

— Да отпустите вы меня, черт возьми? — ворохнулся он.

— Ладно уж, ладно. Вот тут тебя и устроим, — сказал Смирнов, и они положили его в темном углу, насобирав под голову соломы.

— И Гневышева сюда, и Буретина, — попросил Трунов.

После дороги и свежего воздуха тут было сумеречно и душно — пахло кровью и потом. Слабо улавливался запах поля, принесенный свежей ячменной соломой, еще сыроватой и прохладной. Перед глазами зияла большая дыра, соединявшая этажи. Сквозь нее виделась половина купола, и там плавал запыленный, почти черный голубь. Темные ангелы с крылышками и с сияниями над головами печально глядели на бормочущих, охающих или забывшихся людей.

Принесли тихого и бледного Гневышева. Он сам неторопливо собрал для себя солому.

— А Буретина не уложишь. Вокруг церкви бродит. Я пойду оформлю вас, — сказал Смирнов.

— Ступай, ступай, — согласился Трунов. — И ты, Протасов, ступай. Вам возвращаться надо. Ты прости, Протасов, что поругивал тебя. Такое дело, брат, нельзя не выругаться. Машину ты неважно знаешь.

— Я, лейтенант, месяц на ней только, — оправдывался Протасов.

— Знаю. С тебя нечего взять. Но парень ты хороший. Ты вон как машину оберегаешь, вон как закапываешь ее. Тихий ты, а солдатское дело знаешь. Где можешь, там ты молодец.

У Протасова покатались слезы. Они пришли так неожиданно, что смутили парня, и он их тут же смахнул, зашвыркал, заулыбался и, на колени став, обнял и Трунова и Гневышева поочередно.

— До свиданья. Я пошел, — выдохнул он и с какой-то отчаянностью махнул рукой.

Гневышев его остановил и сухими воспаленными губами зашелестел, роясь в вещмешке:

— Не бойся, Протасов. Ей скоро конец. Не бойся. Да, на-ка прицел вот, совсем забыл, пригодится.

Шофер отходил, оглядывался и махал рукой, таким его и принял в себя оранжевый луч и вынес за двери, и из луча же явился Смирнов с сестрой.

— Вот они, — показал он на своих раненых, — как бы поскорее, а то уж шибко тяжелые.

— Тут легких нет, — бесцветно и привычно ответила она, — скоро ночь, а половина необработанных.

— Хотя этого сперва, с головой.

— Хорошо, хорошо, сержант. Буду знать. Хорошо, — словно отговаривалась сестра, она остановилась перед капитаном, лежащим без памяти.

— Видите, какие есть.

Смирнов не отставал от сестры, доказывая и разъясняя, размахивал руками, а вернувшись, виновато поглядел на своих батарейцев.

— Ну, мы поехали. Надо. До свиданья, — пожал он руки товарищам и бойко зашагал к двери.

Ноги Трунова касались ног капитана-пехотинца, лежащего в другом ряду. Носки крепко избитых сапог капитана беспомощно развернулись на стороны, из груди с хрипом вырывался воздух. Иногда он переставал дышать и, казалось, был уже мертв, но смалу, исподволь начинал дышать вновь, и скоро грудь раздуливалась так, что билось и вздрагивало все тело и зябко посверкивали ордена и медали.

«Да, вот он как тяжело ранен, едва ли дождется операции, — подумал Трунов, — и Гневышев ранен тяжело, даже говорить не может, а я могу говорить и думать, и потерпеть могу до утра. Затылок тяжел, так это не так уж страшно. Я здоровее себя чувствую, чем там, на батарее. Вот и дума моя может улетать далеко. Вон куда полетела, на Урал, к Сане, неведомой «заочнице», прекрасной женщине с пышными русыми волосами. А в самом деле, если после госпиталя отпуск дадут, не махнуть ли на Урал, в городок Реж, на ту улочку Озерную, в домик деревянный. Все ли таким будет, как рассказано в ее письмах? А будет вот как все. Приедет он в Реж, и на станции его встретит Саня, которая давно любит и ждет его. Вот уж увидела она, поражена его молодостью и статностью, и смывается, смывается с ее лица наигранность, несерьез тот, приобретаемый от переписки с «заочником». Губы ее еще поджаты и ироничны, она бодренько потряхивает руку и кокетничает, но взгляд ее что-то поймал, и что-то уж пришлось по сердцу. «Так вот он какой — мой заочник!» — скажет она, и голос ее подсечется. Они пойдут по малой улочке, и там уж где-то спохватится она: «Какая я невнимательная, дайте же, дайте ваш чемодан, вы ж ранены!» Они улыбнутся друг другу и понесут чемодан вместе, и рука ее теплая коснется его руки. Где-то там у горы (ведь это Урал), где-то у скалы и леса стоит хатка бревенчатая, а из ворот навстречу им выбегает мальчик, так похожий на мать, и она говорит: «Я папу тебе привела, нравится тебе папа?» Мальчишка пожимает плечиками и охватывает их сухонькими руками, ему холодно, он из постели только. Он не помнит папы, не знает, зачем он нужен, но ему так хорошо видеть молодого дяденьку в шинели. У дяденьки нет ружья, нет медалей, да что из того? Он молодой, дадут ему и ружье, и медали. Мальчишка смело карабкается на колени и ручонкой дотрагивается до лица лейтенанта, погладил

его, до пилотки дотянулся, и тогда он, Трунов, говорит: «Подарить тебе пилотку со звездой?» Он стягивает с головы тяжелую, просоленную потом пилотку и надевает ее на мальчишку. Как приятно матери, как растрогана она, и поспешно нос мальчишке вытирает, помочи на плечико натягивает, и лицо ее, плечи, глаза такие желанные и милые, и не искал ли он их всю жизнь? Не искал ли лицо это, живое и меняющееся...

«Пожалуй, я начинаю бредить», — очнулся от сладких раздумий Трунов. Он дотронулся до шеи, сунул руку под мышку узнать, нет ли жару, но не узнал, догадываясь, что жаркому жара не почувствовать. Он дотронулся до лба Гневышева, сравнивая со своим, но и так ничего не узнал, лишь разбудил дремавшего товарища.

В церкви уж было темно. Лишь под куполом вокруг голубя не замер красный свет. Санитары с фонарем в руках остановились рядом.

— Не дышит, кажется, — сказал один, а другой добавил:

— Он уже.

— Я жив! Что вы! Я живой! — вскричал Трунов, почувствовав, как трудно было ему крикнуть.

— Не о вас, товарищ, мы о капитане. Не дождался, — сказала подошедшая сестра и велела снять ордена, забрать все, что есть в карманах умершего, и унести самого.

Трунов долго глядел на пустое место, уверяя себя, что так вот с ним случиться не может, он все вынесет, только бы жару не было. «Нет, нет. Со мной не будет этого», — прошептал Трунов. Тихо лег на спину и тотчас вернулся на Урал, в бревенчатый домик.

26

...«Милый, милый, милый?» — слышит он голос Сани, добрый ласковый голос, так много в нем задушевности и теплоты. «Вы любили своего мужа?» — спрашивает он ревниво. «Он хороший был человек, но не будем об этом. Я тебя давно люблю. С тех самых пор, как в эшелоне увидела». — «Это в каком эшелоне?» — «Да в том, в каком ты ехал на фронт». — «Я тут ехал? Да, правда, я проезжал тут, но как вы видели, как заметили? Ах да, могли и видеть, конечно. А вас я помню с письма, с того письма, в котором фото было. Я тогда же все сразу понял, что выйдет вот так. Как хорошо все получилось с нами».

...Время, время, как бежит оно. Он, Трунов, уж месяц живет у Сани, он муж ей и отец мальчику. Он и огород вскопает, и сена накосит для коровенки, прясло загородит и ворота поправит, а все, что родится, соберет и в чулан, в погреб, в подполье запрячет. Да вот уж он и копает землю, мягкую, черную, и лопата о камешки почиркивает, потому что Урал. Саня несет ему холодной воды из родника — вот же он рядом. «Пей, Володя, пей, прохолонись». Он пьет, и новая уж дума в голове, не прогнать теперь ее, и он говорит Сане: «Мне непременно надо съездить, надо привезти сюда картину. Я о ней тебе рассказывал. Она о мире, о любви и свободе. Мне же непременно надо ее закончить, а теперь-то и время. Я и по хозяйству все сделаю, и картину завершу, и ты будешь любовью в ней. Ты не пугайся красных слез, слезы всякие бывают, ты не пугайся, как увидишь ее».

И вот уж собирает его Саня в дальнюю дорогу, напекла шанег, сахарку добыла где-то и чаю щепотку настоящего. Машет она ему с перрона, и он не спускает с нее глаз. Какая женщина! Это бы не потерять ее, это бы спасти красивую, праздничную, высокую жизнь. Ему уже не надо стука колес, не надо тесного, сутолочного купе. Он в светлой мастерской из красного уральского камня. Яркий свет дня залил помещение и осветил полотно, огромное, во всю стену, а стена вон какая, но и кисть длинна, и полнится картина яркими, все красными, все от солнца цветами, и лицо

Санино красное, и плачет она алыми слезами. Как слезы эти прекрасны, как заполнили смыслом всю картину!

«Саня! — зовет он подругу свою. — Саня! Гляди, какая ты получилась у меня!»

«Нюра! Нюра! Нюра!» — слышит он издалека и слабо и неохотно догадывается, что это бредит Гневышев. Ему не надо Нюры, не надо Гневышеву — Саня нужна ему, светло-алая, огненная Саня. «Саня!» — крикнул Трунов и испугался оттого, что темнеть стала картина, что едва просматривались, а потом и вовсе погасли на ней лица. «Ах, ночь, ночь наступила. Ну что же! Теперь до утра. До утра-а-а? Так долго ждать? А не затем ли Гневышев Нюру позвал, чтобы свечу заветную принесла. И верно, огарочек тонкий несет Нюра, загораживает рукой, чтобы не погас: вот и пригодилась свечка-то, Гневышев. Он для меня возил ее с собой. Он знал наперед минуту мою трудную, когда осталось так мало работы, всего-то два-три мазка, двести поправочки. Он такой, Гневышев, он всем помогал, да не он ли, не тот ли он человек, который мир в себе нес, и свободу, и любовь, да ведь он, он на картине-то! Свет так его и выхватил с полотна. Ну все! Гаси, Нюра, свечу. Саня-я-я! Погляди на мою картину последний раз...»

Рука Трунова на минуту поднялась с полу, и пальцы свелись в щепоть, будто все еще держали кисть.

А грудь качалась, гуляла, возносимая порывистыми и судорожными толчками изнутри. Он пил, захлебывался и пил воздух, а его с каждым глотком все более не хватало.

27

Гневышев очнулся от короткого сна и тотчас вспомнил, что звал Нюру, свою жену, и улыбнулся. Ему было приятно, что назвал ее так, пусть во сне, пусть в бреду, если он назвал так ее, стало быть, в какую-то трудную минуту он называл ее не Нюрка — Нюра. Он упрямо искал в памяти день, и стало проясняться: вспомнились редкие леса, зима лютая, холмы и холмы бесконечные тянулись перед глазами — да ведь это Север, это Кыренга, вон где он назвал ее так, да нет, и не тут, а далеко и от этой дали, на Витиме так назвал он ее. И от того далекого Витима, от края земли на другой край поползла нить воспоминаний и уткнулась в Рамодановский вокзал в Нижнем Новгороде. Как ни просил его земляк остаться, ринулся он с Нюркой и детишками через всю землю, через Урал и Сибирь и там купил Гнедка и немудреную тележонку. На черном рынке добыл хлеба и круп, подковал коня и выехал в места, о которых слышал смутно. Конишка попался нескорый, но тяглый, и вот уж два ста верст позади. Вот и Витим пересечен, вот и район Богдаринский и знаменитое Баргузинзолото. От того Богдарина еще двести верст по горам и лесам лиственничным, подальше от шума и суеты с хорошими справками, с грамотами и рекомендацией. В такую-то даль от мира большого схоронился Евлампий, и на тишину, которая держалась здесь стойко, на озера и речки, на светлоигольчатые лиственницы он рад бы молиться, да не мог, всего бога растерял, не было уж опоры в эту сторону, в другую сторону опоры поставлены — в работу радостную, неустойчивую работу. Природа наделила его силой лошадиной, умом трезвым, только спокойствие его убавилось изрядно. Часто стал жизнь свою проглядывать и досадно морщился оттого, что самые сердечные подъемы непременно кончались самыми горькими итогами. Хорошо, что заботы новые вводили от неприятных размышлений. Надо было на землянку лесу навалить и свозить его к облюбованному месту, надо в озерах карасей наловить и хоть как-нибудь пробиться первое время. В жилье некорыстное

надо влезть до октябрьских северных морозов. И к бригаде приискательской надо попривыкнуть, приглядеться, такие ли они варвары, какими их рисуют издали.

— Ты, Нюра, не куксись. Поди, проклинаешь меня? Не надо. Всяко в жизни бывает, — говорил он в самую глухую пору ночи жене, обнимая ее. — А мы и тут заживем. Увидишь — ловчее всех тут заживем. Я уж затейку тут начинаю затевать.

— Хватит бы с затеями-то. Живи тихо. Всей душой молчи, — шептала ему хозяйка.

— Не могу, Нюра, вижу, не так. Как тут смолчишь.

А затейка-то — станок для валка, для разгрузки шурфа. Как ни новый шурф — строй станок, малая ли работа, сколько времени тратится на поделку его. А давайте-ка, мужики, переносный станок сделаем, переноси его от шурфа к шурфу и разгрузай шахту. Внизу накатины крепкие, в них стойки, а к стойкам бастричины, а на них валок. «Дак ты эту технику до зимы проделаешь», — возражали дружки. «Я ее после работы сделаю», — отвечал Евламбий. И скоро забыли приискатели к каждому шурфу валки примащивать. Запрягут Евлампиева коня и станок перевезут.

— Варит у тебя башка, Гневышев, — сказал ему начальник прииска. — Я срию станок, и по всему прииску пустим его. А ты с этих пор рационализатором будешь у нас. Ну, ставлю тебя бригадиром. С сего дня ты руководишь тут. Ясно?

С этим бригадирством Гневышев чуть на тот свет не ушел. Все самому надо обсмотреть и взвесить и в шурф самому надо спуститься и узнать, верно ли, что камня коснулась. Да вот она, подошва пологая, разостлалась, теперь на сторону можно податься. Указал он, куда на сторону надо лезть, крепежник понадобился, и он крикнул наверх:

— Спускайте вязанку!

А сам в нишу малую стал, чуял, что ли, Гневышев, что наверху парень растяпистый стоял. И развяжись тут вязанка, просвистел крепежник мимо, не задел, а волной выхватил Гневышева и бросил на себя. Синяками отделался, и как стало дивно золота попадаться, сотня, а то и полторы сотни граммов намывалось, тогда и страх забылся, и шутки полетели:

— Это тебя, Гневышев, черт от золота отпугнуть хотел.

После первой же зимы Евламбий в дом просторный перебрался. Лиственничный большеоконный дом с узорчатым карнизом, с балясинами по крыльцу и веранде, а на задах амбар, баню и скотник добрый срубил для Гнедка и коровенки. А как дом и хозяйство достались, знает он да Нюрка. Казалось, что и не спали они, и Нюрка вроде горбатенькой стала от досок и плах, от вершинок лиственничных, как чугун, тяжелых, а Евламбий подсох и поджарым стал. Это ведь даль-то, даль-то какая от мира большого. Тут на двести верст кругом только старательские бригады, три малых поселеньца да медведи, маралы да сохатые с козулями бродят. Рыбы, сига, из Витима хоть мешками добывай и соли и копти, а девать ее больше некуда. Из приискателей никто и словом не обмолвится, кто ты есть, бригадир. Каждый сюда со своей сложной судьбой притащился. Лишь спирт, разведенный и пахнувший керосином, открывал рты, и то для артельной песни. А любили больше петь «Бродягу с Сахалина». Хлестнут молча по стакану, зажуют куском сохатины, хлестнут по другому, упрутся локтями в стол и, глядя не в глаза друг другу, а в темноту зимних теплых углов, завоюют на ночь. К другой песне потянутся, поваляют ее, как горячую картошку, сглотают неразжеванной и опять к бродяге, опять к звериным узким тропам, а за окошком бушует непогода в пятьдесят градусов мороза.

Наконец пришла весна с дымчато-светлым налетом зелени на лиственниках.

— Что-то ты все побрякиваешь, Евлаха, — говорили ему товарищи и сами же отвечали: — Премию ждет наш бригадир. Считай, бригада выйдет самой добычливой за весну.

— Хорошо золото идет. Это верно, — соглашался Гневышев, — должны и премию дать.

Премия не задержалась. Пять бостоновых костюмов и три пары юфтевых сапог болотных, как раз на всю бригаду хватило. Себе Евлампий взял юфтевые. Опять, как на нижегородском автозаводе, хвалили его с трибуны, а станок его, художником срисованный, висел в райклубе и носил имя изобретателя. И было сладко, было гордо-волнительно на душе, так и поднимало в какое-то парение, и так страшно становилось, что вдруг кто подкрадется и унесет радость его новую. Увидит кто-нибудь из деревенских станок его и пойдет с лихой вестью куда надо. «А! вот он какой, этот Гневышев, вишь в бригадиры, в рационализаторы пробрался, чтобы вредить и палки вставлять в колеса». Гнал эту коварную думу трехдневной районной гулянкой на слете ударников-старателей. Бил себя в грудь Евлампий, когда сидел за одним столом с начальником и уверял горячо:

— У меня планы новые в башке гудят. Штреки — ничего. Штреки такие пойдут. Рассечки, рассечки длиннее надо делать, потому что золото...

Ему не позволял много обещать начальник прииска:

— Хватит, Гневышев. Сейчас о другом у нас речь тут: гуляй, отдыхай, старатель.

И Гневышев пил шампанское, пил спирт бочковый, «жененый», пил водку из-под пробки и, выйдя на улицу, выбивал дробь и чечетку, поднимал красное лицо к небу и орал:

*Оставил мать свою старушку.
Детей, красавицу жену...*

Гневышев зашевелился и зародовался в душе, что вспомнил те давние и высокие минуты, настрой тот, когда он будто на крыльях поднялся, гордый умом своим и золотыми руками, счастливый причастием к чему-то огромному, что он и назвать не мог.

Это после, особенно тут, на войне, он понял глубже и дальше, что это такое «огромное», и с высоты зрелости нынешней поглядел на себя, на того и на этого: «вот он, мужик, — пахал, воевал, опять пахал, рвался своим путем к зажиточности, познал мертвое время, но вывели его голова трезвая и руки надежные на добрую дорогу. И зарубцевались раны перед новыми ранами, и вот он нынче, слабый и немощный, миру тому, жизни той говорит спасибо. «Спасибо, — кто-то говорит и ему, — за веру в себя, за жадность к жизни, за то, что сберег мир сладкий и неотступный, который зовется — Родина». Одного хотел бы теперь солдат: пожить маленько да увидеть, как ребята выгоняют вражину из земли, да как погуляют после тяжелой работы, да как засучив рукава примутся ровнять развалины, обстраиваться и добывать себе сытый кусок хлеба. Пускай бы он одыбал от последней раны, пришел бы домой, навалился бы на прясло и увидел бы, как распахнулась дверь и на крыльце появилась Она. Он бы радостно потряс костылями над головой и позвал ее.

— Нюрка! Вот я опять дома.

28

Нет, нет, не станет дальше думать Гневышев, да и сердце шибко колотится, и боль все теснее связывает тело. Жар туманит рассудок — не от этих ли дум жар?

Чтобы убедиться, так ли велик его жар, он дотянулся до Трунова, отыскал руку его и тотчас отбросил — она была холодна. Гневышев едва сел, опершись на руки, и в рассветной мгле увидел длинное тело лейтенанта. «Как смерть-то берет, кажись, и не

ждешь. Радовался ведь, что ранен легко, а вот уже смерть. — Гневышев горько улыбнулся, вспомнив ложку, оставленную на огневой вместе с оторванной ногой... — Да когда же, когда эта операция», — простонал он и огляделся. Были уже видны белые халаты сестер. Санитары несли на носилках то ли живого, то ли умершего, но все это пока жило и двигалось в дальнем ряду. Его ряд у стены все еще не распечатали. «Неужели я не доживу и, как лейтенант, умру? Надо позвать, надо спросить, и пусть уберут его». Он набрал в грудь воздуха и вскрикнул, но крика не получилось, а получилось глухое хрипение. Не поверил Гневышев и крикнул еще, и опять едва прошуршало в горле. «Это я умираю, с голоса умираю», — подумал он и почувствовал, как стали подкашиваться и дрожать руки, на которые он опирался. Слышалась совсем не та, не вечерняя боль в ноге, не давящая, не душащая, а смягченная, привычно дремлющая. Ему хотелось доказать себе, что он далек от смерти, и он повернулся на бок и достал из вещмешка бумажку, в которой оставалось немного крошева от трубки, но сделать сигаретку уже не мог. Он зашуршал голосом во всю силу, желая обратить внимание соседа.

— Товарищ! Товарищ! — старался он крикнуть, и не получалось, казалось ему, более оттого, что само слово было шелестящее, не звонкое, и он нашел другое.

— Дружба! Дружба!

Это слово давалось труднее, но слышалось в нем некое бубуканье, и Гневышева услышали. Человек рядом зашевелился и стал брать слово, но и ему, басовитому, оно не давалось.

— Бра... бра... бра-то-ок. Че-го-о те?

— Заверни, — попросил Гневышев.

Он ждал, слушая, как шелестела бумага в руках соседа, как покивал слабо тот, сунул в рот ему сигарку и поджег. Гневышев затянулся и задержал в нутре дым, нарочно задержал — что уж будет, и не закашлялся, не поперхнулся, только изо рта и носа повалил дым и голова слегка помутилась. Он трижды затянулся, оболочка себя дымом, опустил сперва на локти, потом на спину и облегченно вздохнул, подумав: «Должно быть, жить буду».

Задремал ли Гневышев или забылся от курева, не заметил, как подошел к нему человек и потрогал за руку. Гневышев раскрыл глаза и улыбнулся, узнав Буретина.

— Здорово, лейтенант, — прохрипел Гневышев и заметил, что Буретин глядел не на него. Он глядел на Трунова, и глаза на потемневшем лице его округлились в испуге. Он долго и молча глядел, потом тихо сказал свое «У-ю-ю!», и по лицу его побежали слезы. Побежали, упали, и лицо его онемело вновь, и таким он стал на колени, сложив на грудь руки товарища. Вздрагивающей неверной рукой он расстегнул нагрудный карман Трунова и вынул синюю книжку. Из нее выпали фотография и три письма-треугольника. Как впервые видел, Буретин долго глядел на фотографию, переводил взгляд на белое лицо Трунова и глядел долго и немо, словно что решал, что додумывал и не мог додумать до конца. «У-ю-ю!» — тоскливо сказал он, замотал головой, сунул книжку, фотографию и письма в свой карман и ушел. Вернулся он через час. Сапоги и брюки его были в глине, лицо в поту. Он тяжело дышал и оглядывался. Как дитя малое осторожно поднял на руки Трунова и тихо понес его между рядами раненых к широкой двери и там скрылся в лучах восходящего солнца.

29

Утром распечатали ряд Гневышева. Когда санитары поднесли носилки под него, стоящий тут же Буретин отстранил их. Он закинул на плечо вещмешок Гневышева, осторожно подтолкал руки под солдата и, подняв, отнес его в операционную. Там он подманил к себе врача и, показав на Гневышева, положил свои черные руки

на грудь, что означало: «Пожалуйста, сделайте как лучше, это мой однополчанин. Пожалуйста».

— Ладно, ладно, не мешайте, лейтенант, — торопливо проговорил врач, и Буретин вышел. Как маятник, он ходил и час, и два подле двери, останавливался перед ней, словно мог слышать, что делается за ней. Когда вынесли полуживого, не отошедшего еще от наркоза Гневышева, Буретин пошел за носилками и красными воспаленными глазами глядел на бледное лицо солдата, на его открытые и непонимающие глаза, на забинтованный обрубок ноги, ставший еще короче. Машина с ранеными выехала на дорогу и, окружив себя пылью, скрылась за пригорком. Буретин пошел было за ней бойко и решительно. Потом его повело в сторону, но он все еще шагал с прежней энергией и глядя вдаль. Голова его больная все путала и мешала, не уясняла ничего, кроме лица, которое только что видел он и которое исчезло вместе с машиной — ушло последнее, что соединяло его с батареей, и он теперь вовсе один. На сердце было пусто, и хотелось плакать. На его большое тело давила тяжесть, и ноги подкашивались. Он оступился в борозду и упал ничком, выбросив руки вперед. Он спал, встряхиваясь от жадного ненасытного всхрапывания.





ГАВРИИЛ
КУНГУРОВ

Артамошка ЛУЗИН

Первая часть

Повесть



ГОРОДОК ИРКУТСКИЙ

Над Ангарой плыл туман. Солнце изредка прорывалось через седую пелену, и тогда оно казалось мутным, оранжево-красным пятном. Было тихое утро. Но вот подул ветер, и туман стал медленно подниматься; белые клочья таяли и терялись в сером небе. Ветер промчался над Ангарой, и на гладкой поверхности ее поднялись гребни буйных волн. Гневно билась могучая река, билась и тяжело дышала, нанизывая на берега желтые комья пены.

В полдень ветер стих, очистилось небо, и солнце облило золотым светом и реку, и горы, и белые дали. Глянцевая, бирюзово-синяя вода сверкала прозрачными струями, живыми, переливчатыми. Голубое небо потонуло в Ангаре, прибрежные горы отражались на гладкой поверхности реки резными черными узорами.

На правом берегу раскинулся городок Иркутский, окаймленный толстой деревянной стеной. Крепкая стена, рубленая славными умельцами топорных дел, состояла из бревенчатых срубов, плотно прилегающих один к другому.

Крепость, обнесенная стеной, называлась Иркутским рубленным городком. Наверху бревенчатой стены виднелось несколько возвышений — «обламов», крытых тесом. В обламах зияли черные дыры — бойницы: большие — для стрельбы из медных пушек, малые — из мушкетов и пищалей*. Бойницы верхние предназначались для настенных стрелков — верхний бой, в середине стены — серединный бой и внизу — подошвенный бой. Казаки подошвенного боя стреляли лежа.

Вдоль наружной стороны стены городка тянулся глубокий ров, а за ним — неприступные заграждения: рогатины, причудливые коряжины, непроходимые колючки и острые как ножи колышки. Над стеной Иркутска возвышалось шесть бревенчатых башен. Самая большая — восьмиугольная, из толстых лиственничных бревен; остальные поменьше — четырехугольные. Башни имели тесовые шатры для караулов. Острые главы башенных шатров взвивались в поднебесье, только сизые голуби да острокрылые ласточки пролетали над ними. Большая башня и две малые назывались проезжими: в них были устроены ворота для въезда и выезда из городка, остальные — глухими. Первые ворота, самые широкие, большой башни, — Заморские: через них шла дорога в далекий, неведомый Китай. Вторые — Мельничные: через них ездили на мельницы, стоявшие на реке Ушаковке. Третьи — Монастырские: через них горожане ходили и ездили в пригородный монастырь.

Городок стоял на болоте и утопал в грязи. Горожанки, подобрав хвосты длинных с оборками юбок, шлепали по лужам, прыгая от пенька к пеньку, от бугорка к бугорку, чтобы добраться до городской площади. Даже возле дома строгого воеводы — грозного городского управителя — стояла огромная лужа, где по самые ступицы вязли колеса телег, а кони, утопая по брюхо, едва выкарабкивались из топкого болота.

***Мушкет** — старинное тяжелое ружье. **Пищаль** — старинное ружье, заряжавшееся со ствола.

Когда поднималось утреннее солнце и когда пряталось оно вечером за гору, город наполнялся пронзительным кваканьем лягушек. Их было множество: они прыгали под ногами прохожих, шлепались в лужи, разбрасывая липкие брызги. Нередко зазевавшаяся хозяйка приносила с базара вместе с калачами и говядиной запрыгнувшего в кошелку лягушонка. Никто не обращал внимания на этих крикливых и надоедливых соседей. Лишь досужие старушки, всюду видя приметы и предзнаменования, говорили: «Ежели лягушки жирные, ленивые, квакают неторопливо, протяжно — к тишине, к покою. Ежели кричат до зари громкоголоса да наперебой — к пожару...»

Мучили горожан более назойливые городские обитатели — комары; жгучие, прилипчивые, злые. Старики помнили время, когда тучи комаров и мошек застилали небо так, что терялось солнце. Тогда горожане выходили на площади и улицы, жгли костры, выкуривая из городка гнуса едким дымом.

За Иркутском стеной стоял густой лес; место это жители прозвали Потеряхиной: там часто терялись коровы горожан. Деревянные домики городка, разбросанные в беспорядке, напоминали черные кочки на большом болоте. Улиц в городке не было, строились горожане кто как хотел и кому где нравилось. Имел Иркутск Торговую площадь. По ней растянулись кривыми рядами купеческие лавки: мясные, хлебные, квасные, лавки товара красного. По темным закоулкам лепились, тесня друг друга, обжорки и кабаки.

Внутри острожной крепости находился государев двор — дом воеводы; в нем две большие горницы — одна под крепостной башней, вторая в виде пристроя. В горницы падал мягкий свет через окна со слюдяными оконницами, обитыми белым железом. Горницы были богато обставлены: крашенные лазурью лавки, на полу ковры китайской работы, накрытый узорчатой скатертью стол. В правом углу — икона Спаса; от горящей лампы живые отблески падали на серебряный оклад иконы. В теплом углу, возле большой печи, — лежанка под цветистым одеялом, на стене — огневая пищаль с пороховым прикладом, над изголовьем — дорогая воеводская шуба на собольем меху, а на полу — большая шкура медведя.

Недалеко от воеводского дома стояли избы — приказная, караульная, воеводских служек, воеводских казаков, два амбара, поварня, две мыльни, гостинный двор, пороховой погреб, вросший глубоко в землю. Посередине острога возвышалась деревянная церковь.

За воеводским домом, в темном глухом углу, утопая в колючем бурьяне, скрывалась черная изба. Даже воеводские людишки с тревогой косились на нее. И, озираясь, в страхе шептали: «Пытошная!»

В пытошной воеводский палач Иван Бородатый со своими подручными жестоко наказывал воровских, беглых и иных озорных людишек.

Вокруг Торговой площади кривыми рядами шли купеческие дома с маленькими оконцами, глухими ставнями, крепкими воротами.

Только не всем довелось жить за крепкими стенами да толстыми бревнами городка. Работные люди — поденщики, ремесленники, и пашенные крестьяне — черный народ — жили на отшибе, поодаль от крепостных стен. Они кормили, одевали, обували застенных жителей, начиная от самого воеводы и до его казаков и служек, строили, укрепляли и прихорашивали строения городка.

Загородная черная слободка называлась Работными рядами; жили в них славные умельцы, ремесленный люд: Ивашка Колокольников, плотники и корабельщики Сомовы, братья Митька, Петрунька да Николка Кузнецы, Семка Скорняк, портняжных дел мастер Сеня Петух и многие другие.

С восходом солнца взлетал в поднебесье синий дым, стучали молоты по железу, пыхтели кузнечные мехи, искры белыми брызгами разлетались вокруг.

Работные люди ковали косы, серпы, ножи, мечи, пики, делали ружья, отливали котлы, кухонную утварь. На берегу горели костры — там строили корабли, лодки. В пригородном лесу лесорубы заготавливали дрова, курили смолу, гнали деготь. Угольщики в больших ямах томили уголь.

Поодаль от города, на бурливой речке, день и ночь скрипели жернова мельниц.

Трудились люди и на сибирских пашнях. Земли брали с боем. Бой тот был с древней тайгой — рубили сосны, лиственницы, березы, выжигали и выкорчевывали столетние пни. Бой был и с морозами, что не давали созреть хлебам. Сеяли осенью под толстый снег. Хорошо родила сибирская земля, омытая потом, взрыхленная тяжелыми трудами российского пришельца, пашенного мужика. Пробрался русский хлебобор в Сибирь не с огнем и мечом, а с плугом и бороной, чтоб посторонилась глухая тайга, а пустующие, вольные земли зацвели, покрылись золотыми колосьями.

* * *

Городок мирно спал. Но городской воевода князь Иван Гагарин уже проснулся. Наскоро плеснув студеной водой на лицо, он вытерся полотняным рушником с искусно вышитыми красными цветами, торопливо надел длиннополый кафтан, высокую с опушкой шапку и зашагал в приказную избу.

Письменный голова* уже находился за столом. Открывая дверь, воевода крикнул: — Писца зови!

Писца Алексашку отыскиали в казачьей избе, на печи. Задрав вверх рыжую бородку, он сладко спал. Письменный голова долго будил сонливого писца, толкая в бок длинной суковатой палкой.

Алексашка вскочил и, зная, зачем его будят каждое утро, схватил все письменное снаряжение и мелкими шажками засеменял по воеводскому двору прямо в приказную избу.

Воевода заждался. Едва писец переступил порог, воевода гневно сдвинул брови: — Спишь, Алексашка?

Алексашка, маленький, рыжий, облезлый человечек в засаленной кацавейке, молча сонно двигал руками, нехотя развязывал мешочек. Из мешочка он вынул гусяное перо, кусочек голубой краски, деревянную чашку и песочницу. Постоял, почесался и, не торопясь, развел голубую краску. Воевода ткнул в чашку пальцем:

— Гуще, Алексашка, гуще! Великим государям будешь писать... Аль запамятовал?

Алексашка добавил краски, присел к столу на краешек скамьи, высвободил правую руку из рукава. Склонившись надбавкой, он помахал рукой, чтобы добиться легкости в письме, и, взяв перо, сказал:

— Слушаю правым ухом.

— Обоими слушай! Двум великим государям пишешь, — оборвал его воевода.

— Обоими слушаю, — поправился писец.

Он начал выводить на толстой бумаге причудливые завитушки букв, но вдруг остановился:

— Отчего же, батюшка-воевода, двум великим государям?

— Не твоего ума дело, Алексашка!

Задумался воевода, отошел от писца, стал в оконце на небеса глядеть. В голове думы, как пчелы, роятся. Тяжкие времена. Иноземцы угрожают, гуляющие людишки, озорной народ, своевольничают. Надобна крепкая царская рука. Был царь Федор; всех бунтарей, непокорных людишек хотел изловить, казнить, чтоб другие страши-

* *Письменный голова* — помощник воеводы, исполнявший его приказания.

лись, да руки у царя Федора оказались коротки — умер. Управлять Россией стали два государя — братья Петр да Иван Алексеевичи, оба малолетки. Петру исполнилось десять лет, а Иван был старше, но нездоров, слаб умом. Российским государством правила их сестра Софья...

Воевода руку положил на горячий лоб: отогнал воспоминания — давно это было, лет десять тому назад. Теперь великий государь на Руси один — Петр Алексеевич, но брата его Ивана в грамоте надобно именовать — жив; хотя и безумен, а царский сын...

Воевода сурово свел брови, подошел к столу:

— Ну, начнем с божьей помощью, Алексашка...

Воевода диктовал:

— «Государям царям и великим князьям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу, всея великия и малыя и белыя России самодержцам холоп ваш Ивашка Гагарин челом бьет. В нынешнем, великие государи, в 1693 году построил я, холоп ваш, в Иркутске новый деревянный город со всяким городовым строением и башнями и с воротами, с верхним, и серединным, и подошвенным боями. А того рубленого города посылаю чертежи и счет, во что то городовое строение стало и что там за работа сделана. Старый город пришел в ветхость и негодность.

А новые места самые лучшие для пашен, и скотный выпуск, и сенные покосы, и рыбные ловли — все близко. Ныне, великие государи, близ нового города кочуют с большим и малым скотом бурятские князья и стоят их зимние и летние юрты. Те бурятские князья имеют много храбрых воинов и городу угрожают приступом — велите послать в Иркутский городок свинцу да пороху, пушки да пушкарей».

Писец вытащил песочницу и густо посыпал песком по написанному. Письменный голова взял исписанный лист, свернул его в ровную трубку и перевязал шелковой тесемкой. На кончик тесемки налепил толсто сургуч и оттиснул на сургуче печать.

Гонец повез грамоту в далекую Москву.

ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

На окраине городка, в конце Работных рядов, стояла серенькая избенка Филимона Лузина, плотника и кузнеца, храброго мужика, мастера кулачного боя. Притулилась изба сбоку крутого яра, будто ласточкино гнездо под карнизом.

— Упадет, Филимон, изба-то! Упадет! — шутили соседи.

— Небось, не упадет! — отвечал Филимон.

На прошлой неделе был кулачный бой на площади. Бились казаки городские и казаки воеводского двора с пашенными мужиками да работными людьми. Сходились стенка на стенку, бились от восхода солнца до его заката. В том бою воеводский казак Никита Злобин выбил Филимону три зуба. Стал говорить Филимон с присвистом, будто ветер-сквозняк у него меж зубов гуляет. И прозвали с тех пор Филимона воеводские казаки свистуном. Затаил Филимон злобу. Вспомнились тяжкие старые обиды на воеводу. Дал себе Филимон зарок сжечь воеводский двор вместе с воеводой и его людишками.

Маланья, жена Филимона, худая, рослая женщина с усталым, бледным лицом и добрыми серыми глазами, ходила по избе, топя разбухшими сапогами; прогнившие половицы жалобно скрипели. Маланья возилась около большой — чуть не в пол-избы — русской печи, громыхала горшками, то и дело посматривая в угол, где в лохмотьях спала маленькая Палашка.

Филимон валялся на печи и не выходил даже во двор: стыдно на глаза людям показаться.

Пришел брат Филимона — Никанор.

Маланья окликнула мужа.

— Филимон, брат к тебе наведался.

Филимон спустился с печи.

— Что, скулу своротили? — спросил Никанор.

— Отойду, мне не впервой.

— То-то!

Тщедушный, седенький, с кудластой бородой, Никанор не был похож на брата — широкоплечего, плотного и жилистого мужика. Глазки у Никанора маленькие, шустрые да хитрые, как у зверюшки. Из-под густых бровей они выглядывали насмешливо и добродушно. Наоборот, узкие, раскосые глаза Филимона смотрели в упор, пронизывая насквозь человека. И не зря говорили про Филимона: «Глазищи у него — огонь, так и обжигают, человеку нутро выворачивают».

Филимон закашлял.

— Ого, да у тебя и нутро-то не в порядках! Пей, брат, траву трилистник — трава та болезни гонит.

— Пью, — сурово ответил Филимон. — Как не пить!

Никанор подсел к брату, принял к уху:

— Расея наша матушка в слезах и крови тонет. В леса народ бежит, в леса...

— Отчего так?

— Слух прошел, что великий наш государь вскипел гневом на народ и повелел рубить и правого и виноватого. Обагрилась вся Русь-матушка горячей людской кровью и задымилась в чаду пожарищ. А бояре, да царские наушники, да палачи от радостей места не найдут — говорят: «В страхе, мол, государь-батюшка народ свой держит, и то правильно делает: народу, мол, надо устрашение превеликое, а то людишки и друг друга побьют».

— А народ что?

— По слухам, народишко люто обиделся. Схватили озорные людишки топоры, колья да дреколья, а кто саблю остру, а кто и пищаль огневую, и пошли на государя, на бояр да на палачей государевых... А смиренные в темных лесах спрятались, живут в тихости...

— Замолчи, Никанор! — озлилась Маланья. — Вырвут язык твой окаянный, вырвут!

— Умолкаю, — опустил голову Никанор.

Маланья вышла.

Братья подошли к оконцу. Филимон вздохнул:

— Смотри, Никанор, каковы дали небесные и лесные — светлы да заманчивы. Есть ли им конец? Сосет и гложет сердце: что за теми синими далями, какие земли, какие царства? Может, счастье-то, брат, там? А? — Он показал рукой на восток, где сизая дымка тихо плыла над далекой тайгой.

Никанор печально покачал головой:

— Непоседлив ты, брат, все бы искал да искал незнание, все бы шел и шел куда-то... Кто же тебя гонит? Живи в тихости...

— Кто гонит? Глупые твои речи! Может, в темной тайге, за теми грозными горами, — и золото, и серебро, и камения-самоцветы! Гроби лопатой...

— Мудры слова предков: золото ходит горбато. Печалиться надо о землях, что хлебушко родят, о пашнях-кормилицах. Народишко-то пухнет от голода, а ты о золоте... Смирно надо сидеть, в лесах укрыться и жить на мирной земле, не бегать, не рыскать. Зверь — и тот свое логово имеет...

Филимон рассмеялся:

— Похвально ли, Никанор, человеку в своем логове сидеть, света белого не видеть! Птица — и та счастливее: в небесах парит, пути дальние перед ней открыты...

— Земля — наша мать, человек без нее — дитя глупое... Живи, брат, в тишине...
Опустил голову Филимон, задумался, потом гордо выпрямился, глаза его за-
сверкали:

— В тишине, говоришь, жить, в лесах хорониться зайцами? Неладно это, не
по моему нраву. Рвется сердце на волно-волнушку!

— Уйми сердце, брат, не терзай... — Никанор опять наклонился к уху Фили-
мона: — Могу поведать тебе тайну. Но смотри, браток, смотри: говорю только тебе,
иных страшенно боюсь.

— Говори, брата родного не страшись!

— Мне один писец-пропойца тайны человеческие рассказывал. Велики те тай-
ны, и не нашему уму-разуму те тайны понять.

— Говори!

— Читал тот писец-пропойца черную книгу, а писал ту черную книгу беглый
человек ума превеликого и писал тайно, крадучись. Земля-то наша матушка, по той
черной книге, на китах не стоит...

— Не стоит?..

— Не стоит, а кругла-де она, велика и находится в вечном кружении, плавая в
небесах, как рыба преогромная в море-океане плавает и не тонет...

— Диковинно мне это, брат, но опять же умом своим я разумею так: от этого
земного кружения, видимо, и на земле все скружилось и перепуталось. И одним
богатство валится, как из преогромной бочки, другие же в трудах маются и, животы
поджав, лохмотьями землю метут...

— По той черной книге, Земли кружение вечно, и удержать его не можно.

— А бог?

— По той черной книге, о боге слов нет, и место ему не найдено.

— Да ты в уме?

Оба задумались.

— Смотри, Никанор, — свирепо сдвинул брови Филимон, — царя сквер-
нишь — то можно, бояр-мучителей да воевод с палачами ругаешь — то можно, то
мне по душе, а вот бога не тронь!

Никанор хорошо знал нрав своего брата, испугался:

— Бога... не шевелю, да и как его пошевелишь, ведь он бог! От злых людей
надобно хорониться, а богу воздавать должное, жить смиренно, праведно...

Братья покосились на маленькую иконку, что висела в углу, засиженном сплошь
мухами, и размашисто перекрестились.

За дверями послышался шум. Братья оглянулись. Маланья, открыв дверь, та-
щила за руку Артамошку. Мальчишка пятился, не хотел идти. Вихрастая голова его
была взлохмачена, лицо в крови. Большие отцовские сапоги и длинная, не по росту,
казацкая кацавейка густо вымазаны в грязи. Артамошка упирался, но мать, крепко
вцепившись, тащила его через порог.

Филимон гаркнул на всю избу:

— Обмой бродягу, я его поучать стану!

Мать смыла с лица Артамошки грязь. Остатками гусяного сала смазала рас-
пухший нос, толкнула к отцу.

— Кто? — спросил отец.

— Селивановы ребятишки.

— Оба?

— Оба!

— За что?

Мальчик молчал.

— Говори! — не унимался отец, зная, что сын что-то скрывает.

Артамошка раскраснелся и зашлепал вспухшими губами:

— Селивановы Гришка да Петрован проходу не дают, орут принародно: «Твоему отцу зубы вышибли. Теперь ты, Артамошка, не Лузинов сын, а Свистунов». А меньшей, Гришка, на одной ноге скакаючи, лопочет:

— Артамошка, Артамошка, оглянись! Твой отец разбойник...

Артамошка не договорил, заплакал.

— Сопляк! — стукнул Филимон кулаком по столу и так топнул ногой, что полетел с полки горшок и рассыпался мелкими черепками. — Давно селивановские на рожон лезут! — крикнул он и схватился за топор.

Никанор пытался удержать его:

— Не казни сердце, не горячи кровь! Селивановы — купцы, хоть и мелки, но на виду у самого воеводы, тягаться с ними нам не в силах... Засекут, ей-бо, на площади засекут воеводские палачи!

Маланья вцепилась в Филимона — не пускала из избы.

Филимон бросил топор, потряс кулаками в воздухе и бессильно опустился на землю. Артамошка шмыгнул на печку и притих. Потрогав распухший нос, прошептал:

— Гришку на кулаки вызову, с Петрованом силой померяюсь! В одиночку-то они трусоваты.

На печи он согрелся и сладко задремал. Сквозь полусон услышал стук. Выбежав из избы, Артамошка увидел отца за работой. У потухшего горна, на обожженном бревне, в ряд лежали свежеотточенные ножи. Артамошка сосчитал — девять штук. Отец тесал топором, заготовлял к ним березовые рукоятки. Не утерпел Артамошка, схватил один ножик. Остер, лезвие как жар горит!

— Не тронь! — прикрикнул Филимон. — Я тебе, озорник!

Артамошка заметил, что у отца густые брови сошлись до самой переносицы. «Зол отец... Лют и зол, — подумал Артамошка. — Быть беде». Он положил ножик и ушел от отца обиженный. Потом опять забрался на печь, даже ужинать не стал.

Он слышал, как отец, вернувшись в избу, говорил:

— Побью!.. Погромлю!..

— Не надо, Филимон, — упрашивала, всхлипывая, мать. — Воеводские наушники прознали про твои угрозы, не сносить головы... Бежать тебе надо, спастись.

— А ты?

— Что я! — вздохнула мать. — Мне одна судьба — маяться, обиды сносить.

— Долго ли сносить обиды воеводских мучителей! — не унимался отец.

«Драка! — обрадовался Артамошка. — Селивановых, наверно, отец лупить будет. Вот потеха!..»

— Сожгу! — грозился отец.

— Побойся бога, не надо! — уговаривала мать.

ПЕВЧАЯ ПТАШКА

Под утро всполошился городок. Тревожно бил церковный колокол. Заревом полыхало небо. Горела изба возле воеводского дома. Артамошка бросился к оконцу, но мать загнала его обратно на печь. Вскоре заскрипела дверь, послышался шепот:

— Прощайся, Филимон, бежим!

Мать плакала. Отец склонился к Палашке. Девочка вцепилась ему в бороду и спросонья смеялась.

— Артамошка, прощай! — сказал отец.

— Куда, тятка?

— В леса густые, где ребяташки удалые.

— Возьми меня!

— Мал.

Попрощался Филимон с Маланьей, вскинул котомку на спину, сунул топор за пояс. И отец, и мать, и вошедшие в избу мужики сели на лавки, посидели с минуту, встали, сорвали с голов шапки, низко поклонились в угол, где висела икона, и быстро вышли из избы.

Артамошка приметил: у каждого мужика из-за пояса виднелась рукоятка ножа отцовской работы.

Больше не видел Артамошка отца. Он сперва даже обрадовался: «Теперь я как большой, как мужик настоящий — что желаю, то и делаю».

Но скоро настала горькая жизнь. Мать с утра уходила на работу и возвращалась поздно вечером, а Артамошка должен был сидеть в избе и нянчить Палашку. Никуда нельзя сбегать Артамошке — ни на реку, ни в лес, ни на площадь. Лишь по воскресным дням усталая мать разрешала:

— Беги, Артамошка, на улицу, беги, сынок, а то ты у меня так и засохнешь в избе.

Тогда срывался Артамошка вихрем и до вечера не возвращался.

Одно счастье у Артамошки — дядька Никанор.

«Теперь ходит дядька не к отцу, а ко мне», — думал он и очень этим гордился. Дядька Никанор казался Артамошке умнее всех на свете: был он хорошим рассказчиком и замечательным пташечником.

Рассказывает дяденька про житей птичье и все на людей переносит.

«Птица, — говорит, — умнее людей, и сердце у птицы добрее человеческого», — а сам вздыхает.

Тогда и Артамошке становится грустно, он тоже тяжело вздыхает, и кажется ему, что нет ничего на свете, чего бы не знал дядька Никанор.

Однажды пришел Никанор с подарком:

— Бери, Артамошка, клеста. Птица — она тварь нежная, сердцем ласковая. Бери, корми ее, оберегай...

Артамошка протянул дрожащие от радости руки, а взять подарок не решается.

— Бери, бери! Клест не простой, — пояснил дядька, — певчий, голосистый. Редкостный клест! Лисицей чернобурой из-за него попустился. Во какой клест!

— Чудно мне, дядька, как это из-за птицы ты лисицу опустил? — загорелся любопытством Артамошка.

Никанор начал рассказывать:

— Чуть-чуть забелел восток, туман уплыл в долины, роса пала на деревья. В это самое время пташки, особливо клесты, и вылетают... Расставил я сети и не дышу. Вдруг, смотрю, вспорхнула стая пташек. Вижу, среди них клест, да какой клест! — с пятнышком под грудкой: значит, певчий. Покрутился клест надо мной, чирикнул сладким голосом — чирик-чирик-пик! — и сел недалеко на ветку. Сажу. Вспорхнула стая птиц, клест тоже. Смотрю, крадется чернобурая лисица за клестом. Глаза зеленые горят, пасть острыми зубками, как иголками белыми, усыпана, а шубка черная блестит, переливается серебром и золотом. «Хороша! — думаю. — Эх, хороша! Крадется ловко. Сцапает... сцапает, — думаю, — проклятая, сцапает клеста! А если ее бить — клест улетит. Вот задача!» Тут я решил променять дорогую лисицу на клеста. Приподнялся слегка. Почуяла, подлая, человека — да бежать. Клест взмахнул крылышками — да к сетке. Тут я его и накрыл.

Артамошка застыл, слушая рассказ дядьки. Он смотрел то на дядьку, то на клеста. Пташка металась в клетке, билась клювом, трепетала крылышками.

— Приучать надо. Неволя — она и для пташки неволя; вишь, как бьется, — сказал Никанор.

С этого дня и началась у Артамошки новая жизнь. День может не есть, но птицу накормит. Клест быстро привык, звонко и переливчато пел, наполняя душу Артамошки радостью. Целые дни проводил он у клетки. Когда клест переставал

петь, Артамошка складывал губы трубочкой и начинал свистеть по-птичьи. Клест поднимал головку, хлопал крыльями и заливался звонким свистом.

Радовался Артамошка, и крепче становилась его дружба с клестом. Он гордился этой дружбой и, когда приходил к нему товарищ его, Данилка, хвастливо спрашивал:

— Птичий язык знаешь?

— Нет, — отвечал Данилка.

— Эх, ты! Вот слушай... — И Артамошка начинал свистеть.

Он свистел, а клест ему вторил.

Удивлялся Данилка, пытался подражать, но у него ничего не выходило. От досады он краснел и сердился. И всегда кончалась такая встреча тем, что Артамошка говорил своему другу:

— Нескладный у тебя язык, Данилка. А вот мне любая птица под силу: хоть петух, хоть ворона, хоть голубь, хоть воробей, мне все едино — могу!

Данилка уходил недовольный; щупая пальцами свой язык, огорченно качал головой:

— И впрямь нескладный у меня язык.

Однажды Артамошка сидел в избе на полу, играл с Палашкой. В двери показались головы Данилки и Николки. Запыхавшиеся друзья враз крикнули:

— Бежим, Артамошка, на площадь!

— А что?

— Народу видимо-невидимо. Бежим!

Заметался по избе Артамошка. Друзья не стали ждать и скрылись. Артамошка взглянул в оконце и ахнул: народ толпами спешил на базарную площадь.

Как быть? Бросить Палашку? А вдруг мать придет — беда... А народ все спешил и спешил.

Артамошка ломал голову, путался в догадках: «Что бы это могло быть?.. А-а, знаю, знаю, что это: наверно, живого медведя привели на площадь».

Когда послышалась отрывистая дробь барабана, Артамошка вскочил и вихрем вылетел за дверь. Не успел он отбежать и двух шагов, как раздался визгливый плач Палашки.

Рассердился Артамошка, быстро вывернул шапку, загнул подол кацавейки и натянул его на плечи, скорчил страшную рожу, открыл дверь и заорал грубым голосом.

Забилась Палашка в лохмотья, тихо всхлипывая.

На площади барабан бил отчаянно и звонко.

Махнул рукой Артамошка и побежал на площадь. На площади тишина — умолк народ.

На помост вышел царский воевода в широкой, не по плечу, шубе, высокой собольей шапке, с толстым посохом в руке.

Отдыхался воевода, потоптался на одном месте, постучал посохом о помост и начал речь:

— Озорует народ. Это худо. Я, воевода иркутский, государев слуга, всех озорных выведу. На кого руку свою воеводскую наложу — тому света белого не видеть, из тюрьмы не выйти, казни лютой не миновать...

Толпа притихла.

— По указу великих государей, — гремел воевода, — ловить людишек беглых, тех, что на государей и слуг их руку поднимают и разбойничают. И тех беглых людишек велено казнить: бить кнутом, рвать им ноздри железом, черными пятнами клеймить лоб и натирать те пятна порохом многожды, чтобы ничем те пятна они не вытирали и чтоб те пятна были у них по смерти.

Воевода важно сошел с помоста; его поддерживал письменный голова.

Народ молчал.

Артамошка вспомнил отца и задумался. Острый щипок вывел его из раздумья, от боли слезы навернулись. Оглянулся — а перед ним стоял Селиванова купца сын Петрован, давнишний ему недруг. Он хохотал и носком мягкого сапога пинал Артамошку.

Артамошка сжал кулаки, стиснул зубы и готов был броситься на обидчика. Но Петрован презрительно скривил рот, прищурил глаза:

— Тронь только, тронь! Отцу твоему зубы вышибли и тебе...

За спиной Петрована стояли два здоровенных парня. Они свирепо поглядывали.

Побелел Артамошка, опустил голову и пошел прочь. В первый раз спустил он обиду, в первый раз отступил.

Но Петрован шел вслед, дергал его за рукав и смеялся:

— Жизнь или смерть?

Остановился Артамошка и поднял голову:

— Что привязался?

— Жизнь или смерть? — повторил Петрован.

— Ну, жизнь!

— В обиду не дам, — зашептал Петрован, — только отдай мне свою певчую пташку

— Что-о?

— Пташку, говорю, отдай.

Видя гневный взгляд Артамошки, Петрован, заикаясь и путаясь, заторопился:

— За деньги отдай, не за так!

— Нет, — отрезал Артамошка, — не продажна! — А у самого заныло сердце, затряслись руки.

— Сказнят твою мать и тебя тоже. Побегу воеводскому писцу скажу.

Зашумело у Артамошки в голове, едва выговорил он слова:

— Ладно, завтра пташку отдам... Завтра...

Словно в темноте мелькнула тень... Закричал, заохал Петрован. Собрался с силами Артамошка, огляделся и видит чудо: жилистая рука широкоплечего мужика вцепилась в ворот нарядной кацавейки Петрована, и так эта рука сжимала горло, что у Петрована глаза налились кровью. Мужик потряс его и толкнул в сторону. Петрован упал, вскочил и без оглядки побежал прочь. Мужик постоял, почесал бороду и пошел. Кафтан у него распахнулся. Артамошка ахнул: из-за пояса виднелась березовая рукоятка ножа отцовской работы.

ГОРЬКОЕ ЖИТЬЕ

Миновали лето и зима.

Совсем покосилась избушка Филимона. От него никаких вестей не было. Работные ряды расширились. За Филимоновой избушкой, на пригорке, новые поселенники ставили свои избы. Ранней весной приплыло по Ангаре много семей хлебопашцев. Приплыли они по государеву указу — сибирские пашни расширять. Далеко за Работными рядами спозаранку слышались людской шум, звон топоров, горели костры. Хлебопашцы рубили лес, выжигали кустарники, расчищали болота — готовились к первому севу на сибирской земле.

Бедно жила Филимонова семья, горькое житье. Соседи звали Маланью сиротой-вдовой.

В избе темно. Артамошка и Палашка сидели в углу на лежанке, ждали с работы мать. Палашка первая услышала далекий кашель, заплакала: «Маманька наша идет». Мать вошла в избу, долго кашляла, устало опустилась на лавку, отдышалась.

— Детушки, — окликнула она, — где вы?
— Тут мы, маманя, тут!
— Светильник где? — Маланья стала искать по полкам. Нашла — вздохнула: ни капли масла в нем нет.

— И так обойдемся, — сказал тихо Артамошка.
Подошла мать, дала по куску ржаного хлеба:
— Нате, пожуйте. Да спите. — Закашлялась, застонала: — Конец, детушки, подходит, суму надобно готовить! Нищие мы, — побираться пойдем, кусочки просить...

Материнские слезы да горькие стоны расстроили Артамошку. Сел он к оконцу. За оконцем черная ночь. Вспомнились ему слова дядьки Никанора: «Солнышко всех обогревает, а матушка деткам краше солнышка... Хворая она, мученица, Маланья-то, матушка твоя. Береги ее, Артамошка». Хорошо говорил дядька Никанор, а сам скрылся, все бросил, только заплочный мешок и взял. «Всюду, — говорит, — шумно стало, гам, зря суетятся людишки... Тихое место надо искать». Клеста подарил и ушел, как в воду канул.

— Что сидишь, сынок? Спи! — окликнула мать.

Утром Маланья ушла до свету на работу. Палашка еще спала, и Артамошка побежал на базарную площадь. Не доходя до площади, на задворках, за лавкой купца Войлошниковца, натолкнулся на толпу людей. «Не иначе, как живой медведь», — зашептал он, но мужики так плотно сбились, что нельзя было пробраться поближе.

Артамошка остановился. Чей-то звонкий тенорок отчеканивал слово за словом, и Артамошка заметил, что люди ловят с жадностью его слова и никто не вмешивается, не перебивает рассказчика.

— Райская сторона, невиданной красоты, — сыпал тенорок, — горы скалистые в небо ушли, снежными шапками облака в клочья рвут. А по склонам и долинам цветы и плоды медовые рассыпаны. Реки шумят, о берег волны бьются. Ни конному, ни пешему леса те звериные пройти не дано. Богатства земные в той стране преогромны: и золото, и серебро, и соболи, и лисицы, и нивы густые. Птицы небесной в лесах, рыбы в реках видимо-невидимо...

— Чья же та земля? — не утерпел кто-то в толпе.

— Божья, мил человек, божья... — отчеканил тенорок и добавил: — Люди не русского рода, с косами длинными и глазами узкими, на той земле обосновались и живут... Да-а!

— Гнать! — рявкнул бородатый мужик в рваной шубейке. — Гнать!

Тенорок не унимался:

— Река та превеликая Амуром прозывается, сплошь та река Амур народцами не русских кровей засижена, как мухами. И они нам, Руси сынам, угрожают.

Мужики зашумели:

— Боем идти!

— Войной!

Потерял терпение Артамошка: уж очень захотелось увидеть рассказчика. «Может, это человек диковинный», — подумал он и решил пойти на хитрость. Забрался на забор, что стоял недалеко, но ничего не было видно. Тогда он сложил ладони трубочкой и прокричал по-петушину:

— Ку-ка-ре-ку!..

— Проклятая птица! — вытянул шею высокий мужик и посмотрел по сторонам.

— Худая примета, — согласился бородатый в желтой поддевке.

Все глядели, подняв головы, но петуха не обнаружили.

Мужики стали расходиться. Ничего интересного не оказалось. Артамошка даже сплюнул от злости.

— Зря мыкался, — сказал он. — Хоть бы что чудное али медведь живой, а то рыжий лопочет, и все уши развесили — слушают.

— Тать!* — загрохотало по площади.

Артамошка мигом бросился туда. Пестрая, шумная толпа заливала площадь. Бежали бабы в длинных цветных юбках, в расписных шалих и платках, бежали мужики в армяках, шубах, кафтанах, вертелись под ногами мальчишки, визжали собаки. Все галдели, торопились, толкались. На этот раз Артамошке посчастливилось: стоял он впереди всех. У лавки купцов братьев Парамоновых били перепуганного до смерти парня. Украл он в лавке крендель. Сыновья купца Парамонова старались: били тата кулаками, приговаривая:

— Вот те крендель, вот те два!..

Из толпы купцовы подпевалы ревели:

— В бок его, в бок! С подсадом!

— Наддай пару, поддай жару!..

Заметил Артамошка, что у вора голубые-голубые глаза, будто небо ясное, а волосы — пенька желтая с отливом, и катились из голубых глаз его слезы, смешивались они с грязью и кровью на посиневшем лице. Ни одного звука не проронил он, только хрипел, вздрагивал всем телом. А Парамоновы братья топтали его коваными сапогами, с разбегу били, потешались.

«Эх, жаль, мал я! — сердился Артамошка. — Посворачивал бы я скулы Парамоновым!»

В это время прибежал сам купец Парамонов с огромной дубиной. Вскинул он дубину, а из толпы закричали:

— Бей насмерть, купец! Татю один конец!

Выскочил Артамошка к месту побоища и волчком завертелся подле купца.

— Пни щенка! Пни! Ишь, куда лезет! — зашумели на него.

— Пшел! Не мешай, щенок, дело делать!

— Батюшка, да никак это Лузинов мальчонка?

— Он и есть!

— За ухо его, озорника, за ухо да к матери!

Но Артамошка вытянул шею, заложил два пальца в рот и засвистел клестом, да так звонко, да с такими чудесными переливами, что толпа ахнула, замерла.

— Роденьские, — заголосола румяная женщина в цветном платке, — ну как есть пташка, полная пташка...

— Доподлинный клест, слов нету, — скороговоркой бросил сосед и приложил руку к уху, чтоб слышнее было.

Артамошка заливался птицею: свист его то затихал, слышался словно в отдалении, то нарастал и переливчато рассыпался нежной трелью.

— Складно поет мальчонка, за сердце хватает, — смахнула слезу румяная женщина.

Купец Парамонов и его сыновья бросили вора, смешно расставили ноги, удивленно смотрели в рот Артамошке.

Тем временем вор, с трудом приподнявшись с земли, пополз на четвереньках, оставляя за собой пятна крови. Про вора забыли. Только Артамошка изредка поглядывал на него, замирая от радости.

Вор скрылся.

Купец Парамонов первый заметил, что вора нет. Он с досадой ударил о землю дубиной, да так, что толпа шархнула в сторону. Размахивая кулаками перед самым носом перепуганного сына, купец гремел:

— Упустил тата! Убью!

Разъяренный, вскочоченный и потный, он шагнул к Артамошке, но тот вмиг отскочил, сделал ногами несколько смешных вывертов, взмахнул по-птичьи руками

* *Тать* — вор.

и юркнул в толпу. Сыновья Парамонова бросились за ним, но плотное кольцо людей преградило им путь.

Стоявший впереди мужик в высокой татарской шапке, рваной ситцевой поддевке неожиданно протянул:

— Ну-у...

— Вот те и «ну-у»! — передразнил его мужик с важным видом, с широкой, как лопата, бородой. — Птичье горло у парнишки, птицей должен бы родиться, а получилась ошибка — в человека вышел. Вот те и «ну-у»!

С площади уходили медленно. Долго еще судачили бабы, спорили мужики — все удивлялись Артамошкиному птичьему уменью.

Артамошка вспомнил про дом, про Палашку — затревожился.

Разбрасывая брызги грязи босыми ногами, мальчик летел домой. «Кабы не пришла мамка! Забьет!» — думал он.

Мать еще не пришла. Палашка с распухшими от слез глазами сидела посреди избы. Горшка с квасом на лавке не было, валялись вокруг лишь мелкие черепки. Полкаравая черного хлеба — единственный дневной запас всей семьи — лежал в ногах у Палашки. Мякиш она выколупала, как мыш, досыта наелась, остальное раскрошила, разбросала по полу. Она толкала грязную ногу в середину каравая и неудержимо хохотала. Вспомнив наказ матери, Артамошка похолодел:

— Ой, беда, горе!..

Палашка сидела в квасной луже и тянулась руками к Артамошке. Артамошка выхватил каравай, и слезы брызнули у него из глаз. Из середины каравая посыпались сор, черепки горшка, грязная тряпка. Палашка превратила корки каравая в склад для своего незатейливого имущества.

Артамошка с кулаками кинулся на Палашку, но руки опустились. Палашка, смешно оттопыривая губы, смотрела на него большими ласковыми глазами.

Мать пришла поздно. Не успела она откашляться и отдышаться, как Артамошка виновато сказал:

— Палашка горшок с квасом разбила... Мыши хлеб слопали. — Он исподлобья взглянул на мать, и по спине у него забегали мурашки.

— Артамошка, сынок... — тяжело кашляя, сказала мать.

Как громом ударило его. Бросился он к ногам матери, обнял ее колени и притих.

— Артамошка, в люди тебя хочю отдать.

— Кому?

— Либо в кузню, либо к плотникам и корабельщикам Сомовым.

— Страшно мне, маманя, как же я...

— Не страшись, сынок. Видишь, до могилы мне два шага, не могу я...

— А Палашка с кем?

— Палашку тетка Романиха берет...

Мать заплакала и ничего больше не сказала.

ВОЕВОДСКИЙ СЛУЖКА

Тем временем в доме воеводы Ивана Гагарина дело большое вершилось. Новость птицей облетела государев двор, перелетела за толстые стены острога и дошла до горожан. Пришел государев указ, воеводу Ивана Гагарина сменить, на его место поставить воеводою Афанасия Савелова.

Писец Алексашка с караульным казаком, сидя на бревне возле поварни, разговаривали шепотом:

— Какого-то бог даст воеводушку? Строг был воевода Иван Гагарин... ох, строг! — вздохнул писец.

Казак посмотрел хмуро:

— Неумное болтаешь, Алексашка. Всяк воевода строг. Трудами же нашего воеводы новая крепость возведена, работные людишки да пашенные мужики в повиновении живут, мирно...

— Худой жир — горше хрена! — воскликнул писец. — Только вчера работные мужики похвалялись: мы-де до воеводского добра доберемся...

Прошел письменный голова, и Алексашка умолк.

...Новый воевода прибыл тихо, сел на воеводство тихо. Не прошло и месяца — застонали воеводские людишки: тяжела рука воеводы, крут и зол Афанасий Савелов, своенравный управитель. Не писаны ему указы государевы, вор и разоритель — всем насолил, всех обидел. Письменного голову поносит, приказчика ругает, поп на глаза ему боится показаться. Казакам жалованья не платит, гребет в свои карманы, угрожает в жалованье совсем отказать.

В субботний день собрал казаков воевода у своего дома, поднялся на крыльцо и сурово начал поучать:

— Вы, казаки — железные носы, сами себе добытчики. Из государевой казны вам платить разорительно.

Насупились казаки, разошлись молча.

Многих людей воевода с государевой службы выгнал. Письменного голову и приказчика поставил из своих близких людей. Приказал спешно службу сыскать, чтоб мальчонка был послушный, быстрый на побегушках — резвый служка, достойный его воеводского нрава.

Прослышали про это соседи Маланья, научили ее пойти к приказчику.

— Иди, Маланья, — твердила тетка Романиха. — Ни в кузне, ни у плотников, ни у корабельщиков мальчонке дел нет. Какой он стройщик — дитя. Приказчик сиротские, вдовьи слезы услышит, возьмет Артамошку в службы. Мальчонка ногами быстр, умом не обижен. Пусть бегают, сыт будет...

Долго ходила, маялась Маланья, стояла у приказной избы, ждала, когда приказчик позовет. Дождалась, вошла в приказную избу. Сидел за тесовым столом рыжебородый мужик в синей поддевке. Лысая голова блестела, словно маслом облитая. Глаза у мужика черные, колючие, чуть с раскосиной, как у татарина.

— Ну! — громко сказал он.

Маланья перепугалась, едва выговорила:

— Мальчонку своего хочу в службы отдать.

— Ого! — загремел приказчик. — Ты что ж, глупа или хитра? Где ж твой мальчонка? Может, он у тебя кривой, хромой, горбатый!

— Бог с тобой... — вздохнула Маланья.

— Где проживаешь?

— В Работных рядах.

— А-а... — протянул приказчик и разгладил бороду. — Вдова?

— Одна бедствую.

— Завтра приводи мальчонку, погляжу.

На другой день мать на работу не пошла, хлопотала по избе, прибралась, приоделась. Артамошке чистую рубаху дала.

В полдень вошли они с Артамошкой в приказную избу. У матери дрожали губы.

— Вот парнишка, его отдаю.

— Вижу... Вороват? — обратился приказчик к матери.

— Избави бог!

— Не дураковат?

— Бог миловал.

— Не ленивец, не сонлив?

— С петухами встает, послушный.
— А ну-ка, подойди... Не бойсь, не бойсь! — командовал приказчик и тянул к себе Артамошку. — О, да я тебя, малайка, где-то видел. По базару бегаешь?
— Где ему, с Палашкой день-деньской водится! — ответила за Артамошку мать. Мужик подозрительно скосил глаза, но ничего не сказал.
— А какая работа? — тихонько спросил Артамошка.
— Хо-хо-хо!.. Работа?.. Ну просмешник! — захохотал приказчик неудержимым смехом. — Какой же из тебя работник! На побегушки берем, в услужение мелкое. Артамошка хотя и не понял, но кивнул головой.
— Плату какую же за парнишку положите? — чуть слышно спросила мать.
— Деньга — не ворона, с неба не падает. Мужикам служилым, бабонька, и то не всем платим.
— Был бы сыт, — забеспокоилась мать.
— Сыт, сыт будет: где блюдо подлизнет, где крошки подберет — вот и сыт. Много ли ему надо.
— Оно конечно! — вздохнула мать.
Приказчик ушел. Осталась Маланья с Артамошкой в приказной избе. Стояли они долго, ждали. Приказчик вернулся хмурый и сказал Маланье:
— Оставляй, берем.
Потом почесал лысую голову, добавил:
— Ладно, веди домой, завтра в полдень пришлешь.
Мать с вечера начала готовиться к проводам сына: заняла у соседей все что можно. Богатым показался Артамошке стол: черные лепешки, квас, лук, каша и даже сметана. Он сидел на отцовском месте, а мать говорила с ним, как со взрослым. Артамошка держался важно, думал: «Жаль, что Петрован с отцом в далекий торг уехал: пусть бы теперь шапку передо мной ломил! Я теперь не простой Артамошка, а воеводский служка».
Помолчав, он деловито сказал:
— Клеста Данилке на прокорм отдам.

НА ВОЕВОДСКОМ ДВОРЕ

Отмахиваясь от назойливых мух, воевода сидел и дремал. Артамошка пристроился на кончике лавки у дверей и тоже дремал. Оса ударилась в слюду оконца, отскочила и шлепнулась о воеводский лоб.

Воевода смахнул осу рукой, приподнялся и вновь сел на лавку, протирая глаза:

— Артамошка!

Мальчонка вскочил.

— Беги за лекарем! Тяжко мне...

Артамошка бросился к дверям.

Прибежал лекарь воеводского двора. Воевода поднял красные, заплаканные глаза:

— Плачу я.

— Отчего так, батюшка воевода?

— Скушно мне.

— Отчего же скушно, батюшка воевода?

— Не мучь, брехун, лечи!

— Лечу... — И лекарь виновато заюлил, развязывая торопливо свою лекарскую сумку.

Воевода вздохнул:

— Старею я...

— Все мы стареем, батюшка воевода. Мышь — и та стареет.

— Не я ли мышь? — взревел воевода. — Не я ли?

Посинел от страха лекарь:

— К примеру я молвил, батюшка воевода, к примеру.

— Артамошка!

— Я тут.

— Кликай писца, живо!

Явился писец Алексашка и, почесывая за пазухой, остановился у двери. Воевода вкрадчиво спросил:

— Алексашка, не похож ли я на мышь?

— Что ты, батюшка воевода! Отчего же на мышь! Ты царский воевода.

— Слышал? — посмотрел воевода на лекаря.

— Слышал.

— Артамошка, кликай казачьего сотника живо!

Пришел казачий сотник Панфил Крутов.

— Панфилка, — обратился к нему воевода, — не похож ли я на мышь?

— Гы-гы! Едакие-то мыши? Да ты что, батюшка воевода, в уме? У нас в избе во какие мыши — махонькие, и то все пожрали, а ежели такие...

Воевода махнул рукой, встал и отправился наводить порядки — учить неразумный народишко уму-разуму.

— Посох! — приказал он.

Артамошка подал воеводе посох.

— В какую руку суешь посох?

— В правую.

— «В правую»! — передразнил воевода. — Какая это рука?

Артамошка молчал.

— Это та рука, которая поучает, воеводская рука. Понял?

— Понял. Воеводская рука.

— То-то, заяц лупоглазый! То-то!

...Целый день вертелся Данилка то у приказной избы, то у воеводского дома. Еще вчера Артамошка обещал ему показать аманатов — заложников. Они уже давно сидят в караульной избе, потому что злодей-воевода наложил на бурят непомерный ясак* соболями и лисицами; это сделал он против государева наказа, в свою пользу. Аманатам придется сидеть под караулом, пока принесут буряты сполна ясак воеводе.

Слышал Артамошка, как разговаривали старые казаки: «Не доведут до добра воеводские злодейства — война будет...»

С утра и до самого обеда ждал Данилка, но Артамошка не показывался. Лишь после обеда, когда в воеводском доме и в избах казаков послышался сонный храп, прибежал запыхавшийся Артамошка. Он рад был другу. Данилка нетерпеливо спросил:

— Аманатов покажешь?

— Покажу.

— Чудные?

— Чудные.

Артамошка вдруг вспомнил о клесте.

— Птица какова? Голосиста?

— Не поет.

— Как не поет? Мой клест и не поет?

— Не поет.

Артамошка запечалился. Данилка оправдывался:

* **Ясак** — натуральный налог пушниной, скотом и прочим, которым облагало царское правительство народности Сибири.

— Крошки подберет, зерно тоже, а не поет!

— Молчит?

— Даже клюва не открывает.

Артамошка перебрал все: может, клест зажирел, может, больной, а может, голос потерял... А какой был певун!

Артамошка дал Данилке множество советов, просил завтра же сказать, запел ли клест.

— Не могу отсюда сбежать, а то бы он запел, — уверенно сказал Артамошка. Данилка виновато молчал.

Караульная изба, где сидели три аманата, находилась в самой глухой части двора. Небольшая, крытая драньем избушка с маленькими оконцами лепилась у самой стены. Тяжелая дверь была обита толстыми полосами железа, на ржавых петлях болтался огромный замок.

За избушкой чернела полянка, на середине которой стояла кобылина с железными скобками и кожаными веревками.

— Пытошная, — прошептал Артамошка. — Вора, али беглого, али разбойника — все едино привязывает к этой кобылице казнитель Иван Бородатый. Вон могилки-то! — Артамошка махнул рукой.

Данилка похолодел. Артамошка сердито свел брови:

— Как окончит эту работу Иван Бородатый, то таскаю я ему квас. Хошь два ушата принеси — до дна выпьет и орет: «Мало!».

Данилка молчал. Друзья завернули за угол и, боязливо оглядываясь, подкрались к караульной избе. Артамошка подполз к маленькому оконцу.

— Тут сидят, иди! — торопил он Данилку.

Тот нерешительно подошел.

На сером полу сидели три человека. Седой аманат с туго перетянутой косой, в красном шелковом халате что-то шептал, размахивая руками. Рядом с ним сидели, поджав под себя ноги, еще двое.

Как только у оконца мелькнула тень, аманаты притихли, опустили головы.

— Испужались, — шепнул Артамошка. — Эй вы, лесные люди!

— Не понимают! — огорчился Данилка.

— Язык у них страсть крученный: такие слова выговаривают, что ничего уразуметь даже сам воевода не в силах.

— Но-о? — удивился Данилка.

Старик аманат приподнялся с пола, положил палец на язык, жестами стал просить еды.

Данилка понял, спросил у Артамошки:

— А корм им дают?

— Мало дают...

Артамошка покачал головой. Только сейчас Артамошка увидел, что старый аманат стоит чуть не рядом, у самого оконца. Морщинистое лицо, серое и грязное, застыло, глаза слезились. И заметил Артамошка, как вздрагивают на висках синие жилки, как щиплет костлявой желтой рукой аманат свою седую косичку. Вздрогнул Артамошка, попятился от оконца.

Старый аманат заметил это, слегка улыбнулся, узкие глаза его вспыхнули и погасли. Вспомнил он родную юрту, своего маленького сына Сырта и подумал: «Где он? Помнит ли отца?» Аманат просунул худую руку в узкое оконце и ласково погладил Артамошку по плечу.

— Пошли, — дернул за рукав Артамошку Данилка.

Весь день Артамошка ходил как во сне. Приказания выполнял вяло, ошибался, за что получил подзатыльников и пинков столько, сколько раньше за целую неделю.

Вечером в горницу воеводы вбежал испуганный казачий старшина:
— Старший аманат помер!
— Не гуди, Пронька, не гуди, — перебил его воевода. — От твоих речей у меня по три дня в голове гуд стоит, как от барабана. Плавнее говори, горлан, плавнее!
Старшина молчал.
— Ну!..
— Старый аманат помер, — повторил старшина.
Рассвирепел воевода:
— Да как так? Почему не уберегли? Засеку! В железные колодки забью!
Вбежали два казака, потоптались у дверей.
— Батюшка воевода...
— Ну?!
— Воровские люди идут на городок... Сила большая: беглые буряты, с ними вольные казаки, бездомный босой народишко, пашенные крестьяне и иной немирный люд...
— Бог милостив — острог крепок, — ответил воевода.
Но когда казаки ушли, он крикнул старшине:
— Людишек Работных рядов впусти с разбором, ворота закрой, на башни стрелков надежных поставь! Да чтоб не спали. Казаков конных снаряди! Понял?
— Как не понять, батюшка воевода, понял.

ОСАДА ГОРОДКА

Не прошло и трех дней, как казак, стоявший на верхнем шатре большой башни, увидел огромное желтое облако пыли.

Бурятские конники медленно двигались на Иркутск с восточной стороны. Сотни людей и лошадей растянулись по предгорью. Стоял белый, ясный день. На солнце играла и переливалась сталь пик; луки, перекинутые за спины, плыли, качаясь, как густые камыши. Один бурят держал синее знамя на длинном древке.

— Видимо-невидимо... — прошептал дозорный казак, снял шапку и торопливо перекрестился.

Тревожно ударил набат, казаки приготовились к обороне.

На пригорке бурятские конники и пешие люди остановились. Распахнулись ворота Заморской башни, и конный отряд казаков бросился в атаку. Бурятский князь Богдой взмахнул кривой саблей, она сверкнула синей молнией, и вмиг сотни таких молний блеснули над головами. Буряты ринулись на казаков дружной лавиной и опрокинули их. Казаки повернули лошадей и в беспорядке отступили. Над головами взвились тучи стрел.

С крепостных стен казаки стреляли редко — боялись нанести урон своим. Казаку Тимошке Вихрястому стрела попала в спину и прошла в грудь. Тимошка вылетел из седла и тут же был растоптан копытами озверевших лошадей своих же казаков. У атамана сотни Петрована Гвоздева вздыбилась лошадь — колючие стрелы впились в нее, и она, подмяв под себя атамана, грохнулась на землю.

Многие казаки упали, сраженные. А те, что остались, к бою стали непригодными: у кого нога перебита, у кого рука, кто истекал кровью. Казаки отступили к воротам крепости. Вратари открыли створы.

Буряты, заметив это, хлынули к воротам, но со стены ударили пушки, черные ядра взорвались землю, тяжело повис густой пороховой дым. Когда черное облако рассеялось, бурятские конники уже стояли за пригорком, возле перелеска. Пешие воины рассыпались неподалеку от крепостной стены и метали стрелы.

Жители городка в страхе скрывались. Старый поп Исидор служил молебен в пустой церкви. Перепуганным голосом молил он о победе над врагом, кадило выскальзывало из его рук.

Надвигался вечер. Кровавый закат отражался в Ангаре огненным заревом. Осажденные видели в этом худое предзнаменование и готовились к смерти.

Башенный казак дал тревожный сигнал:

— Переговорщики идут!

К стенам городка на белых лошадях ехало шестеро бурят. У переднего на пике виднелся белый флажок.

Воевода распорядился допустить переговорщиков к воротам, но не ближе десяти сажен.

Переговорщики, в синих шелковых халатах, в высоких острых шапках с красными кисточками на макушках, с пиками наперевес, остановили лошадей. Лошади в хлопьях белой пены мотали головами, грызли удила и злобно рыли копытами землю. Сбруя серебряной чеканки ярко блестела, расписные монгольские седла были оторочены желто-красным китайским сукном. Вперед выехал бурят с флажком на пике и, растягивая каждое слово, кричал на ломаном русском языке:

— Худо делал... Белому царю жаловаться будем... Тело старого Дибды отдай! Аманатов всех освобождай!

Воевода приказал тело отдать. Об аманатах просил дать ему подумать. Переговорщики получили тело старого аманата и бережно отнесли его в свой лагерь.

Стало темно. Подул ветер. Ангара вздыбилась, забушевала. Бурятские воины зажгли костры.

Притих городок Иркутский, окруженный врагами с трех сторон. У костров слышались возбужденные выкрики людей, лязг оружия и ржанье лошадей. По небу плыли грузные облака, луна изредка бросала блеклые лучи и вновь пряталась в темные клочья туч. Казаки на шатрах башен вглядывались в темноту, перекликались протяжными голосами, нетерпеливо ждали утра.

Воевода часто посылал на башни либо казака, либо Артамошку, и всякий раз дозорные отвечали:

— Темь... Разве в этакую темь что углядишь! Передай батюшке воеводе, что у костров буряты да иные воровские людишки саблями скрегочут, лошадей злобят. К утру быть бою страшному.

В густом предутреннем тумане по зарослям, по рытвинам ползли со стороны бурятского стана лазутчики-запальщики. Раздвигая кусты да болотистые травы, без шума и шороха, как тени, подползли они к крепостному рву, миновали его; скользкими ужами проползли меж колючек и коряжин, ошупали городские стены. Каждый приволок с собой пучок соломы, берестяные трубки, наполненные смолой. У каждого наготове кремь и трут; надо только закрыться с головой полою своего халата, выбить искру, поджечь смолье, а там и не заметишь, как начнет хватать огонь бревно за бревном.

Подпальщики ждали сигнала. Его должны были дать с горы горящим снопом, подброшенным пиками вверх. Напрасно они напрягали глаза, всматриваясь в темноту: сигнала не было.

Молодой бурят Солобон, прильнув к земле, мечтал о том, как поползут желтые языки огня, рухнут стены — и он первый ворвется в город.

Нудно и тягуче тянулось время, сердце тревожно колотилось, а сигнала все не было. Дрожал от злобы Солобон.

Вдруг тишину разорвал зловеющий вой бурятских трубачей. Это был сигнал — не поджигать крепость, а бросить все и бежать в свой стан. Заскрежетав зубами, Солобон проклинал старого князя Богдоя.

И Солобон и другие подпальщики уже успели в точности выполнить приказание: они отсчитали четвертое бревно стены снизу, ножами вырезали глубокие зарубки — знаки.

Подпальщики поползли к стану.

Князь Богдой долго совещался с близкими и друзьями. Многие требовали немедленно сжечь городок, раз и навсегда избавиться от лютого воеводы. Другие рассуждали иначе: «Один городок спалим — у русских других много». Богдой молчал — думал. Молчали и все остальные — тоже думали.

Поднялся старый бурят, седую косичку пощипал, хитро сощурился:

— В стаде бараны разные бывают — черные и белые... Русские люди тоже разные бывают...

Вокруг зашумели. Больше старик ничего не сказал. Князь Богдой вскинул пик — стало тихо. Голос у Богдоя звонкий, далеко слышно:

— Великан-гору не столкнешь: с русскими воевать — в пропасть прыгать! От монгольских ханов-разбойников наши юрты и скот, жен и детей не спасем — побьют! Только русской силы боятся эти разбойники...

Молодой князь Хонодор горячился:

— Война! Крепость надо сжечь! Пепел по степи ветер разнесет — светло будет!

Богдой сурово топнул ногой, молодого задорного князя остановил:

— Бешеная собака кусает и своих и чужих. От злого воеводы всем худо, все плачут... Зачем из-за него на крепость огонь пускать! Забыли, сколько раз мы прятались за спину этой крепости? Забыли?

— Война! Побьем! — опять крикнул Хонодор, размахивая кривой саблей.

— Так кричит козленок, который отбил от своего стада! — рассердился Богдой и вскочил на коня.

За ним — все остальные.

На восходе солнца бурятский стан опустел.

Башенные дозорные сообщили воеводе:

— Враг скрылся, только головешки тлеют да помет конский валяется.

Старшина открыл малые ворота, огляделся. «Были и нет», — усмехнулся он. Увидев знаки на стене и оставленные подпальщиками смолье и солому для поджога, он побежал к воеводе.

— Подпалить норовили стены, батюшка воевода! Смолье бросили, убежали, знаки на стене бурятские вырезали...

— С нами бог! Врага побили!.. Возьми аманата да толмача, пусть знаки разгадают.

Толмач быстро вернулся.

— Ну? — нетерпеливо спросил воевода толмача.

— Нацарапано, батюшка воевода: «Были под самой стеной, но огонь не пустили — мир».

— Ишь ты, каковы! — стукнул об пол посохом воевода. — Снарядить казаков, самых лихих. Ночью отыскать бурятские юрты, бить нещадно. Скот, богатства, пленных доставить в городок. Я — государев слуга, всех воров выведу! Пусть помнят воеводскую руку!

Как ураган, налетели на бурятские юрты воеводские казаки. Жестокой расправы не ожидали буряты. Спешно собрались старшины родов и на глазах у родичей убили князя Богдоя, заподозрив его в коварной измене. И те, кто остался жив после казачьего налета, сложили свои пожитки, собрали по степи оставшийся скот и убежали в далекий Китай.

Вскоре ни одной бурятской юрты не могли отыскать воеводские казаки. Воевода ходил довольный, гладил широкую бороду, похвалялся:

— Вот я каков! Всех повоевал! Кто поперек меня — тому смерть от меня!

Только к вечеру успокоился воевода. На другой день встал рано, не выходил из своей светелки, а сидел там с писцом и строчил царям грамоту о своих победах.

Писец старательно вывел первые строчки грамоты — поименовал великих государей.

Воевода отошел к оконцу и долго смотрел на блеклое небо. Раздумье его прервал писец:

— Титул помечен, батюшка воевода...

Воевода сумрачно оглядел писца, левая бровь его дернулась:

— Ох, Алексашка, не в меру ты досаждаешь, языкаст да глуп! Каково писать великим государям, каков ум надобен!

— Превеликий ум, батюшка воевода...

— То-то, злодей! Пиши!

Воевода гордо вскинул голову, громко и самодовольно продиктовал:

— «...В нынешнем, великие государи, 1696 году бурятские воровские людишки учинили измену, пошли походом, осадили городок Иркутский, огнем грозились. Я, холоп ваш, ту измену в корень вывел: воровских бурят побил, юрты предал огню, скот и богатства их отобрал в вашу, великие государи, царскую казну. Какие остались из бурят в живых, те, похватав свои животы, бежали в Китайское царство...»

Воевода хотел приложить руку, взял перо, но с досадой его отбросил:

— Запомню я, Алексашка: добавь-ка в косую строчку.

Писец схватил перо.

— «Аманаты, великие государи, до единого перемерли. Велю казакам изловить новых...»

Гонцы повезли скорым ходом грамоту в царскую Москву.

НОВЫЙ ВОЕВОДА

Очистилась Ангара ото льда. Дули теплые ветры. Весеннее солнце сгоняло снег, на проталинах пробивалась трава. Иркутяне позабыли о ратных тревогах. По-прежнему через городок шли обозы и, пройдя Заморские ворота, скрывались за Си-ней горой. По-прежнему пестрела базарная площадь, полная народа. Жил городок мирно, тихо...

Только на воеводском дворе переполох.

Третий день не выходит воевода из приказной избы. Не ест, не пьет, никого к себе не пускает. Служилые людишки ходят на цыпочках, говорят шепотом, дверью бояться скрипнуть, каблуком стукнуть страшно.

Удивленный Артамошка несколько раз пытался выведать у кого-либо, что случилось, но на него шипели: «Тише, тише!...»

Взглянув тихонько в дверную щелку, он чуть не ахнул: воевода, уронив голову на стол, плакал. Завертелись догадки в голове Артамошки, как воробы на дороге, одна другую перегибать стараются. Кто мог обидеть воеводу? Нет такого человека на воеводском дворе. Да и в городке-то не сыскать, кто бы осмелился воеводу обидеть. Воевода — всем начальникам начальник: желает казнить — казнит, желает миловать — милует.

Увидел Артамошка — шагает по двору писец Алексашка. Артамошка — к нему. Тот молчит. Тогда пошел Артамошка на хитрость:

— Алексашка!

— Ну?

— Своим ухом слышал, как тебя воевода лаял. Ты, мол, пропойца и лень...

— Фью! — засвистел писец. — Нам воевода теперь не страшнее мухи зеленой.

У Артамошки даже ноги подсеклись: хочет идти, а они стоят.

Тут писец и проговорился, приник к уху и Артамошке поведал:

— Грамота царская пришла, безголовый, грамота! Великие государи гневом на воеводу разразились. Ты, говорят, холоп несчастный, без головы пребываешь, у тебя, говорят, не воеводская голова, а жбан с квасом. Ежели от твоего глупого управления буряты юрты побросали и в китайскую землю убежали, кто же в нашу государеву казну ясак повезет? Все теперь китайским ханам отойдет: и соболи, и лисы, и скот, и людишки... Запаятовала пустая воеводская голова: ведь сибирские народцы — великой Руси подданные. Остроги-городки стоят для защиты рубежей, для мира, а не для твоих воеводских разбоев...

— Но-о? — удивился Артамошка.

— Вот те и «но-о»! — передразнил его писец. — И приказали великие государи заковать воеводу и в руки царские с надежными людьми доставить.

Артамошка и не знает: не то врет писец, не то смеется. А писец разболтался и не заметил, как служилые людишки вокруг него собрались, слушают. Писец пугливо оглядывался, говорил тихим голосом:

— А казнитель-то наш Иван Бородатый ходит ухмыляется — рад, пес, так рад, ажно захлебывается. «Эх, — говорит, — великий государь, обидел ты меня, Ивана Бородатого, слугу твоего верного! Почто ты воеводу на Москву повелел везти? Дал бы мне его на мою расправу...» А сам глазищами как зыркнет, аж у меня по хребту холод пошел. Сказывал казачина Милованов, что ходит Иван Бородатый во хмелю, ходит и бахвалится. «Я, — говорит, — холоп твой царский, перед иконой святителя клятву могу положить, что с двух-де разов кнутом хребет пополам воеводе пересек. В Москве таких заплечных дел мастеров и не сыщешь, великий государь»... А сам как зубами заскрипит — весь народ по сторонам в страхе разбегается.

Артамошка так и застыл с разинутым ртом и удивленными глазами. Писец заметил это, да и щелкнул его по носу. Слезы брызнули из глаз Артамошки. Все захохотали. Послышался грозный голос письменного головы:

— Артамошка, где ты? Беги к батюшке воеводе!

Писец побелел от страха, притих, сгорбился. Притихли и все остальные, опустили головы. Казак Селифанов торопил:

— Беги скорее, Артамошка! Неровен час, выйдет воевода — не сносить головы, всех изведет! — Он грозно взглянул на писца, кулаки сжал: — Раскудахтался, петух общипанный! Доведет твой язык до беды... Уходи!

Писец подобрал полы своего замусоленного халата и побежал в казачью избу спать.

День и ночь приглушенно жужжал служилый люд, как пчелиный улей. Ждали нового воеводу, ждали со дня на день. Городок жил слухами, сплетнями, догадками. Вскоре городок заволновался. Весть пришла: новый воевода не вынес тяжелого пути от Москвы до Иркутска, дорогой умер. Страх обуял жителей городка. Били в колокола, служили молебны.

— Худая примета! — в десятый раз твердил купец Войлошников, стоя на крыльце своей избы.

Ему отвечал купчина Свершников:

— Быть войне, не иначе как с бурятскими да монгольскими ханами!

— Аксиныя моя дурное на небе видела, — кричал Войлошников: — звезда тела, а хвост у нее длинный, в полнеба, синими огнями рассыпался. К войне!

Воевода Савелов подобрел, ходил потупившись. Но казаки и горожане слышать о нем не хотели, недоброе слово вспоминали, грозились побить. Всем неугоден был злобный лиходей-правитель.

Весной по первому водному пути прибыла в Иркутск жена покойного воеводы с маленьким сыном. На берегу Ангары собрались жители городка. Дощатый парусник, рассекая кругую волну, ударился о берег. Из дощаника вышли невысокая, с усталым лицом женщина и мальчик. Мужчины сбросили шапки, пестрая толпа сгрудилась на берегу. Женщина с трудом протолкалась, ее усадили на длинные дрожки, и она уехала на государев двор.

Поплыли по городу липкие слюшки. На перекрестке встретились две бабы — Маланья Корноухова и Лукерья Зипунова. Встретились и зашептались:

— Слышала?

— Нет. Говори, говори!

— Воеводу-то батюшка великий государь нам послал, слышала?

— Как не слышать! Хотя краем уха, но что-то такое слышала. Сказывай! Ты и умница, и разумница, и голова пресветлая. Сказывай! — торопила Лукерья.

Маланья нараспев тянула:

— Государя нашего пресветлого помощник...

— Да-а... Вон как! Помощник? Да-а!

— Дорогой-то умер, — сказывала Маланья. — Только не умирал, касатка, не умирал!

— Жив?

— Нет, в могилке, на спокойе его душенька, на спокойе... Только не умирал.

— Как так?

— Злодеи покончили.

— Злодеи?..

Маланья прилипла к самому уху Лукерьи и, оглядываясь, шептала:

— Наш воевода-лиходей тех злодеев подослал.

— Ох! Казнитель, бога не боится!

— Сказывают, послал и наказал: вы, мол, его сыщите, но не режьте его, и не стреляйте, и не душите. И подал лиходей вот такусенький узелок — с человеческий ноготок. Да-а! А в том узелке черное зелье заморское. Подсыпали того зелья злодеи в квас. Выпил воевода — был и не стало его.

— Царство ему небесное!..

Послышались шаги. Бабы разбежались в разные стороны.

* * *

У воеводского дома собрался народ. В полдень ударили в огромные барабаны. Знамена поставили в ряд. Казачий старшина Никитка Бекетов поднялся на помост:

— Вольные казаки! Докуда муки принимать будем? Спихнем воеводу! Спихнем негодного!

— Спихнем! — зашумела толпа.

— Вор!

— Лиходей!

— Спихнем и к великим государям в кандалах отправим.

— Великие государи нам нового воеводу пожаловали. Но не суждено ему нами править...

— Царство ему небесное!..

— Сын у него остался, его и примем воеводой!

— Малолетен! — возразил казак Еремей Седло.

— Из-за малолетства глуп, — добавили из толпы.

— Помощника сподручного выберем, — объяснил Бекетов. — Так и великим государям отпишем.

- Кого выберем?
- Перфильева, сына боярского.
- Перфильева!..
- Согласны? — спросил Бекетов.
- Согласны!

Так, не дождавшись нового воеводы, самовольно выгнали казаки ненавистного Савелова и назначили малолетнего Полтева, а к нему в правители — городским выборным судьей — поставили сына боярского, иркутского жителя Перфильева. Малолетний Полтев был для видимости, полновластно же воеводствовать стал Перфильев.

Стоял городок, твердыня царская; охраняли казаки, как и прежде, рубежи от набегов разбойных ханов, от монгольских и бурятских князей.

ЕГОРКА ВЕТРОДУЙ

Еще одна обязанность прибавилась Артамошке: надо было день-деньской забавлять батюшку воеводу. Тянулись горькие дни, медленно тянулись, будто нитка суровая, бесконечная. Воеводиха драла уши Артамошке за каждую малость. Озлобился он, смотрел на людей волчонком.

Обидно: из воеводского служки сделали теперь его нянькой малолетнего воеводы. Служилые людишки — и те скалили зубы, над Артамошкой потешались и обзывали его воеводской нянькой.

А Перфильев вызовет его и твердит:

— Береги батюшку воеводу. Чуть что — не помилую!

Артамошка молча кланяется и думает: «Хитер пес, хитер! Сам правит, а о парнишке заботу показывает...»

Одно несчастье за другим преследовало Артамошку. Началось с малого: играл он в костяшки с воеводой и обыграл его. Воевода обозлился, отобрал костяшки и в кровь расцарапал лицо Артамошке. Не стерпел обиды Артамошка, забыл все наказания Перфильева, вцепился воеводе в волосы, прижал его к земле, навалился коленом и отшлепал. Сбежались слуги. Примчалась воеводиха, всплеснула руками и заголосила.

— Драть озорника! — с гневом сказал Перфильев.

Но Артамошку будто ветром сдуло. Перевернули весь двор — не нашли.

Прошло три дня. Казак Селифанов пришел к Перфильеву и сообщил: в кустах на воеводском кладбище, между двумя свежими бугорками могил, лежит Артамошка и плачет.

Перфильев распорядился наказать его по первому разу легко — дать ему десять кнутов. Но казак переступал с ноги на ногу и не уходил.

— Ну что? — рассердился Перфильев.

— Не стоило бы драть парнишку, обождать бы чуток.

— Что ждать?

— Сирота он круглый, ночью мать у него померла.

— Ну, обождем, — согласился недовольным голосом Перфильев.

Шли дни, Артамошка, вяло передвигая ногами, ходил по двору, нехотя собирал разбросанные воеводой костяшки и думал: «Сбегу, как мой тятка сбежал, в леса сбегу», — и и захлебывался слезами.

Вихры спадали ему в беспорядке на лоб, а мальчишески задорные глаза смотрели теперь строго и зло.

Под воскресный день, когда площадь кишела народом, а за околицей звенели девичьи голоса, разразилась неожиданно гроза над головой Артамошки: потерялась государева печать.

А случилось это так. Пришел Артамошка с малолетним воеводой в приказную избу. Увидел воевода, как ставит печать письменный голова, и пристал: дай да дай! Тот — туда-сюда, как откажешь!

— Смотри, батюшка воевода, не оброни, избави бог. — И, обращаясь к Артамошке, строго наказал: — Гляди, озорник, не то... — и погрозил пальцем.

Письменного голову позвал Перфильев. Он подошел к воеводе и хотел отобрать печать, но тот укусил его за руку, засмеялся и печать не отдал.

Письменный голова, пятась, вышел. Воевода повертел печать и покатил ее по полу.

— Ой, — вскрикнул Артамошка, — не катай! Не дай бог, утерается — смерть.

— Не лезь, а то мамке скажу! — оттолкнул Артамошку воевода и покатил печать.

Артамошка, как кот за мышью, следил за печатью — не спускал с нее глаз. Раз даже схватил ее в руки и удивился: «Вот она какая!» Воевода вырвал печать и опять со смехом покатил ее по полу. Вот в это время и случилась беда.

Раздался грозный голос Перфильева:

— Артамошка!

Артамошка со всех ног бросился к нему, а про печать забыл. Когда он вернулся, то застал воеводу в слезах и сразу догадался:

— Печать где?

— Тут...

— Где тут?

— Ту-ут, — плакал воевода и показывал куда-то в темный угол.

У Артамошки опустились бессильно руки, задрожали губы.

Вбежал письменный голова:

— Батюшки, загубили мою голову! — и заметался по избе.

Бросив свирепый взгляд на Артамошку, он так ударил его, что у Артамошки дыхание перехватило и в глазах помутилось.

— Драть! — орал письменный голова.

Прибежал Перфильев, вбежали дворовые людишки.

— Горе!.. Печать, государева печать... Ой, горе!.. — восклицали вокруг.

Перфильев схватил Артамошку за вихры:

— Печать где? Насмерть засеку! Ищи, подлец!

Все ползали по полу, шарили, но печати не было.

— Дать розог! — прошипел Перфильев и, обращаясь к письменному голове, добавил: — Ищи!.. В кандалах сгною! Понял?

Тот вздрогнул и съежился.

Когда все ушли, письменный голова подошел к воеводе и ласково зашептал:

— Сыночек, вот ты держал печать, вертел ее в руках...

— Вертел... — тянул воевода.

— Потом ты ее покатил — тю-тю-тю...

— Покатил...

— Куда она, сынок, покатила: туда или вот сюда?

— Туда катал, сюда катал — везде катал...

— Ох ты, беда! — вздохнул письменный голова и опять обратился к воеводе: — Она далеко покатила?

— Далеко-о...

— В угол или по избе?

— И в угол и по избе.

— Дурень! — шепнул в сторону письменный голова.

Так печать и не нашлась.

Мать заждалась воеводу и пришла за ним. Вошла в избу и ахнула от неожиданности. В углу, уткнувшись носом, стоял «грозный» воевода, а посредине избы ползал на коленях письменный голова и что-то искал.

Узнав о беде, воеводиха опечалилась:

— Все от бога. Пойдем, сынок, откушай.

И стала поправлять шнурки у штанов воеводы.

На пол что-то упало и покатилося. Печать нашлась.

Долго не мог оправиться Артамошка от розог. Лечила его старая повариха Лукерья примочками из разных трав, сухих отрубей и конского помета.

Ночью снились Артамошке тяжелые сны. Вчера он видел во сне, что вместе с Данилкой подкрались они к воеводским горницам, подложили соломы и подожгли. Вмиг жаркое пламя слизнуло и дом, и кладовые, и деревянные башни. От страха Артамошка проснулся. Сегодня ему приснился сон еще страшнее: стал он богатырем, к чему прикоснется — все рушит. Раскатил по бревну воеводские двор, церковь, башни — никто остановить его не в силах. Писцу оторвал напрочь обе руки — не будет, проклятый, щелкать по носу. Письменного голову разорвал пополам; одну половину оставил у воеводского крыльца, а вторую через спину в реку бросил. Пришел к избе казнителя Ивана Бородатого и спрашивает голосом зычным, громовым: «Ты розог давал?» — «Я». Схватил Артамошка Ивана Бородатого за рыжую бороду, покрутил-покрутил над головой, кинул вверх и надел на острие большой башни. Заорал Бородатый диким голосом. Тут Артамошка и проснулся. Проснулся — и впрямь кто-то орет. Страшно стало ему, кликнул он старую Лукерью — она второй матерью ему стала.

— Молчи, — зашептала она. — Спи...

Заснул Артамошка — и снова сон: занимается заря, по красному небу плывут огневые полосы, и свет их падает на землю. Видит Артамошка, что свет не от зари, а от огромной скалы, на вершине которой пылают горн; отец кует острые пики, из-под молота брызжут зеленые искры. Плывет над тайгой песня, слов ее не разобрать, но берет она за сердце — отцовская это песня. С песней и вскочил Артамошка с лежанки. Тишина. Он — к окну. На востоке розовело небо, вставало солнце. Рождался светлый день...

* * *

С воеводского двора решили Артамошку выгнать, но письменный голова заступился:

— Справный парнишка, а на побегушках — прямо огонь.

...И вновь замелькали по двору тонкие ноги, без усталости бегают Артамошка. Вот он несется с огромным жбаном квасу, бегают к письменному голове, от письменного головы — к писцу, от писца — в приказную избу, и так до поздней ночи. Когда нависнет темь и замигают на небе звезды, бросается он на дощатую лежанку и спит до тех пор, пока утренний будильщик его не поднимет.

Разбудили Артамошку сегодня чуть свет. Бегал он и созывал в приказную избу всех важных служилых людей. Управитель Перфильев получил государеву грамоту. Медленно собирались важные лица и усаживались по чину.

В избе тесно и душно, а важные лица потеют, отдуваются, но дорогих долгопых шуб не снимают, чтоб честь и достоинство не уронить.

Правитель поднялся, за ним поднялись с лавок и остальные. Снял он шапку — сбросили и все остальные. Правитель подал письменному голове трубочку — государеву грамоту. Письменный голова откашлялся, отер ладонью губы и начал читать. Титул прочитал тихо и нараспев, а потом передохнул и громко забарабанил, выделяя каждое слово:

— «А как ты сей, великих государей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, указ получишь, излови тунгуса сибирского, тунгуску и их дитя, которые живут в лесах по рекам и речкам вдали от Иркутска, чтоб были они в платьях и уборах, с луками и стрелами по своему обыкновению. Тех тунгусов отправь немедля в Москву, надобны они для показа гостям иноземным...»

Письменный голова подал грамоту Перфильеву.

Все молчали. Казачий сотник, высокий, большеголовый мужик с вихрами, тронутыми сединой, важно откашлялся и сказал:

— Надо сыскать бродягу бездомного, что по базару шатается и рассказывает про земли далекие. Он и поведет казаков за тунгусами.

Как ветер, носился Артамошка по базарной площади, разглядывал бродяжек. «Вон их сколько, а потребно отыскать одного». Казаки, что пошли с Артамошкой, меж лавок прятались — боялись спугнуть бродяжек: разбегутся — не сыщешь, — но с Артамошки глаз не сводили. Остановился Артамошка у хлебного ряда, вспомнил про то, как пропел он петухом и всполошил толпу, которая слушала бродяжку. Приметный бродяжка, его-то он среди всех узнает. А тот бродяжка стоял у лавки купца Зырянова и не сводил глаз с бочки, где золотился на солнце янтарным отблеском мед. В руке он держал затасканную краюху черного хлеба и в десятый раз совал руку в карман: карман был дыряв, и рука высовывалась наружу. Прохожие смеялись:

— В кармане-то кукиш, много ль на него купишь?

— Хорош мужичок, что твой цветок, весь в лоскутах разноцветных!

— Неча сказать, нарядный!

А бродяжка подошел к бочке с медом и обронил, будто невзначай, корку хлеба.

— Ах, горюшко бедному Егорушке! Последняя корочка — оголодал! — заголодал он и склонил над бочкой свою заросшую, словно кочка на болоте, рыжую голову.

Обозлился купчина и хотел ударить в живот вора непутевого — пусть бежит без оглядки, но визгливый бабий голос закричал над самым ухом:

— Не гоже, купчина, хлебец в меду держать! Ой, не гоже!

Подскочил купчина к бочке, вытащил хлеб из меда, а бродяжка цап из рук и давай облизывать! Лижет да ухмыляется, прибаутки-шутки сыплет и над купцом потешается: «Мед сладок, да хозяин гадок!» А купчина со злости в ответ: «Для бродяжки у нас вот эти поблажки!» И показал огромный кулак.

Тут из бродяжки и посыпалось, как из дырявого мешка:

Товару твоему гнуть-перегнуть!

А тебе, пузатому дураку,

В нос табаку,

В спину дубину,

В лоб осину!

И пошел, и пошел...

Вскипел купчина, схватил безмен — да за бродяжкой, а тот меж людей, как скользкая рыба, вертится, в руки не дается.

Устал купчина, идет в лавку, кряхтит да ругается.

— «Ну, — думает, — хоть от лавки черта отогнал, и то ладно».

Подходит — а бродяжка у бочки стоит, рукой мед черпает, ест да крякает. Купчина — к нему, а он — хлоп ему в лицо медом, и был таков.

Свету не взвидел купчина. А народ над купчиной же и потешается.

Тут Артамошка бродяжку узнал, подбежал к нему:

— До тебя, дяденька, я прислан...

— Откелева? — важно спросил бродяжка.

— Из приказной избы, от самого правителя городка.

— Что ж тот правитель, окромя тебя, сопляка, и послать до меня не нашел человека?

Артамошка обомлел. А бродяжка стоит, руки в боки, приосанился и важно бородкой трясет. Ветерок заплатками играет, а из-под них грязное тело видно. Осмелился Артамошка, поближе подошел:

— Приказано бродяжку сыскать...

— Коль приказано, так ищи!

— Приказано сыскать такого, что далекие земли знает, чтоб с казаками мог идти.

— А не брешешь?

Артамошка побожился.

— Может, в смех меня норовишь взять? Смотри, малец, попомнишь Егорку Ветродуя!

Тут казаки из-за угла выскочили, бродяжку схватили и привели в приказную избу.

* * *

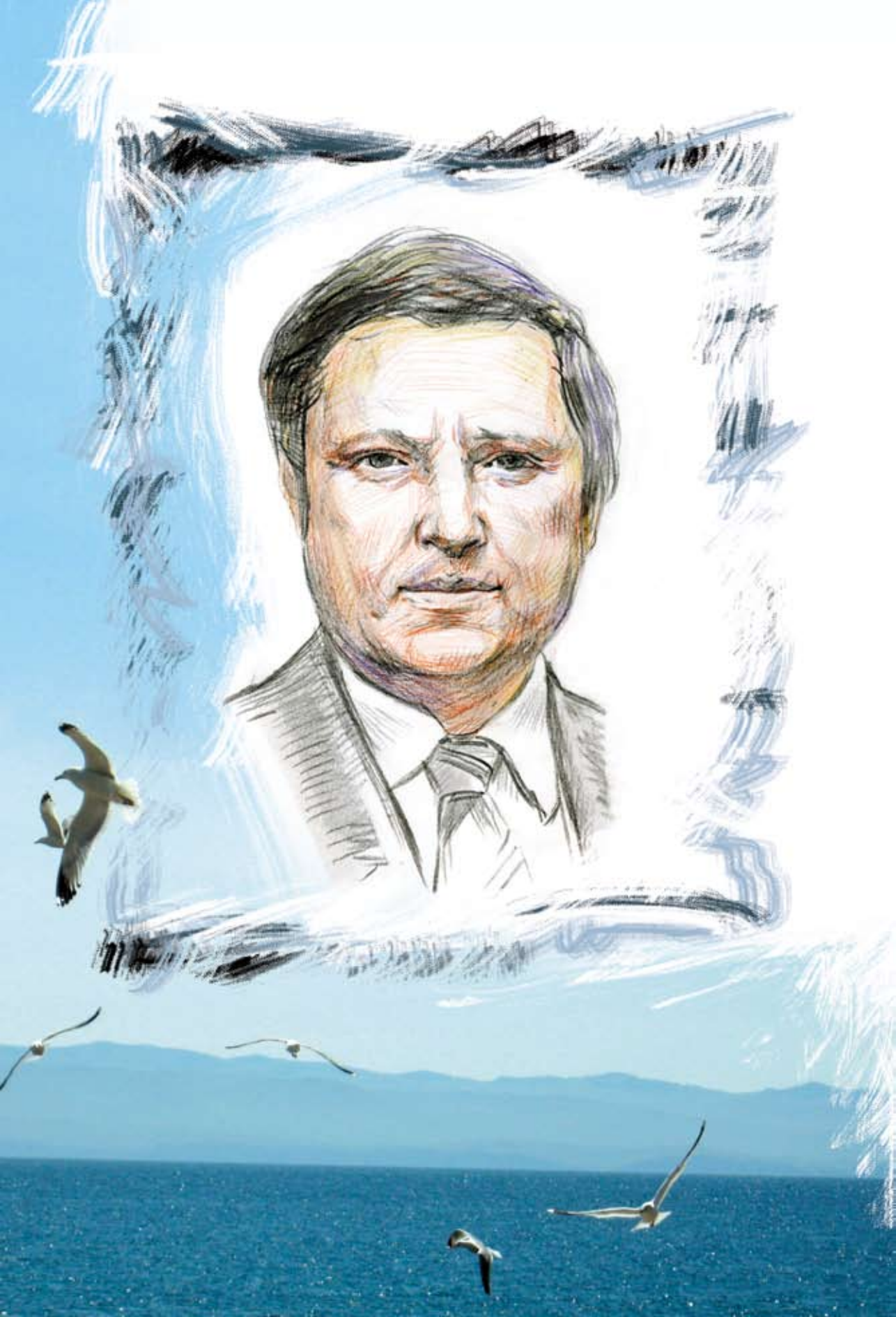
Прыгали светлые зайчики на казачьих доспехах — на пиках, пищалях. Бродяга Егорка Ветродуй сидел на коне и важно выпячивал плоскую грудь. Доспехов на нем не было, только заржавленная пищаль смешно болталась за спиной. Когда казаки тронули коней, Егорка загляделся, лошадь рванулась, и он чуть не вылетел из седла.

— Держись, казачина!

— Страшенный воин! Го-го-го! — хохотали со всех сторон.

Но Егорка поправился в седле, встал на стремяна и, взмахнув плетью, ударил какого-то ротозея по спине. Тот взвился от боли и потонул в толпе. А Егорка вытянулся, лихо заломил ободранную шапчонку и понесся догонять казачий отряд.





The background of the book cover is a photograph of a bright blue sky with a large, white, stylized wave or cloud formation on the right side. Several seagulls are flying in the sky, and the top of a dark blue sea is visible at the bottom.

ГЕННАДИЙ
МАШКИН

**СИНЕЕ МОРЕ,
БЕЛЫЙ ПАРОХОД**

Повесть

1

— Пешком до театра военных действий нам не добраться, — сказал я ребятам в тот день, когда наши войска уже штурмовали Южный Сахалин.

— Главное — из города вырваться, — произнес Скулопендра, и кончики его рыжих волос вспыхнули в бруске дневного света. Из квадратной бойницы в стенке пещеры бил этот пучок.

— Может, уведем коляску отца? — посоветовал Борька.

— На инвалидной тарактелке застрянешь в первой луже, — возразил Скулопендра.

— Над-до еще раз н-написать т-твоему отцу, — сказал Лесик, размахивая в полутьме пещеры белыми руками. — Он п-привезет «мерседес».

— И так должен привезти, — отозвался я. — Губную гармошку прислал? При-слал.

Трофейную эту гармошку мы получили в посылке. Что стоило отцу привезти с собой какой-нибудь «мерседес»? Отец как раз демобилизовался и скоро должен был приехать домой из Германии. Об этом он написал в письме, которое вложил в посылку с гармошкой. В ответ я ему написал, чтобы он постарался привезти мне легковушку, какой-нибудь заваливший «мерседес». Она нам с ребятами очень бы пригодилась.

— Жалко гармошку, — сказал Борька и затилинькал на балалайке грустный вальс «Над волнами». — Был бы оркестрик... Я — на балалайке, ты — на гармошке, Скулопендра — на свистульке, Лесик пел бы...

Да, гармошку нам с мамой пришлось отнести на базар и обменять на галеты. Размоченные в молоке галеты любит мой больной брат Юрик. Иначе бы я не отдал гармошку маме. Отец прислал ее нам с Юриком.

— Мы на фронте раздобудем целый духовой оркестр! — выпалил Скулопендра. — Я буду играть на самой здоровой трубе. — Он приставил ко рту кулак и надул щеки: — Бум-туру-рум...

— Перестаньте! — оборвал я их. — Надо думать о главном...

— М-мне отец с-снился вч-вчера, — тихо сказал Лесик.

Мы наклонили головы. Отец Лесика погиб в битве с японцами на озере Хасан. И мы собирались мстить за него так же, как за моего деда, партизана. Дед такой бравый на фотографии, что висит у нас на стене. Усы вверх подкручены. И на эфесе сабли рука с крупными костяшками пальцев. Японцы сожгли деда в топке паровоза в двадцатом году. Я читал об этом в книжке про партизан Дальнего Востока. Было так... Вначале оккупанты делали вид, что борются за мир и поддержание порядка в Хабаровске и на всем Дальнем Востоке. Но когда партизаны наkostenяли по шее колчаковцам и выперли их из Хабаровска, японцы оскалили зубы. Они решили утопить советскую власть в партизанской крови. И вот генерал Сиродзу написал в хабаровской тогдашней газете, что японские войска покидают город.

Я наизусть помню две строчки из его брежни: «Жалко покидать население Дальнего Востока, с которым мы познакомились так близко, так кровно, питая к нему самую теплую дружбу. Желаем полного успеха в строительстве и сохранении мира и порядка».

А утром японцы ударили из пушек по городу.

Бабушка рассказывала, как отступали партизаны. Дед забежал домой проститься, и это сгубило его. Он не догнал свой отряд, который залег в тайге за пеньками. Японцы ранили деда в ногу и схватили его. А потом раненого деда японцы кинули в раскаленные глубины паровозной топки... У бабушки в узелке на дне сундучка хранится шлак из топки того паровоза... Я не могу спокойно глядеть на дверцу горящей печи. У меня начинают зябнуть плечи, когда я вижу красные колосники...

— Оркестром не отомстишь, — сказал я и стукнул кулаком по столу.

— Тогда завтра надо выходить, — сказал Скулопендра, шоркнув носом. — Придется пёхом...

— Может, еще немного подождем, ребята? — пошел я на попятный. — Должен отец вот-вот подъехать.

— Надо рискнуть, — заявил Скулопендра. — Будем будем ждать этот «мерседес», а войне и конец!

— Н-на наш век х-хватит, — пробормотал Лесик. Глаз его блеснул, как кончик штыка.

— А вдруг войны больше вообще не будет? — сказал Борька и заиграл на своей балалайке «Светит месяц».

— Ну да... — недоверчиво протянул Лесик.

— Все может быть, — решил Скулопендра и подвинул мне тряпицу с нашим оружием, — потому и надо спешить.

— Завтра утром, в девять ноль-ноль, быть здесь как штык, — объявил тогда я и еще раз перебрал наше оружие: патрон от крупнокалиберного пулемета, самопал с свинцовой рукояткой, новенькие рогатки, для которых мы изрезали противогаз, и две самострельные ракеты, изготовленные Лесиком. Небогато, конечно, однако на первый случай есть. Я завернул все снова в тряпицу и встал.

— Сайонара, — попрощался я по-японски.

— Пока.

— До завтра.

— С-смерть яп-понским самураям!

Уже два года мы занимались в школьном кружке японского языка. И в штаб пещере я ввел порядок — как можно больше говорить по-японски: партизаны должны знать язык врага. Но ребята ленились.

Раздвигая заросли паслена, я дошел до нашего огорода и поднялся по меже к дому. Я хотел уже заскочить в сенцы, но остановился. Калитка с улицы была распахнута. Она криво качалась на брезентовых петлях. Что такое? Мама за калитку всегда нас ругала. Оставь открытой — заберется коза в огород и таких бед натворит...

Я закинул веревочную петлю калитки на кол и вошел в дом.

Посреди комнаты сидел на венском стуле человек в кителе под цвет табака и таких же брюках с напуском на сапоги «джимми». Китиль на груди его обтягивали ордена и медали. На погонах — широкая серебряная полоска. Это отец сидел передо мной, старший сержант.

У него была сморщена правая щека, будто ему больно улыбаться. Стальные зубы сжимали трофейную сигарету в правом углу рта. У отца курчавились синеватые волосы. Бугры его глаз были до половины прикрыты веками, словно отец очень устал и ему хочется спать. Я сразу отметил про себя, что мы с отцом не очень-то

друг на друга похожи. Я на деда похож и маму. Лицо у меня круглое, волосы прямые, цвета сосновой коры. И только носы у нас с отцом оказались одинаковые — острые, с горбиком.

— Ну, сынок, подойди ко мне, — сказал отец голосом, похожим на скрип новых сапог. У военных, я замечал, такие голоса.

У меня засвербило в носу. Наконец-то «мерседес». Но где он?.. Может, стоит на станции, на платформе?

У мамы горел блин на сковородке. Бабушка сидела рядом с отцом на табуретке и выпрашивала его насчет погоды в Германии. На ее коленях ёрзал Юрик. Он доставал рукой, похожей на росток картошки, медаль «За отвагу». Никто не догадывался спросить отца, что он привез с фронта.

— Папка, за что тебе дали такие красивые? — Юрик забренчал медалями. Он картавил, и вместо «красивые» получалось «класивые».

— За отвагу, сынок, — ответил отец и погладил его по головке. Пальцы у отца были темные, с глубокими бороздками в суставах.

Ну и подлиза мой братец! Уже называет этого фронтовика папой. У меня язык не повернется... А мне надо было позарез его спросить о самом главном.

Выручил меня Юрик. Он пересел на отцовские колени и сказал, подлиза:

— Папка, а ты Герке привез этот самый... э-э-э... «мерседес»?

— Письмо, в котором он просил «мерседес», я не получил, — ответил отец, и все засмеялись. — Но подарок есть. — Он наклонился к своему фанерному чемодану и вынул оттуда большое яблоко с коричневой вмятиной на боку.

Яблоко славно пахло, но я отвернул голову. Вместо «мерседеса» — яблоко. Я сжал губы, чтобы они не задрожали, потом все-таки взял яблоко.

— А ты говорил, что папка привезет тебе легковушку, — залопотал брат.

— Молчи, а то не получишь яблока, — ответил я ему тихо.

Я любил своего хилого брата. Мог часами возиться с ним, играть в его игры, и доходило до того, что вместо «р» говорил «л», как он. С Юриком я как бы вновь становился маленьким, когда еще не знаешь ни о войне, ни о школе, ни о карточках на хлеб... Юрик и узнавал-то обо всем этом от меня, хотя я ему старался рассказывать только сказки. Но как-то само собой получалось, что он узнавал и все остальное. Братец мой знал про нашу штаб-пещеру и наши планы.

Юрик посмотрел на меня умильными глазами. Свое яблоко он съел — семечки валялись на столе. Но и моего хотелось попробовать.

Я взял на кухне нож и разрезал яблоко на четыре части. Одну — маме, другую — бабушке, третью — Юрику, четвертую — себе.

— Зачем тебе «мерседес»? — Отец выбросил окурок и достал новую сигаретку из блестящего портсигара.

Но бабушка не дала ему больше курить заграничные. Она встала и принесла из сеней мешочек с самосадом.

Мы сажали много табаку и сами резали его. На табак можно было выменять что угодно. Мы берегли для отца мешочек табаку еще со старого урожая. И вот он закурил наш табак.

— Нужен «мерседес», — ответил я, впиваясь зубами в белую сладкую мякоть яблока.

— Они хотели с ребятами удрать... — выдал меня Юрик и прижался к отцовской груди. Он знал, что я поколочу его за ябеду.

— Куда удрать? — Отец сдвинул к переносью брови, похожие на сапожные щетки.

— С японцами сражаться, — ответил Юрик.

Я не бил брата. Он у нас туберкулезник. Но тут я показал ему кулак. Я ему как брату, под секретом, а он запросто выкладывает наш план.

— Чтоб я больше не слышала! — вмешалась мама в наш разговор, со скрежетом разворачивая сковородку на плите. Ее лицо охватило малиновый пыл. — Нашли тоже игру — в войну. Нет, чтоб в дом играть, в хозяйство...

— Да богу молиться за отца, — подбавила бабушка.

— Еще чего, — нахмурился отец. — И то гляжу — иконами обвешались. Клопов, наверно, под ними...

— Господь милостив, Василь, — вздохнула бабушка и перекрестилась на иконы в углу. — Дошли наши молитвы...

Отец поглядел на сумрачные иконы, и правая щека его сморщилась.

— Мне повезло, и все, — сказал он, вдыхая крепкий дым самосада. — Я видел простреленные иконки. — Он ткнул себя пальцем в грудь. — Вот тут...

— Все от бога, — пробормотала бабушка.

Плохо, что бабушка сваливает все на бога. Она даже против того, чтобы я отомстил японцам за деда. Они-де не виноваты. Так бог хотел... И все же бабушку я люблю больше даже, чем маму. Сколько раз ходили мы с бабушкой в лес за орехами, ягодами, щавелем, разными целебными травками и корешками! Она называла в лесу травы, цветы, жуков, бабочек, птиц и деревья. А недавно бабушка вылечила мне зубы. Отчего они заболели? Стали шататься и гнить. Боль такая, хоть по земле катайся. И бабушка стала меня поить отваром из трав и корней, а потом заговаривать зубы.

Мы сиделись ночью перед окном и глядели на луну, которая напоминала очищенную картофелину. Бабушкино лицо с бугристыми скулами окаменевало, седые волосы отсвечивали, как фольга. Она напоминала колдунью. Меня мороз пощипывал по лопаткам, когда бабушка начинала заговор: «На море окияне, на острове Буяне, на песках сыпучих дуб стоит дремучий, в дубе том дупло, в дупле — темно. Изыди, болезнь, из Геры отрока на остров Буян, в дуб дремучий, в дупло вонючее». И я повторял за бабушкой заговор по семь раз. И к концу он выпевался во мне. Я видел явственно свою болезнь — паучка с крыльями, который летит от меня в столбе лунного света.

И вот теперь зубы не мучают меня. Я могу спокойно удрать из дому, чтобы отомстить за деда.

— Без тебя замучилась с детишками, — сказала мама и подула на обожженный палец. — Накорми их, обуи, одень, в школу отправь... Герка плохо учится. Учителя говорят: способный, да не тем занят. Войною бредит, оружием, штабами. Разряд взорвали какой-то, чуть всех на клочья не разнесло!.. А Юрика чем только не лечила! И медвежий жир давала, и мама заговаривала, и собачку ел, и к знаменитой травнице водила... Врачи говорят: питание улучшить надо и к морю повезти на гонимую. Да где ж его взять, море-то?..

У отца появилась на переносье треугольная складочка.

— Все будет. — Он прижал Юрика к своим медалям. — Море — тоже. — Подмигнул мне цыганским глазом: — А тебе никакого «мерседеса» не надо. Далеко ли на нем укачишь?

— Перво-наперво корова... — Мама обернулась и взмахнула ножом: блин чадил на сковороде. — Молоко свое будет — быстро Юрку на ноги поставим.

— А что бы ты сказала насчет переезда? — спросил отец.

— Куда это? — насторожилась мама.

— Южный Сахалин-то освобождается, — ответил отец.

— Корову заводить надо, — сказала мама и шлепнула черный блин в стопку. — В крайнем случае коз.

— А моря ты не желаешь? — спросил отец, прищурившись.

Мама замерла, прижав к груди руку с ножом. Ее глаза устремились мимо нас, вдаль, а уголки губ дрогнули. Она будто увидела это далекое море. Но тут же почув-
 яла жар и бросилась к сковородке.

— Не до большого теперь уж, — ответила она. — И то море не наше...

— Теперь наше, — сказал отец и стал подбрасывать Юрика на коленях.

— Войну человек прошел, а ума, как у Герки, — пробурчала мама.

— Картошка там не родит, поди, на этом Сахалине, — сказала бабушка. — Без картошки как жить-то?

— А мы хотим к морю. Так, ребятишки? — спросил отец.

Я кивнул головой.

— И я! — заверещал Юрик, дрыгая белыми ногами.

2

Время шло, а корову мы не купили. Даже козы не появилось у нас во дворе. Отец не находил в Хабаровске работы по душе. Рыбаком на Амуре он больше не мог работать из-за ранения. С утра до вечера отец искал работу и вечером приходил выпивши.

— Разведчика хотят кастаньяном сделать, — выговаривал он и глядел исподлобья.

— Дурака валяешь, — отвечала мама и скрещивала свои тонкие руки на груди. — Разбаловались на фронте. Раньше глядеть на спиртное не мог, а теперь дня не бываешь трезвым.

— Двадцать четыре «языка» взял, — говорил отец, — и — кастаньяном, ха-ха-ха!..

— Все бы с дружками пил да балясы точил.

Мама нервничала и уходила в спальню.

А я был рад, что отец не соглашается кастаньяном. Мы с ребятами давно изменили план... Теперь я ехал с отцом на Южный Сахалин, к японцам. Я обязан был написать оттуда ребятам письмо с подробным объяснением, как попасть на Южный Сахалин. Получив письмо, они должны были добраться до меня зайцами. И тогда уж мы отомстим японцам и за деда, и за Лесикова отца, и вообще за все.

Однако отец медлил с отъездом на Сахалин всю зиму. Я уже свободно переговаривался по-японски с учительницей, которая вела наш кружок японского языка, а отец всё тянул. Тогда я начал поторапливать его, но мама два раза огрела меня за это ремнем.

И все-таки мы с отцом победили.

Однажды в конце марта, когда мы с Юриком вылезли греться на завалинку, он вернулся раньше обычного. Полы его длинной распахнутой шинели колыхались, как серое знамя. Мы соскочили с завалинки и пошагали в дом по обе стороны отца.

Мамы не было дома, и я спросил его:

— Когда мы поедем на Сахалин?

— Через неделю, — ответил он. — Завербовался я, подъемные получил на всю семью. Продадим дом и поедем.

— Я тебе продам! — закричала мама, появившаяся на пороге. — Я тут по крошке собирала... И одеяло без тебя справила, и стулья венские выменяла на табак, и крышу новой толью покрыла!.. А ты хочешь всё по ветру пустить?

Отец набычился, раздвинул нас в стороны и закричал так, что жила на шее задергалась:

— Меня, разведчика, хотите куркулем сделать?! Не выйдет! Я морем буду дышать, а не навозом!

Мы с Юриком разбежались по углам.

Отец встал на цыпочки, сорвал икону Николая чудотворца и разломил ее о коленку. Сверкнула белая древесина на сломе. Он кинул обе половинки в печьку через загнетку. Только треск пошел.

Отец вернулся в угол, достал вторую икону и понес ее к печке двумя пальцами, словно паршивого котенка.

Мама загородила дорогу к печи. Она была сильная и могла постоять за порядок в своем доме против кого угодно. Но отец легонько задел маму, и она пошатнулась.

— Мама-а-а! — закричал Юрик, и я вздрогнул.

Отец вернулся за последней иконой. Это была любимая бабушкина богородица.

Я бросился в спальню и помахал бабушке в окно. Она возилась в старом парнике под окном. Бабушка вытерла руки о заплатанный передник и засеменила в дом.

Отец не мог затолкать богородицу в загнетку. Мама плакала в углу.

Бабушка вошла и сказала отцу:

— Уймись, сокол ясный.

Отцовы глаза отражали огненный круг загнетки. Медали звенели. «Сокол ясный» поднял глаза, и огонь в них исчез. Но казалось, он хочет клонуть кого-то горбатым носом. Однако бабушка не испугалась, подошла к нему, отобрала икону и тут же спрятала в свой сундучок.

— Добра ждать теперь нечего, — сказала бабушка и покачала головой над сундучком.

— Я научу вас море любить, — скрипнув зубами, пробормотал отец и хлопнул дверью. Он промелькнул мимо окна. Из-под сапог летела грязь.

Мама заплакала сильнее. Голос ее разрывался и булькал. Тело вздрагивало. Не верилось, что плачет наша мама, командир дома. Даже во время путины на Амуре ее ставили бригадиром над красноармейками, которые помогали рыбакам... Но тут же я стиснул челюсти. Нет, я не должен паниковать. Как решили в штабе, так и надо держаться.

И я вышел на улицу, чтобы не слышать всхлипов матери.

Вскоре отец вернулся с двумя фронтовиками. Они так кричали, что взбудоражили всех собак на нашей улице. И за столом не сбавили голоса.

— Ты, Зимин, отъездился, — сказал отец дружку с деревянной колодкой вместе ноги. — А вот с Чумы я не слезу. — И он легко ударил в плечо второго фронтовика с очень впалыми щеками. — Поедем на море рыбачить, слышь, Чума?

Чума заболтал головой в разные стороны:

— Надоело.

— Ты счастливчик, Васька, счастливчик, — бормотал Зимин и пристукивал деревянной ногой. — Четыре года воевать, и все цело!

— Даже лишнее есть, — отозвался отец и завернул рукав кителя выше локтя. — Пощупай.

Дружки по очереди пробовали что-то под белой кожей отца ниже локтя.

— А ну, сынок... — сказал отец и протянул мне руку. Фронтовики только тут обратили на меня внимание.

Один потрепал меня по плечу, другой сунул в рот кусок американской колбасы.

Отец взял мою ладонь и прижал пальцы к своей руке. Я ощутил под кожей непродавимые мускулы и твердый, как кость, плоский осколок.

— Больно, пап? — спросил я, еле выговорив последнее слово.

— Нет, — ответил отец. И пожаловался дружкам: — Только воды стала бояться... Чуть что — отнимается. Ну, на Сахалине в порту мне место обещано.

Юрик бросил маму в спальне и притопал к нам. Он залез к отцу на колени.

— Счастливчик ты, Васька, счастливчик, — повторил Зимин и вздохнул. — Побегашь еще по свету. На Сахалине, говорят, хорошо. Селедка идет — черпай ведром.

— Хитрого мало. — Отец составил кружки в кучу и разлил водку. — Море — не наш Амур.

Друзья лязгнули кружками, выпили не морщась. Закусили розовыми шматками колбасы. Отец приказал мне принести из-за печки мешочек с табаком. Я исполнил приказание. Щепотки фронтовиков ткнулись в зеленое крошево, словно голодные птицы в зерно. Фронтовики свернули сигарки. Щепотки их чуть дрожали. Отец обнес дружков огоньком. У него была зажигалка — маленький снаряд.

— И ты заживешь хорошо в моих хоромах, — сказал отец Зимину. — Как другу и инвалиду Отечественной войны отдаю тебе дом задаром.

— Ты один дому хозяин, да? — выкрикнула мама из спальни звенящим голосом.

— Я строил дом, — громко ответил отец. — Хочу — спалю, хочу — отдам... — Он снизил голос и вытянул шею к друзьям: — Трудно, братва, семьей командовать. Взводом — куда легче...

— Опасно сейчас ехать на Сахалин, — сказал Чума и втянул дым так, что щеки стали двумя глубокими чашками. — В море мины... Японец злющий... Самурай не сдавались. Расстреляет патроны и носовой платок — на штык. Подбежишь к нему, а он гранату под ноги... Санька Чириков под Хайларом и попался так.

— Доверчивый был, помните какой? — сказал отец и окаменел.

— На руках у меня помер, — добавил Чума.

— Эсэсовцы тоже поначалу не сдавались. — Отец сжал кружку так, что она хрустнула.

— Ну, самурай куда хитрее эсэсовца, — ответил Чума. — До сих пор постреливает...

— А сыновьям ничего не страшно, — сказал отец и больно провел рукой по моему «боксу». Волосы вздыбились. — Вот он, надежда отца, растет. Хочет японцам дать по шее...

Я расправил плечи, подтянул живот. Но Чума поглядел на меня так, что захотелось спрятаться. Однако в следующий же миг я склонил голову к плечу и выдвинул нижнюю губу. Я хотел показать, что ничего не боюсь.

— Ух и табак у тебя, Васька, гхм, гхм!.. — Щетинистое лицо Зимина скрылось в терпком дыму.

— И табаку тебе оставлю с полкуля, — ответил отец и настороженно обернулся к спальне.

Мама, конечно, не замедлила ответить.

— Табак ты не сажал! — крикнула она, и в горле у нее словно булькнул стальной шарик.

— А-а-а... — Отец махнул рукой в сторону спальни: не обращайтесь, мол, внимания — и предложил друзьям: — Набивай кисеты, ребята.

Но я знал, что табак мама не отдаст. Он нам тяжело доставался. Наши ладони покрывались кровавыми мозолями, пока мы вскапывали огород. А сколько приходилось возить нам вдвоем навозу в ручной тележке, чтобы удобрить землю. Потом прополка и окучивание. А еще надо было следить, чтобы коровы или козы в огород не забрались. И для этого мы возили с металлической свалки индиговую змеевидную стружку и обтягивали ею редкие колья ограды. Сколько раз мы руки резали этой стружкой... На полкуля табаку можно было долго жить не тужить.

Фронтовики неуверенно зачерпнули по горсти самосаду.

— Бывало, пайку хлеба отдашь за осьмушку махры, — сказал Чума, сунул утиный нос в горсть и чихнул.

— Хитрого мало, — ответил отец, закрывая глаза от крепкого дыма, — нервы убивает. — Он кашлянул и запел:

*Лесом, поляной, дорогой степной
Парень идет на побывку домой.
Ранили парня, но что за беда —
Сердце играет и кровь молода...*

Отец пел натужно, скрипучим голосом, но с душой. Юрик начал ему подпевать. Подхватили песню и дружки.

Мне было не до песен. Я выскользнул в сенцы и побежал через огород в темный овраг. Ребята ждали меня.

3

Большой чайник пришлось нести Юрику, так как наши руки были заняты чемоданами, бельевой корзиной и узлами с табаком. Крышка на шпагатике громыхла, как тарелки в духовом оркестре. Из всех дворов лаяли собаки. Соседи глядели на нас из-под руки. Их, видно, слепил чайник, отражавший солнце, словно зеленое зеркало. Мама хотела и в чайник засыпать табак. Но Юрик тогда бы не донес его.

Отец нагружился так, что еле передвигался. Куча узлов на блестящих сапогах «джимми». Отцу пришлось забрать весь табак, какой был у нас, иначе мама ни в какую не хотела ехать. Она плакала и приговаривала, что отец нас по миру пустить хочет. Она никак не желала понять, что табак нам теперь не нужен. Раньше он как бы заменял нам отца. А теперь отец сам будет нас кормить, обувать, одевать. Не нужно выменивать за табак шинели и шить нам из них штаны, рубахи, телогрейки... Но мама не понимала этого. И отцу, в конце концов, пришлось нагружиться.

Нас провожали дружки отца и соседка Василиса. Борька, Скулопендра и Лесик тоже гнулись под чемоданами. Мне оттягивали руки узлы с табаком, а карманы штанов и шинели — самопал, патрон от крупнокалиберного пулемета, рогатка, две самострельные ракеты и леска с бронзовым крючком. Леску подарил мне Борька. Через плечо у меня была перекинута школьная матерчатая сумка, набитая учебниками для шестого класса, альбомом и русско-японским разговорником, которым меня наградила руководительница кружка за усердие. Она, старенькая наша Марья Павловна, думала, что я изучаю японский язык ради будущей дружбы с японцами. Она любила поговорить о том времени, когда кончится война. Она зажимивалась и рассказывала, как мы будем ездить в гости к ним, а они к нам. Совсем запросто, словно соседка Василиса к моей матери на чай. И читала нараспев Марья Павловна короткие японские стихи — танки.

*Ах, не топчи, постой!
Здесь светляки сияли
Вчера ночной порой...*

У меня от них сладко свербило в носу. Но провести меня было не так-то просто. Я помнил про танки, которые нацелены в нас с той стороны границы.

— Как приедешь, сразу пиши, — напоминал Борька всю дорогу до вокзала.

— Ты с японцами не рассусоливай, — советовал Скулопендра, вытирая пот со лба рукавом телогрейки. — Чуть чего — бей! Нас не дожидайся.

— Я б бы их... — сказал Лесик и чуть не уронил бабушкин сундук в грязь.

На вокзале я хотел устроить последнее совещание нашего штаба. Но старая труба из духового оркестра расстроила все мои планы.

Бронзовой улиткой прильнула она к железной ограде вокзала. Ее золотистый, с легкими вмятинами бок отражал солнце сильнее, чем наш чайник. Люди проходили мимо, но никому до трубы не было дела. Наверное, поломалась труба во время марша, и военные выбросили ее.

Мы окружили трубу. Борька оглянулся, поднял ее и надел на себя. Никто не окликал нас. Значит, труба была ничейная. Борька подул в мундштук, давя на клапаны. Труба не играла. Ребята побросали чемоданы и стали по очереди надувать щеки. Но труба только сипела.

— Починим, — сказал Борька, и они пошли назад. Они торопились, чтобы кто-нибудь не отобрал трубу.

— Ребята! — крикнул я.

Они повернули головы.

— Вот что, Гера, — Борька перебрал клапаны трубы, — если там подвернется флейта какая-нибудь, пришли. Создадим оркестрик...

— Знаешь, Борька, — ответил я, сдвигая брови, как отец, — я еду не флейты собирать!

Они посмотрели себе под ноги, потом по сторонам, помахали мне торопливо и зашагали дальше. Труба колыхалась на прямой Борькиной спине, обтянутой перелицованной шинелью. У нас с Борькой одинаковые шинельки.

Я заплел руку в решетку перронной ограды и так замер. Неужели не видеть мне больше оврага, где в зарослях паслена скрывался вход в пещеру?..

— Чего рот раскрыл? — Мама схватила меня за плечо и подтолкнула к воротам на перрон.

Вокзальный репродуктор с треском пел «Под звездами Балканскими».

Я протиснулся в вагон. Отец бегал взад-вперед, таская узлы. Его кудри из-под лакированного козырька военной фуражки обмокли и прилипли ко лбу.

Поезд двинулся, и песня стала стихать. Я высунулся из окна, стараясь увидеть ребят. Но ветер ударил в затылок, и мама закрыла окно от сквозняка.

Я сел на скамейку в угол и нахохлился. Да и вся семья загрустила. У мамы слезы лились, точно масло из дырявой масленки. Бабушка перекрестилась, когда мы проехали последний дом на краю Хабаровска.

— Ох, и зачем ты пожег иконы, Василь! — сказала она. — Ляксея мой и тот иконы не трогал.

Отец облизывал языком сигарку и сплевывал табачины. Он лишь поморщился от бабушкиных слов.

Один Юрик суетился и смеялся. Он сел на столик и прилип носом к стеклу. Мимо проносились бурые луга с гусями, красные дома, голые перелески, а дальше проплывали под солнцем широкоплечие сопки, пятнистые от снега. Поезд догнал тележку, которую волокла корова. Буренку подстегивала длинным прутом девочка в рваной телогрейке. Девочка пыталась угнаться за поездом. Но буренка только отмахивалась хвостом от прута. Тогда девочка показала нам розовый острый язык.

Юрик запрокинул голову от смеха. Но смех перешел в кашель. У брата поси-
нел висок, и лицо сморщилось, как у старичка.

Мама и бабушка захлопотали вокруг него. Они уложили Юрика в большую нашу корзину на бельё. Отец сбегал к банку, набрал в грелку горячей воды и положил Юрику в ноги.

Брат перестал кашлять. Он лежал, точно кукла. Глаза его поблескивали каплями ртуті. Я не мог смотреть в его глаза. Мне сразу вспоминалась тетя Вера, мамина сестра. Она умерла от туберкулеза три года назад. Вот так же лежала в спальне, и румянец, как от пощечины, проступал на ее скулах. Когда она была еще на ногах, к ней приходили свататься лейтенанты. Но Вера отказывала всем. Когда лейтенанты уходили, Вера плакала. Мама и бабушка плакали вместе с ней. В такие минуты Вера брала свой альбом в красном бархатном переплете и перебирала фотографии этих лейтенантов. Я часто щупал бумагу в ее альбоме. Она была толстая и белая. Вот на чем рисовать!..

Когда Вера слегла, она позвала меня. «Гера, — сказала она, — когда я умру, возьми мой альбом. Рисуй».

Помню, как подло я обрадовался. Еще бы — такая бумага! В школе мы писали кто на чем. Вера сделала мне тетрадки из серых и желтых бухгалтерских бланков. Там были напечатаны красивые и непонятные слова: «дебет» и «кредит». Рисовал я тоже на «дебете» и «кредите». Борька, Скулопендра и Лесик любили рассматривать мои воздушные, морские, наземные бои. Они говорили: «Здорово!» А как бы я нарисовал на хорошей бумаге! И вот Вера дарила мне свой альбом... С того времени я стал прислушиваться к ее кашлю. И вот однажды... Прибежал с улицы, а Вера застыла в своей постели... Бабушка шила тапочки из черной материи. Я подумал, зачем такие непрочные тапочки? И тут до меня дошло, что бабушка шьет их Вере. А Вере в них не ходить... Кожу свело на челюстях. Я выбежал во двор и по пустому огороду спустился в овраг. Там свалился в бурьян, пытался прокусить себе руку, чтобы кровь вся вытекла и я умер. Но зубы не слушались меня. Даже больно они не желали делать... Я хотел умереть из-за того, что подло дожидался альбома. Но расстаться с жизнью оказалось не так-то просто.

К альбому я не прикасался долго. Рисовал по-прежнему на «дебете» и «кредите». По рисованию у меня пятерки.

Но вот осенью у Юрика случился приступ, как сейчас. Мы дежурили возле его постельки. Бабушка рассказывала Юрику сказки, а я ходил, как Чарли Чаплин, и пускал зеркальцем зайчиков.

В конце концов брату надоели мои выкрутасы. Он попросил меня нарисовать картинку. Я предложил ему бой матросов с японцами. Но Юрик в ответ замотал головой: «Не хочу бой. Нарисуй мне красивую картинку».

Тогда я взял альбом и спустился в овраг подумать, что бы такое нарисовать брату... Я засел в кустах паслена, недалеко от пещеры. Не люблю, когда мешают рисовать. А тут надо еще и подумать... Над оврагом голубела небесная река. По ней плыли серые дымы. Из-под земли донеслись голоса ребят:

*Синее море,
Белый пароход,
Сядем — уедем
На Дальний Восток...*

Я перебирал карандаши: синий, красный, простой и огрызок зеленого. Ах, какие цветные японские мелки видел я на базаре, когда ходил с мамой менять губную гармошку на галеты! Но просил за них дядька столько денег, что нам и не снилось.

Я вздохнул и взял синий карандаш. Набросал запрокинутые под ветром гребни волн. Дал им оттенки синего. Вот острый нос врезался в волны, округлая корма, труба с дымком и две мачты... Зеленым карандашом подрисовал вдали островок с треугольными распадками. На небе оставил белые пышные тучи. И еще взмахами

простого карандаша разбросал чаек в разных наклонах... Все — из ума, ничего — с натуры.

Я позвал ребят и показал им картину. «Вот здорово!» — сказали они.

И Юрику понравилось. Он стал расспрашивать меня о белом пароходе.

Я напел ему, что этот пароход заплывает и в Японское море. На нем живут загорелые ребяташки. Пароход такой огромный, что на нем цветут сады и плещутся озера с золотыми рыбками. Ребяташки бегают в садах, плавают в озерах и едят галеты с компотом.

«Гера, я хочу на этот пароход», — сказал Юрик и вцепился в мою руку.

«Выздоровливай, — ответил я и подмигнул ему, — тогда дело будет в шляпе».

Через несколько дней брат встал на ноги. Но вот опять...

Со страшным грохотом заслонил свет в окне встречный поезд. Я вздрогнул.

— Гера, дай мне поиграть патрон, — сказал Юрик и протянул руку к оттопыренному карману моих штанов.

Я порылся в кармане и достал патрон от крупнокалиберного пулемета. Юрик схватил его и начал колотить шляпкой об острый железный край столика. Я сделал ему знак, чтобы он играл осторожнее. Но Юрик метил капсюлем об острый угол. Тогда я отнял у него патрон. Юрик поднял крик.

— Отойди от ребенка, олух окаанный! — сказала мама.

Подошел отец, увидел патрон и отнял. Его веки дрогнули. Отец повернулся и пошел в тамбур. Я последовал за ним. Он рванул дверь и швырнул патрон. Бронзовая гильза сверкнула над кустами.

Отец стал боком ко мне. Его горбатый нос делал клевки, вторя вагонной тряске.

— Еще есть? — спросил отец.

Я замотал головой.

— Зачем таскаешь такие дела? — спросил он.

— На японцев, — ответил я. — Не табаком же мстить за деда.

— А на табак можно выменять заветный твой «мерседес», — сказал отец игриво.

— «Мерседес» мне больше не нужен, — буркнул я, нажал плечом дверь и нырнул в вагон.

4

С вокзала нас повезли на машине прямо в порт. Улицы Владивостока вздымались и опускались волнами. Они скатывались к морю. Берег бухты был обставлен пароходами.

Нас подвезли к серому пароходу, на носу у которого белела надпись «Советы». С одной стороны парохода сияло, как наш эмалированный чайник, море. С другой стороны кишела толпа переселенцев. Мы влились в нее и под звяканье чайника пробились к трапу, потом на палубу.

Растрепанные люди с криком волокли чемоданы, узлы, сундуки к каюточкам с надписью «Твиндек». Мы тоже протиснулись в один из этих твиндеков. Отвесная лестница сбросила нас в темную утробу парохода.

Чайник затих — Юрик нашел себе место. Он залез на нижнюю сетчатую полку и сидел, поглядывая на меня из-под шали. Я бросил свой чемодан, узел и побежал на палубу. За мной застучали по железным ступенькам трапа бурки Юрика. В трюме пахло ржавчиной, селедкой, табачным дымом и кислятиной. А палубу грело весеннее солнце. Морской ветер гладил лицо.

Мы с братом пошли, где никого не было, — на корму.

Вода в бухте напоминала по окраске хвост павлина.

— Это от нефти, — объяснил я брату.

К борту нашего парохода прибило мандариновую корку. Мы с Юриком стали плевать в нее. Юрик загадал: если попадет до десяти, мы встретим белый пароход. А я загадал: если попаду до десяти, на нас не обрушится буря. Мы плевали по очереди. Юрик первый попал в корку. Он запрыгал на одной ноге и зашел:

*Синее море,
Белый пароход...*

Я попал лишь на десятый раз.

— Не будет бури, — объявил я торжественно брату. — Наш десант высадится в полном боевом порядке!

— Бури не будет, — вмешался кто-то у нас за спиной тягучим голосом, — а штормик баллов на шесть-семь потреплет «наш десант».

Мы обернулись. К нам подкрался высокий лохматый дядька в морском бушлате и клёшах. Под бугром его носа, напоминающим валенок, топорщились усы из медной проволоки. Дядька легонько шевелил ими при разговоре. Он пристально смотрел на солнце из-под левой руки, на которой не хватало двух пальцев — безымянного и мизинца. Солнце напоминало кусок тлеющего кокса. В войну мы иногда топили коксом, который я собирал на станции.

— Шторма не боитесь? — спросил дядька. Губы его выгнулись серпом, кончиками вверх.

— Нет, — ответил я и пожал презрительно плечами.

— А мин?

Я пожал еще презрительнее.

— А кто «травить» будет? — спросил дядька, и ус его дрогнул, как у таракана.

— Никто, — ответил я и повернулся к поручням.

— Поживем — увидим, — сказал дядька и зашаркал тяжелыми ботинками по палубе.

— Будет буря, будет шторм — встретим белый пароход, — сочинил Юрик и опять запрыгал по палубе.

В это время пароход загудел, и мы поплыли. Катерок-букашка поволок «Советы» на длинном канате в море.

— Как называется белый пароход? — спросил Юрик.

— «Оранжед», — ответил я, не моргнув.

Палуба под ногами качнулась. Из трубы выкрутился густой дым. Катерок пронесся мимо нас назад, подпрыгивая на волнах. Над мачтой закачались плоскодонные облака. Ветер подул холодный. Волны неслись на наш пароход, как табун зеленых коней с белыми гривами.

Я взял Юрика за руку и повел назад, в твиндек. Брата могло прознобить здесь, хоть он был укутан маминой шалью. По дороге я стал рассказывать брату о белом пароходе, плел ему, какая чудная жизнь у ребятешек на «Оранжеде».

В твиндеке ударил в нос тяжелый табачный дух. Меня сразу затошнило. Юрика потянуло на сон. Мама уложила его на среднюю полку. Я лег рядом.

По полу катался от борта к борту чей-то мяч, наполовину синий, наполовину красный. Волны стучали в борт, подбивали мяч. Удары становились звучнее. Они покрывали барахолочный шум твиндека.

Я закрыл глаза и увидел, будто рядом с нашим пароходом плывет мина — круглая, со стеклянными рожками. Все ближе и ближе на быстрой волне... Еще миг!..

Я прижал ладони к лицу. Потом потихоньку сдвинул их с глаз, со щек... Откуда эта трусость во мне? Может быть, так себя чувствует и каждый настоящий десантник?

Я растолкал Юрика и стал, полусонному, рассказывать о белом пароходе.

— Ребятишки не боятся мин, — говорил я, и лопатки мои передергивались от озноба, — потому что на «Оранжеде» установлены такие приборы... Они замечают мину издали и расстреливают ее из пулемета: тр-р-р...

— А если на них нападет подлодка? — спросил Юрик, зевая.

— Ребятишек никто не смеет трогать, — ответил я. — Ребятишки — в чем они виноваты? — Я прислушался к хлопу волн за бортом и прибавил: — На крайний случай, на «Оранжеде» полно всяких шлюпок и спасательных кругов.

— Гера, а ты на Сахалине драться будешь с маленькими японцами или с большими? — спросил Юрик, и его глазенки сверкнули.

— Все они одинаковые, самураи, — ответил я. — Кроме самых маленьких, вроде тебя.

Юрик опять засопел носом. Тогда я положил голову на край полки и стал глядеть, что делается внизу.

На нижних полках сгорбились наши и еще несколько человек. Среди них я увидел того усатого. Семеном называли его соседи. Кончики усов шевелились вовсю. Разговор был не о минах, не о штормах, не о самураях, а о каких-то пустяках. Словно собрались соседусшки на крылечке в сумерках посудачить. Видно сразу — им не страшно. Может, это оттого, что никто из них не собирается мстить японцам, как я.

— Картошка, капуста там родит, Семен? — спросила бабушка, затуживая ниже подбородка косынку в синий горошек.

— Родит, — ответил усатый и махнул левой рукой. Казалось, безымянный и мизинец у него поджаты. — Яблони даже родят. Только японцы сады не разводят на Сахалине.

— Нехристи, — сказала бабушка. — Ляксея моего в гражданскую живьем сожгли, как чурку дров... — Она достала из сундучка фотографию деда, потеряла черную рамку о кофту и подала Семену.

Семен склонился над фотографией, кашлянул в кулак, но ничего не сказал. Я свесился с полки. Люди смотрели на моего деда и молчали. Я хотел, чтобы они увидели, как я похож на деда. Но они так и не заметили этого.

— А я всяких семян набрала, — восторженно сказала бабушка. — Жива буду — садик разведу.

Пароход качнуло с борта на борт. Сине-красный мяч прыгнул на ржавый борт. В дальнем конце твиндека заплакал ребенок. Отец вынул портсигар с выбитыми на крышке черепом и костями. Крышка откинулась, соседи потянулись за самосадом.

Мама попросила, чтобы не пускали дым на детей. Они закурили, стараясь выпускать дым подальше. Но он все равно поднимался к нам сизыми пластами.

— А пьют они что? — спросил отец усатого.

— Рисовую легкую водочку, сакэ, — ответил Семен. — Пьют наперстками. Нашего разгулу у них нет.

— Научим, — заявил отец, подмигивая.

Все засмеялись.

— Пальцы-то там потерял? — спросила бабушка, указывая на левую руку Семена.

— Самурай отхватил кинжалом, — ответил Семен и повертел трехпалой рукой на свету.

Я еще ниже свесился с полки.

— А дело так было, — продолжал усатый, и все взгляды нацелились ему в рот. — Взяли мы с боя Маока и одного за другим самураев накрываем... Победа!

Мы с дружкой автоматы на плечо и стали обдумывать насчет сакэ. Рядом с портом домишки налеплены, и выскакивают оттуда японец с японкой. Кланяются и лопочут что-то. Мы им про сакэ, а они в ответ: «Самурай, самурай...» Японец показывает на порт, она — в воздух руками: «Па-ф-ф! Бо-ф-ф!» Мы соображаем — дело нешуточное. Порт взорвать самураи замыслили, что ли? За автоматы — ведите! Они нас к складу громадному подводят. Перед дверью губы у обоих затряслись — слова сказать не могут. Ну, мы их оставили, сами — в склад. А там кули рогожные с вяленой селедкой штабелями, чуть не до потолка. Дружок верткий у меня, вскарабкался на штабель и поверху дует. А я понижу бегу. В полутьме прохода поперечного не заметил. Самурай и выскочил на меня оттуда кошкой. Я левой рукой успел прикрыться — двух пальцев как не бывало. Острый кинжал — боли я не услышал. Второй бы удар верный был, да дружок сверху на самурая свалился и автоматом приглушил.

Семен оглядел свою левую ладонь, точно читал по ней. Цигарка, зажатая между большим и указательным пальцами, дымила. Семен вскинул голову. Зашевелились усы.

— Над машинкой взрывной сидел наш самурай. Ждал, когда в порту все десантные катера соберутся... Если бы не те японцы с японкой, было бы трауру. А так двумя пальцами отделались. Потом приходили ко мне в госпиталь те японцы, цветы и сакэ приносили...

— Сакэ и с тремя пальцами мимо не пролетит, — встрял отец, подмигивая.

Соседи разублались и загалдели.

— Памятник надо поставить твоим пальцам! — воскликнул дядька, которого называли Рыбиным. Он не курил. Сверху было хорошо заметно, что челюсть у него шире лба.

Где я видел раньше этого Рыбина? И слышал тонкий, горловой, как у нашей мамы, голос. Где? Что-то мерещится, а вспомнить — никак.

— Один нам нужен памятник для всех — мирная жизнь, — сказал Семен, затянулся и выпустил волнистое кольцо дыма. — Ух и табак — благодать!.. Лишь бы мир да такой табачок был. Верно, Василий?

— Пусть только пикнут еще, — пробормотал отец и взглянул исподлобья куда-то поверх соседей, — и немцы и их союзнички...

— Говорят, на Южном Сахалине с табачком туговато? — спросил Рыбин, отдувая дым от себя.

— Табак, он везде сейчас дороже хлеба, — ответил Семен и выпустил новое кольцо.

— Посадим и табачок, живы будем, — сказала бабушка. — Семян я взяла. Турецкий табак у нас.

— Ну, это когда еще новый вырастет, — заметил Рыбин, отмахиваясь от дыма руками.

— Да тебе-то чего? — с сильным хмыком ответил отец. — Не куришь ведь.

— Сочувствующий я курякам, — ответил Рыбин и засмеялся вдруг басом.

Я перевернулся на другой бок и достал из своей сумки альбом. Меня потащило, и я решил отвлечься. Слушать пустые разговоры не хотелось. Нет чтобы все время рассказывать друг другу о войне, как ходили в атаки, лазили за «языками», подбивали танки... Ну вот — Семен заговорил о своей жене.

— ... Вернулся я в Иркутск, а Марья моя за другого вышла... Пил три месяца, потом пошел в райком. Так и так, говорю, понравился Южный Сахалин, а потому как одинокий стал, направьте туда. Найду себе там японку...

Волны шарахнулись в борт, как стадо коров в тесном проулке. И вдруг нас потащило вниз, потом вытолкнуло вверх. И начались качели. Мама вытянулась на

нижней полке. Соседи разлезлись по своим полкам. Мама постанывала, когда пароход проваливался. Лицо ее бледнело все сильнее.

— Выведи меня на воздух, мама, — попросила она бабушку, словно отца тут и не было.

Бабушка и отец взяли маму под руки и повели к трапу. Рыбин, хватая воздух большим ртом, тоже шел на палубу. У самого трапа он прихватил рукой челюсть и побежал. На верхних ступеньках мелькнули подковки на каблуках его яловых сапог.

— А ты выдюжишь? — спросил Семен, садясь на полку против нашей.

Я что-то промямлил: нужен он мне, такой «десантник», который любит японцев. А внутри в самом деле становилось мутрно.

— Ты должен выдюжить, — продолжал он, — иначе какой из тебя вояка?

— Дядя, а Герка наш знаете как здорово про войну рисует! — сказал проснувшийся Юрик. Он взял у меня с колен альбом и подал Семену.

Тот перелистал альбом.

— Чувствуется рука, — сказал Семен протяжнее, чем говорил раньше, и вернул альбом. — Только война сплошь у тебя тут... Вот и говорю — вояка.

— У него есть и про синее море, белый пароход, — ответил Юрик, — только в колзине — доставать далеко.

— Вот именно что в «колзине», — ответил Семен и взял Юрика к себе на колени. А мне сказал: — Рисуй лучше собак, яблоки, дома с дымом. Скоро на войну мода пройдет.

Я скривил губы и засунул альбом в сумку. Какие еще собаки, яблоки, дома? Я думаю про деда. Дай себе волю — и слюни распустишь. Смотрел, помню, кинокартину цветную «Бэмби» и залился слезами, когда у Бэмби, крошечного олененка, охотники убили мать... Пусть Борька попробует еще раз заикнуться об оркестре, я ему покажу!..

И тут что-то накатило изнутри к горлу. Я спрыгнул — только сетка взвизгнула за мной — и побежал к трапу. Ноги вынесли меня на палубу. Я протиснулся между людьми у поручней на борту и свесился над морем.

Люди с зелеными лицами вокруг меня делали такие движения, точно хотели выброситься в море, но в последний момент раздумывали. Я поглядел на них и сам сделал такой же рывок за борт. Пароход в этот миг дал крен на наш борт, и мои руки отцепились от поручней.

Сердце замерло — я повис над рокочущей пропастью. Потом скользнул вперед и вниз. Но чьи-то большие руки поймали меня сзади.

Слева я увидел на спасительной руке только три пальца. И еще я заметил, как самопал и одна ракета выскользнули из кармана и плеснули в тяжелой волне. Я и не пожалел об этом. Тут же услышал я топот сапог и прерывистый голос отца:

— Семен... У меня в глазах, веришь, темно стало... Легче бомбежку перенести...

— У меня самого колени дрогнули, — сказал Семен, вытирая лоб ладошкой.

— А я нырять уж собрался, — объявил Рыбин и вновь свесился с борта.

Отец потеребил мои волосы и укрыл полрой шинели.

— По реке ходить — красота: не мутит тебя, не тошнит, — сказал Рыбин, вздыхая. — Так не живет ж на месте...

— Не паниковать! — отозвался отец. — Скоро шторм кончится.

— Может, полегчает, — обрадовался Рыбин.

— Сейчас подлечим вояку, — сказал Семен. — У меня есть лекарство.

Они отнесли меня к будочке твиндека.

Семен спустился вниз. Отец отошел к маме, которая висела на поручнях. Иног-

да он зорко глядел в мою сторону. А мне стало так плохо, что я заскулил. С носа на руку упала теплая капля.

— Вот так вояка! — раздался надо мной голос Семена. — Уже сопли распустил. Кто же десантом командовать будет?

Я поднял глаза и увидел в правой руке Семена синюю кружку с алой ягодой.

— Это брызги, — ответил я и вытер нос.

— На, — сказал он, протягивая кружку с клюквой, — покидай в рот.

От одного вида кислой ягоды приятно свело челюсти. Я отсыпал клюкву в горсть, а потом — в рот. Раздавил ягоду языком, и терпкий сок полился в горло.

— Лучше? — спросил Семен.

Я уронил в ответ тяжелую голову.

— А это маме, — попросил я, отдавая назад полкружки клюквы.

Семен отнес кружку маме.

Над мачтой неслись кудлатые обрывки туч. Я поежился и заклацал зубами.

— Замерз, — сказал Семен, поставил меня на ноги и повел в твиндек.

Они с бабушкой уложили меня в постель на нижней полке. Я стал про себя прощаться с жизнью, с ребятами, с планом... А Юрик топтался по мне и спрашивал:

— Гера, а ты со мной будешь на белом пароходе?

— Отстань! О-о-ох!..

— Скажи, тогда отстану.

— Нет, — ответил я еле слышно.

— Почему? — Юрик уселся мне на живот.

— Отстань, кому говорю! О-о-ох!..

— Потому, что ты травишь, да?

— Отстань...

— Скажешь, тогда отстану.

— Тебе нельзя говорить. Ты предатель.

— Ага, знаю! — Юрик подпрыгнул на моем животе. — Ты будешь драться с японцами, а я чтоб на этом «Оранжеде» с девчонками плавал. Не хочу! Я с тобой. И галеты мне не надо...

— Дурачишка, на нем знаешь как хорошо... А со мной опасно...

— Не боюсь, — ответил брат и запрыгал на моем животе.

— Бабушка, заberi его, — простонал я.

Бабушка перенесла братца на противоположную полку и сказала:

— Не вяжись к нему, унучичек. У него одни бомбы на уме. — Она затужила косынку за концы и добавила: — С ним головы не сносишь.

— А я и так помру, — серьезно ответил Юрик. — Тетя Вера померла, и я помру.

Бабушка порывисто прижала его голову к себе и заплакала. Она утирала слезы пальцем с толстой, потрескавшейся кожей.

Я закрыл глаза, пытаюсь уснуть. Но в это время отец, Семен и Рыбин привели маму. Ее уложили на противоположной нижней полке.

Отец говорил громко, точно соседи были глухие:

— Какая жизнь без друзей?! Был у меня друг Федя — под Кенигсбергом снайпер уgomонил... Саньку Чирикова самурай на тот свет отправил. Чума и Зимин — те на материке остались... Дай, Семен, я тебя поцелую... Ц-ц-м-м-м... Ты друг мне теперь. Друг навеки!.. И ты, Рыбин, друг.

Что, если Борька, Скулопендра и Лесик не смогут пробраться ко мне? Как я жить без друзей буду?! И мне сразу стало хуже раз в десять.

5

— Сахалин! — закричал в наш твиндек матрос на третье утро плавания.

— Сахалин! — Люди бросились к трапу. Загремела железная лестница. — Сахалин!

Я зашевелился, надел шинель и тоже пошел на палубу. Ноги мои хорошо сгибались, но распрямлялись с неохотой.

Над передней мачтой покачивалось горячее солнце. Пуговицы на моей шинели засияли, как начищенные пылью пятаки для игры в «остенок». Мы сгрудились у правого борта и жадно смотрели на землю, гряды сопок, которые медленно подплывали к нам. Снежные полосы в западинах искрились на солнце.

— Сахалин!

Матросы в брезентовых робах, в тельняшках поливали палубу из шлангов. Водяная пыль сеялась на нас. Но мы не уходили от борта.

— Южный Сахалин!

Люди шурились от солнечных зайчиков и растягивали бледные губы.

Пароход подплывал к городку у подножия лиловых сопок. Домики цепко держались за прибрежную землю, а от моря японцы отгородились длинной бетонной дугой волнолома. В этом волноломе был проход. По левую сторону прохода над серым цоколем волнолома возвышалась башенка маяка.

В порту стоял уже пароход. Справа и слева от парохода щетиной торчали мачты катеров. А самые края бухты были пустынно. Только в левом углу, перед широкой песчаной полосой, были разбросаны разбитые катера и баржи. У некоторых лишь нос торчал из воды да мачта. Я сразу прикинул, что на этом корабельном кладбище можно обосноваться нам с ребятами.

Мы остановились на рейде. Черная с красной полоской труба загудела, вспугнув чаек с волнолома. Они лениво полетали над стеклянным морем и вновь уселись торжественными рядами на волнолом.

В ответ на гудок нашего парохода катер вывел из гавани огромную баржу. Он ловко подвел ее к борту «Советов». Наши матросы пристегнули ее канатами к пароходу и спустили широкий трап. На барже его приняли два японца.

Люди кинулись к трапу. Я увидел на барже японцев и попытался пробиться к трапу в первую очередь. Но остальным было наплевать, что на барже японцы. Меня выдавили назад. Да еще мама щелкнула по затылку и приказала:

— От чемоданов — ни на шаг!

Я почесал затылок. Юрик залился смехом, словно школьный колокольчик! Я сел на чемодан и стал разглядывать городок, который был уже не японский, но у которого еще не было и русского названия.

На склоне выше всех домов сверкала серебристая крыша храма. Вспомнилось, что японцы поклоняются своему императору. И себя считают детьми бога — императора. Ну, подождите, дети императора! Все таки переплыл море... Не укроетесь волноломом... И я сжал слабыми руками рогатку в кармане. Мысли кружились. Третий день, кроме клюквы, я в рот ничего не брал.

— Ты что — оглох? — сказала мне мама чуть не под ухо. — Тот беды не знает, кто этих обормотов не имеет...

Ее старенькое зеленое пальто было измято, лицо бледнее обычного. Но глаза сияли, как два синих камня. Мама оправилась от морской болезни и теперь вымещала на мне свою злость. С отцом-то не разговаривала. Лишь «да», «нет». Что за люди?.. Ну, я теперь от них не завишу. У них — свое. У меня — другое на уме. Завтра же надо написать письмо ребятам. Приедут — выроем пещеру вон там, на сопке, выше всех домов.

Я схватил легкий узел с табаком и потащил его вслед за отцом к трапу. Пока я дремал на солнышке, баржа перевезла всех пассажиров. Мы сели уже в полупустую.

На барже орудовали те два японца, в синих куртках с белыми иероглифами во всю спину.

Я глядел будто на берег, на море, на чайк, а сам зорко следил за японцами. От них всего можно было ожидать. Это ничего не значит, что они несколько рейсов до берега уже сделали, и что один выпячивает в добродушной улыбке огромные зубы, а другой мурлыкает «Катюшу». Так же, наверное, улыбался доблестный генерал Сиродзу, глядя, как дедушку бросают в топку. «... Желаем полного успеха в строительстве и сохранении мира и порядка». Долго ли этим двоим утопить всех нас!

Катер потащил нашу баржу в бухту. Один из японцев стал за большое кормовое весло. Я следил, не направляет ли он баржу на волнолом. Мне показалось, что мы сейчас врежемся в бетонный цоколь под маяком. Я оглянулся. Все спокойно разглядывали городок. Семен объяснял бабушке:

— Японцев кормит море... Рыба, морская капуста, осьминоги, ежи, трепанги...

— Осьминоги, поди, склизкие?

Смоляной борт баржи коснулся короткой тени маяка. Над башней косо взлетели чайки. У меня отлегло от сердца.

— Гера, смотри, какая птица! — закричал Юрик и дернул меня за рукав шинельки.

На волноломе, у ступенчатого подножия башни, стояла белая птица на длинной красной ноге. Птица поджала другую ногу и, сгорбившись, глядела в пенную воду прибора.

Я мигом выдернул из кармана рогатку, зарядил свинцовым шариком, поднял ее на уровень глаз и саданул по птице. Она подпрыгнула, трепыхнула крыльями и упала за волнолом.

Баржа вильнула кормой в разные стороны. Японец за веслом что-то прокричал второму. Тот подбежал к нам со сжатыми кулаками.

— Росскэ маренький худо! — закричал он. Глаз его не было видно в узких щелках. Там только проблескивало что-то.

Я натягивал и отпускал пустую рогатку, натягивал и отпускал. Резина больно хлопала меня по пальцам. Но я терпел. Я только не понимал, почему и японцу жалко птицу?

— Ладно тебе, — сказал отец японцу и загородил меня. — Раскудахтался из-за какой-то цапли.

— Не окно же разбил, — поддержал отца Рыбин. — Птица ничья, дикая.

— Грех какой, господи, — с укором посмотрела на меня бабушка. — Отец иконы жжет, а сын птиц бьет.

— Кровь они пьют мою, — пожаловалась мама.

— Журавль — священная у них птица, — сказал Семен и отнял у меня рогатку. — Все равно что у нас голубь... Так дело не пойдет, вояка.

— Ну зачем же ты? — Отец поднял руку, чтобы перехватить рогатку, но было поздно: Семен вышвырнул ее за борт. — Он же не на птиц ее вез, — пояснил отец.

— Законное его оружие, — поддакнул Рыбин и полуобнял меня за плечи.

— Пора своим котелком варить. — Семен хлопнул меня по лбу тяжелой ладошкой. — По росту скоро батю догонит.

Японец раздвинул щелки глаз и с удовольствием смотрел на рогатку, которая покачивалась на воде.

У меня защипало в носу. Конечно, птицу жалко. Но зачем же отнимать у меня последнее оружие? Осталась одна ракета. А берег надвигался, как борт вражеского

корабля. И по нему сновали японцы в синих куртках с иероглифами, похожими на драконов.

Юрик дернул меня за рукав:

— Гера, а где белый пароход?

Вот еще пристал... Я пожал плечами.

— Где твой «Оранжед»?

Я показал большим пальцем назад, в море.

— Где, где?

Я был так расстроен, что на этот раз не смог бы выкрутиться. Но тут баржа стукнулась о причал, и люди заторопились на берег.

Мы опять ждали, пока все сойдут. Поднялись по трапу на берег последними. Машина с вербованными отошла перед нашим носом. Мы не успели забросить в нее свои вещи и теперь топтались с узлами на бетонной полоске пирса. Дина, маленькая жена Рыбина, пристукивала высокими каблуками полусапожек: замерзла. На Дине жирно отсвечивала черная плюшевая куртка.

Меня раздражало пристукивание и блеск куртки. Берег зыбился под ногами. К солнцу сбежались откуда-то тучи, и море потемнело. Я оперся о железную тумбу, натертую до блеска канатами, и стал следить, как Рыбин пыхтит в своей шубе кололом, пытаюсь поднять оброненный узел. Никто ему не мог помочь, так как руки у всех были заняты. Даже Юрика опять наградили чайником. Он подтащил чайник к Рыбину, сел на крышку и пытался помочь поднять узел. Наконец Рыбин кое-как зацепил свой узел рукой. Зато с шеи тючок свалился, когда Рыбин начал разгибаться.

Тючок зацепился за острый, раздвоенный на конце носок нашего чайника и разлезся. Из дыры посыпалась на бетонную плиту бурая махорка.

Пробежавшие мимо японцы споткнулись, обступили нас.

— Узелок на бочок — рассыпался табачок, — сочинил Юрик и начал, сопя, собирать махорку и ссыпать обратно в дыру. Но гнилая материя расплзлась дальше.

Один из японцев, кривоногий, с редкими рябинками на круглом лице, одетый, в отличие от других, в черный костюм, протянул десятку.

— Прошу вас, пожалуйста, продать мне табаку, — сказал он без запинки, сверкнув золотыми полукоронками на двух передних зубах.

Рыбин оторопело глядел то на свой тюк, то на десятку в руках японца.

— Не слышишь, что ли? — раздраженно одернул соседа Семен и цвиркнул слюной через редкие зубы, словно беспризорник. — Человек просит махорки.

Рыбин склонился к маленькой Дине и пошептался.

— Воздержимся пока, — ответил Рыбин, опуская под ноги узлы. — Цена тут неизвестная, стакана опять же нет...

— Да ты горстями, — посоветовал Семен. Глаза его были сужены не хуже, чем у японцев, а бугристый нос покраснел.

— Како твое дело? — озлился Рыбин и бросился подбирать табак. — Через все море вез, а тут продешевить. Нам он не даром доставался, табачок. Вот они, мозоли-то. — И он протянул большие руки.

Ну где я видел его? Ловкие пальцы с шерсткой чуть выше сгибов. Ладони, как чашки.

Будто языком вылизывал Рыбин бетон. Отец одним глазом косил на Рыбина, другим на маму. Но мама не замечала ничего вокруг. Она глядела на пароход, который отплывал назад. По горлу мамы прошла волна. Отец вдруг нахмурился и взглянул на решетчатые ворота порта:

— Забыли про нас, что ли?

— Пойду потороплю коменданта, — сказал Семен и зашаркал тяжелыми ботинками по бетонной дорожке. Из круговорота на его макушке выбивался вихор цвета ржавчины.

Рыбин выбирал табак из щели. Туда проходили всего два пальца.

— Не могла мешка покрепче найти... — ворчал на свою молчаливую жену Рыбин.

Японцы не расходились.

— Ну, чиво буркалы повыпячивали? — поднял Рыбин ушастую голову в их сторону. — Так работаете на советскую власть?.. Понимаете русский язык или нет?

— Понимаем, — ответил рябой японец, и скулы его дрогнули. — Прошу прощения, сударь. Я хотел купить табаку для больного брата. — Он гордо поклонился и зашагал к воротам.

Отец спустил узлы и смотрел то на них, то на маму, то на удаляющегося японца.

У меня поднялось настроение: наконец-то с японцами разговаривали как надо. Но тут случилось такое, чего я потом долго не мог понять.

Бабушка запустила руку в один из наших узлов и достала жменю табаку.

— Курите, ребята, — сказала она и обошла япошек. — Крепкая махра — горло продирает, слезу вышибает...

Японцы ощерили свои без того выпяченные зубы и взяли по щепоти самосаду. Один из них пытался засунуть мятую пятерку в карман бабушкиной кофты, что выглядывал из-под распахнутой телогрейки. Но бабушка отодвинула его руку. А отец обвел японцев гордым взглядом — знай наших! — и сказал:

— Угощаю.

— Спасибо, — ответил один японец, другие закивали головами.

Я хотел заметить бабушке, что, может быть, отец вот этого улыбочивого японца толкал в топку нашего деда... Но тут мой батя протянул им нарезанную стопкой газету! Наверное, забыл, как «угостил» самурай его друга Чирикова Саньку. Японцы свернули сигарки.

Я оторвался от тумбы, чтобы напомнить бабушке и отцу про деда и Чирикова, но тут, как назло, подошла машина.

Семен соскочил с подножки. Он внимательно взгляделся в мое лицо. Глаза его против солнца напоминали зрелый крыжовник.

— Ну, чем недоволен? — спросил он. — «Десант»-то высадили.

Я нахмурился. Шутки шутками, а несчастную рогатку и ту отобрал.

Мы покидали узлы в кузов и уселись на них. Машина фыркнула своим дымом по японцам и покатила к воротам.

Мы проехали мимо каменного здания с вывеской над входом: «Управление порта». За управлением начинался деревянный город.

На двухэтажных домах были развешаны вертикальные вывески. Пахло соевым маслом, жареной соей, бочками из-под селедки и плесенью. Парнишка японец с черной челкой на лбу нес большого краба. Я погрозил япончонку кулаком. Он остановился и открыл рот, как будто ничего не понимал. Бело-розовая клешня краба коснулась асфальта.

— Ага, увидел противника, — сказал Семен, натягивая мне шапку на нос.

— Куда нас теперь? — спросила мама, зябко дернув плечами.

— Шофер знает, — ответил Семен. — Пока поживем все в одной комнате...

В управлении с ног сбились: целый пароход переселенцев! Заселяют к японцам. И нашим надо угодить, и тех не обидеть... Меня сразу за жабры и на эту работенку... Заказывайте... Устрою по дружбе в центре города.

— А можно не к японцам? — Я повернул голову так, что хрустнули шейные косточки.

— Ничего — переживешь, — успокоил меня Семен. — Еще так скоретишься с ними — водой не разольешь.

Я презрительно цвиркнул слюной, как делал он сам в таких случаях.

— Не нужны нам центры, — проговорила мама сурово. — Мы и с краю поживем, огород лишь бы был.

— На рыбзаводе у них рук не хватает, — сказал Семен.

Мама скосила на него глаза и задумалась.

— Кури, Семен, — предложил Рыбин, протягивая горсточку махорки. Губы его неуверенно вытягивались между буграми щек.

— Аригато, — отблагодарил Семен по-японски, отворачиваясь.

По улице, по асфальту, цокали деревянными гэта японки в кимоно. Они важно несли на своих головах горки черных блестящих волос, проткнутых перламутровыми гребнями. У одной японки к спине был привязан ребенок. Головка его болталась в такт с шагами матери.

— У нас кавалерия тише ходит, — сострил отец.

Рыбин засмеялся басом.

— Чует сердце — женюсь я на японочке, — сказал Семен и передернул усами.

У японок были маленькие печальные рты, а глаза напоминали воронье перышко. Мне вдруг вспомнились слова из уличной песенки:

Почему так плакала японка?

Почему так весел был моряк?

Неожиданно японки раскрыли большие бумажные разрисованные зонты. И сразу закапал дождик. А только что светило солнце!

Мы бросились укутывать Юрика. В это время машина остановилась возле дома с желтой вывеской от крыши до тротуара. Задилинькал колокольчик над дверью. На порог вышел человек в лиловом кимоно. Его лысая голова напоминала кабачок.

— Коннити ва, — поздоровался с ним Семен, мелькнув клёшами над бортом машины.

— Милости просим! — Редкие волосы на бровях этого человека напоминали кошачьи коготки. А из-под бровей высматривали нас русские глаза. — С благополучным прибытием, соотечественники! Позвольте-с представиться... Бывший купец второй гильдии Тимофей Иванович Загашников. — Он отступил в дом, и мы вошли следом, волоча узы.

В доме пахло вяленой селедкой и соей. Купец смущенно улыбался, разводя руками.

— Извините-с, обстановка японская... Сами понимаете, с волками жить — по волчьему выть.

Большая комната, выстланная соломенными матами, была оклеена японскими газетами. Черное колено трубы уходило от буржуйки в грязное окно, по которому тарбанил дождь.

Мама окаменела на пороге. В лицо ее врезались острые тени. Губы сжались в пепельную полоску. Казалось, она крикнет сейчас отцу: «Куда ты меня привез?!»

— Сию минуту, — засуетился Загашников возле печки. Он чиркнул спичкой и поджег растопку. — Обогреетесь, тогда и настроение поднимется.

В трубе загудело пламя. Мы разулись у двери и прошли к «буржуйке». Загашников сходил в соседнюю комнату и вынес оттуда плитку вроде столярного клея. Он протянул ее Юрику.

— Сладенькая конфетка — амэ, — проворковал он и шутливо придавил нос Юрика толстым белым пальцем.

Брат вгрызся зубенками в амэ. Потом дал мне откусить. Конфета потянулась за зубами, как резина. Она долго держалась во рту.

— Смотрю, одно лишь название — купец, — сказал Рыбин, усаживаясь на свернутую шубу. — Тесть мой простой часовщик, а дом — полная чаша. Скажи, Дина...

Жена Рыбина вскинула бровки и важно кивнула головой.

— Не до жиру — быть бы живу, — охотно отозвался Загашников, протягивая руки к печке. — Японец нашему брату, русскому, ходу не давал... Хоть отступление взять. Сами бегут на Хоккайдо, как крысы с корабля тонущего, а русский не моги... В море сбросят.

— Нехристи, — посочувствовала бабушка.

Я скосил глаза на Семена: что он тут скажет? Но Семен вприщур разглядывал купца, покачиваясь на корточках.

Тогда я пересел к Загашникову и тихо спросил его по-японски:

— Вы хорошо говорите по-японски?

— Как по-русски-с, — ответил он мне с ласковым расплывом щек.

— Учите меня, — попросил я.

— И охота тебе квакать, — морща лысину, ответил он.

— Нужно.

6

И пошли сахалинские денечки.

Я целые дни просиживал в комнате у Загашникова. Мы с ним разговаривали только по-японски. Я изо всех сил зубрил японский язык. Даже письмо написать ребятам было некогда. Но в одно прекрасное утро мне пришлось оторваться от изучения японского языка: Юрик снова приболел, и в доме начался скандал.

— Вот тебе и море, — сказала мама, не глядя на отца, и подвезла корзину с Юриком к горячей печке.

— Пусть дышит морским воздухом, — ответил отец и оттащил корзину с братом к прираздвинутому окну.

— Ему нужен свой угол, наконец, — сухо отозвалась мама и так поглядела на отца, что я втянул голову в плечи. Она взяла корзину за край и снова подтащила ее к жаркой печи. — Дура я, что бросила свой дом, огород, посуду...

Юрик улыбался. Ему нравилось кататься в корзине. Но отец больше не решился перечить маме. Он потер лоб, словно разглаживая клинышек на переносье, и уставился на Рыбина. Тот сидел на корточках в углу перед мешком с махоркой и отсыпал из него стаканами на разостланную тряпку: «... Питнадцать, шиснадцать, симнадцать...» На Рыбине был надет толстый зеленый пуловер, выменянный за табак у японцев. И груда вещей была уже навалена в рыбинском углу комнаты. Возвышалась глиняная макитра, прикрытая шелковым белым флагом с кровавым пятном полусолнца.

— В хозяйстве сгодится, — сказал Рыбин, когда принес японский флаг домой. — Зря ты, Василий, отказываешься менять... Табак, он не даром нам доставался. Спроси жену свою...

— А он меньше всего о жене и детях думает, — вмешалась мама, не дожидаясь ответа отца.

И вот отец не выдержал. Семена-то не было, он целыми днями пропадал на работе: расселял вербованных. Как раз сегодня Семен пообещал переселить нас в дом с огородом. А отец и Рыбин работали в порту в одну и ту же смену. Эту неделю они днем отдыхали.

— Ладно, пойдем... — сквозь сжатые зубы сказал отец Рыбину и схватил узел с табаком. — Взводом все-таки легче командовать.

Рыбин быстро связал концы тряпки, подмял узел под мышку и ринулся за отцом. Колокольчик долго звенел над дверью. Голова-кабачок Загашникова светилась в сумраке комнаты. Купец прятал улыбку за широкий рукав кимоно.

И я не пошел к Загашникову. Я растянулся на полу возле бабушки и Дины. Они принялись вслух подсчитывать, когда будет пасха. У них не сходились числа, и они потихоньку заспорили.

Ну где я раньше встречал Рыбина?

— Гера, — позвал меня Юрик. Его глаза отливали сизым, как оперенье голубя, а по лицу расплзался румянец. — Знаешь, что я посмотрел бы сейчас на белом пароходе?

— Что?

— Золотых рыбок.

— Хочешь, поймаю тебе бычка? — предложил я и достал из кармана леску. — Видишь — фабричный крючок.

— Хочу, хочу! — ответил Юрик и сочинил: — Ловись, рыбка бычок, на фабричный крючок.

Я сходил во двор, выкопал из сырой земли возле стены дома трех красных червяков и пошел к морю. Надо было попасть в самую пустынную часть бухты, где тихо.

Асфальт кончился быстро, пошла пыльная дорога. По бокам стояли фанзы, опутанные сетями. В сетях лучились стеклянные шары — поплавки. Возле фанз прыгали через веревочку япончата с черными челками. Они считали: «Ичь, ни, сан, си...» Вдруг они бросили веревочку и уставились на меня черными, как вар, глазами.

— Русский маренький! — закричали мне эти клопы, указывая руками на берег. — Худо!

Не хватало, чтобы и эти мне указывали, что хорошо, а что «худо». И я решил походя стукнуть кого-нибудь из них. Однако они брызнули в разные стороны. Я погнался за одним. Он спрятался в какую-то щель между фанзами. Я сплюнул, как Семен, и пошел дальше.

Передо мной чуть горбился песчаный берег. Вдали чернели разбитые катера и баржи. Там-то наверняка водятся бычки.

Песок был сверкающий и вязкий. Попадались белые щепки, шуршащие ленты морской капусты, куски панцирей и клешни крабов, обломки бамбука и осколки стеклянных шаров. Крепко пахло морской гнилью. Это прели в воде разбитые катера и баржи. С краю высилась огромная, как многоквартирный барак, баржа. Кормой она сидела в воде, а нос ее завяз в песке, на берегу. Пробоина в корме была такая, словно баржу ткнул своим носом «Наутилус». Легкий прибой хлюпал в пробоине. Вода всплескивалась внутри баржи.

Я по-кошачьи вскарабкался на палубу и пошел на корму. Голые подошвы липли к растаявшему вару. Я уселся возле руля и размотал леску с фанерки.

Глубина под ногами была метра два. На дне росли темно-зеленые кустики морской капусты. Между ними по пятнистому песку боком шныряли мохнатые морские раки. Над кустами плавали налимчики. Они охотились за изумрудными сороконожками.

Я насадил на крючок червяка, поплевал на него и кинул в воду. Конец нитяной лески намотал на палец и стал подергивать, чтобы червяк казался живым. Но сытые налимчики не обращали внимания на червяка. Тогда я опустил червяка ко дну и повел его тихонько над песком.

Из тени от руля баржи выплыл толстый бычок. Он пошел на червяка. Я перестал дышать, но тут вдруг сбоку что-то всплеснулось. По воде пошла рябь. Я дернул леску, но крючок зацепился за руль баржи, и леска оборвалась. Тогда я повернул голову вправо, на всплеск, и чуть не свалился в воду.

Из пробоины выплывала шлюпка! И кто управлял этой шлюпкой?! Двое японцев! Вернее, парнишка моих лет, остриженный под машинку, в очках, и девчонка с

ровной челкой на лбу. Парнишка держал весла вдоль борта. Девчонка навалилась на руль, чтобы шлюпка не воткнулась в соседний полузатопленный остов катера.

Парнишка японец чуть отвел весла для рывка, но вдруг застыл. Девчонка тоже увидела меня и ойкнула. У меня, конечно, стало свирепое лицо, потому она и ойкнула.

Может быть, я и не кинулся бы драться при девчонке. Но тут такой уж был случай. Бычка они мне спугнули, из-за них я крючок свой фабричный посадил... Вот я и прыгнул с кормы на их шлюпку.

У парнишки, который вскочил мне навстречу, слетели очки с носа. Девчонка тоже вскочила на ноги. Но шлюпка дернулась от моего прыжка, и японка вывалилась за борт. Мне в лицо хлестнули брызги. Я отпустил парнишку, на которого налетел. Он стал хватать мусор на дне лодки — искал свои очки. А девчонка уже тонула. Она не кричала, но глаза — два черных рупора — вопили о помощи. Я однажды тонул на Амуре — знаю... Попал в воронку и обессилел. Рот под водой — не крикнешь. Так весь мой крик шел через глаза. И Борька понял, что я тону. Он подплыл и вытащил меня за волосы. Спасать надо за волосы! Я вывалился за борт и подплыл к девчонке. Протянул руку, схватил ее за черный кружок волос и потащил к шлюпке.

Парнишка уже усадил на приплюснутый свой нос очки. Он свесился с борта и потянул девчонку за шиворот в шлюпку. Я подтолкнул ее сзади. Она лягнула меня ногой по носу. Хорошо, что была девчонка в соломенных тапках — дзори. Однако пришлось хлебнуть горькой, как отравы, холодной воды. Но тут японец протянул и мне руку. Я задыхался, поэтому схватил его руку, точно руку товарища.

Кое-как перевалился в шлюпку. И солнце, как назло, нырнуло в пухлую тучу. Я сжал зубы, чтобы японцы не слышали, как они лязгают от холода.

Вода в бухте полиловела. Пошли по ней мелкие кружочки. Дождь зациринькал в пустое ведро на носу шлюпки.

Парнишка одним веслом развернул шлюпку и вогнал ее в брешь. Мы проплыли метров десять внутри баржи к пристани, к дощатой наклонной и выгнутой площадке. Через мелкие отверстия вокруг дыры в борту баржи расходились толстые жгуты света. Близкие к нам серебрили паутину. Дальние — высвечивали стальной осколок, впившийся в доску, стеклышко очков парнишки японца, перламутровую пуговицу на вязаной кофте девчонки. Один луч выхватывал из полутьмы фанерную полочку и стоящего на ней болванчика, который смеялся огромными фарфоровыми зубами, лаковыми губами, тугими волнами щек и стрелками глаз.

Но вдруг все погасло. И точно слетелись воробьи на палубу и застучали клювами над нашими головами. Сквозь щели закапала вода. Но над площадкой была натянута циновка. Мы спрятались под нее. Я сел на скатку (парус). Нащупал фонарь, гладкую толстую лесину (мачта), острую лапу якоря, бамбуковый шест, бухточку веревки. Неплохо устроились... Не хуже, чем наша пещера... А вдруг они меня утопят? Недаром же они здесь оборудовали свой штаб. Наверное, и план против нас составили... Даже под мокрой рубашкой мне стало жарко. С двоими-то я управлюсь. Но вдруг там в темноте прячутся еще двое трое, да с оружием?!

Девчонка вышла из под циновки и пошла вглубь баржи, в темноту. Я напряг зрение и напряжился, чтобы при малейшей опасности сшибить японца и кинуться в отверстие. Похоже, что баржу пробил снаряд. Маленькие дырки — от осколков.

Девчонка остановилась и быстро сбросила с себя кофту и шаровары. Она просто пошла отжать свою одежду. Однако я долго еще не верил своим глазам и следил за нею. В темноте девчонка белела, как селедочная молока. Словно русалка какая-нибудь, она изгибалась и прыгала, чтобы вытряхнуть воду из ушей. Девчонка отжала все свое, снова надела и вернулась к нам под циновку.

— Пожаруйста, — выговорила она и показала рукой, откуда пришла.

— Да и так сойдет... — пробормотал я в ответ, а ноги уже двигались в темную утробу баржи. Вдруг подумает, что трушу. И так у нее что-то слишком оттопыривается нижняя припухлая губа. Заметно даже в полутьме.

Видели бы ребята, как я шел вглубь баржи и сжимал в сыром кармане последнюю ракету Лесика... Однако я дошел до мокрого места, где отжимала свои шаровары и кофту девчонка. На меня никто не бросился из темноты. Но дальше я решил не ходить. Все равно девчонка отвернулась...

Я быстренько выжал свои штаны и рубашку. И не успел я вернуться под тент, как дождь прекратился.

Парнишка японец вдруг встал передо мной. Я сжался, ожидая удара. Но он начал по-своему благодарить меня за то, что я спас его сестру. Вот тут пришлось растеряться окончательно. Сам налетел на них, чуть не перевернул шлюпку, и меня же благодарят... Может быть, я неверно перевел?..

— Мой брат говори росскэ маренький спасибо, — перевела девчонка, приложила руку к сердцу и поклонилась.

Зеленый луч впился ей в мочку маленького уха. Японка чуть повернулась, и луч пробил ее ресницы, похожие на крылья стрижа, и осветил глаз цвета дегтя. Она подставила щеку лучу, и там обозначилась ямка, продолговатая, как боб. И хоть нижняя губа была толстая и слегка оттопыренная, все же мои пальцы зашевелились сами собой. Я никогда не рисовал девонок, но тут бы мог — ради исключения, конечно.

— Купаться еще рано, — пробормотал я, кашлянул и спросил: — Как вас звать?

Что бы там ни было, я не должен был показывать, что понимаю по-японски. Девчонка перевела мой вопрос брату. Тот ответил:

— Ватакуси ва Ивао то иимасу.

— Мой брат Ивао, — перевела девчонка. — Я — Сумико.

Они оба враз поклонились.

Чего они кланяются? Так у меня пропадет вся злость.

— Вы мне бычка спугнули, рыбку, — хмуря по-отцовски брови, сказал я. — Через вас и крючок посадил... Меня Герой звать. Ге-е-ра.

— Росскэ Гера-сан ходи зачем наса барза? — возразила Сумико. — Дядя Кимура хозяин барза.

— Может, и сопки ваши, и море? — спросил я и ехидно так хмыкнул.

Сумико разъяснила мне, что их дядя владел этой баржей, пока ее не пробил снаряд. Кимура имел и сейнер, но пришлось отдать его за долги купцу Загашникову. А на кунгасах Кимуры ловят треску и селедку рыбаки рыбозавода.

Сумико перевела брату наш разговор. Тот не взъерепенился. Он отвернул борт военного кителька, снял крючок с подкладки и протянул его мне. У него их там было зацеплено штук семь — разных.

— Я хочу поймать рыбу, — стал оправдываться я, взяв крючок. — У меня есть маленький брат Юра. Для него хочу поймать рыбку, понимаете?

— Маленький Юра мы дадим рыбка, — сказала Сумико. — Пожаруйста, ходи к нам.

Я приложил руки к сердцу и сделал легкий поклон. Сумико сжала мою ладонь холодными пальцами и повела вперед. Второй раз я шел уже смелее. Но ракету на всякий случай в кармане нащупал. В носовой части баржи Ивао отодвинул ящик. В дыре сверкнул белый песок. Мы выползли на него. Ивао задвинул ящик над головой. Сумико цепко держала меня за руку. Она повела не напрямик к фанзам, а круглым путем по самому берегу. Я пытался сократить путь, но Сумико покачала головой и сказала:

— Гера-сан, там худо...

Я не стал ей перечить — мне нужна была рыбка.

— Где вы живете? — спросил я у Сумико. — Дом ваш где?

Сумико показала рукой на склон сопки, в сторону храма.

— Ничего, забрались куда, — сказал я, увязая в песке с сырой корочкой.

Сумико рассказывала мне, что сегодня к ним приходил уса́тый «росскэ капитан», он хочет поселить в их дом русских. Я по этому поводу промолчал. А спросил, что это у них за болванчик в барже, который лыбится. Мне пришлось растянуть губы пальцами, чтобы Сумико поняла, о чем я говорю. Она долго и серьезно объясняла мне, что это ее «бог счастья». Нижняя губа Сумико при разговоре чересчур оттопыривалась. Да еще эти ямки на щеках. Мне казалось, что японка подсмеивается надо мной. Но глаза она не отводила, когда я по методу разведчиков сверлил ее взглядом.

Мы перешли песчаное поле и направились в город. Ребятишки, что прыгали через веревочку, сбились в кучу. Я хотел мирно пройти. Но они разглядывали нас, словно зверей в зверинце. Самые маленькие япончата от такого зрелища даже забили слизывать сопли. Вдруг один из них что-то заорал невнятное. И все стали кричать, корчить рожи, подсакивать на месте, потрясать кулаками.

Я припустил за ними. Они рассыпались по щелям между фанзами. Но одного я успел схватить за шиворот. Приподнял его над землей — он вскрикнул и зажмурился. Сумико, однако, не дала мне шлепнуть его ни разу. Она вцепилась мне в руку и сказала:

— Гера, даруй ему свободу, пожаруйста.

Пришлось выпустить япончонка. Сумико потащила меня за ближний угол. Я спросил Сумико, почему ребятишки на нас ополчились. Она мне объяснила, что русские и японцы никогда не будут друзьями, все равно что кошка с собакой. Я, конечно, был согласен с нею и спросил, зачем она учила русский язык. Сумико ответила, что язык победителей надо знать. Тогда я спросил, почему Ивао не говорит хоть немного по-русски. Сумико взглянула на брата, который шагал впереди, как солдат. Понизив голос, она ответила, что в этой войне у императора была плохая армия. В следующей войне солдаты будут лучше. Так говорит дядя Кимура, поэтому Ивао не учит русский язык.

Мы как раз проходили под аркой, которую Сумико назвала «императорские ворота». Две колонны, и на них балка, похожая на самурайский меч. Известка во многих местах была сколота пулями, но ворота стояли крепко на нашей дороге. Ивао приостановился и поглядел на верхнюю балку-меч так, словно примерялся к нему.

Глинистая дорога уходила в сопку, в зелень, к самым верхним домикам на склоне. Мы молчали после ворот императора. Я думал, что неплохо было бы все таки поколотить этого Ивао.

Мы остановились возле двухэтажного домика с верандой, которая висела над обрывом. На веранде сидел старик японец в черном кимоно. Он сидел неподвижно, как деревянный идол, и глядел куда-то в море. Синяя дымка стояла над стариком. Он курил длинную трубку.

— Папочка! — закричал Ивао, улыбаясь во весь рот, выставя под солнце полукруг зубов. Из-за огромных зубов Ивао невнятно говорил, и мне трудно было его понимать.

Старик и не взглянул в нашу сторону. У Ивао сморщилось розовое пятно над правой бровью. Он опустил голову.

— Нас дом, — сказала Сумико и печально добавила, показав на старичка: — Папа Ге.

Мы пересекли поляну с прошлогодними клумбами. Ивао раздвинул стеклянную дверь и с поклоном попросил меня войти. Я начал заражаться их вежливостью и показал рукой, чтобы первой вошла Сумико. Напишу об этом ребятам — со смеху лопнут. В школе-то мы трепали девчонок за космы. В прихожей, перед лестницей на второй этаж, стояли рядочком гэта — дощечки с цветными полосками кожи и материи на носках. Ивао и Сумико сняли свои дзори и поставили рядом с гэта. А я почистил пятки о штанины, и все. И тут я увидел, что Сумико усмехнулась. Я сдвинул брови и засунул руки в карманы. Ради Юрика надо было стерпеть все.

7

По скрипучей лестнице мы поднялись на второй этаж и сразу попали в комнату с верандой. На стенах комнаты были наклеены картинки с изображениями дымящихся вулканов. В левом углу на низкой подставке стоял аквариум. В зеленой воде висели меж нитками водорослей золотые рыбки. Они пучили на меня глаза, похожие на кусочки бутылочного стекла. У них были смешные отвисшие брюшки и рыжие, как огонь, длинные эластичные плавники и хвосты.

Я подошел к аквариуму по мягким матам, которые по-японски назывались та-тами, и опустился перед рыбками на колени. Такие не снились Юрику и во сне... Я поднял глаза на Сумико и приготовился сказать по-японски: «Дайте мне, пожалуйста, рыбку».

Но тут я услышал, как звякнула дверь на веранду. Ивао раздвинул ее и с захлебом стал рассказывать отцу о нашем знакомстве. Я наострил уши. Ивао упустил, что я налетел на них. Зато со всеми подробностями он рассказал, как я спас Сумико. Ивао жестикулировал руками и подергивал время от времени желтую косынку на своей худой шее.

Старик на веранде не менял позы. Казалось, для него важнее трубка с длинным бамбуковым мундштуком и маленьким чубуком, чем спаситель его дочери. Ивао стал рассказывать во второй раз то же самое. Под конец старик встрепенулся и вынул трубку изо рта. Тогда Ивао в третий раз рассказал ему о том, как я спас Сумико.

— Где он, этот русский мальчик? — спросил старик и медленно повернул голову. Его глаза в бурой сетке морщин не видели меня, хоть я стоял близко, в косом потоке света с веранды. Глаза его блуждали, как у пьяного.

Сумико подтолкнула меня к отцу.

— Его зовут Гера, — сказала Сумико.

— Спасибо, Гера-сан, — сказал старик. Он взял мою руку и приложил к своей шершавой щеке. — Хороший росскэ марчик. — И забормотал по-японски, так что я разобрал только несколько фраз: — А жену мою и Тосиэ никто не спас... Зачем я их отправил?... Надо умирать вместе... Все равно миру конец... Бомбы взрываются, как вулкан Фудзи. — Он бросил мою руку, закрыл лицо ладонями и стал раскачиваться: — О-о, конец миру, конец, конец, конец...

Ивао и Сумико с обеих сторон стали гладить серые волосы отца. Старик оторвал руки от лица и уставился на море. Слезинка выползла из его глаз и, точно головастик, сползла к губе. Ивао набил его трубку табаком и зажег. Сумико сунула мундштук в рот отцу. Старик, не отводя взгляда с одной точки, втянул дым впалыми щеками, выпустил и сказал:

— Там, на острове Птиц, нет бомб, нет русских, нет американцев, нет никого... Там никогда не будет войны... Кимура увезет нас туда на своем сейнере...

— Да, отец, — ответил Ивао и поправил на шее шелковую косынку, — мы скоро поплывем на пустой остров.

Я поискал глазами в море и увидел, куда смотрел старик и его дети. На самом горизонте из моря торчал островок. Он почти сливался с морем и небом. Я его заметил-то лишь потому, что тонкая острая тучка прерывалась в том месте.

Неслышно ступая по татами, вернулась ко мне Сумико.

Она попросила извинения за отца. Вот уж «шибко нежное воспитание», как говорит мой отец. Я пожал плечами и выразительно посмотрел на аквариум. Но Сумико хотела мне все объяснить, как будто я за этим пришел. Она стала рассказывать, что отец ее был хорошим врачом. Много людей вылечил Ге. А теперь вот сам болен. Он помешался после смерти мамы и сестренки Тосиэ. Когда началась война, отец отправил их в Хиросиму. Вся семья должна была переехать в сердце страны, в безопасное место. Да война не ждала... И вот они получили письмо от знакомых из Хиросимы. В письме сообщалось, что мама и Тосиэ погибли.

Сумико подошла к двери направо и отодвинула одну половинку. Она вошла в полутемную комнату и опустилась на колени перед тумбочкой, над которой был приколот к стене бумажный листок с сидящим богом Буддой. Сумико сложила ладони, как Будда. На домашнем алтаре чадили две свечки, по ихнему ароматические палочки. Помолившись, Сумико взяла с алтаря трубочку бумаги и вернулась ко мне. Она пробежала глазами столбики иероглифов сверху вниз и рассказала мне дальше.

Ее мать нашли в автобусе с мертвыми пассажирами.

Тосиэ была в школе. Увидев за окном вспышку, похожую на извержение вулкана Фудзи, она упала под стол. Раздался грохот, подобный тому, когда тайфун обрушивается море на берег. Ученики с криком попадали на пол... Лишь несколько человек выползли потом из горящей школы... Тосиэ плакала и бежала по улице, пока не свалилась. Знакомые подобрали ее у своего дома. Они пригласили врача. Но врач не мог помочь. У Тосиэ беспрерывно шла кровь из носа и пучками лезли волосы. Когда она умерла, осталась лишь прядь на затылке...

— Папа теперь как маренкий, — сказала Сумико и прижала письмо к глазам. — Папа бойся бомба. Он говори: «Ивао, Сумико, Кимура, надо живи пустой остров».

— Кто вам карточки выдаст на хлеб тогда? — спросил я.

— Не надо хреб, — ответила Сумико. — Япон кушай трава, рыба.

— Вы все тут чокнулись, — пробормотал я себе под нос.

— Что говори? — встрепелась Сумико.

— Рыбки у вас больно красивые, — ответил я, кивнув головой на аквариум.

Сумико объяснила мне, что рыбки эти принадлежат дяде Кимуре. Он скоро придет. А пока они с Ивао будут развлекать меня картинками, которые нарисовал тот же Кимура.

Я заинтересовался. Ивао принес эти картинки, нарисованные на белой толстой бумаге цветными мелками. Мы все трое сели на татами и сгрудились возле картинок.

На первой был изображен бой самураев с какими-то туземцами в звериных шкурах. В руках у самураев, одетых в синие шелковые кимоно, сверкали широкие мечи и секиры на бамбуковых палках. Оскалив зубы, самураи прыгали на песчаный берег из своих лодок и гнались за туземцами. Некоторые туземцы пытались отстреливаться из лука, но самураи настигали их и рубили... Чернильные волны с белыми когтистыми гребешками несли к берегу караван самурайских лодок с высокой кормой и парусами, напоминающими крылья бабочек-капустниц.

Ивао ткнул пальцем в туземцев и гордо сказал:

— Айну.

— А-а, это которых вы перебили, — ответил я. — Читал. Айну жили на островах.

Я отодвинул от себя картинки, потому что там были сплошные самураи, и сказал:

— Надо рисовать собак, яблоки, дома с дымом...

— Коннити ва, — раздался за спиною голос, напоминающий мурлыканье кота.

Я вздрогнул и обернулся. Это был тот японец, что просил тогда в порту продать махорки. Щеки его напоминали терки с редкими дырочками.

— Здравствуйте, Кимура-сан, — ответили вместе Ивао и Сумико и поклонились.

Мой взгляд сорвался до его кривых ног в шерстяных носках. Если Кимура узнает меня, никакой рыбки я, конечно, не получу. Я ощущал на своей голове взгляд Кимуры. Пришлось притвориться, будто я внимательно разглядываю картинки.

— Вы не достали табаку? — спросил Ивао.

— Нет, — ответил Кимура.

— У отца кончается табак, — сказал Ивао.

— Зачем здесь этот русский? — спросил Кимура.

Я расслышал его слова так, будто он издалека очень быстро приближался ко мне. Кимура, ловко поджав ноги, сел передо мной. Он продолжал сверлить меня глазами, которые поблескивали в кривых, как мечи самураев, разрезах. Сам при этом улыбался, ощеря полукоронки на передних зубах. Золото только с краев прикрывало коричневые зубы.

Я с тоской поглядел на аквариум. Похоже, мое положение ничуть не лучше, чем у этих бедных рыбок. Теперь черта с два убежишь. Ловкий Кимура, сразу видно. Вдруг он вообще переодетый самурай? И мне тут придет конец!.. Даже письмо ребятам не написал... Мама предупреждала, чтобы не отходил от дома. Рассказывал Загашников, что японцы поджигают дома русских переселенцев... Что стоит им хлопнуть меня? Озноб прошел вдоль хребта к пояснице.

Я заерзал на месте и незаметно подвинул руку к карману, где лежала ракета. Однако в карман я не залез, потому что Ивао и Сумико стали наперебой рассказывать, как они испытывали шлюпку, как Сумико вывалилась за борт и как я бросился спасать ее.

Они опять забыли упомянуть, что это я чуть не перевернул их шлюпку. Вместо этого они попросили разрешения подарить мне рыбку.

— Первый русский, который сделал японцу добро, — сказал Кимура, — но он еще не вырос... — Кимура поклонился в мою сторону и добавил по-русски: — Я весьма благодарен вам. — Он выговаривал «л», в отличие от других японцев.

Я опустил глаза и увидел свои ноги, уже покрытые мелкими трещинками. Летом у меня не бывает без цыпок. Я весело пошевелил большим пальцем ноги. Теперь дело в шляпе.

Но тут старик Ге отвлек Кимуру.

— Кимура-сан, — громко сказал Ге, — когда ты отвезешь меня на пустой остров?

Кимура пружинисто встал и пошел на веранду. Сумико махнула мне рукой в сторону аквариума. Мы с нею поднялись и подошли к рыбкам.

Сумико взяла щепотку крошек с фанерки позади аквариума и посыпала в воду.

— Надо плыть на маленький пустой остров, — говорил старик Кимуре и показывал трубкой в дымчатую даль, — на большом острове жить опасно.

— На чем мы уплывем, Ге-сан? — отвечал Кимура, качая головой. — Вспомни, что стало с моим сейнером, баржей и кунгасами...

Я наморщил лоб, улавливая смысл разговора Кимуры со стариком. Японец обозвал Загашникова подлецом за то, что купец загрузил сейнер Кимуры своими товарами, а беженцев на Хоккайдо не взял. И за это судьба наказала купца: сейнер наскочил на мину.

— Какое несчастье, что Загашников выплыл! — воскликнул Кимура, сжимая острые кулаки.

Я приложил ладони к лицу. Сумико забеспокоилась и перестала сыпать крошки. Она тихо попросила меня не бояться Кимуру. Он-де сердится на одного плохого человека. А так дядя хороший, он работает в порту — узнаёт погоду.

Глаза у Сумико блестели, как у плюшевого медвежонка. Она сказала, что Кимура дарит мне рыбку.

— Мне бы вот эту. — Я наугад ткнул пальцем и попал в самую пузатенькую, что притаилась между камнями на дне.

Сумико принесла из соседней, левой комнаты стеклянную банку с водой и погрузила в аквариум руку. Золотые рыбешки подплыли к ее позеленевшим пальцам и ткнулись в них.

Я рассмеялся.

Сумико сомкнула пальцы вокруг выбранной мною рыбки и в этой пещерке перенесла ее в банку с водой. Рыбешка повиляла рыжим хвостом и успокоилась. Сумико протянула мне банку. Я сглотнул слюну и прижал банку к груди.

Ивао сверкнул в меня очками. Кимура вернулся с веранды, поднял картину с самураями и айну и протянул ее мне.

— Дарю вам мою картину в знак благодарности, — сказал Кимура.

Я принял картину, хоть у меня своих боев было много. Мне бы тут и бежать, но я стоял как истукан и бормотал:

— Я тоже нарисую вам... У меня есть альбом. Хорошая бумага — в пупырышках. Что вам нарисовать? Хотите — бой матросов с япон... — Я прикусил язык и поправился: — Нет, скажите, что нарисовать?

— Море, — ответила Сумико, — и маренький остров.

Рядом с домом заурчала машина. Я повернул голову к многорамному окну.

В кузове машины блеснула плюшевая тужурка Дины. Рыбин крутил головой во все стороны. Мама показывала белой, словно бумага, рукой на поляну перед домом и что-то горячо говорила бабушке.

Наверняка мама советовала бабушке посадить на клумбах табак.

Сквозь стекло кабины я различил усы Семена. Он держал на коленях Юрика, замотанного шалью.

Я решил не выходить пока на улицу. Может, нашим тут не понравится и они проедут дальше.

Однако машина остановилась. Внизу задребезжала резко отодвинутая дверь.

Кимура уже спускался по лестнице.

— Коннити ва, — раздался тягучий голос Семена.

— Здравствуйте, — ответил Кимура. — Чем могу служить?

— Принимайте русскую семью, — сказал Семен. — Утром мы тут с хозяином договаривались... Дом большой. Поместитесь. Вам все равно скоро на родину уезжать...

— Прошу оставить нас в покое, — ответил Кимура, отчеканивая слова.

Семен стал втолковывать ему, что, пока японское правительство не заберет своих граждан с Южного Сахалина, русские переселенцы и японцы будут жить вместе. А по нашим законам не может быть такого, чтобы четыре человека жили на двух этажах, а другая семья ютилась где попало.

— Японцы и русские не могут жить в одном доме, — отчеканил Кимура, как по бумажке.

— Земля наша разве не один дом? — спокойно возразил Семен.

— Да что ты его убеждаешь? — вмешался горловой голос Рыбина. — С такими надо покороче...

— Не кипятитесь, — сказал Семен. — Человек сам поймет. Грамотный. Видишь, как по-русски шпарит... Ано нэ, уступайте один этаж! Я ведь только сегодня утром договорился с хозяином...

— Он невменяем, — упорствовал Кимура.

— Да, но мы с ним дотолковались, — не отступал Семен.

Подарки жгли мне руки. Ну не мог Семен выбрать внизу дом или дальше? И наши прилипли к этому, точно он медом обмазан.

— Мы поселимся на верхнем этаже, — проскрежетал внизу голос отца. — У меня ребенок легочник. Ему надо, чтоб видел море... Давай, ано нэ, потеснись, и без разговоров! Долго ли вам тут жить осталось? Скоро Хоккайдо ходи...

— Надо плыть на остров Птиц, — сказал Ивао сестре. Она вслушивалась в разговор, прижав руки к груди. Ее стрелчатые ресницы вздрагивали от резких выкриков.

Я пошел вниз по крутой лестнице. Отец чуть не сбил меня с ног. Он отодвинул Кимуру в сторону и поскакал наверх.

Я пошире расставил ноги.

— Отец, — забормотал я, — у них больной старичок. Он смотрит на море и на островок... Лучше останемся, где жили...

— Ты откуда здесь взялся? — опешил отец и стал боком, чтобы пропустить меня вниз. — Мы его по всему городу ищем, а он в гостях. И у кого!.. Я тебе вот всыплю сейчас! — Он сделал вид, что расстегивает ремень с бронзовой рамкой пряжки.

Я поставил к точеному стояку перил банку и картину и приготовился нырнуть под руку отца.

— Не тронь вояку, — вступился Семен, у него шевельнулись усы. — Ты вот что, Василий, может, в самом деле пока внизу поживешь?

И в это время к лестнице подошли мама и бабушка.

— Вася, нам бы лучше нанизу, — сказала бабушка, развязывая косынку. — Здесь подполье сделаем. А наверху где картошку держать будем?

Отец свел воедино брови и растерянно поглядел на кончики своих сапог. На него упала сверху тень. Ге-сан спускался вниз. Шуршало черное кимоно. Во рту дымилась трубка. В одной руке была подушечка для сидения. Другой рукой он прижимал к себе темную жаровню.

— Конец миру, конец, конец, конец...

Отец посторонился.

8

Мы поселились на верхнем этаже, где на стенах дымилась вулканы. На светлой стене, рядом с верандой, мы с бабушкой повесили фотографию деда. Однако радости в нашей семье не прибавилось. Все, кроме бабушки и Юрика, ходили надутые.

Юрик целые дни играл с золотой рыбкой. Он разглядывал ее на солнце, кормил крошками, менял воду в банке. Во всем доме свободно звучал лишь его смех.

А внизу будто не жили.

Я старался ходить по лестнице около перил, тогда она не скрипела. И вышмыгивал на улицу из прихожей, как заяц из клетки. Иногда все же я смотрел на стеклянную дверь.

Посреди темноватой комнаты перед жаровней сидел Ге и курил трубку. Перед окнами нижнего этажа над обрывом стеной разросся крыжовник. Он закрывал море и съедал солнце.

Ивао и Сумико я не встретил ни разу, точно они уплыли на свой пустой остров. А увидеть их так хотелось, что ныло сердце.

В первые дни переезда на гору я не очень-то хотел с ними встречаться. В конце концов, прав отец — чего с ними чикаться. И ребята наказывали не церемониться... Конец миру... Пустой остров... Язык победителей... А если бы они нас победили? Поплыли бы к нам на материк наводить мир и порядок. Я читал, как после войны 1905 года они устроили на Южном Сахалине гетто для русских... Нам бы, партизанам, срубали б головы самурайскими мечами... Ну хорошо, мы с ребятами не тронем Ивао и Сумико. Я скажу ребятам, что Ивао и Сумико находятся под моей защитой. Надо это еще в письме оговорить. Но зато другие потомки генерала Сиродзу — держитесь!..

Письмо, правда, я не смог пока написать. Торопились вскопать и засеять огород. Даже Семен нам помогал, хотя ему трудно было поддерживать лопату левой рукой. Он удивлялся, зачем мы вскапываем огромную площадь, советовал маме бросить огород и поступить на рыбозавод. Но маму нельзя было оторвать от грядок.

Мы перекопали всю поляну перед домом, оставив лишь узенькую дорожку к проезжей дороге. Потом сажали картошку, в одну лунку с нею — рябенькую фасоль; засеяли грядку морковкой, затем редиска, лук, кукуруза, подсолнухи, табак. Ими засадили чуть ли не пол-огорода. Рассаду бабушка вырастила еще на квартире у Загашникова.

От нас не отставали и Рыбин с Диной. Они поселились в соседнем по дороге маленьком домике, хозяин которого уже уплыл на Хоккайдо. Рыбин раскорчевал под табак ланок в рощице на склоне. Он приходил к нам советоваться насчет самой ранней рассады.

Чем чаще появлялся у нас Рыбин, тем реже Семен. Зато к нам потянулись японцы из городка. Они несли разные вещи, чтобы обменять их на табак. Японцам нравился наш табак. Они курили его и хваливали.

Отец принимал лишь красивые и интересные штуки. Он выменял часы с музыкальным боем. Каждый час они вытелинькивали нежную японскую мелодию. У нас появились деревянные чашки для чая и поднос, так разрисованные хризантемами, что на посуду можно было только любоваться. Отец носил дома шелковое кимоно. Такое же отец выменял и матери, но она кимоно не носила. Мама злилась теперь на отца и за то, что он переводит добро — табак — на безделушки. Она и жила в левой комнате с бабушкой, а отец — в правой, где раньше стоял домашний алтарь японцев. Над постелью отца висел выменянный на табак шелковый ковер, где были вытканы горы с кривыми деревьями, озеро в камыше и лилиях, по нему разъезжали в лодках японцы с японками и любовались луной. В комнате отца стояли бронзовые статуэтки Будды, чаши из фарфора, пепельницы из бамбука, валялись длинные трубки для табака и опиума. И еще выменял он свирель — лаково-черную, с красной кисточкой. Из нее выдувались звуки, напоминающие пение ветра в скалах, трели соловья, шорох волны. Отец сказал, что будет учиться играть на свирели.

Да, Рыбин однажды подарил отцу черную шкатулку, которую нашел в своем доме. Когда Рыбин ушел, Юрик раскрыл шкатулку. Там оказался какой-то пепел. Юрик набрал горсть пепла и начал струйкой спускать его обратно. Хорошо, бабуш-

ка увидела. Она схватилась за голову и раскрыла рот. Быстро-быстро крестясь, она подошла к Юрику и отняла у него шкатулку.

— Господи помилуй, Василий! — выговорила бабушка. — Это ж, сдается мне, покойника ихнего пепел!

— Красивая шкатулка, — ответил весело отец.

— Надо выбросить вместе с пеплом, — предложил я.

— Вам бы с отцом на собак брехать, — ответила бабушка, прижала к животу шкатулку и спустилась к японцам.

Бабушка пробыла там полчаса. Она вышла от японца вместе с Ивао. Шкатулку бабушка держала под платком. Ивао взял лопату, и они пошли к храму. Вернулись они через час уже без шкатулки.

С этой поры бабушка стала запросто ходить в гости к японцам на нижний этаж. И каждый раз несла вниз гостинец — добрую жменю табаку. О чем она могла говорить с полоумным старичком? Может быть, о врачевании? Вообще-то бабушка тоже вылечила немало людей на своем веку от простуды, от рожи и чирья. Она лечила травами и заговорами. Интересно, полоумие она сможет вылечить или нет? Наверное, нет. Туберкулез она точно не лечит...

Я беспрерывно думал о Сумико. Она мне снилась по ночам. Будто она тонет, а я медлю прыгать в воду. Я считаю, что у меня отнимается в воде рука, как у отца. Будто у меня такое же ранение, блуждающий осколок...

Вдруг я вспомнил, что обещал отдарить их своей картиной. И я решил нарисовать для Сумико море и далекий Птичий остров. Пошел с утра к подбитой Кимуриной барже со своим альбомом. Еще надеялся я, что встречу там Ивао и Сумико. Буду рисовать, а они придут.

В барже все оказалось на месте. Шлюпка чуть-чуть покачивалась на легкой волне. Я взял «бога счастья» с фанерки и поднес его к свету. Он ухмыльнулся мне, как старому знакомому. Я прошел к краю площадки. И тут вдруг заметил шевелящуюся студенистую водоросль в воде под ногами. Но водоросль подплывала. И я заметил розовые присоски, похожие на пуговички... Это был осьминог. Он переливался всеми красками, как мыльный пузырь, и гипнотизировал меня огромными жуткими глазами. Одно его щупальце дотянулось до края площадки в воде и стало ощупывать доску. Мои плечи сами собой передернулись. Я повернулся и побежал к носу. Даже не стукнулся в темноте о трап.

В этот день мне расхотелось рисовать с баржи. Да и отсюда почти не виден был Птичий остров. Я решил подняться на сопку и осмотреть море и островок оттуда.

После обеда я пошел штурмовать сопку над городком. Без продыху карабкался по кустам, пока не упал в заросли кислицы на плоской вершине. Ветерок с моря высушил мои мокрые волосы. Я отдышался и сел лицом к морю.

Под моими ногами жирно блестела крыша храма. Чуть ниже отсвечивали на солнце крыши нашего дома, рыбинского и соседних. Крыши городка напоминали щит, пересеченный крестом — главной улицей с переулками. Волнолом изогнулся в сторону моря, словно лук.

Надо мной пронеслись стрижи и синицы. На руку свалилась божья коровка. Я ее сшиб щелчком. Потом раскрыл альбом, погладил бархатную корочку.

Я начал подмалевывать синим карандашом. Но море было многоцветное, в лилово-зеленых пятнах, да еще в мелких серебряных чешуйках. Это только для Юрика легко было нарисовать «синее море и белый паллоход». Я задумался и не заметил, как покрыл весь лист синим. Тогда я пересек его зелеными косыми пучками. Получилось море на глубине. Вот колышутся ленты водорослей. А вот плывет, маскируясь под море, клювастый осьминог. Рыбешки от него врассыпную. Но одна, золотая, осталась в петле его щупальца.

Меня оторвал от рисунка барабанный бой. Кто-то лупил в пустую бочку около храма. Там, на зеленой площади, собирался народ. У японцев, наверное, был сегодня какой-то праздник.

Я поскакал вниз, и солнце подпрыгивало над моей головой, как футбольный мяч.

Японцы ради праздника вырядились в нарядные кимоно и черные костюмы. Они прогуливались перед храмом, а здоровенный японец бил двумя палками в пустую железную бочку, поставленную на попу на деревянном помосте. Комки его мускулов перекатывались под желтой кожей, и пот блестел на спине. Маленький японец в синем кимоно сидел рядом на помосте и наигрывал на свирели. Музыка была монотонная, но от нее все равно ноги разбегались. И прогуливающиеся вокруг японцы не выдержали. Самые молодые стали в круг и начали изгибаться, точно былинки на ветру, и прихлопывать в ладоши. Все медленно кружились вокруг музыкантов. Подходили новые танцоры, и японский хоровод раздавался... Мелькнула полосатая спина — это оказался среди танцующих Семен в тельняшке. Он топтался словно медведь. Рядом с ним я увидел девушку японку с мелово-белой шеей под ровным обрезом волос. Японка показывала Семену, как надо правильно танцевать. И все равно он напоминал медведя. Девушка смеялась, откидывая голову, и опять показывала. Я понял, что Семену не до меня, и не подошел к ним.

Я вынул из-за пазухи альбом, чтобы набросать музыкантов и танцоров, пока не стемнело. Но тут крепкая рука схватила меня за плечо сзади. Звякнули медали отца.

— Пойдем-ка, — сказал он загадочно.

— Куда?

— Ты хотел доказать японцам за деда?..

— Хотел, — растерянно ответил я.

— Вот и докажи им...

Сапоги отца испускали всегдашний свой блеск. По утрам он долго наводил на них глянец. Сначала смахнет пыль тряпочкой, потом нанесет крем и расчистит щеткой. Затем настает очередь бархотки и куска парафина. После этого сапоги пылают черным пламенем.

Отец подвел меня к дальнему углу храмовой площади. Народ теснился тут вокруг песчаной арены. Много было ребятишек. Девчонки похихикивали в своем кружке под деревом. Там же стоял стол, за которым сидел японец с белой повязкой на рукаве. Другой японец с такой же повязкой ходил по кругу и вызывал на арену ребятишек бороться. Однако япончата жались и прятались друг за друга.

Судья наконец выволок на арену двух маленьких японцев. Толпа стала подбадривать малышей. Они неуверенно топтались друг возле друга по свежему песку.

— Давай! — закричал я. — Давай!..

Один малыш обхватил другого за голову и ткнул в песок. Сам испугался и убежал. Судьям пришлось побегать за победителем, чтобы вручить ему какой-то приз на лопаточке в конвертике. И опять судьи начали вызывать желающих.

Отец взял меня за плечи и вытолкнул на арену. Рубаха не выдержала тяжести альбома, вылезла из-под ремешка, и альбом шлепнулся на песок. Японцы закачались от смеха, как кусты под ветром.

Я вначале растерялся, но потом подхватил альбом и гордо выпрямился. Я стал выискивать в толпе своих сверстников. Что ж, поборемся! Будет о чем написать ребятам...

И тут я чуть снова не выронил альбом. За мной исподлобья сквозь выпуклые стекла очков следил Ивао. Рядом стоял Кимура и что-то нашептывал ему на ухо. И я сразу представил себе генерала Сиродзу. До сих пор я не мог нарисовать Сиродзу,

сколько ни силился. Только форма генеральская выходила, а лица не было. Но теперь я видел это лицо. На зубах поблескивают полукоронки... У меня зашевелились пальцы: так захотелось нарисовать генерала Сиродзу — Кимуру. Но в это время оба судьи обратились к зрителям с горячей речью. Они просили выйти бороться со мной того, кто ощущает силы, чтобы утвердить здесь дух Ямато.

Я положил альбом на стол судей и скрестил руки на груди. Вспомнил, как мы целыми днями боролись в своем овраге. Я клал на лопатки даже здоровяка Скулопендру. А если ты, Ивао, полезешь, то пощады не жди. Придавлю, как клопа, и не выпущу, пока не запишишь. Не выпущу, даже если будет просить Сумико. Она тоже должна быть тут. Они с братцем не расстанутся.

Я вгляделся в девчачий куток и увидел Сумико. Она прикрыла нижнюю часть лица большим бумажным зонтиком. Но я ее по одним глазам узнал бы. Они блестящие, как кусочки антрацита.

А Ивао уже шел на арену. Он снял очки и щурился. Его тонкие зубы выпячивались, точно он хотел укусить меня. В самый последний момент я загляделся на его родимое пятно, похожее на воробья, и подумал: если они уедут и мы вырастем на разных берегах, но когда-нибудь нам доведется встретиться, например, в рукопашном бою, я сразу узнаю Ивао.

В это время судья дал сигнал. Я зазевался и ощутил на шее горячий выдох японца. Ивао обхватил меня под поясницу и кинул вбок. Мне удалось устоять. Но не успели ноги стать пошире, как Ивао вновь налетел. И тут я опять зазевался. Захотелось взглянуть, как действует наш поединок на Сумико. Она раскручивала за трость свой зонтик с черно-желто-зелеными глазами змеи.

Ивао толкнул меня в грудь, потому что Кимура выкрикнул по-своему из толпы: «Толкни!»

Я упал всем телом назад. Чтобы не лечь на лопатки, я выбросил правую руку. Она хрустнула выше кисти, но спасла меня от поражения. Судьи кинулись ко мне. Но я уже вскочил на ноги и сгреб Ивао. Он очутился в железных тисках. Он еще пыжился, больно давил мне в грудь подбородком и чуть не выскользнул, потому что правая моя рука вдруг онемела. Тогда я покрепче перехватил Ивао под поясницу и припечатал к песку одним броском. Онемение в правой руке прошло, но сменилось дикой болью. Я так и лежал на песке, лишь голову приподнял. Глаза змеи, нарисованные на зонтике Сумико, расплылись. Рядом начали спорить. Сапоги отца наступали на дзори судей и лакированные полуботинки Кимуры. Подошли из толпы еще двое. По клёшам с ботинками и сапогам я узнал Семена и Рыбина.

Отец доказывал, что победа моя чистая. Однако судьи медлили выносить решение. Кимура же просил судей повторить поединок.

Мы с Ивао поднялись. Он напряжился, готовясь вновь кинуться на меня. Родимое пятно налилось кровью.

— Капитан, — сказал один судья отцу, — оба падай... Надо опять борись.

— Опять, опять, — повторил Кимура, стараясь улыбаться.

— Поучи их еще разок, — сказал отец и гордо оглядел толпу из-под приспущенных век. — Пусть знают, с кем дело имеют.

— Хватит, Василий, — вмешался Семен. — Пусть ребяташки помиряются.

— Не подводи наших, Гера! — завопил Рыбин.

— Ну так что, сынок? — спросил отец и подмигнул.

Чтобы не заорать, я кусанул губу и помотал головой в разные стороны.

— Говорю — борись, — просипел отец, наклоняясь ко мне. — Опозорить отца хочешь?

— Опять, опять, — твердил Кимура и улыбался.

— Ты его под ножку, под ножку... — советовал Рыбин.

— Перестаньте! — Семен потряс неравными кулаками, которые были похожи на два разных куска кварца. — Раздухарились?!

— Твое-то како дело? — взвизгнул Рыбин. — Свою сына займей и распорядись им, как хошь.

— Мой сын, — поддакнул отец, — что захочу, то и будет делать...

Я повернулся, прорвал толпу, где она была пореже, и побежал за храм. Здесь рос на склоне густой кустарник и возвышался на каменном постаменте бронзовый Будда, изрешеченный пулями. Я свалился в росистую траву и заскулил, как щенок, которому отдавили лапу. Будда печально глядел на меня пробитым глазом.

9

Изо всех сил дул я на вспухшую выше кисти руку, прикладывал прохладные, шершавые листья кислицы. Но боль отзывалась даже в кончиках пальцев на ногах. Я начал кататься по траве, но тут же затаился, потому что в мою сторону кто-то шел. Их было двое.

Вот они зашли в рогатую тень храма. Я узнал светлое кимоно и сложенный зонтик Сумико. Ее сопровождал братец.

Они подбежали ко мне и присели на корточки. Я вспомнил, что самураи, сделав харакири, улыбаются, и выдавил улыбку.

— Гера-сан, ты война рисуй, — сказала Сумико и подала мне альбом, который я оставил на столе судей, — как дядя Кимура.

— Мне бы краски, — ответил я и повел правую руку за спину. Однако задел больным местом за бок. Пришлось тихонько застонать. И в это время луна выскочила из-за выгнутой крыши храма. Я поспешно перевалился в тень. Но Сумико заподозрила неладное.

— Рука боли? — спросила она и схватила мою руку горячими пальцами.

Пока Сумико ощупывала опухоль, Ивао протянул мне конвертик. Такой же был и у него в руке. Значит, наградили обоих...

Я надорвал свой зубами. В конвертике лежал новенький рубль. Я скривил губы. Не могли дать какой-нибудь значок — все-таки международные состязания!

Я решил отдать рубль Юрику — пусть играет — и спрятал его в альбом.

Сумико потянула мою руку за кисть.

— А-а-а!..

Хорошо, над площадью гремела бочка. А так бы народ сбежался на мой стон.

— Худо? — спросил Ивао.

— Надо доктор, — сказала Сумико.

— Где сейчас возьмешь доктора? — промямлил я и опять стал дуть на опухоль.

— Дома, — ответила Сумико.

— Дома меня мать ремнем может только подлечить, — сказал я.

— Папа нас яруси, хоросый доктор, — ответила Сумико.

— Да он же помешанный. — Я покрутил пальцем возле головы.

— Папа хоросый доктор, — повторила Сумико. Она схватила меня за здоровую руку и повела по тропе вниз.

Она щебетала без умолку. Наверное, чтобы отвлечь меня от боли. Сумико говорила, что взяла зонтик на гулянье, — дядя обещал к вечеру дождь. Он гораздо лучше определял погоду, когда у него были собственные кунгасы, сейнер и баржа.

Я плохо слушал Сумико. Я старался не трясти руку. И прижимал ее к груди, как мать ребенка. Мне очень хотелось завывать, но впереди шла Сумико, а сзади Ивао.

— Нечестно ты меня толкнул, — сказал я Ивао. — Переведи ему, Сумико.

Сестра перевела ему. Он опустил голову и впился зубами в сорванную на ходу веточку. Сумико начала оправдывать брата. Она сказала, что это все Кимура. Он обучает Ивао приемам джиу-джитсу. Я хотел сказать в ответ, что с его ли очками готовиться к войне. Но в это время мы продрались сквозь заросли кислицы, кукольника, бузины, увитой выюнком, и свалились прямо к нашему дому.

Позади турундела бочка. Ей подсвистывала свирель. Над храмовой площадью блуждали разноцветные бумажные фонарики. И луна висела над площадью, ну точь в точь испеченная в костре и очищенная картофелина. При такой луне бабушка, бывало, заговаривала мне зубы. Сумела бы она заговорить мою руку? Вдруг положат в больницу? Потом как снова встретиться с Сумико?

Сумико с Ивао разулись в передней перед дверью их квартиры. Я, как всегда, потер босые подошвы о штанины.

Ивао тихо откатил половинку двери и пропустил нас в темную комнату. Посредине жерлом вулкана краснела жаровня. Здесь никого не было. Но из соседней комнаты доносилось бормотание.

Ивао раздвинул следующую дверь. Под многорамным окном в клетке из лунного света сидели рядом на татами Ге и бабушка. Возле них стоял фарфоровый чайник с отбитым носиком. В нем бабушка держала свои целебные настои.

— На море окияне, на острове Буяне, на песках сыпучих дуб стоит дремучий, в дубе том дупло, в дупле — темно, — раздавался мерный голос бабушки. — Изыди, болезнь, из Ге страдальца на остров Буян, в дуб дремучий, в дупло вонючее...

Ге глядел на луну и повторял, запинаясь. Как ни больно мне было, но я прыснул в кулак. Тогда Сумико дернула меня назад.

Мы вышли и переждали, пока они не закончили. Наконец бабушка сказала:

— Семь ден по семь раз повторим — должно полегчать... Я одну девушку полоумную вылечила. Ходила она все и спрашивала каждого: «Леню моего не видели?» А Леню этого, ее жениха, под Ленинградом убило...

Дальше я не стерпел. Бабушка могла говорить о том, как лечила, бесконечно. Я шагнул к ним в комнату. Сумико пришлось идти за мной. Ивао сзади включил свет.

— Папа, помоги. — Сумико опустилась перед отцом на колени и стала объяснять, что у меня сломана рука.

Бабушка увидела мою вспухшую правую руку и всполошилась. Она сняла козынку и начала прилаживать к моей руке.

— Унучек мой родименький, — запричитала бабушка, — да где же ты сломал рученьку?

— Упал... там. — Я показал на сопку.

— Ох и бедовый же ты! Нет, чтобы чинно-спокойно посидеть...

Ге внимательно слушал дочь, потом отложил трубку и взял мою руку. Он ощупал кость, и глаза его умно сощурились. Все замерли. Ге отпустил мою руку и тихим голосом попросил принести бумагу и карандаш. Ивао принес карандаш и лист бумаги из соседней комнатки, выходящей окнами на грядки с табаком. Через раздвинутую дверь донесся запах ароматических палочек. И Будда пристально следил за нами со стены. Сумико кинула в комнату зонтик и задвинула дверь.

Ге нарисовал кость моей руки от локтя до кисти и трещинку выше сустава. Он отдал нам листок, а сам забормотал что-то под нос, потирая лоб мундштуком трубки.

Я испугался, что Ге вспомнил о том, что миру конец... Ивао и Сумико тоже глядели на отца с тревогой. Но старик через несколько минут попросил принести ему какие-то лекарства.

Сумико прошла к шкафчику в углу и принесла оттуда банку с коричневой мазью, медную лопаточку и кусок марли. Ге обмазал мою опухоль густым слоем прохладной мази и обернул марлей. Бабушкина косынка пошла на повязку. Ге подвесил мою руку к шее.

Мне сразу стало легче, будто из руки вынули огромную, до самой кости, занозу. Бабушка еще долго квохтала, что я не сношу головы, а потом вдруг спросила старика:

— Семена-то нужны будут вам на пустом острове?

Ге вынул трубку из рта. Но ответить он не успел. К нам донеслась песня:

*Лесом, поляной, дорогой степной
Парень идет на побывку домой.
Ранили парня, но что за беда —
Сердце играет и кровь молода...*

Отцу подпевал Рыбин. Они остановились перед домом и стали по очереди кричать:

— Где ты, Кимура?

— Выходь!

— Я буду бороться с тобой по всем правилам!

— Я судьей буду, гы-ы-ы!..

— Честно будем бороться!

Бабушка закрестилась и вздохнула:

— Господи пронеси...

— Конец миру, конец, конец, конец... — забормотал Ге.

Мы с бабушкой поднялись и пошли навстречу отцу. Он обнял Рыбина и качался на каблуках. Китель отца был расстегнут.

— А-а, это ты, слабочишка! — воскликнул отец и пошел навстречу. — Отца осрамил на весь город... Я тебе прощал проказы. А труса не прощу. Не маленький... — Он расстегнул ремень и с прихлестом вынул его из петель.

— Детей надо учить, учить, — верещал сзади Рыбин, размахивая руками, — чтоб в рот отцу глядели! — И он захохотал басом.

Я, как кошка с перебитой лапой, бросился назад и залетел по лестнице наверх.

— Вася, погоди!..

Но куда было бабушке гнаться за отцом, даже за пьяным.

Я перевел дыхание только возле корзинки Юрика.

— Мама, у Герки рука на перевязи, — сию же минуту объявил братец, поднимаясь.

Мама вышла из своей комнаты, вытирая руки о белый передник.

— Взрывал опять? — спросила она.

— Просто упал, — ответил я.

И тут в комнату влетел отец. Всклоченный чуб свалился ему на глаза. Мама преградила ему дорогу. Ее губы напоминали чайку с опущенными крыльями. А глаза поблескивали, как вода на дне колодца.

— Я из тебя бубна выбью... — с придыхом говорил отец. — Не слушаться отца!..

— Ребенка не тронь! — сказала мама. — Мало ты моей попил крови? Свой дом бросил, а тут поселил с полоумным японцем внизу... Подождет — детей вынести не успеем. Мне назад недолго собраться... Поедешь с мамой назад, сынок?

Я почему-то подумал про Сумико и не ответил маме.

— А-а, горлица, — заскрежетал отец, глядя на маму дикими глазами, — птенца защищаешь... Крылья распустила... Воспитала мне сына... Уезжайте — один останусь! — Он схватил маленький японский столик за край и поднял его в воздух.

Со столика полетела фарфоровая ваза, стопка старых японских журналов и банка с золотой рыбкой. Отец трахнул столик об пол. Все развалилось. На мокром пятне блестели грани разбитой банки, высовывалась лакированная ножка, а куча журналов была усыпана осколками фарфора.

— Рыбка-а-а! Моя рыбка-а-а... — запищал Юрик.

Отец тупо глядел под ноги и покачивался на каблуках. Вода из банки обрызгала ему сапог. Он попытался согнуться, чтобы очистить сапог рукавом кителя, и чуть не упал боком на печку. В это время снизу раздался пронзительный клич Рыбина:

— Вася! Сюда! Кимура... Вот он! Держу-у-у!..

Отец кинулся вниз. Дом задрожал от его каблучков.

Я скатился вслед за отцом, забыв о большой руке. На дворе происходило вот что.

Кимура вырывался. Но руки у Рыбина были сильные. Кимура стоял лицом к дому и видел, как из дверей выбежал отец, за ним я. К Рыбину поспевала помощь. И тогда Кимура захватил руку Рыбина обеими своими, вытянул ее на плече и перевернул отцовского дружка через себя. Рыбин грохнулся на землю, словно куль с глиняными горшками.

— До свидания! — крикнул Кимура и побежал вверх по склону.

Через несколько секунд не слышно было даже шуршания кустов.

— Стой, гад!.. — ревел отец. — Честно бороться будем!

Но тут носок его сапога зацепился за Рыбина. Отец растянулся рядом.

Лицо Рыбина белело под луной, как фарфоровая чашка с ручками. Из носа вытекала черная струйка.

Подошла бабушка с ковшом воды. Она побрызгала изо рта на лицо Рыбина. Тот зашевелился и открыл глаза.

— Вася, он сожжет теперь меня, — сказал Рыбин и всхлипнул. — На материке мясо ел — крепче был. А тут рыба... Сожжет...

— Я с этим Кимурой завтра же поборюсь, — успокаивал дружка отец.

— Сами виноваты, — возразила бабушка.

Рыбин схватился обеими руками за голову и, сутулясь, пошел к себе.

Отец побрел за ним.

— Тоже лечить надо, — сказала бабушка, скорбно подперев подбородок ладонью. — А ведь до войны совсем не пил.

10

«Сумико, я хочу увидеть тебя и объяснить все... Мой отец не такой... Он фронтовик, а у фронтовиков нервы расшатанные. Я тебе расскажу, какой отец у меня на самом деле. И Юрик просит золотую рыбку. А где я ее возьму? Бычка он теперь не хочет. Подавай ему золотую рыбку, и все.

Я жду тебя, Сумико, в кустах бузины, напротив окна твоей комнаты. Гера».

Это первое, что я написал, когда зажила у меня рука. Словно не существовало Борьки, Скулопендры и Лесика, которые ждали от меня письма.

Я не встречал Сумико уже много дней. С того самого вечера, когда Кимура ловким приемом кинул Рыбина на землю и сам скрылся неизвестно куда.

Конечно, ребята не похвалили бы меня за такую прыть... Но я объясню им, какая Сумико. В наш план надо будет внести поправку... Не все же японцы подлые. Я

напишу письмо ребятам в ближайшие дни. Только сначала надо встретить Сумико и сказать ей, что во всем виноват Рыбин... Я ей зла не хочу. Даже наоборот... И пусть она не считает, что у нас все такие, как Рыбин.

Я встал, когда остальные еще спали. Солнце золотило рисовую солому татами. Я бесшумно выдрал из своего альбома лист и написал письмо Сумико красным карандашом. Потом я на цыпочках вышел из дому. Море урчало, как сытый кот. Все эти дни оно было серым от дождя, но вот сегодня вновь засияло.

Я навернул письмо на бамбуковый дротик и пошел с ним по кустам вдоль грядки с табаком. С острых концов широких табачных листьев свисали капли росы. Они искрились, как кусочки зеркала. Роса скатывалась с листьев бузины мне за шиворот холодными живцами. Я поеживался и шел. Мне надо было к меже, которая притыкалась к стене дома как раз под окном комнаты Сумико. В открытую форточку я хотел опустить дротик.

Я оттянул упругую ветку последнего перед межей куста бузины, да так и замер. Одна половинка окна в темную комнату Сумико задвинулась на вторую. Узкая смуглая рука взялась за раму. Потом сама Сумико вспрыгнула на подоконник, повернулась на нем и стала нащупывать ногою землю. Нога высовывалась из синих шаровар до половины белой икры. Сумико спрыгнула на грядку и шлепнулась. Она быстро огляделась и пригладила грядку ладошкой.

Сумико отряхнулась, поправила челку и пошла между грядкой и домом к обрыву. В руке она несла цветной узелок.

Я двинулся за ней, беззвучно раздвигая ветки. Я и не знал, что по обрыву можно спуститься. А Сумико вдруг смело прыгнула на осыпь. Я подполз к тому месту, откуда она прыгнула. Сумико, как коза, скакала по осыпи меж угластых камней и чахлах кустов, наскренных вниз по склону.

Я выждал, когда Сумико скрылась за выступом в обрыве, и тоже ринулся вниз. Письмо сложил перед этим вчетверо и сунул в карман штанов.

Сумико сбежала с обрыва и самым крайним коротким проулком пошла к морю. Я двигался за нею, как сыщик, метрах в двухстах, в тени рыбачьих фанз. Перед песчаным пляжем мне пришлось залечь. Долго лежал, потому что Сумико повторила длинную дорогу, которой вела меня от баржи в первый день нашего знакомства. Сначала Сумико направилась будто к порту, а потом, дойдя до самой воды, повернула к кладбищу. Может, она путала следы? Мы ведь тоже к пещере своей подходили, замата следы.

Сумико шла по сырой полоске и размахивала узлом. От нечего делать я сгребал перед собой песок. Ладонь вдруг укололась. Я разгреб песок. Передо мной лежал поржавелый тесак от японской винтовки. Совсем еще недавно я здорово обрадовался бы этой находке, но сейчас мне было не до оружия.

Сумико подлезла под баржу и скрылась в дыре. Я поднялся и пошел напрямик. Десять минут — и вязкий песчаный горб позади. В лицо мне ударила синяя тень баржи. Ящик был над дырой. Конечно, Ивао, который наверняка ждал сестру в барже, старательно заложил дыру. Серый ящик не отличался от серых досок баржи.

Я тихонечко отодвинул ящик до половины, влез в баржу и снова закрыл дыру.

Ощупью стал пробираться я к корме, где брезжил свет. Надо было подкрасться и крикнуть. Сумико с Ивао что-то затевают. Может быть, хотят плыть на пустой остров?.. Вот вздрогнет очкастый вояка! Будет смеху... Я крался к корме. Подполз к самому складу под навесом из циновки, и ни одна дощечка не скрипнула. Но что я услышал вдруг! Сумико разговаривала с Кимурой!!

Я распластался у днища. Мой нос воткнулся в какие-то щепки.

Я пожалел, что так близко подкрался к ним. Кимура сидел спиной ко мне. Но если он повернется? Или я чихну? У меня передернулись плечи... Отец не теряет

надежды поймать Кимуру. А Кимура наверняка думает, как бы отомстить отцу. И вот я сам в руки к нему пришел... Со скоростью улитки я ощупал карманы. Ракеты не было. Давно ее спрятал в свою школьную сумку. И тесак — сама судьба посы- лала! — не взял. Ну и поделом будет, если Кимура придушит, как котенка. Я затаил дыхание и сполз на самый киль, чтобы спрятаться от ярких пучков света из щелок и осколочных дырок.

— Кимура-сан, — говорила Сумико, — курите табак. Вчера русская бабушка опять приносила папе табак. Здесь, в узелке, рис и табак.

— Я не буду курить русскую подачку, — ответил Кимура и отодвинул кисетик, протянутый Сумико. Он взял плоскую жестяную коробочку с рисом, зажал между пальцами палочки и начал кидать рис в рот.

— Ивао купит табак в другом месте, — сказала Сумико. Она подала фарфоро- вый чайник.

Кимура отпил из него прямо через носик. Беглец был, видно, очень голодный и чавкал.

— Как здоровье Ге? — спросил Кимура.

— Русская бабушка его лечит травами, — ответила Сумико. — По вечерам они смотрят на луну и повторяют молитву. Бабушка спрашивала о вас, Кимура-сан.

— Не говорите обо мне бабушке, — сказал Кимура. — Ни одному русскому нельзя доверять.

— Не все русские плохие, — робко возразила Сумико и наклонила голову. Чер- ный гребешок волос на виске свесился возле глаза.

У меня занемела нога, и я передвинул ее. Какая-то банка покатилась и загреме- ла, точно Илья пророк на колеснице.

Правая рука Кимуры мгновенно очутилась за пазухой, точно он хотел почесать грудь. Тогда я вскочил и побежал. Я летел, как ветер. Но мягкие прыжки Кимуры догоняли меня. Если бы я догадался оставить дыру открытой!

— А-а-а!

Кимура схватил меня над ящиком. Он закрыл мой рот ладонью, которая пахла рисом. Японец прижал меня к своей твердой груди, точно хотел раздавить. За пазу- хой у него лежало что-то продолговатое — не то пистолет, не то нож.

Я брыкался ногами и мычал:

— Пусти! Не имеешь права!..

Я прижал руки к карману, чтобы Кимура не отобрал у меня письмо и не прочи- тал. Но он как раз это и сделал. Отодрал мои руки и вынул письмо к Сумико.

Видели бы ребята... А знали бы они, кто меня спас...

К нам подпорхнула Сумико. Она первым делом вцепилась в руку Кимуре, и мне полегчало. А то уже рябчики запестрели в глазах.

— Кимура-сан, — пропихнула Сумико, — у Геры больная рука.

Кимура ослабил тиски. И он прочел письмо, одной рукой придерживая листок против света, что бил из-под ящика.

— Кимура-сан, — продолжала Сумико, — Гера знает нашу баржу. Помните, он спас меня здесь?

Кимура поставил меня между Сумико и собою. Сам наступил ногой на ящик, который закрывал мне дорогу на свободу.

— Тихо! — приказал мне Кимура. — Иначе я не гарантирую вам жизнь! — Он скосил глаза на Сумико и заговорил с ней по-японски, даже не подозревая, что я почти все понимаю.

— Ты должна отвлечь своего русского поклонника, — сказал Кимура. — Я переведу шлюпку на Мутную речку. Там густые кусты над водой. Пусть Ивао при-

несет мне туда табак. В случае опасности я уплыву на остров Птиц. Там близко Хоккайдо... Пусть Ивао много несет табаку.

— Я сделаю, как вы хотите, — ответила Сумико.

Кимура отдал мне письмо и отодвинул ногою ящик.

В баржу ударил фонтан света.

Я вывалился из дыры на песок, отполз от тени, вскочил и побежал прямо.

— Гера-сан! — закричала Сумико. — Так ходи не надо!

Но я был на свободе. Теперь я мог бежать куда угодно.

Конечно, отцу я не скажу ничего. Но вот Семену надо рассказать, что Кимура скрывается тут, у нас под носом. Семен, тот решит, что надо предпринять... Однако глаза Сумико были открыты так сильно, как в тот раз, когда она тонула. И я не побежал. Я сел на песок и спросил как ни в чем не бывало:

— Почему?

— Рюди там не ходи, — ответила Сумико и обвела рукой чуть ли не всю песчаную полосу. — Война ходи... бомба, мина...

Она хотела напугать меня. Но я не Рыбин. Меня так просто не испугаешь. К тому же я знаю, что ей надо отвлечь меня. Сумико может вообще сказать сейчас, что надо сидеть на месте и не двигаться, потому что я зашел на минное поле. Но я больше дураком не буду, как сегодня. Вот влип так влип. И письмо прочитал этот самурай. Ну, хватит. Позлую вот ее и убегу. Скажу Семену про Кимуру.

— А я ничего не боюсь, — ответил я, разорвал письмо на мелкие клочки и начал бегать по песку и кувыраться, пока Сумико не подбежала и не схватила меня за руку. Под ресницами у нее стало влажно, как утром под листьями бузины. И куда-то исчезла моя решимость. Я даже не мог набраться смелости выдернуть руку из ее руки. И девчонка повела меня по сырому песку. Видели бы ребята, как плелся я за нею. Точно пленник. Теплая гниловатая вода бухты окатывала наши ноги. Мои цыпки жгло, и я подпрыгивал на приборе.

Мы сделали огромную дугу и вышли к крайним фанзам. Я и тут не сопротивлялся. Мне было интересно, куда поведет Сумико. Она цепко держала меня, словно боялась, что сбегу. Сумико вела меня прямо на сопку.

— Почему Кимура прячется? — спросил я и сорвал на ходу саранку.

— Боится, — ответила Сумико.

— Да ему ничего не будет, — сказал я, оглянувшись — нет ли кого — и передал ей цветок.

Она отпустила мою руку и стала собирать букет. Перекладывая цветы травой, она расхваливала своего дядю. Кимура не имел своей семьи, потому что все время занимался рыбными делами. Он мечтал скопить деньги на маленький рыбный завод. Этот заводик он купил бы на Хоккайдо. И тогда вся их семья переехала бы на родину. Кимура давно говорил, что жить на Сахалине опасно. И один он мог бы уплыть на Хоккайдо, когда началась война. Но Кимура не бросил их.

— Рыбину надо было посильнее дать. — Я сделал свирепое лицо и потыкал кулаками в воздух.

— Дядя Кимура русскэ боится, — повторила Сумико.

— Ты меня не боишься? — спросил я и сорвал ей вторую саранку.

Сумико прикрыла лицо жидким букетиком, покрутила головой и бросилась вверх — замелькали блестящие щиколотки ног.

Я побежал за нею по коридорчику, который оставался в зарослях кислицы. Метров через сто мы задохнулись и упали в траву.

Отчаянно стрекотали кузнечики. Выше по склону на кусте сидел ворон и кричал: «Алло, алло...» Солнце поджаривало кожу. Я сорвал два огромных лопуха и сделал шлемы. Лицо Сумико в тени лопуха позеленело.

— Вон остров пустой, — показал я в море бамбуковой палкой, которую подобрал по дороге.

Сумико ничего не ответила. Но глаза ее были устремлены на Птичий остров.

— Давай уплывем на него, — предложил я. — И ребят вызовем, моих друзей — Борьку, Скулопендру и Лесина. Знаешь, какие ребята славные!..

И я рассказал о нашей пещере, о том, как мы взрывали патроны в кострах, как мечтали все приехать на Сахалин, — правда, не сказал зачем, — как думали об оркестре.

— И вообще иначе жизнь сделаем, — закончил я. — Никому никого бояться не надо... Оркестр обязательно создадим. Весело будет.

— Хреб там нет, — напомнила Сумико мои же слова, и продолговатые зеленые тени на ее щеках сгустились.

— Зачем хлеб? — сказал я, ошкуривая стебель кислицы. — Вы можете питаться травой и рыбой, а мы — нет? Хочешь, докажу? Целую неделю буду есть одну кислицу.

— Хочу. — Сумико улыбалась, сильно оттопыривая нижнюю губу.

Я разломил надвое мясистый стебель кислицы и подал половину Сумико. Кислятина свела скулы.

Сумико стала доказывать, что раз у меня есть отец, мама, бабушка и брат Юрик, то я должен быть счастлив на этом острове. И зачем мне плыть на какой-то пустой остров?

— Папа, мама... — передразнил я ее и рассказал, как папа разбил банку с рыбкой. А мама сама головы от земли не поднимает — возится на грядках — и меня туда же... А мне за войну надоело, как червяку, в земле копаться. В общем, хочется убежать из дому. Я могу попросить Семена, и он отвезет нас на Птичий остров на сейнере. И потом будет молчать, как эта сопка. На него положиться можно.

Но Сумико ответила, что рыбку Юрику подарит другую. Рыбку можно заменить, а вот мать и отца никогда. И добавила, что если покинет своего отца, он умрет.

— Ну, давай играть в войну, — сказал я и вручил ей «меч» — бамбуковую палку.

Себе я нашел простую палку и обломил ее, сравнив с «мечом» Сумико. Потом я объяснил ей, что она будет самураем, а я русским богатырем. Мы спрячемся в кустах и начнем искать друг друга. Когда сойдемся, будем драться на «мечах». Мы разбежались в разные стороны. Я упал под ивовый куст и заметил, где спряталась Сумико. Я решил заползти к ней в тыл и застать врасплох.

Я полз, как змея. Старался, чтобы надо мной не качнулась даже травинка. Мы учились ползать в нашем овраге в бурьяне. Борька тут был лучше всех. Он мог так проползти, что ни одна травинка после него не лежала. Он и нас обучил ерошить за собой траву.

Пауки оплели все вокруг седой паутиной. Она липла к потному лицу. Но я терпел и полз дальше. А когда мне в ноздрию забежал муравей и захотелось чихнуть, я использовал способ Лесика. Надо придавить верхними зубами нижнюю губу да пониже. Тогда чох пройдет.

Я все время вслушивался в шорохи. Уже близко должна была быть Сумико... Я замер. Меня кто-то рассматривал сзади. Я обернулся. Среди чащи зеленых иголок усмехалась Сумико. На ее лице колыхались тени от листьев и солнца. Я глядел, какая она красивая, и забыл, что мы воюем. Наконец вспомнил: она «самурай».

— Ура! — закричал я и бросился на Сумико, выставив «меч».

Она еще с колена отшибла мою палку быстро и сильно. Мой «меч» чуть не вывалился из слабоватой правой руки. Но я взял его покрепче и снова сделал выпад. Сумико вновь отшибла мою палку — только расщепленный бамбук задребезжал.

Я разозлился — и пошел, и пошел... Сумико отбивала мои выпады. Бамбук дребезжал в ее руке. Вдруг она изловчилась и «уколола» меня в левую руку. Рука была не в счет, и мы продолжали сражаться.

Еле-еле мне удалось ее «приколоть». Да и то, наверное, она сама поддалась.

У меня ныла рука, когда мы сели на вытоптанную полянку.

— А ты неплохо отбивалась, — сказал я, помахивая кистью правой руки.

— Ивао учит меня, — ответила Сумико. Она уперла свой «меч» в носок дзори и крутила палку, словно пыталась зажечь соломенный жгутик, зажатый большим и соседним пальцами.

— А Ивао кто учил? — спросил я.

— Дядя Кимура, — ответила Сумико.

— А я тебя хочешь плавать научу? — сказал я.

— Хочу, — ответила она и закивала головой.

11

Солнце с плеском садилось в море. Мы вернулись домой. Я обождал в кустах, пока Сумико зайдет в дом, а потом вышел как ни в чем не бывало. От кислицы у меня свело рот и сосало под ложечкой.

— Где пропадал целый день? — набросилась на меня мама. — Мать на огороде разорвись, а ему дела нет!

— Есть у меня свои дела, — ответил я и скопил глаза на столик возле печки, где орудовала бабушка.

— Опять штабы и снаряды? — спросила мама.

— Наоборот, — отозвался я и прошмыгнул мимо нее к бабушке.

На тарелке меня дожидалась горка оладьев, пропитанных постным маслом и посыпанных крупным сахарным песком. Нет, травой не проживешь и одного дня.

Юрик в бабушкиной кофте стоял на веранде и плевал вниз.

— Гера, — сказал он, — ты купался?

— Угу, — ответил я.

— Хоть бы меня взял, — печально сказал Юрик. — На «Оранжед» обещал... Где он, белый твой пароход? Так я и не вылечусь...

— Отойди в комнату, — приказала ему мама. — Ветром охватит — опять сляжешь.

Я разжевал сладкий пахучий оладышек и ответил брату:

— Будет у тебя сегодня рыбка. Такая же пузатенькая.

— Завтра табак полоть, — сказала мама.

Я промолчал. Перечить ей было нельзя — живо отколошматит. Но я твердо решил табак не полоть. Удрать пораньше на море, и все. А пока молчать... Мама ходит нервная. Щеки пустые. Глаза льдистые. Бабушка и та ей не угодит. А про меня и говорить не стоит. Все кажется маме, что японцы ненадежны... А я так не думаю. Все-таки им досталось в войне. На них атомные бомбы сбрасывали. После этого никакой войны не захочешь... Нос сегодня обгорел на солнце — притронуться больно. Ну и ерунда. Облезет шкура — новая еще лучше будет...

Я вытер масляные пальцы о рушник и показал Юрику на корзину. Он залез в нее. Я повез корзину по полу. Мы подъехали к лестнице и увидели Сумико. Она поднималась к нам, неся перед собой стеклянную банку. В зеленой воде шевелила рыжими плавниками рыбка.

Юрик выскочил из корзины — и навстречу Сумико. Она сразу отдала ему банку.

— Рыбка! Рыбка! — завопил Юрик и побежал показывать ее бабушке и маме. На его груди колыхался светлый кружок воды.

— Беренький марчик, — сказала Сумико.

Смешно было слушать, как они говорят. Юрик картавил, а Сумико, наоборот, не могла произнести букву «л».

Юрик поставил рыбку на веранду, а сам вернулся к нам.

— Юрик, это Сумико, — сказал я.

Сумико погладила его волосы мягче пуха.

— А я умею на голове стоять, — ответил брат и тут же притулился к стене вниз головой. Рубашка на его животе задралась, и я хлопнул по белому бугру ладошкой.

— Встань, — приказала мама, — кровушка прильет к голове — опять заболешь.

— Нехай вертится, — возразила бабушка. — Это ему в пользу.

Юрик не удержал равновесия и упал. На стенке покачнулась фотография деда. Юрик сейчас же отполз к своей корзине, порылся в ней и вынул коробку, где хранил фантики от конфет, сушеных жуков и мою картинку. Юрик вынул картинку и показал Сумико.

— Это Герка нарисовал, — стал объяснять брат. — Белый пароход называется «Оранжед». Там золотых рыбок уйма. Ребятишки едят галеты с конфетами. «Оранжед» скоро приплывет сюда. Я на нем вылечусь... Пока он вон на том острове. — Юрик потащил Сумико на веранду и показал пальцем на Птичий остров с розовой от заката верхушкой.

— Там пустой остров, — ответила Сумико. Она не замечала моих отчаянных сигналов: — О-ран-жад — это сок, мидзу, вода...

Юрик повернул ко мне голову, сморщил нос и захныкал:

— А Герка сказал...

— «Оранжед» выбирает себе стоянки в пустынных местах, — стал выкручиваться я. — Где живут люди, там рано или поздно будет война. Понял?

— Значит, сюда не приплывет? — спросил Юрик, шмыгнув носом.

— Приплывет, — заверил я брата. — Война прошла... Больше войны не будет. Верно, Сумико? — И я подмигнул ей.

Она перевела взгляд с Юрика на картинку, потом на меня. Видно, поняла меня.

— Да, — ответила Сумико.

— А вы с ребятами хотели воевать с... — начал Юрик выкладывать военную тайну.

Тогда я взял рисунок и перебил брата, рассказывая, где на «Оранжеде» сады, где озера, где кукольный театр, где столовая...

Юрик отвлекся, задумчиво поковырял в носу и вдруг объявил:

— А я стихи знаю. — И, не дожидаясь приглашения, подкатил глаза к потолку, забубнил:

Ах, попалась, птичка, стой!

Не уйдешь из сети...

Он читал так, что жилка налилась на виске. Закончив, Юрик попросил Сумико спеть ему песню. Она кашлянула, вложила руку в руку и запела «Катюшу». Юрик стал подпевать ей. Голос его напоминал звон балалаечной струны и забивал тихий, как шорох волны на песке, голос Сумико. Я ущипнул Юрика, чтобы он не орал. Но его рот стал открываться еще шире.

*Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла...*

Когда они спели «Катюшу», Юрик попросил Сумико спеть еще и японскую песню. Она откашлялась и запела:

Моси, моси камиэ е...

На лестнице застучали сапоги. Отец всегда поднимался быстро, словно за ним гнались.

Сумико смолкла, опустила голову и прислонилась к стене рядом с печкой.

— О, у нас гостя, — сказал отец, вынырнув. Веки его поднялись, точно занавес в театре.

— Сумико пришла ко мне, — похвастался Юрик и побежал показать банку с рыбкой. — Рыбка плавает по дну — не поймашь ни одну.

— Как раз у нас будет чем угостить, — сказал отец и вынул из оттопыренного кармана брюк бумажный кулек.

Юрик оставил банку и запустил в кулек обе руки. Он вынул горсть конфет в синих обертках. Конфеты были дорогие, шоколадные. Юрик развернул одну и засунул ее в рот. Потом он протянул конфеты Сумико.

— Угощайте гостью чаем, — посоветовал отец и включил свет, хоть было еще светло.

Бабушка не заставила ждать с чаем. Она скоренько подогрела и выставила наш большой чайник на середину японского стола. По краям расставила синие фарфоровые чашки. Я предложил Сумико сесть за столик и сам опустился рядом на татами.

Чай мы пили весело. На нас со стены глядел дед. Глаза его были печальны, но губы тянулись вслед за подкрученными кончиками усов.

Конфеты понравились Сумико. Она откусывала маленькими дольками и жмурилась.

Я пил из блюдца, как купец Загашников. Сумико смеялась надо мной. Юрик собирал фантики, разглаживал между ладонями и складывал стопкой.

— Ребятам подарю, которые на «Оранжеде», — сообщил он мне и Сумико по-свойски.

— А где, интересно, твой дядя, Сумико? — спросил вдруг отец и уставился на неё своими цыганскими глазищами.

Веселье за столом увяло, как цветок в кипятке. Сумико отложила конфету. Ямки на щеках ее разгладились.

— Ты что пристал к девочке? — тихо сказала мама. — Дети виноваты?..

— Да я того... — забормотал отец. — Я хотел сказать, чтобы он не прятался... Ну, случилось по пьянке... Так что — вечно нам в ссоре быть? Пора на мировую... В порту без него синоптики пурхаются. Ни бельмеса не смыслят в облаках и ветрах... А дело начали мы не шуточное — мол чиним. Для ихних же рыбаков... Людей высаживаем на него каждое утро, как десант... Вдруг тайфун?!

Он допил чай из своей чашки, поглядел сквозь нее на белый накал электрической лампочки и щелкнул пальцем по краю. Чашка издала чистый звон. Отец поцокал языком и сказал:

— Ах, что за чашки!

— Ты не будешь больше гоняться за Кимурой? — спросил я отца громко, чтобы поймать его на слове и успокоить Сумико.

Отец не успел ответить, потому что лестница заскрипела под тяжелыми сапогами. Я сразу узнал этот медленный шаг. Шел Рыбин. Над полом выросла щетка

его белесых волос, она спускалась низко на лоб Рыбина косячком. А лоб навис над глазами большими надбровными шишками. Красная шея распирала воротничок шелковой безрукавки.

Как такого здоровяка кинул через голову тощий Кимура?

Рыбин прошел к нашему столу и сел на задники своих сапог. Он не имел привычки разуваться на лестничной площадке. Бабушка всегда выметала после него грязь и ворчала. Но гость есть гость. Да еще друг отца.

Бабушка налила Рыбину чаю. Сосед развернул конфету и метнул ее в рот, который был чуть меньше поддувала в нашей железной печке.

— Как вы не боитесь пускать их к себе?.. — сказал Рыбин, отдуваясь.

Сумико, конечно, поняла. Она сидела ни жива ни мертва. А я думал: что будет, если вылить кипяток из чайника Рыбину на голову?

— Мы гостям рады всегда, — ответила бабушка, и я понял по ее задрожавшим губам, что она негодует.

— Дина теперь их боится ужась, — сказал Рыбин и вытер пот со лба тыльной стороной руки. — Ночью ей кто-то мерещится под окном... И я беспокоюсь стал спать. Мечусь во сне, вскакиваю...

— Ну, а выходил? — усмехнулся отец.

— Из окна вчера смотрел, — ответил Рыбин и, скосив глаза на Сумико, добавил: — Вроде он, Кимура. Кому еще быть?

Сумико встала.

— Аригато, — поблагодарила она и поклонилась, не поднимая ресниц. — Сай-онара.

Я вскочил. В горле застрял горячий чай. Но Сумико уже сбежала по лестнице.

— Мстительные они, злобные, — продолжал Рыбин, задумчиво опуская конфету в рот. — Сожгут как пить дать.

— Хитрого мало, — сказал отец.

— Ты по человечески к ним, они тоже добром ответят... — возразила бабушка.

— Так они тебе и успокоились, — ответил Рыбин, выцеживая остатки заварки в свою чашку. — Ружье завалышенькое иметь не мешало бы...

— У Герки вон попроси самопал, — с улыбкой предложил отец. — Целый арсенал у него заготовлен.

— Если бы и был, не дал бы, — ответил я резко.

Они засмеялись.

— Ишь ты, сурок, — сказал Рыбин, скаля зубы, похожие на семечки подсолнуха. — Вырастет — батьку бить будет.

Я поглядел на них исподлобья и закрутил конфетную обертку в синий жгутик.

— Гхе-гхе-гхе... — засмеялся отец.

— Хо-хо-хо! — вторил ему басом Рыбин. И откуда брался бас после такого тонкого голоса?

— Жених, — пытаюсь погладить меня, сказал отец. — Давайте сосватаем за него японочку, а? Породнимся с ними, тогда и ружья никакого не надо будет... Согласен, Герасим, за общее дело пострадать?

Я вскочил, умчался из дому и забился в кусты бузины на склоне. Мне была видна дверь нашего дома. Я решил вернуться домой лишь тогда, когда уйдет Рыбин.

Прямо передо мной светилось многорамное окно нижнего этажа.

Ге недвижно курил свою трубку над жаровней. Сгорбленная фигурка Ивао передвигалась по комнате, останавливалась то тут, то там. Он что-то как будто искал. Сумико помогала ему, показывая рукой то на одну вещь, то на другую.

А наши, конечно, все еще говорят обо мне. Отец про старое, что я его не хочу понимать, а он для нас в лепешку разбивается. Рыбин советует поколачивать детей почаще. Мать бурчит: «Все бегал бы, а табак будет полоть Ванька китаец?» Бабушка возражает ей: «Нехай побегает, пока беззаботный...» А я совсем не беззаботный. Я не знаю, что написать Борьке, Скулопендре и Лесику. Они-то думают, что я колочу японцев. Но я занят совсем не тем... Даже наоборот — подружился с японцами... Наступит утро, и я буду вновь думать, как встретиться с Сумико. Только сегодня все стало хорошо, и вот — на тебе! — явился этот Рыбин и оскорбил Сумико. Точно мне под дых залепил.

Ивао внезапно бросился к двери в прихожую. Он приглашал кого-то зайти. Через минуту широкая фигура Рыбина заслонила треть окна.

Я прокрался межой к неплотно сдвинутому окну и услышал голос Рыбина.

— Шкаф не надо, — отрубал он, переходя комнату, — все заставлено у меня уже... Одежда есть — десять штук... Картинки — зачем? Лучше сам нарисую русалку или дворец на клеенке... Рыбки — какой от них толк, жрать им только давай... Вот жаровенка рази ж... — Он остановился перед Ге и взял жаровню в руки, словно взвешивая. — В дожди обогреться в самый раз. Печку все время не натопишься... Пойдем, парень, отсыплю тебе табачку за жаровенку... Старику, ясно дело, без махры тяжело. Все курить хотят — здоровый ты иль полоумный... Эх-хе-хе, все война проклятая...

Я отпрянул от окна и вернулся в кусты.

Лязгнула дверь. Рыбин вынес жаровню на вытянутых руках. Красный отсвет падал на его лицо. Казалось, у него нет глаз. Вместо них — две пещеры.

— А ты не забудь дяде своему передать, — говорил Рыбин ковылявшему сзади Ивао, — если он подожжет нас, вам всем плохо будет.

— Моя вакаранай, — уныло ответил Ивао, — моя вакаранай.

— Всё вы хорошо понимаете, — продолжал Рыбин, — да притворяетесь.

— Моя вакаранай...

Они прошли недалеко от меня и скрылись за косогором.

Я сорвал листик бузины и не заметил, как изжевал его в горькую кашу. Глаза смыкались. Равномерное подмигивание маяка усыпляло. Однако я дождался, когда в наших окнах погас свет. Тогда я побрел домой.

12

Отец словно чуял что-то. Он не спал. И вообще он — по воздуху пройди — услышит. Недаром был разведчиком. Когда я, не дыша, поднялся по лестнице, раздался из спальни его голос:

— Ты где шляешься по ночам?

— Да так... гулял, — пробормотал я и юркнул под свое тонкое одеяло возле корзины спящего брата.

— Смотри — заведут они тебя в сопки... Ищи свищи потом... — Он кашлянул.

Сказать ему про Кимуру или нет? У меня заныла правая рука — сдавил ее Кимура утром. Но, вместо того чтобы пожаловаться, я пробормотал:

— Не все такие они, как вы думаете...

— Повоевал бы с мое... — проворчал он, и мы затихли.

Одна мысль пришла мне в голову. Пусть они живут как хотят. Боятся друг друга и ненавидят. А нам незачем плыть на пустой остров. Мы и здесь хорошо устроимся. Они живут по-своему, а мы будем по-своему. Мы с Сумико спокойно будем

ходить купаться на старую баржу. Я знать не хочу, что Кимура прячется на Мутной. Сегодня я пообещал научить Сумико плавать. Рука у меня уже в порядке. И нам никто теперь не будет мешать. Их дела нас не касаются. И пусть они не лезут в наши дела.

Однако даже во сне они не оставляли нас в покое. Мы шли с Сумико по сопкам. Я спрашивал, куда она ведет меня, потому что нельзя было доверять. Но она лишь улыбалась в ответ, ее нижняя припухшая губа иронически выпячивалась.

И вдруг Сумико стала чайкой, взнеслась над головой, а навстречу мне из кустов бузины выбежали Кимура и Рыбин. Они размахивали ножами и визжали, как дикие кабаны.

Я подскочил в постели. Визг усиливался. Он стал воплем наяву. Вопль исходил от рыбинского дома. Можно было даже разобрать:

— Пожар! Спасайте, о-ой, спасайте!..

Отец промчался вниз. Мама и бабушка засуетились в своей комнате.

Я зачем-то достал ракету из сумки и ринулся вслед за отцом.

Крышу рыбинского дома подпирал огонь.

Листья на деревьях побагровели. А дальше, за языками света, была жуткая темень.

— Люди! — кричал Рыбин. — Не видите, что ли? Горю!..

Черные фигуры людей сбегались к Рыбину. Я летел туда же. Дом пылал, точно его полили бензином.

Полыхнула крыша. Лицо обдало жаром. Я закрылся ладонями и чуть не сбил Дину. Она стояла в ночной рубаше посреди дороги, прижимая к себе большую японскую вазу. В глазах у нее можно было увидеть весь пожар. Губы ее дрожали, как от холода.

— Мои бусы, мои бусы... — повторяла Дина.

Сзади загремел колокол. Я еле успел отскочить от колес пожарной машины. На ней густо сидели пожарники и еще кто-то в тельняшке, усапый. Да это ж Семен! Не дожидаясь, когда остановится машина, он спрыгнул на землю и кинулся к дому Рыбина.

Пламя заплесало на бронзовых касках японцев-пожарников. Машина стала возле пожарной колонки, пожарники стремительно раскатали шланг и привинтили его к колонке. Плоский шланг надулся.

Мне в лицо ударил фонтанчик воды из дырки.

Здоровенный японец-пожарник боролся с озверевшим брандспойтом, как укротитель с удавом. Тяжелый жгут воды замолотил по пламени. Однако горящие балки только злее затрещали. Мне показалось, что японцы заливают огонь не водой... И я попробовал фонтанчик на язык. Холодная вкусная вода.

Из самого пекла выскочил Рыбин. Его пуловер, накинутый прямо на голое тело, дымился. Руки прижимали к груди какие-то тряпки. Пожарник направил брандспойт на Рыбина. Но тот заорал и повернулся спиной, спасая от воды тряпки.

— Дом поливайте! — орал Рыбин. — Не свое, так не жалко?

Он подбежал к Дине и сунул ей тряпки на вазу.

— Стереги, а то растащат, — сказал он жене и кивнул головой в мою сторону.

Я оглянулся. Сзади стояли японцы из соседних домов. Рядом с ними остановились наши: мама и бабушка. Блеснули стекла очков Ивао. Сумико глядела в мою сторону. Увидев ее, я кинулся помогать Семену и отцу заливать крышу сарайчика водой. Огненные ошметки летели по ветру на сарай. Семен окатывал его из ведра, которое передавал ему отец, а отцу по цепочке — японцы.

— Вася, — хныкал Рыбин под руку отца, — я говорил — подожгет... Он и вас подожгет, вот увидишь...

— Становись в цепь, — ответил ему отец и окатил себя водой.

— Полкуля табак у меня в доме осталось, — причитал Рыбин, размазывая по лицу сажу. — Может, сходим, Гера? Проявим геройство, а? Обмотаемся тряпками, обольемся водой...

Ну где раньше мог я видеть Рыбина? Я поглядел на отца: что он скажет?

— Не выдумывай! — оборвал отец дружка.

— А ну, отойди, не морочь парню голову! — крикнул Рыбину Семен. С кончиков его усов капала вода.

Я цвиркнул слюной, как Семен, и отошел. В цепь мне становиться тоже не хотелось. Там и без меня хватало народу. Я побегал вокруг пожарников, но и там подходящей работы не нашлось. Оглянулся на Сумико. Ее не было на прежнем месте. Тогда я сел на шланг и зажал пальцем фонтанчик.

Пожарники оставили дом догорать и перевели струю на сарайчик, потому что искры полетели гуще и дальше.

Цепочка во главе с Семеном и отцом сползла к дому, что был расположен ниже по склону. По цепи ходило всего три ведра.

— Несите ведра, черт вас подери!.. — кричал отец. Мокрый чуб лез ему на глаза.

Рядом сверкнуло ведро. Я повернул голову и увидел Ге. Он нес оцинкованное ведро двумя руками перед собой. Багряные волны перекатывались по его черному кимоно. Ивао взял ведро у отца и отнес его в цепь. Сумико поддерживала отца под локоть. Ге бормотал, печально изгибая брови, но за треском пожара, криками, звяканьем пожарных топоров и багров его не было слышно. Но по изгибу губ я догадался, что он повторяет свое:

— Конец миру, конец, конец, конец...

К нему подошла бабушка. Она что-то говорила и качала головой. Ге тоже качал головой. Откуда-то к ним подскочил Рыбин. Он закричал, размахивая мокро блестящими мускулистыми руками перед Ге:

— А ну говори, японская морда, где прячется Кимура?! Скрываете поджигателя, да?!

Ге заслонился рукой. Согнутые пальцы бросили кривые полосы тени на его лицо.

— Бог с тобой, Афоня! — громко сказала бабушка, наступая на Рыбина. — Опомнись! Грех напраслину возводить.

Ивао и Сумико повернули отца к нашему дому. Скоро они растворились во тьме.

Из желтого пламени проступил красный скелет дома. Потом скелет рухнул, взметнув ворох искр. Пожар пошел на убыль. Пожарники вытирали пот рукавами брезентовых курток. Семен и отец вылили друг другу на головы ведро воды и подошли к бабушке. К ним присоединилась и мама. Шум вокруг пожара стихал. Темнота шла на огонь.

— Боже мой! — сказала мама и закрыла глаза ладонями. — Куда мы заехали? Перетряслась я вся.

Отец пятерней зачесал назад свой чуб и пропел вполголоса:

*Смерть не страшна,
Если пули свистят далеко
И сидишь ты в глубоком тылу,
В блиндаже в семь накатов...*

— Комедию перед женой ломаешь? — повысила голос мама. Подбородок ее наморщился. — Детей тебе не жалко... Уедем мы. Сынок, — она повернула ко мне голову, — назад поедem?

Семен смотрел на меня с интересом, отжимая кончики усов. Я промолчал и только огляделся: не вернулась ли Сумико?

Отец сгибал и разгибал свою правую руку, помогая левой.

— Наживали, наживали люди добро, — бормотала мама, — и все в дым превратилось.

— Афоня парень шустрый, — весело ответил отец, взмахами разогревая руку, стянутую судорогой. — Быстро поправится. Табаку у него насажено в два раза больше, чем у нас.

— Через жадность свою они сторели, дочка, — сказала бабушка, затягивая узелок косынки. — Афоня не гребует ничем. Макитру с углями у старичка нашего полоумного унес... За стакан махры. — Она подняла глаза на небо с вновь проступившими звездами и перекрестилась. — Господь покарал.

— И я думаю — сам бог, — тягуче поддержал бабушку Семен.

— Дурак только мог подпалить, — хмуро отозвался отец, разминая кисть сведенной руки. — А Кимуру дураком не назовешь...

— Сам себя Афоня подпалил, — сказала бабушка, качая головой. — Макитрой и поджег... Перевернул невзначай или что...

Я хотел подтвердить, что видел, как Рыбин унес жаровню с углями. Но тут подошел Рыбин с Диной. Дина не расставалась с фарфоровой вазой. Она хлопала носом. Волосы ее распустились, как у русалки.

Увидев Рыбиных, Семен отошел к пожарникам.

— Куда нам теперь? — спросил Рыбин и уронил голову на свою широкую грудь. — Хоть на материк возвращайся... Не огород бы, плюнуть на этот Сахалин...

— Говорила: давай жить тихо спокойно у мамы, у папани. — У Дины вырвался стон из груди. — Нет, отделиться захотел... У папани собаки двор охраняют, а тут мы как на ладони-и-и...

— Не паниковать! — прикрикнул отец, шевеля правым плечом. — Скоро японцев на родину отвезут.

— Как на ладони-и-и... — причитала Дина.

Бабушка поправила волосы Дине и успокоила ее:

— Вместе пока проживем, не бедуй.

— Собачку я заведу, — пообещал Рыбин жене и забрал у нее вазу.

— Не могу допустить, что Кимура поджег, — сказал отец, щуря глаза.

Он еще пошевелил пальцами правой руки и пошел к пожарникам. Те растаскивали баграми балки с желтыми листочками пламени.

Бабушка взяла Дину под руку и повела к нашему дому,

Я встал с подергивающегося шланга и тоже побрел домой. В темноте шевелилось море. Вздохи его доносились сюда.

Я стал думать: кто же мог поджечь Рыбина? Ну, Кимура не мог. Куда он спрячется после этого? В сопки разве удерет? Но там долго не напрячешься... Пожалуй, бабушка права: сам себя Рыбин поджег жаровней. Опять же, как подвел его зоркий хозяйственный глаз?..

Я обогнал бабушку, маму и Рыбиных. Света не было в нашем доме. Я беззвучно пробрался наверх.

Юрик спал, тихонько посвистывая носом. Я на секунду включил свет. Юрик улыбался. Наверное, ему снился белый пароход. А может, он в самом деле есть, белый пароход? Плавает где-нибудь в теплом море...

Я забрался в свою постель и накрылся с головой одеялом.

... А если нет его, нельзя ли, чтобы все вокруг было как на «Оранжеде»?

Пришли наши и Рыбины. Зажгли свет только в левой комнате. Стали укладывать. Говорили они шепотом. Я слышал, как бабушка уговаривала маму перейти в комнату к отцу. Но мама резко ответила ей, чтобы бабушка не совалась не в свои дела.

И тогда я решил, что человеку, конечно, трудно устроить жизнь, как на белом пароходе.

13

Проснулся я от щекотки. Лягнул, не раскрывая глаз, но в Юрика не попал. Он издали щекотал мне пятку соломинкой и хихикал.

— Вставай, лежебока, — сказала бабушка и загремела посудой у печки, — проспишь белый свет.

Я притаился и, когда Юрик подполз ближе, накинул на него одеяло. Он завопил, потому что боялся задохнуться.

— Попей чаю! — крикнула мне бабушка, но я уже мчался по лестнице. Мне надо было договориться с Сумико, чтобы она никуда не уходила, ждала меня. Я позавтракаю, и мы с ней убежим на море купаться.

Я постучался. Мне никто не ответил. Тогда я откатил дверь. В комнате — пусто. На татами валялась мерная трубка с длинным мундштуком. Я крикнул вполголоса:

— Эй!

Никто не отозвался. Я вошел во вторую дверь. На полу валялась желтая косянка Ивао. Я повернулся. Рыбки в аквариуме в углу пялили на меня глаза. Я нашел крошки за аквариумом и бросил в воду несколько щепоток. Рыбешки накинулись на пищу. Их, видно, не кормили утром. Сбежали хозяева... И Сумико с ними! Сумико!..

Я плотно задвинул дверь и медленно поднялся по лестнице.

— Давай чаю, бабушка, — сказал я.

— Умойся сначала, — ответила она.

Я равнодушно сполоснулся под умывальником. Бабушка поставила на низенький столик рисовую кашу с молоком.

— Я же сказал — чаю, — нахмурился я.

— Не выламывайся, ешь, — приказала она и скрестила руки впереди. — Мать приказала табак полоть.

— Я его не курю, — ответил я, ковыряясь ложкой в каше.

— Со мной ты бедовый, — сказала она, качая головой. — А перед отцом?..

Я промолчал и усердно стал есть кашу. Бабушка подставила мне и кружку чаю. Бабушкины глаза были блеклые, как ее старая синяя кофта, и добрые-добрые. Губы скаты вроде сурово, но самые кончики вздернулись вверх. Сказать ей или нет, что ее японцы удрали? Лучше скажу после. Она расстроится. Все-таки крепко сдружилась с ними. Как вчера она их защищала! А они всех обвели вокруг пальца... И меня особенно... Эх, Сумико, Сумико! Я думал, что мы друзья... Я поднял глаза на деда, тяжело вздохнул и отвел взгляд. А может, вовсе и не Кимура поджег? Тогда почему все удрали? Если невиновны, зачем удирать?.. Эх, Сумико, Сумико!..

— Опять на целый день? — спросила бабушка.

— Есть дело, — ответил я, запивая кашу чаем.

— Какое? — подлез ко мне Юрик.

— Важное, — сказал я.

— Я с тобой! — запрыгал брат.

— Тебе нельзя, — сказал я.

Юрик сел у моих ног, и прозрачные живчики побежали из его глаз.

— Все мне нельзя, — причитал он, крутя кулачками в глазах. — Так у меня ноги не окрепнут.

— Не реви, — сказал я, морщась, и махнул рукой. — Обувай свои сандалии.

Юрик мячиком подскочил с татами. Он вмиг обул красные сандалии и зашлепал по лестнице впереди меня.

Я поймал брата за руку и повел на пожарище.

Головешки отливали на солнце синим цветом. По ним ходили два пожарника и милиционер. Они что-то выискивали среди обгорелых досок. Если бы они знали, что наши соседи сбежали, наверное, перестали бы рыться в головешках. Надо искать Кимуру. Он выждал удобный момент, отомстил и ушел в море на шлюпке, захватив своих. Вот как мстить надо!..

— Видишь... — сказал я Юрику.

— Да, — ответил он и засунул палец в рот.

— Теперь иди домой, — сказал я, поворачивая назад.

— А ты?

— Я пойду искать тех, кто поджег дом дяди Рыбина.

— И я с тобой, — ответил Юрик, морща нос.

Я остановился, взъерошил ему пух на голове, крепко взял за руку и потащил вниз по дороге. Надо было б спуститься по обрыву — и быстрее к речке Мутной, которая впадала в море за городком, за правым краем волнолома, но с братом я побоялся идти по обрыву.

Мы с ним прошли под императорскими воротами. Здесь я на минуту остановился. Юрик заметил, что я пристально гляжу в землю. А я глядел на кривую тень арки меча.

— Ты следы увидел этих... кто поджег дядю Рыбина? — спросил он.

— Да, — очнулся я, и пошагали мы с Юриком дальше. Мы шли горячими улицами, и скоро брат захныкал, что ему жарко. На окраине в придорожной канаве я сорвал серый лопух и накинул Юрику на голову.

До речки было два километра. Я ходил туда раз и видел, какие непроходимые кусты в устье. В них можно спрятать целый катер.

Когда мы подошли к темно-зеленому кустарнику в устье речки, я приказал брату залечь в траве и слушать мои сигналы. Если я выстрелю ракетой, то он должен мчаться изо всех сил в порт и звать на помощь дядю Семена или отца. Юрик отдал мне честь и залег. Я пошел по кустам над самой речкой. Над раздвинутыми ветками черемухи, ольхи и тальника колыхался терпкий настой горячего воздуха. Бабушка говорила не раз, что травы и деревья остро пахнут перед грозой. Я подумал об этом мельком, потому что пристально оглядывал каждый просвет в кустах.

И я увидел маленькую гавань чуть выше устья. Волны раскачивали подрубленные ветки кустов. Трава была притоптана, и в ней мелькнуло что-то цветастое. Я нагнулся. Это был «бог счастья», втоптаный в сырую землю. Я вызволил его из земли и отер. Он безмятежно ухмыльнулся фарфоровыми зубами. Только нос у него чуть сколупнулся... Спешили, сильно спешили хозяева. Эх, Сумико, Сумико!..

— Гера, я испугнусь разок? — Юрик незаметно подкрался сзади.

— Я тебе как велел?! — закричал я на него.

У брата опять сморщился нос и задергались щеки.

— Ты никаких сигналов не подаешь, — забормотал он, протыкая пальцем серый лопух, — а мне жарко стало — солнце вон как печет.

— Горе мне с тобой, — сказал я, понизив голос. — Купайся, только быстро...

Он разделся и стал барахтаться в воде у самого берега. Поднял всю муть со дна. Рожица брата сияла, как луковица на солнце. Я уж и сам решил разок искупаться, но потом поглядел на божка и отставил. Надо было спешить...

— Идем, — приказал я Юрику.

— Еще разок искупнусь, и все, — ответил он.

Я поймал его за скользкую руку и подтолкнул к одежонке.

— Гера, ты не нашел тех?.. — начались расспросы.

— Не нашел, — ответил я, помог ему натянуть майку и потащил через кусты к дороге.

Обратно мы шли быстрее. Однако Юрик не прекратил своих дурацких расспросов.

— Гера, куда мы бежим?

— В порт.

— Зачем?

— Попросим катер.

— Кататься?

— Да.

— Знаешь, что я придумал?

— Что?

— Поплывем на тот остров, где «Оранжед».

— Можно было бы... Но тебя мамка не отпустит.

— С тобой отпустит.

Оставалось только пожать плечами.

Чем ближе мы подходили к порту, тем больше я завидовал велосипедистам, пронесившимся мимо. У меня за ушами стало мокро — туда стекал пот.

Юрик сильно пыхтел, но расспросов не прекращал.

— Гера, а Сумико мы возьмем?

— Она уже уплыла...

— На белый пароход?

— На белый.

— А почему она тебя не взяла?

— С какой стати?

— Она твоя невеста, да?

— Много будешь знать — быстро состаришься.

— Я бы сам на ней женился, когда вырос, — она красивая.

— «Красивая»... Она японка, а ты русский.

— Ну и что? Она же красивая.

— Ты еще мал и глуп...

— Возьму вот женюсь и тебя не побоюсь.

Я остановился, положил руку ему на плечо и сказал:

— Перестань болтать, иначе будешь сидеть в корзине.

Брат умолк и лишь изредка косил на меня сизым глазом.

У проходной будки нам преградил дорогу парень-японец с красной повязкой на рукаве. Он был года на четыре старше меня, но только чуть выше ростом. Он помахивал деревянным самурайским мечом.

— Назад ходи! — заявил он нам и постучал мечом по ступеньке проходной.

— Мы к Семену Ивановичу Щавелеву, — ответил я, засовывая руки в карманы.

— Моя порт охраняй, — сказал японец и положил меч на свое покатое плечо. — Пропуск нет — не пускай.

— Я тебе сейчас как дам! — ответил я, выставив вперед кулаки.

Я бы поколотил этого япошку, потому что злость вдруг во мне закипела, как вода в чайнике. И хорошо, что Юрик в это время пролез сквозь стержни в ограде и закричал:

— Дядя Семен! Дядя Семен!

Японец бросился через проходную за Юриком. Но тут и я проскочил в порт через будку.

Семен шел мимо, перебирая на ходу листки бумаги. Он вскинул голову и сразу же поднял руку навстречу японцу. Тот опустил свой меч и выпятил в улыбке зубы, похожие на костяной веер.

Я давно уже не видел Семена таким усталым. Усы его выгорели на солнце.

Семен подхватил Юрика на руки и закружил. Но я не дал им разыграться. Я поймал Семена за рукав кителя, а Юрику сунул в руки божка, чтобы отвлечь от нашего разговора.

— Дело есть, — сказал я Семену.

— Да ну? — ответил он и подкрутил правый, поникший от пота ус.

Он сложил свои листки и засунул в карман кителя. Если бы он не спрятал эти бумажки, я бы ничего не сказал. Но Семен все-таки умел кое-что видеть по глазам. И он приготовился серьезно выслушать меня.

Я начал с того, что был до сих пор доверчивым дураком. Мною крутили японцы, как Юрик вон тем божком. Я предатель. Мягкое сердце — оно подвело. Вместо того чтобы мстить японцам за деда, стал заводить с ними дружбу. И главное, знал, какие они коварные... Я рассказал про генерала Сиродзу. И что Кимура надеется на новую победоносную для них войну. Все они одинаковые... Меня обвели вокруг пальца. Улыбались мне, дарили рыбки и усыпили мою бдительность. Сумико заколдовала меня, что ли... А потом Кимура поджег дом Рыбина. Недаром чуткий Рыбин не спал по ночам. А я-то, я-то!.. Вчера узнал, где скрывается Кимура, и утаил от отца. И вот Кимура ночью поджег дом Рыбина, и они удрали все вместе в своей шлюпке... Правильно, что отец называл меня слабаком, правильно... Только я знаю, куда они уплыли. Они хотят спрятаться на Птичьем острове и там жить...

— Семен Иванович! — Я облизывал пересохшие губы. — Давайте догоним их!

Он долго смотрел на меня вприщур, зачем-то пощупал мой лоб и потом почесал свой затылок.

— Что ж, вояка, может быть, в твоём бреду есть доля правды, — сказал Семен, растягивая слова, как резину. — Пусть сплаваят — проверят...

— Эх, дядя Семен! — сказал я и отшатнулся. — Там же Сумико!..

Он подхватил меня и привлек к себе, заглядывая в глаза. Но я освободился от его объятий.

— Жарко, — сказал Семен, расстегивая китель.

— Пойдем домой. — Я отобрал у брата «бога счастья» и подтолкнул Юрика к проходной.

— Уже надулся, вояка, — сказал Семен и загородил нам дорогу. — Пойдемте. Переговорим с вашим отцом.

— А без него не обойдемся? — спросил я.

— Он сейчас распоряжается катерами, — ответил Семен и повернул лохматую голову к пирсу, где маячил отец.

— Тогда скажите ему, что я во всем виноват, — попросил я, вытирая пот за ушами.

— Много берешь на себя. — Семен наморщил загорелый лоб. Его губы изогнулись серпом, только концами вниз. — Генерал Сиродзу тут виноват пока больше всех...

Мы пошли к пирсу. Три тени — большая, поменьше и совсем маленькая, — точно копы, были направлены на отца. Он бегал по пирсу и что-то кричал в рупор

вслед катеру, который шел прямо к волнолому. На катере синели куртки и белели косынки японцев. Полно их было и на волноломе. Они сустились на фоне остеклевшего моря.

Семен оставил нас в тени огромного чана, пахнущего селедкой, а сам, выпрямившись, пошел к отцу. Семен хлопнул его по плечу. Отец покричал еще немного и положил рупор на железную тумбу.

Они постояли с Семеном, покурили, перекинулись несколькими словами, и отец вновь взял рупор. Он нацелил его на серый катер у причала и загрохотал:

— Рыбин, что у тебя с новым мотором?

— У Рыбина всегда мотор как часики, — высунулся из рубки хмурый дружок отца. Он был все в том же японском пуловере.

— Надо обкатать! — закричал отец.

— Хоть до Владивостока, — ответил Рыбин и позвал нас рукой по локоть в мазуте.

Я подошел к краю пирса и прыгнул на горячую палубу.

— Юрик, — сказал я, стараясь не глядеть на брата, — оставайся с папой. Он тебе даст рупор покричать.

— Ишь ты, прыткий, — отозвался отец, подходя к катеру. — Сам устроился, а нас не хочет брать.

У меня заныло в затылке. Значит, и отец и Рыбин поплывут с нами... Конечно, он разведчик и скрутит Кимуру, если потребуется. Ну, а вдруг Кимура все-таки не поджигал? Нет, долой, долой, долой жалость! Надо быть, как отец. Иначе не отомстить... В конце концов, нужно отчитаться перед ребятами в письме.

Семен с Юриком под мышкой прыгнул на палубу.

— Сбегал бы, Василий, посмотрел метеосводку, — сказал он.

— Можно ли теперь доверять японцам? — отозвался отец. — Да и долго ли нам сходить до островка?

— Ладно. — Семен махнул рукой. — Без Кимуры они там все наоборот предсказывают.

Отец тоже прыгнул на катер, который от толчка задрожал, как живое существо. Косматые отблески волн взлетели со стенки до стекол рубки.

— Давайте быстрее, — сказал я.

— Ничего, сынок, от нас не уйдут, — ответил отец и подмигнул. Потом глаза его сузились и стали как два прямых кинжалчика.

Мне с отцом говорить сейчас не хотелось. Я открыл дверь кубрика. Здесь было прохладно и пахло масляной краской. Я растянулся на скрипучей сетчатой полке и потрогал свой нос. Он горел, словно меня ткнули лицом в крапиву.

За перегородкой впереди затарахтел мотор. Я видел в иллюминатор, как от нас отваливается веревочная груша на бетонной стенке. Катер развернулся носом к выходу и понесся навстречу маяку. Башня маяка напоминала ладью на шахматной доске. Капля воды ударила в стекло и поползла. Мы взбурили открытое море. На стене закачалась половинка бинокля, висевшая на длинном ремешке.

Я поднялся и вышел на палубу.

Над морем визгливо резали воздух чайки. Они ругали рабочих, которые ремонтировали волнолом и согнали птиц с насиженных мест. Я вспомнил, как убил тут журавля, и поежился. Журавль точно живой у меня перед глазами. И в сердце опять засвербило... Может, Кимура все-таки не поджигал Рыбина?.. Ну нет, невинные не поплыли бы по морю в шлюпочке...

Японцы махали нам белыми косынками. Юрик орал им с мостика в рупор: «Сайонара!»

Отец сидел под мачтой на бухте. А Семен — прямо на палубе, поджав ноги по-японски.

— Кури, — сказал отец, протягивая Семену портсигар.
 — Свой есть, — ответил Семен и достал из кармана синий кисет.
 — Значит, брезгуешь? — спросил отец.
 — Брезгую, — согласился Семен.
 — А я думал, ты все-таки друг мне, — сказал отец, и треугольник морщин обозначился на его буре переносе.
 — Барыги твои друзья, — ответил Семен, закручивая сигарку.
 — Чего же ты плывешь с нами?! — выкрикнул отец, подскочил на бухте и согнулся, точно хотел кинуться на Семена.
 А тот спокойно сплунул под сапоги отца, в складках которых дробилось солнце.
 — Это ты с нами плывешь, — ответил Семен и поднял на меня глаза. — Верно, вояка?
 У отца кожа натянулась на скулах.
 Я понял, что мне лучше спрятаться, и отошел к двери кубрика.
 Меня стало поташнивать. Море казалось мертвым, а катер все же раскачивался: то нос вверх, то корма. Вода, зеленая, как лягушачья кожа, зыбилась за бортом. Небо прямо по нашему курсу быстро покрывалось серебристыми мочалками. И там же из моря выпирал помаленьку островок, напоминающий вулкан.
 Я разинул рот и сделал несколько глубоких вздохов. Тошнота вроде прошла. Тогда я зашел опять в кубрик, лег на сетку и закрыл глаза.

14

— Гера, — толкал меня Юрик под бок острым кулачком, — проснись... «Оранжед» покажи — где?
 Я раскрыл глаза. Бинокля на стене не было. Над левым иллюминатором висели скалы. Чайки падали с них на катер, проносились у самого борта и взмывали вверх на упругих крыльях. Они кричали так, что заглушали стук мотора.
 — Еще ничего не видели? — спросил я Юрика.
 — Нет, — ответил брат, глядя на меня исподлобья. — Одни чайки.
 Я прыгнул с сетки, затянул ремень на новую дырочку и выскочил на палубу. Катер буровил пенистое ожерелье острова. Из-за сопки, похожей на вулкан, вытягивалась темная кошачья лапа с серебристыми когтями.
 Отец и Семен стояли поодаль друг от друга.
 — Не возвратиться ли? — сказал Семен отцу, и совсем не дружеским голосом. — Погода мне начинает не нравиться.
 — Черт с ними, с этими японцами, Вася! — закричал Рыбин из рубки. — Я поворачиваю.
 — Обожди, — резко отозвался отец. Он разглядывал побережье и сопки в половину бинокля, все время подкручивая его. — Остров переплунуть можно. Куда тут они могли спрятаться?
 Семен смотрел на берег из-под левой руки. Тень падала лишь на один глаз. Но вот «кошачья лапа» схватила солнце, и нас всех накрыла тень, а по воде пошла мелкая рябь. Я оглянулся. Тень накрывала море, гнала ослепительную синеву к горизонту, потом к верхушкам сахалинских сопок.
 Я склонился за борт, вглядываясь в берег. Мы все не спускали глаз с береговой полосы. И все равно чуть не проскочили шлюпку. Она стояла среди бурых огромных камней. Мачты на ней не было. Юрик увидел ее первый и закричал с мостика:
 — Вон лодка!.. Гера, она с «Оранжеда»?

Отец кивнул Рыбину. Тот сбавил ход и положил катер на правый борт. К самому берегу нельзя было подойти из-за камней. Тогда отец выпрыгнул на камень, с него — в воду. Ему оказалось по грудь. Он пошел к шлюпке, подняв вверх правую руку.

— А может, оставим это дело, Вася? — вскрикнул Рыбин, высунувшись из рубки. Его глазки тревожно следили за отцом, а кончик языка то и дело скользил по губам.

Мы с Семеном тоже соскочили на плоский камень. Отец подобрался к шлюпке и толкнул ее нам. Мы прыгнули в нее и подтянулись за конец к берегу.

— Гера, а я? — крикнул Юрик.

— Пока подожди, — ответил я и приложил палец к губам.

На песчаной полоске темнели елочки следов. Я узнал отпечатки маленьких дзори Сумико. Пока я рассматривал их, отец и Семен ушли вперед.

Отец шел пригнувшись. Сапоги его покрылись песком. Мокрая одежда обвисла.

— Осторожно, Васька, — сказал ему Семен, догоняя. Из-под его подметок летел песок. Клёши надувались ветром. — Никакого самовольства... Миром дело да ладом решать будем, слышишь?

Отец отмахнулся, как от комара, и что-то буркнул в ответ успокоительное.

Я засунул руку в карман. Первым мне попался божок. Я пощупал его сколотый нос, опустил на самое дно и взамен крепко стиснул картонную гильзу ракеты.

— Ага-а-а! — зарычал вдруг отец и бросился к большому кусту черемухи.

Я припустил за ним и втиснулся между отцом и Семеном.

Под кустом, в зеленой прохладе, спали беглецы. Сумико уткнулась в кимоно на груди своего отца. По лицу Ивао полз муравей. Ивао смел его сонной рукой и перевернулся. Кимура потрогал его, словно боялся во сне потерять племянника.

— Хорошо спят, — сказал Семен, — жалко будить.

Отец присел на корточки рядом с Кимурой и толкнул его в плечо. Кимура что-то буркнул и опять засвистел носом. Отец потормошил его сильнее. Кимура расклеил закисший глаз и в ту же секунду прикрылся ладонью, точно защищаясь от штыка.

— Ано нэ, вставай! — сказал Семен. — Пойдем назад.

— Зачем пойдем? — спросил Кимура хриплым голосом.

— Твоя расскажешь, как сжег дом. — Отец гвоздил его своими зрачками.

— Я не жег никакой дом, капитан, — ответил Кимура, садясь.

— Может, он сам загорелся? — хмыкнув, спросил отец.

Кимура сгорбился. Рябинки на его лице темнели, как дробины.

— Ну, хватит, Василий. — Семен поставил ногу между отцом и Кимурой. — Ты не прокурор.

— Смотри, защитник нашелся, — взорвался голос отца. — Может, любить их и жаловать. — Отец выпрямился и зашагал назад, к морю.

Ивао, Сумико и Ге проснулись. Сумико заплакала. Оттопырившийся пучок волос на ее затылке вздрагивал. Ге пытался пригладить этот пучок.

— Конец миру, конец, конец, — бормотал он.

Ивао глядел на меня дерзкими глазами, увеличенными стеклами очков. Его родимое пятно над правой бровью алело, как рана. Наши взгляды сцепились, и мы забыли обо всем. Только глаза друг друга видели мы. Они у него блестели, как мокрая черная галька. И у меня, наверно, горели глаза, потому что я вспомнил пожар. И я пошел вперед на Ивао, крепко сжав челюсти и кулаки. Нудная дрожь ослабляла мускулы. Раньше даже в драках я этого никогда не ощущал. Значит, расшатались нервы, как у фронтовиков.

Я старался не отвести взгляда. Но крепкая рука Семена вцепилась в воротник моей рубашки. Он дернул меня, и я оказался на прежнем месте.

— Надо идти, — прервал причитания Ге Семен. — Смотрите, какое небо...

Глаза Кимуры сильно расширились. Двукрылые морщины потянулись от переносицы. Кимура увидел тучу. Губы его на миг стрелами вошли в щеки. Но тут же Кимура вновь ссутулился и зашагал по траве, примятой ветром.

Мне запомнилась усмешка Кимуры. Но чему он радовался?! Тому, что гроза накроет нас? Хороша радость...

Катер дергался, как конь, почуявший волка.

Ивао и Сумико засуетились возле Ге в кубрике. А Рыбин бросился в рубку.

Через минуту катер врехался в волны.

Юрик крутился под ногами. Ему надо было непременно пробиться к японцам. Я еле выволок его из кубрика.

— Куда лезешь? — сказал я ему сквозь зубы. — Тебя только там не хватало.

— Дядя что — заболел? — спросил Юрик.

— Да, заболел, — ответил я и повел брата на мостик.

Юрик повысил голос:

— Почему ты меня не пускаешь к Сумико?

— У нас с нею все кончено. Понял? — сказал я.

— А мне она споет японскую песню, — возразил Юрик.

— Не споет, — сказал я. — Видишь — гроза идет...

— А «Оранжад»? — забеспокоился Юрик.

Я затащил его в рубку, к Рыбину.

— Он в надежной бухте стоит, — ответил я.

— А почему мы не спрячемся там?

— Отстань от меня, иначе получишь по шее, понял?

— Понял. — Он отвернулся от меня, уткнул подбородок в грудь.

— Обижает тебя брат, — посочувствовал Рыбин, не отрывая взгляда от кипучего моря, и забормотал себе под нос: — Зачем бежал человек? Если невиновный, зачем бежишь? — Он поцокал языком. — Значит, есть вина...

Юрик ухватился за нижние рожки штурвала.

Над морем со всех сторон нависла мгла. Сбоку низкая туча перегоняла наш катер. Размочаленный ее хвост волочился по волнам. Он зацепил нас. По крыше словно защелкала дробь, выпущенная из охотничьего ружья.

Я подумал, что отец и Семен придут сейчас в рубку. Однако они оставались на своих местах: отец на носу, Семен на корме. Они покуривали сигарки. Семен разглядывал шлюпку за кормой. Веревка разрезала два водяных бугра, что вставляли между кормой и шлюпкой. Бугры становились все мощнее.

— Брат поколачивает тебя? — спросил Рыбин Юрика, скаля зубы с розовой пилою десен.

И тут почти вспомнил я, где встречал Рыбина раньше, но закружилась голова.

— Его зато мутит от качки, — ответил Юрик. — Смотрите, он уж зеленый... А я буду капитаном.

— Лучше всего — на реке капитаном, — сказал Рыбин.

— А я на море буду капитаном, — упорствовал брат.

Вот заяц! Давно ли валялся в своей корзине? А в самом деле, море на него хорошо действует. Поддразнить брата, что ли? Но мне уже не хотелось и разговаривать. Меня начало мутить от горячего запаха солярки, который поднимался из машинного отделения. Я вышел из рубки и повис на тонком поручне мостика.

Подо мной из приотворенной дверки кубрика высунулась загорелая рука Сумико. Она протянула носовой платок под дождь.

— Мы утонем, — раздался хриплый голос Кимуры. — Тайфун перевернет катер. Мы утонем, но и русские захлебнутся в нашем море...

— Да, в нашем море, — как эхо, отозвался Ивао.

— Конец, конец миру, конец, конец... — затянул Ге.

Сумико громко всхлипнула и закрыла дверку. Я отшатнулся в рубку и вцепился в руку Рыбина.

— Тайфун! — Я приложил палец к губам и показал вниз.

Рыбин раскрыл рот и так глядел на меня минуты три. Потом понял. Лесенка морщин появилась на его побелевшем лбу. Он закрутил, закачал головой, приговаривая:

— На Амуре ни тайфунов, ни японцев — красота... И дернул черт на море переехать.

Эх, катер-катерок, родное существо, выручай нас!

Я отодвинул дверь и спустился на палубу. Меня швырнуло до самого борта. Началась бортовая качка. Я ползком добрался до кормы и сказал про тайфун Семену. Он схватил конец мокрой веревки трехпалой рукой и дернул, распуская узел. Шлюпка сразу отделилась, исчезла в плеске и водяной мгле.

Вдвоем с Семеном мы крепко держались на палубе. Мы вернулись с ним в рубку. А отец стоял впереди рубки, держась за мачту. Гимнастерка на нем потемнела.

15

Волны били в корму и подталкивали катер вперед. Иногда мы как будто летели по воздуху. Но после такого взлета катер валился в бездну, и мне казалось, что вот сейчас он коснется килем дна. Валы, нависавшие над кормой, были красивые и тяжелые. Пена клочкотала на гребне. А на выпуклой стенке она собиралась в легкие кружева. И вся эта водяная громада, секунду повисев, била в корму, заливая палубу пенной бутылочно-зеленой водой.

По палубе катался рупор. Но жестяного звона его не было слышно из-за грохота моря. Отец догнал рупор и поднялся с ним в рубку. С кончика отцовского носа свисала капля воды. Сапоги его раскисли.

— Удача, — сказал Семен. Приходилось говорить с силой, чтобы слышали. — Удача — ветер в спину. — И он налег на штурвал, помогая Рыбину.

— Успеть бы в порт прорваться. — Губы у Рыбина перекосились, а над бровями блеснул пот, похожий на капли ртути. — Из-за японцев погибать... Мама родная!..

Меня совсем укачало. Но тут впереди, сквозь мокрое стекло, сверкнул лучик света.

— Маяк! — закричал я, и судорога в горле прошла.

— И я вижу, — пропищал Юрик, сидевший на коленях отца.

— Теперь не промахнуться, — сказал Семен. — Обидно будет, если в мол врежемся.

— Эх, и зачем я завербовался на этот Сахалин?! — услышали мы тонкий голос Рыбина. Он прорвался в короткое затишье между накатами ветра, гулом и плеском воды, воем мотора, скрипом катера.

Угрюмый отец оставил Юрика на скамейке рядом со мной, подошел к дружку и положил руку на свободный рожок штурвала. И правильно сделал: маяк мчался на нас как метеор. Сквозь верченую мглу проступали сопки, похожие на богатырские шлемы.

Чтобы пересилить тошноту, я стал думать о доме. Мама, наверное, извелась. А бабушка не теряется. Она варит нам борщ, нашептывает молитвы о спасении наших душ и успокаивает маму. Забыл я сказать бабушке, чтобы она покормила рыбок на нижнем этаже. Рыбки-то ни в чем не виноваты.

Эх, катер-катерок, не подведи, милый!

Мы неслись прямо на маяк. Он стоял твердо, как оловянный солдатик среди разъяренных драконов, и подмигивал нам добрым электрическим глазом. А вокруг был мощный грохот. Это море дробилось о волнолом.

Еще несколько тугих пинков сзади, и свет маяка ударил в глаза.

— Право! — заревел отец.

Рыбин навалился на штурвал. Его грязные руки взбугрились мускулами. Семен и отец с обеих сторон помогали ему. Катер стал чуть боком к волне, чтобы метрах в двадцати от маяка скользнуть в бухту с водяной кручи.

Меня прижало к левой стенке, и все нутро мое подтянулось к горлу.

Через минуту катер выпрямился, и я выскочил на мостик. Больше я не мог бороться с тошнотой и кинулся на поручень. Как вдруг перед глазами мелькнуло что-то белое, и я увидел двух японцев возле маяка.

Они стояли на верхней ступеньке основания башни и размахивали белыми козынками. Волны перехлестывали через волнолом под ногами у них.

Я забыл про тошноту и закричал. Моя рука очутилась в кармане, где лежала ракета. Само собой как-то получилось, что я вспомнил о ней. И подумал в один миг, что надо дать сигнал японцам: «Видим вас». Конечно, Лесик изготавливал ее не для этого... Но я ребятам все опишу — они поймут.

Я поднял ракету над головой и дернул веревочный хвостик. Голубой бенгальский огонь полетел в сторону маяка. Японцы сильно замахали руками. До меня доносились даже крики их, похожие на вопли чаек.

Я ворвался в рубку. Однако Семен уже раскручивал штурвал. Руки Рыбина обвисли и просто перебирали ручки штурвала вслед за Семеном.

Катер наш лег на правый борт.

— Не хочу назад! — запищал Юрик. — К маме хочу!

Отец, отступивший было от штурвала, вновь взялся за ручки. Но он крутанул колесо в противоположную сторону. Меня отбросило к левой стенке, где на скамеечке пищал Юрик. Я нашел в кармане «бога счастья» и сунул брату в руки. Юрик замолчал.

В это время катер вновь повернулся носом к волнолому.

Руки Рыбина висели на штурвале. Штурвал застыл, потому что с обеих сторон давили на ручки отец и Семен. Раненая рука отца дрожала, но пальцы не разжимались.

На берегу, наверное, думали, что команда провела катер между краями волнолома и сошла с ума.

Но отец, Семен и Рыбин были в уме. Только двое были один против другого, а третий не знал, что делать, и вертел головой вправо-влево, вправо-влево.

— Развора... детей... утопи... хотите! — Это закричал отец. От напряжения на висках у него выступили упругие вены.

— Снимем люд... тог... азвернем! — откричался Семен. Нос его казался сплюснутым, а бровь нависла на глаз, как у хитреца.

Катер делал плавный поворот, а бетонная стенка выпрыгивала уже перед носом. Но отец не видел этого и никак не хотел уступить. Его мокрая гимнастерка лопнула по шву на плече.

— Детей — на берег, тогда вернемся! — заорал отец, и лицо его невероятно искажилось.

Мол гудел, как огромная струна. Волны, наткнувшись на твердь, взметывались вверх, точно смертельно раненные в грудь кони.

Отец не выпускал штурвала из рук. И катер все еще шел наперерез бетонной стенке. Тогда я нащупал рожек штурвала под боком у Семена и налег на него. Нас встряхнуло. Катер шоркнулся бортом о бетон и пошел к маяку вдоль волнолома,

все сильнее раскачиваясь. Впереди, сразу за маяком, прорывались в бухту водяные горы. Я живо представил себе, как такая стремительная гора ударит наш катер по носу, только он высунется за коколь маяка. И у меня передернулись плечи, точно к спине прикоснулись иголкой.

Отец, Рыбин и Семен по-прежнему держались за штурвал. Но теперь они все трое глядели на японцев. Губы их сжались до синевы.

Японцы цеплялись за железную скобу — ступеньку маяка. Один стоял впереди, другой сзади. Оба согнулись, подставляя спины волнам. И разбитые волны окатывали японцев с головы до ног.

Семен не вытерпел и оторвался от штурвала. Он выскочил из рубки и встал к борту у кормы. Он замахал рукой японцам, чтобы они не терялись, а быстрее прыгали. И Семена захлестывали волны, переметнувшиеся через мол. Семен отфыркивался, как собака.

И вот нос катера сравнялся с японцами. У Рыбина от напряжения скривилась правая щека. Но катер уносило от бетонной стенки. Темный клин между бортом и волноломом разрастался. А японцы не прыгали. Они вытягивали шеи и раскачивались, но словно были прикованы к железной скобе.

Катер проходил. Его уже кренило на левый борт... На Семена страшно было смотреть. Он грозил кулаком японцам и что-то кричал.

— Да прыгайте! — заорал я что было силы.

И первый японец оторвался от скобы. Катер встряхнулся.

Японца подхватили Ивао и Ге, выскочившие из кубрика.

Второго японца в это время накрыла волна. И он остался стоять, словно воробей под ливнем.

Семен передвинулся до кормы, перелез через поручни. С перекладины полетела черная бахрома воды. Семен взялся за поручень левой рукой и накренился всем телом к японцу. Он протянул ему правую руку. Три пальца левой обжимали перекладину поручней. Мокрые клёши обвилились вокруг ног.

Японец протянул Семену свою руку. Оставалось только прыгнуть... И в эту последнюю секунду под нами дернулся пол. Точно киль задел подводную скалу. И катер понесся боком от волнолома, от японца у маяка.

Семен исчез за кормой.

Рыбин крутнул штурвал так, точно пытался повалить быка за рога. Отец сразу, как скрылся Семен, оставил штурвал. Он откинул дверь рубки коленом и выпрыгнул с мостика на палубу. Мелькнули обшарпанные подошвы его сапог. Перед кормой отец поскользнулся и до поручней полз на коленях. Я понял, что он хочет спасти Семена.

Я догнал отца. Догнал потому, что Ге уцепился за гимнастерку его мертвым хватом.

— Не ходи, капитан, в море, конец! — громко уговаривал Ге отца.

Отец молча рвался за поручни. Тут подоспел я и повис у него на правой руке.

Отец перестал тянуть. Мы все глядели на бешеную гонку воды за кормой. Там не было видно ничего, кроме волн, волн и волн. Да и отнесло нас уже чуть ли не до середины бухты. Надо было развернуться, чтобы вновь подойти к тому месту...

Отец, наверное, подумал о том же. Он кинулся назад, в рубку, и катер развернулся, оставляя за кормой пенный водоворот. Мы снова пошли к молу, гремящему как тысяча пустых железных бочек.

Отец опять вышел на палубу и приник к борту. Солнечный луч, что ли, пробил тучи и скользнул по кудрям отца? Я поднял мутную голову. Лохматые тучи кувыркали над морем. Ни пятнышка солнца... Да это ж седая прядка волос у отца! Стала белой, как вата, прядка в чубе. Попадались раньше седые волоски в муравьино-

черных кудрях отца. Но он каждое утро выдергивал седые перед зеркалом. А теперь как? Целый клочок не вырвешь...

Катер стукнулся бортом о волнолом и пошел на сниженной скорости. Мы вымокли от водяной пыли и брызг, пока подошли к маяку.

Катер подпрыгивал, как деревяшка. Отец махал кулаком японцу и что-то кричал. По движению губ я догадался, что он ругается.

Японец прыгнул и растянулся на палубе. Тотчас же мачта описала дугу, и катер понесло вглубь бухты. Ветер отрывал белый флажок на мачте. Седая прядь сваливалась отцу на глаза. Он отводил ее в сторону и глядел в волны жуткими глазами.

Навстречу нам шел большой катер. Отец оторвался от поручней, чтобы сообщить в рупор о том, что погиб Семен.

Оба катера стали кружить по бухте. Ветер поднял волну и здесь. Мы висели на поручнях и глядели в бесконечные волны.

Передо мной уже все крутилось, как будто я сидел на карусели. И мне стала мерещиться рука из воды — ладонь светлая, а запястье загорелое. Она мерещилась сбоку, но если я переводил туда взгляд, исчезала. И я перестал вглядываться в воду лишь тогда, когда катер стукнулся о причал.

Я оторвал пальцы от мокрой трубки поручня. На пирсе толпились люди. Блестели плащи и козырьки фуражек. Задирались от ветра волосы. Я увидел, как вперед пробилась мама. Светлое мокрое платье облепило ей колени. Непонятно, зачем она несла на плече нераскрытый большой бумажный зонт? Наверное, просто забыла его раскрыть.

Мама заметалась по краю бетонной стенки. Она боялась прыгнуть. Рыбин выбежал из рубки, чтобы помочь отцу принять трап. Он обнял мокрого отца и заорал, перекрывая шум моря, свист ветра и говор толпы:

— Вася, друг, кого потеряли!..

Отец впился в дружка страшным взглядом. Руки его потянулись к Рыбину, словно задушить. И тот чуть осел. Но отец лишь отодвинул дружка и стал принимать трап.

Доски с перекладинами уперлись в палубу, и по ним сбегала на катер мама. Юрик, точно собачонка, кинулся к ней и забился лицом в мокрое платье.

— Мама, — заревел он, — Герка обманул меня... Никакого белого парохода нету!..

Я удивился не тому, что он выдал наши секреты, а тому, что он перестал картавить. И буква «р» играла у него на языке, словно у японца.

16

Ночью я тонул. Пил горькую воду и задыхался. Но в последний момент вспомнил, что тут, где-то рядом, плавает белый пароход. Я вынырнул из бездонной пучины и увидел совсем рядом белый пароход. Я схватился за борт и проснулся... Обеими руками я крепко держался за край пустой корзины.

Окна словно были завешены с той стороны синим японским шелком. Бабушка сказала мне, что все спозаранок ушли в порт. Юрик увязался за матерью.

Я чувствовал себя, как в тот раз, когда меня выволок из воронки Борька. Словно я в самом деле чудом спасся ночью от смерти.

А не мог ли спастись Семен?

Я вскочил с постели, натянул штаны и умылся. Кожа на носу шелушилась. Я лишь оплескал его водой.

— Сроду не видела таких бурь, — ворчала бабушка, накладывая в миску пшенную кашу. — Что в огороде деется!.. Табак весь повалило...

— Ну и хорошо, — ответил я, садясь по-японски за столик. — Иначе я сам его вытоптал бы.

— Чем табак провинился? — спросила бабушка, ставя передо мной кашу и молоко.

— Семен вчера назвал отца барыгой, — сказал я и замер над лункой в каше, залитой янтарным маслом. Мне, как в кино, представилось все вчерашнее...

— Не спал отец твой всю ночь, — ответила бабушка, — курил, а чуть свет ушел в порт...

Я молчал. Мои глаза видели Семена, который за кормой накренился к японцу. И бабушка спросила уж в который раз после вчерашнего вечера:

— Семен-то на одной левой руке и повис в последний момент?

— На одной левой, — ответил я хрипло, потому что опять подумал, что Семен мог выплыть.

— Пальцев ему не хватило, чтоб удержаться, — сказала бабушка и перекрестилась, старательно вдавливая щепоть в плечи.

— Может, он выплыл? — сказал я, отбросил ложку и встал.

Я подошел к двери на веранду и привалился к косяку. По синему бархату моря шли тени облаков.

— И кто вас неволил гнаться за ними? — сказала бабушка, качая головой. Руки она скрестила на груди.

— А кто их неволил удирать? — сказал я и тоже переплел руки впереди.

— Невиновные они, — ответила бабушка. Розовые пятна выступили на ее желоватых скулах. — Дина исповедалась мне... Видела она, когда соскочила с постели, ту макитру, с углями что, на боку... С той стороны и пламя занялось. У них там хламу всякого набросано много было... Может быть, можно было залить еще, говорит, да испугалась она. И опомнилась не скоро...

Я спрятал руки за спину. Мой взгляд не стерпел бабушкиного — сорвался вниз. И так стоял я долго, рассматривая соломинки, веером торчащие из надорванного края татами.

Я думал, что надо обязательно починить татами. Никто не замечает этой пустяковой царапины, а солома расходится и расходится. И когда хватятся, будет поздно, придется выкинуть татами. А новых никто не сделает, кроме японцев. Но они уплывут от нас... Надо починить татами, пока не поздно.

— На все божья воля, унучек, — сказала бабушка, и сетка морщин у ее глаз всколыхнулась.

— Знаешь, бабушка, — я прижал большим пальцем ноги надорванный край татами, — наша воля на все... Семену, думаешь, легко было повернуть штурвал против воли отца?

— С божьей помощью, — бабушка вскинула глаза к потолку.

— С моей помощью! — закричал вдруг я, вцепился в рог невидимого штурвала и начал давить вниз, как вчера. У меня даже пот выступил на лбу.

Бабушка оцепенела. А я отпустил «штурвал» и сказал тихо:

— Что, если я помирюсь с Ивао?

Бабушка шагнула ко мне, обхватила мою голову морщинистыми руками и прижала к себе. На ухо упала горячая капля.

— Ах ты гриб мой тугоногий... — проговорила бабушка сквозь слезы. — Видал бы дед, какой унук у него...

Я освободился от бабушкиных рук и скосил глаза на деда.

— Думаешь, он одобрил бы? — спросил я.

Она кивнула в ответ.

Хоть и текли у нее слезы из глаз, уголки губ торчали вверх. Так она плакала от радости.

— Пойду, — сказал я. — Может, Семен все-таки выплыл.

Я сбегал вниз по расхлябанной лестнице и не остановился до самого порта.

Ветер свистел у меня в ушах.

У кустов и деревьев вдоль дороги поредела за ночь листва. Рогожные кули с вяленой селедкой, что были сложены в штабеля, тайфун разметал по подножию сопки. Кули напоминали стадо свиней в зеленой траве.

Возле управления толпились японцы, корейцы и наши рыбаки. Такая толпа собиралась в тот день, когда в порту давали зарплату. К дверям невозможно было пробиться.

Я застрял между рыжебородым рыбаком и корейцем.

— Стих лишь тайфун, сразу пошли искать его... — рассказывал рыжебородый, возвышаясь каланчой над японцами.

— Он берег хотел ходи, — горячо вмешался кореец и поддернул свои белые штаны.

— Не перебивай, Ким, — отмахнулся рыжебородый и продолжал обстоятельно рассказывать. — К берегу его прибило... Цел, только два синяка на лице... Морская капуста в волосах застряла...

Значит, не выплыл Семен. Чудеса случаются только во сне.

В носу у меня заскребло, точно я надышался табачной пыли. Отталкиваясь локтями, я выбрался из толпы и пошел куда глаза глядят.

Очутился возле баржи. Горячий песок жег ступни. Я зашел в прибой. Теплая вода омывала ноги, пощипывала ранки. Море ластилось ко мне, как котенок. И ненависть к морю стала проходить. Что море, если мы сами виноваты, и я прежде всего. Я был ослеплен и подтолкнул Семена к погоне. Эх, вернуть бы вчерашний день!..

Я разделся, отбросил одежду на сухой песок. Ноги сквозь воду казались короткими и толстыми. Будто чужие, шли они по песчаному дну, обходили островки водорослей: не люблю скользких прикосновений.

Когда вода поднялась до пупка, я нырнул. Пятна заколыхались на дне. От моей тени пытался удрать большой рак. Я схватил его за панцирь и, вынырнув, кинул на берег.

Проплыв между баржей и скелетом сгоревшего катера, я перевернулся на спину. В небесной глубине надвигались друг на друга два чистых, как стеклянная вата, облака. Они столкнулись и полетели дальше вместе. Почему черные тучи сталкиваются с громом и молнией, а эти облачка встретились, как брат с братом?

Я перевернулся и увидел: на барже стоят двое. Ивао был в черном кительке, черных брюках и такой же фуражке с маленьким лакированным козырьком. Сумико глядела на меня из-под руки. Ветер трепал широкий рукав ее белой кофты.

У меня ослабели руки и ноги от взгляда Сумико. Я ушел под воду, но там собрался с силами и вынырнул. Я встал в воде, чтобы они узнали меня и, если хотят, ушли.

Но они не уходили. Значит, они не так уж ненавидят меня... И я поплыл к барже по-собачьи, чтобы поднять больше брызг. Пусть видят, что плыву к ним, и если все-таки ненавидят меня, то уходят.

Однако они остались. Может быть, оттого, что все еще считали баржу своей.

Я подплыл к осевшей ночью корме и вскарабкался на просмоленные доски палубы.

Они глядели в воду, а я смотрел на берег. Я повернулся к ним спиной, хотя надо было стать животом к солнцу, потому что спереди я загорел плохо. Мы стояли так

минут пять. Потом я чуть скосил глаза на Сумико. И в этот момент она тоже посмотрела на меня. Получилось, будто мы думали об одном и том же. Я обрадовался и выпалил:

— Вода теплая... Хочешь, научу плавать?

Ивао повернул ко мне свои очки.

— Мидзу нуруи, — повторил я ему и начал по-японски уговаривать их искупаться.

Ивао снял очки и растерянно глядел то на меня, то на сестру. Без очков он был какой-то другой, потешный.

Я объяснял, что плавать научить очень просто. Надо раскатать Сумико и кинуть в воду. Пусть барахтается, как щенок.

— Давай, — согласился наконец Ивао. Он ответил по-русски.

Сумико не стала дожидаться, пока мы окончательно договоримся. Она спрыгнула на песок и отбежала от баржи.

Я кинулся за нею, но поскользнулся на куче морской капусты.

Сумико присела от смеха. Тогда я вскочил и побежал напрямик по пляжу. Сумико убегала своим путем, у самой воды, поэтому я быстро настиг ее и загнал в воду. Она плеснула в меня ладонями, я ответил метким плеском. И пошло... Мы заливали друг друга каскадами воды. Зеленые капли били в мою упругую кожу, вспыхивая на солнце. Сумико закрыла глаза, и это ее погубило. Я отошел чуть вбок, и она стала бить в пустоту. Зато я захлестал ее водой. Волосы, кофта и шаровары прилипли к ней. Однако Сумико упорно сражалась со мной и не хотела звать на помощь брата. Но Ивао в конце концов не выдержал и вмешался. Мне пришлось удрать от них вплавь.

Пока мы плавали с Ивао, Сумико выжала свою кофту и шаровары. Она развесила их на барже и влезла в воду. Мы подплыли к ней и стали учить плавать. Но Сумико боялась глубины.

Мы уговаривали ее выплыть на глубину, пока не посинели, пока я не увидел вдруг траурный костюм Ивао, разложенный на песке, и не опомнился. Тогда мы вылезли из воды и развели костер из сухих щепок.

Я нашел своего рака, насадил его на палочку и сунул в костер. Ивао принес несколько лент морской капусты и поджарил их.

Когда капуста свернулась в трубочки, Сумико раздала нам ее. Рака мы разделили на три части. Розовые жгутики мяса были вкусные. Мы заедали их горькой морской капустой.

17

— Давайте еще раз искупнемся, — предложил я после отдыха.

Сумико замотала головой. Она сказала мне, что пора идти провожать на кладбище «росскэ капитан». Ивао при этом кивал круглой головой. Его родимое пятно пересекли три морщинки.

Я быстро надел штаны, желтую майку с растянутыми лямками и перешел пляж по прямой. Сумико сначала хотела вернуть меня. А потом все глядела, прижав руку к груди. Наверное, думала про мины и бомбы...

Пришлось ждать, пока они оденутся и пройдут пляж кружным путем по берегу.

Мы рядом шли по городу, по самой середине главной улицы. Японцы, корейцы и русские оглядывались на нас. Сумико не поднимала ресниц. Она шла, сильно наклонившись вперед: пугни — и побежит. Но я-то не дал бы никому ее обидеть. Кинулся бы с кулаками на любого, кто даже засмеялся бы над нами.

Возле управления народу прибавилось. У входа стояла машина с отброшенными бортами. К кабине была привалена тумбочка, покрашенная суриком. Несколько человек держали венки из пихты, в которой проглядывали живые цветы. Кореец Ким надел венок на себя и мурлыкал грустную песенку.

Из толпы вдруг выскочил к нам Юрик. Его штанишки держались на одной лямке. Он крутил в руках половинку бинокля.

— А мне вот что дядя Рыбин подарил, — захвастался он, отчеканивая «р». — Дядя Рыбин сказал, что я буду моряком.

— Моряк — с печки бряк, — ответил я.

Юрик полез на меня с кулаками. Я хотел отпустить брату по шее «макарони-ну» — теперь он выздоравливал, и пора было хлопать, как и полагается, меньшего брата, — но Сумико прижала его к себе.

— Если бы я не болел, я бы ему показал! — хорохорился Юрик, поглядывая на меня из-под руки Сумико сизым глазом.

— Да, да, — соглашалась Сумико, — показар.

Юрик дал ей посмотреть в бинокль, а потом выудил из кармана «бога счастья», чтобы тоже похвастать.

Сумико схватила божка и прижала к груди. Она показала его Ивао. Тот радостно залопотал. Юрик понял цену этой игрушки и решил отобрать ее обратно. Он встал на носки и потянулся, но я схватил его за лямку и отволол ближе к машине. Прижав брата к помятому крылу, я зашептал ему на ухо:

— Это ее игрушка, понял?

— Зачем вам игрушка? — спросил Юрик, сморщив нос.

— Эта штука счастье приносит, понял? Счастье-е-е...

— Врешь ты все, — сказал брат. — Про белый пароход наврал... «Оранжед» — толстый зад.

— Я тебе не наврал... — зашептал я. — Все объясню...

Но мне не дали еще что-нибудь наплести брату. Толпа перед дверями раздалась. Нас отжали. Я лишь мельком увидел колыхнувшийся угол красного гроба в дверном проеме. Нам всё загородили.

Кореец Ким повесил венок на Ивао, а сам пошел пробиваться к гробу.

Ивао не знал, что делать с венком. Тогда я снял с него венок и предложил нести вместе. Мы встали впереди машины, за нами пристроились еще три венка.

Так мы первые и несли венок до кладбища. А там нас опять оттеснили на самый край. Мы даже не слышали речи, которую говорил на могиле начальник порта. Его рука с фуражкой взлетала над головами, и козырек отблескивал, как черная слюда.

После начальника вышел японец в очках с золотой оправой и тоже что-то говорил, а под конец потряс руками над головой.

После речей в самой гуще толпы поднялись пять винтовок. Раздался залп, и в сопках долго грохотало эхо. Толпа стала редеть, и мы с Ивао понесли венок на могилу.

Над холмиком глинистой комковатой земли плакала японка. Я узнал ее. Это она учила Семена тогда танцевать... На ее согнутой шее выступали меловые бугорки позвонков. Волосы, как два вороньих крыла, свалились на щеки.

Подруги взяли под руки плачущую и повели ее, что-то нашептывая.

Мы прислонили свой венок к тумбочке со звездой. Ивао взял ком земли и медленно крошил его на могилу. И тут Юрик разревелся. А когда я сурово поглядел на брата, он стал лепетать насчет того, что он устал и хочет есть.

Пришлось просить отца, чтобы он взял Юрика на машину. Отец посадил его с собой в кабину и нас устроил в кузов.

На обратном пути я подумал, что мертвого Семена так и не видел.

В глаза мне бил ветер. Море кишело синими рыбами с зеркальной чешуей. Я не мог представить себе мертвого Семена. Он живой стоял у меня перед глазами. А что, если я попробую нарисовать Семена?!

Машина круто свернула в портовый переулочек. Сумико качнулась. Я поймал ее руку. Она не вырвала ее. И так мы неслись, мне казалось, по воздуху. И я прямо осатанел, когда машина вдруг затормозила. Но из машины выглянул отец и велел мне отвести Юрика домой.

— Меня на поминки не взяли, — пожаловался брат, вылезая из кабины.

— Мал еще, — ответил я.

Мы с Сумико подхватили его за руки и повели в гору. Юрик поджимал ноги, чтобы мы его несли. Сумико улыбнулась. А я надал брату коленом. Мне было не до шуток: я обдумывал картину...

Мне представлялось бушующее море. Пенный вал у берега бьет человека и хочет снести в глубину. Но человек плечом взрезает волну. Еще несколько шагов, и он упадет на песок. Слизняки присосались к телу, цепкие ленты водорослей обвили руки и горло, из глубины тянутся к нему хрящеватые щупальца осьминогов. Но человек крепко упирается в дно ногами. Еще десять шагов наперекор морю, и ноги увязнут в сухом песке...

Сзади раздался крик Ивао. Он махал нам рукой, чтобы мы его подождали.

Он склонился над разорванным рогожным кулем и набрал в обе руки вяленой селедки. Мы обождали его. Он, сопя, догнал нас и раздал селедку. Она была твердая, как камень, и несоленая. Но все же мы с удовольствием грызли ее до самого дома.

Солнце, как перезревшее яблоко, свалилось в море. В стеклах нашего дома полыхнули алые блики. Я отбросил селедочный хвост на грядку с табаком — и остолбенел... Табак весь выпрямился, цвел. Нежный пушок покрывал листья. Лишь по краям они кое-где пожухли.

— Гера, — позвал меня Юрик, — ты чего увидел? Гнездышко?

— Иди, иди, — крикнул я ему, — ничего тут нет!

Он недоверчиво шмыгнул носом и побежал за Ивао и Сумико. Задрезжали стекла двери.

Я оглянулся и выломил жидкий, но прочный прут. Ободрал его на ходу и продрался к рыбинскому ланку. И здесь табак стоял, как лес. Я взмахнул белым, словно клинок, прутком: жи-и-ик... Крайний стебель упал подкошенный... Ребята одобрили бы. В чем, в чем, а в этом они поддержали б меня. Жи-и-ик... Срубленный табак одуряюще пах... Жи-и-ик... На руки летели клочки листьев. Прут сверкал на фоне багряного заката. Жи-и-и-ик... Я вытер лицо ладонью, и кожу зажгло, как от крапивы. Защищало глаза. Надо было сбегать к колонке, умыться. Но я не мог покинуть поле боя.

Я посек весь рыбинский табак и спустился к своему дому. Выпрыгнул из кустов на грядку табака и начал быстро рубить, чтобы случаем не спугнула бабушка. Жи-и-ик, жи-и-и-ик, жи-и-и-ик... Глаза уже плохо различали, но ступнями ног я ощущал ковер из табачных листьев.

Закончив дело, я сходил к колонке, разделся и выпустил на себя ледяной серебристый пучок воды. Я извивался, как змей, но не отступал, пока не смыл с себя всю табачную горечь.

Я возвратился домой обессиленный. Бабушка говорила что-то, но я не понимал. Я очень устал за этот день. Что-то съел, добрался до постели и рухнул в коричневую бездну.

Я долго падал и сильно ударился. До того сильно, что раскрыл глаза. Надо мной нависала ушастая голова Рыбина с выпученными глазами. Снизу тоже хорошо

было видно, что челюсть его шире лба. Рыбин тряс меня за грудки. Из правой руки его свисал пучок табачных листьев.

— Ты?.. — спросил Рыбин и хлестнул меня по лицу этим пучком.

Я хоть спросонья, но ловко поднырнул под руку Рыбина и побежал вниз. Лестница шаталась — за мной по пятам прыгал Рыбин. Внизу я поскользнулся на листке табака и упал. Рыбин поймал меня за майку одной рукой и начал опять трясти, приговаривая:

— Чуял — беда... Ушел с поминков... Так и есть... Весь табак порешил, шантрапа несчастный!

И тут я вспомнил, где встречал Рыбина. На базаре в Хабаровске! Это он торговал цветными японскими мелками. У него было много коробок. Но за каждую он просил столько, что я отпрянул от него тогда. А он еще зубы оскалил: «Что, колется?»

— Это ты спекулянт несчастный! — закричал я и попытался вывернуться.

Но Рыбин так тряхнул меня, что чуть не сломались мои шейные косточки. И при этом я задыхался от водочного перегара, смешанного с запахом винегрета. Спасти меня было некому. В этот миг я подумал о Борьке, Скулопендре и Лесике. Они бы хоть отомстили за меня...

Рядом зашуршала дверь. Я дернулся из последних сил, чтобы Сумико не видела. Но Рыбин удержал меня.

— Ивао! — раздался из-за двери глуховатый окрик Кимуры. — Не вмешивайся в дела русских! Вернись назад! Приказываю тебе — вернись!

Но дверь откатилась, лязгнув. А потом вдруг Рыбин ойкнул и выпустил меня.

Я отскочил, но тут же от удивления повернулся: на левой руке Рыбина висел Ивао!

Он впился в руку отцовского дружка своими крепкими зубами. Рыбин тоненько взвыл и затряс левой рукой. Правой он замахнулся, но я перехватил ее на лету и тоже впился зубами.

Рыбин, наверное, охрип бы, если бы не подоспел отец. Грохнула сзади дверь, и раздался скрипучий окрик:

— Отставить!

— Это ты плохо придумал — трогать детей! — сказала вслед за отцом мама.

— Они сами впились в меня, как волченята, — ответил плаксиво Рыбин.

Мы с Ивао отцепились и стали по обе стороны от него в позе борцов. Одним глазом я косил на отца — не снимет ли он свой ремень. Но отец действовал, на удивленье, в ладу с мамой.

Рыбин протянул им табачный листик.

— Табак... весь дочиста порешил... Убить его мало, сынка вашего! — завопил он.

Мама вырвала у него этот листок, швырнула под ноги и показала рукой на дверь. Лицо ее стало синеватым, как чистый кварц.

— Вон! — сказала мама таким голосом, словно в горле ее был стальной шарик.

— Он и ваш табак порешил, — пробормотал Рыбин и кинулся к отцу: — Вася, друг, да что же это получается?..

У дверей всхлипнула Дина:

— Зачем ехали от папани-мамани? Чего не хватало? Дом — полная чаша... Нет, отделиться хотелось. Вот и отделился...

— К чертовой матери Сахалин этот! — выкрикнул Рыбин, тряся укушенной рукой. — Хватит. Ни одного заступника нет. Все против. Пошли в порт, Дина... С первым пароходом — назад! На-за-а-ад!

— Ну и катись, — ответил отец и ступил на лестницу. Мама следом застучала черными туфлями на низких каблуках.

— Табак этот душу мне переел, — заявила она в спину отца. — Уйду рыбу солить на рыбозавод... Семен звал, да не соглашалась тогда, дура...

— Давно бы... — ответил отец.

Я подмигнул Ивао и пошел вслед за родителями.

Сверху глядела на нас бабушка. Она сжимала в правой руке увесистую кочергу. Из-за бабушки выглядывал Юрик. Он прижимал к себе банку с рыбкой.

— Теперь я знаю, что делать, когда начинается тарарам, — сказал он мне, показывая банку. Лучистый кружок закачался в ней. — Только закричали, я рыбку — к себе.

— Со мной никого не бойся. — Я подтолкнул его к корзине. — Считай, что со мной ты живешь на белом пароходе.

18

Мы валялись в песке перед баржей, когда на горизонте появился пароход. Сначала он чертил дымом черту на белесом небе с юга на север. Но вот черта стала изгибаться в нашу сторону. Пароход покати́лся в порт с синей горы.

Я пристально следил за ним из-под руки. Что-то мне в нем не нравилось. Я взял у Юрика одноглазый бинокль и настроил на пароход.

На передней мачте развевался белый флаг с красным пятнышком.

— Пароход за вами! — закричал я Ивао и Сумико.

Они приподняли головы. В черных волосах посверкивали слюдинки. У нас-то их не заметишь — волосы стали совсем светлые, выгорели. А лица одинаковые: что у них, что у нас — черные. Правда, у меня нос облез. Новая кожа на нем была лиловая и никак не загорала.

— Не уезжайте... А? — сказал Юрик, разгребая песок сдвоенными ладонями. Он рыл туннель до Японии. — Будем всегда вместе купаться и загорать.

Ивао перевалился на горячий песок, воткнулся в него подбородком и посмотрел на Юрика долгим взглядом. Сумико, улыбаясь, поворошила Юриковы волосенки.

— А если послать вам письмо в бутылке по морю, — сказал я, раскрывая альбом, — доплывет?

— Доплывет, — ответила Сумико. Она почти научилась выговаривать «л».

— До-пры-вет, — поддакнул Ивао. Он теперь обучался русскому. Мне было легко его обучать.

— А если кто-нибудь другой поймает бутылку? — спросил Юрик и опять засопел над туннелем.

— Передадут, — сказал я, медленно перелистывая альбом. — Верно?

— Верно, — ответила Сумико, заглядывая в альбом. Она знала, что я рисую картину с Семеном, и у меня ничего не получается.

Передо мной мелькали наброски, карандашные портреты Семена. Чуть ли не весь альбом был изрисован, а картина не получалась. Правда, отец недавно увидел одну зарисовку и сказал, что Семен похож. Отец попросил меня сделать большой портрет Семена по клеточкам. Но я ответил, что по клеточкам рисуют только халтурщики. Я так не могу. Мне надо, чтобы от картины щемило сердце... Может быть, я буду делать эту картину всю жизнь. Но я должен рассказать людям о Семене. А пока я заключил в бамбуковую рамку и повесил на стену рядом с фотографией деда карандашный портрет, что понравился отцу.

— Ну как, Япония еще не показалась? — спросил я брата.

— Я стану капитаном, — громко сопя над лункой, ответил Юрик, — и приплыву к Сумико на своем корабле.

— Думаешь, так просто через границу?.. — спросил я и провел борозду ребром ладони между ним и Сумико.

— На корабле будут пушки и пулеметы, — выпалил Юрик. — Тр-р-р... Бабах!.. — Его руки начали хватать мокрый песок из лунки и швырять в нас.

— А границу будет охранять Ивао! — закричал я, прикрываясь альбомом.

Это поставило брата в тупик. Он поднял руку с грушкой сырого песка и замер, наморщив лоб. Песок осыпался, и я увидел в руке у Юрика гранату. Ржавую японскую гранату сжимал Юрик пальцами, похожими на соевые стручки.

Я попятился назад, прикрываясь альбомом. Надо было кинуться к Юрику, отнять у него гранату и выбросить в море. С японскими гранатами шутки плохи. По рассказам фронтовиков, они взрываются самым дурацким образом. А эта еще пролежала в песке столько... Однако я струсил. И Сумико была рядом, а я струсил. Видели бы ребята, как я отталкивался ногами, поднимая кучу песка. У меня внутри все отяжелело. А Сумико глядела на меня такими же глазами, как в тот раз, когда тонула. Она тоже испугалась, но сидела на месте. Только прикрылась рукой. Кожа сморщилась на ее плече и стала сизой.

— Юрик, — наконец выдал я из себя, — не надо пугать...

Но он закатился смехом. Я видел маленький язычок в его горле. Юрик стал понарошку кидать в меня гранату.

Ивао шарил рядом со мной по песку. Он искал очки.

Нелепость пришла мне в голову: мы сейчас разлетимся на мелкие кусочки, а очки останутся. По очкам потом догадаются, что здесь были мы... Я повернул голову: неужели некого и на помощь позвать? Но помощь была рядом. Задыхающийся Кимура мелькнул мимо нас. Свои гэта он оставил на борозде, протоптанной в песке по моему почину. Хорошо, что Кимура бросил их. В этих деревянных колодках он мог опоздать... Юрик уж там, на гранате, сорвал какую-то проволочку — наверно, кольцо. И в это время Кимура схватил его за руку. Пальцы Юрика разжались. Кимура подхватил гранату и резко швырнул ее снизу в море. Сам сморщился, схватился за живот руками и присел.

Из воды, чуть дальше баржи, вырвался пенный столб. Взрыв слился с густым гудком японского парохода, который входил в порт.

Я уткнулся лицом в песок. В нос мне попала песчинка, и я чихнул. Корма баржи качалась на волне, поднятой взрывом. Баржа скрипела. Юрик задумчиво ковырял пальцем в носу.

— А ну, оставь нос! — закричал я ему и шлепнул по руке.

У брата наморщился подбородок. Сумико подползла к нему на коленях и прижала к себе. А сама исподлобья смотрела на круглые волны, что расходились по бухте.

— Дети, вы должны себя беречь, — сказал Кимура по-японски. Его рябинки темнели на лице, как свинцовая дробь. Он повторил свое изречение и по-русски, глядя сверху мне в глаза.

Ивао и Сумико давно уже знали, что я понимаю по-японски. Значит, они ему не говорили, что я понимаю по-ихнему.

— Кимура-сан, — сказала Сумико, — мы рыли туннель в Японию и нашли гранату.

У Кимуры застыло лицо, как у японской куклы. Он, видно, долго не понимал, но в конце концов улыбнулся, да так, будто у него болели зубы.

— Не надо туннель, — ответил он, вставая, — за нами пришел пароход. Вы не забыли, что мы уезжаем?.. Идемте.

Ивао сходил за гэта дяди. Он поставил их Кимуре под ноги. Тот всунул пальцы ног под полоски кожи.

— Может, мы поплывем на другом пароходе? — спросила Сумико, пересыпая песок из одной руки в другую.

— Мы плывем сегодня, — ответил Кимура и кивнул на рыбацьи фанзы. — Может быть, ты хочешь остаться с русскими, как эти наши голодранцы?

Мочки ушей Сумико налились кровью. Она вскочила и пошла к сетям, на ходу надевая легкое кимоно. Песчинки налипли на ее шоколадные икры.

Кимура двинулся за ней. Гэта прищлепывали по белым пяткам.

Ивао насадил очки на приплюснутый свой нос и показал мне рукой на мутное пятнышко за кормой баржи.

— Рыба, — сказал он и замахал в воздухе руками, будто плыл в ту сторону. — Собирай и кушай! — Он повернулся и побежал за своими, переваливаясь в песке.

Когда они скрылись за фанзами, Юрик захныкал.

— Перестань! — прикрикнул я на него и обследовал на коленях лунку. Там больше ничего не было, кроме стреляной гильзы и обломка панциря краба.

— Говорил, как на белом пароходе, а тут гранаты... — прогнусавил брат. — Я думал, она игрушечная.

— Такими делами не шутят, — сказал я.

— Виноват я, что ее тут зарыли? — оправдывался Юрик, набирая в кулак песок и выпуская его тоненькой струйкой.

— Ты, конечно, не виноват, — согласился я, но тут же сдвинул брови. — В следующий раз без меня не смей вертеть!.. Иначе будешь сидеть в своей корзине.

— Смотри, сколько рыбы оглоушило, — облегченно сказал Юрик, показывая на грязное пятно, где плавали словно бы клочки бумаги. — Люблю жареную рыбу.

Я завязал свою выцветшую майку с одного конца и с этой сумкой вошел в воду. Тут я вспомнил, что Сумико нет, снял трусы и швырнул Юрику. Теперь можно было купаться так, чтобы вся кожа загорела. Хотя теперь уже не загорим — конец лета. По ночам море закутывалось туманами и с неохотой раскрывалось по утрам. Через два денька — в школу.

Я повернул голову, чтобы посмотреть на школу. Она желтела на склоне тесаными своими стенами. Ее построили недалеко от нашего дома. Быстро смастерили. Навезли бревен. Пришли плотники — японцы, корейцы, русские, — и только щепки засверкали. Старая школа японцев была такая ветхая и холодная, что в ней запретили заниматься. А в новой сложили печи из кирпича и назвали ее в честь Семена. Школа имени Семена Ивановича Щавелева. Трудно мне придется: надо будет на четверки учиться. Нельзя же в школе Семена тройки и двойки получать. И перед японцами не хочется быть слабаком. А их много будет учиться у нас. Некоторые рыбаки совсем не хотят переезжать в Японию. И япончата ходят гурьбой осматривать новую школу. Я сам, когда прохожу мимо, заглядываю в классы. На хорошем месте школу поставили. Из окон море видно до самого острова Птиц и еще дальше. Если смотреть не мигая, смотреть, смотреть, то начинают в голубом просторе выступать сопки Хоккайдо. И я думаю, что скоро уплывет туда Сумико. И навсегда... А может, Кимура вдруг захочет остаться? Нет, чудеса бывают только во сне.

Я взглянул на пароход, который пришвартовывался, и бросился в воду. Под рукой у меня встрепенулась полуоглушенная камбала. Я сначала испугался, дернулся в сторону, но потом подобрал камбалу. Быстро подбился к тому месту, где граната подняла со дна муть, водоросли, камбалу, бычков, налимов и окуней. Юрик бегал по берегу и кричал мне, где еще всплыла рыба.

Майка моя раздулась. Я еле подволок ее к берегу. Юрик накинулся на рыбу, взвешивая ее в руке.

— Ого-го! Еще живая...

Я растянулся опять. Песчинки впились в кожу.

Загудел японский пароход. Я вздрогнул. Вдруг перехватило горло: Сумико уплывает! Может статься, мы никогда больше не встретимся. Как же это так? Жизнь будет идти, наши ноги — топтать одну землю. Неужели нам нельзя встретиться потому, что мы будем жить на разных берегах?..

— Пойдем домой, Юр, — сказал я, — а то рыба протухнет.

— Пойдем, — ответил он. — Все равно скучно как-то стало.

Он взвалил на себя рыбу и потащил. С узла стекала тоненькая струйка воды. Юрик пыхтел, но не сдавался. Я забрал у него майку с рыбой уже на подъеме.

— С такими темпами ты и в самом деле станешь капитаном, — похвалил я его.

Брат начал ломаться передо мной. Он обегал меня, скакал на одной ноге, кидал камни, кувыркался в желтой траве.

Я хмуро улыбался, глядя на его выкрутасы.

19

У дома мы столкнулись с отцом, который доказывал что-то Кимуру. Он трепал Кимуру за плечо, приговаривая:

— Ано нэ, нельзя так... Выпить на прощанье надо, твоя понимай? Кто тебе помог документы оформить на отправку? Я! В первую очередь, как обещал Семен... Семен обещал тебя в первую очередь на Хоккайдо отправить... Выпьем за Семена, и мир заключаай, мир...

Кимура щерил свои полукоронки и кивал.

— Хорошо, капитан, мир, — отвечал он. — Кто старое помянет, тому глаз вон.

— А вот и жених наш пришел! — воскликнул отец, увидев меня. — Мы Сумику не отпускай... — И знал отец, что Кимура хорошо понимает его, а коверкал язык. Считал, наверно, что ближе они так друг другу.

Я прошмыгнул мимо них, поднялся к себе и высыпал рыбу в общую кучу на циновку возле печки. Мама и бабушка стучали ножами. С того дня, как мама поступила на рыбозавод, у нас в комнате запахло рыбой, солью и морской тиной. И сегодня уже шипела на сковородке рыба.

Я стоял на веранде и прислушивался к звукам нашего дома. Внизу заколачивали что-то. Удары отдавались у меня в груди.

— Надо б старичку еще ден семь повторить заговор, — сказала бабушка маме, переворачивая рыбу на сковородке.

— И ты думаешь, твои заговоры помогли? — спросила мама с хмыком.

— Кто его знает! — ответила бабушка.

А я думал, она ответит: «На все божья воля». Заскрипела лестница, и разлетелся по дому голос отца:

*Лесом, поляной, дорогой степной
Парень идет на побывку домой...*

Пронзительным голосом отцу подпевал Юрик.

— Мать, — закричал отец, входя в комнату, — гостей встречай!

— Каких еще гостей? — Мама нахмурилась, потом беспомощно огляделась по сторонам. — Ни стола нормального, ни стульев...

— Проводины соседям справлять будем, — сказал отец и потер руки. — Вот проводим наших японцев, тогда и переоборудоваться начнем. По мне, так и с японской обстановкой хорошо.

— Циновки, — бабушка показала ножом на татами, — впору и оставить. Светло с ними.

— Можно оставить, только стол русский заведем, — сказала мама.

— Да и с махоньким обходиться можно, — доказывала бабушка.

— Хватит спорить, — торжественно сказал отец, — гости идут.

Мама бросилась к двери на веранду и раздвинула ее до конца. Синий чад повалил пластами.

Снизу один за другим показались Кимура, Ге, Ивао и Сумико. Они поднимались бесшумно: были в носках. Ге сменил свое траурное кимоно на серый костюм. И сильно омолодил его этот рябенький костюм.

— Проходите, соседи, будьте любезны. — Отец взял Ге под локоть и подвел к столу.

Сумико, Ивао, Юрий и я уселись рядом и уложили лопаточки рук на коленях.

Мама с бабушкой выставили на стол жареную рыбу, вареную картошку, малосольные огурцы, салат, а ближе к нам подвинули вазу с шоколадными конфетами и варенье из крыжовника. Отец сколупнул сургуч с горлышка, выбил пробку кулаком под донце. Гости мигали при каждом ударе.

Отец разлил водку по фарфоровым чашкам. Раскрасневшиеся мама и бабушка отмахивались. Но отец сказал, что в такой день грех не выпить, и они взяли свои чашки.

Отец откашлялся в кулак, встал на колени и сказал:

— Ну, вы к себе ходи. Счастливо доплыть. Лихом нас не поминайте, время, сами знаете, такое... Может, вы что и имеете против нас — хитрого мало. У нас рука мало-мало тяжелая... — Отец начал заворачивать рукав своей гимнастерки, чтобы показать тяжелую руку.

Мама хлопнула его.

— Понес околесицу, — прервала она его. — Начал за здоровье, кончил за упокой. — Она подняла чашку. — Я вот что хочу сказать. Жить нам придется на разных берегах одного моря. Давайте будем хорошими соседями.

Они выпили. Кимура и Ге отпили по глоточку, сморщились и закашляли. Отец захохотал. Тогда Кимура влил всю водку из чашки себе в горло. Лицо его из желтого стало багровым. Но Кимура улыбался.

— Вот это по-нашему, — сказал отец и похлопал Кимуру по плечу. — Твоя психовый, отчаянный, а моя крутой...

— Не забывай про заговор, — напоминала бабушка Ге. — Как полная луна, завари травку и читай...

— Хорошо, хорошо, Федора сан, — отвечал Ге и кланялся, прижимая руки к сердцу.

Отец поднялся и принес из своей комнаты мешочек с табаком. Бабушка собрала порубленный мною табак, высушила и порезала.

— Ано нэ, кури, — пригласил отец, раскрывая мешочек. Кимура и Ге потянулись за табаком. Но Кимура сейчас же отдернул руку.

— Вытерплю, — пробормотал он по-японски, улыбаясь в сторону Ивао и Сумико. — Скоро закурим наши японские сигареты.

Ивао и Сумико уткнулись в чашки с чаем и не ответили ему.

Ге сунул нос в мешочек и несколько раз глубоко вдохнул. К его носу прилипли табачные крошки. Я прыснул со смеху.

— Ах ты, чертенок мозолистый, — сказал отец спотыкающимся голосом, — табак отцу испортил и рад. Тоже мне герой...

Я опустил голову, загляделся на свои руки, сжал их в кулаки и вдруг заметил, что у меня крупные костяшки пальцев. Как у деда. Тогда я вскинул голову и сразу

нашел взглядом руки деда. Они покоились на эфесе сабли. Как хорошо, что я похож на деда. А вот на Семена — нисколько. Если бы пальцы на левой руке отсечь вот так, тогда бы... Ну ничего. Усы растут помаленьку... Я осторожно провел пальцем под носом — растут. А если бриться отцовской бритвой, то можно быстро вырастить, как у Семена.

— Выходит, будто мы для себя табак сажали, — объявила мама. Лицо ее размякло. В зрачках переливалась синяя влага. — По ихнему, только для себя стараются мать с отцом...

— Для себя?! — возмутился отец и вдруг обрушился на Кимуру: — Твоя чего лопочет, ано нэ? Давай докажем, что для них стараемся!..

Кимура только улыбнулся в ответ. А бубнил он все о том же, что скоро закурит свой табак на священной земле Ямато. И что дух Ямато еще восторжествует. Однако Ивао и Сумико не слушали его. Они снова принялись за чай с вареньем и конфетами. У Ивао над верхней губой блестели капельки пота.

— Нет, моя не понимает по-вашему, — продолжал отец. Он поскреб затылок. — Вот детишки понимают друг друга хорошо... Ано нэ, я тебе вот что хочу сказать: давай поженим Герасима и Сумико, а? Докажем, что счастья желаем им и всего такого...

Мы с Сумико поднялись из-за стола. Ну что с ними — драться?

— Запад есть Запад, Восток есть Восток, — ответил Кимура по-своему, не переставая улыбаться. — И вместе им никогда не быть!

— Что ты все бормочешь? — спросил отец. — Моя не понимай... Герка, что он сказал на наше предложение?

Я махнул рукой и пошел на веранду. Туда же убежала Сумико.

— Хорошо, хорошо, давай по-же-ним, — услышал я ответ Ге и с грохотом задвинул дверь на веранду.

Я подошел к Сумико. Она смотрела на свой ржавый пароход в порту, облокотившись на перила и закрыв уши ладонями. Я отнял ее ладони и прижал их к своим щекам и губам. Пальцы ее рук заструились по моему лицу, точно Сумико ослепла. Пальцы расщекотали мои ноздри и ресницы. И я, наверное бы, не сдержал слез, как в тот раз, когда смотрел «Бэмби». Но в это время на улице завывала машина. В комнате все забегали, включая и Юрика. Я заметил, как отец набрал несколько горстей табаку из мешочка и высыпал Ге в карманы пиджака.

Ивао раздвинул дверь и позвал Сумико. Она взяла мою руку и положила на ладонь что-то твердое. Я ощутил шероховатый облупленный нос «бога счастья». Тут же Ивао вынул из кармана какую-то коробочку с иероглифами на крышке и протянул мне. Я открыл коробочку и увидел батарею цветных мелков.

— Я тоже что-нибудь подарю вам, — залепетал я и побежал ворошить свою школьную сумку. Но, по совести говоря, дарить было нечего.

— Ивао, Сумико! — донеслось снизу.

Выручил меня Юрик. Он достал картинку, где по синему морю плыл белый пароход. Он протянул картинку Сумико.

— Герка выдумал все, — сказал Юрик, наморщив нос, — но картинка красивая. Возьмите на память...

И тут меня осенило. Я взмахнул руками и заговорил:

— Это пустяки. Я нарисую ту настоящую картину и пришлю вам. Помните, я обещал... В ней будет море и два человека, Семен и ты, Сумико... Я нарисую, вот увидите... Чего не хватало там? Тебя, Сумико... Ты бежишь по песку навстречу Семену... Я тебя по памяти нарисую. Память у меня хорошая...

— Ивао, Сумико!

Мы пошли вниз — скрип-скрип-скрип... Я спускался и продолжал рассказывать. Мне казалось, они не верят, что картина получится. А она стояла перед моими глазами, точно нарисованная кем-то другим чистыми, яркими красками. И Сумико так отчаянно протягивала свои коричневые руки Семену...

— Раз, два — взяли! — Отец помогал грузиться Кимуре. Ге сидел уже в кузове на чемодане.

Юрик подбежал к шоферу и стал упрашивать прокатить его.

— Нельзя, сынок, — сказал отец, — а то увезут тебя на Хоккайдо.

— Ну и не испугался, — огрызнулся Юрик.

— Я пришло картину, — продолжал я твердить Сумико, которую наш отец посадил в кузов.

— До свиданья, Гера, — ответила она, и под ресницами у нее блеснуло.

Ивао махал фуражкой с лаковым козырьком. Я поднял руку и отвечал ему. Машина фыркнула и легко покатила под гору.

Юрик уткнулся отцу в гимнастерку. Седая прядь в чубе отца шевелилась от ветра, как живая. Мы с ним стояли рядом и следили за пыльным облачком, поднятым машиной. Шершавой ладонью отец вдруг захватил мою голову и привлек к себе. И тут я почувствовал, как горячая слеза щекочет глаз. Чтобы не заметил отец, я наклонил голову, тихонько освободился от него и ушел в кусты.

Я сел на край обрыва. Перед глазами ветер раскачивал ветку бузины с листьями, окаймленными желтизной, и гроздью красных ягод. Я оборвал ее и стал откусывать по одной ягодинке и выплевывать.

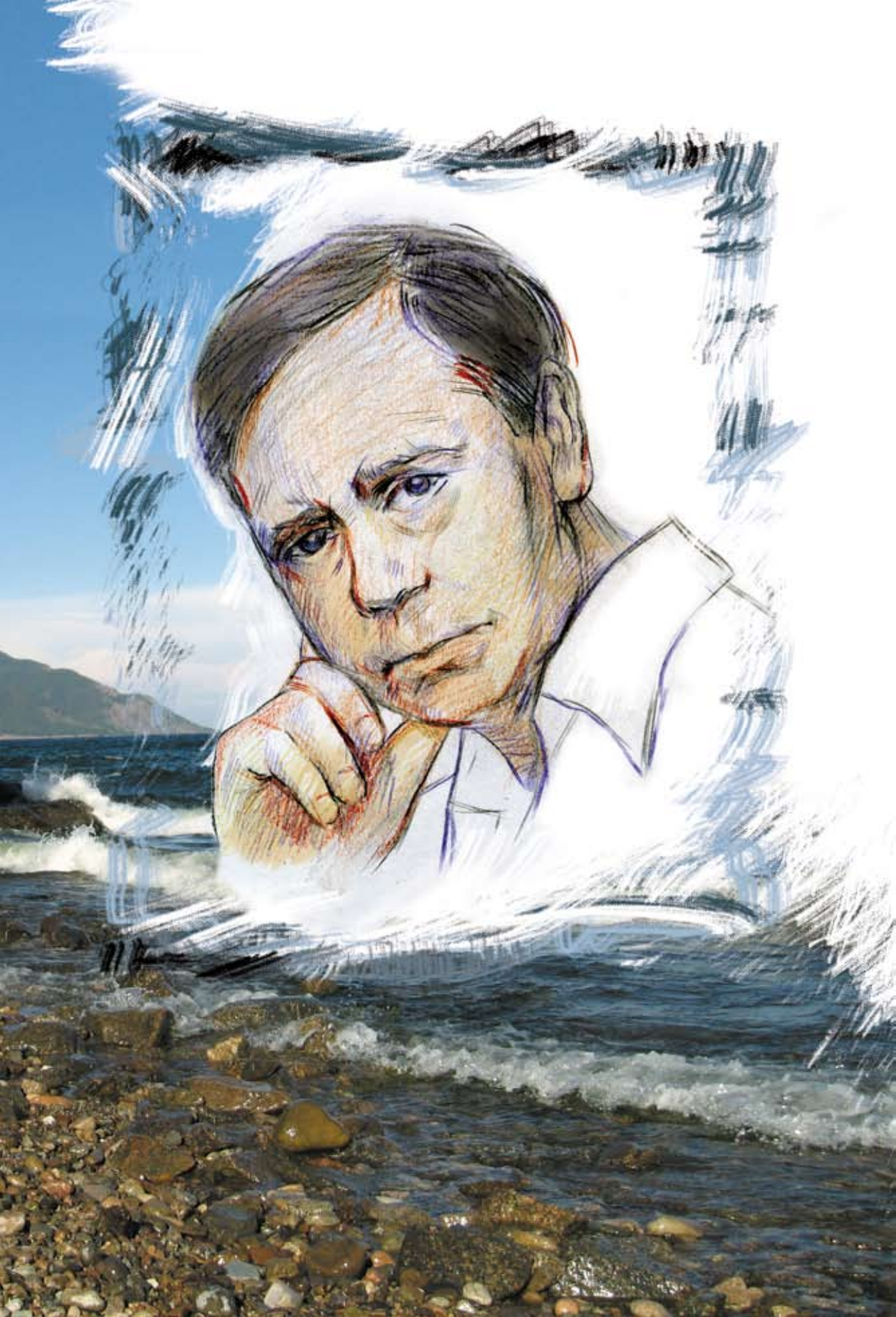
В порту кишела толпа. Бурным потоком переливалась она на японский пароход. Я медленно обрывал бузину. Когда на голой веточке осталось пять ягодинок, пароход загудел. На белом полотне пристани чернело лишь несколько неподвижных фигурок.

Пароход отчалил.

Вот и все.

Я оборвал последнюю ягодку бузины и кинул ее вниз. Красенькая точка поскакала по желто-серым камням. Мой взгляд расплылся там, где она исчезла. И я стал думать о чем-то не то радостном, не то печальном. Все перемешалось у меня в голове, как во сне: пещера, ребята, труба с вмятиной на боку, журавль, разбитая баржа, букет саранок... И вот Сумико... Тоскливо и сладко засвербило в сердце. Я тебя верну, Сумико... У меня хорошая память. Я вижу твои глаза, слышу твое дыхание, чувствую горячие пальцы. Мы все равно должны быть вместе. Все: я, ты, Ивао, Юрик, Борька, Скулопендра, Лесик. Может, ребята потеряли уже меня. Ждали-ждали письма от меня и ждать перестали. Но я все равно напишу им. Все объясню... Мы не можем забыть друг друга. Только планы старые забудем... Я предложу другие планы. Надо стараться делать так, чтобы чувствовать, будто мы все плывем на одном пароходе, белом пароходе «Оранжеде»... И вот что надо сделать вначале — послать им свирель для оркестра. Отец отдаст мне свирель. Она понравится Борьке, потому что звуки ее напоминают пение ветра в скалах, трели соловья и шорох волн.

Я встал и помахал рукой японскому пароходу. Он выходил на рейд, взрезая острым носом чернильные жгуты воды. На борту его вспыхнули светляки. И сейчас же маяк подмигнул пароходу добрым своим электрическим глазом.



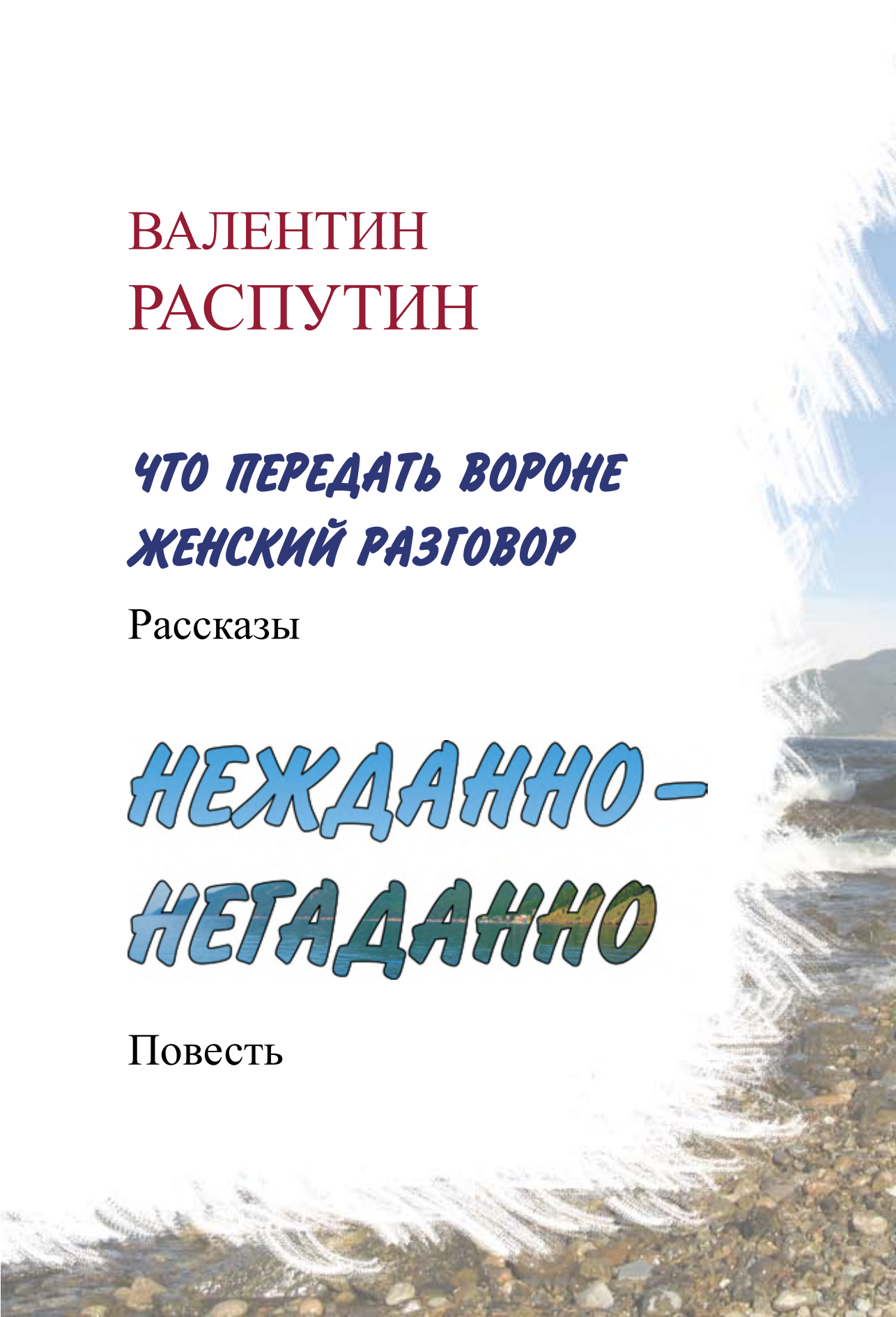
ВАЛЕНТИН
РАСПУТИН

*ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ
ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР*

Рассказы

*НЕЖДАННО -
НЕТАДАННО*

Повесть





ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

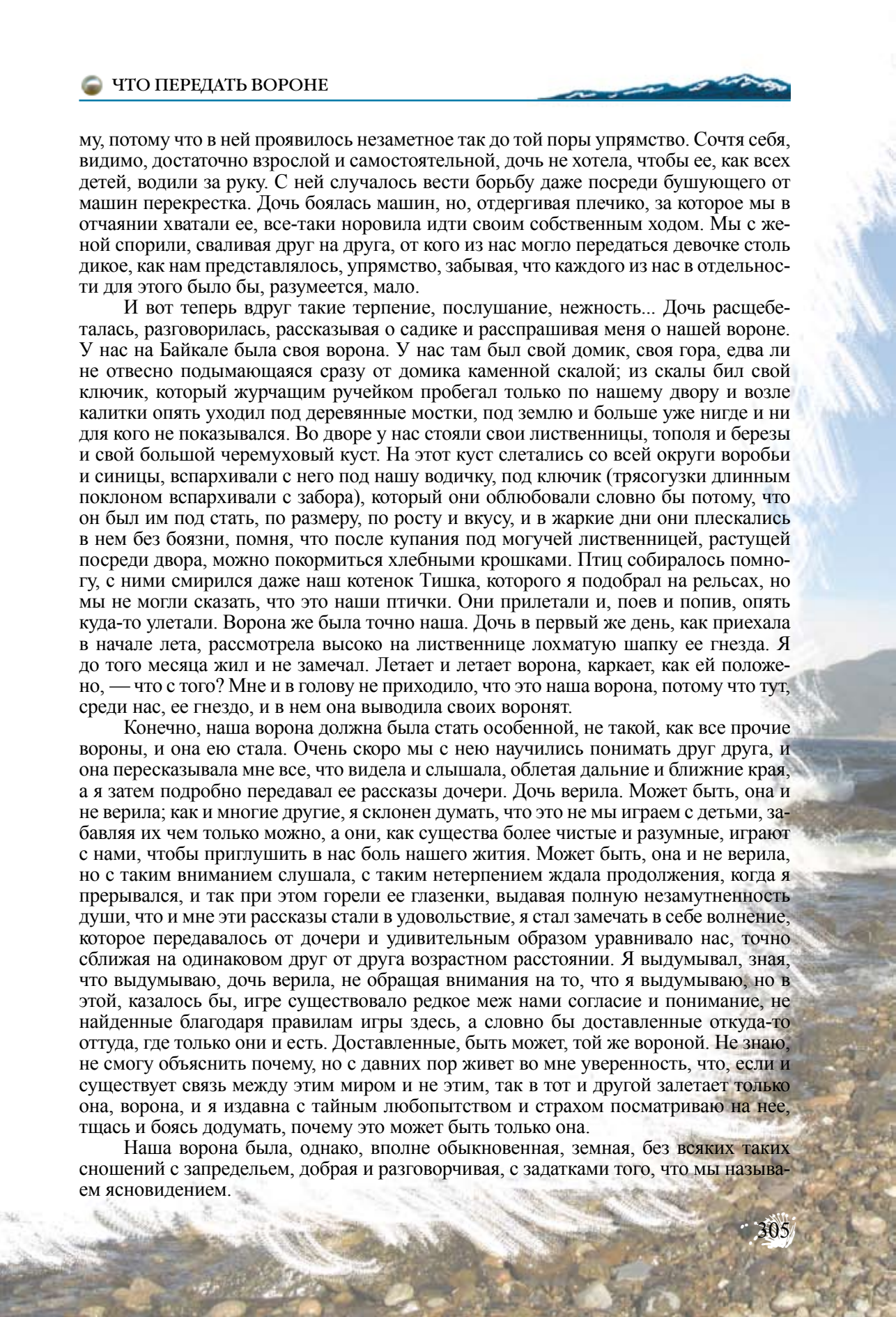
Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай Бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суесть, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся вострепелась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию осиянность вечеряющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучше-



му, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорила, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробы и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяца жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо, и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщаь и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.



С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательно решенное: —

Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно. — Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезение. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: пострашай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подавала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась бы и не отошла до сна. И я был бы прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминая да вспоминая во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утешая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дела; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыжки, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему



он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробыному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой: я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело: лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался: взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезением. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторавливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно сиюсь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я

сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали вылезать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймашь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подмененных. Относительно «подмененных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я, и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно час-



то, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом не подвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но странно, я несколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнившего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы такой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего порталного крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдавшая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным

блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растрогаться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламявать себя... Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, выносил в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинается посасывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благодный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навывдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ошупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он несколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...



* * *

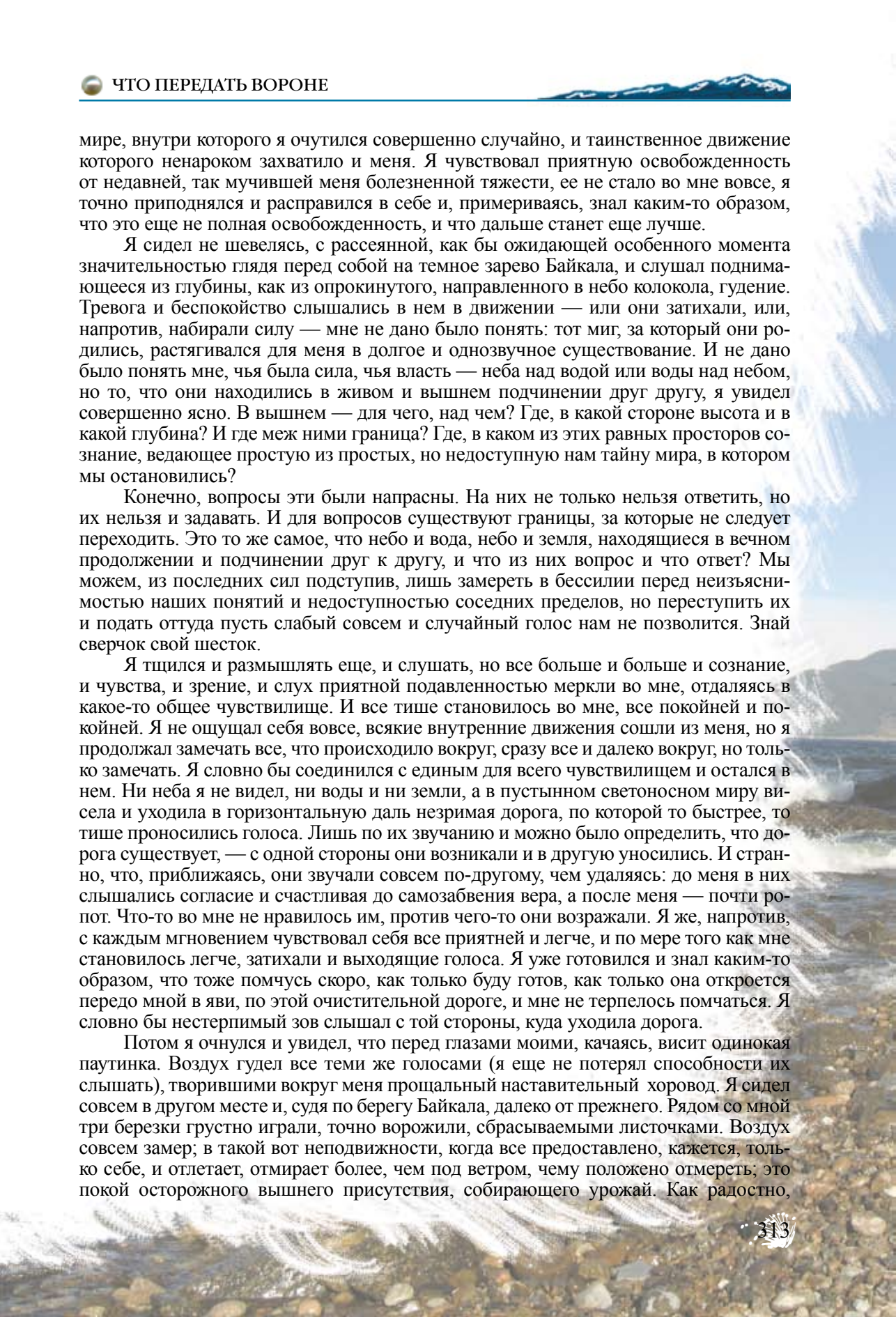
Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаюсь запахнуть в себе от чужого простора, день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Проявившись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бываюот звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходитсся он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, со страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготавливаемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они окружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера, и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем



мире, внутри которого я очутился совершенно случайно, и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность, и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении — или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились?

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволит. Знай сверчок свой шесток.

Я тисился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно,



должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размыченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготавливалось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не замататься по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась... пока хватились, выхватили из карусели — уже наживленная, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую «Ниву», и, пока не опомнилась, к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается: подружек не ищет, телевизора у бабушки нет — сбегает за хлебом, занесет в избу дров-воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в восьмом часу, а электричество... прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули заради него ангарские деревни, свалили как попало в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок — все заради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером — не всегда... Наталья по-старушечьи укладывается рано, вслед за солнышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду — вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с ленцой, то ли с холодной. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищуря, а видят ли они что — не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как не оконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котенком, то сбрасывала его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилось со своего сияния электричество — и опять увидели небо, запотыгивались, как всякая Божья тварка, за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

День отстоял на славу — солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берушиеся в наст, звенькало из первых сосуллек, загорчил первым подтаем воздух. За Ангарой, после заката, долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но еще до темноты взошло и разгорелось звездное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днем Наталья получила письмо от сына, Викиного отца. Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.



— Уеду, — еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: — Уеду с ним. Больше не останусь.

— Надоело, выходит, со мной, со старухой?

— А-а, все надоело...

— Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы — без интереса к жизни?

— Почему без интереса? — то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. — Интерес есть...

— Интерес есть — скорей бы съесть. Только-только в дверку скребутся, где люди живут, а уж — надоело!.. В дырку замочную разглядели, что не так живут... не по той моде. А по своей-то моде — ну и что — хорошо выходит?

— Надоело. Спи, бабуля.

— Так ежели бы уснулось... — Наталья завздохала, завздохала. — Ну и что? — не отступила она. — Не тошно теперь?

— Тошно. Да что тошно-то? — вдруг спохватилась Вика и села в кровати. — Что?

— Ты говоришь: уедешь, — отвечала Наталья, — а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты мне: ероичество у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Таковую потрату на себя приняла!

— Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!

— Куда проходили?

— В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер.

— Это кто ж такая? — Наталья от удивления стала подскребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вику.

— Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер — это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегает за ней, обойтись без нее не могут.

— А живет-то она со своим мужиком, нет? — все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

— Когда ка-ак... Это не обязательно.

— Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! — просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. — Ох-ох-ох, тут у нас. Прямо ох-ох-ох...

Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь.

— А почему говорят: целомудрие? — спросила вдруг она. — Какое там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

— Слышу. Это не про вас.

— А ты скажи.

— Самое мудрие, — сердито начала Наталья. — С умом штанишки не скидывают. — Она умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка — кто еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то, — и подчеркнула «родного» и «суженого», поставила на подобающее место. — Прижаться надо, поплакать сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тут, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя взросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой он и есть свой.

И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, засладить, заквасить собой на всю жизнь.

— Что это ты в рифму-то?! Как заучила! — перебила Вика.

— Что в склад? Не знаю... под душу навсегда поется.

— Как будто раньше не было таких... кто не в первый раз.

— Были, как не были. И девьи детки были.

— Как это?

— Кто в девичестве принес. Необмуженная. До срока. Были, были, Виктория, внученька ты моя бедовая, — с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. — Были такие нетерпии. И взамуж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве. Но ты-то с лежи супружьей поднялась искриночкой, звездочкой, чтоб ходить и без никакой крадучи светить. Ты хозяйка там, сариса. К тебе просятся, а не ты просишься заради Бога. А она — со страхом идет, со скорбию. Чуть что не так — вспомнится ей, выкорится, что надкушенную взял. Будь она самая добрая баба, а раскол в ей, терния...

— Трения?

— И трения, и терния. Это уж надо сразу при стоворе не таиться: я такая, был грех. Есть добрые мужики...

— Ой, да кто сейчас на это смотрит, — с раздражением отвечала Вика и заскрипела кроватью.

— Ну, ежели не смотрите — ваше дело. Теперь все ваше дело, нашего дела не осталось. Тебе лучше знать.

И — замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится и только. Как и во всяком недозрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подъездила к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне — отцеженным, слюдянистым светом.

— Зачем ты? Закрой! — встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал — где еще звездочка зазевалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и замороженно — ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные шапки на крышах, подтаявшие за день, сидели набекрень и леденисто взблескивали под могучим дыханием неба. Такое там царило безлюдье, такая немота и такой холод, так искрилось небо над оцепеневшею землей и такой бедной, сиротливой показалась земля, что Наталье стало не по себе. Опустив занавеску и уползая под одеяло, она прошептала:

— Господи, помилуй...

— Что там, бабушка? — не поняла Вика.

— Везде там, внученька. Господи, помилуй...

— Ты что — больше ничего не видела?

— Нет. Спи.

Не сразу, через молчание, через вздохи, совсем по-бабьи:

— А у вас как с дедушкой было?

Наталья далеко была, не поняла:

— С дедушкой? Что было?

— Ну, как в первый раз сходились? Или ты забыла?

Наталья вздохнула так, что показалось — поднялась с кровати. Пришлось во-он откуда возвращаться, чтобы собраться с памятью. И сказала без радости, без чувства:

— Мы невенчаные легли. Это уж хорошего мало. Повенчаться к той поре негде было, церкви посбивали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годочков, перешила старое платье под новое — вот и вся невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне и в 16 годочков, как тебе... Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором... — Наталья сбилась и умолкла.

— Ну и что с дедушкой-то? — настаивала Вика.

— А что с дедушкой... Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасання. Я его до каждой чутельки знала.

— У вас и способов не было...

— Чего это? — слабо удивилась Наталья. — Ты, Вихтория, не рожала... Как пойдет дитенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без дохторов, без книжек. Бабки и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угада-нье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про них знать не знала.

— Это правильно, — подтвердила Вика. А уж что подтверждала — надо было догадываться. — Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит.

— Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любой.

— Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится... та женщина ценится, которая целеустремленная.

— Куда стреленая?

— Не стреленая. Целе-устрем-ленная. Понимаешь?

— Рот разинешь, — кивала Наталья, — так и стреляют, в самую цель. Об чем я с тобой всюю ночь и толкую. Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

— Ты совсем, что ли, безграмотная? — охала она. — Почему не понимаешь-то? Целе-устрем-ленная — это значит идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взвьется. И гонит, и гонит, свету не взвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе.

— Бабушка, ну ты и артистка! При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может.

— По тиливизиру видала, — смиренно отвечала Наталья. — К Наде, к соседке, когда схожу вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то-все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

— И гончую там видала?

— И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целе-устремленную... Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи, ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе — кому она нужна? Нет, Вихтория, не завидуй. Баба своей бабьей породы должна быть. У тебя тела хорошая, сдобная. Доброе сердце любит такую телу.

— Все не о том ты, — задумчиво отвечала Вика. — Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спину, с поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звездный натек застлал всю комнату, чуть при-

гашая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому, видна была вздыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню.

«Не о том, — согласилась с внучкой Наталья. — Хочешь не хочешь, а надо со- знаваться: все тепери не так. На холодный ветер, как собачонку, выгнали человека, и гонит его какая-то сила, гонит, никак не даст остановиться. Самая жизнь гончей породы. А он уж и привык, ему другого и не надо. Только на бегу и кажется ему, что он живет. А как остановится — страшно. Видно, как все кругом перекошено, перекручено...».

— Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом, — с обидой сказала Вика, не от- ставая: что-то зацепило ее в этом разговоре, чем-то ей хотелось успокоить себя.

— Про дедушку-то? — вспомнила Наталья. — Ну так а что про дедушку. Твой- то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила...

— Как не тот? — поразились Вика.

— Ну, а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожденный? Ни того, ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядя твой Степан да Василий родились, Никола- евичи. Отсюда он, первый-то дедушка, на войну ушел. А второго дедушку, твоего- то, он же, Николай, мне сюда послал.

— Как сюда послал? Ты что говоришь-то, бабушка? — Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. — Ты расскажи.

Что делать: заговорила — надо рассказывать. Наталья подозревала, что млад- шие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню. Вика же была здесь лет пять назад, и неизвестно, когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; вторая бабушка была городской. Подозревают, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

— Как он мог прислать, если он погиб? — и голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею наигрывала не переставая. — И как это вообще можно прислать?

— Вот так, — подтвердила Наталья и покивала себе. — Чего только в жизни не соорудит. Ко мне Дуся на чай ходит... знаешь Дусю?

— Ну.

— Она опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а взыграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек не родила, ни по хозяйству прибраться... охальница, рюмочница... Ну, как нарочно, одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: «Наталья, я в городе была, окрестилася. Потеперь спасаюсь». — «Тебе спастись до-олгонько надо, — говорю ей. — Не андел».

— Бабушка! — вскричала Вика. — Тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку.

— Ворочаюсь, ворочаюсь, — согласилась Наталья, вздыхая. — Я тоже ста- ла — куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый... ежели где моя права, он пони- мал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для



ребятишек. Меня, если по-ранешнему говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, хорошо так смотрит... А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться.

— И чем ты хвалилась?

— А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккуратная, улыбистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! — протянула она, проводя границу. — Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пообгляделась, с чем осталась... Двое ребятшек, одному пять годков, другому три. А младшенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки-ножки как прутики...

— А папы, значит, тогда еще не было? — пробовала Вика спрямить бабушкин рассказ.

— Папы твоего не было. Он из другого замеса. Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в сапогах. Меня увидал — поднялся. «Я, — говорит, — вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны смертельной помер. Я, говорит, писал вам, как было... получали мое письмо?»

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить. А сама все оглядываюсь на него, все думаю: зачем приехал? И ехать неблизко, из-под самого из-под Урала, гора поперек земли так называется. Как снял шинельку — худой, длинный, шея колышком стоит, руки-ноги, как у мальчонки мово, у Васьки, болтаются. По всему видать, досталось солдатику. Один раз был раненый и другой раз контуженый. Контузия получилась хуже раны, он никак не мог ее в докончателности снять.

— Ну и что? — не выдержала Вика. — Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый дедушка вместо себя?

— Не егози, — одернула ее Наталья. — Это у вас — раз и готово. В первый день он только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам. Ты по воду ходишь по заулку... третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесовой крышей... это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну, и я там жила, покуль мы с Николаем здесь не построились. Отвела я его туда, забрала ребятшек... они, ребятшки, когда я на работе, у стариков оставались. Он ребятшкам гостинцы дал, по большому куску сахару. Приметила, как уходила: отец заради такого гостя из запаса бутылку достал, а он пить не стал. Мне, говорит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придержала рассказ. Тишина стояла такая, что словно бы потрескивание звездочек доносилось с неба тонким сухим шуршанием. Спущенная с постели, болтающаяся рука Вики виделась несоразмерно большой и неестественно белой, окостеневшей. И уже не из левого, а из правого окошка смотрел на Вику запрокидывающийся серпик месяца.

— На другой день он пришел с утра, — без подталкивания продолжила Наталья. — Я, говорит, вчера не все сказал. Его Семеном звали, твой отец Семенович. Прошу, говорит, меня выслушать до конца и не удивляться, а дать свою волю. Я так и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит... он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай придти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выдти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздется не позвала, голова дергается... это у него от контузии... как за нервы заденет, голову поддегивает... не так, чтоб сильно, но заметно. И говорит... Мне, говорит, Николай сказал, что нигде, во всем белом свете не найду я бабу

лучше и добрей, чем ты. А тебе от него завешание, что будет тебе со мной хорошо. Вот такая смертная воля. Я так и села...

— Но тебе же приятно было, что он тебе предложение сделал? — спросила Вика, неумело подтрунивая.

Наталя не стала отвечать.

— И ты заради этого поехал? — спрашиваю его. «Поехал». — «Отец, мать есть у тебя?». — «Мать померла, отец есть». — «Что это за приказания такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?» Молчит. «Что за приказания такая лютая?» — «Что в ней, — говорит, — лютого? Ты Николая любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя, и меня. Он бы зря не стал нас сводить». — «Не-ет, ты голову, — говорю, — на место поставь и подумай: на что тебе брат чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок не пересечет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая. Я, поди, старше тебя». Стала спрашивать про годы — так и есть на три годочка я старше. «Ты, видно, — говорю, — хороший человек, Николай плохого не подослал бы, но я твою милость принять не могу. Уходи, уезжай». Он постоял, постоял и ушел.

— Ушел?! — поразилась Вика. — Как ушел? Откуда же он потом взялся?

— Ушел, уехал, — подтвердила Наталя ровным голосом и перевела дух. — А недели через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одежду привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня воротился.

Вика опять не удержалась:

— Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?

— Да какая любовь?!

— У вас что — и любви в то время по второму разу не было?

— Слушай, — с досадой отвечала Наталя, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. — Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: не ровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку к себе брать не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна.

Наталя замолчала. Все-таки сбилась она с рассказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

— Ну, живет, — повздыхав, повела она дальше. — Ребятишки там, у стариков, и он там. Стал их к себе приучать. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завтрашнего только дня расстаются, а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла — кто кого переборет. Я упористая, и он на войне закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил: ребятишки души в нем не чают, а там и старики его сторону взяли. Особливо мать. Пошло на меня нажимание со всех сторон. Бабы в деревне корят: дура да дура. А сам вроде и ни при чем, даже и не подступает.

Вика рассмеялась:

— А тебе уже обидно, что не подступает. Ты уж ревнуешь...

— Я не ревную, а обложили. Это бы ладно, это бы я выдюжила, я баба крепостная...

— С чего ты крепостная? Крепостные при царе были. Крепкая, что ли, ты хотела сказать?

— Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, — повторила Наталя, не без похвальбы. — Но я говорю: он был контуженный, больной. А контузия такая: ляжет и весь свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то



зайдутся. Койни-как оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может. Потом опять ниче. Ну, вот. Смотрела я, смотрела и высмотрела, что это я ему нужна, что без меня он долго не протянет.

— И ты его за это полюбила?

— Что ты все: полюбила, полюбила... — без раздражения, спокойно ответила Наталья. — Это уж вы любите, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж вода побежала по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяина. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так каждому. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остатную жизнь.

— Он что — лучше был первого дедушки? — спросила Вика, уже теряя интерес и сползая в постель: история кончилась.

— Отшлепать бы тебя за такие разговоры, — слабо возмутилась Наталья. — Так я тебе скажу, внученька. Я древняя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилась вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну, так, а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь... молоденькая, без подумы говоришь... Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет.

— Забавная ты, бабушка, — неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.

— Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночь поговорить со внучкой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизнь — спаси и помилуй... Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со стоном повернулась набок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть набок, на подставленную руку. Наталья вгляделась: нет, беспокойно засыпала девчонка — подергивались, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки.

...С тихим звоном билась в стеклину звездная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, все играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость.



1994

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

Расположились в скверике напротив дебаркадера. Скверик уже не походил на скверик: на бойком месте земля была вытоптана до камня, с одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная высокой металлической сеткой, с другого — теснила расплзшаяся, в ямах, дорога к Ангаре, с третьего — асфальтовая дорога вдоль Ангары. Высокие тополя в скверике стояли редко, но раскидисто и тень давали. К ним и повел Сеня Поздняков свою группу, как только объявили, что «Метеор», на котором предстояло им ехать, подадут с опозданием на час. Группа была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Федоровна, потерявшая свое имя Клавдея еще в старые времена за пристрастие к правде, когда, выступая на собраниях с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: «Я правду люблю», — и Сенина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья. Замараевские: муж и жена Темниковы, он инженер в леспромхозе, она — бывший врач. Но это еще по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козырей поменяла. И кто из них сейчас кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта, и поговаривали, что закроют и фельдшерский.

Третья замараевская — молоденькая девчушка по имени Лена, сдававшая вступительные экзамены в один из новых университетов.

Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалеку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию и приволок от нее три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево — чтоб не на землю. Вышло вполне культурно. Расселись и принялись за разговором поджидать, когда стянется назначенный час.

Вот наступили времена: раньше, как лето, каждая деревенская изба полна городских гостей. Ехали и воздухом подышать, и стариков повидать, а у кого руки не отсохли — и помочь старикам в их непрестанном битье-колотье по хозяйству. Теперь в деревню не едут: для одних дорого, для других неинтересно. Одни спасаются участком подле дачки, который не отпускает к отцу-матери, другим позарез стал нужен и берег турецкий, и Африка вместе с Америкой. Теперь и писем в деревню не пишут, а заказывают при случае: пусть мама приедет, пусть папа приедет — соскучились.

А что такое «соскучились» — понятно.

Вот и Сене Позднякову, по которому донельзя соскучились внуки, пришлось набивать снедью два мешка и отправляться как Магомету к горе. Правдея Федоровна прямо называла себя «савраской». Уже второй раз за лето впрягалась она и ехала. Бабку Наталью на старости лет заставила сниматься с лежанки другая, как говорила она, «везея». Гостила зимой внучка и оставила золотые сережки. И два месяца уже: бабушка, отправь, бабушка, отправь. А с кем отправишь золотые сережки какого-то фасонистого изделия? Пришлось снаряжаться самой. А сын привез сегодня на пристань и посадки не дождался: некогда.



Зачем ездили замараевские, муж с женой, осталось еще не расспрошено. Впереди длинная дорога. И до дороги сидение в маете. Девчонка, Ленка, сказала, что экзамены в университет сдала, но учиться, наверно, не будет, не понравились ни университет, ни преподаватели, а в общежитии и селиться опасно, там одни кавказцы.

Солнце нагревалось и начинало дышать горячо. По мосту через Ангару дребезжали трамваи и ползла из машин с краю с шипом огромная, во весь мост, разноцветная гусеница, то вздымаясь горбом, то опуская уродливые сочленения. А по другой боковине моста навстречу ей двигалась, поддерживая длинное членистое тело, точно такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался едкий, злой. За Ангарой, вздымаясь в гору, продолжался город, сначала деревянный, низкий, закрытый зеленью, затем переходящий в коробчатые белые многоэтажки, нахальные и одновременно сиротски печальные. В одной из них, с шестью рядами разноцветных балконов по фасаду, и жили Сенины дочь с зятем и семилетним внуком. Сын жил по эту сторону Ангары далеко, за плотиной. Только в Сенины наезды они и сходились, что-то у них меж собой не ладилось. Но ни одна, ни другая сторона, ни дочерняя, ни сыновья, сколько ни спрашивал Сеня, не признавались, в чем дело, закатывая одинаково при расспросах глаза, будто Сеня тронулся. Но не из тех был Сеня, кого можно оставить в неведении надолго, и на следующее гостеванье у него появилась надежда на сватью, на невесткину мать, которую собирались осенью окончательно забрать в город. Деревня деревню поймет. Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиняков сразу же уставила их на Сеню с хитрым прищуром — будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выпросил, где протекала ее жизнь. Не могло. Но, спрашивая, убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир и все, что надо, выглядит. «Как вот в деревню залетают такие имена?» — подивился Сеня, знакомясь со сватьей, подбирая руку, которую она как-то быстро выронила, но имя еще больше его убедило: мимо Руфины Сергеевны ни одна семейная соринка не пролетит, она во все вникнет.

По скверику неприкаянно бродили люди, томившиеся ожиданием, натыкались на Сенин табор и отходили, морщась от убитого и захламленного угла, обманывающего сверху зеленью. У пивной за обнаженной земляной дорогой становилось веселей, оттуда доносились частый звон и бряк, возбужденные голоса. Дебаркадер, хорошо видимый по сквозящему скверику, был совершенно безлюден, на деревянном помосте причала, с которого была перекинута на дебаркадер под ступенчатым спуском стремянка с поручнями, высилась гора из огромных полосатых баулов, известных всей России.

Девчонка отошла от табора и стояла неподалеку. Отошел и инженер, рассматривая за решетчатой оградой машины.

Правдея Федоровна достала из сумки яблоки, тугие, краснобокие, с глянцевым отливом, и принялась угощать. А чего не угощать на прошлогодние зубы, которые хорошо кусали только в воспоминаниях? Сеня и бабка Наталья отказались, яблоки даже с виду были неукусные. Отказалась и фельдшерица и принялась рыться в старой черной сумке с испорченным ездовым замком, застрявшим посреди хода. Склоняясь над сумкой, фельдшерица вытянула ногу. Сеня смотрел на крепкую неодрябшую ногу с безобидным интересом: есть на ней чулок или нет? Чулки пошли под цвет кожи, не отличишь, а отличить зачем-то хотелось.

Ехали обратно, сумки были полупустые, с обвисшими боками. Что давалось в гостинцы или что покупалось, шло в легкую укладку. Только инженер вез большой и плоский фигурный предмет, замотанный в целлофан. «Крыло для «жигуля», — еще при встрече догадался Сеня, по привычке всем интересоваться, спросил, много ли отдано за крыло. Отдано было много, Сенина прикидка осталась далеко внизу. «Все

в порядке, — решил он. — Никакого торможения». Он все угрюмей и терпеливей относился к загадке: если торможения нет и не предвидится, то куда же они взлетят?

Замараевская фельдшерица, елозя на Сениной картонке, вытянула из-под замка прозрачный пакет, а в пакете небольшой глиняный горшочек с землей и торчащим зеленым отростком. Бабы заинтересовались: что такое? Можно было и не спрашивать: комнатный цветок. Но из каких-то особых, сказала фельдшерица, живучих настолько, что хоть забудь о нем на полгода. Она выговорила и название, уж больно чужое, так что никто не решился переспросить. И рассказала то, чего Сеня не знал. Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть заушаживайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что геранька терпеливый цветок, та самая геранька, без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цветенья, корешок слабый, слизистый.

— А и правда! — громко подтвердила Правдея Федоровна. — То-то я все смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это ежели у всех, должна быть серьезная причина.

— А у меня вроде ниче, — сказала бабка Наталья. — И геранька цвет дает. Вроде не жалобится.

— Где ты ее держишь? — Правдею Федоровну исключения не устраивали. По серьезной причине, а сейчас причины на все пошли только серьезные, цветы должны быть в опасности у всех.

— На подоконнике и держу, — отвечала бабка Наталья. — У меня подоконники широкие, я зимой подале от стекла отодвину.

Фельдшерица повторяла:

— У нас в деревне у всех, ну прямо у всех хозяек беда. А я не могу, когда окошки голые. Будто съезжают собралась. — Она подносила горшочек ко рту и ласково обдувала зеленце косопалого отростка. — Но уж этот-то, говорят, никакой заразе не поддастся.

Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у нее не болеет:

— Мои-то, что говорить, они вековущные, у них и цвет старуший... А этот-то, ежели незаразливый, до чего хорошо!..

И вдруг Сеню осенило: ведь все просто! Проще пареной репы. Он молодецки вскочил на ноги, напугав резким движением подходящую Лену, и начал с Правдею Федоровны:

— У тебя в какой комнате цветы стоят?

— Во всех стоят.

— Где телевизор — стоят?

— Телевизорная у нас большая, на три окна.

— Ясно. — Теперь Сеня влез за фельдшерицу: — А у вас, Александра Борисовна, под телевизором стоят?

— Они не под телевизором стоят. Они на подоконнике стоят, под солнышком.

— Телевизор на них влияет?

— Откуда я знаю?

Сеня перешел к бабке Наталье:

— А у тебя, бабка, телевизор влияет?

— Нет, — опять виновато отвечала бабка Наталья. — Не виляет. Он у меня не вилятельный.

— Нету, что ли?

— Нету, Сеня. Одна доживаю.

Подошел, привлеченный страстным Сениным голосом, инженер, прислушался. Сеня взглянул на него гоголем и начал разъяснения:



— Вот, Сергей Егорович, сделал открытие. — Взмахом руки в центр табора, как бы усаживающим, Сеня показал, что открытие тут, рядом. — Благодаря вот этому ма-аленькому вашему цветочку сделал открытие. Я вообще-то раньше его сделал, но не придавал значение, что это открытие. Я ведь тоже комнатный огородник, лимоны выращиваю. Лимоны у меня — о-го-го! Все знают. За крупность балдуины называются. Приедем к кому покажешь — не верит.

— У нас сват тоже растет, — сказала Правдея Федоровна.

— Не знаю уж, как твой сват теперь растет, если меры не принял, — усомнился Сеня. — Не знаю. У меня, к примеру, полное процветание было до «перестройки». А завозились она — кто мог подумать, что на лимоны повлияет! А только лимоны мои все хуже, все мельче. Уж не балдуины... так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь возьмется — и обгнила. Только завяжется — отпала. А у меня книжка, я по книжке провожу уход, у меня ошибок быть не может. Какие ошибки, если я пятнадцать лет с этим делом возжусь! — еще решительней отмахнулся Сеня и придержал голос, принапряг для самого главного: — И только после, как выбросил я телевизор из дому!.. я по другой причине его выбросил... А почему по другой? — спохватился он. — Причина одна. Причина такая: что он преподносит. Я выбросил — такие номера он стал откидывать, что я... человек неконченный... возмутился!

— Возмутился! — слабо ахнула бабка Наталья.

— И выбросил! — продолжал Сеня. — Выбросил и живу, на лимоны не гляжу. Я уж на них рукой махнул. Похоронил, можно сказать. А потом как-то ненароком глядь: лимоны-то мои, лимоны-то! — оживают! Я глазам не поверил. Неделя прошла — еще лучше. И пошли, и пошли!

— Телевизор виноват? — насмешливо спросил инженер, отмахиваясь от слетевшего на него желтого листа.

Сеня задрал голову: откуда взялся желтый лист среди сплошной зелени? Внимательно осмотрел тополевое верховье: нет, кое-где желтизной проблескивало... Август как-никак. И только после этого твердо ответил:

— Телевизор. Вот почему. Мы же читали все, кто с этим делом возится, что домашняя растения любит ласку. Спокойствие любит. Мужик на бабу если рявкнет — тут твоей гераньке смертная казнь.

— Они музыку любят, — добавила Лена.

— Музыка любят. Но какую? Опять же ласкательную, она им рост дает. А какую музыку нам по телевизору показывают? Крапиву посади перед телевизором — и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения... она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали...

— Закон, значит, такой вывели? — посмеивался инженер.

— Закон! Вывел! — еще тверже отвечал Сеня.

Замараевские бабы смотрели на него с уважением: ну, Сеня... наш Сеня любой спор выпорит, на любого ученого человека храбро пойдет.

Все чаще стали оглядываться на Ангара: не взбелеет ли «Метеор»? — и народ появился возле дебаркадера, торопя посадку. Подъезжали и машины, куда-то ненадолго отскакивавшие, запряженные для проводов. Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, скатываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадающего города, стояло почти над головой. Шел только десятый час.

Неподалеку, за старым раздвоенным тополем, одним стволом сильно склонившимся в сторону моста, пристроились, заметил Сеня, женщина с девочкой. Девочка сидела спиной, видна была только белая головка с разлохмаченной косой; женщи-

на, уже немолодая, выдавшая виды, со встрепанным выражением на круглом нервно-беспокойном лице, беспокойно оглядывалась. Когда Сенин голос поднимался до накала, она вздергивала голову и морщилась.

Фельдшерица спрянула обратно в сумку отросточек, от которого Сеня и вывел закон, и вытянула взамен какую-то завертушку в красивой обертке, протянула мужу. Он отказался. Она принялась сама разворачивать завертушку. Но не тут-то было — та не давалась. С какого бока, с какого края ни тянула фельдшерица — хрустящая бумага только издевательски повизгивала. Все с интересом наблюдали, чья возьмет. Нет, не бралась штукенция. Не выдержав, фельдшерица применила зубы. Она вонзала их так и этак, испуганно поводя глазами за наблюдавшими, вот-вот, казалось, зарычит от нетерпения — и со стыдом отступилась, сплюнула.

— Там стрелка должна быть, — подсказала Лена. — Указательная стрелка, куда тянуть.

Принялись всей компанией, передавая друг другу изжупанную завертушку, искать стрелку и не нашли, ее или забыли указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа. А что проверять! — инженер вынул откуда-то из-под куртки нож, с которым и на медведя не страшно идти, и с наслаждением, крикнув, будто от усилия, вспорол штукенцию.

— Вот так, — мстительно отозвалась бабка Наталья. — Дофунькалась.

— Пошто дофунькалась?

— Откуль я знаю? — Бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бумаге, до чего так мучительно добивались. — Ну и че? — спрашивала она. — Че там?

— Сама же говоришь: фунька. — Фельдшерица взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зеленого и желтого и, замерев, испытывала ощущения.

— Попробуй. — Она протянула в ладони крошево бабке Наталье. Та осторожно приняла, лизнула с руки.

— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, — лучше знать, от чего помирять.

— И правда, — подтвердила Правдея Федоровна, со страданием на лице наблюдавшая, как пробуют неизвестное вещество. — Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное.

— Написали бы, если опасное...

— Там че-то написано.

— Написано-то не по-русски.

— А не по-русски написано, — русский человек не лезь, не разевай рот, — неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна. — Там, может, от тараканов написано.

Фельдшерица сплюнула жвачку:

— Тьфу вас! Наговорите!

— Нисколь не проглотила? — полюбопытствовала бабка.

— Нет.

— Ну и слава Богу. От греха подале.

Помолчали, оглядываясь на реку.

— Ну, а что такое все же «фунькать»? — заинтересовалась Лена. — Есть такое слово или нет?

Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.

— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская. — Бабка Наталья рассмееялась мелконьким сухим смехом. — Маленькая была — воздух портила втихомолку али с музыкой?

— С тем и другим, — не растерялся Сеня.

Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:

— Ежели втихомолку, так это оно и есть...

— Искомое насекомое, — отличился на этот раз инженер.

День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим. Назначенное для «Метеора» время еще не вышло, но народ томился все пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд.

— Пойду узнаю последние известия, — вызвалась Лена.

Последние известия были: еще на полчаса отсрочка.

Женщину под солнцем разморило: ночь она спала плохо, голова была тяжелой, и чувствовала она несвежесть во всем теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно. Женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать, и сегодня они с девочкой уже побывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой «Метеора» и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили-побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать.

Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шуруя газетами, которые поднимало речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. «Никуда не уходи», — сказала она девочке. Та не ответила. «Сегодня, сегодня!..» — как заклинание, повторяла женщина, закрывая глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку.

Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот, петушистый... Женщина уже различала его голос — горячий, нервный и наивный. Острый голос — заснуть под него не удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось.

— Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, — шел на очередной приступ горячий мужичонка, — у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?

— Было, — соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал еще, но в движении, должно быть переходя под тень, — что-то недолетевшее.

— Но ведь среднее образование — это же много! — горячился первый. Это по уши ума. А едва не половина народу — с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?

— Мы не дураки...

— Мы не дураки, мы теперь умные, — быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. — Очень хорошо, — продолжал он. — Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той

стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача... Но почему?.. Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс — все делать с точностью до наоборот?

Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала:

— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надывается на тебя глядеть.

«Умные, дураки... — полусонной и безжалостной мыслью прошлась женщина по услышанному. — Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы. Все ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи сидят».

У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она села и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании, все так же толкся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячее, едва она подняла голову. А зашевелились рядом — принесли пиво и воду и устраивали посреди круга стол.

— Дать еще пряник? — спросила женщина у девочки. Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гоняясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка ее лет.

«Надо что-то делать», — опять беспокоилась женщина и покосилась на стоящего к ней вполоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжелый, оглушительный, над головой зашумела листва. Сеня взпятки сделал два шага и стоял с задранной головой.

— Эй! — окликнула его негромко женщина и еще раз, посильнее, пока он не оглянулся. И показала ему кивком головы, чтобы он подошел. Сеня подумал и подошел, со стаканом воды в руке облокотясь на изгибающийся ствол тополя. Женщина приладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, взглянулась в Сеню, что-то решая, и сказала:

— Угости пивом.

Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покотившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо и растерянно. Женщина еще старалась держать себя, на ней была свободная и длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие, открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи. На ногах кроссовки. Женщина старалась держаться, и все же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни дается ей в год.

— Пивом я и себя не угощаю, — ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдерживать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль.

— Тогда водой угости. Жарко.

— Ангара рядом.

— Девочка любит сладенькую, — играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у нее красиво, а сейчас — манерно, настаивала женщина.

Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул. Он узнал ее. Он видел ее только вчера.

Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товару. Требовалось самое необходимое для подступающей осени — телогрейка для Гали (старую, истрепанную недосмотрели в сенцах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги. Любил он еще, бывая в городе, поискать «что, сам не зная что», как в присловье, в чем нет крайней нужды, а увидишь и загорисься,



возьмешь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд ее вид — приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать, кофе он не пил. Простояла кофемолка в праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А это Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черемухи, и та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты — стала работать тише. С тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка... любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело.

У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как ни ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или из милости — отнесешь этому парню, Артему, и живи без размышлений, что бы еще купить.

Покупают в Иркутске в «Шанхае». Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мертвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеди, о всякой подручности, все везется из Китая. И все непрочно, быстро дырявится, портится, расходится по швам, превращается в хлам, а значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве, и «челноки», и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все свое сделалось в России невыгодно.

В «Шанхай» и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и все колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились — и он бы упал, его бы затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу он быстро потерял, онемел и только покрывал, когда толкали и сжимали особенно больно. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз еще крутануло и остановило. Из последних сил Сеня отпрыгнул в сторону.

Деньги в кармане оказались на месте. Сеня отдышался, для верности еще раз ощупал себя, целы ли кости, приободрился своим спасением и стал наблюдать, что это такое — откуда он спасся и что называется торговлей. Покупать там невозможно, там происходило что-то иное. Полосатые, под вид матрасовок, баулы все двигались и двигались, их катили на тележках, несли на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими народ. Сеня кумекал: значит, тут место перевалки. Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики — и так за несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние деньги. Увидев действие этой огромной крутящейся машины изнутри, Сеня поразился ее адовой простоте и изобретательности, какому-то беспрерывно громыхающему взрыву, раскидывающему полосатые тюки.

Они договаривались с Людмилой пойти после «Шанхая» в торговый центр на базарной площади; сапоги могли залежаться там. Туда и отправился Сеня, надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошел к главному входу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь. Везде, на каждом шагу, теперь сделалось интересно. Неподалеку, слева, мучили медведя, облезшего, полуживого и старого,

выставив его как приманку для фотографирования. Медведь стоял на задних лапах, уронив голову и исподлобья косясь на окруживших его ребяташек; видно было, что он давно смирился и с цепью на шее, и с тем, что жизнь его кончилась; потом перевалился на все четыре лапы, цепь загремела, ребяташки завизжали, а медведь понуро, по-собачьи, ткнулся мордой в бетон, что-то там вынюхивая. Фотограф, толстый мужик с бабьим лицом, хозяин медведя, сидел на складном стуле возле щита с фотографиями и изображал улыбку на недовольном лице: на медведя глазели, а под фотокамеру не шли. От массивного здания магазина уже ложилась тень, и под нее пристроились прямо на бетонной плитке несколько цыганят и три старика, один совсем безногий, на каталке. Сения и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепадало безногому. Цыганята не выдерживали пустого сидения, бросались канючить, хватали прохожих за руки — их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче русского. И гремело из ларька, торгующего музыкой, так оглушительно, что Сения тряс головой и думал: а ведь этак недолго вызвать землетрясение.

Чтобы не разминуться с Людмилой, он поднялся по ступенькам и у самого входа в магазин присел над последней ступенькой на край мраморной широкой площадки. Туда и обратно, вверх и вниз сновал народ, это был субботний день, но после «Шанхая» суэта здесь крутилась спокойно и люди шли своими ногами, могли разговаривать и понимать друг друга.

Тут-то и увидел Сения эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъема. Сения сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с «Шанхаем», но все-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой, и только обратил внимание на ангельское личико лет пяти-шести, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя: дымно-белые волосы, какие называют льняными, сразу уходили назад в тугую косу с темно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щеки — все было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней; щеки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет, не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием.

Сения так внимательно рассмотрел девочку, когда, заметив, что возле нее приостанавливаются, подошел взглянуть, почему приостанавливаются. И увидел: на коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики ее подавались вперед, и монотонно и печально повторяла:

— Спасибо. Спасибо. Спаси вас Бог. Спасибо.

На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое, стираное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались.

Сения тоже опустил в пакет бумажку в пять тысяч. Для него это были деньги. За такие деньги он встал сбоку, на ступеньку ниже, и, чувствуя второе после «Шанхая» потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается?! Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от Себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство?

Не удержавшись, Сения тронул за плечико девочку и спросил:



— У тебя мама есть?

Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой.

— С кем же ты живешь?

— Одна.

Едва он заговорил с девочкой, их стали обходить. Не зная, что сказать и чем унять свою боль, Сеня продолжал стоять рядом. Девочка вдруг попросила:

— Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете.

Он отошел. Нервно закурил, стоя на мраморной площадке, чтобы быть на виду, и смотрел куда-то поверх города. Здесь и нашла его дочь. Жадно хватая дым, Сеня показал Людмиле на девочку:

— Посмотри какая. Говорит, что одна живет.

— Я слышала про нее, — вспомнила Людмила. — Слышала, будто в коробках на базаре ночует. — Она всмотрелась в девочку. — Не похоже, чтобы в коробках. — И добавила: — Мы устали от грязной, оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую.

Сеня купил и пива для женщины, и для девочки подкрашенной воды в литровой пластмассовой бутылке, прогибающейся под рукой. Они отошли от коммерции вглубь пустыря, который все другие старались обходить. Сеня еще помнил по старым наездам в город, что здесь стояли деревянные дома с заросшими зеленым дворами. Дома снесли, освобождая место для какого-то большого строительства, но тут упало нестроительное время, и так все и осталось в горьком запустении. Из земли выбило дождями гнилые деревянные оклады домов, кучами торчали кирпичи и глина от печей, до сих пор пахло гарью и затхлостью. Трава выбивалась кустистыми пучками, торчали обгоревшие доски, чернели следы кострищ.

Сесть было некуда, да Сене и некогда было с посиделками, в любой момент мог показаться «Метеор». Он сам открыл банку с пивом и вздрогнул от тугого фырка, с каким выбросился из банки газ. С бутылкой провозился больше, пробка прокручивалась, и пришлось ее по-дикарски свернуть на сторону. Девочка приняла бутылку обеими руками, сказав вчерашним голосом «спасибо», и опустила на землю, присела на корточки рядом. Женщина отпила из банки без той жадности, которую можно было от нее ожидать. Она продолжала присматриваться к Сене, а он не мог отвести глаз от девочки и заметил на этот раз, что ангельское лицо, с таким вдохновением слепленное, пожалуй, не вздуто изнутри свечкой, которая бы его освещала и теплила. Или она загасла уже при жизни; лицо казалось тусклым. И все же оно было красивым, очень красивым какой-то красотой иных краев. Одета она была по-иному, чем накануне: в платье мягкой зелени с отложным воротничком и вышитым на груди цветком; на ногах белые, со шнуровкой, низкие туфельки. Пригляд за девочкой был, в этом можно было не сомневаться.

— Купи девочку, — вдруг услышал Сеня.

Он обернулся, медля, раздумывая, что ответить на такие слова, и встретил прямой тяжелый взгляд припухших глаз.

— Очумела? С глотка пива повело? — только и нашелся он сказать.

— Я серьезно. Купи.

— А себя ты, конечно, давно продала? И не разбогатела?

— Себя... давно... — раздельно ответила она.

— Давай-ка отойдем, — сказал Сеня. Ему было стыдно говорить при девочке, и он отвел женщину шагов на тридцать. Девочка спокойно оглянулась на них и снова уставилась на Ангару, все так же сидя на корточках и держась обеими руками за бутылку.

— Ну и что? — приступил Сеня. — Что ты за штука? Ты что — высмотрела деревню и решила кино показать?

— Нет.

— Нет, говоришь? А почему ты взялась детишками торговать? Коммерцию, что ли, такую открыла?

Женщина отпила из банки и откинула ее в сторону; пиво забулькало, выливаясь.

— Ты меня лишним не ляпай, Сеня, — сказала она все так же тяжело, не задираясь. И не удержала взятого тона, вильнула: — Тебя Сеня зовут? Мальчик Сеня. А перед тобой девочка Люся. Ту девочку зовут Катя. Детишками я не торгую.

— А что ты мне только что предлагала? Редиску с грядки купить?

— Мне надо срочно уехать.

— Ты не мать ей?

— Нет, матери у нее нет. Ни отца, ни матери.

— А кто ты ей?

— Тетя Люся. Я не первая у нее тетя.

— Тебе надо срочно уехать... с девочкой и поезжай. Или она тебе не нужна?

— Вместе нам далеко не уехать, нас поймают, — оглядываясь, торопливей заговорила женщина. — И не на что ехать.

У нее была привычка: когда она умолкала, то принималась нервно терзать сомкнутые губы.

Сеня точно на землю опустил: о чем они говорят? Где он? Ведь она предлагает ему купить девочку! Не куклу, не котенка купить, а живого человека! И он что же, выходит, торгуется с нею?! С этой женщиной, которую и знать не знает! Почему он с нею разговаривает, зачем?!

— Детей я не покупаю, у меня свои есть, — решительно сказал он, собираясь развернуться и уйти. — Ты что-то не то во мне высмотрела, тетя.

Женщина облизнула губы и покосилась на выброшенную банку.

— Так возьми, — мрачно сказала она.

— Ну дела-а! — восхитился Сеня. — То купи, то так возьми. Если дальше у нас туда же пойдет, ты мне еще и деньги большие дашь. — Он решил, что хватит играть втемную. — Она ведь, девочка твоя, кажется, неплохо зарабатывает. Я вчера видел ее...

— Где ты ее видел? — быстро спросила женщина.

— У торгового центра. С мешком денег.

Женщина кивнула с усмешкой:

— Все точно: там. И пас ее там вчера Ахмет. Из этих денег нам ни копейки не достается, все забирают. — Она встряхнулась всем телом, по-куриному. — Надо же: видел. Извини, Се-ня. — Она окликнула громко, уже не боясь: — Катя! Пошли! — И сказала для Сени: — Пошли в свою камеру, побег не состоялся. Там Олега уж добивают, что выпустил нас.

Девочка поднялась на ноги, но не двигалась. Ангара заворожила ее.

— Она не больная? — спросил Сеня, чувствуя, как заныло у него страдальчески сердце. — Вялая какая-то, замороженная.

Женщина еще и добавила:

— Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает. Жалко ее, — без выражения сказала женщина и первой заметила: — Вон ваш пароход показался.

«Метеор» только выплывал из затона, сияя округленной и длинной, как у ракеты, белизной.

«Вот сейчас сяду, — подумал Сеня, — и не увижу больше никогда ни девочку эту, ни женщину. Сяду сейчас, закрою глаза и спрошу себя... И долго потом буду спрашивать, может, всю жизнь. Вот утразило».



Они приближались к девочке. Она повернула к Сене лицо, настороженное, ожидающее, и смотрела, точно пытаясь угадать, договорились или нет.

— Слушай! — Сеня решительно затормозил. — Поехали вместе, — обращаясь к женщине, торопливо, горячо заговорил он. — Приедем, ты жене, Гале, все расскажешь. Это же рассказать надо, а не так, что привез и вывалил. Она поймет. И ты поживешь среди нормальных людей. Ну? Едем? Сама говорила, что тебе уехать надо. К нам и поедem. У нас надежней надежного.

Женщина, отказываясь, покачала головой.

— Се-е-еня! — в несколько голосов закричали из-за коммерции. — Где ты, Сеня? Па-е-хали!

Сеня встряхнул женщину за плечи:

— Если не врала ты, то дура. Быстро! Деньги у меня на дорогу есть.

— Сеня-а! — испуганно надрывалась бабка Наталья.

Он неотрывно смотрел на женщину. Она медленно нагнулась, чтобы поднять сумку, и второй, левой, рукой отерла лицо, показывая, что готова.

Первый и второй салоны уже разобрали, когда они, толкаясь, задевая друг друга сумками и свертками, влезли на «Метеор». Бабка Наталья от волнения слабо постанывала и все хваталась за Сеню, Правдея Федоровна танком шла впереди. Замазевские инженер с фельдшерницей ушли раньше, но Лена осталась в Сениной группе. Новых знакомых Сеня не терял из виду, они отстали, но двигались вслед за ним.

За вторым, средним салоном они поднялись на пять ступенек, прошли по открытой площадке с высокими бортами и на пять ступенек за дверь спустились. Третий салон, в трюме, был и качества третьего, для простонародья, полутемный и прохладный, со скошенной вонне задней стенкой. Сеня выбрал места на левой половине, по ходу теплохода она становилась правой, обращенной к родному берегу. Он пропустил бабку Наталью к окну, рядом с нею ухнула в кресло Правдея Федоровна, потом аккуратно присела Лена. Себе Сеня взял место у прохода. Позади него устроились женщина с девочкой. Набились и в этот салон, окликая друг друга и друг ко другу переходя, уталкиваясь дружественной. Взревел двигатель, «Метеор» затрясло крупной дрожью, почувствовалось слабое и набирающееся скольжение. Все отъехали. С опозданием почти на два часа, да дорога на семь часов. И с неожиданными, упавшими как снег на голову, гостями.

Сеня перегнулся сбоку за свое кресло, проверяя, здесь ли они. У девочки на лице появилась тень спокойного удивления, она не понимала, как они здесь оказались, и бросала взгляды на женщину, словно спрашивая: что же мы делаем? Женщина, тоже озираясь, кивнула Сене, подтверждая: что сделано, то сделано. Лицо у нее пошло пятнами; Сеня принял это за жар от вчерашнего перегрева.

«Метеор» развернулся у самого моста, и Ангара подхватила его, понесла, затем он и сам поддал, разрезая воду, с шумом и плеском отваливая ее на стороны. Замелькали городские берега, сплошь застроенные, погребенные под бетоном, к которому и волна сбегала робко. Незаметно берега переменились, пошли дачи с длинной вереницей лодок, темных и раскрашенных, и уж на них-то волна пошла с лихостью, высоко их подбрасывая и заваливая. А потом и вовсе вырвались на волю.

Сеня поднялся, чтобы сходить за билетами. Для себя он билет взял загодя, требовалось позаботиться о новеньких. Но вслед за ним сразу же поднялась женщина, догнала его за дверью и остановила.

— Я сама, — решительно сказала она, не глядя на Сеню. — На это у меня есть.

Он вернулся на место, размышляя; было о чем подумать. Дрожь всего корпуса теплохода в корме не прекращалась, а когда «Метеор» набегал на чужую волну, било

о борт резко и гулко. Шум в салоне от разговоров и хождения нарастал, от вареной курицы, которую несли из буфета, запахло с пресностью подсыхающей банной мочалки. Прошел наружу матрос, совсем молоденький и маленький большеголовый парнишка, оставив заднюю дверку открытой, и в нее было видно, как синим кипятком сквозь белую пену кипит за кормой вода. Бабка Наталья успокоенно вздыхала, по привычке деревенского человека интересуясь не берегами, а незнакомым народом; Правдея Федоровна сидела важно, еще не выбрав, чем заняться; Лена среди стариков скучала. Но все постепенно обтерпевались, втянутые в дорогу. Если тебя везут и ты семь часов можешь не отдирать задницы от кресла и отдаваться впечатлениям, это не значит, что тебе так уж беззаботно. Тушу твою везут, а душу везешь ты сам.

Воротилась женщина и, проходя, подмигнула Сене: все в порядке. Сеня слышал, как она за спиной говорит девочке:

— Вот твой билет.

— А твой? — спросила девочка.

— Мой у меня.

И завозила в сумке, что-то отыскивая и перекладывая. Теперь поднялся Сеня, сходил в буфет, купил опять той же воды, которую оставили на пустыре, шоколадку, на обертке которой развевался парус российского происхождения, и несколько булочек. Больше ничего, кроме спиртного, в буфете и не было. Курицу уже растащили. Все это Сеня выложил перед девочкой, потрепал ее по льняной головке, а когда она подняла на него глаза, подмигнул.

— Давай-ка! — только и сказал он, чтобы не дырявить главный, предстоящий разговор торопливыми вопросами.

— Сеня-а! — позвала тут же бабка Наталья, только он уселся. — Это кто такие?

— Старые знакомые, — отговорился он.

— Я пошто не знаю?

— Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю.

Бабка Наталья подумала и удивилась:

— Ты-то пошто не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней.

«Нижней деревней» называли кладбище. Бабка просунула голову в проем между спинками кресел, подержала ее там.

— Бравенькая какая девочка! — похвалила она, возвращая голову на место. — Докуда едут-то?

— Докуда билет велит.

— Не к нам?

— Точно не знаю.

— Ну, хитри, хитри...

Поднялась прогуляться Лена, потом принялась подниматься Правдея Федоровна. Сеня, поленившись, не освободил для нее выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, — и Правдея Федоровна застряла, выдираясь, уперлась рукою в слабую Сенину грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим. Лена долго не возвращалась, гостила у своих, у замараевских, в среднем салоне. Воротилась возбужденная.

— У нас тетя умерла, — сообщила она, поводя расширенными глазами, оглядывая по очереди всех.

— Ну-у! — ахнула Правдея Федоровна. — Похоронили?

— Нет, завтра похороны.

— Гли-ка: как знала — к сроку-то едешь...

И только после этого вместе с бабкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных теток скончалась, их у нее было много. Оказалось, тетя Дуся, отца



сестра, та, что жила на верхнем краю Замараевки рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и еще один гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении. Правдея Федоровна вздыхала громко, мощно. Расспрашивая, перебирала в Замараевке своих знакомых, упомянула опять Веру Брюханову, подружку по молодости, с которой не виделась года два...

— И не увидишься, — сказал Сеня, не сумев сдержать удовольствия от ловко пришедшегося подхватного слова. — Переехала твоя Вера Брюханова.

— Куда переехала? Что ты буровишь?

Лена испуганно объяснила:

— Она же умерла! Еще зимой умерла!

— Вера умерла?! — выкрикнула Правдея Федоровна.

— Еще зимой. Кажется, в марте. По снегу.

Правдея Федоровна помолчала, приходя в себя.

— Что это за жизнь пошла?! — требовательно воззвала потом она. — Что за жизнь пошла! Вера померла — и за полгода слух по Ангаре за двадцать верст не сплыл. Это когда так бывало?! О, Господи!

— Сильно много народу помирать стало, — по-своему объяснила бабка Наталья.

Сеню тронули за плечо: над ним стояла женщина, его гостья, она спросила сигареты. Сеня протянул ей пачку; он курил, но все реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курево, а с мужиками, глотнув дыму, не утерпевал, травился.

Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке, стал рассказывать, что ведется у него в хозяйстве.

— Во-первых, две коровы, — перечислял он. — Молоко будешь пить от пуза. Мы поросенка от некуда девать молоком поим. Во-вторых, бычок, уже с рожками. Стоит-стоит — да ка-ак взбрыкнет, будто шилом его ткнули, и давай носиться по телятнику. — Сеня наблюдал: девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не дотягивалась воображением, лицо ее оставалось безразличным. Шоколадку она не тронула, та нераскрыто лежала у нее на коленях, а булочку потеряла. — В-третьих, боров на подросте... Но боров, он и есть боров, я, к примеру, уважения к нему не имею. Потом курицы... Цыплята теперь подросли, ты опоздала, чтобы цыпляток кормить. Будешь кормить куриц, это будет за тобой. Курица — не такая глупая птица, как про нее говорят, за ней интересно наблюдать. Собака у нас одна, умная собака, Байкалом зовут, зря никогда не гавкает, а чужого не пустит. Еще есть овцы...

— Зачем так много? — спросила девочка, чуть скосив глаза в его сторону.

— Чего много?

— Коровы, курицы, овцы... Зачем так много?

— Но ведь жить-то надо! — с горячностью стал защищаться Сеня, будто девочка упрекала его. — Мы этим и живем. Деньги нам не дают, мы деньги другой раз по полгода не видим. Все свое. Я бы овцами, к примеру, попустился, они мне и самому надоели... Да ведь шерсть! Из шерсти носочки, рукавички, шапочку, свитерок... Мы там как в пятнадцатом веке живем. Вот увидишь, как интересно.

«Метеор» подчаливал; Сеня, пригнув голову, заглянул в окно. Подходили к Усолью.

— Хорошо идем, — сказал он вслух. — Расписание, конечно, не догнать, но подтянемся.

И отчалили без задержки. Снова поплыли берега, все расходящиеся и низкие, начиналось море. Сеня и об этом сказал девочке. На «море» она слабо встрепелу-

лась, но через минуту отвела глаза от окна, по-прежнему уставив их перед собой. Да и верно — какое море? Название одно. Огромная лужа, которая за полтысячи километров отсюда, набравшись в ленивую, но мощную силу, крутит турбины. «Метер» вильнул раз и сразу же другой. Значит, по большой воде подняло с берегов лес, наваленный там баррикадами, и таскает его, подсовывает под винты теплохода.

— Тебе никуда не надо? — спросил он.

Она помотала головой: не надо.

— Тогда посиди, я сейчас.

Он вышел на площадку, где толпились курящие, — женщины среди них не было. Медленно прошелся по одному салону, обводя глазами ряд за рядом, потом по другому, быстро вернулся в свой салон. Девочка вопросительно взметнула на него глаза, она заметила в нем тревогу. Сеня развернулся и за дверью прислонился к стенке рядом с грудастой бабой, держащей на руках веселого, пускающего пузыри ребенка. Сеня подождал, пока выйдут из того и другого туалета, снова обошел салоны, заглянул даже в рулевую рубку. Больше искать было негде. Уже зная ответ, спросил у проводницы, у губастой полусонной девушки с темным лицом, не выходила ли в Усолье такая-то... Сеня обрисовал ее. Выходила: проводница вспомнила ее сразу. Видимо, такая растерянность была на лице у Сени, что она не удержала любопытства:

— Что случилось-то? Не там вышла?

— А куда у нее был билет?

— До Усолья.

Значит, не вдруг спрыгнула, рассчитала заранее. Был дураком и остался дураком.

Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо:

— Слушай, сбежала от нас твоя тетя Люся.

Девочка вздрогнула и замерла. Сеня боялся, что она заплачет, будет с рыданием проситься обратно — нет, все осталось внутри. В оцепенении просидели они, должно быть, с полчаса. Потом девочка зашевелилась, показывая, чтобы он убрал руку, села бочком, отворачиваясь от Сени, и завозилась, шаря где-то под платишком. Выпрямилась и вложила Сене в руку какую-то пачку. Он глянул: это были деньги.

— Это она дала? — быстрым шепотком спросил Сеня.

Девочка покачала головой: нет.

Так эта девочка, по имени Катя, оказалась в деревне у Сени с Галей, и, таким образом, Сене с Галей ничего не оставалось, как кататься с этой девочкой.

Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной. Но вышло совсем наоборот. Когда Сеня с Катей явились пред ее очи и она удивленно-вопросительно сказала «здравствуйте» и когда Сеня продуманным ходом завел Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахивать:

— Да как же это? Как же это, Господи!.. Как же это!..

Но потом пришли трезвые мысли, и Галя ежедневно окунала в них Сеню как слепого щенка в холодную воду.

— Дурак — он везде дурак. — Эти слова Сеня говорил себе и сам, они были справедливы. — От тебя за версту простотой несет. Какой простотой? А той, которая хуже воровства. — Галя подхватывала последнее слово. — Ведь ты украл ее — если разобраться! Укра-а-ал! — заглушала она слабые Сенины возражения. —



Тебе воровка ее подкинула — значит, ворованное. Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? Отец-мать ее, может, ищут, может, уголовный розыск объявили... И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы подумал: тебе навязывают ее купить — нет!.. Навязывают дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности проблескивал: «нет» говорил... — Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты ее купил. — Она забывала, что только что уверяла его, будто «украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты позарился, Сеня. Ну, что вот ты пыхтишь? Господи! — Она принималась плакать.

В другой раз Галя вспоминала:

— Это беспородную кошку можно без документов принять. А ты не кошку принял. Чтобы жила — надо удочерение сделать. Через неделю в школу отдавать — где у нее метрики? Какая у нее фамилия? Кто был у ней отец — министр какой или убийца... девять душ сгубил?

— Пошто девять-то? — цеплялся Сеня.

— А сколько тебе их надо — девятнадцать?

— Но пошто девять, а не десять, не семь?

— Мы с тобой будем восемь и девять.

Сеня вскипал:

— Да, подбросили, да, дурак! Но я должен был, по-твоему, в Ангаре ее спихнуть, когда подбросили? Или что я был должен?

Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: «Надо было дать денег этой тете Люсе, чтобы убежала подальше. Или были у нее деньги?» Он вспоминал, много раз восстанавливал в памяти весь разговор с женщиной от начала до конца там, на причале, и все больше казалось ему, что не дурила она его, когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха — сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуждена выходить на правду. Сеня шел к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не отойти, и пробовал успокоить:

— Пусть будет как будет. Мы с добром к ребенку — почему мы должны бояться? Теперь государства без метрик, без паспорта живут... а уж люди!.., великое переселение народов. Миллионы скитаются, все теряют... имена тоже. А мы с тобой об одной девочке... кому она нужна, кроме нас?

Он сам удивлялся: о любой бы он сказал «девчонка», а о ней не выговаривалось.

Катя поднималась поздно, спалось ей тут хорошо. Они завтракали в летней кухне, стоящей во дворе, иногда для уюта подтапливая ее: ночи пошли прохладные. Утренний распорядок у Гали с Сеней теперь изменился, они вставали, как обычно, до света, но перехватывали спозаранку только горячий чай, набираясь аппетита и раздвигая дела для неспешного общего завтрака. Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивает на берег, катая волны. Сеня стал опять говорлив, что в последние годы, к утешению Гали, пошло на убыль, вспомнил свою страсть фантазировать, выдумывать всякие истории, оставленную с тех пор, как подросли дети. Усаживаясь за стол, прикрикивая для порядка, он говорил:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь звездная, небо прямо полыхает, как в праздник. Выхожу и любуюсь — хорошо ночью любоваться на звездочки. Вдруг слышу: шу-шу, шу-шу. Кто-то шушукается. Я подумал сначала, что, может, звездочки с неба. А незначай к огороду ближе подхожу — слышней. Если б звездочки — надо взлететь хоть сколько, чтоб ближе к ним. Крадучись продвигаюсь к огороду, спрятавшись вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукаются. Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, никому мы не нужны, а пропадать, сгнивать безвинно мы не желаем.

— Я позавчера, уж под вечер, три ведра сняла, — оправдывалась Галя.

— Так и говорят, — подхватывал Сеня, — хозяйка позавчера сняла и забыла, а нас надо каждый день обирать, мы в эту пору ходом идем. Сняла, говорят, и из памяти вон, а мы уж желтенькие, как старички, к нам надо уважение иметь. И договариваются, значит, чтоб в двенадцать ноль-ноль, ежели останутся они без женского внимания, совершить коллективный побег. А сейчас, — Сеня смотрел на круглые настенные часы, — половина десятого.

Катя слушала его внимательно и равнодушно, изредка поднимая глаза, пристально всматриваясь в Сеню и словно говоря: а ведь я уже старше, мне эти сказки рассказывать поздно. На все она смотрела со стылым вниманием. Подадут ей варенье — возьмет, намешает в чай и уставится в стакан, наблюдая, как синее или краснеет чай. А выпить, если не подтолкнуть, забудет. Скажут что-нибудь принести — на полдороге остановится и стоит, уставившись в одну точку. Сядет рядом с кобелем, а подружился они быстро, обнимет его за шею и, оттянув нижнюю губу, замрет. Кобель тычет ее — она дергается безвольно, тряпично, как неживая. Ела она медленно и мало, молоко не пила совсем. На вопросы отвечала односложно, чаще кивая или отмахивая головой, слова произносила с усилием.

Они шли с Галей собирать огурцы, и Катя чуть оживлялась, движения ее становились быстрее. Но каждый огурец она рассматривала, прежде чем опустить в ведро, перекачивала в руках, точно руки грея или его согревая руками. Подняла семенной огурец, и Галя ахнула с досады: огурцу полагалось еще полежать. Катя испугалась так, словно ее прошибло током, порывисто протянула большой желтый семенник Гале, быстро отдернула ручонку, когда Галя хотела принять, и заплакала. Галя кинулась ее успокаивать, говоря, что их, этих семенников, на гряде вылеживается на всю деревню, — и чем горячее успокаивала, тем отчаяннее плакала девочка — бескапризно, беззвучно, сжав ручонками горло, в сдавливаемом припадке. Не в силах видеть это, Галя опустила на землю и тоже стала захлебываться в рыданиях. Выскочил Сеня, глянул и скорей убежал, чтобы не залиться третьим ручьем.

Девочке дали обязанности, она должна была наливать курицам в корыто воды и под вечер выносить им мешанку-толканку, как называла Галя какое-то варево из картошки пополам с комбикормом. Курицы, приседая на бегу, сбегались шумно, отпихивали молодых; петух, вскидываясь резким клекотом, принимался наводить порядок. Ему не подчинялись. Галя ворчала, что петухи, как и мужики, теперь не те, их перестали бояться. Катя особенно внимательно посмотрела после этих слов на Галю, словно и ей давая оценку, потом перевела пытливые глаза на Сеню. Петух и правда был в хозяина: неказистый и неяркий, с гребешком, сваливающимся на сторону, и голос имел негромкий.

Второй обязанностью Кати было делать салат для обеда. Она шла в огород и набирала луку, петрушки, срывала три-четыре свежих огурца и долго выбирала среди только начинающих краснеть помидоров самые спелые. Лукового пера в салат клали много, и Галя научила девочку толочь его, не ударяя деревянной толкушкой, а вдавливая в мякоть и выжимая сок. Сеня нахваливал Катину работу, говоря, что он только теперь, на старости лет, попробовал настоящий салат. Но и Галя замечала, что девочка старается и хозяйка из нее выйдет хорошая.

На коров девочка смотрела с изумлением и опаской — будто раньше не видела. Обе коровы ступали важно и тяжело, ходили вместе и вместе же принимались трубно мычать, требуя корму или дойки. С изумлением же смотрела она на большое эмалированное ведро, по края с молоком, выставляемым вечером для прогонки через сепаратор. Сепаратор сыто и лениво жужжал, струйка сливок стекала в маленькую кастрюльку, а обезжиренный и посиневший отгон в большую, и Катя с мучительным вниманием смотрела: как же это получается?



Телятник у Поздняковых был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному заулку между огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их Байкал, он по очереди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались, по-приятельски помахивая хвостами, и Байкал трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю. Гавкал щенок, черный, с коротким хвостом, только-только начинающий разбираться, для чего он явился на белый свет. Сеня нес в ведре пойло для бычка, а Катя кусок хлеба. Бычок прежде кидался к Кате, она торопливо выбрасывала ему хлеб и пряталась за Сеню. Бычка звали Борькой, имя свое он знал и отзывался на него мычанием. Каждый раз повторялась одна и та же картина. Байкал давал Борьке наестся, затем прыгал к нему и застывал, заставляя и Борьку принимать защитную стойку, опустив голову и выставляя тупые рожки. Байкал начинал с лаем наскакивать — бычок еще ниже нагибал голову, сдавал взапятки и вдруг бросался на собаку. Она отскакивала, заливаясь восторженным лаем, а Борька шумно пыхтел, набираясь духу для нового приступа. У Кати раскрывался рот, нижняя губа оттопыривалась, и на лице появлялось что-то вроде забывшейся улыбки.

От телятника было недалеко до пустошки из молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем пошли маслята. Катя ступала с выставленным вперед, как против зверя, складным ножиком и в первые дни только натывалась на грибы, потом стала, увидев издали, вприпрыжку к ним подбегать. Наступил день, когда Сеня поднял первый рыжик. Он так обрадовался, наглаживая его и жадно шаря вокруг глазами, так нахваливал рыжики, что Катя, налюбовавшись красной шляпкой с нежно и ровно расписанными кругами, долго потом исподтишка смотрела на Сеню. И когда минут через десять она закричала и кинулась к Сене, а он кинулся навстречу — она остановилась, испуганная его испугом, и, протягивая ручонку с найденным теперь уже ею рыжиком, опять заплакала. Он схватил ее на руки и держал до тех пор, пока она не успокоилась.

Прошла неделя после приезда, пошла другая... Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей шесть лет, но росточка она была небольшого и могла ошибаться. Да и с шестью разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учебой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит. Но Галю с Сеней удерживала иная причина: они не знали, как надолго свалилась на них Катя, боялись думать об этом, каждый новый день втайне начиная с оборонной молитвы: Господи, пронеси!

— Ты помнишь свою маму? — выбрав минуту, когда девочка казалась успокоившейся от затягивающихся где-то далеко внутри ран, спрашивала Галя, не нажимая на вопрос.

Катя замирала, опускала голову и уставляла глаза перед собой — как всегда, когда она замыкалась. Но нет — чуть слышно она отвечала:

— Помню. Маленько.

— Как ты ее помнишь?

— Мы ехали, — помедлив, сжатым голосом отвечала она.

— Куда ехали? Откуда?

— Не знаю. — И добавляла неуверенно: — К русским. Мы ехали в поезде. Там были большие горы.

— А папу не помнишь?

Папу она не помнила. И так умоляюще смотрела на Галю, что та поневоле оставляла расспросы.

В сумке, оставленной тетей Люсей в «Метеоре», находились два платья, одно тонкое, другое шерстяное, тонкий же ярко-желтый плащишко, трое колготок, кроссовки и вязаная шапочка — все летнее, городское. Но этот набор опять-таки под-

тверждал, что выводила женщина Катю в спешке и собирала за секунду. С этими расспросами девочку пока не трогали. Гале пришлось ехать в райцентр и срочно покупать спасение от холодов — теплую куртку, сапоги, две шерстяные кофты, рейтузы. Шерсть велась своя, от своих овец, но мукой смертной было чесать ее, пряхь; пришлось искать охотницу для такой работы. Не охотницу, а невольницу, которая от бедности бралась за любое дело. Очень не хотелось трогать Катины деньги, поначалу так и решились: не трогать; но без них бы не поднять эту справу — половину истратили.

Стоял уже сентябрь, доспевали последние урожаи в огороде и тайге. Дни стояли сияющие, перекатливые от утренников с инеем до летнего зноя, небо распахи- валось все шире, и, казалось, все глубже оседала земля. В Сенином огороде белела только капуста. Выкопали картошку; счет ведрам, в которые набирали картошку и высыпали на землю для сушки, вела Катя и громко объявляла его, ни разу не сбив- шись. И копать ей нравилось; земля была мягкая, унавоженная, погода сухая, уро- жай хороший. «Поросята какие!» нахваливала Галя, поднимая из земли огромные клубни, белые и чистые,ставляя их напоказ. «Поросенок какой!» — подхватыва- ла Катя и бежала похвалиться, какой экземпляр она отыскала. Здесь же, в огороде, ходили курицы, для которых был снят наконец существовавший все лето запрет и думать забыть про огород, здесь же грелся на солнце Байкал. Когда ему надоедало лежать, Байкал подходил к Кате и тыкал ее носом в бок. «Байкал, — отбивалась она, — не мешай». Он смотрел на нее внимательно, скосив голову, точно любуясь.

— Откопались в леготочку! — удивлялась Галя. — Ой, так боялась я копки и не заметила, как управилась. А без тебя, — приобнимала она Катю, — мы бы сколь- ко провозились... — А про себя добавляла: «Мы бы сколько нервов друг дружке извели!»

Катя загорела и вытянулась. Или уж казалось, что вытянулась, потому что при- выкли к ней и видели в ней то, что хотели видеть. Но живей она стала — точно. Но все еще странной, неожиданно срывающейся и так же неожиданно затухающей живостью. Прыгает со скакалкой в ограде, что-то замеряет, расчерчивает куском кирпича и вдруг застынет, не успев присесть, лицо делается обмершим, взгляд куда-то утянется. Не дай Бог окликнуть ее в эту минуту — испугается. Сеня не раз с болью наблюдал ее такую: стоит, а что стоит, что опять с нею, стоящей пусто, и что слетело куда-то от неожиданного всполоха в памяти или душе — поди пойми. И всегда в таких случаях что-то острое, знобящее перекатывалось в его груди, пугая предчувствиями.

— Сеня! — тревожно говорила Галя перед сном; они теперь обычно засыпали под думы и разговоры о Кате. — Мы с ней по-простому, а она как стеклянная. Не разбить бы.

Для деревни было сказано, что она внучатая Сенина племянница, родствен- ников его никто не знал. Для деревни было сказано, а говорить Кате, за кого они ее пригревают, не решались. А она бы и не поняла ничего. Сколько катало ее по недоб- рым людям — не узнать, но прилась эта злая доля на самые чувствительные годы, и теперь сердчишко ее, должно быть, ломается от тепла, как лед по весне... «А уж осень, осень...» — боялся додумать Сеня.

С лета он собирался в тайгу за орехом, который тоже нынче уродился, но не пошел. Показалось ненужным. Никуда из деревни уходить не хотелось, а Гале он объяснял, что это от старости. Засыпая, думал: «Скорей бы новый день, чтобы ви- деть вокруг себя далеко». Стены сжимали его, воздух казался отжатым. Просыпался он быстро, с радостью и сразу вскакивал на ноги, первым шел ставить чайник. За завтраком, когда сидели все вместе, продолжал свои фантазии:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь зве-ездная, ядреная. И слышу опять: шу-шу, шу-шу...



Катя отрывалась от еды:

— Да ведь огурцов на грядке нет. Кому шушукаться-то?

— Ты слушай. Слышу: шу-шу, шу-шу. И тоже невдомек: ведь огурцов на грядке нет, кому шушукаться-то? Прислушался получше, а это морковка. «Делать нечего, — переговариваются грядка с грядкой, — надо бежать. Бежать от лютой гибели в этом огороде, от этих людей. Ботву нам обрезают, оставили в земле для сохранения, а какое может быть сохранение, если наш враг, жадный крот, поедом нас споднизу ест. Нету нашей моченьки больше терпеть. Если завтра к восемнадцати ноль-ноль не придут нам на помощь, всем немедленно уходить». Шу-шу, шу-шу: всем, всем, всем.

Катя, склонившись, прячась за стаканом с чаем, хитренько поглядывает на Галю, понимая, что сказка эта больше сказывается для нее, для Гали.

— Уберем сегодня, — ворчит Галя. — Не можешь по-человечески-то сказать?

— А ты что — по-морковному услышала?

Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось не за ней.

— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрешь — посмотрим, покаковски ты хрюкать будешь.

Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она говорит совсем по-взрослому, по-деревенски:

— Ну вас! Уморили!

К ней стала приходиться подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донельзя тихая, молчаливая, скидывающая обувь сразу же, как только выходила она из дому, и где попало эту обувь забывающая. Звали девочку Аришей, Сеня называл ее Ариной Родионовной.

— Ну что, Арина Родионовна, — встречал он ее, босоногую, — где сегодня сапоги оставила?

Сапоги могли аккуратно стоять вместе посреди дороги, могли быть в разлуке — один у своего дома, второй у чужого, а могли оттягивать спрятанные за спину руки. Аришу расшевелить было трудно, да Катя и не умела, ее самое надо было расшевеливать, но, как старшая, она понимала, что игру должна предлагать она, и принималась прыгать через скакалку, подавала затем скакалку Арише — та брала, и продолжала сидеть на широкой лавке возле крыльца, уставив свое тоже белесое, с низкой челкой, с мокротой под носом лицо на Катю. Игра Аришу не занимала, она приходила полюбоваться на девочку из какого-то другого мира — чистенькую, аккуратную, необыкновенно красивую. Все уже знали, что у Поздняковых живет красивая девочка. Бабка Наталья перебиралась через дорогу, прикрывала у Поздняковых за собой калитку и била о нее висячим чугунным кольцом, давая о себе знать.

— Где-ка тут наша бравенькая? — спрашивала она, не глядя, есть кто во дворе или нет. — Гли-ка, че я тебе принесла... — И уж после этого поднимала глаза. — Сеня, ты? А где-ка наша метеворка? Я седни сушки стряпала... — И высыпала в какой-нибудь тазик, которые всегда обсыхали на воздухе, кучу витых кренделей-баранок, еще теплых. — Покусай, покусай, — протягивала она первую Кате. — А поглянется — приходи, вместе чаю попьем.

В другой раз решительно тянула Катю к себе. Та возвращалась с маленьким, будто бы игрушечным, но изготовленным по полной форме самоваром — с осадистыми ножками, с решетчатым низом, с раскинутыми по бокам фасонисто ручками и проворачивающимся в гнезде краником, даже с короткой, загнутой в колене трубой.

— Вот, — удивленно и таинственно объясняла Катя. — Это было в деревушном чабадане.

— Где?

— В деревушном чабадане. Это такой деревянный ящик, наверное, старинный чемодан.

И замирала с улыбкой, продолжая любоваться самоваром.

— Бравенький? — с хитрецей спрашивала она.

— Бравенький, — соглашалась Галя. — Только дочистить надо.

И еще миновали неделя и вторая, а всего после приезда и месяц отошел. Началось ненастье с холодными дождями и длинными заунывными порывами северного ветра, который, казалось, выпускал от затяжной натяги весь дух, затихал и, набрав его в какую-то могучую грудь, снова принимался дуть мощным выдохом. С лесов сбило последнюю листву, и они стояли черно и зябко; опущенное хвойное покрывало сосняков и ельников тоже смотрелось в мокроте безрадостно. По воде (море называли просто водой) ходили волны, взблескивая загибающимися остриями белых барашков, вся земля гудела и стонала. Сеня влез в новые сапоги, привезенные из города, и, только натянув их на ноги, вспомнил, как они покупались и как он впервые увидел Катю. Вспомнил и долго сидел, тупо глядя на сапоги, размышляя, не лучше ли было их до весны не трогать.

Он принялся учить Катю азбуке, она, хорошо считая, не знала ни одной буквы. Катя послушно повторяла слоги, складывая их в слова, вскидывала глаза в удивлении от чуда получающихся слов, но занималась она без охоты. Быстро вскакивала из-за стола, едва Сеня объявлял конец уроку, и подходила к окну, глядевшему в улицу, подолгу смотрела на расставленные до горы тремя улицами избы, на побитый за деревней лес, на стоящих неподвижно под дождем коров, беспрестанно жующих жвачку, на пробегающую торопливо собаку и на редких прохожих, тоже торопящихся, высоко поднимающих ноги. А Сеня стоял в дверях прихожей и со стылым сердцем смотрел на нее, замершую у окна: что она там видит? о чем думает? куда отлетают ее желания? И с кем она — с ними или с кем-то другим?

Он пытался узнать о ней побольше:

— Ты помнишь, где вы жили в городе?

Она вся натягивалась, лицо становилось напряженным, чужим, менялись, тяжелея, глаза.

— В деревянном доме, — натягивая слова, выговаривала она. — На втором этаже.

— Ты с тетей Люсей жила?

— Тетя Люся потом пришла.

— А кто жил на первом этаже?

Девочка смотрела на Сеню и медлила.

— Ахмет... — с трудом произносила она. — Олег... Там много было. Приезжали и уезжали.

— А кто такой Ахмет?

— Он стрелял в тетю Люсю...

— Как стрелял, почему?

И снова молчание, потом тихо:

— Он стрелял, чтоб не попасть. Сказал: в другой раз прямо в сердце.

— А почему стрелял, не знаешь?

— Не знаю.

Сеня не перебарщивал с расспросами, он видел, что они даются девочке тяжело. Она после них затаивалась, старалась держаться в сторонке, ходила медленно, с оглядкой, снова принималась пристально всматриваться во все, что окружало ее, нижняя губка безвольно оттопыривалась, лицо бледнело. «Пусть обживется, привыкнет к нам, перестанет чего-то бояться... и уж тогда... не сейчас...» — думал Сеня,



прекращая такие разговоры. Да и так ли уж важно было разведать, что скрывалось за тем днем, когда девочка оказалась с ним рядом? Что это даст? Когда-то он шлепнулся в Заморы как кусок дерьма — его приняли, не спрашивая характеристику, отдали ему единственную дочь. Это зло выясняет подробности, добру они ни к чему.

Опять разгулялась погода, выглянуло солнышко, но уже без прежнего тепла, примериваясь к зиме. Высушило улицу, и показалось, что порядки домов развело еще шире. Когда Катя смотрела, как идет к ней через дорогу Ариша, уже не смеюшая сбрасывать сапоги, чудилось, что идет она долго-долго. Они вместе принимались ставить самовар под навесом справа от летней кухни: большую, пузатую чурку застилали клеенкой, рядом притыкали две низенькие чурочки для сиденья, устанавливали самовар на «стол», заливали его водой и втыкали трубу. «Скипел?» — через пять секунд спрашивала Ариша. «Нет, так быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» — «Нет, говорят тебе, рано». — «Скипел?» — «Скипел». Начиналось чаепитие. «Мой-то, — сложив сердечком губы и дую в пластмассовый стаканчик, сообщала Ариша косным лепетком, — опять вечер холосый пришел». — «Батюшки! — взахивала Катя и спохватывалась: — А какой хороший?» — «В стельку». — «В какую стельку?» — не понимала Катя. «В талабан». — «В какой талабан?» Наступало молчание. Катя спрашивала: «Ты ему все сказала?» — «Все сказала». — «Как ты сказала?» — «Остылел ты мне, сказала».

— Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна! — кричал от верстака под этим же навесом Сеня. — Заслушаешься!

Все нетерпеливей, все поспешней хотел жить Сеня: сначала он торопил ночи, чувствуя по ночам беспомощность, боязнь быть застигнутым врасплох и голым — войдет кто-нибудь, а он в трусах, босиком, и ничего под руками, ему казалось, что ночью и слов подходящих не найдется для защиты; теперь он стал торопить и дни. Будь его воля, он скоренько переметал бы их из стороны в сторону, добравшись до глухой зимы, когда заметет так, что ни пройти ни проехать, и только ветер будет дымить по крышам. Торопясь сам, торопил Сеня и Галю. Раньше обычного сняли и засолили капусту, развез на тележке и разбросал он навоз под картошку, утеплил стойки для коров, первым в деревне привез с елани застогованное сено... Галя смотрела на него с удивлением и опаской: всегда приходилось подгонять мужика, а тут поперед времени бежит. Но, как вопрекор Сене, воротилось тепло, к обеду нагревалось до того, что хоть в рубашке ходи, на кустах смородины за летней кухней набухли почки, солнце, которое уже спустилось к южному полукружью и поблекло, смотрелось опять молодо.

Сеня считал: «Метеору» оставалось сделать пять ходок, четыре, три...

При Кате зажгли как-то вечером керосиновую лампу, потому что электричеством лишь дразнили, и лампа так понравилась девочке, что она взяла в привычку досиживать допоздна, нетерпеливо била кулачком в коленку, требуя, чтобы загасили скорей электричество, и, когда зажигали фитиль и втыкали в решетчатый металлический ободок стекло, Катя так и обмирала перед лампой. Она то прибавляла, то убавляла фитиль, по лицу ее ходили блики, глаза искрились. «Маленькая шаманка», — улыбался Сеня. И просветлел вдруг сам: да кто сказал ему, что у нее недвижимое, холодное лицо, затуманенное изнутри? Ничего подобного. Не может быть, чтобы только от керосина переливались по лицу краски и под тайными толчками играла кожа. Полюбилась лампа Кате — привык и Сеня наблюдать за девочкой, что-то нашептывающей, представляющей волшебное... И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество все сияло и сияло, и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал:

— Вырубай электричество! Запалай керосин!

— Запалляй керосин! — закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и бросаясь в пляс.

С утра Сеня дал себе на день задание: вытащить, во-первых, лодку и поставить ее под бок. Под банный бок со стороны улицы. Оставлять лодки на берегу стало опасно. Никто на них зимой не уплывет, но взялись лодки калечить, пробивая днище. Во-вторых, перед зимой, перед плотной топкой, следовало прочистить печные трубы и в избе, и в летней кухне. Летняя кухня не выстуживалась, в ней зимовали курицы. И еще одно: давно договорились они с соседом, с Васей Тепляшиным, взять курганской муки, и по их заказу коммерсант вчера муку привез.

Не все быть лету; день всходил хмурый, солнце показалось и скрылось, с низовий потягивал пока слабый, но колючий северный ветерок. Вторым, семейным, завтраком сидели, как всегда, поздно, и Сеня расслабленно, не торопясь подниматься, снова и снова подливал чаю. Из летней кухни они переехали в дом; сегодня в нем было прохладно, печь не топили из-за готовящейся чистки. Катя поднялась невеселая, придавленная переломной погодой и вяло тыкала вилкой в поджаренную с яйцами картошку. Галя поднялась из-за стола скоро и ходила шумно, покрикивая во дворе на скотину, ворча громче обычного на Сеню. Он понимал: она торопит его, но не хотелось подниматься — и все. Переговаривались с Катей тоже вяло, Сеня без всякой причины вздыхал, прикидывая, к кому пойти, чтобы помогли прикатить лодку. В таком порядке и предстояло ему сваливать дела: сначала лодка, потом печи, потом, если не запоздает Вася, мука. Надо было подниматься.

И в это время залаял кобель — зло, напористо, на чужого. Сеня вышел посмотреть, одновременно из кухни вышла Галя и встала — прямая, настороженная, со сжатыми губами. Кобель надрылся за оградой — Сеня открыл калитку и выглянул: перед домом, на узком тротуарчике, ведущем к калитке, стоял незнакомый мужик в толстой кожаной куртке и с короткой стрижкой на голой голове.

— Ты Семен Поздняков? — спросил мужик требовательно, раздраженный собакой. Был он плотен, крепок, молод не первой молодостью, но еще не миновавшей окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом. Второй мужик пристраивался на лавочку возле избы бабки Натальи.

— Я Семен Поздняков, — сказал Сеня. — А ты кто такой будешь?

— Убери собаку! — негромко повелел мужик.

Сеня прикрикнул на Байкала; тот, отойдя, продолжал рычать.

— Теперь приглашай в гости, — тем же спокойным и властным тоном сказал мужик.

— А чего раскомандовался-то? — разозлился Сеня. — Пришел в гости — води себя как гость. Я тебе сказал, кто я, говори теперь ты.

— Я дядя той девочки, которая живет у тебя, — с усмешкой, не спуская с Сени цепкого взгляда, сказал мужик. — Родной дядя. Понятно?

Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем пришел. Он и догадался почти, его захлестнуло болью сразу же, как вышел, и все-таки продолжал хвататься за соломинку: не то, не то, это не может быть то... Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся до того, что впустил мужика в ограду. Но — впустил.

— Подожди меня там! — крикнул мужик своему товарищу и прошел в калитку. Галя стояла все так же — прямо и неподвижно. — Где она? — спросил он теперь уже у Гали.

Сеня начинал приходить в себя.

— А почему ты думаешь, что я тебе ее отдам? — спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору — где что лежит...



Мужик усмехнулся откровенней, показав ровные белые зубы. Он держал себя все уверенней.

— А как бы ты это не отдал ворованное? — наигранно вздохнул он. — У нас это не полагается.

— Если ворованное — давай в суд! — закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. — В суд давай! И там посмотрим, кто украл! Дядя... А почему ты только дядя, а не папа родной? Родниться так родниться — чего ты смелый?!

— Можно и в суд, — лениво согласился приезжий. — Да долго... Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. — И коротко добавил: — Давай без жертв.

— Ты меня не пугай!..

Сеня обмер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, и вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на нее и сошла — перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся, девочка. Лицо еще вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменело, нижняя губка, дергающаяся лопаточкой вперед, прилипла к верхней, глаза затухли. Она медленно свела руки и сцепила их под животом.

— Ты знаешь меня? — подождя, позволив девочке опомниться от первого, непредсказуемого испуга, спросил приезжий.

Она долго смотрела на него, словно решая, узнавать или не узнавать, вздрогнула, когда кобель, наскочив с улицы на заплот и свесив лапы, зарычал... Узнала. Кивнула.

— Никуда ты, Катя, не поедешь! — ослабшим голосом крикнул Сеня. — Ты наша. Скажи ему, что ты наша.

— Скажи ему, что ты знаешь меня, — со спокойной угрозой отвечал приезжий. — Я фокусов не люблю. — Усаживаясь на скамейку возле крыльца, показывая, что препирательства бесполезны, он похвалил девочку: — Ты всегда у нас была умница-разумница. Собирайся.

— Никуда она не поедет!

— Сеня! — остерегающе крикнула Галя.

Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.

— Как же бы я не поехала? — тихим голосом, стоившим многих разъяснений, сказала она. — Что вы!

И развернулась собираться.

Минут через пятнадцать они уходили. Катя собрала что-то в ту же сумку, с которой приехала и которую сразу же забрал у нее мужик. Галя, так и не отмершая, ткнулась в девочку головой и отступила. Сеня пошел проводить. За калиткой Байкал опять стал набрасываться на чужого, Катя приласкала его и успокоила. Со скамейки от дома бабки Натальи поднялся второй мужик, прихрамывая, присоединился к ним и насмешливо окликнул Катю:

— Здорово, красавица!

Она не обернулась к нему.

Катя с Сеней шли впереди, приезжие сразу за ними. Сеня не спрашивал, куда идти, — вот-вот «Метеор», последний в этом году. Ветер надавал сильнее, подталкивая в спины, по небу быстро несло растерзанные, разлохмаченные облака, доносило приближающимся холодом. Катя догадалась одеться в теплые сапоги и куртку.

— А деньги-то? — вспомнил Сеня. — Твои деньги остались!..

Девочка сунула свою ручонку в Сенину руку и слабенько сжала: не надо.

— Не забудешь, где мы живем? — шепотом спросил он.

— Мы тоже не забудем, — предупредили сзади.

Девочка оглянулась на них и сказала, не таясь:

— Они били ее.

— Кого?

— Тетю Люсю.

Она додумала, как до нее добрались: разыскали своим розыском тетю Люсю, пытали, пока не сказала...

— Я всегда говорил, что ты у нас умница-разумница, — согласились позади.

Подскочил на волне «Метеор», его било о стенку причала и откачивало; отъезжающим приходилось прыгать, они толпились в страхе и кричали. Девочку стремительно оторвали от Сени, не дав попрощаться, он увидел ее взблеснувшую белую головенку уже в пасти теплохода, девочка, заворачивая, тянула ее, взмахивала руками, но — тут же закрыло ее прыгающими фигурами, и отчаянные крики прыгающих заглушили все.

Сеня не помнил, как он воротился домой.

У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня тыкался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же слепо тыкалась в нем: как бы провалиться в тартарары? Галя следила за ним, словно все еще чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол и, пристукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо выкрикивала:

— Сеня! Сеня! Сеня!

Порывы ветра становились все сильнее и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады: «Сеня! Сеня! Сеня!»

1997





ЛЕОНИД
БОРОДИН

**ЛЮТИК –
ЦВЕТOK ЖЁЛТЫЙ**

Рассказ



ЛЮТИК — ЦВЕТОК ЖЕЛТЫЙ

Наверное, мне было шесть лет, потому что помню, что в школу еще не ходил и был очень вольным человеком, то есть мог целыми днями мотаться по поселку и за поселок, у речки или около леса — в лес не разрешалось. Послушным ребенком я не был, но был трусоватым, а думали, что послушный, потому не убегаю в лес и не теряюсь, как другие мальчишки...

Зато у речки, и в речке на песочной мели, и в камышах у деревянного моста, и под мостом, где часто отлеживались на камнях речные змейки — их не боялся, — там в хорошую погоду мог проторчать с утра до вечера, не вспомнив про обед.

На берегу, что не спускался к воде, а просто уходил под нее будто бы вовсе без всякого наклона, на прибрежном лугу цвели желтые цветочки, несчитанное множество желтых цветочков — издали весь берег до самой воды виделся желтым, — цветки назывались лютиками, и до известного времени ничего необычного в их названии мне не слышалось, потому что еще раньше, чем в шесть лет, знал, что если корова нажрется лютиков, то запросто подохнет. Лютик — от слова «лютый». Лютая зима, к примеру. Это такая зима, когда кто-нибудь из деревни-поселка не дошел до железнодорожной станции и замерз, и лежал потом у дороги прямой как палка, будто ему вообще холодно не было.

Значит, в то лето мне было шесть лет. Я бежал на речку вдоль улицы, попутно разгоняя гусей, уток и куриц, дразня собак, тех, что на привязи, кинув камень в забор, если забор, и палкой помахав перед носом, если дом без забора, а таких было несколько, недавно отстроенных; деревня подтягивалась к речке, что текла не вдоль деревни, как в хороших деревнях, а поперек, в стороне, отчего и деревня называлась Худобино, хотя, кроме неправильно текущей речки, ничего худого в нашей деревне не было.

Итак, я бежал к речке и у предпоследнего дома, у которого не только забора, но и палисадника еще не было, увидел «козявку» — так обзывались девчонки. Козявка сидела на корточках под окном без наличника еще совсем рыжего дома и что-то строила из сосновых щепок — рядом их целая куча. Самолетом раскинув руки, я спикировал в ее сторону, одним ударом ноги разнес кривое щепочное строение и притормозил лишь на минуту, чтоб дожидаться, когда она заревет, как положено. Она же, не поднимаясь с корточек, только голову подняла и не посмотрела, а стала внимательно разглядывать меня. Была козявка моего возраста, но смотрела, как смотрят взрослые, такие оказались у ней глаза, в них не было ни осуждения, ни злости, она рассматривала меня, будто решала для себя — я вообще плохой или только сейчас. Она смотрела, а я стоял как дурак и сопел от недоумения и долго бы еще сопел, но вдруг был сшиблен с ног и, кувыркаясь, закатился аж на саму кучу сосновых щепок. Прежде чем захныкать от боли в плече, на которое упал, я должен был узнать, кто это со мной так...

А снес меня Вовка, сын глухонемого кузнеца, мог бы и шибче, потому что был телом похож на бычка, весь такой квадратный, голова прямо из груди росла, ноги толстые, на руках мускулы, как у большого, а старше меня всего на год, хотя в школу тоже еще не ходил, это я точно помню. Вообще-то Вовка в драчунах не числился. А были у нас такие, что не дай Бог! Мимо не пройдешь. Вовка же нет. И почему-то этот факт был особенно обидным, и я захныкал. Козьявка поднялась, подошла ко мне, сползшему с кучи щепок, опустилась передо мной на корточки и спросила тихо: «Тебе сильно больно?»

Целая жизнь прошла с тех пор, но я помню этот эпизод, как вчерашний. Вот что было в ее вопросе: ты поступил нехорошо, тебя наказали, но не было ли наказание большим, чем следовало? Ей-Богу! Именно таков был смысл вопроса шестилетней девочки. До конца дней своих я буду помнить эту фразу и голос, ее произнесший...

И опять она смотрела на меня своими громадными взрослыми глазами, а я корчился в муках уже не физической боли, а по стыду, но не за содеянное, а от неспособности выйти из ситуации, как говорится, с наименьшими потерями. Она поднялась и мне подняться не помогла, но дождалась, когда я наконец оказался на ногах, словно удостовериваясь, что со мной все в порядке. Потом вернулась на свое место, присела и стала собирать щепки, что я разбросал. И Вовка присел рядом с ней и молча помогал, подавал ей щепки, а она начала громоздить их друг на дружку ребром и плашмя, и что-то похожее на дом получалось с Вовкиной помощью, а я стоял и пялился на все это и не мог уйти... И в это время женщина, ее мама конечно, откуда-то из-за дома крикнула звонко: «Лютик! Ты где? Лютик!» Козьявка поднялась, чуть заметно улыбнулась Вовке и, проходя мимо меня, и мне улыбнулась, ну совсем чуть-чуть, одними губами и бровками-дужками, и, отряхивая платице в синий горошек, ушла за дом.

Мы уходили с Вовкой плечом к плечу, будто ничего промеж нас не было, и разошлись молча в разные стороны. Я пошел к речке... И больше про этот день в памяти ничего. Нет! Есть. Помню, я пытался понять, что может быть общего у девчонки с желтым цветком, от которого дохнут коровы.

— Итак, продолжаем знакомиться. Лиза Корнева! Кто у нас Лиза Корнева?

— Меня зовут Лютик.

Все мы с первых рядов крутанули шеями туда, где за последней партой среднего ряда стояла девчонка в белом передничке, с белой лентой в светлых волосах. Рядом с ней сидел тот самый Вовка, весь такой чистенький — раньше-то вечно рожа перемазана бывала, — в желтой рубашке, рукава были закатаны по самые локти, и руки чистые и без ссадин и царапин...

— Лютик? Это же цветок такой. Разве имя бывает — Лютик? А у меня вот здесь написано Лиза...

— Если меня так зовут, значит, бывает, — отвечала девчонка. Кинув взгляд на нашу молодую учительницу, я враз понял, что и она, как я тогда, не может запросто отвести взгляда от глаз этой странной девчонки, которая не хочет быть Лизой, но хочет быть ядовитым цветком.

— Ну ладно, — сказала учительница, как-то не по-настоящему улыбаясь. — А, ребята? Будем называть Лизу Корневу Лютиком, если она так хочет? А что? Лютик — красивый цветок.

— Желтый! — крикнул кто-то.

— Солнце на закате тоже желтое. А за окно взгляните, сколько осенью желтого цвета. Пушкин из всех времен года больше всего любил осень. Кто знает, кто такой

Пушкин? Только не кричать. Когда я спрашиваю, надо поднимать руки. Вот так. Лютик, ты тоже знаешь, кто такой Пушкин? Может, и стих какой, а?

— Только не про осень, — отвечала девчонка своим необычно спокойным голосом. — Про зиму.

— Тогда прочитай нам про зиму...

*Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...*

Читала она тихо и, как говорится, без особого выражения, но и теперь, спустя жизнь, мне кажется, что я не слышал более проникновенного чтения этих строк. Похоже, и учительнице тоже было не по себе. Она потом еще долго не могла войти в роль, что-то бормотала про Пушкина, а еще половина учеников не была опрошена по процедуре первичного знакомства...

К четвертому классу уже вся наша тогда еще небольшая школа знала, что учится в нашей школе не только самая красивая девочка в мире, но и самая умная, потому что Лютик была абсолютной отличницей. Не «круглой», заметьте, но абсолютной — существенная разница в том, и в оправдание этой разницы могу только сказать, что «круглых» отличников, как правило, не очень-то жалуют в классах. Лютик же — совсем другое дело. Она была нашей всеобщей гордостью еще задолго до того, как в районной газете появилась ее фотография, а в девятом — это после «укрупнения», когда наша деревня стала «столицей» колхоза, — на обложке самого популярного в стране журнала «Огонек» она, наша Лютик, вручала цветы самому Никите Сергеевичу Хрущеву в драмтеатре областного города, куда ее, Лютика, специально привозили и отвозили на длинной черной машине.

Мать ее работала в колхозе бухгалтером. Как много позднее стало известно, их выселили с бывшей оккупированной территории где-то в Белоруссии и предписали жить у нас, в нашем колхозе, и если б мы знали об этом самом факте с самого детства, то уж как благодарны были бы тем, кто переселил...

Детство наше — или, по крайней мере, мое — было счастливым. Мы знали только себя, а нам много ли нужно было для счастья. Конечно, у кого-то мужики не вернулись с войны, но семьи их, наверное, горевали в своих домах, когда их никто не видел и не слышал, а на людях и взрослые, и дети были как все, и у детства к тому же есть счастливая способность не спотыкаться на худом, но пробегать мимо вприпрыжку... Худое обнаруживается по мере взросления, и, взрослея, мы говорим, что жить хуже стало, раньше-то разве так было — совсем не так! Мы в детстве не спрашиваем родителей, счастливы они или нет. Они просто обязаны быть счастливыми хотя бы уже потому, что у них есть мы — и смысл, и цель их жизни. И я вспоминаю свое детство как время всеобщего, поголовного счастья, потому что в своей деревне горя не видел или не замечал, а за пределами деревни, во всей стране, по кино и киножурналам судя, везде было еще лучше, чем у нас.

Зато у нас была Лютик. К пятому классу она стала такой красивой, что мальчишки перестали в нее влюбляться. В нашей семилетке в шестом классе она была уже председателем пионерской дружины, и на пионерских линейках председатели пионерских отрядов рапортовали ей о всяких хороших делах: о килограммах собранного металлолома, о количестве ведер древесной золы (ходили по домам и собирали золу на удобрения), о колосках, собранных на полях и сданных «в колхозные закрома», о шефствах над матерьями-одиночками (это у кого мужей поубивало, а не у кого дети рождались сами по себе).

В шестом классе Лютик перестала ходить на уроки физкультуры. То есть она приходила, но только смотрела, как мы прыгаем, бегаем, лазаем по канатам, и мы

старались вовсю и — подумать только! — знали же, что освобождена, что с сердцем у нее какие-то неполадки, но, в сущности, не верили в это, полагали, что ей, такой, какая она есть — умная и красивая, влюбленная в Павку Корчагина и Овода, — ей не к лицу прыгать через всякие рваные «козлы» и «кони» и болтаться на канате.

Книгу «Овод» она, кажется, знала всю наизусть. На свободных уроках — это когда мы всем классом уходили в лес — она рассказывала последнее письмо Овода к Джемме, на ее прекрасных, иногда голубых, а иногда серых глазах выступали слезы, некоторые девчонки вообще ревели, а мальчишки хмурились и швыркались носами, изображая насморк.

В седьмом классе мы вступали в комсомол, и не все подряд, а лучшие, и, конечно, первым нашим школьным секретарем была Лютик.

К тому времени деревня наша выросла втрое и переползла через речку. Теперь мы жили не в Худобино, хотя это название осталось на столбах с двух сторон деревни, а в центральной усадьбе колхоза «Октябрьский». Нам отстроили новую школу, которая стала десятилеткой.

В семьях механизаторов, что зарабатывали больше всех, появились первые мотоциклы «Иж-49», мощнейшие машины — дикая зависть всех неимущих мальчишек. Тогда-то и произошло первое ЧП общешкольного масштаба.

Дело в том, что отцы лишь разрешали своим сыновьям иной раз покататься на мотоциклах. Но Вовка, тот самый, сын глухонемого кузнеца, заимел собственный «Иж». Как, на какие шиши, о том мы могли только догадываться. Вовка помогал в кузнице отцу, который его боготворил, — жили они вдвоем, жили тихо, мирно и как бы за спиной у деревни. Оба молчуны, один по природе, другой по натуре, с деревенскими общались мало... Возможно, каждая копейка шла в копилку, если однажды Вовка объявился на главной деревенской улице на сверкающем и неистово ревущем «Иже».

Он объявился не просто на главной улице, но у дома, где жила Лютик. Мальчишки, случалось, катали девчонок на мотоциклах, но никому не приходило в голову предложить покататься ей, нашей богине, никто просто не мог представить ее обхватившей руками кого-то, с развевающимся подолом платья, со спутанными волосами и запыленным лицом...

Тут же кто-то увидел и рассказал всем, что из дома выбежала радостная Лютик, уселась на заднее сиденье, запросто обхватила Вовку за грудки, и они умчались за деревню, оставив деревню только мутно искрящийся шлейф пыли.

За годы, то есть с первого класса, мы привыкли к тому, что Вовка всегда при ней, просто при ней, как телохранитель, что ли... Ничего такого со стороны Вовки не замечалось, с ее стороны тем более, да и смешно предположить было, что Вовка, вовсе не первый ученик и уж совсем не красавец, смел бы иметь надежды на что-то большее, чем просто «быть при...». Но вот подкатил и увез неизвестно куда, и это повторилось через день и потом еще и еще...

Если бы кто-нибудь взял бы и унес статую Ленина, что напротив правления, и установил бы в палисаднике своего дома... Нечто подобное совершил Вовка. Он стал для нас не только узурпатором, но и дискредитатором — мы ведь, к примеру, не могли представить себе, чтобы Лютик играла с нами в лапту: ее дело смотреть, справедливо судить, выносить похвалы и порицания, но никак не носиться по поляне за мячом...

И первого сентября сначала весь наш восьмой класс, а потом и вся школа объявили суровый бойкот Вовке, сыну глухонемого кузнеца. В этой нелепой жестокости я лично принимал самое активное участие, и если бы потом, через год, не случилось бы еще большего безобразия, то эти дни я мог бы считать самыми позорными

и постыдными в своем детстве, хотя четырнадцать лет — это уже и не детство, это уже почти жизнь...

Лютик сначала не могла понять, что происходит, а когда поняла, возмутилась и пыталась воздействовать на нас всякими красивыми примерами из литературы, но разве может бог увидеть себя со стороны, невдомек ей было, что Вовка покусился на образ, который мы сотворили в своем сознании и каковой был нам и дорог, и нужен, и, разрушившись, чего доброго, мог подломить нам коленки; она, Лютик, не имела права быть другой, мы бы этого не пережили, мы все сами стали бы хуже — так нам чувствовалось, — пусть все мы по уши во грехах, но кто-то должен быть и оставаться чистым, кто-то же должен своей чистотой и правильностью тыкать нас мордой об стол, и разве это не удача, если такой есть... Мы не отступили. Отступила она. Однажды в воскресенье Вовка как подъехал к ее дому, так и уехал ни с чем. Лютик вышла к нему, но на мотоцикл не села, только простояла у калитки, пока Вовка не исчез за поворотом.

А еще через месяц глухонемой кузнец с сыном перебрались в другое отделение колхоза, где еще оставалось много лошадей и в кузнице было больше надобности — так говорили. Но мы-то знали. Вовка не пережил бойкота. Мы сжили его с нашего свету. Сжили и забыли о нем по причине несоизмеримости утраченного и сохраненного.

В другое лето после восьмого класса Лютик с матерью впервые покинули нашу деревню — им разрешили посетить родные их места в Белоруссии. А когда незадолго до начала нового учебного года Лютик снова объявилась в деревне, все мальчишки без исключения пережили шок... Уезжала из деревни девочка, а вернулась девушка. И дело не в том, что стала Лютик еще красивее, чем была, мы, мальчишки, — даже смешно вспоминать об этом — были поражены тем, что у нее, небесного создания, за одно лето выросла грудь, обычная грудь, как у других девчонок, у которых она выросла еще раньше. И... со спины... Лютик тоже изменилась, и нам понадобилось некоторое время, чтобы свыкнуться с новизной образа...

Конечно, у всех у нас к тому времени уже были свои девчонки, с которыми мы, как говорилось, «ходили», что, собственно, и отражало существо отношений. Деревня хотя и стала центральной усадьбой, но все еще в вопросах морали оставалась патриархально строгой. «Щупать» девчонок мы начали с восьмого класса. Прижмешь где-нибудь в темноте и сопишь, прорываясь сквозь кордон сплетенных рук к мягким шарикам, девчонка подвизгивает, хихикает, сопротивляется будто бы изо всех сил, но, куда деваться, уступает, потому что мнение у них, девчонок, такое, что *от этого дела* груди растут быстрее. До десятого класса даже толком не целовались — такие уж мы были недоразвитые. Но что бы мы ни проделывали со своими девчонками, все это было «втайне» и «втемне» и, значит, понималось как стыдное, чем нельзя хвастаться перед кем попало, разве только двум-трем самым близким друзьям в полусшепот: девчонок берегли от позора, нам-то что...

При том мы были уверены, что Лютик, как и учителя и родители, даже не подозревает о наших проделках, что у самой у ней обо всем *таким* и мыслей не существует и не возникает и что если у ней и спереди, и сзади все стало как у других девчонок, так это своеобразное несовершенство природы, которая так уж устроена, что не может соответствовать необычному, а может только по закону: свинью режешь — шкуру сдай, положены девчонкам груди и попка — растут, даже если не надо.

Именно в девятом классе Лютик вышла, как говорится, на всесоюзный уровень. Не сразу, конечно. Сначала в колхозе: вручение грамот — Лютик, переходящее Красное знамя — она же. Никто не спрашивал, почему секретарь райкома не сам

вручает, а передает красивой девушке в школьной форме, и она уже и принимает, и в руки председателю колхоза подает, и при знамени остается. Тут ее и «застукали» фотокорреспонденты — и районные, и областные, — тогда-то и случилось: приехали за ней на длинной черной машине и увезли в область за тридевять земель. А потом журнал «Огонек», и там наша Лютик с Никитой Сергеевичем, и у Никиты Сергеевича на лице полный обалдеж от нашего Лютика. Это ему не какая-нибудь Фурцева! Был слушок, что привязался к ней в области известный киношник и уговаривал Дездемону играть и будто Лютик послала его подальше, в переносном смысле, конечно. Еще не хватало, чтоб ее какой-то негр душил!

Но пора мне уже рассказать и о самом черном дне моих и вообще наших школьных лет. Черным, понятно, он стал позже и для каждого из нас по-разному, но тогда, в тот день, все свершалось, без сомнений, по велению чувства, названия которому так не нашел и по сей день.

По обмену художественной самодеятельностью приехали к нам в деревню старшеклассники школы соседнего района. Был отдан нам на это мероприятие новый белокаменный клуб, на сцене которого гости играли для нас «Горе от ума». Чацкого играл этакий черноволосый красавец, играл, что говорить, здорово, как настоящий артист, и слова произносил по-особому, как в театрах принято, и жесты, и позы, и мимика — заглядишься и заслушаешься. Особенно это знаменитое: «Карету мне, карету!..» Мы, когда на уроках рассказывали, если кто с выражением, то на горло брал, кто без выражения — проборматывал. А он сказал слова тихо, будто не карету просил, а пистолет, чтоб застрелиться, аж мороз по коже.

Лютик вручала цветы главному артисту. Нам уже тогда не понравилось, какой улыбкой он оскалился на нее. Еще нам показалось, что Лютик, с достоинством вручая цветы самому Хрущеву, тут, перед этим прилизанным, будто бы засмущалась и даже голосом дрогнула едва. Возможно, уже с этого мгновения, с этой минуты напряглись все наши парни девятого и десятого классов. Потом были танцы. Лютик никогда не танцевала! Говорю об этом и содрогаюсь. Она не танцевала, потому что никто ее не приглашал, как никому не пришло бы в голову пригласить на танец присутствующую учительницу. Что были наши танцы? Под «Рио-Риту» мы попросту дрыгались, под «Брызги шампанского» топтались и раскачивались, под польку дурачились, и только вальс танцевался, потому что под вальс иначе нельзя. Хотя бы на вальс-то могли бы приглашать ее, всегда сидящую у всех на виду, но в стороне, ведь она же умела танцевать, мы убедились в этом, когда однажды директор школы пригласил ее и закружил, а все остановились и потом хлопали — с директором другое дело. Странно, что и учителя словно подыгрывали нам в сотворении идола из обычной сперва «козьявки», потом девчонки, потом девушки.

Первым был вальс, и «артист» пригласил ее, покрасневшую щечками, засверкавшую глазками. Как они оба смотрелись! Будь «артист» чуть менее самоуверенным и чуть более внимательным, укололся бы взглядом любого из нас. Но где там! Мы-то обычно как: кончилась музыка, парень в одну сторону, девчонка в другую. А этот довел ее до места, где она сидела, держа за руку, усадил и, что, как помню, мгновенно взбурлило мою скабарскую кровь, этак чуть заметно поклонился, и она, Лютик, тоже этак едва головку вбок, а на лице улыбка — Боже мой, обычная глупая улыбка! Это у Лютика-то!

Но потом! Потом было танго. И он, гад, посмел прижать ее к себе, и она не воспротивилась, и лицом к лицу, и глазами в глаза, и вот уже рука его с длинными пальцами на сантиметр, на два нарушила, пересекла границу допустимого, дальше, правда, не пошла, но уже все! Он, этот хлыщ, не имел права жить, десятки глаз приговорили его, а он, уже приговоренный, продолжал вырисовывать всякие танговские кренделя...

Вспоминая, поражаюсь, как гибко сумело сорганизоваться наше маленькое стадо жрецов. Ведь никто ни с кем и словом не перемолвился. Но кто-то, не сговариваясь, вызвал-пригласил «артиста» покурить. Мести жаждали все, но всем выйти нельзя, заметят. Вышли несколько, человек десять, но как вышли: один из одного угла, не торопясь, другой из другого, незаметно, друг за дружкой. Я вышел одним из первых. Когда «артиста» аккуратно оттеснили от крыльца, тогда только он почувствовал неладное, заволновался, башкой закрутил. «В чем дело, ребята?» Во дурной! Да разве кто-нибудь знал, в чем дело! Кто-то первый молча ударил его в лицо, нешибко, словно пробой проверяя правильность действия. И тут-то он, умник, совершил непоправимое — закричал с писклявым удивлением в голосе: «Да вы что, ребята, из-за девки? Да нужна она мне! Вы что...» Наверное, он еще что-то мог сказать такое, чего мы не смогли бы пережить, потому враз все кинулись на него. Били по кругу, не давая упасть. Бить лежачего всегда считалось в деревне «заподло». Лично я ударил два или три раза — сколько смог попасть, удары были неточными, и я не был удовлетворен, все рвался и рвался в кучу... Как мы не убили его, и поныне дивлюсь! Почти бездыханного, его сперва оттащили к ближним кустам, потом кто-то из десятиклассников подогнал мотоцикл с коляской и увез его, как я узнал после — на самое крыльцо поликлиники подбросил, постучал в дверь и смотался.

Отмыв руки от крови, мы все так же молча, все так же по одному вернулись в клуб, где танцы были в самом разгаре. Лютик сидела на своем месте около стола с радиолой, как всегда, чуть улыбаясь, глазами искала его, гада, отрекшегося от нее по первому удару. Сперва искала, потом глаза ее прекрасные будто притухли, а на губах все та же судорога улыбки — она страдала, и я готов был выскочить, найти и снова бить, бить... До смерти!

Потом была милиция, разборки, допросы. Еще бы! ЧП областного масштаба. Дело закрыли, потому что мы все молчали, как утопленники. Целую неделю Лютик не появлялась в школе. Мы боялись ее потерять, то есть мы боялись, что она придет другой, какой мы ее не хотим, мы очень боялись, и мы боялись молча.

Тогда не понял и теперь уже не понять, как она, Лютик, как она сама понимала свою роль в нашей жизни. Что она была идеалисткой в самом высоком смысле слова — это так. Но идеализм — весьма хрупкая штука, подчас вдребезги разбивается от столкновения с грубой реальностью, иногда с самым малым проявлением ее...

Как бы там ни было, через неделю Лютик появилась в школе, и все мы вздохнули облегченно, не обнаружив в ее поведении никаких изменений. Правда, через некоторое время она нас всех удивила и даже встревожила. Очередное сочинение на тему «Мой любимый литературный герой». Мы ожидали, что она напишет про Овода или Корчагина... Лучшее сочинение — а лучшее всегда было ее — зачитывалось вслух самой учительницей, и мы были ошарашены, услышав о Базарове, о призванности к великому труду, о неспособности его уклониться от долга и обреченности на одиночество и нелепую преждевременную смерть. Мы этого самого Базарова не шибко-то жаловали, и на перемене я поделился своим недоумением с девчонкой, с которой тогда «ходил». И она, эта визгунья и ломака, вдруг отстранилась от меня враждебно и сказала с презрением в голосе и взгляде: «Что б ты понимал, дурак!» И демонстративно пошла к Лютику, обняла ее и что-то шептала на ухо, в мою сторону даже не глянув.

Что до девчонок нашей школы вообще, то они особым бабьим чутьем еще сизмальства усекли, что Лютик им не соперница, и возлюбили ее по-своему — нежно, а над нашим отношением к ней часто посмеивались и ехидничали, а мы их ехидства не понимали и думали, что они просто завидуют и ревнуют. Это от них, от девчонок узнали мы уже только в десятом классе, что сердце нашей богини поражено какой-то очень опасной болезнью, из-за которой она все чаще и чаще пропускала уроки,

что, впрочем, никак не отражалось на ее успеваемости, и никто не сомневался, что золотая медаль ей обеспечена так же, как и филфак Московского университета, куда как будто бы Лютик собиралась поступать. Ей, золотой медалистке, открывались все дороги, по-другому и не могло быть...

От выпускного вечера в моей памяти осталась только процедура вручения аттестатов, да и не могло ничего больше остаться, потому что именно в те дни завязались у меня первые настоящие мужские отношения с молодой разведенкой дояркой, и, получив аттестат, я тотчас же умчался в доярочное общежитие, что при ферме в километре от деревни, где у ней была своя, отдельная комната, и «проухался» там до самого утра. И последующие полмесяца пробалдел, ни о чем другом не думая, пока в деревне не поползли слухи. И однажды отец нешибко, но внушительно стукнул кулаком по столу: «Так что? Жениться будем или поступать в институт?»

Ничего, кроме взаимного удовольствия, не связывало меня с моей мягкой доярочкой, я будто очухался, засобиравшись в дорогу и вскорости исчез из деревни, не попрощавшись ни с учителями, ни с Лютиком: слухи о моем распутстве наверняка не миновали их. Мне было стыдно... Но через год, после первого курса, я приехал в деревню победителем — студентом!

Лютик никуда поступать не поехала. Теперь она была заведующей нашей колхозной библиотекой. Я нанес ей визит и был принят сердечно. Лютик искренне радовалась моему успеху, с удовольствием слушала рассказы про студенческую жизнь — я ведь думал, что я первый из нашего выпуска, кто объявился в деревне со студенческим билетом в кармане. Позже узнал, что был вовсе не первым, но каждый, кто приезжал, непременно приходил в библиотеку и уезжал, как я, с уверенностью, что поработал светлым лучом в темном и скучном деревенском бытии; не от хорошей жизни осталась Лютик в деревне — все та же болезнь сердца, но мы потаенно радовались тому, что наша богиня по-прежнему принадлежит только нам и никому больше...

Шли годы, свершались наши жизни, и все удаchi, что случались или достигались, уже с привычной обязательностью фиксировались нами в крохотном кабинете заведующей библиотекой имени Павки Корчагина. Теперь понимаю, что систематичность наших посещений родительских гнезд во многом стимулировалась фактом присутствия ее, дивной женщины с самозванным именем Лютик. Более того, с годами потребность встречи с ней необъяснимо возрастала: жизнь корежила нас каждого по-своему, кто-то озлоблялся, кто-то опошлялся или отчаивался... Посещения библиотеки, конечно, не исправляли нас, но как бы притормаживали развитие того дурного и гиблого, что вызревало в наших душах под воздействием опасной неоднозначности всего тогдашнего общественного бытия.

Лютик же, она будто бы и за двери своей библиотеки не выходила — она не становилась «взрослой», оставаясь все той же романтической идеалисткой, какой была в «пионерстве» и в «комсомольстве». Умом людей, познавших жизнь, мы понимали дикое несоответствие ее душевного мира миру реальности и тем не менее нуждались в ее суждениях и приговорах. Она восторгалась подвигом целинников и строителей всяких ГЭС, буквально сияла, пересказывая газетные вести о достижениях космической науки, всерьез обсуждала очередные решения партии и правительства, и, ни на йоту не изменив наши собственные мнения обо всем этом, она, однако же, что-то определенно положительное поселяла в наших умах — некий остродефицитный принцип взаимоотношения с миром, все более теряющим в наших глазах привлекательность...

И жен мы привозили в свою деревню не столько на показ родителям, сколько на представление ей, умеющей оценить наш выбор непременно с какой-то неожиданной стороны...

Надо было видеть, как каменели наши жены при первой встрече с Лютиком. Не менее получаса требовалось им, чтобы особым женским чутьем просечь специфику культа...

Моя жена, помню, долго молчала после того, как мы покинули библиотеку, потом сказала: «Знаешь, она не настоящая... Таких не бывает. Может, она инопланетянка? Но тогда чем это ваша деревня заслужила?»

В последующие приезды уже не мы, а наши жены спешили навестить библиотеку и нас туда сводить, как в баню или как в церковь. Отчего-то уверены бывали они, наши жены, что Лютик благотворно влияет на нас, ненадежных, с годами все более страдающих «косоглазием» — это по поводу чужих жен и очень свободных женщин. И когда я однажды дал «левака» — в тот год и еще год после в деревню не ездил...

Я поменял квартиру «на улучшение» и долго осаждал всякие инстанции по вопросу установки телефона. Вызов на переговоры на почтамт не на шутку встревожил. Отец тем летом пережил инфаркт... На почтамт прискакал за час до срока, истоптался у подъезда, изъерзался на стуле ожидания. В переговорную кабину ринулся по приглашению, чуть не сломав дверцу.

Мать спрашивала, как я живу, какая у меня теперь квартира... Я почти прокричал: «Мама, ты чего звонишь-то?» Она вдруг замолчала, не меньше трех раз я «проалёкал», пока она, кашлянув, откликнулась: «Знаешь, Лютик умерла... Сегодня похороны... Ты, наверное, не сможешь, да?...» Теперь я молчал, а она «алёкала»... Информация не постигалась. «Вот так, сынок, — говорила мать еле слышно, — осиротели мы... Хорошо умерла. Не проснулась, и все...»

В деревню я мог попасть не раньше утра следующего дня. Я заподозрил, что мать специально позвонила поздно, отчего-то не хотела она, чтоб я присутствовал на похоронах. Будто берегла... Все-то она знала про меня, мамулька моя. Я не хотел видеть Лютика мертвой и понимал, что не увижу, даже если сию минуту помчусь на вокзал. Решил, что не поеду, но, проторчав в квартире не более получаса, вдруг заметался, засуетился, похватал кое-какие дорожные вещи, позвонил жене на работу и через пару часов уже сидел в вагоне поезда, лишь на минуту притыкающегося на станции, что в пятнадцати километрах от нашей деревни...

Свежую ее могилу увидел сразу. Вся она была завалена уже повядшими цветами наших полей. Ни одного искусственного венка. Над могилой развесистая береза... Я смотрел на пестрый холмик и говорил себе: «Там ее нет. Там ее не может быть. Я не видел, как ее закапывали, и имею право верить, что она, Лютик жизни моей, ушла, просто ушла от нас всех, потому что устала служить нам. Она имела право уйти и ушла...» Я смотрел на могилу и слышал голос: «Меня зовут Лютик. Если меня так зовут, значит, есть такое имя».

Услышав шорохи за спиной, оглянулся. Плечистый косматый мужик в джинсовом костюме с маленьким букетиком лютиков подходил к могиле. На меня не глянув, сказал глухим басом: «Ты тоже опоздал?» И положил лютики отчего-то не на могилу, а рядом с ней, будто не хотел смешивать простенькие желтые цветочки с прочими цветами, неизвестно кем принесенными.

— Вы кто? — спросил я.

Он поднял голову, глянул на меня недружелюбно, и я узнал его. Это был Вовка, сын глухонемого кузнеца. Он не ответил, словно догадался о моем узнавании.

— Я ее всю жизнь любил. По-настоящему. Не так, как вы, дебилы. Это вы все загнали ее в могилу. Она давно уже умерла от вашей тупости. Валил бы ты отсюда.

Я послушно попятился от него и от могилы, хотя не был согласен с ним принципиально. Я бы мог сказать ему, что красота спасет мир, и многое что еще мог бы сказать в возражение, говорить я, слава Богу, научился, ибо жил в эпоху поголовного трепанья...

Через пятнадцать лет после смерти Лютика эпоха завершилась катастрофой, но в моем сознании эти пятнадцать лет спрессовались в некую безвременную плотность, и теперь, когда глотну рюмку-другую, утверждаю упрямо и категорично, что как только Лютик умерла, так все сразу и рухнуло, а все прочие причины вторичны, и кажется, что, думая так, просто легче выжить...





АЛЬБЕРТ
ГУРУЛЁВ

*ОСЕННИЙ
СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ*

Миниатюры о природе



ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ

Вот уже несколько лет подряд я приезжаю на Братское море, в деревню. К Валентину, своему университетскому другу. Когда-то новое море, новая жизнь в этих краях, страсть к рыбалке, охоте увели его сюда.

В деревне я снова вспоминаю, что туманы обещают грибные дни, июльское парное тепло — добрый урожай, а ясные закаты и высокий полет ласточек — ведро. И все имеет смысл. И все имеет отношение ко мне. Поднимется ветер, пойдет снег, разыграется море, полетят гуси — все это и предопределяет там мою жизнь.

Всегда с радостью приезжаю в этот дом. Трудно подобрать слова, точно передающие это ощущение, слова прозрачные, легкие, ускользающие. Быть может, все дело в том, что люди, живущие в этом доме, давно стали частицей моей судьбы, частицей моего я...

С Валентином мы познакомились давно, в самом начале студенческой жизни. Приехал я в ту пору из поселка, пыльного, лишенного всякой зелени, далекого от рек. И, видимо, потому зеленый мир, живая вода вызывали во мне тихий восторг. И даже рассказы о далекой и близкой тайге, о кострах, ночевках, речных переправах слушались как волшебные сказки. Валентин учился на географическом и практику проходил то на Байкале, то в других не менее счастливых местах. А на четвертом курсе, прервав на год учебу, ушел с геологической экспедицией в район будущего Братского моря. Изредка я получал от него письма и завидовал его костровой бродячей жизни. И я не удивился, что, когда пришло время распределяться на работу, Валентин выбрал Братское море, которое еще только рождалось.

Просторный дом Валентина стоит на самом берегу моря. Нужно лишь выйти за ограду, пройти узкую полосу соснового леса, и вот оно — море. Ширина водохранилища здесь небольшая — четыре-пять километров. Но если отвернуть чуть вправо, в сторону островов, то и в восемь не уложишься. Тихое и ласковое в безветрие, море свирепеет, стоит только посвежеть ветру-верховику. И горе тому, кого застанет непогода далеко от берега. В такой час свинцовая волна бьет в крутой песчаный берег, подмывает его. С обвальным гулом рушатся в воду глыбы земли, рушатся в воду деревья. Как-то мы с Валентином оставили большую лодку на воде и забыли о ней, а когда началась буря и мы прибежали на берег — море разбило лодку в щепу.

Море было новое, а наши привычки еще пока оставались старыми. Совсем недавно здесь текла неширокая речка, впадающая в Ангару, и лодки на ней были маленькие, и любой ветер с непогодой не могли поднять на реке многотонный вал. Но прошло время, и мы научились уважать новое море.

И вот уже несколько лет подряд я приезжаю в этот дом. Еще издали пытаюсь понять, все ли в доме по-прежнему, все ли благополучно. И хочется верить — все хорошо. По-прежнему висят на заборе, рядом с калиткой, два подвесных мотора. В свое время я пытался говорить Валентину, чтобы он не вводил в грех какого-нибудь слабого человека, убрал моторы в сарай, но Валентин отмахнулся: никто не возьмет. И мне приятно, что прав. И калитка не на запоре. Да и дом, даже если нет хозяев,

скорее всего, не на замке. Нет у Валентина такой привычки — дом замыкать, опасаться недоброго человека.

Гостя около калитки встречают собаки. Они вываливаются откуда-то из-за сарая веселой гурьбой, поднимают залихватский лай.

— Лада, Найда! — пытаюсь я усостыжить старожилы двора. Собаки конфузливо замолкают и тут же пытаются исправить оплошность излишним вниманием.

Собачья свора на первый взгляд кажется велика, но это только на первый взгляд, да и то для стороннего человека. Ну, как можно обойтись без умницы Лады, породистого черно-крапчатого сеттера? И тайга сразу же станет другой, если не будет тебя сопровождать веселая и обидчивая лайка Найда. И без лохматого собачоныша Гордея трудно обойтись, хотя все его достоинство — в неистощимом оптимизме. Каждая собака со своим характером, со своей судьбой.

Если сказать, что в большой сибирской деревне, где живет Валентин, каждый второй человек мужского пола рыбак или охотник, — значит сказать о людях черную неправду. Там каждый рыбак и охотник. А если встречается человек, равнодушный к рыбацким снастям и ружью, то на такого смотрят с горестным недоумением.

На первые же деньги, заработанные еще в геологической экспедиции, Валентин купил ружье. А потом — второе. В один из моих приездов в деревню Валентин показал коллекцию из пяти отличных ружей. И был счастлив. И некстати вспомнилась мне давняя встреча с общим университетским знакомым, который, едва мы поздоровались, спросил, сколько я имею костюмов? Работали мы тогда, кажется, по второму или третьему году, похвастаться мне было нечем, а знакомец, словно того и ожидая, с гордостью сказал, что у него только дорогих три костюма. Я рассказал о своей обиде Валентину. Он заговорщицки понизил голос:

— А у меня и рабочего костюма нет. Лишь эти штаны. Жена ругается.

Сказал он это довольно тихо, но из соседней комнаты тотчас появилась Светлана.

— Вы что тут шепчетесь? Я ведь все слышу. Ты посмотри на него, — это она уже мне. — Скоро на уроки ему не в чем ходить будет. Стыд просто. А он на ружьях помешался.

С тех пор прошло немало лет, и Светлане уже давно нет причины расстраиваться, что у мужа нет должного костюма.

Как-то я попал к своим друзьям, когда Валентин и Светлана только что вернулись из отпуска. В первые же минуты встречи Валентин не удержался похвастать:

— Ты знаешь, какой мы Свете подарок купили? Уже перед самым отъездом из Москвы, когда уже, сам понимаешь, и денег-то почти не оставалось. Зашли случайно в комиссионку... В общем, сам сейчас посмотришь.

Валентин приносит... ружье.

— Держи. Ты посмотри, ты посмотри на него только внимательно.

А ружьецо действительно славное, мимо такого трудно пройти: грациозное, если можно так сказать о ружье, с тонкими стволами, украшенное гравировкой.

— Изящное, как...

— Как юная женщина, — попытался я острить.

— А что, пожалуй, подходит.

Улыбка у Валентина счастливая.

Когда Валентина не оказалось рядом, Светлана доверительно сообщила:

— Ты думаешь, это ружье мне куплено? Это он себе подарок сделал. Хотя искренне убежден, что мне. Ну, а я вид делаю, что очень довольна.

Светлану я знаю тоже давно, всего года на два меньше, чем Вальку, и тоже еще со студенческих времен, и потому давным-давно относимся друг к другу весьма доверительно.

— Зато это ружье надолго задержится у вас в доме. Как-никак официально оно твое.

— Пожалуй, ты прав, — серьезно соглашается Светлана. — Да вообще-то это ружье мне нравится. Правда, отдача у него немного резковатая.

«Отдача резковатая». Это что-то новое в речи Светланы. Сказывается влияние Валентина. Я никогда не думал, что услышу от нее такие слова: Светлана всегда была какая-то слишком домашняя и городская, что ли. А вот: довелось услышать.

Почти каждый раз, приезжая к Валентину, я нахожу в его коллекции новое ружье, но не нахожу какого-нибудь из прежних.

— Подарил, — отвечает Валентин на мой вопрос.

К таким ответам я привык: сколь велика у Валентина страсть покупать ружья, столь же нравится ему их дарить. И в моей квартире висит тяжелое садовое ружье прекрасного боя — подарок Валентина.

Трудно рассказывать о человеке, которого хорошо знаешь. Мне хочется рассказать о Валентине обстоятельно, полно, а в памяти возникают отдельные случаи.

Вот мы на полузатопленных островах. В то время я еще только привыкал к ружью, трудно учился стрелять по летящей птице, чаще всего стрелял в белый свет и, конечно, мечтал об удачном выстреле. Мы прятались в низкорослом, доходящем до пояса, сосновом подросте и ждали уток. И дождались. Вначале где-то на грани воды и неба появилось комариное облачко. Облако стало расти, приближаться и заполнять собою небо. Никогда больше, ни прежде, ни потом, не видел я враз так много уток. Они шли плотным валом, шли так низко над водой и островами, что можно было отчетливо различить каждое перышко на их светлых брюшках. Воздух уплотнился и могучно гудел под взмахами сотен крыльев. И было ясно: подними ружье, нажми курки — и из лавины уток две-три непременно упадут. С восторгом смотрел я на эту живую жизнь, и что-то мешало мне поднять ружье, а когда решился и изготовился стрелять, услышал сдавленный Валькин крик:

— Не надо. Не стреляй!

Потом уже, когда небо опустело, я спросил Валентина:

— Ты это чего — не стреляй?

— Не надо было стрелять... Вообще не надо было стрелять...

Я-то теперь знаю, что не надо было стрелять. Быть может, тогда я еще смутно, но почти понял, что на охоте не всегда надо спешить хвататься за ружье, и что это не охота, когда всех забот у тебя — поднять ружье и нажать курки.

И сейчас, много лет спустя, перед глазами видится: синяя вода, зеленые маленькие сосны, полузатопленные острова, и над всем этим плотной завесой идут утки. И густой воздух гудит под их сильными крыльями.

Или другой вспоминается случай. Хотя какой случай? — ведь ничего и не случилось особенного, но вот вспоминается тот холодный осенний день.

За окном непогода, и мы сидим около жарко топящейся печки. Сквозь ее кирпичные бока сочится сухое тепло. В доме тихо и уютно. Еще вчера мы думали плыть на рыбалку. А утром встали — куда поплывешь? Низкие серые тучи. Холодная сырость пропитала весь мир. И мы сидим около печки, листаем журналы и тоскливо смотрим в окно: день пропал. И потому еще больше хочется на море, к островам. Но — непогода. Даже Димка, сын Валентина, не рвется на улицу. А это уж совсем редкость. Даже собака Лада получила сегодня разрешение находиться не на улице, а в доме, правда, только в прихожей. Лада положила голову на низкий порожек и умиротворенно смотрит на хозяина. Через минуту оказывается, что Лада и передними лапами перебралась через порог. А так вроде все по-прежнему: как лежала, так и лежит. Валентин не выдержал, улыбнулся наивной собачьей хитрости. Улыбка чуть

заметная, но Лада уловила ее и поняла по-своему: она уже в комнате, благодарно и виновато машет хвостом. Хотя кого бояться? Светланы в этот час дома нет.

Ничего не случилось, а вот булькнула неосознанная радость в груди.

Крупный кот по имени Васька, любимец Валентина, с достоинством вышел из соседней комнаты, мягко прыгнул на колени к хозяину, ласково заурчал.

— Окунька Ваське надо. Заскучал Васька без окуней.

Кот услышал знакомые слова, заурчал сильнее, просительно выгнул спину, потерся о хозяина.

— Уважить бы надо Ваську.

— Достоин того.

— А чего тогда сидим?

Всего-то вот такая малость и нужна иногда бывает, чтобы рыбачий азарт окончательно овладел душой, и никакая мокреть и стылость не могли бы уже удержать человека дома.

Потом уже на острове, отогреваясь около костра под защитой брезентового навеса, Валентин с удовольствием ворчит:

— Если б не нужда гнала, разве пошел бы я в такую погоду на рыбалку. Да ни в жисть.

Такая вот «нужда» угнала как-то его за море по неокрепшему еще льду. Море только день или два как стало, лед еще был тонкий и прозрачный, потрескивал и, казалось, прогибался под тяжестью человека, но Валентин ушел на тот берег. К вечеру он не вернулся, а ночь наступила кромешно темная, без звезд. Опасаясь, как бы Валентин при возвращении не сбился с пути, мы разожгли на берегу большой костер. Первые дрова уже почти сгорели, когда в темноте бесприютной ночи послышались чертыхания, и Валентин появился в свете костра.

— Это вы хорошо придумали — костер, — простуженным голосом похвалил Валентин. — Я бы в сторону ушел.

Потом, отогревшись, Валентин рассказывал, как было страшно переходить ночью море, как трещал лед, и откуда-то из темноты под ноги шла вода. Вода намерзала на валенках, валенки становились тяжелыми, неуклюжими и очень скользкими. Ножом он срезал с подошв ледяные наросты, но это помогало ненадолго.

— Жить тебе надоело, что ли? — сказал я ему тогда. — Какой леший тебя по такому льду погнал?

Валентин ответил серьезно:

— Нет, тут ты не прав. Жить я люблю. Даже очень люблю. Мне интересно жить. Именно интересно. Ты понимаешь?

Валентина я вроде понимал. Я знаю, что он очень любит свою школу, свою работу, но и не представляет своей жизни без нового моря, без тайги и всего, нередко многотрудного и рискованного, что с нею связано.

...Обычно в конце зимы от Валентина приходит письмо с планами на лето. Пришло такое и нынче:

«Мне все чаще и чаще стали сниться утки. Видно, где-то на юге утки повернулись носами в нашу сторону.

На отпуск Светлана сманивает меня в Европу. Согласия я еще не дал: гораздо интереснее было бы побродяжничать по дальним уголкам моря. Как и где думаешь провести лето? Пиши».

И я, конечно, напишу.

НОЧНЫЕ КОСТРЫ

Вот и прогорел закат. Только на западе у горизонта небо да края облаков чуть тлеют, словно остывающие угли далекого костра. Утки еще летят, но стрелять по ним уже не стоит: и не выцелишь хорошо, а собьешь какую случайным выстрелом — вряд ли найдешь в набухшей темнотой траве.

И прошел азарт охоты.

В той стороне, откуда завтра взойдет солнце, темень плотная, тяжелая. И из этой тяжелой плотности нет-нет, да и вырываются утиные табунки. Словно спасаясь от неведомого, торопливо падают в заросшие травой мелководья. Упадут — и нет их. Увидишь, как мелькнут над водой быстрые тени, услышишь посвист крыльев, а затем слабый всплеск воды. И нет их. И тишина. Все поглотила сырая темень.

По времени судить — так рано совсем, а вот ночь уже. И до рассвета далеко-далеко. Каких-нибудь две недели назад в этот час было тепло и солнечно, а сегодня... Тяжелая темень, бесприютный ветер, стылая сырость.

И надвинувшаяся ночь тяготит, заставляет беспричинно тревожиться, прислушиваться. К темноте, к самому себе. Чувствуешь осенний холод. Одиночество. И трудно объяснить это состояние ночного одиночества, безотчетной тревоги. Будто пришло оно нестрашенным из дальних далей от тех свирепых и беззащитных пещерных волосатиков, бережно передаваемое от отца к сыну, от отца к сыну. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». И так до наших дней.

И даже убитые утки сейчас не так радуют. Они уже не тревожат душу, не будят счастливый азарт. Эти утки — просто намокшая мертвая птица.

Сегодня я стрелял совсем близко от табора, и мне нужно только обогнуть узкий залив, пройти по-над берегом сквозь мокрые кусты — и вот наш стан. Сейчас табор выглядит запустело, словно люди покинули его давным-давно: бесформенные в темноте спальники, подернутые влагой дрова, холодный, прибитый к земле пепел кострища. К деревянному обрубышу притулился заledenелый и мятый котелок.

Под спальником у нас припрятан небольшой запас бересты и сухого хвороста. Скрученная трубкой молочная береста загорается от первой спички. Огонь захватывает ломкий хворост, лижет толстые обрубыши. Дым идет густой, едучий, но постепенно светлеет, и огонь прорывается наверх. У костра — светло как днем, огонь высветил ближние сосенки, а дальше, за сосенками, темнота стала плотней, весомей.

Но внутри светлого круга хорошо: тепло и даже немного празднично. Языки пламени пляшут магический древний танец: в бесконечном повторении и бесконечной неповторимости перемежаются, сплетаются, опадают и взлетают золотые, белые языки пламени. И не знаешь, зачем смотришь на это колдовство. И не смотреть невозможно.

С рождением костра табор ожил. И все теперь: и спальники, и дрова, и сосенки, и взбулькивающая под берегом вода, и ветер, и шорох усохших трав — воспринимается по-другому. И главное — у костра нет уже того одиночества.

Кое-где на берегах моря зажглись костры. Но они редки, эти костры, два-три на весь океан. И далеки: крошечные желтые мотыльки.

Сегодня вечер впервые осенний, и, видно, потому одного костра для души мало, и хочется, чтобы у огня сидели еще люди. Ведь это очень хорошо — сидеть у огня среди людей и быть одним из многих.

Но скоро приплывет Валентин. Он появится со стороны скрытого сейчас темнотой маленького острова. Вначале услышу тихие всплески весел, потом на воде загустеет темное пятно и появится наша лодка.

И верно, за шорохом трав, за накатом волны угадываются всплески воды под веслами. И темное пятно — вот оно. И вот уже Валентин вытаскивает лодку на берег.

— Ну, как стрелял? — спрашивает он и идет к костру.

Валентин любит костры большие, буйные и радостные, как языческий праздник. Мой костер его не устраивает, он уходит в темноту и возвращается с большим сутуном на плечах. Выбеленный морем сутунок, видно, долго лежал под солнцем, загорается сразу. Валентин идет за дровами еще раз и еще, и теперь наш костер гудит могуче и торжественно.

Мы не спешим варить ужин: осенняя ночь длинна. И лишь поставили кипятить чай в большом котелке. Лежим у костра, смотрим на звезды в редких разрывах туч, на воду, на отражение звезд в воде.

Костер наш горит жарко и ровно, он будет так еще долго гореть. Быть может, кто из рыбаков и охотников, увидев наш костер, сядет в лодку и приплывет к нам. Если он, конечно, сейчас один.

Нынче на вечерней зорьке я расстрелял много патронов, а добыл две утки. Говорю об этом Валентину: патроны приходится заряжать ему.

— Все правильно, — говорит он. — Я где-то читал, — там это выдавалось за рассуждения умного селезня: чтобы убить одну утку, охотники тратят чуть ли не три килограмма дробы. Так что ты не расстраивайся.

Но я-то знаю, что для Валентина этот расчет не подходит: стрелок он, не в пример мне, хороший.

— Как-то обидно этот селезень считает. Не берет он во внимание наше дело дня растущее мастерство.

Валентин подталкивает подгоревшее бревешко дальше в огонь — и в черноту неба взвиваются красные искры.

— Не брал, вернее. Дело в том, что его вскоре нашли в камышах убитым. И в голове у него сидела всего-навсего одна дробина.

Пляшут языки пламени. Огонь жертвенника и огонь праздничного костра — в одном кругу. Сходятся, расходятся, растворяются друг в друге и рождаются друг из друга огненные ленты.

Где-то слабо затарахтел лодочный мотор. Скоро стало понятно, что лодка идет в нашу сторону: звук быстро нарастал. А потом стало видно на воде темное пятно и белый бурунный за ним след. У самого берега на лодке выключили мотор, и лодка по инерции плавно вползла в освещенный костром круг. Из лодки, прямо в малую воду, ступил человек. Хлюпая броднями и погромыхая длинной причальной цепью, человек вытащил нос лодки на берег, обмотал цепь вокруг ближней коряги и подошел к костру. Щурясь от яркого света и улыбаясь исходящему сухим жаром костру, поприветствовал застуженным голосом:

— Здорово, мужики.

— Здорово, — ответили мы враз.

Наш гость расстегивает телогрейку, чтобы тело скорее пропиталось теплом, тянет навстречу теплу руки.

— Хотел свой костер ладить, да ваш увидел. Дай, думаю, поплыву. Ночевать принимаете?

— Места хватит.

Гость идет к лодке и возвращается с тощим, видавшим виды рюкзаком. Он домовито располагается у костра, достает из рюкзака прокопченный мятый котелок.

— Чаек сейчас поставим.

— Да у нас уже кипит.

Валентин встает, отворачивая лицо от жара, снимает с костра бурлящий котелок. Из жестяной коробочки насыпает на ладонь, а потом бросает в котелок заварку. И, чуть помедлив, добавляет еще. И тотчас к запахам осенней ночи примешивается вязкий аромат чая.

Смотрю на гостя. Невысокий, плотный. Дубленое, в крупных складках лицо. Потертая, но добротная и удобная одежда, высокие болотные сапоги. На поясе широкий в самодельном деревянном чехле нож. Обычный рыбак и охотник-любитель.

И гость по-приятельски смотрит на нас.

И, странное дело, с какой-то светлой уверенностью вижу, он знает, что мы ему рады. А он рад нам. Мы не расспрашиваем, да и вряд ли будем расспрашивать друг друга, — кто, да зачем, да откуда. Просто мы — люди, а все остальное сейчас — мелкие, незначительные подробности. Важно ли мне знать его имя, знать, где он живет? Мне важно сейчас, что он человек, что он живет на одной со мной земле и у нас с ним сейчас один костер.

Тихо на море. Тут всплескивает о борта лодки короткая волна, еле слышно вздыхают за спиной под слабым ветром молодые сосны. Гудит могучей силой наш костер.

— Скоро гусь, должно быть, пойдет, — говорит наш новый приятель.

— Должен бы.

Должен бы. Время к тому идет. Ночи все холодней и длинней, осыпается березовый лист, а в непогоду посыплет с неба теперь, скорее всего, не дождь, а снег. Повалит снег, и появятся в наших краях перелетные гуси.

Валентин подбрасывает в костер дрова и с большим котелком идет к морю за водой. Он останавливается у самой кромки берега, смотрит, слушает и говорит:

— Едет кто-то. На веслах. Ближе уже.

Теперь и я уже слышу, как поскрипывают в море уключины, как взбулькивает вода под спокойными веслами.

Впереди длинная осенняя ночь...

ТУМАН

Тяжелы осенние туманы. В безветрие они плотно лежат на воде, они вспухают, растут и, как перекишее тесто из квашни, выползают туманы на низкие берега. И тогда — где солнце, где твой дом, где твои дороги?

Мы ночевали на маленьком острове, расположенном километрах в двух от берега. Здесь несколько островов, вытянутых в линию наподобие Курильской гряды и удаленных друг от друга метров на двести-триста. Утром и вечером над островами утиный перелет. Мы немного постреляли вчера и особенно надеялись на утро. Но под утро упал туман. Плотный, вязкий. Об охоте нечего было и думать. А где-то совсем рядом, в затопленных кустах, плескались невидимые утки, перекликались сытыми спокойными голосами.

— Слышь, крикаш голос подает? — спрашивает Валентин. — Солидно так: ка-ка... А это — чирок.

Оставалось одно — ждать. Вот подует ветер, сомнет безмолвную неподвижность тумана и, разорвав это заглохшее месиво, разнесет его по дальним хребтам и лесам. Или солнце наберет силу и растопит, иссушит туман. Тогда мы и постреляем. А пока одно — ждать.

Ни вчера, ни позавчера мы не ладили ранних костров, чуть отбившись ото сна, влезали в настывшую одежду и спешили на примеченные с вечера места. А сегодня — костер. Мы сидим у костра, пьем горячий чай, согревающий тело и душу. И ждем.

Мне давно не приходилось видеть такого тумана. Неподвижный. Непроглядный. Вроде все видишь: вот руки, вот костер, вот палатка. Но чуть поднял глаза — отовсюду бельмастая неподвижность, слепота. Отовсюду небытие, бесконечность. Опустить глаза — да нет, вижу. Вот руки, вот костер.

В такие туманы хорошо слагались и рассказывались страшные сказки. О водяных, о леших. Слагай сказку, смотри, как оглядываются в сладком страхе слушатели — не стоит ли кто за спиной, не тянет ли из тумана руки — и сам невольно оглянешься.

А время идет. Вот уже и костер прогорел, и чай давно выпит — туман все такой же плотный, как и был. Валентин начал беспокоиться.

— Ну, охота охотой... Все равно уже ничего не получится. Домой как попадать будем? Я не позднее одиннадцати обещал быть.

Я и сам знаю, что ему скоро плыть в деревню. Об этом еще с вечера разговор был. Но куда тут поплывешь — хуже, чем ночью.

А хотя, постой, светлеть вроде начало. Вон той коряги еще совсем недавно не было видно, а теперь видно. И хорошо видно. И до нее никак не меньше двадцати метров.

А неплохо уткам в тумане. Кормежка в этих местах добрая — не надо никуда лететь — и безопасно. Не приблизится охотничья лодка — как в таком тумане плыть? — не раздадутся смертоносные выстрелы. А случись и появится охотник, тоже беда невелика: два гребка широкой лапой — и нет утки, растворилась в белой темени. Потому и голоса у уток сейчас спокойные, домашние.

Ждать да догонять — хуже всего. Так говорят. Насчет «догонять» не скажу, да и не верится мне как-то в это. В погоне — страсть, азарт. А вот насчет «ждать» все точно. Тяжко ждать.

Придерживаясь берега, решил побродить по острову. Без ружья. Просто так, чтобы скоротать время. Шел неспешно, не таясь, но и без лишнего шума: захотелось поближе подойти к утиным голосам. Вышел на острый, заросший кустами мысочек. Некуда дальше идти — только обратно. И впереди, и справа, и слева — вода, трава, камыши. Приглядел славное место и сел. Но уток не слышно стало. Шел сюда, слышал — здесь были. А нет вот. Молчание, тишина.

Я сидел, видно, задумался и не сразу заметил, что мир снова наполнился звуками: тихими всплесками, успокоенным покрякиванием, шорохами трав.

И опять прошло сколько-то времени. То ли туман еще больше поредел, то ли ветерок потянул и очистил близкое ко мне мелководье, но я увидел уток. Их было много. Я еще, пожалуй, никогда и не видел мирную утиную жизнь вот так близко. Будто не дикие сторожкие птицы перед тобой, а деревенские крякухи, уплывшие случайно далеко от хозяйского двора. Они ныряли за водорослями, охорашивались, вели тихие разговоры. И я не жалел о ружье, да и сама мысль о ружье могла показаться кощунственной. Хотелось просто сидеть и смотреть. Быть может, сидел бы еще долго, но поведение уток вдруг резко изменилось. Короткий крик — и все быстро и без суеты исчезают в тумане.

На таборе костер уже прогорел, и угли залиты остатками чая. И наши походные вещи — спальники, палатка, котелки, ружья — «бутор», как называет их единым словом Валентин, — уже в лодке.

— Плыть надо.

В общем-то, плыть, видимо, можно. Если взять прямо от острова, если взять только прямо, то минут через десять мы должны подойти к берегу. А потом взять вправо и вдоль берега. Трудно будет переплыть еще широкий залив, но как там быть — оно само покажет.

Мотор завелся сразу. Мы поплыли. И теперь только бы выдержать курс. И вроде выдерживаем. Правда, туман, который там, на острове, показался нам не таким уж и густым, здесь вдруг снова набрал силу. Куда бы ни повернул голову — перед глазами слепота.

Споро идет лодка. За кормой — пологий бурунный след. И чего это мы раньше не выплыли? — вон ведь как все просто. Нужно только выдержать направление. А держать точное направление короткое время — вон ведь скорость какая — совсем нетрудно.

Но скоро приходит беспокойство. Десять минут прошло — да нет, даже больше прошло, — а берега все еще не видно.

И еще пять минут прошло.

А потом мы перестали следить за временем, мы просто гнали лодку вперед сквозь бельмастый туман и надеялись теперь лишь на привычное «авось». Но и надежда на «авось» убывала с каждой минутой: по нашим подсчетам, скоро должен кончиться бензин. Валентин уже дважды поднимал бачок, прислушивался к взбулькиванию и сокрушенно качал головой. Мы, было, уже совсем собрались выключить мотор — когда развеется туман, бензин нам очень понадобится, — но чуть в стороне от курса лодки туман заметно потемнел, и стали вырисовываться размытые контуры деревьев.

— Земля! — закричал Валентин не менее радостно, чем матрос Колумба, узревший Америку.

На берегу под тальниковыми кустами стоял мужичок в брезентовом плаще и с интересом смотрел на нас.

— А я вас давно слышу, — сказал мужичок, как только мы заглушили мотор. — Кругами вы ходили. Я уж кричал вам. Да где там, разве докричишься?

— Это куда ж мы приплыли? Выше деревни мы пристали или ниже?

Мужичок непонимающе смотрел на Валентина.

— Так на острове ж мы. А в деревню вон туда, — и показал в туман.

— Что-то ты путаешь, паря.

— А чего мне путать? Я тут и ночевал.

Но Валентин никак не хочет смириться.

Братское море — новое еще море, и бывшие холмы, ставшие теперь островами, еще не имеют устоявшихся, общепризнанных имен. Каждый охотник и рыбак дает им пока названия свои, для собственного обихода. Мир в этих краях еще молод, как на другой день после сотворения.

— Не-ет, ты постой. Это на каком же таком острове?

Валентин и мужичок разговаривают громко, чуть даже нервно, чертят на песке карту. Наконец, голоса становятся спокойнее. Истина установлена.

— На острове мы. Помнишь, я тебе показывал, — Валентин обращается ко мне. — Остров, на котором старые сосны растут?

— Во-во, — поддакнул мужичок.

А время идет. Идет время. Валентин то и дело на часы смотрит.

— Не пойму я, чего вы блудили? — удивляется мужичок. — Сейчас я домой подамся. Хотите — вместе поплывем. Только держитесь за мной следом, и все.

Услышав недоверие в моем голосе, мужичок сказал заносчиво:

— Будто первый раз.

Чтобы плыть, нам нужен был бензин: бачок совсем легкий стал, и на дне его лишь слабые всплески. Наш новый попутчик дал бензин не без душевной боли, с тяжелым скрипом, но все-таки дал.

— Вы только следом за мной держитесь, — сказал он и завел на своей лодке мотор.

Лодка проводника очень быстро набрала скорость, и мы продержались за его кормой очень недолго. Мы хоть не видели и не слышали лодку за шумом своего мотора, но уверенно продолжали идти следом: на спокойной воде широкая полоса воздушных пузырьков.

Но только вот какое дело: полоса вроде чуть влево клонит. А немного погода пришла уверенность: проводник наш липовый, и мы опять не туда плывем.

— Глуши мотор!

Пока мы мешкали — глушить, не глушить мотор, — туман в одном месте чуть потемнел, и мы опять увидели берег. Криков восторга при виде берега уже не было, и мы причалили лишь в надежде, что удастся определить, где мы находимся.

А берег странно знаком. Очень и очень знаком. Неподалеку от воды — старое кострище. И люди были здесь совсем недавно: костер был залит водой, но над пеплом еще дрожит слабый парок. А вот банка из-под консервов...

— С приездом, — говорит Валентин.

Я и сам уже вижу, что это место нашего табора. Вот здесь стояла палатка, вот здесь мы брали воду, а вот, кстати, и котелок, который как-то изловчились забыть.

— Самое время чайку попить.

Голос у Валентина веселый. Да и мне не грустно. Скорее, даже весело. И причина веселья, на первый взгляд, больше чем странная: мы не можем пробиться сквозь туман, не можем с ним совладать — вот и весело. А то все было как-то до будничности просто: и расстояние теперь — хоть до Чукотки — не расстояние, и погода теперь, особенно в городе, почти не замечается, а тут тебе на — бьемся с туманом около самой деревни и пробиться не можем.

Потом уже в городе рассказал я об этом случае своему старому приятелю.

— Старик, — сказал он мне. — Ты лучше послушай, что я тебе расскажу... Вот Ангара у нас. И всегда я ее воспринимал как декорацию. Не больше. Ну, течет, цвет от погоды меняет, трамвайчики беленькие по ней, по реке, бегают. Если не декорация — то кино. А вот недавно сели мы в лодку семь человек — кого бояться? — ну, и перевернулись. Катер нас спасал. Вот тогда-то я и понял, что Ангара и могучая, и глубокая, и стремительная, и бесконечная. С тех пор я смотрю на Ангару новыми глазами. И эта новая Ангара мне больше нравится. Интересной она стала, живой. Вот как-то так.

Вот как-то так.

ОБИДА

Найда — лайка. Может быть, не чистой породы, но лайка. Определить, чистой породы или не чистой, трудно: ее еще щенком нашли. Отсюда — Найда. Хвост, как и полагается лайке, колесом, острые ушки торчком, ну и — лает: на белку, на бундука, на глухаря. Мاستью Найда черная, с белыми чулками. Ростом маленькая, аккуратная. К людям Найда добрая, хозяину своему, Валентину, по-собачьи (не случайно говорят, — «по-собачьи») предана. И нрав у Найды веселый.

Были последние числа апреля, лед на море еще как-то держался, но у берегов темнели широкие разводья. У Валентина выдались два свободных дня, и мы решили сбегать на ту сторону, за море: на той стороне, по словам Валентина, много косачиных и глухариних токов. Но охотиться мы не собирались, хотели только порыбачить со льда, и когда Найда увязалась за нами, Валентин не очень строго пытался ее прогнать. Найда это отлично поняла, с полчаса бежала нам вслед на большом расстоянии, а когда от дома стало далеко, догнала нас, приластилась, и, как ни в чем не бывало, побежала впереди. Как и положено уважающей себя собаке-лайке.

Через разводье на берег мы переправились на резиновой лодке. Собака, привыкшая доставать уток из ледяной воды, переплыла бы разводье сама, но Валентин позвал ее в лодку, и Найда, приняв это как особую милость, совсем пришла в хоро-

шее настроение, облизала хозяину лицо, а выскочив на берег, распластываясь в беге, принялась описывать широкие круги.

День весенний, прозрачно-голубой от неба и ожившей воды, в зыбкой зеленой дымке, дрожащей над просыпающейся тайгой. Днем Найда нам не мешала. А ночью с собакой так и совсем хорошо, — предупредит, если кто будет подходить к костру.

На холмистой вырубке, на узкой полосе между морем и лесистым хребтом присмотрел Валентин косачинный ток.

— Завтра утром, если настроение будет, сходим, — пообещал Валентин. — Большой ток.

Ночлег мы выбрали в лесу, неподалеку от опушки. Здесь тихое безветрие, да и к тому же и костер, спрятанный за деревьями, не помешает птицам слететься на токовище.

Море выбросило на берег много плавника, выбеленного солнцем и волнами. Дров на ночной костер мы не пожалели. А чтобы спать было удобно и не холодно снизу от мерзлой земли, принесли с берега доски.

Это первая моя лесная ночевка в нынешнем году, и все для меня радостно, и все воспринимается необычайно остро. Слышен запах разогретой хвои, летней текучей смолы, прелой летней земли. Могуче гудит костер, улетают вверх красные искры и теряются в черной пустоте. Открывают глаза воспоминания, разбуженные бродяжьим духом весны, разбуженные ровным шумом тайги, ветром, пропахшим тающим снегом, древним дымом костра. Бездумно глядишь на костер, и все мироздание — в этом костре. И нет волнений, и нет ничего плохого, и ты вечен, как вечен огонь.

Найда свернулась клубком неподалеку от костра, спит, и лишь острые уши ее чуть заметно вздрагивают. Иногда Найда поднимает точеную морду, смотрит в темноту и равнодушно прячет нос под белой лапой.

Утром мы проснулись от зябкой прохлады. Костер уже прогорел, небо серое еще, и лишь на востоке, в просвете меж деревьев, видна чуть заметная розовость восхода.

— Пойдем на ток? — спрашивает Валентин, и я чувствую, что спрашивает он просто так и, откажись я, он все равно пойдет на ток. Он опоясывается патронташем и берет ружье.

Найда, заметив сборы, радостно оживляется, машет хвостом, скалит белозубую пасть.

— Задача, — говорит Валентин. — Найда нам весь ток разгонит. Хотя...

Валентин ловит собаку, достает прочную бечевку и привязывает Найду к шершавой сосне.

— Так-то будет спокойнее.

Найда ничего не понимает, рвется с привязи. Мы чувствуем себя немного виноватыми перед нею и, взяв ружья, уходим. Найда скулит, но мы идем быстро и не оглядываемся.

Не успели пройти мы и полсотни метров, как сзади послышался легкий шум. Мы оглянулись и увидели бегущую Найду. Найде, видимо, показалось, что мы ее не бросили, а только лишь пошутили, и она всем видом показывала, что шутку оценила и рада этой шутке.

— Бечевку перекусила, — сказал Валентин. — Придется возвращаться в табор.

На табор Найда шла неохотно. Она никак не могла понять, зачем нужно возвращаться обратно.

На таборе Валентин извлек из рюкзака капроновый шнур и подозвал к себе Найду.

Валентин привязал собаку на таком коротком поводке, чтобы она никак не смогла достать зубами шнур. Глаза Найды сделались тоскливыми, больными.

— Да пойми ты, не могу я тебя взять на ток. Ты лучше вещи наши покарауль.

Найда слушала и печально, по-старушечьи, мигала глазами.

Найда догнала нас через сотню метров.

Валентин сел на мох и грустно посмотрел на свою помощницу.

— Ну, что мне с тобой делать?

Найда заботливо и успокаивающе лизнула его в нос.

А небо светлело все больше и больше. Бесследно исчез серый сумрак, восток был уже не розовым, а белым от чистого весеннего солнца. А где-то неподалеку кипела битва на косачином току.

— Ну уж нет, — Валентин решительно встал. — На току я сегодня все-таки буду. Идем обратно, — сказал он Найде жестко.

И мы снова на таборе.

Веревочный ошейник Найда не перегрызла, не порвала, а просто лапами стянула его через голову. Найда помахивала хвостом, радостно и чуть виновато скалилась: дескать, вот я какая, виновата я немного, но уж очень хочется мне на охоту пойти.

Валентин внимательно осмотрел табор, что-то прикидывая в уме, и его взгляд остановился на нашем объемистом рюкзаке. Он быстро развязал рюкзак и, взяв его за углы, вытряхнул содержимое на желтую прошлогоднюю траву.

— Иди, Найда, сюда, — сказал он мстительно.

Для Найды рюкзак оказался даже просторным. Наверху — лишь голова. Найда, сообразив, что ей из мешка не выбраться, заскулила.

По дороге к току Валентин несколько раз останавливался на мгновение, чутко прислушивался — не догоняет ли нас Найда? — и снова убыстрял шаг.

— Теперь надежно.

Вот и вырубка. Пологие холмы ничем не отличались друг от друга: сосновые пни, сухая прошлогодняя трава. Но Валентин уверенно указал на один из холмов.

— Ток. По ложбинке обойдем, а там осторожно...

Ложбинкой подошли к самому холму. Пригнувшись, а потом на четвереньках стали подниматься на холм. А потом по-пластунски. Прихваченная за ночь морозом земля холодит, колет руки прошлогодняя трава, но когда стал слышен косачинный шепот, все это отлетело куда-то, и весь мир заполнил этот страстный шепот. И ты уже не ты. Древние охотники, твои пращуры, проснулись в многовековой твоей душе. И ты терпелив к холоду и не слышишь, как впиваются колючки в твои голые ладони, и ты, многоопытный теперь, не качнешь нечаянно ветку низкорослого кустарника, не выдашь себя, не хрустнешь пересошим сучком.

А шепот нарастает, и кажется: он рядом и вокруг тебя. Но птиц не видно. Сосновые пни и сухие прошлогодние метелки травы надежно скрывают их. Вперед же нельзя двигаться — слишком близко мы подобрались, — и мы лежим до тех пор, пока настоящее не начинает медленно возвращаться в нас. Понимаем, что дольше на мерзлой земле лежать нельзя.

— Встанем, — одними губами шепчет Валентин. — И влет...

Мы встаем, но птиц и сейчас не видно, лишь шепот чуть затих.

— Где же они?

И тут вырубка стала взрываться черными птицами. Они взлетали чуть ли не по всему пологому склону, сразу в разных местах, и не было никакой возможности уследить за ними. Растерянные и счастливые стояли мы, не поднимая ружей, и смотрели, как на фоне розовых облаков, зеленого леса пролетают черные токующие косачи.

— Вот моей Найде было бы здесь сколько радости. И хоть разорвись: за всеми враз гнаться нужно, всех успеть облаять.

А день уже разгулялся вовсю. Утренний ветер рябил живую воду у берегов, лед на море отливал синеющей белизной, и дальний берег проступал ясно, как на новой линогравюре. Белела покрытая инеем наша резиновая лодка, похудевшая за ночь от мороза, и лед, по которому нам сегодня идти, не казался страшным. Мир был полон добра, спокойствия и надежности.

На табор мы шли медленно, словно боясь расплескать в себе радость бытия, и были довольные, что не стреляли птицам вдогонку и не несем сейчас в руках мертвых птиц.

На таборе все по-прежнему. Мне кажется, что даже Найда лежит в том же положении, в каком мы ее оставили.

— Найда, а вот и мы пришли, — сказал Валентин, как мне показалось, чуть веселее нужного. — Видишь, пришли.

Но Найда даже голову не повернула, лишь по-старушечьи, подслеповато, моргала глазами.

— Найда... — Валентин встал против собачьего носа. — Ты что?

Найда печально повернула голову в другую сторону и рассматривала в густых сосняках что-то видимое только ей и понятное только ей.

Валентин опустился на колени и, виновато вздыхая, стал развязывать рюкзак. Найда недоверчиво зашевелилась, высвободила из мешка передние лапы в белых чулках. Почувствовав свободу, но еще не уверенная в ней, Найда делает несколько робких шагов, и вдруг ее охватывает буйная радость, радость свободы. И она уже все простила Валентину: друзья умеют прощать.

В такое замечательное утро нет в сердце места обиде.

ИДУТ ДОЖДИ

За двое суток мир промок насквозь. В оплывающее водой окошко видно, как разбухшие тучи низко и тяжело тащатся над хребтами, и вершины лиственниц вспарывают им животы. На острых вершинах остаются серые клочья.

И нет сейчас для нас большей благодати, чем после этих двух дней осенней болотной мокрети оказаться, наконец-то, под крышей, в сухом углу, в сухой рубашке.

Мы только что стянули с себя осклизлые сапоги, содрали липнувшие к стылому телу мокрые телогрейки и штаны, забились на сухие нары. Какая все-таки это благодать — теплые сухие нары, теплая печная труба, сухой табак. Нас на улицу теперь не выманишь: слишком мы намокли за двое суток таежного ненастья.

И душа еще не обогрелась, не обсохла. И тем ярче вспоминаются недавние часы.

Всего час назад мы сидели у огня и даже не пытались спрятаться от падающей с неба воды. Костер чадил, пытался погаснуть и не давал тепла. От воды некуда было спрятаться, она была всюду. Проклинали дождь и свою невезучесть. Мы ведь не собирались мокнуть вот так под дождем и не думали долго оставаться в тайге. Дума была проста: набрать черники, переночевать в знакомом зимовье одну ночь и вернуться домой. До черничных мест не близко: вначале на машине, а потом пару часов хода. Но на тропе нас прихватил дождь. Мы пытались переждать его под мохнатыми елками, но перед сумерками снова встали на тропу: дождь, похоже, было не переждать, и лучше тогда ночевать в зимовье, где можно обсушиться. Промокнув до костей, пришли на знакомую лесную прогалину, но зимовья там не было. Кто-то

по неосторожности или по злему умыслу сжег зимовьюшку. Две ночи мы отсиживались в наспех сделанном шалаше, пережидали дождь, и когда стало казаться, что дождь пошел на все сорок дней и ночей, решили выходить к дороге, туда, где стоит вагончик ремонтных рабочих. Сегодня суббота, и рабочие уехали, конечно, домой. Так что будет где обсохнуть.

А вместо отдыха нам снова пришлось сидеть около костра. В двадцати метрах, через дорогу, стоял этот самый маленький вагончик на полозьях. В нем тепло и сухо, насколько это сейчас возможно. Но вагончик битком набит ягодниками, пришедшими сюда раньше нас. Их объемистые горбовики — фанерные и металлические — стояли на улице, глянцево поблескивая крутыми боками. За вагончиком, в сером тумане дождя, дремали два бульдозера, опустив тяжелые челюсти на землю.

— Ого, — сосчитал Валентин. — Двенадцать горбовиков. Как же их владельцы забились в эту конуру? Там ведь еще сторож живет.

— Поместились, — уронил Аркадий Федорович.

Аркадий Федорович интеллигентный, худощавый и хрупкий. В мокрой тайге ему, пожалуй, труднее всех. За черникой — черной ягодой — пошел, помня деревенское детство. Наш четвертый, бригадир каменщиков Иван, спокойно и терпеливо молчит. В тайге он впервые и во всем полагается на нас.

Сейчас-то нам хорошо: сидим в сухом вагончике и рассказываем о своих мытарствах хозяину вагончика, светленькому, как одуванчик, старику. Старик нам нравится. Это он тогда выбрался из вагончика, послушал, как монотонно шумит серый занавес дождя, посмотрел, как зябко вздрагивают и прячутся под серые дрова слабые языки пламени нашего костра, и принес ведро солярки. Пламя ухнуло, загудело, опало жаром. Набросив на голову и плечи плащи, мы попытались сушить снятые с себя рубахи, прикрывая их спинами от дождя. Пламя постепенно оседает, но дед снова льет солярку — и снова гудит пламя. От одежды пошел пар. Потянуло паленым.

— Горит кто-то.

— Пиджак попортил, — спохватывается Аркадий Федорович и тушит тлеющий рукав.

Солярка прогорает быстро. Только что ярился, бушевал огонь, и вот уже пламя опять уползает под дрова. И рубахи, которые подсохли немного, снова хоть выжимай.

— Это, мужики, зимовье вам надо искать, — сказал нам тогда дед. — Вот тут, где-то по пади, стан есть. Поищите. Чего мокнуть.

— Далеко ли?

— Близко. Я там не был. Но говорят, — близко. Падью идите.

Стан мы с Иваном — Валентин и Аркадий Федорович остались у костра — нашли быстро. Вывела тропа. Не зимовье, а нечто среднее между балаганом и землянкой. Через черную дыру лаза забрались внутрь, присели на низкие нары из жердей. Ночевать там было нельзя. Это мы с Иваном сразу поняли. Толстый слой мха и дерна на крыше пропитался водой как губка. И если даже дождь кончится, крыша еще долго будет сочиться водой. Нары и стены осклизли.

Нужно много сухих и теплых дней, прежде чем можно будет жить в этой берлоге.

А проклятый дождь идет, шумит в ветвях, а впереди ночь.

Аркадий Федорович и Валентин встретили нас довольными лицами.

— Плохо... Вы чего такие радостные?

— Имеем на то полное основание, — Валентин притоптал остатки костра. — Владелец вагончика приглашает нас в гости.

Оказывается, пока мы искали зимовье, приходила машина из поселка за ремонтниками. С ними уехали все ягодники. Остался только дед.

И теперь мы гостим у деда. В вагончике тепло, и мы босиком сидим на широких нарах и тихо радуемся горячему черному чаю, который предложил нам дед. Угол около железной печки завешен нашими штанами, свитерами, отекающими водой, коробом стоящими дождевиками. Аркадий Федорович исхитрился подсушить пиджак и надел его на голое тело. Через широкий вырез видна худая грудь. В полутьме вагончика Федорович очень похож на бунтаря с картины «Отказ от исповеди». Я говорю ему об этом, он усмехается, демонстративно запахивает полы пиджака и смотрит на нас с гордым вызовом. В его тонкой руке, далеко вылезшей из обгорелого рукава, подрагивает громадная самокрутка.

— С самой войны махорку не курил.

Сторож нам рад, и ему хочется поговорить.

— Неужто воевал? — спрашивает он Федоровича. — Успел? Молодой же?

— На востоке, с Японией.

— Вона! А я с немцами успел, — радуется дед. — На год полез бы немец позже, меня бы служить и не взяли. Возрастом вышел. А так успел.

— Погода, — ворчит, начиная отогреваться, Иван. — В такую погоду добрый хозяин собаку на улицу не выгоняет.

Все эти дни Иван терпеливо сносил холод и мокреть и, лишь оказавшись под надежной крышей, стал ворчать.

— Это еще ничего, — снова говорит дед. — Я ведь в Белоруссии воевал. А болота там. Жижка как есть кругом. Ступить некуда. Так мертвяков, трупов этих самых, натакаешь, чтоб посуше было, и лежишь на них. Вот как было.

— Сам-то, дед, откуда?

— С Кировской области.

— Вятский, значит.

— С Кировской, говорю.

А тем временем рубаха подсохла. До чего ж приятно сидеть в сухой рубахе. И душа вроде отогреваться стала понемногу. А за окном уже стемнело. Над столом качается остренькое пламя свечи. Краснеют угли в железной печке. Прячутся в углах густые непроглядные тени. Настойчиво шумит дождь за тонкой стенкой. Тяжелеют веки. Спа-а-ать хочется.

Будто через толстое одеяло слышу:

— А что здесь караулить?

— Бульдозеры, горючку.

— Никто не возьмет.

— Известно, не возьмет. Только караулить положено. Для порядка.

Дождь идет. Дождь. «Ш-ш-ш».

Голоса растворяются в шуме дождя. И все растворяется: расплывется и меркнет пламя свечи, стены вагончика, печка, наши телогрейки, стол становятся прозрачными, зыбкими, невесомыми. И нет уже ничего, кроме этой невесомости, теплой зыбкости да маленького уголка в твоей душе, промерзшего и вымокшего за двое суток таежного ненастья.

Но потом в этой мягкой и теплой зыбкости появляется что-то чужое и неудобное, и я пытаюсь пробиться к этому чужому, чтобы быть с ним поближе и попытаться его понять.

Просыпаюсь с трудом. Видимо, я не так уж долго спал: печка еще не погасла и отбрасывает на потолок и стены желтые пятна. В проеме двери стоит высокая темная фигура и что-то требует.

— Тут недалеко. С километр всего. Машина сидит. Забросило.

И тут я начинаю понимать, что где-то в ночной тайге сидит машина и меня зовут ее вытаскивать. Под дождь. А у меня единственная сухая рубаша. Оставить ее здесь? Но ведь я ни за что не надену сейчас холодный мокрый свитер или телогрейку.

Мои товарищи что-то говорят, но я не разбираю что. В груди растет холодный комок. «Не встану!»

А за стеной дождь. Дождь.

Но, оказывается, можно надеть на голое тело мокрую телогрейку. И не такая уж она холодная. И можно выйти под дождь... Покачиваясь, разбрызгивая сапогами грязь, я иду. Идут мои товарищи. Кругом тайга, а впереди у горизонта, на высоком чистом бугре, темнеет машина. Я иду и радуюсь. Радуюсь, что заставил себя подняться и выйти в дождь и осенний холод. Как бы я скверно себя чувствовал, если бы остался там, в вагончике.

— На вас вся надежда.

Голос громкий, и голос знакомый. Ах, вот оно что: я успел уснуть и успел даже увидеть сон. А фигура в дверях куда и не уходила.

— Подниматься надо, — говорит Иван.

Да, надо. Непременно надо. Вот сейчас я встану. Вот сейчас. Я встаю.

ГРИБНОЙ ДЕНЬ

Мы с Димкой идем за грибами. Димка второклассник, но грибник уже тертый. Он маленький, белоголовый, подвижный. Школьное прозвище у него — Буратино. Нос у Димки, конечно, нормальный, но по остальным признакам — Буратино: и худой — из трех лучинок сложенный, — и веселый, и немножко вредный.

Давно уже прошли первые заморозки, и никаких грибов уже нет, кроме опять. Но опять — тоже грибы. Можно далеко не ходить, искать грибы сразу за домами, в корчевниках, или перейти дорогу и поискать около старых пней, но ведь известно каждому, что дальние грибы лучше, и мы, не сговариваясь, уходим лесной дорогой. Точнее, лес — с одной стороны, а с другой — чаще всего море. Мы идем, и море лишь изредка скрыто от нас молодым частоколом сосенок.

Несколько дней с северо-запада тянуло холодным ветром. Море наливалось свинцовой тяжестью; по всему морю катились тяжелые белоголовые валы, наваливались на песчаный берег, рушили берег. А вчера, когда ветер был особенно сильным, рухнула в море с крутого берега старая разлапистая сосна. Она долго сопротивлялась ветру и волнам, а вот вчера рухнула.

Но сегодня день тихий, солнечный и теплый. Море по-летнему сине и спокойно. И кажется, что зима будет не скоро, и таких хороших дней впереди еще много.

Мы прошли сосняки, обогнули сонный залив и пришли в березовую рощу. Здесь не только березы, встречаются и купы сосенок, но берез все же больше. Роща светлая и спокойно-грустная. Некоторые березы пожелтели и потеряли много листьев, у других лишь вылиняли пряди, длинные, виснувшие к земле.

Мы не спеша бредем по светлому лесу, радуемся теплоту дню и обилию закатных оттенков. Среди спокойно увядающих берез вдруг увидишь отчаянно раскрашенную осину. Она никак не хочет смириться, что ее лето прошло, и листья на осине, как и летом, беспокойны, волнуются, шелестят. Облетают листья шиповника, открывают ярко-красные продолговатые ягоды. Ягод много, и видны они далеко — самая яркая краска на богатой палитре осени. Синее небо, синее море, белые стволы берез, желтые, зеленые, багряные листья деревьев, красные ягоды шиповника.

И лишь сосенки стоят, как ни в чем не бывало: осень их не пугает, да и зима тоже.

А все-таки скоро зима: трава пожухла и сухо шелестит под ногами. Но грусть мимолетна, скоро проходит, и снова радуешься осеннему лесу. Радуешься теплу и свету, идешь вольно, и в тебе нежность к этим березам, и уже не чувствуешь себя в лесу пришлым горожанином, а будто и города вовсе никакого не было, и ты всю жизнь, да нет, даже всегда, жил в этих лесах.

Около старого березового пня нашли мы дружное семейство рыжих упитанных опят.

— Красивые какие, — говорит Димка. — Как солдатики.

Он трогает пальцем пробковые шляпы опят, что-то мурлычет, ползает около пня на коленях.

Отсюда, от пня, угляделось еще одно семейство опят, я говорю об этом Димке. Димка вскакивает с земли как развернувшаяся пружина.

— Где?

Он приносит грибы и осторожно кладет их в корзинку. И снова ползает около пня.

— Ну, что, — спрашиваю, — будем срезать?

— Не-е, — говорит Димка. — На обратном пути лучше. Или завтра придем. Ладно?

Димке просто жаль срезать такие красивые грибы. А они и вправду хороши в осеннем светлом лесу. Крепкие, неувядшие.

Время в лесу летит незаметно. Судить по солнцу, так уже перевалило за полдень, а мы вроде и пришли-то совсем недавно, и наша корзинка, одна на двоих, далеко не полная.

Грибы мы берем плохо и часто отвлекаемся. Вот пригнулся к траве Димка, сгорбился, затих.

— Что там, Димка?

Он предупреждающе шипит и делает знаки, чтобы я говорил тихо. Заглядываю ему через плечо и вижу сонного золотистого жука. Такого красивого золотистого жука я не видел с самого детства.

— Что ты собираешься с ним делать? — спрашиваю я Димку.

— А зачем? — отвечает Димка шепотом.

Мне почему-то становится неловко, и я хочу сказать Димке хорошие и нужные для этого случая слова, но не могу их вспомнить.

В березовой роще мы оказались не одни. Там, где роща переходит в сосновый бор, встретили двух грибников, Димкиных знакомцев. Димка представил мне их еще издали.

— Они братья. Вон, который длинный, Пашка. Он в четвертом классе учится.

Я слышу неудовольствие в Димкином голосе.

— Ты в ссоре с Пашкой?

— Да нет. Просто он такой... — и Димка неопределенно и не совсем дружелюбно машет рукой.

— Ну, а второй как?

— Васька-то? Васька хороший. Маленький только, первоклашка.

Мы постепенно сближались с братьями, потом их скрыли кусты, я даже забыл о братьях, но внезапно кусты раздвинулись, и на крошечную желтую поляну вышел Васька. Я не разглядел его издали. И теперь смотрел на него во все глаза. Маленький пастушок? Или Иванушка, братец сказочной Аленушки. Васька в длинной рубаше. Не хватает только витого шелкового пояса. Васька белоголов, синеглаз и круглолиц. И льется из Васькиных глаз радостная удивленная синь.

— Ди-имка, — сказал Васька высоким и переливчатым голосом. — Ты знаешь, где дятел живет? А я знаю. Хочешь, покажу?

Горло у Васьки по-птичьему трепещет, и, кажется, там у него спрятана светлая серебряная свистулька.

— Ди-и-ма!

Димка наклоняет голову набок, смотрит заинтересованно.

— А где?

— Там, — Васька машет тонкой рукой в сторону высвеченных солнцем берез. — Я ви-идел. Краси-ивый такой.

Свистит переливами серебряная свистулька.

И я рад, что Димка встретился с Васькой, и тому, что они рады друг другу.

Васька поднимает большой оранжевый лист.

— Посмотри-и, Ди-има!

По оранжевому листу медленно и сонно ползет букашка с яркими подкрылками. Димка трогает букашку тонкой и сухой травинкой, букашка поползла быстрее, подкрылки у нее затрепетали, и она без разбега, как вертолет, полетела к вершинам берез, к синему небу. Ребятишки проводили ее восторженными глазами, будто это они научили букашку летать.

— Ди-има!

Я слышу, как ребятишки говорят о только что улетевшей букашке, говорят хорошими и нужными словами, и жалею, что не вспомнил этих слов, когда Димка нашел золотистого жука. А сейчас я эти слова вспомнил. Да, кажется, вспомнил.

А ребятишки ползли на коленях по опавшим березовым листьям, преследовали забредшего далеко от дома крупного муравья. Муравей ни на кого внимания не обращал, делал свое нелегкое дело, тащил какую-то живность домой. Муравей бросал добычу, подбегал к ней то слева, то справа, то, отчаявшись, жилисто упираясь, тащил ее за собой волоком.

— Смотри-и, на помощь другой мураш прибежал.

Неподалеку я нашел еще одно семейство опять и срезал его. Появился Пашка. Деловой, быстрый. Он видел, как я срезал грибы, и, пробегая мимо, толкнул Ваську ногой.

— Раззява!

Васька, не понимая, посмотрел на брата синими глазами.

— Ну его, — сказал Димка, когда Пашка снова исчез в кустах. — Зато он не видел ту красивую букашку, которая улетела.

— Он их уби-ивает, букашек.

— Пойдем с нами, — предлагает Димка.

Васька опасливо смотрит на кусты, за которыми исчез Пашка.

— Пойдем. А потом посмотрим, где дятел живет?

— Добро, — важно соглашается Димка.

От моря тянет легким ветром. Летят меж берез тонкие светлые нити паутины. Летят на паутинках в неведомые синие дали маленькие паучки-путешественники. Спешат за оставшиеся теплые дни посмотреть землю.

Корзинка у нас еще не полная. Но сейчас мы пойдем искать живущего в старом дупле красивого дятла. Дымятся белым туманом стволы берез, шуршит под ногами усохшая трава, синее теплое небо над желтой рощей. Рядом идет Васька и посвистывает по-птичьи.

— Ди-имка! Видел?

Тихо стелется над землей осенний светлый день.

НА МОРЕ НЕПОГОДА

Как только зашуршат в увядших травах предутренние заморозки, приходит время сбора опять.

Километрах в десяти от деревни, на заросшем старыми березами мысу, еще в прошлые годы присмотрели мы грибное место.

Собрались поехать втроем — с Валентином и Светланой, — но у Валентина находились неотложные дела, поездка откладывалась со дня на день, и наконец, опять-таки сославшись на крайнюю занятость, он заявил:

— Одни поезжайте. А то я раньше, чем через неделю, не освобожусь.

Легко сказать — поезжайте. Добраться до грибного места мы можем только на лодке, и уже одно это заставило меня задуматься. Лодочный мотор я освоил совсем недавно. И даже не освоил, это сказано громко, а только научился его заводить и управлять им на ходу. Гордостью и вершиной моих технических знаний было умение вывинтить и зачистить пробки. Наше море, хоть оно и не совсем настоящее, а не любит шутить. Не дай Бог волна... А тут еще Светлана. На ее помощь рассчитывать не приходится. Она всегда была уж очень какая-то домашняя и городская: боялась вымокнуть под дождем и, помнится, не любила ветер, опасалась, как бы солнце не обожгло лицо. К деревенскому своему дому приспособливалась долго и тяжело: не могла привыкнуть, что нужно топить печи, заботиться о дровах, а воду приносить из колодца. И если налетит ветер и поднимется волна, страдающая от неудобств и страха Светлана сразу же превратится в тяжелую обузу.

— Чего тут плыть? Тридцать минут туда и тридцать обратно. И делать нечего. — Валентин пытался настроить меня на бодрый лад.

— А если мотор заглохнет?

— Лодку оставьте, а сами по берегу домой.

Мы решили плыть.

Лодка у Валентина в то время оставалась только одна — трехместная фанерная «Маринка», — большую рыбацкую еще в середине лета по недосмотру разбило в шторм о крутой берег.

На озерной тиши лодку лучше «Маринки» трудно придумать: и устойчивая, и быстроходная, и легкая. Ровно гудит мотор, стелется за лодкой пологий бурун, плывут мимо далекие зеленые берега, голубеют вода и небо. До заветного мыса мы добежали минут за тридцать, а то и того меньше. И все мои опасения уже казались ненужными, придуманными.

И я все делал правильно и уверенно. Вовремя уменьшил обороты мотора, хорошо провел лодку среди прибрежных топляков и коряг и в нужную минуту выключил мотор. И лодка плавно уткнулась в берег.

Очень красив лиственный лес в ясные и теплые дни того времени года, когда не поймешь, то ли это конец лета, то ли начало осени. Березы еще в зелени, в расцвете жизненных сил, но на некоторых уже появилась первая, не яркая пока желтизна. Но лес уже как бы поредел, высветлился, и в нем теперь много просторнее.

Прямо от воды увидели семейство опять. Очень благополучное и многочисленное семейство. А чуть поодаль второе, третье, пятое. Господи, сколько же здесь грибов! И радостно, что грибов так много, и лес этот светлый жаль, жаль старые березы. Нелегко им приходится среди такого нашествия своих врагов — опять.

С шумом взлетели из березового подростка тетерева, замелькали среди белых деревьев. Я захватил с собой фотоаппарат в надежде сделать хорошие снимки, но вот не приготовился и даже не расчехлил камеру. Надо бы аппарат как ружье носить, всегда наготове, корил я себя, иначе зачем его вообще брать. Но тут же нахо-

дил успокоительные слова: если заранее к работе не готов, не настроен, то внезапно взлетевшего тетерева вряд ли сфотографируешь. Правда, эти косачи вроде уж очень медленно летели. Вот уж верная пословица: та корова, которая сдохла, много молока давала.

Но досада быстро проходит: вон сколько грибов. Упитанных. Солнечных. Знай не ленись. Очень быстро мы со Светланой нарежали ведер пять-шесть опят. Можно бы и еще брать грибы, но в крошечной лодке свободного места не так уж и много. Да и ко всему погода начала портиться. С северо-запада, из гнилого угла, поползли размытые, темные понизу облака. И ветер посвежел и заметно стал холоднее. Но самое неприятное — голубое море потеряло свой цвет, стало серым, и по нему пошла волна. Пусть еще не крутая, а все ж волна.

Торопливо я стал собираться в обратный путь, а сам все с опаской посматривал на море и небо: ветер как будто еще усиливается.

Мотор завелся сразу. Но едва я вывел лодку на открытую воду, как понял, что волна для нашей «Маринки» не совсем шутейное дело. И управлять ею стало не так просто. Чуть прибавить обороты двигателю — лодку жестко колотит об волны, через правый борт обдаёт холодной водой. Уменьшишь газ — того хуже, не слушается лодка руля. Пока приноравливался к волне, совсем забыл о Светлане. А когда понял, что плыть все-таки можно, подумал: надо сказать Светлане бодрые слова, успокоить ее.

— Это не волна. Для разнообразия даже приятно.

— Пустяки, — согласно кивнула Светлана. — Но приятного немного. У меня уже весь бок мокрый. Но и это вообще-то пустяки.

Я посмотрел на Светлану, пытаюсь ее понять: или она бодрится и прячет страх, или смела от неведения. Но Светлана сидит в носу лодки совершенно свободно, без напряжения. И даже как к неизбежному, без всякого видимого недовольствия относится к заплескивающейся в лодку воде.

И я уже увереннее почувствовал себя на руле. И прошли опасения за то, что при каждой волне Светлана будет взвизгивать от страха, опасно наваливаться на борт и требовать немедленной высадки на берег, совершенно не считаясь с тем, что при таком накате трудно развернуться — нельзя ставить лодку бортом к волне даже на короткое время. И теперь мне стало легко, даже немного весело, и путь домой уже не казался таким далеким и трудным.

Но один совет Светлана все же подала:

— Ты правь вон к тому острову. А потом вдоль острова пойдем. Там много тише будет.

А вообще-то дельный совет. Идти к острову направление волны вполне позволяет. На заветренной стороне острова определенно тише будет. А потом от острова мы двинемся к берегу. Это хоть и удлинит наш путь, но зато вскорости мы опять окажемся укрытыми от большой волны за далеко выдающимся в море лесистым мысом.

Близ острова протянул над головой утиный табунок. Совсем невысоко прошел. Отличный бы снимок можно было сделать: низкие темные тучи, белые барашки волн и утиная стая. И причем так близко, что можно отчетливо увидеть поджатые красные лапки, бусинки глаз. Но у острова волна хоть и послабла, однако далеко не настолько, чтобы бросить руль и схватить фотоаппарат. Светлана, проводив табунок взглядом, повернула ко мне загоревшееся азартом лицо.

— Ах, какой снимок ты упустил.

Я согласно кивнул головой.

— Давай, я — на руль, а ты с фотоаппаратом — на нос лодки.

Я заулыбался и дал понять, что шутку вполне оценил.

— Давай руль. Я ведь вполне серьезно. — Светлана вроде даже сердится. — Вон ведь опять стая летит.

Видя мою нерешительность, Светлана ловко, почти не нарушая равновесия лодки, пробралась на корму.

— Быстро на нос. Корму перегрузили.

И сам вижу — перегрузили. Скрепя сердце я передал ей руль, и тут же забыл о нем: приближались утки.

А это какой-то закон: нет фотоаппарата или ружья — утки могут садиться чуть ли не на голову, глухари подпускать на двадцать метров, да еще при этом долго и оценивающе тебя разглядывать, зайцы чуть ли не сбивают с ног. Но когда вышел специально на охоту, — все живое словно бы вымирает. А если уж встретится, то рассчитывать на слепой фарт не приходится. Вот и сейчас утиная стая, не в пример первой, стала отворачивать от нашего курса. Вот если бы прибавить скорость нашей лодке и пойти наперерез утиной стае, то лишь тогда можно надеяться, что удастся сделать хороший снимок.

А тем временем голос мотора окреп, наполнился высоким гудом, из-под носа лодки высоко взметнулись водяные усы, и лодка, изменив курс, стремительно понеслась по волнам.

Стая ближе, ближе. Торопливо отщелкиваю кадры. Но нужно еще ближе. Нескольких секунд и... Остров, дотоле прикрывавший нас от большой волны, кончился, и во избежание беды нужно было немедленно погасить скорость лодки. И лодка замедлила скорость и стала носом к волне. Все было сделано так, как надо, быстро и в нужный момент.

Я спрятал фотоаппарат под брезент, приготовился закурить, чтобы как-то унять охотничий азарт, и тут только осознал, что лодкой управляла Светлана. Понял это с удивлением и какой-то спокойной радостью. И путь домой уже не казался мне таким далеким. И уже не пугало, что может внезапно заглухнуть мотор. Да и вообще мир стал надежнее.

Еще несколько минут, и лодка укроется от больших волн за длинным лесистым мысом. А там и до дому рукой подать.

ЗАВИСТЬ

Медленно угасает день. Небо уже не такое голубое, не такое глубокое: оно линяет, плотнеет, опускается ближе к земле. Солнце, еще недавно слепяще-белое, начинает расти, наливаясь красной силой. И красными, теплыми становятся кромки облаков, подкрашена розовым вода. Теперь уже скоро, вот-вот из-за дальних просторов, из вечернего красного света появятся утки. Они налетят внезапно, в свисте косых крыльев, стремительные.

Сегодня открытие охотничьего сезона. Я буду стрелять с крошечного прибрежного островка. Островок почти голый, но на одном его крутом склоне растет несколько разлапистых сосенок, среди них можно укрыться от зорких глаз уток-старок.

Тяжелеет, скатываясь за туманные леса, солнце. Вот-вот прилетят утки. Ружье давно заряжено. Пальцы на курках. Бегут мурашки в застывших от напряжения ногах.

Полетели утки. Полетели. Во-он, далеко, над тихим морем, летят утки. Они летят низко, почти около воды. Но летят не ко мне.

И снова тягучее, напряженное ожидание.

В стороне глухо, раз за разом бухнула крупнокалиберная двустволка. И сердце облилось завистью к счастливцу. Ведь вот же какое неудачное место я выбрал. Ведь собирался же сесть на лесистой косе — как раз в том месте, где бухнула двустволка. Ну, невезучий же... Да разве...

Свистят над головой крылья. Кручу головой. Где? Да где же? Табунок уток. Вот он. И далеко уже. Но спохватываюсь, и, хотя отчетливо и холодно понимаю, что утки за выстрелом, паляю вдогонку. В белый свет. Как в копеечку. И замирает сердце: вдруг споткнется утка и, перевертываясь, шлепнется в воду. И, не удержавшись, стреляю еще.

Проходит напряжение. Снова вижу море, лес, солнце. Можно закурить. Вспоминаю давешнюю бухающую двустволку: у соседа сейчас тихо — пусть теперь он мне позавидует.

Слышу далекий голос Валентина:

— Есть — нет?

И Валентин заволновался. Я кричу что-то вроде «о-э», рассчитывая на то, что Валентин не поймет, а кричать снова не решится: могут налететь утки.

Но он, тоскуя, кричит:

— Есть?

— О-э, — глухо кричу я.

И снова тишина. Долгая, томительная тишина. Какая же все-таки черная штука — зависть. И никак люди не могут избавиться от нее. И Валентин... Ведь интеллигент, педагог. Мой друг. А вот зависть. Учить вас надо. И уже специально для Валентина и того соседа на лесистой косе стреляю из обоих стволов, раз за разом.

Умиротворенно я жду завистливых криков Валентина, но он молчит. То-то, думаю, так вас. И вдруг выстрел. Один. И через несколько долгих секунд другой. Как пить дать Валька утку срезал. А второй выстрел — подранка добивал. Я знаю. Первый выстрел влет, а второй — по подранку на воде.

— Есть? — напрягая горло, кричу я.

Но Валентин молчит. Похоже, что он утку сейчас из воды тащит. Потому и молчит.

Мне хочется сбегать к Валентину, посмотреть на его добычу, но с этого чертова острова не убежишь: до берега не так уж далеко, но проливчик глубокий, и вода холодная, осенняя. А лодка у Вальки.

— Есть? — кричу я снова.

Валентин что-то отвечает, но я не могу разобрать его слов.

— Что-о? — деревенеет шея от крика, и аж эхо гудит в хребтах. И опять не понять ответа.

Нет чтоб по-человечески ответить, посадил меня на этот проклятый остров, а сам уток бьет.

«Подожди», — думаю я мстительно. Теперь ты покричи, а я послушаю. Поднимаю стволы в небо и рву курки. «Ах! Ах-х!» — отозвались вода и лес. Вот так-то. И уже стреляя, нет, еще до выстрела, но когда его уже не предотвратить, вижу, как на меня, низко, совсем уже рядом, в двух десятках метров, летят утки. Красавицы утки свечой взмывают вверх, а я шарю на поясе и рву патроны из тугих гнезд патронташа.

Нет чтоб по-человечески ответить, — думаю я о Валентине и снова накаляюсь. Если бы он ответил как надо, да разве бы я стал палить в воздух? И уток упустил. А ведь мог бы сбить. Из правого ствола — первую, когда она мимо протягивает, а из левого — вторую, вдогонку. Мог бы.

А в награду не было даже криков Валентина. Он молчал.

Я раздумывал, не пальнуть ли мне еще, но услышал выстрел Валентина. И еще один. Может быть, он и продолжал стрелять, но я уже не слышал: ко мне, как во сне, как в замедленном кино, плыла по синему воздуху утиная стая. И еще раньше, чем поднять ружье, уже знал, что собью утку. Собью непременно. И, кажется, я медленно поднимаю ружье, медленно взвожу курок. Но и утки пролетели за это время совсем малое расстояние. И четко вижу ту утку, которую собью. Не слышу ружейной отдачи и лишь знаю, что утка сейчас упадет. И утка, налетев на невидимую преграду, перевернувшись в воздухе, тяжело шлепается о тугую воду.

Замедленное кино кончается: утки круто берут к морю и тотчас становятся за выстрелом. Но я не жалею: моя утка, снятая влет, влет, а не как-нибудь, лежит на воде. Она чуть покачивается на мелкой волне, и ветерок медленно гонит ее к моему острову. А пронесет мимо — тоже не беда: кончится зорька, и Валентин пригонит лодку. И теперь, если Валентин крикнет, я знаю, что ему отвечать. И отвечу с удовольствием.

И уже уверенно ожидаю новые стаи уток. И сам себе говорю, что волноваться и спешить не буду: подпущу утку на выстрел, вернее, пропущу над собой и потом прицельно — вдогонку. Но внезапно появляются новые заботы: моя утка ожила. Она подняла голову, осматривается. И намерена плыть явно не в мою сторону.

Нет уж, не выйдет. По неподвижной-то цели я не промахнусь. Поднимаю ружье и стреляю. Дробь хлещет по воде, где мгновение назад качалась утка. Но самой утки на том месте нет. Она исчезла, она нырнула за какие-то доли секунды до того, как по воде хлестнул дробовой сноп. Через несколько долгих секунд она показывается из воды целая, невредимая.

Торопливо стреляю из второго ствола. И опять дробь рябит воду, а утка на мгновение исчезает. Это уже черт-те что значит. Торопливо вгоняю в стволы новые патроны. Ведь еще мгновение — и моя утка уплывет, и поминай как звали. Прыгает, качается мушка ружья, рвут воздух выстрелы, вскипает вода под дробовой осыпью. Колотит в горло и ребра сердце, сохнет во рту. И стреляю, стреляю.

Шарит рука на поясе и замирает внезапно: последний патрон. И возвращается рассудок. Последний патрон. Есть патроны, но они на таборе. Кто же знал, что мне придется сегодня так много стрелять!

А утка невредима. Хотя нет, постой. Видно, какая-то шальная дробина задела ее, и, когда я спускаю курок у пустого ствола, она пытается нырять, но не может нырнуть.

Последний выстрел, и утка, подгоняемая ветерком, чуть заметно плывет к моему острову.

Все. Мне теперь не надо замирать в нервическом ожидании и высматривать в тускнеющей дали утиные косяки. Стрелять все равно нечем. Я выберусь из укрытия, сяду на выброшенный морем сосновый обрубок, буду курить и спокойно, умиротворенно смотреть на вечернее море, на пролетающих уток.

Я закуриваю, гляжу, как плывет и тает в чистом воздухе табачный дым, и думаю, что мне хорошо и спокойно. И что я сделал свое дело: расстрелял патронташ, добыл утку и вот теперь тихо и благостно смотрю на притихшее перед ночью море, на темнеющие облака, на размытый горизонт. Усмехаюсь, вспоминая давешние свои и Валентиновы крики, и немного жалею о пустой от зависти стрельбе. Сегодня вечером мы посмеемся у костра.

Но нет еще в мире спокойствия. Свистят крылья, появляется утиный табунок, и летит к черту вся благодать. Хватаю ружье, но тотчас вспоминаю, что оно пустое, и хочется его сломать, разнести в щепы, смять через колено стволы.

А утки летят близко, крупные кряковые утки. Это самые лучшие, самые крупные утки из тех, что я видел за сегодняшний вечер. И табунки летят часто.

Но на этом пытка не кончилась. Просвистел крыльями и безбоязненно шлепнулся в воду, неподалеку от моего острова, одинокий селезень-гоголь. Гоголь, видимо, славно провел сегодня день. Сытый и довольный, он плескался на мелководье, поправлял перья, потягивался крыльями.

Шарю по карманам, ищу хоть один завалявшийся патрон, но не нахожу.

Бухают ружья Валентина и того незнакомца на лесистой косе. Вздрагивает и обрывается мое сердце.

Оглушенный несправедливостью, смятый, сижу на острове и смотрю, как из розовой прорвы заката валом идут утки.

ПЕРЕД СЕЗОНОМ

Еще не успели привыкнуть к лету, а день, хоть и мало заметно, воробыным скоком, но идет на убыль. Чуть свежее стали утренники, чуть выпцвела зелень трав. Прогрохотал ливнями и громами, отпыхал огненными стрелами Ильин день — по давним традициям с этого дня заканчиваются летние купания.

Чем ближе к открытию ружейного сезона, тем неудержимее влечет в охотничий магазин. Вроде и дела там никакого нет, и все уже давно куплено к предстоящей охоте, а трудно удержаться, трудно пройти мимо магазина. Вообще-то магазин этот в селе не совсем охотничий, и на большой вывеске он значится как «Культимаг», но вместе с книгами, школьными тетрадями, детскими игрушками, телевизорами здесь продаются ружья, порох, дробь, рыбацкие снасти. И в той «мужской» части магазина покупатель сейчас, особенно по вечерам, многочислен. Здесь острее ощущается приближение праздника. Здесь все свои, все приятели. И пусть ты их раньше никогда не встречал, это ничего не значит: они, скорее всего, знакомые твоих знакомых. А если даже и нет, все равно близки тебе той родственностью, какой бывают близки друг другу люди, имеющие одинаковую страсть.

Подготовка к охоте, даже на самых дальних подступах, — это уже часть охоты, она столь же волнующа, как и охота. Для стороннего человека весь смысл утиной охоты видится в количестве убитых уток. Казалось бы, так оно и есть. Но вот, ей-богу же, совсем не так! Это, пожалуй, наименее радостная ее часть, даже несущая в себе горьковатый привкус. Хотя, понятное дело, без удачного выстрела всякая охота не охота. Это как горькая и жгучая приправа, без которой станет пресным и безвкусным блюдо.

И вот ноги сами несут нас с Валентином в охотничий магазин. Просторный деревянный дом, зеленый палисадничек, высокое, с широкими ступенями крыльцо. Тяжелая дверь. Люди. Гул голосов.

Ага, ружье вроде покупают. Так оно и есть, покупают.

Покупка ружья — дело для мужчины весьма серьезное. Пусть даже самого дешевого. В магазине такой человек появляется в окружении друзей и приятелей. Приятели тоже осознают важность момента: они торжественны и сдержанно веселы. И продавец сразу видит: эти купить пришли, а не только посмотреть да руками потрогать, и потому без всякого неудовольствия готов выкладывать на прилавок все новые и новые ружья, пока «главный консультант» покупателя не скажет: «Вот это берем».

В каждой компании, покупающей ружье, есть свой главный консультант. Это ему в первую очередь подается ружье, и вся компания будет нетерпеливо ждать, пока он не закончит детальный осмотр ружья и не скажет своего слова.

Главный консультант с достоинством берет ружье, прикидывает его вес на руке, долго смотрит в стволы на свет окон, пробует курки. И задумчиво молчит.

Жестом просит продавца подать ему новое ружье. И после долгих осмотров, сопровождаемых причмокиванием губами, вздохами, покачиванием головой и тихими словами вроде «м-да-а», «так-так», указывающими на глубокое знание консультантом предмета, он говорит веское: «Берем».

Долго сдерживаемое нетерпение его приятелей прорывается наружу. К ружью сразу тянется несколько рук. Завладевший ружьем проделывает почти те же манипуляции, что и главный консультант, только на причмокивания и покачивания головой у него нет времени: ружье отбирается другими жаждащими сказать свое слово.

А вообще-то в этом магазине все знатоки, каждый считает себя вправе дать совет. Такой уж это народ — охотники да рыбаки. Покупка ружья — праздник для присутствующих в магазине. И они уже сгрудились вокруг нового владельца ружья. Сейчас самое время поговорить о достоинствах и недостатках «тулок» и «ижевок», о старинных ружьях и ружьях будущего, да и вообще обо всем, что так или иначе связано с охотой. Купленное ружье уже идет по рукам собравшихся со всего магазина знатоков, и, когда владелец тянется к ружью — ему так еще и не удалось до него даже дотронуться, — ему, салаге среди продымленных у костров охотников, укоризненно говорят:

— Да ты чо, паря, не успеешь наглядеться на ружьишко? Оно ж теперь твое.

Почти всегда в толпе найдется сторонник старинных ружей, у которых и рои и кучность были не чета нынешним. Почти никто никогда не видел этих ружей, но некоторые слыхивать — слыхивали и разговор готовы поддержать.

— Было у меня такое ружье. Еще от деда досталось. Гуси, к примеру, идут далеко, а мне и заботы мало. Другие стреляют наобум Лазаря, а достать не могут, и не хотят понять, что не могут достать. Все равно палят. А я раз приложусь, так обязательно одного да выбью. А то и двух.

— Что-то не видел я у тебя такого ружья, — это голос из толпы.

— Потерял, а вернее сказать, утопил, — сокрушенно разводит руками рассказчик. — Век себе этого не прощу. Я бы то ружье на дюжину нынешних не сменял. Не делают сейчас таких ружей.

Рассказчик уходит. Его провожают десятки глаз. Как только за ним закрылась дверь, кто-то торопится сказать свое слово:

— Да кого ты слушаешь? Он с двадцати шагов не может в забор попасть, вот и придумывает про ружье, которое ему от деда досталось. Балаболка.

Завладев вниманием слушателей, новый знаток тоже начинает рассказывать о прекрасных ружьях, которыми ему когда-то приходилось владеть. У них были удивительные рои и кучность.

Я стою в толпе, и мне тоже хочется высказаться. Нужно сказать парню, купившему ружье, чтобы он не слушал всяких там дилетантов и не стремился приобретать ружье со сверхкучностью боя. Утятнику эта сверхкучность вообще не нужна. И даже вредна. А потом мне еще хочется сказать несколько слов о своем ружье. Кучностью оно великой не отличается и тяжеловато, но бьет — дай бог каждому. Надежное курковое ружье. Вот такие нужно приобретать.

Магазинное общество только на первый взгляд однородно.

Весьма условно его можно разделить на три группы. Они хоть и не отторгают друг друга, но держатся весьма обособленно.

Первая группа — молодежь, еще совсем зеленая, необлетанная, которая чаще всего и ружья-то своего пока не имеет. Но в них уже проснулась охотничья страсть. Они толпятся около тех прилавков, где выставлена всякая недорогая мелочевка: резиновые чучела уток, спиртовые плитки, ножи, топорики. Стоят, смотрят, спорят. И, как правило, покупают мало.

Вторая группа — народ уже вполне взрослый. Эти люди давно сами зарабатывают на жизнь, могут позволить купить себе многое. Один недостаток в их охотничьей судьбе — не могут бывать на охоте столь часто, сколько хотелось бы. Эти люди обитают в той части магазина, где продаются ружья, лодочные моторы, палатки, спиннинги. Смотрят, обсуждают. И покупают редко. Просто хотя бы потому, что у них есть все. Но им хорошо среди себе подобных, хорошо говорить о достоинствах и недостатках ружей. Вот и маются без дела около прилавков. И если в магазине появился настоящий покупатель, вторая группа спешит ему на помощь.

Есть и третья группа. Но ее люди долго в магазине не задерживаются. Деловито подходят к прилавку, покупают много дробы, пороха, пыжей. В разговоры ни с кем не вступают: с нами им, профессионалам, говорить не о чем. И эти люди вызывают невольное уважение: мастера.

А все-таки мне больше нравятся люди из второй группы. Общительные и веселые, по-детски хвастливые и самоуверенные. И самое их главное достоинство: они еще не потеряли удивления перед красотой земли, и всем близка охотничья страсть, от которой кровь становится горячей и гуще цветом.

У продавца в этом магазине на покупателя глаз наметан. Парень покупает дробь. Просит пару килограммов.

— Тебе тройку или четверку? — спрашивает продавец.

Парень молчит.

— Ну, какая у тебя дробь уже есть? Если тройка есть, тогда четверки свесим.

— Да никакой у меня еще нет, — покупатель разводит руками.

— Тогда сделаем так: половина тройки, половина четверки. Идет?

Парень мнется, сопит и неожиданно спрашивает:

— А какая это тройка? Покажите.

Продавец катнул на ладони десяток тусклых крупинок. Парень недовольно нахмурился.

— А крупнее у вас есть?

— Есть и крупнее. Вот единица, вот нолевка...

— Мне вот этой нолевки и дайте.

Общество рыбаков и охотников не выдерживает. Мужики давно прислушиваются к разговору парня с продавцом и чувствуют, что пора уже сказать свое слово, передать начинающему охотнику немного из своего богатого опыта.

— На уток готовишься? — спрашивают они парня.

Парень согласно кивает.

— Ну, дак куда ты эту нолевку — да еще три нуля — берешь? Тебе утка танк, что ли?

И дальше следует разъяснение, на какую живность какая дробь нужна. И все это говорится хоть и грубовато, но доброжелательно. И словоохотливо. Как-никак разговор идет на любимую тему.

Есть в магазине и свои знатоки теории. Здесь даже можно услышать такое: чтобы убить утку, нужно, чтобы в нее попало шесть дробин массой, равной одной двухтысячной массы утки, и со скоростью не менее двухсот семидесяти пяти метров в секунду. И сошлются на какой-нибудь солидный печатный источник.

Мы заходили в магазин с Валентином и сегодня. Продавец получил новую партию товаров. И среди всего разнообразия — манки на утку и рябчика. В магазине было очень хорошо: можно было давать советы, бесконечно показывать свое искусство и, главное, говорить о предстоящей охоте и вспоминать различные удивительные случаи из охотничьей практики.

Все манки на вид одинаковые, а голосами различны. Вот и нужно выбрать из великого разнообразия тот манок, голос которого, по твоему разумению, наиболее

точно передает голос птицы. Причем, на самца один манок, а на самку — другой, нежнее.

Магазин полон птичьими голосами. Только в этих голосах все-таки чуть-чуть не хватает правды.

— Но почему ты так рвешь первое колено? В начале ведь на самца надо свистывать так: «тии-тии», а потом уж «ти-ти-ти». Вот. Ну-ка, еще. Или дай-ка лучше я тебе сам покажу, как это делается.

И показывает. Хотя... хотя тоже фальшивит. Но даже от этих, не шибко взаврадавших голосов радостно на душе.

Скоро, очень скоро — открытие сезона.

ЗАТЕСЫ

Да и не заблудились мы тогда. Просто потерялась тропа и смешались ненадолго стороны света, как это бывает в вагоне поезда: будто едешь в другую сторону и никак от этого чувства избавиться не можешь, но пройдет время, и вдруг разом все встанет на свои места. Сколько лет прошло, а помнится вот... И помнись-то, в общем, нечего: так себе, пустячок, дымка, легкое головокружение. А помнится, помнится.

Другие бы дни должны в память врезаться; и хоть они не забылись, а вот не волнуют. Отчего так?

Ну, вот хотя бы это. В канун майских праздников перед ледоходом, потемну, переходили с одним мужиком речку, — то ли Чуну, то ли Бирюсу. Ночь темная, без луны. Единственный ориентир — неяркие подфарники ожидающей нас на том берегу машины. На их свет мы и шли. И сам теперь не знаю, как такое могло случиться: забрели впотьмах в странное место, и в какую бы сторону ни толкались, везде под ногами всхлипывала вода. Пытались и в обратную сторону, по своим следам идти, но и там оказалась вода. И уже затосковал я тогда...

Или вот еще. По весеннему льду перешли мы со старым другом Братское водохранилище, а широкие прибрежные разводья переплыли на резиновой лодке. Ночью вызвездило, ударил морозец, и разводья покрылись льдом. Лед был тонким, черным над глубинами, легко проламывался веслами. Когда я уже пробил дорожку чистой воды через все разводье, неожиданно налетел набравший разбег над ледяными полями ветер, круто развернул лодку и чиркнул ею о ножевую кромку молодого льда. Лодка охнула, враз скособочилась, и через сникший борт хлынула вода. А на мне тяжелая, почти зимняя одежда. Да и пловец-то я не ахти какой.

И этот случай, хоть и остался в памяти, а не волнует. А помнится, помнится и волнует другой день.

Тогда мы с Валентином впервые пошли в кедровую тайгу. Заключили договор на заготовку орехов и с самыми радужными надеждами двинули по незнакомой тропе. Шли налегке, без груза, не несли даже малых запасов еды. Еще по зимнику на базу, куда мы шли, были завезены продукты, и заключившему договор незачем было ломать себе хребет тяжелым рюкзаком. До базы хоть и не близко, но с пути, как нас наставили, сбиться трудно: нужно держаться горной тропы, по которой недавно прошли выючные лошади, и следить за тем, чтобы не уйти по какому-либо ответвлению тропы, где нет лошадиных следов.

Тропа и на самом деле оказалась вполне торной. Она неторопливо вилась с увала на увал и вела все дальше и дальше вглубь тайги. Временами следы лошадиных подков надолго исчезали, но потом как добрый знак появлялись вновь. И когда

мы уже изрядно устали от дороги и душевного беспокойства, — а все-таки по той ли тропе идем? — впереди поредели деревья, и мы вышли на небольшую вырубку. Посредине поляны желто светились новым деревом рубленые избушки. Избушки держались малой, но плотной ватажкой, и чем-то напоминали пробившееся из земли семейство опят. На таборе было застойно тихо, и лишь около приземистого амбара отыскался небритый мужик, назвавшийся приемщиком. Еще дорогой мы мечтали, что придем на базу, вручим ее хозяину договор, наберем на складе продуктов, устроим отдых, а завтра, со свежими силами, примемся за дело. Но небритый мужик отказался выдать продукты, на договор даже и не посмотрел и лишь длинно сплюнул, когда мы стали говорить о пунктах договора.

— Пустая тайга, — объяснил мужик. — Кедровка, почитай, всю шишку спустила. Мне орехи нужны, а не договоры. Если я по этим бумажкам буду продукты раздавать, то тюрьмы мне никак не миновать. Будут орехи — будут и харчи.

Дальнейшие разговоры о еде мы посчитали для себя излишними и с решительностью голодного двинулись в тайгу. Нам повезло. Вскоре мы отыскали кем-то брошенный колот, и вот с сочным чмоком врезались в мох первые тяжелые шишки. Этот кедрач на один раз уже был обмолочен, но на некоторых вершинах осталось немного шишек, а теперь они дозрели и падали от первых, даже не сильных ударов.

А к вечеру, взопревшие от непривычной работы, мы вернулись на базу и принесли два мешка кедровых шишек.

Пришел приемщик, посмотрел на нас долгим взглядом, сказал:

— А я, ребята, думал, вы из тайги вернетесь пустыми... Пошли на склад.

На складе мужик вел себя щедро: отвалил полрюкзак сухарей, не поскупился тушенкой, чаем и сгущенным молоком. Потом, в знак полного расположения, угостил куревом и попросил не думать о нем плохо.

— Были у меня случаи: наберет человек продуктов, а потом посмотрит, что в тайге нынче делов нема, и поминай его как звали. Хорошие шишкарки, которые здесь из года в год работают, и те, почитай, почти все ушли. А я вас увидел, про себя и подумал: и эти не работники, колот, поди, и тот правильно держать не умеют. Не люди еще, а так себе, студенты...

Таежными заработками мы избалованы не были — лишь бы харчи оправдать, и то ладно, — а потому решили остаться самое малое на пару недель: давно мечталось пожить в тайге, побродить по вольным местам.

— Дело говорите, ребята, дело, — поддержал нас и приемщик. — Тут один воздух чего стоит. Не то что в городе.

В первые дни, опасаясь заблудиться, старались не отрываться далеко от тропы, но постепенно освоились и посмелели. А потом ведь известно: чем дальше в лес, тем больше дров. И мы надеялись: есть где-то — пусть маленькие, крошечные — участки тайги, не тронутые шишкарками и кедровкой.

В тот день с первым светом, как обычно, мы ушли в тайгу. Весь день колесили по кедровникам, выглядывая на вершинах сохранившиеся шишки, а когда мешки основательно потяжелели и таскать с собой их стало несподручно, решили выйти к тропе, оставить там груз, а самим налегке побродить еще пару часов.

Тропу мы нашли быстро. Но что-то нам в ней не понравилось. Прошли немного и тут стали догадываться: не наша тропа. Наша тропа тоже не везде хорошо приметна, но больше набита, чаще перевязана корнями деревьев. А эта откуда взялась? Ведь сколько мы ни бродили в нынешней тайге, ни разу не натыкались на другую тропу. Чтобы не потерять голову, сели отдохнуть — покурить, а потом решили пройти по тропе с километр без груза для разведки: а вдруг это все-таки наша тропа. Но очень скоро убедились — не то: тропа пошла под крутой уклон и исчезла на каменной россыпи.

Вот тогда-то и смешались стороны света, не стало ни севера, ни юга, поплыл в голове легкий туман. В какую сторону идти? Но никакая сторона не звала, не было нам никуда дороги, будто кто-то провел вокруг нас незримый, но глухой круг, и тай-га вдруг разом показалась чужой и равнодушной.

Мы снова сидели около своего груза, курили, неспешно вспоминали день — в каком направлении шли, куда поворачивали, — но воспоминания ничего не давали, по-прежнему мы сидели в центре незримого круга, на котором не было ни пометок, ни ориентиров.

Время, звонкое и легкое в азартной работе, стало тяжелым и тягучим. Минуты наполнялись медленно и тяжело.

— Слушай, — сказал Валентин. — Мы тут неподалеку видели затесы. Давай посмотрим, куда они ведут. Хотя бы для того, чтобы не сидеть. Не понравится — вернемся.

— И то верно. Что-то делать надо.

Затесы не новые, оплыли смолой, но все-таки еще хорошо видны. Шли мы осторожно, не трогались от зарубки, пока взглядом не отыщем следующую.

А через полчаса мы вышли на тропу. Это, без сомнения, была наша тропа. Мы десятки раз уже ходили по ней. Вот даже в сырой выбоине между корнями следы наших сапог.

И разом все стало на свои места. Север? Да вот в той стороне. И юг, и восток есть. Все есть. И четко знаем теперь, до градуса, направление на наш табор. Разом нахлынуло это чувство светлого прозрения, радости и благодарности к тому, кто проложил эти затесы.

И вот все это помнится до сих пор, помнится и волнует. И видится картина: строй сосен и кедров, плотный, почти осязаемый свет предзакатного солнца ломится сквозь эту колоннаду, высвечивая затесы на деревьях. Хотя — стоп! — было ли тогда солнце? Ведь будь солнце — мы бы никогда не смогли потерять направление. Но все это теперь мне видится именно так: деревья и высвеченная солнцем, уходящая в глубину леса, яркая строчка путеводных затесов.

ГОРДЕЙ

Собачоныш похож, скорее всего, на рукав овчинного полушубка, вывернутого шерстью наружу. Когда Гордей — а Гордей — это его имя — спит где-нибудь около крыльца, то можно так и подумать: кто-то небрежно оторвал рукав полушубка и оставил его валяться на земле. Но стоит стукнуть калитке, как Гордей разом встрепенется, и станет видно, что это настоящая живая собака: с той стороны, где положено быть голове, торчит черный нос, да светятся на шерсти два горячих глаза.

Ростишку Гордей совсем никчемного. Настолько малого, что перебраться в лесу через старое упавшее дерево для него иногда просто непосильная задача. Как-то взял его хозяин в ближнюю тайгу — Валентин ходил смотреть, будет ли ягода, — и забрели они в старый буреломник. Хозяин ушел вперед, а Гордей замешкался около кучи хвороста, под которую спрятался полосатый бурундук. А когда спохватился догонять хозяина, то, в какую сторону ни кидался, везде встречал неодолимую преграду — поваленные деревья. Гордей пытался одолеть деревья в прыжке, но лишь срывался с их крутых и замшелых боков, а когда понял, что завалы ему не одолеть, — взвыл от тоски и обиды. Хозяин услышал вопль о помощи, вернулся и до самой дороги нес Гордея на руках.

И при всем этом Гордей не игрушечный, как, к примеру, болонки, вполне самостоятельный пес, со своим характером и, главное, чувством собственного достоинс-

тва. Даже зимой он остается жить на улице, сурово и гордо отказываясь ночевать в доме. Он не соглашается идти ночевать в дом даже в самые сильные морозы, когда с пушечным грохотом лопается лед на море, а воробьи, распушив перья, сидят по укромным местам, лепятся к дымоходным трубам и совсем не летают — в такой морозище на лету они могут замерзнуть.

Гордей живет весело. Даже прохожих облаивает весело, как бы для обоюдного удовольствия. Прохожий, услышав за спиной лай, обернется и, увидев лающий ружав полушубка, улыбнется и невольно задержит шаг.

— Ты чего это, малыш, сердиться? — спросит прохожий.

И Гордею как бы неудобно станет, что его не совсем правильно поняли. Конфузливо повернет он голову чуть в сторону и всем своим видом показывает, что он хоть и лает, но лает лишь для того, чтобы выразить свои хорошие чувства.

И если поймет прохожий собачоныша, то улыбнется ему, да так с улыбкой и пойдет дальше.

Попал Гордей в этот дом случайно. Как-то Валентин возвращался из Братска и опоздал на рейсовый автобус. До следующего автобуса оставалось несколько часов, и это скучное время ему волей-неволей пришлось провести на автовокзале. Вот тогда-то он и заметил забавного мохнатого собачоныша. Щенок болтался под ногами в людской толчее и явно маялся бездельем. И наконец нашел себе занятие. Два парня туристского вида сбросили свои объемистые рюкзаки около скамейки и отправились покупать билеты. И вот эти оставшиеся без надзора рюкзаки чем-то понравились щенку, и он решил их взять под охрану. Быть может, такие вещи, как пахнущие потом рюкзаки, ему были уже знакомы.

Вернувшись к рюкзакам, парни обнаружили около них грозного сторожа. Он свирепо кидался на всякого, кто слишком близко подходил к охраняемым вещам. Не отдал он рюкзаки и хозяевам. Туристы посмеялись, а ехать им, видно, было еще рано, и ушли по своим делам, теперь уже нимало не беспокоясь о сохранности рюкзаков. А когда пришло все-таки время уезжать, им пришлось выдержать целый бой с добровольным стражем. Обижать забавного малыша не хотелось, применять крутые меры было бы неблагородно, и пришлось туристам забирать свое имущество хитростью. Шли, вроде бы как прогуливаясь, и вдруг, схватив рюкзаки, кинулись в противоположные стороны. Людское коварство заставило щенка горько взвыть. Пока он метался то в одну, то в другую сторону — а за кем сперва гнаться? — грабителей и след простыл.

Валентин заговорил с щенком, погладил его кудлатую голову, и щенок, видимо, решил взять Валентина себе в хозяева, сел около его ног и больше уже не отходил. Он так преданно поглядывал Валентину в глаза, что тот почувствовал необходимость взять собачоныша домой, хотя и опасался, что Светлана этому может совсем не обрадоваться. И для таких опасений были все основания. Светлана, увидев, к примеру, потоптанную цветочную клумбу или собачьи следы на чистом полу, в сердцах ругалась и божилась, что не потерпит в своем доме больше никакой живности, а собак Ладу, Найду, кошку Дашку и всех их друзей терпит потому лишь, что давно к ним привыкла.

— Тебе, малыш, очень нужно хозяйке понравиться, — сказал Валентин щенку, когда они уже подходили к дому. — Твое благополучие сейчас зависит от женского каприза.

Но все обошлось как нельзя лучше. Светлана была на берегу, и Валентин пошел на берег. Щенок замешкался в кустах и появился над крутым обрывом, когда Валентин и Светлана уже разговаривали. Щенок еще никогда не видел столько воды, и теперь картинно застыл, удивленный и взволнованный необычным. Потом посмотрел на людей и приветливо тявкнул.

— Ах, какая прелесть, — восторженно сказала Светлана. — Это чей же такой славный песик? Я что-то ни у кого здесь такого не видела.

Валентин промолчал.

— Ты чей? — спросила Светлана щенка.

Щенок, поняв, что обращаются к нему, поднял невидимые дотоле ушки-локаторы, склонил кудлатую голову набок — весь внимание.

— Нет, Валя, ты посмотри, какая прелесть. Ты посмотри, какие у него глаза. Ну, просто чудо.

— Нравится?

— Ну, еще бы!

Светлана не почувствовала в вопросе мужа коварства.

— Я рад, — Валентин улыбнулся. — Ты даже не знаешь, какой камень сняла с моей души.

Валентин призывно посвистел щенку, и тот с готовностью подбежал, преданно блестя глазами.

— Познакомься, мать, с нашим новым членом семьи.

Светлана мгновение непонимающе смотрела на мужа и собачоныша, затем наступило прозрение, но рассердиться она уже не смогла и только сказала:

— Вы негодники и хитрецы.

А вечером щенок получил имя.

Освоившись в новом доме, щенок по незнанию нарушил одно из главных правил поведения в комнатах — стал пробовать на зуб хозяйкины туфли, — и Светлана в целях воспитания взялась за веник. Но щенок не чувствовал себя виноватым, наказание его возмутило, и он смело кинулся в драку. Удивлению и возмущению Светланы не было предела. А муж и дети были в восторге.

— Ишь, какой Гордей, — сказал Алексей Иванович, сосед Валентина. — С характером.

Вот с тех пор и стал щенок Гордеем. И для такого имени у него есть все основания. Правда, с хозяевами он больше не скандалит, проникшись к ним любовью, безграничным доверием и признав их верховную власть над собой, но во всех других случаях готов постоять за себя, в любой момент готов к драке. И, странное дело, даже самые задиристые деревенские собаки его не трогают. Вот и живет Гордей весело и безбоязненно, завоевав себе право на такую жизнь и всегда готовый защитить это право.

У Гордея целый день заполнен делами.

Ночевать пес уходит на улицу. Но под утро занимает наблюдательный пост против окон и, как только в одном из окон зажигается свет, кидается к двери. Ночному долготерпению приходит конец. Дверь он требует открыть немедленно, взвизгивает, царапает дверь крепкими когтями. На филенке наружной двери выцарапаны его когтями две широкие полосы.

Когда ему откроют, Гордей врывается в дом как после долгой разлуки, вихрем пронесется по всем комнатам. Ему нужно враз всех увидеть, враз всех поприветствовать. И если кто спит, Гордей стаскивает с него одеяло, стремится лизнуть в лицо. И родителям нет нужды будить детей. За них это прекрасно сделает Гордей. Сделает весело, дружески.

В доме хозяина Гордей дружелюбен со всеми. Даже с кошкой Дашкой, существом игривым и лукавым. При утренней встрече они вместе проносятся по комнатам, поднимают веселую возню, заражая всех бодростью и весельем. И к любому незнакомцу, стоит ему зайти в дом и заговорить с хозяевами, Гордей полон добродушия, хотя во дворе того же человека он будет облаивать, а если человек будет спорить, то может и укусить.

И с соседом, Алексеем Ивановичем, в доме они друзья. Хотя на улице кажется, — нет больших врагов. Алексей Иванович склонен к шутке, а иногда не прочь и просто подразнить забавного пса. Стоит им увидеть на улице друг друга, как Гордей тут же поднимает невероятный скандал, Алексей Иванович тоже не остается в долгу, — делает вид, что ищет на земле палку или камень, выкрикивает угрозы. И хохочет. Вдоволь наругавшись, довольные собой и друг другом, Алексей Иванович и Гордей расходятся по своим делам. И так до следующей уличной встречи. Но это только на улице, а в доме они полны друг к другу доверия и радушия.

А вообще-то у Гордея, можно сказать, нет врагов. Разве что кошка Матильда из соседнего дома. Но дружит он только с людьми. Даже с собакой Ладой, живущей с ним в одном дворе, отношения дружественного нейтралитета. Такие же у него отношения и с приятелями Лады. Правда, с соседским псом Пронькой все обстоит несколько по-другому. Когда Пронька, крупный и решительный пес, гуляет на свободе, Гордей его как бы не замечает. Но очень часто Проньку за его безалаберный нрав держат на цепи. Тогда Гордей устраивает для себя развлечение: идет дразнить Проньку.

Когда Пронька на цепи, он на службе, сторож, и на каждое новое существо, появившееся в ограде, глядит с подозрением. Лохматый Гордей с невинным видом появляется во дворе, смотрит на сторожа, затем берет оброненное курицей перо или, на худой конец, щепку и исчезает за забором. Пронька урона хозяйству потерпеть не может, громыхает цепью, возмущенно лает. Гордей появляется снова и теперь уже подбирает щепку ближе к Пронькиной будке. Возмущению и ярости сторожа нет предела. И только цепь не дает ему возможности оттрепать нахала. Но, если Проньку, даже через несколько минут, отпустят с цепи, он совсем не стремится разделаться с обидчиком, а дружелюбно машет при встрече хвостом. В веселые минуты Валентин говорит, что, быть может, Пронька даже по-своему благодарен лохмачу: как-никак он в этот момент чувствует себя при деле и может явить хозяевам свое служебное рвение.

Но все это для Гордея возможно, так сказать, только в свой час потехи, в свободное время. А главное дело дня — провожать и встречать с работы обитателей дома. Занятие это многотрудное, а главное, — хлопотное. Хотя и несет в себе много радости. Обычно раньше других уходит хозяин — его надо проводить. А тут и хозяйке подходит время идти на уроки. А тут и Ольге с Димкой в школу собираться. Но главная радость впереди — встречи. Сколько расставаний — столько и встреч.

Как-то пришлось услышать разговор Валентина и одного все знающего про жизнь человека.

— Ну зачем тебе такая собака? Кормить только? По мне, так лучше держать поросенка.

И человек стал приводить хозяйственные выкладки в пользу поросенка. И все у него выходило точно и обоснованно.

— Когда понадобится поросенок, я непременно его заведу, — пообещал Валентин, и тем самым прекратил бесполезный разговор.

В летние вечерние часы, когда мир наполняется тишиной и покоем, хорошо усталому посидеть на ступеньках крыльца. И Гордей знает: не надо в этот момент тревожить людей. И все-таки псу как будто бы интересно: почему они молчат, о чем думают? Гордей усаживается напротив и глядит терпеливо и заинтересованно. Голова склонена набок, и одно ухо поставлено торчком.

— Гордей, — негромко окликает его Валентин.

И Гордей весь внимание: голова высоко поднята, уши — топориком, в умных глазах загораются радость и веселье.

ЕГЕРЬ КОЛЯ

Быть егерем — дело серьезное, нередко опасное и требует смелости. Это, конечно, если быть им по-настоящему. И потому выносливость и весь вид егеря, умеющий внушить уважение, если не к закону, то к силе, — вещь в тайге далеко не последняя. И когда Валентин сказал, что сегодня к нам придет егерь, очень хороший и серьезный мужик, я приготовился увидеть таежника с продубленным у костра лицом, человека решительного и почему-то непременно хмурого.

В назначенное время егерь не пришел, лишь заходил чистенький беловолосый мальчик в аккуратном, тщательно отглаженном костюме. Мальчик спросил Валентина Федоровича и, узнав, что тот должен скоро быть, ожидать все-таки не стал, пообещав зайти снова.

У меня к егерю был свой корыстный интерес. На бруснику, да и на другую лесную ягоду год не выдался: летние заморозки побили цвет. Километры можно было идти по сплошным ягодникам и — пусто. Лишь в редких местах брусничники дали небольшой урожай. Уж кто-кто, а егерь знает эти места.

Беловолосый мальчик где-то в устье повстречался с Валентином, и они пришли вместе. Валентин был радостно возбужден, цвел улыбкой и еще от ворот закричал:

— Собирайся. Через два часа нам всем бутором на берегу нужно быть.

Валентин тут же стал стаскивать на прогретое солнцем крыльцо наше походное снаряжение, разбросанное еще с прошлой поездки под навесом, в кладовке, в сенях. Сколько раз мы думали навести в своем хозяйстве порядок, но как-то все не получалось. Из комнат Валентин принес ружья и патронташи и лишь тогда, спохватившись, сказал:

— А я ведь вас и не познакомил. Это егерь, о котором я тебе рассказывал. А это, — он посмотрел на меня. — О нем я тоже рассказывал.

Мальчик протянул руку, назвал себя Николаем. Но это взрослое «Николай» мало подходило ему, жило как бы само по себе, отдельно, не сливаясь со своим владельцем. Уж слишком он был юн, по-детски светел и застенчив. Вот Коля — это еще куда ни шло. Так оно, пожалуй, правильнее будет.

Поездка предполагалась не такая уж близкая: пройти по водохранилищу до самого подпора, а там до Линевого озера, связанного с большой водой узким ручьем. Те места мне немного знакомы: несколько лет назад мы с Валентином провели на озере чуть ли не половину отпуска. Там была хорошая рыбалка, а в богатых ягодой сосновых лесах во множестве держались рябчики и глухари.

Когда-то сборы на охоту или рыбалку занимали у нас совсем немного времени, и походное снаряжение было необременительным: ружье, патронташ да тощий рюкзак с харчами и котелок. Но со временем, когда Валентин обзавелся лодкой и появились спальные, моторы, канистры с бензином, весла, запасные портянки, различные котелки, наборы гаечных ключей, пробковые жилеты, палатка, бинокль, топор, сборы стали весьма серьезным делом. Вот тогда-то и появилось и неуклюжее слово «бутор», которым Валентин стал называть походный скарб. И мы едва уложились со сборами в отпущенные нам два часа.

На берегу, около лодок, куда мы с Валентином тяжело притащили весь наш груз, сидел егерь Коля. Свою лодку он уже столкнул на воду и, видимо, ожидал нас давно, но не мучился ожиданием и ничегоделаньем, сидел и спокойно, как из окна своего дома, смотрел на далекие берега.

А в облике егеря произошли удивительные перемены. Тот Коля и не тот. От тихого и застенчивого беловолосого мальчика в нем не осталось и следа. Навстречу

нам поднялся ладный парень, костистый, чуть резкий в движениях. И силенка у парня, по всей видимости, есть: играючи принял тяжелые канистры с бензином, помогая нам освободиться от ноши.

Я не сразу и сообразил, почему он показался мне враз возмужавшим и повзрослевшим. А потом понял. Коля, ставший сразу Николаем, всего-навсего надел свою старую полинявшую солдатскую форму. И видно было, что свою: выгоревшая под солнцем, пообтертая на коленях и локтях, изъеденная на спине и под мышками солью, форма привычно и ладно сидела на парне. И выглядел он эдаким бывалым и бравым солдатом. Да он, в сущности, и был им. В этом я потом постоянно убеждался в течение всей недельной поездки.

Меня всегда удивляло маленькое чудо превращения недавнего подростка в солдата. Этого подростка порой и язык не поворачивается парнем еще назвать, но ушел человек в армию, вернулся на побывку, и не узнать его: серьезный, надежный мужик. И повзрослевший сразу на пять лет. Правда, снимите с него солдатскую форму — и снова перед вами мало в чем внешне изменившийся парнишка. Но это — только внешне.

На берегу было свежо, гулял ветер-верховичок, пошумливал вершинами деревьев, гнал по водохранилищу волну. Короткая волна надоедливо колотилась о берег, о дюралевого бока лодок, вздымалась и опадала над бревнами — остатками старого плота. Две стрекозки, бесполезно летающие в поисках комаров над самым урезом воды, устали трепетать блестящими на солнце слюдяными крыльями и позволили ветру унести себя в более тихое место.

Николай назначил нам встречу на каком-то мысу, названия которого я так и не запомнил, прыгнул в лодку и, торопливо работая веслом, как шестом, оттолкнулся от берега. Мотор на его лодке завелся с первого рывка, и лодка, описав полукруг, стремительно понеслась к размытому легким туманом горизонту.

— А чего это мы не вместе пошли? — спросил я Валентина.

— Ему еще в заказнике надо побывать. А потом, чего ему рядом с нами тащиться? Смотри, как он идет.

На море волна хоть и не очень крутая, но для «Казанки», на которой шел Николай, вполне ощутимая. Но егерь дал мотору полные обороты, лодка перешла на глиссирование и вся в белом окружении коротких фонтанов легко летела по гребням волн.

— Отчаянный мужик.

— А как иначе. Работа такая. Будешь другим — браконьеры не станут бояться. Я вот знаю одного мужика из рыбнадзора, так он, веришь ли, на «Казанке» под мотором «Вихрь» на всем ходу перелетает через боны.

— Как это? — не поверил я.

— Мне тоже трудно представить, — Валентин согласно кивнул. — Но рассказывал мне человек, которому можно вполне верить. В общем, рыбинспектор увидел браконьера, когда тот вынимал из воды сети. Далеко увидел, в бинокль. Браконьер спокойноенько выбрал сети — надеялся на скорость своей лодки — и наутек. Инспектор за ним. Чтобы сократить расстояние — вынужден был прижаться к берегу, а тут боны. И он не стал их обходить, а напрямую... И вообще-то, видимо, возможно такое. Нос лодки поднят, в воде только корма. И скорость, конечно. Ну, и смелость нужна.

Вслед за Николаем тронулись в путь и мы. На этот раз мы плыли на «Прогрессе», лодке для наших мест вполне подходящей: и на волне хорошо себя ведет, и довольно-таки просторная лодка, и не так уж тяжелая. От ветра, от дождя, от брызг всегда можно укрыться под тентом. Мы так и сделали — подняли тент: едва отошли

от берега, как косая волна, бьющая в правую скулу лодки, сделалась круче, и нас стало окатывать тяжелой холодной водой. Под тентом сразу стало тихо и уютно: ни ветра, ни воды. Как-то там наш Коля-Николай.

Через полчаса хода ветер еще больше посвежел, и если на «Прогрессе» еще можно было продолжать идти, то Николай, конечно, должен уже поспешить к ближайшему берегу и переждать непогоду.

В назначенное место мы прибыли с опозданием чуть ли не на час: при такой волне быстро не разбежишься. Еще задолго до подхода заметили на мысу дым костра. Вначале подумали, что это кто-то из рыбаков пережидает непогоду, но подошли ближе, Валентин глянул в бинокль и уверенно сказал:

— Николай это.

— Шутишь?

— А чего шутить. Сам посмотри, — Валентин сунул мне в руки бинокль.

— Очевидное — невероятное.

В бинокль было хорошо видно: у костра на бревнышке сидит егерь Коля и смотрит в нашу сторону. Над огнем на таганке висит котелок. Вот Коля встал, прихватил рукавом котелок и отставил в сторону.

Николай встретил нас у самой кромки воды, помог вытащить нос лодки на берег. Хоть и не промерзли мы, а сразу же потянулись к костру: есть в костре какая-то удивительно притягательная сила.

— А я уже и чай вскипятил, — сказал Николай.

— В заказнике-то не удалось побывать? — спросил Валентин.

— Почему не был? Был.

— А волна?

— Плыть можно.

Мы попили чаю и поплыли дальше. Николай снова на большой скорости ушел вперед. И было чуть тревожно и радостно смотреть, как, сбивая верхушки волн, летит по серому от беспокойства морю стремительная лодка.

Перед вечером, когда мы снова вместе причалили к берегу для отдыха и разговора и уже вслух стали подумывать о месте для ночлега, повстречали двух охотников. Что это охотники, не было и сомнения: из-за борта лодки высовывались ружейные стволы, а в носу лодки сидела пегая собака с большими висячими ушами.

Водохранилище в этих местах уже сильно заузилось и напоминало, скорее, широкую реку с крутыми поворотами. Правда, течение и здесь еще не ощущалось. Вначале мы услышали два далеких выстрела, Николай насторожился и хотел было уже плыть в ту сторону, но снова раздались выстрелы, и уже ближе к нам. Стало ясно: кто-то на лодке плывет и на ходу по уткам стреляет, чего делать, по правилам охоты, никак нельзя. А вот они и сами, охотнички-браконьеры. Хотя, это я уже знаю, — никакого обвинения им за стрельбу с нагоном никак не предъявишь: мало ли кто, дескать, там за поворотом стрелять может.

Николай оттолкнулся от берега, махнул охотникам, чтобы те остановились, но они не очень-то поспешили заглушить мотор, и егерь резко пошел им наперерез. Чтобы не оставлять товарища одного в таком деле, поплыли следом за егерем и мы.

Николая я не узнал: строгий, непреклонный и предельно вежливый. Охотники послушно предъявили документы и ружья для осмотра. А потом сосредоточенно-молчаливо смотрели, как егерь пишет акт: у охотников не оказалось путевок, а один из них даже забыл дома охотничий билет.

Мужики явно нарушали правила охоты, но наряду с раздражением я почувствовал к ним что-то вроде жалости: оказывается, очень неприятно встречаться вот в такой ситуации с егерем. А потом, скорее всего, я невольно представил себя на их месте: у меня дома есть незарегистрированное ружье, которое я нет-нет да и брал с

собой на охоту. И пока все у меня обходилось благополучно, но, как понял, до поры до времени. Подойдет ко мне когда-нибудь егерь, протянет руку и заберет то ружье, с которым мне расставаться как раз не хочется. И ничего не поделаешь — отдашь. Не драться же.

Потом я спросил Николая, не приходилось ли ему разговаривать в подобных ситуациях на высоких тонах: ведь далеко не все нарушители бывают вот такими выдержанными. А ведь встречаются и просто откровенные браконьеры. И к тому же, как я думаю, на вежливость сегодняшних охотников влияло и наше с Валентином присутствие. Чаше-то всего егерю приходится бывать одному.

Николай ответил серьезно.

— Когда с человеком разговариваешь вежливо, то и он с тобой разговаривает вежливо. Правда, бывает, что иной, когда у него ружье забираешь, в крик ударится, горлом и угрозами пытается взять, но остывает, как правило, быстро. А нам, егерям, в крик ударяться совсем ни к чему. Так что, покупатель и продавец, будьте взаимно вежливы.

Николай помолчал немного и добавил:

— А вообще-то всякое в нашей работе встречается.

К вечеру Николай привел нас в один из заливов и сказал, что, если место понравится, то здесь можно остановиться и на ночлег. И вправду, место лучше трудно придумать: высокий, но полого сбегаящий к воде берег, сухая полянка, укрытая почти от всех ветров чащобой и зеленым подлеском, обилие дров. Залив оказался ко всему и рыбным: за каких-нибудь двадцать минут мы на одну удочку надергали полосатых окуней на добрую уху. По давней привычке, окуней мы побросали в котелок нечищеными, только вспороли и выпотрошили брюшки, и уха получилась особо крепкая, душистая.

Ночевать мы с Валентином решили в лодке, а Николай отказался последовать нашему примеру, сказав, что ему привычнее спать на земле у костра. Быстро и как-то по-домашнему буднично егерь устроил свой ночлег: натаскал лапника под бок, укрепил брезентовый полог. Время было раннее для сна, только еще стемнело, и у огня хорошо сиделось и говорилось. Ночь наступила светлая, лунная; лунная дорожка через весь широкий залив; иногда между лунной дорожкой и луной мелькали быстрые тени и раздавался посвист крыльев: поздние утки спешили на ночлег.

Сегодня мы несколько раз выходили на берег, но брусники так и не нашли. Ягодники стояли пустыми. Лишь на одном из обращенных к юго-западу склонов нашли бедную россыпь брусники: ягода была мелкая и какая-то словно подсушенная. А ведь иной год в лесу ступить от ягоды некуда, везде она.

Завтра Николай предполагал добраться до какого-то дальнего угла и посмотреть там. На этот угол у егеря была, по его словам, большая надежда.

— Должна быть там ягода, должна. Надо, чтоб была.

О чем и говорить: надо, чтоб была. Иначе для некоторых лесных обитателей не шибко сладкие времена настанут. Хоть и не дойдет до того, что ложись и помирай, а все равно близко к тому. Кому-кому, а Николаю это хорошо известно.

Когда мы плыли сюда, Валентин мне много рассказывал о Николае. Рассказывал самыми добрыми словами. Отслужил в армии. Заочно учится на охотоведческом отделении сельхозинститута. Парень довольно-таки смелый и решительный. Тайгу и дело свое любит. Из тайги не сбежит. И похоже, что в этих местах крепко осесть намеревается.

— Это еще как сказать, — попытался я возразить Валентину. — Вот окончит институт и уедет. Как знать наперед?

— Да нет, не должен бы уехать. Когда человек дом строит — он, значит, и жить здесь собирается. А Николай дом строит. И хороший дом, не какую-нибудь

временку. Знаешь, что мне еще в Николае нравится, так это какая-то надежность, основательность.

К утру земля уже крепко настывала, а тут еще свалился на воду и землю мозглый туманец, и нам с Валентином никак не хотелось вылезать из теплых спальников. Но от костра весело кричал и звал пить чай Николай, и мы, зная, что путь у нас сегодня не близкий — во многих местах нужно побывать, — с неохотой полезли из мешков.

Хоть и не развеялся еще туман, но Николай решил плыть. Он торопливо пил чай и перечислял, где нам сегодня нужно побывать и что сделать. У Валентина были свои планы: с утра ему хотелось побродить по лесу в поисках глухарей — и потому он предложил вечером назначить встречу в каком-нибудь знакомом месте. А днем каждому заниматься своим делом. Неожиданно для себя я сказал, что не прочь бы поехать с Николаем: захотелось хоть на день оказаться в роли егеря, испытать, что это значит.

Мы с Николаем сели в лодку, и Валентин оттолкнул ее от берега. После сухого жара костра на воде показалось сыро, стыло и неудобно. Туман рассеялся еще далеко не полностью, и берега просматривались плохо, как в густые сумерки. Егерь прогрел мотор; мотор набрал силу, и лодка, едва касаясь воды, понеслась сквозь туман. Крепкий ветер рвался навстречу, били из-под лодки белые водяные снопы, летели мимо клочья тумана.

Начинался день.

СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ ВАРГАЛИК

На рыбалку близ деревни, где живет Валентин, грех жаловаться. Приходилось ловить и окуней чуть ли не в килограмм, и щуки, бывало, обламывали кованые крючки, и с сигом знакомы не понаслышке, но временами нет-нет, да и подумывалось, — не то! А ходили среди местных рыбаков туманные и прекрасные слухи о далеком острове Варгалике, этаким рыбном Эльдorado, до которого плыть за три голубых многокилометровых плеса, за два скалистых сужения. Там не щуки, а голодные крокодилы, там вода кипит от рыбьих стай, там... Там так хорошо, что лучше и не бывает. Но — далеко. Так далеко, что на слабом моторе нечего и помышлять об этом сказочном острове.

Но когда деревенские рыбаки стали обрастать солидной техникой, Валентин не выдержал и привез из магазина двадцатисильный «Вихрь».

— Зверь, а не мотор, — сказал Валентин, оправдываясь перед Светланой за незапланированную четырехсотрублевую покупку. — Теперь хоть за сто верст плыть можем.

Новая техника, новые возможности. Далекое стало близким. И, конечно же, первым делом решили плыть на Варгалик. Занятия в школе кончились, свободного времени у Валентина появилось сколько угодно, и плыть было решено самое малое на три дня. К случаю приехал из Братска родственник Валентина по имени Виктор, молодой толковый инженер, хорошо знающий лодочные моторы, и можно было уже не бояться, что зверь-мотор дорогой закапризничает, и придется добираться на весах.

Нашелся и еще один попутчик. Узнав о сборах на Варгалик, забеспокоился, затосковал и побежал по начальству за разрешением на отгулы сосед Валентина Володя. Володя — мужик что надо. И мастеровой, владеет чуть ли не десятком добрых специальностей, и безотказный трудяга, и заядлый рыбак. Правда, рыбак

он несколько своеобразный: полностью отрицает спиннинг и признает только ловлю на «мормышку». Хотя это никакая не «мормышка», а обыкновенное отвесное блеснение. Но Володя упорно говорит: на «мормышку». Есть у Володи и еще одна, необычная для рыбака странность: он совершенно не умеет плавать, никогда не купается, да и вообще панически боится воды. Его нельзя заставить войти в воду даже по пояс. И объяснение всему тоже более чем странное: Володя считает, что от воды у него по всему телу могут пойти прыщи. Эта боязнь — самая удобная мишень для шуток у вечерних костров.

Который уже раз мы с неподдельным изумлением обнаруживали, что с появлением большой лодки обросли громадным количеством походных вещей. Когда-то, собираясь на болота или в тайгу с двумя-тремя ночевками, нам было достаточно небольших рюкзаков, а теперь, чтобы перенести в лодку все необходимое, всем пришлось делать по две ходки с нелегким грузом. Один мотор и канистра бензина заставляли человека гнуться в коленях. А этих канистр «зверю» нужно далеко не одну. Мотор прожорлив — десять литров горючки на час работы. Груз возвышался над дюралевыми бортами лодки.

Но вот и поехали. Мы втроем устроились поудобнее среди канистр, рюкзаков, спальных мешков и черт-те знает еще каких вещей, оставив Виктора на корме сражаться один на один с малознакомым еще мотором. «Вихрь» угрожающе ревел в уши, рвался из рук и требовал к себе излишнего внимания. Срывая от крика голоса, вспоминали вежливую и послушную «Москву», ругали новый мотор и... восхищались скоростью. Уж на что лодка перегружена, а такая скорость нам дотоле не была знакома даже на легонькой фанерной «Маринке». За каких-нибудь тридцать-сорок минут добежали до первого сужения, бывшего Бычковского порога. К нему пробиваются среди скал многочисленные ручьи, тысячи лет вода точила камень и проточила глубокие, с отвесными стенами ущелья. Когда же образовалось море, вода поднялась и затопила эти ущелья, образовав одну из достопримечательностей Братского водохранилища — фьорды.

Пожалуй, только на воде и в лесу просыпается в душе давно погребенная под ворохом забот детская непосредственность и заставляет радоваться самым необыкновенно-обыкновенным чудесам. В одном из фьордов жило двойное эхо. Как оно там получалось, но эхо звонко и чутко откликалось на голос и, несколько помедлив, откликалось еще раз. Самозабвенно и счастливо кричали мы, и каждый раз эхо с дружеской готовностью дважды повторяло наш крик.

— Кто украл хо-му-ты?

— Ты-ы!.. Ты-ы! — веселилось эхо.

После Бычковского сужения начинались для нас неизведанные края: никогда прежде не забирались мы дальше этих мест. А скалистый и чуть мрачный коридор вскоре кончился, разошлись берега, впереди, насколько хватал глаз, отливала на солнце летней синью водная гладь. И лишь далеко-далеко угадывался размытый расстоянием лесистый горизонт. А плыть куда? Где-то там, на северо-востоке или на северо-западе, а может быть, еще в какой другой стороне, должно быть новое сужение. Но как угадать в него? Да к тому же любой залив может нам показаться сужением, а по иному заливу, как мы знали из опыта, можно пробежать десяток-другой километров, пока разберешься.

Благо, с собой захватили бинокль, и теперь мы по очереди обшаривали горизонт в надежде ухватиться хоть за какой-то ориентир. И когда мы изрядно помучались, вдруг кто-то разглядел в бинокль бакены, указывающие дорогу.

И как мы их сразу не разглядели, да и вообще, как не догадались, что здесь непременно должны быть бакены, створные знаки? Плохо же быть неграмотным.

Но теперь-то мы знали, что нам делать и как плыть. Уверенно ревел мотор, перед носом лодки вздымались высокие водяные усы, летели навстречу разделенные узкой полоской горизонта голубое небо и голубая вода. Довольно быстро мы вошли в следующее сужение, прошли его и вылетели на просторы нового многокилометрового расширения, того самого, где и должен находиться, по рассказам, остров Варгалик. Только где он — не знали. Не помогал и бинокль: низкие острова сливались с берегами. Тут уж никак не обойтись без расспросов. Только вот беда — спросить некого. А хотя, как некого? Вон, километрах в пяти-шести что-то вроде движется. На ходу даже в бинокль трудно разглядеть, но все-таки стало понятно, что плывет нечто большое: или катер, или баржа. Делать нечего, надо гнаться за баржей, иначе как узнать, где здесь дорога на Варгалик.

Мы еще не привыкли к скорости мотора, и поэтому были необычайно удивлены, когда перед нами вдруг показалась баржа. Хотя и никакая это не баржа, а самый настоящий дом. Двускатная тесовая крыша, окна, на окнах белые занавески. На крыше люди загорают. И только подъехав совсем близко, разглядели прилепившийся к дому крошечный катерок. Видно было, что катерок напрягает все свои силы, как говорится, из кожи лезет вон, и хоть медленно, а тащит махину за собой. Кто такие?

Ах, вон оно что: плавучая районная поликлиника.

— Не скажите ли, — кричим мы медикам, — где здесь остров Варгалик?

У медиков, видно хорошее настроение.

— Мало того, показать даже можем. Пристраивайтесь за нами — мы на этот самый остров плывем.

Но нам, вкусившим сегодня на новом моторе чуть ли не космические скорости, ждать совсем не хочется. Тем более — там такая рыбалка!

— Ну, если спешите, — прокричали нам, — то плывите прямо по курсу, и километра через четыре будет этот самый Варгалик.

Люди в дороге обычно становятся любопытными, и, видимо, потому мы не удержались от вопроса:

— А вы зачем на остров плывете? Ведь там некого лечить.

— Теперь, по всей видимости, будет кого лечить, — многозначительно ответили с крыши. — Все нормальные люди знают, что завтра воскресенье. И даже поликлиники в воскресенье отдыхают.

— Мы в отпуске, — ответили мы заносчиво. — И нам совсем нет нужды знать, какой будет завтра день недели. И оставьте, пожалуйста, свои намеки.

И мы снова помчались. Но уже дорогой сообразили, что сегодня нас вместо тишины, рыбацкого уюта, спокойного ночного костра ожидает времяпрепровождение в обществе людей, приехавших на пикник. Но раздумывать и огорчаться было уже некогда: по курсу лодки во всем великолепии вырастала мечта последних лет — остров Варгалик.

Мы дали вокруг острова круг почета, осмотрели его со всех сторон, и лишь потом с душевным замиранием приблизились к берегу.

А остров был действительно прекрасным. Когда-то вокруг него росли березовые рощи, и теперь, оказавшись в воде, березы во многих местах образовали труднопроходимые завалы — утайные и кормные места для окуней и щук. Около острова — теплое мелководье с травяными зарослями, крошечными островками, а где-то в сотне метров от берега начинались темные глубины. Разве можно что-нибудь придумать лучшее?

И охватило вдруг великое нетерпение испытать рыбацкую удачу. В спешке, словно спасая тонущую лодку, выкинули вещи на берег и, схватив рыболовные

снасти, отчалили. Мы взялись за спиннинги, а Володя приготовился ловить на свою излюбленную «мормышку».

Сделал первый пробный заброс и только начал проводку, как почувствовал резкий толчок, и на леске заметался крупный окунище. Тащил окуня к лодке и видел, как целая стая полосатых разбойников гонится за удачливым собратом, первым изловчившимся схватить блесну. Укалывая пальцы об острые плавники, снимаю с тройника рыбу и делаю новый, совсем короткий заброс. Хорошо видно, как окуни стаяй кидаются на блесну, но возможность повиснуть на крючке имеет всего лишь один. Еще заброс и еще. Некоторые смельчаки, увидев, что блесна уже занята, пытались проглотить грузило, но всегда неудачно, и с высоты борта срывались в воду.

Вскоре под лодкой собрались сотни окуней. Некоторые из них хищно шныряли в поисках обманувшей их блесны; другие, сбившись в плотные стаи, стояли, затаившись, приготовившись для броска. День солнечный, безветренный, и тихая вода просматривалась до самого дна. Удивительно интересно смотреть, как развиваются события под водой, но — некогда. Азарт глушит все другие помыслы.

Володя привязал на леску сразу две блесны, и не успевали они скрыться под водой, как два горбача засекались на острых крючках. Как обычно, при сильном волнении Володя затих, чуть побледнел и лишь изредка ухал.

Виктор, поймав несколько окуней, и уверенный, что улов сегодня обеспечен, начал экспериментировать. Прицепил к грузилу крючок — стал ловить по два окуня. Начал менять блесны, брал безнадежные, от которых в других местах рыба шарахалась в сторону, — варгаликские окуни не хотели признавать никаких ограничений, с восторгом заглатывали самые бездарные приманки. Стал кидать как можно дальше от окуневого скопища и вдруг почувствовал тугий толчок, будто бы блесна зацепилась за подводный топлячок. Щука! Это уж определено. Ее поклевка во многом отличается от окуневой. Окунь обычно рвет, мечется из стороны в сторону, а щука упорно и со все усиливающимся напряжением тащит блесну в глубины.

Мы мгновенно забыли о своих снастях и с затаенной радостью стали смотреть на развернувшуюся борьбу. Тонкая леска, рассчитанная на окуня, звенела от напряжения и, казалось, вот-вот лопнет. Но Виктор рыбак опытный, выводит осторожно, не тащит рыбу к лодке напролом, — выматывает. Но вот щука уже рядом, нужно, чтобы кто-то пришел на помощь, и Валентин взял сачок. Он ловко подхватил щуку сачком, торжествующе поднял над водой и... Ручка у самого основания сачка ломается, леска от резкого удара рвется, и щука вместе с сачком начинает медленно тонуть. Мы, еще не осознав толком потери, ошарашено перевесились за борт и следили, как добыча медленно уходит под воду. Очнулись как от толчка, пытались достать щуку руками, потом спиннингами, веслом, но каждый раз не хватало каких-нибудь нескольких сантиметров. Сбросив одежду, стали нырять. Бесполезно. Лишь разогнали всех окуней.

Не любит рыбак, когда добыча, которая, можно сказать, уже побывала в руках, теряется вот таким образом. Если бы щука просто сошла с блесны, то бог с ней, это ее удача, а тут совсем другое дело. Не выбраться ведь щуке из сачка, все равно пропадет.

Молча вернулись к прерванной рыбалке, и долго еще смутное чувство вины сосало душу, лишало удачную рыбалку многих ее прелестей. И, может быть, прошло не меньше часа, прежде чем разморозились лица моих товарищей, и в лодке снова ожили шутки, смех, азартные восклицания.

Пока мы возились со щукой, а потом приходили в себя, к другой стороне острова причалила плавучая поликлиника. Рыбачий уют по всему должен бы быть нарушен, но, занятые окунями, мы этого пока не чувствовали. Окуни отнимали у нас все силы. Ни одного заброса впустую.

А на берегу постепенно стали собираться зрители. Вначале они стояли молча, даже как бы затаившись, но когда их стало больше, и они почувствовали свою силу, то стали довольно бойко обсуждать события и даже подавать советы. А когда Виктор снова поймал щуку, берег огласился восторженными криками медиков. А еще какое-то время спустя берег стал выражать настойчивое желание принять участие в самой рыбалке.

Кончилась тишина, кончился уют, пора прекращать рыбалку. Да и незачем нам больше ловить: с радостью и одновременно с огорчением увидели, что довольно вместительная корзина полным-полна рыбой. Ах ты, как плохо. А что же мы завтра будем делать? А послезавтра?

Сегодня, можно сказать, в первый день нашего летнего отдыха, нам не хотелось оказываться среди толпы, и мы с некоторой тоской посматривали на излишне оживленный берег. Но не сидеть же нам в лодке дотемна. Взялись за весла и медленно поплыли к берегу, надеясь лишь на то, что медики обратят свое внимание не на нас, а на улов. Действительность превзошла все наши ожидания: мы существовали только лишь как некоторое приложение к рыбе. И потому, оставив улов около самой воды, спокойно занялись своими делами. А немного погодя мы принимали делегацию, которая пришла с желанием купить рыбы на уху. Мы прикинули, что в этом предложении прекрасный для нас выход. Рыбачить нам очень хотелось и завтра, но рыбачить было нельзя: лишняя рыба могла просто-напросто пропасть. А это для рыбака — большой грех. А теперь рыбу у нас заберут, и мы завтра со спокойной душой можем половить еще. Продавать рыбу мы, конечно, не собирались, но просто так отдать ее не позволял застарелый собственнический инстинкт, и потому мы произвели товарный обмен без привлечения денежных знаков. И медики, и мы были очень довольны друг другом. Они, подхватив тяжелую корзину, немедленно ушли к костру, оставив нас в полном покое, а мы поставили палатку и стали дожидаться, когда поспеет щука, которую Виктор закопал под костром, предварительно натерев ее солью, перцем, набив жиром и обернув несколькими слоями мокрой газеты.

На рассвете Виктор стал будить нас, и если мы с Валентином хоть нехотя, но сумели подняться, то Володя промышал что-то протестующее и лишь глубже улез в спальный мешок. Мы забрали Володину снасть, оставив ему столь нелюбимый спиннинг, и уехали. Утро было прохладное, с легким туманом, а во всем остальном рыбалка напоминала вчерашнюю: окуни были многочисленны и по-прежнему настроены самым решительным образом. Время от времени мы поднимали голову, посматривали на свой табор и видели, как выбрался из палатки Володя, не спеша пил чай, потом взял спиннинг и, изредка бросая блесну, неспешно пошел вдоль берега. Потом мы видели, что к Володе присоединились две или три болельщицы из плавучей поликлиники, и вскоре все они — рыбак и зрители — скрылись за ближайшим мыском.

Занятые своим делом, мы было уже совсем забыли про Володю, но вдруг за мыском раздались всплески, шум и истошные вопли. Какое-то мгновение мы растерянно смотрели друг на друга, но затем словно проснулись. Валентин прыгнул на весла и погнал лодку к недалекому берегу.

Вопли не прекращались. Едва причалив к берегу, подстегиваемые самыми страшными предположениями, опрометью бросились на крики. Володиных болельщиц мы увидели стоящими по пояс в воде. Отчаянно жестикулируя и срывая горло, они пытались морально поддержать Володю, который — о ужас! — стоял в воде еще дальше, по грудь. Правой рукой он пытался удержать что-то огромное, мечущееся, поднимающее каскады брызг. Володя испуганно пятился к берегу, узловатым сучком ловчился ударить свою добычу и отчаянно блажил. Виктор бросился на помощь приятелю, и вдвоем они вытащили на берег громадную щуку-чудовище.

Как потом выяснилось, при одном из забросов блесну схватил вот этот крокодил, и, когда Володя стал подтягивать рыбину к берегу, она запутала леску за кусты. Володя в азарте забыл, что боится воды и что от купания у него по телу пойдут прыщи, и бросился в воду. Он сумел схватить щуку за глаза и лишь поэтому не упустил добычу. Уже на берегу, вздрагивая от пережитого волнения, Володя рассказывал, как он боялся, что рыбака уйдет, и одновременно боялся, что щука его укусит или утопит.

Вскоре медики уплыли по своим делам и мы, наслаждаясь наступившей тишиной, отправились обследовать остров.

Вернулись мы часа через полтора и застали свой табор разгромленным. Котелки перевернуты, чашки разбросаны, шучья голова, из которой собирались изготовить сувенир, — в костре. И все густо заляпано коровьими «расписками». Пошли искать пастуха, чтобы объяснить ему, как нужно относиться к своей работе, и метров через сто увидели стадо довольно крупных телят. Пастуха нигде не было, и мы поняли, что телята, видимо, все лето живут одни. Желая обезопасить свой табор на будущее, мы решили их прогнать подальше. Испуганные телята, задрав хвосты, кинулись вдоль берега.

Мы вернулись прибирать табор, и вдруг услышали какой-то стремительно нарастающий шум. Шум был настолько непонятен и зловещ, что сердце замирало в испуге. И вдруг из кустов прямо на нас вылетело давешнее стадо телят, о которых мы уже успели забыть. Бедные телята с перепугу бежали весь остров и чуть было не растоптали нас. Мы опять их прогнали и, пока они не вернулись к нам на втором круге, поспешили перетащить вещи в лодку.

Покидали мы остров с уже устоявшейся мыслью: «Шибко хорошо — это тоже нехорошо». Собирались рыбачить три дня, а тут приходится уезжать: через несколько часов лова рыбу некуда будет девать. И не нужны были наши отличные снасти, не нужны ни рыбацкая хитрость Виктора, ни Володино упорство.

А все же вспоминается та поездка с удовольствием. Нет-нет, да и придут на память окуневые скопища, встреча Володи с чудовищем, да и вообще те солнечные и веселые часы. И даже хулиганство телят вспоминается с удовольствием.





ВАЛЕРИЙ
ХАЙРЮЗОВ

ИРКУТ

Повесть



Сегодня я опять летал во сне. Этот полет стал как бы реальным продолжением событий, происходившим со мной в последнее время. Собираясь на работу, я услышал стук в дверь. Открыв ее, увидел судебного пристава с милицией, которые явились, чтобы выселить меня из квартиры. Я открыл было рот, намереваясь потребовать исполнительный лист, но широкоскулые с восточными лицами милиционеры молча двинулись в квартиру. Но я успел захлопнуть перед ними дверь, сунув ключ в карман, захлопывая за собой двери выскочил на балкон и увидел под окном Жалму. Играя золотистой уздечкой, она на лошади кружила около балкона, ветер трепал ее смолистые волосы. Увидев меня, она сделала знак рукой, мол, чего ждешь — прыгай. И я прыгнул. И вот мы уже несемся с ней по узким каменистым улицам большого города. Жалма с улыбкой смотрит на меня, словно проверяет, удержусь я в седле или свалюсь на землю. Бешеный галоп начинает напоминать полет самолета, городские дома остаются далеко позади, мы уже не мчимся, а летим по руслу горной реки. Но тут, прямо перед нами из воды вырастают огромные камни, пытаюсь отвернуть, я натягиваю поводья, затем, пришпорив, посылаю коня в небо. И неожиданно падаю в воду. Ко мне наперерез мчится Жалма, я протягиваю ей руку и вижу, что это не Жалма, а в форме милиционера Болсан Торбеев.

«Все же догнал!» — проносится у меня в голове. Деваться некуда, кругом были высокие, заснеженные горы, помогая лошади я начинаю, как птица, размахивать руками, но вижу, что прямо на меня падает каменная стена. Тут я просыпаюсь и с облегчением обнаруживаю перед глазами комнатную стену, а за окном ночное небо.

«Надо же такому присниться», — подумал я и вновь закрыл глаза. И тут же услышал, что в соседней комнате надрывается телефон.

Звонила женщина. Голос ее был деловым и казенным. «Надо собирать вещи», — подумал я. В последнее время телефонные звонки с угрозами выселить из служебной квартиры раздавались чуть ли не каждый день, но мне удавалось оттянуть развязку. Но дальше так продолжаться не могло. Компания «Востокзолото», которая предоставила мне жилье, поставила жесткое условие: или я должен погасить задолженность, или сдать квартиру. Моя бывшая жена Зина предлагала, чтобы я написал письмо генеральному директору «Востокзолота», Аркадию Шнелле, или обратился к президенту компании Торбееву.

— Мне уже надоело хлопотать за тебя! — выговаривала она. — Ты сам что-то можешь предпринять?

Но мне предпринимать ничего не хотелось. Зачем писать тому, кто уже однажды выставил тебя за дверь. Идти же на поклон к Шнелле — нет, такое могло родиться только в голове моей заботливой супруги.

Звонившая представилась продюсером студии документальных фильмов Оксаной Потоцкой. Получив подтверждение, что я — это тот человек, которому она звонит, Потоцкая потеплела и предложила встретиться и поговорить о сценарии документального фильма. «Какой фильм! — чуть было не воскликнул я. — Я только что посмотрел такое кино, что до сих мурашки по телу!»

Оказалось, Потоцкой так понравилась идея сценария «В поисках могилы Чингисхана», что она готова заключить со мной договор и профинансировать мою поездку на Байкал и съемки документального фильма, который, по ее мнению, будет наверняка интересен зарубежному зрителю. Предложение было неожиданным, я уже забыл, что такое договор и как он выглядит. Потоцкая сыпала знакомыми с детства названиями: Белый и Черный Иркут, Орлик, Нилова пустынь, и я готов был растаять от одних милых моему слуху названий. Почти без паузы пошли фамилии известных ученых: Окладникова, Банзарова, затем мелькнули фамилии Корсакова, Торбеева.

Потоцкая сделала паузу и предложила встретиться в одном из московских кафе. Я дал согласие и попросил для связи телефон.

И услышал в ответ короткое:

— Я вам позвоню.

Положив трубку, я мысленно прокрутил в памяти весь разговор. Чувствовалось, Потоцкая не знала меня лично, но была информирована, кто я и откуда родом, и это давало некоторую пищу для размышлений. В разговоре мелькнули фамилии, которые я знал с детства. А Бадму Корсакова и его детей Саню и Жалму я считал чуть ли не своими родственниками. В Орлике мы жили по соседству, а после, перебравшись в Иркутск, часто останавливались у них, когда приезжали по ягоды или орехи. Москва — город, где легко потеряться, и, тем не менее, когда надо, тебя могут легко отыскать. Когда я перебрался жить в столицу, то наша квартира стала напоминать филиал гостиницы «Аэрофлот». Я любил, когда раздавался очередной звонок моих сибирских знакомых с просьбой переночевать ночь-другую. Приезд друзей вновь связывал меня с прежней жизнью и подтверждал, что во мне нуждаются. За годы, проведенные в столице, я так и не сумел завести себе новых друзей и продолжал жить здесь, как в длительной вынужденной командировке. Звонившая не нуждалась в ночлеге. Да и с деньгами у нее, судя по всему, был полный порядок. В последнее время я безуспешно искал, где бы можно было заработать, чтобы оплатить квартиру и отдать долги, брался за любую мало-мальски оплачиваемую работу. Теперь деньги плыли прямо в руки. Фантастика. Потоцкая сделала все, чтобы не только заинтересовать, но и расположить к себе. Я удивился: оказывается здесь, в этом огромном городе, про то, что было со мной в той, домословской жизни, знали едва ли не больше, чем я сам. Кто и зачем дал ей мой телефон? Как к ней попал сценарий? Фактически и сценария как такового не было, лишь идея, озвученная на встрече с выпускниками одной из московских школ, куда меня пригласила Катя Глазкова — редактор журнала «Панорама России», и где у нее училась дочь Маша. Я рассказывал про Чингисхана. В России к Тэмуджину, таким было настоящее имя монгольского хана, отношение было, мягко говоря, прохладным, но я слышал, что в мире независимо друг от друга снимают сразу пять фильмов о Чингисхане. Еще я рассказывал про Белый и Черный Иркут, про сарлыков, медведей, старателей и про то, как после десятого класса я мыл золото.

Поскольку мое детство было напрямую связано с теми местами, где, по преданиям, жила мать Потрясателя Вселенной, я рассказал о своем желании с кинокамерой пройти старыми тропами и предположением, что захоронение знаменитого хана находится на территории Тункинской долины. И, похоже, на громкое имя клюнули. Но только ли на имя? В ночном звонке была какая-то недосказанность, которую я надеялся разрешить при личной встрече.

Я лежал и смотрел в темное московское небо, на котором почти никогда не было видно звезд, размышлял о превратностях судьбы и старался вспомнить то, что было мило моему сердцу.

Родился я в Бурятии в селе Орлик, в самом центре Саян, почти на границе с Монголией. Корсаковы были нашими соседями, и мы, как это сейчас модно говорить, дружили семьями. Жили бедно, но дружно, и чем могли, помогали друг другу.

В той, ныне уже недоступной для меня жизни, приходилось наравне со взрослыми ходить в тайгу, собирать ягоды и орехи, гнать деготь, бить на золотодобыче шурфы, заготавливать дрова, валить лес, пасти скот. Тайга не огород, она не только кормила, но и проверяла характер. Помню, как нагретая костром земля всю ночь отдавала тепло, от нее шел хвойный пихтовый запах настеленного лапника. Утром на дорогу мы обычно пили чай с травой, которую буряты называли сагаан-даля, после чего ноги сами несли по тайге. Эту траву заготавливала моя мама. Она наравне с отцом копала шурфы, мыла породу, носила кули с шишками, горбовики с ягодой, так в наших краях называют металлические и фанерные короба, сушила на зиму грибы, каменный зверобой, листья брусничника, цвет боярышника. Уже с малых лет я знал, что жимолость полезна при болезнях сердца, черника нужна людям со слабым зрением, брусника просто необходима при болезнях почек.

От отца я узнал, что если у бурундука забрать все приговоренные на зиму орехи, то бурундук, понимая, что ему без припасов не выжить холодную зиму, находит на дереве развилку и, просунув в нее голову, как в петлю, кончал свою жизнь. Я верил ему и не верил, потому что не встречал повесившихся бурундуков. Но по логике жизни людей такое вполне могло произойти и у зверьков.

Бывало по первому снегу мы выходили к тракту, чтобы на попутной машине, укрывшись фуфайками, добраться до дома. Но озноб и ломоту в теле снимали горячий чай и быстрый сон, а наступившее утро давало новые впечатления.

Я хорошо помнил то время, когда отец, с такими же, как и он мужиками, уезжал в Монголию, они нанимались перегонять стада овец и яков до станции Култук. Старшим в артели скотогонов был Бадма Корсаков, он хорошо знал не только русский, но и монгольский язык. Когда я подрос, в те перегоны вдоль Иркутка по Тункинской долине отец начал брать и меня. Почти двести километров на лошадях мы медленно двигались по степи и тайге, ночевали у костра, ночью из ружей палили в воздух, отгоняя от скота волков и медведей. Я настолько сроднился с той походной жизнью, что зимой после школы бежал в артельную хомутарку, которая была при конюшне. Мне нравился терпкий запах войлочных попон, я любил заглядывать в большие и умные глаза коней, ловить в них свое отражение и считал, что умнее и красивее лошади нет на земле животного. Частенько мы забегали в конюшню, чтобы нагрести в кормушке горсть овса, бросали его на раскаленную плиту, и в той же хомутарке, вместо семечек, грызли пахучие зерна.

Однажды, когда уже не было отца, мы с моими сестрами зашли в тайгу, где я знал хорошее ягодное место. Но, сделав нелегкий бросок в двадцать километров, в тот же день были вынуждены вернуться обратно. Весной на ягодный цвет упал заморозок и сделал бесполезным наш дальний путь. Усталые и смурные мы явились к Бадме Корсакову. Выслушав нас, он поинтересовался, отдали ли мы дань хозяину тайги Баян-хангаю, и, получив отрицательный ответ, прищурив узкие глаза, начал сочувственно цокать языком. Тем же вечером он обмакнул безымянный, как говорили, самый чистый у человека палец в стакан с водкой и брызнул им на три стороны, отдав дань хозяину здешних мест.

На другое утро Бадма позвал приехавшую на летние каникулы шестнадцатилетнюю дочь, красавицу Жалму и сказал, чтобы она сводила нас к Иркуту, где лет десять назад был пожар, и там, по словам старого бурята, обязательно должна быть ягода, поскольку туманы от реки и близкая вода оберегли брусничник от весенних заморозков.

Жалма, по-бурятски царица, была старше меня на два года. Она слыла самой отчаянной девушкой во всей долине. Ее побаивался даже Тарбаган — сын директора рудника Болсан Торбеев, который верховодил над всеми окрестными мальчишками. Свое прозвище он получил после одного случая, когда еще мальчишкой заблудился в тайге.

Стояла осень, было уже холодно, ночью термометр опускался ниже двадцати градусов. Спичек у Болсана с собой не оказалась, но он не растерялся, отыскал тарбаганью нору, выгнал из нее грызуна и заполз туда сам. У тарбагана в норе была толстая подстилка из мха, и Болсан благополучно скоротал в ней ночь. Вот за этот подвиг его и прозвали Тарбаганом, а вскоре прозвище прилипло ко всем Торбеевым.

Болсан учился с Жалмой в одном классе, был широк и крепок, почти всегда побеждал на скачках, которые проводились во время бурятского конно-спортивного праздника Сурхарбана. Из местных никто не смел ему перечить, понимали: задевать силача — себе дороже. Единственная, кто соперничала с ним на скачках, была Жалма. При виде девушки широкое, как блин, лицо Торбеева становилось еще шире, а сам он рядом с нею становился вдруг суетливым и услужливым. Видя, что и я часто пропадаю у Корсаковых, Тарбаган вроде бы простодушно спрашивал меня при встрече:

— Что, Гоша, у бурятки все в порядке?

— Катись ты к себе в нору, — огрызался я.

— Но, но, ты мне поговори еще! Сейчас я тебя самого запихаю туда, — говорил он и точно кувалдой отвечивал смачный подзатыльник.

— Болсан — тарелка, рыба мелка! — кричал я, отлетев в сторону. Я был легче и быстрее Болсана, и это спасало меня от скорой расправы.

Жалма, как могла, утешала меня, доставала медный пятак и прикладывала к синяку.

— А мне совсем не больно, — храбрился я, незаметно вытирая рукавом слезы.

— Ты настоящий мужчина, — говорила она и предлагала прокатиться на лошадях. Зная, что Тарбаган обязательно увидит нашу прогулку, я с радостью соглашался. Именно она научила меня ездить верхом, ободряя, вроде бы в шутку говорила, что если я перестану бояться пускать вскачь степного скакуна, то обязательно стану летчиком. И улыбалась своими темными, как ночная степь, раскосыми глазами, чтобы через мгновение спрятать их под черными густыми ресницами. Я посмеивался в ответ. Но сказанное запало в душу. Для нее я был готов лезть из кожи, со свистом в ушах лететь вслед за нею галопом, чтобы выглядеть в ее глазах взрослым парнем. Думаю, она знала об этом и посмеивалась надо мною.

К тому времени скот из Монголии стали возить на машинах, но мы нанимались пасти колхозное стадо. И уже здесь я научился скакать, как заправский табунщик, даже на неоседланной лошади. Делать это было непросто, спины монгольских лошадей были жестки, как бревна, вечером, прыгнув с коня на землю, я еще долго не мог присесть. Но вскоре я мог, слившись с лошадыю, гоняться по степи за лисицей или с легкостью степной птицы возвращать в отару отставших овец. И наконец-то наступил день, когда я решил бросить вызов самому Болсану. Перед Сурхарбаном Жалма выбрала мне самую быструю и выносливую лошадь, и мы по вечерам выгуливали ее за поселком.

— Пусть она привыкнет к тебе, а на скачках дай ей свободу, лошадь сама наберет ход, — советовала она. — Я тебе говорила: лошади, как и люди, любят быть первыми. Ты должен дать ей понять, что нужно быть первым.

Все произошло, как она и говорила, уже на самом финише я на полкорпуса опередил Болсана. Приз — кожаное седло и красный спортивный костюм — вручал его отец, директор золотодобывающего рудника Михаил Доржиевич Торбеев. Его лицо оставалось беспристрастным, нависшие веки на миг напомнили мне лик Будды. Та победа запомнилась на всю жизнь, обойти в скачках опытного бурята еще не удавалось никому из русских.

Конечно, я обрадовался, когда узнал, что на Иркут нас поведет Жалма. Проваливаясь и чертыхаясь, шли мы больше часа через поросший мхом Грязный ключ, ругая про себя хозяина тайги, засасывающую грязь, нетвердые кочки, ледяную воду.

Но наши усилия были вознаграждены сторицей. Гарь была усыпана брусникой и, как образно говорили местные, стояла на кочках ведрами. Буквально через несколько минут работы жестяные совки со стальными, как у крупной расчески, зубьями наполнялись отборной ягодой. К вечеру ею была заполнена вся взятая с собой посуда — трех- и четырехведерные горбовики.

Мы остались на ночевку. В темноте, слушая шум воды, мы сидели с Жалмой на берегу Иркута, поддерживали костер. Чтобы напугать, я рассказал, что медведи не любят огня, и бывали случаи, когда они, окунувшись в воду, ночью подходили к костру и вытряхивали ее из своей шкуры прямо на огонь. Неожиданно сквозь шум реки послышался странный клекот; вытащив из костра горящую головешку, я поднял ее над головой. Мимо нас проплывала стая белых гусей. Готовясь к дальнему перелету, гуси садились на воду, где чувствовали себя ночью в полной безопасности. Мелькнув на секунду, белые пушистые комочки растворились во тьме, и Жалма начала рассказывать про байкальских нерп.

— В давние времена, когда человек еще хорошо относился к природе, на берегах Байкала жил народ. Но вот туда пришли злые люди, вроде наших Тарбаганов, и этот народ был вынужден уйти под воду, превратившись в тюленей. Так до сих пор и живут они в воде.

Я смотрел на гладкое, точно вылитое из меди лицо Жалмы, на ее полные, словно намазанные брусничным соком губы, отводил глаза, вставал, подбрасывал в костер сучья; от моих прикосновений он вздрагивал, сыпал во тьму золотистые искры. Вновь обернувшись к Жалме, я видел их отражение в ее огромных, как и сама ночь, глазах.

— Мне кажется, что это плыли не птицы, а души утонувших в Иркуте людей, — неожиданно добавила она. — Скольких вода забрала, и, возможно, еще заберет. А нам пора спать.

Жалма ушла спать, а я остался сторожить костер, еще чего доброго придет медведь и затушит огонь, и вспоминал, как она спасла меня, когда я тонул в Иркуте.

Тихо догорал зажженный нами костер. Ночь забралась на самую высокую гору и готовилась покатиться вниз. Сверху смотрели близкие звезды, там, среди посеянных неизвестно кем и когда светил, тайными тропами бродили иные миры, а за шумящим Иркутом время от времени далеким гортанным голосом вскрикивал гуран, мне казалось, что он хотел предупредить о чем-то лесных жителей, а может заодно и нас, поскольку в этой ночи мы все были связаны и укрыты одним огромным небесным покрывалом.

Когда меня пригласили выступить в московской школе, я решил, что расскажу им о Бурятии, о небольшой, по российским меркам, реке Иркут, о былинном герое Гэсэре, который спустился с Вечно Синего Неба, чтобы спасти людей от зла и установить на земле мир и порядок. Бадма Корсаков рассказывал, что, по преданиям, Гэсэр осуществил свое предназначение, но так привязался к людям, что не смог вернуться на небо и, нарушив обет, данный отцу и Создателю, остался на земле. Бадма был уверен, что он до сих пор живет в тех местах, где между огромными озерами-братьями Байкалом и Хубсугулом, по одной из самых живописных долин в мире, течет река Иркут.

В памяти встали места моего детства, отсюда, из Москвы, они начали казаться сказочными библейскими местами, и конечно же, я не пожалел красок, чтобы передать ребятам всю мощь и силу девственной природы Саян.

Свое начало Белый Иркут, что означает «крутящийся», берет у снегов самой высокой горы Саян — Мунку-Сардыка. Там он набирается сил на каменистых альпийских склонах. Оставив вечные снега и вобрав в себя силу ключей и талых вод,

Белый Иркут уже единым потоком, крутясь и пенясь, начинает бег к своему черному брату. С грохотом и воем, с каким влетают в тоннели электрички, водный поток, попав в узкие горные расщелины, в своем движении вниз напоминает скользящего меж скал мускулистого питона. Но грохот спадающей вниз воды не пугает, а, скорее, завораживает и успокаивает лесных жителей, которые молча взирают на проносащую, как время, воду. И, кажется, нет той преграды и не наступит то мгновение, которое может остановить низвергающегося с окружающих гор шумящего великана. Миновав последний каньон, Белый Иркут раздвигает вширь берега, веселясь и рассыпавшись на рукава, белыми ягнятами заскакивает на отполированные до блеска валуны, чтобы уже далее шумным овечьим стадом, грохоча копытцами, уткнуться в ноги двум огромным сторожащим ущелье каменным скалам-братьям и, попрощавшись с ними, по пологому руслу с разбегу броситься в воды Черного Иркут.

— Добрые духи — тенгри, так называют их буряты, пасут у самой вершины Мунку-Сардыка на сочных альпийских лугах криворогих, заросших шерстью сарлыков, поскольку там нет слепней, оводов и прочего таежного гнуса. Из длинной шелковистой шерсти сарлычьих хвостов городские модницы до сих пор делают парики и приплеты, — разглядывая прически школьниц, продолжал я. — Мясо этих животных считается самым чистым в мире и называется мраморным. А на горных кручах можно увидеть горных архаров, они с мудростью каменных изваяний смотрят на стада баранов и овец — своих дальних сородичей, которые прямо под ними пасутся на серых лишайниках и малахитовых сочных мхах. Еще ниже, рядом с сарлыками, можно увидеть маралов, изюбрей и коз. Они с удовольствием поедают запаристую траву сагаан-даля, что в переводе с бурятского означает белые крылья, наевшись которой, пускаются в пляс, подбрасывая вверх задние ноги.

— Ну, точь-в-точь, как это бывает сегодня на ваших танцах, — тут я решил сломать наступившую в классе тишину и приблизить рассказ к действительности. Ребята понятливо рассмеялись.

Решив связать свое повествование со школьной программой, я рассказал, как восемь веков назад Тэмуджин послал в долину Иркут своего сына Джучи, чтобы привести живущих там меркитов и сойетов к стремени великого хана. И пролилась там большая кровь. Возможно, именно потому протекающий по золотonosным землям Черный Иркут — это вместилище мощной, алчной, агрессивной и напористой силы. Слившись в единый поток, Белый и Черный Иркут несут в себе как бы два начала, где светлое и темное, до поры и времени, уживаются в одном теле, в одном движении, то разливаясь вширь, то уходя вглубь. И течет он мимо поселений и пастбищ, под молитвы лам и глухой стук бубнов шаманов, отдавая свою силу цветочной и белой степи, держа курс к Священному озеру. И лишь последней преграды одолеть не смог, не добегаая до Байкала самую малость, Иркут резко отворачивает влево и, пробивая на своем пути высоченные хребты, устремляется наперерез Ангаре.

Еще я добавил, что река, возле которой прошло мое детство, — «Олень Белый Господин», так буряты величают хозяина реки Иркут, впадает в Ангару и дает название столице Сибири — Иркутску.

— Скажите, а по Иркуту можно сплавиться на лодках? — неожиданно спросила меня Маша Глазкова.

— Да, это любимая река для экстремалов, — ответил я. — Но тихий и спокойный в своем нижнем течении, Иркут коварен и опасен, пробиваясь сквозь горы. Существует легенда, что мать Чингисхана едва не утонула в Иркуте, когда бросилась в воду, чтобы спасти во время наводнения маленьких детей. Попав в места, где родилась его бабушка, Джучи, сын Чингисхана, в отместку приказал своим воинам сравнять окружающие горы и засыпать ими Иркут. Но и ему оказалась неподвластна здешняя природа, лишь гигантские осыпи да огромные камни напоминают о тщетности усилий великого хана.

Закончив летное училище, я начал летать там, где и родился — в Восточной Сибири, на самолете Ан-2, который в народе прозвали «кукурузником». Чаще всего это были полеты по санитарным заданиям, когда далеко в горах или тайге кто-то нуждался в срочной помощи. Мы вывозили больных в город или доставляли врачей в отдаленные села. В Орлике меня обычно встречал Саня Корсаков. Он просил привезти из города лекарства или еще что-нибудь необходимое, и я с удовольствием выполнял его просьбы. Ответно он угощал свежей бараниной, рыбой, ягодой или кедровыми орехами.

— Летчик просит, надо дать, шаман может подождать, — на свой бурятский лад, улыбаясь, переиначивал он услышанную присказку летчиков и заносил в самолет ведро или мешок.

А Тарбаган, Гриша, шаманом ёкаргэне, заделался. К нему теперь на хромой кобыле не подъедешь. Стал важным, как секретарь района.

Буряты говорят, что у каждой лошади свой ход. Это со стороны кажется, что все они бегут одинаково. И не каждая из них годится в упряжку. После школы Болсан закончил авиационный техникум, и мне приходилось встречаться с ним в аэропорту, он работал в бригаде по техническому обслуживанию самолетов. А после куда-то пропал. И вот объявился снова. Но если раньше его больше знали, как сына директора рудника, то теперь про Болсана начали говорить, что он прямой потомок личного шамана Чингисхана. Распрощавшись с авиацией, он надел на себя желтый шелковый халат, приобрел бубен и стал едва ли не самым востребованным человеком. Особенно любили его снимать и приглашать в гости зарубежные туристы. В перестроечные, горбачевские времена, подобные превращения происходили и среди моих соплеменников, быть сыном табунщика, слесаря, летчика стало не модно, откуда-то начали откапываться и обозначать себя внуки купцов, священнослужителей, но больше всего появилось людей претендующих на дворянство. Да Бог с ними, с дворянами!

С Болсаном у меня происходили стычки не только из-за Жалмы. Вспоминая историю взаимоотношений монголов и Древней Руси, он нет-нет, да и ронял, мол, зачем киевские князья убили монгольских послов.

— Наносящий удар должен помнить, что всегда возможен ответный ход. И они его заслужили.

Длинная память была у парня. В ответ я сказал, что с двадцатитысячным войском, за тысячи километров в гости не ходят. Болсан начинал кричать, что мои сородичи — казаки Похабова пришли на Байкал не с дарами, а с пищальями и саблями.

— Это был ответный визит, — усмехаясь, отвечал я. — Хочу заметить, они не оставляли после себя сожженные города и горы трупов.

— Мой народ, мы поклоняемся нашим предкам и природе. Зачем вы пишете краской свои имена на наших камнях, — переходил на другое Болсан. — Я же не пишу на церквях, что здесь был Торбеев.

— Чего ты вдруг заговорил за весь народ. Среди вас есть и православные и почитатели Будды, — сказал я, вспомнив разговоры отца с Бадмой Корсаковым. — Те, кто где попало малюют краской свои имена, наверняка не ходят в церковь. А мои предки свои имена оставили в памяти иными делами. Они были умными и дальновидными людьми, находясь в меньшинстве, вдали от России казаки Похабова сумели так наладить отношения с местными, что и сегодня, четырехста лет спустя, мы живем с бурятами в мире и согласии.

У Корсакова было свое отношение к самолетам. На аэродроме он подходил к крылатой машине, широким движением, каким гладят бок лошади, проводил рукой по металлическому боку и приглушенно цокал языком:

— Однако, хороший ёкарганэ у тебя, Гоша, сарлык, — смеялся он и, мечтательно вздохнув, добавлял: — А винту твоему я загнул бы рога. Он бы стал походить на быка сарлыка.

Привыкший к езде на лошадях, Саня Корсаков, слетав со мной в город, в шутку говорил, что конструктор самолета, должно быть, слепил его со степного жеребца, которым можно управлять при помощи вожжей. Отчасти я соглашался с ним, крылатая машина Олега Антонова стала настоящей рабочей лошадкой на сибирских трассах. Всего один, но довольно мощный мотор, два крыла, на двенадцать мест пассажирская кабина, пилотская кабинка и минимум приборов.

Но вскоре я переучился на другой самолет, и мои трассы уже пролегали вдали от верховьев Иркутта.

В конечном счете самолет занес меня в Москву, и на этом настояла моя жена Зина. Перебраться в столицу нам помог Шнелле. Руководство компании «Востокзолото» для перевозки VIP-персон взяло в аренду самолеты для выполнения полетов не только внутри страны, но и за рубеж, и Шнелле предложил Торбееву, чтобы я возглавил вновь создаваемую авиакомпанию «Иркут». Размышлял я недолго, самолеты в Восточно-Сибирском управлении распродавались направо и налево, авиация буквально разваливалась на глазах. Какой летчик не хотел бы посмотреть города и новые страны. Я принял предложение и переехал жить в столицу.

Начинать новое дело было непросто, это была уже совсем не та работа, которую я освоил в Сибири. Но к тому времени у меня за плечами был командный факультет Ленинградского высшего авиационного училища, куда стремились попасть в том числе и зарубежные специалисты. Я пригласил опытных летчиков, и мы быстро наладили полеты. Зимой во время каникул мы возили бизнесменов на горнолыжные курорты Австрии, Швейцарии, летом выполняли чартерные рейсы в Турцию и в Арабские Эмираты. Часто на всякого рода международные форумы летали и Торбеевы. И там я снова столкнулся с Болсаном Торбеевым, он неожиданно для многих вошел в правление авиакомпании «Иркут». Семейный бизнес требовал иметь своих людей везде. Но делами компании он занимался мало, чаще всего он принимал участие в конференциях, которые проводили его собратья: колдуны и шаманы из разных стран. Переводчицей он брал с собой Зину, она окончила юридический факультет, хорошо знала английский и испанский языки.

Возвращаясь из зарубежных поездок, она, смеясь, рассказывала, что без нее Тарбаган тут же превращался в своего безмолвного сородича. Но, когда ее стал приглашать в поездки генеральный директор компании Аркадий Шнелле, мне это не понравилось. Зина была красива, умна, обаятельна, и я начал подозревать, что Аркадий берет ее не только как переводчицу и консультанта по юридическим вопросам.

Летчиков именуют воздушными извозчиками, и я относился к подобному прозвищу с иронией и пониманием: каждый делает свою работу. Но в новые времена летчики превратились в наемную рабочую силу, которую хозяева при надобности набирали к себе на работу, но могли по своему усмотрению и выставить за дверь. Вот и приходилось вчерашним королям неба демонстрировать не только свою профессиональную пригодность, при встрече с начальством держать на лице улыбку, в худшем случае помалкивать, и упаси Боже огрызаться. Но я старался вести дело так, как считал нужным.

Болсан Торбеев и Шнелле выходили из себя, когда я противился всевозможным темным схемам расчетов с заказчиками и уходов от налогов, намекали, что мое дело крутить штурвал, а не совать нос, куда не следует. Однажды я часть дополнительной выручки, полученной за перегруз самолетов, вполне официально перечислил на строительство церкви в поселок под Москвой, где, как мне говорили, Торбеев строил себе дачу, а другую распорядился раздать работникам авиакомпании в конвертах в качестве премиальных. Меня пригласил к себе Шнелле и напомнил, что

такие вещи надо согласовывать, поскольку есть правление авиакомпании, созданное для того, чтобы решать подобные вопросы. В следующем месяце я поставил в известность членов правления и сделал очередное пожертвование. Узнав об этом, моя жена покрутила пальцем у виска, мол, ну что возьмешь с малахольного.

Но уволили меня за другое. Нужно было выполнить незапланированный рейс на Берн, и я решил сделать это самостоятельно. В тот день в Москве шел мокрый снег, видимость была на пределе, и я задержал вылет на несколько часов. Я хорошо помнил, чем закончился подобный взлет с Артемом Боровиком. Но этим рейсом в Швейцарию должен был лететь Болсан Торбеев. Узнав, что некоторые самолеты взлетают, он тут же позвонил мне.

Я попытался дипломатично выйти из непростой для меня ситуации.

— Но другие полетели? — допытывался Болсан.

— Да, полетели. Но мы же не дрова возим. Мой отец учил: не подчиняйся стадному чувству и, если это будет угрожать тем, кто доверился тебе, не делай то, что может привести к непредсказуемому результату.

— Мы платим за работу, а не за рассуждения, — напомнил мне, кто есть кто, Торбеев.

— Я вам не лакей! — взорвался я. — Смею вам напомнить, я пока что руководитель авиакомпании и несу ответственность за жизни людей.

— Нет, ты молодец! — рассмеялся Болсан. — Пока что. Конечно, ты прав, руководить компанией — это не овец пасти.

Действительно память у него оказалась длинной. На очередном правлении руководителем авиакомпании избрали Торбеева. К тому времени авиакомпаниями стали руководить невесты откуда взявшиеся банкиры из бывших милиционеров, отставных военных, фээсбэшников, железнодорожников и прочих, готовых возить все и всех. Шнелле внешне поступил логично: Болсан работал в авиации и, по крайней мере, знал, что самолеты летают не по рельсам. А бубен и амулеты — так это скорее для доверчивых иностранцев.

После того, как я ушел из авиакомпании, Зина посоветовала мне лечь в госпиталь. Там у меня врачи обнаружили сердечную аритмию и списали с летной работы. От прежней жизни остались пилотское свидетельство и воспоминания о тех днях, которые я провел в небе. Теперь я был вольный казак, как говорится, хочешь пляши, хочешь песни пой. И у врачей не надо каждый день подтверждать свою годность, теперь я был годен ко всему, но, к сожалению, летать мог только во сне. Зарабатывать на жизнь, не летая, оказалось гораздо сложнее, чем я думал. А тут судьба приготовила новый удар — Зина ушла к Шнелле. Как-то, вернувшись домой, я увидел на столе записку, прочел ее и, не раздеваясь, лег на диван. И этот самый длительный и самый неудачный в моей жизни полет закончился. Надо было думать, как жить дальше. Утешало одно, что все это произошло в каменных джунглях большого города, где каждый день у тысяч людей происходит что-то подобное. После ухода жены я порвал с компанией всякие отношения и ушел, как говорили литераторы, на вольные хлеба.

В детстве меня учили одному, но в жизни пришлось делать совсем иное. «У каждого своя судьба. Тот, кто научился управлять конем, может управлять не только своей семьей, но и другими людьми», — слышал я от Бадмы Корсакова. Ухаживать за лошадьми меня научили буряты, отыскивать таяжные тропы — отец, управлять самолетом — уже другие люди. А вот управлять своей семьей я так и не научился. «Впрочем, этому научиться нельзя, — думал я, вспоминая свою семейную жизнь. Здесь чужой опыт — это даже не чужое пальто, которое можно поносить и выбросить». Как и любая болезнь, у каждого она протекает по-своему, хотя я долго делал вид, что ее просто не существует. Но она все-таки дала о себе знать. Большой город, который я

чаще видел с высоты птичьего полета, открывался мне неохотно. В жизни все надо делать вовремя, сделав крутой вираж и отодвинув от себя авиацию, я сел не на коня, а на упрямого осла, который, казалось, совсем не понимал, чего от него хотят.

Незаметно я начал замыкаться в себе. Все прежнее, заманчивое и привлекательное, начало гаснуть, отодвигаться в сторону, пока однажды не понял: еще немного, и заступлю за ту грань, откуда уже не будет возврата.

И тут, как нельзя кстати, раздался телефонный звонок Потоцкой...

Оксана позвонила мне через неделю и предложила написать сценарную заявку и синопсис предполагаемого фильма.

— Но я жду от вас сценарий, — сказала она. — Бурятский эпос, мифы, легенды, старатели, археологи, шаманы, ссыльные, пропавшие экспедиции. Вам, как человеку, выросшему в тех краях, это должно быть близко. Зритель любит, когда на экране интересные судьбы и лихо закрученные сюжеты. Не тяните! Давайте завтра пересечемся, я привезу договор и выдам аванс.

Потоцкая уже не обхаживала меня, а разговаривала со мной, как с нанятым на работу сотрудником. Я подивился произошедшей метаморфозе, но потом подумал, что иного ждать от киношников не приходится. У них, как правило, время — деньги. И, не откладывая дело в долгий ящик, сел за компьютер. Но работа не шла. Моих детских и летних впечатлений было явно недостаточно для такой серьезной работы.

И тут мне в голову пришла мысль рассказать о летчиках, которые летали по санзаданиям, о женщине-враче, прыгнувшей на парашюте к пострадавшим в тайгу. Я сообщил об этом Оксане.

— Замечательная идея, — подумав, отозвалась она. — Если все это будет происходить на фоне тайги, Байкала и живущих там аборигенов. Надо найти ту героическую женщину.

Отыскать ту самую было сложно, с тех пор прошло почти тридцать лет. В этом деле мне помочь мог только Саня Корсаков. Но его я уже не видел целую вечность.

— И было бы совсем неплохо воспроизвести прыжок на парашюте в тайгу, — сказала Оксана. — Но где сегодня найдешь таких женщин, которые могут сигануть в тайгу.

— Думаю, такие найдутся, — ответил я.

— Хорошо, пишите сценарий. Еще подумайте о золотоискателях. Мы бы могли сделать эту линию главной. Да и зачем искать — есть Михаил Доржиевич Торбеев, колоритная фигура, почетный президент «Востокзолота».

О золотоискателях писать не хотелось, в свое время я насмотрелся на этих искателей приключений, которые, поймав маленький фарт, буквально сходили с ума. Каждый год они уходили в тайгу, чтобы обобранными и ободранными вернуться назад. А обдирали их свои же. Артель Торбеева собирала золотые сливки, а перспективную, годную для переработки золотосодержащую породу валила в отвалы, где еще оставались десятки тонн драгоценного металла.

Отец старался не брать меня на золотодобычу, говорил, что это не детское дело. Но я все равно ездил и смотрел, как старатели бьют шурфы. Глубина колодцев колебалась от шести до десяти метров. Меня поражали фанатизм и упорство золотоискателей. Особенно тяжела была работа зимой, когда в мерзлой земле надо пройти первые метры. Вскопают шурф, пройдут десять метров, дойдут вроде бы до золотоносной породы, а золота там ни грамма. С отцом в бригаде работал Бадма Корсаков. Остатки промытой породы Бадма рассматривал на солнце и выносил свой приговор.

— Делов нема, муха какал, — говорил он и смеялся во весь свой беззубый рот. И снова через себя бригадир или самый фартовый рабочий кидали кайлу. Где кайла воткнется, там и начинали копать новую яму. Инструменты были, как во времена Чингис-

хана: кирка, лопата, лом. Недаром отец говорил: старательство — ломовая работа. Все, кто занимался этим промыслом, ничего в своей жизни не заработали и, грубо говоря, были голодранцами, потому что тяжкий, изнурительный труд приносил мизерный результат, которого еле хватало, чтобы прокормить свою семью. А на выходе из тайги их поджидали те, кто мыть не умел и не хотел, кто научился лишь одному — нажимать на курок. Вот так же, после очередного промыслового сезона, на берегу Иркутка нашли моего отца. Нам сказали, что он утонул, переправляясь через реку...

«Зачем без надобности будить то, что спит» — размышлял я, начиная писать сценарий. Прошлая жизнь мало годилась для предполагаемой работы. Другое время требовало других героев. Вон даже Тарбаган круто поменял род своих занятий, начал призывать себе в помощь духов предков. И преуспел, стал чуть ли не личным шаманом Анатолия Чубайса. В последнее время почти все заметные люди обзавелись духовниками. И в этом не было ничего предосудительного. То, что Чубайс выбрал себе в духовники Тарбагана, не стало для меня неожиданностью, поскольку сам Анатолий Борисович давно стал для страны своеобразным шаманом. Людям всучил ваучеры, получилось ловко, все поверили, за понюх табаку отдали заводы и фабрики, потом Чубайсу доверили рубильник. И здесь ему не оказалось равных, уж больно ловко все получалось у меднолицего брата Тарбагана. Завести с ним дружбу мечтали многие. А вот у Торбеева получилось...

Летая со мною, Болсан иногда начинал жаловаться, что нынче у бурят стало меньше скота, гибнет молодняк, люди живут беднее, и его сородичей загоняют в пещерную темноту.

«Кто это делает?» — спрашивал я, и лицо моего давнего обидчика вмиг становилось каменным и непроницаемым, как изваяние Будды. Он и словом не давал дотронуться до Чубайса...

На другой день Потоцкая действительно привезла деньги. Шел мелкий дождь, разбрызгивая лужи, режиссерша подъехала к назначенному месту на серой импортной машине. Передо мной оказалась совсем не аристократической внешности полная сорокалетняя женщина. Волосы у нее были выкрашены в черный цвет и коротко острижены. Такого же цвета была и молодежная курточка, которая была приспущена на плотно облегающие синие джинсы, они не прятали, а наоборот, выдавали, как иногда шутят моряки, солидную корму. Ее совсем не смущало, что гачи у джинсов были обтоптаны, ей было все равно, что думают о ней проходившие мимо люди. Им она нравиться не собиралась, впрочем, как и мне. Потоцкая сообщила, что торопится на другую встречу, передала в конверте деньги, не много, но вполне достаточно, чтобы я мог рассчитаться с долгами и почувствовать себя состоявшимся сценаристом. Договор она пообещала привезти попозже и, выкурив сигарету, втиснулась за руль, чтобы через минуту раствориться в машинном потоке.

Дав согласие Потоцкой, я начал искать, кто бы мне мог помочь раскрыть тему. И тут на помощь пришла Катя Глазкова. Она пообещала познакомить меня с археологом, которая занималась культурой древнего Прибайкалья.

Вскоре Катя позвонила мне и предложила приехать в редакцию. Через час я оказался напротив церкви Николы, что в Хамовниках. Накапывал мелкий осенний дождь, по широкой дороге, урча моторами и блестя раздутыми боками, ползли металлические жирные слепни, в освещенных витринах, взирая стеклянными глазами, зябли манекены, мимо, сутулясь, шел поздний народ; закончился еще один из тех московских дней, которые проваливаются точно в песок. Было начало ноября, солнце все реже радовало глаз. Время от времени зима, как бы предупреждая, засылала в город своих гонцов, серая ветошь неба, цепляя рваными лоскутьями крыши домов,

наползала на город, загоняя прохожих под мокнувшие зонтики. На меня — сибиряка, привыкшего к морозу и солнцу, затяжная без светлых дней осень действовала угнетающе. Точно включив в себе автопилот, я, механически переставляя ноги, шел по тротуару, натываясь на зонты прохожих и раздражаясь, думал, что вообще-то жить в огромном городе — сплошное наказание, и нужно как можно скорее уехать отсюда на Иркут, где дня не бывает без солнца, где нет тесноты, и где мне будут рады, только за то, что я есть.

Сквозь шум проезжавших машин, негромко, точно пробуя на слух московскую погоду, ударил колокол. Сделав короткую паузу, голос его окреп и, уже не обращая внимания на земное движение, поплыл в серое, шинельного цвета осеннее небо. И неожиданно мне показалось, что своим звоном колокол начал вбирать в себя всю печаль ненастного дня, все, что накопилось вокруг меня за последнее время. Мелодичный перезвон, который помнили и знали тысячи москвичей, живших задолго до моего появления на свет, задолго до обступивших его высотных домов, асфальтовых дорог и спящих по ним автомашин, каким-то непостижимым образом повернул мысли в другую сторону, спокойную и примиряющую меня с Москвой, с этим сеющим откуда-то сверху мелким осенним дождем.

— Все будет хорошо, — повторил я любимую присказку своего первого командира Шувалова и, подлаживая шаг к колокольному звону, вспомнил, что сегодня большой праздник — день Казанской иконы Божьей Матери.

Когда я переходил широкую дорогу, неожиданно потемнело, сверху, срывая с деревьев последние желтые листья, начал падать первый снег, соскучившись по настоящей работе, небесные ткачи с удовольствием принялись устилать белоснежным покрывалом тротуары, дома, крыши киосков, зеленую траву на газонах, делая это неслышно, но с особым прилежанием и тщательностью.

Я знал, что Катя будет рада мне и всем тем, кто придет в ее маленькую, заставленную столами и заваленную книгами комнатку, где всегда нальют тебе чаю, а если захочешь, что-нибудь покрепче. Если не захочешь разговаривать, то не будут лезть с расспросами, можешь спокойно посидеть где-нибудь в уголке, послушать разговоры о том, как непросто издавать ныне хорошие книги, полистать еще пахнущие типографской краской новые журналы и хоть на несколько минут окунуться в существующую только здесь доброжелательную атмосферу, почувствовать такое необходимое и привычное тепло.

Именно здесь, в этой тесной комнатке, пропадало ощущение плоского штопора, которое в последние годы испытывал я, попав в Первопрестольную. Пожалуй, это было единственное в Москве место, куда мне всегда хотелось зайти. И все же я там бывал редко, гораздо реже, чем желал того. Москва умеет отнимать время у всех, кто попадает в ее объятия. Когда я летал на самолетах, то познание нового города обычно заканчивалось посещением трех мест: магазина, столовой и гостиницы. Иногда география расширялась и мы, взяв машину, ездили на базар. Москва не стала исключением: метро, работа и три-четыре обязательных для любого провинциала посещения: Третьяковка, Красная площадь и ВДНХ. В душе я тешил себя тем, что и москвичи не особо охочи к познаниям собственного города, откладывая все на потом, поскольку одна мысль, что все рядом и можно поехать и посмотреть в любое время, размягчала людей.

На этот раз у Глазковой собрались, чтобы отметить освобождение Москвы от поляков.

Посреди комнаты стоял стол, к нему приладили еще один, который был на колесиках и все время норовил отъехать и превратиться в блуждающий спутник основного. Мне нравилось, что в этой комнатке не было телевизора, лишь со стен на

залетающих на огонек гостей по-домашнему смотрели портреты Алексия II, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна и молодого, в полевой форме полковника Преображенского полка с солдатским Георгием на груди Николая II. В редакции публика мне была известна: несколько молодых писателей и близких Екатерине женщин, так называемых лиц постоянного состава, которые сотрудничали с журналом. Были здесь люди довольно известные и не очень, но демократичная хозяйка, если кто желал, давала высказаться всем и о текущем политическом моменте, и о президенте Путине, сама читала последние особо поразившие стихи открытых ею провинциальных поэтов, книги которых лежали на соседних столах.

Но в тот день в комнату непонятным образом упали два подвыпивших депутата Государственной думы. Один из них, Василий Котов, представлял в парламенте интересы родного Прибайкалья, и мы с ним были хорошо знакомы. Почувствовав, что в этой комнате процветает истинная демократия и что ему здесь не отключат микрофон, Котов начал обращать литераторов в свою веру. Заканчивая тост, он сделал реверанс в сторону Глазковой, эффектно переиначив слова Леонида Леонова, сказанные им во время войны:

— Так поднимись во весь рост, гордая русская женщина, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистны русская речь и нетленная слава России!

Катя еле заметно улыбнулась и ровным голосом добавила от себя:

— Сегодня вообще-то не женский праздник, но ваши слова по поводу русской женщины мне нравятся. Так и быть, возьмем вас, милых, и понесем на руках к нетленной славе России.

— Я знаю, сегодня праздник Казанской Божьей Матери, — быстро отреагировал депутат. — Она все-таки была женщиной, с именем которой связаны все наши победы. Предлагаю выпить за всех женщин.

Почему-то мне вспомнилась мать, которая в своей короткой жизни ни дня не знала отдыха, вместе с отцом ходила в тайгу за ягодами, собирала орехи, а после одна без отца подняла шестерых детей. Когда мы что-то произносим, то не видим себя со стороны и не знаем, что думают о нас слушатели. Из слов Котова получалось, что, как и ранее, женщина — последняя наша надежда. «Так сколько же могут они вынести? — думал я. — Как всегда, мы — мужчины, откупаемся красивыми словами. Вот и Глазкова взвалила на себя журнал и безропотно тянет его. А кроме этого, проводит разные конкурсы, ездит по детским домам, школам и приютам, выпускает детские книги. А мы им красивые слова, мол, давайте и дальше. Да, за столом мы научились побеждать всех».

Подумав так, я решил, что пить за таскающих кули женщин, которые уже прямо в глаза говорят, что они готовы нести и нас — мужчин, не хотелось. И я решил — пора уходить.

И тут в комнату не то что вошла, а влетела молодая женщина, и уставшие от длинной патриотической речи депутата гости Глазковой переключили свое внимание на вошедшую. Она была в коричневой с большими отворотами кофте, лиловой блузке и ярком желтом шарфике. Ее раскрасневшееся от холода лицо было свежо и чисто и чем-то напомнило мне лица кустодиевских купчих. Еще я подумал, что уже где-то встречался с нею, но это ощущение тут же пропало, в Москве часто себя ловишь на подобном, возможно потому, что не покидает желание видеть рядом знакомые лица.

Быстрыми глазами вошедшая окинула присутствующих, поставила на стол завернутый в бумагу пирог, депутат тут же галантно предложил ей свой стул.

— О, да ты по снегу и на таких каблуках, — с улыбкой сказала Глазкова. — Признайся, сколько раз упала, пока добралась?

— Всего один раз, но удачно, сломала у сапога каблук, — весело и, мне даже показалось, доверительно призналась вошедшая. — Кое-как доковыляла до магазина. Там мне обрадовались, говорят: вот наш клиент. Купила новые.

— Неужели не могла с нормальным каблуком купить?

— Характер не позволил, — засмеялась «купчиха». — Как говорят французы, чем хуже погода, тем выше каблук. Но пирог, как видите, донесла. Сладкий, с брусникой.

— Прошу любить и жаловать. Пирог от Яны Селезневой, — представила новенькую Глазкова. — От себя добавлю: у Яны сегодня день рождения.

Селезеву тут же начали шумно поздравлять, троекратно прикладываясь к ее щекам. Выдержав необходимый в таких случаях ритуал, она села на стул. Незамедлительно вновь вознесся депутат. Обращаясь к своей неожиданной соседке, он хорошо поставленным голосом народного трибуна, но уже с новыми нотками, с какими депутаты обсуждают в думе женские вопросы, начал свою вторую речь:

— Есть события и даты, которые трудно передать словами. Я всегда восхищался, когда личные праздники совпадают с историческими или государственными. В связи с сегодняшней датой мне вспомнился сборник «Вехи», вышедший еще в 1909 году и зафиксировавший главные болезни российской интеллигенции: безрелигиозность, безнациональность, безгосударственность. Носить крестик и вставлять в свою речь, часто не по делу, церковные слова — это еще не значит быть религиозным человеком и верить в Бога. Сегодня нам так называемые интеллигенты вполне серьезно предлагают вообще отменить историю России. Не вспоминать Куликовскую битву, освобождение Москвы от поляков. Они договорились до того, что без Америки мы бы проиграли Вторую мировую войну. Войны не начинаются, начинаются дожди или, как сегодня, снега и так далее. Войны начинают конкретные люди, народы, государства. Вот я вижу рядом с собой прекрасную молодую женщину, пришедшую сюда в таком красивом восточном наряде. И имя у нее красивое, но заимствованное у наших западных соседей.

— Я войн не начинала, — засмеялась Селезнева. — Я мирная женщина, а женщины всегда были против войн. И за мир во всем мире. Кстати, уточняя: не Вторую мировую, а Великую Отечественную. Этому я учу детей. И если вам угодно знать, то мое полное имя Саяна. Но при крещении мне в честь преподобной Анны дали имя Аня.

— Яночка, — не обращая внимания на сделанную поправку, продолжил говорить депутат. — Если вы учите детей, то должны знать, что бывают ситуации, когда надо вскрыть нарыв. Это не проходит безболезненно. Вы, конечно, хорошо помните высказывание вождя мирового пролетариата, который, давая анализ проходящим в позапрошлом веке процессам, сказал, что декабристы разбудили Герцена, Герцен создал «Колокол» и им разбудил Россию.

— Ну, допустим, первым колоколом, который вверг Россию в смуту, был угличский, — мягким грудным голосом проговорила Селезнева. — В него ударили, когда был убит царевич Дмитрий.

— Вы правы, тот колокол был действительно бит плетью и сослан к нам в Сибирь. Я же хочу сказать, что в своем прекрасном монгольском наряде вы разбудили во мне потомка Чингисхана. Сегодня нам России как никогда нужна воля Чингисхана, потому что он выстрадал не какой-то там отстраненный марксизм, а жесткую систему власти, идею сильного государства. России нужен диктатор, патристический, жесткий, но справедливый. Государственник. И мы, потомки Чингисхана, пришли сюда, чтобы очистить Белокаменную от засилья подлецов, холуев и лизоблюдов. Москва и москвичи избалованы, закормлены, в них исчезло чувство борьбы, у них вынут хребет.

Сидящий с депутатом спутник громко продекламировал:

*Да Бог с ней, Москвою минувшего дня,
Неверною музою дяди Гиляя,
Она предала и себя, и меня,
Кургузым хвостом, словно шавка, вилая.*

— Почему вы так ненавидите москвичей и Москву? Зачем плюете в колодец, из которого пьете!? И если не любите Москву, то зачем с таким упорством и силою, во все лопатки стремитесь сюда — неожиданно с металлом в голосе воскликнула Селезнева. — Катились бы к себе в горы, тайгу, обнимались бы там с медведями.

— Извините, уважаемая, что я наступил на вашу мозоль, — с редким самообладанием продолжил депутат. — Мы это делаем и, заметьте, будем делать, чтобы наполнить ее свежей кровью. Кровью лесорубов, каторжан, казаков, старателей. Чтоб пробудить жажду обновления и сопротивления. Признаться, я не думал, что вы москвичка. А я-то грешным делом подумал, что вы дочь ламы. Или шамана. Что-то в вашем лице есть восточное, половецкое.

— Хорошо, что не подлецкое.

Разговор неожиданно залетел на такую высокую точку, что дальше ему оставалось либо оборваться, либо перейти в ту стадию, когда, закусив удила, каждый старался ударить побольнее, ставя невольных слушателей в неловкое положение. Но тут, с присущим ей тактом и самообладанием, между двумя субъектами спора встала Глазкова:

— Москва любит и принимает и сибиряков, и кавказцев, буддистов и мусульман. В ней есть место для всех. Но мы любим и ваши заповедные места. Моя дочь Маша мечтает побывать в ваших краях и сплавиться на лодках по Иркуту. Георгий Петрович так интересно и увлекательно рассказывал им на уроке о Байкале, что летом они всем классом собираются поехать в Саяны на родину Чингисхана.

— Насколько мне известно, там, по преданиям, находится родина его матери, — заметил я. — Но места там действительно дикие и красивые.

Чтобы снять возникшее напряжение, мы поднялись на второй этаж, где была свободная комната и можно было попить кофе. На какую-то минуту мы остались наедине с Селезневой.

— А вам действительно идет этот цвет, — неожиданно для себя брякнул я. Комплимент получился прямолинейным, неуклюжим и неуместным.

— Вы что, тоже потомок чингизидов? — глянув на меня в упор своими раскосыми глазами, спросила Селезнева.

— Да, я его внук, Хубилай, — нашелся я. — Прилетел сюда на воздушной колеснице.

— А я подумала, что вы немой. — Селезнева засмеялась. — За последний час от вас слышу первое слово.

— Там такой Цицерон с языка свалился.

— Да уж, — протянула Селезнева.

— Но вы, когда останавливали оратора, мне были симпатичны.

— Спасибо.

— Скажите, вы коренная москвичка?

— Нет, я родилась далеко отсюда.

— И как же это место называется?

— Оно называется небом. Я родилась в самолете, — с неким вызовом сказала Селезнева.

— Пойдите, пойдите, — осененный внезапной догадкой, прервал ее я. — Где это произошло?

— В Тункинской долине, почти тридцать лет назад. Моего отца тогда перевели работать в Москву, а мама задержалась у родственников. Я родилась семимесячной прямо в самолете.

— И кто был тот летчик, который вел самолет? — быстро спросил я. — Вы помните его фамилию?

— Конечно. Фамилия распространенная, графская — Шувалов. Звали его Василием Михайловичем. Меня действительно зовут не Яна, а Саяна. Говорят, он предложил так назвать.

У Селезневой зазвонил мобильный телефон, и она, извинившись, вышла из комнаты.

Ошеломленный, я остался сидеть, вспоминая тот непростой для меня полет. Было это действительно в начале ноября. Выполняя срочное санитарное задание, мы прилетели на горный аэродром в Саянах. В одной из работающих в верховьях Тункинских Альп геологических партий произошло несчастье. Когда геологи переплывались через Иркут, лошадей внезапно понесло на пороги. Женщин успели спасти, но они сильно пострадали, у одной из них от переохлаждения началось воспаление легких. Геологи вышли на связь с санитарной авиацией, на место аварии в тайгу на парашюте была выброшена врач. Осмотрев больных, она приняла решение вывезти их на лошадях. Вывозил их Саня Корсаков. Когда он приехал на аэродром, то на него было страшно смотреть. Оказалось, что одна из пострадавших — роженица — приходилась Корсакову дальней родственницей, а другой была Жалма. Но он не успел довести ее живой, она скончалась по дороге.

В самолете оставалось еще свободное место, и рядом с больной на металлический пол мы положили Жалму. Когда запустили двигатель, диспетчер сообщил, что погода ухудшилась. Он сделал паузу, давая время на принятие решения. Мы могли выключить двигатель и остаться на ночевку. Никто бы не осудил, нам было дано такое право. Размышление было недолгим. Покойная могла и подождать, но вот женщина-роженница ждать не могла. Нам показалось, что она вообще не представляет, что с ней происходит. И запросили разрешение на взлет.

После взлета самолет точно поехал по большим кочкам, его начало болтать, а вскоре, миновав перевал, мы вошли в облака. К болтанке прибавилось обледенение, слева от трассы, почти что рядом, упираясь в небо, мелькали заснеженные гольцы, справа тоже были горы. А вскоре облачность и вовсе прижала самолет к земле. Возвращаться было поздно, сзади была облачность и впереди одно молоко. Самолет болтало, как щепку. Для летчика слепой полет в горах, на низкой высоте, когда не знаешь, что у тебя впереди, равносителен езде по городу с заклеенными окнами. Природа не любит, когда ей бросают вызов, поэтому ощущения человека в слепом полете это, скорее всего, ощущения младенца в пеленках. Еще не умея просить, ребенок может только барахтаться и кричать. Нам оставалось одно — молиться Богу.

Сидящие в грузовой кабине пассажиры сгруппировались вокруг роженицы, у нее начались схватки. Они пытались, насколько можно, помочь молодой женщине. Небо, по поверьям бурят, подобно перевернутому котлу, и если его приподнять, тогда между краями может возникнуть зазор. Как в тот момент нам хотелось хоть на чуть-чуть приподнять этот котел, чтобы впереди появился этот зазор, потому что в любой момент в кабину, приоткрыв на мгновение небесную дверь, мог залететь каменный гость и ослепительным светом озарить последние мгновения жизни.

По расчетам, мы должны были уже выйти на береговую черту, а дальше, чтобы не поймать горы Хамар-Дабана, надо было поворачивать строго на север, туда, где находится Полярная звезда.

Внезапно после очередного броска самолета сзади раздался крик. Оглянувшись, мы увидели страшную картину — носилки отбросило к хвостовой перегородке, а на них с распущенными волосами, как живая, сидела Жалма. А рядом с нею кричала роженица. У нее начались преждевременные схватки. И неожиданно облачность точно обрезало ножом. Впереди был Байкал, а сверху с огромной высоты от солнца, от невидимых звезд, лился золотой поток, в отсвете вращающегося винта он показался мне небесным столбом, который жил своей непостижимой, осязаемой жизнью. Видение длилось всего мгновение, соизмеримое по своей продолжительности с тем мгновением, которым измеряется в этом мире человеческая жизнь.

— Что востребует Дух, то непременно осуществит Природа, — неожиданно философски заметил мой командир, то и дело оглядываясь на пассажиров. — Ты сходи, посмотри, что там.

Теперь, когда полет шел над видимой землей, и внизу спала озерная гладь, можно было спокойно сделать то, что казалось невозможным еще минуту назад. Я принес питьевой бачок, затем вскрыли самолетную аптечку. Сопровождающая роженицу бурятка попросила, чтобы я отгородил их от остальных пассажиров. Я взял самолетный чехол, поднял его вверх, сделав из него что-то вроде ширмы. Разглядывая сидевшую предо мной покойницу, я вспоминал, как она учила меня ездить на лошади, мысли путались и рвались, я не мог собрать их воедино. Вскоре стоны за моей спиной стихли, оглянувшись, я увидел, что принимавшая роды бурятка уже заворачивает родившегося ребенка в шерстяной платок.

— Кто? — коротко спросил я.

— Девочка, — так же коротко ответила сопровождающая.

Теперь-то я точно знал, чье лицо я вспомнил, увидев Саяну. Она напомнила мне Жалму. «Имею честь представиться — Георгий Храмцов, второй пилот того самого санитарного «кукурузника», на котором вы появились на свет. Я помогал принимать роды». Фраза, которую я заготовил, осталась невостребованной, Селезневой в комнате не оказалось, там уже мирно обсуждался план издания нового номера журнала, в котором обещал участвовать депутат. Катя показывала фотографии, Котов предлагал выпустить номер за счет компании «Востокзолото» с портретом генерального директора Аркадия Шнелле и очерком о нем. По словам Котова, они были в приятельских отношениях.

— Когда я был деканом факультета, он работал у меня преподавателем и бегал за водкой, — рассказывал Котов. — Но, скажу вам, парень он башковитый и продвинутый. Строительный бизнес, маркетинг, золотодобыча — вот те направления, которыми он занимается. Сегодня он работает со знаменитым в наших краях старателем Михаилом Торбеевым. Он в хороших отношениях с Чубайсом и Вексельбергом. Вокруг Байкала по Иркуту в Китай будут прокладывать нефтяную трубу. Бабки там будут приличные. Кстати, в свое время Торбееву, говорят, Высоцкий посвятил одну из своих песен. А тот, в свою очередь, для Марины Влади подарил Высоцкому сорок соболей.

— Соболя нам не нужно. У нас своих хватает, — засмеялась Глазкова. — Нам надо издать очередной номер журнала. Но подлаживаться мы ни под кого не будем, тем более под олигархов.

— Зачем подлаживаться, когда можно договориться! — воскликнул Котов. — Я поговорю, думаю, он мне не откажет. Но и его интерес должен присутствовать. Давайте расскажем об истории золотодобычи в Сибири, о людях, которые в наше непростое время двигают отечественную сырьевую промышленность и не дают Западу заглотить нас с потрохами. Вот как этот пирог.

Котов показал пальцем на стол, где еще оставался кусочек пирога.

— Это я оставила Храмцову, — глянув на меня, сказала Глазкова. — Признаться, мне это стоило больших усилий.

— А где же хозяйка пирога? — поинтересовался я.

— Ее дети заждались. У Яны два мальчика.

Мигом заставленная столами комната показалась мне пустой, и разговоры о выпуске журнала, в котором я не буду участвовать, пустыми.

— Кстати, я забыла тебе сказать: Яна — археолог.

— Та, с которой ты меня хотела познакомить. Мы с ней там наверху немного поговорили, — сказал я и улыбнулся, для меня слова «там наверху» имели иной смысл. Сделав небольшую паузу, я попросил Глазкову:

— Катя, ты не могла бы дать мне ее телефон?

— Конечно, — кивнула Глазкова.

Позвонил я Селезневой только в начале лета. Потоцкой подвернулась срочная работа, она была вынуждена уехать в Польшу. Да и мне, честно говоря, было не до археологии. Чтобы прошлая жизнь не напоминала о себе каждый день, я сдал квартиру и переехал в другой район Москвы.

В середине июня вновь напомнила о себе Потоцкая. Она сообщила, что сценарную заявку утвердили, и теперь нужен полноценный литературный сценарий. И тогда я вновь вспомнил о Селезневой. Я позвонил ей и, сославшись на Глазкову, сказал о своем намерении написать сценарий, попутно сообщил, что есть интересное предложение о съемках документального фильма. Подумав немного, Селезнева согласилась встретиться.

Мы долго договаривались о встрече, уточняли станцию метро, какой вагон и выход, вверху или в вестибюле, и все равно оказались в разных местах. Пока встретились, пришлось сделать несколько звонков, в подземной Москве заблудиться было проще, чем в тайге. И я даже усомнился, москвичка ли она. Встретились мы на переходе, там, где начинается Тверская улица. На ней был длинный, до пят, в коричневую клетку сарафан, из-под которого при ходьбе выглядывали желтые и остроконечные, как у монголов, сандалии. Открыто было только ее нездешнее лицо, и даже прямые волосы казались продолжением брони. Они были гладко зачесаны и прихвачены на затылке красной заколкой.

— Сайн байна! День добрый! — поприветствовал я ее.

— Сайн байна! — ответила она. Нет, нос у нее был европейским, я бы сказал, красивый нос, но крыжовникового цвета глаза были восточными. Я тут же про себя подумал, что в ее возрасте надо не скрывать себя, а наоборот, показывать. Через несколько минут мы были в Александровском саду — по моему понятию, это единственное в столице место, где все: величественные древние стены, державные металлические решетки, подстриженный газон, цветочные клумбы, ровные асфальтовые дорожки соответствовали моему летнему настроению и нашему предстоящему разговору о Чингисхане и древних захоронениях. Для такого случая я надел белую рубашку, которую сам постирал и погладил утром. Стояла жара, и все скамейки в саду были оккупированы праздно болтающимися по Москве людьми.

— Я, как вы просили, нашла для вас книгу «Мифы народов мира». Там есть и про монголов и про бурят, — сказала Селезнева.

Она неожиданно замолкла и посмотрела вверх. Надвигалась гроза, из-за Манежа к Александровскому саду, выпустив серые подмоченные фартуки, точно поливочная машина, пятясь, приближалась пузатая темная туча. Те, у кого были зонтики, стали доставать их из сумочек, другие поспешили к метро.

— Дождь — это хорошая примета, — сказал я. — Но у меня нет зонта.

— Придется пережить в переходе, — ответила Саяна. — И я не взяла зонтик. Когда поехала, на небе не было ни облачка.

Следом за бегущими к переходу людьми зашагали и мы, надеясь успеть до первых капель. Когда уже подходили к памятнику Жукову, хлынул дождь. Мы бросились к козырьку Исторического музея. Несколько минут смотрели, как серую брусчатку сечет теплый дождь, как, прикрыв головы газетами, сумками и зонтами, мимо бегут люди.

— У бурят-буддистов своя философия, — продолжила прерванный дождем рассказ Саяна. — Чужды мягкость и твердость, тепло и холод. Но в результате взаимодействия, благоволения и обычая, закона и мудрости рождается природа. Человек есть частица Вселенной, и человек есть космос.

— Мне показалось, что я сейчас туда улечу, — пошутил я. — И откуда вам все это известно?

— В институте занималась восточной философией.

Дождь продолжался недолго, оставив мокрой брусчатку, он прекратился так же внезапно, как и начался.

— Ну вот, все и закончилось, — прислонившись к стене и посматривая куда-то вдаль, с облегчением произнесла Саяна.

— Нет, все только начинается, — открывая в своих словах особый смысл и удивляясь непривычной для себя смелости, медленно проговорил я.

Она сняла заколку, встряхнула волосы и повернулась ко мне. И тут в ее глазах я неожиданно увидел отражение крепкого затылка полководца. Улыбнувшись своим наблюдениям, я поймал себя на том, что здесь, у кирпичных стен, Саяна уже не казалась мне прилетевшей невесть откуда восточной женщиной. Точно слившись с древними стенами, она как бы напомнила, что Россия собиралась из многих народов и имеет свое, неповторимое лицо.

В тот день я впервые узнал, что в Москве есть Зачатьевский женский монастырь.

— Монастырь основан митрополитом Московским Алексием еще до Куликовской битвы, — начала рассказывать Саяна. — А в 1584 году последним царем из династии Рюриковичей — Федором Иоанновичем была заложена церковь в честь зачатия преподобной Анны на избавление царицы Ирины от бесплодия. Этот монастырь сильно пострадал во время польско-литовского нашествия. В нем последнюю литургию отслужил патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Позже монастырь был закрыт, а на его месте открыли школу.

Здесь же в монастыре мы купили только что испеченного в пекарне мягкого душистого хлеба. Затем Саяна сказала, что ей еще надо зайти в историчку, так, оказывается, в Москве называли историческую библиотеку.

— В августе я хочу поехать с ребятами из нашей школы в Тунку, — сказала она. — Там работает мой руководитель, с которым я еще студенткой копала в Ольвии. Нам предложили сплавиться по Иркуту, затем пожить в лагере у археологов и побывать на Байкале. В библиотеке я хочу заказать, как вы и просили, книгу Доржи Банзарова «О черной вере, или шаманстве у Монголов».

— Давайте поедem в Тунку вместе, — предложил я. — Мы бы и вас сняли в фильме. Не каждый же год московские школьники приезжают на Иркут.

— Но пока вы еще не снимаете, — засмеялась Селезнева. — И чего это вас к шаманам потянуло?

Мне подумалось, что этими словами она захотела попрощаться со мной.

— Да не к шаманам, а к землякам, — ответил я. — Если не возражаете, я вас провожу? По дороге вы расскажете о Москве, а я послушаю. О той, в которую мы все стремимся во все лопатки и толком не знаем. У меня сегодня день свободен.

— Нынче иметь свободное время — редкость. Но если о Москве...

— И по Москве.

Мы спустились в метро и через несколько минут вышли на Китай-городе прямо к церкви Всех Святых на Кулишках, построенной в честь победы русских войск на Куликовом поле. По узкой и кривой улице, мимо модных магазинов и светящихся даже днем реклам, мы поднимались в гору. Саяна показывала очередной старой кладки дом или монастырь и рассказывала, по какому случаю он возведен, кто и когда здесь жил. Поначалу с апломбом провинциала я еще пытался изобразить из себя просвещенного человека, но, столкнувшись с профессионалом и чтоб не казаться окончательно невеждой, терпеливо глазел на дома и согласно качал головой — на мой взгляд, это была самая правильная линия поведения — соглашаться или делать вид, что и ты кое-что знаешь и разбираешься в истории и архитектуре. Рассказывая о Москве, она все время подчеркивала, что вот на этом углу она покупала мороженое, здесь они встречали Новый год, а вон в том сквере работали на субботнике. Когда мы спустились в очередной переход, я, опережая ее, сказал, что если сейчас узнаю, что этот переход со своими друзьями вырыла она, то не удивлюсь, а удавлюсь от зависти.

— А вы, оказывается, ревнивый, — рассмеялась Саяна.

— Почему? — сделав удивленное лицо, ответил я. — Облицовочный мрамор для этого перехода с байкальских гор возил я. Это общеизвестный факт. Я же не могу все время слушать о том времени, в котором ощущается мое полное отсутствие.

— Принимается, — Саяна даже захлопала ладошками. — Этого я не учла.

После исторички мы побывали в Ивановском монастыре, затем в церкви Владимира, что в Старых садах. Сопровождаемые ворчанием грома, мы заходили в какие-то дворы, потом вышли к Старой площади и решили зайти в кафе китайского летчика. Меня заинтересовало само название, но ничего летного, кроме пропеллера и шлемофона, я там не обнаружил. За столом я в деталях и лицах начал рассказывать о своих прошлых полетах, о непредвиденных посадках, она терпеливыми глазами смотрела на меня, изредка вставляя слово, слушала.

— Первый раз я полетел над Байкалом в ясный солнечный день. И увидел, что наш самолет как бы завис между двух огромных бездонных, уходящих куда-то в космос, голубых чаш, — увлеченно, как когда-то ребятам на уроке, повествовал я о своих полетах. — Такого чувства вселенской чистоты и покоя я не встречал нигде и никогда.

— Би шаамда дуртэб, — эти слова я произнес, когда мы выходили из кафе. По-бурятски это было объяснением в любви. По ее почти незаметной улыбке я догадался, она поняла.

— Откуда вы знаете бурятский? — спросила она, и я уже хотел было признать, что жил среди бурят и знаю Саяну давно, с самого рождения, но почему-то остановил себя.

«Будет время, расскажу все, как было», — решил я, пропуская ее вперед. И неожиданно заметил, что сзади на сарафане у нее длинный разрез и оголенная спина, которую она все время старательно прикрывала платком. «И у бронжилета есть свои секреты», — подумал я. По дороге в метро Саяна сказала, что она сейчас вместе с детьми живет за городом на своей даче в Прудово, и она готова дать необходимую консультацию по мобильному телефону.

— Вы нравитесь Кате, и она просила помочь, — точно подводя некий итог встрече, добавила она.

Я промолчал. Всем известно, по мобильному много не наговоришь. Да и какую консультацию могла она дать? В этот момент мысли мои были заняты другим, я вдруг поймал себя на том, что мне не хочется расставаться с ней.

Проводив Саяну до вагона, я неожиданно сделал неуклюжую и стыдную для себя попытку поцеловать ее в щеку, но она, отстранившись, с каким-то холодным любопытством глянула на меня. Двери захлопнулись, и темная подземная труба, точно огромный удав, выдохнув с затухающим металлическим свистом, заглотала в свое нутро освещенные вагоны.

Свое непростительное движение к Саяне я переживал недолго, дома меня почти врасплох застал телефонный звонок. На другом конце провода была Потоцкая.

— Как со сценарием? — спросила она. — Учтите, в конце месяца мы должны выехать на съемки. Кстати, у вас остались там знакомые, друзья?

— Конечно, — подумав немного, ответил я. — Там живет мой друг Дерсу Узала.

— Это тот, который играл в фильме Акиры Куросавы? — с иронией спросила Потоцкая.

— Да при чем тут Куросава! — воскликнул я. — Так на Байкале зовут Саню Корсакова. Он наполовину бурят, наполовину русский. Работает в заказнике проводником. Лучше его никто не знает тайгу. Несколько лет назад он сопровождал французенку. Она разыскивала пропавшую много лет назад в верховьях Иркуты экспедицию мужа, который, как говорили, искал могилу Чингисхана. Корсаков рассказывал мне, что в Тунке отбывал ссылку Пилсудский, и это обстоятельство очень заинтересовало французенку. Кстати, Корсаков знает французский.

— Мне его французский по барабану, — прервала меня Оксана. — А вот о Пилсудском — это замечательная идея. Она должна понравиться нашим спонсорам. Мы могли бы предложить фильм польскому зрителю. Ваш друг, случаем, не родственник Георгия Корсакова — главного геолога золотых приисков?

— Честно скажу, не знаю, — подумав, ответил я. — У нас в Сибири как? Прилетаешь в деревню Пуляево. Там все Пуляевы. В Рассохино, там все Рассохины. Думаю, и здесь та же история.

— Хорошо, на месте разберемся. Было бы неплохо подключить местного депутата. Скоро выборы, и ему бы не помешало участие в нашем проекте.

— Есть такой, — вспомнив говорливого потомка Чингисхана, засмеялся я, и назвал фамилию Василия Котова. Она отреагировала спокойно, сказав, что знает такого и, по ее мнению, это вполне подходящая кандидатура.

В начале августа я позвонил Селезневой на мобильный и узнал, что заказанные книги давно ждут меня, и она готова привезти их в Москву.

— А можно приехать к вам? — спросил я. — Мне срочно нужно дописывать сценарий, и книги были бы кстати.

Что ж, сценарий был хорошим поводом, только о чем он будет и как в нем будут развиваться события, я не представлял.

— Да, да, приезжайте, я буду рада, — быстро ответила она. — Мне надо о многом с вами поговорить.

Голос ее был взволнованным и теплым. Обычно так говорят с близкими или хорошо и долго знакомыми людьми.

И я, прихватив с собой разной провизии, поехал. На Белорусском вокзале купил билет на электропоезд до Прудово, в переполненном вагоне вдоволь наслушался продавцов, которые предлагали газеты, мороженое, носки, кремы и прочий ширпотреб.

Через час электричка доползла до платформы Прудово. Я вспомнил, что именно сюда на строительство церкви перечислял деньги, и делал это с удовольствием, поскольку слышал, что Торбеев строит там себе загородный дом, и большая часть дополнительной выручки авиакомпании «Иркут» изымается для оплаты этих работ.

Я вышел из вагона, спустился к бетонным шпалам и по тропе пошел к прорубленной в лесу просеке. Оставив за спиной замасленные, пахнущие мазутом стальные рельсы и сделав несколько шагов по бетонным плитам, я вошел в наполненную густым и терпким настоем лесных трав зеленую страну. Была она со всех сторон освещена и разогрета мягким солнечным светом и, казалось, были мы с нею одного покроя и одной крови. Мне, после вагонной суеты и еще не вылетевшего из головы

грохота колес, на мгновение захотелось просто лечь на тропу, дышать свежим воздухом и смотреть, смотреть, как в детстве, в синее небо.

Вдоль тропы, раскинув огромные листья, среди тонких тальниковых веток, как бояре на пиру, полулежали кусты репея, рядом с ними виднелись островерхие шлемы иван-чая, звездчатки и лютика, над ними толпились кудлатые головки борщевика, а промеж них, соединяя все разнотравье в одно целое, только что призванной на службу пехотой стеной стояла болотная осока. А чуть дальше меня разглядывали высокорослые, раскидистые березы и клены, рядом с ними, будто выставленные для показа, красовались густые сосны и ели, и я, шагая по бетонным плитам, погружался в другой, такой привычный для меня мир, знакомый мне с того времени, когда мы с отцом ходили по тайге.

И тут я увидел, что навстречу мне идет стройная невысокая девушка. Была она в зеленых до колен бриджах и зеленой полосатой футболке. Не доходя до меня, она вдруг улыбнулась знакомой улыбкой и, неожиданно раскрыв руки, бросилась навстречу. И только когда подлетев, она с ходу обняла меня и неожиданно поцеловала в щеку, я понял, что это Саяна. Я даже не успел удивиться теплоте и восхитительной легкости ее прикосновения.

— Почему вы мне сразу не сказали, что вы и есть тот самый Храмцов, который вез мою маму на том самом санитарном самолете? — с укоризной воскликнула она. — Как вы смели столько времени молчать!

— Я специально приехал, чтобы рассказать об этом.

— Мне все сообщил мой дядя Александр Корсаков. Я позвонила в Тунку и рассказала о вас. А он мне и выдал — это, говорит, тот самый Храмцов, у которого ты родилась в самолете. Так что вы мне теперь не только друг Кати Глазковой, вы мне больше, чем родственник!

Когда, миновав просеку, мы вышли на асфальтную дорогу, мимо, посигналив, проехала черная иномарка. При въезде в деревню она остановилась, и было видно, что нас из нее кто-то внимательно разглядывает. Не доходя до поворота, Саяна свернула на тропинку, я понял, что она это сделала специально, чтобы не проходить мимо остановившейся машины. Судя по сохранившимся старым домам, которые вытянулись вдоль заросшей травой речушки, Прудово было заселено давно. Саяна сказала, что оно было выстроено около колодца, где поили лошадей по шляху из Москвы до реки Угры, и в летописях оно упоминается уже в пятнадцатом веке.

Но мне в глаза почему-то лезли новые кирпичные особняки, они, как это и положено, преуспевающими купцами стояли наособицу, по правую сторону от болотины. На задах огородов, у самого забора паслись козы, поскольку шел я в светло-серой вельветовой рубашке и белых хлопчатобумажных штанах, они начали внимательно разглядывать, пытаясь угадать, куда мы свернем: к ним или новым русским, где на них бросались сторожевые псы, или на заросшую травой улицу, где с местными собаками у них был подписан мир на вечные времена. Свернули мы на левую, старую половину села, которая хранила в своей памяти стрелецкие полки Скопина Шуйского, повозку Гришки Отрепьева и обозы с награбленным добром отступающих из Москвы французов.

Дом у Саяны состоял из двух половин, новая двухэтажная из свежепиленного бруса была пристроена к старому дому, и я, разглядывая законопаченную паклей стену, подивился оригинальности и простоте архитектурного решения проблемы расширения жилой площади. Во дворе напротив окон стояли две старые яблони, а с солнечной стороны над новыми окнами взметнулась тоненькая с густыми зелеными косами березка.

Саяна решила показать свой кабинет, который располагался на втором этаже.

Поднявшись по деревянной лестнице, где у входа от потолка до пола стоял заполненный книгами стеллаж, мы вошли в маленькую, уютную комнату. Здесь, как и во всем доме, приятно пахло сосной. На стене я увидел карту, начертанную по рассказам Геродота, рядом с нею карту Прибайкалья, чуть выше в углу икону Николая Угодника. Кабинет изнутри напомнил мне бурятскую юрту. На полу, поверх войлочного монгольского ковра, у невысокой лежанки я разглядел выделанную баранью шкуру, вдоль окон до самого пола свисали желтые шторы.

Жила Саяна скромно и, я бы даже сказал, по-спартански. Вот чего у нее было много, так это книг: по истории, археологии и, совсем неожиданно, медицине. На столе стояла фотография маленькой Саяны. Затянутая в платок, она темными глазками, точно вопрошая, с улыбкой смотрела на меня. Чуть выше на книжной полке была еще одна фотография. В белом халате Саяна стояла возле санитарной машины.

— Мои девичьи метания, — улыбнувшись, сказала Саяна. — Я в свое время закончила медучилище и два года работала на «скорой». А потом увлеклась археологией. Теперь на уроках в школе пытаюсь соединить прошлое с настоящим и понять, зачем я на этом свете.

— Сложный вопрос, — засмеялся я. — Сколько людей пыталось ответить на него. А когда работала на «скорой», тоже об этом думала?

— Нет, там было другое. Там я насмотрелась такого, что на всю жизнь. Там едешь, уже заранее зная, у людей — беда. К концу дня ты уже никакая. К сожалению, врач не волшебник. Помню, приехали, лежит девочка лет шести-семи. Температура под сорок. Начали делать ей укол. Чтоб отвлечь ее от боли, я попросила девочку сосчитать до десяти. Она успела сосчитать со мной до пяти и потеряла сознание. Иногда меня просто распирало от злости. Люди живут в скотских условиях, а мы должны клянить бензин, чтобы оказать им помощь.

— Мы с тобой, Саяна, коллеги. Я ведь долгое время работал в санитарной авиации, — сказал я. — Раньше мы днями и ночами дежурили в аэропорту, чтобы мгновенно, если понадобится, вылететь к больным. Как было, например, в случае с твоей мамой. А сегодня все порушено, санитарной авиации нет. Мне говорили, что в некоторые северные поселки самолеты не летают месяцами. А раньше туда детали каждый день.

— Зато теперь появились самолеты бизнес-класса.

— Да, на них олигархи летают в Швейцарию, кататься на лыжах. Я летал в такой авиакомпании и повозил их немало. Кого только не возил. Артистов с теннисными ракетками, затем, видимо, в соответствии с требованиями времени, пошли горнолыжники, аквалангисты. Чубайса возил и других ископаемых.

— Кстати, я, зная историю своего рождения, хотела стать летчицей, — сказала Саяна, поглядев мне прямо в глаза. — У меня даже есть один парашютный прыжок.

— Да что ты говоришь! — воскликнул я. — Как говорил герой Киплинга, мы с вами, сударыня, одной крови.

— Нет, я вообще-то трусиха. Прыгнула со страху. Думала, если прыгну, сама себя уважать буду. А все наоборот. Но вот вам в этой своей слабости я признаюсь с удовольствием.

— Режиссер подыскивает женщину, которая по сценарию должна прыгнуть в тайгу. Ты, Саяна, по всем параметрам подходишь на эту роль.

— Вы что, приехали уговаривать меня прыгать? — с забытой усмешкой вдруг протянула Саяна. — Да ни за какие деньги! Мать двоих детей прыгает с самолета. Ваше предложение, Георгий Петрович, мягко говоря, пахнет авантюризмом. Что, я похожу на авантюристку? Мне их надо еще выучить и поставить на ноги, а уж потом кидаться в тайгу.

Я не нашелся, что возразить. Как ни крути, она была, конечно, права. На роль искательницы приключений Саяна не подходила. Мне и самому стало неудобно от

своего предложения. Раз связался с кино, то решил, что все на нем помешаны и непременно хотят участвовать в съемках. Спустившись вниз, мы вышли во двор, где она познакомила меня со своими сыновьями: старший — Денис закончил пятый класс, а другой, Миша — третий. Они носились с автоматами и саблями по длинному, поделенному узенькой тропинкой огороду. На меня мальчишки обратили ровно столько внимания, сколько нужно было для того, чтобы после Саяниного напоминания поздороваться с незнакомым им человеком, машинально выполнить команду и вновь вернуться в придуманную ими войну.

Вот чего, кроме книг, у Саяны было предостаточно, так это сорной травы в огороде. Она росла вдоль всего длинного забора, глушила кусты смородины и, обнимая грядки, норовила задушить их в своих объятиях. А рядом, за тропинкой у соседей была почти идеальная чистота, в теплицах наливались помидоры и огурцы, на грядках алели клубника и земляника. Я спросил, есть ли у них коса? Она, смутившись, ответила, что есть, и еще у них есть электрическая газонокосилка, но она еще не научилась ею пользоваться. У меня появился шанс показать свои способности, и я решил им воспользоваться.

— Там все очень просто! — воскликнул я. — А ну, покажи агрегат.

Через несколько минут я начал борьбу с сорной травой. Из-за душа прибежали Саянины мальчишки и, забегая с разных сторон, мешая работать, начали умолять дать им покосить.

— Это опасная штука, — сказал я. — Здесь нужна сила. Вот когда подрастете, то косите хоть каждый день. Но для этого надо хорошо есть. Как у вас с аппетитом?

— Мы даже козье молоко пьем, — солидно ответил старший. — Думаю, через месяц наберемся сил.

— Вот тогда и трава подрастет, — в тон ему, улыбнувшись, ответил я.

Возле забора, в густых зарослях, я обнаружил несколько кустов жимолости. Было видно, что ее никто и никогда не собирал. Я взял чашку, и мы вместе с ребятами набрали трехлитровый бидон.

— Это что, волчья ягода? — спросила Саяна. — Неужели ее можно есть? А у нас она вместо декоративного кустарника росла.

— Да ты что, это жимолость! Целебная ягода. У нас в Сибири ее гипертоники очень уважают.

— Это то, что нужно моей маме, — сказала Саяна. — Она гипертоник.

— Мы ее сейчас перетрем с сахаром, и пусть твоя мама каждый день натошак съедает по ложке, — с видом опытного целителя сказал я. — Проверенное народное средство.

Пока Саяна готовила ужин, я рассматривал приготовленные мне книги. Они были написаны еще в позапрошлом веке и открывали незнакомый мне прежде мир преданий, мифов и легенд, которые, судя по всему, продолжали жить у бурят до сего дня.

Вначале Саяна решила покормить мальчишек, стала усаживать их за стол, но вовремя разглядела, что младший не успел помыть руки. Она подвела его к умывальнику и начала отмывать от огородной земли.

— Мы там за душем рыли окопы, — начал оправдываться Миша. — И нашли немецкую каску.

— Да не каску, а старый котелок, — поправил его Денис. — Возможно, он принадлежал отступающим французам.

— Они у меня настоящие археологи, — с улыбкой глянув на меня, сказала Саяна. — Весь огород перерыли. Чего только в дом не натаскали. Я им рассказывала, что неподалеку от этих мест под Малоярославцем Кутузов нанес французам чувствительное поражение, после чего Наполеон начал спешно покидать Москву. Здесь

до войны находили оловянные пуговицы от мундиров. А сейчас у них все разговоры только о Байкале. Пришлось им даже купить карту и повесить на стене.

Я чувствовал, что за всеми домашними делами Саяна ни на секунду не выпускает меня из виду, здесь она была на своей территории и вела себя свободнее и раскованнее. Уже не стесняясь, она впускала меня в тот мир, который до сего дня был мне незнаком, но интересен уже тем, что я был свидетелем ее необычного рождения. Каким-то необъяснимым, но точным чувством я уже знал, что она живет без мужа, но не показывал виду, такие вещи, как правило, не показывают и не обсуждают. Мы выпили по бокалу французского вина, но перед этим я показал, как в Тункинской долине бурханят, побрызгал вином в разные стороны. Затем рассказал, чем занимался после нашей последней встречи, поругал московскую жару и неожиданно сообщил, что в прошлой жизни по вечерам обычно ходил купаться на Иркут.

— У нас здесь есть баня и душ, — поняла меня по-своему Саяна. — Перед сном можно сходить и помыться. Но я хожу купаться на пруд.

— А что, было бы здорово: в Прудово искупаться в пруду, — скаламбурил я.

— Это недалеко. Но уже темно.

— Люблю купаться ночью. Никто тебе не мешает.

— Тогда пойдем, — улыбнулась Саяна. — Я провожу.

И мы, прихватив с собой полотенца, пошли на пруд. Огород был полон лунного света, но над болотной травой в низинах уже начал сгущаться туман. Тропа то ныряла в низины, то забегала на бугорки, и Саяна подсказывала мне ямки и препятствия. И вдруг мы увидели, что на повороте за темными кустами стоит кто-то в белом. Испугавшись, Саяна схватила меня за руку.

— Ой, что это там?

— Привидение. Должно быть, шаманка, — пошутил я.

— Здесь их не бывает, — шепотом ответила она.

Держа в поле зрения бледное пятно, мы двинулись вперед, и оказалось, что в заборе на повороте отсвечивала белым покрашенная дверь. В пруду, как в огромной чаше, желтой кувшинкой качалась луна, и от нее к берегу тянулась желтая дорожка. Было тепло и тихо, все вокруг: деревья на противоположном берегу, кирпичные дома, камышовые заросли, тихая вода были темны и загадочны. Берега пруда поросли травой, но мы, оставив луну за спиной, прошли по берегу, отыскивали вытопанный спуск. Я быстро разделся, начал спускаться к воде и неожиданно в темной воде, как в зеркале, разглядел звездное небо, Большую и Малую Медведицу, созвездие Ориона и Гончих Псов. Крохотные звезды, то пропадая, то возникая вновь, казалось, указывали мне путь. Остановившись, я отыскал в воде почитаемую у бурят Полярную звезду, которую они называли вершиной мировой горы, затем, подняв голову, отыскал ее на звездном небе и, тронув спускающуюся к воде Саяну за плечо, соединил светящиеся точки кончиком указательного пальца. Саяна рассмеялась: оказывается, одним движением можно соединить два мира, два полушария — небесное и земное. В этот момент на другой стороне пруда включили автомобильные фары и вдоль воды, гася звезды, ударил яркий луч света. Должно быть, кто-то, услышав наши голоса, захотел разглядеть полуночных купальщиков. Саяна спряталась за меня и бросилась в воду. Следом окунулся и я. Вода оказалась на редкость теплой и, как мы говорили в детстве, парной. Я попытался догнать ее, но сделать это было не просто, Саяна плавала, как нерпа, сразу было видно, что вода — это ее стихия. Поняв, что догонять ее бесполезное занятие, я остановился и хотел достать ногами дно. И начал цеплять холодную, вязкую траву, точно кто-то специально, как сети, раскидал водоросли в темной воде, чтобы связать ноги и утащить на дно. Пруд был старым, Саяна, подплыв ко мне, сказала, что его недавно чистили новые русские.

— Чистили, да не дочистили, — пробурчал я.

— И на том спасибо, — засмеялась Саяна.

— Вот с кем вам надо поговорить, так это с мамой, — возвращаясь с пруда, неожиданно сказала Саяна. — Она родилась на Байкале и долгое время жила среди бурят, преподавала в школе историю, занималась археологией, знает их язык, обычаи. Несколько полевых сезонов она провела с отцом в Саянах. Там они искали золото. Я ей позвонила, она завтра обещала приехать. Мама у нас общественница, возглавляет женский комитет. Борется с незаконной застройкой двора. «Донстрой», за которым стоит жена мэра, решил возвести рядом с нашим домом многоэтажку, как было объявлено, специально для сибиряков. Без разрешения, без экологической экспертизы, строители начали рыть котлован. Так вот, женщины собирают подписи, митингуют, стоят против строителей насмерть. Мэр даже пообещал выселить из квартир всех пикетчиков. Маме-то, с ее здоровьем, как раз место на баррикадах. Но когда она узнала, что вы тот самый пилот, она так разволновалась.

— Сегодня они ведут себя так, будто никого и ничего не слышат, — заметил я. — Таковы нравы нашей буржуазии, им все мало. Не понимают, что ничего с собой на тот свет не возьмут. В моем родном училище будущим летчикам на питание выдают в день около пятидесяти рублей. В московских собачьих питомниках, где выращивают собак для охраны олигархов, выделяют сто сорок рублей.

— Брюхо не имеет ушей, говорил Катон, имея в виду римский плебс, — заметила Саяна. — Наша политическая и финансовая верхушка ведет себя хуже плебса.

Утром по росе я взялся обкашивать оставшуюся траву в огороде. Я уже знал, что все хозяйство в доме на ней, что деревянный пристрой к дому на свою скромную учительскую зарплату сделала уже без мужа, вечером к ней приходили электрики и она, не имея опыта в таких делах, советовалась со мной, где и как лучше провести проводку. Увлечшись работой и своими мыслями, я не сразу разглядел, что ко мне по тропинке идут две женщины. И тут до меня дошло, что это приехала Саянина мать. Подходя ко мне, она начала пристально вглядываться, и мне показалось, что она хотела разглядеть и узнать во мне того летного паренька, который держал самолетный чехол, укрывая ее от посторонних глаз. Я улыбнулся и, действуя скорее безотчетно, чем осознанно, обнял ее, она ответно прижалась ко мне щекой, и я услышал торопливый шепот:

— Спасибо вам за Саяну. Тогда я не сумела и не смогла поблагодарить. И вот Господь дал такую возможность.

На обед Неонила Тихоновна, так звали Саянину мать, приготовила суп.

— Мне Саяна сказала, что вы пишете сценарий? — неожиданно спросила она, глянув на меня большими, как и у дочери, глазами.

— Да вот, и сам не ожидал, что придется взяться за эту работу.

— Ему нужны мифы и легенды, — подсказала Саяна.

— Тот полет тоже стал легендой, — засмеялся я. — Никогда бы не подумал, что мы вновь встретимся.

— Все в руках Господа, — тихо проговорила Неонила Тихоновна. — Я ведь долго не могла иметь детей. Местных буряток возят в дацан, который находится у Белой горы. Те, кто просит любви, детей или семейного счастья, оставляют на деревьях хадаки — платки, каждый цвет которых просит о своем. Зеленый — защищает от болезней, синий — от невезения, красный — дарует долголетие, желтый — дает мудрость и способность постигать знание. Я же просила за свою Аню в Зачатьевском монастыре. Есть такой в Москве. Зашла на Остоженку, где расположен монастырь, и в Надвратной церкви помолилась, поставила свечку.

— Я недавно прочитал стихи одного поэта, — тихо, точно про себя, сказал я. — Он утверждает, что храмов появится много. Но молиться в них будет нельзя.

— Человеку всегда было и есть о чем помолиться, — услышала меня Неонила Тихоновна. — Да, сейчас, к сожалению, время ворон, а не орлов.

— Время каркающих по любому поводу депутатов и других проходимцев, — влезла в рассказ Саяна. — Кричат, Байкал надо защищать, а сами голосуют, чтоб рядом по берегу нефтяную трубу пустить. Пятая часть мировых запасов пресной воды находится в Байкале. Головки у наших олигархов от жадности совсем перегрелись.

— Не перебивай старших, — строго глянув на Саяну, сказала мать. — Депутатов осуждаешь, а сама, как ворона. Люди не понимают, что своими руками рубят сук, на котором сидят. На земле остался последний источник с чистой питьевой водой, это — Байкал. Чингисхан волею Вечно Синего Неба провозгласил территорию нынешнего Прибайкалья — первым в мире заповедником, зоной великого запрета. Там нельзя было ни охотиться, ни пасти скот, ни заниматься земледелием, так как, по мнению бурят, это причиняло боль земле. Они даже не срезали траву косой — животные сами должны были брать ее так, чтобы траве не было больно, и носили специальную обувь с загнутыми носками. Любые нарушения — безжалостно наказывались.

— Мама, ты Расскажи про четырехглазого лося, — напомнила Саяна.

— Ты хуже сороки, — улыбнулась мать. — Потерпи, всему свое время.

— Все, молчу, молчу! — воскликнула Саяна. — И еще Расскажи о Деминоме кладе.

— О Деминоме кладе мне рассказывали, — сказал я, вспомнив эту известную еще с детства историю.

После окончания школы, не имея денег, для того чтобы ехать и учиться, я решил попытать старательского счастья, поскольку хорошо знал весь процесс добычи золота и даже научился определять по месту, где оно могло быть. Собираясь на промысел, я взял себе в помощники Саню Корсакова. Узнав, зачем я собрался в тайгу, Жалма вызвалась составить нам компанию. Когда во дворе было еще темно, Жалма с Саней запрягли коней, и мы тронулись в путь, если бы кто проследил за нами, совсем не в сторону старых разработок. И лишь отъехав от села на приличное расстояние, мы сделали крюк и по таежным тропам, которые знал только Саня, двинули на заброшенные прииски. Много позже я понял, что такая предосторожность была не лишней, дело, на которое мы решились, не терпело посторонних глаз. Больше всего мы опасались Торбеевых. В их руках была вся власть и закон. Уж они-то бы нас, за самовольное старательство, по головке не погладили. Через несколько часов мы были на старых отвалах. Походив по выработкам, я решил попробовать у самого спуска к реке. Шансов было мало: это была территория отработанных приисков и представляла собой горы перемытой, перелопаченной породы. Жалма стала готовить обед, а мы с Саней взялись за лопаты. К вечеру поняли, что работаем впустую. Утром, когда я решил возвращаться, Жалма сказала, что можно попробовать покопать на старых отвалах у ключа Ямангол. Они были в десяти километрах от того места, где мы остановились. Жалма привела нас на этот ключ, а сама вернулась домой. И в первый же день на Яманголе мы намыли шестнадцать граммов золота! Это была неслыханная удача. На второй день намыли двенадцать граммов, на третий еще двадцать, а на четвертый — ни одного. Горы перемытой перевероченной породы — и все впустую. Я хотел разделить добытое золото пополам, но Саня неожиданно отказался, сказав, что мне оно нужнее.

— От этого песка человеку одни проблемы, — глядя куда-то вовнутрь себя, обронил он. — И чего люди в нем находят? Им коня не напоить, не подковать. Говоришь, блестит? Вон, голыцы в ясный день тоже блестят. И снег блестит. Мой дедушка рассказывал, что когда-то в этих местах скрывался сбежавший из Александровского

централа каторжник Демин. Года три он жил один. Он-то и отыскал золотую жилу. Наши помогали ему, привозили припасы. А потом Демин договорился с жившим в Тунке урядником и откупился от власти золотом. С ним, говорят, любил общаться и ходить на охоту ссыльный поляк. Он потом важным человеком у себя стал. Фамилия у него была Пилсудский. Возможно, Демин и рассказал ему о своей тайне, кто его знает? А во время революции по Иркуту и Китою на Тунку уходили белые. И там один из них, офицер по фамилии Новиков сорвался ёкарганэ, со скалы в расщелину, где протекал маленький ключ. Когда он пришел в себя и подполз к журчащей воде, то неожиданно на дне чаши, куда лилась вода, увидел камушки. Он достал один и поразился его тяжести. Поскреб ногтем — оказалось самородок. Так он на том месте намыл песка и камушков более двух пудов. Несколько суток пробирался по тайге. Но, переплываясь через Иркут, утонул. Нашли его буряты вместе с золотом. После многие пытались отыскать Демин клад. Тонули в реках, но все равно лезли в тайгу. Но клад так и не отыскали. Возможно, это было как раз на этом месте, где мы роем. Кто его знает, ёкарганэ?

Не все сказанное Саней тогда дошло до меня. В тот момент я в мечтах мчался к новой, неизведанной жизни и не понимал, что много позже эти дни, проведенные в тайге, в горах, на Иркуте, и будут самыми счастливыми моментами моей жизни.

Через третьи руки мать сдала песок в золотоскупку. Вырученных денег хватало не только на дорогу, но осталось еще на житье. И, с того дня, моя жизнь дала крутой оборот, где уже почти не было места для тайги. Мне писали, что Жалма после училища стала работать у геологов, и добавляли: она гордится, что я поступил в летное. Однажды она даже прислала открытку, поздравив меня с Новым годом.

За чаем Неонила Тихоновна вновь вспомнила о Демином кладе.

— С этим кладом мне и здесь, в Москве, покою не дают, — сказала она. — У Георгия, моего мужа, с прежних времен осталась геологическая карта. Сначала звонили какие-то люди, предлагали за нее деньги, потом Торбеев пристал, продай да продай. Ну, вылитый тарбаган.

— Кто, кто? — не поняла Саяна.

— Да так звали его отца, — пояснила мать. — Теперь Болсан не тарбаган, он известный человек. Его даже по телевизору показывают. К нему, говорят, сам Анатолий Чубайс отдыхать приезжал.

Я чуть не рассмеялся, недаром говорят: гора с горой не сходятся, а люди всегда. Отыскалась еще одна ниточка, которая напомнила мне о прошлом. И здесь, точно из табакерки, выскочил Болсан Торбеев.

— Я думаю, их интересует не только карта, но и дневник. Георгий заносил в него все, что видел, слышал от местных бурят. Там есть схемы и его предположения, где могут находиться золотосодержащие породы — заметила Неонила Тихоновна. — Ну, а теперь слушайте легенду. Мне ее еще бабушка рассказывала. В Библии есть рассказ о сотворении мира. А вот его бурятский вариант. Там, тоже за несколько дней, Создатель сотворил на земле жизнь, свет и тьму, небо и воду, и земную твердь. И населил ее ползающими гадами, летающими птицами, плавающими рыбами и бегающими зверями. И увидел он, что это хорошо, и удалился после трудов праведных на отдых. Единственным существом, так никогда и не выразившим благодарность Творцу за подаренную жизнь, был человек. Ему было скучно.

— Земля ровная, море ровное — скучно мне, — ныл и скулил человек, не давая покоя своим земным собратьям.

И тогда первый мамонт сказал:

— Надо собрать всех плавающих, летающих, ползающих и бегающих по земле на совет и попросить Создателя сделать так, чтоб всем на земле было хорошо.

И все живое собралось на скале совета. Опоздал только один мудрый лось, который имел не два, а четыре глаза. Узнав, что все уже собрались, он поскакал на скалу. Когда он переходил реку, из воды вынырнул налим.

— Куда ты спешишь, лесной красавец? — спросил он.

— На скалу, где будет совет.

— Там уже все закончилось, — сказал налим. — Кто что хотел, тому все и раздали. Не поделенным остался ум. Никто не знал, что с ним делать. И тогда, чтоб больше человек не надоедал, решили отдать ум ему.

— Что же вы наделали! — заплакал лось. — Вы и сами не понимаете, что натворили. — И плакал лось до тех пор, пока не выплакал два своих верхних глаза.

— Так знайте, теперь не будет покоя от человека ни вам, плавающим в воде, ни птице, летящей в небе, ни нам, бегающим по тайге, — сказал он. Так и случилось.

Вечером Саяна повела меня в деревенскую церковь целителя Пантелеймона. Оделась она в легкий, открытый сарафан, белые летние босоножки, и сразу же стала выглядеть нарядной и праздничной. «И зачем она тогда в Москве нарядилась в бронжилет?» — думал я, поглядывая на ее загорелые плечи, на каштановые волосы, прикрытые темным газовым платком.

— От старого монастыря кое-где остались стены да две угловых башни. В тридцатые годы там были размещены мастерские, а во время войны в него попала бомба, — начала рассказывать Саяна, едва мы вышли за ворота. — Во время Отечественной войны 1812 года там была ставка Кутузова. Год назад, девятого августа, в день Святого Пантелеймона началось возведение нового храма, а пока верующие ходят в небольшой деревянный пристрой.

Мы подошли к храму. Пахло свежескошенным сеном, возле одной из башен я увидел за изгородью стожок и рядом с ним маленькую телочку. Она с детским любопытством уставилась на нас, тихая, мирная, ручная, как и все, что было вокруг нее; обычная сельская картинка, которую вряд ли можно было встретить в городских храмах.

Церковная служба всегда чем-то напоминала мне ночной полет, когда перед тобой вдруг открывалась наполненная невидимым светом бездна, все величие видимого и невидимого мира, безмерность, переходящая в бесконечность, возможность видеть то, что скрыто, и ощущать то, что дремлет в каждом: краткость земной жизни и одновременно ее беспредельность.

Поставив свечи и отстояв службу, мы вышли из церкви. Поглядывая по сторонам, я дивился: оказывается, здесь в Подмосковье, точно держа оборону, оставались нетронутыми крохотные островки из столетних дубов, кленов и сосен, они, казалось, были оставлены здесь сторожить собственную старость. Держась друг друга, они сгрудились вокруг возвышающегося из травы сложенного из крупных булыжных камней такого же старого фундамента, с одной стороны которого уже была начата кладка из красного крупного кирпича новой стены. Барский дом, хозяином которого был господин с короткой, как щелчок, немецкой фамилией Цук, стоял на хорошем месте, и кому-то, видимо из новых русских, не терпелось поскорее возвести на его обломках собственный замок. Вдыхая пряный запах прошлогодних листьев и перебивающие его ароматы вымахавшей за лето крапивы и полыни, по едва угадываемым аллеям, то и дело натываясь на паутину, которую, видно для пробы, вывесили местные пауки, мы двинулись в обход усадьбы. Саяна вывела меня на светлую поляну, посреди которой темным боком и плоской лысиной среди густой травы обозначил себя пенёк. Сюда она водила старшего сына писать этюды. Я подошел к пню, провел по его срезу ладонью, поискал глазами годовые кольца, особенно последние, пытаясь определить, какими они были для этого дерева. Должно быть,

и у людей существуют свои годовые циклы, по которым можно распознать, удался год или, наоборот, был никудышным. Я заскочил на пень и, застыв на секунду, изобразил из себя монументальную скульптуру.

— Браво, браво! — аплодировала моему ребячеству Саяна.

Поймав себя на том, что мне — солидному человеку — делать это неприлично, я, словно желая оправдаться, начал декламировать:

*Мне кажется, я памятником стал,
Мне, Хубилаю, двигаться мешает пьедестал.*

— Хубилая здесь не было. А вот Батый был, — заметила Саяна. — Ну какой же вы Хубилай! Да еще без коня.

— Нынче в ходу «мерседесы», — сказал я, разглядев, как во двор усадьбы заезжает черная иномарка, а следом за ней груженный кирпичом «КамАЗ».

— Когда здесь начался строительный бум, деревенские пытались протестовать, выдирали вбитые в землю колышки, ломали заборы, — проводив взглядом машины, сказала Саяна. — А потом, поняв, что делать это бесполезно, начали по ночам таскать кирпич, цемент и прочие стройматериалы. Здесь дело до стрельбы доходило. Новые русские свои дачи строят, как крепости, с видеокамерами, колючей проволокой и сторожевыми собаками. Некоторые держат вооруженную охрану. А раньше здесь дома не запирались. Люди, как в старину, жили нараспашку. Мы и то замки купили, хотя, если начистоту, они от честных людей. Грабителей замки не остановят. К нам в мае, когда мы были в Москве, кто-то залазил. Перевернули все, но, слава богу, ничего не взяли.

— Люди сами себя загоняют в тюрьму, в свои персональные благоустроенные камеры, — усмехнувшись, сказал я. — Им незачем Царство небесное. Хочется иметь здесь, все и сразу.

— Да нет же, ходят и они в церковь, — сказала Саяна.

— Видимо, хотят заключить выгодную сделку. Чтобы Господь отпустил им все грехи.

— Господь любит всех и прощает грехи даже великим грешникам.

— На это они и уповают. Как говорится, не согрешив, не покаешься.

На обратном пути мы зашли к Саяниной тетке. Фаина Тихоновна усадила нас на летней кухне, поставила на стол пироги, потом спросила, какое я молоко люблю больше, парное или ледяное. Вспомнив, что в Сибири зимой на рынке деревенские привозили замороженное в кастрюлях молоко с торчащими для захвата деревянными палочками, я представил белый кругляк, к которому, как к железяке с мороза, прилипает язык, и попросил парного.

— Вот так же парного попросил Рокоссовский, когда в сорок первом здесь наши держали оборону, — начала рассказывать Фаина Тихоновна. — Костя красивый, в белом полушубке со шпалами на воротнике. Штаб у них в барском доме был. Он сюда зашел и сел как раз на это место. Мама ему литровую банку налила. После в нашем доме сибиряки-танкисты квартировали. Хорошие, веселые ребята. Среди них было много бурят. Мы к ним петь песни приходили. Мне тогда, дай Бог памяти, лет пятнадцать было.

— Какие песни, ведь немцы были под самой Москвой! — удивленно протянула Саяна.

— Мы, на них глядя, сразу поняли, немцев сюда не пустят, — все тем же неторопливым говорком продолжала Фаина Тихоновна. — А как они пели! Один стрелнул глазами в мою сторону, видно, я ему приглянулась, и вдруг запел:

*Черный ворон, черный ворон,
Ты не вейся надо мной,
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой...*

— А вы, молодой человек, пейте, пейте молочко, — прервав свое пение, неожиданно проговорила старушка. — Когда сюда маленькую Яночку привезли, у Нилы молока не было. Она ж в аэроплане родила, страху натерпелась. Так ее этим козьим молоком выходили. Вон, какая краля выросла!

— Фаина Тихоновна закончила медицинский, после войны вышла замуж за бурята и уехала на Байкал, — сказала Саяна. — Она в Бурятии заведовала больницей. Это она организовала тот самый санитарный рейс. Вот про кого надо снимать фильм! Баба Фая, Георгий Петрович — тот самый летчик, который вывозил маму, когда я родилась.

— Летчиков я уважаю, — глянув на меня, ответила Фаина Тихоновна. — Тогда мне в больницу пришло сообщение, что в верховьях Иркутка утонули люди, и что есть пострадавшие, которым необходима помощь. Я — к Торбееву. Он тогда директором рудника был. Он, надо отдать ему должное, откликнулся сразу же. Послал туда конных и позвонил в город, заказал самолет. Девочка там после купания в воде подхватила двустороннее воспаление и умерла.

— Это была Жалма, — сказал я. — Дочь Бадмы Корсакова.

— Да, они нам дальней родней доводились, — ответила Фаина Тихоновна. — А Миша Торбеев тогда нам, конечно, помогал. Я его уговорила, и он построил в Ниловой пустыни для рабочих рудника водолечебницу. И с оборудованием для больницы помогал. Тогда другое время было, он партийным был. Это теперь они начали себе дворцы городить. Посмотрите, какое сегодня у него окружение? Вместо глаз — доллары. Здесь на пасху директор «Востокзолота» Шнелле с женой приезжал. Они барскую усадьбу Цука купили и начали там виллу строить. Хотят весь парк сеткой отгородить, но мы им не позволим. Его жена вся такая пасхальная, культурная с виду, головка платочком повязана. Но хватка у нее — волчья. Торбеевы у них для прикрытия, они ими вертят, как хотят.

— Но они и на церковь деньги дают, — сообщила Саяна.

— Дают? Год назад было дело — перевели. А сегодня все деньги на дачу. Посмотри, куда идут машины одна за другой — к Цукам. А пока твой Вадим ума наберет, много время пройдет. Сейчас он вместо того, чтобы делом заниматься, по деревне на машине гоняет.

— Во-первых, он не мой, а во-вторых, у него отпуск.

— От безделья угорел, — усмехнувшись, сказала Фаина Тихоновна. — Денег много, вот от них-то люди и портятся.

Бадма говорил, что буряты делили мир на три составляющие: верхний, средний и низший. И время у них было тоже разделено: прошедшее, настоящее и будущее. «В каком же времени пребываем мы?» — размышлял я, поглядывая на говорливую старушку. — Действительно, чудны дела твои, Господи! Рокоссовский, Кутузов, бабушка Фая, которая работала в Орлике и которая знала Торбеевых, Шнелле, мою бывшую жену. Время будто спрессовалось. С одного конца Чингисхан, Батый, с другой — Мюрат, Рокоссовский. Какие сценарии придумывает жизнь! Точно здесь, в этом дворе, в этом месте, кто-то специально расставил декорации для исторических персонажей. Уже нет того государства и многих из тех людей, которые отдавали жизнь за нашу страну, которые ночевали здесь, просыпались, выходили во двор, пели песни. И здесь, в ближайшем огороде, монастыре рвались бомбы. А после сюда же прибегала маленькая Саяна. Непостижимо!»

Вечером Саяна решила показать снятые ею на раскопках в Ольвии слайды. Как выяснилось, во время учебы ей довелось каждое лето ездить туда на практику.

— В начале века в Ольвии нашли захоронение, которое отличалось от всех, что встречались прежде, — развешивая на стене белый экран, начала рассказывать Саяна. — В одном из склепов обнаружили мужчину и женщину, и выяснилось, что их захоронили в одно и то же время, что было несвойственно грекам. У них не существовал скифский обычай, когда после смерти мужа жена должна была уйти из жизни сама. Греки в рот умершему клали мелкую медную монету — обол, для того чтобы Харон перевез его душу через реку Стикс. В данном же случае у покойника во рту была одна монета, а у его спутницы — две. Археологи назвали молодых людей греческими Ромео и Джульеттой. Его имя было Евресивий, а ее Аретта.

Я слушал ее и думал: а для чего человек, тот же археолог берет лопату и перерывает горы земли? Для чего нам нужно наше прошлое? Мы можем заглянуть неглубоко, скажем, в свою прошлую жизнь, можем чуть-чуть поглубже, в жизнь своих родителей. Но что нам дают раскопки, которым сотни и тысячи лет? Чтобы лучше понять самих себя? И сделать для себя какие-то выводы. Да, мы многое не знаем о том, что делали и чем жили наши родители. Но скептики говорят, что история учит тому, что ничему не учит. Говорят, лучше всего учиться на ошибках других. Но почему мы с завидным упорством повторяем собственные...

Меж тем, увлекшись прошлой жизнью, Саяна продолжала показывать слайды и рассказывать о тех, кто появлялся на белом во всю стену экране. Наконец-то появилась и она, худенькая девчонка в джинсах и закатанной по локти рубашке, с огромной амфорой на плече. А уже на следующем слайде рядом с нею стоял высокий красивый парень. Голова его была обвязана зеленым платком, а в руке он держал огромную рыбу. Но Саяна, не комментируя, вставила следующий слайд.

— У вас, я вижу, там были рыбаки? — заметил я.

— Это мой бывший муж, Сергей, — помолчав немного, ответила Саяна. — Мы с ним вместе ездили в экспедиции.

— Где же он теперь?

— Он ездит с другой. — И тут же в свою очередь спросила: — А ваша жена чем занимается?

— Ездит с другим, — в тон Саяне отшутился я.

— Я вам сочувствую. Мне было непонятно, почему вы такой большой и одинокий. А когда заскочили на пень, то я догадалась — вы большой ребенок.

Я сделал вид, что не расслышал ее слов, пытаюсь по интонации определить, чего в них было больше: сочувствия, жалости, констатации факта или простого женского участия. Была бы возможность, эти слова я бы попробовал на зуб, но они, как птички, выпорхнули, и в данной ситуации могли означать только то, что мои личные дела, да еще на фоне того возраста, в котором я пребывал, вызывали в Саяне сочувствие, и не более того.

О семейной жизни, которая сложилась не так, как бы того хотелось, обычно не рассказывают. «Все проходит, — говорили древние. — И костры прогорают, как бы ярко они ни горели». А мимолетные связи, на день, на месяц, которыми порою заполняют свое одиночество, — нет, это было не для меня. Лучше быть одиноким в одиночестве, чем делить несчастье на двоих. И эту правду лучше держать в себе, а не вытаскивать на всеобщее обозрение.

— Вы знаете, в последнее время я стала мнительной, — прервала затянувшееся молчание Саяна. — Мне все время кажется, что за нами кто-то следит. Неделию назад позвонил неизвестный и спросил про мужа. Мы уже два года с ним не живем, но он все еще прописан у меня. Оказывается, муж должен крупную сумму. Я потом позвонила Сергею, он подтвердил, что взял под свой проект кредит у «Востокзолота», но

проект сорвался, поскольку исполнители его кинули. Сергей попытался успокоить, мол, ко мне это никакого отношения не имеет, он договорится и все уладится.

— Он должен выплатить деньги?

— Сергей мне не сказал, но по его поведению я поняла, что не только сам кредит, но и проценты. Позже мне еще раз позвонили и сказали, если он не сделает это срочно, то у нас могут быть неприятности.

— Но ты же не занимала и ничего не подписывала.

— У меня всегда так, я не подписываю, не участвую, но с меня спрашивают, как с главного обвиняемого. Сергею дали кредит, зная отца. А папа вскоре умер. Теперь я крайняя.

— Ну, а в милицию вы заявляли?

— Какая милиция? И о чем я должна заявлять?

— Что вам угрожают.

— Лично мне никто не угрожал.

— Но квартира и дача у вас общие.

— Сергей, когда уходил, от всего отказался.

— Благородно с его стороны, — сказал я.

— Я не за себя боюсь, за ребятишек. Сейчас такое время, что могут все. Как-то Вадим Торбеев взял их с собой покататься на машине. Он живет в одном из этих новых кирпичных домов. А меня не предупредил. Так я, разыскивая их, чуть с ума не сошла.

— Время ворон, а не орлов, — вспомнив слова Неонины Тихоновны, заметил я.

— Ничего! Как говорят французы, чем больше неприятности, тем выше каблук, — засмеялась Саяна. — Кстати, идею поехать летом на Иркутск придумала Глазкова Маша. Однажды к ним на урок приходил летчик и рассказывал о Чингисхане, о сарлыках, о празднике бурят Сурхарбане. Она и загорелась. Пришла ко мне, говорит, давайте, Яна Георгиевна, съездим на Байкал. Ведь вы же из тех мест. Там чистые места, из-под земли бьют горячие источники. И, главное, Байкал. Чудо света!

А потом позвонил мой руководитель, он на Иркутке ведет раскопки древних захоронений, мечтает найти могилу Чингисхана. И я решила поехать, показать своим мальчишкам места, где родилась и жила их бабушка, где дедушка искал для страны золото. Компания «Востокзолото» обещала помочь с билетами на самолет. Когда Маша приезжала к нам в Прудово, она познакомилась с Вадимом Торбеевым и они быстро нашли общий язык. Оба экстремалы. Гоняли по деревне на его машине, потом укатали в Зосимову пустынь. Ей этого оказалось мало, она уговорила съездить в Оптину пустынь. И вот теперь на очереди Нилова. Вадим предложил сплавиться по Иркуту. Сказал, что берет на себя всю организацию и снаряжение: резиновые лодки, палатки, спальники. Обещает сводить на Шумак и показать нам настоящего шамана. А потом мы должны побывать на Сурхарбане.

— Да, Маша девушка без тормозов, — засмеялся я, вспомнив рассказ Кати Глазковой о том, как дочь на плотках сплавлялась по Чусовой. — А сама Катя не хочет с вами поехать?

— У нее, как всегда, срочная работа. Она придумала, что мы туда едем в экологическую экспедицию. Защищать Байкал и Иркутск от Вексельберга и Чубайса, которые хотят провести там нефтяную трубу. Не все помнят, что была идея пустить по Иркуту сточные воды Байкальского целлюлозного комбината. Мы поплывем по реке под флагом зеленых, защитников природы. Наш лозунг: детям — чистую воду. А Катя потом опубликует наши заметки и фотографии в своем журнале.

— Думаю, эта затея не совсем понравится Торбеевым, — заметил я. — Золотодобыча — самое вредное для экологии производство. Чтобы снять больше золота, применяют ртуть и другие химические препараты.

— Вот мы и должны показать это всем людям.

— Людям наплевать, где и как добывают золото. Его блеск застилает глаза и мутит разум.

— Не всем. Мы покажем всю чистоту природы и прозрачность воды глазами детей. Мы с Катей уже все продумали.

На другой день, проводив мать в Москву, Саяна решила сводить меня по грибы. Не доверяя себе, она попросила старшего сына Дениса нарисовать схему и, на всякий случай, захватила с собой компас. Денис, оказывается, часто ходил с отцом в лес и хорошо знал грибные места. Но с нами он идти не захотел, у него на этот день были свои планы.

— Мама, ты возьми с собой мобильник, — посоветовал он. — Если что — позвони.

— Денис у меня настоящий немец, — засмеялась Саяна. — У него все по последнему слову техники. Связь, координаты и так далее.

Сразу же после обеда мы двинулись в путь. Солнце было укрыто низкими облаками. Саяна, точно хотела проверить память сына, доставала схему и сверяла ее с местностью. Память у Дениса оказалась отменная, мы выходили на обозначенные поляны, сворачивали на просеки. Я подивился: на листке бумаги была даже нарисована стрелка, обозначающая север и юг. Лес был такой же, как и в Сибири: сосны, березы, ели, осины. Но встречались вязы и дубы. Кое-где по пути нам попадали обгорелые проплешины, и Саяна начала рассказывать про пожары на торфяниках, когда люди в окрестных селах и даже в Москве задыхались от дыма. В свою очередь я вспомнил про сибирские лесные пожары, как выбрасывал в тайгу парашютистов.

— Сейчас от этой службы охраны лесов почти ничего не осталось, — сказал я. — И горит наша тайга синем пламенем, миллионы долларов улетают на ветер. На все Прибайкалье осталось всего несколько самолетов. Прыгнуть в тайгу на торчащие ели и сосны могут только хорошо подготовленные парашютисты.

— А женщины среди них были?

— Зачем женщин в тайгу бросать, — засмеялся я. — Они пусть занимаются своим делом, детей воспитывают. На моей памяти была одна, которая прыгнула в горы, к геологам. Это произошло тогда, когда мы по санзаданию твою маму вывозили.

— Интересно, — задумчиво произнесла Саяна. — Значит, все, что мы можем, так это возиться с детьми?

— Русская женщина все может, — сказал я. — И коня остановит, и в горящую избу войдет.

— Нет, все же первое слово дороже второго, — заметила Саяна. — Мой муж также считал, что место женщины на кухне.

— Сейчас многие мужчины оккупировали кухни, — ответил я. — Вот, например, мне нравится готовить.

— Хорошо, сегодня проверим, — улыбнулась Саяна.

Через полчаса ходьбы мы свернули с тропинки и углубились в лес, который на схеме был помечен нарисованными грибами. Время от времени мы попадали в завалы, продираясь сквозь папоротник и чащобник, вновь выходили на открытые места. Я сначала загрузил — белые грибы точно попрятались. Но вскоре наткнулся на сырую полянку и срезал семь свеженьких, с крепкими красноватыми шапками подосиновиков, которые смело можно было нести на выставку. А после и вовсе начало фартить, один за другим стали попадаться белые грибы. Перешагивая через валежину, я оступился и, хватая рукой воздух, повалился на землю. Тут же ко мне на помощь бросилась Саяна.

— Если меня будут таким образом опекать и дальше, то я начну падать через каждую минуту, — поднимаясь, пошутил я. — Но за реакцию, сударыня, вам можно выставить высший балл.

— Ладно, не надо притворяться, — с улыбкой ответила Саяна. — Здесь же лес, а не спортзал, все может случиться.

— Немного подрастерял форму, — подтвердил я, хотя в душе было приятно, что она откликнулась почти мгновенно на мое падение. Действительно, мало ли что бывает в лесу. Казалось бы, мелочь, но мне, отвыкшему от проявлений женского участия, это показалось необыкновенным и добрым знаком.

Вскоре начал сеять дождь, мы решили вернуться на тропу и неожиданно для себя забрели в заросшее густой травой и мягким пружинящим под ногами мхом болото. Выбившись из сил, мы решили присесть на кочки. И вдруг я услышал тихий вскрик Саяны. Не понимая, что произошло, я бросился к ней. И увидел, как она, приложив к губам палец, другой рукой показывает на сказочную поляну. Она была вся утыкана только что народившимися подберезовиками. Забыв об усталости, мы разбрелись по болоту, наполняя корзины и полиэтиленовые пакеты. И, вконец обессиленные, упали на обросшие и мягкие, как перины, мшистые кочки, не замечая, что сверху на нас, как из ситечка, сеет теплый дождь.

«И в каком сценарии можно увидеть и почувствовать эту красоту, этот покой, это ощущение вечности», — думал я, разглядывая одиноко стоящие березы. Покрытые водяной пылью, они время от времени сбрасывали на мох крохотные слезинки, и мне казалось, что плачут они от радости, поскольку, в отличие от людей, знают свой смысл и свое назначение. И когда я поймал эту простую мысль, то вдруг почувствовал: все, что происходит со мной в последнее время, имеет свое объяснение. Я ехал сюда, чтобы понять: одиночество рождается от постоянного разглядывания самого себя, своих мнимых и, в общем-то, пустячных болячек. И на это уходит большая часть твоей жизни. Но здесь, рядом с этой, с небес упавшей в мою жизнь молодой женщиной, мысли разворачивались в иную сторону, где одиночеству уже не было места. Саяна полулежала, прислонившись к березе, смотрела в небо далеким и тягучим взглядом, и нельзя было понять, что она думает в эту минуту, поскольку в моей голове я слышал только ток крови и глухие удары сердца.

Мы заблудились. Стали ориентироваться по компасу. Несмотря на все свои полевые сезоны, Саяна целиком доверилась мне. Оставив ее на болоте и наказав никому да не уходить, я начал делать круги, стараясь выйти на тропу. Но тропа точно сквозь землю провалилась. Я знал, что железная дорога, по которой я приехал в Прудово, находится на востоке. Но туда по болотистому лесу, да еще с полной загрузкой, можно было идти до ночи. Иного выхода я не видел, подмосковный лес таил в себе не меньше коварства, чем сибирский.

— Что ж, Байкал в той стороне, — вернувшись к Саяне, я уверенно махнул рукой в сторону востока, где, по моему мнению, проходила железная дорога. На самолете таким образом можно было восстанавливать ориентировку, имея приличный запас топлива. Или путем опроса местных жителей. Поскольку рядом местный житель был в единственном числе, и он, судя по всему, привык ориентироваться по карте Геродота, то принимать решение приходилось мне. Возможно, именно так, держа путь на восходящее солнце, шли на восток к берегам Великого океана казаки-землепроходцы. И все же я не был до конца уверен, что мы идем правильно. Видимо, это почувствовала и Саяна.

— Вы не беспокойтесь, если что, то мы переночуем у костра, — неожиданно сказала она. — Я к полевой жизни привычная.

Помогая ей перебраться через топь, я подал ей руку, она, стараясь перепрыгнуть, вдруг повалилась мне прямо под ноги, но я успел подхватить ее и вытащить на твердое место. И неожиданно, должно быть в знак благодарности, Саяна поцеловала меня в щеку. Потеряв на секунду голову, я поймал ее мягкие губы и неизвестно, что бы произошло дальше, если бы не услышал торопливый шепот:

— Нет, нет, не нужно.

В тот день Николай Угодник, покровитель всех путешественников, был с нами. Вскоре мы все же вышли на тропу и через полчаса были в Прудово.

Весь вечер обрабатывали грибы, чистили их, промывали, резали, затем варили. Всем непростым процессом руководила Фаина Тихоновна. Саяна попросила Дениса истопить баню. Помогать ребятишкам вызвался я. Нарубив дров, я принялся растапливать печь, ребята крутились рядом. Я похвалил Дениса за карту, начал рассказывать им разные летные истории. Как летчик Виктор Перов спас в Антарктиде бельгийскую экспедицию со станции «Король Бодуэн», за что он был награжден высшей наградой страны — орденом Короля Леопольда Второго. Затем рассказал про своего друга Жоржа Шишкина, который спас полярников экспедиции «Северный полюс-25».

— У них в декабре закончились почти все продукты и мазут для дизеля. К тому времени льдина дрейфовала в канадском секторе Арктики. До нее от ближайшего аэропорта Певек было больше двух тысяч километров. Корабли туда не могли подойти. Полярники голодали и жили без тепла и света. Для помощи зимовщикам Шишкин решил использовать тяжелый транспортный самолет Ил-76. Были проведены необходимые тренировки и в условиях полярной ночи они полетели на полюс, нашли станцию и сбросили продукты питания, бочки с горючим и даже новогоднюю елку. — Я поднял в воздух полено, показывая, как самолет заходил на льдину и сбрасывал груз.

— И чем наградили ваших друзей? — спросил Денис.

Вопрос застал меня врасплох, я не знал, был ли награжден экипаж и чем.

— Им была объявлена благодарность, — нашелся я.

Младший Миша глянул на меня темными блестящими глазами, шмыгнув носом и вышел из предбанника. Я сменил тему и начал рассказывать оставшемуся со мной Денису про свои походы в тайгу, про наши плавания по Иркуту, про то, как мой отец один на один боролся с рысью, которая могла когтями задних ног одним движением вспороть живот.

— Когда рысь, прыгнув с дерева, напала на собаку, мой папа, спасая ее, бросился на помощь, сзади схватил рысь за передние лапы и прижал к земле. Она прокусила ему плечо, но он все равно победил ее.

— А моя мама тоже меня спасла, когда меня маленького спихнули в воду, — сказал Денис. — Она так отделала хулиганов, что они до сих пор ее боятся.

— Какие страсти вы им рассказываете, — сказала неслышно подошедшая Саяна. — Они же ночью спать не будут.

И тут из-за нее молча вышел младшенький — Миша и протянул мне листок бумаги. На нем красным фломастером была нарисована Звезда Героя. И внизу была сделана приписка:

«Жоржу Шишкину за елку и спасенных полярников».

— Это наш дедушка Калинин, — засмеялась Саяна. — Он всех награждает орденами и медалями. Бабушку за вкусно приготовленный ужин, меня, когда я возвращаюсь из экспедиции.

— С возрастом мы теряем прозрачность души, — растроганно сказал я, поглажив Мишу по голове. — А у них она, как капелька, висит рядышком. Тронешь, тут же сорвется.

Глядя на Саянина сына, я вспомнил своего, которого тоже звали Михаилом. Нынче ему исполнялось восемнадцать лет, и Зина, чтобы его не забрали служить в армию, решила отправить учиться в Англию. Изредка он писал письма, и я страшно

скупал по нему. Саяна старательно избегала встречаться со мной глазами, и мне казалось, что она хочет забыть свою минутную слабость и свой, остановивший меня торопливый шепот. Со всеми делами мы управились, когда на Прудово навалилась темная ночь. Небо очистилось от облаков, с низин потянуло прохладой и свежестью. Поочередно все сходили в баню, смыли дневную усталость, попили чаю, и я поднялся наверх. На этот раз спать мне Саяна постелила на кушетке в своей деревянной юрте. Перед тем, как выключить свет, я еще раз полистал книги Банзарова, затем мне на глаза попался Конфуций, я полистал и эту книгу. Китайский философ полагал, что власть правителя священна и она дарована небом. Ни больше и ни меньше! Про любовь и путешествия там ничего не было, и я, отложив книгу в сторону, выключил свет. И тут же через оконное стекло, сквозь точно отштампованные на монетном дворе листья, на меня глянуло близкое, как карта Геродота, небо, на покатые плечи которого пуховой шалью был накинута подрагивающий Млечный Путь. Хрустальное безмолвие звезд непостижимым образом указывало и на мою причастность к этому неразложимому миру, который, заполняя собой все видимое и невидимое, существовал не только там, за стеклом, но и во мне. Я знал, что через минуту-другую с меня будет снято мое земное назначение, и на несколько часов я перестану думать о Чингисхане, о монголах, о тех местах, где прошло мое детство, и о том непростом для меня полете, и о нечаянном поцелуе Саяны на болоте. Не знал я только одного, что опять приснится летящая по небу Жалма, которая остановит посреди болота коня и, глядя на меня Саяниными глазами, точно желая о чем-то предупредить, начнет что-то шептать мне.

Я открыл глаза и увидел стоящую у окна во всем белом Саяну, она смотрела в окно на звездное небо, должно быть, как и я, зачарованная его глубиной и непостижимостью. Или пыталась понять и соединить в себе видимое и невидимое.

Я быстро приподнялся, опустил ноги на баранью шкуру и сделал попытку встать, но Саяна приложила к губам палец, тем самым давая понять, что делать этого не следует, тишина была нашим союзником, и не было надобности ее пугать. Обняв Саяну, я уткнулся головой в ее мягкий живот и вдруг явственно услышал, как во мне, набирая силу, забухал молчавший долгое время сердечный колокол...

— Я думал, что проведу эту ночь с Конфуцием, — пошутил я, когда под утро она собралась уходить к себе.

— Мне приснился сон, что я не могу выйти из болота, — тихо ответила Саяна. — Но появился ты и сказал: стой на месте, я тебя выведу.

— Ну и что, вывел? — поинтересовался я.

— Не знаю, — тихо ответила Саяна. — Я помню только одно, я стою и держусь за тебя. Знаешь, там, на болоте, я гадала, почему именно сейчас ты появился в моей жизни? И где ты был раньше?

Она тихо ушла к себе, а я лежал и смотрел, как комнату покидала ночь, вначале на стене обозначилось окно, осторожно, точно пробуя тишину, шевельнулись на березе листья. И, как по команде, с первыми лучами солнца, словно радуясь новому дню, вдруг защелкали, запели птицы.

Я лежал и вспоминал лучшие дни своей жизни, когда ранним утром мы приходили на свой училищный аэродром, запускали двигатели и, получив команду, начинали руление к исполнительному старту. Вдоль нашего движения, выскочив из своих норок, точно маленькие солдатики, отдавая честь, на задних лапках стояли суслики. Оторвавшись от чистой и словно умытой земли, самолет без единого толчка, подчиняясь малейшему движению, плыл в утреннем воздухе, и мне казалось, что он такое же, как и я, живое существо, которое вместе со мною радуется восходящему солнцу, спокойному воздуху, синему небу. В такие секунды меня охватывало удивительное чувство восторга, что жизнь подарила мне известное только птицам ощущение полета.

Но совсем еще недавно мне по ночам виделись картины огромного города, в котором, подхваченный людским потоком, где каждый был как бы сам по себе, я двигался к метро. Подчиняясь общему движению, я плыл в нем, не представляя, что мне нужно от этого движения и зачем я в нем.

Эта произошедшая во мне перемена вдруг наполнила меня забытой и такой приятной силой зарождающегося дня. Я встал, оделся и тихо спустился вниз. Все еще спали, лишь тихо постукивали настенные часы. Я прошел на кухню, достал из-под стола картошку, почистил ее и решил, пока все спят, приготовить картофельные драники. Меня научила делать их мама, получалось быстро и вкусно. Едва я зажег газовую конфорку, как на кухне появилась Саяна. Она неслышно подошла и прижалась к моей спине.

— А ты, оказывается, еще и хороший повар, — сказала она.

Перед отъездом в Москву я решил сходить в магазин, который находился на краю деревни, рядом с дорогой. Мне захотелось купить Саяниным ребятишкам подарки, уж больно меня растрогал рисунок со Звездой Героя. Проводить меня до магазина взялась Фаина Тихоновна. По дороге она рассказывала про прежнюю, спокойную жизнь в Прудово, которая изменилась с появлением здесь новых русских.

— Как-то зимой зашла ко мне Торбеева. Ну, эта, бывшая Нилина подруга. Вышла, как сама выразилась, выгулять свою норковую шубу. На каждом пальце по перстню, на шее, как у таксы, золотой ошейник. И сынок в нее. А вот и он, легок на помине!

Мимо нас к магазину подлетела крутая иномарка и, загородив вход, остановилась у самого крыльца.

— Ему, видите ли, места мало, — не меняя своего обличительного тона, продолжила Фаина Тихоновна. — Была бы возможность, так он бы заехал прямо в магазин.

Из машины вышел широкоскулый, в черной майке и синих джинсах парень. Он мне напомнил молодого Болсана Торбеева. Я даже хотел, как это бывало раньше, махнуть ему рукой, мол, какими судьбами тебя, земляк, занесло в такую даль. А потом сообразил, что это не он, а его сын Вадим Торбеев, о котором рассказывала мне Саяна. Мы с Фаиной Тихоновной зашли в магазин следом за ним. Там уже была небольшая очередь, деревенские по своему обыкновению, не торопясь, покупали крупы, соль, сахар, вермишель. Торбеев не стал ждать, он прямо через женские голывы протянул продавщице тысячную бумажку.

— Пива и сигарет. На все! — громко сказал он.

Женщины, стараясь не встречаться с ним глазами, начали возмущаться, но он смотрел сквозь них, как бык через загородку. Я тронул его за плечо.

— Молодой человек, здесь все же очередь!

Он глянул на меня все тем же остановившимся взглядом, словно решая, снизойти до ответа или пропустить мои слова мимо ушей.

— Это для вас очередь, а у меня на нее нет времени, — бросил он.

— Придется поискать.

— Хорошо, для вас я поищу, — сострил он, забирая у продавщицы пакет с бутылками. — Для вас у меня время найдется, — уже с угрозой в голосе сказал он.

Купив конфет и других сладостей, я вышел на улицу. Торбеев не обманул, у него действительно было время.

— Вам что, папаша, не нравятся здешние порядки? — поигрывая бицепсами, спросил он.

— Не нравятся, — помедлив, ответил я.

Меня задирали самым наглым образом. Давненько я не сталкивался с подобным к себе отношением. Последняя стычка у меня состоялась лет тридцать назад,

когда пришлось отбиваться от почитателей своей будущей жены. Мне стало смешно и я, не сдержавшись, улыбнулся. Моя улыбка взорвала Торбеева.

— Послушайте, если вы сейчас не отвалите, то у вас будут большие проблемы со здоровьем.

— Вы, молодой человек, по-видимому, представляете здесь скорую помощь, — желая перевести все в шутку, предположил я.

— Я хочу тебя предупредить. Разве не понятно?

— Ну, раз вы со мной перешли на ты, выходит, мы с вами или пили на брудершafft, или сидели в одной каталажке?

Ругаться дальше мне не хотелось. Но его развязность начала меня раздражать. Видимо, хлебнул с утра и решил, что ему все можно.

— Я с козлами не пью. Я их размазываю, — начал пугать он.

— Что, всех? И отца?

— Ты мне отца не трогай!

Разговора не получалось. Я глянул на Торбеева тем взглядом, каким оглядывает клиента портной, прикидывая, сколько уйдет материи на костюм. Было видно, что парень крепок физически, был выше и, главное, намного моложе меня. И тут до меня дошло, что это он следил за нами из машины и освещал пруд фарами. «Но зачем ему днем, на виду всей деревни, лезть на рожон?» Мне была непонятна его злость.

«Что это, от вседозволенности или от невесть как и откуда приваливших денег?» — думал я.

— Молодой человек, советую прибрать обороты, — ровным, но твердым голосом сказал я. — Мы с вами незнакомы, я вам дорогу не переходил.

Видимо, мой спокойный голос все же подействовал на парня, он отрешенным взором глянул куда-то вверх, и я решил, что говорить дальше не следует и хотел было идти своей дорогой. Да не тут-то было. Есть правило: никогда не поворачивайся спиной к вероятному противнику. Еще в Орлике, после очередной стычки с Торбеевым, я отвернулся и получил от него оплеуху сзади. И оказался на земле. Урок не пропал даром. Замах сынка я разглядел в машинном стекле стоящей неподалеку иномарки и, откинув голову назад, смягчил удар. Он получился скользящим, кулак зацепил мне только ухо. Падая, я подцепил выставленную вперед ногу парня, и когда моя спина коснулась асфальта, другой ногой в противобход подошвой ударил ему в колено. Когда-то на тренировках я долго отрабатывал этот элемент, удар получился на загляденье. То, что дело сделано, я понял, когда поднялся на ноги и сделал оборонительную стойку. Торбеев корчился на земле от боли. Краем глаза я увидел, что от магазина к нам бегут люди. Я протянул руку.

— Давай руку, боксер! — примирительно сказал я.

Но тот не хотел примирения, ругаясь, он запрыгал на одной ноге к своей машине.

— Что, допрыгался, хулиган проклятый! — услышал я крик Фаины Тихоновны. — Это тебе не с бабками воевать. В тюрьму захотел? Так мы это мигом организуем.

— Ты бы, тетка, помолчала, — подал голос Торбеев. — Тоже мне, милиционерша нашлась. А тебя я все равно достану.

— Чего доставать. Я здесь. И впредь будь поосторожнее с незнакомыми, как ты говоришь, козлами, — сказал я. — Могут и забодать...

— Пошел ты!..

Я попытался отряхнуть свои белые джинсы от дорожной грязи, которую собрал, падая на дорогу, но скоро понял, что их надо отдавать в стирку. Собрав разбросанные пакеты, я пошел к Саяниному дому не по центральной улице, а задом. На подходе меня встретили знакомые козы, они вновь, как и при первой встрече,

установились на меня. Я решил задобрить их, достал из пакета булочку и, присев на корточки, протянул ее ближайшей козочке. И неожиданно получил жесткий удар по заднему месту. Упав на четвереньки, я оглянулся. Выставив вперед рога, для повторной атаки готовился хозяин стада.

«Да что они здесь все, сговорились!» — подумал я, вспомнив высказанное предостережение Торбееву, и расхохотался. Да, такого в моей жизни еще не случилось!

Когда я вошел в дом, Саяна, оглядев мои брюки и мое расплывшееся в глуповатой улыбке лицо, спросила, что произошло.

— Сейчас меня чуть не забодал здешний козел, — смеясь, ответил я. — Приревновал к своей козочке. У вас здесь не Прудово, а Зун-яман.

— Что, что? — не поняла Саяна.

— По-бурятски это означает «сто козлов».

И я в подробностях начал показывать, как я хотел понравиться козе и как меня долбанул ее ухажер. Саяна ничего не могла понять, вспомнила, что козел уже бросался на ее сестру и та, убегая от него, сломала ногу. На это я заметил: ноги мои целы, и шутливо добавил, что, должно быть, козел признал меня за отступающего француза и решил отомстить за сожженную Москву. Но выкрутиться не удалось, в дом пожаловала Фаина Тихоновна и начала в красках расписывать стычку с Торбеевым.

— Да тебя нельзя отпускать в деревню одного! — всплеснула руками Саяна. — Ты еще на ходу сочиняешь.

— Это точно, нельзя, — подтвердил я. — Но я же пишу сценарий. А там у меня сарлыки. А у них знаешь какие рога? Не чета вашим козлам. Так что я готовлюсь снимать...

— А вы переезжайте жить в Прудово, — неожиданно предложила Фаина Тихоновна. — Здесь есть кого и что снимать. Недавно главу поселковой администрации сняли. Так мы вас вместо него выберем.

— Я подумаю, — глянув на Саяну, с серьезным видом ответил я. — Но хорошо бы милиционером. У вас есть здесь милиционер?

— Нет, — со вздохом ответила Фаина Тихоновна. — Но раньше, при советской власти был.

— Должность милиционера сейчас на общественных началах выполняет Фаина Тихоновна, — сообщила Саяна, когда тетка ушла к себе. — Ей до всего есть дело. Сейчас мужики в селе в основном пьют, а женщины бутылки сдают. Такая жизнь наступила. — И, помолчав немного, добавила: — Но я ему покажу, как цепляться к незнакомым.

— Ну, не совсем уж я такой незнакомый, — пошутил я.

— Да уж лучше был бы незнакомым, — думая о чем-то своем, сказала Саяна. — А так приходится отвечать, как за своего.

И Саяна рассказала историю появления Торбеевых в Прудово. После того, как отец ушел на пенсию, ее родители переехали жить в Прудово, на родину бабушки. Торбеевы прикатили следом, купили неподалеку дом, а после на его месте отстроили дачу. Однажды у Саяны с Вадимом произошла стычка. Как-то она со своим сыном Денисом пошла на пруд. Навстречу ей Торбеев с дружкой. Встретились они на мостике, где полощут белье. Ребята были навеселе. Им тогда было лет по пятнадцать. И вот один из них не стал сторониться и задел ее локтем. Она, конечно, этого не ожидала, все же шла с ребенком, и, оступившись, упала в воду. А они, испугавшись, побежали прочь. Саяна вылезла из воды, вытащила сына, сняла с ног тапочки, догнала их и врезала Торбееву по спине.

— Мой отец после войны работал на руднике у Торбеева, — выслушав Саяну, сказал я. — Рассказывали, что он приехал с Колымских приисков. Они определяли

жизнь поселка. А порядки на руднике были лагерные. За малейшую провинность — штраф. Люди работали, как каторжные, от зари до зари, хотя желающих попасть на рудник было хоть отбавляй. Заработки там были побольше, чем в других местах.

— Тогда время такое было. Людей не жалели, — заметила Саяна. — И мой отец начинал работать у него геологом. Михаил Доржиевич его уважал. А когда папа умер, Торбеевы нам очень помогли. Но своего внука они конечно разбаловали. Рос он хулиганистым, его два раза хотели исключить из школы. После окончания авиационного института, его дедушка взял к себе помощником и отправил в Америку на курсы менеджеров. Представь себе, Вадим закончил их с отличием. Сейчас такие дипломы открывают двери любых фирм.

«Во сколько же обошелся Торбеевым такой диплом? — думал я, слушая Саяну. — Открывают не дипломы, а деньги, которые стоят за ними. Впрочем, зачем считать чужое».

— Поскольку Болсан стал шаманом, то все свои надежды, связанные с авиакомпанией, Михаил Доржиевич теперь возлагает на внука, — сообщила Саяна. — Вадим мне сказал, что его недавно ввели в члены правления «Иркут». — Саяна на секунду замолчала, затем, глядя куда-то в окно, добавила: — Чтобы у тебя не было ко мне вопросов в отношении Вадима Торбеева, то он, узнав, что я развелась, предлагал мне выйти за него замуж. Говорит, давай попробуем вместе землю копать. Он считает, что археологи и старатели, по сути, занимаются одним делом. Те и другие роют землю. И тем и другим попадает золото.

— Только одни потом ездят на машинах, а другие на электричках, — заметил я.

— К сожалению, а может, к счастью, но это так, — согласилась со мною Саяна. — Вообще-то Вадим меня этой выходкой сильно огорчил. Видимо, перебрал, с ним это бывает. В прошлом году он подарил мне металлоискатель. Для археолога это ценная вещь. С ним я прошла по огороду и нашла несколько старинных монет. Вот они. — Саяна открыла шкаф и показала темные попорченные временем монеты. — Торбеев мечтает найти могилу Чингисхана. Каждый год он ездит в Саяны и сплавляется по рекам. Осенью он будет принимать дела у отца. А его отец займется своими делами.

— Будет шаманить в пользу Чубайса, вымаливает у своих предков прощение за приватизацию, — пошутил я.

— Я уже говорила, авиакомпания «Иркут» жертвует деньги на строительство нашей церкви, — сделав вид, что не расслышала моих слов, сказала Саяна. — И я им за это многое прощаю. На зло нельзя отвечать злом, только тогда мы можем подняться и исправиться.

Теперь мне стало понятно внутреннее сопротивление Саяны, ее желание обелить Вадима и всех Торбеевых. Вспомнив, как моя жена крутила у виска, я, улынувшись, сказал:

— Это делает честь «Иркуту». И что же ты ему ответила?

— Я ему отказала.

— Верное решение, — заметил я. — Ты же наверняка знала, что в твоей жизни появлюсь я.

— Какая самонадеянность! — засмеялась Саяна. — Вот прямо-таки сидела и ждала тебя.

— И все же, я бы десять раз подумал, прежде чем принять предложение этого парня, — сказал я.

— Что, из-за этой выходки?

— Нет. Это мелочи. Сил, апломба у него хоть отбавляй. Но и наглости.

Зазвонил мобильный телефон, Саяна, извинившись, вышла на кухню. А я решил пойти подышать свежим воздухом на крыльцо. Темнело, с поросших камышом болотных низин, от зарослей тальника к огородам и домам наползал туман,

со стороны пруда тоненько, чем-то напоминая далекий звук электропилы, кричал козодой. Этот тревожащий, выпиливающий вечернюю тишину то затухающий, то вновь нарождающийся выкрик соединял и раскладывал по невидимым полочкам прошлое и настоящее, ту жизнь, которая протекала здесь, вокруг деревни, леса, пруда, несуществующего ныне колодца, мимо которого мелькнули и исчезли во тьме веков орды Батые, самозванцы, чванливые ляхи, самонадеянные французы.

В наступающей темноте, за прудом в новорусском квартале, начали зажигаться окна, и деревенские дома, заборы, бани старого поселения, помнившие на своем веку Самозванца, Мюрата и Рокоссовского, начали тихо и незаметно погружаться во тьму. И почти одновременно, заглушая крики козодоя, заполняя собой все пространство, сотрясая воздух, во все стороны от кирпичных особняков, усиленная динамиками, ухая и стуча, понеслась современная музыка.

Скрипнула входная дверь, на веранду вышла Саяна, неслышно облокотилась на перила.

«Для чего я здесь? Что мне осталось и что еще надо в жизни? И куда же меня вынесет этот поток?» — глядя на нее, подумал я, пытаюсь связать свою прошлую жизнь с той, которая не только надвигалась, но уже и стояла рядом.

— Только что я разговаривала с мамой, — сообщила Саяна. — Сегодня какие-то бандиты опять звонили ей. Спрашивали про карту. Угрожали, намекали про внуков. После разговора маме стало плохо. Соседка вызвала «скорую». Мне надо ехать в Москву. Последняя электричка через сорок минут.

— Если быстро соберешься, то успеем, — машинально глянув на часы, сказал я. — Конечно, надо ехать. Мало ли что!

Через пять минут мы уже бежали по ночной дороге, от которой по просеке можно было попасть на станцию. Неожиданно сзади вслед ударил свет фар, к нам на скорости подъехала машина.

За рулем я разглядел молодого Торбеева.

— Может, вас подвезти? — приоткрыв дверцу, предложил он.

— Как-нибудь сами доберемся, — быстро ответила Саяна.

— Давайте вместе прокатимся и поговорим.

— Научись сначала вести себя по-человечески!

— Ты меня, Яна, прости, дурака такого, — выдавил из себя Торбеев, увидев, что мы свернули на ведущую прямо к станции темную лесную просеку.

— Бог, Бог тебя простит, — ответила Саяна.

Это уже был другой лес, он темно и молча следил за нашим бегом по бетонным плитам, и я боялся одного, чтобы случайно Саяна не подвернула ногу. Когда мы забежали на перрон, то почти одновременно с нами, пробивая темноту и стуча колесами, подошла московская электричка.

На Белорусском вокзале мы взяли такси и помчались к Саяне домой. Чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей, я начал рассказывать о своем первом визите в Москву.

— Было мне тогда двадцать лет, но я уже начал летать и поехал в свой первый отпуск покорять столицу.

Из Домодедово доехал на такси до центрального аэровокзала и пошел устраиваться в гостиницу. Мест там не оказалось. Было уже поздно, чертовски хотелось спать. Послonyaвшись по переполненному аэровокзалу, я выпил пару рюмок коньяку, разомлев от спиртного, решил, что вполне могу переночевать в кустах. Дело было в сентябре. За аэровокзалом нашел скверик, расстелил на траве газету, положил под голову чемоданчик и, как это делал в тайге, укрылся курткой и заснул. Откуда ни возьмись — милиционеры! Они проверили документы, билет, выслушали мое объяснение и отпустили с миром. Тогда времена были другими, человеческими. Ответно я угостил их омулетом, который прихватил с собой из дома, зная, что с продуктами в Москве туговато, поскольку со всех сторон туда ездили на электричках за колбасой. Прошаясь, я

спросил, где находится Кремль, решив пройтись пешком по ночной Москве. У Белорусского вокзала, в каком-то ночном баре купил виски, попробовал. Дрянь, самогонкой отдает! Вскоре показались рубиновые звезды. «Двигаюсь точно по курсу», — весело подумал я и прибавил ходу. На Красную площадь вошел уже строевым шагом, держа, как учили отцы-командиры, нос по горизонту. Проходя мимо мавзолея, отдал часовым честь, тут же познакомившись с такими же, как и я, загулявшими парнями, у памятника Минину и Пожарскому предложил им отметить освобождение Москвы от поляков. И тут опять милиция. Меня, как организатора, отвезли в ближайшее отделение. Завели к дежурному. Тоскливо мне стало, как пить дать сообщат на работу. В общем до меня дошло, что мои дела плохи... Заходит в комнату капитан. Гляжу, передо мною бурят. Важный и строгий, как Будда. Ему мой паспорт подали. Он долго его разглядывал, читал, потом вдруг спрашивает: не тот ли я Храмцов, который на Сухарбанае обскакал Болсана Торбеева. Я чуть не подпрыгнул: вон даже в Москве знают про мою давнюю победу на скачках. Тут же выяснилось, что капитан родом из Бурятии и был на том Сухарбанае. На какой-то миг мне показалось, что Москва заселена исключительно одними бурятами и я, как самому близкому другу, поведал ему о своих московских злключениях. И попал ему в самое сердце. Вообще хорошо встречать понимающих тебя земляков вдали от дома. Тот капитан отзывчивым парнем оказался, дозволился до какой-то гостиницы и утром после смены отвез меня туда на милицейской машине. Я пригласил его к себе в номер, достал сибирские гостинцы. И мы под омулек и байкальскую водочку начали вспоминать знакомых. Через некоторое время уже горланили песни про славное море Священный Байкал. У капитана голос оказался, как у Шалапина. Певун, каких поискать надо. На прощанье он сказал, что в сорок первом его дед погиб под Москвой, и мы не сговариваясь грянули:

*Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков...*

Но к этой известной песне о Москве капитан добавил слова, которые я никогда не слышал.

*В битвах мы за великий город
Никогда не жалели живот,
Он и древен и вечно молод,
Там наш Сталин любимый живет...*

Мой рассказ понравился не только Саяне, но и таксисту. Они от души посмеялись надо мной. Я знал, что лучший смех — это смех над собой. Проверял неоднократно.

Вскоре мы были возле дома, где жила Саяна. Неониле Тихоновне стало лучше. Она уже успела позвонить в Прудово и, узнав, что Саяна уехала на последней электричке, испугалась за дочь. Фаина Тихоновна успокоила ее, сообщив, что мы поехали вдвоем, и что за мальчишками она присмотрит.

Выслушав мать, Саяна сказала, что утром нужно обязательно съездить в больницу, и что она отложит свою поездку в Сибирь.

— Живы будем, не помрем, — ответила Неонила Тихоновна. — Что мне сделается. А ты поезжай. Ты же обещала ребятам, они ждут. А я еще здесь повоюю.

— Байкалу миллионы лет, он подождет, — ответила Саяна. — Твое здоровье мне дороже. Ты у нас прямо как Цезарь, пришла, увидела, и всех победила.

— Спасибо вам за жимолость, — неожиданно поблагодарила меня Неонила Тихоновна. — Я съела ложечку, и мне стало легче. А насчет Цицерона...

— Да не Цицерона, а Цезаря, — поправила Саяна.

— Я и говорю про этого Чингисхана, — улыбнулась Неонила Тихоновна. — В жизни надо все доводить до конца. В этом была его сила. А безысходных ситуаций,

голубушка, не бывает. Есть безвыходные, сидящие на кухне люди. Вот их и надо вытаскивать на улицу. А ты поезжай, там тебе понравится.

— Кто звонил? — перевела разговор Саяна.

— Если бы я знала, — махнула рукой Неонила Тихоновна. — Скорее всего, бандиты. Опять спрашивали про бумаги отца. — Она вновь повернулась лицом ко мне. — Георгий в пятидесятых годах искал месторождение золота. Проводником у них был Бадма Корсаков. Во всех походах по горам он старался никогда и ни от кого не зависеть. Во выючных суммах у него было все, что могло понадобиться в тайге. Меня удивляло, что у него всегда были чистые полотенца. На водоразделе Тункинских Альп в верховьях Шумака он показал старые заброшенные шурфы и отвалы породы. Там еще были видны три полусгнивших столба. На одном из них на сколе можно было прочитать: «База Отто Шнелле».

Был в наших краях такой инженер, он раньше пытался найти там золото. Но не нашел. Кстати, его внук, Аркадий, ныне в руководстве компанией. Умница. В нашем землячестве его очень уважают. Они сейчас, правда, за границей живут. Жена у него — красавица, во всем ему помогает. А первая, говорят, сильно пила. Потом уехала в Германию.

«Да, тесен мир, — думал я, слушая Неонилу Тихоновну. — Такой клубок земляков и знакомых в Москве образовался, что дальше некуда».

— Неподалеку от тех мест были обнаружены образцы кварцевой породы с вкраплением линз галенида и сфалерида, — откуда-то издали доносился до меня голос Нионины Тихоновны. — А это первые спутники золотоносных жил. Во время полевого сезона я помогала вести документацию и была в курсе всех находок. Настоящая жена должна жить интересами мужа. Только тогда семья будет крепкой. Так вот, во всем мире считается перспективной разработка месторождений, когда содержание золота составляет два-три грамма на тонну породы. В Зун-Халбе оно составляло семьдесят пять граммов на тонну. А в некоторых блоках доходило до восьмисот граммов! Представляете? Отмытую руду самолетами отправляли в Иркутск, а дальше в Новосибирск на аффинажный завод, где ее уже выплавляли в слитки. За первый же сезон на Пионерском было добыто около двух тонн драгоценного металла. Вот современным предпринимателям эти тонны и не дают покоя. Сейчас у некоторых вместо глаз золотые монеты вставлены, человек будет на земле лежать — не подойдут. Жизнь человека сегодня — копейка.

Слушая Неонилу Тихоновну, я соглашался, сегодняшняя жизнь действительно ничего не стоила. Но и в прежние времена она стоила недорого. Мне тут же вспомнился один полет, который мы выполняли с верховьев Иркутка с упакованной в брезентовые мешки отмытой золотоносной рудой. При подлете к перевалу у самолета начал барахлить двигатель. Садиться был негде, кругом были скалы и тайга. Когда мы уже чуть не начали цеплять скалы, Шувалов приказал мне выбрасывать из самолета груз. Но только я открыл дверь и направился к мешкам, как чернявый сопровождающий груза охранник достал пистолет и направил на меня.

— Дотронешься, застрелю, — спокойным голосом сказал он. — У меня выбора нет! Если выбросим золото, меня расстреляют. Так и так, конец один.

— Твое золото — дерьмо, оно не стоит наших жизней! — крикнул из кабины Шувалов.

— Стоит, стоит, — помахал пистолетом сопровождающий. — Если грохнемся, твоей семье выдадут на доски тысячу. Если перевести в металл, то по весу это меньше пули. Здесь около тонны. Вот и прикинь.

Что и говорить, арифметика была явно не в нашу пользу. Видимо, подобные расчеты существовали, и не только на Колыме.

Каким-то чудом Шувалов сумел удержать самолет от столкновения с горой и мы дотянули до аэродрома. Но тот чернявый сопровождающий запомнился мне на всю жизнь.

— Неонила Тихоновна, а вы, случаем, не знаете фамилию той женщины, которая прыгнула на парашюте в тайгу? — спросил я.

— Конечно, знаю! — Неонила Тихоновна оживилась, — Лида Демина. Она семнадцатилетней девчонкой прыгала в тыл к немцам. У нее орден Боевого Красного Знамени был. А когда она к нам прыгнула, ей, дай Бог памяти, лет под сорок было. Мы закончили полевой сезон и стали выходить из тайги. Я тогда уже на седьмом месяце ходила. Было холодно, на реках появились леденистые забереги. При переправе через Иркут моя лошадь поскользнулась, и я свалилась в воду. Мне на выручку бросилась Жалма и вытащила меня на берег. Но после купания в ледяной воде она заболела и сторела за три дня. Я ее, бедненькую, часто вспоминаю. Молодая, красивая и бесстрашная. Тогда люди другими были. И в тайгу вместе с мужиками шли, и, если надо, с парашютом прыгали. И в ледяную воду бросались.

Утром я позвонил Котову и попросил его узнать, какие у «Востокзолота» дела с Сергеем Селезневым. Котов перезвонил мне через час и предложил встретиться в Государственной думе в буфете на пятом этаже. Он с ходу предложил выпить по рюмке коньяку. Хорошо зная депутата, я понял, что разговор будет непростым. Я заказал коньяк, закуску, и мы расположились за столиком.

— Непростую ты мне задал задачку, — сказал Котов, осушив первую рюмку. — Я, Гриша, пошел на эти переговоры исключительно из-за тебя. И зачем тебе понадобился этот болтун и прожектор.

— Я случайно узнал об этой истории, — осторожно ответил я. — Вроде бы как у него какие-то там проблемы.

— Есть, и большие, — нахмурившись, подтвердил Котов. — Селезнев должен компании круглую сумму. Не вернет, они заберут у него квартиру и дачу. Или оторвут ему, или его жене голову. Дело серьезное. Ты знаешь, сейчас за бутылку могут убить, а уж за такие бабки и подавно.

— Что, и милиции не побоятся?

— О чем ты говоришь! Какая милиция? Ты что, первый год замужем? В этом деле и милиция будет против него.

— Да она уже два года как не живет с ним! — воскликнул я.

— Это не аргумент, — заметил Котов. — Так делают, чтобы не платить. Но выход есть. У жены Селезневой, или у ее матери, остались бумаги. В свое время их передали местные буряты. Среди них — геологическая карта. Там помечены перспективные места рудопроявлений. На этой карте Георгий Иванович Корсаков, кстати, говорят, геолог от Бога, указал Деминское золоторудное месторождение. Они им отдают карты, компания прощает долг.

— Хорошо, — вспомнив рассказ Сани Корсакова про Демин клад, сказал я. — Постараюсь узнать, готовы ли они отдать бумаги.

— Кстати, передай Корсаковой, пусть она не будоражит людей. Там дом строят, Шнелле огромные бабки в него вложил. А она со своими бабульками хочет паровоз остановить. И зачем ей в политику лезть? Себе только проблемы создает.

Котов разлил коньяк и, подняв рюмку, посмотрел ее на свет. Я решил защитить Неонилу Тихоновну:

— Она-то и есть настоящий политик, — сказал я. — Сегодня политика стала прибыльным занятием, а она поступает, как велит ей совесть.

— Ты хочешь сказать, что мы все здесь агенты влияния? — усмехнувшись, сказал Котов. — Зря хлеб едим?

— Вам платят, значит, управляют. В этом вся разница. И приходится представлять интересы не государства, а, скажем, тех же Торбеевых. Думаю, это они или их люди называют Корсаковым. Ты, случаем, не думал об этом, а? Так что, будем очищать Москву от лизоблюдов и негодяев или потихоньку вольемся в их ряды? Твой ноябрьский тост был хорош, я даже готов был аплодировать.

Глаза у Котова дрогнули, но он быстро взял себя в руки и посмотрел на меня долгим взглядом, мол, откуда ты такой взялся.

— Дорогой ты наш, да будет тебе известно, что «Востокзолото» финансирует проект фильма о Черном Иркуте. Так, кажется, будет называться ваш фильм? Оксана Потоцкая у них в штате. И еще, но это уже не для передачи, но думаю, тебе следует об этом знать. Они каким-то образом разнюхали, что когда-то вы с отцом намыли песочка. И будто бы после этого твоя жизнь пошла иной дорожкой. Ты, когда поедешь на съемки, покажи, где это все происходило, а они все заснимут на камеру. Так что, дорогой ты наш сценарист, тебе и мне платят. Тебе — за твою работу, мне, заметь, государство — за мою. Каждому свое, так, кажется, говорили древние. Вот поэтому ты не стоишь в пикетах, не кричишь: долой Торбеева и Лужкова.

— Я стараюсь честно делать свою работу, — ошарашенный свалившейся на меня информацией, пробормотал я. — Раньше в кабине самолета, сейчас за письменным столом. И если бы не эти завлабы, которые прикончили нашу авиацию, то сейчас бы я летел на своем самолете куда-нибудь в Рим или Мадрид и не думал о каком-то там Торбееве.

— Ну, конечно, я забыл: аквиле нон каптат мускас, орлы не ловят мух, так, кажется, это звучит по-латыни, — с иронией сказал Котов. — Они парят над нами, смертными. Когда это им позволяют.

— Ну, если ты вспомнил о римлянах, то еще Катон Старший говорил: «Простые ворюги влачат свою жизнь в колодках и узах, государственные — в золоте и пурпуре», — не сдавался я.

— Послушай, Катон ты наш доморощенный, вот что я тебе скажу. Все наши беды от словоблудия и книжников. У Иоанна Богослова есть одно интересное наблюдение: «И я пошел к Ангелу, и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; но она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед». Это к нашему с тобой разговору. Ты мне не судья, и я тебе не брат. Иди своей дорогой и слушай, что тебе говорят. Может, тогда снова взлетишь. И фильмы твои, и сценарии будут интересны другим.

— Не все берется и не все покупается, — ответил я Котову. — И судимы будут по написанному в книгах даже мертвые, сообразно с делами и поступками своими. Кстати, о Демином кладе знал еще один человек. Звали его Юзеф Пилсудский. У него остались родственники. Почему бы твоим друзьям не поработать с ними. Может, что-то и откопают?

Котов пусто глянул на меня и, ничего не ответив, сунул на прощанье руку, и заспешил на свое очередное заседание. О тех же откровениях, которые сопутствовали принятию здесь новых законов и которыми так гордились депутаты, большинство живущих за стенами этого здания не имели ни малейшего представления.

«А сценарий-то уже, оказывается, был написан, — думал я, возвращаясь домой в переполненном вагоне метро. — Да, глубоко копают «старатели». Им, оказывается, было нужно не только само месторождение, но и заснятая на пленку история его повторного открытия. Нас вели на поводке, потому-то и обещали, а мы хотели получить обещанное и шли, как козлы за морковкой. Вся страна, весь народ».

Я уже заметил, что самые интересные находки у меня происходили именно в подземке, когда, не замечая стоящих рядом людей, металлического грохота колес, пролетающих мимо станций, вдруг улетаешь со своими мыслями куда-то в небесную пустоту и там, как и в том сне с буряткой, неожиданно, будто с чьей-то подсказки, ты ухватываешься за обрывок мысли, затем начинаешь разглядывать и перебирать ее с разных сторон, и вдруг со всей ясностью открывается то, над чем ты долго и серьезно думал. Правда — есть достояние одного, ее нельзя навязать. Она проявляется при разномыслии.

Вспомнив тот поздний телефонный звонок Потоцкой, ее желание непременно снять фильм о старателях, я понял, что и она выполняла отведенную часть порученной ей работы, до конца не зная, зачем и для чего эта работа понадобится заказчикам. Как и во времена Чингисхана, они действовали методом загонной охоты. Что ж, когда мифов нет, их придумывают. И в них люди охотнее верят, чем в саму жизнь. А в ней незаметно и тихо возникают и умирают такие сюжеты, что, порою, просто диву даешься: неужели такое может быть?

А может, все это возникло в моем воображении? И я уже не могу смотреть на мир теми глазами, которыми глядят все нормальные люди? И, пытаясь связать все видимое и невидимое в одну нить, в каждом слове, поступке ищу особый смысл. Но в чем он? И нужен ли мне этот ответ?

Вернувшись в Москву, я вдруг почувствовал, что кто-то невидимый присматривает за мной. Нет, конкретного человека, кто бы это делал, я не наблюдал, но после поездки в Прудово и разговора с Котовым во мне поселилось чувство тревоги, и оно с моей прошлой таежной и летной жизни еще ни разу не обманывало. О том, что откажет в полете двигатель, о других неприятностях, которые могут случиться со мной в той или иной ситуации, я чувствовал заранее, хотя и не знал, когда это может произойти. Я прокручивал всевозможные варианты. Ну, с Корсаковыми все ясно — от них нужна была карта. Чем же мог быть им интересен я?

И тут мне на мобильный неожиданно позвонила жена и сказала, что хочет встретиться и поговорить со мной. Мы договорились встретиться в кафе, которое находилось недалеко от метро «Фрунзенская». Зина приехала на черном представительном джипе с охраной. Увидев меня, она помахала рукой, затем что-то сказала бритоголовому верзиле и энергичной походкой пошла мне навстречу. Чтобы скрыть еле заметную полноту, которая с возрастом появляется у каждой женщины, на ней был черный газовый костюм, который дополняла белая блузка. Как всегда она выглядела великолепно: загорелое ухоженное лицо, красивая прическа. Когда-то в молодости она гордилась своей фигурой и считала, что она у нее лучше, чем у Софи Лорен. Неожиданно я поймал себя на том, что с доселе неизвестным, оценивающим чувством вглядываюсь в нее. Так, наверное, оглядывают те места, где давно не бывал, стараясь разглядеть и отыскать то, что раньше за ненадобностью пролетало мимо. Передо мной стояла сорокашестилетняя ухоженная, властная и знающая себе цену женщина.

Мы зашли в кафе и присели за столик.

— У тебя что, Храмцов, крыша поехала? — Зина сразу же решила взять меня в оборот и повела решительное наступление. — Я вчера прилетела из Испании, и тут мне сообщают: с квартиры съехал, договор о фильме порвал. Что, хорошо зажил или нашел себе богатую любовницу?

— Ну, зачем же любовницу! Я встретил хорошую женщину.

Мне было интересно, как Зина воспримет эти слова. Наверное, раньше бы она взорвалась, начала кричать, потом достала бы носовой платок и принялась сморкаться. На этот случай у нее они всегда были наготове, бывало, набирался целый комплект, если сцена затягивалась.

— Мне начихать, кого ты встретил, — голос у Зины дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. — Чтоб ты, милый, не важничал, хочу сообщить: идея написать сценарий о золотоискателях принадлежит мне. Я решила, лучше тебя никто этого не сделает. Но ты, Храмцов, и это не оценил. На что будешь жить, ты подумал?

Когда Зина хотела подчеркнуть свою холодность или раздраженность, то обычно начинала называть меня по фамилии.

— Я написал новый сценарий, и уже нашлись люди, которые готовы финансировать фильм.

— Хорошо, Гоша, снимай. Я буду только рада. А у меня к тебе деловое предложение.

Зина сделала паузу и, как это бывало в прежние времена, когда она на праздник дарила заготовленный подарок, холодно улыбнулась и выложила то, ради чего приехала на эту встречу.

— Тебе дают человека, ты летишь с ним на Байкал и показываешь место, где в детстве намыл золото. Взамен компания оформляет тебе в собственность московскую квартиру.

Мимо нас, что-то бормоча, прошла женщина с типично восточным лицом. Одежда она была в коричневый бархатный жакет, из-под которого выглядывала синяя со стоячим воротником кофта. Волосы у нее были гладко зачесаны и на затылке прихвачены зеленым гребнем. Неожиданно она обернулась и внимательно посмотрела на нас, затем сделала несколько шагов и вновь уже, будто из-под руки, заискивающе улыбаясь широким накрашенным ртом, еще раз посмотрела в нашу сторону. «Вот и шаманка появилась, — подумал я, глядя вслед женщине. — По сценарию теперь должен появиться шаман. Почему она на нас смотрит? Кого-то узнала или обозналась?»

Женщина села в угол, прямо у выхода из кафе, достала какие-то бумаги и начала их читать. Через несколько минут в кафе появился странного вида мужчина. Был он в очках с золотой оправой, на нем была черная майка с большой фотографией Курта Кобейна на груди. Он оглядел зал, скользнул по нам отсутствующим взглядом, взял поднос и, спустя какое-то время, с бутылками и пивной кружкой направился в нашу сторону. Мне показалось, что он хочет сесть к нам за столик, но он, глянув на Зину, прошел мимо и поставил свой поднос к «шаманке». Некоторое время спустя из угла, где сидела странная парочка, раздалось громкое пение. Такими голосами, зарабатывая себе на жизнь, обычно пели уличные певцы на Арбате. Но песня была знакомая и близкая.

*По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах...*

— Не мешайте, неужели не видите, что я работаю! — глядя в нашу сторону, громко сказала женщина.

— На это я обратил внимание, — прервав свое пение, сказал мужчина. — Вы лучше, мадам, обратите внимание на мой голос. И если не возражаете, будьте моим менеджером. У вас вид, а у меня голос! Мы с вами можем такие деньги зашибить, никаким старателям не снились.

— Я тебя, сейчас, старатель, вот этим стулом зашибу и ничего мне не будет, — бросая взгляд в нашу сторону, пригрозила «шаманка».

— Бабочки летят на цветочки, а мухи, извините, на дерьмо, — на всякий случай отодвинувшись, пробормотал мужчина.

— Не все золото, что блестит, — парировала женщина. — Или грохочет под ухом.

— Теперь и в Москве стало, как в диких степях Забайкалья, — с улыбкой сказал я, сделав вид, что забыл предложение Зины. — Как там наш сын?

— Сейчас он с подружкой отдыхает в Испании. Обещал приехать, — по-домашнему вздохнув, ответила Зина. — Так ты, Гриша, подумай над моим предложением.

— Да, ты делаешь успехи, — протянул я. — А скажи-ка мне, дорогая, это, слушаем, не ты организовала ограбление почтового поезда?

— Ты, Гоша, все летаешь в облаках. Опустись, милый, на землю и оглянись вокруг себя. Той жизни, которая была, уже нет. Я пришла, потому что люблю тебя, идеалиста и наивного дурачка. Не мечись, не ищи смысл жизни. Он уже давно найден. Радуйся, обустраивай ее. Время быстротечно. Цвет времени бытия течет. А мы

спим. — Сказав это, Зина глянула на часы. — Мне пора в храм на вечернюю службу. Тебе куда, может, подвезти?

— Да нет, зачем мне торчать в автомобильных «пробках». На метро быстрее.

Зина молча посмотрела на меня, слабая улыбка тронула ее губы, но она сдержалась.

— Если надумаешь — позвони.

Она встала, и тут же к ней с просящей улыбкой на лице бросилась «шаманка».

— Зинаида Егоровна, как я вас рада видеть! Вы меня помните? Я по поводу квартиры. — Голос у «шаманки» стал жалобным и просящим. — Мы с мужем двадцать лет отработали на «Востокзолото». Он теперь инвалид.

— Мне сейчас некогда, — сухо прервала ее Зина. И, видимо, учитывая мое присутствие, теплее добавила. — Напишите письмо на мое имя. Я постараюсь разобраться.

— Я как раз этим и занимаюсь, — расцвела «шаманка». — Я могу прямо сейчас вам его передать.

— Извините, с рук не принимаю.

Я не стал провожать ее, сидел, смотрел на ошарашенную «шаманку» и думал, что действительно цвет времени бытия течет.

Зина стала работать в компании после того, как Ельцин расстрелял парламент. Работа была, как она говорила, на износ, в год у нее набиралось до двенадцати командировок. Однажды Зина сообщила, что собралась отдохнуть в Прибалтике. Сказала она об этом буквально за несколько дней до отъезда. Туда был необходим загранпаспорт, и она рассчитала, что за оставшиеся дни я не успею его оформить. Я молча проглотил эту новость и остался с Мишуткой дома. В следующий раз она вроде бы полетела в командировку в Магадан, а через неделю вернулась загорелая и довольная, как с Канарских островов.

Нередко можно услышать: чужая душа — потемки. А вот ум человека всегда на виду. Обычно его не прячут, а выставляют напоказ. Он как инструмент, которым пользуются для обслуживания человеческих желаний, а когда это необходимо уберегает или выбирает для хозяина самый безопасный путь. Зина была умна, но тем изворотливым умом, который был для нее скорее дворником, чем садоводом. Глядя на нее, я думал, что квартиру можно убрать, вымести пыль из самых дальних уголков. Но вот что делать с душой, где поселились ложь и изворотливость? Можно перед сном прочитать молитву, а на другой день, поцеловав на дорожку, накрасить губы и улететь в зарубежную командировку. Однажды, когда сорвавшись, я пытался докричаться до нее, она вдруг сразила меня неожиданной фразой, сказав, что дни недели заканчиваются воскресеньем, а не наоборот.

— Я хожу на исповедь и каюсь в наших с тобой грехах, — добавила она.

— В твоём понимании добродетель — это то, что при случае можно продать. Ты как матрешка, двойная, тройная, многолика! А по сути липовая! — выпалил я.

От этой лингвистической находки, которая, по моему мнению, выражала Зинину сущность, у меня тут же поднялось настроение, ну точно маслом себя помазал.

— Тебе бы, Гоша, не за штурвалом сидеть, а на токарном станке из липы матрешки точить, — спокойно ответила она. — Если захотел выяснять отношения с женщиной, то не бери к себе в помощники плотницкий жаргон. Ты же летчик, а не краснодеревщик.

Зина умела ударить быстро и больно, в этом ей не было равных. Но так же быстро, точно замазывая на лице морщинки кремом, она могла сгладить неприятный разговор, нащупать ту верную тропку, которая примирила бы обе стороны.

— Я не летчик, а воздушный извозчик! — буркнул я.

— Это заметно. Ты сердисься, значит, ты неправ. Мы с тобой далеко не ангелы. В том, что происходит, есть, милый мой, и твоя вина. Я не прячу, как ты, го-

лову под подушку, а хочу прожить свою жизнь, а не чужую, кем-то придуманную. И каждый день прошу об этом Спасителя. Я за тебя молилась и молюсь. Раньше, когда ты улетал, я молилась о твоём благополучном возвращении, молилась за нашего сына. Все пройдет и все придет. Чем сильнее Господь нас любит, тем строже испытывает.

Вот под этими словами я готов был подписаться. Но эти слова оставались всего лишь словами, хорошо продуманными, отглаженными и выстроенными в том порядке, который был ей выгоден. Недаром говорят: кто думает, что он имеет, всего лишается.

Вечером я позвонил Саяне, и мы встретились с ней, как и в первый раз, возле памятника Жукову. Была она одета в белые туфли, черную в клеточку юбку и белую кофту. Вспомнив наш поход по грибы, испачканные болотной глиной резиновые сапоги, мокрую одежду, я некоторое время молча рассматривал ее. Теперь-то я знал, что впечатление от города, от улиц и домов напрямую зависит от цвета платья и выражения глаз стоящей рядом с тобой любимой женщины, поскольку ты смотришь на мир ее глазами. У Саяны было хорошее настроение, она улыбнулась и сама прижалась щекой ко мне. Я взял кофе, воду, еще какую-то легкую закуску, и мы сели у стены, прямо под декоративным деревом, за накрытый фирменными салфетками столик.

Я хотел расспросить ее о предстоящей поездке, виделась ли она с Катей, но слова не шли, почему-то в своем новом наряде Саяна казалась мне необыкновенно красивой и недоступной.

— Я уже поговорила с мамой. Пусть забирают, — сказала Саяна, выслушав предложение Котова. — Мне покой и безопасность детей дороже каких-то бумажек. — И, кивнув на бутылочку с водой, добавила: — В жизни бывают моменты, когда тонны золота не стоят и стакана воды. И то, и другое может убить, одно своим отсутствием, другое — избытком. Золото всего лишь красивый металл и не более. От него человеку нет пользы — одни проблемы. А вот без воды не проживешь. Она, как и любовь, очищает, омывает, лечит, успокаивает. Природной, чистой воды на земле уже почти не осталось. Когда я на уроках говорю, что из Байкала и выпадающих в него рек можно зачерпнуть воду и тут же выпить, мне не верят. Вот об этом нужно говорить всем, а не о золоте. Когда нас крестят, то в купели окатывают водой, а не золотым песком. Для здоровья и чистой жизни.

Повернувшись ко мне, Саяна, после небольшой паузы, неожиданно добавила:

— Я все эти дни думала о тебе. И, пожалуйста, не переживай за меня. С тобой я никого и ничего не боюсь!

— А я и не переживаю, — быстро ответил я, хотя тут же поймал себя на том, что, конечно же, переживал, только не предполагал, что она сумеет прочесть мои мысли.

— Ты знаешь, режиссерше не понравился мой сценарий, — сообщил я. — Она его забраковала.

— И что? — подняла брови Саяна.

— Я вернул ей аванс.

Говорить Саяне о том, что меня решили использовать, как подсадную утку, не хотелось. И что, отказавшись от дальнейшей работы с Потоцкой, я ничего не потерял.

— В Тунке отбывал ссылку будущий польский диктатор Юзеф Пилсудский. Буряты к нему относились хорошо, приносили мясо, грибы, орехи. Чтобы не мерз от сибирской стужи, они ему овчинную шубу подарили. Он вел там свои записи и общался с местными. Потоцкая упорно настаивала, чтобы я включил его в сценарий. А мне будущий польский диктатор, как она сама любит выражаться, был по

барабану. Буряты говорят: любая овца должна знать свою кошару. Потоцкая ведет свою игру, мы будем вести свою. Твоя мама была права, когда рассказывала легенду про бегущего лося и налима. — Я, улыбаясь, ткнул себе пальцами в лоб. — И плакал я, как тот лось, до тех пор, пока не выплакал два своих верхних глаза. Выплакал, но так и не понял, почему в фильме должен быть Пилсудский. Вот с Торбеевым все понятно, кто платит, тот и заказывает музыку.

— Только заказывают музыку не Торбеевы, а те, кто за ними. И делают это за наши деньги. Для поляков Пилсудский — миф, а мифы имеют свойство воплощаться в реальной жизни. Патриотизм возникает из любви, и к ней должен вести. Но любовь не приемлет корысти.

— Потоцкая точно не станет петь, что там наш Сталин любимый живет, — засмеялся я. — Сразу же после приезда из Прудово я ходил в авиакомпанию, которая выполняет рейсы на Байкал. Там генеральным директором работает мой друг, мы с ним вместе создавали авиакомпанию «Иркут». Он следом за мной ушел от Торбеевых в «Сибирь». Представляешь, ему понравился мой сценарий о летчиках и о женщине, которая прыгнула в тайгу. И он предложил мне свою помощь. Деньги мы, говорит, найдем. И со съемочной группой договоримся.

— Ты же никогда не делал фильмы, — засомневалась Саяна.

— В детстве мы вообще ничего не умели делать, — ответил я. — Конечно, надо иметь некоторую наглость, чтобы ввязаться в эту драку.

— Вот с этим у нас проблем нет, — засмеялась Саяна. — Москва — хороший город, здесь слишком много чего оседает. И хорошего, и плохого.

— Но и всплывает. Вот я и решил, надо уехать и посмотреть на себя как бы со стороны. Я хочу доказать себе, что я это могу. Ведь делают это другие.

— Но ты должен осознавать, что тебя может постигнуть неудача.

— Для этого надо начать. Ты, надеюсь, мне поможешь?

— Только своим присутствием, — улыбнувшись, развела руками Саяна. — Завтра мы улетаем.

— Я звонил в Тунку Шувалову. Он ждет вас на аэродроме. Я прилечу следом.

— Ты мне сегодня нравишься как никогда, — вновь рассмеялась Саяна. — Деловой, напористый. Скажи, ты прочел Доржи Банзарова?

— Конечно. Вот послушай, что я нашел у него, — сказал я. — Для того, кто ступает на путь просветления, существует двадцать трудновыполнимых вещей. Трудно бедному быть щедрым, трудно власти имущему не употребить свою власть для удовлетворения своих желаний, трудно не рассердиться, когда оскорбляют. Трудно изучать широко и глубоко. Трудно побороть гордость. Трудно найти хорошего друга. Трудно не спорить о правильном и неправильном. — Я сделал паузу и, вздохнув, продолжил: — Летчики говорят, что в авиации от Полярной звезды идет весь отсчет. И не только в авиации. Северную сторону юрты монголы и буряты считают самым почетным местом. Туда сажают самых именитых и важных гостей. Полярную звезду они считают вершиной мировой горы, пупом неба, осью мирового круговращения. Вот и думаю, от чего мне начать свой отсчет?

— Начни от человека, — посоветовала Саяна. — С той самой женщины, что прыгнула в тайгу.

— Ты права! — воскликнул я. — Я буду снимать вас на Иркуте. Пока что там все, как и во времена Чингисхана. Чистая вода, горы, Сурхарбан, сарлыки.

— Хвосты которых идут на приплеты, — в тон мне засмеялась Саяна.

— И люди. Почему, получая все, человек не успокаивается и порою не знает, что ему нужно? Почему ни он сам, ни душа его не знают той гармонии и совершенства, как окружающая его природа?

— Поклоняясь природе, буряты-язычники населили ее духами, придумали множество мифов, объясняющих происхождение мира, — ответила Саяна. — Их можно

понять — кто не восхитится красотой Байкала, небом, гольцами, водопадами, твоим Иркутом. Наверное, только человек, пахнувший равнодушием. Но своим природным чутьем этот народ осознал: сколько ни стучи в бубен, ни брызгай водкой во все стороны Бурхану или еще кому, ни развешивай тряпочек на деревьях, — твои отношения с другими людьми не будут такими же гармоничными, как сама природа. А спасение человека от душевного разлада дает только одно — совершенная любовь, которую и явил нам Господь. Он нас любит такими, какие мы есть. И дает нам возможность и время исправиться. По своей любви к людям он нам дал заповедь: так же, как ты относишься к себе, относиться и к другим: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Провожая Саяну в аэропорт, я попросил Дениса записать номер своего мобильного телефона и сказал, чтобы они, долетев до Иркутска, позвонили мне. Денис тут же занес мой номер в память своего мобильного.

— Немец, он и есть немец, — пошутила Саяна.

— Георгий Петрович, ты мне скажи, Иркут — опасная река? — спросила меня Катя Глазкова, когда мы возвращались из аэропорта.

— Любая река опасна. Все зависит от человека, который заплывает в нее, — ответил я. — Можно утонуть и в луже.

— Называется успокоил. И все-таки? Не все родители рискнули послать в эту экспедицию своих детей. Дорого, опасно. Хорошо, что Торбеев снял многие вопросы. Авиакомпания «Иркут» взяла на себя расходы по перелету. Котов сказал, что Шнелле даст денег на журнал.

— Так ты с них теперь и спрашивай.

— Этот номер тебе не пройдет, — засмеялась Глазкова. — Первым, пусть хоть и невольным агитатором, стал ты, Георгий Петрович, — засмеялась Катя. — Моя Машка, после того как ты живописал Иркут, буквально сошла с ума. Поеду и все тут! Всем хочется взглянуть на сарлыков, у которых хвосты идут в женские приплеты. Вон Янка даже Дениса с Мишуткой взяла. Честно говоря, мне стало спокойнее, когда она согласилась лететь. Яна там все возьмет под свой контроль. Уж я-то ее хорошо знаю.

— Она им хочет показать места, где родилась.

— И вообще, там как, не опасно? — думая о чем-то своем, спросила Катя. — Я слышала, что недавно в вашей тайге было нападение на склад, где хранилось золото. Случаем, это не на Иркуте?

— Ты что, считаешь, что у нас там прямо по улицам ходят шайки золотограбителей? Ну не дикий же там Запад!

— Там для меня дикий Восток. И туда улетела моя дочь.

— Так надо было полететь с ней вместе. Взять с собой в дорогу Калашников, ну, на худой конец, ТТ или Макарова. Заказать бронезилет.

— Вот этого не надо. До такой крайности, я думаю, мы еще не дошли.

— Они же полетели не одни.

— Яна мне сказала, что Вадим Торбеев опытный проводник и уже не раз сплавлялся по горным рекам.

— Я несколько раз сплавлялся по Иркуту, — с гордостью сообщил я. — Но, как видишь, целый и невредимый стою перед тобой.

Съемочная группа состояла из трех человек: двух операторов и седоватого режиссера, которого, как и меня, звали Георгием. Выяснилось, он несколько лет не вылезал из Чечни, снял там несколько фильмов. И я, вспомнив слова Неонины Тихоновны о том, что безвыходных ситуаций не бывает, поблагодарил судьбу. На все, как говорится, воля Божья. Это были профессионалы, которые измеряли человеческую жизнь иными мерками. Перед отлетом я еще раз позвонил Корсакову, чтобы он

встретил Саяну, затем своему бывшему командиру Шувалову, чтобы тот был готов разместить у себя на аэродроме съемочную группу. Все, по старой памяти, обещали мне, как иногда говорят дипломаты, режим наибольшего благоприятствования.

На аэровокзале мы зашли в буфет и, как это бывало в моей прошлой летной жизни, выпили за знакомство и за предстоящую работу. Рейс был поздним, самолет после взлета влез в стоявшую над Москвой густую облачность и, подрагивая на воздушных ухабах, начал набирать высоту. Знакомые по прежней работе пилоты пригласили меня в кабину, знакомая стюардесса принесла нам ужин.

Меня стали расспрашивать, чем я занимаюсь. С тем чувством, с каким, наверное, поглядывают на блаженных, они слушали мой рассказ о Чингисхане, Банзарове, о шаманах и ламах, немного оживились, когда я вспомнил про прыгнувшую в тайгу отважную женщину. Пилоты изредка снисходительно кивали мне головой, мол, кино, как игрушка для детей, посмотри, разобрали и забыли. Разве можно сравнить с ним летную работу. Нет, конечно, не сравнишь.

Когда летишь навстречу солнцу, то ночь, не успев настать, быстро сдает права новому дню. Небо, точно огромный серый чехол, начинает сползать за самолет и вот, прямо по курсу, как из невидимого гнезда уже вылупился красный, будто снегирь, пушистый шарик, и по восходящей дуге, набирая яркость, побежал по лобовому стеклу вверх.

Под привычный равномерный гул турбин я мысленно ходил по местам своего детства, сидел у таящих речушек, заезжал на маленькие аэродромы. И все это я показывал Саяне. В том сценарии, который мне предложила жизнь, свое я уже нашел.

Вскоре показались Саянские горы. Мне представилось, что там внизу, по воле Чингисхана, остановился на ночевку и застыл на все времена огромный табор, с высоты полета скалистые островерхие вершины напоминали не то застывшие волны, не то серые кибитки кочевников, холодными ужами расползались от них реки, от которых выгибались к вершинам зеленые пологи тайги. Справа от линии полета, у самого горизонта, я отыскал двугорбую вершину Мунку-Сардыка. К нему приближалась огромная грозовая туча, судя по всему, там, над Саянами, хлестал дождь.

Это там во сне я видел Жалму. Теперь ее образ я возвращал на родину, пусть живет там, где ей положено было обитать, и не тревожить сны другим людям. Где-то в той же стороне, на степном аэродроме в одиноком доме жил мой бывший командир Шувалов. Сколько сил в свое время мне пришлось приложить, чтобы сохранить этот аэродром. Его хотели застроить кемпингами для туристов, потом построить на нем пилораму, которая пилила бы лес для Китая. Перед отъездом в Москву, будучи командиром отдельной эскадрильи, я уговорил Шнелле взять аэродром на свой баланс. Тот согласился, расходов почти никаких, а место удобное, для богатых западных туристов — сущий рай. На место начальника я предложил Шувалова.

И эта просьба была удовлетворена. Теперь каждый день Шувалов открывал радиорубку и сообщал техническую годность и погоду на аэродроме, хотя видимость здесь была одна и та же — миллион на миллион. Кроме степных орлов и ворон сюда уже давно никто не летал, и Шувалов, по сути работая без зарплаты, используя деревянный домик аэропорта для личного хозяйства, продолжал держать кусок ровной степи в исправном состоянии. Летом у него останавливались богатые туристы, за которыми прилетал вертолет, чтобы отвезти их в город. Услышав, что я лечу к нему в гости со съемочной группой, Шувалов сказал, что примет нас в любую погоду.

— У нас здесь как раз намечается Сурхарбан. Так что приезжай — погуляем, — сказал он.

В аэропорту нас встретил Саня Корсаков. Разглядывая морщины в уголках глаз и похлопывая друг друга, мы обнялись. Он сообщил, что Саяна, оставив у Корса-

ковых своего младшего сына, с группой московских школьников уехала в верховье Иркутта.

Мы забросили в «газик» свои вещи и через несколько минут уже мчались по Монгольскому тракту. По пути то и дело останавливались, сначала в Култуке, где купили копченого омуля, потом у Быстрой, там, на берегу этой таежной реки развели костер и попили чаю. Лишь вечером наконец-то добрались до Ниловой пустыни, где теперь обитал Саня. Встретила нас симпатичная лет сорока бурятка. Я догадался, что это Санина жена. Рядом с ней улыбался мне Саянин Мишутка.

— Шура, — коротко и просто представил ее Корсаков. — Моя жена. Саяна не стала брать сына на Иркут и оставила у нас. Реву было!

Я подмигнул Мишутке и сказал, что возьмем его в горы снимать фильм о шаманах. Лицо у мальчишки тут же просияло, он подбежал ко мне, схватил сумку и понес ее в дом.

— Денис с мамой уехали, — сообщил он. — Они уже звонили мне по мобильному телефону.

У Шуры было типичное для этих мест широкое миловидное лицо и раскосые глаза. Я достал из рюкзака подарки: ребятишкам московские сладости, жене — павловский платок, Сане — бинокль, серый комплект военной камуфлированной одежды, которую, я знал, мечтали иметь все охотники, и свою синюю летнюю куртку. Она у меня без дела висела в шкафу. Саня не остался в долгу, тут же подарил мне медвежью шапку. Мыться нас он повел в собственную баню, где вода была прямо из минерального источника. На ужин Шура Корсакова приготовила нам жаркое из дикой козы, которую Саня добыл накануне, поставила на стол бруснику, грибы, холодец из губы сохатого, копченого и соленого омуля, хариуса. И, конечно же, бурятские позы. На столе нетронутым стоял привезенный московский коньяк, все пили молочную водку — тарасун и приготовленную Саней рябиновую настойку. Я догадывался, что Корсаковым, как и всем ныне в России, жилось непросто, но они, ожидая меня с московскими гостями, накрыли стол с сибирским размахом.

На другой день мы решили рано утром выехать в аэропорт к Шувалову, а уже от него в верховья Иркутта, где намеревались соединиться с московскими школьниками. Съёмочной группе Шура постелила в зале, а мне — на веранде. Там мы с Корсаковым еще немного поговорили, вспомнили, как мы тонули на Иркуте, как сплавляли в город бруснику, как на старых отвалах неожиданно намыли золото.

— В горах прошли дожди, — неожиданно сказал Саня. — Вода в Ихе-угуне за час прибыла на метр. Если ёкаргэнэ дело пойдет такими же темпами, то она может снести все мостики. Тогда придется запрягать лошадей.

— На лошадях так на лошадях, — согласился я. — Может, заодно поучаствуем в Сурхарбане.

— Там сейчас молодежь заправляет, — вздохнул Саня.

И мы вновь вспомнили, как я на скачках обогнал Болсана, рассказал про бурята-милиционера, которого повстречал в Москве, и Саня сказал, что это конечно же Мишка Торонов, который сейчас работает начальником паспортного стола в Улан-Удэ. Уже за полночь, под шум бегущего прямо под домом Ихе-угуна, что в переводе означало Большая вода, я быстро, как в детстве, уснул.

Утром я увидел перед домом запряженных лошадей, как Саня и говорил, Ихе-угун подмыл мостик, и по нему на машине проехать к тракту было невозможно. Выяснилось, что приехавшие со мной москвичи умеют ездить на лошадях, более того, они шумно радовались, что придется передвигаться верхом. Попив подсоленного бурятского чая, в который Саня бросил щепотку пахучей травы сагаан-даля, мы сели на лошадей, переправились через реку и по ущелью, где проходила тро-

па предков Темуджина, двинулись в сторону монгольского тракта. Было тепло, но свежо, солнце еще не опустилось в ущелье, но его присутствие выдавали шеломы брусничного цвета уходящих в небо гор, заросших лиственницей и березой. Моя лошадь шла ходоком, и мне все это напоминало то далекое время, когда мы вот так же кавалькадой ранним утром выезжали пасти овец. И я в благостном настроении, навеянном воспоминаниями, как это бывало в детстве, под шум набравшей после дождей силу бегущей рядом с дорогой воды, прикрыл глаза и, вдыхая запах лошадиного пота, пытался дремать на ходу.

Но едва мы выехали на тракт, как в кармане запрыгал мобильный. Я достал его и приложил к уху. Из Москвы меня нашла Катя Глазкова. Срывающимся голосом она сообщила, что ей только что позвонил сын Саяны Денис и сказал, что Иркут опрокинул резиновую лодку, на которой они начали переправляться через реку.

— Он говорит, что Яна утонула! — кричала Глазкова.

Из ее сбивчивого рассказа я понял, что лодки затащило на пороги, они перевернулись, и что сейчас они находятся у какой-то белой скалы.

— Ты же все там знаешь, — плакала Катя. — Сделай хоть что-нибудь! Завтра я вылетаю к вам.

Я отключил мобильный и попытался дозвониться до Саяны, но связи с ней не было.

По предварительной договоренности, Саня Корсаков должен был встретить московских школьников в Мондах, сопроводить их к археологам, а затем на лошадях сходить с ними на Шумак. Но младший Торбеев неожиданно потащил ребят к подножию Мунку-Сардыка.

Я понял, что если кто-то и может помочь в этой ситуации, так это Шувалов. Я тут же позвонил ему, сообщив о несчастье.

— Ну что я тебе могу сказать? — сказал Шувалов. — У меня здесь сел вертолет с западными туристами, но он уже собрался вылетать.

— Так удержи его и пошли на Иркут! — закричал я.

— Георгий Петрович, я ему не указ. Вертолетчики говорят, что пусть этим занимается МЧС. — И, понизив голос, добавил: — На борту охранник Чубайса. Он с гостями прилетел на Сурхарбан и к местному шаману. Сам понимаешь, ситуация непростая. Они меня не спрашивают, а дают указания.

— Ты не бойся! — крикнул я. — Охранник, он всего лишь охранник и не более того. Вспомни: мы с тобой видели и не таких караульщиков. Здесь хозяин ты и можешь послать куда подальше самого Чубайса.

— Хорошо, — через секунду, уже другим голосом ответил Шувалов. — Но кто будет оплачивать этот рейс? Повторяю: вертолет принадлежит частной компании. Летным директором у них Виктор Иванович Витебский. Охранник и шаман оплачивать этот полет не будут. Напоминаю: сегодня воскресенье. Все отдыхают.

— Я сейчас подъеду! — крикнул я. — Ты удержи вертолет.

— У меня аккумуляторы садятся. Связь прекращаю, — сообщил Шувалов.

Мобильник отключился. И тут же ожил. Я быстро поднес его к уху. Послышался далекий голос Дениса. То, что я услышал, радости не добавило. Он повторил то, что я узнал от Глазковой.

— Дядя Гриша, Григорий Петрович, моя мама утонула! — плача сообщил Денис. — Нас перевернуло, мама вытащила меня на берег, а сама бросилась в реку за Торбеевым. С него сорвало спасательный пояс. Их течением унесло за поворот. Мы здесь с ребятами стоим у скалы.

— Стойте и никуда не двигайтесь! — закричал я. — Скажи им, что за вами сейчас прилетит вертолет.

— Мама утонула, — вновь заплакал Денис.

— Она не утонула. Твоя мама отлично плавает! — крикнул я, вспомнив, как Саяна плавала в пруду. — Как байкальская нерпа. Мы сейчас полетим к вам на вертолете и найдем маму. Ты только не плачь. Договорились?

— Хорошо, не буду.

Окончив разговор с Денисом, я вновь набрал Шувалова. Действительно, связь была хуже некуда.

— Ты задержал вертолет? — вновь надавил я на своего бывшего командира. — Буду у тебя через полчаса. Михалыч, ты что-нибудь придумай. Прошу тебя, свяжись с Витебским. У него наверняка есть мобильный. Ты спроси у вертолетчиков. Они должны знать.

Авиация, кабина самолета научила меня действовать быстро, но не торопясь. Я мог просчитать тысячи вариантов, отыскивая самое верное решение. Это была моя привычная в еще недавнем прошлом стихия, когда нужно было мгновенно оценить ситуацию, наметить выход и убедить всех, что это самое правильное решение. Что-то полыхнуло во мне и все встало на свои места, будто кто-то услужливо подсказал нужные решения. Еще разговаривая по мобильнику, я уже знал, что первым делом надо связаться с Зиной. В этом деле она мне не откажет и сделает то, что я попрошу. То, что скажет она, будет для Шнелле законом. А уж он-то сделает все, чтобы оплатить санитарный рейс. Поскольку здесь напрямую была задета честь компании, в этом рискованном сплаве одним из главных действующих лиц оказался сын Тарбагана — Вадим.

Я хорошо знал и руководителя частной авиакомпании Витебского, которому принадлежал вертолет. Когда-то мы с ним работали в одной эскадрилье. В этой ситуации он, конечно же, даст команду выполнить этот непростой полет. Надо попросить вертолетчиков связаться с ним. Но все это можно было решить, пока вертолет был на аэродроме. Поднимется в воздух — считай, птичка выпорхнула из клетки. Я знал, что кроме оплаты нужно было решить еще несколько важных вопросов. Надо было узнать, имеют ли вертолетчики все допуски к подобным полетам, право подбора с воздуха площадок для посадки в тайге. Поскольку в горах горела тайга, у них должно было быть разрешение для полетов над лесными пожарами. Кроме того, есть ли в вертолете необходимый запас топлива? Какая видимость там, на Иркутке?

Через полчаса мы примчались на аэродром, и я поднялся на вышку к Шувалову. Вертолет уже крутил лопасти, собираясь вылететь в Иркутск. Я заскочил в радиорубку и попросил Шувалова, чтобы он передал вертолетчику приказ выключить двигатель.

— Мы сейчас же вылетаем к пострадавшим, — сказал я.

— Я связался с Витебским, и он задал мне тот же вопрос: кто будет платить? — сказал Шувалов.

— Оплатит «Востокзолото».

— Держи карман шире! — махнул рукой Шувалов. — Я их уже несколько лет прошу дать денег на ремонт. У меня здесь уже второй год нет света, отключили за неуплату. А без света хоть помирай, работаю на аккумуляторах, включаю рацию на десять минут. В кармане ни копейки. Ведь это же нужно не мне — людям. Нельзя на авиации экономить. У новых властителей России зимой снега не выпросишь, а сами летают с комфортом по всему миру.

— Саша, я позже твой монолог сниму на пленку, — прервал его я. — Людям нужна помощь. Кстати, среди москвичей внук Торбеева.

— Это меняет дело, — подумав, ответил Шувалов. — Но ты скажи об этом Витебскому. Твои слова, Григорий Петрович, не пришьешь к заданию. Могу доложить, у них есть все необходимые для таких полетов допуски.

— Топливо?

— Один раз слетают. А потом нужно искать.

— Это уже кое-что! — воскликнул я. — Передай командиру, что все формальности по оплате беру на себя. Могу подтвердить это письменно. Если заартачатся, то оплачу из своего кармана. Я снимаю фильм. Полет по санзаданию станет одной из сцен.

Последнее я придумал на ходу, здесь важна была каждая минута. Командир вертолета связал меня с Витебским, он дал добро на выполнение полета. Охранник оказался понимающим парнем, и не стал махать своими красными корочками. Тем более он, оказывается, знал еще по Чечне моих операторов.

Через несколько минут мы поднялись в воздух и полетели в верховье Иркут. С нами вылетел оператор, который тут же расчехлил камеру и начал снимать все на пленку. «Сгодится для фильма или для истории», — уже какой-то боковой мыслью подумал я, глядя в уменьшающийся на глазах домик знакомого мне по прежним полетам аэропорта.

Вскоре мы вышли на Иркут, и только тут я вспомнил, как вечером Саня Корсаков говорил про возможное наводнение. Иркут был на прибыли, серая вода заполнила собой все ущелье, буквально на глазах исчезали заросшие облепихой песчаные острова и каменистые отмели. Маленькие ключи и впадающие в него речушки в одночасье превратились в одно огромное пульсирующее, скачущее по камням стадо.

Через пару минут вертолетчики вышли на аварийный лагерь московских школьников, он находился неподалеку от Белого Иркут. Командир показал мне на крупный, еще торчащий над водой поросший облепихой остров, который был напротив отвесной белой скалы, доложил Шувалову, что видит потерпевших, сообщил координаты. Размахивая руками, ребята стояли на каменистой горке. Определив, что вода им пока что не угрожает, я сказал командиру, что нужно пролететь вниз по течению, поскольку, по моим сведениям, там должны быть еще люди. Вертолетчик искоса глянул на меня и кивнул головой.

С небольшой высоты было видно, что Иркут набрал нешуточную силу, по воде плыли вырванные с корнем деревья, белая пена жадно лизала кусты и многочисленные каменистые осыпи. Я шарил глазами по берегам, глядя в набегающие под вертолет острова. Пожалуй, со времен того самого полета, когда мы везли покойную Жалму и, когда нас, как в пеленки, укутала вязкая облачность, и мы искали хоть малейшую дырку в облаках, чтобы вырваться на свободу и увидеть спасительную землю, я не испытывал такого болезненного волнения. Почему-то в голове все время стоял крик Дениса и его надежда, что я обязательно найду и спасу его мать. И, быть может, впервые, я чувствовал себя беспомощным, как те самые пассажиры, которые помогали роженице, но были бессильны уже чем-то помочь Жалме. Давним и когда-то привычным чувством, которым привык улавливать малейшие изменения в кабине, я вдруг заметил, что у командира вертолета напряглись и сузились глаза. Я мгновенно проследил за его взглядом и неожиданно увидел на маленьком островке сидящего на камнях, как мне показалось, голого человека. Увидев вертолет, он вскочил и начал призывно махать рукой. А рядом с ним, подпрыгивая на месте, чем-то желтым размахивала женщина. Это была Саяна.

Пригнув к песку золотистые кусты облепихи, вертолет осторожно, точно пробуя, прикоснулся колесом к серому песку. Открыв дверцу, мы с бортмехаником прыгнули на землю и, нагнув головы, отбежали от свистящих над головой лопастей. И очутились в ином времени и измерении.

Облизывая голыши и крупные булыжники, поднимаясь буквально на глазах, почти беззвучно в нескольких метрах от нас шла большая вода. В ее немоте и не-

слышном движении угадывалась скрытая мощь, которую не могли остановить ни камни, ни острова. На миг показалось, что мимо нас, закручивая вокруг острова огромное кольцо, скользит огромный питон. И этот мускулистый загнанный в ущелье речной ископаемый гад, моргая темными мокрыми веками, уже готов был заглотить свою добычу. А сверху, с крутых каменистых склонов хмурым взглядом на нас глядела знакомая мне с детства тайга.

К вертолету, перепрыгивая через возникающие прямо на глазах ручейки, шлепая мокрыми носками, по воде бежала Саяна. На ней была желтая майка и коротенькие шорты. Следом за ней, то и дело оглядываясь, трусил к вертолету будущий президент авиакомпании «Иркут».

«Что, он не видел, куда полез? — с запоздалой злостью думал я. — На привязь бы посадить этих долбаных экстремалов. Ну, захотел свернуть себе шею, бросайся один, зачем же тащить за собой других! Здесь не надо иметь высшего образования, а достаточно среднего соображения».

— Давайте, быстрее! — крикнул я. — Вода прибывает.

— Как там ребята? Все живы? — спросила Саяна, подбежав.

— Живы, все живы!

— Слава Богу! — выдохнула она и, точь-в-точь, как на тропе в Прудово, бросилась мне на шею.

— Я знала, что ты прилетишь, — заплакала она. — Ты представляешь, Вадим не умеет плавать. С него сорвало спасательный жилет, и он чуть не захлебнулся. — Ребята перепугались. Но больше всего я.

— Бывает, — ответил я. — Давайте в вертолет. Там Денис за тебя сильно переживает. Они с Машей позвонили в Москву. Катя и сообщила о несчастье. А потом и Денис разыскал меня. Сработал, как немец!

— Эй, командир, давай в вертолет, — крикнул бортмеханик. — Керосин на исходе. Большая вода идет. Надо поскорее сматываться отсюда.

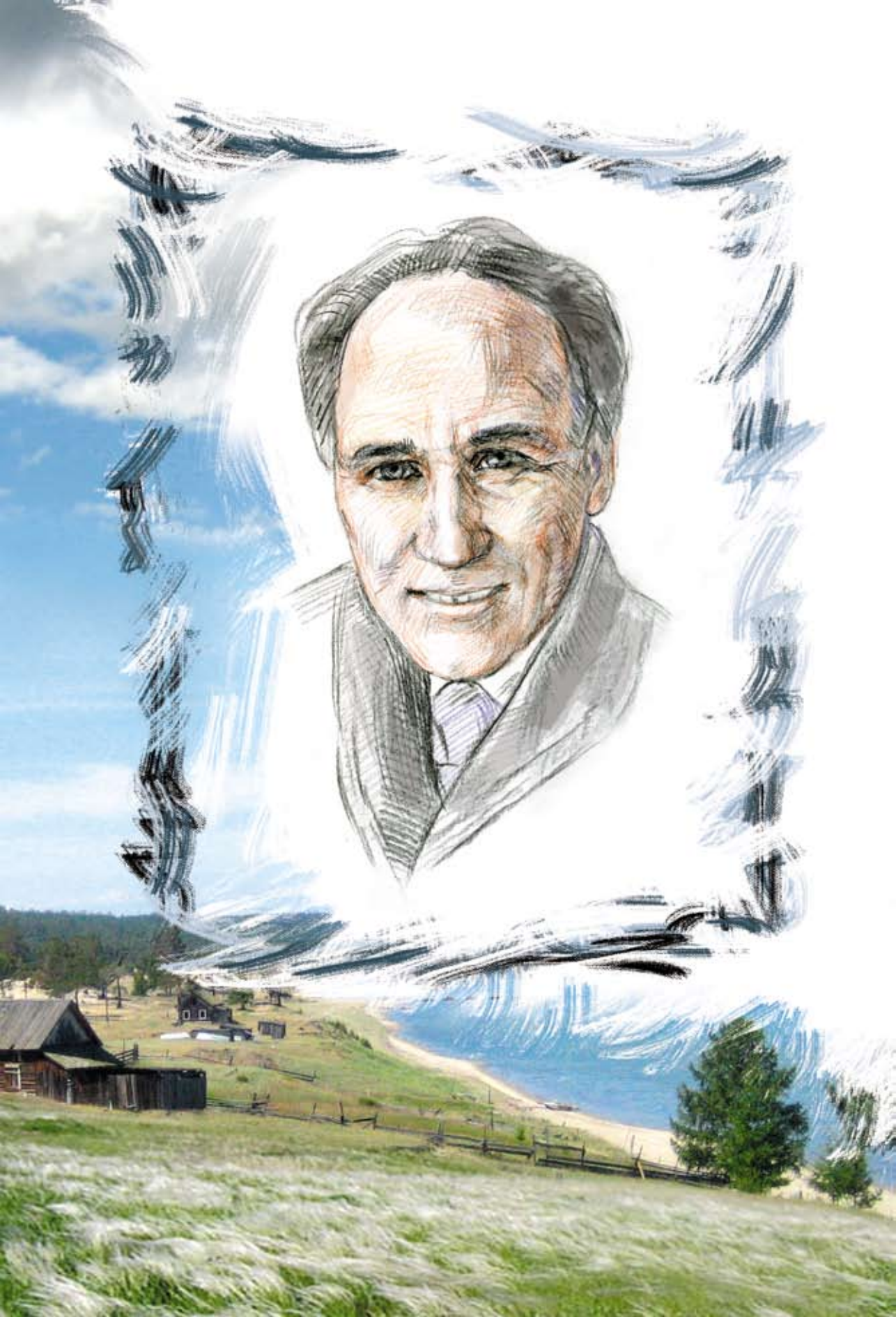
— Сайн байна! — сказал я подбежавшему Торбееву. — Давай, земля, заскакивай в кабину, надо скорее взлетать.

Через несколько минут мы были уже у ребят под скалой. Ко мне подбежал Денис и сбивчиво начал рассказывать, как мать вытаскивала их из воды и как ей помогала Глазкова Маша. Я смотрел на него, на Саяну, почему-то вспомнил Прудово, наш поход по грибы, и подумал, что мы подросли вовремя. Саяна начала пересчитывать ребят, а я еще раз посмотрел на вздувшийся Иркут, на обступившие его горы.

Солнце катилось к розовым, заснеженным гольцам, которые круто уходили стеной в сиреневую высь и, казалось, в глубину веков. С их высоты вертолет казался маленькой, невесть как попавшей в это ущелье букашкой. Но свое дело она сделала, все были в целости и сохранности. Несмотря ни на что, экспедиция, как и сама жизнь, продолжалась. И от этой мысли меня, как и много лет назад, охватило забытое в огромном городе ощущение своей нужности, которое родилось от пережитого напряжения и естественным образом уживалось с этой широтой бездонного саянского неба, с этим свежим, падающим от вращающихся лопастей дуновением наполненного тайгой воздуха, от полной слитности с той землей, которая дала мне не только жизнь, но и познание всего сущего; возможность любить, терпеть, страдать, переживать, искать, находить, восхищаться, узнавать, не сдаваться и каждый раз удивляться силе жизненного потока, который несет нас по реке времени от рождения и до кончины.

Забрав пострадавших школьников, вертолет поднялся в небо.

— Би шамда дуртээб ши намэ талыыштэ — ты меня поцелуешь? — глядя в круглое окошко вертолета на темный пенный Иркут, неожиданно сказала Саяна. — Я так по тебе соскучилась!



ИВАН
КОМЛЕВ

КОВЫЛЬ

Повесть



Глава 1

К ноябрю сорок третьего, когда поставили под разгрузку последнюю баржу, от Сережки остались одни глаза. Глаза его смотрели из-под большого помятого козырька фуражки с терпеливой тоской заезженной старой лошади, которая давно уже не боится ни окрика, ни кнута, и тянет свой воз лишь по привычке.

На тонкую шею Сережки Узлова наделось просторное потное ярмо работы, чтобы он вместе с народом удерживал тыл и помогал фронту, который трещал и надсажался под тяжким гнетом войны.

Безумие охватило землю. Германия, одурманенная фашизмом, уверовала в свое право распоряжаться судьбами всех народов, порушила мир, стала силой подчинять себе другие страны. А чтобы наверняка победило их злое дело, нацисты велели своему народу и тем, кто им поклонился и принял их фашистскую веру, изгнать из сердца всякую жалость — как признак слабости и неполноценности; череп и кости нарисовали главные преступники на мундирах самых отпетых губителей жизни — долой сантименты! — на службу взяли бога: на христианский босый крест надели кованые башмаки — превратили его в свастику, и пошла она давить железной ногой — «с нами бог!» — города, поселки, деревни и хутора и всех, кто мирно жил там. И молодых, и старых, и детей...

Сережку уже не радовало, что заканчивался срок его работы и, как только последнее обледенелое бревно окажется на берегу, лейтенант Вахрамеев подпишет справку и отпустит домой к матери, к Нюрке с Мишуком.

Как они там? Всего лишь одно письмо получил он из родной деревни за три месяца. Мать спрашивала о здоровье, как его кормят тут, и просила не надрываться, беречь себя, как будто бы есть на баржах специальные легкие бревна для Сережки — потоньше и покороче.

О своей и деревенской жизни она писала скупой: «У нас пока все живые, а кто по деревне помер, потом сам увидишь».

Ждановка — небольшая деревня, всех знает Сережка, но от того, что кто-то там умер и — по невнятному намеку-умолчанию матери — человек ему близкий, похоже не один, в душе у Сережки ничего не дрогнуло, не шевельнулось, и тоски не прибавилось, будто изработался он и был заполнен усталостью до краев, так, что ни для каких других чувств места в нем не осталось.

И то, что по-прежнему живут в голоде мать, сестра и братишка — тоже было ясно ему из скупости письма, но и это его почти не трогало: весь мир был голодным и пуще всех он сам, Сережка. Котловое довольствие — тощие щи, в которых почиталось за счастье выловить картофелину, серый, словно вываленный в дорожной пыли хрустящий на зубах хлеб, прошлогодняя квашеная капуста, изредка — каша; пища не восстанавливала затраченных сил, и к исходу третьего месяца самые крепкие и жизнерадостные девки в команде скисли и приуныли, исчерпав весь свой резерв, работали на износ; что уж говорить о худосочном Сережке.

В четырнадцать лет самое время расти и крепнуть, а для этого нужны еда и сон, но ни того ни другого в достатке за два года войны ему не выпадало, зато работать приходилось вдоволь, и даже много больше. Сережка рос, и ещё скорее рос и креп в нем внутри зверь, имя которому — голод. Голод ел Сережку и не давал окрепнуть. Ему казалось уже, что никогда и не было иначе, а довоенное сытое детство его — это из коротких полубредовых снов, отпущенных ему в промежутках между вечерней и утренней зорями.

Лишь однажды сон, приснившийся здесь, в городе, был цельным и ясным, и вспоминался и хранился в Сережкиной душе как праздник.

...Трактор легко катил по полю, оставляя за собой широкую полосу скошенной травы. В кабине со снятыми дверками рядом с отцом сидел Сережка и всеми порами впитывал впечатления первого в том году сенокосного дня: неохватный простор степи, густую зелень трав, небо с редкими белесоватыми тающими на солнце облаками и жаворонка в вышине — трепещущего, замирающего от счастья. Восторженная песня его заглушена рокотом двигателя, но Сережке кажется, что он слышит ее.

Полдень. Отец повернул к колку, небольшому березовому лесу у дороги, остановил и заглушил трактор за полсотни шагов от него.

— Обедать, однако, пора, а?

Они прошли к нераспаханной полосе у леса, устроились среди полевых цветов и серебристых метелок ковыля. Это было любимое место отца. Отец сполоснул водой из бидончика лицо и руки, вытерся мягкой тряпицей, которую приготовила Сережкина мать им в поле, лег на спину, заложив руки под голову, смотрел в небо, пока Сережка готовил стол.

— О, крошка! — обрадовался отец, будто все, что было у них на обед, ему в диковинку.

Неторопливо опростал миску, попросил добавки:

— Плесни еще, сынок.

Сережка быстро исполнил просьбу, лег на траву, подперев голову ладонями, смотрел, как ест отец: дождался, когда он управился с добавкой, подмигнул и сказал отдуваясь:

— Уф-ф! Хорошо: пузо дерет, а хмель не берет!

И они засмеялись, как заговорщики.

Потом наступила самая желанная минута: Сережка сидел прислонясь к отцу, держал двумя руками его тяжелую ладонь, положив ее к себе на колени, задавал свои бесконечные вопросы — отчего Земля круглая, почему жук майский, за сколько лет можно дойти до Луны пешком... Отец отвечал, если знал ответ, а когда не знал, то, по обыкновению, придумывал на ходу какую-нибудь веселую байку. И только напоследок не пошутил. Сережка спросил:

— Пап, а почему это ковыль шелковистый такой и ласковый, а колючий? Вот, — выдернул перышко, — вишь какое острое шильце, как маленькое копье!

— Не знаю, — задумчиво сказал отец и посмотрел на дорогу. Из деревни в их сторону мчался всадник. Отец перевел взгляд на светловолосую Сережкину голову, вздохнул: — Полегли, может быть, наши деды-прадеды от вражьих стрел или копий на этом месте или... в других краях, а в память о них растет ковыль.

В ту минуту они еще не знали, что уже началась война.

Сон этот — и не сон вовсе, а воспоминание того последнего часа, проведенного вместе с отцом, — привиделся Сережке в одну из первых городских ночей, как тревога за отца, от которого давно не было писем, и как надежда на светлый праздник...

Сон был вещий: отец тоже бредил в ту ночь своим полем — сидел на ковыльной поляне с сыном и обмирал от ужаса и бессилия: среди дыма и пыли напоздали

на них грохочущие чудовища, а они словно приросли к земле — ни убежать, ни спрятаться...

Они действительно были почти рядом: останавливался в ту ночь на вокзале поезд с ранеными, где в вагоне с тяжелыми лежал Сережкин отец.

Матери Сережка так и не ответил: ни времени, ни сил на письмо у него не оставалось. Единственную весточку о себе он отправил домой давно, в первый день, когда лейтенант Вахрамеев привел их в дощатый сарай, превращенный с помощью двухэтажных нар в жилой барак, указал каждому место и сообщил адрес, по которому им будут приносить письма. Лейтенант и позаботился о том, чтобы Сережка отправил письмо: дал бумагу и карандаш, распорядился:

— Напиши немедленно.

По возрасту Вахрамеев годился Сережке в отцы, он знал, какая предстояла каторга — будет не до писем, и пожалел Сережкину мать — она изведется, если не получит весточки от сына. И много еще чего знал уже не годный из-за ранения для боев лейтенант; на обожженной левой половине лица его немо и виновато смотрел на людей изувеченный глаз, вторая половина лица была как в мирное время круглой, живой и участливой, словно носил он перед собой не руку, пробитую снарядным осколком и оттого не разгибавшуюся в локте, а баюкал ляльку, доверенную ему на минутку счастливой мамашей несмышлениша.

Баржа была последней. Лед вот-вот должен был сковать поверхность реки, а где-то там, в нижнем течении, откуда доставляли лес, мороз уже накрыл ее пока еще податливым хрустким льдом.

Бревна, сбрасываемые с баржи в воду, быстро обволакивались ледяной пленкой, ускользали от багров, норовили сбросить с себя петли веревок. Бабы с руганью заарканивали их, под команду и натужный стон вытаскивали на берег бревно за бревном, откатывали дальше, громоздили в штабеля.

Мужиков в команде было мало, все они работали на барже; ворочать лес в трюме — рискованно, нужна уверенность и сила, и особая сноровка; но и на барже преобладало бабье войско.

Сережка был единственным подростком в этой команде. Из Ждановки на лесозаготовки отправили по разнарядке пять человек: вдовую и бездетную Валентину Савинову, двух незамужних девок — Наталью и Аришку, деда Задорожного — коноха, и Сережку. Сережку с бабами увезли в город на грузовике, дед Задорожный притрусил верхом, ведя в поводу вторую лошадь. В городе Сережку отделили от своих. Ведавший распределением «рабсилы» пожилой задержанный мужчина, увидев перед собой Сережку, чертыхнулся:

— Кого шлют, пся крев! — повернулся к изуродованному лейтенанту, к Вахрамееву: — Возьмешь? Мужик.

Что означало, наверное: «У тебя все же полегче, чем в лесу». Вахрамеев обреченно вздохнул — очень уж хилым был этот боец трудового фронта: четырнадцати лет Сережке на вид дать было нельзя, тянул он, от силы, на двенадцать. Но отказать Вахрамеев не мог, вопрос, обращенный к нему, это вовсе не вопрос, а распоряжение, которое он, человек военный, выполнять обязан.

Остальных деревенских из степной Ждановки, знакомых с тайгой только понаслышке, отправили дальше — в низовья реки, валить лес вместе с такими же девками, бабами и стариками и грузить его на баржи.

Работа выматывала людей до изнеможения. Каждая последующая баржа казалась им вместительнее предыдущей и изрыгала из своего чрева все более толстые — совершенно неподъемные бревна. Они тяжело плюхались в реку, разбрызгивая жгуче-холодную воду, неохотно подчинялись слабым человеческим потугам: двигались медленно, упирались тупыми безучастными мордами в заледенелую кромку берега.

Забереги на реке, там, где течение еще сопротивлялось морозу, были небольшими, но здесь, в затоне, тихая вода покорилась наступившим холодам, лед с каждым днем становился все толще и прочнее, срастался с песчаным берегом в единый бетонно-гудящий по утрам панцирь. За ночь ледок затягивал всю поверхность воды в затоне, бревна его ломали, и ледяное крошево, обильно сдобренное древесной корой, ядовито шурша, все неохотнее расставалось со своей добычей.

С наступлением холодов чувство голода у Сережки притупилось. Барак не отапливался, спасал лишь от ветра, тепло от дыхания людей удерживалось плохо; в обшарпанном тюфяке под Сережкой давно уже была не солома, а труха, вытертое суконное одеяло не создавало даже намека на уют и, если бы рядом не было, вплотную, таких же уставших тел, Сережка околел бы, наверное, в первую морозную ночь. Он мерз и потому вовсе не высыпался, утренний подъем казался ему пыткой, и он готов был пропустить завтрак, чтобы поспать еще полчаса. Но приходилось вставать вместе со всеми, надевать свой изодранный ватник, брать в руки тяжеленный багор, который казался тяжелее вчерашнего. Бегать по берегу или стоять на шатком и скользком трапе, направляя бревна, ему становилось с каждым днем непосильнее.

Ныло и стонало от перенапряжения все тело, но больше всего доставалось рукам. Руки страдали не только от работы; на тыльной стороне их от воды и ветра поселились цыпки — грязно-красная кожа воспалилась и потрескалась, от малейшего прикосновения — жгучая боль; из-за цыпок Сережка в последние дни уже не умывался.

В этот, последний, день он несколько раз ронял свое орудие в воду, к счастью, недалеко от берега, непривычная легкость — будто с него сваливалось бревно — выводила его из полузабытья, он вылавливал багор из ледяной каши за плавающий конец древка — некоторое время после окунания рук в воду нестерпимая боль удерживала его сознание ясным, потом он снова впадал в полудрему, двигался и работал, как лунатик.

Мыслей не было, о том, чтобы немного расслабиться и передохнуть, он не мечтал. Все люди вокруг трудились неустанно для победы, не жалели ни сил своих, ни здоровья. Неистощимое терпение и беспредельное упорство народа распространилось и на детей. Будто в плотном строю шагал Сережка, не мог он остановиться или замедлить свое движение, вместе со всеми делал то, что требовала война, пока был в нем способен жить и действовать хотя бы одни мускул.

Но как бы туго ни было, Сережка сознавал себя мужчиной, хотя о том, что за три месяца жизни в городе он вытянулся и выглядел бы парнем, когда бы не его неимоверная худоба, он сам не догадывался. Женщинам было хуже. Их не освобождали от работы, когда подступала бабья хвороба; летом хоть прилечь могли на берегу на минутку, когда становилось неважно, осенью — не ляжешь. Летом отходили, по необходимости, за крохотный глинистый мысок берега, наскоро плескались там и возвращались к работе, не обращая внимания на то, что речная волна выдавала их — выносила вслед красные пятна. Осенью же и обмыться было негде.

Когда в очередной раз, ступая по обледеневшему трапу, Сережка сходил на берег и упустил багор, а сам соскользнул в другую сторону, он не очнулся, не ощутил холода ледяной воды, не почувствовал чуть позже, как его ухватил за шкуру своей здоровой рукой лейтенант Вахрамеев и вынес на сушу.

Перед тем лейтенант помогал женщинам вытаскивать бревна. Он обматывал конец веревки вокруг ладони, по-бурлацки через плечо, впрягался и тянул, надрывая жилы, — желал забрать всю работу на себя и этим хоть немного облегчить тяжелую бабью долю.

С Сережки текло. Худые руки его с недетски большими натруженными рабочей кистями далеко высунулись из рукавов куцей телогрейки и мотались у самой земли, мокрые ботинки чертили по песку, оставляя за собой две темные неровные

борозды — тощий, похож он был на утопшего курчонка. Вахrameев опустил его на свою шинель, которую он сбросил раньше, согрившись от работы.

— Уханькали мальчика! — ахнула Параскева, высокая сухопарая женщина, которая орудовала багром у другого трапа. Она подошла, стащила с себя телогрейку, укрыла Сережку. — Эх ты, командир, в душу мать, сердца у тебя нет! Свое бы так не допустил.

Для связки предложений Параскева обычно вставляла крепкие мужицкие слова. На здоровой половине лица лейтенанта не было в тот момент добродушного выражения, на Сережку он смотрел с жалостью, после слов Параскевы на лице его появилась гримаса боли.

— Своего... — прохрипел он и осекся. Живы ли его дети, Вахrameев не знал и никому о своей семье, что уже два года была под немцем, не рассказывал, чтобы нечаянным словом сомнения не опрокинулась его зыбкая надежда на благополучный исход. — Отнесите его в затишок.

Лейтенант вновь смотрел по-доброму.

— На кухню надо, — подошла другая женщина, — чтобы обсушился в тепле. Давай помогу.

Параскева молча отстранила ее, взяла жилистыми руками Сережку в охапку, вместе со своей телогрейкой, потащила к неказистому деревянному домику, возле которого стояли два больших закопченных котла, прошла во двор, в котором не было ворот, ногой распахнула дверь в сени; дверь в избу перед ней открыла хозяйка.

— Ульяна Тимофеевна, прими работника.

Глава 2

Сережка не слышал, как его раздели донага и уложили на топчан к теплым камням печи, укрыли одеялом, а поверх одеяла набросили шубу; проспал он мертвецким сном и обед, и ужин и не видел, как уже в сумерках бабы всей толпой выволокли на берег последнее бревно, как убрали трапы, и небольшой дымный катерок утащил облегченную баржу в дальний угол затона, на зимнюю стоянку.

При свете копилки Ульяна Тимофеевна поставила на стол большую глиняную миску с горячим казенным борщом, пригласила Сережку:

— Иди-ко, родимый, похлебай, согрей нутро, а потом картошек еще поедим. Ваши-то хлеба принесли вона сколь. И сахарин.

Хлеба было явно больше, чем причиталось Сережке за два раза, за обед и ужин; он сглотнул слюну, предложил старухе:

— Берите.

— Спасибо, — не стала отказываться она. — Мне редко приходится хлеб видеть. Кабы не огород, давно бы на погост угодила.

Но второй кусок не взяла и Сережке доесть хлеб не дала:

— Не все враз. Кухня-то ваша закрылась. Завтра суховьем получишь — говорили на два дня — и ступай домой. Вот, — протянула небольшой серый квадратик бумаги, — твоя провизия.

После ужина Сережка снова крепко уснул, как провалился в трюм бездонной баржи.

Назавтра в небольшом продскладе, с которого выдавали на кухню продукты для команды Вахrameева, угрюмый кладовщик, глядя припухшими глазами куда-то мимо Сережкиного плеча, сказал скучным голосом:

— Где болтался вчера? Все пайки выданы. У меня отдельных запасов для тебя нет.

Сережка растерялся. Все, с кем он работал, разъехались или разошлись по домам, а как он будет добираться домой — неизвестно, навигация закончилась — до Ждановки по реке, говорили, больше сотни километров, да еще в сторону два десятка наберется, а Сережка дальше соседней деревни, да и то с отцом, сроду и не бывал нигде. Нет, по реке и думать нечего, надо идти дорогой; ему представилось широкое заснеженное поле и путник, голодный и одинокий — уходит, уменьшается и, наконец, пропадает в просторе... Есть нечего: оставленный с вечера хлеб и сахарин он уничтожил утром.

— Что делать? — в тихом отчаянии прошептал Сережка.

На одутловатом лице ничего не дрогнуло, словно бы кладовщик не услышал Сережку и даже забыл о нем. Сережке стало так неуютно, так плохо, что он сгорбился, съехался и провалился бы сквозь землю, когда бы мог, или умер — тут же на месте.

— Сухари возьмишь? — вяло смиловился кладовщик, будто бы заметил наконец просителя, разглядел, какой невзрачный человечик перед ним и как мало надо, чтобы избавиться от него.

Сережка кивнул, протянул кладовщику карточку. Тот долго пыхтел, отвернувшись к весам, стучал по ним маленькими гирьками, потом постелил на столешницу лоскуток помятой рыжей бумаги, опрокинул на нее жестяную тарелку с весов.

— Мыло, спички и сахарин возьмишь утром, если привезут, — крупу, что значилась в карточке, двести грамм, кладовщик почему-то не упомянул. — Да не пропусти, завтра последний день, закрывают. Талоны оставь у меня, будет надежнее: не потеряешь.

Голова у Сережки, хоть он и проспал почти сутки, тяжелая, мутная, соображала плохо. Кладовщик с настороженным взглядом ускользающих глаз чем-то ему не нравился и доверия не вызывал, но возразить ему Сережка не посмел, проследил только, как тот упрятал талоны в правый карман гимнастерки; взял бережно бумагу с сухарями, прижал к груди, чтобы не рассыпать крошки, медленно пошел к выходу.

Четыре больших сухаря, довесок и крошки. Сухари Сережка рассовал по карманам, довесок взял в руку, крошки аккуратно ссыпал в ладонь и отправил в рот.

Крошки слегка горчили. Посасывая их, в смятении от неопределенности своего положения добрал до сарая, в котором провел он ночи трех пока что самых трудных в своей жизни месяцев, заглянул. По голым нарам гулял сквозняк — небольшое оконце с противоположной стороны, вделанное в стенку по случаю превращения сарая в барак, ощерилось разбитым почему-то стеклом, ветром в него забрасывало редкие снежинки, падавшие с неба. Тоскливо и жутко стало Сережке от пустоты и одиночества — будто все люди умерли, холод проник до самого сердца. Скрипнула дверь на ветру, словно каркнул нехотя ворон, Сережка вздрогнул, попятился, повернулся и побежал прочь.

Ноги привычной тропой привели его на берег. И здесь холодно, пусто и одиноко; только возле дальнего штабеля возчики нагружали лес на подводы, чтобы везти его к железной дороге, а за ними, выше по берегу, нагруженно вжухала пилорама. Ветер дул с реки, вороны в поисках пищи косым летом чертили по однотонному серому небу. Место, где Сережка проработал столько дней, стало незнакомым и чужим. Казалось даже, что кто-то враждебный тайлся за штабелями и, злорадно ухмыляясь, готовил ему новую кознь.

Поминутно оглядываясь, хоть он и понимал, что за бревнами никого не должно быть, старался вспомнить что-то важное, что он оставил на этом берегу, но так и не вспомнил.

Идти было некуда. Попроситься до утра к Ульяне Тимофеевне? А утром что?

Довесок кончился, рука тянулась взять другой, но с беспокойством и тревогой помнилась дорога: сухари даны ему не для того, чтобы он съел их в городе. Голодно-

му путь не осилить, особенно теперь, когда с каждым часом становится холоднее. Хорошие бы рукавички ему, а то рукава у ватника стали совсем короткие. Ватник мать сшила три года назад, тогда, в новом, Сережка чувствовал себя счастливым богачом, обладателем самой прекрасной одежды, удобной и для игры, и для работы, которую он не променял бы даже на царскую шубу. Теперь короткий, узкий и рваный ватник не спасал даже от слабого ветра, а случись ночевать в поле — в нем околеешь.

Сережку неумолимо влекло к старухиному дому — озябшее тело просилось в тепло — он приблизился к нему, но войти не посмел, стоял и смотрел на то место, где совсем недавно была их кухня. Столы сорваны и исчезли, котлы увезены; снег уже начал укрывать черные пятна кострищ; люди оставили Сережку одного, а прихода старалась спрятать следы их пребывания.

— Чего мерзнешь? — Ульяна Тимофеевна вышла на крылечко. — Иди, тебя лейтенант ждет.

Вахрамеев сидел у стола в шинели и в фуражке, шапки для зимнего времени у него еще не было. Он осмотрел своим здоровым глазом переступившего порог Сережку, рванье, в которое тот был одет, разбитые ботинки; огорченно двинул локтем изувеченной руки, будто ударил кого-то, кто нападал на него сзади, вздохнул:

— Как ты?

Лейтенант спрашивал с сочувствием, но Сережке казалось, что они уже разделены, как невидимой стенкой, неумолимой необходимостью уйти из этого дома и друг от друга, чтобы, может быть, не увидаться больше никогда. Язык у Сережки вдруг отяжелел, и он ничего не ответил, только пожал плечами. Что, мол, спрашивать? Не утонул, коли вытащили, и даже не заболел. Вахрамеев склонил голову, словно раздумывая, что спросить еще, но не спросил, сказал только:

— Возьми справку, — запустил руку под отворот шинели, достал из нагрудного кармана гимнастерки две бумажки, пальцами разделил их, протянул одну, — да не потеряй, а то не отчитаешься. Без документа нельзя: заберут, как беспризорника, а если повезет, и не попадешься милиционеру, то в сельсовете без справки о том, что честно отработал свое, примут за дезертира. Доказывай после...

Сережка повертел в руках небольшой свернутый вдвое листок, не зная, куда его спрятать, потом стащил с головы картуз, засунул документ под надорванную подкладку, но обратно свой убор не надел и так стоял, не подозревая, что вид у него таков, будто он ждет подаяния.

— Продукты получил? — привычно строго спросил лейтенант.

— Получил... — Сережка помедлил, решил, что командиру надо отвечать точнее, — сухари.

— И все?!

Сережка виновато промолчал. Желваки на скулах Вахрамеева сдвинулись и вздулись.

— Что говорит?

— Ничего. Завтра, может, привезут.

Лейтенант некоторое время смотрел в пол.

— Ну, вот что, — сказал он после размышления, — где наш магазин — помнишь?

Сережка кивнул. Однажды он ходил туда, получал лейтенантов паек. От сладкого воспоминания у него зануло в желудке: лейтенант отдал тогда ему из пайка маленький плоский пакетик в красивой бумажной обертке и в блестящей хрусткой фольге, как оказалось, шоколадку. Сережка понятия о шоколаде не имел, в деревне у них не было магазина, в небольшой лавке водились лишь соль, спички, мыло и керосин. Отец привозил иногда из соседней деревни конфеты подушечками и пря-

ники, но что бывает на свете такая немыслимая вкуснота, представить даже было невозможно.

Вахrameев поднялся, протянул Сережке и вторую бумажку, которая все еще была у него в руке, свою продовольственную карточку, уже изрядно покромсанную ножницами.

— Пусть Настасья выдаст остатки. Так. Возьмешь себе.

Сережка широко раскрытыми глазами смотрел на лейтенанта Вахrameева и — не брал.

— Держи! Да не говори, что получаешь себе. Ты понял?

Сережка кивнул утвердительно, но ничего не понял. А как же лейтенант?

— Все! — голос Вахrameева едва заметно дрогнул. — Простимся. Дай обниму.

Он шагнул к Сережке, прижал его голову к своей груди, коснулся жестким подбородком светлой вихрастой макушки; от шинели пахло табаком, потом и еще какими-то особыми, присущими только военным, запахами.

— Не поминай лихом, — негромко, совсем не по-командирски сказал лейтенант, словно прощения попросил, отстранился и быстро вышел в дверь.

Глазами, полными слез, посмотрел Сережка на старуху. Лицо Ульяны Тимофеевны было сурово, взгляд далекий, будто не было возле нее ни тощего заморенного Сережки, ни — только что — лейтенанта.

Сережка тихо повернулся и, с картузом в руке, вышел на улицу.

— Мальчик, тебе чего надо здесь? — Настасья, заметив в магазине оборванца, готова была немедленно выставить его за дверь, чтобы не спер чего-нибудь.

— Вот, — пересохшими губами сказал Сережка, — от лейтенанта.

— А! — вспомнила его Настасья, — ты от Николая Ивановича! Что же он не заходит? Ты скажи ему, — она убавила голос, — что Настя ждет.

Сережкины уши словно обдало жаром от этих слов: понятно, для чего ждет продавщица лейтенанта. В деревне ребятишкам не сочиняют баек о том, что их нашли в капусте, и любовные игры старших братьев и сестер для них не тайна. Вечерние посиделки перед войной — зимой в чьем-нибудь доме, летом на лугу за деревней — с песнями под гармошку, с танцами, с таинственными перешептываниями и поцелуями — все проходило на глазах ребятни, и Сережка, постепенно постигая смысл этих игр, терпеливо дожидался, когда придет его пора. Взрослым полагалось любить — в том состояла жизнь. Так было до войны, но разве можно об этом думать сейчас?!

«Сама напрашивается, — подумал неприязненно Сережка; в деревне парни были всегда зачинщиками любовных утех и никогда — девушки. Лицо у Настасьи круглое, голос сочный и чуточку нараспев, — краля! — мысленно обругал ее Сережка. — Разве такую надо лейтенанту Вахrameеву?!»

Он почему-то был уверен, что на этот раз продуктов от нее не получит, и не удивился, когда она сказала:

— Какая жалость — почти ничего нет!

И все-таки в душе у Сережки маленькая надежда таилась на самом доньшке, и потому на отказ сердце у него нехорошо ёкнуло — все стало ему безразлично, как в последние безмерно трудные голодные и холодные дни. Лучше бы его не вытаскивали из реки!

Настасья сновала зачем-то туда-сюда на небольшом пяточке и продолжала что-то наговаривать своим мягким певучим голосом; Сережка повернулся и пошел вон; медленно и осторожно пошел, стараясь не зацепить чего-нибудь: проход до самой двери был заставлен пустыми деревянными бочонками и грубо сколоченными ящиками. Он почувствовал вдруг, что в нем вместе с обидой и непрощеными слезами вскипело какое-то новое, неведомое ему ранее чувство — темное, злое, страшное,

готовое от малейшего прикосновения взорваться яростью невиданной силы, как бомба, и разнести и самого Сережку, и все, что было вокруг.

— Погоди ты! — дошло до него, когда он уже был в дверях. — Вот чумной!

Она догнала его, повернула к себе — бесцеремонно и одновременно ласково, словно мать — взрыва не произошло. Настасья подтолкнула его к прилавку, и он увидел на нем плоскую жестяную банку, блестящую, размером с блюдце, на ней несколько кусочков пиленого сахара, а рядом — совсем небольшой кулек с квадратиками печенья.

— Оголодал? — она сунула ему прямо в зубы один такой квадратик. — Похрусти. «Второй фронт».

Оказалось — галета.

— Пусть товарищ лейтенант завтра забежит, — Настасья заглянула Сережке в лицо, и он увидел в ее больших серо-зеленых глазах глубокую, как омут, тоску. Такие глаза, случалось, бывали у матери, когда она думала, что дети ее спят. — Карточка пусть у меня будет, я заранее отоварю или обменяю. Сумочки у тебя никакой нет?

Сережкино сердце перевернулось. Ему стало жаль Настасью, он подумал, что Вахрамеева, может быть, уже нет в городе, и чуть не ляпнул: «Лейтенант уезжает».

Но что-то случилось с ним — галета распухла в горле и помешала, или полной уверенности в том, что лейтенанту назначено куда-то ехать, не было — он промолчал. И стыдно ему было своей вспышки; тогда, в миг озверения, сознание ему распоролась мысль: самому добыть продуктов! Где и как он их возьмет, Сережка в ту минуту не представлял, но что возьмет — знал совершенно точно.

Низко склонив голову, Сережка достал из-за пазухи холщовую тряпицу, в которую когда-то мать завернула ему в дорогу припас: горбушку хлеба, луковицу, соль и ломтик сбереженного от глаз Нюрки и Мишука сала. Теперь он сам завернул в тряпицу банку, на которой было написано, что это сельдь маринованная тихоокеанская — неслыханная роскошь! — сахар и кулек с галетами. Он решил, как бы туго ему ни пришлось, продукты принести домой, в подарок матери: от самого начала войны ничего подобного в деревне даже не видели; мать как-то говорила, что сельдка ей во сне снится.

Спрятал свое богатство под рубахой, поверх ватника подпоясался ремнем; кожаный брючный ремень — единственная добротная вещь, которая не изнасилась у Сережки, — оставил ему отец, уходя на фронт.

Все. Делать в городе Сережке было больше нечего, он рассчитался с городом, а город, чем мог, оплатил ему.

Глава 3

Дорогу домой Сережка знал приблизительно. Главное — выбраться на другой конец города, а дальше — по тракту, которым их привезли, пока не увидишь в стороне большую деревню Семеновку — от нее до Ждановки недалеко, восемь километров.

Когда Сережка, путаясь в незнакомых улицах и переулках, миновал наконец железнодорожный вокзал, пересек пути, вышел на окраину и нашел тракт, он засомневался: день клонился к вечеру, стало еще холоднее, уходить от жилья было страшно.

Вспомнились разговоры о дезертирах, которые иногда объявляются в тылу — днями прячутся по лесам и балкам, а ночью выходят к жилью, чтобы раздобыть себе пищу и одежду; горе тому, кто окажется у них на пути!

Но хуже дезертиров — волки. Дезертиров мало, да и ловят их, а волков расплодилось много, и никто за ними не охотится. «Гитлеровские пособники», — сказал о волках Назар Евсеич, председатель, когда ранней весной нашли колхозницы в поле, на том месте, где брали солому, два подшитых валенка со страшно торчащими из них обглоданными костями. Валенки признала старуха Бокова, она посылала их своей сестре, которая намеревалась уехать подальше от фронта, но так и не появилась в деревне и на письма перестала отвечать; уезжала от войны, а война, оказалось, всюду рыщет, только в другом обличье.

После того случая деревенские много думали, как им избавиться от напасти, но ничего не придумали. Степь велика, за волками не угонишься. Кабы не было других забот, то извели бы серых, а то как война началась, работы стало невпроворот и всякие беды навалились. И хворь, и вши, и скотина болеет... Дед Задорожный ходил однажды в Пустой лог, отыскал там среди зарослей боярышника, шиповника и прочей дурной травы волчье логово, сумел добыть из него три серых сердитых комочка, запихнул в мешок. Волчица его не тронула, он ее и не видел, только потом целую неделю немногим уцелевшим в деревне собакам по ночам покоя не было.

А «пособников» не убыло, разбойничали они все нахальнее: задрали колхозную корову прямо на глазах у пастуха. Ружье бы на них хорошее или лучше автомат. Но автоматы, конечно, против фашистов нужны.

Серезка уже хотел было попроситься к кому-нибудь ночевать, остановился, осмотрелся. Дома стояли редко по улице, как в деревне, с такими же огородами, обнесенными жердяными изгородями, чтобы не заходила скотина, и с широкими по-деревенски дворами. Но ворота перед домами были непривычно высокими и прочными, закрытыми наглухо — людей не видно, будто они вымерли или попрятались от неожиданных гостей. Серезке даже почудилось, что из-за плотного забора следит за ним настороженный припухший глаз.

Раздраженно заурчал в животе голодный зверь. Надо идти, продуктов у него мало, и если двигаться только пешим ходом, как сегодня, то не миновать ему просить милостыню. Случалось Серезке видеть нищенок, которые в поисках пропитания забредали в деревню за подаянием. Смотреть на них было почему-то стыдно; мать их, оказывается, знала по именам, суетливо-поспешно совала им в руки вареную или сырую картошку — какая оказывалась под рукой, делилась и хлебом, если он был на столе.

Просить Серезка не умел. Да и не повернется язык, когда за пазухой целая банка селедки... «Ладно, — решил он, — может, машина какая подвезет или подвода». Пошел в поле быстро, чуть не бегом, стремясь скорее избавиться от возможности повернуть назад.

Милиция его в городе не останавливала, и на выходе поста не оказалось — проверять Серезкин документ было некому.

Один сухарь Серезка сгрыз еще днем, когда плутал по городу, ходьба требовала подкрепления сил — в одном месте видел трамвай, но сесть на него не решился — он начал невольно доставать из кармана другой сухарь, но перебарывал себя, прятал, а через некоторое время вновь обнаруживал его возле губ.

Ветерок дул в спину, снег почти перестал идти — зима впереди долгая, куда торопиться? — небо потихоньку яснило. Справа и слева от дороги медленно подавались назад редкие березовые колки; дорога напрямик уходила вдаль и терялась там. Припорошенная снегом земля скользила под ногами, выкручивала их, идти было трудно.

Никто по дороге не ездил, лишь когда на землю опустились сумерки, беспредельно уставшему Серезке попала навстречу полуразбитая полуторка, изрыгавшая

дым и вонь. Как раз при встрече шофер включил единственную фару, которая почти ничего не осветила своим тусклым огнем.

Водитель недоуменно повернул голову в сторону Сережки, и ему стало совсем тоскливо, захотелось вернуться в город, но машина уже протарахтела мимо. Он прибавил шаг, насколько мог, и шел еще с час, пока совсем не стемнело, но никаких признаков жилья не было — ни огней, ни собачьего лая.

Небо очистилось полностью, на нем засияли звезды, но луна куда-то запропастилась. Все же снежок отражал слабый звездный свет, и можно было различить дорогу, поле, темные контуры колков по сторонам и вдруг — силуэт дома на фоне бледного горизонта — в той стороне, где закатилось солнце.

Сердце у Сережки брыкнуло, он рванулся вперед, оскользя и падая... Ночь обманула: дом оказался стогом пшеничной соломы. Сережка добрался до него, привалился спиной, сполз вниз и горестно всхлипнул от обиды; дальше идти сил у него не осталось.

Воздух был холоден и чист, как колодезная вода, и в нем постепенно и незаметно притупилось Сережкино горе; в груди, вскоре после того, как он вышел из города, поселилась негромкая пугливая радость, которая помаленьку крепла, ширилась и росла и уводила все дальше и дальше: дышалось, как дома! Не было здесь ни чада заводских труб, ни автомобильного смрада, ни вони канализационного ручья, стекавшего в затон неподалеку от места выгрузки барж.

Была река, неторопливо катившая свои желтоватые воды в рыжих берегах, отец, босой, поощрительно улыбавшийся Сережке, впервые в своей жизни увидевшему вольную воду, и ласковая волна, пугавшая и манившая в глубину. Сережка забредал по колено в теплую воду, наклонялся, стараясь разглядеть дно, разбрызгивал воду руками, поворачивался к отцу и счастливо смеялся навстречу его радостным глазам...

Вода вдруг стала холоднее, Сережка попытался выйти на берег, но ноги его погрузились в песок и завязли в нем, волна поднялась большая и захлестывала все выше и выше и, наконец, захватила Сережку и поволокла. Онемев от холода и испуга, он пытался было кричать, но захлебнулся. И... пробудился.

Его колотило неудержимой мелкой дрожью, ноги и руки одеревенели, чтобы подняться, ему пришлось стать вначале на четвереньки. Ноги пронзала боль, только теперь Сережка понял, что плохой из него будет ходок: ступни сбиты в кровь. Приваливаясь к стогу, Сережка кое-как обошел его, перебрался на подветренную сторону, начал рыть в стогу нору.

С цыпками на руках это была пытка. Солома уже спрессовалась, выдергивалась с трудом и крохотными клочками. Негнувшиеся пальцы от соприкосновения с настывшей соломой зашлись от холода и боли и совсем утратили силу. Сережка скулил от отчаяния, колотил ладонями по коленям, по бокам, дул на руки, бережно прятал их под мышками и, откидываясь спиной на стог, замирал.

И снова наплывал на него морок. Сквозь пелену Сережка чувствовал на себе чей-то испытующий взгляд. Кто-то недобрый насмехался: слабо умереть? Слабо! Толкал в спину, подвигая во тьму — сдохни, и без тебя жрать нечего! Но исчезал, расплывался, когда Сережка пытался разглядеть его, того, кому принадлежали глаза.

Зато не умолкал голос. Голос был негромкий, ласковый, он вкрадчиво убеждал Сережку, что лучше не мучить себя, а лечь на солому, свернуться клубком, согреться и уснуть надолго — до тех пор, пока не минуют все напасти: голод, холод, непосильная работа, война, наконец. И Сережка начинал погружаться в этот сладостный мир небытия, ему виделся дом, теплая печь... И — вдруг — тревожные глаза матери: «Сережа! Сынок, не спи!»

— Мама! — Сережка вздрагивал.

Мать, наверное, молится за него. Он спохватывался, уже безучастный к себе, обморочно замиравший от остудной боли, добиравшейся от рук до самого сердца, не мог не подчиниться этому зову, вновь начинал рвать неподатливую солому. Мать следила за ним, умоляла, требовала вернуться домой. «Мама, милая мамочка, зачем ты меня родила?!»

От движений он наконец согрелся, лихорадка отпустила, и он почувствовал бы себя почти счастливым, если бы руки не страдали по-прежнему.

Стог сметан был на совесть: ни капли влаги внутри; была бы солома мокрой — запрела бы, было бы тепло, а так — и в глубине стынь, будто тут, в поле, зима утвердилась давным-давно и проморозила все насквозь.

Постепенно нора стала большой настолько, что Сережка мог укрыться в ней. Он уже стал сознавать, что был на краю гибели. И смерть, недавно близкая, казавшаяся приятным и желанным сном, немного отодвинулась и обрела свое жуткое обличье. В этот миг ему показалось, что кто-то бесшумно подкрался сзади — Сережка резко оглянулся, трепыхнулся в испуге, загнанным зверьком застучало сердце в груди. Но нет, никого. Только изломанная Сережкина тень на стогу — это лунный серп объявился над дорогой, вышел из-за колка или из-за дальнего облака вылутился.

Сережка влез в свое убежище вперед ногами, охапкой надерганной соломы закрыл за собой вход. От прикосновения холодной соломы его снова стала бить дрожь. Напуганный собственной тенью, вновь вспомнил о волках, подумал, что стоило потрудиться больше, зато сделать дыру выше, куда зверям не дотянуться. А так они быстро распотрошат его соломенную затычку. «Я им банкой по зубам», — подбодрил себя Сережка, но это не успокаивало, он напряженно прислушивался к тишине: тихо, даже мышей не слышно, только собственное дыхание да стук сердца.

Беда, как ночь, от края и до края накрыла землю. Столько горя принесли людям фрицы, а зачем, какая им от этого польза? Разве их не убивают тоже? Что они думают? Неужели их детям может казаться не горьким хлеб, отнятый у других детей? Что они делают в своей Германии, Сережкины сверстники? Живут в довольстве или тоже работают изо всех сил, чтобы помочь отцам окончательно растоптать нашу землю?

Замурованному в соломе голодному и замерзающему Сережке временами мерещились голоса, отдаленное пение. Он замирал, вслушивался, напрягаясь, может быть, деревня недалеко и слышен репродуктор? Но голоса сразу же пропадали, а через некоторое время возникали те же слова: «Пусть ярость благородная...»

Ярости в своем сердце Сережка не чувствовал. Может быть, потому, что врага представлял плохо: то волки возникали в его воображении, то карикатура на Гитлера. А была в его сердце великая тоска и тягучее чувство усталости от ненормальной жизни, от недетских забот о матери, сестренке и братишке, от постоянного глубоко запрятанного страха ожидания плохой вести с фронта. В танке воевал отец, но война железом и огнем сжигает все подряд. Это здесь, в тылу, ничего лишнего не сгорает, кроме людей, отдающих все фронту, а себя — работе.

Каждый раз после разгрузки очередной баржи Сережке хотелось умереть от изнеможения, потихоньку, чтобы этого никто не заметил. Но, видно, не для того родила его мать, чтобы он сгинул до времени, закон, заложенный в тайниках Сережкиного тела, повелевал жить, и покушаться на него он не имел права. И не было у него права дезертировать — своей смертью — с трудового фронта, чтобы не ослабела наша сила, чтобы не добавлять своим горя, а врагам радости. Чтобы не угасла песня.

В день, когда стало известно, что немецкое наступление танками провалилось, а наши в ответ взяли города Орел и Белгород, все работали на разгрузке неистово, а потом, когда наступила ночь, обессиленно лежали на теплом августовском песке,

бабы запели. Запели новую песню про то, как «врага ненавистного крепко бьет паренек». И пели эту и другие щемящие душу песни потом не один раз.

От дыхания в закутке у Сережки стало чуть теплее, он расслабился наконец и провалился в сон. Уснул крепко, беспмятно, как после купания в ледяной воде.

Проснулся внезапно, как от толчка, и мгновенно вспомнил, где он, словно бы и не спал. Мороз в поле усилился или ветер переменялся — в норе у Сережки похолодало. Прислушался тревожно: нет ли поблизости зверя или недобрых людей?

Тихо. С бьющимся сердцем проделал небольшую дыру наружу, но ничего не увидел. Ночь еще не кончилась, серая мгла только предвещала рассвет. За время, что Сережка спал, стал он еще более одиноким. Казалось, что никого не осталось живых в мире, и придется ему в одиночестве ходить по земле в вечном холоде и во тьме. И стало Сережке жалко себя, жалко и обидно, что довелось ему появиться на свет в неурочный час, а ведь он никому не сделал зла — за что же досталась ему такая горькая доля?

Холодно. Жутко. Уже не потому, что кто-то недобрый мог появиться вдруг, а потому, что никого нет.

Сережка заткнул дыру, попытался уснуть, но сон не шел, знобило и нестерпимо хотелось есть. Он стал думать о доме, о матери, и тогда мир и пропавшие люди возвратились на свои места. Всем трудно, надо терпеть.

Выплатила ли мать налог, пока он отбывал трудовую повинность? А поставки? Сколько осталось сдать мяса, молока, яиц? С яйцами, должно быть, беда. Как раз перед тем, как Сережку отправили в город, с курицами у них случилось несчастье. Сперва нестись они стали где попало, а не в гнездах, потом мать заметила, что куры ведут себя странно: на дворе поздний вечер, а они на насест не садятся, ходят по сараю, переговариваются, беспокойно вытягивают шеи, будто высматривают кого. Если бы хорек завелся, было бы ясно: куры бы стали исчезать, да и от норы хорьковой они стремились бы забраться повыше. Что за напасть? Нюрка разгадала. Днем, когда Сережка с матерью были на ферме, поймала петуха, стала смотреть у него в перьях и обнаружила клещей на коже, маленьких и серых клещиков — голодных, и сытых — больших, багровых от крови. Куры уж и нестись почти перестали. Выбিরали клещей руками, посыпали кур известкой, какую-то вонючую мазь приносила мать — все попусту, оберут кур с вечера, а за ночь на них нападут новые полчища кровопийцев.

— Пропавшее дело, — горевала мать, — придется зарубить. И цыпושечки не выросли, ни мяса не будет, ни яичка...

Щемящее чувство любви и жалости к матери, к сестренке и братцу пронзает коченеющего Сережку. Мишутка перед сном всегда хлебца просит, а хлеба нет. В прошлом году зерна на трудодни не выдавали. Дали по полпуда на работающего и — все. По щепотке добавляла мать муки в траву-лебеду сушеную, с картофельным крахмалом перемешанную... Из чего только не выдумывала лепешки, а муку лишь для запаха добавляла, для обмана желудка...

Сережка лежал на боку, свернувшись клубком, так тепло, казалось, сохранялось лучше, ноги, однако, совсем онемели, пробовал шевелить пальцами — от сырых ботинок озноб по всему телу. Мать отдала ему свои ботинки для работы на лесозаготовках, сама осталась босиком. Тогда, в начале августа, было тепло, а по осенней слякоти она, наверное, ходила в галошах.

Рыдания душат Сережку, он не сдерживает их. Никто не услышит, не узнает... Он много дней терпел и боль, и голод, и непосильный труд не потому только, что на людях стыдно плакать, не давал себе воли, как мужчина. Но при воспоминаниях о доме сердце у него стеснилось от нежности и любви — брат и сестра уже видят в нем взрослого, кормильца и заступника, а для матери он все равно ребенок.

Он не хотел забирать у нее ботинки, ему казалось тогда, что прокаленная летним солнцем земля останется такой долго. Он любил ходить босиком по теплой пыльной улице, по прохладной влажной от утренней росы траве и даже по скошенному полю, по стерне. Задубелые подошвы его ног выдерживали и комковатую от засохшей земли дорогу, и будылья полыни, и острые колночки засохшего осота, а то и шиповника. Лишь против битого стекла подошвам было не устоять, но в деревне стекол где попало не бросали, и за всю свою мальчишечью жизнь Сережка порезался один раз, да и то весной, когда после зимы кожа на ногах еще не затвердела. Ступни у Сережки были большими, растоптанными — росли впрок, материна обувка пришлась ему впору. Ботинки давно не новые, и Сережка берег их на осень; сколько мог, работал босиком — до самых холодов. Кожа на ногах у него стала под конец темной и шершавой, не только речная вода, но и баня не могла с ними ничего сделать. В баню их водили строем, три раза за все время. Пока они мылись, сперва мужики, потом бабы, в специальном отделении бани над каменкой прожаривали их одежду — от вшей.

Когда наступили холода, кожа на ногах воспалилась, на икрах, как и на руках, появились цыпки, и при ходьбе шаркающая штанина обжигала огнем.

Вольная слеза омыла душу, Сережка успокоился. Он чувствовал тощим животом драгоценную банку с рыбой и ощущал, как самого себя, как пальцы рук и ног, оба сухаря в карманах, галеты в кульке и сахар. Пожевал сладковатую соломинку, желудок, соблазняемый близостью пищи, завопил от Сережкиной скупости, требовал хлеба. Сережка достал галету, откусил крошку и медленно-медленно начал сосать, растягивая удовольствие и намереваясь таким образом обмануть голод и насытиться малым.

Утро родилось в муках, словно никаких надежд в мире уже не осталось; медленно, нехотя, рассеялась мгла, красное, как воспаленный глаз, небо, в том месте, где должно было показаться солнце, не сулило перемен к лучшему в наступающем дне. Мороз дожимал свое.

Сережка задубел, сознание чуть брезжило; надо было выползть из норы и двигаться домой, но мысль эта, вялая и отстраненная, будто не имела отношения к нему, не задевала и не беспокоила. Укрыться бы одеялом и спать, спать... Банка мешает и холодит. А мать хочет селедки...

Сережка медленно-медленно разогнулся, вытолкнул затычку, кое-как вывалился следом. Стоя на коленях, непослушными руками, как кульями, попытался собрать солому и восстановить нарушенный стог, но сумел лишь сгрести ее в кучку. Долго елозил по земле, пока встал на ноги, ноги были чужие. Отупело переставляя непослушные свои подпорки, заковылял к дороге.

На дорогу он выбрался вместе с солнцем. Оглянулся. Золотым шатром стояло его соломенное убежище; неласково встретило, но спасло.

От движения в Сережкином теле возрождалась жизнь, а вместе с жизнью возвращались и все ее муки. Застывшая и скользкая земля готова была в любую минуту сбить Сережку с ног, каждый неловкий шаг пронзал болью, высекал из глаз слезу. Пробудился задремавший было зверь-голод и свирепел с каждой минутой. И солнце было недовольное — озябшее, багровое. Тоже трудно ему зимой: с дровами плохо, отовсюду дует, керосину нет...

Налепила мать кизяков или придется топить соломой? Соломы не напасешься, пых — и сгорела. Когда ее замесят с навозом, слепят лепехи, высушат на солнце — это топливо. Почти как дрова. Возле каждого дома в Ждановке стоят пирамиды из караваев кизяка; дрова — редкость, кругом степь, а в том березовом колке, что между Ждановкой и Семеновкой, не уворуешь: везти не на чем, а лесник строгий,

все деревья в своем участке знает, увидит спиленное — по следам найдет. Найдет, и попадешь тогда на лесозаготовки не на три месяца...

Но сильнее страха наказания было у людей чувство, суеверное, может быть, что рубить лес нельзя, грешно, потому как есть, наверное, — должна быть — незримая связь между тем, что свершается дома, и тем, что происходит на войне. Загубить дерево — испытать судьбу, поставить под удар любимого человека. Это вернее, чем закон: если признать, что стало неважно здесь, то разве можно надеяться, что выдюжат там, под огнем, где стократ труднее?

Солнце поднялось выше, перестало хмуриться, заулыбалось; снег от его улыбки помягчел, поплыл под ногами; грязь, налипая на ботинки, сделала их тяжелыми, как гири. Сережка с трудом тащил эти пудовки. Он часто останавливался, оглядываясь и шарил глазами по дороге в надежде, что кто-нибудь догонит и подвезет его. Но тщетно.

Был не сезон, на попутчиков рассчитывать не приходилось: для телеги пора прошла, для саней не настала.

С осенними работами в деревнях управились, и понапрасну добрый хозяин коня не погонит. На машину и вовсе надежды нет: мало исправных в колхозах, а если у кого и есть, то по такой дороге не поедет — тут попадешь в канаву и уж без посторонней помощи не выберешься. Земля черноземная рыхлая, податливая, прольешь подмерзшую корку колесами, быстро продавишь влажную землю до глины, та схватит намертво.

Солнце поднялось над дорогой, покатилося на запад, а Сережка все шел и шел. Миновал две деревни — видел крыши домов в стороне от тракта, один раз слева, другой раз справа. В одном месте наткнулся на свежий тележный след, проехал кто-то по дороге километра два и свернул в сторону. Один раз за весь день видел людей на поле. Двое, неразлично кто, скорее бабы, нагружали солому на подвод, запряженную парой быков.

Ни присесть, ни передохнуть. Сережка боялся сойти с дороги, чтобы не пропустить попутку. Колени подгибались, и наконец Сережка остановился. Глаза закрывались. Он постоял так, собрался с силами, выдрал из грязи, как из клея, одну ногу, тряхнул, но слабо, грязь не отвалилась. Кое-как добрал до канавы, сел на обочину; даже заплакать сил не осталось. Он бы и лег, но знал, что тогда уже не поднимется. Представление о пройденном пути он давно утратил, и почти не чувствовал уже ни избитых ног своих, ни сырой земли, на которой сидел. Достал сухарь, есть ему не хотелось, но он сознавал, что надо подкрепиться, отгрыз уголок, начал медленно жевать.

И вдруг голод вспыхнул с такой неистовой силой, что Сережка, дрожа и раздирая губы в кровь, смолотил сухарь и, не помня себя, вытащил из-за пазухи сверток. Развернул, сунул кусочек сахара в рот и... опаматовался. А как же Мишутка? Что он скажет сестре? Как посмотрит в глаза матери?

Давясь сладкой слюной, завернул надежно свой провиант в тряпицу, спрятал на груди, наново перепоясался ремнем, поднялся.

Пошел по канаве, в канаве не было грязи, она заросла травой, поначалу казалось, что идти здесь легче. Но снегу не растаявшего здесь было больше, и без того сырые ботинки стали мокрыми, Сережка понял, что скоро окажется босиком, и выбрался на дорогу.

И в этот момент — неужели?! — послышался отдаленный терпеливый вой мотора, а потом и знакомое гроыхание. По тракту вслед за ним ползла полуторка, та самая, что вечером попала ему навстречу. Сережка повернулся и во все глаза смотрел на водителя.

Машина остановилась,

Глава 4

Сережка влез в кабину, сел на порванное сиденье, из которого вместе с ватой торчала пружина, сказал:

— Довезите, дяденька, мне в Ждановку.

— Дяденька? — хохотнул сиплым голосом шофер и тут же ругнулся: — Паскуда! Пока едешь — работает, остановишься — глохнет.

Водитель неуклюже вылез из машины, достал из-под сиденья железную рукоять, начал заводить — полуторка дергалась, чихала, но тут же глохла вновь.

— А ну, парень, нажми стартер — вот здесь — и отпусти, — он кинул шапку на сиденье — упарился, и... Сережка увидел толстую косу, выбившуюся из-под тележки.

Девушка оказалась молодой, моложе, наверное, Натальи и Арины, с которыми Сережку отправляли на лесозаготовки, только лицо у нее кажется грубым из-за того, что чумазое. Шапка, мужские суконные штаны и, главное, хриплый голос обманули Сережку. А водитель ему с самого начала показался странным — невысоким, ниже его, кургузым и широкозадым.

— Чего вытаращился? — засмеялась она, когда мотор, наконец, ожил, и она заняла свое место. Передразнила: — Дяденька! Не видел таких замазух?

Сережке было неловко оттого, что обознался, он опустил взгляд, увидел ее колени, туго обтянутое серой штаниной, нахмурился и стал смотреть вперед, стараясь незаметно ладонью прикрывать рвань на своих тощих и грязных ногах.

Девушка бросила рукоять под ноги, закусив губу, выжала сцепление и включила скорость — машина слегка дернулась и, подвывая и соскальзывая в рытвины, поползла вперед. Лицо у нее стало серьезным и сосредоточенным: разогнать машину на скользкой избитой дороге и не съюзить в канаву было непросто.

— Откуда чапаешь? — спросила она, когда дело наладилось.

— Лес разгружал. В городе.

Она мельком взглянула на него, качнула головой, вздохнула:

— Да-а. Ждановка твоя где? Я такой не знаю.

— А мы — в стороне, за Семеновкой.

— Ага. Удрал?

— Нет. Закончили.

— Почему один?

Сережка коротко рассказал, как из Ждановки его одного оставили на разгрузке барж, а остальных отправили в лес.

— А я вот, дура, ездила запчасти для МТС получать, — она крякнула по-мужицки, будто ругнулась. — Всего два коленвала дали да ящик с болтами. Тьфу! — помолчала, подумала немного: — Могли и вовсе ничего не дать.

От мотора в кабину шло тепло, Сережка согрелся, глаза у него стали слипаться, его мотало из стороны в сторону, несколько раз он сильно ткнулся лбом в стекло,

— Разобьешь! — и тут же пожалела: — Умаялся, бедненький. Голодный, поди?

Могла и не спрашивать. Она видела Сережкино лицо, когда он влезал в кабину: от боли и усталости голубые глаза его поблекли и стали заволакиваться белесой мутой — верный признак того предела человеческого терпения, за которым наступает смерть или ожидает безумие.

Сережка уловил в ее голосе заботливые бабьи ноты. Промолчал. Она некоторое время сосредоточенно смотрела вперед, потом, когда миновал трудный участок дороги, расстегнула левой рукой верхние пуговицы на ватнике, а там и на кофте, достала небольшую горбушку хлеба, переломила пополам, уперев в колено:

— На, пожуй, — откусила от своей половины и проделала все в обратном порядке: спрятала хлеб, застегнула пуговицы.

Сережка не смог отказаться. Хлеб, согретый её грудью, оказался теплым, словно не успел остыть после печи, и был необыкновенно вкусным. Сережка съел его и осоловел окончательно; не противясь руке, которая потянула его к себе, привалился лицом к пахнущему бензином и солидолом девичьему боку и, согретый теплом и урчанием машины и заботой своей спасительницы, уснул крепко и спокойно.

Самые счастливые два часа своей жизни Сережка проспал; они потому и были счастливыми, что можно было спать в то время, когда дом приближался. Почти угасшая жизнь опять возвращалась в Сережкино тело.

— Вставай, а? — сиплый голос был негромким, но настойчивым. — Проснись! Приехали!

Одной рукой она обняла его за плечи, удерживая в сидячем положении, другой легонько ворошила спутанные Сережкины волосы и дула ему в лицо.

А он, глубоко убаюканный качкой, теплом и чувством безопасности, все никак не мог расстаться с безмятежным видением: лежит он на возу с пахучим сеном под голубым небом, с которого льется на него благодатный солнечный свет, обдувает его приятный ветерок и мельтеят над ним синие мотыльки, норовя сесть на лицо. Ему щежотно, он улыбается лету, солнцу, всей той жизни, что не знала войны. Невидимая с воза лошадь облегченно вздыхает, втащив телегу во двор, телега останавливается, и мать говорит Сережке почему-то хриплым, как у отца, голосом:

— Приехали!

Он соскальзывает с воза на землю, мать подхватывает его, чтобы не упал, а он обнимает ее и целует в шею. Пахнет от нее почему-то, как от отца...

— Э-э! — смех, и Сережка чувствует, как его отстраняет от себя — уже не мать.

Он очнулся, очумело хлопая ресницами, смотрел в незнакомое чумазое лицо, усталое, но улыбчивое. Все вспомнил.

Машина стояла посреди дороги, мотор исправно работал на холостом ходу, за кабиной — первосумерки, слева от дороги — поле и справа — поле.

— Тебя как звать? — спросила она, надевая на него фуражку.

— Сережка.

Она вздохнула:

— Вон Семеновка, Сережа, — он увидел в той стороне, куда она показала, крыши домов. — Доехали.

Он отодвинулся. Медленно — расставаться с уютной кабиной, чтобы снова брести по пыточной дороге, не хотелось — нерешительно открыл дверку и замешкался: надо было что-то сказать ей и не знал — что. Может быть, сказать, что всегда будет помнить ее и пусть она заезжает в Ждановку, они все — мать и Нюра, и Мишук — будут рады. Если не сможет теперь, пусть после войны приезжает, отец тоже обрадуется...

Но язык для таких слов был непривычен. Сережка ничего не сказал, сунул руку за пазуху, нащупал в холстине кулек с галетами, после недолгих колебаний достал его, положил, потупясь, на сиденье и прыгнул на землю.

— Стой! — сказала она, но это только подхлестнуло его. Откуда силы взялись? Сережка рванул через канаву, выскочил на колею проселочной дороги, отбежал шагов десять и оглянулся. Она стояла впереди машины, положив руку на радиатор, смотрела, наклонив голову, ему вслед.

— Дурачок, — сказала негромко неожиданно очистившимся от хрипоты приятным девичьим голосом, — глупенький.

— Спа-си-бо! — Сережка некоторое время шел спиной вперед, потом повернулся и, прихрамывая на обе ноги, деловито зашагал к деревне.

Глава 5

Галеты оставил. Жалко? Сережка не мог ответить на этот вопрос. Оттого, что не пожадничал, будто посветлело на душе, а перед Нюркой и Мишуком — виноват, вот и разберись.

Ну, ничего, сейчас хлеб дома должен быть. Дали на трудодни, наверное, хоть сколь-нибудь. Всю прошлую зиму навоз с фермы на поля возили, дожди были летом — урожай ожидался хороший. Перед войной отец полную подводу, с верхом, зерна домой привозил, а прошлогодний хлебушко мать на себе, не тужась, принесла.

Сережка достал из кармана последний сухарь: теперь он уже не сомневался, что доберется домой.

Если бы дали по полкилограмма на трудодень... Жирно будет, хотя бы грамм по двести, и то хорошо: с картошкой, огурцами, свеклой, морковкой да капустой — жить можно было бы! Только успела ли мать управиться на своем огороде? Ну, разве оставит она его? Лишь бы не захворала; выкопала, конечно, и картошку, и репу. Да и Нюрка там... уже не маленькая.

Мысль о сестре, вильнув змейкой, вернула его на дорогу, к девушке-шоферу. Смелая. Сережка оглянулся. Полуторка была бы еще видна, но сумерки уже надвинулись и поодаль сравняли все — небо, землю, машину. Мелькнули две крохотные звездочки низко над полем и пропали. Может быть, это свет задних огней, или они у нее не горят?

Не спросил, как зовут. Оробел вдруг. Наверное, Дашей. Даша — хорошее имя. Сережке нравится. Добрая — угостила его теплым хлебом. Не мог он остаться в долгу, вот и вытащил галеты. Ей еще крутить и крутить баранку, нахлебается в темноте по такой дороге, хорошо, если машина не подведет. Свечи — барахло, факт, а бабы что понимают? Ну, она, кажется, толковая: все лицо забрызгано, откручивала, значит. Да толку, видно, чуть.

Видел Сережка, что не хочется ей отпускать его, тоскливо оставаться ночью одной на дороге... А он драпанул.

Малость испугался он, признаться, потому что промелькнуло в лице у нее что-то такое...

Так у них в деревне смотрела на пацанов Шурка Акульшина. Смотрела, смотрела да и высмотрела в прошлом году Сережкиного дружка Костю. Костя старше Сережки на два года, ростом, конечно, повыше и в плечах шире. Почти парень. Пригласила его Шурка раз к себе домой, чтобы помог сеновал подправить, потом другой раз понадобилась какая-то помощь, а потом по деревне слух пошел, что бесстыжая Акульшина мальчика опутала. Шуркины подружки успели до войны определиться: одни мужей на фронт проводили, другие — женихов, а она осталась вольная, замуж не торопилась, все отшучивалась:

— Хомут на шею надеть успею!

Не успела, осталась беспризорной, всех парней забрали на войну. Кто милого, пусть увечного, ждет, кто весточку, а Шурке ждать некого.

Мать Кости Шурку срамила, сучкой и стервой называла и просила-уговаривала не губить сына, на колени перед ней становилась, но Костя сам, как упрямый бычок, нагнет голову, чтобы никого не видеть, и после работы только через знакомый сеновал домой идет.

Даша моложе Шурки, не было, наверное, у нее парня до войны, а теперь смотрит...

И на сестренку, Нюрку, Даша чем-то похожа. До нынешнего года Мишук, бывало, по глупости сестренку бил — чем попадет, сердился, что занятая делом Нюрка внимания на него не обращает; она сдачи не давала, жалела. Терпела, не плакала,

когда ударит больно, только от обиды нижняя губа у нее вперед подвинется и чуток в сторону. И у Даши, когда Сережка галеты на сиденье положил, нижняя губа так же по-детски оттопырилась.

Сережке вдруг стало нестерпимо стыдно за свой драный ватник, за протертые штаны, сквозь которые она видела его грязные колени, за весь свой тощий измученный вид. Он, наверное, ее во сне вместо матери обнял. Сережка почувствовал, как у него загорелись уши.

Оглянулся еще раз и опять ничего не увидел, и снова низко над землей мелькнули два слабых, как светлячки, огонька и пропали. И снова Сережка не обратил на них внимания.

Слева от дороги дружно под снег поднялись озимые. Ровный бархат зелени, казалось, густел в подступавшей тьме, но Сережка видел поле так, будто стоял самый ясный день. Как видел его, когда выходил с отцом поздней осенью за околицу.

Земля пустела и блекла к зиме, и неожиданная свежесть зелени озимого поля радовала и восторгала отца, он не мог не похвалиться своей работой, не поделиться этой радостью с близкими, выводил за деревню всю семью — жену и ребятишек. Мишуку трудно было идти по стылой неровной дороге, и отец сажал его на плечо...

Какое теперь у него поле? Живой ли? Почему мать Сережке ничего не писала, только ли потому, что дела невпроворот?

Может быть, посадят Сережку на отцовский трактор весной, когда Михаилу Жданову исполнится восемнадцать, и он уйдет воевать? Сережка справится, он отцовский колесник знает до последней гаечки.

Будто шилом ткнули Сережку в спину, он резко обернулся. Парных светляков на поле стало много, они бесшумно передвигались над озимыми, и хоть в серой мгле трудно было понять, далеко это или близко, но было ясно: они движутся в его сторону. Волки!

Сережка побежал. До крайних домов оставалось совсем недалеко — пахло деревней, видны были редкие огни; доковыляв до первых огородов, оглянулся. Никаких светляков, пусто. Померещилось ему, или волки, еще не обозленные зимней голодовкой, близко к деревне подойти не решились?

Сережка прошел по улице до ближней избы, где горел свет в окне, постоял напротив, но подойти постучать не решился. Если бы не волки, отправился бы домой не задумываясь, а так надо проситься на ночлег.

Увидев идущего по улице мужчину, Сережка поторопился ему навстречу. И вовремя: мужчина свернул к дому.

— Дяденька! — позвал Сережка. Тот повернул голову в его сторону, задержал шаг. — Дяденька, — несмело повторил Сережка, теряя уверенность по мере того, как подходил ближе, — пустите переночевать.

Мужчина молча, не глядя на Сережку, пожевал губами. Лицо его, заросшее щетиной, было угрюмым, а поза выражала сомнение.

— Я из Ждановки, — против воли голос у Сережки задрожал и в нем появились жалостливые ноты. Мужчина вздохнул. — Дяденька, не бойтесь, я — сытый!

— К-хе, — мужчина хотел что-то сказать, но поперхнулся, пошел к воротам, связанным из одних жердей, между которыми во двор мог легко пролезть взрослый, не только Сережка: доски с ворот были сняты на дрова или для другой надобности. И покосившаяся рама калитки тоже зияла насквозь. Мужчина отворил ее, оглянулся; — Что стоишь? Заходи.

В сенях хозяин приостановился, тронул Сережку за плечо:

— Ты — того, не думай: места не жалко, у нас это — малость нехорошо.

О в словах у него круглое, выпирает, и кажется, что вот-вот выкатится.

— Здравствуйте, — сказал Сережка, переступив порог, и стащил с головы фуражку.

В доме топили плиту, свет из раскрытой дверцы ее падал под ноги вошедшим и освещал лица трех ребятишек — двух девочек, примерно четырех и шести лет, и мальчишки немного постарше их. Они грелись у огня, сидя на корточках у открытой топки, и дружно повернули головы, когда отворилась дверь.

На Сережку ребятишки уставились с недоумением, словно в дом к ним никогда не заходили посторонние люди.

— Здравствуйте, — неуверенно сказала девочка постарше, а за ней эхом с той же неуверенностью поздоровалась малышка.

Больше никто не отозвался, хотя у плиты над чугуном виднелась и женская фигура; Сережка подумал, что это мать ребятишек.

— Темно, — сказал ей хозяин, — запали лампу.

Она немедленно исполнила приказание, шагнула к ребятишкам, наклонилась, взяла с пола лучину, сунула в огонь, зажгла; подошла к столу, сняла свободной рукой стекло с лампы — стекло было заранее почищено, — положила его на стол, вывернула фитиль, поднесла к нему лучину, вставила стекло, убавила огонь, чтобы лампа не чадила и давала ровный свет.

Сережка с волнением следил за каждым ее шагом. Так же вот, наверное, и у него дома сейчас мать или сестра зажигают лампу...

Мальчишка забрал чадающую лучину и бросил в печь. При свете Сережка разглядел, что это не мать ребятишек, а их старшая сестра. Было ей лет шестнадцать на вид, и все, что должно, в ней уже округлилось, словно бы и не было никакой войны и постоянного недоедания.

— Па, — негромко пожаловалась девушка отцу, — она опять не ела.

Отец посмотрел в сторону тьмы на печи, нахмурил свой и без того морщинистый лоб, но сказал другое:

— Посади гостя.

— Проходите, — серьезно и вежливо, как взрослому, сказала девушка Сережке, — вот сюда.

Вдоль стены у длинного самодельного стола стояла широкая прочная лавка, с трех других сторон — табуретки, тоже кондовые, сработанные на долгий век. Сережка немного отодвинул от стола предложенный ему табурет, сел, прикрыв дыры на коленях фуражкой, замер, терзаемый мыслью, что хозяева будут ужинать и пригласят его.

Малыши поспорили, кто будет поливать на руки отцу; очередь, видимо, была за мальчишкой, и он, овладев ковшом, зачерпнул воды из небольшого бочонка, стал возле таза, дожидаясь, когда отец стащит с себя пахнущие навозом сапоги. Хозяин умылся, достал с полатей старые валенки, надел и подсел к Сережке.

— Ты откудова?

Сережка объяснил.

— А чей?

— Узлов. Павла Семеновича сын.

— А-а. Нет, не знавал, — хозяин устало вздохнул, свесив тяжелые кисти рук с колен, о чем-то задумался. Потом поделился заботой с Сережкой, как с ровней:

— Соли нет — беда. Капуста вся в кладовке лежит несоленая, огурцы скотине скормил, — спросил: — Сколько еще будем с им биться?

— Н-не знаю.

Сережка припомнил, как много в конце лета и начале осени говорили по радио о победах — на Курской дуге, под Харьковом, Смоленском и Новороссийском... Напали фашисты на нас вероломно, воспользовались моментом: пока наши силы собирали, они много земли и городов захватили. Но теперь Сталин дал приказ, и не будет врагу пощады.

При мысли о великом вожде, самом мудром человеке на земле, сердце у Сережки взволнованно забилося — на него вся надежда, он все знает, все может. Бойцы за него жизни кладут, и Сережка бы свою не пожалел, отдал бы с радостью — пусть прикажет. Сталина Сережка любил и уважал, как отца, а может, и больше. Его внимательный, чуть прищуренный взгляд постоянно чувствовал Сережка на себе, и взгляд этот давал ему, как и всему народу, смелость и силу, и терпение. И, конечно, веру в победу. Без веры никак: много у народа врагов, даже в Ждановке был один. Откуда они только берутся? Прикидывался хорошим трактористом, а сам в позапрошлом году на весеннем севе запорол двигатель. Кольца и поршни, говорит, старые и потертые, а он не виноватый. Забрали его куда следует, а жену из колхоза исключили, подхватила ребятишек и уехала... Товарищ Сталин разобьет и уничтожит всех врагов. Вслух высказать свои чувства Сережка постеснялся.

— К весне, пожалуй, не отвоюемся, — сказал он солидно, — сеять сами будем, а урожай пусть батя убирает.

И улыбнулся счастливо, увидев, как наяву, идущий по золотому полю отцовский трактор с прицепленным к нему комбайном.

Хозяин внимательно слушал Сережку и, кажется, понимал все его невысказанные мысли.

— Так. Гм... В городе-то что говорят?

Что говорили в городе, Сережка не знал, он и городских людей-то почти не видел. Все новости сообщал им репродуктор, установленный на столбе возле барака, а лейтенант Вахрамеев разъяснял иногда военные сводки штатским бабам, приспособив важные новости на пользу конкретному делу разгрузки барж, разоблачал глупую политику Гитлера:

— Он думал, что мы разбежимся, как только увидим их танки. Такая доктрина у фашистов была: ударим хорошенько — и Советский Союз развалится, русский против татарина пойдет, тот — на казаха...

Намек был всем понятен: тетка Параскева обозвала однажды стариков Искандярова и Акпергенова узкоглазыми баранами за то, что они подолгу мылись в бане и задерживали баб.

Еще не совсем старики, Искандяров и Акпергенов, татарин и казах, неразлучные и на барже, и на берегу, согласно кивали головами: думал дурной фюрер так, правильно говорит начальник лейтенант, но ни хрена у фашистов не выйдет — тоже правильно. На Параскеву они нисколько не обижались.

Высокая, худая, как жердь, Параскева, мгновенно воспалась гневом, ругалась на чем свет стоит:

— А... не хотел?! — и, выбросив воображаемому бесноватому фюреру под нос реальный, жесткий, как сучок, кукиш, требовала: — Так, лейтенант, крой дальше! Мать их...

Бабы вообще-то почти не матерились и попервости пытались одернуть и мужиковатую Параскеву, потом махнули рукой. Эта речь Параскевы воспринималась, как просьба о прощении за «баранов» и обещание, что такое больше не повторится.

Еще лейтенант говорил тогда о неразрывной, крепкой, как цепь, дружбе всех советских народов и призывал дать врагу по мозгам ударной работой на разгрузке смертельно необходимого для фронта леса.

Сережка усвоил, конечно, всю эту политграмоту назубок, но повторить ее перед незнакомыми людьми не решился. В то же время он чувствовал, что в их глазах он не просто парнишка из Ждановки, а представитель армии труда, который побывал ближе к месту смертельной схватки и потому умудрен особым знанием.

— В общем, — Сережка поднял кулак с зажатой в нем фуражкой, — будут знать, как к нам соваться, запомнят фрицы на всю жизнь!

— Скоро, говоришь? М-да-а, — хозяин покачал головой, будто соглашался, — война на самой макушке, попьет еще нашу кровушку. А солдатного народу мало осталось.

Картошка сварилась, девушка слила отвар из чугуна в небольшую бадейку; картошку вывалила в огромную, как таз, миску, поставила на стол. От картошки валил пар, почти забытый за три месяца запах ударил Сережке в ноздри. Он встал и отошел от стола в запечье, сел на лавку, по которой хозяева взбирались на полати.

Девушка принесла половину каравая из сеней — хлеб был серый, военного, хорошо знакомого Сережке замеса, — взяла нож, стала резать. Сережка старался не смотреть в ту сторону, но видел мельком и хлеб, разрезанный на восемь частей, и картошку, исходящую паром, и крупномолотую соль, одну щепоть, в темной казеиновой тарелке, и ребятишек, которые заняли свои места за столом и немедленно приступили к делу: выдёрнули из миски по картофелине и, обжигаясь, начали считать с нее пленку кожуры.

— Хотя ты и сытой, а садись, — кивком указал хозяин Сережке на табурет у стола. По голосу его нетрудно догадаться, что он твердо знает, что любой гость в эту пору — голодный. — Да куфайку-то сыми, натопилось уже, чего преть?

С печи, из тряпья, которое успел разглядеть Сережка, когда подходил сюда, слышно было хрипловатое неровное дыхание больного человека. Вот почему сказал хозяин Сережке, что у них нехорошо: помирает человек. Его зовут к столу, а что же та, которая «опять не ела»?

Голод-зверь давно ожил в Сережкином теле, он нерешительно взялся за ремень — снять ремень значило обнаружить банку с рыбой, которую надо было непременно донести домой. Именно вот с такой картошкой, «в мундерах», мечтала поесть селедки мать.

Хозяин подошел к Сережке, стал ногой на лавку, потрогал больную рукой.

— Слышь-ка, иди ужинать. Давай помогу слезть.

В это время Сережка увидел, как из горницы, шаркая ногами по полу, вышла седая старуха, пристроилась на край лавки за столом, рядом с внуком. Стало ясно, почему хлеб порезали на восемь кусков: семеро в семье, Сережка — восьмой.

На печи никакого движения не обозначилось, только хрип прервался, когда последовал короткий слабый отказ:

— Не хочу.

Хозяин посмотрел на Сережку, словно прощения просил: вот, мол, парень, какие наши дела, положил руку на его плечо, остро выпиравшее из-под «куфайки», легонько направил в сторону стола.

Придерживая банку под полой, — ремень он снял и вместе с фуражкой положил на скамейку, Сережка сделал два неуверенных шага, в ушах у него все еще слышался слабый исчезающий голос: «Не хочу», приостановился, пронзенный внезапной догадкой: может быть, она чего-то хочет?! Даже дыхание притаил: больная, наверное, как Сережкина мать, тоже поела бы селедки! Но — умрет и никогда не узнает... Кровь отхлынула от лица, Сережка медленно повернул голову:

— Дядя, — шепотом спросил он, — вас как зовут?

— Иваном, — ответил хозяин и, помедлив, добавил, — Матвеичем.

— Дядя Иван, — прислушиваясь с удивлением к своему шепоту, словно бы он исходил откуда-то со стороны, продолжал Сережка, — у меня — вот!

Он вынул свою ношу из-под полы, подержал сверток у груди — напоследок, будто можно было еще передумать и остановиться, потом прошел на ослабевших ногах к столу и на свободном краю развернул.

Все притаились.

Ребятишки переводили взгляды с белых квадратиков сахара на блестящую банку, Иван Матвеевич и старшая дочь смотрели в стол перед собой, и только стару-

ха изумленно воззрилась на Сережку, как на чудотворца, перед тем она не замечала его. Сережка видел: они испугались, словно бы давно ожидаемая в доме беда — вот, пришла!

— Что это? — тоже переходя на шепот, спросил Иван Матвеевич и, наконец, оторвал взгляд от стола, исподлобья недоверчиво посмотрел Сережке в глаза.

— Открыть... — совсем тихо, одними губами, распорядился Сережка.

В банке, остро пахнувшей пряностями — лавровым листом, перцем и маринадом, было восемь ломтиков — шесть в ряд и по одному сверху и снизу — ровно столько, сколько было в доме людей, как будто чья-то добрая рука заранее знала про этот случай.

Иван Матвеевич слизнул с ножа темно-коричневый рассол, изумленно посмотрел на окружающих, только теперь, похоже, поверил, что ему не блазнится, неожиданная улыбка озарила его лицо.

— Мать, — сказал он громко в сторону печи, — слазь скорей — тут селедка! Помоги, Катерина.

И сам немедленно пошел вслед за дочерью.

— Селедка... — слабый голос был полон горечи и укоризны и непоколебимой убежденности в том, что ее лишь манят к столу, а ни о какой селедке речи быть не может

— Право слово! Давай руки.

Но уже распространились по избе запахи, и были они красноречивее всяких уговоров.

— Ва-ся!? — у Сережки мурашки по спине побежали от этого ее вскрика, столько в нем выплеснулось печали, надежды и радости. — Ва-сень-ка приехал?!

Простоволосая старуха с вздрагивающей от слабости головой спустила с печи неимоверно худые ноги. Сережке стало не по себе: две старухи в доме, а где мать ребятишек? И кто тот Вася, за которого его принимает умирающая?

— Постой! — Иван Матвеевич едва успел подхватить падающую с печи больную, поставил на пол. — Чуни-то надень.

Она как была босиком, так и устремилась к столу и к Сережке. В глазах ее, казалось, был, уставших от жизни и потухших навсегда, зажглись безумные огни, она не понимала, зачем ее задерживают, зачем надевают на ноги старые с обрезанными голенищами валенки и заталкивают руки в рукава кофты.

— Сережка это, Узлов, — негромко, внушающе сказал Иван Матвеевич, — рыбой нас угостил. Иди поешь.

За столом, когда ее посадили рядом с Сережкой, она разглядела его и опаматовалась, зажав ладони коленями, стала покорно ждать, как с ней распорядятся дальше. Голова ее на тонкой синюшной шее медленно колыхалась из стороны в сторону, как осиновый лист на слабом ветру.

Катя поставила перед ней жестяную тарелку, положила на нее ломтик хлеба, начала очищать картофелину.

Иван Матвеевич стоя раздавал рыбу — подцеплял ложкой, придерживая большим пальцем, осторожно вынимал из банки и, внимательно следя за тем, чтобы капля драгоценного рассола не упала на стол и не пропала зря, переносил на тарелку. Первый ломтик, из середины банки, положил Сережке, второй — больной:

— Ешь, Семеновна.

Когда Иван Матвеевич занес руку над банкой в третий раз, по его посветлевшему от радости лицу пробежала тень. Рука повисла в воздухе. Он посмотрел на Сережку озадаченно, будто забыл враз, кто это и откуда взялся, медленно повел головой, осмотрел тем же недоумевающим взглядом застолье — старух и детей, ждущих, что будет дальше, снова обратился лицом к гостю:

— У тебя дома-то кто?

— Мама, — Сережка смутился, словно его уличили в воровстве, опустил голову, добавил тише, — и Мишутка с Нюрой.

За столом все разом, кроме больной, занялись картошкой.

Сережка и без того чувствовал себя несчастным — от взгляда Ивана Матвеевича, а как от него отвернулись даже малыши, так готов был умереть от горя. Но не умер, смотрел в лицо Ивана Матвеевича и кричал молча: «Домой не понесу!» И захлебывался в невидимых слезах. Хозяин и сам понимал, что не дать теперь своим детям рыбы — невозможно, но невозможно было и отнять ее у тех, кому нес эту рыбу Сережка. И тогда Иван Матвеевич взял нож и разрезал очередной ломтик пополам. Всем остальным выдал по половинке; три кусочка остались в банке нетронутыми. После чего он аккуратно прикрыл крышку, придавил большим пальцем и посмотрел на гостя, словно ждал подтверждения, что сделал как должно.

У Сережки посветлело на душе, он улыбнулся сквозь кипевшие на глазах слезы и посмотрел на больную, приглашая и хозяина обратить на нее внимание: старуха к пище не притронулась, она по-прежнему сидела, зажав руки в коленях, и все так же качалась голова ее на тонкой шее.

— Давай очищу, — сказал ей Иван Матвеевич. Она отрицательно мотнула головой и от резкого движения чуть не повалилась с табурета.

— Ты чего? — удивился отказу Иван Матвеевич. — Я же вижу: хочешь!

Она облизнула сухие губы.

— Все одно помру, — две скупые слезы покатались по лицу, — зря пропадет.

— Ты мне эту дурь брось! — строго сказал Иван Матвеевич и кончиком ножа вспорол ломтик по брюшку.

Взгляд больной вдруг вновь вспыхнул безумием, она неожиданно быстрым движением выхватила свою долю из-под ножа, впилась в селедку ртом и стала судорожными сосущими движениями впитывать в себя живительную влагу.

Глава 6

Ночью мороз был сильный, землю припорошило слоем свежего снега, природа, словно мать, ожидая сына домой, выстелила на поля и дороги большую чистую холстину. Шагая по застывшей колее, Сережка думал о том, как ему повезло: сперва с машиной, потом с ночлегом — замерзнуть в такую ночь ничего не стоило.

Спал он у теплой стены, у печки, сладко, как, бывало, дома. Засыпать он начал еще за столом — сказывалась дорога и те три месяца работы, которые, казалось ему, утомили его на всю оставшуюся жизнь. И вообще, будь у него такая возможность, лег бы он спать на целую неделю.

Он с трудом стащил с ног ботинки, засунул в них протертые свои носки, сделанные матерью из старых чулок, прошел, как велела седая старуха, на чистую половину дома и хотел поваляться на большой сундук, на котором уже была постелена старая шуба, но старуха повернула его к широкой лежанке, где обыкновенно спала сама — одна или с кем-нибудь из малышей.

— У меня грязные, — с трудом ворочая отяжелевшим языком, сказал Сережка, — гачи.

На штаны за дорогу намоталось и насохло грязи до самых колен, а снять их он не мог, потому что от трусов у него осталось одно название.

— Нешто это грязь? Это, сынок, земля. Земля грязной не бывает, — она легонько подтолкнула его. — Ложись, ангел, к теплу, а я — с краешку.

Сережка видел еще, как Катя принесла себе какую-то одежку вместо одеяла и села на сундук, дожидаясь, когда Сережка отвернется, и ей можно будет тоже лечь.

Потом ее отец погасил лампу, стало темно, но сон почему-то улетучился, и Сережка слышал некоторое время, как шуршало в той стороне, где была девушка, а затем стихло.

Утром он пробудился последним, после того, как поднялись Иван Матвеевич, старуха и Катя. Он хотел одеться и незаметно улизнуть, чтобы не дожидаться завтрака, но старуха увидела, что он зашевелился, остановила:

— Погоди-ка, — сказала, — ноги забинтую.

Она зажгла лампу, принесла и поставила на табурет напротив. При свете Сережка с удивлением обнаружил, что ноги ниже колен у него чистые, протертые, видимо, влажной тряпкой, а потертые места и цыпки чем-то смазаны. Кожа на ногах помягчала и стала не такой болезненной, как была с вечера. Крепко же Сережка спал, если не почувствовал, как старуха лечила его!

Она забинтовала ему обе ноги белыми лоскутами, подала носки, чистые, сухие и заштопанные; принесла ботинки, тоже чистые и просушенные, вытащила из них ветошь, которой она набила ботинки с вечера, чтобы при сушке они не скукожились:

— Налезут? Да не так, кулема! — командовала она Сережкой ласково, но решительно, как собственным внуком. — Вот эдак.

Помогла ему обуться так, чтобы тряпицы на ногах при ходьбе не сбились. Нарочито грубоватым обращением она прикрывала свою жалость и озабоченность бедственным Сережкиным положением; душа его, которая исподволь, незаметно для него самого ожесточилась невзгодами последних дней, отмякла и отзывалась щемяще и сладко на малейшее проявление доброго чувства. Казалось ему: он — дома; хотелось смеяться и плакать. Но, как и она, Сережка был с виду деловит и озабочен, собирався в путь обстоятельно и надежно.

Его заставили поесть на дорогу; опять была картошка, чай, заваренный чагой, березовым грибом, а к чаю — пареная репа, вместо пирогов.

Оставшуюся селедку ему завернули в обложку от старой ученической тетради, и сахар — все шесть кусочков — в отдельный лоскуток бумажки, видимо, из той же тетради. Он начал протестовать, но Иван Матвеевич цыкнул на него:

— Того! Давай без этого.

Вышло смешно. Катя засмеялась, и в первый раз за все время Сережке показалось, что в хмари, темной тучей стоявшей в доме, появился просвет. Будто свежий воздух проник в тревожную духоту застоявшейся беды, дышать стало легче.

Иван Матвеевич попрощался и ушел, бабушка занялась во дворе скотиной, Катя одевалась, чтобы идти на работу и заодно проводить Сережку, а он не мог просто так уйти. Он чувствовал на себе взгляд с печи и терзался внезапно возникшим в нем пониманием того, что от него, может быть, зависит: жить или умереть старой женщине. Вечером она соблазнилась соленой рыбой и поела, а когда у человека появляется аппетит, то — кто ж этого не знает? — он может справиться с хворью. Сережка отошел к тому углу стола, который не могла видеть больная, развернул свой похудевший сверток и отделил из него одну селедочную дольку. И сахар ополовинил сперва, а потом, глянув украдкой в сторону Кати, выложил на стол четвертый кусочек. Они с матерью обойдутся без сладкого. Быстро завернул остатки, на ходу спрятал под ватник.

Девушка догнала его у калитки, заглянула сбоку в лицо:

— Ты чего помчался?

Она почему-то сильно встревожилась.

— Так, — буркнул Сережка, пряча улыбку. Он подумал, что если Бог есть, то дома должно быть все хорошо.

На лице Кати появилось и не сразу исчезло выражение встревоженности и непонятного Сережке недоверия; однако морозец и ходьба согнали тревогу, нарумянили ей щеки, сделали привлекательной... да чего там — просто красивой!

Сережка поневоле взглядывал на нее искоса и молча шагал рядом. Она хотела еще что-то спросить или сказать, но ей помешала встречающая женщина, которая взглянула на них с удивлением и вдруг резко свернула, обошла их стороной, как зачумленных. Катя опять посмурнела и закусила губу. Так они дошли до большого деревянного дома без ставней, до правления колхоза, здесь она придержала легонько его за рукав, чтобы сказать прощальное слово:

— Мне сюда, — посмотрела в глаза Сережке задумчиво и печально. — Вася у нас, — голос ее дрогнул, — потерялся без вести. Как это — без вести?

Она делала ударение на слове «вести» — у Сережки дыхание перехватило и озноб по спине прошел: он понял, что это было второй бедой, может быть, главной, которая придавила всех, даже самых маленьких, в Катиной семье. И поэтому она встревожилась, когда увидела, как он заторопился уходить, а когда догнала, то сомневалась: надо ли говорить, знает ли Сережка от отца о ее пропавшем брате? Без вести — что за этими страшными словами? Плен? Струсил и сдался Катин брат, и висит теперь над семьей неоглашенным пока приговором неотвратимое и вечное наказание? Уже бояться сельчане лишний раз словом перемолвиться, обходят стороной, а что станет с Катей и ее родными, если Василия официально заклеят именем предателя?

Нет, они не такие, чтобы сдаваться, погиб Катин брат, а может, в госпитале без памяти лежит. Сережке хочется верить в лучший исход, но и червь сомнения и недоверия уже просочился в душу.

Она напряженно вглядывается в его лицо, закусив от огромной обиды губу, ждет так, будто Сережкино маленькое мнение о случившемся несчастье — главное и решающее в ее судьбе.

— А я не верю, — сказала, прочитав в выражении Сережкиного лица ход его мыслей, — и никогда не поверю... Без вести...

— И я, — подтвердил Сережка, внезапно проникаясь силой ее убежденности.

Глаза у Кати потеплели. Они у нее карие, светлые, цвета янтарного меда... Посотояли еще недолго, она сказала напоследок:

— Приходи к нам завсегда, как будешь в Семеновке. Ладно?

Ботинки плотно сидели на ногах, ногам тепло и почти не больно, дорога ровная, не избитая, шел Сережка, словно пел. Будто живой водой его окропили и вернули с того света на этот — тяжелый, мучительный и горький, но такой прекрасный и желанный.

Посевы озимых тянулись и в эту сторону от Семеновки — до самого леса, и зелень хлебного поля на чистом снегу радовала крестьянскую душу Сережки, успокаивала незыблемой повторяемостью жизни растений, надежностью законов природы, которые обещали людям урожай и пропитание, несмотря на существовавшую в мире несутрадно-жуткую людскую деятельность по убийству себе подобных. Теперь, при ясном свете солнца, Сережка различал каждый росток на поле и наметанным глазом определил: вручную посеяно. Знать, тракторы у соседей не на ходу — неисправны или, скорее всего, без горючки стоят. Досталось бабам в осеннюю страду... Все в их руках: и хлеб, и снаряды, и лес для фронта, исцеляющая забота и кровь, отданная раненым.

Березовый колок белел понизу стволами деревьев, кудри темно-коричневых ветвей сплетались вверх в один подсвеченный небесной синью узор. Лучи солнца играли из-за стволов, высвечивали пылинки снежной изморози, тихо опадавшей с голых прутьев и устилавшей и без того чистое нетоптанное полотно проселка.

Оборванные ветром листья таились под тонким и рыхлым пока еще слоем снега и заявляли о себе лишь негромким шуршанием под ногой.

Сразу за березняком шло ждановское поле, вспаханное под зиму, снег укрыл на нем борозды, и оно казалось аккуратно причесанным гигантским гребнем. Сережка почувствовал себя дома. Вон и нераспаханная полоса у края леса — любимое место отца. Весной, когда отец пахал, Сережка приносил сюда обед, отец оставлял трактор поодаль, приговаривая ему, как живому:

— Извини, друг, там другие запахи, — и, сбросив кепку на сиденье, шел к своей поляне неторопливым хозяйским шагом.

Сережка отдавал ему корзинку с провизией, семеня рядом, поглядывая на отца с затаенной гордостью и желанием поскорее вырасти таким же большим и сильным, чтобы так же уверенно шагать по своей пахоте.

А пока Сережка возвращался домой после трудной работы в городе; возвращался той единственной дорогой, по которой вслед за ним должен прийти с войны отец.

Дул ветерок, в степи редко воздух бывает спокойным, поэмка начала перемещать путь.

Чем ближе подходил к своей Ждановке Сережка, тем сильнее билось у него сердце. Всматривался в знакомые очертания околицы, в крыши домов и тревожился все больше и больше: ни дымка над трубами, ни звука — дверь ни одна не скрипнет, не слышно ни голоса человеческого, ни собачьего лая. Деревня словно вымерла.

Помимо коровника со свинарником да тракторного двора, одна улица в Ждановке; избы стоят молчаливо по обе стороны проселка, ставни на многих окнах закрыты — берегут тепло, но Сережке кажется: смотреть на него не хотят, не ждут, а может, и ждать некому.

Вот и четвертый дом от края. Ноги у него ослабели вдруг, задрожало веко, но разглядел на снегу три цепочки следов: две со двора и одна обратно. Большие следы — мать на ферму ушла, маленькие — к колодезному журавлю и назад — Нюра воды на коромысле принесла: у калитки выплеснулось с обоих ведер...

Дома все было по-прежнему. Незыблемо стояла печь посреди избы, разделяя ее на две половины, из подпечья торчали сковородник, ухват, деревянная лопата, которой сажают в печь хлеб, когда есть что сажать, в углу — кочерга и полынный веник; привычно пахло вареными картофельными очистками, которыми подкармливали корову и кур.

Нюрка бросилась брату на шею и быстро, как ласковый щенок, обцеловала — облизала ему все лицо. Мишук, посапывая, вылез из-под стола — что-то приколачивал там, — но к брату не подошел, смотрел исподлобья, заложив руки за спину. Сережка сам подступил к нему, тоже набычил голову, нагнулся и легонько боднул.

— А мамка на лаботе, — сказал на это серьезный брат.

— Ну?! — Сережка обхватил Мишутку, поднял и, будто покусывая за ухом, спрятал от младших свое лицо.

Все ждановские уже вернулись с лесозаготовок, рассказала сестра, замученные, а дед Задорожный так и вовсе больной. Его там сильно помяло бревном, которое посунулось на крутом склоне.

— Дедушко помлет, — Мишук внимательно слушал разговор и решил, что сестра не сказала главного.

— Ты уже полные ведра носишь? — без всякой связи с разговором спросил сестру Сережка.

— Давно, — Нюра приняла это как похвалу, одновременно недоумевала: откуда брату известно?

Не раздеваясь, Сережка пошел на ферму, чтобы показаться матери. Они там толком и не поздоровались: мать несла сено на вилах, ткнулась сухими шершавыми

губами ему в щёку — и все. «Здоров?» — засияли глаза. И Сережка включился в работу: носил в тесный саманный коровник, с крохотными подслеповатыми оконцами под крышей, сено, раскладывал в ясли; нагружал на сани навоз и вывозил, то и дело попадая ногами в рытвины на земляном полу, заполненные жижей; помогал матери и дояркам таскать фляги — пустые и с молоком; крутил ручку сепаратора, а после помогал разбирать и мыть его. Домой пришли после вечерней дойки, когда уже стемнело.

Нюрка, полновластная хозяйка в доме, к тому времени тоже подоила корову. А еще она затопила плиту, сварила ужин, подмела пол, умыла бунтовавшего против воды младшего брата.

Сели за стол. Скучные городские гостинцы лежали нетронутыми. Вымученно улыбаясь, Сережка развернул свой стыдливый припас:

— Вот: сахар маленьким, а взрослым — селедку.

— Ага! Я тоже середку! — Мишук, оказывается, научился выговаривать р, но вставлял этот звук не там, где надо.

Сахар для него никакой ценности не имел, он просто не знал, не помнил, что это такое, как, впрочем, не знал и вкуса соленой рыбы, но раз взрослым полагается селедка, то и ему ее надо: Мишук тоже хотел быть большим.

Мать отвернулась на минуту, будто по делу, к плите, покусала губы, чтобы остановить ненужные слезы, готовые выкатиться наружу, улыбнулась и посмотрела на сына с любовью и гордостью, словно бы он не два измятых и уже подсохших кусочка рыбы домой принес, а геройский подвиг совершил — немецкий танк подбил или фашиста в плен взял.

Селедку она порезала наискосок тонюсенькими ломтиками — получилось много, уложила лесенкой на тарелку, сверху луковичными колечками украсила.

— Праздник, — вздохнула, — мужчина в дом вернулся.

На что мужчина неожиданно для всех и для себя швыркнул носом: промочил на ферме ноги, вот и приключился насморк от простуды.

Отдохнули за ужином, и мать села за прялку, а Сережка нашел в кладовке вар, достал из комода толстые, суровые нитки и принялся сучить драгву: зима пришла, валенки надо подшить.

— Налог выплатили, — негромко отчитывалась мать, — молока осталось отнести литров пятнадцать, ну, справимся: корова доится пока. Яйца сдали полностью...

— Да! — перебил Сережка, — что с курами? Не зарубила?

— Нет.

— А клещи? Вывела?!

— Избавились. Спасибо бабушке Терентьевой, — вздохнула, — царствие небесное ей, — и, остановив кружение веретена, перекрестилась.

Сережка глянул на божницу, но свет от лампы не достигал угла, и святая дева Мария, и Христос, и какой-то еще главный непонятный Сережке Бог таились во мраке. А вот простенок между окнами был освещен, из рамки, сделанной отцом еще до войны, спокойно и прозорливо смотрел в будущее великий вождь народов — портрет Сталина отец вырезал из газеты.

Мать до войны богу не шибко поклонялась, когда гром гремел над головой — крестилась, иконы в красном углу содержала в порядке — на всякий случай; но и не ругала мужиков, когда они, приходя к отцу, советовали пустить «Исусика» на растопку. «Хорошо горит!» Как ушел отец на войну, мать вольностей по отношению к Богу больше не допускала. Да и богохульничать стало некому.

— Умерла?! — тут только дошел до Сережки смысл материных слов.

Ласковая была баба Фрося, добрая. Все деревенские ребятишки летом в ее огороде паслись: морковку ели, огурцы, мак, подсолнухи шелушили — для баловства в

своих огородах деревенские и до войны мало сеяли, а у старухи Терентьевой половина огорода одним только горохом была занята, и каким-то чудом все у нее раньше поспевало.

— Я уж отчаялась с нашими курицами, — вновь крутилось веретено, — да ты помнишь, а тут как-то зашла к ним, теперь уж забыла зачем, она стала спрашивать про тебя, да про наше житье-бытье, ну, я и пожаловалась ей на нашу беду. «О-о — говорит, — что ж раньше не пришла не спросила? Есть средство: перышков чесночных нащипли да и в гнезда положи». Я бегом домой и сделала, как она велела. А баба Фрося той же ночью померла. Хворала она, совсем слабая была. Пока хоронили, я про кур у Нюрки не справлялась, забыла, а когда вспомнила — никаких клещей уж не стало.

У Сережки комок к горлу подкатил. Он любил бабу Фросю, как и все деревенские ребятишки, пользовался ее добротой и досаждал, случалось, шалостями старухе. Не догадался тогда по материному письму: «...а кто по деревне помер, потом сам увидишь». Уже не испросить прощения за причиненные обиды.

— Нюра-то в школу у нас не ходит, — продолжала мать, немного погодя, — учить некому: учительница твоя, Марфа Андреевна, успокоилась от старости. Ее, бывалыча, хвалили на правлении, что исправно все сдает: и деньги, и молоко, и яйца. Да. А у нее ведь, кроме кур и петуха, ничего во дворе не было. Все — за деньги. Зарплату свою изведет, а не рассчитается — на деньги теперь что купишь? Ну, у нее были скопленные на книжке до военной поры, и еще — колечки и сережки разные драгоценные были — от матери ей остались, мать у нее не из бедных — так она все отдала. На танк, если, говорила, ее сбережений не хватит, пусть люди добавят.

Рука матери дрогнула, нить оборвалась, веретено покатилося по полу. Сережка поймал его, подал. Свою нитку, уже натертую варом и частью скрученную на колене, отпустил, она раскрутилась. Вот так и внутри Сережки: что-то рвалось, скручивалось и раскручивалось с каждым материнским словом, ходило кругами, неумолимо приближаясь к неведомой запретной точке. И, наконец, жаром ударило в сердце; оно сбилось и замерло: что с отцом? Не спросил давеча второпях у сестры, есть ли письма от него, и она словно забыла сказать. Про Костю небось мигом наболтала:

— Друг твой жениться будет на Акульшиной.

— Тебя на свадьбу звали? — съязвил Сережка. — Откуда знаешь?

— От верблюда! Ребеночка она родит скоро, куда он денется?

— Ври?!

— Ничего не вру! У Шурки одна пуговичка на пальте уже не застегивается — вот!

Мать послунила пальцы, потерявила куделю, вплела в нее оборванную нить, пустила веретено.

— Вот и смерть пришла, — и словно забыла, о чьей смерти говорит, вопрошающе посмотрела на сына, потом вспомнила: — Да, померла Марфа Андреевна без сил — единой крошки в доме после не нашли, и дров — ни полена. Рассчитала, стало быть, что топить в зиму ей не придется.

Пять лет ходил в школу к Марфе Андреевне Сережка, совсем недавно, кажется, учила она его азбуке, учила писать, журила с улыбкой, когда он слизывал языком кляксу... И — нет ее больше на этом свете. Уже две зимы пропустил Сережка, началась война — кончилось его ученье: в шестой класс в Семеновку надо было ходить или в райцентр ехать, а тут работа навалилась. Так что была Марфа Андреевна первой и единственной Сережкиной учительницей и останется ею навеки. Что же такое творится — почему уходят хорошие, дорогие сердцу люди?

— Маленький ребеночек у Боковой Анны от болезни помер, — продолжала перечислять мать, — Бог прибрал, потому что всех не прокормить. И так еще, слава

тебе, господи, шестеро. Завидовали, бывалыча, ей, говорили: богатая, что ни год, то с прибылью. А теперь на убыль пошло: мужа убили, дитя померло.

— Что с папкой, мама?!

Мать перестала прясть, посмотрела на Сережку печально:

— Кто знает, сынок, что с ним? Последнее письмо еще при тебе было.

«Без вести», — вдруг явственно слышится Катин голос. Она говорит о своем брате, голос ее дрожит, наливается тоской и болью, усиливается и ударяет, будто язык колокола изнутри в горячую Сережину голову. «Не ве-рю! Без вести. Без...»

Вывалась из рук скрученная дратва, Сережка наклонился было за ней, но не поднял, выпрямился с трудом, чувствуя, что все вокруг него закачалось и поплыло, как на волне, и сам он стал невесомым.

— Что-то лицо у тебя разругалось? — мать, взглянув мельком на Сережку, воткнула веретено в куделю, поднялась со стула, приложила приятно-прохладную ладонь ко лбу сына. — Да у тебя жар! Господи, твоя воля...

На какое-то мгновение рука матери вернула Сережку в реальный мир.

— Ничего, мама, не бойся, я — крепкий, — сказал он и тут же почувствовал, как на него навалилась тяжелая беспросветная тьма.

Снова, как в городе два дня назад, Сережка погрузился в беспамятство, на этот раз надолго.

Глава 7

Две недели метался Сережка в бреду — вновь по команде лейтенанта Вахрамеева добывал под палящим солнцем тяжеленные бревна из реки, окунался в ледяную воду, проваливался в темный трюм и, ожидая удара о жесткое дно баржи, весь сжимался и покрывался потом. Но удара не последовало, и он все падал и падал вниз, преследуемый безжалостным взглядом из-под припухших прищуренных век. «Одним едоком меньше!» А потом долго, задыхаясь от напряжения, лез по бревну на мерцающий в вышине свет, но оскользался и опять падал, переживая ужас падения в сотый, а может быть, и в тысячный раз.

Временами бред перемежался сном. Сны тоже состояли из прошлого, но случались в них не только страшные дни и часы, но и светлые минуты, когда живы были все: и отец, и похожий на него замасленным комбинезоном Катин брат, и Марфа Андреевна — почему-то с ребеночком Анны Боковой на руках, и баба Фрося. Баба Фрося улыбалась Сережке всем своим морщинистым лицом и ласково звала:

— Иди сюда, родной, здесь хорошо.

— Да, иди к нам, — говорила и учительница и, поворачивая голову так, чтобы прядь седых волос, падавшая ей на лицо, не мешала видеть Сережку, зачем-то протягивала навстречу ему малыша.

Очнулся Сережка ночью. Тихо. Открыл глаза. Коптила лампа на столе, мать сидела рядом, уронив голову на сложенные на спинке стула руки, дышала ровно.

«Долго же я дрых», — подумал Сережка, смутно припоминая, что он, кажется, вставал и даже не один раз, куда-то двигался и что-то делал, а рядом с ним неотлучно была мать и руководила им.

Но Сережка ошибался. Мать обихаживала его только ночью, а днем она уходила на ферму, потому что скотину голодную и недоенную не бросишь. Заменить некем. Другие доярки и хотели бы помочь, но ни сил, ни времени у них на чужую группу коров не оставалось. Мать исхитрялась в эти дни делать все быстрее — выкидывать навоз, давать корм, доить — выкраивала время и прибегала домой два, а

то и три раза на день. Тревожно вглядываясь в сына, убеждалась она, что душа в нем еще теплится, давала наставления Нюрке и уходила снова, чтобы везти солому с поля, опять доить, крутить — по очереди — ручку сепаратора... Молоко в райцентр не возили: далеко и накладно, рассчитывались сливками и маслом. Эта круглосуточная круговерть, она знала, кончится однажды тем, что в свой час она тоже упадет и не поднимется. Но иного выхода у нее не было, от ее жизни зависела жизнь всех ее детей — не только старшего, и мать держалась; неизвестно, кто кого больше спасал: она их или они ее.

Сережка чувствовал легкость и невесомость в теле, будто бы бревна, которые так долго давили его, наконец свалились. Но одновременно с легкостью владело им ощущение немощности — надо бы повернуться, а он не мог, не умел этого сделать, как младенец, только что народившийся на свет. Еще он боялся потревожить сон матери, и потому лежал не шевелясь и старался дышать бесшумно.

Однако сторож, недреманно живший в ней, толкнул мать.

Она подняла голову, встретила взгляд сына.

— Слава богу! — выдохнула.

Сережка подумал, что сейчас мать заплачет, и деликатно отвернулся. Но глаза ее остались сухими, в них даже угасла вспыхнувшая было радость — так она устала.

— Желтый, — сказал Сережка, глядя на портрет в рамке.

— Что? — не поняла она.

— Надо сменить Сталина, пожелтел.

— Тс-с! — приложив палец к губам, мать оглянулась в испуге. Нюра и Мишук крепко спали. — Где теперь возьмешь? Потом. Ты только не говори им, ладно?

Вот так она и раньше: вскидывалась почему-то настороженно, если кто из детей произносил имя вождя, и останавливала строго, строже, чем когда задевали Бога:

— Нельзя!

Была какая-то тайна, которую взрослые хранили от детей: на людях почему-то имя Сталина они произносили часто и с радостью — во всех торжественных случаях, — а дома говорить что-либо о нем не позволяли.

— Есть будешь? — мать от усталости с трудом выговаривала слова.

— Пить. Молочка бы...

Мать помогла ему сест. У Сережки от движения все закружилось перед глазами, затуманилось, но вскоре прояснилось и стало на место. Она взяла со стола стакан:

— Кипяченое.

— Вкусно, — он осилил полстакана, и его потянуло к подушке, — парного бы испить.

— Нету парного, — мать с трудом отвела взгляд от оставшегося молока, — корова уже не доится. Это тебе Шурка принесла.

Она вернула стакан на место.

Сережка пошевелил мозгами:

— Сколько же я болел?

— Я знаю? — она разговаривала, уже не открывая глаз. — Долго.

— Ты ложись, — сказал Сережка.

Она покорно, словно бы только и ждала этих слов, побрела к топчану и, не раздеваясь, как куль, повалилась на него.

Отец, может быть, письмо прислал, а Сережка не спросил у матери и досадовал на себя, пока тоже не уснул.

— Ничего не прислал, — сказала сестра Сережке утром. — А мамка-то не встает.

Мать проспала утреннюю дойку, не поднялась к обеденной, и ни на какие попытки Нюрки разбудить ее не реагировала. Тогда Нюрка решила подоить коров сама.

— Вы поживите тут без меня, — сказала она братьям, — я пойду. Мишутка подаст, если чего понадобится.

Она уже оделась, но тут пришел председатель.

— Так, — сказал он вместо приветствия, — полный лазарет. Ты, значит, заместо матери пойдешь?

— Ага. Я умею, дядя Назар.

— Знамо дело, — председатель сел на табурет, поставил меж ног длинную палку, которой он пользовался, как посохом; когда Сережка уезжал на лесозаготовки, Назар Евсеевич в подпорках не нуждался. — Выручай, Аннушка, больше некому. Я сказал бабам, чтобы взяли по две-три из вашей группы, но остальные, значит, твои.

Нюрка ничего не ответила, ждала, что еще скажет председатель. Он молчал, словно забыл, где он находится, и думал лишь о том, как лучше прожить минуту покоя, столь неожиданно выпавшую ему. На впалом лице его, поросшем седой щетиной, застыло выражение заботы, которую не избыть вечно, даже тогда, когда Назар Евсеевич успокоится в могиле. Заметно сдал председатель за время, что Сережка не видел его.

— Ты хорошо дои, — наказал Мишук сестре, — а то дедушка Назар тебя палкой!

Младший брат долго смотрел на посох и наконец додумался, для чего он нужен.

— Она хорошо подоит, — пообещал без улыбки Назар Евсеевич. — А я не дерусь.

— Так мне идти?

— Да, иди.

Нюра ушла. Назар Евсеевич посидел в раздумье еще минуту, положил руку на плечико Мишутке, который, услышав, что председатель смирный и не дерется, осмелел и терся у его колена, вздохнул:

— Вот так, Михаил Павлович, давай расти скорее на подмогу: на тебя вся надежа.

Наказ Мишука сестре — хорошо работать — председатель примерил и на себя: все ли делает он ладом в хозяйстве, доживут ли колхозники до весны, не протянут ли бабы ноги? Кажется, навел малый на дельную мысль. Когда осенью рассчитались с государством и отвезли сверх плана — «наш подарок товарищу Сталину», — остались в амбарах, кроме посевного материала, кое-какие крохи, не учтенные уполномоченными. Хотел зажилить до весны этот остаток Назар Евсеевич, но бабы взяли его «за зебры»:

— Не крути, председатель, говори как на духу: семена с избытком?

— Какой там избыток... — начал было Назар Евсеевич.

— Подохнем, — предупредили бабы. — На ком тогда пахать станешь и кто будет сеять?

Известное дело: набить брюхо картошкой можно, но силы в ней нет; хоть сколь-нибудь хлебного добавлять надо, иначе — голодно: многие поколения на хлебе выражены, и без него люди слабнут. Порешили правленцы: выдать по сто пятьдесят граммов на трудодень работающему и по пятьдесят добавить ему на иждивенца. Но, чувствовал Назар Евсеевич, уполномоченный не зря в последний свой приезд в амбары заглядывал: глаз положил. Приедет перед весной «раскулачивать» — опять «на подарок» или соседям на сев заставит раскошелиться. На току, в стороне от других амбаров, стоит еще один, небольшой и негодный с виду: солома на крыше обдергана, дверь щелястая без замка и на одном крюке болтается — уполномоченный к нему не подошел, а там было что посмотреть. Амбар-то внутри на две половины разделенный, и вторая — исправна, с хорошим запором, и крыша на той стороне в порядке, но главное — все сусеки в той половине с зерном. С тем самым «излишком», который хотел приберечь председатель до самых голодных весенних

дней. Правильно мыслил: зиму бы и так протянули, а перед посевной поддержка ох как нужна! Но и не без греха была думка. Председатель отрешивался от нее, запикивал в самый темный угол эту грешную половину, но она и оттуда высывалась, как гвоздь, и раздирала душу: если слабые, которые не работники, до тепла не все выдюжат, то зачем на них хлеб изводить? Пусть уж больше пахарям достанется. Паскудная мыслишка, прямо сказать — сволочная, и слава Богу, что не по его воле вышло. Роздали зерно — отпала эта болячка, но все равно совесть мучает: кажется Назару Евсеевичу, что каждый покойник беспощадным судьей на том свете его дожидается: и воины, живые и мертвые, тоже спрашивают: «Как же ты допустил, председатель, что люди мрут?»

Какие у колхозников были глаза, когда в полной тишине на весы ставился очередной полупустой мешок, какое смирение — не забыть!

Брали зерно из всех амбаров понемногу, чтобы не очень приметно убывло. Людям все равно, из какого сусека им нагребут; амбарушко остался нетронутым. Тетка Манефа, кладовщица, помалкивает, раз молчит председатель, словно бы забыла, что у нее на отшибе амбар полный. Ушлая старуха.

Надо позаботиться, чтобы и в следующий приезд уполномоченный о том зерне не проведал. Спасибо мальцу, надоумил...

Назар Евсеевич коснулся ладонью Мишуткиной головы, поднялся со вздохом, пожелал всем Узловым здоровья и вышел.

Мать проснулась утром следующего дня точно в свой час, затемно, управилась, как всегда, по хозяйству дома и ушла на ферму. Там ей ничего не сказали, и она сперва не знала, что проспала сутки, только удивлялась, как это халат и подойник оказались не на тех местах, где она оставила их с вечера.

Глава 8

В тот день, вскоре после того, как ушел председатель, появился новый гость. Брякнула щеколда в сенях, почти сразу за тем распахнулась дверь в избу, и вместе с клубом морозного пара на пороге появился Костя.

— Ко мне не лезь, — сразу же предупредил он Мишутку, — я холодный!

Сдернув рукавички, сунул их в карман полушубка — отцовского, конечно, прошел и сел у койки, широко расставив ноги в больших серых валенках. Устроился основательно. Они некоторое время смотрели с Сережкой друг на друга, молча, будто знакомились заново. От Кости пахло табаком и навозом и веяло уличной свежестью.

— Женишься? — спросил Сережка.

— Кого там, — у Кости обозначилась на лбу морщина. — Женился.

— Че говорят? Рано?

— Хэ! Работать — так большой, а как жениться — маленький. На лесозаготовки — опять мужик.

— Когда?

— Прямо шас. Повидаться зашел, — Костя поскреб обветренный и уже слегка покрытый светлым пушком подбородок. — Как там, шибко тяжело?

— Есть маленько, — Сережка усмехнулся, кивнул на одеяло, под которым почти не было заметно его тела.

— Ага. Хорошо, что домой успел добраться, — Костя, отвернув полу, достал из кармана брюк кисет, повертел его в руках и сунул обратно. — Одна тетя Валя вернулась ничего. Правда, худая, как смерть, и кашляет, но это, говорит, пройдет.

— Как одна? — испугался Сережка. — А с Натальей и Аришкой что?

— Не знаешь? Наталья немного того, — Костя коснулся виска пальцем, — ее тамошний начальник спортил. Ну, Аришка не далась, так он ее поставил на место, где двоим мужикам не управиться было. Надорвалась. Болеет.

Костя опять вынул кисет, нервно теребя его, смотрел на друга глубоким незнакомым взглядом, будто прокурор.

— Вдовушек ему мало!?

Столько ненависти было в Костиных словах, что Сережка не посмел что-нибудь ответить,

— Моя говорит: «Все. У Аришки никогда уже не будет ребеночка». Ты можешь это понять? Нельзя бабе пуп рвать, не лошадь, — Костя опустил взгляд, стал разглядывать свой валенок. — Женчина — существо. Для другого назначена.

Костя помолчал, не поднимая головы, потом продолжил в ненарушенной тишине, словно бы не с Сережкой разговаривал, а с самим собой:

— Ну, мужики — ладно. Наше дело — воевать и угробляться. Но бабы и детишки чем провинились? — Костя оглянулся на спящую Александру Касьяновну, убавил голос. — Это как же надо людей ненавидеть, чтобы такую войну учинить?

Сережка надел полушубок, запахнулся, застегнул пуговицы, которые мать перешила для него чуть не под мышку, опоясался ремнем. Он сильно вытянулся за время болезни, полушубок отцовский наладили ему и шапку приспособили — стянули подкладку нитками, чтобы не болталась на голове. Одеваться надо тепло, чтобы опять не простыть, его недавно определили ездовым вместо деда Задорожного, который не умирал и не поправлялся.

Мучаясь между жизнью и смертью, дед Задорожный в лучшую минуту заботился о колхозных делах, главным образом о лошадях, наказывал Сережке, чтобы не обижал животных.

— Любить всякую тварь — это закон божий, — говорил дед, — он в живой душе посеянный и взрастает от ласки. Кто любит, того и ответно полюбит. Ласковый человек завсегда счастливый, сколько бы зла на него ни наворотили.

В худой час дед стонал и бредил в беспамятстве, собирался к Богу и спорил с ним и ругал его самыми поносными словами, ничуть не лучше тех, которыми костерил фашистов, когда узнал, что они пошли войной на нашу землю.

Сережка прошмыгнул в конюшню быстро, чтобы не напустить холода, приворил за собой широкую дверь, постоял, привыкая к полутьме. Конюх Антипыч, хромой допотопный старик, явился, конечно, на конюшню затемно, убрал катыши, дал лошадям сена, надел на морду Гнедому тощую торбу с овсом. Управившись, привалился к вороху сена в углу и придремал. Деревянный пол конюшни подмерз у дверей, но дальше воздух, заряженный ароматом конского навоза и пота, был значительно теплее, чем на дворе, и по-своему свеж.

Стараясь не шуметь, Сережка снял с кованого гвоздя, забитого в стену, хомут Гнедого, надел себе на шею, потом и дугу — туда же, в руки — седло и вожжи, вынес все, положил в кошеву. В Ждановке почты не было, и ему предстояла поездка в Семеновку с письмом, которое дал председатель с вечера, и с посылками на фронт, приготовленными сельчанами к Новому году. Посылки надо было забрать из правления.

Сережка походил вокруг саней, поджидая, когда жеребец управится с овсом: дверь конюшни отворилась, Антипыч высунул бороду:

— Запрягай. Поки ты собираешься, он свое схрумкал. Ага.

Сережка пошел за конем. Дед уже снял пустую торбу с морды Гнедого — тот недовольно мотал головой, не желая менять вкусный овес на холодные удила уздечки.

— Стой, говорю! Ага. Вот, на.

Сережка взял повод, снял со стены кнут, вывел коня, поставил между оглоблями: «Стоять!» — взял из саней хомут.

— Ага, — Антипыч прихромал следом, ему хотелось поговорить. — Ишь, стервец, овса ему. Завсегда так: кто возле начальства — тому хлеб, а кто пашет — тому сено, а то и солома.

Увидев перед собой сбрую, Гнедой привычно подставил голову. Сережка надел хомут, принес дугу, наклонился за оглоблей — конь косил умным глазом за Сережкой, изредка посматривал и на старика: куда девалась торба? Не углядел, повернул голову, дохнул Сережке в лицо, пошлепал недовольно большой влажной губой.

— Щас поедем, — сердце Сережки неизменно щемило, когда он видел в упор понимающе-терпеливые лошадиные глаза, ощущал тепло, исходящее от сильного тела животного, и чувствовал готовность его повиноваться малейшему желанию человека.

Гнедого Сережка любил особенно: конь был красив. Это чудо, что его не забрали в кавалерию — военный фельдшер-ветеринар нашел у коня какой-то серьезный изъян в зубах. Гнедого берегли, сколько можно, не впрягали в тягловую работу, холка у него не потерта, как у других лошадей, и спина не избита. Он не успел износиться и охотно, без понуждения, откликался на призыв к бегу.

— Подмогнуть?

— Сам! — Сережка продел в гуж конец дуги, обошел Гнедого, зацепил другой конец, быстро и ловко стянул дугу, упираясь в хомут ступней, затянул супонь, кончик ремешка завязал петелькой — все одним неразрывным движением.

— Ага, — одобрил Антипыч. — Ты, Сергей Палыч, в ту сторону шибко его не пускай, не дай ему упреть, а то застудишь, пока с почтаркой будешь заниматься.

— Ладно, — Сережка прыгнул в кошеву, и Гнедой играючи вынес сани со двора.

— Синё, — шурясь от сверкающего на солнце снега, Антипыч глядел с удовольствием, как из-под копыт Гнедого брызнули мелкие осколки, когда он взял с места. — Славный день.

Старик нисколько не обиделся, что Сережка не удостоил его разговором — так даже лучше: начнешь балаболить по пустякам, да вдруг и обмолвишься о том, чего никому говорить не следует.

А зудело. Очень хотелось похвалиться надежному человеку тем, какую они с председателем штуку втайне спроворили. Месяц тому назад или чуток поболее, когда сильных морозов еще не было, пришел Назар Евсеич на конюшню, повздыхал возле лошадей, которых в колхозе осталось мало, так что, если бы раздать их по дворам, как в пору единоличного хозяйствования, то ни одного справного крестьянина в деревне бы не оказалось — хоть всем миром ступай в батраки наниматься.

— Дожили до последней бедности, — Антипыч хорошо понимал председателя. — Как будем державу кормить? Сиротская наша жисть.

— Сироты и есть, — ответил Евсеич, проходя в пустовавшую часть конюшни и как-то по-особому, словно пробовал на прочность, ступая по земляному здесь полу. — Хороший хламник.

Поломанные сани и телеги, колесные ступицы, лопнувшая дуга, рванные хомуты и прочая рухлядь — все было здесь, наташили со двора: целее будет, что-то, если руки приложить, пойдет когда-нибудь в дело.

Антипыч хромал следом, силился уразуметь, что надумал председатель. Евсеич заинтересовался кривым и ржавым ломиком, поднял его, прислонил к стенке. Потом нашел совковую лопату без черена и ее с довольным видом положил возле ломика.

— Чего будем рыть?

— Вот и я думаю: ежли из дому лопату принести, то вся деревня начнет сообщать: «А что наш председатель и где копает?» Штыковую бы еще найти.

— Ага. Есть такая. Я небось чищу тут. И где будем закапывать?

Назар Евсеевич посмотрел на конюха недовольно:

— Ох и дошлый! Что собрался прятать?

— Я?! — Антипыч поразился, что председатель вдруг вздумал хитрить, когда дело ясное. — Амбарушко ты, я думаю, вознамерился опустошить. Давно пора. Манефа-то что говорит?

— Н-да, — Евсеич потрогал щетину на подбородке. — Ущучил. Безо всяких следователей.

— Ага, — приосанился дед. — В японскую меня два раза в разведку посылали, я все высмотрел и ни разу не попался. Да! Японец ворог хитрый! Не по-нашему gyrгочет, не по-русски думает — поди угадай его! Я...

— Ладно, — не стал слушать знакомую историю председатель, — тут не разведка, а партизанское дело. Набрось на свой роток большой платок, чтобы ни одна живая душа... За Манефу не бойся: она баба с мозгом, знает, чем тут пахнет.

Назар Евсеевич пробрался к стене, ткнул пальцем под ноги:

— Здесь. А там, где стоишь, надо отгородить соломой: коням будет теплее.

— Ага, понял. Будет сполнено!

На следующий день приступили. Оттащили старые сани в сторону, сдвинули телегу и рухлядь — копал председатель в одиночку, вечерами; Антипыч охранял, чтобы кто-нибудь нечаянно тайную работу не обнаружил. Верхний слой земли председатель откинул в угол, прикрыл соломой, а глину, в двойном куле, чтобы через дерюгу земля не трусилась и не оставляла следа, выносил с оглядкой в овражек за конюшней. Работал часа полтора-два, не больше, чтобы люди не обратили внимание, что председатель слишком долго где-то пропадает. Потом яму маскировали: кидали поперек нее две доски, на них — сани, телегой преграждали к яме ход. В первый же вечер Антипыч сказал:

— Однако, Евсеич, нам с тобой могилка получается, аккурат на двоих. Мелковата пока, дак углубим.

— Иди карауль, а то застукают нас тут, как тараканов на столе.

— Тама заперто у меня.

— Ступай, мало ли что: вдруг стучать начнут, а мы с разговорами не услышим.

Уходя, председатель напоминал каждый раз:

— Не болтай! Завяжи тряпкой рот, будто зуб болит, и молчи.

Дед рот не завязывал, но людей сторонился, что по довоенным временам вызвало бы удивление и вопросы, но теперь не казалось странным.

Больше двух недель готовил хранилище для зерна Назар Евсеевич, вырыл три отсека, укрепил стенки, утоптал дно, соломы настелил. Перед решающей операцией дал себе и деду два вечера для отдыха. Самое опасное было — перевезти зерно, чтобы никто не заметил. Мешки приготовили заранее, дождались вечера, к счастью, не очень холодного — снег под санями не сильно скрипел, и сделали две ходки. В следующий вечер — еще одну. Поверх соломы набросали, присыпали землей и хорошенько утоптали.

Манефа в деле не принимала участия, будто бы хворала, ключи от амбаров по такому случаю были у председателя.

Когда все кончили, сели в деннике на солому рядом, не веря благополучному исходу, посмотрели друг на друга. Евсеич пытался дрожащими руками самокрутку соорудить. Антипыч же с чувством перебирал косточки Господу и всему святому семейству.

Покурив, председатель успокоился, сказал усмехаясь:

— Что-то не пойму, Антипыч; только что ты славил Бога, а теперь хулишь. С чего бы это?

— Эвон сколь молчал, должен поговорить.

— Кары не боишься?

— Э-э, — махнул рукой дед, — с Богом я давно раскланялся, еще в твое германскую. Лежал, значит, в траншее раненый, весь в кровях, в дерьме, газами травленный, и беседовал с ним — всю правду-матку высказал: «Сатана ты есть, Господи, когда над христианами своими такую муку учиняешь. За что наказуешь? Наказание должно быть божеским — по справедливости, по содеянному. Где твое милосердие?» Ага. Много я ему тогда чего сказал. И через одно слово молитвы — два наших, солдатских.

— Ответил?

— Где ему?! Пыхтел в кулак — и только. Я так кумекаю своим маленьким умишком: нет у его власти. Навроде как у тебя: будто бы ты землей и нами владеешь, а на поверку от твоей воли — один пшик. Вот — дожили: у себя крадем! Самый дохлый районец с портфелем над тобой комиссар. Так и у его: он — Бог, председатель над человеком, а сатана — его уполномоченный — нами правит.

— Наговорился? — Назар Евсеевич загасил окуроч, положил его в карман, поднялся. — Теперь опять молчи, пока посевную не отведем. Будет невмоготу — зови меня, я тебя исповедую. Да. А лучше, если забудешь насовсем, что мы тут с тобой делали. Бывай здоров.

— Обиделся, что ли? А чего я такого сказал? — Антипыч проводил председателя до двери, напомнил: — Подругу-то свою не забывай.

Назар Евсеевич молчком взял поданную палку-посох и, тяжело опираясь на него, побрел домой.

Посылоч набралось семь — по числу фронтовиков, которые считались неубитыми; две — в небольших фанерных ящичках, видимо, с сухарями и салом, остальные — в тряпичных упаковках. Была здесь небольшая посылка и отцу. Рукавички шерстяные связала мать и носки, зашила вместе с табаком в неизношенный угол старой простыни.

Табак в Ждановке раньше не сеяли, бабы стали выращивать его уже после начала войны. Некоторые и курить научились, чтобы узнать, из чего более крепкий самосад получается — из листьев или стеблей? Говорили, что курево хорошо голод перебивает. Сережка пока не пробовал, мать не велела.

Писем от отца все не было, и посылку мать подписала на прежний адрес, полагая, что коли жив старший Узлов — должен быть живой, иначе прислали бы им посмертную весть, — то приписан все к той же своей части, а уж там знают, где его сыскать.

На выезде из деревни Сerezку остановила Петровна, старуха деда Задорожно-го, подала белый сверток, видимо, тоже с рукавицами и табаком, такими же подарками, какие были в большинстве посылок, сказала:

— Увезешь моему Ванечке, а?

Сerezка ничего не ответил, положил сверток в сани, в глаза Петровне старался не смотреть — трудно было видеть ее вопрошающий взгляд, в котором читалась мольба: «Не говори, что моего Вани больше нет!» — и: «Скажи, что он еще вернется!»

Сыновей у Задорожных было четверо, все ушли воевать; там их убивали по старшинству; когда очередь дошла до самого младшего — когда пришла похоронка на Ваню, — Петровна с его смертью не согласилась, тайком от своего старика продолжала писать сыну письма на фронт. Советовала младшенькому беречь себя, подолгу на сырой земле не лежать, а уж коли придется, то подстилать соломы или веток, чтобы не простудиться, как это случилось с ним позапрошлой осенью, когда он, умаявшись на току, уснул за амбаром. Лечиться теперь нечем, ни меду нет, ни варенья. И редька на огороде нынче не удалась, чем-то порченная...

На письмах Петровна фамилию сына не указывала, писала: «Самому храброму герою». Теперь вот и посылку собрала меньшому к празднику и адресовала ее все тому же герою.

Изредка Петровна получала ответные треугольнички, в них бойцы обещали: «Мы отомстим за Вашего сына, Мама!» Тогда Петровна на своих слабых ногах добиралась до правления и с торжеством в голосе говорила: «Вот — мне от Вани письмо пришло, прочитайте».

Бабы сморкались в платки, читали и плакали. А Петровна слушала их и светлела лицом, будто и вправду верила, что как только настигнет возмездие самого последнего врага, так и объявится ее сын среди живых, и пришлют ей с фронта самую радостную весть. Не могла она допустить мысли, что Задорожных извели под корень, и что со смертью старика и ее самой прервется навсегда их родовая ветвь.

Глава 9

За деревней — простор. И великая тишина. Казалось, вся земля, весь мир обрядился в два цвета — синий и белый — и отдыхал после праведных трудов.

Невозможно было поверить, что где-то грохочут пушки, рвутся снаряды, визжат пули и кричат и стонут люди.

Санний путь размечен кое-где точками конского навоза — словно на огромной белой странице оказались незаполненными судьбы, прерванные в далеких от дома краях, а взамен поставлены многоточия. Или это Сережкина линия жизни проступала пунктиром, уводя за собой неспешно, но и неотвратно?

Гнедой бежал легко, полозья скользили почти бесшумно, изредка выбивая на раскатах снежные фонтанчики. Душа купалась в сине-белом приволье. Сережка радовался солнцу, свету, движению; всей грудью вдыхал морозный воздух и с каждым вздохом чувствовал, что наполняются у него не только легкие, но и весь он ширится и растет, словно сказочный богатырь. И едет он средь искрящегося на солнце снега уже не на почту с посылками для фронтовиков, а в тридевятое царство на выручку тамошнего народа, и ждет его в тереме назначенная ему судьбой принцесса.

Прежде Сережка иногда вспоминал Катю, но без фантазий, ничего не добавляя к тому, как он ее видел в реальности. А вчера вечером, когда дома заговорили о поездке в Семеновку, что-то в нем дрогнуло, и воображение заработало, невольно подыскивая подходящую обстановку и слова будущей встречи.

О Кате подумала и мать.

Вечерами, когда начал выздоравливать, Сережка рассказал матери, как ему работало в городе и как он сумел добраться домой. Обо всем понемногу: о баржах и лейтенанте, о казенной кормежке, о попутной машине и ночевке в стогу; о семье, приютившей его на ночь, и, наконец, о селедке, которой он с ними поделился. Мать внимала ему молча, изредка покачивала головой, подтверждая, что так оно все и должно быть. Быстрые спицы мелькали в ее руках, подхватывая слова на лету и вплетая их вместе с нитью в вязанье. Когда он упомянул о пропавшем без вести хозяйском сыне, мать насторожилась, замерла на мгновение, будто петли считала. А имя девушки, показалось Сережке, повторила беззвучно; запомнила.

Сережкина поездка в соседнюю деревню ее встревожила.

— Ты... — начала было и замолчала.

Но Сережка сразу — не умом понял, а сердцем: почувствовал — о чем ее беспокойство. Мать не хотела, чтобы он встречался с людьми, чей родственник пропадает в неизвестности. Кроме суеверного чувства, что такая встреча — как и всякий другой грех, совершенный дома, — каким-то непостижимым образом навредит мужу, ее тревожила забота о детях. Если после многих дней неизвестности обнаружится, что старший Узлов тоже, как и Катин брат, пропал без вести, то потом ведь

могут припомнить люди, что между семьями безвестно пропавших отчего-то вдруг дружба завелась...

Раньше, когда взрослые чего-то недоговаривали, Сережка не обращал на это внимания — мало ли? У детворы и то свои тайны есть. Неизвестно, в какой момент он переступил черту, отделявшую его от мира взрослых, но теперь он знал, что в жизни их, простой и обыкновенной с виду, есть глубинное движение со своими перекатами и опасными подводными камнями.

Мать так и не сказала ему, чтобы он к знакомым не заезжал, отвела взгляд и ссутулилась над кухонным столом.

Хоть Сережка и не собирался неожиданным гостем опять явиться в чужой дом, но неосознанная надежда на случайную встречу с Катей где-нибудь на улице тлела в душе слабым огоньком и сладко томила душу. Припомнив безмолвную материну тревогу, Сережка притушил свой уголек.

Вольный воздух заснеженного простора все глубже проникал под полушубок, знобил тело; Сережка придержал Гнедого, выскочил из саней и, не выпуская из рук вожжей, побежал рядом.

Почта в Семеновке размещалась в деревянном домишке, который отличался от других деревенских домов лишь тем, что не стало, с некоторых пор, вокруг него ограды. Сережка подъехал прямо к крыльцу, захлестнул вожжи вокруг столба, стояк был новый, струганый, и одна ступенька была заменена чьей-то уверенной рукой, занес сперва посылки в ящичках, потом остальные, сложил все на специальный небольшой столик, сколоченный из некрашенных досок, пристроился за женщиной, которая уже отдала сверток за барьерчик и ждала с деньгами в руке, когда ей скажут, сколько надо заплатить за отправку.

Еще две женщины стояли в сторонке, сдали свое и, дожидаясь подругу, негромко переговаривались, переживая важное для себя событие.

В помещении было чуть теплее, чем на улице, топили, видно, мало, да и не каждый день, поэтому и та, что принимала посылки, была в фуфайке, застегнутой на все пуговицы; платок у нее сбился на затылок, и видны были темные волосы с мазками седых прядей на висках. Еще одна женская фигура, но без ватника, в серой длинной кофте, двигалась по ту сторону барьера: уносила посылки в чулан за небольшой дверью.

Сережкина голова была забита разными важными мыслями: надо было отдать председателю письмо, в котором какая-то серьезная бумага в район; он впервые отправлял посылки и не знал, требуется ли от него что-нибудь, кроме платы; сообщал, как ему не перепутать сдачу; волновался: не будет ли на этот раз среди писем письмо от отца? Он лишь мельком взглянул на ту, вторую женскую фигуру за барьером, и хотя она показалась ему знакомой, он не подумал — кто бы это мог быть?

— Сережа! Мама, это тот самый Сережка! — неожиданный возглас застал его врасплох, и он не сразу понял, что это относится к нему, а не к какому-то другому Сережке. И голос будто знакомый.

Он поднял голову и растерянно посмотрел на женщину в кофте, но она закрыла лицо руками и странно всхлипывала: то ли смеялась, то ли плакала — не разобрать. Внезапно до него дошло, что в старческих одеждах не пожилая женщина ходит, а — Катя. Оттого, что не ожидал ее увидеть здесь, она скользила для него серой бестелесной тенью и не задержала на себе внимание.

Сережка смутился. Но ему было приятно и радостно, что девушка его узнала; захотелось подойти к ней и спросить что-нибудь. Неважно что — узнать, может быть, ожила ли та старушка, что умирала на печи. Но он не посмел, постеснялся. Он только стащил зачем-то шапку с головы и, переминаясь на месте, ждал, когда она откроет лицо, и тогда он ей скажет: «Здравствуйте». Смутным облаком плавала в сознании мысль: «Почему она сказала: «Мама», если матери у нее не было?»

Не видел Сережка в ту минуту, как поднялась из-за стола и пошла по-за барьером к нему почтальонша. Она вышла к нему, толкнув ногой деревянную дверку, и, обняв, уткнулась лицом ему в щеку. Он не мог ничего сообразить; слабо вырывался, веря и не веря, что давняя полумертвая старуха и вот эта сильная женщина — один и тот же человек.

Катя подошла и смотрела на мать и Сережку сияющими глазами.

И бабы придвинулись. Они знали историю с селедкой, на деревне ее пересказывали со все новыми подробностями не один раз. Рассказывали, как чудесно излечилась жена Ивана Матвеевича, а еще больше — о том, что пришло на следующий же день, после ухода большеглазого и белоголового мальчишки, письмо от пропавшего сына Ивана Матвеевича, из госпиталя, сын оказался потерянным из-за ранения.

Старухи, верующие в Бога, утверждали, что не обыкновенный парнишка заходил в дом Ивана Матвеевича, а посланный Им, и не в селедке была исцеляющая сила, а в воле Господней, в слове заветном, которое тот парнишка знал.

— Ишь ты! — бабы радовались вместе с Катей и ее матерью и, удивляясь, что похожий на ангела мальчишка — не выдумка, только не малец он, а уже вон какой парень, дотрагивались до него в надежде, что им он тоже принесет счастье.

Катюша выскочила вслед за Сережкой на крыльцо:

— Сережа, письма!

Он положил письма в шапку, шапку опять надел, улыбнулся.

— Все молчишь. Даже не поговорили. Уже уезжаешь? Бабушка, знаешь, за тебя каждый вечер молится. Мамка с того дня как пошла, как пошла... Жить, говорит, хочу. А ты здорово вырос.

— Иван Матвеевич на работе? — придумал что спросить Сережка.

— Нет! Он воевать ушел! Отремонтировал — вот — крыльцо, и ушел.

— Да? А разве...

— Ой, его не звали. Сам. Сказал, что не старый еще, что мальцов берут, а он не хуже. За Сережку, говорит, за Васю...

— Мне не скоро. Я не успею.

— Ага. Мамка плакала: «Нас не жалко?» Да, у нас же радость: Вася нашелся в госпитале, скоро должен приехать...

— Замерзла, — перебил ее Сережка, видя, как она дрожит, — иди оденься.

— Л-ладно, — сразу согласилась она. — Погоди, я — живо!

Вот какая она стала, прямо песни поет! Да и у Сережки от известия, что Катин брат нашелся, будто обруч лопнул, сжимавший ему грудь.

Сережка отвязал вожжи, Гнедой обрадованно переступил ногами. «Тпру!»

Катя выбежала тотчас, вновь раздетая, только полушалок на плечи набросила. Спустилась на нижнюю ступеньку, совсем близко к Сережке, глаза вровень, лицо ее побледнело.

— Я знаешь что тебе хотела сказать?

— Что? — спросил Сережка и почувствовал, что краснеет.

Она потупилась, несколько раз чиркнула носком валенка по неистоптанному краю новой ступеньки, взглянула на него, не поднимая головы, словно хотела повиниться перед ним.

— Сережа, — сказала негромко, — ты, когда надумаешь жениться... возьми меня.

Сережка онемел. Она подняла голову, глаза были полны слез.

— Ты не думай... Я буду любить тебя и всегда-всегда буду жалеть.

Сережка продолжал стоять столбом. Вдруг она качнулась к нему, поцеловала прямо в губы, оттолкнулась, вихрем влетела на крыльцо и скрылась за дверью.

От неожиданности и от толчка Сережка сел в кошеву. Гнедой принял это как команду возвращаться домой и рысью взял с места.

В голове у Сережки все помутилось. Вот, думал он, Костя уже совсем мужик — шестнадцать лет, и дитенок скоро у него родится, а кто он Шурке? Пока что не муж. Вернется с лесозаготовок, тогда, может быть, станут жить вместе.

Мать Костина в последнее время к Шурке переменялась. Разговаривает ласково и домой к ней заходит, чтобы по хозяйству помочь. Неповоротливая нынче Шурка стала, как баржа, одна не справляется, а старики ее немощны: отец давно болеет, а недавно мать от простуды слегла.

— Правильно, — говорят бабы, видя такую перемену, — о внуке пора позаботиться, родная кровь.

— И сына определить, пока не избаловался...

Но Константину что? Он самый младший в доме, а Сережке рано о собственной семье думать, надо сперва Нюрку с Мишуком поднять; матери и так тяжело.

Сережка сидел, свесив ноги из саней, пока Гнедой не вынес его за деревню, а потом им овладело беспричинное веселье, он засмеялся, поднялся на ноги, прибрал вожжи; конь, почуяв хозяйскую руку, прибавил ходу.

— Э-эй! — одобрил коня Сережка, покрутил кнутом над головой, и они помчались.

Полозья саней бились о выбоины на поворотах дороги, словно стремились выбросить возчика на белоснежную простыню поля, но Сережка стоял крепко, грудь его распирало от восторга быстрой езды и непонятной гордости. А когда они влетели в белоствольный березовый лес и деревья хороводом заплясали вокруг саней, Сережка и вовсе захлебнулся радостью и забыл на время о всех бедах и напастях: о войне, о полуголодном житье, о письмах в шапке, на которые он не взглянул и не знал пока, кому добрые вести шли, а кому — страшные.

Фронтовые письма были без конвертов, писали их на одной стороне листка, складывали листок треугольником, сверху — адрес; если кому надо проверить, о чем пишет боец домой, пусть разворачивает и смотрит. Горе шло осиротевшим детям, женам и матерям в аккуратных казенных конвертах, заклеенных и со штампом вместо обратного адреса. Одно такое письмо вез и Сережка в Ждановку.

Неожиданно конь притормозил, всхрапнул и рванул вперед с удвоенной резвостью. Сани дернулись. Сережка едва устоял на ногах.

Показалось Гнедому, что за деревьями мелькнула серая тень, или ему почудились запахи зверя, но он помчался от опасности во весь опор. Страх его невидимой волной окатил и Сережку. Но только мгновение озноб погулял по спине, Сережкино настроение оказалось сильнее — он не запаниковал и не утратил радостного ощущения жизни, крепче сжал вожжи левой рукой, надел ременную петлю кнутовища на правую. Кнут — серьезное оружие. Сережка оглянулся — преследователей не видно; на всякий случай сделал пробный замах и...

Кончик кнута предательски обвился вокруг ветки, рывок — и земля встала на дыбы: Сережку винтом выдернуло из саней. Сани уже выкатывались из леса и поровнялись с последней березкой, она и встретила ездока.

Сережка ударился затылком и распластался на рыхлом снегу; кнут тихой змейкой соскользнул с ветки и одновременно с хозяином послушно лег рядом; письма разлетелись веером; березка окропила Сережку снежинками со своих ветвей, но это ему не помогло, он потерял сознание.

Конь, дико кося глазом, надал еще; кипела грива, летел снег из-под копыт — безмерный ужас пустых саней подгонял его. Гнедой со всего хода влетел на конный двор и встал, как врос, перед изумленным Антипычем.

Старик, задрав бороду, некоторое время всматривался в пустую кошевку, словно надеясь, что Серега учинил шутку и сейчас объявится, потом запустил матюгом, метнулся к конюшне, ухватил наперевес прислоненные к стене вилы, свалился с ними в сани:

— Пошел!

Когда Сережка очнулся, то не смог двинуть ни рукой, ни ногой. Боли он не чувствовал, но все в нем онемело и замерло, будто во сне, в котором надо бежать или обороняться, а страх сковал тело. Даже память не могла пошевелиться, и он не помнил, почему и для чего он лежит здесь. Видел березу над собой и синее небо, и в голове было так же просторно, как вокруг.

Вынырнула из леса стайка снегирей и уселась на ветках — перед тем, как покинуть лес и отправиться на поиски корма в другие места или, поразмыслив, вернуться обратно. Красиво, будто яблоки в райском саду.

Ветерок приметил нарядную березку, подвернул с поля, обошел вокруг, погладил светлые Сережкины волосы, обнаружил письма, потрогал, нашел себе по силам — широкое, в конверте — да и улизнул с ним. Унес письмо, написанное незнакомой рукой, о том, как долго страдал от ран и ожогов сержант Узлов и умер, и похоронен далеко от фронта и вдали от дома. Унес письмо как последний привет пахаря осиротевшему полю; или, может быть, ветер позаботился о его родных, чтобы они не узнали о постигшем их горе.

Вилы не понадобились. Антипыч остановил коня, испуганно косящего в сторону распластанного под деревом человека, поспешно вылез из саней и, проваливаясь в снег, закутыхал к Сережке. Присел рядом:

— Ты чегой-то?

— А? Сейчас, отдохну чуток.

— Ага, — Антипыч взял Сережку за плечи, с трудом посадил. — Я думал: волки. Язвы их!

Сережка засмеялся — почувствовал: руки-ноги вернулись к нему.

— Снегири улетели.

— Ха-ха, — старик отозвался булькающим смешком, — снегири? Испужал, чтоб тебя черти не утащили!

Антипыч подобрал шапку, отряхнул ее от снега, нахлобучил Сережке на голову.

— Ой! — Сережка пощупал затылок. — Шишак хороший.

— Ага. Заживет, ничо.

Антипыч увидел письмо в снегу, потом еще два, поднял; шурясь, осмотрелся кругом, спросил озабоченно:

— Все, что ли?

Сережка стал на колени, потом поднялся, покачал головой, будто проверяя, не выплеснется ли из нее что-нибудь; на старика посмотрел растерянно — не знал, что ответить. Он помнил выражение Катиного лица, руку, протягивающую письма, но сколько их и какие — забыл начисто.

Глава 10

Март выдался таким же строптивым, как и февраль. В первых числах пригрело, на солнечной стороне дома, на завалинке, снег потемнел и прохудился, с крыш свесились сосульки, возле крылечка после полудня образовывалась лужица, которая к вечеру застывала и хрустела под ногой. В последующие дни ветер понатащил с севера туч, стал вытряхивать из них густые хлопья снега; снег укутал все дома и всю землю заново. Временами снегопад прекращался ненадолго, выглядывало солнце; а потом снова ветер хлестал по просторам и вновь затевал снеговую канитель. За несколько дней до апреля зима выдохлась окончательно, отдельные облака высоко в небе уплывали на восток, воздух резко потеплел, сугробы обмякли и стали оседать, того и гляди, побегут ручьями.

Сережка в предпоследний мартовский день закрутил наконец последнюю гайку, залил в бак три литра керосина, с трепетным сердцем попытался завести трактор. Бился он с полчаса, пока не понял, что надеждам его не суждено сбыться. Двигатель даже не чихнул по-настоящему ни разу. Сережка вышел из сарая на волю, обессиленно опустился на черный от мазута чурбак, привалился спиной к саманной стенке и замер.

Незадолго до того, как он осознал свое поражение, свидетели его позора разошлись, но все равно на душе было тяжело.

На него надеялись... Антипыч ушел к лошадям, управить их на ночь; Манефукладовщицу лихоманка приносила зачем-то на мехдвор — тоже ушла, молча, но уж в деревне поговорит; новый председатель, Семен Тимофеевич Гриньков, оставляя круглые следы на мокром снегу, удалился на своих обрубках, тоже не обронив слова. Только Гошка Буркин, здоровый глуповатый парень, всегда сонный и свирепо голодный Сережкин помощник, остался возле трактора, там дотлевал костерок, и Гошка млел над ним, чтобы тепло не пропадало зря.

Отцовский трактор, железный конь на четырех колесах, перешел к Сережке от Мишки Жданова. Мишку, вскоре после наступления нового года, взяли в военное училище. Полных восемнадцати ему еще не было, но для училища это, стало быть, неважно. Гошку тоже вызывали в военкомат, но он военному начальству чем-то не показался, и его развернули домой. Райвоенком сказал, что Гошке надо созревать, что до Гитлера он не успеет добраться, из чего Гошка сделал вывод, что война скоро кончится. Он был немного разочарован, потому что надеялся, что на фронте кормят лучше, чем дома; но раз скоро победа, то Гошка готов и потерпеть: после победы, говорят, хлеба будет вдоволь. Сережке он подчинялся безропотно: Сережка должен был довести до ума начатый Мишкой Ждановым ремонт трактора, вспахать весной и засеять поле, на котором вырастет тот самый долгожданный хлеб.

Помощник из Гошки аховый. Подтащить, поддержать — куда ни шло, а вот гайку открутить или завернуть ему не дашь. Никак не мог он запомнить, в какую сторону ее воротить надо. Сила есть, раз сорвал резьбу, другой, а больше Сережка ему ключ не доверил. А у самого мощи не хватает, все руки в кровь избил, наплакался под трактором втихаря...

И — не заводится.

Две бочки керосина Назар Евсеевич припас еще с осени; неизвестно, где до был поршень с кольцами — с третьего или четвертого захода, в последний раз, говорят, увез из дома добрый кусок сала и с полпуда пшеницы.

Эта пшеница, наверное, его и сгубила.

Однажды Сережка подслушал нечаянно разговор Назара Евсеевича с конюхом. Председатель сказал:

— Ну, держись, Антипыч! — тот поднял вопросительно бровь. — Едут, — добавил Назар Евсеевич.

— Ктой-то донес?

Председатель помолчал, устало вздохнул:

— Никто не донес, там — поднял палец кверху, криво усмехнулся, — все известно. — Ты Бога костерил?

— Дак за дело. Ага.

— Вот и он нас — за дело...

Уполномоченный, как и предполагал Назар Евсеевич, предложил «оказать помощь государству» хлебом.

— Так нечего сдавать, у нас на посевную только-только.

— Никаких излишков?

— Помилуй Бог, откуда? — Назар Евсеевич повернулся к кладовщице. — Давай, Манефа, книги.

Она вздрогнула, хоть и ждала наготове с толстыми амбарными тетрадами, протянула их председателю, который сидел сбоку стола, Назар Евсеевич передал тетради уполномоченному, тот занимал председательское место. Уполномоченный полистал замусоленные страницы, сделал вид, что удостоверился в правильности записей, повернулся к своим спутникам:

— Нету у них лишка.

Вместе с уполномоченным были еще двое. Один — известный всей деревне милиционер Санько, другого, с усами и в гражданском сером костюме, Назар Евсеевич видел впервые. Они устроились возле печки, которая топилась в конторе по случаю приезда начальства. Оба ничего не ответили, только усатый кивнул головой — понятно, мол.

Потом уполномоченный спрашивал поочередно колхозниц про зерно, получали или нет? Бабы не отпирались. Давали, как же. Сколько? Дак мало совсем. А точнее? И кто распорядился? Писал у себя в бумагах.

Покончив с допросом, опять обратился к председателю:

— Так что же получается, Назар Евсеевич, хлеб по домам растащили, а говорите, что сеять нечем будет. Нехорошо обманывать государство.

— Почто обманывать? — обиделся председатель. — Нам это не годится, на вранье не проживешь. А хлеба дали немного за трудовни. Надо народ пожалеть, совсем-то без хлеба нельзя.

— Ах, вон что! Пожалел, значит. Была такая директива? Не было? — повернулся в сторону печки. — Что будем делать с этим жалельщиком?

Тот, что в гражданском, проверил большим и указательным пальцами щеточку усов, сказал нехотя:

— Пусть соберет.

— Нечего собирать! — Назар Евсеевич приложил руки к груди. Ему казалось, что этот человек немного сочувствует ему. — Сколько было той выдачи? Съели давно.

— Ладно, — уполномоченный решительно положил ладонь на лист бумаги, — напиши, сколько пудов вы обязуетесь сдать ко дню нашей славной армии, и — дело с концом!

— То есть как? — Назар Евсеевич попытался заглянуть уполномоченному в глаза. — А сеять чем станем?

— Ты мне эти кулацкие штучки брось! — окрысился тот. — Нашел, что раздать, найдешь и сеять. Иначе... — побарабанил пальцами по столу.

Назар Евсеевич свесил голову низко-низко, худые плечи его торчали, как стропила, руки комкали шапку.

— Ладно, — сказал глухо, — пишите документ, что распоряжаетесь сдать зерно, я — сдам.

— О! — усатый первый раз взглянул на председателя с интересом. — Свежая мысль! — поднялся, прошелся к окну и обратно; на ногах у него белые бурки, и ступает он ими по некрашеному полу мягко, неслышно, будто боится нарушить тишину, в которую он аккуратно укладывает неторопливые тяжелые слова:

— Придется, товарищ председатель, поехать с нами. Поговорим обстоятельно — ты слишком умный.

Домой Назар Евсеевич не вернулся. Дней десять спустя, уже в марте, позвонили из района и сказали, что надо выбрать нового председателя. Кого выбрать — не сказали. Пришлось решать самим, и новым председателем стал фронтовик Гриньков.

Первая встреча Сережки с Семеном Тимофеевичем произошла в начале зимы, в тот день, когда он вышел после болезни на улицу. Был тогда Сережка слабым, голова слегка кружилась, и когда он глянул наискосок через дорогу, то решил, что опять бредит. Над плетнем двора Гриньковых сам по себе гулял топор. Сережка

крепко зажмурился, постоял так немного, открыл глаза — видение не пропало. Он пошел потихоньку туда и увидел, что во дворе коротконогий человек, обутый в безносые кожаные самоделки, одетый в зеленую стеганку, мощными ударами крушит ограду. Оттого, что ноги у него заканчивались сразу ниже колен, руки казались несуразно длинными.

— Сергей, что ли? — мужчина опустил топор, оперся на него, как на трость. — Узлов? Ишь ты, вырос. Ну, заходи.

— Здравствуйте, дядя Семен, — Сережка тоже узнал соседа. — Что вы делаете?

— Дрова заготавливаю. Пока голова думает, как жить дальше, руки должны работать.

Первое время после возвращения домой Гриньков больше сидел в избе, в колхозе дела ему не находилось. Он мог бы, например, шить хомуты или гнуть дуги, да не было такой надобности. Так и просидел несколько месяцев — домохозяином. Потом, незадолго до того, как увезли Назара Евсеевича, по деревне новость прошла:

— Безногий бабу свою обрюхатил, — говорили с осуждением будто, но и с усмешками — чему-то радовались люди.

Когда встал вопрос о новом председателе, не долго думали и не спорили — мужика надо ставить — выбрали Гринькова.

Гриньков тоже, как и Назар Евсеевич, человек хозяйственный и разумный; другое дело, что оказался нервным недавний солдат, вспыльчивым. Но на Сережку он не шумел, может быть, потому, что сам в технике разбирался слабо, а точнее — никак.

Первое время Семен Тимофеевич до правления на санках добирался, в которые жена впрягалась, однако это — непорядок, Антипыч стал Гнедого к председательскому двору по утрам подавать. Все же, случается, когда недалеко, Гриньков и на своих двоих ковыляет, небольшой тросточкой-самоделкой помогает и идет себе.

Снова приезжал уполномоченный, на этот раз с одним милиционером в сопровождающих, заставил проверить наличность семенного фонда. Вместе с Семеном Тимофеевичем два дня неотступно стоял в амбаре возле весов, рядом с Манефой; когда работу закончили, ничего не сказал, кривил губы и смотрел задумчиво и рассеянно.

— Как там наш Назар Евсеевич? — отважился и подступил к нему Антипыч, хотя, признаться, на ответ не надеялся.

— Болеет, — лаконично сказал уполномоченный.

— Ага. Хворает, дело известное.

Потом Антипыч изловил за амбаром и милиционера и задал ему тот же вопрос.

— Отправили туда, где похуже, — Санько успел выменять в деревне на кусок материи добрый шмат сала и полкуля картошки и был настроен благодушно. — Чтобы не умничал.

— Гдей-то может быть хуже? — поинтересовался Антипыч, но на этот вопрос ответа не получил.

В тот день, когда увезли Назара Евсеевича, Антипыч показал Сережке, как главному теперь колхозному пахарю, где находится тайник с зерном.

— Ежли что, ежли и меня заметут, — Антипыч был готов к такому повороту дела, — то знай: здесь семена. Ага. А наказ председателей такой: пустошку за овражком распахать и засеять. Землица там отдохнула, хороший урожай будет.

Но Антипыч остался вне подозрений уполномоченного: глаза у старика слезились, когда его о чем-нибудь спрашивали, он прижимал плечом здоровое ухо и выставлял другое, контуженное, не слыша того, о чем его спрашивали, вполне натурально отвечал невпопад; стар и глуп — ясно было любому приезжему.

Ну и председатель в тех разговорах, для которых его пригласил в город человек в сером, про Антипыча, похоже, не упомянул.

Ждановка осиротела без Назара Евсеевича, оставался он в деревне как бы за отца — всем, от мала до велика. Свет померк для Сережки и мир пошатнулся, когда тронулись от крыльца правления сани, в которых горбился, отворачиваясь от людей, председатель.

Сережка решил написать письмо товарищу Сталину, попросить, чтобы защитил Назара Евсеевича, потому что председатель у них хороший и все силы кладет для народа и для всей страны. Он даже спрятал часть семенного зерна, чтобы по норме сеять, а то у них всегда семян не хватало; осенью большой урожай можно...

Подзабыл за два года Сережка грамоту, правда, и раньше в грамматике не слишком был силен — как посылать дорогому вождю письмо с ошибками? Стыдно. И все равно бы написал Сережка письмо, но откладывал, потому что надеялся сперва, что Назара Евсеевича все же отпустят домой. Разберутся и отпустят. Но вдруг по деревне стали шепотом передавать друг другу новость, будто бы умер председатель в городе. Известно, мол, это от надежного человека.

Так быстро все свершилось... Никакое письмо уже не поможет.

День догорал. Солнце укатилось далеко на запад и там опустилось на снег, снег заалел. Земля, перечеркнутая длинными теньями, готовилась к ночи, последней, может быть, перед окончательным наступлением весны.

Буркин спросил у Сережки разрешения и ушел домой. Сережка, разогретый было возней с трактором, чувствовал, что скоро начнет мерзнуть, но не шевелился. Околет — так ему и надо! Плохой из него ремонтник, не сумел запустить трактор. Как теперь смотреть в глаза людям? Конечно, колхозники и без Сережки справятся с весенней страдой, и если даже последние лошади передохнут — на себе вспашут и засеют поля, без хлеба армию не оставят. Но какой ценой? И так уже, наверное, ни одного здорового человека в деревне не осталось. Когда все бабы надсалятся, что же тогда им делать — идти вслед за Петровной по миру? А кто милостыню будет подавать?

С недавних пор старуха деда Задорожного ходит по деревне с сумой. Горькая доля выпала Петровне — горше не придумаешь, но жизнь окаянная так повернулась, что ударила еще сильнее.

А сперва была великая радость: письмо пришло старикам от младшего сына, живым оказался Ваня — раненый был, на командира учился — похоронка на него, значит, была ошибочная и этим письмом, стало быть, отменялась. «Жив сынок!» У Петровны не оказалось вдруг слов для выражения своего счастья, она молча смотрела сквозь слезы, как робко брали письмо в руки овдовевшие женщины и, шевеля губами, вышептывали из его строк и для себя надежду. И муж ее, дед Задорожный, лежал просветленный, как дух святой, торжествовал:

— Вот она, мать, справедливость! Мы — есмь! — и добавлял тихо: — Дождался я, теперь можно и на покой.

И верно: через три дня старик успокоился навеки. С легкой ли душой отправился к старшим своим сыновьям или предчувствие подсказало ему, что в войне справедливости не может быть, — Бог весть.

Петровна свыклась с мыслью, что муж ее должен был вот-вот умереть, но он не умирал. И к этому она тоже привыкла: коли уцепился за самый краешек жизни и держится — вознамерился, стало быть, терпеть такое свое положение долго, делить с ней горе горькое до конца дней, до какого-то окончания всех людских судеб. И вдруг, когда Господь сжалился над ними, вернул одного сына, муж покинул ее, оставил без поддержки — радость тоже ведь подкосить может.

До чего же холодна земля, до чего тверда!

Два дня долбили ломиками мерзлоту, пока добрались до мягкого слоя. Как же, думал Сережка, зимой воевать, как окопы рыть и траншеи? И как можно усидеть в том стылом окопе хоть один день?

Не прошло девяти дней после смерти мужа, а уж получила Петровна другую похоронку на Ваню, на этот раз с письмом от его фронтовых товарищей. Надежды на ошибку в этот раз не осталось — к письму была приложена фотография в утешение, на ней видно: пожилые командиры возле Ваниного тела стоят и скорбят о погибшем.

— Глазыньки твои ясные закрылись, — причитала над фотокарточкой тетка Манефа, старухи сидели вокруг, как на похоронах, — руки белые, крылья лебединые опустились, резвым ноженькам не измять траву...

Петровна будто окаменела с тех пор, ни один мускул не дрогнет на ее лице. Ходит она опираясь на палку и трудно переставляя ноги, переступив порог, подавания не просит, словно бы задумалась о чем-то глубоко и ненароком зашла.

Беда приключилась по осени, когда дед Задорожный был на лесозаготовках. Тогда соседи помогли Петровне убрать урожай с огорода, да Петровна плохо укрывала погреб, поморозила картошку. Обнаружилось это зимой, когда картошка из подполья была съедена, и в него перетасили ту, что хранилась во дворе. Оттаяла в тепле картошка и загнила.

Петровна постепенно, день за днем обходит деревню, сегодня два двора и завтра два. Кто сырых картофелин даст, кто вареных, кто соли щепотку, кто пару спичек. Потом хозяйка дома обязательно скажет:

— Возьми там.

И тогда Петровна, выйдя во двор, бережно, как хлеб, заворачивает в припасенную мешковину каравай кизяка. Без тепла в доме, как без пищи, не проживешь.

Женщины говорили меж собой, что хорошую пенсию старухе Задорожной должны дать — за офицеров, мол, больше платят, чем за солдат. Жизнь человеческая имела установленную цену в рублях, строго в соответствии с тем мундиром, какой был на войне, когда он исполнил свой последний долг.

Петровна в своем забытии не думала о деньгах хлопотать, Манефа взяла эту заботу на себя. Но пока бумаги через сельсовет в военкомат ходят — и куда там еще? — Петровна ходит по дворам. Да что деньги? Когда хлеба нет, его и за тысячи не купишь. И печку рублями не истопишь. И видно: Петровну хоть золотом осыпь, хоть яствами ей дома стол устави, она все равно будет ходить за подаванием — такая теперь у нее стезя. Когда очередь до Узловых дошла, мать забеспокоилась: вдруг Петровна не придет? Испокон веков в деревне помогали сирым и убогим, обидеть же их считалось за грех. Хотя, казалось бы, зачем нужны миру эти жалкие ущербные люди, от которых никакой пользы нет, одна тоска? Какой смысл отрывать кусок у своих близких ради тех, чей скорый конец предопределен? Не равносильно ли это тому, как если бы люди, страдая от жажды, взялись поливать дерево, ветви которого обломаны, а корни засохли?

Но подавали, значит, смысл был. Быть может, самый главный, соединяющий через сострадание и милосердие душу человеческую с бранным его телом и, после этого, людей между собой. Только такое, на грани самоотречения, бытие дарует людям подлинную свободу и силы противостоять самым тяжелым испытаниям.

Мать, как и другие женщины в деревне, посчитала бы, что на семью ее пало заклятие, что они в чем-то нарушили главный закон жизни, если бы Петровна обошла их дом.

«Краник!» Сережку аж подбросило от догадки. Отец ли придумал и впаял под баком второй, потайной, краник, или на заводе он был поставлен, Сережка не знал, но вспомнил, что спрашивал отца когда-то, зачем перекрывать горючку в двух местах. И ведь снимал бак для промывки, видел и повертывал рычажок, как же забыл-то?!

Первый выхлоп, как выстрел, а потом двигатель затарахтел ровно. Прошивая сумерки до самого дальнего края деревни, и дальше вел строку — в поле, в небо, в мирную — сытую и счастливую — жизнь. Не только у Сережки учащенно забилось сердце, когда трактор завелся, во всех домах напряженно прислушивались: не прервутся ли снова давно позабытые звуки? Сережка представил, как сестренка Нюрка замерла, затаив дыхание, среди избы, а Мишук изумленно вытаращил глаза; мать, наверное, перекрестилась: «Слава Богу!» Зато Антипыч сразу доверился тракторному рокоту, хитровато прищурился и, выставив большой палец, подмигнул старухе: знай, мол, наших!

Как он не своротил стенку — не понять, ничего не видел от волнения и радости. Выехал из сараюхи, сделал круг по двору, другой, нарисовал восьмерку...

Обратно въехал аккуратненько. Заглушил мотор. Тишина. Только стучит в висках, да в ссадинах отяжелевших ладоней торкается боль. Устал. Устал безмерно, до полного опустошения. Радость погасла, потускнели и отодвинулись в прошлое, как в далекое детство переживания минувших дней. Что-то в нем свершилось окончательно и бесповоротно, будто отворилась перед ним дверь, в которую он стремился, пропустила и закрылась беззвучно за спиной. И нет дороги назад, а впереди опять все то же: трудная бесконечная работа и ожидание.

Без всякой связи с тем, о чем думал, чем жил все последнее время, представил вдруг: у Кати в руках было четыре письма. Антипыч подобрал из снега только три. И Сережке, только что переступившему порог невидимой двери, стало ясно: то, пропавшее, было об отце...

Куталась в сумерки опечаленная земля. Ветер отыскал где-то вытаявшую из снега полынь и донес ее горький аромат под крышу вместе со свежестью весеннего поля. Поле, поле. На дальнем конце его, у березового колка, виделась Сережке заветная поляна, на которую никогда уже не придет отец. Там, в память об отце, о всех погибших на фронте и умерших в тылу, обильно зацветут ковыли, серебристо-светлые, чистые. Земля всех приняла и простила: деда Задорожного и его воинов-сыновей, бабу Фросю и младенца Анны Боковой, учительницу Марфу Андреевну и Назара Евсеевича...

Когда-то вырастут новые поколения, не изведавшие голода и холода, нечеловеческой усталости и смертельной тоски о погибших — этих спутников войны, будет вырублен в беспамятстве березовый лесок и распахана ковыльная поляна. Да и поле захиреет, и деревня. Но это — потом.

А пока Сережка ясно видит, как зеленеют и колосятся хлеба, слышит, как звенят жаворонки в синеве, чувствует, как похрустывает под ногой осенняя стерня, на которой в отдалении пасутся степенные серые журавли; на утренней зорьке журавли покинут поле: поднимутся в небо, выстроятся клином на юг, уронят на землю прощальный привет и растают вдали; в родные края птицы вернутся весной.

Война уходила на запад. Война должна была умереть там, где родилась.





НЕЛЛИ
МАТХАНОВА

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

Повесть



Вера Петровна Яскина защищала кандидатскую диссертацию в Москве, в Институте психологии Академии наук. Она улетала с тяжелым сердцем: накануне отъезда дочь, восьмиклассница Арина — в семье ее с детства звали Ришей — неудачно упала на лыжных соревнованиях, повредила мениск, растянула связки и теперь лежала с загипсованной ногой.

Вера Петровна, уже одетая в пальто, на минутку присела на краешек кровати, взяла горячую Ришину ладошку, прижала к щеке и слегка подула на пальцы, но дочь не откликнулась на материнскую ласку. Взгляд ее запавших глаз был рассеяннотсутствующим, перебегал с места на место.

У Веры Петровны от жалости слезы подступили к глазам, но, опасаясь выдать свои чувства и расстроить дочь, она заговорила излишне громко, в своей обычной уверенно-снихождительной манере старшего, как привыкла разговаривать со студентами:

— Что тебе, малыш, привезти из Москвы? Кроссовки? Свитер? Не раскисай, Риша, с болезнью нужно бороться, все не так страшно, как тебе кажется. Обещай мне, малыш, что будешь вести себя хорошо и раньше времени не встанешь с постели. С тобой остается папа, днем, пока он в клинике, будет заходить Софья Марковна. Я ей все наказала и объяснила, где что стоит в холодильнике. — Вера Петровна наклонилась и поцеловала дочь в лоб. — Малыш, ты умница, и понимаешь, работа не спрашивает, больны мы или здоровы. Есть обстоятельства, что выше нас, и мы вынуждены им подчиняться. Мне необходимо быть в Москве, пройдет каких-нибудь десять дней, и я снова буду дома.

Дочь молча кивнула головой, и потная ладошка выскользнула из материнских рук.

Чувство вины не покидало Веру Петровну, пока она ехала в аэропорт, стояла в длинной очереди на регистрацию рейса, шла через контрольный электрический хомут. Сзади в толпе провожающих мелькнуло напряженно улыбающееся лицо мужа с бледной одутловатой кожей, словно высосанной сухим стерильным воздухом операционной. Юрий Михайлович приподнялся на носки, чтобы быть повыше, близко-руко шурился, пытаясь разглядеть жену среди пассажиров, и махал рукой куда-то в пространство.

Сам он не любил отлучаться из дома и болезненно переносил отъезды жены и дочери. Это чувствовалось и сейчас по хмурому, недовольному выражению его усталого лица с неестественной, будто приклеенной улыбкой, по тому, как он старался держаться подчеркнуто независимо, стоя в стороне от провожающих. Его худая, профессионально сутуловатая фигура в темно-синем драповом пальто с поднятым воротником казалась особенно одинокой на фоне кафельной, сверкающей холодным блеском стены аэровокзала.

Только когда самолет взлетел, набрал высоту и пассажиры, расстегнув ремни, расслабленно, по-домашнему полулежали в креслах, а гибкая, как тростинка, робеющая от чужих взглядов юная стюардесса, еще совсем девочка, с нежным узким ли-

чиком и бархатными печальными глазами олененка, в которых затаилась покорность будущей жертвы, принесла на голубом пластмассовом подносе стаканчики с минеральной водой, Вера Петровна, выпив холодного «Арзни», немного успокоилась.

Конечно, она сама виновата, что так затянула работу над диссертацией. Те, кто начинал с нею, давно защитились. Логинова стала доктором наук, уже профессор, а она все ходит в соискателях, и по служебной лестнице не поднялась выше звания старшего преподавателя. Зато ее совесть чиста, она не использовала выгодную конъюнктуру, нужные связи, потихоньку собрала огромный материал, и ей не стыдно за свои выводы, за ними стоят серьезные проверенные факты. «Надо же было Рише заболеть именно сейчас, в такой неподходящий момент, — с досадой подумала Вера Петровна. — Наверное, у меня судьба такая: за самый небольшой успех и малую удачу приходится платить дорогой ценой». Столько лет Вера Петровна ждала этой командировки, и теперь, когда необходимо сосредоточиться на главном, ее мысли мечутся между домом и предстоящей защитой. Скорей бы закончилась вся эта недоевшая маета, тогда она сможет целиком посвятить себя дому.

И все-таки Вера Петровна должна была признаться, что диссертация, тяжким грузом висевшая на душе, лишавшая семейных радостей, которым она не могла отдаться сполна, давала ее рабочим будням какой-то высший смысл. Ради нее она ездила в дальние и ближние командировки, пропадала в архивах и библиотеках, засиживалась допоздна на кухне над черновиками своих статей, маялась во время отпуска на даче, систематизируя свою разросшуюся с годами картотеку, обдумывая каждую страницу.

Пока она училась в аспирантуре, читала студентам пединститута лекции, выступала с докладами на вузовских конференциях, писала статьи в научные журналы о том, как влияют игры на воспитание детей, незаметно проходили месяцы и годы. За это время ее муж Юрий Михайлович из подающего надежды молодого ординатора успел стать заведующим хирургическим отделением клиники и пользовался заслуженным авторитетом среди врачей и больных, а Риша из болезненного, хилого ребенка выросла в длинноногую смешливую девушку-подростка, которой больше шли джинсы, чем юбки, и косы сменила короткая модная стрижка, а в проколотых ушах поблескивали серебряные сережки с бирюзой.

Домашние привыкли и давно смирились, что Вера Петровна занята непонятными для них, не искушенных в тайнах психологии и педагогики, высшими материями, более серьезными, чем Ришины успехи в школе, чем аппендициты, язвы и опухоли, которые успешно оперировал Юрий Михайлович, чем его ночные изматывающие дежурства возле тяжелых больных, когда по несколько дней он не выходил из клиники.

Несмотря на волнения, защита прошла успешно. Оппонент, новое восходящее светило отечественной психологии, без пяти минут член-корреспондент профессор Нечаев, обычно скупой на похвалы, отметил в своем выступлении добросовестность диссертантки, собравшей основательный материал, которого вполне бы хватило на докторскую.

Странно, но, принимая теплые поздравления московских коллег, Вера Петровна не испытывала ни радости, ни удовлетворения, на нее вдруг навалилась страшная усталость, она чувствовала себя выпотрошенной и опустошенной вконец, будто у нее только что отняли что-то очень важное, к чему она приросла, прилепилась душой и сердцем за многие годы и без чего ей трудно будет жить дальше.

Когда она вернулась в Иркутск, ее ждал неухоженный, запущенный дом, Юрий Михайлович выехал в срочную командировку в районную больницу, Риша уже начала ходить, но была еще слаба, и за ней требовался уход.

Праздничный ужин в узком кругу друзей и коллег пришлось отложить на неопределенное время. Вера Петровна принялась спешно наводить порядок в доме, мыть, стирать, запастись продуктами и бегать по магазинам. И за будничностью и неизбежностью домашних хлопот потихоньку стерлись, растаяли впечатления московской командировки. Началась зимняя сессия, и Вера Петровна с утра до вечера пропадала в институте, принимая экзамены. В городе была повальная эпидемия гриппа, Вера Петровна подхватила вирус, перенесла температуру на ногах и через неделю свалилась с воспалением легких. После трехнедельного лечения в больнице ей предложили в местном комитете горящую путевку в санаторий на Байкале, и Вера Петровна с радостью согласилась — как она полагала, ей необходимо было восстановить свои подорванные болезнью и длительным нервным напряжением силы.

Поселили Веру Петровну в деревянном коттедже, в комнате на двоих. Первую неделю она жила одна и целыми днями спала. Ей нравилось лежать в теплой удобной постели, укрывшись до подбородка легким пушистым одеялом, и смотреть в широкое светлое окно, выходящее в лес, на белый снег, зеленую хвою и на румяных с мороза лыжников, возвращающихся с прогулки.

На второй неделе появилась соседка, приехавшая из Саяногорска. Пока Таня распаковывала чемодан и развешивала платья и кофты в шкафу, Вера Петровна успела узнать, что она работает директором городского музея. Вернее, музея как такового пока не существовало, была комната при управлении комбината, но уже строилось здание по проекту главного архитектора города, уже в министерстве выделили штаты: научного сотрудника, хранителя фондов, смотрителей и уборщиц.

— Если бы вы видели наш проект! Чудо! — Таня прижала ладони к груди. — Столько выдумки и вкуса! Представляете, у нас даже будет небольшой зал с маленькой сценой и креслами для зрителей, где мы откроем лекторий для молодежи. Будут выступать ветераны труда и войны, заслуженные люди города, приезжать из Москвы и Иркутска искусствоведы, ученые, писатели, поэты, художники.

— На днях в горисполкоме, — увлеченно продолжала Таня, — мне пообещали лимиты, теперь мы сможем купить кабинетный рояль. Музыканты смогут давать в музее концерты. Или лекция о творчестве Рафаэля с демонстрацией слайдов. Знаменитая «Сикстинская мадонна» и музыка Вивальди.

В восторженном голосе Тани, в решительном красивом лице с золотисто-смуглой кожей и пронзительно-синими глазами были убежденность и сознание собственной правоты. О своей работе она могла рассказывать часами, а то для большей убедительности брала карандаш, и под ее легкой рукой на бумаге возникали контуры музея и план экспозиции залов.

Черные длинные волосы, разделенные строгим прямым пробором, падали на щеки, на глаза, Таня то и дело указательным пальцем правой руки заправляла непослушные пряди за уши, и Вера Петровна любовалась милой естественностью этого жеста, в котором сохранилась какая-то забавная девчоночья непосредственность. Тане недавно исполнилось тридцать, но, стройная, с прямыми плечами, тонкой талией и узкими бедрами, она выглядела намного моложе своих лет.

Как водится в санаториях и домах отдыха, женщины быстро подружились, были откровенны и скоро знали друг о друге все. Таня была в курсе всех сложностей защиты и тех мелких и нудных обязанностей и отношений, что всегда плетутся рядом с серьезным делом и на преодоление которых Вере Петровне пришлось потратить, по ее словам, кучу нервов и последнее здоровье. Таня знала, что Юрий Михайлович много работает и совсем не бережет себя, что в операционные дни почти ничего не ест, пьет лишь горячий чай с лимоном и может без отдыха делать две-три операции подряд. У него давняя язва желудка, а он сам, врач, дающий со-

веты больным, не соблюдает диету и выкуривает по пачке сигарет в день. Есть свои сложности в отношениях с Ришей: у девочки переходный возраст, резко изменился характер, и мать-педагог, психолог по образованию, порой теряется и не знает, как подступиться к собственной дочери, и бывают случаи, стыдно вспомнить, кончается терпение, она срывается, бывает несправедлива и резка.

У Тани же в прошлом была своя печальная история. Таня училась в Московском университете. С первого курса она дружила с Игорем, они учились в одной группе, и студенты считали их женихом и невестой. Игорь обладал всеми достоинствами, чтобы вскружить голову любой самой красивой девушке: хорош собой, отлично сложен, остроумен, воспитан. Он был прекрасен в своих порывах, мог увлечь легко за собой студентов, но там, где требовались выдержка и длительные ежедневные усилия, ему не хватало характера, и Игорь легко отступал.

У них были общие лекции и конспекты, их вела Таня, по ним они вместе готовились к экзаменам и зачетам. Он так ее и звал: «Моя надежда и опора! Мой ученый секретарь!»

Впервые они расстались после четвертого курса, разъехались в разные города на преддипломную практику. Она выбрала Сибирь, а он поехал в Прибалтику. «Люблю старинную архитектуру, уютные кафе и всяческий сервис», — объяснил Игорь, провожая ее на Ярославском вокзале.

— Представляете, — Танин голос дрогнул, будто что-то надломилось в нем, — во время практики он женился на самой незаметной студентке курса, пухленькой коротышке в очках, тихоне и зубрилке. Правда, у Юли было одно несомненное достоинство, которое, пока не приблизилось распределение, мы просто не замечали, — ее отец был деканом факультета.

В суетлившейся, сжавшейся фигуре Тани с опущенной головой на мгновение промелькнуло что-то сиротливое, незащищенное, но вот она расправила плечи, встряхнула волосами и глянула на Веру Петровну синими прищуренными глазами, будто та стояла далеко-далеко. — Любить, так уж того, кто стоит любви. Мне или — все, или — ничего, должна же судьба быть хоть чуточку добрее. Я жду, жду, на что-то надеюсь, а ничего не происходит.

— Не отчаивайтесь, вы еще молоды и хороши собой, у вас все впереди, — стала горячо убеждать соседку Вера Петровна. — Ну, не повезло с первой любовью, с кем такого не бывает? Постарайтесь забыть плохое, будьте снисходительнее к людям, нельзя быть такой максималисткой. Уступить — не значит проявить слабость, иногда это сила, и огромная, особенно если ею воспользуется женщина.

— Хотела бы я знать, где кончается уступчивость и начинается предательство? Игорь приходил ко мне через год после свадьбы, жаловался, что несчастлив. Он уверял, что все было бы иначе, если бы мы вместе поехали на практику. Просто в чужом городе тоскливо и одиноко, нет знакомых, а тут первые теплые летние дни, от запаха сирени кружится голова, и Юля ходит по пятам, как собачонка. Он и уступил, пожалел ее, а на самом деле предал меня и себя.

На курсе Игорь был самым заметным студентом, подавал большие надежды, и куда все подевалось? Месяц назад случайно встретила его в Москве, была там в командировке, и не узнала. Он как-то весь осел, стал толстеть, доволен собой. Взхлеб мне рассказывал, что ему обещают длительную зарубежную командировку и он сможет заработать на кооператив и машину. Это Юля сломала его. Когда-то он мечтал о серьезной науке. Если бы я была рядом, Игорь остался бы самым собой, — Таня отвернулась к окну и замолчала.

— Не травите себя воспоминаниями, древние философы считали, что счастье — это умение жить настоящим, а нас волнует то прошлое, то не дают покоя

заботы о будущем. — Вера Петровна подошла и обняла соседку за плечи. — Вам доверили новое интересное дело, ведь музей будет работать не год, не два, а пока есть на земле город Саяногорск. Вы даже не представляете, как вам повезло — начинать с нуля, когда все зависит от ваших знаний, вкуса, интуиции, наконец, добросовестности! Я искренне завидую вам и готова быть вашим помощником.

— А что, я не против, — Таня повернулась к Вере Петровне, — как раз сегодня у меня назначена встреча с Бочкаревым, первым начальником стройки. Удивительный человек, живая легенда Саяногорска. Бочкарев сейчас на пенсии и живет круглый год в здешних местах, у него дача на том берегу Ангары, как раз напротив нашего санатория, по льду напрямик совсем недалеко. Он обещал передать для музея ценные экспонаты и свои дневники. Пойдемте вместе, вы не пожалеете. А то скоро уедем отсюда, и нечего будет вспомнить, кроме бассейна и процедур.

— Хорошо, прогуляемся после обеда, — согласилась Вера Петровна, — а то что-то залежалась я совсем. Только сначала давайте заглянем в магазин, может быть, там есть что-нибудь подходящее для Риши. Обычно в таких маленьких поселковых магазинчиках продают такое, чего не встретишь в нашем центральном универмаге.

Женщины решили принарядиться — все-таки идут в гости. Вера Петровна сняла теплый жилет из овечьей домашней шерсти, который привыкла носить за время болезни, надела любимое платье из серого трикотажа. Таня в белом свободном свитере и клетчатой фланелевой юбке выглядела очень молодо и походила на студентку.

Приподнятое настроение не покидало обеих женщин, пока они обедали в столовой, потом спустились по скользкой протоптанной в глубоком снегу тропинке вниз к Байкалу.

Поселок Листвянка вытянулся узкой полосой вдоль байкальского берега на несколько километров. Женщины шли по кромке шоссе, мимо деревянных домов, лепившихся по склонам гор, мимо широких, уходящих в таежную глубину распадков, каждый из которых походил на самостоятельную деревеньку. Движение на шоссе было бойким, с двух сторон навстречу друг другу неслись автобусы и автомашины. Бесшумно и мягко проплыл новенький оранжевый «Икарус», промелькнули улыбочивые лица японцев. Туристы прильнули к окнам и непрерывно щелкали фотоаппаратами. Пронеслась тройка, украшенная искусственными бумажными цветами. В санях сидели новобрачные и двое дружков, белая кружевная фата невесты выбивалась из-под плоской меховой шапочки и трепетала на ветру, словно крылья летящей птицы.

В чистом морозном воздухе долго был слышен протяжный звон колокольчика, перебивавшийся со стеклянным, ломким звуком — это льдины терлись и крошились друг о друга в истоке Ангары, не замерзающем даже в самые сильные морозы. Там всегда стоял туман, дикие утки, оставшиеся на зимовку, свободно плавали и ныряли в поисках корма. Станный посредине зимы плеск воды, громкое утиное крикание, шорох и трение льдин создавали мелодичный звуковой фон, напоминающий тихую музыку.

Скованная морозами, спрятанная под снежные сугробы, природа не вся ушла в зимнюю спячку, а негромко, неторопливо жила независимой от людей жизнью, полной постоянных изменений и непрекращающегося движения. И от того, что им удалось уловить звуки этой подспудной, невидимой постороннему глазу жизни, женщины почувствовали себя счастливыми сообщницами, будто только что разгадали необыкновенную, одним им известную тайну.

Вера Петровна радовалась мягкому безветренному дню, какие редко выпадают в феврале. Ее легкие благодарно вдыхали целебный воздух, настоящий на запа-

хах сосновой хвои и кедрача. Глядя на подтаявшие с солнечной стороны сугробы и набухшие почки багульника, она подумала, что кончается февраль, вот-вот наступит март, понемногу сдуют морозы, наступит весна, и окрестные горы вспыхнут сиренево-лиловыми кострами.

Впервые за много дней она чувствовала себя совсем здоровой и радовалась предстоящей прогулке.

Промтоварный магазин оказался закрытым, на двери висел громадный, устращающих размеров замок, зато в продовольственном продавалось любимое лакомство Риши — арахисовая халва в плоских жестяных баночках, и довольная Вера Петровна купила несколько штук.

Женщины вышли из магазина, спустились на байкальский лед и пошли по дороге, отмеченной вешками — срубленными молодыми сосенками. Там, где лежал снег, идти было легко и спокойно, но там, где его смело ветрами, Вере Петровне становилось страшно, ей казалось, что она скользит по прозрачным стеклянным стенкам гигантского аквариума. Часто попадались трещины, похожие на зигзагообразные росчерки белых молний, уходивших острием в темную и опасную глубину. И хотя Вера Петровна прекрасно знала, что дорога выверена метеорологами и геодезистами, что по ней ходят груженные трехтонки, она с трудом подавила ощущение опасности, которую таила в себе бездонная глубина озера, плещущегося под ее ногами.

Ее спутница, напротив, не испытывала никакого страха, искренне радуясь остроте новых, не испытанных ею прежде ощущений. Когда попадались широкие трещины, она высоко поднимала ноги и прыгала, будто через глубокую расщелину в скале, а то, разбежавшись, долго катилась по гладкому льду и махала рукой, приглашая Веру Петровну последовать ее примеру. Таня расшалилась, как девчонка, длинные черные волосы выбились из-под вязаной пушистой шапочки, но она не поправляла их, а отбрасывала назад резким движением головы.

Туман, что белесым куцым облачком висел над истоком Ангары, стал густеть, растекаясь по льду сплошной пеленой. Неожиданно из туманной мглы возникла мужская фигура, двигавшаяся в их сторону.

Таня первой заметила ее.

— Нам везет, кажется, кто-то из местных. Давайте подождем, он поможет нам найти дачу Бочкарева.

Женщины остановились, поджидая идущего. Обе обрадовались, когда признали в путнике знакомого вахтера из санатория дядю Кешу, одетого в ношенный черный тулупчик, шапку из серого кролика и мохнатые собачьи унты.

— День добрый! Так и думал, что кто-то из наших санаторских подался на ту сторону. Шибко бегаєте, еле догнал, аж мокрый весь стал. Остарел, где мне тягаться с молодыми, — он вытер потный лоб рукой. — Небось направились в Порт Байкал? Красивый поселок, особенно летом. Здесь места редкие, заповедные, душа не на-радовы-ва-ется. — Последнее слово дядя Кеша произнес протяжно, враспевку, играя звуками и явно получая от этого удовольствие. — Хорошо-то как! Ох как хорошо! Простор и волюшка! — Прикрыв лицо ладонью, шурясь от яркого солнца, дядя Кеша смотрел на уходящие к горизонту ледяные поля, на причудливо изломанные вершины горного хребта, и его подслеповатые желтые с прозеленью глаза выражали наивный и детский восторг.

«Какая бесхитростная, простая душа», — подумала Вера Петровна.

Дядя Кеша был словоохотлив и откровенен со своими случайными попутчиками. Нет, он не сибиряк, родился и вырос на Печоре, приехал в Сибирь пацаном по оргнабору в конце войны. Десять лет плавал матросом по Байкалу, потом работал плотником в порту. Хотел по молодости, пока были силенки, вернуться в родные

края на Печору, но жена — она местная, байкальская — категорически воспротивилась. Разве против собственной бабы попрешь! Анна Ивановна женщина с характером, кого хошь пересилит. Да и сам он пообвык, полюбил здешние места, понял, что от добра добра не ищут. Как открыли санаторий в Листвянке, они оба подались туда, тут и работа полегче, и квартиру благоустроенную дали на техучастке, с окнами на Ангару.

Вера Петровна вспомнила моложавую видную женщину, работавшую сменщицей у дяди Кеши. Обычно она вязала, не поднимая головы, скупно и нехотя отвечая на вопросы курортников, а то, оставив вязанье, выходила из будки и долго стояла на дороге, повернувшись лицом к Байкалу, не замечая прохожих, не слыша шума и гудков автомобилей за спиной. Ее гладкое широкое лицо с высокими скулами было неподвижным, словно маска, в узких щелочках черных глаз затаилась давняя тоска. Замершая в одной позе, похожая на неподвижную каменную статую, она словно слышала и понимала вечный Зов этих диких бескрайних просторов. Устав от долгого и бессмысленного ожидания, она встряхивала головой, сбрасывала с себя наваждение, и неторопливо возвращалась назад к проходной. В нарядной белой песцовой шапке, длинной широкой юбке из зеленого вельвета, Анна Ивановна вполне могла бы сойти за отдыхающую, если бы не черная сатиновая телогрейка, наброшенная на плечи, и погруженный в себя, никого не видящий тяжелый взгляд.

Их редко встречали вместе. Зато в дни дежурства дяди Кеши маленькая тесная проходная преображалась, еле вмещающая всех желающих поговорить и пообщаться с ним. То приходил отдыхающий в санатории известный писатель, дотошно расспрашивая о тайнах подледного лова на Байкале, записывая его ответы в толстый коричневый блокнот, то вечером после ужина, выждав, когда уедет домой санаторское начальство и схлынет служивая публика, заглядывали мужики с разбухшими от бутылок «Жигулевского» пива портфелями. Дядя Кеша доставал из своих неиссякаемых запасов заветную сушеную сорогу, а иногда даже угощал своих гостей вяленым жирным хариусом.

Однажды, возвращаясь с вечерней прогулки, Вера Петровна застала в проходной двух явно городских парней — в джинсах, объемных модных куртках, лыжных вязаных шапочках «Адидас», о чем-то оживленно беседующих со сторожем под звуки музыки, льющейся из японского портативного магнитофона. Дядя Кеша, крепко затягиваясь «беломориной», укоризненно покачивал рыжей кудлатой головой, приговаривая:

— Ах, нехорошо-то как! Не по-людски! В ладу с совестью жить надобно!..

Сейчас он спешил в Порт Байкал проведать заболевшую тещу. Анна Ивановна достала в аптеке редкое лекарство, сама подменилась на дежурство, а его послала к матери. Конечно, теща в возрасте, считай, долгожительница, восемьдесят второй пошел, но крепкая, бодрая старушонка, сама все делает по дому и от рюмочки в праздник не откажется.

Выяснилось, что дядя Кеша знаком с Бочкаревым. Конечно, Бочкарев большой начальник, Герой Социалистического Труда, важная птица, но в жизни простой отзывчивый мужик. Прошлым летом они не раз вместе рыбалили, зимой, понятно, видятся пореже. Он, конечно, отведет их к даче Бочкарева, а потом уж навестит тещу.

За разговорами незаметно подошли к порту, обогнули вмерзшие в лед причалы, свернули направо и стали подниматься по крутому распадку. На самом верху, на ровной удобной площадке, стоял капитальный дом с крышей из оцинкованного железа. Таня громко постучала в дверь, но никто не ответил. На почтовом ящике была приколотая записка: «Уехал срочно в город, вернусь через неделю. А. Б.».

— Какая неудача, столько прошагать по льду — зря! Сумею ли я выбраться еще раз! — невольно вырвалось у Тани, озябшей в своей тонкой дубленке.

Вера Петровна тоже продрогла и с тоской подумала об обратной дороге.

— Жаль, не повезло. — Обескураженный не меньше своих спутниц, дядя Кеша топтался на крыльце. — Не печальтесь, женщины, — зайдемте погреться к егерю, он живет неподалеку, вон в той избушке. Замечательный, редкий человек. Представьте себе: летчик, командир корабля, оставил авиацию, город и стал простым егерем. Жена отказалась уезжать из Иркутска, здесь летом отдыхать хорошо, а зимой поговорить не с кем, дуют ветра, волком завоешь от тоски.

— Романтическая история, прямо-таки сюжет для фильма, — усмехнулась Таня непослушными замерзшими губами.

Дядя Кеша будто не заметил Таниной иронии, его зеленовато-желтые глаза радостно округлились, он несколько торжественно произнес:

— Да вот и сам Петр Иванович, легок на помине, — и первым шагнул навстречу егерю. Мужчины обменялись крепким рукопожатием.

— Вы, наверное, из музея? — спросил егерь. — Жаль, что разминулись, дед поджидал вас. Сегодня утром уехал в город, жена вызвала телеграммой: внук-студент прилетел на каникулы из Москвы.

Приунывшие было женщины взбодрились и повеселели от бьющей через край энергии и силы, что исходила — от мужественного облика егеря. Высокого роста, с сухим поджарым телом горца и обветренным волевым лицом, на котором выделялись сросшиеся на переносице широкие темные брови. Крупный, с породистой горбинкой нос, тщательно подстриженная и ухоженная треугольная испанская борода придавала ему несколько аристократический вид. Глубоко сидящие светлые глаза смотрели прямо на человека, их взгляд был цепким и недоверчивым, будто ощупывал и проверял каждого, но его суровость искупала обаятельная, щедрая улыбка, дерзкая и ироническая одновременно.

— Обожаю незапланированные встречи, в них есть вкус новизны и неожиданность случая, — шепнула Таня на ухо Вере Петровне. — Какой живописный вид у егеря, хоть портрет с него пиши. Настоящий мужчина, не то что наши городские хлюпики. И такая загадочная улыбка! Странно! Отчего бы это?

— Что, дядя Кеша, плохо ухаживаешь за дамами? Они замерзли, притомились, нуждаются в отдыхе и тепле. Айда в мою контору! Конечно, ей трудно тягаться с дачей Бочкарева, но затопим печку, выпьем горячего крепкого чайку — и усталости как не бывало, — рокочущий, с грудными басовитыми нотками голос Петра Ивановича разорвал тишину пади, и показалось, что на его зов распахнутся окна, откроются двери пустых, заколоченных на зиму домов и чья-нибудь сноровистая, шустрая бабка кинется ставить самовар.

Брошенные стальные дома сиротливо молчали. Слабое, еле слышное эхо отозвалось на голос Петра Ивановича, прокатилось над верхушками сосен и тут же, спрятавшись за вершину горы, заглохло. Белый снег, полчаса назад слюдянисто сверкавший на солнце, потускнел, словно покрылся серенькой пленкой. Изгороди из тонких осиновых жердей отбрасывали на сугробы длинные сине-голубые тени. Короткий зимний день незаметно перешел в ранние сумерки.

«Пора в санаторий, хотя все равно к ужину нам уже, наверное, не успеть», — подумала Вера Петровна.

Петр Иванович будто угадал ее мысли:

— Поторопимся, рано темнеет, а у вас дорога впереди.

Он повел их коротким прямым путем, ловко обходя камни и выбоины, подавая руку женщинам, когда попадались скользкие обледенелые места. Егерь шел ходко и в то же время осторожно, словно первым проверял на себе, безопасна ли дорога для его спутниц. Удобная простая куртка из грубого солдатского сукна плотно обтягивала крутые плечи, в распахнутых отворотах виднелась красная фланелевая рубашка

в крупную клетку, две верхние пуговицы были расстегнуты, открывая загорелую шею и широкую грудь, заросшую темными курчавыми волосами.

«Неужели ему совсем не холодно? Что значит закалка и физическая тренировка!» — завистливо подумала Вера Петровна и перехватила долгий внимательный взгляд Тани, устремленный на егеря.

Контора лесничества находилась на берегу. Каменное здание, сложенное из серых песчаных плит полуметровой толщины, напоминало крепость. Глухой тыльной стороной оно нависало над Ангарой, неподалеку валялись два старых проржавевших рельса. Раньше здесь проходила железная дорога, ушедшая со строительством Иркутской ГЭС на дно водохранилища. Когда-то давным-давно здесь была водоканалка, снабжавшая паровозы и пассажиров водой. Много лет за ненадобностью она пустовала, пока лесники и егеря не приспособили ее под свою контору.

Насколько здание выглядело внушительно внешне, настолько неудобно и запущенно было внутри: промозглая сырость, куржак и зеленовато-белесые пятна плесени по углам. Скрасить унылую обстановку не могли даже броские рекламные плакаты Речфлота, приглашающие туристов посетить Байкал. Мебель, подобранная кое-как, по случаю: громоздкий двухтумбовый письменный стол, покрытый изъеденным молю зеленым сукном; два расшатанных деревянных стула; продавленный диван с выпирающими пружинами, круглыми старомодными валиками и высокой неудобной спинкой; широкие лиственничные чурбаки, заменявшие табуретки. Возле чугунной печки стояли бак с питьевой водой и ведро, доверху полное углем.

Больше всего Веру Петровну удивил новенький телефонный аппарат цвета слоновой кости с кнопочным диском, стоявший на специальной полочке. Рядом с ним лежали ручка и стопка чистых, мелко нарезанных листов бумаги.

— Неужели тут есть телефонная связь? Мне казалось... — она недоверчиво покачала головой.

— Договаривайте дальше, мы люди негордые, не обидимся, — продолжил за нее Петр Иванович, — глушь, тайга, медвежий угол, где уж нам до достижений современной цивилизации? Хотите, можете позвонить в Иркутск или в санаторий. Однажды Бочкарев умудрился поговорить с Москвой, но ему, конечно, пофартило, телефонистка оказалась знакомой.

Егерь растопил печку, она мгновенно раскалилась докрасна и гудела от жара. От нее расслабляющими горячими волнами шло тепло. Вера Петровна расстегнула пальто, Таня сняла дубленку и накинула ее на плечи. Дядя Кеша разделся, бережно положив тулупчик рядом с собой на диван. В мешковатой вязаной кофте с большими кожаными заплатками на локтях он выглядел по-домашнему уютно, своей скромной одежкой как бы оттеняя броскую яркость красной рубашки егеря, удивительно шедшей к его обветренному, загорелому лицу.

Петр Иванович бросил заварку в кипящий чайник, достал из рюкзака, висевшего на стене, полиэтиленовый пакет с омулем, банку печеночного паштета, луковичу и черный хлеб. Он хозяйничал привычно и умело, и Таня, кинувшаяся было помогать ему, остановилась на полпути под его строгим и твердым взглядом. Вера Петровна открыла баночку халвы.

Гости ели малосольного омуля с луком и черным хлебом, пили из эмалированных кружек темный, как деготь, обжигающий чай со сладкой халвой. Вере Петровне казалось, что их импровизированный ужин намного вкуснее, чем надоевшая пресная санаторская еда.

По тому, как дядя Кеша маленькими глоточками неторопливо отпивал кипятков, аккуратно обсасывал рыбы косточки, собирал хлебные крошки в ладонь, чувствовались привычки бережливого семейного человека, приученного к чистоплотности и дисциплине.

Петр Иванович, напротив, был тороплив и небрежен в еде, словно куда-то спешил, и ему не терпелось поскорее покончить с этим скучным занятием, чтобы тут же вырваться на волю, в тайгу, где надо добывать нелегкий хлеб охотника собственной силой и смекалкой.

После еды и горячего чая все немного сомлели, и захотелось откровенных, непринужденных разговоров, какие обычно возникают между посторонними, незнакомыми людьми при нечаянной встрече в поезде или в гостинице, когда говорящий уверен, что его искренность не пойдет ему во вред.

Первым заговорил егерь:

— Не ожидал, что день закончится так удачно. С утра в пух и прах разругался с председателем поссовета. Они решили заняться благоустройством поселка, убрать наледи от подземных ключей, и ничего лучшего не придумали, как пустить бульдозер. Целый день машина утюжила Горную улицу и вместе со льдом и снегом срезала верхний пласт земли. Пока зима, не видно, а что будет весной и летом? Грязь, камни, песок. Кругом скалы, и слой почвы очень тонок и уязвим, сколько лет теперь пройдет, пока улица снова зарастет травой,

Никто из вас не задумывался, почему такой популярностью сейчас пользуется песня про космонавтов, которым снится не рокот космодрома, а обычная зеленая трава у дома? Вон спутники вокруг нашего шарика летают, пробы грунта достаём с Луны, а родную собственную землю обиходить и сберечь не можем. Двенадцать лет я проработал в авиации, срок немалый, мог бы спокойно долетать до пенсии, но не выдержал, бросил все. До сих пор не по себе становится, как вспомню тонны химических удобрений, распыленных по колхозным полям. Конечно, в чем-то помогли колхозникам, но и напортили немало, и пока трудно определить, чего больше — пользы или вреда. Сколько погубили всякой полезной живности — птиц, зверья! Представьте себе лес без муравьиных куч, без птичьего пенья, без белки, прыгающей с ветки на ветку. Страшновато, не правда ли? И некого винить, кроме самих себя. Видно, крепко нам вдолбили на школьной скамье — мы покорители и завоеватели природы. А теперь сказывается сила привычки, инерция, да и кому хочется лишний раз на рожон лезть! Спокойная жизнь дороже, как говорится, ничего не знаю, моя хата с краю. Может, я слишком сумбурно рассуждаю? Но поверьте, накопилось, сердце болит за все живое.

Горячая речь егеря произвела впечатление на слушателей. Женщины притихли и оробели, будто тоже в чем-то провинились перед Петром Ивановичем. Наступила долгая пауза, слышно было, как пытит чайник и огонь лижет чугунные стены печи и гудит в трубе.

— Давненько мне не приходилось бывать в такой приятной интеллигентной компании. — Дядя Кеша осторожно гладил рыжую клочковатую бороду и заговорил ласковым, вкрадчивым голосом:

— Хорошо-то как, сидим за чайком и ведем душевную беседу. Пора матушке-природе, нашей поилице и кормилице, страдалице нашей, низко в пояс поклониться, не идти супротив нее, а жить в согласии с ее законами. Так нет, гордыня нас великая обуяла, она точно кость, застрявшая в горле. А все из-за чего? Слишком много возомнили о себе. Испортился народ от того, что веру потерял. Без веры человек слабый, пустой, у него совесть стоворчивая, поворачивает ее туда-сюда, как тебе выгоднее и удобнее.

— При чем тут вера? — В Вере Петровне заговорил педагог. — В человеке с рождения заложены прекрасные качества: доброта, совестливость, трудолюбие, и задача взрослых развить их, чтобы они стали чертой характера. Обычно наша нехитрая педагогика ограничивается запретами: «Не ходи! Не бери! Не мешай!» Но стоит в процесс воспитания внести элемент игры — и начинает естественно развиваться все лучшее, что заложено в ребенке.

Мне близка боль Петра Ивановича. Подумайте, как стремительно меняется жизнь! Еще недавно говорили, что природу надо покорять, а теперь мы жалуемся на недостаток экологического воспитания. Везде свои нерешенные проблемы. У нас в педагогике их тоже немало. Может быть, я вас удивлю, но настала пора... защищать детство. Да, да не удивляйтесь! Защищать детей... — она так разволновалась, что не заметила, как поднялась и обеими руками оперлась на спинку стула, будто стояла на кафедре, — от собственных родителей.

— Статистика,— горячо продолжала Вера Петровна, — упрямая вещь, она подтверждает: большинство подростков, совершающих преступления, вырастают в благополучных семьях, у них есть отцы и матери! Они вполне заботливы, эти родители, но их заботы носят чисто бытовой характер. Нет душевной близости, тепла, понимания. Или другая крайность, когда родители увлечены карьерным, престижным воспитанием, стремясь успехами сына или дочери компенсировать собственные неудачи. Они совершают великое зло, отбирают у ребенка радость детства: то заставляют его заниматься фигурным катанием — так, чтобы вышел в чемпионы, то рисовать так, чтобы добился медали на международном конкурсе. А как страшно, когда ребята в классе делятся на группы: те, у кого есть заграничные джинсы и кроссовки, и те, у кого нет. Наше детство было и голодным, и холодным, но каким бескорыстным!

— Вот я и говорю,— горячо подхватил дядя Кеша,— все наши беды от того, что веры не хватает народу, разучились почитать старших, потому не уважаем друг друга. Больно сытость нас одолела. Слаб человек, покоришься ей, норовит отхватить кусок послаще и пожирнее, лезет вперед, расталкивая локтями других. А, в сущности, много ли надо? Был бы хлеб и крыша над головой. На днях заходили ко мне два командировочных городских парня, жалуются, что скучно жить в Листвянке, в клубе одни лекции, ни дискотеки, ни кафе. Я им о душе, а они смеются: «Отсталый ты, дед, нам красиво, современно жить охота».

— Может, мы все немного лукавим? — громко, с вызовом спросила Таня, по очереди разглядывая своих собеседников, будто от каждого ждала ответа на свой вопрос. — Недавно мне попала книга Ганса Селье, знаменитого канадского физиолога, создателя теории стресса. Он утверждает, что христианская заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя» нелогична в своей основе. Невозможно полюбить того, кто тебе неприятен. По Селье, себялюбие — естественное, нормальное поведение человека, только его нельзя путать с эгоизмом, направленным против других людей и против общества в целом. А чтобы избежать стрессов и чувствовать себя «счастливым человеком», надо копить «капитал любви», то есть стараться заслужить уважение окружающих честными, добрыми и полезными делами.

— Занятно, занятно, впервые слышу такое, — хрипло засмеялся Петр Иванович, крепко потирая руки. — В каждой новой теории всегда присутствует желание блеснуть, удивить донельзя, ошарашить. Иначе как найдешь себе сторонников? Я практик и, что правда, то правда, на собственной шкуре проверив — при всем своем желании не смогу полюбить своего ближнего соседа Федьку Козулина: наглый мужичонка, опасный браконьер. И в то же время, как я ни старайся, хоть в лепешку расшибись, никогда мне не добиться, чтобы Федька крепко зауважал меня и бросил свои грязные делишки: то соболишку стрелит или сохатого завалит. Может быть, вы научите меня копить «капитал любви»? — Прищуренные светлые глаза Петра Ивановича прямо, не мигая, смотрели на Таню, на губах играла дерзкая, ироничная улыбка. Егерь как бы слегка поддразнивал ее, давая шанс сразиться с ним, и она, не раздумывая, ринулась в атаку.

— А что? В жизни всякое случается, может быть, ваш Козулин со временем и образумится. Будем честными и откровенными до конца. Ведь вы оставили авиа-

цию и уехали из Иркутска не только потому, что любите все живое? Вам нравится быть защитником природы, сейчас на них великий спрос, а мне, не скрою, нравится быть директором, иметь возможность самой отвечать и принимать решения, активно участвовать в общественных делах и быть на виду в нашем городе. Поверьте, все, что в моих силах, я сделаю для музея. Сегодня не удалось встретиться с Бочкаревым, приду через неделю, через десять дней, но обязательно увижусь с ним и заберу ценные экспонаты. Хочу, чтобы наш музей стал настоящим хранителем истории Саяногорска, а уж люди сами потом оценят мой труд.

— Проще усмехаться, когда говоришь о любви, — запальчиво продолжала Таня и своим милым девчоночьим жестом заправила рассыпавшиеся волосы за уши. — Для большинства — это слишком тяжелая и неудобная ноша, особенно для мужчин. Способность любить встречается так же редко, как и талант, и далеко не все могут разглядеть ее.

— Наверное, я тоже недогадливый, — примирительно начал Петр Иванович, — тугодум, бирюк, такой уж родился. Пока догадаюсь, докумекаю, счастье поманит, помахнет крылышком, как журавушка, и улетит далеко-далеко в теплые края. Не сердитесь, если что не так, одичал за зиму. Как на духу признаюсь — пошел в егеря не оттого, что люблю себя. В одной зарплате сколько потерял, да и работенка нелегкая, все приходится делать руками, никакой механизации. Но я убежден — человек вышел из природы и должен вернуться к ней. Естественная, натуральная жизнь — вот к чему нам надо стремиться. За осуществление своих желаний приходится платить дорогой ценой, вот я и расплачиваюсь... одиночеством. Был бы рядом друг, понимающий тебя... но, видать, не судьба.

Таня слушала егеря, низко опустив голову, и было непонятно, то ли она думает о чем-то своем, то ли смотрит на огонь, пылающий в печке. Когда Петр Иванович закончил, она словно очнулась ото сна, пришла в себя, встряхнула пышными волосами, упавшими блестящей волной на прямые плечи, обтянутые белым мягким свитером. Огромные глаза синели на смуглом точеном лице.

— Вы заметили, в последнее время какими-то странными, необъяснимыми волнами возникают разные увлечения, то йога, то сыроедение, то магнитные поля. Конечно, Селье — выдающийся ученый, но там, где он, физиолог, вторгается в область этики и психологии, — Вера Петровна с сожалением покачала головой, — с ним можно и поспорить. Как можно согласиться с его положением, что в основе всех наших дел и поступков лежит эгоизм? Разве я люблю дочь и мужа ради себя? А диссертация? Истратить на нее полжизни, отдать последнее здоровье! Пусть мой личный вклад в науку очень скромнен, но он все-таки необходим, потому что из усилий таких, как я — Яскиных, Петровых, Сидоровых, складывается то, что помогает всем нам идти вперед.

— Полностью согласен с вами, — дядя Кеша подался всем корпусом вперед. — Пройдет не так уж много времени — и новомодная теория Селье канет в Лету, никто не вспомнит о ней, заповедь же «Возлюби ближнего, как самого себя» не раз спасала человечество в самых кризисных ситуациях. Внимательно слушал вас троих, и, поверьте, на сердце отлегло. Вроде непохожий мы народ, трудимся в разных конторах и живем всяк по-своему, а забота общая — одинаково мучаемся, болеем за свое дело. Петр Иванович бьется за зеленый лужок и сражается с браконьерами, Татьяна, умница и красавица, радеет за благородное, хорошее дело, музей создает для города. Вера Петровна, ученый человек, серьезно занимается наукой и о судьбах нынешних ребятишек печется. Все мы трудимся в поте лица, хотим жить по совести и правде, — торжественно произнес дядя Кеша и заулыбался так, словно всколыхнулось небольшое озеро. — Так из трудов каждого из нас складывается история, путь, по которому движется жизнь: во времени и вечности. Истина

и красота даются верой... — Дядя Кеша не успел закончить фразы, как его резко, нетерпеливо оборвал егерь:

— Ну, дед, дай тебе волю, до утра долдонить будешь. Рано нам о вечности, на земле столько работы, хватило бы силенок все сделать. Завтра ни свет ни заря подамся в горы, в Максимихину падь, там браконьеры сладкую себе житуху устроили, капканы на соболюшек ставят, белку отстреливают. Все наши беды от того, что слишком много развелось говорунов, любителей пофилософствовать, поговорить об истине, а как дела коснется, никого не найдешь.

Дядя Кеша обиженно, по-детски заморгал подслеповатыми глазами, его шея и лицо густо покраснели. Он поднес кружку с остывшим чаем к губам, отпил большой глоток, поперхнулся и отчаянно закашлялся. Вере Петровне стало неловко, будто это ее так грубо оборвал егерь. Петр Иванович же явно не чувствовал за собой никакой вины и расхаживал по конторе, заложив руки за спину. В его твердом прищуренном взгляде было сознание собственной правоты и превосходства.

Одна Таня никак не прореагировала на перепалку. С отсутствующим видом она сидела на лиственничном чурбаке, слегка изогнувшись, положив ногу на ногу. Дубленка сползла с высоких плеч, откинутых назад, но она будто не замечала холода. По страстному выражению ее запрокинутого лица можно было догадаться, что она думает о чем-то своем, сокровенном. Ее глаза сузились и потемнели, превратившись в две черные точки, выдавая крайнюю степень сосредоточенности, будто она одна знала и чувствовала, что будет впереди. И это знание присутствовало в снисходительной полуулыбке, мягко тронувшей уголки яркого и свежего рта, в изогнутых дугами ниточках бровей, в том, как она одной рукой небрежно поигрывала кистями вязаного шарфа, другой то и дело высоко взбивала волосы, чтобы окружающие могли хорошенько рассмотреть ее гибкую и длинную шею. Неожиданно она засобиралась, запахнула дубленку, натянула варежки, взяла в руки сумку:

— Что-то душно здесь, пойду подышу свежим воздухом, заодно полюбуюсь звездами, они такие крупные на Байкале. — Таня решительно открыла дверь и вышла.

Вслед за ней, накинув куртку на плечи, с фонариком в руках, поднялся Петр Иванович. Его походка была легкой и пружинистой, будто он шел по следу, выслеживая крупную добычу.

Дядя Кеша с раскрасневшимся, смущенным лицом молча сидел на диване, поглаживая клочковатую рыжую бороду.

«Зря егерь обидел старика, — пожалела Вера Петровна, — ну, порассуждал бы он, пофилософствовал, кому, в конце концов, было бы плохо от этого? Наверное, с Анной Ивановной не очень-то разговоришься, а тут попались интеллигентные, понимающие люди, вот и хочется старику душу отвести, показать, что не лыком шит. Не умеем мы быть снисходительными. Простых, хороших людей нам не хватает, отсюда все наши беды».

Она с тоской подумала об обратной дороге по ледяному Байкалу. Наверняка ни муж, ни дочь, ни приятельницы даже не предполагают, что она способна на такие подвиги, хотя иногда такие встряски просто необходимы. Вот вернутся Татьяна и Петр Иванович, и пора в санаторий, в теплую комнату и удобную постель. Конечно, соседка ей попалась немного экзальтированная, но скучно молодой женщине одной, вот и хочется разных впечатлений.

— Нехорошо-то как получилось, виноват, Петр Иванович не так меня понял, — неуверенно начал дядя Кеша. — Какие только мысли не лезут в голову, когда дежуришь по ночам. Поделиться-то не с кем. Припозднились мы, пора по домам, — дядя Кеша надел шапку и тулупчик.

Вера Петровна взглянула на часы; шел восьмой час вечера, время ужина. Она представила просторную столовую с потолком из розового армянского туфа

и сплошными стеклянными окнами вместо стен. Толстые ковровые дорожки поглощают звуки шагов, на столах топорщатся накрахмаленные скатерти и салфетки. Диетсестра с видом королевы расхаживает между столиками, выслушивая просьбы отдыхающих, которым приятно смотреть на ее красивую прическу, миловидное ухоженное лицо и то, как, чуть-чуть склонив голову набок, с очень серьезным и занятым видом она записывает в маленький красный блокнот ручкой с золотым пером их малейшие пожелания. И сама публика — приодевшаяся, принарядившаяся к вечеру. Женщины, приехавшие из районных городов и поселков, прихватили с собой все лучшее, что есть в их гардеробе. В новых платьях и костюмах из синтетики и шелка они кажутся себе неотразимыми. У самых больших модниц на плечи накинуты одинаковые японские платочки с блестящим люрексом. Под стать им чисто выбритые, подтянутые мужчины, при галстуках, в свежих рубашках и отутюженных брюках. Все они выглядят отдохнувшими и беспечными, тут и там за столами раздаются веселые шутки и беззаботный смех.

Вера Петровна застегнула пальто и попросила дядю Кешу:

— Позовите, пожалуйста, Таню и Петра Ивановича, что-то они задерживаются.

Дядя Кеша согласно кивнул и вышел из конторы. Его не было долго, — вернулся он минут через двадцать.

— Никого нет, обошел все кругом, нигде ни души, — он развел руки широко в стороны и сконфуженно заулыбался.

— Не может этого быть! — не поверила Вера Петровна. — Таня отлично знает: нам пора возвращаться в санаторий, в десять часов закрывают двери корпуса, не хотелось бы прослыть нарушителями дисциплины.

Она с силой толкнула дверь, сделала несколько шагов и в замешательстве остановилась, не зная, куда идти дальше. Не было видно ни звезд, ни луны, ни призывно светящегося окошка — крошечная темнота окружала ее со всех сторон. Злые, сильные порывы ветра продували насквозь ее зимнее драповое пальто. Ничего не оставалось, как вернуться назад в контору.

— Давайте еще немного подождем. Не могли же они нас оставить. — Вера Петровна так и не решилась произнести вслух слово «бросить».

Дядя Кеша ничего не ответил, а начал быстро ходить по конторе.

— Да, попали мы в историю. Задержался я тут, закалялся с вами и долг свой — навестить болящего человека не выполнил. Небось теща ждет не дожидается меня с лекарством, и Анна Ивановна сидит себе спокойная на дежурстве, в полной уверенности, что я не подведу ее. Необходимо что-то предпринять, найти выход из создавшегося положения. Не будем же мы тут сидеть до утра?

— Вы уверены, что они не вернутся? — с сомнением спросила Вера Петровна, и скользкий, отвратительный холодок пробежал между лопаток. — Петр Иванович не мог забыть о нас, он надежный, серьезный человек.

А Таня? Как она могла оставить меня? Ведь я ради нее пришла сюда. Таня прекрасно знает, что я только что из больницы, после воспаления легких, у меня режим, процедуры, лекарства. — Вера Петровна взглянула на наручные часы, стрелки показывали девять часов. — Хорошо, будем реалистами: ждать больше нельзя, идемте вдвоем в Листвянку. Вы же местный, отлично знаете дорогу, а то ни звезд, ни луны, и фонарик Петр Иванович прихватил с собой. А как вы думаете, можно ли печку оставить горячей, вдруг случится пожар? — спросила она.

— Не спешите, Вера Петровна, идти в такую выюжную темную ночь по Байкалу очень опасно. Я не могу и просто не имею права взять на себя такую ответственность. За себя еще я готов ответить, но за чужую, по недомыслию загубленную душу никак не могу. Неделию назад замерзла женщина с семилетней дочерью, заблудились вечером в тумане, а тропа была всего в двухстах метрах. Утром их нашли у самого

берега уже мертвых. Вы оставайтесь тут, подождите чуток, а мне надо к теще. — Дядя Кеша для убедительности засунул руку в карман, вытащил флакончик с таблетками — Болеет, сердечная, может, ей совсем худо стало, пока я тут шель-шевел.

— Как?! И вы уходите?! — невольно вырвалось у Веры Петровны. Она почувствовала, как ее лицо словно превращается в непослушную малоподвижную маску и сырая тяжелая масса, из которой она слеплена, медленно течет, сползает куда-то вниз. Ей была противна жалкая и просящая улыбка, присохшая к губам, и слезливые, умоляющие нотки, прорвавшиеся в голосе. — Вы не можете, не имеете права оставить меня одну в этом каменном холодном мешке, в этом тюремном каземате! Я пойду с вами. Неужели у вашей тещи не найдется и для меня местечка? Мне требуется совсем немного, недавно я трое суток просидела в московском аэропорту Домодедово — и ничего не случилось, жива, — она попыталась храбро улыбнуться.

— Что вы, Вера Петровна, голубушка, только подумайте, как я могу явиться ночью к родной теще с курортницей? Да старушка в глаза мне плюнет и будет права. А как я оправдаюсь перед Анной Ивановной? Она женщина крутая и страсть какая ревнивая, потом упреков и скандалов не оберешься, — дядя Кеша с опаской поглядывал на дверь, будто боялся, что она преградит ему путь к отступлению. Взгляд его подслеповатых глаз был тверд. — Нет, голубушка, увольте, не взваливайте на меня лишнее. За Петра Ивановича — он самостоятельный мужик, — а тем более за вашу приятельницу, — на его губах появилась нехорошая ухмылка, — отвечать не собираюсь. Здесь тихо, никаких особых происшествий не бывает, возьмите себя в руки, — он кивнул головой и быстро вышел из конторы.

Веру Петровну словно хватил столбняк. Казалось, все происходит с кем-то другим, но не с нею. Ее спутники, час назад такие милые, приветливые, внимательные, исчезли один за другим. Только что они говорили о совести и долге, делились наболевшим, а для Тани за прошедшие дни она стала не просто соседкой, а старшей подругой, которой доверяют сердечные, интимные тайны. Она не помнила, сколько простояла на одном месте, пока в голову не пришла спасительная мысль: если она не хочет снова простыть и заболеть, то должна немедленно идти. Живут же тут люди, и они пустят ее к себе в дом, приютят под теплой крышей.

Она открыла дверь и храбро шагнула в ночь. Сильный, резкий ветер чуть не сбил ее с ног, снежная крупа больно секала лицо. Рядом, в нескольких метрах, шумела невидимая Ангара, поднятые ветром волны беспорядочно и часто бились о берег, окатывая отвесную, нависшую над водой глухую стену конторы. Она прошла несколько метров, не зная, куда идти дальше. Направо в распадке — пустые заколоченные дачи, где-то налево есть еще падь, там живут рабочие порта, но какое до нее расстояние и как туда идти? Если бы светила луна, а так не видно ни зги.

Вера Петровна совершенно растерялась и уже путала левую сторону с правой и не могла определить, где находится север, а где юг. Ветер усилился, стоял сплошной гул, стонали и ухали столетние сосны. Она вспомнила рассказ дяди Кеши о несчастных замерзших дочери и матери и испугалась, что может сама заблудиться в двух шагах от конторы. Вера Петровна вернулась в контору, и надежно защищавшие от ветра и снега каменные стены, ярко горящая электрическая лампочка, теплая чугунная печка с тлеющими углями показали ей спасением.

— Ничего, досижу как-нибудь до утра. Жаль, что теплый жилет оставила в санатории, он бы сейчас так пригодился, — вслух успокаивала она себя. — Закрою дверь, подброшу углей, безвыходных ситуаций не бывает, если мы сами не загоняем себя в тупик.

Но у двери не было ни крючка, ни задвижки, она закрывалась на внутренний замок, ключ от которого унес с собой егерь. «Вдруг сюда забредет какой-нибудь бич переждать непогоду или браконьер, чтобы отомстить егерю. Да ведь сам Петр Ива-

нович рассказывал, — вспомнила Вера Петровна, — что после неурожайного лета медведи не набрали жира, залегли спать голодными и бродит тут неподалеку один опасный шатун».

Но ей по-настоящему стало жутко, когда она собралась подбросить угля в печку и обнаружила пустое ведро. Она отказывалась верить собственным глазам, ведь совсем недавно оно доверху было полно угля. Ей захотелось громко заплакать, позвать на помощь, но никого не было рядом, кто бы услышал ее слезы или крик. Электрический свет слепил глаза, ветер ревел за дверью, каменные стены источали холод, сырость и мрак. Все, что сейчас окружало Веру Петровну, было враждебно ей.

«Надо действовать, действовать!» — уговаривала себя Вера Петровна. Она нашла в закутке за печью топор, взяла обеими руками гладкое отполированное топориче и с размаху ударила по листовенничной чурке. Раздался глухой металлический звук, и топор, встретив непреодолимую преграду, вырвался из ее рук и шмякнулся возле порога.

«Что я делаю? Лиственница с годами становится крепкой и твердой, как металл. Тут требуется мужская сила и сноровка». Она внимательно оглядела контору, и ее взгляд остановился на стульях. Боясь, что погаснет печь, торопливо и неумело стала рубить их, понемногу подкладывая топливо в огонь. Печка уже не гудела, а слегка теплилась, и, чтобы не замерзнуть, Вера Петровна стала ходить вокруг нее, десять кругов по часовой стрелке, десять — против. В голову лезли самые дикие, нелепые мысли. То ей чудилось, что вот-вот вернется дядя Кеша, раскаявшийся в своем жестоком поступке. Он убедил свою тещу, усыпил ее бдительность и теперь спешит за ней, чтобы отвести в теплый сухой дом. Или нет, ему не удалось сломить ее старческое упрямство, но, устыдившись, не выдержав укоров своей совести, он вернется, чтобы поддержать ее морально, и вместе с нею проведет ночь в каменном холодном склепе.

Что за глупости? Какая чушь! Скорее всего появятся Таня и Петр Иванович, слегка пристыженные и смущенные от внезапно одолевшей их страсти. И от того, что они сумели преодолеть что-то темное, безрассудное, жадное, не забыли о ней, брошенной в холодной конторе в зимнюю выюжную ночь, их лица будут просветленными, а глаза виноватыми и добрыми.

Но никто не торопился на выручку. Незапертая дверь громко хлопала, в образовавшуюся щель залетал с ветром снег, который не таял, а лежал белой крупой у порога.

Тут в Вере Петровне возмутились остатки ее гордости и попранного самолюбия, привычка к упорядоченной жизни. Почему с ней так поступили? Почему ее предали эти люди? Ведь она не какая-нибудь легкомысленная искательница приключений, которая вешается на шею первому встречному. Она солидная женщина, верная жена, любящая мать. Ее уважают в институте, с ее мнением считаются на кафедре, сам ректор всегда здоровается с ней за руку. Это тебе не работенка сторожа, который от безделья развлекает отдыхающих, изнывающих от скуки санаторной жизни, благостными байками о совести и вере. А егерь? Тоже хорош со своими разговорами о зеленой траве! Знали бы они, какая тишина наступает, когда она, старший преподаватель Яскина, выходит к кафедре и видит внимательные, пытливые глаза студентов. А диссертация, которой, в сущности, она посвятила свою жизнь! Ее признали даже московские ученые, а они не очень-то раскланиваются перед провинциалами, самым тесно. И надо же было ей влипнуть в такую глупую историю именно сейчас, когда пришло утверждение из ВАКа и она подала документы на конкурс, выдержав который, получит звание доцента. Через две недели состоится заседание ученого совета, а она... она... утром найдут ее застывший труп, и диагноз патологоанатома будет предельно прост — замерзла, погибла от переохлаждения.

Тут Вера Петровна глянула на сиротливо лежащую ножку, единственное, что осталось от двух стульев, и ей почудилось, что все, что с ней происходит сейчас, не жестокая реальность, а жуткий сон. Она затрясла головой, стараясь избавиться от кошмара. Теперь на нее нашло тихое спокойствие, какое наверняка испытывает обреченный человек, понимая, что бороться дальше бесполезно, собирая остатки своих сил, чтобы встретить последнее, самое тяжкое испытание.

— Нет, нет, нельзя сдаваться, я не имею права,— вслух уговаривала она себя. — У меня дочь, ей нужна мать, а Юра, он такой талантливый в работе, и совсем беспомощный дома. Я им нужна обоим, они не смогут без меня. Ну, хотя бы Риша закончила десятый класс, поступила в институт, а там уж...

Ее мысль заработала четко и ясно: три часа ночи, зимой светает поздно, надо как-то продержаться до семи, нет, до восьми часов утра. Вера Петровна взяла топор в руки, кое-как с трудом разломала спинку от дивана. Теперь она панически боялась, что погаснет в печке огонь, единственная ее надежда на спасение. Мороз и сырость сжимали вокруг нее свое беспощадное кольцо, мерзли ноги и руки, казалось, холод проник в кости и начал медленно грызть ее изнутри. Она вспомнила давние уроки физкультуры и стала делать упражнения, чтобы согреться. С непривычки и от нервного напряжения быстро устала, но, передохнув, снова начала кружить вокруг печки: десять кругов по часовой стрелке, десять — обратно.

Вдруг ей на глаза попался телефон, о котором она в панике совсем забыла. Вера Петровна так рванулась к нему, что чуть не упала, больно ударившись об угол письменного стола. Ей почудилось: стоит поднять трубку, как все изменится по мановению волшебной палочки и она окажется дома или под надежной защитой санатория.

Трясущимися руками она подняла трубку и, к своему удивлению, услышала заспанный женский голос. Телефонистка, сидевшая на телефонной станции в Листвянке, сладко зевнула на том конце провода, потом деловито спросила: «Вам кого?» Вера Петровна чуть не заплакала, когда услышала чужое близкое дыхание, но тут же раздалось недовольное:

— Вам кого? Балуются тут всякие, тоже выбрали времечко, не раньше, не позже, чем четыре часа ночи.

Испугавшись, что телефонистка бросит трубку, Вера Петровна закричала:

— Дайте срочно Иркутск! — и назвала свой домашний номер телефона. Тут же спохватилась, зачем позвонила? В сущности, чем Юра может ей помочь, если находится почти в ста километрах от нее. Надо как-то продержаться самой еще два-два с половиной часа.

Вера Петровна подбросила дров в печку, прилегла на диван, сжавшись в комочек, и мгновенно уснула. Проснулась так же внезапно, приснилось, что продрогшая Риша жметя, ластится к ней и просит: «Мамочка, согрей меня», прикладывая к ее губам замерзшие покрасневшие пальцы. Усилием воли, с трудом преодолевая сонное безразличное оцепенение, Вера Петровна поднялась и стала раздувать тлеющие, покрытые белесым налетом угли. Пока возилась с печкой, измазалась сажей, вынула из сумки маленькое круглое зеркальце, которое всегда носила с собой. Глянула и испугалась — бледное мятое лицо, несчастные, затравленные глаза, трясущиеся губы.

«Как меня перевернуло! Их бы, голубчиков, сюда, на мое место. Красиво рассуждать все горазды: «Надо беречь все живое! Любить ближнего, как самого себя! Копить «капитал любви». А на деле... холодные, черствые эгоисты, убийцы и предатели, — с безгласностью подумала Вера Петровна, — а я тоже хороша, разоткровенничалась перед ними, стала говорить про диссертацию».

Вдруг ей стало невыносимо стыдно, жаркая краска залила лицо и шею, к горлу подступила тошнота. «О чем это я? Зачем? Сколько можно говорить об одном и том же?» Кому, в сущности, нужна ее диссертация? Зачем она даже сейчас обманывает себя? Чего стоят сотни исписанных ею страниц по сравнению с одной удачно проведенной операцией мужа? Какой из нее молодой ученый в сорок лет? Она, Вера Яскина, всегда была всего лишь старательной ученицей, средней студенткой, исполнителем преподавателем.

Мерзли не только руки и ноги, холод сковал все тело, проникал все глубже внутрь, отвоевывая клеточку за клеточкой, и они, лишённые защиты, потихоньку, понемногу уступали ему. Кровь больше не согревала ее, только сердце, неутомимый труженик, не хотело сдаваться, продолжая свою работу. Вера Петровна слышала его глухие удары: «Тук-тук, тук-тук». Как затравленный, насмерть перепуганный зверек, она озиралась, с ужасом вглядываясь в темные сырые углы, страшась, что вот-вот увидит что-то жуткое, от чего волосы встают дыбом и что человеку положено встретить одиножды, когда жизнь подходит к самому краю.

Не раз она читала и слышала, что перед концом в какие-то считанные мгновения перед умирающим проносится вся его жизнь в ярких и сильных кадрах, единственный в своем роде, гениальный и неповторимый фильм, где ты наконец-то главный герой, главный сценарист и главный режиссер. Но ничего подобного с ней не происходило, голова была тупой и вялой, неудержимо клонило ко сну. Наверное, эффектно смерть выглядит в кино или театре, а в реальности все происходит буднично и просто.

Что ж, последний спектакль состоится, когда ее уже не будет. Вера Петровна представила собственные похороны, гражданскую панихиду в институте, скорбные лица коллег и студентов, плачущую дочь и согнувшегося от горя мужа. Наверняка ректор скажет прощальное слово, он умеет это делать трогательно и с чувством, а может быть, откажется, сославшись на занятость, и вместо него выступит завкафедрой или декан.

Конечно, как и положено, в ее адрес скажут много добрых и хороших слов, но она ничего не услышит. Если бы их, хотя бы изредка, догадывались говорить человеку при жизни, может быть, и он старался бы быть получше. А в общем, не все ли равно, ее собственный путь окончен. А Риша? Юра? Что будет с ними?.. Здесь мысли Веры Петровны запнулись, ей стало страшно, что она уйдет слишком рано, так и не искупив своей вины перед ними. Зачем столько лет она играла чувствами самых дорогих ей людей, оправдывая свое невнимание, сухость и черствость занятостью работой? Почему прятала свой эгоизм за разговоры о научном призвании и высоких целях ученого? Впервые ей пришла в голову мысль, что, может быть, работа для многих — самый легкий и надежный способ убежать, спрятаться от собственных трудных проблем.

Нет, нет, она не настолько хитра и коварна, она искренне верила, что дело — это главное в жизни, а остальное — потом. Она слабая, обыкновенная баба, и просто-напросто ей не хватило сил тянуть одинаково два воза — семью и работу, и она инстинктивно выбрала тот, что полегче.

Вера Петровна представила уклончивый взгляд дочери, избегавшей смотреть ей в глаза, ее односложные скупые ответы: «Да, мама! Нет, мама! Хорошо!» — и то, как муж, выслушав ее очередную педагогическую нотацию или сбивчивый рассказ про новые интриги на кафедре, виновато улыбаясь от сознания своей беспомощности, уговаривает ее, как маленькую: «Не тревожься зря, Вера, как-нибудь все обзавестся».

После очередного ее излияния он обычно уходил на кухню, плотно прикрыв за собой дверь, нервно курил сигарету за сигаретой, выпуская дым в форточку.

Почему она раньше не понимала простой истины; нельзя нести в семью мусор своих личных обид и мелких служебных неурядиц, злоупотребляя любовью и отзывчивостью родных? Она, жена и мать, должна была сама поддерживать, заслонять их своей любовью от зла и разочарований, а выходило все наоборот: она ждала и требовала от них защиты и сочувствия.

По обрывкам разговоров Юриных приятелей-хирургов, изредка бывавших в их доме, Вера Петровна догадывалась, какие сложные у него отношения с новым профессором, приехавшим из Москвы, который сразу же объявил войну главному врачу больницы, обвиняя его в консерватизме. И теперь оба: профессор — по научной линии, главный врач — по административной — вымещали свои распри и взаимную неприязнь на заведующем отделением Яскине, который по служебной иерархии вынужден был подчиняться им обоим. И как трудно ему, талантливому хирургу, чье призвание спасать людей, снова и снова отбиваться от оскорбительных, унижающих его достоинство придилок и заведомо несправедливых жалоб и обвинений.

Она так разумно и правильно в своих лекциях раскладывает по полочкам проблемы, связанные с воспитанием чужих детей, но не находит контакта с собственной дочерью. В этом году Риша так ждала дня рождения, ей исполнилось пятнадцать лет, но она, замотанная после защиты, не захотела лишних хлопот и уговорила дочь перенести торжество на будущий год, когда ей выдадут паспорт.

Теперь она обязана сдержать свое слово, сделать дочери настоящий праздник — испечь вкусные торты, настрять пирогов, сшить красивое платье и впервые вместо родственников и своих друзей собрать одноклассников Риши. Они с отцом не станут ей мешать, возьмут билеты на двухсерийный фильм, пусть дочь почувствует себя хозяйкой.

Вера Петровна подбросила в печку обломки от дивана, огонь ярко вспыхнул и загудел в трубе. На какой-то миг в этой ночной глуши, в этой холодной убавляющей смертоносности мелькнуло усталое лицо мужа с добрыми внимательными глазами, и Риша, радостно вспыхнув, бросилась ей навстречу, крепко, по-ребячьи прижалась к ней в ожидании материнской ласки, и на душе у Веры Петровны сразу потеплело, и прибавилось сил от сознания, что дочь, почти взрослая девушка, выше ее ростом, еще очень нуждается в ней. Мир вокруг нее ожил. Видения растревожили, разволновали ее, и в сердце впервые проснулась запоздалая нежность.

Вера Петровна представила во всех мельчайших подробностях день, когда она впервые встала после родов и, прижимая к груди теплый мягкий сверток, подошла к окну, где ее поджидал Юра. Они оба — он через оконное стекло — с удивлением, робостью и любовью рассматривали красное сморщенное личико дочери, темную прядку, выбившуюся из-под белой косынки. Им обоим казалось тогда, что жизнь только начинается и будет долгой, светлой и счастливой.

Нет, нет, она не имеет права сдаваться!

Вера Петровна, размахивая руками, не останавливаясь ни на минуту, ходила по конторе, пересекая ее по диагонали из угла в угол. К ней понемногу возвращалась надежда, которая согревала ее, не давая замерзнуть. Стрелки показывали семь часов утра. Она достала из сумки зеркальце, пудреницу, румяна и тушь для ресниц. Через полчаса она выглядела прежней: благополучной, уверенной в себе женщиной, косметика искусно прикрыла, стерла следы бессонной кошмарной ночи. Пожалуй, только взгляд ее темно-карих, чуть припухших глаз приобрел непривычную тревожную глубину.

Первым явился дядя Кеша. Свежий, румяный с мороза, он излучал сытость и довольство, розовые губы лоснились от горячего завтрака.

— День добрый! — приветливо поклонился он, сияя по-детски невинной, простодушной улыбкой. — У вас отдохнувший вид, вчера вы сильно перепугались и нагнали на меня страху. Не поверите, даже плохо спал, тревожился за вас. Ну да, слава богу, все обошлось. Сегодня редкое благодатное утречко, солнышко светит вовсю, ветра нет, теперь могу со спокойным сердцем быть вашим проводником.

Они вышли из конторы. Ничего не напоминало о ночной выюге. Ангара бесшумно несла свои воды. Стояла такая тишина, что сухой треск сосновой ветки, обломившейся под тяжестью снега, показался громким, как выстрел. Не успели они пройти несколько метров, как их догнали Таня и Петр Иванович.

— Дорогая моя, милая Вера Петровна, не сердитесь, пожалуйста, на меня. — Таня взяла ее под руку и горячо зашептала на ухо: — Конечно, я ужасно провинилась перед вами, но я знаю — вы поймете и простите. Поверьте, я мучилась, вспоминала о вас, но не могла иначе... Это было выше моих сил, — она облизнула сухие горячие губы. — Если бы вы знали, как я счастлива! Я ждала, предчувствовала, что случится что-то хорошее, необыкновенное и судьба улыбнется мне. Я встретила настоящего мужчину. — Последние слова она произнесла нараспев, стянула вязаную шапочку с головы, и длинные пышные волосы рассыпались по светлой дубленке.

Петр Иванович и дядя Кеша слегка приотстали и о чем-то оживленно разговаривали между собой.

На развилке дорог у телеграфного столба они попрощались. Петр Иванович по очереди крепко пожал всем руки:

— Мне пора, тропа начинается здесь. Пока доберешься до зимовья, солнце будет клониться к закату. — Взгляд его светло-серых, глубоко посаженных глаз из-под сросшихся широких бровей был озабочен и суров. — Рад бы проводить дам, но не могу. Надеюсь, они извинят меня, кому — отдыхать, а кому — работать. Пока мы тут разговоры ведем, браконьер, глядишь, с утра не одну белку стрелил. Невелика зверушка, а все-таки жаль.

Егерь встал на лыжи. Его породистое лицо, обрамленное треугольной испанской бородкой, с ровными крупными зубами, оскаленными в дерзкой и насмешливой улыбке, показалось Вере Петровне хищным и самовлюбленным. Петр Иванович, чувствуя, что производит неотразимое впечатление на Таню, сдержанно помахал ей на прощанье рукой, круто развернулся и пошел по лыжной тропе размашистым сильным шагом. Его крепкая ладная фигура в куртке из солдатского грубого сукна, с карабином через плечо, скоро скрылась за поворотом.

Женщины и дядя Кеша спустились на лед. Старик шел впереди, за ним — Таня, последней — Вера Петровна.

Дядя Кеша торопился, ему не терпелось обрадовать жену, рассказать, что теще стало лучше. Оклемалась старушка, довольная донельзя, что зять принес ей лекарство. Анна Ивановна — женщина строгая, крутая, но справедливая, она будет рада, что муж поосторожничал, поберег свое здоровье и не остался в каменной нетопленной водокачке с сумасбродной отдыхающей, глядишь бы, еще простыл и заболел. К тому же жена у него ревнивая и никогда бы ему не простила, если бы он даже из благих побуждений остался в конторе.

Забавный, шепутной народ отдыхающие! Приедут на двадцать четыре дня, вырвутся на волюшку от мужей, жен и детей и давай выкидывать коленца! Чего не нагладишься, не наслышишься в санатории! Больно хорошо их кормят, вот они с жиру и бесятся.

Солнце по-весеннему сияло на голубом безоблачном небе. Солнечные блики дробились, множились, зеркально отражаясь во льду, и дяде Кеше казалось, что он не идет, а плывет по воздуху через сплошное сияние. Он оглянулся назад, заботливо оглядел своих спутниц и громко предупредил:

— Будьте осторожны, впереди глубокая трещина.

«Жаль, что мы не смогли попрощаться как следует, — думала Таня. — Петр Иванович — таежник, привык жить в суровых условиях и сдерживать себя, да и мне неловко было при посторонних проявлять свои чувства. Как по-холостяцки неуютно и запущенно у него в избушке, была бы женская рука, и дом выглядел бы иначе. Петр Иванович одинок, и я одинока, а два одиночества... Но не надо торопить события, все пойдет своим чередом. Петр Иванович привык к независимости и дорожит ей, и я самостоятельная, знающая себе цену женщина. Надо действовать постепенно, осторожно, с умом, быть внимательной и покладистой, навещать его по субботам и воскресеньям».

Таня представила, как Петр Иванович кипятит чайник на печке, нетерпеливо поглядывая в окошко, или ходит по берегу, вглядываясь в туман. Она спешит, бежит к нему по ледяной тропке и вот уже чувствует на губах его жадные, требовательные поцелуи, и, как прошлой ночью, он несет ее в гору на руках и шепчет дерзкие и чудные слова, от которых сразу теряешь голову.

Наконец-то она встретила настоящего сильного мужчину, на которого можно опереться. Он не какой-нибудь вечно сомневающийся в себе интеллигентик, а надежный, верный человек, способный полюбить с первого взгляда. Себе она тоже знает цену — молодая, красивая, образованная, со всеми преимуществами городской жизни. «Так что еще посмотрим, кто кому нужнее!» Довольная Таня тихонько рассмеялась и стала догонять сторожа.

«Поскорее бы попасть в санаторий, позавтракать, принять горячий душ — и в постель». Вера Петровна представила, как теплая вода взбодрит ее, смоем усталость и переживания кошмарной ночи. Ей казалось, что она с ног до головы испачкалась липкой грязью, и понадобится немало времени, чтобы забыть то нехорошее, что произошло с ней.

Они приближались к Листвянке. Поселковые ребята катились с крутого берега на санках, разлетаясь по льду как пушечные ядра. Одни санки налетели на другие, образовалась куча мала, торчали чьи-то руки, ноги, головы, но через минуту-другую пацаны со смехом разбежались. Мальчишка лет шести, которому досталось больше других, стоял в сторонке, размазывая по лицу слезы грязным кулаком. Она удивилась, почему ей, потратившей годы на диссертацию, никогда в голову не приходила простая мысль, что через игру дети не только развивают смекалку и воображение, но сталкиваются с первой болью и разочарованием. Это у детей, а если играют взрослые, тогда держись и ни на что не жалуйся. Они вчетвером вчера тоже разыграли маленький любительский спектакль. Все они лукавили и притворялись перед собой и друг другом, желая показать себя с выгодной стороны.

Вера Петровна услышала тихий журчащий всплеск воды и чистый, хрустальный звон, это льдины терлись и крошились в истоке Ангары. В белом тумане, нависшем над рекой, домовито кричали невидимые утки. Она сделала глубокий вдох и почувствовала, как к ней возвращается хорошее настроение. Нет, нет, она не станет переживать все заново, копить в сердце злость и недоверие к людям, сумеет преодолеть обиду и простит чужое предательство. Жизнь слишком коротка и незащищена, и надо уметь радоваться каждому новому дню, что выпал тебе!

Тем временем егерь сошел с накатанной лыжни и прокладывал новую тропу в рыхлом глубоком снегу.

Идти было тяжело, горячий пот стекал по лицу, рубашка и куртка промокли, рюкзак камнем давил на плечи.

«Забавная приключилась история. — Перед глазами Петра Ивановича возникли подробности прошедшей ночи: гибкое смуглое тело Татьяны, ее неумелость и

жадность в любви, полуприкрытые от наслаждения, странно мерцающие из-под длинных ресниц глаза. Они то ли наблюдали и оценивали его со стороны, отчего он терял уверенность в себе, то ли сомнамбулически были погружены в собственные ощущения, в которых ему явно не было места, а это тоже было неприятно. — Конечно, Татьяна — фигуристая, видная баба, но больно уж изголодавшаяся, кидается на шею первому встречному, серьезные женщины так не поступают. С такой свяжешься — не отвяжешься.

И чего бабы льнут, как мухи на мед, подавай им романтику и натуральную вольную жизнь на природе. Позабавятся, разгонят кровушку — и след простыл, ускачут в город к своим верным женихам и благополучным мужьям. Любовь-то любовью, но расплачиваться за нее неудобствами ни одна не захочет, если утром и вечером надо топить печку, таскать воду из дальнего колодца. А как справиться с тоской, когда неделями метет метель и вьюга вынимает душу?!

Татьяна месяца не выдержит без своего музея и городской сутолоки. Да и зачем ему она, неумелая, неприспособленная, восторженная, как студентка? Ему хозяйка нужна, а не городская барышня.

В марте, как начнется подледная рыбалка, вместе с дядей Кешей поедem на Ольхон. Он — запасливый рыбак, впрок заготовил бормаша, хватит на двоих. Ох и порыбачим вдосталь, похлебаем омулевой ущицы!»

О Вере Петровне ни тогда, ночью, в своей протопленной избушке, когда они с Татьяной насытились друг другом и спокойно, как давние приятели, беседовали, ни сейчас, когда медленно поднимался на Пыхтун-гору, он — защитник всего живого — ни разу не вспомнил.





ВИКТОР
ВОРОНОВ

ПРИГОРШНИ
ИЗ ТУЕСКОВ
ПАМ'ЯТИ

Цикл рассказов



ЗВУКИ ТИШИНЫ

Человек, живущий в городе, настолько привыкает к постоянным шумам машин, поездов, трамваев, что зачастую и не обращает внимания на это.

Уровень его слуха становится повышенным, и он многое даже не слышит.

Но стоит этому же человеку оказаться на природе, в тишине, как у него просыпается тонкое восприятие самых незначительных звуков.

Вот у нас в деревне Пустошка от тишины по ночам аж звенит в ушах...

Кузнечик стрекочет в хорошую погоду с раннего утра до глубокой ночи и, кажется, даже и ночью...

Если в дом залетел комар, то его писк долго не даёт уснуть.

Большинство птиц начинают летом петь с первыми лучами солнца. И их пение настолько многообразно, что порою, наверное, может даже заменить некоторый симфонический оркестр.

Зимой, конечно, таких звуков меньше.

Послушайте, как красиво скрипит под вашими ногами снег. Здесь целая палитра звуков. В морозный день, а тем более морозной ночью снег скрипит особенно трескуче. Звук как бы раскатывается по морозному воздуху и, отражаясь в найденных преградах, трескучим эхом возвращается к вам под ноги.

Совсем по-иному скрипит под ногами свежевывавший и падающий тихо на землю снег. Эти звуки не трескучи и не раскатисты, а достаточно приглушённые и как бы сдвленные — как сам снег.

По-другому также скрипит и весенний снег. В нём уже появились кристаллики льда, и они, ломаясь под ногами и задевая друг друга, производят своеобразное шуршание, отдалённо похожее на шуршание льдин и льдинок при ледоходе на реках...

А это — хрустальное журчание покрывающегося тонкой коркой льда ручья. Уже образовались забереги, и местами ручей полностью схватился льдом. Но не весь, и поток воды, вырвавшись со звоном из-под кромки льда на свободу, устремляется вновь под лёд, создавая ещё более звонкое звучание и ударяясь в ледяные сосульки, палочки и трубочки. И создаётся лёгкий перелив звуков, отдалённо напоминающий игру на клавишине или весеннюю капель...

И опять уже весна и нагруженное гудение пчёл, возвращающихся нагруженными нектаром в свои ульи. На лапках пчёл белеет или желтеет «обножка» — пыльца, собранная ими с весенних цветов. Этот рабочий гул пчёл такой созидательный и умиротворяющий, что заставляет вновь и вновь задуматься о смысле мироздания и о том, что человек должен жить в гармонии с Великой Природой Земли...

ЛЮБОВАНИЕ ЖАСМИНОМ

Нам очень повезло, что у нас на даче, вдоль дороги с обеих сторон, растут кусты жасмина. Когда-то очень давно мы ехали в электричке из-за города. На одной из платформ в вагон вошла женщина с огромным букетом белых цветов. Я тогда не знал их названия. А жена сказала, что это жасмин. Он был таким красивым, ароматным, и его запах разносился по всему вагону.

Где-то лет через пятнадцать после этого случая мы начали строить дачу в Поварово. И обнаружили, что рядом с нашим участком растёт жасмин.

Вначале я не придавал этому большого значения. Но когда на следующий год увидел обсыпанные белым цветом светло-зелёные кусты и вдохнул ни с чем не сравнимый запах жасмина, понял, что это и есть счастье, рай или что-то подобное.

Когда жасмин цветёт, то его запах распространяется по всему нашему дачному участку.

Теперь, по примеру японцев, которые выезжают семьями и с друзьями любоваться цветущей сакурой в апреле, мы приглашаем наших родственников и друзей в июне любоваться и наслаждаться ароматом цветущего жасмина и размышлять над мудростью бытия.



БАЙКАЛ И МЫ

О Байкале написано немало и, может быть, даже много или очень много. Но сколько бы о нём ни писали, всё равно кажется, что этого мало по сравнению с его необъятностью, огромностью и первозданной красотой.

...Впервые вблизи Байкал я увидел в Слюдянке, во время стоянки поезда, везущего нас, двоих выпускников сельской школы, из Забайкалья в Иркутск для поступления в институт. Тогда в Слюдянке поезд стоял около получаса — происходила смена тепловоза на электровоз — электрификация железной дороги доходила только до этой станции. И некоторые пассажиры, конечно те, кто посмелее и поопытнее, успевали сбегать к Байкалу и окунуться в его «священную» и холодную воду. Затем, уже по ходу дальнейшей поездки, в вагонах слышались их гордые рассказы об этом утреннем, почти предрассветном, а точнее рассветном купании.

Зрелище, увиденное из вагонного окна, впечатляло! Поезд медленно огибал южную оконечность Байкала, и с высоты насыпи открывалась величественная и бесконечно прекрасная панорама озера-моря. И затем во время каждой последующей поездки на поезде — домой на каникулы и обратно, моё любование Байкалом продолжалось.

Позднее я стал пролетать над ним на самолёте по маршруту Иркутск – Чита. С высоты он был так же прекрасен.

Только несколько позже я смог «окунуться» в него — это было уже на третьем курсе института, летом в стройотряде.

С тех пор наши встречи и общения с ним продолжают регулярно.

Эти свидания с Байкалом не приедаются, так же как хлеб, который ежедневно кушаешь, как и в первый раз — с огромным удовольствием. Так всякий раз и Байкал перед тобой предстаёт другим, не таким, как в предыдущие встречи. У него как бы не одно, а много различных лиц и обликов. Конечно, наиболее притягателен Байкал летом, особенно в жаркие июльские и августовские дни. К этому времени он и окружающий его воздух достаточно прогреваются и сближаются по температуре. И хотя разница по-прежнему составляет немало — пятнадцать-двадцать градусов и более, — но синева волн так прохладна и привлекательна!

Любоваться им можно бесконечно. И, казалось бы, без большого ветра он должен быть один и тот же. Но нет — вот откуда ни возмись лёгкое дуновение ветерка и он весь зарыбил небольшими волнами.

Волна накатывает на прибрежный песок постоянно — одна за одной. Байкал как любое живое существо, всё время движется и как бы дышит. Поэтому вполне объяснимо отношение к нему местных жителей как к живому. И не просто как к какому-то божественному существу или Духу, а вот именно как к чему-то живому, как и сам человек, его домашние животные, звери в тайге и вся окружающая нас природа.

В моменты любования Байкалом как будто напITYиваешься какой-то необъяснимой его «энергетикой», его мощью, его могуществом. Кажется, что вот и это великолепное создание природы поделилось с тобой небольшой частичкой своей огромной природной силы, красоты и духа.

...К вечеру Байкал становится на вид менее ласковым и более суровым. Вода в нём как бы темнеет, волны становятся всё больше и больше, и они со всё нарастающим шумом ударяются в берег. В западной стороне быстро опускается солнце. Вот оно ещё на какой-то момент зацепилось за верхушку сопки, а теперь уже оттуда, из-за неё, бросило к нам последний сноп своих ярких лучей. Становится всё темнее и темнее. И Байкал тоже, то становится громче, в зависимости от силы и направления ветра, то, наоборот, тише и спокойнее. Ночью к нам в палатку доносится ровное и неровное, размеренное и неразмеренное, грозное и нежное его дыхание.

Утром вспоминаешь, каким же был Байкал в течение ночи — опять разным и многоликим — вот такой он и есть — быстро переменчивый, как и его ветра. Ветра на Байкале бывают очень сильные — и летом, и осенью, а особенно зимой. Тогда по его гладкому льду может унести не только человека, а даже тяжёлую автомашину, если на её колёсах нет шипов или цепей.

Имена ветрам даны красивые, в большинстве своём по названиям рек, речек или распадков, из которых они дуют как будто из каких-то гигантских аэродинамических труб: Баргузин, Сарма, Ангара, Верховик, Култук и другие.

Захватывающе интересен подлёдный лов омуля на Байкале. Он очень своеобразен, и в первую очередь тем, что необходимо бурить лунки на более чем метровую толщину прозрачного, как стекло, байкальского льда. Когда на нём стоишь и вспоминаешь, что под тобой огромная глубина, то становится даже немного не по себе. А когда, спустив десяток потов, досверлишься до воды — понимаешь, что запас прочности льда такой, что может выдержать не только тебя, а и много чего ещё потяжелее.

Некоторые рыбаки не ограничиваются лунками, а выдалбливают во льду целые «аквариумы». И тогда в них можно бесконечно любоваться подводным миром Байкала, видеть, как к твоей рыбацкой леске подходит омуль. Всё это возможно благодаря уникальной прозрачности воды Байкала, в которой брошенная монетка сверкает до глубины в несколько десятков метров.

Для приманивания омуля используется «бормыш» — такой рачок, который специально добывается из «подо-льда» на болотах. Если его спустить в лунку, то омуль, чувствуя это, поднимается из глубины, и тогда начинается настоящая рыбалка.

На подлёдной рыбалке на омуля используются «мушки» из определённых ниток — лучше, говорят, под цвет «шерсти английской шинели» или что-то подобное. А вот вместо рыболовного крючка с зазубриной используются обыкновенные швейные иголки, согнутые в виде крючка после нагрева на пламени свечи, керосиновой лампы, газовой горелки или прямо на костре.

И вот, когда омуль заглатывает такую «мушку», то рыбак должен ни на одно мгновение не ослабить леску после подсечки. При этом, выбирая леску из лунки, иногда с глубины десять и более метров, он наматывает поочерёдно её на левую и правую руку — примерно так же, как разматывают пряжу женщины.

Когда омуль уже наверху, над лункой, тогда рыбак швыряет его на лёд вместе с леской, не заботясь о том, как его отцеплять. Омуль сам соскакивает с мушки без зазубрины и остаётся лежать на льду. Рыбак, тем временем, быстро смотав освободившуюся леску, вновь опускает её в лунку. Ведь когда идёт клёв, медлить нельзя — дорога каждая секунда — от этого зависит количество пойманных омулей. Так вокруг лунки с рыбаком постепенно образуется «картина» с раскиданными по льду омулями — и чем их больше, тем больше рыбацкая удача и везение.

Такие, прикормленные «бормашем», места на Байкале рыбаки называют «камчатками». Омуль всё больше и больше подходит сюда из глубины моря-озера, и рыбацкое счастье улыбается многим чаще и чаще.

Кроме всего этого, клёв омуля зависит от многих других факторов: от погоды на льду, от ветра, от подводных бурь и течений, а также от многого-многого другого, чего мы, наверное, не знаем, да и узнать до конца вряд ли сможем.

А какое яркое солнце бывает на Байкале! Кстати, по количеству солнечных дней Байкал, наверное, не намного уступает (а может и превосходит) известным солнечным побережьям Чёрного, Средиземного, да и многих других морей. В солнечный «зимне-весенний» день на Байкале лицо может так загореть, как ни на одном горнолыжном швейцарском курорте. Лучи солнца, отражаясь от зеркального и гладкого льда, от снега, прилипшего к нему, в десятки раз увеличив свою мощность, приятно греют щёки и подбородок. Но если на таком солнышке «прикорнуть» у лунки «на какой-то часок», то затем необходимо спасать свою кожу уже от солнечных ожогов!

Но зато по этому, полученному зимой или ранней весной, загару опытный иркутянин сразу поймёт, что вы были на Малом Море (так называется часть Байкала в районе острова Ольхон), на рыбалке. И спросит: «Но-о, как?». При этом звучит непонятное — то ли «ну», то ли «но», но в значении «ну». А после вашего рассказа об успешной ловле скажет: «Но-о, неплохо!». В этом случае «но» уже будет означать «да». И по этому характерному «но» можно безошибочно определить коренного прибайкальца и забайкальца среди жителей других мест нашей страны.

Лучшей «наградой» для рыбака является «расколотка», приготовленная здесь же, у лунки, из замёрзшего почти до твёрдости льда омуля. Поскольку это блюдо готовится не дома, то кожу на рыбе отбивают, «расколачивают» не на пороге (колоде) избы, а прямо на льду. Затем, легко сняв «отколоченную» рыбью кожу и почистив внутренности, омуля разрезают на крупные куски и обильно посыпают солью с перцем. Чарка водки из металлической кружки и глоток студёной байкальской воды прямо из лунки для такой деликатесной закуски, как правило, не оказываются лишними...

Ещё более неповторим вкус приготовленной на «скорую руку» из свежего и разделанного на небольшие кусочки без костей омуля рыбацкой закуски — сагудая («пятиминутки»)! Это чем-то схоже со вкусом малосольного огурца, но гораздо нежнее, и тает во рту не только без хруста, но, кажется, даже и без разжёвывания, почти как конфета, пахнущая только не шоколадом, а морем и его обитателями.

Вкусен также омуль, зажаренный на костре, на берегу «на рожнях» (срезанных и обструганных ветках деревьев).

Однако же, несомненно, более всего непередаваем вкус свежепосоленного омуля с отварной картошкой и чёрным ржаным хлебом. Именно такой омуль в знаменитых «омулёвых бочках» и составлял во все времена имя и гордость Байкала.

Пусть не сложится у читателя неправильное впечатление о Байкале как лишь о крайне суровом и грозном. Это не так. Порою дни и вечера на Байкале бывают очень тёплыми и ласковыми, несмотря на его прохладную и даже холодную воду. В эти моменты кажется, что ты находишься где-то не здесь, а на побережье тёплого южного моря. Таким умиротворяющим и нежным Байкал бывает в некоторые дни июля и августа, а также в своих песчаных заливах, многие из которых зовутся «со-рами». В них вода прогревается до температуры почти нормального, а не «моржового» купания. И Байкал тогда видится чуть ли не Чёрным морем...

Вообще-то с Байкалом неразрывно связано всё около него и далеко за ним на Восток. Ведь не зря же Бурятию и Читинскую область ласково называют Забайкальем. Байкал формирует в округе от себя не только определённый климат, оказывает

влияние на природную среду, леса, луга, реки, но и способствует выработке особого уклада жизни людей, их характеров и привычек.

Например, коренной житель Прибайкалья или Забайкалья никогда не судит о каком-то природном явлении скоропалительно. Он всегда подходит к любому такому случаю очень обстоятельно и всесторонне. И лишь после этого, осторожно, с оговоркой выражает свою оценку или мнение. При этом он как бы даёт понять, что много-много всего, что планирует или хочет сделать человек, в огромной степени зависит от могущества и непознанных сил природы, а зачастую конкретно от Байкала.

Байкал щедр на нашу любовь к нему и его любовь к нам. Он действительно как бы захватил в своё окружение многих из нас. Ведь достаточно вспомнить, какое огромное количество фотографий, рисунков, картин, кино- и видеофильмов, книг, брошюр и сувениров о Байкале имеется в наших домах, квартирах, дачах и служебных кабинетах. Мы с радостью рассказываем о прелестях Байкала всё новым и новым своим знакомым, тем самым расширяя круг его поклонников и друзей.

Недавно вместе с коллегами из Иркутска и Москвы я имел возможность познакомиться с интересным опытом землеустроительной и природоохранной деятельности в Австрии. И, находясь там, за тысячи километров от Байкала, мы по несколько раз за день невольно возвращались к проблемам Байкала, и как бы через призму его кристально чистого льда пропускали животрепещущие для всей мировой цивилизации вопросы.

Напомню также, что имя «Байкал» в своё время было позывным у наших разведчиков и лётчиков-космонавтов, его в таёжных сёлах дают хорошим охотничьим лайкам, присваивают кораблям и кинотеатрам, да и наша общественная организация иркутян-земляков в городе Москве (Иркутское землячество) тоже с гордостью носит имя «Байкал».

Несомненно, Байкал очень привлекателен для всех, кто мечтает хоть один раз побывать на его берегах. А побыв здесь, человек зачастую затем становится его приверженцем и «пропагандистом» на всю свою жизнь.

Много раз мне посчастливилось наблюдать бури восторгов, эмоций, криков души и простое спокойное восхищение Байкалом десятков и десятков его гостей — наших родственников, коллег, товарищей и друзей.

Вспоминаю, как мы купались в Байкале с известным американским певцом Дином Ридом. Я предложил ему вместе со мной проплыть символически несколько метров, а он, опережая меня, поплыл дальше. И мне пришлось всяческими знаками и словами возвращать его обратно к берегу. Так его увлёк Байкал...

С каким нескрываемым восторгом, плывя на катере «Багульник» по Байкалу, мы пели песню «Славное море — священный Байкал» с нашим другом из Австрии Рейнхольдом Вессели. Он об этом мгновении мечтал со своего послевоенного детства, когда в школе его учил русскому языку и этой песне учитель, отбывавший плен в районе озера Байкал на строительстве какого-то завода. Именно здесь, по-видимому, тот выучил эту песню и русский язык. А Рейнхольд Вессели даже ноты и текст с тех времён сохранил. И вот совсем недавно его заветная мечта побывать и спеть эту песню на самом Байкале сбылась! Теперь он приезжает сюда ежегодно с друзьями и коллегами, помогает лучше обустроить побережье Байкала и сохранить его для будущих поколений жителей Земли.

Восхищённо смотрели на Байкал и наши гости — лётчики-космонавты, когда мы привозили их в Листвянку. Казалось бы им, так много повидавшим и видевшим Байкал не один раз из космоса, «всё приелось», но нет! Всех трогает и не оставляет равнодушным Байкал!

Особо всех поражает, когда предлагаешь гостям вместе с собой зачерпнуть и выпить по стакану воды прямо из Байкала. Вначале возникают небольшое недоуме-

ние, недоверие и даже смятение, а затем, уже после нескольких глотков чистой байкальской воды — восторг и изумление!

И таких радостных мгновений Байкал дарит нам бесчисленное множество. Хочется сказать нашему священному озеру-морю в очередной раз «спасибо» и пожелать ему и нам всем новых счастливых минут, часов, дней и лет взаимного и гармоничного общения!

*Иркутск – Листвянка – Ольхон – Култук – Байкал – Москва,
2001–2007 гг.*



СНОВА О ПЧЁЛАХ И ПУСТОШКЕ

Об этих замечательных труженицах — пчёлках можно говорить и рассказывать бесконечно! И при этом, наверное, всё равно не выразишь и малой толики всех тех добрых слов, которые они, без всякого сомнения, заслуживают в свой адрес за их неутомимую деятельность.

Ведь, действительно, нельзя не восхищаться тем, как в этом маленьком, совсем крохотном существе, которое и назвать-то насекомым даже язык не поворачивается, сосредотачивается столько всего полезного и поучительного для всех нас...

Энергичные пчёлки с раннего утра и до позднего вечера летают в поля, луга, леса, огороды и сады, несут и несут к себе в улей нектар и много всего другого, что нужно для благополучного существования всей их семьи пчёл и для успешного приготовления в их пчелиной лаборатории (кухне) мёда, перги, маточного молочка, воска и прополиса.

При этом у них как-то не возникает проблемы количества приготавливаемых ими продуктов и веществ. У них нет, как у многих животных, да как и у человека, определённой нормы запасов, которые им нужны для жизни и организации собственного благополучия. Ведь, например, та же белка носит себе в дупло — «на зиму» вполне определённое количество орехов.

Пчёлы же несут нектар и всё остальное, нужное им, в улей до тех пор, пока нектар и это «всё» имеется ещё в полях и лугах, или пока не наступят холода, и они уже из-за угрозы замерзания не смогут покидать своё жилище.

Их запасы мёда, как правило, во много, а как минимум в несколько раз, превышают то его количество, которое им всем необходимо для пропитания не только в тёплое, но и в холодное время года, в первую очередь — зимой.

И это они делают не из-за какой-то непродуманности, как может кто-то сказать — «глупышки они». Просто у них в генах сидит страх перед голодной смертью, и они стараются всеми своими силами создать максимально большие запасы продуктов (на всякий случай, на непредвиденные обстоятельства, на холодную и длинную зиму и т.п.) и тем самым перестраховываются как бы многократно. И хотя мы — пчеловоды, волевым методом берём у них часть этих излишек («продуктовых запасов»), они с этим покорно смиряются. Они после этого вновь устремляются в полёт и несут, и несут в улей новые граммы и килограммы нектара (но справедливости ради, чтоб не сложилось ложного, одностороннего представления, необходимо заметить, что пчеловоды, в свою очередь, тоже заботятся о своих кормилицах-пчёлах, осуществляют за ними уход и стараются всегда прийти им на помощь в нужное время). Пчёлы не могут бесцельно «прохлаждаться» без дела, как некоторые ленивые люди. Они все постоянно находятся в непрекращающейся деятельности. И даже когда слушаешь улей ночью, то из него доносятся звуки продолжающейся их работы — они перерабатывают принесённый днём нектар, добавляют в него необходимые составляющие, выпаривают из него лишнюю влагу и укладывают почти приготовленный мёд в начищенные до блеска ячейки сот. А затем, уже в сотах, до-

водят мёд до нужного состояния, и только после этого (приёмки их ОТК — отделом технического контроля) запечатывают ячейки восковыми крышечками. После этого они ещё следят, чтобы мёд в запечатанных ячейках продолжал «доходить» до требуемого у них качества и состояния.

Ах, как бы была прекрасно обустроена наша Земля и жизнь всех людей, если бы каждый человек не ленился, а трудился бы так же неутомимо, как пчёлы, или, хотя бы, близко к этому!!!

Конечно, кто-то скажет, что нельзя же жить только для труда. Нужны удовольствия, и «возвышенное», и «изящные искусства» и т.п.

Всё это имеется и в деятельности пчёл! Когда смотришь на созданные ими из светлого воска соты, то можно бесконечно любоваться этим уникальным производением искусства. Здесь имеются поражающие нас точность и изящество форм. А те соты, которые они делают вне рамок, на свободных по нашей вине — вине нерадивого пчеловода — местах улья, восхищают ещё больше. В их ячейках, как бриллианты в оправе, сверкают капельки мёда. Они, как белоснежные и нежные творения природы, всегда несколько неожиданно предстают перед нашими глазами, и любоваться ими хочется как можно дольше!

Огромное удовольствие и гордость за эти создания природы доставляет наблюдение за работой пчёл в ясную солнечную погоду. Одна за другой они очень быстро выползают, а скорее даже выскакивают из летка улья и стремительно улетают в поисках нужного им нектара. В это же время большое количество пчёл, уже нагруженных нектаром и другими полезными веществами, находятся в воздухе, в несколько рядов, как маленькая тучка, около прилётной доски улья, и как бы просят разрешения на посадку, как самолёты на аэродроме, а затем, по-видимому, получив это разрешение, по очереди, тяжело приземляются и медленно, но уверенно, с «чувством выполненного долга», вползают в леток улья и там, наверное, «сдают» собранное ими «приёмной комиссии». Такая их прекрасно организованная деятельность побуждает и человека лучше и продуманнее строить свою разумную работу и творчество.

Как красиво всё в открываемом улье! И рамки с запечатанной (закрытой восковыми крышечками) деткой, и рамки с запечатанным мёдом, и аккуратные, побеленные свежим воском, уточки между рамками, и промазанные, как шоколадом, светло-коричневатым и блестящим под солнечными лучами прополисом стыки и щелочки в построенном человеком улье, и нарощенные из воска выше брусков рамок ровные «гребешки» (бугорки), и многое, многое другое.

Завораживающе красив вышедший из улья новый рой пчёл! Вот он с гулом постепенно собирается и образуется в виде мохнатой собаки на стволе осины, что недалеко от улья. В нём находятся тысячи пчёл, прижимающихся к веткам, друг к другу и к матке. Они вылетают с трёхдневным запасом мёда и, если попадают под непогоду, то находящиеся сверху опускают свои крылышки вниз, и капельки дождя стекают по ним. Это напоминает древних русских воинов, которые, собравшись вместе и укрывшись щитами, отбивали тысячи стрел, пущенных на них иноземными врагами. Рой не неподвижен, а наоборот, воспринимается как единое живое существо. Каждая пчела в нём машет, по возможности, крылышками, слегка движется и дрожит. Поэтому-то порой и кажется, что весь рой дышит и шевелится.

Однако любоваться роем желательно недолго. Необходимо быстро и осторожно его собрать и сыпать в новый улей. А иначе — одно мгновение — и все тысячи пчёл уже в воздухе и полетели искать новое для себя пристанище...

Красиво гудят пчёлы на цветущей яблоне. Они тысячами облепляют её соцветия и в своей работе издают разные звуки, сливающиеся как бы в своеобразную симфонию. И эта созидательная «пчелиная симфония» звучит так умиротворённо

вместе с другими звуками благоухающей майской природы... Слушаешь эту «симфонию» и невольно проникаешься ещё большим уважением к нашим труженицам-пчёлкам, которые то улетают с яблони, то снова возвращаются. Но это почти незаметно и кажется, что пчёлы весь день здесь и находятся, и с утра и до ночи играют для нас эту свою прекрасную «симфонию».

Бесподобно красив сам м-ё-д! Если перефразировать слова из известной песни о сталеварах, то можно сказать: «...на свете нет прекрасней красоты, чем красота текущего мёда». Мёд медленно и достойно вытекает из крана медогонки, и его янтарная струя вся искрится и блестит множеством преломляющихся искорок и оттенков. Непрерывность струи свидетельствует о хорошем и доброкачественном состоянии мёда.

Пчеловод никогда не скажет о мёде — засахарился. Он скажет — закристаллизовался, а скорее всего, даже скажет — сел, или севший мёд.

Это слово выражает весь данный процесс. Вначале в жидком и прозрачном, как янтарь, мёде образуются малюсенькие, почти невидимые кристаллики. Мёд постепенно теряет прозрачность и даже мутнеет. Кристаллики как бы садятся на дно ёмкости, в которой находится мёд. И так, со временем, он мутнеет всё больше и больше, и превращается в массу с видимыми даже невооружённым глазом мелкими, средними или крупными кристалликами, или становится похожим на топлёное сало.

Цвет мёда бывает разный — в зависимости от вида нектара, от того, с каких цветов он пчёлками собран. То он бывает янтарный, то коричневатый, то тёмно-коричневый, то светло-жёлтый, то почти бриллиантовый. Но какого бы цвета ни был настоящий мёд — он прекрасен сам по себе как великолепное творение пчёл и природы, является как бы «пищей богов» и достоин всяческого уважения и поклонения...

А вот что пишет в своём «Дневнике восторгов души» теперь уже не начинающий, а достаточно опытный пчеловод-любитель Татьяна Николаевна Герасименко, по-прежнему продолжающая работать вместе с нами (или мы с ней?) с пчёлами в нашей деревне Пустошке. «...Чудесный май. По вечерам поют соловьи. Нахожусь неотлучно на пасеке. Вокруг прекрасный медосбор. Одуванчиков — море, цветы насыщенные, толстенькие, а нектар у них такой сладкий. Цветут сливы, вишня у Семёновны, яблоньки тоже цвели очень буйно. Пчёлы купаются в пыльце. ...Высадила смородину от Дёминых. Вечером буду сажать капусту. Работаю с огромным удовольствием. Только руки вечером ноют — сердятся на меня.

...Ночью шёл дождь, тепло. Воздух утром — не надышишься! ...Выход огромного роя из улья № 1. Сел на черёмуху по всему стволу. Решила трясти прямо в подготовленный домик (улей). Смотрела очень внимательно, определяя, где может быть матка. Трутень в одну из гуц пролез. Ну, думаю, там она. Это скопление мягкой волосистой щёткой смела в домик, потом выше, ещё и ещё, прямо на рамки. Пчёлы начали лететь туда же. Оставалось только трясти и сметать остальных. Пчёлы пошли в домик, и я поставила его на место.

...Пасека в утренней прохладе. И мне надо поработать (до новых роёв) внутри дома. Принесу большой берёзовый веник для стен, заварю травы пахучие, протру пол душистой водой, и порядок! Здесь пыли нет — всё вокруг устлано огромным зелёным ковром. А воздух! Им не просто не надышишься, его как будто пьешь!

...Я начинаю понимать этих чудесных насекомых, проникаюсь к ним всё большим уважением. Как они организованы и благоразумны.

Растопила русскую печь — чудесное изобретение на Руси — варит, парит, сушит, греет. На улице дождь и яркое заходящее солнце. Дождь затих. И о, чудо! Две радуги! Одна яркая, чёткая, другая побольше, несколько блёкая, но тоже непрерывной дугой через весь небосклон. Ходила любоваться ими. Заметила лесной кусочек и опушку леса, куда упиралась одним концом радуга. Пойду туда искать

грибы. Это был, наверное, мне знак. Потрескивают в печке дрова. На душе покой и умиротворённость. Спокойной ночи, моя маленькая страна — Пустошка! ...От ручья накатывает туман. Мягкая белая пелена всё ближе и ближе, скоро подкатит ко мне под окошко. Хорошая примета — скоро пойдут грибы.

...Рой лепится на маленькую осинку. Слава Богу! А то опять бы, как вчера, с большой рябины пришлось стряхивать шестом, используя ещё водяной фонтан («душ») и длинную лестницу. Ветер качает всю осинку. Подставила под самый рой бачок без марли, трясанула. Всё. Часть упала на траву, но матка в бачке, наклонила его — ползут в бачок. Пусть остальные идут туда, откуда вышли. Поставила бачок, накрытый марлей, под сирень. Проверила — там тихий умиротворённый гул. Успокоились. Ссыпать буду вечером в № 7, мне он кажется слабым.

...Сегодня был жаркий день. Пчёлы так приятно гудели от работы, а я пела от радости. В какой улей ни загляну — везде рамки «забелены».

...По всем ночам у нас за пасекой поёт коростель на одной нескончаемой трескучей ноте. Так и засыпаю под его концерт. Мои пташки со мной дружат. Я различаю, когда они тревожно кричат — значит, близко сорока или кошки. Кидаюсь к ним на помощь и вместе гоним врагов. Мне даже кажется, что они в этот момент стараются вначале звать меня, подлетают близко и по-своему зовут тревожным криком. Особенно отличаются ласточки. После того как сорока улетит, они кружат надо мной в знак благодарности. А птенцы других «малёх» уже оперились. Такие красивые желторотики, ещё ни разу не пискнули. Только их родители, сидя на проводах, постоянно кричат: «Нету, нету». Я им говорю: «Конечно, нету, никого тут нету. Не мешайте нам кормить желторотиков».

...Большой рой высоко на осинке, хорошо — тонкая. Позвала Лиду. Она держала бачок на голове, а я гнула осину в бачок и трясанула туда толстым слоем, остальное — на Лиду и траву — хорошо, что утром прокосила. Наклонила к траве бачок — ползут «солдатики». У меня выработался метод собирать рой наполовину, а вторую половину возвращать в улей, откуда он вылетел.

...Пчёлки летают при малейшем просветлении погоды. Вовсю цветут Иванчай, зверобой, таволга, раскрываются зонтичные — дягиль лесной, купырь и прочие. Красотища! Я старалась не косить лопух, и сейчас его стволы — высокие, с большим количеством колючек, последние зацветают, да так красочно. Пчёлы тоже берут с его цветов нектар.

...День промчался вскачь. Два выхода в лес за грибами. Скоро полночь. Закончила разборку грибов. Волнушки замочила, подосиновики поставила варить, а подберёзовики завтра отцежу — они разомлели. Бачок уже полон прессованных, отварных, надушенных чесноком, смородиновым листом, укропом и прочим, грибов.

...Холодные ночи, заморозки. Мне нравится, проснувшись, открыть занавеску и смотреть на рассыпанные по траве «бриллианты» — по ещё зелёной траве на пасеке — крупные, а по седой, уже высохшей — мелкие. А с веток осинки они свисают крупными каплями, слегка колышутся под ветерком и переливаются в лучах солнца. Изумительная красотища!

...Утро. Солнце встаёт. Небо чистое. Осинки давно голенькие, а макушки берёз ещё золотятся под лучами солнца, да рдеют гроздья рябины. Клины за клином летят гуси, иногда прямо над нашим домом. Воздух так чист и свеж, хоть пей. Сейчас разведу огонь в печи, неспешно заварю чайку и, глядя на огонь, попью чай с мёдом. Это ли не счастье?!..»

...Берёзки и осинки с каждым годом всё ближе и ближе подбираются к нашему дому в Пустошке. Всё выше и выше они взметнулись на когда-то пахавшихся и дававших неплохой урожай зерна, а не грибов, совхозных, а ранее колхозных, полях. На некоторых полях они уже заглушили так любимый пчёлами хороший медо-

нос — Иван-чай, который рос на них в первые годы запустения. Не хочется верить, что так забрасываются пашни и поливные луга по всей России. Ведь где-то, наверное, должен родиться хлеб — не всё же нам завозится из-за границы. А если кончат завозить, или нечем будет за это платить? Снова начнём корчевать лес и поднимать целинные и залежные земли? Не знаю!

...Пчёлы и люди в Пустошке тоже не знают. А кто знает?!

*Пустошка – Поваровка – Москва
2004–2007 гг.*



И ВНОВЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ

Самое лучшее время — неторопливый сбор грибов. Некоторые его называют «тихой охотой». Возможно потому, что при этом действительно тихо — нет выстрелов, криков, погони, а сам процесс охоты, поиска, добычи имеется. Но это не всё. Думаю, что для большинства грибников, тех, кто действительно любит собирать грибы, это ещё тихая и бурная радость.

И как же не радоваться, когда среди вороха старых листьев, веток и яркой зелени вдруг вымотришь или, как часто бывает, почти неожиданно наткнёшься на истинного красавца, царя грибов — белый гриб. Конечно, он растёт не в каждом лесу, а преимущественно там, где красуются стройные ели, сосны или берёзы. Вот и он стоит с такой гордой осанкой, достаточно толстой шляпкой и обязательно на очень могучей и основательной ножке. Когда вдоволь налюбовавшись им и сожалея, что нельзя вот так целиком его вместе с частью этого замечательного леса положить в корзинку, начинаешь бережно отрывать от листьев и земли его ножку, то она оказывается так глубоко, что воистину начинаешь думать о том, что белый гриб имеет могучие, далеко идущие корни и что вся его такая заметная и видная мощь идёт оттуда — из глубины нашей Планеты Земля! Такой царь-гриб заслуживает не только нежного и искреннего поцелуя, но и самого бережного и трогательного отношения к себе. Он доставляет столько тихой и бесконечно глубокой радости, что она надолго остаётся в душе и памяти.

К счастью, это не всё. Здесь же рядом с ним, под этими такими прекрасными ёлочками нахожу второй, несколько меньшего размера белый гриб, а затем чуть-чуть в сторонке и третий белый гриб. Опять долго ими любуюсь и сожалея, что нельзя всю эту грибную семейку вместе с лесом положить в корзинку и принести домой, вновь убеждаюсь в том, на каких крепких ножках растут эти красавцы. У одного из них ножка раза в полтора оказывается объёмнее самой шляпки и чтобы её взять почти полностью, оставив, несомненно, самый низкий её кусочек (корень) в земле, пришлось аккуратно, но здорово туда углубиться. А другой нацеплял на себя столько прошлогодних, а может быть позапрошлогодних листьев и травы, что его пришлось не спеша выпутывать из них.

Слегка «переварив» эти волны тихой радости и всё ещё находясь под их воздействием, счастливый и довольный, потихоньку осматриваю всю прилегающую к этому месту территорию леса. Двигаюсь взад-вперёд, то кругами, то зигзагами, и всё дальше и дальше отхожу от удачного места, на котором оставлена моя корзинка. Но нет, наверное, хватит — ведь и так много приятного получено в этом месте леса, да и земле не так было просто собрать и выдать столько своих сил в этих красавцах — белых грибах, уже лежащих в моей корзине. Спасибо ей за это!

С чувством успокоенности и благодарности возвращаюсь к своей корзинке, с другой стороны огибаю красавицы-ёлочки и неожиданно вижу, что совсем недалеко от первого найденного мною белого гриба в траве прячется ещё один, но совсем

маленький белый грибочек. Может быть, он только сейчас несколько больше выглянул из травы, пока я делал свои «кругали» — вокруг да около. А может, солнечные лучи пробились сквозь деревья и осветили его под другим углом, и он стал более заметен. Снова долго люблюсь им, нежно и бережно открыв его маленькую, но уже довольно массивную по сравнению со шляпкой ножку, срезаю его и аккуратно укладываю в корзинку. Благодарю лес, грибницу, солнце, дождь, туман, и всех-всех за это доставленное мне время тихой радости...

Иду дальше и замечаю около берёзок в траве две ярко-красные шапки подосиновиков. Они стройны, как солдаты из английской королевской гвардии, а их такие выразительные шапки-шляпки даже чем-то похожи на пышные папахи этих гвардейцев.

Стоят они на толстых, крепких и достаточно высоких ножках. Поэтому-то их и стало заметно в траве, а один из них даже немного выступает из неё.

Поприветствовав их, бережно освобождаю ножку одного из них от листьев, затем другого, и вдруг вижу, что к последней буквально прирос ещё один совсем маленький подосиновичек. Сверху его не было видно — он был там, внизу, в прошлогодней траве. И эта маленькая семейка подосиновиков — ядрёных, тугих и приятных на вкус грибов, также доставляет немало тихой и светлой радости.

...Вот стали попадаться один за другим подберёзовики — грибы наиболее вкусные в грибнице, приготовленной на чугунной сковородке. Искать и собирать их не так уж сложно. Сложнее и более трудоёмко выбрать из них те, что более всего пригодны к домашнему приготовлению. Лучше в данном случае собирать молоденькие и маленькие подберёзовики, которые привлекают к себе стройностью и упругостью.

Ещё лучше собирать черноголовки. Они по цвету ближе к подберёзовикам, только намного темнее, даже несколько коричневатее, а по виду и стати похожи на подосиновики — с такой же толстой, крепкой и высокой ножкой и достаточно упругой шляпкой. Искать и собирать их тоже огромное удовольствие.

В другой поход в лес устремляемся на поиски опять. Вот они, почти белыми, а скорее всё же жёлтыми «баянными кнопочками» рассыпались по низу ствола берёзы. Некоторые из них даже не «баянные кнопочки», а «белые бусинки». Они только только «пошли», и поэтому стараемся найти опять покрупнее. А вот и такие — эти уже как бы разворачивают свою свёрнутую внутрь шляпку и, несомненно, пригодятся на домашней кухне. Вообще-то долгое время после переезда из Сибири в Москву мы никак не могли привыкнуть к этим грибам. Они не очень внушали доверие. Но постепенно смирились, и теперь нам кажется, что опять тоже очень вкусные и хорошие грибы, особенно маринованные. Растут опять везде — где они только не растут — и по стволу берёзы вверх, так что порою их даже приходится сбивать палкой, и по стволу упавшего дерева, и на пнях, и на отдельных толстых сучьях, и в траве. В урожайные годы только очень-очень ленивый грибник не сможет их набрать. Собирать их легко и приятно.

Я уже писал о том, как в Забайкалье собирают сырые грузди. В Подмосковье и Тверской области, к сожалению, таких грибов не водится. Но есть немного похожие — чёрные грузди, или чернушки. Собирать их непросто. Растут они, как правило, в лесу, густо покрытом старой листвой, травой и хвоей. Всё это тёмного, даже чёрного цвета. И чернушки тоже чёрного цвета. Поэтому отыскать их довольно-таки трудно. Дело облегчается, когда найдёшь первую чернушку. Ведь растут они, как и сырые грузди, грядами. Сразу начинаешь искать в листве следующую. Иногда приходится активно поворошить листья и бугорки палочкой. И вот тогда действительно начинаешь собирать чернушки — одну за другой. Они тоже, как сырые грузди, губастые и твёрдые, хотя и тёмного вида. А после соответствующей домашней засолки они — вкусные и притягательные, как и другие, собранные в самое наше лучшее время, грибы...

Самое лучшее время — лыжная прогулка. И уж, конечно, не лыжная гонка за победой, как у спортсменов, а самая простая прогулка по зимнему лесу на лыжах.

Полной грудью вдыхаешь прохладный, слегка морозный воздух. И его всё хочется, хочется и хочется вдыхать.

Лыжи, слегка шурша, катят тебя по ослепительно белой и чистой лыжне. Вокруг — белое пространство, на фоне которого деревья смотрятся очень выразительно и красиво.

На вечно светло-зелёных соснах и тёмно-зелёных елях огромными пригоршнями рассыпан снег. Он лежит на их ветках, а местами задержался и прилип к неровностям стволов. На других деревьях снега меньше. Их голые ветки он как бы сделал немного толще, более «неровными», но бесподобно красивее, изумительнее и сказочнее!

Сегодня повезло! Неожиданно сквозь облачность начинают пробиваться солнечные лучи. ... Солнечные лучи летом — это что-то обычное, само собой разумеющееся. Их принимаешь как должное, хоть и радуешься, но не настолько, насколько всё это же воспринимается зимой. Так и сейчас, когда после долгого периода пасмурной, ветреной, промозглой и «смурной» погоды выглядывает солнышко, и его воспринимаешь радостно, как подарок, как какую-то даже награду за долгое терпеливое ожидание его появления...

В одно мгновение вокруг заплесало огромное количество солнечных зайчиков — это солнечные лучи, пробиваясь через ветви деревьев, попадают на снежный покров и образуют жёлтые пятнышки.

Если посмотреть вверх, то видно, как солнце играет на верхушках вековых елей, блестит снег, и ещё желтее становятся стволы стройных сосен.

Лыжня поворачивает и выходит на просеку, к восемьдесят пятому пикету. Солнце по-прежнему ослепительно брызжет в глаза мириадами искорок, которые, многократно отражаясь от кристалликов снега и льда, летят и летят в воздух, делая всё вокруг таким светлым и праздничным...

Автором и создателем всей этой сказочной картины зимнего леса, так сильно отличающейся от его летнего вида своим каким-то несколько сонным и почти безмолвным состоянием, яв-ля-ет-ся, конечно, м-о-р-о-з! Это он со своими спорными помощниками — снегом и ветром так причудливо украсил деревья, пни, коряги, опушки и поляны.

... Когда идёт снег, то снежинка за снежинкой прилипают к веткам елей и сосен. Вот уже и вся ветка покрыта белым украшением.

На кроне этой ели — целый сугроб снега, под его тяжестью ветки сильно прогнулись, но снег не скатывается, а упрямо держится за приглянувшиеся ему ветви. И только когда немного потеплеет, этот огромный пласт снега соскользнёт, наверное, вниз и с резким звуком «ухнет» на лежащий на земле снег, вызвав раскатыстое, как от выстрела, эхо.

Подул ветерок, и часть снежинок, слабо прилепленных друг к другу, к веткам и стволам деревьев, понеслись дальше. Какие-то из них цепляются за другие ветки и стволы, за своих снежинок-подружек, уже облюбовавших своё место, а другие медленно опускаются на белоснежное покрывало, укрывающее землю, делая его ещё толще и как бы даже «теплее».

Теперь лыжня выходит на поляну — почти как из сказки «Мороз — Красный Нос». С одной стороны её окружают стройные, не очень высокие ели — все в сказочном убранстве. А с другой стороны белеют стволы голых берёзок. Поляна так светла от ослепительно белого снега, что хочется даже зажмуриться, как от яркого солнца.

Здесь поперёк лыжни, справа, под тяжестью прилипшего к её стволу снега, склонилась стройная берёза. Снег наклонил её так, что она верхушкой уже вмерзает в находящийся слева от лыжни замёт снега. Слегка покачиваю её ствол и вот она,

уже освобождённая от упавших с шумом с её ствола огромных кусков снега, резко выпрямляется и устремляется снова вверх — к свету и солнцу.

Сказочны не только деревья, а и весь этот зимний пейзаж. Снег не только облепил все пни, коряги и поваленные деревья, он также выровнял и заровнял ложбинки, ямки, бугорки и другие неровные места. Поверхность земли теперь кажется такой ровной и гладкой, как будто это озеро, река, пруд или море. И только лыжня «выдаёт», что это не так. Снег под лыжами проваливается, и лыжня, хотя бы частично, повторяет неровности местности. Вот она ушла в ложбинку, а вот поднялась на небольшой бугорок, а вот скользит по ровному, «почти, как горизонт», месту...

Небольшая ель вся «с головой» укутана снегом. С вершины и почти до нижних веток она сильно облеплена белоснежной массой, отчего её вид и профиль резко изменились, и лишь можно только угадывать под этим зелёные и гибкие её веточки. И вот так, почти как «эскимо на палочке», она стоит и украшает сказочный пейзаж...

Вообще-то, если внимательно взглядеться, то чего только нет в этой зимней сказке. Мороз, снег и ветер вылепили много всего занимательного и интересного для нашего взгляда...

Видны признаки и других обитателей леса, а вернее истинных его хозяев, поскольку мы — люди — только, скорее всего, гости в этом мире природы. Вот след зайца — он сиганул прямо через лыжню. А вот этот же или другой заяц осмелился пройти перед нами по укатанной за зиму лыжне и оставил свои следы на снегу, засыпавшем её за прошедшую с прошлой нашей лыжной прогулки неделю. Он, по-видимому, шёл очень уверенно, пока кто-то ему не помешал или не спугнул его.

Далее замечаем следы лисы, тянущиеся цепочкой — это она, наверное, спугнула зайца и устроила здесь целую карусель следов. Зайцы «набегали» так много, что снег истоптан, будто их здесь было огромное множество.

А это следы белки. Она шустро пробежала по снегу, перебираясь через просеку, и у дерева, на которое она, по-видимому, и забежала (а именно так резво, как мне помнится с детства, она бежит), её следы закончились.

Весной зверушки часто из леса тянутся к жилью. Они смело подбираются к огородам и дачам. Вот и здесь, почти у самых наших домов, вновь замечаем много следов набегавшихся, видно, вдоволь за морозную мартовскую ночь зайцев.

...Стало теплеть. Солнце греет всё больше, и комки снега, прилипшего к веткам елей и сосен, не могут держаться на них, и под тяжестью веса скатываются вниз, создавая завесы из мелкой снежной пыли. Она, так же, как выпавший летом из неожиданно набегавшей тучки дождь, искрится и сверкает, и медленно опускается на покрытую снежным покрывалом землю. Такие завесы появляются то там, то здесь, и от этого создаётся дополнительное ощущение весеннего оживления леса и всей природы.

...Наступает момент, когда лыжня под действием тёплого весеннего воздуха всё больше и больше проваливается под нашими лыжами и нашим весом. Весна берёт всё больше и больше прав над природой, а зимняя сказка и вправду тает прямо на наших глазах.

Ослепительно ярко светит солнце, набухают почки на берёзах — скоро уже пойдёт, наверное, берёзовый сок, забелели макушки веток тальника и брединника — скоро пчёлы понесут с них нектар и пыльцу-обножку себе в улья...

Очень не хочется расставаться с замечательными лыжными прогулками, но впереди у следующего сезона года есть свои прекрасные мгновения, и поэтому по последней лыжне мы устремляемся навстречу другому самому лучшему нашему времени...

Уже побежали ручьи и ручейки. Солнышко постепенно слизывает все остатки снега. Вначале он всё оседал и оседал под действием тепла, его слой становился всё тоньше и тоньше, он всё темнел и темнел от талой воды, которая текла под ним. И

вот так, постепенно снежное покрывало, укрывавшее землю всю зиму, к которому наши глаза сильно привыкли, и-с-ч-е-з-л-о.

Как будто прямо из-под снега, как им и положено, «выпорхнули» ярко-белые подснежники. Вообще-то в некоторых местах действительно наблюдалось, как они пробиваются через снег и даже через лёд. Какая же в них сила жизни! Этот «героизм» растений вдохновляет всё живое. «Всё» устремляется навстречу теплу и солнцу, и «всё» от тепла и солнца приходит в движение. Вот забелели уже полностью ветки ивняка вдоль речки и пруда, появились первые цветы — мать-и-мачеха, пробиваются листья на деревьях.

Природа как бы пробуждается. Хотя сказать, что зимой она спала, будет не совсем точно. А даже если и спала, то всё равно продолжала жить. Ведь если зимой медведь спит в берлоге, он всё равно живёт и существует. Так и природа — она замедляет свои процессы зимой и резко, буйно их ускоряет с приходом тепла.

Свидетельством этому является усиливающееся многоголосье птиц. Их щебетание и пение становится всё громче и громче. Да и самих птиц, по-видимому, становится больше. Они как бы «подтягиваются» к нам сюда, поближе к домам, из леса и лугов.

Пение птиц, если к нему внимательно прислушаться, представляет «хор» или какую-то целую свою птичью музыкальную «композицию».

Слушая пение птиц и их одним им понятное щебетание, лишний раз вновь осознаёшь своё единение с природой Земли, со всем, что имеется на нашей маленькой, в масштабах огромной Вселенной, планете.

Конечно, различать птиц по их пению дано не каждому. Да это и не нужно. Можно просто слушать и тихо наслаждаться их многоголосным пением...

Вот раскатисто-раскатисто запела кукушка. И сразу вспомнилась народная поговорка: «Если кукушка поёт на голый лес — к голодному году». Но на деревьях уже появились зелёные листики — значит, будем надеяться, что с будущим урожаем всё будет в порядке...

Послушать кукушку — это большое удовольствие и огромная редкость для городского жителя. И пение кукушки, а ещё утром, в хорошую солнечную погоду, как бы придаёт всему особо приподнятое и «пасторальное» настроение. Её раскатистое и далеко-далеко разносящееся пение пронизывает всю природу какой-то весенне-летней тягой к жизни и действию.

Красиво поют на восходе солнца косачи (тетерева) на своих «токах», какие бесподобные танцы они устраивают вокруг самок! Это редкое зрелище напоминает чем-то темпераментные испанские танцы.

И тогда замираешь и делаешься неподвижным, как бы окаменелым, увидя луг в вечерних солнечных лучах, или другую неземную, а на самом деле самую что ни на есть настоящую земную красоту — прекрасное создание её Величества Природы... Это и есть самое лучшее мгновение жизни... После т-а-к-о-г-о, наверное, ни у одного, даже пусть и плохого человека, не должна подняться рука на какое-то недоброе дело...



РОДНЫЕ ЗАПАХИ

У каждого человека в памяти сидят свои, одному ему понятные и, возможно, с самого детства знакомые и приятные запахи.

Это — запах жилья и родного дома, запах теплоты и тепла материнской груди, запах хорошо и хорошими дровами истопленной деревенской русской печи, запах одежды, проглаженной утюгом.

До боли в сердце знаком нам всем запах хлеба. Но особенно сладок запах испечённого каравая ржаного хлеба. Когда хозяйка достаёт его на деревянной лопате из дышащей теплом и ароматом русской печи, от него, румяного и гладкого, исходит такой божественный запах, как будто это и есть начало всего мироздания.

А как прекрасно пахнет свежевыстиранное бельё, да ещё если оно было развешено на морозе! Занесённое в дом, оно излучает первозданную морозную свежесть и даже слегка кружит голову, как хмельное вино. В него хочется закутаться с головой и дышать и дышать этим — таким неповторимым и ни на что не похожим запахом.

Чудесный запах источает земля после тёплого июльского дождя. При этом кажется, что всё в этот миг благоухает и тихо радуется неожиданно свалившемуся счастью. Земля парит, и над пашнями и лугами колеблется и дрожит почти прозрачное белое марево. И каждая пядь земли, и каждая травиночка, и каждый цветочек, и каждое деревце неторопливо впитывают эти благодатные капли влаги и умытые, нежные, словно дети после купания, искрятся множеством отражающихся друг от друга солнечных лучей. Этот сводящий с ума запах хочется собирать в охапки и вдыхать и вдыхать до бесконечности!

Летним днём в степи, в поле или на лугу, подставив лицо свежему ветру, с удовольствием ощущаешь его своеобразный запах. В нём есть всё: немножко горьковатый запах полыни, густой запах клевера, запах цветущего почти всё лето Иван-чая, запахи одуванчика, ромашки, тысячелистника, василька, зверобоя, валерьяны, ковыля и десятков, а может даже сотен других полевых, луговых, лесных и степных цветов и растений, какие в бесчисленном множестве произрастают на российской земле. Этот запах свежего ветра, этот ветром смешанный и настоящий запах т-а-к хочется порою вдохнуть в душном и тесном городе!

Совсем по-другому пахнет летом тайга. Это ни с чем не сравнимые запахи багульника, сосны, кедра, лиственницы, смолы, мха, бадана, прелых листьев и хвои, а также всего того, что успевает вырасти и ярко расцвести за короткое сибирское лето. А ещё с тайгой неразрывно связан запах чая, приготовленного на костре — с дымком... Дурманящий запах тайги тянет и влечёт любого, кто хоть раз побывал в ней.

Свежестью и рыбой пахнет с реки, пруда, моря или озера. Этот запах будит рыбацкую страсть, что сидит где-то глубоко в наших генах, наверное, ещё с первобытных времён. При том это настолько своеобразный запах, что он нисколько не напоминает запах рыбы в магазине или на кухне. Это, скорее всего, самый настоящий запах воды, и поэтому он такой свежий-свежий.

Целый букет запахов дарит нам простая русская баня. Здесь можно вдоволь надышаться запахами берёзового, дубового или можжевельникового веников. А какой здоровый пар идёт от нагретых берёзовыми дровами камней — дух захватывает! От липовых досок полка тоже исходит приятный аромат. Если же ещё на камни плеснуть немножко домашнего кваса или пива, то голова начинает кружиться и без употребления горячительных напитков.

Но настоящий восторг вызывает непередаваемый запах открываемого пчелиного улья. В нём содержатся запахи прополиса, пыльцы, разнообразного нектара и мёда, воска и всего-всего, что выработали и принесли труженицы-пчёлы в своё жилище с полей и лугов. Этот сгусток запахов является как бы вершиной природного созидания, и если это приемлемо в данном случае, — природного творчества!

Бесчисленное количество умопомрачительных запахов приносит нам приготовление и приём пищи, начиная от древнего запаха жареного или варёного мяса и кончая утончёнными запахами вин, пирогов и пряников. Однако каждому из нас ближе что-то своё, например, бесподобные запахи картошки или глазуньи из деревенских яиц с ярким желтком, пожаренных на сале на чугунной сковородке, или запах душистого земляничного варенья, сваренного когда-то бабушкой!



ТУМАН

Туман бывает не всегда и не везде. В городах редко увидишь настоящий туман. В них, как правило, температура воздуха бывает на несколько градусов выше, болота и долины рек встречаются не часто. А ведь туман-то и образуется именно в низинах и этих долинах.

...Вот он — туман появился внизу у речки. Затем медленно стал заполнять луговину. В него постепенно погрузились редкие берёзки и осинки, выросшие по краям пахавшегося в прежние годы совхозного поля.

Далее туман «наезжает» на нашу небольшую пасеку, и в нём тонут улья с пчёлами. И вот он уже «поглотил» штaketный забор, калитку, и подкрадывается к крыльцу, на котором стою.

Теперь туман огромными хлопьями обволакивает меня, и я ощущаю его прохладное и такое приятное после дневной жары дыхание. А он движется всё дальше и дальше. Он уже «поглотил» наш огород, баню и выполз к дороге и полю с другой стороны нашей улицы.

Реальная картина всего, что до этого окружало меня, растворяется в белом мареве. Туман становится всё гуще и гуще... и всё вокруг вместе с ним медленно погружается в ночь...

...А утром, когда только начинает светать, ещё до восхода солнца, туман кажется ещё плотнее, гуще, п-р-о-х-л-а-д-н-е-е и даже х-о-л-о-д-н-е-е.

Он как бы выходит из ночи — такой белый и светлый, как начинающийся день.

Первые лучи солнца несмело и робко пробивают кажущуюся такой огромной толщу тумана.

Постепенно туман светлеет. Вот он ещё охапками цепляется за деревца, ложбинки, и понемногу-понемногу расслаивается и исчезает совсем, растворяясь в наступающем ярком солнечном очередном летнем дне нашей прекрасной Земли!

Пустошка, июль 2006 г.



БАРС-А

Это было прелестное и милое создание. Белым пушистым комочком котёнок лежал на диване, греясь под лучами весеннего солнца, проникающими через окно. Хозяйка с сыном, как говорят, не могли на него «надышаться» — то и дело брали на руки, укладывали себе на колени, играли с ним верёвочкой, заставляли забавляться свёрнутой в шарик серебряной фольгой из-под шоколадных конфет.

Принесли котёнка во время командировки хозяина квартиры. По приезде ему уже ничего не оставалось, как смириться с происшедшим, поставив лишь условие, что ухаживать за ним будут жена с сыном. Вообще-то, в душе, он был доволен уже тем, что взяли котёнка, а не щенка, с которым в их небольшой квартире негде было бы развернуться, да и хлопот тоже было бы несравненно больше.

Котёнок быстро освоился, изучил все уголки квартиры, был очень шустрым и смелым. Ему дали громкое имя Барс.

Через несколько месяцев, когда он заметно подрос, его стали выпускать «на прогулку» в общий коридор этажной секции и на лоджию.

Однажды он по бетонной балконной панели перебрался на лоджию соседней квартиры, чем вызвал целый переполох... Он спокойно разгуливал по самому краю лоджии, совсем, казалось, не чувствуя и не подозревая об огромной опасности высоты десятого этажа. Пришлось тревожить соседей и вместе с ними спасать его от вполне возможного безрассудного прыжка вниз...

Неожиданно, когда сосед по этажу полюбострадал насчёт имени котёнка, выяснилось, что он — «она», а не «он». Называть его Барсом теперь уже было неправильно, хотя, по утверждению сына, он уже вроде бы начал на это имя даже откликаться. После долгих обсуждений по предложению матери хозяйки, решено было назвать котёнка Барсой, от слова Барс-а.

Спустя некоторое время под угрозой съедения Барсой оказались цветы, которые в большом количестве были расставлены по всей квартире. По-видимому, котёнку требовалась для роста какая-то зелёная трава. Однако зелень, сорванную с газона возле дома, он есть не хотел, а вот листья с некоторых комнатных цветов ему почему-то пришлись по вкусу. За это ему доставались лёгкие, почти нежные, шлепки и ласковые окрики хозяйки.

Прошёл год, снова наступило лето. Барса стала уже большой кошкой, но нигде, кроме квартиры, лоджии и общего коридора секции не бывавшей. Предыдущим летом хозяева выезжали на дачу не более чем на одну ночь — на большее время оставлять её одну в квартире не решались. И то, после возвращения, хозяйка долго всё прибирала и даже успокаивала Барсу, как бы извиняясь за то, что оставили её одну.

Теперь же решили взять её с собой на дачу на все выходные. Правда, были некоторые опасения, что она может убежать куда-нибудь и заблудиться, а также, что её могут увести местные коты, которых в округе дачи было много.

Везли Барсу в старой школьной сумке сына с замком «молния», из которой она постоянно норовила вылезти, стоило лишь её чуть-чуть расстегнуть, проверяя, «как

она там себя чувствует». Выглядывая из сумки, она смотрела на всё окружающее с большим испугом и в то же время с любопытством. Приехав на дачу поздно, хозяева в первую ночь её из помещения никуда не выпускали. Утром она осторожно вышла на террасу. Перед ней открылся совершенно иной мир, нежели тот, который она видела с лоджии городской квартиры. Вокруг были деревья, кусты малины и смородины и столько-столько зелени, что захватывало дух.

Оглядевшись и освоившись на террасе, Барса по ступенькам крыльца стала медленно двигаться всё ближе и ближе к земле. Это было что-то совсем незнакомое — зелёное, а местами чёрное и жёлтое.

В квартире и на лоджии пол был твёрдый и гладкий, на него можно было ступать без боязни, а здесь под лапами всё зелёное, как листья комнатных цветов — а вдруг снова «влетит»? Осторожно, пощупав лапой зелень, Барса не осмелилась на неё ступить, а двинулась дальше по узкой доске, проложенной возле крыльца. Когда доска закончилась, она остановилась — дальше снова была незнакомая зелёная масса, которую можно было потрогать лапой, может даже можно рискнуть попробовать на вкус, тем более, что пока хозяева не окриками её, а лишь внимательно следят за всеми её действиями. Однако кушать зелень что-то не хотелось, да и вообще было не до еды — она так и осталась нетронутой на террасе...

Какая тут еда, когда весь мир как бы перевернулся, как будто оказался совсем в другом измерении. Вот только люди вроде те же, а всё остальное — чужое.

С лоджии квартиры она иногда наблюдала в узкую щель за тем, что делалось внизу. Но это был взгляд сверху, издалека на кроны деревьев, на газоны, на улицу сдвигающимися по ней автомобилями, то есть на всё, как и в той коробке, на которую часто смотрят сами хозяева, и из которой иногда доносятся совсем страшные звуки, но которая, однако, ничего плохого никому не причиняет, а на эти звуки никто не реагирует.

В квартире, когда появлялось что-нибудь незнакомое — человек или вещь, Барса сразу стремилась это изучить и освоить. Подходила, обнюхивала, осторожно пробовала лапой, если «это» двигалось, а затем обычно, если знакомство устраивало, укладывалась на эту вещь, или пыталась улечься на колени очередного гостя. Когда гости активно играли с ней — ей это очень нравилось. И вообще, как только открывалась входная дверь, или хозяева только начинали вставлять ключ в замочную скважину, она уже бежала и готовилась встречать входящего.

Особенно тепло встречала хозяйку, которая обязательно по приходе брала её на руки, разговаривала с ней, а затем кормила. После этого Барса довольно и сыто тёрлась о её ноги, мурлыкала, а потом, удобно устроившись в уголке дивана или на своём коврик, на стуле, дремала, готовая по первому зову хозяйки кинуться к ней.

Здесь же, на даче не одна и не несколько вещей, а почти целый мир, всё окружающее оказалось для неё незнакомым — как бы пришло в гости. Это её напугало. Знакомыми были только хозяева, да и они ли это, а может, это не они — ведь всё остальное — не своё, непривычное. Даже опереться на что-то знакомое нельзя — не на что. Непонятно, куда всё знакомое делось, и откуда такое множество незнакомого взялось? Перед всей этой массой незнакомого Барса сама себе стала казаться ещё более маленькой и незначительной, чем была на самом деле. Это незнакомое раздавливало своей огромной «массой», давило на неё. Она как бы никак не могла решить — что же ей делать? — начинать, как и обычно, изучать все новые вещи, или и дальше стоять в растерянности и шоке от неожиданного появления такого огромного количества незнакомого.

Хозяйка взяла её на руки и понесла показывать территорию дачи. Около грядок с клубникой она попыталась опустить её на тропинку. Однако, едва коснувшись лапами земли, Барса как наэлектризованная подпрыгнула несколько раз и оказалась

на доске, огораживающей грядки с клубникой. Почувствовав под собой твёрдое, успокоилась, остановилась и начала осматриваться. Затем, через некоторое время, осторожно двинулась по доске вперёд. На краю грядки она перебралась на новую доску, уходящую в другую сторону, и снова двинулась дальше. Так осторожно и дрожа всем телом, она освоила доски, ограждавшие грядки клубники. На землю же больше так и не ступила. Когда вернулись на террасу, Барса немного успокоилась, но всё равно была непривычно скованной и не игривой, к еде по-прежнему не прикасалась. Казалось, что она забыла даже про сон, хотя дома спала по многу раз в день. На ночь хозяева взяли её к себе в постель, где она пролежала или просидела всю ночь в их ногах. Когда хозяева просыпались — им казалось, что она совсем не спит, а сторожит их и себя, как преданная собака.

Следующим утром она стала немного спокойнее и менее растерянной. Видимо, постепенно отходила от шока и пыталась смириться с новым окружившим её миром, поскольку он не исчезал, как в телевизоре, а уже постоянно стоял перед глазами. Раз этот мир не исчез после двух ночей — следовательно, надо как-то его осваивать... Барса несмело начала трогать лапой землю возле террасы — ничего не произошло, хозяева спокойны. Можно двигаться дальше. Конечно, это не пол, но отталкиваться от этого можно. Запахи тоже все незнакомые. Нет, нет, что-то есть похожее на запахи горшочков с цветами, в которые хозяйка зачем-то каждое утро наливает воду...

...С водой раньше у неё тоже были некоторые неприятности. Она не знала, что это такое. Просто хозяевам, где-то через месяц её жизни в квартире показалось, что она стала грязная. Они захотели её искупать в ванной. Как она ни вырывалась и ни крутилась, её намылили и облили чем-то, хотя и тёплым, но неприятным. Хозяйка держала её, завернутую в полотенце, у себя на коленях. Барса дрожала, непонятно от чего: от страха или от холода. Сами хозяева были напуганы не меньше её. Затем она вырывалась и долго облизывала всю себя. Вообще то она была очень чистоплотна и аккуратна — умывалась тщательно — по несколько раз в день и особенно после еды.

...Так шаг за шагом Барса начала осваивать пространство около террасы, при этом время от времени вздрагивая и постоянно оглядываясь вокруг. К обеду она немного осмелела и даже двинулась вглубь сада по узкой тропинке, по сторонам которой росли какие-то кусты, в которые лезть она пока ещё не решалась, хотя это могло бы быть и интересно для неё... К вечеру она ещё больше освоилась, правда, от террасы ещё слишком далеко не отходила, то и дело к ней возвращалась, но по поведению стала более раскованной и непосредственной. По-видимому, её шоковое состояние проходило, а мир стал возвращаться в своё привычное измерение.

Она даже осмелилась полезть на небольшое дерево. Залезть залезла, а вот вернуться, чтобы слезть с дерева вниз головой, не догадалась. Долго сидела вверху, испуганно прижавшись к стволу, а затем очень медленно сползла обратно. В следующие выходные она уже всю бегала по всем закоулкам дачного участка. Рано утром, когда хозяева ещё крепко спали, она через открытое окно выбиралась наружу и залезала на одну из раскидистых яблонь, где и встречала восход солнца. Затем, набегавшись, она тем же путём возвращалась в помещение, подсказывая хозяевам, что пора вставать и кормить её.

...Очередное происшествие произошло с Барсой, когда хозяева покрывали лаком паркетный пол в квартире. Она находилась с хозяйкой и сыном на лестничной площадке у открытого окна, когда хозяин, докрасив пол у порога, выскочил отдыхать. Двери в секцию и квартиру оказались открытыми — мгновение — и вот она уже с трудом отрывает лапу за лапой от липкого пола, не понимая ещё, что это такое. Прошагав с трудом по только что покрытому лаком паркету несколько шагов,

останавливается в растерянности. Чертыхаясь, хозяин достаёт её оттуда, закрашивает сделанные обоими следы лаком и все едут на дачу.

По дороге тряпочкой, смоченной ацетоном, пытаются стереть с её лап прилипший к ним лак. Она вырывается и дёргается.

На даче её отпустили, но она была неузнаваема. Она как бы боялась ступать и всё время что-то стряхивала с лап. Так иногда девочка-купальщица осторожно пробует ногой воду перед тем, как в неё окунуться.

Оказывается, подушечки лап — одни из самых чувствительных мест у кошки — покрылись затвердевшим слоем лака, и тем самым были нарушены её ощущения пола, земли, предметов.

Барса привычно ступала на пол, но привычного его ощущения она не чувствовала. Вот её перенесли на тропинку — но прохладного ощущения земли она тоже не почувствовала.

У неё снова всё спуталось в голове. Она была испуганная, растерянная и как бы вся съёжившаяся в ожидании очередной (уже какой?) опасности. Попробовали ещё раз отчистить ей лапы ацетоном, но ничего не получилось — ей было, по-видимому, больно и непривычно.

Её оставили в покое, и она, забившись в угол дивана, начала медленно языком слизывать налипший на лапы лак — он ей теперь не давал возможности успокоиться и заснуть.

На следующий день середины подушечек её лап были освобождены от лака и она, хоть ещё не очень уверенно, но всё же уже смелее и смелее стала передвигаться по даче и участку.

За неделю, уже в городской квартире, она постепенно слизала с лап весь прилипший лак — они стали у неё такими же, как и были до этого небольшого происшествия.

...С особым удовольствием Барса исследует любую новую коробку или мешочек из-под чего-либо. При этом она залазит туда с головой, и если коробка оказывается небольшой, то порой не может оттуда вылезти и начинает передвигаться по комнате или кухне с коробкой или мешочком на голове. Естественно, что с возгласами удивления и лёгкого укора её освобождают от лишнего предмета. Она, однако, нисколько этим не огорчается, и если коробка или мешочек оказываются не убранными подальше, вновь повторяет то же самое. Ей, по-видимому, такая игра очень нравится.

А ещё она стрелой «летит» на кухню, только лишь услышав первые звуки разбивания хозяйкой варёного яйца — своего деликатеса. С огромным вниманием она следит за чисткой картофеля в ожидании получить кусочек сырой картофелины «в награду» за своё терпение.

Мать хозяйки называет Барсу самой умной кошкой на свете. Когда она приезжает, Барса почти не отходит от неё, ложится на колени, следит за каждым её движением и жестом, слушает её тихие разговоры с дочерью, вместе с ней вздыхает и переживает различные новости.

Всем кажется и все считают, что Барса всё-всё понимает как человек, и лишь не может сказать — вот такой бессловесный, но очень дорогой член семьи...

Москва, 1990 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У БАЙКАЛЬСКОЙ ВОДЫ

Прямо к самому краю обрывистого левого берега Иркутского моря — водохранилища, сбегает одна за одной сосёнки. Они, как будто девчонки-подружки, гурьбой бегут со склона сопки вниз, и вдруг передние из них оказываются прямо на обрыве берега, под которым плещется байкальская вода, пугающая своей глубиной и холодом. И они как бы замирают в испуге, боясь упасть в такую неласковую для них воду, по которой изредка пробегают небольшие волны, и которая шумно бьётся о берег, всё подмывая и подмывая его, обрушивая и обрушивая всё новые и новые комочки земли. Берег постепенно осыпается, и кажется всё ближе и ближе тот момент, когда корни уже не смогут удержать крайнюю сосёнку на берегу, и она рухнет в водную пучину. В испуге стоят другие сосёнки, которые несколько дальше от обрывистого берега и от своей подружки. Они бы рады отпрянуть, отбежать подальше назад, вверх от этого опасного места, но им мешают другие сосёнки, уже сбегавшие к ним по склону и не дающие им такой возможности...

Что-то здесь кажется неестественным. В природе, где, как правило, всё гармонично, так обычно не бывает. Такие деревья, как сосны и кедр, не растут так близко к воде. У воды растёт ивняк, верба, тальник. Если же и растут сосны или кедр у воды, то они из совсем другой породы — могучей и крепкой, которая может постоять за себя в схватке хоть с кем: сильным весенним паводком или даже ураганным ветром. Они именно такие, и смысл их всего существования заключается в этой вечной борьбе. А эти деревья совсем не этой кряжистой породы, а более нежные создания, привыкшие расти в спокойной обстановке и не подготовленные к суровой битве «не на жизнь, а на смерть» со стихией...

Здесь опять вмешался «его величество» Человек, построивший плотину гидроэлектростанции и разливший воду Ангары на многие сотни и тысячи метров в сторону от прежнего русла, вплоть до этих вот славных сопочек с растущими на них весёлыми подругами-сосёнками. Нет у них теперь другого выхода, кроме как молча наблюдать за тем, как в холодных неласковых водах оказываются они постепенно, одна за одной. И только, возможно, их молодая поросль остережётся произрастать здесь, в опасном соседстве с бурной и всё поглощающей водой, а взрастёт из отнесённых услужливым ветром или птицами семян где-нибудь подальше — лучше на другом, противоположном склоне сопки, и уже там будет весело расти и сбегать дружной гурьбой вниз, к распадку, по которому, утомлённо урча, бежит таёжный ручей, утоляющий жажду доброму путнику и дарящий ему бесконечную радость общения с живой природой!

Иркутск – Москва, 1990 г.

БЕЛОЧКИ

Куст орешника за последние годы так заметно разросся, причём без какого-либо нашего участия и помощи в виде удобрений или почвенной обработки. В середине августа на нём стал виден богатый урожай орехов — фундука. Они небольшими гроздьями с узорчатыми листьями густо-густо свисали с веток и дозревали до нужного состояния под лучами ещё летнего солнца...

И в эти дни неожиданно стали появляться белки. Они и так обычно мелькали то на одном, то на другом дереве. Иногда белка шустро пробежала по забору. Случалось, что белки играли, быстро бегая друг за другом по спирали вокруг ствола сосны или ели. В этот же раз стала просматриваться какая-то их целеустремлённость: они передвигались по одному и тому же направлению — маршруту, перескакивали на одни и те же деревья. Всё это происходило прямо перед нашими окнами и лоджией. Казалось, что после своего долгого летнего отсутствия, а их на самом деле почти всё лето не было видно, они специально показываются нам на глаза, чтобы мы полюбовались их красотой и ловкостью.

Действительно, было чем полюбоваться и повосторгаться. Вот почти неслышно и очень быстро белка бежит по стволу ели, затем по её мохнатой ветке, на какое-то мгновение останавливается и прыгает на ветку уже соседнего куста рябины. Ветки рябины очень тонкие, даже не верится, что они могут выдержать её вес. А белка, хватко уцепившись за одну из этих тоненьких веточек, уже бежит по ней дальше, к стволу, затем по нему вверх и снова по тонкой веточке уже с другой стороны. Ми-и-г, и она уже на ветке другой ели. И вновь такие же, ей одной только понятные движения, зигзаги, манёвры — и она уже на следующем дереве...

Полюбовавшись и повосторговавшись такими красивыми упругими пробежками белки, обнаружили, что она, по-видимому, не одна, а скорее всего, их две, или даже три. Постепенно присмотревшись и понаблюдав, установили, что это — семья белок с маленьким, по сравнению со взрослыми белками, бельчонком.

А ещё через несколько дней нашего продолжающегося восторга от их появления обнаружили, что все их действия направлены к созревающим (это по-нашему мнению), а по «их данным» к уже созревшим плодам орешника.

Оказалось, что белки эти плоды срывали, очищали и, держа во рту, по тому же, но только обратному маршруту, переносили дальше, в своё гнездо, устроенное ими где-то за пределами нашего дачного участка. Некоторые гроздья орехов они несли целиком, и несколько из них мы нашли под деревьями, далеко от самого орешника — по-видимому, они выпали у белок при акробатических прыжках с дерева на дерево.

Иногда был слышен треск от раскалывания скорлупы орехов, но в основном всё происходило почти бесшумно. И только изредка некоторые звуки белки всё же издавали. Это происходило тогда, когда взрослая белка — мать или отец (снизу нам, не профессионалам-биологам, определить трудно) проходила с грузом орехов часть

деревьев и останавливалась, подавая какой-то резкий отрывистый сигнал. И тогда по этому же маршруту устремлялся, также с ветки на ветку, по стволам и дальше, молоденький бельчонок. Когда он достигал дерева со взрослой белкой, та вновь продолжала своё движение по выбранному маршруту. А он внимательно наблюдал за её действиями, чтобы затем повторить их в такой же последовательности, и с такой же бесподобной точностью.

С большим трудом удавалось их сфотографировать — ведь они не задерживались в одном положении долго, а скорость их перемещения была значительно больше требуемой для хорошего, «не смазанного» фотоснимка.

Наши наблюдения и любования «заготовительной» деятельностью белок продолжались почти неделю, пока куст орешника не опустел от столь обильного ныне урожая своих плодов. Все они были перенесены дружной семьёй белочек в свои «закрома» или спрятаны в траве под кустом для создания запасов пищи на такую долгую и суровую зимнюю пору.

...Вот белка бежит по забору, на который склонился высокий куст ежевики, останавливается и съедает аппетитные чёрные ягоды. Позднее хозяйки увидели, как белка «уплетала» спелые сливы и оставшиеся после летнего сбора ягоды малины.

...Затем белочки так освоились, что почти перестали кого-либо бояться. Они спускались с деревьев, бегали и резвились в траве, несмотря на то, что кто-то из нас находился почти рядом с ними.

...Что-то зашумело вверх. Это опять белка: пробежав по стволу и ветке ели, прыгнула на куст осины, затем с её веток перебралась на ветки соседней черёмухи и ненадолго задержалась на стволе во всей своей разноцветной красе, во весь свой рост со свисающим вниз и непрестанно колышущимся пушисто-пушистым хвостом. Не замечая никого, она почти неслышно, шурша маленькими лапками, пробежала по тонкой-тонкой и совсем уже голой, без листьев, ветке черёмухи и оказалась на разлапистой ветке ели. И вот её тихое шуршание слышно дальше — оно так звонко и гулко разносится по прохладному осеннему воздуху, слегка согриваемому лучами уже так низко скользящего по небосклону солнца.

Поваровка, август–октябрь 2009 г.

Краткое послесловие

Даже зимой, под снегом, непонятно каким образом, белочки успешно находили спрятанные ими летом орехи. А также с удовольствием щёлкали семечки, насыпанные для «подкормки» птиц.



БЕЛОЕ ПЛАМЯ

Белым пламенем каждую весну полыхает этот куст высокой, вытянувшейся аж до пятого этажа жилого дома черёмухи. Это белое сияние — горение, длится недолго — всего где-то около недели, как правило, в середине мая. А каждое утро в другие дни года, проходя мимо этой черёмухи к станции метро, вижу только это и именно это белое пламя. Не листва, которая делает зелёным весь куст весной и летом, не яркие красно-жёлтые листья, появляющиеся осенью, и не голые ветви, гнущиеся под сильным ветром зимой, а лишь только белое черёмуховое пламя стоит всякий раз перед моими глазами... И мне даже не приходится слишком напрягать своё воображение — сам по себе этот удивительный черёмуховый образ возникает сразу — стоит только взглянуть на это дерево.

Так, наверное, и во многом другом мы часто видим и замечаем лишь только то, что врезалось в нашу память раз — и навсегда! Конечно, зимой, когда всё вокруг бело от снега, труднее на чёрных ветвях черёмухи представить «белое пламя». Но иногда в тихую солнечную погоду удаётся.

...Этот образ цветущей черёмухи всё чаще и чаще видится по мере приближения весны. А уж когда начинают журчать ручьи, петь по-весеннему птицы, а на деревцах проклёвываются первые листочки, то это желаемое видение всё более и более всплывает перед глазами. Кажется, что вот именно сегодня, сейчас, сию минуту заполыхает черёмуха этим своим таким выразительным белым пламенем.

...Вот уже и сильно потеплело. Среди тёмных стволов других деревьев, растущих вдоль «пятиэтажки», первой начинает зеленеть наша красавица. Нежная молодая зелень маленькими тонкими остроконечными листочками пробивается из её веток, сливается в общую воздушно-зеленоватую массу, и вот на ней уже явно можно вообразить белое пламя.

Зелёная «картина» стоит достаточно долго. Молодая зелень день за днём темнеет, увеличивается в количестве и постепенно заполняет всё околочерёмуховое пространство. Казалось бы, процесс закончен, но нет... Всё находится в ожидании главного...

По утрам взгляд сразу выхватывает эту зелень из бело-чёрных стволов берёз и веток других деревьев. А затем, когда становится ещё теплее, то оказывается, что черёмуховая зелень темнее, и поэтому она так резко выделяется на фоне другой более светлой зелени.

Постепенно всё застывает, сравнивается и смешивается в одном зелёном месиве. Кажется, что уже более нечего и ждать — так ласкает глаз после зимней оголённости это многоцветно-зелёное море. Однако нет... Как вспышка молнии пронизывает всё белое пламя цветущей черёмухи. Вот, это наконец и происходит! И тогда подолгу стоишь и любишься красотой этого восхитительного создания, вдыхая дурманный запах её цветения.

...Потом мы неспешно идём, почти как римские императоры, возвращающиеся из походов, по тротуару, усыпанному лепестками, только не роз, а цветов черёмухи, и нам остаётся лишь бесконечно восторгаться этим торжеством природы, её высшим достижением — цветением и благоуханием!!!

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Осторожно, несмело ступаю по этому пёстрому и празднично-разноцветному ковру опавших осенних листьев, рассыпанных в таком вызывающем немой восторг и изумление беспорядке. Все они — жёлтые, светло-коричневые, оранжевые, красные, розоватые... представляют собой изумительный набор красок, которому может позавидовать любой, и даже выдающийся «мастер кисти».

Листья трогательно шуршат и порхают в воздухе, и на устланной ими земле, которая, в отличие от ставшей привычной нашему зрению летней зелени, теперь кажется особо украшенной к какому-то очень важному событию — очередному торжеству жизни.

Деревья пока не оголились. На многих из них по-прежнему зелёная листва, но она теперь уже другого, не летнего оттенка. Ещё один миг — и она запылает огненными цветами и постепенно приобретёт вид, подобный листве на соседнем дубе или клёне, которые уже оделись в свой осенний наряд и ласкают наш взгляд своим бесконечно красивым убранством: ярко-жёлтым и светло-красным.

Солнечные лучи добавляют что-то своё в эту палитру красок. Воздух от этого кажется ещё более прозрачным, светлым и, как говорил великий поэт, «хрустальным». Его вдыхаешь с таким же наслаждением, как будто утоляешь жажду в знойный летний день холодной родниковой водой.

Ярче и выразительнее становится голубизна неба. Более звонко разносятся по лесу голоса и крики. Светлая радость и умиротворение незаметно проникают в наши души и сердца. Кажется, что вместе с опавшими листьями мы и сами немного очищаемся, тоже скидывая что-то ненужное.

И никакой грусти! Только размеренное и определённое ритмом жизни Великой природы Земли естественное чередование и смена времён ещё одного года нашей жизни...

Октябрь 2008 г.



Биографические справки

Астафьев Виктор Петрович (1924 — 2001). Родился в селе Овсянка, недалеко от Красноярска. Отец будущего писателя попал в тюрьму с формулировкой «вредительство», а мать утонула. Мальчик скитается, несколько месяцев живёт в заброшенном здании парикмахерской, затем попадает в детский дом. В 1942 году Астафьев уходит добровольцем на фронт. С весны 1943 года находится в действующей армии. До конца войны Виктор Астафьев оставался простым солдатом. В 1944 году был контужен. После демобилизации в 1945 году уехал на Урал. Работал слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежурным по вокзалу, кладовщиком.

В 1951 году в газете «Чусовской рабочий» опубликован первый рассказ Астафьева «Гражданский человек». Первая его книга «До будущей весны» вышла в Молотове в 1953 году. С тех пор изданы десятки книг писателя, в том числе собрание сочинений в 15-ти томах.

Евгений Носов писал Астафьеву о повести «Ода русскому огороду»: *«Читал повесть как великое откровение... Это не рассказано, а пропето — на такой высокой и чистой ноте, что становится уму непостижимо, как это могут обыкновенные, грубые корявые руки российского писателя-мужика... сотворить такое чудо... Ах, какое же это диво дивное ода твоя!»*

Вампилов Александр Валентинович (1937 — 1972). Родился в посёлке Кутулик Иркутской области. Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета. Первая книга Вампилова, составленная из юмористических рассказов и сцен («Несравненный Наконечников»), увидела свет в 1961 г. В 1964–1965 годы Вампилов публиковал свои рассказы в коллективных сборниках «Ветер странствий» и «Принцы уходят из сказок». В 1965 окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. Во время учебы написал комедию «Ярмарка» (др. название «Прощание в июне», 1964), которая получила высокую оценку драматургов А. Арбузова и В. Розова. Его пьесы публиковались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Театральная жизнь», входили в репертуар лучших театров страны. Критики говорили о «театре Вампилова» и видели в персонажах его пьес, незаурядных людях, наследников классических героев русской литературы – Онегина, Печорина, Протасова, Лаевского. В 1967 г. Вампилов написал пьесы «Старший сын» и «Утиная охота», в которых в полной мере воплотилось его огромное дарование драматурга.

Жизнь Александра Вампилова оборвала трагическая случайность.

Гольдберг Исаак Григорьевич (1884 — 1939). Родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось закончить лишь городское училище, а в 1903 г. его арестовали за принадлежность

к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Будущий писатель вступает в партию эсеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске. В 1907 году его ссылают сначала в Братский острог, потом на Нижнюю Тунгуску, где он пробыл до 1912 года. Творческим итогом этой ссылки стала книга «Тунгусские рассказы». Подлинный расцвет таланта И. Гольдберга начался в 20-х годах. Писателя надолго захватывает героика гражданской войны. Одно из лучших произведений — повесть «Гроб подполковника Недочетова». Каждый из персонажей обрисован психологически очень точно и глубоко. Повесть была впервые опубликована в журнале «Сибирские огни» в 1924 году.

Долголетняя творческая работа Гольдберга, написавшего за треть века свыше ста романов, повестей, рассказов и статей, получила высокую оценку со стороны Максима Горького.

Зазубрин Владимир Яковлевич (1895 — 1938). Родился в Пензе в семье железнодорожника. В 1906 г. семья переехала в Сызрань. В 1916 г. будущий писатель был арестован за революционную пропаганду. После освобождения в августе 1917 г. мобилизован в армию и направлен в Павловское военное училище в Петрограде. После Октябрьской революции отправился в Сызрань и в августе 1918 г. попал по мобилизации в Иркутское юнкерское училище. С лета 1919 служил в колчаковской армии, в октябре перешёл к красным, а в конце года перенёс сыпной тиф. В Канске, где он выздоравливал в доме своей будущей жены, он и написал свой первый роман «Два мира», о котором положительно отзывались Ленин и Горький. Роман зачитывали вслух в воинских частях.

После выздоровления работал в канской армейской газете «Красная звезда», писал очерки, корреспонденции, рассказы. В 1922 демобилизовался из армии, а в 1923 стал председателем и секретарём недавно созданного журнала «Сибирские огни».

В 1923 Зазубрин написал повесть «Щепка» о работе ЧК и красном терроре, которая была опубликована лишь в 1989.

М. Горький так характеризовал творчество писателя: *«...Зазубрин... подчёркивает исконность человеческих страстей, их первозданность, всем арсеналом своих излюбленных приёмов добивается крупномасштабности в воспроизведении и природы, и действующих лиц, и событий»*

Зверев Алексей Васильевич (1913 — 1992). Родился 24 февраля 1913 года в селе Усть-Куда Иркутского района в семье крестьянина-середняка. Окончил семилетку, затем поступил в иркутский сельскохозяйственный техникум. Вернувшись в деревню, работал по специальности. Желание увидеть мир влекло будущего писателя в другие края: работал в Красноярском крае, на Волге, в Горьком.

В 1940 г. Алексей Васильевич вернулся в Сибирь, откуда его дорога лежала уже на войну. После тяжелых ранений одиннадцать месяцев пролежал в госпиталях. Награждён орденом Красной Звезды и боевыми медалями. В 1945 году, вернувшись с фронта, А. В. Зверев поступает учиться в Иркутский педагогический институт. В общей сложности Зверев проработал в школе 36 лет.

Литературной деятельностью вплотную занялся в 1960 году. Первая книга Зверева вышла в свет, когда ее автору было уже 55 лет. При жизни писателя опубликовано десять книг, каждая из которых становилась предметом самого внимательного изучения со стороны критиков.

Повесть «Раны» стала подлинной вершиной творчества писателя-сибиряка.

Кунгуров Гавриил Филиппович (1903 — 1981). Сын забайкальского рабочего-железнодорожника. Будущий писатель окончил начальную железнодорожную школу, высшее начальное училище, учительскую семинарию, Иркутский государственный университет. В юности ему пришлось сменить много профессий. В годы гражданской войны воевал на Дальнем Востоке, но его призванием стала педагогика, до конца жизни он преподавал в Иркутском педагогическом институте.

Кунгуров много путешествовал, хорошо изучил Сибирь и Север. По окончании Иркутского государственного университета организовывал первые школы на Севере, участвовал в создании алфавита для бесписьменных северных народов. Произведения Кунгурова переводились на многие языки мира. Историческая повесть «Артамошка Лузин» (1937) создана на основе тщательного изучения исторических документов, достоверно изображает быт Восточной Сибири семнадцатого века. Повесть выдержала множество изданий и полюбилась читателям всех возрастов.

Машкин Геннадий Николаевич (1936 — 2005). Родился в Хабаровске, в семье рабочего. После войны семья переселилась на Южный Сахалин, затем переехала в Иркутск. В 1954 году Геннадий Машкин окончил среднюю школу и поступил в Иркутский горно-металлургический институт на геологоразведочный факультет. С 1959 года работал в Бодайбинском районе на разведке, поисках и геологосъемке.

В начале 60-х годов появляются произведения, ставшие открытиями знаменитого читинского семинара (1965 г.): это рассказ «Арка» и повесть «Синее море, белый пароход». Они впервые увидели свет на страницах журналов «Юность» (1965) и «Сибирские огни» (1966), с тех пор регулярно переиздаются в нашей стране и за рубежом. Повесть «Синее море, белый пароход» вошла в школьные программы по литературе, выдержала более пятнадцати изданий в нашей стране, переведена на многие иностранные языки. Критики единодушно признали общечеловеческую значимость этого произведения.

Распутин Валентин Григорьевич родился 15 марта 1937 года в пос. Усть-Уда Иркутской области. Детские годы прошли в деревне Аталанка. После окончания Усть-Удинской средней школы в 1954 г. поступил на историко-филологический факультет Иркутского госуниверситета. Работал в газете «Советская молодежь», затем — редактором на Иркутской студии телевидения, потом уехал в Красноярск, а в 1966 г. вернулся в Иркутск.

В 1965 году Валентин Распутин участвовал в Читинском семинаре молодых писателей. В следующем году перешёл на профессиональную литературную работу. Первая книга очерков «Костровые новых городов» увидела свет в 1966 г. в Красноярске, а в 1967 г. Распутин был принят в Союз писателей СССР.

В конце 60-х, начале 70-х появляются знаковые повести молодого прозаика: «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Пожар».

Со второй половины 70-х имя Валентина Распутина заслуженно приобретает большую известность, критика называет его «могучим явлением современной отечественной и мировой литературы», книги его все чаще издаются в стране и за рубежом, по отдельным произведениям ставятся спектакли, снимаются фильмы. Солженицын отмечал у Распутина (среди прочего): «... *сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни...*».

Бородин Леонид Иванович родился в Иркутске 14 апреля 1938 г. в семье сельских учителей. После школы поступает на историческое отделение Иркутского университета, где в это же время обучались Валентин Распутин и Александр Вампилов. В 1957 году Бородин был исключён из Иркутского университета за участие в студенческом кружке «Свободное слово».

В середине 60-х годов входил в неформальную организацию «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» (ВСХСОН), программа которой, по словам самого Бородина, заключалась в трёх основных лозунгах — христианизация политики, христианизация экономики и христианизация культуры. В 1967-1973 годах и повторно в 1982-1987 годах — политзаключённый. В заключении Бородин начал писать стихи, а после освобождения в 1973 году обратился к прозе. Его тексты через самиздат попадали на Запад и печатались в журнале «Грани». Сотрудничал в самиздатском журнале «Вече».

В 1992-2008 главный редактор литературно-публицистического журнала «Москва», с сентября 2008 его генеральный директор.

Гурулёв Альберт Семёнович родился 28 сентября 1934 г. на Дальнем Востоке в семье военнослужащего. За несколько лет до войны по стечению обстоятельств семья оказалась в г. Черемхово Иркутской области. Оттуда в 1952 г. Альберт Гурулев приехал поступать в Иркутский госуниверситет. После окончания филологического факультета работал в газетах «Советская молодежь» и «Знамя коммунизма».

Первые рассказы А. Гурулева были опубликованы в 1965-1968 годы. В 1968 г. вышел в свет роман «Росстань», обративший на себя внимание читателей и критики. В 1969 г. А. Гурулев стал членом Союза писателей СССР.

Станислав Китайский так отозвался на книгу Альберта Гурулева «Осенний светлый день...»: *«Если прочитать это название не на бегу, не скользя взглядом по буквам, а почувствовать в колдовство слов, вслушаться в тайну их необъяснимой музыки, то за этими тремя словами можно увидеть душу автора, писателя с пронзительно-тонким мировосприятием, владеющего искусством точной поэтической передачи своих чувств простыми, привычными словами. Это уже не ремесло, это — искусство».*

Хайрюзов Валерий Николаевич родился 16 сентября 1944 г. в Иркутске. В 1964 г. окончил Бугурусланское летное училище. Работал командиром корабля, затем пилотом-инструктором. В 1981 г. окончил отделение журналистики Иркутского госуниверситета.

Публиковаться начал с 1972 г., в 1981 году принят в Союз писателей СССР. В 1980 г. за книгу «Непредвиденная посадка» получил премию Ленинского комсомола. В 1984 году выходит сборник «Приют для списанных пилотов». Все произведения писатель строит на подлинных фактах из своей летной биографии, ведь небольшие транспортные самолеты совершают порой необычные рейсы, садятся на маленьких грунтовых аэродромах, выполняют разнообразные задания. В произведениях писателя всегда присутствуют романтика и достоверность, что подкупает читателей.

В 1990 г. Валерий Хайрюзов избран депутатом Верховного Совета РСФСР. В октябре 1993 г. был среди защитников Белого дома.

Повесть «Иркут» удостоена премии журнала «Наш современник» за лучшую прозаическую публикацию 2008 года. В 2010 году за книгу «Иркут» писатель удостоен Большой литературной премии России.

Виктор Павлович Иванов (псевд. Иван Комлев) родился 27 июля 1940 г. в Омске. Получил образование инженера-геодезиста, отслужил срочную в армии. До 1977 г. работал в экспедициях Главного управления геодезии и картографии в районах от Урала до Амура, затем перешел в Сибирское отделение АН СССР, строил солнечный радиотелескоп в предгорьях Саян.

Первая публикация состоялась в альманахе «Сибирь» в 1978 г. После этого в «Сибири» были напечатаны повести «У порога» и «Ковыль», рассказы «Новости по утрам», «Левая и правая» и др.

В 1990 г. иркутский прозаик был приглашен на Всесоюзный творческий семинар в Пицунде. Главный редактор «Роман-газеты» Валерий Ганичев высоко оценил книгу «Ковыль». Повесть из этой книги «У порога» была включена в сборник для юношества «На войне как на войне», который вышел в издательстве «Роман-газета» в том же году. С тех пор произведения писателя неоднократно переиздавались и вошли в золотой фонд Сибирской классики.

Матханова Нелли Афанасьевна родилась 16 июня 1935 в селе Голуметь Аларского района Иркутской области в семье инженера и учительницы. В Иркутск вместе с семьей переехала в 1943 году. После окончания средней школы поступила в МГУ на факультет журналистики. Завершив учебу, вернулась в Иркутск, работала корреспондентом радио и газеты «Восточно-Сибирская правда», затем редактором и главным редактором художественного вещания на Иркутской студии телевидения. В Союз писателей СССР вступила в 1984 г.

Для её произведений характерна заостренность социальных и нравственных проблем. Таковы повести «Одиноким предоставляется общежитие», «Взрослые игры», «Год кабана», «Эффект присутствия».

Тему утверждения человеческой личности Матханова продолжала разрабатывать и в 90-е годы уже в новом для себя драматургическом жанре. Пьеса «Из Америки с любовью» была поставлена на сцене Иркутского драматического театра, затем была представлена в США. Калифорнийские газеты называли эту работу «вдохновенной пьесой о последнем романтике Америки», «историей любви, которая пересекает границы».

Воронов Виктор Васильевич родился в 1950 г. в Чите. Закончил Иркутский политехнический институт. Трудовую деятельность начал на строительстве Иркутского алюминиевого завода в г. Шелехове — мастер, прораб, секретарь комитета комсомола треста «Иркутскалюминстрой». Работал первым секретарем Шелеховского горкома комсомола, вторым секретарем Иркутского обкома комсомола, ответственным организатором отдела рабочей молодежи Центрального Комитета ВЛКСМ, заместителем начальника Управления Министерства транспортного строительства СССР, консультантом Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1991 года — директор Международной школы управления «Интенсив» Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС).

Воронов В.В. — заслуженный экономист Российской Федерации, профессор кафедры финансов и отраслевой экономики РАГС, член Центрального Правления Общества дружбы «Россия-Япония», заместитель председателя Правления Иркутского землячества «Байкал», член Союза писателей России, автор трёх книг «Пригоршни из туесков памяти». В них включены воспоминания о людях, которых автору посчастливилось встретить в разных уголках нашей необъятной Родины.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ОДА РУССКОМУ ОГОРОДУ. *Повесть*.....4

АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ

Рассказы

СУМОЧКА К РЕБРУ.....36

УСПЕХ.....40

СОЛНЦЕ В АИСТОВОМ ГНЕЗДЕ.....42

ТОПОЛЯ.....44

СТАНЦИЯ ТАЙШЕТ.....44

МОЯ ЛЮБОВЬ.....46

ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА.....48

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.....51

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ.....52

КОНЕЦ РОМАНА.....54

ИСААК ГОЛЬДБЕРГ

ГРОБ ПОДПОЛКОВНИКА НЕДОЧЁТОВА. *Повесть*.....56

ВЛАДИМИР ЗАЗУБРИН

ЩЕПКА. *Повесть*.....94

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

РАНЫ. *Повесть*.....134

ГАВРИИЛ КУНГУРОВ

АРТАМОШКА ЛУЗИН. *Повесть (Первая часть)*.....194

ГЕННАДИЙ МАШКИН

СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД. *Повесть*.....224

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Рассказы

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ.....	302
ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР.....	315
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО. <i>Повесть</i>	323

ЛЕОНИД БОРОДИН

ЛЮТИК — ЦВЕТОК ЖЁЛТЫЙ. <i>Рассказ</i>	348
---	-----

АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ

ОСЕННИЙ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ. <i>Миниатюры о природе</i>	360
--	-----

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

ИРКУТ. <i>Повесть</i>	404
-----------------------------	-----

ИВАН КОМЛЕВ

КОВЫЛЬ. <i>Повесть</i>	464
------------------------------	-----

НЕЛЛИ МАТХАНОВА

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. <i>Повесть</i>	514
-------------------------------------	-----

ВИКТОР ВОРОНОВ

ПРИГОРШНИ ИЗ ТУЕСКОВ ПАМЯТИ. Цикл рассказов

Звуки тишины.....	538
Любование жасмином.....	541
Байкал и мы.....	542
Снова о пчёлах и Пустошке.....	547
И вновь самое лучшее время.....	552
Родные запахи.....	557
Туман.....	559
Барс-а.....	560
Размышления у Байкальской воды.....	564
Белочки.....	565
Белое пламя.....	567
Осенний этюд.....	568

Биографические справки.....	569
-----------------------------	-----



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ ИРКУТСК-БАЙКАЛ

Составители *В.Н. Хайрюзов, А.К. Лаптев*
Корректор *Н.О. Шильникова*
Художник *С.А. Бурчевская*

В книге использованы фотографии
М. А. Лебедевой, В. Н. Мамонтовой, С. А. Бурчевской

Формат 70х100_{1/16}. Бумага мелованная.
Печать полноцветная.
Усл.печ.л. 36. Тираж 1000 экз.

Издательство «Сибирская книга».
664047, г. Иркутск-47, а/я-174.
Тел. 8-914-88-73-880. laptev99@mail.ru

Отпечатано в ООО «РЕПРОЦЕНТР А1»
664009, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99/2
тел. 540-940

- Виктор Астафьев
- Александр Вампилов
- Исаак Тольдберг
- Владимир Зазубрин
- Алексей Зверев
- Таврицл Кунгуров
- Геннадий Машкин
- Валентин Распутин
- Леонид Бородин
- Альберт Турулев
- Валерий Хайрюзов
- Иван Комлев
- Нелли Матханова
- Виктор Воронов